

Антон Чехов

Рецепты здоровым и больным

АНТОЛОГИЯ

Повести. Пьесы. Рассказы. Записная книжка

Составление, подготовка текста и примечания С.А.Кибальника и
А.В.Кубасова

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
в рамках научного проекта № 21-18-00481. URL: <https://rscf.ru/project/21-18-00481/>, ИРЛИ
РАН

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Сельские эскулапы

Цветы запоздалые

Съезд естествоиспытателей в Филадельфии. *(Статья научного содержания)*

Из дневника помощника бухгалтера

Новая болезнь и старое средство

Хирургия

Ночь перед судом. *(Рассказ подсудимого)*

Аптекарская такса

В аптеке

Лошадиная фамилия

Общее образование *(Последние выводы зубоврачебной науки)*

Врачебные советы

Психопаты *(Сценка)*

Индийский петух *(Маленькое недоразумение)*

Средство от запоя

Домашние средства

Волк

Аптекараша

Ах, зубы!

Тиф

Скорая помощь

Доктор

Красавицы *(Из запис<ок> врача)*

Припадок

Гусев

Попрыгунья

В усадьбе

Ионыч

Случай из практики

Роман

Драма на охоте

Остров Сахалин (*Из путевых записок*)

Заключительная глава

Повести

Скучная история (*Из записок старого человека*)

Дуэль

Пьесы

Ночь перед судом

Чайка

Три сестры

О вреде табака

Записные книжки

Записная книжка с рецептами для больных

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ

СЕЛЬСКИЕ ЭСКУЛАПЫ

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с становым на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чesавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

— Чёрт знает что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы. — Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! — Подходи! — кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

— Кто таков?

— Иван Микулов.

— А? Как? Говори по-русски!

— Иван Микулов.

— Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать как?

Михайло улыбается.

— Нешто не знаешь? — спрашивает он.

— Чего же смеешься? Чёрт их знает! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

— Нешто не знаешь? Угорел?

— Знаю, но должен спросить, потому что форма такая... А угореть не отчего... Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем... Имя и фамилия?

197

— Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? Пять лет знаешь... Аль забыл на шестой?

— Не забыл, но форма! Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма!

— Ну, коли форма, так чёрт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко...

— Не Измученко, а Измученков.

— Пуцай будет Измученков... Как хочешь, лишь бы вылечил... Хоть Шут Иваныч... Всё одно...

— Сословия какого?

— Бас.

— Лет сколько?

— А кто ж его знает! На крестинах не был, не знаю.

— Сорок будет?

— Может, и будет, а может, и не будет. Пиши как знаешь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

— Грамотен?

— А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!

— При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

— Микифор Пуголова, из Хапловой.

— Хапловских не лечим! Следующий!

— Сделайте такую божескую милость... Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел...

— Хапловских не лечим! Следующий! Отойти! Не курить здесь!

— Я не курю, Глеб Глебыч!

— А что это у тебя в руке?

— Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!

— А не сигарка? Хапловских не лечим! Следующий!...

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть — и идет в аптеку, второй — терапевтическую — и надевает клеенчатый фартук.

— Марья Заплагина! — вызывает по книге Кузьма Егоров.

— Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

— Кгм... Затвори дверь!... Что болит?

— Голова, батюшка.

— Так... Вся или только половина?

— Вся, батюшка... как есть вся...

— Головы так не кутай... Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате... Животом страдаешь?

— Страдаю, батюшка...

— Так... А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие... Я тебе капель дам... По десяти капель утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт:

«Rp. Liquor ferri¹ 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплагинной».

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.

— Тимофей Стукотей!

— Здесь!

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником.

— Что болит?

— Сердце, Кузьма Егорыч.

— В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

— Так... Давно?

— С самой Святой... Давеча пешком шел, так разов десять садился... Знобит, Кузьма Егорыч... В жар бросает, Кузьма Егорыч.

— Гм... Еще что болит?

— Признаться сказать, Кузьма Егорыч, всё болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего — не беспокойтесь... Другое пусть бабы лечат... Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу всё это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и... того... Спинуцу дерет... В голове точно камень... И кашель тоже.

— Appetit есть?

— Ни боже мой...

Кузьма Егоров подходит к Стукотею, нагинаят его и давит ему кулаком под ложечку.

— Этак больно?

— Ой... ой... ввв... Больно!

— А этак больно?

— Ввв... Смерть!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

— Покажи язык! — обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

— Высунь больше!

— Больше невозможно, Глеб Глебыч.

— На этом свете всё возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

— Должно быть, катар! — кричит он из аптеки.

— Дайте ему olei ricini¹ и ammonii caustici!² — кричит Кузьма Егоров. — Растирать живот утром и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотю. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, т. е. просит заесть чем-нибудь.

— Это тебе спирт! — кричит Глеб Глебыч, подавая ему склянку с нашатырным спиртом. — Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером... Посуду возвратить! Не облакачиваться! Отойди!

200

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

— Что вам угодно-с? — спрашивает ее Глеб Глебыч.

— Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна и просили у вас мятных лепешек.

— С удовольствием-sss... Для прекрасных особ женского пола на всё готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагее.

— Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

— Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

— Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

— Михайло Измученков! — вызывает Кузьма Егоров.

В приемную входит «бас» Михайло.

— Михайлу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

— Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того... Не так больно, как убыточно... Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню сорок копеек вычитает. За всенощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того... Кгм... Кгм...

— От горячих напитков, стало быть?

— Не могу сказать, отчего собственно болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее... На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

— Чего старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч. — Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

— Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

— Чего же ей дать?

— Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит: «дать соды».

— Горячих напитков употреблять не следует.

— Я и так уже три дня не употребляю... У меня от простуды... Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше... Без водки нельзя нашему брату... Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны... .

— Вот что... Я дам вам порошок... Вы разведете его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

— Глотать можно?

— Можно.

— Очень хорошо... Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь — жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить... А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пушаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

— Нет, не советую!

— Чувствительно вам благодарен... Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас богу молится! И-и-и!.. Страась!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает *Natri bicarbonici*, т. е. соды.

Сноски

Сноски к стр. [198](#)

¹ Раствор железа (*лат.*).

Сноски к стр. [199](#)

¹ касторового масла (*лат.*).

² нашатырного спирта (*лат.*).

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Посвящается Н. И. Коробову

I

Дело происходило в одно темное, осеннее «после обеда» в доме князей Приклонских.

Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные, плачущие женщины: Христом-богом, честью, прахом отца.

Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала.

Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами... Тысячу раз вспомнила она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и т. д. Напомнила даже и о докторе Топоркове.

Доктор Топорков был спицей в глазу князей Приклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он — ну, не глупо ли? — молодой, блестящий доктор, живет баринем, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.

— Он всеми уважаем, — сказала княгиня, плача и не утирая слез, — всеми любим, богат, красавец, везде принят... Твой-то слуга бывший, племянник Никифора! Стыдно сказать! А почему? А потому, что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается... Работает от утра до ночи... А ты? Боже мой, господи!

Княжна Маруся, девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета

393

южного неба, умоляла брата Егорушку с меньшей энергией.

Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином, гладила его по плечи, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она так любила брата! По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества! Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы

позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя: вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу, и в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы *ее* чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, всё извиняющей причиной? Какая?

— Жорж! — говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое, красноносое лицо. — Ты с горя пьешь, это правда. . . Но забудь свое горе, если так! Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись! Богатырем будь! При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой можно сносить удары судьбы! О! Вы, неудачники, все малодушны! . .

И Маруся (простите ей, читатель!) вспомнила тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными, кроличьими глазками глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть. . . Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой) совести. Он был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости. . .

Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиной зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они всё умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал:

- Ладно, исправлюсь!
- Честное и благородное слово?
- Накажи меня бог!

Мать и сестра ухватились за него руками и заставили еще раз побожиться и поклясться честью. Егорушка еще раз побожился, поклялся честью и сказал, что пусть гром разразит его на этом самом месте, если он не перестанет вести беспорядочную жизнь. Княгиня заставила его поцеловать образ. Он поцеловал и образ, причем перекрестился три раза. Клятва была дана, одним словом, самая настоящая.

— Мы тебе верим! — сказали княгиня и Маруся и бросились обнимать Егорушку.

Они ему поверили. Ну как не поверить честнейшему слову, отчаянной божбе и целованию образа, взятым вместе? И к тому же где любовь — там и бесшабашная вера. Они ожили и обе, сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки. Выпроводив гостью, они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь. . . Они порешили,

что Егорушка далеко пойдет, что он скоро поправит обстоятельства и им не придется терпеть крайней бедности — этот постылый Рубикон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся. Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умен и так знатен, что едва ли найдется такая женщина, которая осмелится не полюбить его! В заключение княгиня [рассказала биографии предков](#), которым скоро начнет подражать Егорушка. Дед Приклонский был посланником и говорил на всех европейских языках, отец был командиром одного из известнейших полков, сын же будет... будет... чем он будет?

— Вот вы увидите, чем он будет! — порешила княжна. — Вот вы увидите!

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, — так хороши были сны! Этими снами судьба, по всей вероятности, заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа: иногда и она платит вперед.

Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее bébé¹ в блестящем генеральском мундире, а Маруся аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому князей Приклонских подъехала простая извозчичья пролетка. В пролетке сидел официант из «Шато де Флер» и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях «челазка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Извозчик соскочил с козел и позвонил у подъезда. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по лестнице. Старый Никифор, не удивляясь и не ужасаясь, привычной рукою раздел неподвижное тело, уложил поглубже в перину и укрыл одеялом. Прислугой не было сказано ни одного слова. Она давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой.

На другой день, утром, пришлось ужаснуться.

Часов в одиннадцать, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельствам, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.

— Должно полагать, помирают-с! — сказал Никифор. — Извольте посмотреть!

Лица княгини и Маруси стали белы, как полотно. Из рта княгини выпал кусочек бисквита. Маруся опрокинула чашку и обеими руками ухватилась за грудь, в которую застучало врасплох застигнутое, встревоженное сердце.

— В три часа ночи приехали навеселе, стало быть, — докладывал Никифор дрожащим голосом. — Как обнаковенно... Ну, а теперь, господь их знает, от чего это, мечутся и стонут...

Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальную Егорушки.

Егорушка, бледно-зеленый, растрепанный, сильно похудевший, лежал под тяжелым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки

его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому крови. Если бы Маруся нагнулась к его лицу, она увидела бы ранку на верхней губе и отсутствие двух зубов на верхней челюсти. От всего тела веяло жаром и спиртным запахом.

Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали.

— Это мы виноваты в его смерти! — сказала Маруся, хватая себя за голову. — Мы вчера огорчили его своими упреками, и... он не перенес этого! У него нежная душа! Мы виноваты, мама!

И в сознании своей виновности они обе широко раскрыли глаза и, дрожа всем телом, прижались друг к другу. Так дрожат и жмутся друг к другу видящие, что над ними сейчас с шумом и страшным треском обвалится потолок и раздавит их под своею тяжестью.

Повар догадался сбежать за доктором. Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свинных глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальне Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.

— Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! — сказал он княгине умоляющим голосом. — Я не знаю, но, по моему мнению, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности... Ничто!

Марусе же он сказал совершенно другое:

— Я не знаю, княжна, но, по моему мнению... У всякого свое мнение, княжна. По моему мнению, его сиятельство... пфф!.. швах, как говорит немец... Но всё зависит... зависит, так сказать, от кризиса.

— Опасно? — тихо спросила Маруся.

Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого свое мнение... Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.

Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но... что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку.

Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро... Хотели даже послать за другим доктором и порешили назвать Топоркова невежей, когда он придет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Прошел он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен,

представителен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Всё — барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шёлк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимаясь Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом.

398

Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.

— Спасите его, доктор! — сказала она, поднимая на него свои большие глаза. — Умоляю вас! На вас вся надежда!

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

— Открыть вентиляции! — скомандовал он, войдя к больному. — Почему не открыты вентиляции? Дышать чем же?

Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляций не оказалось. Печь не топилась.

— Вентиляций нет, — робко сказала княгиня.

— Странно... Гм... Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!

И чуточку возвысив голос, Топорков прибавил:

— Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!

Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтеньем подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, — так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..

Кровать поставили рядом с роялью. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.

— Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! — отчеканивал Топорков, слушая княгиню. — Лишние могут уйти отсюда!

Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постучал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.

— Не мешает надеть горячую рубаху, — сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово, голосом.

Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.

— Князь Приклонский, — сказала княгиня.

— Приклонский? — переспросил Топорков.

«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших... помещиков!» — подумала княгиня.

Слово «господ» княгиня не сумела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!

В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:

— Доктор, он не опасен?

— Я думаю.

— По вашему мнению, выздоровеет?

— Полагаю, — ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.

По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.

— Как он внимателен, как мил! — сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!

— Ва-а-ажный господин! — заметил Никифор, давно уже не выдавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время оно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.

Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.

Вечером, по заходе солнца, с изнемогшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:

— Я умираю, татам!

И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.

В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе-княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела с отчаяния.

— Не знаю-с! — говорил ей Топорков. — Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.

Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями,

выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв всё на свете, давая обеты и молясь.

Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и, когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала в обморок.

Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:

— Я здорова.

На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:

— Я обязана вам, доктор, спасением моих детей! Благодарю!

— Что-с?

— Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!

— А... Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, всё равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра вечером заеду.

И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.

II

День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смиренно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться...

Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет, греющий, ласкающий, бил и в окна Приклонских; он играл на коврах, стульях, рояле. Всё было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Выздоровливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы? Маруся и Егорушка каждую минуту чувствовали себя отпущенниками. Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться — жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду. Фуров, протестовавший векселя, сплетни, Егорушкино поведение, бедность — всё было забыто. Не забыты были одни

только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая татап и... доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту.

— Удивительный человек, всемогущий человек! — говорила она. — Как всемогуще его искусство! Посуди, Жорж, какой высокий подвиг: бороться с природой и побороть!

И говорила она, ставя руками и глазами после каждой напыщенной, но искренно сказанной фразы большой восклицательный знак.

Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Он сам уважал строгое лицо Топоркова и был уверен, что своим выздоровлением обязан одному только ему. Матап сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей.

Ей нравилось в Топоркове не только умение лечить, но и «положительность», которую она успела прочесть на лице доктора.

Старым людям почему-то сильно нравится эта «положительность».

— Жаль только, что он... он такого низкого происхождения, — сказала княгиня, робко взглянув на дочь. — И ремесло его... не особенно чистое. Вечно в разной разности копается... Фи!

Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушку тоже покорило.

Он терпеть не мог барской спеси и важничанья.

Бедность хоть кого научит! Ему не раз приходилось испытать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его.

— В нынешние времена, муттер, — сказал он, презрительно подергивая плечами, — у кого есть голова на плечах и большой карман в панталонах, тот и хорошего происхождения, а у кого вместо головы седалище тела человеческого, а вместо кармана мыльный пузырь, тот... нуль, вот что-с!

Говоря это, Егорушка попугайничал. Эти самые слова слышал он два месяца тому назад от одного семинариста, с которым подрался в биллиардной.

— Я с удовольствием променял бы свое княжество на его голову и карман, — добавил Егорушка.

Маруся подняла на брата глаза, полные благодарности.

— Я сказала бы вам многое, татап, но вы не поймете, — вздохнула она. — Вас ничем не разубедишь... Очень жаль!

Княгиня, уличенная в рутинерстве, сконфузилась и принялась оправдываться.

— Впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора — барона, — сказала она. — Да, да... И за границей тоже... Это правда... Образование много значит. Ну, да...

В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз: вошел важно, ни на кого не глядя.

— Не употреблять спиртных напитков и избегать, по возможности, излишеств, — обратился он к Егорушке, положив шляпу. — Следить за

печенью. Она у вас уже значительно увеличена. Увеличение ее следует всецело отнести на счет употребления напитков. Пить прописанные воды.

И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов.

Маруся выслушала со вниманием, точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку.

— Ну-с? Вы, полагаю, поняли? — спросил ее Топорков.

— О да! Мерсі.

Визит продолжался ровно четыре минуты.

Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела.

Княгиня, покачиваясь, как утка, и краснея, подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак.

— Позвольте вас поблагодарить! — сказала она.

Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятирублевых. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами! По лицу Топоркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут святых; рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернулся к двери.

Княгиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплились хорошим чувством: этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идейка. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека.

«Сирота он, бедный, — подумала она. — Одинокий».

— Доктор, — сказала она мягким, старушечьим голосом.

Доктор оглянулся.

— Что-с?

— Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте так добры!

Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал:

— Я выпью чаю.

— Садитесь, пожалуйста! Вот сюда!

Топорков положил шляпу и сел; сел прямо, как манекен, которому согнули колени и выпрямили плечи и шею. Княгиня и Маруся засуетились. У Маруси сделались большие глаза, озабоченные, точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор, в черном поношенном фраке и серых перчатках, забежал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со

звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из зала, вызвали потихоньку, таинственно.

Топорков, в ожидании чая, просидел минут десять. Сидел он и глядел на педаль рояля, не двигаясь ни одним членом и не издавая ни звука. Наконец отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлеными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты.

За Никифором шел с притуплённой от важности физиономией Егорушка.

Шествие замыкали княгиня, с вспотевшим лбом, и Маруся, с большими глазами.

— Кушайте, пожалуйста! — обратилась княгиня к Топоркову.

Егорушка взял стакан, отошел в сторону и осторожно отхлебнул, Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. Княгиня и княжна сели в стороне и занялись изучением докторской физиономии.

— Вам, может быть, не сладко? — спросила княгиня.

— Нет, достаточно сладко.

И, как и следовало ожидать, наступило молчание — жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение и желание сконфузиться. Доктор пил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел перед собой ничего, кроме чая.

Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое. Тишину нарушал изредка и Никифор; он то и дело чамкал губами и жевал, точно на вкус пробовал доктора-гостя.

— Правду говорят, что курить вредно? — собрался наконец спросить Егорушка.

— Никотин, алкалоид табака, действует на организм как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросой, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда, как и энергия его, находится в обратном отношении с продолжительностью потребления.

Княгиня и Маруся переглянулись: какой он умница! Егорушка замигал глазами и вытянул свою рыбью физиономию. Он, бедняга, не понял доктора.

— У нас в полку, — начал он, желая ученый разговор свести на обыкновенный, — был один офицер. Некто Кошечкин, очень порядочный малый. Ужасно на вас похож! Ужасно! Как две капли воды. Отличить даже невозможно! Он вам не родственник?

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы его губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку. Он заметно презирал Егорушку.

— Скажите мне, доктор, я окончательно выздоровела? — спросила Маруся.
— Могу я рассчитывать на полное выздоровление?

— Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление, на основании...

И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю, начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть разинув рты и глядеть на ученого почти с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть.

Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испитые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу.

«Прелестное лицо! — думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. — Какой ум и сколько знаний! Зачем Жорж военный? И ему бы быть ученым».

Егорушка смотрел с умилением на доктора и думал:

«Если он говорит об умных вещах, то, значит, считает нас умными. Это хорошо, что мы поставили себя так в обществе. Ужасно, однако, глупо я сделал, что соврал про Кошечкина».

Когда доктор кончил свою лекцию, слушатели глубоко вздохнули, точно совершили какой-нибудь славный подвиг.

— Как хорошо всё знать! — вздохнула княгиня.

Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам. Ей сильно захотелось втянуть доктора в разговор, втянуть поглубже, почувствительней, а музыка всегда наводит на разговоры. Да и похвастать своими способностями захотелось перед умным, понимающим человеком...

— Это из Шопена, — заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка. — Прелестная вещь! Она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная. Моя ученица... Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. А вот эта... Вы ее знаете?

И княгиня назвала фамилию одной известной русской певицы.

— Она мне обязана... Да-с... Я давала ей уроки. Милая была девушка! Она была отчасти родственницей моего покойного князя... Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пения?

Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора: какое впечатление произвела на него ее игра?

Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-прежнему безмятежно и сухо. Он быстро допивал чай.

— Я влюблена в это место, — сказала Маруся.

— Благодарствую, — сказал доктор. — Больше не хочу.

Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила. Маруся сконфузилась и, обиженная, закрыла рояль.

— Вы уже уходите? — заговорила княгиня, сильно хмурясь. — Не хотите ли еще чего? Надеюсь, доктор... Дорогу вы теперь знаете. Вечерком, когда-нибудь... Не забывайте нас...

Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошел к своей шубе.

— Лед! Дерево! — заговорила княгиня по уходе доктора. — Это ужасно! Смеяться не умеет, деревяшка этакая! Напрасно ты для него играла, Мари! Точно для чая одного остался! Выпил и ушел!

— Но как он умен, тапан! Очень умен! С кем же ему говорить у нас? Я неуч, Жорж скрытен и всё молчит... Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет!

— Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! — сказал Егорушка, выпивая из молочников сливки. — Каков? Рационально, индифферентно, субъективно... Так и сыпит, шельма! Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик!

И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую садилась знаменитость в большой медвежьей шубе. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть ее: она рассматривала доктора, который произвел на нее сильнейшее впечатление. На кого не действует новизна?

А Топорков для Маруси был слишком нов...

Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь.

Жизнь в доме князей Приклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела

становились всё хуже и хуже, денег становилось всё меньше и меньше... Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретенные. Никифор по-прежнему болтал в лавочке, куда посылали его брать в кредит разную мелочь, что господа должны ему триста рублей и не думают платить. То же самое болтал и повар, которому, из сострадания, подарил лавочник свои старые сапоги. Фуров стал еще настойчивее. Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил княгине дерзости, когда та умоляла его подождать протестовать вексель. С легкой руки Фурова загалдели и другие кредиторы. Каждое утро княгине приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам о несостоятельности.

Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слез. Днем княгиня крепилась, ночью же давала полную свободу слезам и плакала всю ночь, вплоть до утра. Не нужно было ходить далеко, чтобы отыскать причину для такого плача. Причины были под самым носом: они резали глаза своею рельефностью и яркостью. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое... кем? ничтожными людишками, разными Фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад, разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорушка по-прежнему вел беспорядочную жизнь, Маруся не была еще пристроена... Мало ли причин для того, чтобы плакать? Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись...

Денег становилось всё меньше и меньше, а Егорушка кутил всё больше и больше; кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянное во время болезни. Он пропивал всё, что имел и чего не имел, свое и чужое. В своем распутстве он был дерзок и нахален до чёртиков. Занять денег у первого встречного ему ничего не стоило. Садиться играть в карты, не имея в кармане ни гроша, было у него обыкновением, а попить и пожрать на чужой счет, прокатиться с шиком на чужом извозчике и не заплатить извозчику не считалось грехом. Изменился он очень мало: прежде он сердился, когда над ним смеялись, теперь же он только слегка конфузился, когда его выталкивали или выводили.

Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятого, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже... Она перестала верить в его безнадежную любовь. Ужасная новость! Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования, но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянный человек! Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя, лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желания. . . Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают, не беседуют по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками. . . И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное, разумное лицо; на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день и в самой счастливой обстановке, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.

Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Приклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и переулки. Сидел он в санях так же, как и в кресле: важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого, гладкого лба и золотых очков, но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие.

«Этот человек имеет право презирать! — думала она. — Он мудр! А какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошадки! И это бывший крепостной! Каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!»

Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил о себе он слишком чувствительно.

На второй день Рождества, в полдень, когда Приклонские были дома, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь.

— Княгинюшка до-о-о-ма? — послышался из передней старушечий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. — Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство. . . благодетельница! Как поживать изволите?

— Что вам угодно? — спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню, хвостиком вверх.

— Не признаете, матушка? Неужто не помните? А Прохоровну забыли? Князьеньку вашего принимала!

И старушонка подползла к Егорушке и быстро чмокнула его в грудь и руку.

— Я не понимаю, — забормотал сердито Егорушка, утирая руку о сюртук. — Этот старый чёрт, Никифор, впускает всякую дрянь. . .

— Что вам угодно? — повторила княгиня, и ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом.

Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая (свахи всегда кокетничают), заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и, заинтересованный, подошел к старухе.

— Странно, — сказала княгиня. — Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом! А кто он? Можно узнать?

Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка.

Все pokrутили носом: от красного платка с желтыми цветами понесло табачным запахом.

Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам.

— Красавец, матушка! — принялась сваха пояснять изображение. — Богат, благородный... Чудесный человек, тверезый...

Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела.

— Странно, — сказала княгиня. — Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог... Посредничество тут менее всего нужно!.. Образованный человек, и вдруг... Он вас послал? Сам?

— Сами... Уж больно ему понравились вы... Семейство хорошее.

Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной.

— Странно, — продолжала княгиня. — Удивительно... Не знаю даже, что и сказать вам... Я никак не ожидала этого от доктора... К чему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловаться... обидно даже... За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь... Да и купцы теперь стали иначе жить.

— Тип! — промычал Егорушка, с презрением поглядывая на старухину головку.

Дорого дал бы отставной гусар, если бы ему позволено было хоть раз «щелкнуть» по этой головке! Он не любил старух, как большая собака не любит кошек, и приходил чисто в собачий восторг, когда видел голову, похожую на дыньку.

— Что ж, матушка? — сказала сваха, вздыхая. — Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что, матушка-княгинюшка... Благодетели ведь вы наши. Ох, грехи, грехи! А нешто он не благородный? И образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякою господь его наделил, царица небесная... А ежели желаете, чтобы к вам пришел, то извольте... Препожалует. Отчего не прийти? Прийти можно...

И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо:

— Шестьдесят тысяч просит... Известное дело! Жена женой, а деньги деньгами. Сами извольте знать... Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать... Чтoб свой капитал имела...

Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла.

— Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, — сказала она. — Обижены... Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать... Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдет! Всякое терпение может лопнуть!

По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала:

— Вот до чего мы дожили! — заголосила она. — Боже мой! Какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей, делает нам предложение! Благородный!.. Благородный! Ха! ха! Скажите пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал! Нет вашего отца! Он не оставил бы этого даром! Пошлый дурак! Хам!

Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Ее оскорблял малейший намек на ее бедность. Проголосила она до позднего вечера и ночью просыпалась два раза, чтобы поплакать.

Но ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросило в сильнейшую лихорадку. Дрожа всеми членами, она упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил, решать вопрос:

«Неужели?!»

Вопрос головоломный. Маруся и не знала, что ответить себе на него. Он выражал и ее удивление, и смущение, и тайную радость, в которой почему-то ей стыдно было сознаться и которую хотелось скрыть от себя самой.

«Неужели?! Он, Топорков... Не может быть! Что-нибудь да не так! Переверала старуха!»

И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так статен, красив, умен! Он посвятил жизнь свою человечеству и... ездит в таких роскошных санях!

«Неужели?!»

«Его можно любить! — порешила Маруся к вечеру. — О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Пусть мать скажет хоть одно слово — и я уйду от нее! Я согласна!»

Другие вопросы, второстепенные и третьестепенные, ей некогда было решать. Не до них было! При чем тут сваха? За что и когда *он* полюбил *ее*? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена... счастлива... достаточно было с нее и этого.

— Я согласна! — шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении *его* лицо, с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомленные глаза. — Пусть приходит! Я согласна.

И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедрою рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которому могла бы порекомендовать «благородного» купца. Топорков не посылал ее специально к Приклонским. Он послал ее «куда хочешь». К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно всё одно, куда бы ни пошла сваха... Ему нужны были... шестьдесят тысяч. Шестьдесят тысяч, не менее!

Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму ему было негде, на рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал. Маруся же в его желании опутать себя узами Гименея была, ей-богу, нисколько не виновата!

В первом часу ночи в спальную Маруси тихо вошел Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Ее утомило ее неожиданное счастье: ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить без умолку и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой морщинке Егорушкиного лица сидела тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на ее ноги и нагнулся слегка к ее уху.

— Знаешь, что я скажу тебе, Маша? — начал он тихо. — Я откровенно скажу... Взгляд свой, того... Потому что ведь я для твоего же счастья. Ты спишь? Я для твоего же счастья... Выходи за того... за Топоркова! Не ломайся, а выходи себе, да и... шабаш! Человек он во всех отношениях... И богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй.

Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топоркову.

— Зато он богат! Без хлеба сидеть не будешь, по крайней мере. А покудова князя или графа поджидать будешь, так и с голоду подохнешь чего доброго... У нас ведь нет ни копейки! Фюйть! Пусто! Да ты спишь, что ли? А? Молчанье — знак согласия?

Маруся улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко, первый раз в жизни, поцеловал ее руку.

— И выходи... Он образованный человек. А как нам хорошо будет! Старуха выть перестанет!

И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он мотнул головой и сказал:

— Только вот что мне непонятно... За каким чёртом он эту сваху присылал? Отчего сам не пришел? Тут что-нибудь да не так... Он не такой человек, чтобы сваху присылать.

«Это правда, — подумала Маруся, почему-то вздрогнув. — Тут что-нибудь да не так... Сваху глупо посылать. В самом деле, что это значит?»

Егорушка, обыкновенно не обладавший умением соображать, на этот раз сообразил:

— Впрочем, ведь ему самому некогда шляться. Целый день занят. Как угорелый, по больным бегает.

Маруся успокоилась, но ненадолго. Егорушка помолчал немного и сказал:

— И вот что еще для меня непонятно: он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше шестидесяти тысяч. Ты слышала? «Иначе, говорит, нельзя».

Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза ее заискрились и щеки запыхали.

— Это старуха говорит? — сказала она, дернув Егорушку за руку. — Скажи ей, что это ложь! Эти люди, такие, то есть как он... не могут говорить этого. Он и... деньги?! Ха-ха! Эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, некорыстолюбив! Да! Это прекраснейший человек! Его не хотят понять!

— И я так думаю, — сказал Егорушка. — Старуха наврала. Прислужиться ему, должно быть, захотела. Привыкла там у купцов!

Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся.

— Мать ревет, — сказал он. — Ну, да мы на нее не посмотрим. И так, значит, того? Согласна? И отлично. Ломаться нечего. Докторша... Ха-ха! Докторша!

Егорушка похлопал Марусю по подошве и, очень довольный, вышел из ее спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу.

«Шампанского нужно будет взять у Аболтухова, — думал он, засыпая. — Закуски брать у Корчатова... У него икра свежая. Ну, и омары...»

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В одиннадцать часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороних перед самыми окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся, с розовой ленточкой в волосах.

«Ему некогда, — думала Маруся, любуясь им. — В воскресенье приедет...»

Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три... Он, разумеется, и не думал о Приклонских, а Маруся ждала и худела от ожидания... Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце.

«Отчего же он не едет? — спрашивала она себя. — Отчего? А... знаю... Он обижен за то, что... За что он обижен? За то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой-свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его...»

— С-с-с-скотина! — бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого высшего сорта.

После Пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать.

Однажды Егорушка вошел к ней в спальную и, злобно хохоча, сообщил ей, что ее «жених» женился на купчихе...

— Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!

Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней.

Она пала духом и не день, а месяцы олицетворяла собой невыразимую тоску и отчаяние. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Но как пристрастно и несправедливо чувство! Маруся и тут нашла оправдание *его* поступку. Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить.

«Он назло женился на этой дуре, — думала Маруся.
— О, как мы нехорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений!»

На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем — задурила Маруся! Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, тунеядцы, кутилы! Она захандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затянула она скучную, бесцветную жизнь, на которую так способны наши девы, старые и молодые. . . Она не замечала женихов, которых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Приклонских, со всем его историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь заключалась во сне.

Но грянул гром — и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами. . . Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

III

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя.

На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака сплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи. . .

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина. . . Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки.

Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему?

«Я иду лечиться!» — думала она.

Но не верьте ей, читатель! На ее лице недаром читается борьба.

Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца, дернула за звонок. Через минуту за дверь послышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В двери щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной.

— Доктор дома?

— Мы сегодня не принимаем. Завтра! — отвечала горничная и, задрожав от пахнувшей на нее сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси, задрожала и с шумом заперлась.

Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский!

В маленькой гостиной, на диване, обитом новым, лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Сидел он по-турецки, поджав под себя ноги. Около него, на полу, лежала его приятельница Калерия Ивановна. Оба играли в носки и пили. Князь пил пиво, его Дульцинея мадеру. Выигравший, вместе с правом ударить противника по носу, получал и двугривенный. Калерии Ивановне, как даме, делалась маленькая уступка: вместо двугривенного она могла платить поцелуем. Эта игра доставляла обоим невыразимое наслаждение. Они покатывались со смеха, щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй.

Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к Приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и т. д.

— Ты поговори-ка с ней! — убеждал сестру Егорушка. — Умница! Страсть!

Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя, когда ему приходилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ... Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Приклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут. Она жена клубного маркера, только всего, но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме Приклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол.

Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская, Марусина же доля была ничтожна. Но и этой доли было бы достаточно для безбедного жития, если бы Егорушка не имел столько прихотей.

Он, не хотевший и не умевший работать, не хотел верить тому, что он беден, и выходил из себя, если его заставляли мириться с обстоятельствами и по возможности умерять свои прихоти.

— Калерия Ивановна не любит телятины, — говорил он нередко Марусе. — Нужно для нее цыплят жарить. Чёрт вас знает! Беретесь хозяйничать, а не умеете! Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины! Мы уморим с голоду эту женщину!

Маруся слегка противоречила, и чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка.

— Отчего сегодня жаркого не было? — кричал иногда Егорушка.

— Оттого, что мы вчера цыплят ели, — отвечала Маруся.

Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пива, для Калерии Ивановны — вина.

— Может ли порядочный обед быть без вина? — спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. — Никифор! Чтоб было вино! Твое дело смотреть за этим! А тебе, Маша, стыдно! Не браться же мне самому за хозяйство! Как вам нравится выводить меня из терпения!

Это был необузданный сибарит! Скоро Калерия Ивановна явилась ему на помощь.

— Вино для князя есть? — спрашивала она, когда накрывали стол для обеда. — А где пиво? Нужно сходить за пивом? Княжна, выдайте человеку на пиво! У вас есть мелкие?

Княжна говорила, что есть мелкие, и отдавала последнее. Егорушка и Калерия ели и пили, и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещь за вещь, уходили в ссуду, как продавались старьевщикам ее дорогие платья.

Они не видели и не слышали, с каким кряхтением и бормотанием старый Никифор отпирал свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям, князю и его мещанке, никакого дела не было до всего этого!

На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла ей та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала:

— Вы ведь знаете, барышня? Доктор меньше пяти рублей за совет не берет-с. Это вы знайте-с.

«Для чего это она мне говорит? — подумала Маруся. — Какое нахальство! Он, бедный, и не знает, что у него такая нахальная прислуга!»

И в то же время у Маруси ёкнуло около сердца: у нее в кармане было только три рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей.

Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных. Большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемном зале мебель, расселись группами и беседовали. Беседы велись самые оживленные о всем и обо всех: о погоде, о болезнях, о докторе, о детях. . . Говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Некоторые, в ожидании очереди, вязали и вышивали. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Входили с бледными лицами, серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, точно снявшие с себя какое-то непосильное бремя, ошастливленные. Каждую больной Топорков занимался не более десяти минут. Болезни, должно быть, были неважные.

«Как всё это похоже на шарлатанство!» — подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой.

Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах,

она дрожала, как дрожит курица, которую окунули в холодную воду. *Он* стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол.

«Как он красив!» — прежде всего мелькнуло в голове его пациентки.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Поза, в которой его застала Маруся, напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руки его, упиравшейся о стол, валялись десяти- и пятирублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали, в строгом порядке, инструменты, машинки, трубки — всё крайне непонятное, крайне «ученное» для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, всё вместе взятое, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собою дверь и остановилась. . . Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло, *vis-à-vis*, и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси.

«Он не узнал меня! — подумала Маруся. — Иначе бы он не молчал. . . Боже мой, зачем он молчит? Ну, как мне начать?»

— Ну-с? — промычал Топорков.

— Кашель, — прошептала Маруся и, как бы в подтверждение своих слов, два раза кашлянула.

— Давно?

— Два месяца уж есть. . . По ночам больше.

— Угм. . . Лихорадка?

— Нет, лихорадки, кажется, нет. . .

— Вы лечились, кажется, у меня? Что у вас было раньше?

— Воспаление легких.

— Угм. . . Да, помню. . . Вы, кажется, Приклонская?

— Да. . . У меня и брат тогда же был нездоров.

— Будете принимать этот порошок. . . перед сном. . . избегать простуды. . .

Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась.

— Больше ничего?

— Ничего.

Топорков уставил на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош! Прошла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидание, подала ему трехрублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за ней дверь.

Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась:

«Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Трусиха я, вот что! Глупо как-то всё вышло. . . Только обеспокоила. Зачем я держала эти подлые деньги в руках, точно напоказ? Деньги — это такая щекотливая вещь. . . Храни бог! Обидеть

можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно это было. Ну, зачем я молчала?... Он рассказал бы мне, объяснил... Видно было бы, для чего сваха приходила...»

Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Но не удалось ей успокоиться. В ее комнату вошел Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами.

Лицо его было таинственно...

— Чего тебе? — спросила Маруся.

— А-а-а... А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить... очень приятное. Калерия Ивановна хочет у нас жить. Я ее упробил.

— Это невозможно! C'est impossible! Кого ты пробил?

— Отчего же невозможно? Она очень хорошая... Помогать тебе в хозяйстве будет. Мы ее в угольную комнату поместим.

— В угольной татап умерла! Это невозможно!

Маруся задвигалась, затряслась, точно ее укололи. Красные пятна выступили на ее щеках.

— Это невозможно! Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной! Голубчик, Жорж, не нужно! Не нужно! Милый мой! Ну, я прошу!

— Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба... Умная, веселая.

— Я ее не люблю...

— Ну, а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной!

Маруся заплакала... Ее бледное лицо исказилось отчаянием...

— Я умру, если она будет жить здесь...

Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошел.

— Займи мне рубль, — сказал он.

Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по ее мнению, происходила теперь ужасная борьба: любовь к Калерии боролась с чувством долга!

Вечером к княжне зашла Калерия.

— За что вы меня не любите? — спросила Калерия, обнимая княжну. — Ведь я несчастная!

Маруся освободилась от ее объятий и сказала:

— Мне не за что вас любить!

Дорого же она заплатила за эту фразу! Калерия, поместившись через неделю в комнате, в которой умерла татап, нашла нужным прежде всего отмстить за эту фразу. Месть выбрала она самую топорную.

— И чего вы так ломаетесь? — спрашивала она княжну за каждым обедом.

— При такой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям

кланяться. Если б я знала, что у вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего братца!?! — прибавила она со вздохом.

Упреки, намеки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушке нипочем был этот смех. Он считал себя должным Калерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги маркера и содержанки Егорушки.

По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и, беспомощная, слабая, нерешительная, проливала слезы на широкие ладони Никифора. Никифор хныкал вместе с ней и разъедал Марусины раны воспоминаниями о прошлом.

— Бог их накажет! — утешал он ее. — А вы не плачьте.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову.

Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный... На этот раз лицо его было сильно утомлено... Глаза мигали, как у человека, которому не дают спать. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло *vis-à-vis*. Она села.

«У него печаль на лице, — подумала Маруся, глядя на него. — Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой!»

Минуту просидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями.

— Кашель, — прошептала она.

Доктор мельком взглянул на нее.

— Гм... Лихорадка?

— Да, по вечерам...

— Ночью потеете?

— Да...

— Разденьтесь...

— То есть как?...

Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся, краснея, медленно расстегнула на груди пуговицы.

— Разденьтесь. Поскорей, пожалуйста!... — сказал Топорков и взял в руки молоточек.

Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платье.

— Расстегните сорочку! — сказал он и, не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и, к великому ужасу своей пациентки, принялся стучать молотком по белой исхудалой груди...

— Пустите руки... Не мешайте. Я вас не съем, — бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю.

Постукав, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки левого легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание.

— Оденьтесь, — сказал Топорков и начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

— Вам нужно ехать в Самару, — сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. — Будете там кумыс пить. Я кончил. Вы свободны. . .

Маруся кое-как застегнула свои пуговики, неловко подала ему пять рублей и, немного постояв, вышла из ученого кабинета.

«Он держал меня целых полчаса, — думала она, идя домой, — а я молчала! Молчала! Отчего я не поговорила с ним?»

Она шла домой и думала не о Самаре, а о докторе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова!

Бог с ней, с этой Самарой! Она шла, злилась и в то же время торжествовала: *он* признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю! У него в кабинете так хорошо, так уютно! Особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. С богатых, разумеется, можно и должно брать дорого, но бедным больным нужно делать уступку.

«Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного, — думала Маруся. — Я научила бы его!»

И на этот раз дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. Он рыдал, бранился, дрожал, как в лихорадке. По его пьяному лицу текли слезы.

— Калерия ушла! — голосил он. — Уже две ночи дома не ночевала! Она рассердилась!

Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб.

Распутство Егорушки достигло апогея. . . Ему мало было Марусиной пенсии, и он начал «работать». Он занимал деньги у прислуги, шулерничал в картах, воровал у Маруси деньги и вещи. Однажды, идя рядом с Марусей, он вытащил из ее кармана два рубля, которые она скопила для того, чтобы купить себе башмаки. Один рубль он оставил себе, а на другой купил Калерии груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Приклонских, знакомые Маруси, теперь в глаза величали его «сиятельным шулером». Даже «девицы» в «Шато де Флер» недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать.

Маруся видела и понимала этот апогей распутства. . .

Бесцеремонность Калерии тоже шла *crescendo*.

— Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях, — сказала ей однажды Маруся.

— Ничего от этого вашим платьям не сделается, — ответила Калерия. — А ежели вы меня считаете воровкой, то. . . извольте. Я уйду.

И Егорушка, проклиная сестру, целую неделю провалялся у ног Калерии, прося ее не уходить.

Но недолго может продолжаться такая жизнь. Всякая повесть имеет конец, кончился и этот маленький роман.

Наступила масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую, вы предчувствуете весну. . .

В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси. . . Егорушки и Калерии не было дома.

— Я горю, Никифор, — говорила Маруся.

А Никифор хныкал и разъедал ее раны воспоминаниями о прошлом. . . Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытье. . . Описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Многое рассказал Никифор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы, пять лет тому назад проданной за долги.

— Выйдешь, бывало, на террасу. . . Весна это начинается. И боже мой! Глаз бы не отрывал от света божьего! Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием-с! Речка славная, глубокая. . . Маменька ваша во младости изволила рыбку ловить удочкой. . . Стоят над водой, бывалыча, по целым дням. . . Любили-с на воздухе быть. . . Природа!

Охрип Никифор, рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала всё то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо, и ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать. . . Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце. . . Хорошо жить!

— Голубчик, Никифор, — проговорила Маруся, сжав его сухую руку, — миленький. . . Займи мне завтра пять рублей. . . В последний раз. . . Можно?

— Можно-с. . . У меня только и есть пять. Возьми-те-с, а там бог пошлет. . .

— Я отдам, голубчик. Ты займи. . .

На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней Топоркова встретила ее новая горничная.

— Вы знаете? — спросила Марусю новая горничная, стаскивая с нее пальто. — Доктор меньше пяти рублей не берут за совет. . .

Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на рояле. Прием больных начался в десять часов. В двенадцать доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в два. Марусина очередь настала только тогда, когда было четыре часа.

Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожая от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле, против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья. . . Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек. . .

— Вы ездили в Самару? — спросил ее доктор. — Почему вы не ездили?

Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого легкого.

— Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, — сказал Топорков.

И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание.

— Не поеду, — прошептала она.

— Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи. . .

Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.

Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Ей показалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, оставил на нее свои очки.

Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле и страшно было идти домой, к Калерии.

— Я кончил, — сказал доктор. — Вы свободны.

Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.

«Не гоните меня!» — прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом.

Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла.

— Я люблю вас, доктор! — прошептала она.

И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее.

— Я люблю вас! — прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола.

А доктор? Доктор. . . покраснел первый раз за всё время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слышал он таких слов и в такой форме! Ни от одной женщины! Не ослышался ли он?

Сердце беспокойно заворчалось и застучало. . . Он конфузливо закашлялся.

— Миколаша! — послышался голос из соседней комнаты, и в полуотворенной двери показались две розовые щеки его купчихи.

Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придаться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения.

Когда, через десять минут, он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Топорков, красный, с стучающим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек и закоулочков платья посыпались на диван *его* рецепты, *его* карточки, визитные и фотографические. . .

Доктор брызнул водой в ее лицо... Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на доктора, задумалась. Ее занимал вопрос: где я?

— Люблю вас! — простонала она, узнав доктора. И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.

— Что же я могу сделать? — спросил он, не зная, что делать... Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным...

Локоть ее подогнулся и голова опустилась на диван, но глаза всё еще продолжали смотреть на него...

Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое... Тысяча непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза, с любовью и мольбой?

Он вспомнил раннее детство с чистой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодетельницы в тяжелых салопах, духовное училище, куда отдали его за «голос». Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда... Трудная дорога!

Наконец он победил, лбом своим пробил туннель к жизни, прошел этот туннель и... что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь...

Топорков искоса поглядел на десяти- и пятирублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел... Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, только для них...

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

— Что же я могу сделать? — прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза.

Ему стало стыдно этих глаз.

А что если она спросит: что ты сделал и что приобрел за всё время своей практики?

Пятирублевки и десятирублевки, и ничего больше! Наука, жизнь, покой — всё отдано им. А они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, всё то, одним словом, что называется комфортом.

Вспомнил Топорков свои семинарские «идеалы» и университетские мечты, и страшную, невылазную грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трехсотрублевые часы!

Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами. . .

— Не лежи здесь! — сказал он и отвернулся от дивана.

И, как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь. . . Около его золотых очков заблестали чужие глаза. И что за глаза! Так и хочется дотронуться до них пальцем!

— Дай мне чаю! — прошептала она.

.
На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Станный человек! Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее. . . Всю дорогу он постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстучать и выслушать на ее груди хоть маленькую надежду!

Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути.

Он всё отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня. . . Но не спасло солнце от мрака и. . . не цвести цветам поздней осенью!

Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней.

Топорков, по приезде из Франции, зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство. . . Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо. . .

Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка очень доволен.

Сноски

Сноски к стр. [395](#)

¹ малютка (франц.).

СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

(СТАТЬЯ НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ)

Первым читался реферат «О происхождении человека», посвященный памяти Дарвина. Ввиду того, что зала заседания соединена телефоном, реферат этот читался шёпотом. Почтенный референт заявил, что он вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд единогласно порешил: выразить обезьяне свое неудовольствие и довести обо всем до сведения г. прокурора(!). Из возражений наиболее выдаются следующие:

1. Французский делегат, вполне соглашаясь с мнением съезда, не находит, однако, способов уяснить себе возможность происхождения от обезьяны таких резких типов, как торжествующая свинья и плачущий крокодил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстрировал перед съездом изображения торжествующей свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен в тупик и постановил: отложить решение этого вопроса до следующей сессии и перед решением его заткнуть чем-нибудь телефонную трубку.

2. Германский делегат, он же и иностранный корреспондент [газеты «Русь»](#), склонен скорей думать, что человек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вместе. Всё человечество, по его мнению, гибнет от подражания иностранцам. (Из телефонной трубки слышен гул одобрения.)

3. Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так, русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхождение русского от сороки. Съезду, находившемуся под впечатлением [бушевских и макшеевских процессов](#), не трудно было согласиться с последним доказательством... («Times»).

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократам. Это, по-видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.

1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?

1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит...

1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на всё это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана 1 ½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; всё смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натошак по рюмке.

Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!

1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Госкует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!
Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.

НОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СТАРОЕ СРЕДСТВО

Сечение по своим симптомам аналогично перемежающейся лихорадке (*febris intermittens*). Перед сечением больной бледен от спазма периферических сосудов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, что вид начальства раздражает вазомоторный центр и *nervus oculomotorius*. Больной чувствует озноб. Во время сечения мы замечаем повышение температуры и гиперестезию кожи. После сечения больной чувствует жар. Он весь в поту.

На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин.

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, извините, и ночь не спавши...

— М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Также с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров

перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьею ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы). Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтoб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тьяни только долго, а дергай. Ты не тьяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый чёрт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

(РАССКАЗ ПОДСУДИМОГО)

— Быть, барин, беде! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебежавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С—ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли, — до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа — и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина.

— Да и вонь же у вас, синьор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

— Пахнет, как обыкновенно, — сказал он и почесался. — Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я уснул смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печи, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно увал на ширмы и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки — стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирихонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Какая оказия! — подумал я. — Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо...»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и... и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал

на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

— Это чёрт знает что такое! — услышал я в то же время женский голосок. — Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня, — сказал я возможно сладеньким голосом. — Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

— Ах, пожалуйста!

— В таком случае я сейчас... надену только шубу, — обрадовался я, — и принесу...

— Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь...

— А кто вас знает! Народ вы проезжий...

— Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более, что я доктор, — солгал я, — а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы доктор? Seriously?

— Честное слово. Так позвольте принести вам порошок?

— Ну, если вы доктор, то пожалуйста... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! — сказала брюнетка, понизив голос. — Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

— Вы очень любезны, доктор... — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. — Merci... И вас застала пурга?

— Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. — Да!

— Так-с... Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

— Можешь, — засмеялась Зиночка. — Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

— Зиночка, при постороннем человеке... (вздых). Вечно ты... Ей-богу...

— Свины, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шёпотом браниться.

— Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя. — Так их много, этих клопов! — Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

— Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! — услышал я шёпот после разговора об Эдисоне. — Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервцов не помог, а этот, может быть, и поможет.

— Спроси сам! — прошептала Зиночка.

— Доктор, — обратился ко мне Федя, — отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

— Это длинный разговор, сразу нельзя сказать... — попытался я увернуться.

— Ну, так что ж, что длинный? Время есть... всё одно, не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервцов... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

— Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

— Гм!.. — промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

122

Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. [Sic transit 0.05](#)

[Gloria mundi 1.0](#)

Aquae destillatae 0,1

Через два часа по столовой ложке.

Г-же Съеловой.

Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

— Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., — начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Ну, быть бане! — подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал...

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

АПТЕКАРСКАЯ ТАКСА

Тема А. Ч. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.



— Батюшки! Иван Иванович! В каком вы виде!!

— Жена заболела, в аптеке был... Микстуру для нее нужно было взять, да вот порошки... Спасибо — мне, по знакомству, скидку сделали: шляпу и галстук оставили... все-таки не так совестно, знаете ли, в галстучке...

В АПТЕКЕ

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхолненными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плешки на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— *Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!*¹

— *Ja!*¹ — послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

— *Ja!* — послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

— Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завопилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и

больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

— Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог эту напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоария и проч. За радикасами замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строго, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

— Сейчас... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоня из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Внесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

— Рубль шесть копеек? — забормотал он, конфузясь. — А у меня только всего один рубль... Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

— Этого нельзя... У нас кредита нет...

— Как же мне быть-то?

— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

— Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...

— Не знаю... Не мое дело...

— Гм... — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то сел отдохнуть раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку... Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

Сноски

Сноски к стр. [54](#)

¹ Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.).

Сноски к стр. [55](#)

¹ Да! (нем.).

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели, у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексея зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(ПОСЛЕДНИЕ ВЫВОДЫ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ НАУКИ)

— Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! — вздыхал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ошипанными, усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах. — Совеем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов... или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуны понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом.

— Вся беда в нас самих, — вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги. — Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет. Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь... ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

— А что такое общее образование? — робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

— Главное всего для нашего брата — приличная обстановка, — рассказывал он. — Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарнейшей квартирой и приличнейшей мебелью — раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом: «Доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

— Это верно... — согласился Петр Ильич. — Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня всё было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но... чёрт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то! Словно я не в свою квартиру попал или украл всё это... не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена... простая баба, никак не хочет понять, как соблюдать обстановку. То щами или гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных... чёрт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

— Значит, не привык к приличной жизни... Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то, прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачи не нам с тобой чета. На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, публикуй, что ты возвратился из-за границы, что бедных и учащихся лечишь бесплатно... Нужно также повесить объявление на вокзале, в буфетах... Много способов!

— Это верно! — вздохнул Петр Ильич.

— Многие также говорят, что, как ни обращайся с публикой, всё равно... Нет, не всё равно! С публикой надо уметь обращаться... Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорей к коновалу пойдет, чем к тебе... Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копать. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой... раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимают. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому прошу относиться ко мне с доверием», и этак, знаешь, величественно, трагически... А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами — всё страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

— И я рву недурно, Осип Францыч, но чёрт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

— Зуб сломается, не твоя вина.

— Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу... тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я всё тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу... ошалел! Больной видит по моему лицу — тово, что я швах, сомневаюсь, вскочил да от боли и злости как хватит меня табуретом! А то однажды ошалел тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

— Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. [И Боткин доктор](#), и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них, чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена 2 рубля, остерегаться подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир № 1 стоит 77 к., № 2 — 82 к. и т. д. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца...

— Вот поди же ты! — зажестикублировал он. — Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома имеете, а меня — табуретом! Да, действительно, плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!

ВРАЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ

От *насморка* полезен настой из «трын-травы», пить который следует натошак, по субботам.

Головокружение может быть прекращено следующим образом: возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной, вследствие чего твоя голова будет лишена возможности *кружиться*.

У *отравившегося* мышьяком старайся вызвать рвоту, для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в Охотном ряду.

При сильном и упорном *кашле* постарайся денька три-четыре не кашлять вовсе, и твоя хворь исчезнет сама собою.

ПСИХОПАТЫ

(СЦЕНКА)

Титулярный советник Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов, и сын его Гриша, отставной поручик — личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамыши, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.

— Болгария и Румелия — это одни только цветки, — говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах. — Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже... Англия вступится за Турцию.

— И Франция не утерпит... — как бы нерешительно замечает Нянин.

— Господи, опять о политике начали! — кашляет в соседней комнате жилец Федор Федорыч. — Хоть бы больного пожалели!

— Да, и Франция не утерпит, — соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча. — Она, брат, еще не забыла пять миллиардов! Она, брат... эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чемерицы насыпать! А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать — коммен зи гер¹, Иван Андреич, шпрехен зи дейч!..² Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов... Китай с Тонкином, афганцы... и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь...

Старик Нянин, от природы мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын — оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!.. Но что именно будет, где и когда, не знают ни отец, ни сын. Старик обыкновенно предается страху безмолвствуя, Гриша же не может без того, чтоб не раздражать себя и отца длинными словоизвержениями; он не успокоится, пока не напугает себя вконец.

— Вот ты увидишь! — продолжает он. — Ахнуть не успеешь, как в Европе пойдет всё шиворот-навыворот. Достанется на орехи! Тебе-то, положим, всё равно, тебе хоть трава не расти, а мне — пожалуйста-с на войну! Мне, впрочем, плевать... с нашим удовольствием.

Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру.

— Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и — айда за город! Лежи там с мертвецами! Некогда будет разбирать, болен ты или уже помер!

— Господи! — кашляет за перегородкой Федор Федорыч. — Мало того, что табаком начадили да сивухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить!

— Чем же, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? — спрашивает Гриша, возвышая голос.

— Не люблю невежества... Уж очень тошно.

— Тошно, так и не слушайте... Так-то, брат папаша, быть делам! Разведешь руками, да поздно будет. А тут еще в банках воруют, в земствах... Там, слышишь, миллион украли, там сто тысяч, в третьем месте тысячу... каждый день! Того дня нет, чтоб кассир не бегал.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, ан ничего нет, всё украдено. Взглянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры... Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет — украли! Вот тебе и что ж!

В конце концов Гриша принимается за [процесс Мироновича](#).

— И не думай, не мечтай! — говорит он отцу. — Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решительно ничего не значит. Какой бы ни был приговор, а темна вода во облацех! Положим, Семенова виновата... хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мироновича? Ежели, допустим, Миронович виноват, то куда ты сунешь [Семенову и Безака?](#) Туман, братец... Всё так бесконечно и туманно, что не удовлетворятся приговором, а без конца будут философствовать... Есть конец света? Есть... А что же за этим концом? Тоже конец... А что же за этим вторым концом? И так далее... Так и в этом процессе... Раз двадцать еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а только туману напустят... [Семенова сейчас созналась](#), а завтра она опять откажется — знать не знаю, ведать не ведаю. Опять [Карабчевский кружить начнет...](#) Наберет себе десять помощников и начнет с ними кружить, кружить, кружить...

— То есть как кружить?

— Да так: [послать за гирей водолазов под Тучков мост!](#) Хорошо, а тут сейчас [Ашанин](#) бумагу: не нашли гири! Карабчевский рассердится... Как так не нашли? Это оттого, что у нас настоящих водолазов и хорошего водолазного аппарата нет! Выписать из Англии водолазов, а из Нью-Йорка аппарат! Пока там гирю ищут, стороны экспертов треплют. А эксперты кружат, кружат, кружат. Один с другим не соглашается, друг другу лекции читают... [Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным...](#) и пошло, и пошло! Выписать новых экспертов, [позвать из Франции Шарко!](#) Шарко приедет и сейчас: не могу дать заключения, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потом, братец ты мой, насчет волос... Чьи были волосы? Не могли же они сами на полу вырасти, а чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеров! И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монбазон! Позвать сюда [Монбазон!](#) И пошло, и пошло. Всё завертится, закружится. А тут еще англичане-водолазы в Неве найдут не одну гирю, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящий убийца наверное туда десяток гирь бросил. Начнут гири осматривать. Первым делом: где они куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! «Г-н Подскоков, кто у вас

гири покупал?» — «Не помню». — «В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей!» Подскоков начнет припоминать да и вспомнит, что ты у него что-то когда-то покупал. Вот, скажет, покупали у меня товар такие-то и такие-то и между прочим титулярный советник Семен Алексеев Нянин! Подать сюда этого титулярного советника Нянина! Пожалуйста-с!

Нянин икает, встает из-за стола и, бледный, растерянный, нервно семенит по комнате.

— Ну, ну... — бормочет он. — Бог знает что!

— Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевский тебя глазами насквозь, насквозь! «Где, спросит, вы были в ночь под такое-то число?» А у тебя и язык прильпе к гортани. Сейчас сличат те волосы с твоими, [пошлют за Ивановским](#), и пожалуйста, г. Нянин, на цугундер!

— То... то есть как же? Все знают, что не я убил! Что ты?

— Это всё равно! Плевать на то, что не ты убил! Начнут тебя кружить и до того закружат, что ты встанешь на колени и скажешь: я убил! Вот как!

— Ну, ну, ну...

— Я ведь только к примеру. Мне-то всё равно. Я человек свободный, холостой. Захочу, так завтра же в Америку уеду! Ищи тогда, Карабчевский! Кружи!

— Господи! — стонет Федор Федорыч. — Хоть бы у них глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь или нет?

Нянин и Гриша умолкают. Обед кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоих сосет червь.

Сноски

Сноски к стр. [159](#)

¹ подойдите сюда (нем. kommen Sie her).

² говорите ли вы по-немецки? (нем. sprechen Sie deutsch?).

ИНДЕЙСКИЙ ПЕТУХ

(МАЛЕНЬКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ)

— Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! — говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. — У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! — только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..

— Что же мне делать? — робко спросил Маркел Иваныч.

— Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест... вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

— Что же мне тово... с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

— Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам... Ты у людей порасспроси... Люди всё знают... А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств!

— Пожалуй, я схожу в аптеку, — согласился Лохматов. — Пожалуй.

— И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного!

Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

— Вам что угодно? — спросил его в аптеке толстый лысый провизор с большими, пушистыми бакенами.

— Мне чего-нибудь этакого... — начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пушистые бакены. — У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

— Да, а что случилось?

— Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Всё время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.

Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

— А... гм... — промычал он. — Жар есть?

— Этого я вам не могу сказать, не знаю... Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! — ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

— В сарае нельзя... Теперь холодно.

— Хорошо, мы его в кухню возьмем... А жалко будет, ежели тово... околует. Без него индейки жить не могут.

— Какие индейки? — вытаращил глаза провизор.

— Обыкновенные... с перьями.

— Да вы про кого говорите?

— Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

— Я... не понимаю, — обиделся провизор.

— Не понимаете, какой это индейский петух? — в свою очередь не понял Лохматов. — Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский... большой такой, знаете ли, с хоботом на носу... и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, наохлится и — блы-блы-блы...

173

— Мы индюков не лечим... — пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

— Да их и лечить не нужно... Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего... Ведь это не человек, а птица... и от пустяка поможет.

— Извините, мне некогда.

— Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался.

— Вы говорите, что не пьет, не ест... что его слабит?

— Да-с... Крепительного чего-нибудь.

— Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

— Я вам порошок дам, — сказал провизор, кончив чтение.

— Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели бы он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

— В таком случае я вам капель дам.

— Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

— Да!¹ — откликнулся маленький черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, всё это ловко! — думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. — И на всё ведь это нужна наука!»

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

— Вам на десять копеек капель? — спросил он.

— Индейскому петуху.

— Что? — вытаращил глаза фармацевт.

— Индейскому петуху.

— С вами говорят по-человечески, — вспыхнул фармацевт, — вы и должны отвечать по-человечески.

— Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так, значит, и индейскому петуху. Не орлу же!

— Я это могу на свой счет принять! — нахохлился аптекарь.

— Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу.

— Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, побряхтел и лег на диван.

— Ну, что? был в аптеке? — набросилась на него Пелагея Петровна.

— Был... ну их к чёрту!

— Где же лекарство?

— Не дают! — махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

— Уу... так и дам по уху!

Сноски

Сноски к стр. [173](#)

¹ Да! (нем.).

СРЕДСТВО ОТ ЗАПОЯ

В город Д., в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроли известный чтец и комик г. Фениксов-Дикобразов 2-й. Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем; все видели, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но, тем не менее, когда из вагона показалась сивая, заспанная физиономия Дикобразова 2-го, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев, по русскому обычаю, троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе; за день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов 2-й играть не может.

— Не может! — объявил Почечуев, хватая себя за волосы. — Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами, что у нас будет Дикобразов, хвастали, ломались, забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость! А? Да за это повесить мало!

— Но в чем дело? Что случилось?

— Запил, проклятый!

— Экая важность! Проспится.

— Скорей издохнет, чем проспится! Я его еще с Москвы знаю: как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой! Это запой! Нет, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился! За что... за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? (Почечуев трагик и по профессии и по натуре: сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу.) И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями; но всё это имело характер философский или пророческий; дальше «суеты сует», «наплюйте» и «авось» никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней.

— А вы, Прокл Львович, — сказал он, — попробуйте полечить его.

— Запой никаким чёртом не вылечишь!

— Не говорите-с. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится.

Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор

Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова.

— Здорово, Федя! — обратился к нему Почечуев. — Я слышал, дружок, что ты того... лечишь от запоя. Сделай милость, не в службу, а в дружбу, полечи ты Дикобразова! Ведь, знаешь, запил!

— Бог с ним, — пробасил уныло Гребешков. — Актеров, которые попроще, купцов и чиновников я, действительно, пользую, а тут ведь знаменитость, на всю Россию!

— Ну, так что ж?

— Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвести. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию... «Как ты смел, — скажет, — собака, до моего лица касаться?» Знаем мы этих знаменитых!

— Ни-ни... не отвиливай, братец! Назвался груздем — полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!

Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов 2-й не отрывал от нее глаз и бормотал:

— Ты у меня повертись! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин, и тебя разобью, вот увидишь! А-а-а... и потолок вертится... Понимаю: заговор! Но лампа, лампа! Меньше всех, подлая, но больше всех вертится! Постой же...

Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое...

— Что такое!? — заревел он, поводя блуждающими глазами. — Кто ты? Откуда ты? А?

— А вот я тебе покажу, кто я... Пошел на кровать !

И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.

— Ты... ты ударил? По... постой, ты ударил?

— Ударил. Нешто еще хочешь?

И парикмахер ударил Дикобразова еще раз, по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары, или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.

— Ты... ты дерешься? — забормотал он. — Ты.. ты смеешь?

— Молчать!

И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии.

— Легче! Легче! — послышался из другой комнаты голос Почечуева. — Легче, Феденька!

— Ничего-с, Прокл Львович! Сами же потом благодарить станут!

— Все-таки ты полегче! — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. — Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай: среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире... Ах!

— Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежи, дьявол! — набросился Федор на комика. — Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что всё то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову.

— Караул! — закричал он. — Спасите! Караул!

— Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевелинешься, убью! Убью и не пожалею! Заступиться, брат, некому! Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то!

Гребешков вытащил из кармана полуштоф водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати.

— Пей! — сказал он, наливая пол-чайного стакана. — Разом!

Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот.

— Еще пей! — предложил Гребешков.

— Не... не хочу! По... постой...

— Пей, чтоб тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует.

— Пей еще! Пушай у тебя все внутренности выворотит, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неутомимого врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало таких

оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бранился, потом стал умолять, наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика.

— А ну тебя к чёрту! — сказал он, махая руками. — Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость! Околеет ведь, ну тебя к чёрту! Погляди: совсем ведь околел! Знал бы, ей-богу не связывался...

— Ничего-с... Сами еще благодарить будут, увидите-с... Ну, ты что еще там? — повернулся Гребешков к комику. — Влетит!

До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон.

На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся, — стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать.

— Отчего это у меня всё болит? — недоумевал он. — Точно по мне поезд прошел. Нешто водки выпить? Эй, кто там? Водки!

В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.

— Водки просит, стало быть, не выздоровел! — ужаснулся Почечуев.

— Что вы, батюшка, Прокл Львович? — удивился парикмахер. — Да нешто в один день вылечишь? Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же купец. Не скоро его проймешь.

— Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? — застонал Почечуев. — И в кого я несчастным таким уродился! И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб, и т. д.

Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов 2-й уже играл и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.

— Живуч человек! — удивлялся Почечуев. — Я чуть не помер, на его муки гляючи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого чёрта Федьку, в Москву с собой хочет взять! Чудеса, да и только!

ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА

Чтобы масло не прогоркло, съешь его поскорей.

От клопов. Поймай клопа и объясни ему, что растительная пища по количеству содержащихся в ней азотистых веществ и жиров несколько не уступает животной, и дружески посоветуй ему изменить режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять вверх палец и воскликнуть: «Косней же в злодействах, кровопийца!» и отпустить негодяя. Рано или поздно добро восторжествует над злом.

От прусаков. Известно, что прусаки завезены к нам из Германии, а потому вполне законно и основательно ходатайствовать о высылке их административным порядком на место родины.

От блох. Женись. Все твои блохи перейдут на жену, так как известно, что блохи охотнее кушают дам, чем мужчин. Последнее зависит не столько от качеств той или другой крови, сколько от приспособленности женских костюмов к удобнейшему расквартированию насекомых: просторно и вместе с тем уютно.

От моли. Посади себе в шубу десятка по два тарантулов и скорпионов, отдав каждому из них по отдельному участку.

От ячменя на глазу. Покажи больному кукиш. Если же субъект, украшенный ячменем, старше тебя чином, то покажи ему кукиш в кармане.

От безденежья. Возьми [Ротшильда](#), [барона Гинцбурга](#) и [Полякова](#), посади их играть с тобой в стуколку и валяй в крупную. Чем крупнее ставка, тем лучше. Если ты проиграл, то не отдавай, так как у твоих партнеров и без того много денег, если же выиграл, то твое счастье.

От начальнического гнева. Возьми начальника, поведи в баню и подставь его голову под холодный душ. Ежели

186

это не поможет, то обними начальника, поцелуй его, прослезись и скажи: «Забудем всё, что между нами было!» Если же и это не поможет, то похлопай начальника по животу и скажи: «Эх, дядя, дядя! Нам ли с тобой ссориться!» и проч.

От супружеской неверности. Возьми неверного супруга и повесь на его лбу вывеску: «Посторонним лицам строжайше воспрещается и проч. ...»

От сырости в доме. Посыпай стены детской присыпкой или оклей их газетной сушью...

ВОЛК

Помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, и следователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новенького, дед? — обратился Нилов к Максиму.

— Что новенького? — усмехнулся старик. — А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьца попросить.

— На что тебе ружье?

— Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности... Всё равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегают... Вчера ввечеру около деревни жеребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он, проклятый, сидит под ветлой и бьет себя лапой по морде. Я на него — «тю!», а он глядит на меня, как нечистая сила... Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску... Испугался я до смерти.

— Чёрт знает что... — пробормотал следователь. — Бешеный волк бегают, а мы тут шатаемся...

— Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

— Не станете же вы стрелять в волка дробью...

— Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

— Вам хорошо рассуждать! — вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. — Силища у вас — слава тебе господи, на десятерых хватит. Не то что тростью, вы и пальцем собаку уложите. Простой же смертный пока соберется поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история... Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил, как шальной, и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни... Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего — цап его бешеная собака! Человеком моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения... Засим можете себе вообразить томительное, гнетущее

ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь... Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения.

— А у нас на деревне лечат, барин! — сказал Максим. — Мирон кого угодно вылечит.

— Чепуха... — вздохнул Нилов. — Насчет Мирона всё это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Степку искусала собака и никакие Мироны не помогли... Как ни поили его всякою дрянью, а все-таки взбесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случись со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человека от случайностей и пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, яйца выеденного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал... Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закровов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло...

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку... Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатила к плотине.

«Волк!» — вспомнил Нилов.

Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, — соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. — Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и... и задущу его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним...

«Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный, скрипучий звук, повернул к нему морду и остановился. Он точно соображал: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком... — думал Нилов. — Ошеломить...»

Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу: он или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент,

когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ею левую подмышку, поднял волка на воздух. Всё это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, словно шпоры... Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся с страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, протянуть же морду к его лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль...

«Скверно! — думал Нилов, оттягивая возможно дальше назад свою голову. — Слюна его попала мне на губу. Стало быть, всё равно уже пропал, даже если и избавлюсь от него каким-нибудь чудом».

— Ко мне! — закричал он. — Максим! Ко мне!

Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу... Волк щелкал зубами, издавал скрипучие звуки и брызгал... Задние лапы его, ища опоры, ерзали по коленям Нилова... В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человеческие.

— Ко мне! — закричал еще раз Нилов. — Максим!

Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал не громко...

«Буду пятиться назад... — решил он. — Дойду задом до дверей и там крикну».

Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и по груди... Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя...

Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уж разжали пальцы и доказали ему, что волк убит... Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уж кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу... Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые им ужасы и опасность, которая для него только что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его в реку? — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение. — Отчего в реку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши кое-как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадьми, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком.

Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

— Дед, — обратился он к Максиму, — вези меня к Мирону! Скорей! Идем, садись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шёпотом:

— Не надо, барин, к Мирону ехать... И я, извините, лечить умею.

— Хорошо, только скорее, пожалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной, теплой жидкости с полынным вкусом.

— А Степка умер... — пробормотал Нилов. — Допустим, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Овчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменял лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам...

Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван.

— Доктор! — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица. — Григорий Иваныч! Делайте со мной что хотите, но дольше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

— Вам нужно лечь в постель, — сказал Овчинников.

— Ах, подите вы с вашим лежаньем! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну да займитесь же мною бога ради! Что мне делать? Вот что, не поехать ли мне к профессору?

— Это всё равно. Поезжайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаеться, пока... то успеешь раз десять взбеситься. Я готов теперь всё состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же ради бога! Не понимаю этого возмутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой мухе завидую... я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал...

— Послушайте, — начал утешать его Овчинников. — Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевает только тридцать. Потом, что очень важно, волк кусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану и попал яд, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде.

— Вы думаете? Утешаете вы или серьезно?

— Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте! Овчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни.

— Стало быть, вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, кончив чтение. — Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк или здоровый.

— М-да... — согласился Нилов, улыбаясь. — Теперь понятно, конечно... Стало быть, всё это чепуха?

— Разумеется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной... — засмеялся Нилов, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этаким, я покоен... Я доволен и даже счастлив, ей-богу... Нет, честное слово... даже.

Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилев от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левою рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестящие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила и всё крыльцо затрепетало под ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! — думал Овчинников, с умилением глядя на его большую спину. — Какой молодец!»

Севши в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с волком.

— Была игра! — кончил он, весело смеясь. — Будет о чем вспомнить в старости. Погоняй, Тришка!

АПТЕКАРША

Городишко Б., состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко, должно быть, за городом, жидким, охрипшим тенорком лает собака. Скоро рассвет.

Всё давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б—ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней — и неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна, в одной сорочке, и глядит на улицу. Ей душно, скучно, досадно... так досадно, что даже плакать хочется, а отчего — опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу... Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам Черномордик. Жадная блоха впиалась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, так что аптекарше далеко видно поле... Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена).

Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса.

«Это офицеры от исправника в лагерь идут», — думает аптекарша.

Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше... Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна.

— Аптекой пахнет... — говорит тонкий. — Аптека и есть! Ах, помню... На прошлой неделе я здесь был, касторку покупал. Тут еще аптекарь с кислым лицом и с ослиной челюстью. Вот, батенька, челюсть! Такой именно Сампсон филистимлян избивал.

— М-да... — говорит толстый басом. — Спит фармация! И аптекарша спит. Тут, Обтесов, аптекарша хорошенькая.

— Видел. Мне она очень понравилась... Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Неужели?

— Нет, вероятно, не любит, — вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря. — Спит теперь мамочка за окошечком! Обтесов, а? Раскинулась от жары... ротик полуоткрыт... и ножка с кровати свесилась. Чай, болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит... Ему, небось, что женщина, что бутылка с карболкой — всё равно!

— Знаете что, доктор? — говорит офицер, останавливаясь. — Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь! Аптекарь, быть может, увидим.

— Выдумал — ночью!

— А что же? Ведь они и ночью обязаны торговать. Голубчик, войдемте!

— Пожалуй...

Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ноту туфли и бежит в аптеку.

За стеклянной дверью видны две тени... Аптекарша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входят толстяк доктор и тонкий Обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст.

— Что вам угодно? — спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье.

— Дайте... эээ... на пятнадцать копеек мятных лепешек!

Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину; доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен.

— Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует, — говорит доктор.

— Тут ничего нет особенного... — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова. — Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю.

— Тэк-с... А у вас миленькая аптечка! Сколько тут разных этих... банок! И вы не боитесь вращаться среди ядов! Бррр!

Аптекарша запечатывает пакетик и подает его доктору. Обтесов подает ей пятиалтынный. Проходит полминуты в молчании... Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются.

— Дайте на десять копеек соды! — говорит доктор.

Аптекарша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке.

— Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь эдакого... — бормочет Обтесов, шевеля пальцами, — чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги... зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода?

— Есть, — отвечает аптекарша.

— Bravo! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка нам бутылочки три!

Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью.

— Фрукт! — говорит доктор, подмигивая. — Такого ананаса, Обтесов, и на острове Мадейре не сыщете. А? Как вы думаете? Однако... слышите храп? Это сам господин аптекарь изволят почивать.

Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок. Она только что была в погребке, а потому красна и немножко взволнованна.

— Тсс... тише, — говорит Обтесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор. — Не стучите так, а то мужа разбудите.

— Ну, так что же, если и разбужу?

— Он так сладко спит... видит вас во сне... За ваше здоровье!

— И к тому же, — басит доктор, отрыгивая после зельтерской, — мужья такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если б всегда спали. Эх, к этой водиче да винца бы красненького!

— Чего еще выдумали! — смеется аптекарша.

— Великолепно бы! Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов! Впрочем... вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас *vinum gallicum rubrum*?¹

— Есть.

— Ну вот! Подавайте нам его! Чёрт его подери, тащите его сюда!

— Сколько вам?

— *Quantum satis!*..² Сначала вы дайте нам в воду по унцу, а потом мы увидим... Обтесов, а? Сначала с водой, а потом уже *per se*..³

Доктор и Обтесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино.

— А вино, надо сознаться, препаскуднейшее! *Vinum plochissimum!* Впрочем, в присутствии... эээ... оно кажется нектаром. Вы восхитительны, сударыня! Целую вам мысленно ручку.

— Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это не мысленно! — говорит Обтесов. — Честное слово! Я отдал бы жизнь!

— Это уж вы оставьте... — говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо.

— Какая, однако, вы кокетка! — тихо хохочет доктор, глядя на нее исподлобья, плутовски. — Глазенки так и стреляют! Пиф! паф! Поздравляю: вы победили! Мы сражены!

Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело! Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже, после долгих просьб покупателей, выпивает унца два красного вина.

— Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили, — говорит она, — а то тут ужас какая скука. Я просто умираю.

— Еще бы! — ужасается доктор. — Такой ананас... чудо природы и — в глуши! Прекрасно выразился Грибоедов: «В глушь! в Саратов!» Однако нам пора. Очень рад познакомиться... весьма! Сколько с нас следует?

Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами.

— Двенадцать рублей сорок восемь копеек! — говорит она.

Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.

— Ваш муж сладко спит... видит сны... — бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.

— Я не люблю слушать глупостей...

— Какие же это глупости? Наоборот... это вовсе не глупости...
Даже [Шекспир](#) сказал: «Блажен, кто смолоду был молод!»

— Пустите руку!

Наконец покупатель, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки.

А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит, а отчего — она и сама не знает... Бьется сердце сильно, точно те двое, шепчась там, решают его участь.

Минут через пять доктор отделяется от Обтесова и идет дальше, а Обтесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой... То остановится около двери, то опять зашагает... Наконец осторожно звякает звонок.

— Что? Кто там? — вдруг слышит аптекарша голос мужа. — Там звонят, а ты не слышишь! — говорит аптекарь строго. — Что за беспорядки!

Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку.

— Чего... вам? — спрашивает он у Обтесова.

— Дайте... дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек.

С бесконечным сопеньем, зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку...

Спустя две минуты аптекарша видит, как Обтесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор... Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане.

— Как я несчастна! — говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. — О, как я несчастна! — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. — И никто, никто не знает...

— Я забыл пятнадцать копеек на прилавке, — бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. — Спрячь, пожалуйста, в конторку...

И тотчас же засыпает.

Сноски

Сноски к стр. [195](#)

¹ красное французское вино (лат.).

² Сколько потребуется!.. (лат.).

³ чистого... (лат.).

АХ, ЗУБЫ!

У Сергея Алексеича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы.

По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов: ревматическая, нервная и костоедная; но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам чёрт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегаёт из угла в угол и орёт благим матом...

— Да помогите же мне! — кричит он, топая ногами. — Застрелюсь, чёрт вас возьми! Повешусь!

Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька вымазала ему десны йодом... Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче... Остается одно только неиспробованное средство — пустить себе пулю в лоб или, выпивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать... Но вот наконец находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую, в дом Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево — по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская... Мелькают [Сиу](#), [Филиппов](#), [Айе](#), [Габай](#)... Вот, наконец, вывеска: «Зубной врач Я. А. Каркман». Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегаёт вверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь.

— Дома? Принимает? — спрашивает он горничную.

— Пожалуйста, принимают...

— Уф! Снимай пальто! Скоррей!

Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли. Как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком, он вбегает в приемную, и...о ужас! Приемная битком набита публикой. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди...

— Но я страдаю! — кипятится он. — Чёрт возьми, я переживаю ужасные минуты!

— Мало ли что! — говорят ему равнодушно. — Нам тоже не весело.

Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в укусе вымыто, на глазах слезы...

— Это ужасно! — стонет он. — Ох, уми-ра-а-ю!

— Бедный молодой человек! — вздыхает сидящая возле него дама. — Я страдаю не меньше вас: меня родные дети выгнали из моего же собственного дома!

Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительною целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин всё еще сидит в кресле и стонет. Дома давно уже пообедали и скоро примутся за вечерний чай, а он всё сидит. Зуб же с каждой минутой становится всё злее и злее...

Но вот проходит мучительная вечность и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с кресла и летит в кабинет.

— Бога ради! — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. — Умоляю!

— Что-с? Что вам угодно? — спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондин в очках.

— Рвите! Рвите! — задыхается Дыбкин.

— Кого рвать?

— А, боже мой! Зуб!

— Странно! — пожимает плечами блондин. — Мне, г. шутник, некогда, и я прошу вас сказать: что вам угодно?

Дыбкин раскрывает рот, как акула, и стонет:

— Рвите, рвите! Кто умирает, тому не до шуток! Рвите, бога ради!

— Гм... Если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу.

Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо смотрит на блондина.

— Да-с, я адвокат!.. — продолжает блондин. — Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Каркману. Он живет этажом ниже...

— Э-та-жом ни-же? — поражается Дыбкин. — Чёрт же меня возьми совсем! Ах, я скотина! Ах, я подлец!

Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно: пустить себе пулю в лоб... если же нет под руками револьвера, то выпить залпом три бутылки коньяку и т. д.

ТИФ

В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих, ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям, зажиточный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему:

— Га, вы офицер! У меня тоже брат офицер, но только он морьяк... Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?

— Я там служу.

— Га! А вы семейный?

— Нет, я живу с теткой и сестрой.

— Мой брат тоже офицер, морьяк, но он семейный, имеет жена и три ребенка. Га!

Чухонец чему-то удивлялся, идиотски-широко улыбался, когда восклицал «га!», и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому нездоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон.

«Противный народ эти чухонцы и... греки, — думал он. — Совсем лишний, ни к чему не нужный, противный народ. Занимают только на земном шаре место. К чему они?»

И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом.

Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса:

— Готова почта?

— Готова!

Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр, что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым — всё это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого

кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался поудобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим «га!» и вновь засыпал, а ноги поручика всё никак не укладывались на диване, и грозящие образы всё стояли перед глазами.

В Спирове он вышел на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть.

«И как они могут есть!» — думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнущего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, — то и другое казалось ему противным до тошноты.

Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.

Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую погоду.

— Га! — удивился он. — Это какая станция?

— Не знаю, — ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.

— А в Твери когда мы будем?

— Не знаю. Извините, я... я не могу отвечать. Я болен, простудился сегодня.

Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уж более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.

— Почта готова? — донесся издали глухой голос.

— Готова! — ответил бас почти у самого окна.

Это была уже вторая или третья станция от Спирова.

Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, в спину дуло от окна, но, как ни мучительно было, ему уж не хотелось переменять свое положение... Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.

Когда он решил поднять голову, в вагоне было уже светло. Пассажиры надевали шубы и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых фартуках и с бляхами сутились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел

шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально он получил багаж и нанял извозчика. Извозчик запросил с него до Поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно, послушно сел в сани. Разницу в числах он еще понимал, но деньги для него уже не имели никакой цены.

Дома Климова встретили тетка и сестра Катя, восемнадцатилетняя девушка. В руках Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов.

Очнувшись, он увидел себя в своей постели, раздетым, увидел графин с водой и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки по-прежнему не укладывались, язык прилипал к нёбу, и слышалось всхлипывание чухонской трубки... Возле кровати, толкая своей широкой спиной Павла, суетился плотный чернобородый доктор.

— Ничего, ничего, юноша! — бормотал он. — Отлично, отлично... Тэк, тэк...

Доктор называл Климова юношей, вместо «так» говорил «тэк», вместо «да» — «дэ»...

— Дэ, дэ, дэ, — сыпал он. — Тэк, тэк... Отлично, юноша... Не надо унывать!

Быстрая, небрежная речь доктора, его сытая физиономия и снисходительное «юноша» раздражили Климова.

— Зачем вы зовете меня юношей? — простонал он. — Что за фамильярность? К чёрту!

И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать. — Отлично, отлично, — забормотал доктор, несколько не обижаясь. — Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне... Дневной свет в спальней то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не отходил от кровати, и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Через спальную непрерывно тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов видел своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с требником в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик вспомнил, что о. Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал «ляхами», и, желая посмешить его, крикнул:

— Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!

Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз за разом бесшумно входили и выходили две тени. То были тетка и сестра. Тень сестры становилась на колени

и молилась: она кланялась образу, кланялась на стене и ее серая тень, так что богу молились две тени. Всё время пахло жареным мясом и трубкой чухонца, но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты и стал кричать:

— Ладан! Унесите ладан!

Ответа не было. Слышно было только, как где-то негромко пели священники и как кто-то бегал по лестнице.

Когда Климов очнулся от забытья, в спальне не было ни души. Утреннее солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес — значит, снега уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого и щекочущего смеха. Всем его существом, от головы до ног, овладело ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир. Климов страстно захотел движения, людей, речей. Тело его лежало неподвижным пластом, шевелились одни только руки, но он это едва заметил и всё внимание свое устремил на мелочи. Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина, как мил и симпатичен доктор, как вообще хороши и интересны люди.

— Дэ, дэ, дэ... — сыпал доктор. — Отлично, отлично... Теперь уж мы здоровы... Тэк, тэк.

Поручик слушал и радостно смеялся. Вспомнил он чухонца, даму с белыми зубами, окорок, и ему захотелось курить, есть.

— Доктор, — сказал он, — прикажите дать мне корочку ржаного хлеба с солью и... и сардин.

Доктор отказал, Павел не послушался приказания и не пошел за хлебом. Поручик не вынес этого и заплакал, как капризный ребенок.

— Малюточка! — засмеялся доктор. — Мама, бай, а-а!

Климов тоже засмеялся и, по уходе доктора, крепко уснул. Проснулся он с тою же радостью и с ощущением счастья. Возле постели сидела тетка.

— А, тетя! — обрадовался он. — Что у меня было?

— Сыпной тиф.

— Вот что. А теперь мне хорошо, очень хорошо! Где Катя?

— Дома нет. Вероятно, зашла куда-нибудь с экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась к чулку; губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение доктора, она проговорила:

— Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!

Она уронила чулок и нагнулась за ним, и в это время с головы ее свалился чепец. Взглянув на ее седую голову и ничего не понимая, Климов испугался за Катю и спросил:

— Где же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

— Заразилась от тебя тифом и... и умерла. Третьего дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость целиком вошла в сознание Климова, но, как ни была она страшна и сильна, она не могла победить животной радости, наполнявшей выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть.

Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо и прислушался к неприятному стуку старых рельсов, которые провозили мимо, сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме.

— Какой я несчастный! — забормотал он. — Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

— Ребята, пустите с дороги, старшина с писарем идет!

— Герасиму Алпатычу, с праздником! — гудит толпа навстречу старшине.
— Дай бог, чтоб, значит, Герасим Алпатыч, не вам, не нам, а как богу угодно.

Подгулявший старшина хочет что-то сказать, но не может. Он неопределенно шевелит пальцами, пучит глаза и надувает свои красные опухшие щеки с такой силой, как будто берет самую высокую ноту на большой трубе. Писарь, маленький, куцый человек с красным носиком и в жокейском картузе, придает своему лицу энергическое выражение и входит в толпу.

— Который тут утоп? — спрашивает он. — Где утопленный человек?

— Вот этот самый!

Длинный, тощий старик, в синей рубахе и лаптях, только что вытащенный мужиками из воды и мокрый с головы до пят, расставив руки и разбросав в стороны ноги, сидит у берега на луже и лепечет:

— Святители угодники... братцы православные... Рязанской губернии, Зарайского уезда... Двух сынов поделил, а сам у Прохора Сергеева... в штукатурах. Таперича, это самое, стало быть, дает мне семь рублей и говорит: ты, говорит, Федя, должен тепереча, говорит, почитать меня заместо родителя. Ах, волк те заешь!

— Ты откеда? — спрашивает писарь.

— Заместо, говорит, родителя... Ах, волк те заешь! Это за семь-то рублей?

— Вот этак лопочет и сам не знает по-каковски, — кричит сотский Анисим не своим голосом, мокрый по пояс и, видимо, встревоженный происшествием. — Дай я тебе объясню, Егор Макарыч! Ребята, стой, не галди! Я желаю всё как есть Егору Макарычу... Идет он, значит, из Курнева... Да погоди, ребята, не болтай зря! Идет он, значит, из Курнева, и понесла его нелегкая бродом. Человек, значит, выпивши, не в своем уме, полез сдуру в воду, а его с ног сшибло и зачало вертеть, как щепку. Кричит благим матом, а тут я с Ляксандрой... Чего такое? По какому случаю человек кричит? Видим, тонет... Что тут делать? Бросай, кричу, Ляксандра, к шуту гармонию, мужика спасать! Лезем прямо, как есть, а там вертит и крутит, вертит и крутит — спаси, царица небесная! Попали в самую вертячую... Он его за рубаху, я за волосья. Тут прочий народ, который увидел, бежит на берег, крик подняли... каждому спасать душу желается... Замучились, Егор Макарыч! Не подоспей мы вовремя, совсем бы утоп ради праздника...

— Как тебя звать? — спрашивает писарь утопленного. — Какого происхождения?

Тот бессмысленно поводит глазами и молчит.

— Очумел! — говорит Анисим. — И как не очуметь? Почитай, полное брюхо воды. Милый человек, как тебя звать? Молчит! Какая в нем жизнь? Видимость одна, а душа небось наполовину вышла... Экое горе ради праздника!

Что тут прикажешь делать? Помрет, чего доброго... Погляди, как рожа-то посинела!

— Послушай, ты! — кричит писарь, трепля утопленника за плечо. — Ты! Отвечай, тебе говорю! Какого ты происхождения? Молчишь, словно тебе весь мозух в голове водой залило. Ты!

— Это за семь-то рублей? — бормочет утопленник. — Поди ты, говорю, к псу... Мы не желаем...

— Чего ты не желаешь? Отвечай явственно!

Утопленник молчит и, дрожа всем телом от холода, стучит зубами.

— Одно только звание, что живой, — говорит Анисим, — а поглядеть, так и на человека не похож. Капель бы ему каких...

— Капель... — передразнивает писарь. — Какие тут капли? Человек утоп, а он — капли! Откачивать надо! Что рты поразевали? Народ бесчувственный! Бегите скорей в волостное за рогожей да качайте!

Несколько человек срываются с места и бегут к деревне за рогожей. На писаря находит вдохновение. Он засучивает рукава, потирает ладонями бока и делает массу мелких телодвижений, свидетельствующих об избытке энергии и решимости.

— Не толпитесь, не толпитесь, — бормочет он. — Которые лишние, уходите! Поехали за урядником? А вы бы уходили, Герасим Алпатыч, — обращается он к старшине. — Вы назююкались, и в вашем интересном положении самое лучшее теперь сидеть дома.

Старшина неопределенно шевелит пальцами и, желая что-то сказать, так надувает лицо, что оно того и гляди лопнет и разлетится во все стороны.

— Ну, клади его, — кричит писарь, когда приносят рогожу. — Берите за руки и за ноги. Вот так. Теперь кладите.

— Поди ты, говорю, к псу, — бормочет утопленник, не сопротивляясь и как бы не замечая, что его поднимают и кладут на рогожу. — Мы не желаем.

— Ничего, ничего, друг, — говорит ему писарь, — не пужайся. Мы тебя малость покачаем и, бог даст, придешь в чувство. Сейчас приедет урядник и составит протокол на основании существующих законов. Качай! Господи благослови!

Восемь дюжих мужиков, в том числе и сотский Анисим, берутся за углы рогожи; сначала они качают нерешительно, как бы не веря в свои силы, потом же, войдя мало-помалу во вкус, придают своим лицам зверское, сосредоточенное выражение и качают с жадностью и с азартом. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгивают, точно хотят вместе с утопленником взлететь на небо.

— Рраз! раз! раз! раз!

Вокруг них бегаёт куцый писарь и, вытягиваясь изо всех сил, чтобы достать руками рогожу, кричит не своим голосом:

— Шибче! Шибче! Все сразу, в такт! Раз! раз! Анисим, не отставай, прошу тебя убедительно! Раз!

Во время короткой передышки из рогожи показываются всклокоченная голова и бледное лицо с выражением недоумения, ужаса и физической боли, но тотчас исчезают, потому что рогожа вновь летит вверх направо, стремительно опускается вниз и с треском взлетает вверх налево. Толпа зрителей издает одобрительные звуки:

— Так его! Потрудитесь для души! Спасибо!

— Молодчина, Егор Макарыч! Потрудись для души, — это правильно!

— А уж мы его, братцы, так не отпустим! Как, значит, станет на ноги, в ум придет, — ставь ведро за труды!

— Ах, в рот те дышло с маком! Гляди-кась, братцы, шмелевская барыня с приказчиком едет. Так и есть. Приказчик в шляпе.

Около толпы останавливается коляска, в которой сидит полная пожилая дама, в *rinse-pez* и с пестрым зонтиком; спиной к ней, на козлах, рядом с кучером, сидит приказчик — молодой человек, в соломенной шляпе. У барыни лицо испугано.

— Что такое? — спрашивает она. — Что это делают?

— Утоплого человека откачиваем! С праздником! Маленько выпивши, потому, собственно, такое дело — нынче поперек всей деревни с образами ходили! Праздник!

— Боже мой! — ужасается барыня. — Они утопленника откачивают! Что же это такое? Этьен, — обращается она к приказчику, — подите, ради бога, скажите им, чтобы они не смели этого делать. Они уморят его! Откачивать — это предрассудок! Нужно растирать и искусственное дыхание. Идите, я вас прошу!

Этьен прыгает с козел и направляется к качающим. Вид у него строгий.

— Что вы делаете? — кричит он сердито. — Нешто можно человека откачивать?

— А то как же его? — спрашивает писарь. — Ведь он утопый!

— Так что же, что утопый? Обмерших от утонутя надо не откачивать, а растирать. Так в каждом календаре написано. Будет вам, бросьте!

Писарь конфузливо пожимает плечами и отходит в сторону. Качающие кладут рогожу на землю и удивленно глядят то на барыню, то на Этьена. Утопленник уже с закрытыми глазами лежит на спине и тяжело дышит.

— Пьяницы! — сердится Этьен.

— Милый человек! — говорит Анисим, запыхавшись и прижимая руку к сердцу. — Степан Иваныч! Зачем такие слова? Нешто мы свиньи, не понимаем?

— Не смей качать! Растирать нужно! Берите его, растирайте! Раздевайте скорей!

— Ребята, растирать!

Утопленника раздевают и под руководством Этьена начинают растирать. Барыня, не желающая видеть голого мужика, отъезжает поодаль.

— Этьен! — стонет она. — Этьен! Подите сюда! Вы знаете, как делается искусственное дыхание? Нужно переворачивать с боку на бок и давить грудь и живот.

— Поворачивайте его с боку на бок! — говорит Этьен, возвращаясь от барыни к толпе. — Да живот ему давите, только полегче.

Писарь, которому после кипучей, энергической деятельности становится как-то не по себе, подходит к утопленнику и тоже принимается растирать.

— Старайтесь, братцы, убедительно вас прошу! — говорит он. — Убедительно вас прошу!

— Этьен! — стонет барыня. — Подите сюда! Давайте ему нюхать жженные перья и щекочите... Велите щекотать! Скорей, ради бога!

Проходит пять, десять минут... Барыня глядит на толпу и видит внутри ее сильное движение. Слышно, как пыхтят работающие мужики и как распоряжаются Этьен и писарь. Пахнет жжеными перьями и спиртом. Проходит еще десять минут, а работа все продолжается. Но вот, наконец, толпа расступается, и из нее выходит красный и вспотевший Этьен. За ним идет Анисим.

— Надо было бы с самого начала растирать, — говорит Этьен. — Теперь уж ничего не поделаешь.

— Где уж тут поделать, Степан Иваныч! — вздыхает Анисим. — Поздно захватили!

— Ну, что? — спрашивает барыня. — Жив?

— Нет, помер, царство ему небесное, — вздыхает Анисим, крестясь. — О ту пору, как из воды вытащили, подвижность в нем была и глаза раскрывши, а теперича заоченел весь.

— Как жаль!

— Значит, планида ему такая, чтоб не на суше, а в воде смерть принять. На чаек бы с вашей милости!

Этьен вскакивает на козла, и кучер, оглянувшись на толпу, которая сторонится от мертвого тела, бьет по лошадям. Коляска катит дальше.

ДОКТОР

В гостиной было тихо, так тихо, что явственно слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна, глядела на цветочную клумбу и думала. Доктор Цветков, ее домашний врач и старинный знакомый, приглашенный лечить Мишу, сидел в кресле, покачивал своею шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них в гостиной и в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах, под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени.

Молчание было прервано Ольгой Ивановной.

— Более ужасного несчастья и придумать нельзя, — сказала она, не оборачиваясь от окна. — Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены.

— Да, я знаю это, — сказал доктор.

— Никакой цены! — повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул. — Он для меня всё. Он моя радость, мое счастье, мое богатство, и если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он... умрет, то от меня останется одна только тень. Я не переживу.

Ломая руки, Ольга Ивановна прошла от одного окна к другому и продолжала:

— Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом, вы это помните, но, боже мой, разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена, но теперь я мать... понимаете? я мать и больше знать ничего не хочу. Между теперешним и прошлым целая пропасть.

Наступило опять молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты.

— Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды, — сказала хозяйка, оборачиваясь. — Что же вы молчите?

— Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга, но ее нет, — ответил Цветков. — Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают.

— Николай, вы уверены в том, что не ошибаетесь?

— Такие вопросы ни к чему не ведут. Я готов отвечать сколько угодно, но от этого нам не станет легче.

Ольга Ивановна припала лицом к оконной драпировке и горько заплакала. Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной, затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать.

— Послушайте, Ольга, — начал он. — Уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас о кое-чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом... после...

Он опять сел и задумался. Горький, умоляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс.

— Миша, болит голова? — спросил он.

Миша ответил не сразу:

— Да. Мне всё снится.

— Что же тебе снится?

— Всё...

Доктор, не умеющий говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал:

— Ничего, бедный мальчик, ничего... На этом свете нельзя прожить без болезней... Миша, кто я? Ты узнаешь?

Миша не отвечал.

— Очень голова болит?

— О... очень. Мне всё снится.

Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор не спеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом.

— Зажечь огонь? — спросил Цветков.

Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука, точно весь мир заодно с доктором думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего, одуряющего мигрени.

— Николай Трофимыч! — позвала она. — Послушайте, а если позвать консилиум?

— Хорошо, я приглашу завтра.

По тону доктора легко можно было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты.

— Если он страдает, то почему же он молчит? — спросила Ольга Ивановна. — За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет. Я знаю, бог берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!

Оркестр кончил марш и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс.

— Господи, да неужели нельзя ничем помочь? — простонала Ольга Ивановна. — Николай! Ты доктор и должен знать, что делать! Поймите, что я не перенесу этой потери! Я не переживу!

Доктор, не умевший говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прошел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадрили, польку и еще кадрили. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор всё время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по получасу и возвращалась в гостиную; то и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось, — и вечер, казалось, не имел конца.

В полночь, когда оркестр сыграл котильон и умолк, доктор собрался уезжать.

— Я завтра приеду, — сказал он, пожимая холодную руку хозяйки. — Вы ложитесь спать.

Надевши в передней пальто и взявши в руки трость, он постоял, подумал и вернулся в гостиную.

— Я, Ольга, завтра приеду, — повторил он дрожащим голосом. — Слышите?

Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим, нежным полушёпотом, который совсем не шел к его солидной, тяжелой фигуре:

— Ольга! Во имя вашего горя, которое я разделяю... Теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик мой сын. Правда ли это?

Ольга Ивановна молчала.

— Вы были единственной привязанностью в моей жизни, — продолжал Цветков, — и вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось ложью... Ну, прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни скажите мне правду... В эти минуты невозможно лгать... Скажите, что Миша не мой сын... Я жду.

— Он ваш.

Лицо Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову слышалось колебание. Он вздохнул и поднялся.

— Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь, — сказал он своим обыкновенным голосом. — У вас нет ничего святого! Послушайте, поймите меня... В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлы, но кроме вас в жизни я никого не любил. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? К чему?

— Я вас не понимаю.

— А, боже мой! — крикнул Цветков. — Вы лжете, вы отлично понимаете! — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью. — Или вы забыли? Так я же вам напомним! Отческие права на этого мальчика в

одинаковой степени разделяют со мной и Петров, и адвокат Куровский, которые, так же как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына! Да-с! Всё это мне отлично известно! Я прощаю прошлую ложь, бог с нею, но теперь, когда вы постарели, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня! Как я жалею, что не умею говорить! Как жалею!

Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил:

— Дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты! Она и теперь лжет так же свободно, как девять лет тому назад в ресторане «Эрмитаж»! Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги! Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика! Вы лжете! Это низко!

Цветков стукнул тростью по полу и крикнул:

— Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Вас надо презирать, и я должен стыдиться своего чувства! Да! Ваша ложь во все девять лет стоит у меня поперек горла, я терпел ее, но теперь — довольно! Довольно!

Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, послышался плач... Цветков замолчал и крикнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая.

— Я вышел из себя, — бормотал он, низко нагибаясь к полу. — Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня... Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайтесь внимания.

Он нашел шляпу и направился к темному углу.

— Я оскорбил вас, — сказал он тихим, нежным полушёпотом. — Но еще раз умоляю вас, Ольга. Скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь... Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петров и Куровский не составляют для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду.

Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала:

— Николай, я не лгу. Миша ваш.

— Боже мой, — простонал Цветков, — так я же вам скажу еще больше: у меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши! Ольга, я знаю правду, но мне хочется слышать ее от вас! Слышите?

Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел.

— Я завтра приеду, — крикнул он из передней.

Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал:

— Как жаль, что я не умею говорить! У меня нет дара убеждать и уверять. Очевидно, она не понимает меня, если лжет! Очевидно! Как же ей объяснить? Как?

КРАСАВИЦЫ

I

Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушке богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую, стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук; головка эта неумело приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары; ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством: не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания.

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижжённого солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах...

Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом ляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряские дороги. Я слушал бормотанье двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкап с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем, и мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам...

Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул:

— Машя! Ступай наливай чай! Где ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуда и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Сядя за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел

обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота.

Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

— Это ваша дочка, Авет Назарыч?

— Дочка. Это дочка... — ответил хозяин.

— Хорошая барышня, — похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама.

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит всё время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов.

«Это оттого, — думал я, — что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик».

Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была

неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу.

После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчи-Салах, стоял на припеке; не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними:

— А-а-а, окаянные! А-а-а... нету на вас холеры! Бойтесь?

Лошади, гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами, в другом дворе, бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадьми.

Ступени, на которых я сидел, были горячи; на жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей; под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери и вместо ее на пороге показалась старая, сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече; красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб, потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен:

— А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!

И всё время потом слышал я не переставая шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробежала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею.

И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как всё на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее «наза-ад!» Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, всё время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

— А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади.

II

В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.

На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходявшего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и не надолго.

— Что вы тут смотрите? — спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17—18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно брошенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.

Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.

Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, всё же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

— Тэк-с... — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это «тэк-с», не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:

— Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться — выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка, быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое,

обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой. . .

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошла по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

ПРИПАДОК

I

Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С — в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.

Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств — среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им ты. Но, несмотря на всё это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастья, отравилась.

Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и всё в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядели иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.

— «Невольно к этим грустным берегам, — запел медик приятным тенором, — меня влечет неведомая сила. . . »

— «Вот мельница. . . — подтянул ему художник. — Она уж развалилась. . . »

— «Вот мельница. . . Она уж развалилась. . . », — повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:

— «Здесь некогда меня встречала свободная любовь. . . »

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина — чтобы есть, женщины — чтобы бывать у них, снег — чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!

— Да я ничего. . . — сказал Васильев, смеясь. — Разве я отказываюсь?

От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей всё уравновешено, как в их умах и душах всё законченно и гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих. . .

Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели — один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие, черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда всё покрыто снегом и весной в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.

— «Невольно к этим грустным берегам, — запел он вполголоса, — меня влечет неведомая сила. . .»

И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.

Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка наверное будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Всё это страшно, но любопытно и ново.

II

Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок — звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались

в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:

— Как много домов!

— Это что! — сказал медик. — В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.

Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой... И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.

— Начнем с самого начала, — сказал художник.

Приятель вошел в узкий коридорчик, освещенный лампой с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.

— Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! — начал художник, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-таракано-пистолето! — сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 17—18, стриженная, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.

— Что ж вы в дверях стоите? — сказала она. — Снимите ваши пальты и входите в залу.

Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты! — сказал строго лакей. — Так нельзя.

Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.

— Где же остальные барышни? — спросил медик.

— Они чай пьют, — сказала блондинка. — Степан, — крикнула она, — пойди скажи барышням, что студенты пришли!

Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же

запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая. . .

Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.

Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство — это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

«Как всё бедно и глупо! — думал Васильев. — Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искушить нормального человека, побудить его совершить страшный грех — купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем. . . не надо думать!»

— Борода, угостите портером! — обратилась к нему блондинка.

Васильев вдруг сконфузился.

— С удовольствием. . . — сказал он, вежливо кланяясь. — Только извините, сударыня, я. . . я с вами пить не буду. Я не пью.

Минут через пять приятели шли уже в другой дом.

— Ну, зачем ты потребовал портеру? — сердился медик. — Миллионщик какой! Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!

— Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? — оправдывался Васильев.

— Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.

— «Вот мельница. . . — запел художник. — Она уж развалилась. . .»

Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. [Он читал «Листок»](#) и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.

III

Художник оттого, что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

— Пойдемте в другой! — командовал он, размахивая руками. — Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадриль. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть *vis-à-vis*. Начали танцевать.

В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем С — ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того, как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что всё это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.

«Как неумело они продают себя! — думал он. — Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...»

Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.

— Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? — спросила она. — Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно.

Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:

— Вы в котором часу ложитесь спать?

— В шестом.

— А встаете когда?

— Когда в два, а когда и в три.

— А вставши, что делаете?

— Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.

— А что вы обедаете?

— Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы всё это спрашиваете?

— Так, чтоб поговорить...

Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения. . . Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:

— Вам сколько лет?

— Восемьдесят, — сострила барышня, глядя со смехом на фокусы, какие выделывал руками и ногами плясавший художник.

Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные — его приятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.

— Угостите лафитом! — опять сказала соседка.

Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз!-два!-три!

— Пойдем отсюда! — сказал он, дернув художника за рукав.

— погоди, дай кончить.

Пока художник и медик кончали кадрили, Васильев, чтобы не глядеть на женщин, осматривал музыкантов. На рояли играл благообразный старик в очках, похожий лицом на маршала Базена; на скрипке — молодой человек с русой бородкой, одетый по последней моде. У молодого человека было лицо не глупое, не испитое, а наоборот, умное, молодое, свежее. Одет он был прихотливо и со вкусом, играл с чувством. Задача: как он и этот приличный, благообразный старик попали сюда? отчего им не стыдно сидеть здесь? о чем они думают, когда глядят на женщин?

Если бы на рояли и на скрипке играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, с испитыми или тупыми лицами, тогда присутствие их, быть может, было бы понятно. Теперь же Васильев ничего не понимал. Ему вспоминалась история падшей женщины, прочитанная им когда-то, и он находил теперь, что этот человеческий образ с виноватой улыбкой не имеет ничего общего с тем, что он теперь видит. Ему казалось, что он видит не падших женщин, а какой-то другой, совершенно особый мир, ему чуждый и непонятный; если бы раньше он увидел этот мир в театре на сцене или прочел бы о нем в книге, то не поверил бы. . .

Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладело им, он покраснел и вышел.

— Постой, и мы идем! — крикнул ему художник.

IV

— Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор, — рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу. — Речь шла об ее первом романе. Он, герой — какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было 17 лет и жила она у папаши и мамыши, торгующих мылом и свечами.

— Чем же он победил ее сердце? — спросил Васильев.

— Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей. Чёрт знает что!

«Однако же, вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман, — подумал Васильев про медика. — А я не умею. . . » — Господа, я ухожу домой! — сказал он.

— Почему?

— Потому, что я не умею держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно.

— Ну, Гриша, Григорий, голубчик. . . — сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву. — Пойдем! Сходим еще в один, и будь они прокляты. . . Пожалуйста! Григорианц!

Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцаре, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался всё тот же стиль С — ва переулка, но усовершенствованный, импонирующий.

— Право, я пойду домой! — сказал Васильев, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчик. . . — сказал художник и поцеловал его в шею. — Не капризничай. . . Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли, вместе и уйдем. Какой ты скот, право.

— Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно!

— Ну, ну, Гриша. . . Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотреть объективно на вещи, — сказал серьезно медик.

Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей, в зале было еще много гостей: два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зевая:

— Брюнет пришел. . .

У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев.

«Это оттого, что я не стараюсь понять их, — думал он. — Все они похожи на животных больше, чем на людей, но ведь они все-таки люди, у них есть души. Надо их понять и тогда уж судить. . . »

— Гриша, ты же не уходи, нас подожди! — крикнул ему художник и исчез куда-то.

Скоро исчез и медик.

«Да, надо постараться понять, а так нельзя...» — Продолжал думать Васильев.

И он стал напряженно вглядываться в лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но — или он не умел читать на лицах, или же ни одна из этих женщин не чувствовала себя виноватою — на каждом лице он читал только тупое выражение обиденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие, глупые голоса, наглые движения — и ничего больше. По-видимому, у каждой в прошлом был роман с бухгалтером и с бельем на пятьдесят рублей, а в настоящем нет другой прелести в жизни, кроме кофе, обеда из трех блюд, вина, кадрили, спанья до двух часов...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильев стал искать: нет ли умного лица. И внимание его остановилось на одном бледном, немножко сонном, утомленном лице... Это была немолодая брюнетка, одетая в костюм, усыпанный блестками; она сидела в кресле, глядела в пол и о чем-то думала. Васильев прошелся из угла в угол и точно нечаянно сел рядом с нею.

«Нужно начать с чего-нибудь пошлого, — думал он, — а потом постепенно перейти к серьезному...» — А какой у вас хорошенький костюмчик! — сказал он и коснулся пальцем золотой бахромы на косынке.

— Какой есть... — сказала вяло брюнетка.

— Вы из какой губернии?

— Я? Дальняя... Из Черниговской.

— Хорошая губерния. Там хорошо.

— Там хорошо, где нас нет.

«Жаль, что я не умею природу описывать, — подумал Васильев. — Можно было бы тронуть ее описаниями черниговской природы. Небось, ведь любит, коли родилась там».

— Вам здесь скучно? — спросил он.

— Известно, скучно.

— Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно?

— Куда ж я уйду? Милостыню просить, что ли?

— Милостыню просить легче, чем жить здесь.

— А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

— Просил, когда нечем было платить за ученье. Хотя бы даже не просил, это так понятно. Нищий, как бы ни было, свободный человек, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду.

— Угостите портером, — сказала она и опять зевнула.

«Портером... — подумал Васильев. — А что, если бы сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Был бы тогда портер, воображаю...»

Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и сердитыми глазами. За ним шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливым голосом:

— Никто вам не позволял бить девушек по щекам! У нас бывают гости получше вас, да не дерутся! Шарлатан!

Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд, искренно, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи... Тяжелая ненависть и гадливое чувство уступили свое место острому чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг блондина, он пал духом, струсил, как мальчик, и ему казалось, что в этом чужом, непонятном для него мире хотят гнаться за ним, бить его, осыпать грязными словами... Он сорвал с вешалки свое пальто и бросился опрометью вниз по лестнице.

V

Прижавшись к забору, он стоял около дома и ждал, когда выйдут его товарищи. Звуки роялей и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе в какой-то хаос, и эта путаница по-прежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр. Если взглянуть вверх на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками: это шел снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились толпой около Васильева и висли на его бороде, ресницах, бровях... Извозчики, лошади и прохожие были белы.

«И как может снег падать в этот переулочек! — думал Васильев. — Будь прокляты эти дома!»

Оттого, что он сбежал вниз по лестнице, ноги подгибались от усталости; он задышался, точно взбирался на гору, сердце стучало так, что было слышно. Его томило желание скорее выбраться из переулочка и идти домой, но еще сильнее хотелось дождаться товарищей и сорвать на них свое тяжелое чувство.

Он многого не понял в домах, души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайной, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие.

«Порок есть, — думал он, — но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают. Боже мой, боже мой!»

Для него также ясно было, что всё то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием Божиим, осквернено тут до основания, «вдрызг», как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один только переулочек да тупые женщины.

Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом, прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, заглянул Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом:

— Наш! Налимонился, брат? Ага-га, брат! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом поскользнулся, покачнулся и, взмахнув обеими руками, крикнул:

— Держись! Не падай!

И засмеявшись, побежал догонять своих товарищей. Сквозь шум слышался голос художника:

— Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, чёрт вас подери! Негодяи вы такие!

В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Васильева, сказал встревоженно:

— Ты здесь? Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить! Что это за человек, не понимаю! Скандал затеял! Слышишь? Егор! — крикнул он в дверь. — Егор!

— Я вам не позволю бить женщин! — раздался наверху пронзительный голос художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилося вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали.

Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым, негодующим лицом угрозил вверх кулаком и крикнул:

— Подлецы! Живоде́ры! Кровопийцы! Я не позволю вам бить! Бить слабую, пьяную, женщину! Ах, вы...

— Егор... Ну, Егор... — начал умолять медик. — Даю тебе честное слово, уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово!

Художник мало-помалу успокоился, и приятели пошли домой.

— «Невольно к этим грустным берегам, — запел медик, — меня влечет неведомая сила...»

— «Вот мельница... — подтянул, немного погодя, художник. — Она уж развалилась...» Экий снег валит, мать пресвятая! Гришка, отчего ты ушел? Трус ты, баба и больше ничего.

Васильев шел позади приятелей, глядел им в спины и думал:

«Что-нибудь из двух: или нам только кажется, что проституция — зло, и мы преувеличиваем, или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать, то эти мои милые приятели такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в „Ниве“. Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают, но разве не они сейчас эксплуатировали голод, невежество и тупость? Они — я был свидетелем. При чем же тут их

гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте. Два разбойника зарезали в лесу нищего; стали делить между собою его одежду и нашли в сумке кусок свиного сала. „Очень кстати, — сказал один из них, — давай закусим“. — „Что ты, как можно? — ужаснулся другой. — Разве ты забыл, что сегодня среда?“ И не стали есть. Они, зарезавши человека, вышли из лесу с уверенностью, что они постники. Так и эти, купивши женщин, идут и думают теперь, что они художники и ученые. . . »

— Послушайте, вы! — сказал он сердито и резко. — Зачем вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот — вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит на обоих вас придется одна убитая женщина! Разве это не понятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину! Ах, да разве это не ужасно, боже мой?

— Так и знал, что этим кончится, — сказал художник, морщась. — Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном! Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи? Нет, чёрт знает что, а не идеи! Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением, а по-моему, лучше бы ты построил еще двадцать таких домов, чем глядеть так. В этом твоём взгляде больше порока, чем во всем переулке! Пойдем, Володя, чёрт с ним! Дурак, болван и больше ничего. . .

— Мы, люди, убиваем взаимно друг друга, — сказал медик. — Это, конечно, безнравственно, но философией тут не поможешь. Прощай!

На Трубной площади приятели простились и разошлись. Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару. Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю и, казалось, хотел засыпать весь мир; страшно было фонарных огней, бледно мерцавших сквозь снеговые облака. Душою его овладел безотчетный, малодушный страх. Попадались изредка навстречу прохожие, но он пугливо сторонился от них. Ему казалось, что отовсюду идут и отовсюду глядят на него женщины, только женщины. . .

«Начинается у меня, — думал он. — Припадок начинается. . . »

VI

Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом:

— Живые! Живые! Боже мой, они живые!

Он всячески изощрял свою фантазию, воображал себя самого то братом падшей женщины, то отцом ее, то самую падшую женщиною с намазанными щеками, и всё это приводило его в ужас.

Ему почему-то казалось, что он должен решить вопрос немедленно, во что бы то ни стало, и что вопрос этот не чужой, а его собственный. Он напряг силы,

поборол в себе отчаяние и, севши на кровать, обняв руками голову, стал решать: как спасти всех тех женщин, которых он сегодня видел? Порядок решения всяких вопросов ему, как человеку ученому, был хорошо известен. И он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. Он припомнил историю вопроса, его литературу, а в четвертом часу шагал из угла в угол и старался вспомнить все те опыты, какие в настоящее время практикуются для спасения женщин. У него было очень много хороших приятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейн, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними немало людей честных и самоотверженных. Некоторые из них пытались спасти женщин...

«Все эти немногочисленные попытки, — думал Васильев, — можно разделить на три группы. Одни, выкупив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машинку, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново, потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до трех часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее и, пожалуй, единственное средство».

— Но невозможное! — сказал вслух Васильев и повалился в постель. — Я первый не мог бы жениться! Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник пересилили себя и женились, что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер развратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда девать сто тысяч лондонских? Куда девать гамбургских?

Лампа, в которой выгорел керосин, стала чадить. Васильев не заметил этого. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уж он поставил вопрос иначе: что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали всю безнравственность своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасти мужчин.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь... — думал Васильев. — Тут единственный выход — это апостольство».

И он стал мечтать о том, как завтра же вечером он будет стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

— Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы бога!

Он обратится к равнодушным извозчикам и им скажет:

— Зачем вы тут стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь и у них есть отцы, братья, точно такие же, как вы. . .

Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — *человеческий*. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т. п.

Прав ли приятель — не знаю, но то, что переживал Васильев, когда ему казалось, что вопрос решен, было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать; он садился писать письма, давал себе клятвы. . .

Всё это было похоже на вдохновение уж и потому, что продолжалось недолго. Васильев скоро устал. Лондонские, гамбургские, варшавские своею массою давили его, как горы давят землю; он робел перед этой массой, терялся; вспоминал он, что у него нет дара слова, что он труслив и малодушен, что равнодушные люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста третьего курса, человека робкого и ничтожного, что истинное апостольство заключается не в одной только проповеди, но и в делах. . .

Когда было светло и на улице уже стучали экипажи, Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Всё внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плеврит и невралгии, но всё это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертация, отличное сочинение, уже написанное им, любимые люди, спасение погибающих женщин — всё то, что вчера еще он любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании раздражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом. . . Если бы теперь кто-нибудь на его глазах совершил подвиг милосердия или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатление. Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только две не раздражали его: одна — что он каждую минуту имеет власть убить себя, другая — что боль не будет продолжаться дольше трех дней. Второе он знал по опыту.

Полежав, он встал и, ломая руки, прошелся не из угла в угол, как обыкновенно, а по квадрату, вдоль стен. Мельком он поглядел на себя в

зеркало. Лицо его было бледно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнее, неподвижнее, точно чужие, и выражали невыносимое душевное страдание.

В полдень в дверь постучался художник.

— Григорий, ты дома? — спросил он.

Не получив ответа, он постоял минуту, подумал и ответил себе по-хохлацки:

— Нема. В нивырситет пийшов, треклятый хлопец.

И ушел. Васильев лег на кровать и, спрятав голову под подушку, стал плакать от боли, и чем обильней лились слезы, тем ужаснее становилась душевная боль. Когда потемнело, он вспомнил о той мучительной ночи, которая ожидает его, и страшное отчаяние овладело им. Он быстро оделся, выбежал из номера и, оставив свою дверь настежь, без всякой надобности и цели вышел на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, он быстро пошел по Садовой улице.

Снег валил, как вчера; была оттепель. Засунув руки в рукава, дрожа и пугаясь стуков, звонков конки и прохожих, Васильев прошел по Садовой до Сухаревой башни, потом до Красных ворот, отсюда свернул на Басманную. Он зашел в кабак и выпил большой стакан водки, но от этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, он повернул вправо и зашагал по переулкам, в каких не был раньше ни разу в жизни. Он дошел до того старого моста, где шумит Яуза и откуда видны длинные ряды огней в окнах Красных казарм. Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другою болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз, на черную, бурливую Яузу, и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снегом, были страшны. Он содрогнулся и пошел дальше. Прошелся он вдоль Красных казарм, потом назад и спустился в какую-то рощу, из рощи опять на мост. . .

«Нет, домой, домой! — думал он. — Дома, кажется, легче. . .»

И он пошел назад. Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стен и неумоимо шагал до самого утра.

VII

Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубахе и с искусанными руками метался по комнате и стонал от боли.

— Ради бога! — зарыдал он, увидев приятелей. — Ведите меня, куда хотите, делайте, что знаете, но, бога ради, скорее спасайте меня! Я убью себя!

Художник побледнел и растерялся. Медик тоже едва не заплакал, но, полагая, что медики во всех случаях жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказал холодно:

— Это у тебя припадок. Но это ничего. Пойдем сейчас к доктору.

— Куда хотите, только, ради бога, скорей!

— Ты не волнуйся. Нужно бороться с собой.

Художник и медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу.

— Михаил Сергеич давно уже хочет с тобой познакомиться, — говорил дорогою медик. — Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя по-товарищески.

— Скорее, скорее... — торопил Васильев.

Михаил Сергеич, полный белокурый доктор, встретил приятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

— Мне художник и Майер говорили уже о вашей болезни, — сказал он. — Очень рад служить. Ну-с? Садитесь, покорнейше прошу...

220

Он усадил Васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами.

— Ну-с? — начал он, поглаживая колени. — Приступим к делу... Сколько вам лет?

Он задавал вопросы, а медик отвечал. Он спросил, не был ли отец Васильева болен какими-нибудь особенными болезнями, не пил ли запоем, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросил о его деде, матери, сестрах и братьях. Узнав, что его мать имела отличный голос и играла иногда в театре, он вдруг оживился и спросил:

— Виноват-с, а не припомните ли, не был ли театр у вашей матушки страстью?

Прошло минут двадцать. Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит все об одном и том же.

— Насколько я понимаю ваши вопросы, доктор, — сказал он, — вы хотите знать, наследственна моя болезнь или нет. Она не наследственна.

Далее доктор спросил, не было ли у Васильева в молодости каких-либо тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей, исключительных пристрастий. На половину вопросов, какие обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвечать без всякого ущерба для здоровья, но у Михаила Сергеича, у медика и художника были такие лица, как будто если бы Васильев не ответил хотя бы на один вопрос, то всё бы погибло. Получая ответы, доктор для чего-то записывал их на бумажке. Узнав, что Васильев кончил уже на естественном факультете и теперь на юридическом, доктор задумался...

— В прошлом году он написал отличное сочинение... — сказал медик.

— Виноват, не перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточиться, — сказал доктор и улыбнулся одной щекой. — Да, конечно, и это играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, переутомление... Да, да... А водку вы пьете? — обратился он к Васильеву.

— Очень редко.

Прошло еще двадцать минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев ходили в С — в переулок.

221

Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулке, показался ему в высшей степени странным. . .

— Доктор, скажите мне только одно, — сдерживая себя, чтобы не быть грубым, сказал он, — проституция зло или нет?

— Голубчик, кто ж спорит? — сказал доктор с таким выражением, как будто давно уже решил для себя все эти вопросы. — Кто спорит?

— Вы психиатр? — спросил грубо Васильев.

— Да-с, психиатр.

— Может быть, все вы и правы! — сказал Васильев, поднимаясь и начиная ходить из угла в угол. — Может быть! Но мне всё это кажется удивительным! Что я был на двух факультетах — в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!

Васильеву почему-то вдруг стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всех тех, которых он видел третьего дня, и этого доктора, он заплакал и упал в кресло.

Приятели вопросительно глядели на доктора. Тот с таким выражением, как будто отлично понимал и слезы, и отчаяние, как будто чувствовал себя специалистом по этой части, подошел к Васильеву и молча дал ему выпить каких-то капель, а потом, когда он успокоился, раздел его и стал исследовать чувствительность его кожи, коленные рефлексы и проч.

И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла. В руках у него было два рецепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий. . . Всё это принимал он и раньше!

На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету.

ГУСЕВ

I

Уже потемнело, скоро ночь.

Гусев, бессрочноотпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:

— Слышишь, Павел Иванович? Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило.

Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Ивановичем, молчит, как будто не слышит.

И опять наступает тишина. . . Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что всё кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных — два солдата и один матрос — которые весь день играли в карты, уже спят и бредят.

Кажется, начинает покачивать. Койка под Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает — и этак раз, другой, третий. . . Что-то ударилось о пол и зазвенело: должно быть, кружка упала.

— Ветер с цепи сорвался. . . — говорит Гусев, прислушиваясь.

На этот раз Павел Иванович кашляет и отвечает раздраженно:

— То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался. . . Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?

— Так крещенные говорят.

— И крещенные такие же невежды, как ты. . . Мало ли чего они не говорят? Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек.

Павел Иванович подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры. . . Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо?

Гусев долго думает о рыбах, величиною с гору, и о толстых, заржавленных цепях, потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуеться ему громадный пруд, занесенный снегом. . . На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета, с высокой трубой и с облаками черного дыма; на другой стороне — деревня. . . Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девчонка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивши, Ванька смеется, а Акулькина лица не видать — закуталась.

«Не ровен час, детей поморозит. . .» — думает Гусев. — Пошли им, господи, — шепчет он, — ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были. . .

— Тут нужны новые подметки, — бредит басом больной матрос — Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу, ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он всё-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегают мурашками по телу, дрожит в пальцах.

— Привел господь повидаться! — бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду.

Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака. . . И так до рассвета.

II

Сначала в потемках обозначается синий кружок — это круглое окошечко; потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке, Павла Иваныча. Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого, что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные. . . Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания: барин ли, купец, или мужицкого звания? Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, монастырский послушник, а прислушаешься к его словам — выходит, как будто бы и не монах. От качки, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, он поворачивается к нему лицом и говорит:

— Я начинаю догадываться. . . Да. . . Я теперь отлично всё понимаю.

— Что вы понимаете, Павел Иваныч?

— А вот что. . . Мне всё казалось странным, как это вы, тяжело больные, вместо того, чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка, всё, одним словом, угрожает вам смертью, теперь же для меня всё ясно. . . Да. . . Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас. Надоело с вами возиться, со скотами. . . Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите — стало быть, скоты! А отделаться от вас не трудно. . . Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбия и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот здоровых солдат и матросов пять больных не бросаются в глаза; ну, согнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали и в суматохе ничего дурного не заметили, а когда пароход отошел, то и увидели: на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе. . .

Гусев не понимает Павла Иваныча; думая, что ему делают выговор, он говорит в свое оправдание:

— Я лежал на палубе потому, что сил не было; когда нас из баржи на пароход выгружали, я шибко озяб.

— Возмутительно! — продолжает Павел Иваныч. — Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода, а все-таки сажают вас сюда! Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? Страшно подумать. . . И это благодарность за верную, беспорочную службу!

Павел Иваныч делает злые глаза, брезгливо морщится и говорит, задыхаясь:

— Вот бы кого в газетах расщелкать так, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матрос проснулись и уже играют в карты. Матрос полулежит на койке, солдаты сидят возле на полу и в самых неудобных позах. У одного солдата правая рука в повязке и на кисти наворочена целая шапка, так что карты держит он в правой подмышке или в локтевом сгибе, а ходит левой рукой. Сильно качает. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лекарства принять.

— Ты в денщиках служил? — спрашивает Павел Иваныч у Гусева.

— Точно так, в денщиках.

— Боже мой, боже мой! — говорит Павел Иваныч и печально покачивает головой. — Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку и. . . и для чего всё это, спрашивается? Для того, чтоб сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Как много логики!

— Дело не трудное, Павел Иваныч. Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь — богу молись, хочешь — книжки читай, хочешь — на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь. . . Планты. . . Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

— Оно конечно, Павел Иваныч, дурному человеку нигде пощады нет, ни дома, ни на службе, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимают. . . За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бит был, дай бог память, не больше одного раза. . .

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павел Иваныч. Вошли к нам во двор четыре манзы; дрова носили, что ли — не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у одного проклятого из носа кровь пошла. . . Поручик увидел в окошко, осерчал и дал мне по уху.

— Глупый, жалкий ты человек. . . — шепчет Павел Иваныч. — Ничего ты не понимаешь.

Он совсем изнемог от качки и закрыл глаза; голова у него то откидывается назад, то опускается на грудь. Несколько раз пробует он лечь, но ничего у него не выходит: мешает удушье.

— А за что ты четырех манз побил? — спрашивает он, немного погодя.

— Так. Во двор вошли, я и побил.

И наступает тишина. . . Картежники играют часа два, с азартом и с руганью, но качка утомляет и их; они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня. . . Опять едут сани, опять Ванька смеется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые.

— Шестой годочек пошел, а всё еще разума нет! — бредит Гусев. — Вместо того, чтобы ноги задирать, поди-кась дядьке служивому напиток принеси. Гостинца дам.

Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла; вот черная телочка в сенях, вот Домна рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым. . .

Наверху кто-то громко крикнул, пробежало несколько матросов; кажется, протащили по палубе что-то громоздкое или что-то треснуло. Опять пробежали. . . Уж не случилось ли несчастье? Гусев поднимает голову, прислушивается и видит: два солдата и матрос опять играют в карты; Павел Иваныч сидит и шевелит губами. Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная. . . Качка не унимается.

Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное. . . Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.

— Я сейчас, братцы. . . — говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отзывается.

— Степан, может, тебе нехорошо? а? — спрашивает другой солдат с повязкой на руке. — Может, попа призвать? а?

332

— Ты, Степан, воды выпей. . . — говорит матрос — На, братишка, пей.

— Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? — сердится Гусев. — Нешто не видишь, голова садовая?

— Что?

— Что! — передразнивает Гусев. — В нем дыхания нет, помер! Вот тебе — и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой! . .

III

Качки нет, и Павел Иваныч повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: «Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье весел о воду. . . Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.

— Да, вот мы и на рейде, — говорит Павел Иваныч, насмешливо улыбаясь. — Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои

гнушенные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...

Минуту он думает о чем-то, потом говорит:

— Гусев, а ты знаешь, как я надул их?

— Кого, Павел Иванович?

— Да этих самых... Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе дозволяется ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько. Не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно». Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не запарол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, соорил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетик...»

— А вы сами какого звания? — спрашивает матрос.

— Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.

Павел Иванович утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:

— Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами — разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенег, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: «Пожалуйста, барин, ручку». Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я всё вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и всё понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык — буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иванович!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму, да на зло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат:

— Поет! Поет!

О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колыхается вода, лениво носятся над нею белые чайки.

«Вот этого жирного по шее бы смазать...» — думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая.

Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.

IV

Проходит два дня. Павел Иванович уже не сидит, а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее.

— Павел Иванович! — окликает его Гусев. — А, Павел Иванович!

Павел Иванович открывает глаза и шевелит губами.

— Вам нездорово?

— Ничего... — отвечает Павел Иванович, задыхаясь. — Ничего, даже, напротив... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

— Ну, и слава богу, Павел Иванович.

— Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же, я отношусь критически и к болезни своей, и к лекарствам. А вы... вы темные... Тяжело вам, очень, очень тяжело!

Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они, как бешеные, по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... «Держи! — кричат во все горло заводские и встречные. — Держи!» Но зачем держать! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега, подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник, на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, чёрт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...

Павел Иванович открывает наполовину один глаз, глядит им на Гусева и спрашивает тихо:

— Гусев, твой командир крал?

— А кто ж его знает, Павел Иванович! Мы не знаем, до нас не доходит.

И затем много времени проходит в молчании. Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили. Проходит час, другой, третий; наступает вечер, потом ночь, но он не замечает этого, а всё сидит и думает о морозе.

Слышно, как будто кто вошел в лазарет, раздаются голоса, но проходит минут пять, и всё смолкает.

— Царство небесное, вечный покой, — говорит солдат с повязкой на руке. — Непокойный был человек!

— Что? — спрашивает Гусев. — Кого?

— Помер. Сейчас наверх унесли.

— Ну, что ж, — бормочет Гусев, зевая. — Царство небесное.

— Как, по-твоему, Гусев? — спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой. — Будет он в царстве небесном или нет?

— Про кого ты?

— Про Павла Иваныча.

— Будет... мучился долго. И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят.

Солдат с повязкой садится на койку к Гусеву и говорит вполголоса:

— И ты, Гусев, не жилец на этом свете. Не доедешь ты до России.

— Нешто доктор или фельдшер сказывал? — спрашивает Гусев.

— Не то, чтобы кто сказывал, а видать... Человека, который скоро помрет, сразу видно. Не ешь ты, не пьешь, исхудал — глядеть страшно. Чахотка, одним словом. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а к тому, может, ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдал бы ты их старшему офицеру.

— Я домой не написал... — вздыхает Гусев. — Помру, и не узнают.

— Узнают, — говорит басом больной матрос. — Когда помрешь, здесь запишут в вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в волость или куда там...

Гусеву становится жутко от такого разговора, и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду — не то; тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий, влажный воздух — не то; старается думать о родной стороне, о морозе — не то... Наконец, ему кажется, что если он еще хоть одну минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.

— Тяжко, братцы... — говорит он. — Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!

— Ладно, — соглашается солдат с повязкой. — Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусев обнимает солдата за шею, тот обхватывает его здоровою рукою и несет наверх. На палубе вповалку спят бессрочноотпускные солдаты и матросы; их так много, что трудно пройти.

— Становись наземь, — говорит тихо солдат с повязкой. — Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя, часовой, но похоже на то, как будто и он спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет.

— В море теперь Павла Иваныча бросят... — говорит солдат с повязкой.
— В мешок да в воду.

— Да. Порядок такой.

— А дома в земле лучше лежать. Всё хоть мать придет на могилку, да поплачет.

— Известно.

Запахло навозом и сеном. Понутив головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав.

— Проклятая... — сердится Гусев.

Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молча глядят то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина — точь-в-точь как дома в деревне, внизу же — темнота и беспорядок. Неизвестно для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная.

У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни пространства, ни одиночества, ему всё нипочем, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных.

— Где мы теперь? — спрашивает Гусев.

— Не знаю. Должно, в океане.

— Не видать земли...

— Где ж! Говорят, только через семь дней увидим. Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев.

— А ничего нету страшного, — говорит он. — Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить — поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду — упал бы и я за им. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы.

— А помирать страшно?

— Страшно. Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня всё пропадет и отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Одначе, брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут... Пойдем спать.

Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевеливать языком. Он дремлет и бредит и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.

Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Защищенный в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борте, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочноотпускные и команда без шапок.

— Благословен бог наш, — начинает священник, — всегда, ныне и присно и во веки веков!

— Аминь! — поют три матроса.

Бессрочноотпускные и команда крестятся и поглядывают в сторону на волны. Странно, что человек зашит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?

Священник посыпает Гусева землей и кланяется. Поют «вечную память».

Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевортывается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажень восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уж несется в сторону быстрее, чем вниз.

Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду...

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, сгучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до

самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.

ПОПРЫГУНЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не и правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, — среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая борода. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весной оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая и русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные

новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — всё у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умение быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю их, — говорил он кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и

живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйста, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метр-д'отель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. — Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом. — Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещающая тысячу радостей. Счастьем не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как неперемный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, оне скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брютеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брютетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящичком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости — Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. — Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то всё случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе...

Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роша, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. — У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказал Дымов. — Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. — Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассылным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать, — сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брүнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он

создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он всё время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас... — шептал он, дыша ей на щеку. — Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормотал он в сильном волнении. — Любите меня, любите...

— Не говорите так, — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. — Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилося сердце. Она хотела думать о муже, но всё ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, — думала она, закрывая лицо руками. — Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте, — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагоприятное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того, ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и всё щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что всё на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они подделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой, — простонал Рябовский, — когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе, — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. — Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник. — Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменялся! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна. — Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы всё стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, и им всё давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, — об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня всё еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил. — Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал... — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щам свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай... — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. — Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, — спрашивала она себя, — что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский, на прощанье, поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать, на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть всё от мужа и что на это хватит у нее умения и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему всё, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего... — сказала она. — Это я так...

— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который,

когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, т. е. не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его веселым и восхищенным своею, в самом деле, великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелев понимает всё. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйста, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна поделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё, и настоящее и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte* и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуны, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд... — сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали, — *nature morte*.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— *Nature morte*... первый сорт, — бормотал он, подбирая рифму, — курорт... чёрт... порт...

Из мастерской слышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела

сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал... — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Всё кончено!

Она поехала к портнихе, [потом к Барнаю](#), который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весной или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. — Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало [гоголевского Осипа](#) и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо... — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. — Пошли! — глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. — Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она

показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукой крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он всё равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шёпотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает всё и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. — Будь оно всё проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно

молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... — храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета — всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости, — сказал он вполголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытие, — спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторил он тонким голосом и опять всхлипнул. — Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки. — Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиную мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была теплая, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко. — Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. — Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — всё сделают, что нужно.

В УСАДЬБЕ

Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плахтами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу, курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, соседней с кабинетом, накрывали на стол.

— Как хотите-с, — говорил Рашевич, — с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость — не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы — юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, — не пустые звуки.

Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, ринсепез не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове «дарвинист» молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туловищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длинная тень его походила на ножницы.

Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и оригинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв мыслей. Следователь был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своим сердечным отношением к нему и к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный, бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери — единственные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удовольствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за

хорошего человека и как потом все заботы по имени перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не внесены уже за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!

— Для меня не подлежит сомнению, — продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, — что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушные охраняются в сыне путем воспитания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовой особенностью и не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не женились чёрт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение во всей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились всё совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего, мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право, понятия о чести, долге... Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству...

Рашевич остановился, расчесывая бороду обеими руками; остановилась на стене и его тень, похожая на ножницы.

— Возьмите вы нашу матушку-Расею, — продолжал он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. — Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, литераторов, композиторов... Кто они? Всё это, дорогой мой, были представители белой кости. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой — не дьячковские дети-с!

— Гончаров был купец, — сказал Мейер.

— Что же! Исключения только подтверждают правило. Да и насчет гениальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставим имена и вернемся к фактам. Что вы, например, скажете, сударь мой, насчет такого красноречивого факта: как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали — в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд, то, заметьте, за высшие человеческие права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой орде. В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось

камня на камне, всё слопал бы чумазый. Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чумазый? — Рашевич сделал таинственное, испуганное лицо и продолжал: — Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность проникнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку. Всех этих нынешних, которые выдают себя за передовых и честных людей, вы можете купить за рубль-целковый, и современный интеллигент отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите с ним, то должны покрепче держаться за карман, а то вытащит бумажник. — Рашевич подмигнул и захохотал. — Ей-богу, вытащит! — проговорил он радостно тонким голоском. — А нравственность? Нравственность какова? — Рашевич оглянулся на дверь. — Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадывает и покидает мужа, — это что, пустяки! Нынче, батенька, двенадцатилетняя девчонка норовит уже иметь любовника, и все эти любительские спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцепить богатого кулака и пойти к нему на содержание... Матери продают своих дочерей, а у мужей прямо так и спрашивают, по какой цене продаются их жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейер, всё время молчавший и сидевший неподвижно, вдруг поднялся с дивана и посмотрел на часы.

— Виноват, Павел Ильич, — сказал он, — мне уже пора домой.

Но Павел Ильич, который еще не кончил говорить, обнял его и, насильно усаживая на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И Мейер опять сидел и слушал, но уже посматривал на Рашевича с недоумением и тревогой, как будто только теперь начинал понимать его. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, вошла горничная и сказала, что барышни просят ужинать, он легко вздохнул и первый вышел из кабинета.

В соседней комнате за столом сидели дочери Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-х лет, обе черноглазые, очень бледные, одинакового роста. Женя с распущенными волосами, а Ираида с высокою прической. Перед тем, как есть, обе выпили по рюмке горькой настойки, с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и обе сконфузились и захохотали.

— Не шалите, девочки, — сказал Рашевич.

Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а с отцом и гостем по-русски. Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать, как именно в эту пору, в августе, они в прежние годы уезжали в институт и как это было весело. Теперь же ехать некуда и приходится жить в усадьбе безвыездно всё лето и зиму. Какая скука!

— Не шалите, девочки, — повторил Рашевич.

Ему самому хотелось говорить. Если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность.

— Такие-то дела, дорогой мой... — начал он опять, ласково глядя на следователя. — Мы по доброте и простоте и из страха, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповедуем

братство и равенство с кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидели бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами...

После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты... Но отец всё продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской и досадой смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дороже и важнее, чем счастье дочерей. Мейер — единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал — они это знали — ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг.

— Подобно тому, как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, — продолжал Рашевич тоном проповедника, поднимая вверх правую руку. — Пусть я явлюсь перед чумазым не как Павел Ильич, а как грозный и сильный Ричард Львиное Сердце. Перестанем же деликатничать с ним, довольно! Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! — продолжал Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем. — В харю! В харю!

— Я не могу этого, — проговорил Мейер, отворачиваясь.

— Почему же? — живо спросил Рашевич, предчувствуя интересный и продолжительный спор. — Почему же?

— Потому, что я сам мещанин.

Сказавши это, Мейер покраснел, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестели на глазах.

— Мой отец был простым рабочим, — добавил он грубым, отрывистым голосом, — но я в этом не вижу ничего дурного.

Рашевич страшно смутился и, ошеломленный, точно пойманный на месте преступления, растерянно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и нагнулись к нотам; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в молчании, и стало невыносимо совестно, когда вдруг как-то болезненно, натянуто и некстати прозвучали в воздухе слова:

— Да, я мещанин и горжусь этим.

Затем Мейер, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошел в переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вам будет сегодня темненько ехать, — бормотал Рашевич, идя за ним. — Луна теперь поздно восходит.

Оба стояли на крыльце в потемках и ждали, когда подадут лошадей. Было прохладно.

— Звезда упала... — проговорил Мейер, кутаясь в пальто.

— В августе их много падает.

Когда подали лошадей, Рашевич поглядел внимательно на небо и сказал со вздохом:

— Явление, достойное пера Фламариона...

Проводив гостя, он прошелся по саду, жестикулируя в потемках руками и не желая верить, что только что произошло такое странное, глупое недоразумение. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первых, с его стороны было крайне неосторожно и бестактно поднимать этот проклятый разговор о белой кости, не узнавши предварительно, с кем он имеет дело; нечто подобное с ним уже случалось раньше; как-то в вагоне он стал бранить немцев, и потом оказалось, что все его собеседники — немцы. Во-вторых, он чувствовал, что Мейер уже больше не придет к нему. Эти интеллигенты, вышедшие из народа, болезненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Нехорошо, нехорошо... — бормотал Рашевич, отплевываясь; ему было неловко и противно, как будто он поел мыла. — Ах, нехорошо!

В окно из сада видно было, как в гостиной около рояля Женя с распущенными волосами, очень бледная, испуганная, говорила о чем-то быстро-быстро... Ираида ходила из угла в угол, задумавшись; но вот и она заговорила, тоже быстро, с негодующим лицом. Говорили обе разом. Не было слышно ни одного слова, но Рашевич догадывался, о чем они говорили. Женя, вероятно, роптала на то, что отец своими разговорами отвадил от дома всех порядочных людей и сегодня отнял у них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь уже у бедного молодого человека во всем уезде нет места, где он мог бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она с отчаянием поднимала вверх руки, говорила, вероятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

Придя к себе в комнату, Рашевич сел на кровать и стал медленно раздеваться. Состояние духа было угнетенное, и томило всё то же чувство, как будто он поел мыла. Было стыдно. Раздевшись, он поглядел на свои длинные жилистые старческие ноги и вспомнил, что в уезде его прозвали жабой и что после всякого длинного разговора ему бывало стыдно. Как-то так, роковым образом выходило, что начинал он мягко, ласково, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, Дон-Кихотом, но незаметно для самого себя мало-помалу переходил на брань и клевету и, что удивительнее всего, самым искренним образом критиковал науку, искусства и нравы, хотя вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки, не был нигде дальше губернского города и, в сущности, не знал, что происходит на белом свете. Если же он садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и в письме выходила брань. И всё это странно потому, что на самом деле он чувствительный, слезливый человек. Уж не сидит ли в нем нечистый дух, который ненавидит и клеветает в нем помимо его воли?

— Нехорошо... — вздыхал он, лежа под одеялом. — Нехорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохот и крик, как будто за кем-то гнались: это с Женей сделалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору несколько раз пробежала босая горничная...

— Экая история, господи... — бормотал Рашевич, вздыхая и поворачиваясь с боку на бок. — Нехорошо!

Во сне давил его кошмар. Приснилось ему, будто сам он, голый, высокий, как жираф, стоит среди комнаты и говорит, тыча перед собой пальцем:

— В харю! В харю! В харю!

Он проснулся в испуге и прежде всего вспомнил, что вчера произошло недоразумение и что Мейер, конечно, уже больше не придет. Вспомнил он также, что надо проценты платить в банк, дочерей замуж выдавать, надо есть, пить, а тут болезни, старость, неприятности, скоро зима, дров нет...

Был уже десятый час утра. Рашевич медленно оделся, напился чаю и съел два больших ломтя хлеба с маслом. Дочери не вышли к чаю; они не хотели встречаться с ним, и это оскорбляло его. Он полежал у себя в кабинете на диване, потом сел за стол и принялся писать дочерям письмо. Рука у него дрожала и чесались глаза. Он писал о том, что он уже стар, никому не нужен и что его никто не любит, и просил дочерей забыть о нем и, когда он умрет, похоронить его в простом сосновом гробе, без церемоний, или послать его труп в Харьков, в анатомический театр. Он чувствовал, что каждая его строчка дышит злобой и комедиантством, но остановиться уже не мог и всё писал, писал...

— Жаба! — вдруг слышалось из соседней комнаты; это был голос старшей дочери, негодующий, шипящий голос. — Жаба!

— Жаба! — повторила, как эхо, младшая. — Жаба!

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худошавая, миловидная дама в *rinse-nez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского

права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que l'on nous donne du thé¹.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же художавую и милостивую. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственна, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу

26

сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать.

— Недурственно... — тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже

вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь, и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шёпотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдёмте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с—ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

Ш

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», — думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... — она встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у нее слезы навернулись на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокоить сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставлял в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случилось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдёмте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами.

Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Пррррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без

церемоний идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. — «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старший и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

Сноски

Сноски к стр. 25

¹ скажи, чтобы дали нам чаю (франц.).

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!» — «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, — отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи всё тихо и смиренно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор, — говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шёпот. — Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в *pinse-nez*, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати

лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая, — рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. — Доктора говорят — нервы, но, когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам, — начал Корольев, — пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку, — большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение, — сказала она. — Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Корольев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце, как следует, — сказал он, — всё обстоит благополучно, всё в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Корольев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять, — говорила она, прижимая к себе дочь. — Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Корольев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, стоит ли плакать? — сказал он ласково. — Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал: «Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати, — сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного, — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. — Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса, — сказал он, — надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам. — Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога, — продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь, — переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и всё это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, всё широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шёпот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйста закусьте! — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через *rinse-nez*:

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные и, когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебн. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, — сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии, — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. — Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но всё же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в *rinse-nez*. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается

плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получились короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...» Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...» Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но всё же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь всё делается, — это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился всё бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло всё, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то всё думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздаётся в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Корольев.

— Жак... жак... — раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, — жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло всё кругом.

Корольев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Корольев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу

83

дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была открыта, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Корольев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите, — сказал он. — На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он. Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось — «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки? — спросил он.

— Не знаю. Меня тут всё беспокоит, — ответила она и задумалась. — Всё беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат, — продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво, — я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Корольев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но всё же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня всё время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев. — Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что всё обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и всё решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы они или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают всё и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно, — сказал Королев и засмеялся. — Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако, — сказал он. — Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами, — продолжал он, пожимая ей руку. — Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и всё с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное, — только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

P O M A H

ДРАМА НА ОХОТЕ

(ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ)

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

— Должно быть, чиновник-с, — добавил Андрей, — с кокардой...

— Попроси его прийти в другое время, — сказал я. — Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

— Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинаящие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Всё его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм.

242

На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, — он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет — читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шёлк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шёлковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет — читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода — ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже — простите за выражение — некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его

243

легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. [Спенсер мог бы назвать его образцом грации.](#)

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

— Извините, ради бога! — начал он мягким, сочным баритоном. — Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)

— Я отниму у вас одну только минуту! — продолжал мой герой извиняющимся голосом. — Но прежде всего позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда.

— Очень рад... Чем могу быть полезен?

Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

— Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и [не для звуков сладких](#)... Для этих хороших

вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С—м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

— Надоедная служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего...

244

И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странно-приимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь»! — подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.

— Какой сюжет вашей повести? — спросил я.

— Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро:

— Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быль, правду... Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

— Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

— «Драма на охоте».

— Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

— А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не издавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Всё это проговорил Камышев заикаясь, вертя между

245

пальцами карандаш и глядя себе ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

— Хорошо, оставьте — сказал я. — Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

— Долго?

— Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

— Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

— Спасибо за аудиенцию, — сказал он. — Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

— Позвольте, одно только слово, — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. — Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?

— Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

— Да, пожалуй, не ранее...

— Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набравшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того

246

менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречу еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, *sui generis*¹. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит... Вот она:

ДРАМА НА ОХОТЕ

(Из записок судебного следователя)

Г л а в а I

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе всё тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

— Муж убил свою жену!

247

— Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживание по чужому виду.

— Кражи со взломом... — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. — Ах, как вы глупы!

— Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при такой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник потерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Поспелова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубового мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью всё еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз всё время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря — я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься

248

собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают*.

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Поспелова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

— А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней...

— Как когда! — отвечал голос Поликарпа. — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

— Вы ихний камердинер будете?

— Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп соорил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.

— Что тебе нужно? — обратился я к мужику.

— Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с...

— Разве граф приехал? — удивился я.

— Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

— Опять черти принесли! — проговорил мой Поликарп.

249

— Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

— Молчи, тебя не спрашивают!

— Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

— Что теперь граф делает? — спросил я мужика...

— Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали... До обеда рыбку удили в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облакайся в свои одежды и мчись

ко мне. Приехал только прошлого ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Всё еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

Твой А. К.»

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены дееспричастия — то и другое редко удается графу в один присест.

— Как прикажете ответить? — повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и

250

лицемерить. К тому же ехать к графу — значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во всё время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен...

Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

— Кланяйся графу, — сказали посланному, — и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, брошенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, брошенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в

своей шири, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело. движений...

— Скажи, что я буду!

Мужик поклонился и вышел.

— Знал бы, не впускал его, чёрта! — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

— Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! — сказал я строго. — Живо!

— Живо... Как же, непременно... Так вот возьму

251

и побегу... Добро бы за делом ехал, а то поедет чёрту рога ломать!

Это было сказано полушёпотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее оружие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает всё, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же — ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» — подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Слепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которою так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась

252

рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп всё озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какую представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, ездящие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во всё время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Всё это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но — увы! — этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С—го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот суший либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил

253

в алкоголе всё, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С—го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот щедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы — я же, охваченный однажды чувством презрения, брезгливости, сказал ему:

— Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

— Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав поводка мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и

254

двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шёлковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Всё это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

— Здорово, Сычиха! — сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

— Не бойся, дура... Где граф?

Старуха показала себе на уши.

— Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором

блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый

255

халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, не знакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф несколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Всё слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо... Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду.

В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства, он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приехавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

— Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки, — говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. — Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать

256

сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

— Да, да, да... — нервничал граф. — Ты должен был всё узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обя-за-тель-но сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

— На что он тебе так понадобился? — спросил графа толстяк.

— Мне нужно его видеть!

— Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

— Но ведь это не гость! — сказал умоляющим голосом мой друг. — Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

— Вот и он! Вот и он! — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. — Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

— А ты, Сергей, нисколько не изменился! Всё тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

— Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф. — Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, — продолжал он, указав толстяку на меня, — мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

257

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

— Очень приятно, — пробормотал он, рассматривая меня. — Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

— Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

— Я не умею писать писем, — сказал я, — да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

— Мало ли о чем?

— Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

— Это, положим, так, — согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, — но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведлся сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

— А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я.

— Не бросил, Сережа!

— Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

258

— Я, голубчик, всё бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, — и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...

— Дай и мне водки! — сказал я Илье.

Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

— Посади Урбенина, — шепнул я графу. — Он стоит перед тобой, как мальчишка.

— Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, — обратился граф к управляющему, — садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

— Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? — спросил его Карнеев. — Нет ли чего-нибудь такого... из ряда вон выдающегося?

— Всё по-старому, ваше сиятельство...

— Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч?

Нравственный Петр Егорыч покраснел.

— Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

— Есть, ваше сиятельство, — пробасил всё время до этого молчавший одноглазый Кузьма. — И очень даже стоящие.

— Хорошие?

— Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И блондинки, и баландинки, и всякие...

— Ишь ты!.. Пстой, пстой... Я теперь припоминаю тебя... Мой бывший Лепорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

— Точно так...

— Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, всё мужички?

— Больше, известно, мужички, но есть и почище...

— Где ж это ты почище нашел? — спросил Илья, шуря на Кузьму глаза.

— На Святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах — сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

— Кто же это?

— Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрепал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

— Замолчи, хам! — проворчал он. — Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

— Я вас не трогаю, Петр Егорыч, — невозмутимо проговорил Кузьма.

— Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство, — обратился управляющий к графу. — Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему Лепорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

— Я ничего... — пролепетал наивный граф. — Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

— Не понимаю, чего он обиделся! — шепнул мне граф. — Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во

многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем всё, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гусиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадаются на каждом шагу... Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении,

261

то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

— Да и некогда мне, признаться! — махнул рукой Урбенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников.

— Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. — Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению... На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

— Не бойтесь, ваше сиятельство!.. — сказал лениво Урбенин, заноса ногу на первую ступень...

— А если укусит?

— Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей — и не умер, как видите.

— Человеческое жало опаснее змеиного! — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем биллиарде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на душло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он

262

походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

— Франц! — толкнул его Урбенин. — Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

— Спит, свинья беспутная! — вздохнул Урбенин.

— Это, кажется, наш садовник Трихер? — спросил граф.

— Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл...

— Во что же он играет?

— В азартные игры... Больше всё в стуколку.

— Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

— Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, — спохватился Урбенин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... недаром жалованье берет.

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходящей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романиету, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилой.

263

У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное наложение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели всё озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

— Что это за шишка? — спросил я графа, кивнув на поляка. — Где ты его подцепил?

— Это очень милый господин, Сережа, очень милый! — встревоженно заговорил граф. — Ты скоро подружишься с ним!

— Ну, это едва ли. Отчего он всё молчит?

— По натуре он молчалив! Но зато как умен!

— Да что он за человек?

— В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты всё узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья.

264

— Ау! ау! — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. — Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

— Моя дочка Саша! — сказал он. — Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

— Какое чудное видение! — воскликнул граф, хватая меня за руку. — Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачулся и схватил меня за локоть.

— Сергей Петрович! — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, — умоляю вас — удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее всё время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

— При таком молодом лице и такие развитые формы! — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку

265

в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки.

— Кто это? — спросил граф.

— Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! — сказал Урбенин.

— Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

— Да, он упомянул ее имя, — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

— Кто из них граф? — услышал я позади нас ее шёпот.

— Вот этот, с длинными усами, — отвечал гимназист.

И мы слышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера — я, а не этот пигмей с испытанным лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

— Отпусти управляющего, — шепнул я графу. — Он болен или... пьян.

— Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! — обратился граф к Урбенину. — Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силу воображения мою милую героиню...

266

И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые разворотом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

— Не воротиться ли нам? — предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно всё равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе я смолисту воздуху, чтобы поворотить назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаться, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик

лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном

267

лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

— Я знаю, зачем он побежал, — засмеялся граф. — Я его помню... Это Митька.

Граф не обозначился. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

— На доброе здоровье, ваше сиятельство! — сказал он, поднося и улыбаясь во всё свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

— Я не знаю, останешься ли ты доволен? — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

— Будет вам! — крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. — А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться».

По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

— Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

— Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к Урбенину, — и жить здесь со зверями, чем судебным

268

следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

— Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

— А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

— Одному только богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя не много, грехов — как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогредел где-то вдаль за лесом гром... Митька, всё время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

— Гроза! — встрепенулся граф. — Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

— Мы в домике грозу переждем, — предложил я.

— Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

— Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

— Я не прочь! — согласился граф.

— Но как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... не прибрано? — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

— В зал пожалуйста! — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с

269

некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами... Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные... Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда... Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смиренных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

— Николай Ефимыч больной лежит, — пояснил отсутствие хозяев Урбенин, — а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

— Митька, двери заперты? — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

— Заперты-с, Николай Ефимыч! — прохрипел Митька и полетел опроретью в соседнюю комнату.

— То-то... Смотри, чтобы все заперты были... — сказал тот же слабый голос. — На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов этаких...

— Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном.

270

— «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

— Не ожидала! — усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее — до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза... всё это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я.

— Рекомендуюсь, — сказал я, вставая и подходя к ней, — Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

— Но ведь от этого не развалится наш домик! — сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о

погоде — начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

— Вы, может быть, закусить желаете? — спросила

271

меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен...

— Двери заперты? — услышал я опять слабый тенор. — Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

— Уже начался дождь! Поглядите! — сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

— Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

— Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством.

— Откуда вы знаете, что там электричество?

— Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

— Да...

272

— Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

— Какая дикая фантазия! — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. — А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

— Нет... — покачала головой Оленька. — И так, чтобы все люди видели.

— Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

— Нет, это неправда! — наивно вздохнула Оленька. — Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графину с водкой.

— Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». [Разве эти стихи переложены на песню?](#)

— Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю.

Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» — подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться всё чаще и чаще... Молния беспрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то

273

ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна [книжка Борна](#), [задачник Евтушевского](#), второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «[Складчина](#)»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Всё лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называются, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной, худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре... Станный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа...

— Двери заперты? — спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

— Не беспокойся, папаша! — сказала Оленька. — Всё заперто... Иди в свою комнату!

— А сарай заперт?

— Он немножко тово... трогаются иногда, — шепнул Урбенин, показываясь из передней. — Боятся воров и вот, как видите, всё насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, — обратился он к странному субъекту, — иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, всё заперто!

— А окна заперты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

— Находит на него иногда, на беднягу, — начал пояснять по его уходе Урбенин. — Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный — и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные

274

книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

— А экипаж приехал, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Можете ехать, если желаете!

— Откуда же этот экипаж взялся? — спросил я.

— Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

— Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, чёрт его возьми! — ворчал я, не на шутку рассердясь. — Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Всё время от ревности лопался.. Он влюблен в эту девочку...

— Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха-ха!

— Седина в бороду, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана... Этаким ведь старый болван!

— Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? — хихикнул граф. — Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

— Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости

изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любовь пройдет — ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

275

— А как тебе нравится ее папенька? — засмеялся граф.

— Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»... У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

— А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

— Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

— В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, всё более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получала обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни

276

весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

— Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, — сказал мне граф, когда мы входили в дом. — Мы отлично

поужинаем... по-старому... Подавать! — приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

— Ну-с... — начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. — Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое».

— Ну-с... они выпили по другой, — сказал граф, наливая вторые рюмки. — Дерзай, Лекок!

Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

— Чёрт возьми, давно уже я не пил, — сказал я. — Не вспомнить ли старину? — И, не долго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть

277

талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок — начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье.

— Отчего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку.

— Он ничего не пьет, — сказал граф. — Ты не принуждай его.

— Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

— Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы всё молчите? — спросил я его. — Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

— А вам желательно, чтоб я говорил? — спросил он с сильным польским акцентом.

— Весьма желательно.

— А на что вам?

— Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

— Отчего же вы молчите? — спросил я, обождав немного. — Ответьте что-нибудь!

— Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

— Он нисколько не смеется! — встревожился граф. — Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески...

278

— Со мной графы и князья не говорили таким тоном! — сказал Каэтан, хмурясь. — Я не люблю такого тона.

— Стало быть, не удостоите беседой? — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

— Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуясь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», — говорю.

— Короче, брат... Надоело.

— Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именье такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

— Ну, и не пей.

— Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)... с моим милым, хорошим другом, завтра же — ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

— Вылечусь, Сережа-голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин — добрый, милый... понимает всё, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю...

В выборах буду участвовать, общество веселить..., а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая

279

физиономия Каэтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

— Нельзя ли этого шляхтича к чёрту? — шепнул я графу.

— Что ты! Ради бога... — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. — Пусть себе сидит!

— Но я не могу его видеть! Послушайте! — обратился я к Пшехоцкому. — Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

— Оставь! — дернул меня граф за рукав. — Умоляю!

— Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, — продолжал я. — Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

— Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара... — проворчал поляк.

— Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия...

— Я не понимаю! Я не понимаю! — простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

— Я с вами еще мало знаком, — продолжал я, — может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

— Говорите, что вам угодно! — вздохнул Пшехоцкий. — Меня ничем не примете, молодой человек...

280

— Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел — и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

— Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги и в столовую вошел Урбенин.

— Приятного аппетита! — начал он. — Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

— Приказаний пока нет, а просьба есть... — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

— Я привез с собой прекрасные чертежи! — сказал, между прочим, граф. — Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

— Противная эта водка! — сказал он, глядя с ненавистью на графин.

— Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? — спросил я его. — Неужто вы боитесь?

— Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

— Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, — сказал я.

— Да, а теперь пью.. Ужасно пью! — шепнул он. —

281

Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

— Отчего же это?

— Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

— Отличнейший ликер! — сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей, пузатую [бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев](#). — Проездом через Москву [у Дебре взял](#). Не желаешь ли, Сережа?

— Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! — сказал я.

— Я? За какими чертежами? Ах, да! Но, брат, сам чёрт ничего не разберет в моих чемоданах... Рылся-рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть всё озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придираться, жечь ядовитыми остротами, издеваться... Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

— Что же вы молчите? — начал я. — Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих

282

женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

— Как я много выпил сегодня! — сказал он мне. — Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

— Ладно, ладно...

— В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?

— Пожалуй, пошли...

— Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши... — Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан „Лондон“. Содержателю хора Карпову. Оставить всё и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

— Теперь без четверти одиннадцать, — сказал граф. Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, успеет... Если на этот не успеет, то приедет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

283

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектной смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

— Это ты? — спросил ее голос. — Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе...

— Пойдем же туда... Все наши приехали...

— Останься... Мне тут хорошо, Тина...

— Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

— Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояле.

«Ах, Москва, Москва,
Москва... белокаменная...

— заорало несколько голосов...

— Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

— Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытья... Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пешехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул...

Вниз по ма-а-атушке... па-а-а Во-о-о...
Па-а В-о-о-о-о-о-о-о-о-о...

— подхватил хор...

[Ай, жги, говори... говори...](#)

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход...

[Ночи безумные, ночи веселые...](#)

284

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

— Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Всё перемешалось, спуталось, всё мутно, неясно... Помню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посередине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня я помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем всё выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шёпот... Затем рядом со мной идет маленькое контральто, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бежит около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов дает мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного женщиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне

285

женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами... и ни одной минуты сна!

— Это самоистребление! — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, всё время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший всё время за нами, как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

— Ты должен это взять! — говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. — Я заставлю тебя взять!

— Ведь я же их приглашал, а не ты! — убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. — Я здесь хозяин... я угощал тебя, — с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

— Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Чёрт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

— В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопчешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

— Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

286

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удается.

— Я не понимаю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь деньги?! Слово это прошлогоднее полово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой гостиной»...

Она раскинулась и тяжело дышит... Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она недаром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот всё то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной

287

мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

— Здравствуй, хороший барин! — сказал он, неумело подавая мне руку. — Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?

— Приехал.

— То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

— Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена... Умрет — не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

— Это я племяннику... Пушай покурит.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет?

— Поздравляем! — проворчал он. — Получил удовольствие!

— Молчи, дурак! — сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!

Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и ... я уснул...

— Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку

288

и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и щурил свои близорукие глаза на всё, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, — он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, всё ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Всё это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

— Поднимайтесь, вам говорят! — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

— А... а... а... здравствуйте, господин щур! — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. — Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора «щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и

289

тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

— Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, — сказал он, — а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше...

— А который теперь час?

— Одиннадцатый на исходе.

— Чёрт вас возьми, щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

— Так! — услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа. — Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и всё ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? — спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

— Среда, — сказал я.

— Как же, беспрерывно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

— Сегодня четверг! — сказал доктор. — Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

— Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя всё это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во всё время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

290

— Что же вы не смеетесь, щуренька? — спросил я, покончив со своими описаниями...

— Если бы всё это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

— О каком случае вы говорите?

— Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом... Иван Осипов...

— Иван Осипов... — пожал я плечами. — Первый раз слышу!

— Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

— Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Всё это вам снилось, дядя!

— Дай бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

— Не помню! — прошептал я. — Кто он? Чем занимается?

— Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

— Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

— Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

— Хоть убей, не помню! — проговорил я, изо всех сил напрягая память. — Не помню! Вы говорите «рассвирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

— Чего же лучше!

— Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

— Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не

291

дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам... Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвением костей черепа и, стало быть, путешествием ad patres¹.

И «щур», увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии... Омертвление костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня *terram incognitam*².

— Будет вам, барабошка! — остановил я его медицинскую болтовню. — Неужели вы не знаете, как всё это скучно?

— Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним же сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович — единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душой, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный *casus belli*³ породил между нами счеты, но не посорил нас, и мы продолжаем быть в мире. «Щур» — очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, — этого достаточно, чтоб объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть *выписывать* по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает всё, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры... И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

— Как, однако, я у вас засиделся, — спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. — Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье... Ах, да! Будете завтра в Теневе?

— А что там завтра?

— Престольный праздник! *Все* там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы

непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном...

Кому дал он слово — не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если ворамам делать поблашку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я

проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто денег. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал ворами — для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно — я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорил шёпотом...

294

Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал:

— Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается!

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай.

— Пожалуйте чай кушать! — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, ой тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

— Вот этак лучше, Сергей Петрович, — забормотал он. — Наплюйте на того белобрысого чёрта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чёртом людям головы проламывать да в озере в одеже купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удаль купцу к лицу, а не благородному... Благородному наука требуется, служба...

— Ну, будет, будет...

— Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иваныч? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

— Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его.

— Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг «щур», Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался

295

к моим шагам и чириканью птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире, — думал я, — теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напоэтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятivedерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабана на кожаном ящикообразном сиденье — мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежеемытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

— Доброе утро! — крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой, и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось высадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст — расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к теневакской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мычанье коров, игра в игрушечные трубы — всё это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Всё это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви.

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он, сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежескрашеный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался

в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же, чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во

внимании. И моя щепетильность не дешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни взад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

— Проводите меня ради бога вперед! — заговорила она, хватая меня за рукав. — Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

— Но ведь и впереди тесно! — сказал я.

— Но там всё чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно

298

расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шепталась и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашушукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис да бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина, Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый «щур» Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он скидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо.... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

— Давайте шляться по ярмарке, — предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

— Как поживает Надежда Николаевна? — спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки...

— Ничего себе... Кажется, здорова... — отвечал доктор, щурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. — О вас спрашивала...

— Что же она обо мне спрашивала?

— Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не

299

бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом — на тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

— Врете, щур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

— Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

— Я не люблю этого болвана мирового, — сказал я, — и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но всё-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, щуренька, и придираетесь...

— Люблю я вас, голубчик, — вздохнул Павел Иванович, — но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

— Покорнейше благодарим.

— Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

— Лев, — зевнул продавец. — А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля.

300

— Эти игрушки только обманывают детей, — сказал доктор. — Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

— Послушайте, щуренька, — сказал я. — По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

— Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

— Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

— Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психику беспристрастным оком, как печенку или желудок...

— Хорошо, будем объективны, — согласился я.

— Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений с Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете всё это и за привязанность платите привязанностью — ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь,

301

которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, всё ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы всё не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете... Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

— Перестал в гости ездить, — усмехнулся я, — и попал в психопаты. Как вы наивны, щуренька! Не всё ли равно — сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее — лицемерия меньше. Какие всё это пустяки, однако!

— Допустим, что всё это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

— Например?

— Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, — не знаю, какое было у вас там дело, — и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, — так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

— За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и

302

Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tête-à-tête... Вы узнали, что она любит вас, и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

— Не кричите, щуренька, народ смотрит, — сказал я, обходя Павла Ивановича. — Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калининым, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стушеваться... Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

— Merci за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

— Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже поверять такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в

303

нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и проч.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

— Здравствуйте, Максим Федорыч! — поздоровался я с ним. — Откуда это у вас такая куча денег?

— А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура...

Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

— Мое почтение, — сказал он.

— Здравствуйте, Каэтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров?

— Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

— Как много у вас денег! — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевок.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

— Лучше я бедному отдам кому-нибудь, — сказал он тогда, — чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

— Семь тысяч пятьсот рублей, — протяжно сосчитал Максим Федорыч. — Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург

304

чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа, — подумал я. — Если графа умеет обирать глухая и глухая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

— Ах... кстати, и я пошлю деньги, — спохватился Павел Иванович. — Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ божьей матери испускал от себя ослепительные лучи...

— А вон и наши! — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

— Ваши, а не наши, — сказал я.

— Это всё равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

— Прощай же, ангелочек, — проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. — Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

305

— Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? — прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

— Беррегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинину. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «беррегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

— Эдакая величественная свинья, — прошептал я на ухо доктору. — Пойдемте отсюда!

— А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? — спросил Павел Иваныч.

— Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся

и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрёка.

— За что?! — говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Иванычем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю

306

мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

— Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? — подумал я. — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл всё, что помнил, едучи к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Всё рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. — Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы...» Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей — глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тeneвской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед

307

теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещицьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

— Подвезите меня! — крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покотился по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку тeneвского леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она, в самом деле, хорошенькая! — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. — Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух — Наденьку или ее, то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей... Попадись она в хорошие руки — из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

— Сколько у вас покупок! — сказал я. — На что вам столько полотна?

— Мне еще не столько нужно!.. — ответила Оленька. — Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

— Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

308

— Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот, когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

— При чем же тут Петр Егорыч?

— Гм... Смеется, точно и не знает! — сказала Оленька, слегка краснея.

— Вы, барышня, говорите загадками...

— Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

— Замуж? — удивился я, делая большие глаза. — За какого Петра Егорыча?

— Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

— Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

— Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

— Вы замуж... за Урбенина... — проговорил я, бледнея, сам не зная отчего.

— Если это не шутка, то что же это такое?

— Какие шутки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного...

— проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я — и то испугался!

— Правда, он несколько стар, — вздохнула Оленька, — но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

— Дело не в надежной любви, а в счастье...

— С ним я буду счастлива... Состояние у него — слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве

309

только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

— Дитя мое, — спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, — когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?.. Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

— Я не понимаю, что вы говорите... — сказала она. — Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

— Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

— Ах, всё это нелепо, Оленька, всё это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Аа-ах!

— По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет... — прошептала она...

— Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я. — Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

— Как кстати! Как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. — Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только

310

сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность неперменного члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

— Сегодняшний день посвятил я визитам, — сказал он мне. — Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

— Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. — Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

— Это верно, что грех... — согласился Бабаев.

— В чем дело? — спросил я.

— Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич! — кивнул граф на мирового. — Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку...

— И жалуются они мне на скуку... — перебил графа Калинин. — Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимайтесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

— Ну, так какую же мысль вы подали?

— Собственно говоря, я не подавал никакой мысли,

311

но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфиксы, так сказать?

— Для чего же ему сдались эти журфиксы? — спросил я.

— Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее богатейших наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье.. А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники — посудите только! Залы огромные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь всё это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... совестно даже...

И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

— Это вполне справедливо, — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. — У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... всё это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

— Ну да, — согласился я. — Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

— Ты всё шутишь, Сережа, — обиделся граф, — а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Всё тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

312

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

— Мы с вами поговорим еще об этом! — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

— Так позвольте, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой.

— Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы всё время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

— Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? — спросил я графа, вспомнив те пачки сторублевок, которые видел утром в тенеvском почтовом отделении.

— Никому.

— Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?... новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирович, богатый человек?

— Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертясь около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных

313

ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

— Корова у нас заболела, ваше сиятельство, — доложил он. — Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

— Хорошо, я напишу... — пробормотал граф.

— Поздравляю вас, Петр Егорыч, — «сказал я,» вставая и протягивая управляющему руку.

— С чем-с? — прошептал он.

— Ведь вы женитесь!

— Да, да, представь себе, женится! — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. — Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг — на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, «ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

— Я не пью-с, — сказал он.

— Полноте, вы еще больше нашего пьете.

— Пил-с, а теперь уж не пью, — улыбнулся управляющий. — Теперь мне нельзя пить... Незачем... Всё, слава богу, прошло благополучно, всё устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

— Ну, на радостях хоть этого выпейте, — сказал я, наливая ему хересу.

— Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

— Даже не верится... — сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. — Гляжу вот на это

314

кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса да и только! Вы еще мне налили?... Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидал ее год тому назад и — верите ли? — с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к чёрту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка... Мне показалось это противным...

— Господа, — сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами. — Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди... ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович... я счастлив теперь и... видит бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но... счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо... Она — долг всякого!..

Счастливым и умильным вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим.

— Да, — сказал я, — семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз?

— Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым для меня — жизнь наполовину.

315

Что ни говорите, господа, а супружество — великое дело!

— Конечно... Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги?

Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, — пробормотал он. — Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство... всё! Номо sum¹, Сергей Петрович! А когда на секундочку забегает в мою башку вопрос о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя, как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, всё это на роман похоже, и... у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили.

Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.

— Это ничего-с... Ничего-с, — забормотал он, пересиливая рыданье. — Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с.

Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма.

Преступная воля человека вступает в свои права.

Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма... В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов... Один воробей, по-видимому, смельчак большой

316

руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно... В самой церкви тоже пение... Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются... Мотивы всё больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих... В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно

этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление.

Я, облеченный в новую фракную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко... За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести... Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе... Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки?..

— А кто знает! — шепчет бесенок. — Тебе это лучше знать! Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера... Если мою душу волнует одно только сожаление,

317

то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?..

— Тут не сожаление, — шепчет бесенок. — Ревность...

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно...

Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать:

— Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрилищиком!

Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но, тем не менее, к ней легко придраться, чтобы устроить первый журфикс.

Тщеславная Оленька должна была радоваться... От венчального аналога до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного

цветника... Гости разодеты так, как разделись бы они, если бы женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя... Тут всё больше аристократки... Ни одной попадью, ни одной купчихи... Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться... Жених Оленьки — управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие... Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда... Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван

318

и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость... На него заглядываются все гости... Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что немаловажнее всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократкам отказывает, когда они приглашают его в шафера...

Но тщеславная Оленька не радуется... Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с тeneвской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то отупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась... Нет и следа той веселости, которая светилась в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и проч. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая...

Урбенин в новой фракной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамения, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны.

Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака — гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться...

Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчанье, перестают глядеть на молодых. Благодичный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»... Но вот, наконец, благодичный берет из моих рук венец... молодые целуются... Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся

319

поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся, берет под руку молодую, и мы выходим на воздух...

Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать... Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль!

Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им несся нежелательный и неожиданный сюрприз... Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачулся...

— Его выпустили! — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом.

Бедняжка! Навстречу кортежу, по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Всё бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волосы развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута.

— Оленька! — залепетал он, поровнявшись с ними. — Зачем ты ушла?

Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда...

— Митька дверей не запер, — продолжал лесничий, обращаясь к нам. — Трудно ли вораб забраться?.. Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали!

— Не знаю, кто его выпустил! — шепнул мне Урбенин. — Я велел его запереть... Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь!

— Я знаю, кто украл у вас самовар, — обратился я к лесничему. — Пойдемте, я вам укажу.

320

И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви... Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме. — оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар.

Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но, тем не менее, скоро она была забыта... Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее...

Через час все мы сидели за длинными столами и обедали.

Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или — да простит мне это сравнение благородная птица! — на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.

Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усаемая физиономия графа, не переставая, ослаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя в сущности он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеребрившейся мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избушках графской деревеньки... И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна...

327

Каждый находил нужным льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев...

Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался и льстиво, и почтительно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом...

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом:

«Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!»

И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть:

— Да и век же настал, как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе... Нет, нынче уже не та молодежь!

Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом:

— Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство... В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом... Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей... Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше

сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни...

И так далее... Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа... Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах

322

обедавших, и даже, кажется, стыдилась их... Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему... Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах... Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась островам графа и едва касалась дорогих кушаний... Насколько пьянеющий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку.

Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы?

Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения: в ее горле накопились рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать?

— Чего вы такая кислая сегодня? — спросил граф. — Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха-ха!.. Не для себя поцелуя, конечно, а того... чтобы они поцеловались! Горько!

— Горько! — подхватил Калинин.

Урбенин, улыбаясь во всё свое красное лицо, поднялся и заморгнул глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы... Тот поцеловал... Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня... Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство... Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак...

«Какое мне дело до тебя?» — думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства...

Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались

323

слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице... Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой...

— У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. — Она мне еще утром жаловалась...

— Оставь, брат! — сострил граф. — Головная боль тут ни при чем... Поцелуй всё наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха!

Гости, восхищенные графской остротой, захохотали... Но не следовало хохотать...

Прошло пять, десять минут, и молодая не возвращалась... Наступило молчание... Даже граф перестал остричь... Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова... Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем... Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась... Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какую показали нам первые десять минут ее отсутствия... Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла — какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа!

Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам.

— Нервы... — бормотал он. — Или, может, развязалось что-нибудь из туалета... Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет... Сию минуту.

Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его...

«Ничего, если я пойду поищу ее? — говорили его глаза. — Не можете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!»

Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее... Скажу только, что [крыловский медведь, оказавший услугу пустынноку](#), в моих глазах теряет всё свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию,

324

когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»... Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная... Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее...

— Где Ольга Николаевна? — спросил я лакея, подававшего мне салат.

— В сад вышли, — отвечал он.

— Это ни на что непохоже, mesdames! — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. — Невеста ушла, и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть!

Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все

кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал.

Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.

— Что я наделала? Что наделала! — бормотала она.

— Да, Оля, что вы наделали! — сказал я, ставши перед ней и скрестив руки.

— Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?

— Да, Оля... Трудно объяснить этот ваш шаг... Объяснять его неопытностью — слишком снисходительно, объяснять испорченностью — не хочется...

— Я сегодня только поняла... сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь всё безвозвратно, всё потеряно!

325

Всё, всё! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит!

— За кого же это, Оля? — спросил я.

— За вас! — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто... — Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!

— Ну, довольно, Оля, — сказал я, беря ее за руку. — Утрем свои глазки и пойдем... Там ждут... Ну, будет плакать, будет... — Я поцеловал ее руку. — Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее... Ты виновата... Ну, будет, успокойся...

— Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь?

— Пора идти, душа моя... — сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее...

— Будет тебе! — бормочу я. — Довольно!..

Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидел Пшехоцкого... Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал... Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому.

— Сегодня же вас здесь не будет! — сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. — Ваше шпионство не пройдет вам даром!

Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез...

— Теперь мне, как говорится, море по колено! — бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть. — Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас... сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж... Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы

он даже был крокодил, страшная змея... ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу.

Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа: любовь ее ко мне была только

326

лишним толчком в пропасть... Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?... Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо... Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче... Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал:

— Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!

— Как? Что ты сказал? — спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона...

— Едем немедленно ко мне!

Ольга улыбнулась и показала мне на дом...

— Ну так что же? — сказал я. — Сегодня ли я возьму тебя или завтра — не всё ли равно? Но чем раньше, тем лучше... Идем!

— Но... это как-то странно...

— Ты, девочка, боишься скандала?... Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставлю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твою малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели!

Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала... А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать... Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она *моя* и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

— Послушай, моя дорогая, мое сокровище! — сказал я. — Шаг этот смел... Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой... Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними, с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя, как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из

327

тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука!

Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как *jeune premier*¹, исполняющий самое патетическое место в своей роли... Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с

нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия... На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выразалось недоумение... Она всё еще продолжала не понимать меня.

— Ты говоришь, идти к тебе... — проговорила она, думая... — Я тебя не совсем понимаю... Разве ты не знаешь, что скажет *он*?

— Да какое тебе дело до того, что он скажет?

— Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше... Оставь это, пожалуйста... Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить...

— Но как же ты будешь, дурочка?

— Я буду жить здесь, а ты... будешь приезжать каждый день... Я буду выходить тебя встречать.

— Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью — он, днем — я... Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что... я даже безумно ревнив... Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства...

Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас.

— Идем, — сказал я, отдергивая свои руки. — Оденься и едем!

— Но как ты всё это скоро... — промычала она плаксивым голосом. — Спешись, словно на пожар... И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!

И Оленька пожала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать

328

нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро.

— Возвращаю вам, господа, беглянку, — сказал я, входя и садясь на свое место. — Насилу нашел... Даже утомился... Выхожу в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее... «Зачем вы здесь?» — спрашиваю... — «Да так, говорит, душно!..»

Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа... и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набравшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе.

— Какая я смешная! — сказала она. — Хохохочу и сама не знаю, чего хохохочу... Граф, смейтесь!

— Горько! — крикнул Калинин.

Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю.

— Ну? — спросила она, на секунду нахмутив брови.

— Кричат-с — «горько», — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.

Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы... Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем... Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда... Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал...

— Поди сюда! — сказал я грубо, подходя после обеда к графу.

Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его...

— Что тебе нужно, дружок? — спросил он, расстегивая жилетку и отрыгнув...

— Выбирай кого-нибудь из двух... — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. — Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты!

Граф выронил изо рта сигару и расставил руки...

329

— Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет!

— Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же!

— Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь?

— Я тебя спрашиваю: я или он?

— Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение... Постой, у тебя на фраке перышко... Ты требуешь от меня невозможного!

— Прощай! — сказал я. — Я с тобой больше незнаком.

И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей... Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова...

— Сергей Петрович! — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. — Постойте!

— Что прикажете? — спросил я, подходя к ней.

— Приказывать мне нечего... да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея. — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту?

— Конечно... Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете...

— В таком случае сядемте... Вы, Сергей Петрович, — продолжала она, когда мы сели, — сегодня вы всё время старались не замечать меня, обходили,

словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами... Я горда и самолюбива... не умею навязываться встречей... но раз в жизни можно пожертвовать гордостью.

— О чем вы это?

— Я порешила сегодня спросить вас... Вопрос унижительный, тяжелый для меня... не знаю, как и перенесу...

330

Вы отвечайте, не глядя на меня... Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?

Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась...

— Сергей Петрович! Мне всё кажется, что вас... отделило от меня какое-то недоразумение, каприз... Мне кажется, что выскажись мы — и всё пойдет по старому... Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите... Я, Сергей Петрович, несчастна... Вы должны это видеть... Жизнь моя не в жизнь... Вся высохла... А главное — какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет... Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения... Скажите мне, и я буду знать, что мне делать... Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление... Я тогда решусь на что-нибудь...

— Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, — сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал.

— Да, я хочу спросить... Вопрос унижительный... Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна... Но это вымученный вопрос...

Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна.

— Могу я надеяться? — прошептала она наконец. — Вы не бойтесь говорить прямо... Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?

Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю.

— Могу я надеяться? — повторила она. — Отвечайте же!

331

— Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! — махнул я рукой, поднимаясь. — Я неспособен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен... Напрасно только вы и беспокоились, право.

Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос... Отчего я не ответил?

Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души... Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.

Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался... Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее... То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома...

Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?..

Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие сношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях.

332

Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого... Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы всё жизни, которая мелет в муку даже жёрновы. Жизнь переварила бы всё, не спрашивая ни его помощи, ни позволения... Но я мнителен до трусости... Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, *навсегда!* Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда», и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге!

А между тем душа моя неистово рвалась к ней... Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на rendez-vous¹. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски...

Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унижительнее... Он умолял меня «забыть всё» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброего, простого, но несколько ограниченного человека»,

удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться!

И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади

333

меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки...

— Это ты, Ольга? — спросил я, оглядываясь.

Я узнал ее по ее горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой... От счастья она не могла выговорить ни слова... Я прижал ее к груди, и — куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник.

Ольга была в голубом шёлковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья...

— Какая ты хорошенькая сегодня!.. — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. — Ну, что? Как? Здорова?

— Как, однако, у тебя здесь нехорошо! — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. — Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как... просто живешь!

— Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф, — сказал я. — Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?

— Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье... Опустит меня наземь... К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатыхе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя... Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко... Почему ты не приезжал так долго?

Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты... Минуту мы глядели друг на друга и молчали...

— Ты очень хорошенькая, Оля! — вздохнул я. — Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая!

— Почему же жаль?

— Досталась чёрт знает кому.

— Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот... Послушай, Сережа... Ты мне правду скажешь, если тебя спрошу?

— Конечно, правду.

334

— Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?

«Вероятно, нет», — хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж больную ранку, мучившую сердце бедной Оли?

— Конечно, — сказал я тоном человека, говорящего правду.

Оля вздохнула и потупилась...

— Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя?

— Нельзя...

— И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены... Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего... Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут... около лежит, а я про тебя думаю... спать не могу... Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу... Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... как его...

— Рассуждения, Оля, не помогут... Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека... Теперь же поздно упражняться в красноречии...

— Поздно... но так тому и быть! — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить... Прощай! Пора уж идти...

— Нет, не прощай...

Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянныe три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием... Наступила тишина...

— Муж убил свою жену! — гаркнул мой попугай... Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня...

— Это попугай, душа моя... — сказал я. — Успокойся...

— Муж убил свою жену! — повторил Иван Демьяныч.

Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку... На лице ее был написан испуг...

— А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня!

335

— Ну, полно... — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство... Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое... Жду... Завтра буду в лесу около домика, где ты жила... Встретимся...

Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой...

— Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю...

— Чего это?

— Того самого... Вы думаете, я не видел? Всё видел... Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места есть...

Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и усладил его в кухню.

Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «того... этого, чтоб его...», т. е. графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой...

— Ты отворачиваешься... Не хочешь говорить...

— Я не отворачиваюсь, — сказал я.

— Я так любил тебя, Сережа, а ты... из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?

Граф сел, вздохнул и покачал головой...

— Ну, будет тебе дурака ломать! — сказал я. — Ладно!

Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечешкой, так же сильно, как и презрение к нему... Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив... Услышав мое «ладно», он вскочил и принялся обнимать меня...

— Я привез его с собой... Он сидит в карете... хочешь, чтоб он перед тобой извинился?

— А ты знаешь его вину?

— Нет...

— И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо

336

подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры.

— Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то чёрт знает из-за чего поссорились!словно институтки! Ах, да, голубчик! Нет ли у тебя... полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле!

Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать.

— Сейчас я, брат, встретился с Олей... Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина... Это значит, что Оленька начинает мне нравиться... Чертовски хорошенькая! Я думаю приволокнуться за ней.

— Не следует трогать замужних! — вздохнул я.

— Ну, у старика... У Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить... Она ему не пара... Он, как собака: и сам не трескает и другим не дает... Сегодня же начну свои приступы и начну систематически... Такая душонка... гм... просто шик, братец! Пальчики оближешь!

Граф выпил третью рюмку и продолжал:

— Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?.. Наденька, дочка этого дурака Калинина... Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами... Тоже нужно будет удочку закинуть... На Троицу делаю вечер... музыкально-вокально-литературный... нарочно, чтоб ее позвать... А здесь, брат, как

оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины... и... Можно у тебя здесь уснуть... на минутку?..

— Можно... Но как же Пшехоцкий с каретой?

— Пусть ждет, чёрт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю.

Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно:

— Держу только по необходимости... по нужде... Ну, да чёрт с ним!

Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп.

Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она... окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.

337

Прошел поэтический май...

Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, не изгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы!

В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его — багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила назавтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться.

Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей.

— Где твоя новая мама? — спросил я ее.

— Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит.

— Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув.

Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках.

Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к *чему-то другому*, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось

в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста — это было ясно, но в чем именно — нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги.

— Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу.

— Здолова. Но только ночью у нее зубы болели. Она плакала.

— Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось.

Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого... Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.

— Какая ты хорошенькая, Саша! — сказал я. — Какие у тебя славные кудряшки!

Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней.

Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим.

— Поздравь! — сказал он, беря меня под руку и хихикая.

— С чем?

— С победой... Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки.

— Но пока еще не сорвал?

— Пока?.. Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей руке», — запел граф, — и... ни разу не отдернула ручки... Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах, да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово... питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?

— А что?

— Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно...

— Не имею.

— Мерсі, душа моя!

Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!

Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему.

Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне.

— Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку.

— Послушай, Ольга! — сказал я по уходе графа. — Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется?

Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо замигала глазами, как кошка, пойманная в воровстве.

— Ольга, — сказал я строго, — ты должна сказать мне! Я этого требую!

— Да, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она, сжимая мне руку. — Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но... не ездь ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать... Нельзя... И не показывай даже виду, что ты меня любишь.

— Но почему же?

— Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут... Отойди от меня.

Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла.

Другой графский заяц — Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал... а она, бледная, замученная,

340

кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин всё время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы — наплевать! — Теперь у нас граф есть!»

На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей».

— Она ваша хорошая знакомая, — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, — вы ей расскажете, но я не боюсь... Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая!

И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится.

— Вчера вы похвалили волосы сестры Саши... Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее!

«Это ревность!» — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область...

— Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! — подтвердил мальчик мою мысль. — Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела... и опять начал пить! Опять! Она дурочка... Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? — Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Всё было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное

341

оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Всё меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.

Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка.

— Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, — бормотал он. — Завтра, стало быть, начнем еще дальше.

— Ну, а Надя? С Надей как?

— Шестуем! С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я брат, люблю читать в ее черных, печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем?

— Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься.

— Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения!

Граф закашлялся и выпил.

— Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней... Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустариком — бррр! Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день... Но что это за шум?

Мы с графом вскочили... Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара...

— Ольга, что с тобой? — спросил я, хватая ее за руку и бледнея.

Графа должно было удивить это нечаянно пророненное «тобой», но его он не слышал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение.

— Что случилось? — спросил я.

342

— Он бьет меня! — проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресла. — Он бьет!

— Кто он?

— Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!

— Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право! Это тирания... это... это чёрт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас?

— Ни за что ни про что, — заговорила Оля, утирая слезы. — Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали... Он подскочил, прочел и... стал бить... Схватил меня за руку, сдвинул — посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, — и потребовал объяснений... Я, вместо того чтоб объяснять, прибежала сюда... Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка!

Граф заходил из угла в угол и стал молотить пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России».

— Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!..

Я же не мог опомниться... Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке... наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тою болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина.

— Как я ошиблась! Как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек!

— А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтоб он расхохотался?

343

— Не будем об этом говорить! — перебил меня граф. — Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром!

Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены...

— Я его с грязью смешаю! — провизжал новоиспеченный рыцарь. — Наконец я ему пощечину дам! Завтра же!

И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут! Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула!

Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки... Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов.

Скоро мы услышали смех... Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся.

— Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. — Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?

344

Начали говорить в любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешево этот ужас, эти слезы!

А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже была уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она всё сидела и беседовала с графом.

— Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я уйду... Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?

Ольга поглядела на меня, на графа.

— Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти.

— Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет!

Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван.

— Тэк-с, — бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. — Тэк-с... Такие-то дела...

Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное.

— Послушай, Сережа! — решил он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо. — Ты, голубчик, не обижайся... Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба.

— Говори поскорее! Нечего мочалу жевать!

— Видишь ли, в чем дело... тово... Уйди, голубчик! Ты *нам* мешаешь... Она у меня останется... Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но... ты поймешь мое нетерпение.

— Ладно.

Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с

345

Урбениной. Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и болью! Нет, она не должна быть даже за версту от него!

Я подошел к ней.

— Я ухожу, — сказал я.

Она кивнула головой.

— Мне уйти отсюда? Да? — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике. — Да?

Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да».

— Ты обдумала?

Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени.

Я взял шляпу и не простясь вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться.

Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе.

Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневало, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного

дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревела невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма.

Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища.

— А что если я ворочусь сейчас и уничтожу их?

Страшная злоба бушевала в душе моей... Всё то небольшое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, всё то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью!

Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на теневскую ярмарку... Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости... Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь... Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото!

Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге.

Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чёртом.

— Сам — чёрт, — проворчал Поликарп, отходя от кровати.

— Что ты сказал? Что ты сказал? — вскочил я.

— Глухому попу две обедни не служат.

— Ааа... ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — всё должно было вылиться так или иначе.

— Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья...

Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену...

Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душасий, мучительный... Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп... Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами...

После описанной ночи наступило затишье.

Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в

мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло.

На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел.

«Глупая, развратная дрянь!» — третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении.

Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила, лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере... и сердце мое начинало усиленно биться... Я ощущал щемящую боль... Но всё это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро ступшеывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде... Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила в моих глазах половину прелести.

Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении.

348

Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем — значило бы сделать для себя неприятность.

«Кончено! — думал я. — И слава богу... Надоело...»

Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не было...

Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое... Очевидно, милый «щур» делал вид, что сердится... Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел.

«Когда же это он успел научиться?» — недоумевал я, не получая ответа на свои письма.

На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и прежде, чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах...

— Я понимаю, — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — ты деликатен и щепетилен. Ты не едешь ко мне из боязни нарушить наш дуэт... помешать... Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже чёрта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают... Да своим присутствием ты только дополнил

бы гармонию... А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу!

Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею.

— Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется, или скверно. И чёрт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов...

— Чего же ради?

349

— Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится... То любит меня, то нет... Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо... этакое какое-то ужасное, дикое... Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением... Как увидишь этакую штуку, всё обаяние пропало... И часто она так на меня смотрит...

— С отвращением?

— Ну да!.. Не пойму никак... Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакое лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь... Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе... Странная!

Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло.

— А ты сегодня нормален, — сказал я, — и не пьян, и водки не просишь. Что сей сон означает?

— Да так! Некогда было пить, всё время думал... Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно... Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко неособенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнить ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком.

— Философствуй! — засмеялся я.

350

— Увлекся, вроде как бы полюбил! Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне

фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви — просьбой купить новое платье... Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смирять в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу... Шабаш!

— Ну, что? Как муж?

— Муж? Гм... А как ты думаешь, что с ним?

— Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно.

— Ты думаешь? Напрасно... Это такой негодяй, такая шельма, что я несколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход...

— За что же ты его так ругаешь?

— За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу... Я и даже ты — все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места.

Я, знавший Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу.

— Ты поймал его на воровстве? — спросил я.

— Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников.

— Из каких же это источников, позвольте узнать?

— Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга всё про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что всё это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен! Потом-с. Она видела у

351

него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол, как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание... Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги?

— И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? — закричал я, возмущенный до глубины души. — Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таятся всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо... хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой

говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как!

— Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или не честно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают.

— Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я.

— У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло.

Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.

Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали.

352

Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, т. е. мне, и я *volens-nolens* должен был ехать.

Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его.

— Замучился я с этой Ольгой! — сказал он, махнув рукой. — Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколату. Чёрт знает что за натура!

Я утешил графа, как умел, и сел с ним обедать.

— Нет, пора бросить эти ребячества, — бормотал он во всё время обеда. — Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли... Чудная девушка!

После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и — странная женщина — засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею.

— Я люблю тебя, — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла.

Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза.

— Зачем это?

— Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

— Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других,

353

почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений!

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины.

Был хороший августовский день.

Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально.

Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах.

Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело.

Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.

Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретила нас в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское».

354

Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка — всё было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала всё общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением

«при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.

— Меня граф хочет прогнать! — сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, — стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его...

Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мешанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?

— Развратная женщина — та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иванович. — Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол...

Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.

Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка — вот и всё, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов... На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила...

355

— Какая ужасная женщина! — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. — Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива... Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами... Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе... Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два...

— Торопится жить! Ждать некогда! — вздохнул я.

— А знаете, что делается с ее мужем?

— Говорят, пьянствует...

— Да... Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь... Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал всё это графу... Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал... Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег... Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше...

— Да, граф глуп, — сказал я. — Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.

— Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?

— Это правда...

Мы умолкли и задумались... Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей... Что станет с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?

Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения... Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня... Это были Надежда

356

Калинина и доктор Павел Иванович... Что ожидало их?

— Надежда Николаевна! — сказал я ей. — Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо, имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье... Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?

Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась.

— Что же они говорят? — спросила она.

— Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф, в конце концов, натянет вам нос.

— Не знают они графа, а потому так и говорят! — вспыхнула Наденька. — Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное... Хорошее недоступно их пониманию!

— А вы нашли в нем хорошее?

— Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях!

— Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? — удивился я. — Скоро... А на что вам сдались его честные намерения?

— Вы хотите знать? — спросила она, и глаза ее заблестали. — Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но... что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело... Жутко жить, не зная цели... Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою,

то у меня уже будет задача жизни... Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать... Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком.

357

— И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сэкономите его громадное состояние, будете творить благие дела... Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных... Вы будете матерью и воспитаете его детей... Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист!

— Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею... Под влиянием ее я стала здоровей и веселей... Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь... после, в далеком будущем... Оставим этот разговор!

— Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки?

— Да... Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером... сегодня... Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное... От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни...

— Спасибо за откровенность, — сказал я.

Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение... Я порешил избавить ее от него.

— Мы уже приехали к нашему лесу, — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. — Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?

И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенорком:

— Прива-а-ал!

Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весной и летом, но, когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.

Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя

358

более кстати запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пытая и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться.

Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро.

— Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее...

— Это мы вместе с графом распоряжались! — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу... К концу шампанея будет...

Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре.

Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.

Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты.

«Когда же всё это кончится?» — говорили ее утомленные глаза.

Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды.

— Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге.

Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу.

359

— Какие есть бессердечные люди, — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить.

— Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмуря брови.

— Кто же еще мучается?

— Оставь меня в покое! — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой... ни с твоим дураком графом! Отойди от меня прочь!

Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали.

— Какая перемена! — сказал я, поднимая ягдташ и добивая кулика. — Какой тон! Поражен! Совсем поражен!

— Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток!

— Что же с тобой, моя прелесть?

Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась.

— Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, — проговорила она. — Ты меня такой считаешь... ну и ступай к тем, святым!.. Я здесь хуже, подлее всех... Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня... Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди!

— Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная.

— Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги... Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю...

Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу...

360

В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними... Мне казалось, что она заплакала...

— Вы, милостивые государыни и милостивые государи! — услышал я речь Калинина. — В сей день, в который мы все соединились для... для того, чтоб объединиться... Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны не кому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии... Вы, граф, не конфузьтесь... Дамы понимают, о ком я говорю... Хе-хе-хе!.. Ну-с, будем продолжать... Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному... юному... графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за... Но кто-то едет! Кто это?

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска...

— Кто бы это мог быть? — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. — Гм... странно... Это, должно быть, проезжие... Ах, нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича... С кем это он?

И граф вдруг вскочил, как ужаленный... Лицо его покрылось смертельной бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде... Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской.

— Сережа, поди сюда на минутку! — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. — Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей... Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Всё расскажу после! Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной... Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Всё узнаешь, а теперь без вопросов! Помоги мне!

Между тем коляска была всё ближе и ближе... Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чечунчовый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама,

361

лет 23-х. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках... Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов.

— Как вас здесь много! — проговорила незнакомка ломаным русским языком. — Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!

Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.

— Моя жена, рекомендую! — забормотал он. — А это, Созя, мои хорошие знакомые... Гм... Кашель у меня.

— А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?

Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

— А это — брат моей жены... — продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого. — Да помоги же мне! — толкнул он меня под локоть. — Выручи, ради бога!

Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес и, ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут*.

.....

На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу,

362

сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы*.

.....

Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне?*

.....

Придя домой, я не раздеваясь повалился в постель.

— Опять, бесстыжие глаза, в озере в одежде купался! — заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежду. — Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста... Не знаю, чему там в ниверситете вас учили.

Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и всё тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня всё, даже измокшее нижнее белье.

— И хоть бы повернулся! — ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. — Завтра же расчет! Ни-ни... ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь!

Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило

363

меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый... Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, Поспелова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большею вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения... Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы?

Не был мне понятен и мой гнев... «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня.

Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу.

По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо... Беспokoйно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стальных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать... Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом... Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело... Некуда было спешить, делать было нечего — свобода абсолютная... Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки... Шляпки были мне знакомы... В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози... Под шляпками заулыбались знакомые физиономии... Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую, красную физиономию. Эта сердито

задвигала своими глазами и высунула язык... Кто-то сзади сдавил мне шею...

— Муж убил свою жену! — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели... Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот.

— Муж убил свою жену! — повторил попугай. — Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!

— Это попугай... — успокоил я себя, ложась в постель. — Слава богу...

Слышался монотонный ропот... То о кровлю стучал дождь... Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь всё небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Пospelова... Над самой моей головой прогремел гром...

«Последняя гроза за это лето», — подумал я.

Вспомнилась мне одна из первых гроз... Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего... Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния... В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти... Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чужала, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть.

Мечта ее сб. хотя и не на Камен.*

Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости... Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом.

— Муж убил свою жену! — каркнул попугай...

Эта была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол...

— Черти бы тебя взяли! — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая...

Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомн*

Мать моего предшественника, Пospelова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения не знакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипыванья и причитыванья, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна!

Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно.

— Кто здесь? Что нужно? — спросил я.

— Сергей Петрович, это я! — услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. — Это я! К вам, мой дорогой!

В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение «щура», ведущего регулярную жизнь и лежащего спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи да вдобавок еще в такую ужасную погоду?

— Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к чёрту.

366

— Извините, голубчик... Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец.. Я решился постучать в окно.

— Да что вам нужно?

Павел Иваныч подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного.

— Я вас слушаю! — сказал я, теряя терпение.

— Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали всё, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору... Не до сна теперь! Господи боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович!

— Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах... Не до людей мне!

— Сергей Петрович! — проговорил «щур» плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек! Друг мой!

И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор.

— Павел Иваныч, идите домой! — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить... Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не пойдем друг друга...

— Дорогой мой! — проговорил доктор умоляющим голосом. — Женитесь на ней.

— Вы с ума сошли! — сказал я, захлопывая окно...

После поугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину*. Но кроткий и незлобный «щур» не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.

Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я *прошу* его и позволю ему высказаться.

К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько

367

жесткости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело...* Я подошел к окну и открыл его.

— Войдите в комнату! — сказал я.

— Некогда!... Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее... Едва удалось спасти бедняжку... Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно?

— Она жива все-таки?

— Все-таки... Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям... Возьмем хоть Надю... Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа... Не нужно ей было ни его денег, ни знатности... Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие... И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала *его* жена... Оказывается, что этот развратник женат... А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность!

— Вы простудитесь...

— То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды... Глаза эти, бледность... а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство... Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если... если бы вы ее увидели... ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже

368

не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорогá, и за нее можно отдать... всё! Спасите жизнь!

Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул... Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна... Стучались ко мне с улицы...

— Кто там? — крикнул я в окно...

— К вашей милости!..

— Что нужно?

— От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!

Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо... Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее:

«Забудь, ради бога, всё на свете и приезжай *сейчас же*. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.».

Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах... Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки.

— Это вы, Павел Иванович? — услышал я голос присланного мужика. — А я только что к вам хотел ехать... И к вам письмо есть.

Через пять минут я и «щур» сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе... По верху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния.

Слышался рев озера...

Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину.

— Ну, как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Ивановича.

— Ничего я не думаю... Не знаю...

— Я тоже не знаю...

— Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом... Глубоко сожалею!

— Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, — сказал я. — Если граф не смешал убийства с самоубийством и если

369

действительно Ольга *убита*, то достанется моим бедным нервам!

— Вам можно отказаться от этого дела...

Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам, ничего не увидел... Откуда он знал, что я *могу* отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?..

— Почему вы думаете, что мне можно отказаться? — спросил я «щур».

— Так... Вы можете заболеть, подать в отставку... Всё это несколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия...

«Только-то?» — подумал я.

Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходящего из спальни Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку.

— Ужо будет вам сюрприз! — говорили ее глаза.

Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе.

— Рекомендую вашему вниманию, — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. — Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде... Чёрт в юбке!

Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми... В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа

370

в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать... Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале...

— И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие... Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг...

И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николавны. Мужики не поверили, потому что мужик был пьян, «как свинья», но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было...

— И теперь мы не знаем, что нам делать! Остаться нам здесь нельзя... Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться... Да и к тому же все певицы встревожены и плачут... Они не могут быть в том доме, где покойник... Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежит больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками... Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к чёрту...

Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома?

— Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу...

Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим

371

кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шёпот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать...

Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий... Созя, одетая в легкую блузу, но всё в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы... Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать.

Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего... Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разлило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне...

— А? а? — начал он, дрожа и захлебываясь. — Ну?

И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу...

— Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом... у меня лихорадка... Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет... Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта... чёрт бы ее взял совсем, жена... Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть... Гляди и казись... О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать всё, что хочешь! Приезд жены — первый подарок,

372

скандал с Ольгой — второй... Жду третьего... Я знаю, что еще случится... Знаю! Я сойду с ума!

Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте... Рассказал он мне приблизительно следующее.

Минут через 20—30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный,

раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос... Звучали в нем отчаяние, ужас... Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка... Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них... Минуты три царило гробовое молчание...

И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил:

— Убили барыню!

Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы... Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление и вид этого человека... Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги.

Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста... Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча... Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он

373

молчал и не двигался и таким образом дал себя осмотреть... На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные... На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам... Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно... Глаза смотрели безумно, неестественно широко... Губы и руки дрожали...

Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки... Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровавой ванне.

После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай... Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк...

— Ольга, Ольга, что ты наделала! — простонал он.

Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи... Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо...

Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал:

— Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, всё происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить...

Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье... Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли... Не слышал я ни стонов, ни плача... Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был... помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана... Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!..

Граф выпил еще рюмку водки и продолжал:

— Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому... Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг,

374

чёрт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!... Выстроились в ряд и давай, подлецы, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати... Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Гаскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать... Может быть, тут полиция нужна, прокурор... Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство... бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел?

— Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

— С братцем, значит... Пшехоцкий — это шельма! Когда я удираю из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался... Сколько он у меня денег выжулил за всё это время, так это уму непостижимо!

Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери.

— Послушай, — остановил меня граф. — Того... а меня не пырнет этот Урбенин?

— А Ольгу разве он пырнул?

— Понятно, он... Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?

— Ты ничего не понимаешь, — сказал я. — Кстати, раз навсегда прошу тебя... Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений... Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше.

Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга...*

В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица... Читать и писать при ее свете было

375

невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом.² Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце.

Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить...

— А вы, Петр Егорыч, не скорбите! — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. — На все божья воля, к богу и прибегните.

В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже.

Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати... Руки и лицо его всё еще были в крови... О мытье было забыто...

О, пророчество моей души и моей бедной птицы!

Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?... Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей... И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем, как абсурд.

«Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо.

И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице.

«Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь... — вспомнилось мне положение одного

376

приятеля-следователя. — Убийцы не выносят крови своих жертв».

Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями.

— Мое почтение! — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли... Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?

— Здесь нет хозяина... Здесь царит хаос... — сказал я.

— Изречение очень милое, но, тем не менее, мне нисколько не легче, — желчно закашлялся земский врач. — Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку, — говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны... Хочу послать к себе в больницу за

лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей!

Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив... Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажившего человека.

Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час* приехал

377

из больницы фельдшер и привез с собою всё необходимое.

Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель.

— Ольга Николаевна! — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. — Ольга Ни-ко-ла-евна!

— Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! — вздохнул Павел Иванович. — Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга.

Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить... Возбуждающие средства на нее подействовали.

— Вы теперь можете спросить, что вам нужно... — толкнул меня под локоть Павел Иванович. — Спрашивайте.

Я подошел к кровати... Глаза Ольги были обращены на меня.

— Где я? — спрашивала она.

— Ольга Николаевна! — начал я. — Вы узнаете меня?

Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза.

— Да! — простонала она. — Да!

— Я — Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если припомните, был шафером на вашей свадьбе...

— Это ты? — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. — Сядь...

— Бредит! — вздохнул «щур».

— Я — Зиновьев, следователь... — продолжал я. — Если помните, я присутствовал на охоте... Как вы себя чувствуете?

— Задавайте вопросы по существу! — шепнул мне

378

земский врач. — Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительно...

— Прошу, пожалуйста, не учить! — обиделся я. — Я знаю, что мне говорить... Ольга Николаевна, — продолжал я, обращаясь к Ольге, — вы

потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам... В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту... Охота продолжалась часа четыре... Засим следует привал на опушке леса... Помните?

— И ты... и ты... убил.

— Кулика? После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании... Вы пошли в лес...^{*} Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас как судебный следователь, это кто был?

Ольга открыла глаза и поглядела на меня.

— Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое...

Ольга отрицательно покачала головой.

— Вы должны назвать его, — продолжал я. — Он понесет тяжелую кару... Закон дорого взыщет за его зверство! Он пойдет в каторжные работы...^{**} Я жду.

Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.

В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, всё еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца; смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении

379

ветра. Ехать было невозможно да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как-то: кровавые пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впускать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода — всё это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не

знают и надеются, что бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом.

Я спросил их, какую дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделился ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги*. Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора

380

двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втридорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах...

Допросив их, я произвел у Сычихи обыск*. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей... Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины... Очевидно, у Яги было другое складочное место, известное ей одной...

Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра... Длиннен он, да и забыл я его... Сообщаю его здесь в общих чертах вкратце... Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрыла от меня имя убийцы. Она *не хотела*, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.

Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое... Козак от амазонки, бархатный, на шёлковой подкладке, был еще влажен... Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровавые сгустки... Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови... Левый рукав был порван на плече и у кисти руки... Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно

381

измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане,

представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровавые пятна различной величины и формы... Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу... Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в козаке, на левом плече и около кисти были разрывы... Манжетка была наполовину оторвана.

Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения.

Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии «щуром» и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, — рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны... Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены

382

повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами... Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем... Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки... Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью... Рана проникающая... Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны.

Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.

Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; б) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; в) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди — режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым; д) все вышеописанные

повреждения не могли быть нанесены собственной рукою умершей и е) покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было.

Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотра, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия.

Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы,

383

к ней подошел человек и заговорил с ней... Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, — вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговицы и красная полоса, найденная врачами на шее... Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее... От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок, — я говорю: с силой, потому что кинжал был туп.

Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие... Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды...

Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергли из-за нее тяжелому наказанию... Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной... Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его

384

обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего... Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами.

В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы... Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был всё тот же Урбенин...

Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками... Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он всё еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели... Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека:

— Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после... Не могу...

Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают...

— Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, — сказал я. — Потрудитесь сесть...

Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание.

Он показал, что он — Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К — м уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы

385

стыдятся труда. Жалованье получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и т. д. и т. д.

На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума — ничего не поделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.

Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седин, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит господь», или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего.

— Не могу... Тяжело... Да и сами вы видели.

— Хорошо, оставим до будущего раза... Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее...

— Это неправда... Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой...

— Отношения ее к графу были вам известны?

— Я просил отложить этот разговор... Да и к чему он?

— Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность... Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?

— Конечно...

— Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза... Теперь мы перейдем к другому, а именно: я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна... Ведь вы, как говорите, в городе были... Как же вы очутились в лесу?

— Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место... Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя... Особенно сильно пил в этом месяце... Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа... Третьего дня напился тоже... одним словом, пропал... Пропал безвозвратно!..

386

— Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу...

— Да-с... Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре... Голова болела от вчерашнего пьянства, тело всё ломило, словно в горячке... Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит, и вспомнилось мне... разное... Тяжело стало... Захотелось вдруг увидеть ее, увидеть хоть раз, может, в последний. И злоба охватила и тоска... Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать... Топтал-топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. *Его* сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Тенева. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре.

— Вас видел кто-нибудь здесь в это время?

— Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками... Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.

— Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками.

— Нет-с, я всё время держался дороги, и так близко, что мог слышать не только выстрелы, но и разговор.

— Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой?

Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил:

— Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшные несчастья невозможно и по давню: бог посылает их

387

внезапно. Взять хоть этот ужасный случай... Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо... Бегу на крик...

Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал.

— Бегу на крик и вдруг вижу... лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени... Она не движется... Целую ее, поднимаю.

Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал:

— Негодяя я не видал... когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги... Вероятно, это он убегал.

— Всё это прекрасно придумано, Петр Егорыч, — сказал я. — Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало.

— То есть как придумано? — спросил Урбенин, делая большие глаза. — Я не придумывал-с...

Урбенин вдруг покраснел и поднялся.

— Словно вы подозреваете меня... — пробормотал он. — Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно... Вам грех клеймить меня таким подозрением... Вы меня ведь знаете.

— Я вас знаю — это так... но мои личные мнения тут ни при чем... Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики... Улик много, Петр Егорыч.

Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами.

— Да какие ни были бы улики, — проговорил он, — вы должны понимать... Ну разве я могу... Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека... человека, который дороже мне жизни, моего спасения... одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце... И вдруг вы подозреваете!

Урбенин махнул рукой и сел.

388

— Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович... Позвольте мне уйти-с!

— Можете... Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу... Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну

времени и сознаетесь. Что Ольга Николавна убита вами, я убежден... Больше я вам сегодня ничего не скажу... Можете идти.

Я проговорил это и нагнулся к бумагам... Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки.

— Вы это шутите или... серьезно? — проговорил он.

— Нам с вами не до шуток... — сказал я. — Можете идти.

Урбенин всё еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги.

— А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? — спросил я.

Он взглянул на свои руки, на которых всё еще была кровь, и пошевелил пальцами.

— Отчего кровь?... Гм... Если это одна из улик, то это плохая улика... Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови... Не в перчатках же я был.

— Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь... Отчего же никто не слышал вашего крика?

— Не знаю, меня так ошеломил вид Оли, что я не мог громко кричать... Впрочем, ничего не знаю... Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах.

— Едва ли вы кричали... Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей.

— Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было.

Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей.

На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов — человек, которого

389

я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завитого, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его тонки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида; голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый.

Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него всё, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками.

— Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. — Чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста...

И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти.

— Ну-с, — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, — в чем дело?

Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности...

— А на месте преступления были?

— Нет, еще не был.

Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежевывытому лбу и зашагал по комнате.

— Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он: — это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?

— Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду.

— Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю!

И фронт авторитетно пожал плечами.

390

— Пейте чай, а то он простынет, — сказал я тоном равнодушного человека.

— Я люблю холодный.

Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому² не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства.

В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, на следов: всё было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и оципанными листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот.

Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности [пускаться в лекоковские анализы](#).

Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч

391

не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики.

— Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, — сказал он, пожимая плечами, — странно!

— Не наивничайте, любезнейший! — сказал ему Полуградов, — напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины!

— Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! *Не могу* я убить... понимаете? Не могу... Стало быть, чего же стоят ваши улики?

— Ну! — махнул рукой товарищ прокурора, — беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! *Не могу*... по-человечески... так и бьют на психологию!

— Я не преступник, — обиделся Урбенин, — прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее...

— Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия... Не угодно вам сознаваться, так и не признавайтесь, — только позвольте уж нам считать вас лгуном...

— Как вам угодно, — проворчал Урбенин, — вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно... ваша власть...

Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:

— Мне, впрочем, всё равно: жизнь пропала.

— Послушайте, Петр Егорыч, — сказал я, — вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горящим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?

— А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза.

— Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест...

— Это следовательское измышление, — усмехнулся Урбенин, — и оно делает честь вашей находчивости...

392

Да, вы правы: перемена произошла во мне большая...

— Вы можете объяснить ее?

— Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или ... сойти с ума...

но сегодня ночью я раздумался... мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелопаля, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уже в моей душе нет такой тяжести.

— Ловко придумано! — процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. — За ответом в карман не лезет!

— Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить... воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство... у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое...

— Хорошо, хорошо, довольно, — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, — ступайте...

По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с укусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания:

— Я вам всё расскажу, с самого начала... Ну, что подделывает теперь ваш председатель Лионский? Всё еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился... Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь...

И граф рассказал нам всё то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом.

393

Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку.

Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.

Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..

В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в

окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.

Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.

— Ваше благородие, пожалуйста туда! — сказал мне встревоженный Илья.
— Не хочет идти!

— Кто не хочет идти?

— Убивец.

— Какой убивец?

— Кузьма... он убил, ваше благородие... Петр Егорыч занапрасну терпит... ей-богу-с...

Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся ужо из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево...

— В чем дело? — спросил я, подойдя к толпе...

И мне рассказали нечто странное и неожиданное.

— Ваше благородие, Кузьма убил!

— Врут! — завопил Кузьма, — побей бог, врут!

— А зачем же ты, чёртов сын, кровь отмывал, ежели

394

у тебя совесть чистая? Пстой, их благородие всё разберут!

Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, взглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.

— Что ты делаешь? — крикнул Трифон.

Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна...

— Я сейчас же догадался, что это кровь... пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется... Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию... Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?

Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.

Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу...

— Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу, — сказал я ему.

Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться...

— Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей бог мою душу...

— Ты уходил в лес?

— Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю... Истинно вам говорю!

— А зачем ты отмывал кровь?

— Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали...

395

— А откуда на твоей поддевке взялась кровь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?

— Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись.

— Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?

— Точно так...

— Ну, ступай, братец, подумай... Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь... Иди.

На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.

— Надумал? — спросил я его.

— Точно так, — надумал...

— Откуда же у тебя на поддевке кровь?

— Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.

— Что же тебе припоминается?

Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:

— Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так.

— Какой же это барин?

— Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.

— Какого же цвета у него было платье?

— А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»

— Это тебе снилось?

— Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась?

— Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?

396

— Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут.

— Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь.

— Слушаю.

Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одной из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?..

Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему припел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?

Прилетал еще раз Полуградов.

— Вот видите-с! — сказал он. — Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!

Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.

— Да ты сколько коньяку выпил?

— Я отпил полбутылки.

— Да то, может быть, был не коньяк?

— Нет-с, настоящий финь-шампань...

— Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора...

— Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться...

397

Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:

— Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает!

Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.

Следствие затянулось... Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.

— Как же мои дети-то будут? — спросил он меня в один из допросов. — Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить... жить для детей! Они погибнут без меня, да и я... не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!

Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.

— Это не юристы! — кричал он на весь арестантский дом, — это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!

Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.

— Вот и нашелся наемник! — сказал он мне, — вот и нашелся!

Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.

— Теперь я погиб, — говорил он, — окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой чёрт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!

398

Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.

В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.

— Я очень рад, что ты, наконец, надумал, — встретил я его, — пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?

Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня... В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.

— Ну, говори, что ты надумал? — повторил я.

— Такое, что чуднее и выдумать нельзя... — выговорил он. — Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.

— Так кто же это был?

Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.

— Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось...

— Но кто же тебе причудился?

— Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите... Дозвольте мне подумать и завтра сказать... Боязно.

— Тьфу! — рассердился я. — Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?

— Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня... лучше завтра скажу... Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, — засудите...

Я рассердился и велел увести Кузьму². В тот же

399

день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.

— Я ждал этого... — сказал Урбенин, махнув рукой, — мне всё равно...

Одинокое заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.

— Нет нужды опасаться, что вы уйдете, — сказал я.

Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.

Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.

— Ну что, надумал? — спросил я.

— Нет, барин... — послышался слабый голос, — пушай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.

— Как знаешь...

Утром другого дня всё решилось.

Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели *мертвым*. Я отправился в арестантскую и убедился в этом... Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень... Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось... Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную... Кузьма умер от задушения... Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго... Он был близко...

Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержаться, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей.

— Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!

400

Урбенин страшно побледнел и покачнулся...

— Вы лжете! — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди.

— Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними... Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам... о, вы хороший актер!.. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз

вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?

— Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!

И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.

— Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, — продолжал я, — позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душиите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.

— Что же я сделал такое, боже мой? — проговорил Урбенин, хватая себя за голову.

— Вы хотите знать доказательства? Извольте... ваша дверь, по моему приказанию, была отперта... дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок... все камеры запираются одинаковыми замками... Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа... Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.

— За что же я мог его задушить? За что?

— За то, что он назвал вас... Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив... Грешно и стыдно, Петр Егорыч!

— Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. — Вы честный и порядочный человек... Не губите и не пятняйте себя несправедливыми подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение... Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо

401

мной, и это время скоро... Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас... Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, — не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, — вы бы лучше расспросили меня... Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение... Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и всё слышал...

— Что вы слышали?

— Ночью, часа в два... были потемки... слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и всё за дверь мою трогает... ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.

— Кто?

— Не знаю: темно было — не видал... Постоял в моей камере минутку и вышел... и именно так, как вот вы говорите, — вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом

возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.

— Басни! — сказал я. — Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!

Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых...

Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе

402

ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях...

Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, — его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, — и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.

Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.

Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал

фигурировать в качестве свидетеля². Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.

403

Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.

Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.

Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, — Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.

Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.

— Это ложь! — крикнул Урбенин, — он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!

Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду — значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, — я понимал это... С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина... он, услышав ее, почувствовал бы неизлечимую боль... Я счел за лучшее солгать.

— Нет! — сказал я.

Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу... «Старый, поношенный сластолюбец

404

увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоем... Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права... Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить...» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользящую добычу, впадает в ярость животного, к носу

которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное» и проч.

Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманнные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».

Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных необязательно».

Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.

— Мне лично всё равно, где ни быть: в этом ли уезде, где всё напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.

И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.

— Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.

405

Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:

— Защитите моих детей от благодеяний графа.

Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем.

Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.

Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»...

Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.

В восемь лет изменилось многое... Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден

и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.

— Хорошо бы теперь цыган послушать, — бормочет он, — пошли, Сережа, за коньяком!

Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму.

На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет... Жизнь прошла...

Прошлое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не

406

хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех — грехом.

Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого... Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке... Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по тневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком... Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогреть кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании... Я хотел бы повидаться со «щуром», с его Наденькой...

Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь... Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами... На дне лежит тяжелый осадок...

Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..

Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков...

Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там светлее...

С. Зиновьев.

К о н е ц

Внизу рукописи написано:

Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем,

407

изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев.

P. S. Гонорар — по усмотрению редакции.

Год и число.

Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не *in toto*, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор... Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во всё время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражающих своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени — причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.

Более всего я отстаивал и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и... Пшехоцкий. Играли в стуколку, *втемную*,

408

со ставкой в 90 коп.; ремиз достигал до 30 руб. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, *обокрал* садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения.

Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Sapienti sat...¹

Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой».

— Проси! — сказал я.

Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны... Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть... В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное...

— Опять я вас беспокою! — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. — Простите, ради бога! Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?

— Виновна, но заслуживает снисхождения, — сказал я.

Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок.

— Стало быть, ссылка в огонь камина? — спросил он.

— Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные.

— Исправить нужно?

— Да, кое-что... по взаимному соглашению...

Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы.

409

— По взаимному соглашению, — повторил я. — В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие.

— Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то... честь имею представиться: Зиновьев.

— Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?..

— И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея, — хорош? Бить бы нужно, да некому.

— Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения...

— Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?

— Самый habitus¹ романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного.

— Чего же именно?

— В нем нет настоящего виновника...

Камышев сделал большие глаза и приподнялся.

— Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания. — если вы не считаете настоящим виновником человека, который

зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты.

— Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил!

— Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне.

— Не Урбенин!

— Может быть. *Humanum est errare*² — и следователи

410

несовершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись?

— Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться.

— Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?

— Вы!!

Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся.

— Вот так клюква! — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель.

Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха... не за себя — нет! — а за него, за этого красивого и грациозного великана... вообще за человека...

— Вы убили! — повторил я.

— Если не шутите, то поздравляю с открытием, — засмеялся Камышев, всё еще не глядя на меня. — Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный!

Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, сияясь улыбнуться, продолжал:

— Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе, — это любопытно, ей-богу... Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит испытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу.

— Убийца вы и есть, — сказал я, — и даже скрыть этого не можете: в романе провались, да и сейчас плохо актерствуете.

— Это совсем таки интересно — любопытно было бы послушать, честное слово.

— Коли любопытно, так слушайте.

Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его.

411

— Чего же вы боитесь? — спросил я.

Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой.

— Ничего я не боюсь, а просто так... взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте.

— Позвольте вам допрос сделать?

— Сколько угодно.

— Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты?

— В повести сказано: я пошел домой.

— В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом?

— Да.

— И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой?

— Да, мог, — усмехнулся Камышев.

— И вы с ней встретились.

— Нет, не встречался.

— На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя... Вы слышали крик жертвы?

— Нет... Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер...

Это фамильярное «батенька» меня покорило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов...

— Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, — продолжал я, — хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее — иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой... Но допустим, что вы ее не видали... Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем

412

злодействе... Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая... Так медлят только те следователи, которым известен преступник... Вам он был известен... Далее — Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог... Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог... Любила она вас, и именно вы для нее были дороги... вас щадила она... Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не

идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что всё это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает... В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть... Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно... Почему?

— Продолжайте, продолжайте...

— Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Всё ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто...

413

— Ловко! — проговорил Камышев, потирая руки, — продолжайте, продолжайте!

— Неужели для вас недостаточно всего сказанного?.. Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презируемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже... Засим перейдем к Кузьме... Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью... Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору... Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас.

— Ну, довольно! — проговорил Камышев, смеясь, — будет! Вы вошли в такой азарт и так побледнели, что, того и гляди, в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил.

Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое.

— Я убил, — продолжал Камышев, — вы поймали секрет за хвост, — и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму.

Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло.

— С тех пор прошло уже восемь лет, — начал он после некоторого молчания, — и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно

414

заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это à propos. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрывать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя...

Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его...

— И теперь словно легче стало, — усмехнулся Камышев, — вы глядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, — и я чувствую себя в положении естественном... Но... однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике...

— Пойдите, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили?

— Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте... Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одной только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо... Я окликнул

415

ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки...

— Не брани меня, я несчастна! — сказала она.

В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл всё на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И, в самый разгар клятв, ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — Эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурлило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна...

Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злости и омерзения... Я отвернулся.

— А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо.

— Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что?

— А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?»

— А что же мне делать? Идти да сознаваться?

— Полагаю.

— Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы.

— Вы мне гадки, — сказал я.

— Это естественно... И сам я себе гадок...

Наступило молчание... Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры... Камышев взялся за шляпу.

— Вам, я вижу, со мной душно, — сказал он, — кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит!

416

Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы!

— Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, — сказал Камышев. — Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку... Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu!¹

Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам.

Мне было душно.

Сноски

Сноски к стр. [246](#)

¹ в своем роде (лат.).

Сноски к стр. [248](#)

* Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть in toto «без пропусков — лат.». — А. Ч.

Сноски к стр. [291](#)

¹ к праотцам (лат.).

² неизвестную землю, область (лат.).

³ повод к войне (лат.).

Сноски к стр. [315](#)

¹ Человек я (лат.).

Сноски к стр. [327](#)

¹ первый любовник (франц.).

Сноски к стр. [332](#)

¹ свидание (франц.).

Сноски к стр. [361](#)

* Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. — А. Ч.

Сноски к стр. [362](#)

* На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Всё написанное ниже ее старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово: «висок». — А. Ч.

** Тут тоже зачеркнуто. — А. Ч.

Сноски к стр. [364](#)

* Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Пощажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. — А. Ч.

Сноски к стр. [365](#)

* Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писанья, а после... К концу повести я обращаю на эти зачеркиванья особое внимание. — А. Ч.

Сноски к стр. [366](#)

* Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». — А. Ч.

Сноски к стр. [367](#)

* Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Всё это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. — А. Ч.

Сноски к стр. [374](#)

* Тут зачеркнуты две строки. — А. Ч.

Сноски к стр. [375](#)

* Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный. — А. Ч.

Сноски к стр. [376](#)

* Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2—3-х часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч. ... Узнаете ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный, обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволочки времени. — А. Ч.

Сноски к стр. [378](#)

* Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дожидаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. — А. Ч.

** Всё это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, ergo — она должна молчать. — А. Ч.

Сноски к стр. [379](#)

* Если всё это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? — А. Ч.

Сноски к стр. [380](#)

* К чему? Допустим, что всё это проделано судебным следователем спяна или спросонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? — А. Ч.

Сноски к стр. [390](#)

* Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Вина тот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. — А. Ч.

Сноски к стр. [398](#)

* Хорош следователь! Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он *рассердился* — занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому... Если г. Камышеву были ни почем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. — А. Ч.

Сноски к стр. [402](#)

* Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. — А. Ч.

Сноски к стр. [408](#)

¹ Умному достаточно... (*лат.*).

Сноски к стр. [409](#)

¹ общий вид (*лат.*).

² Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

Сноски к стр. [416](#)

¹ прощайте! (*франц.*).

ОСТРОВ САХАЛИН
(Из путевых записок)

Заключительная глава

XXIII

Болезненность и смертность ссыльного населения. — Медицинская организация. — Лазарет в Александровске.

В 1889 г. по всем трем округам было показано слабосильных и неспособных к работе каторжных обоого пола 632, что составляло 10,6% всего числа. Таким образом, один слабосильный и неспособный к работе приходится на 10 человек. Что касается способного к работе населения, то и оно не производит впечатления вполне здорового. Среди ссыльных мужчин вы не встретите хорошо упитанных, полных и краснощеких; даже ничего не делающие поселенцы тощи и бледны. Летом 1889 г. из 131 каторжных, работавших в Тарайке на дороге, было 37 больных, а остальные явились к приехавшему начальнику острова «в самом ужасном виде: ободранные, многие без рубах, искусанные москитами, исцарапанные сучьями деревьев, но никто не жаловался» (приказ 1889 г., № 318).

Обращавшихся за медицинской помощью в 1889 г. было 11 309; в медицинском отчете, откуда я беру эту цифру, ссыльные и свободные показаны нераздельно, но составитель отчета замечает, что главный контингент больных составляли ссыльнокаторжные. Ввиду того, что солдаты лечатся у своих военных врачей, а чиновники и их семьи у себя на дому, надо думать, что в число 11 309 вошли только ссыльные и их семьи, причем каторжные составляли большинство, и что таким образом каждый ссыльный и прикосновенный к ссылке обращался за медицинской помощью не менее одного раза в год^а.

О болезненности ссыльного населения я могу судить только по отчету за 1889 г., но, к сожалению, он составлен по данным больничных «Правдивых книг», которые ведутся здесь крайне неряшливо, так что мне пришлось еще взять на помощь церковные метрические книги и выписать из них причины смерти за последние десять лет. Причины смерти почти всякий раз регистрируются священниками по запискам врачей и фельдшеров, много тут фантазии^б, но в общем этот материал по существу тот же, что и в «Правдивых книгах», не лучше и не хуже. Понятно, что обоих этих источников было далеко не достаточно, и всё, что найдет ниже читатель о болезненности и смертности, не картина, а одни лишь слабые контуры.

Те болезни, которые в отчете отнесены к двум отдельным группам — заразно-повальным и эпидемическим, до сих пор на Сахалине имели слабое распространение. Так, корь в 1889 г. была зарегистрирована только 3 раза, а скарлатина, дифтерит и круп ни разу. Смерть от этих болезней, которым подвержен по преимуществу детский возраст, упоминается в метрических книгах за десять лет только 45 раз. В это число вошли «жабы» и «воспаления горла», имевшие заразный и эпидемический характер, на что всякий раз указывал мне ряд детских смертей в короткий промежуток времени. Эпидемии обыкновенно начинались в сентябре или октябре, когда на пароходах Добровольного флота привозили в колонию больных детей; течение эпидемий бывало продолжительное, но вялое. Так, в 1880 г. в Корсаковском приходе «жаба» началась в октябре и кончилась в апреле следующего года, похитив всего 10 детей; эпидемия дифтерита в 1888 г. началась в Рыковском приходе осенью и продолжалась всю зиму, затем перешла в Александровский и Дуйский

приходы и погасла здесь в ноябре 1889 г., то есть держалась целый год; умерло 20 детей. Оспа зарегистрирована в отчете один раз, а за десять лет умерло от нее 18 душ; были две эпидемии в Александровском округе: одна в 1886 г. с декабря по июнь и другая в 1889 г. осенью. [Тех грозных эпидемий оспы](#), которые когда-то эпидемически проходили через все острова Японского и Охотского морей до Камчатки включительно и уничтожали порой целые племена, вроде айно, теперь уже не бывает здесь, или по крайней мере про них не слышно. [Рябые лица среди гиляков встречаются часто, но виновата в этом ветряная оспа](#) (varicella), которая, по всей вероятности, не переводится у инородцев*.

Что касается тифов, то в отчете брюшной был зарегистрирован 23 раза со смертностью в 30%, возвратный же и сыпной по 3 раза, без смертных случаев. В метрических книгах смерть от тифов и горячек показана 50 раз, но всё это единичные случаи, разбросанные по книгам всех четырех приходов на протяжении десяти лет. Ни в одной корреспонденции я не встречал указания на тифозные эпидемии и, по всей вероятности, их не было. По отчету, брюшной тиф наблюдался только в двух северных округах; причиной его указаны недостаток чистой питьевой воды, загрязнение почвы близ тюрем и рек, а также теснота и скученность. Мне лично ни разу не пришлось видеть на Сев<ерном> Сахалине брюшного тифа, хотя я обошел там все избы и бывал в лазаретах; некоторые врачи уверяли меня, что этой формы на острове нет вовсе, и она осталась у меня под большим сомнением. Что же касается возвратного и сыпного тифа, то все случаи, до сих пор бывшие на Сахалине, я отношу к привозным, как скарлатину и дифтерит; надо думать, что острые инфекционные болезни до сих пор находили на острове почву, неблагоприятную для своего развития.

«Неточно определенные лихорадочные» болезни зарегистрированы 17 раз. В отчете эта форма описана так: «появлялась она преимущественно в зимние месяцы, выражалась лихорадкою ремиттирующего типа, иногда с появлением roseola¹ и общим угнетением мозговых центров, через короткий промежуток времени 5—7 дней лихорадка проходила, и наступало быстрое выздоровление». Этот тифоид очень распространен здесь, особенно в северных округах, но в отчет не попадает и сотая часть всех случаев, так как больные обыкновенно не лечатся от этой болезни и переносят ее на ногах, а если лежат, то дома на печи. Как мне пришлось убедиться в мое короткое пребывание на острове, в этиологии этой болезни играет главную роль простуда, заболевают работающие в холодную и сырую погоду в тайге и ночующие под открытым небом. Чаще всего встречаются такие больные на дорожных работах и на местах новых поселений. Это настоящая febris sachaliniensis.

Крупозною пневмонией в 1889 г. заболело 27, умерла треть. Эта болезнь, по видимому, опасна в одинаковой мере как для ссыльных, так и свободных. За десятилетний период в метрических книгах смерть от нее упоминается 125 раз; 28% приходится на май и июнь, когда на Сахалине бывает отвратительная, переменчивая погода и начинаются работы далеко вне тюрьмы, 46% на декабрь, январь, февраль и март, то есть на зиму*. К заболеванию крупозной пневмонией располагают здесь главным образом сильные холода зимой, резкие перемены погоды и тяжелые работы в дурную погоду. [В рапорте врача окружного](#)

[лазарета г. Перлина от 24 марта 1888 г.](#), копию которого я привез с собой, между прочим сказано: «Меня постоянно ужасала большая заболеваемость ссыльнокаторжных рабочих острым воспалением легких»; и вот, по мнению д-ра Перлина, причины: «доставка за восемь верст бревен от 6 до 8 вершков в диаметре четырехсаженной длины производится тремя рабочими; предполагая тяжесть бревна в 25—35 пуд., в снежную дорогу, при теплом одеянии, ускоренной деятельности дыхательной и кровеносной систем» и т. д.*

Дизентерия, или кровавый понос, зарегистрирована была только 5 раз. В 1880 г. в Дуэ и в 1887 г. в Александровске, по-видимому, были эпидемии кровавого поноса, и всех смертей за десятилетний период в метрических книгах показано 8. В старых корреспонденциях и рапортах часто упоминается кровавый понос, который в былые времена, по всей вероятности, был на острове так же обыкновенен, как цинга. Страдали им ссыльные, солдаты и инородцы, и при этом, как на причину его, указывалось на дурную пищу и тяжелые жизненные условия**.

Азиатская холера на Сахалине не была ни разу. Рожу и госпитальную гангрену наблюдал я сам, и, по-видимому, обе эти болезни не переводятся в здешних лазаретах. Коклюша в 1889 г. не было. Перемежающаяся лихорадка показана 428 раз, причем на долю Александровского округа приходится больше половины; причинами в отчете названы теснота жилищ без достаточного притока свежего воздуха, загрязнение почвы около жилищ, работы в местностях, подверженных периодическим заливаниям, и устройство поселений в таких местностях. Все эти нездоровые условия налицо, но тем не менее все-таки остров не производит впечатления малярийной местности. Обходя избы, я не встречал больных малярией и не помню ни одного такого селения, где бы жаловались на эту болезнь. Очень возможно, что многие из зарегистрированных были больны лихорадкой еще на родине и прибыли на остров уже с увеличенной селезенкой.

Смерть от сибирской язвы в метрических книгах упоминается только один раз. Ни сап, ни водобоязнь на острове еще не наблюдались.

На долю болезней дыхательных органов приходится одна треть умерших, в частности же бугорчатка берет 15%. В метрических книгах записаны только христиане, но если прибавить еще магометан, умирающих обыкновенно от чахотки, то процент выйдет внушительный. Во всяком случае, взрослые на Сахалине подвержены чахотке в сильной степени; здесь она самая частая и самая опасная болезнь. Больше всего умирают в декабре, когда на Сахалине бывает очень холодно, и в марте и апреле; меньше всего — в сентябре и октябре. Вот состав умерших от туберкулеза по возрастам:

От	0	до	20	лет	3%
»	20	»	25	»	6%
»	25	»	35	»	43%
»	35	»	45	»	27%
»	45	»	55	»	12%
»	55	»	65	»	6%

Стало быть, опасности умереть от чахотки на Сахалине подвержены наиболее всего возрасты 25—35 и 35—45 л., — рабочие, цветущие возрасты². Большинство умерших от чахотки — каторжные (66%). Вот это-то преобладание рабочих возрастов и каторжных дает право заключить, что значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит главным образом от неблагоприятных условий жизни в общих тюремных камерах и непосильной тяжести каторжных работ, отнимающих у рабочего больше, чем может дать ему тюремная пища. Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине — вот главные причины сахалинской чахотки.

Сифилис в 1889 г. был зарегистрирован 246 раз, с 5 смертями. Всё это, как сказано в отчете, были старые сифилитики, со вторичными и третичными формами. Сифилитики, которых мне приходилось видеть, производили жалкое впечатление; эти запущенные, застарелые случаи указывали на полное отсутствие санитарного надзора, который, в сущности, при малочисленности ссыльного населения, мог бы быть идеальным. Так, в Рыковском я видел еврея с сифилитической чахоткой; он давно не лечился, разрушался мало-помалу, и семья нетерпеливо ожидала его смерти, — и это в какой-нибудь полуверсте от больницы! В метрических книгах смерть от сифилиса упоминается 13 раз³.

Больных цингою было зарегистрировано в 1889 г. 271, умерло 6. В метрических книгах смерть от цинги показана 19 раз. [Лет 20—25 назад](#) эта болезнь встречалась на острове несравненно чаще, чем в последнее десятилетие, и от нее погибало много солдат и арестантов. [Некоторые старые корреспонденты](#), стоявшие за учреждение ссыльной колонии на острове, совершенно отрицали цингу и в то же время восхваляли черемшу как превосходное средство от цинги и писали, что население заготавливало на зиму сотни пудов этого средства. Цинга, свирепствовавшая на Татарском берегу, едва ли стала бы щадить Сахалин, где условия жизни в постах были несколько не лучше. В настоящее время чаще всего эту болезнь привозят с собой арестанты на пароходах Добровольного флота. Это удостоверяет и медицинский отчет. [Окружной начальник и тюремный врач в Александровске говорили мне](#), что 2-го мая 1890 г. на «Петербург» прибыло 500 арестантов, и из них не менее ста болели цингою; 51 были положены врачом в лазарет и околоток. Один из этих цинготных, полтавский хохол, которого я еще застал в лазарете, говорил мне, что заболел он цингою в харьковском центре⁴. Из общих расстройств питания, кроме цинги я упомяну еще о маразме, от которого на Сахалине умирают далеко не старые люди, принадлежащие к рабочим возрастам. Один показан умершим 27, другой 30, остальные 35, 43, 46, 47, 48... лет. И едва ли это описка фельдшера или священника, так как «старческий маразм», как причина смерти у людей не старых и не достигших 60 лет, упоминается в метрических книгах 45 раз. Средняя продолжительность жизни русского ссыльного еще неизвестна, но если судить на глаз, то сахалинцы рано старятся и дряхлеют, и каторжный или поселенец 40 лет большею частью выглядит уже стариком.

С нервными болезнями ссыльные обращаются в лазарет не часто. Так, в 1889 г. невралгии и судороги были зарегистрированы только 16 раз*. Очевидно, лечатся только те нервные больные, которых привозят или приводят. Воспаление мозга, апоплексия и паралич дали 24 случая с 10 смертями, эпилепсия зарегистрирована 31 раз, а расстройство умственных способностей 25 раз. Психические больные, как я говорил уже, на Сахалине не имеют отдельного помещения; при мне одни из них помещались в селении Корсаковском, вместе с сифилитиками, причем один даже, как мне рассказывали, заразился сифилисом, другие, живя на воле, работали наравне со здоровыми, сожительствовали, убегали, были судимы. Я лично встречал в постах и селениях немало сумасшедших. Помнится, в Дуэ один бывший солдат всё толковал про воздушный и небесный океаны, про свою дочь Надежду и Шаха персидского и про то, что он убил крестовоздвиженского дьячка. При мне однажды во Владимировке некий Ветряков, отбывший пять лет каторги, с тупым, идиотским выражением подошел к смотрителю поселений, г. Я., и по-приятельски протянул ему руку. «Как ты со мной здороваешься?» — удивился г. Я. Оказалось, что Ветряков пришел попросить, нельзя ли ему получить из казны плотничий топор. «Построю себе шалаш, потом буду избу рубить», — сказал он. Это давно уже признанный сумасшедший, был на испытании у врача, параноик. Я спросил, как зовут его отца. Он ответил: «Не знаю». И все-таки ему выдали топор. Не говорю уж о случаях нравственного помешательства, о начальном периоде прогрессивного паралича и проч., где нужна более или менее тонкая диагностика. Эти все работают и сходят за здоровых. Некоторые приезжают уже больными или привозят с собой зародыш болезни; так, в метрической книге записан умершим от прогрессивного паралича каторжный Городов, осужденный за заранее обдуманное убийство, которое, быть может, совершил он, уже будучи больным. Другие же заболевают на острове, где каждый день и каждый час представляется достаточно причин, чтобы человеку некрепкому, с расшатанными нервами, сойти с ума*.

Желудочно-кишечные заболевания в 1889 г. были зарегистрированы 1760 раз. За десять лет умерло 338; из этого числа 66% относятся к детскому возрасту. Самые опасные месяцы для детей — это июль и особенно август, на долю которых приходится треть всего числа умерших детей. Взрослые от желудочно-кишечных расстройств умирают чаще всего тоже в августе, быть может, оттого, что в этом месяце идет периодическая рыба, которую объедаются. Катар желудка здесь обыкновенная болезнь. Уроженцы Кавказа всегда жалуются, что у них «сердце болит», и после ржаного хлеба и тюремных щей у них бывает рвота.

С женскими болезнями обращались в 1889 г. в лазарет не часто, всего 105 раз. Между тем в колонии почти нет здоровых женщин. В акте одной из комиссий по продовольствию каторжных, в которой участвовал заведующий медицинской частью, сказано, между прочим: «Около 70% ссыльнокаторжных женщин страдают хроническими женскими болезнями». Случалось, что во всей вновь прибывшей партии арестанток не оказывалось ни одной здоровой.

Из глазных болезней чаще всего наблюдается конъюнктивит; эпидемическая форма его не переводится у инородцев*. О более серьезных страданиях глаз я не

могу сказать ничего, так как в отчете все глазные болезни сплошь показаны одною цифрой 211. В избах я встречал одноглазых, с бельмами и слепых; видел и слепых детей.

С травматическими повреждениями, с вывихами, переломами, ушибами и ранами всякого рода обращались в 1889 г. за помощью 1217 человек. Всё это повреждения, полученные на работах, при всякого рода несчастных случаях, в бегах (огнестрельные раны), в драке. К этой же группе отнесены 4 случая, когда были доставлены в лазарет ссыльнокаторжные женщины, избитые своими сожителями**. Ознобление было зарегистрировано 290 раз.

Случаев неестественной смерти среди православного населения за 10 лет было 170. Из этого числа 20 казнены через повешение, 2 повешены неизвестно кем; самоубийств произошло 27, причем в Сев<ерном> Сахалине стрелялись (один застрелился стоя на часах), а в Южном отравлялись борцом; много утонувших, замерзших, задавленных деревьями; один разорван медведем.

Помимо таких причин, как паралич сердца, разрыв сердца, апоплексия, общий паралич тела и т. п., в метрических книгах показаны еще «скоропостижно» умершими 17 человек; из них больше половины было в возрасте от 22 до 40 лет, и только одному было больше 50.

Вот и всё, что я могу сказать о заболеваемости в ссыльной колонии. Несмотря на чрезвычайно слабое развитие инфекционных болезней, я все-таки не могу не признать ее значительной, хотя бы на основании только что приведенных цифр. Больных, обращавшихся за медицинской помощью в 1889 г., было 11 309; но так как большинство каторжных в летнее время живет и работает далеко вне тюрьмы, где лишь при больших партиях находятся фельдшера, и так как большинство поселенцев, за дальностью расстояния и по причине дурной погоды, лишено возможности ходить и ездить в лазареты, то эта цифра касается главным образом той части населения, которое живет в постах, вблизи врачебных пунктов. По данным отчета, в 1889 г. умерло 194, или 12,5% на 1000. На этом показателе смертности можно было бы построить великолепную иллюзию и признать наш Сахалин самым здоровым местом в свете; но приходится считаться с следующим соображением: при обыкновенных условиях на детские возрасты падает больше половины всех умерших и на старческий возраст несколько менее четверти, на Сахалине же детей очень немного, а стариков почти нет, так что коэффициент в 12,5%, в сущности, касается только рабочих возрастов; к тому же он показан ниже действительного, так как при вычислении его в отчете бралось население в 15 000, то есть по крайней мере в полтора раза больше, чем оно было на самом деле.

В настоящее время на Сахалине имеется три врачебных пункта, по числу округов: в Александровске, Рыковском и Корсаковске. Лечебницы называются, по-старому, окружными лазаретами, а те избы или камеры, куда помещают больных с легкими формами, — околотками. На каждый округ полагается по одному врачу, а во главе всего дела стоит заведующий медицинской частью, доктор медицины. У военных команд свои лазареты и врачи, и случается нередко, что военные врачи временно исправляют должность тюремных: так, при мне, за отсутствием заведующего медицинской частью, уехавшего на тюремную выставку, и тюремного врача, подавшего в отставку, лазаретом в

Александровске заведовал военный врач; также в Дуэ при мне во время экзекуции военный врач заменял тюремного. Здешние лазареты руководствуются уставом гражданских лечебных заведений и содержатся на счет тюремных сумм.

Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из нескольких корпусов барачной системы*, рассчитан на 180 кроватей. Когда я подходил к лазарету, новые бараки блестели на солнце своими тяжелыми, круглыми бревнами и издавали хвойный запах. В аптеке всё ново, всё лоснится, есть даже бюст Боткина, слепленный одним каторжным по фотографии. «Немножко непохож», — говорил фельдшер, глядя на этот бюст. Как водится, громадные ящики с cortex'ами¹ и radix'ами², из которых добрая половина давно уже вышла из употребления. Иду дальше в бараки, где больные. Тут в проходе между двумя рядами кроватей пол устлан ельником. Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом; рана в полвершка длины, сухая, зияющая; слышно, как сипит воздух. Больной жалуется, что на работе его придавило обвалом и ушибло ему бок; он просился в околоток, но фельдшер не принял его, и он, не перенеся этой обиды, покусился на самоубийство — хотел зарезаться. Повязки на шее нет; рана предоставлена себе самой. Направо от этого больного, на расстоянии 3—4 аршин от него, — китаец с гангреной, налево — каторжный с рожей... В углу другой с рожей... У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированы, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером, видимо, знаком с русскими порядками, и, кажется, во всей этой больничной толпе это единственный человек, который своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа.

Немного погодя я принимаю амбулаторных больных. Приемная рядом с аптекой, новая; пахнет свежим деревом и лаком. Стол, за которым сидит врач, огорожен деревянного решеткой, как в банкирской конторе, так что во время приемки больной не подходит близко и врач большею частью исследует его на расстоянии. За столом рядом с врачом сидит классный фельдшер и, безмолвствуя, играет карандашиком, и кажется, будто это ассистент на экзамене. Тут же, в приемной, у входной двери стоит надзиратель с револьвером, снуют какие-то мужики, бабы. Эта странная обстановка смущает больных, и, я думаю, ни один сифилитик и ни одна женщина не решится говорить о своей болезни в присутствии этого надзирателя с револьвером и мужиков. Больных немного. Всё это или febris sachaliniensis, или экземы, или «сердце болит», или симулянты; больные-каторжные убедительно просят, чтобы их освободили от работ. Приводят мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым, но мне говорят, что это не может быть, так как слесарь недавно точил его. Опять фельдшер и мужики срываются с места и после двух-трехминутного ожидания приносят еще один скальпель. Начинаю резать — и этот тоже оказывается тупым. Прошу карболовой кислоты в

растворе — мне дают, но не скоро; видно, что эта жидкость употребляется здесь не часто. Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве.

В этом лазарете среднее ежедневное число амбулаторных больных 11 человек, среднее годовое число (за пять лет) 2581; среднее ежедневное коечных больных 138. При лазарете старший* и младший врачи, два фельдшера, повивальная бабка (одна на два округа) и прислуги, страшно вымолвить, 68 душ: 48 мужчин и 20 женщин. В 1889 г. израсходовано было на эту больницу 27 832 р. 96 к.* По отчету за 1889 г., судебно-медицинских осмотров и вскрытий трупов во всех трех округах было 21. Освидетельствовано повреждений 7, беременных 58 и для определения способности перенести телесные наказания по приговорам судов 67.

Делаю выписки из того же отчета, касающиеся больничного инвентаря. Во всех трех лазаретах было: гинекологический набор 1, ларингоскопический набор 1, максимальных термометров 2, оба разбиты; термометров «для измерения тела» 9, — 2 разбиты; термометров «для измерения высокой температуры» 1, троакар 1, шприцов Праваца 3, — в одном сломана игла; оловянных спринцовок 29, ножниц 9, — 2 изломаны; клистирных трубок 34, дренажная трубка 1, большая ступка с пестиком 1, — с трещиной; бритвенный ремень 1, банок кровососных 14.

Из «Ведомости о приходе и расходе медикаментов в лечебных заведениях гражданского ведомства на о. Сахалине» видно, что во всех трех округах было израсходовано в течение отчетного года: 36½ пудов соляной кислоты и 26 пудов хлорной извести, карболовой кислоты 18½ ф. Aluminum crudum 56 ф. Камфары — больше пуда. Ромашки 1 п. 9 ф. Хинной корки 1 п. 8 ф. и красного стручкового перца 5½ ф. (сколько же израсходовано спирту, в «Ведомости» не сказано). Дубовой коры 1 п. Мяты 1½ п., арники ½ пуда, алтейного корня 3 п., скипидару 3½ п., прованского масла 3 п., деревянного 1 п. 10 ф. Иодоформа ½ пуда... Всего не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств, по данным «Ведомости», потрачено шестьдесят три с половиной пуда лекарств; сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 г. оно приняло громадную дозу.

Из статей закона, имеющих отношение к здоровью ссыльных, приведу две: 1) работы, вредно действующие на здоровье, не допускаются даже и по выбору самих арестантов (выс. утв. мнение Гос. сов. 6 янв. 1886 г., ст. 11) и 2) женщины беременные до разрешения их от бремени, а разрешившиеся до истечения сорока дней после родов освобождаются от работ. После сего срока женщинам, питающим младенцев грудью, работы облегчаются в той мере, в какой это необходимо для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу. На кормление грудью младенцев осужденным женщинам полагается полуторагодичный срок. Ст. 297 «Устава о ссыльных», изд. 1890 г.

Сноски

Сноски к стр. 357

* В 1874 г. в Корсаковском округе заболевшие относились к общему числу, как 227,2:100. С и н ц о в с к и й, врач: Гигиеническая обстановка ссыльнокаторжных. — «Здоровье», 1875 г., № 16.

Сноски к стр. [358](#)

* Между прочим, я встречал тут такие диагнозы, как неумеренное питье от груди, неразвитость к жизни, душевная болезнь сердца, воспаление тела, внутреннее истощение, курьезный пневмоний, Шпер и проч.

Сноски к стр. [360](#)

* Об эпидемии этой болезни, охватившей весь Сахалин в 1868 г., и об оспопрививании у инородцев в 1858 г. см. Васильева «Поездка на остр<ов> Сахалин». — «Архив судебной медицины», 1870 г., № 2. Против зуда при varicella гиляки употребляют топленый тюлений жир, которым намазывают всё тело. Оттого что гиляки никогда не моются, у них ветряная оспа сопровождалась таким зудом, какого никогда не бывало у русских; от расчесывания образовывались язвы. В 1858 году на Сахалине была настоящая оспа, чрезвычайно злокачественная: один старый гиляк говорил д-ру Васильеву, что из троих двое умирало.

Сноски к стр. [361](#)

¹ сыпи (лат.).

* В июле, августе и сентябре 1889 г. не было ни одного случая. В октябре за последние десять лет смерть от крупозной пневмонии была только один раз; этот месяц на Сахалине можно считать самым здоровым.

Сноски к стр. [362](#)

* Кстати, в этом рапорте я нашел такую подробность: «Каторжные подвергаются жестоким наказаниям розгами, так что прямо из-под наказания бесчувственными приносятся в лазарет».

** Д-р Васильев часто встречал на Сахалине гиляков, страдавших кровавым поносом.

Сноски к стр. [363](#)

* Припоминаю читателю, что эти возрасты относятся ко всему ссыльному населению, как 24,3% и 24,1%.

Сноски к стр. [364](#)

* Сифилис чаще всего наблюдается в Александровском посту. В отчете объясняется это скоплением здесь значительного числа вновь прибывших арестантов и их семейств, войск, ремесленников и всего пришлого населения, приходом судов на Александровский и Дуйский рейды, летними отхожими промыслами. В отчете указаны и меры, употребляемые против сифилиса: 1) осмотр каторжных 1 и 15 числа каждого месяца; 2) осмотр партий, вновь прибывающих на остров; 3) еженедельный осмотр женщин сомнительной нравственности; 4) наблюдение за бывшими больными сифилисом. Но, несмотря на все эти осмотры и наблюдения, значительный процент сифилитиков ускользает от регистрации.

Д-р Васильев, командированный в 1869 г. на Сахалин для подания медицинского пособия инородцам, не встречал гиляков, больных сифилисом. Айно называют сифилис японской болезнью. Японцы, приезжающие на рыбные промыслы, обязаны представить консулу медицинское свидетельство в том, что они не больны сифилисом.

Сноски к стр. [365](#)

* Продолжительное пребывание в центральных тюрьмах и паровых трюмах располагает к заболеванию цингой, и случалось, что арестанты заболевали целыми партиями вскоре по прибытии на остров. «Последний транспорт каторжных с „Костромы“, — пишет один корреспондент, — прибыл здоровым, теперь весь в цинге». — «Владивосток», 1885 г., № 30.

** Каторжного с мигренью или ишиасом легко заподозрить в симуляции и не пустить в лазарет; однажды [я видел, как целая толпа каторжных просилась у смотрителя тюрьмы в лазарет и он отказывал всем, не желая разбирать ни больных, ни здоровых.](#)

Сноски к стр. [366](#)

* Например, угрызения совести, тоска по родине, постоянно оскорбляемое самолюбие, одиночество и всякие каторжные дрязги...

Сноски к стр. [367](#)

* Д-р Васильев: «У гиляков имеет большое влияние на происхождение болезни постоянное созерцание снежной пустыни... Я по опыту знаю, что в несколько дней от постоянного созерцания снежной пустыни можно получить бленорейное воспаление слизистой оболочки глаз». Каторжные очень склонны к заболеванию куриною слепотой. Иногда она «наваливает» на целые партии, так что каторжные идут ощупью, держась друг за друга.

** Составитель отчета комментирует эти случаи таким замечанием: «Раздача ссыльнокаторжных женщин в сожителство ссыльнопоселенцам имеет характер принудительный для первых». Некоторые каторжные, чтоб их не посылали на работы, увечат себя, например отрубают себе на правой руке пальцы. Особенно изобретательны в этом отношении симулянты; они прикладывают к телу раскаленные пятаки, нарочно отмораживают себе ноги, употребляют какой-то кавказский порошок, который, будучи всыпан в небольшую рану или даже ссадину,

производит язву грязную, с гнилостным распадом; один всыпал себе в уретру нюхательного табаку и т. д. Больше всего любят симулировать манзы, которых присылают сюда из Приморской области.

Сноски к стр. [369](#)

* Лазарет занимает площадь в 8574 кв. саж., состоит из 11 построек, расположенных на трех пунктах: 1) административный корпус, вмещающий в себе аптеку, хирургическую комнату и приемный покой, 4 барака, кухня с женским отделением при ней и часовня, — это собственно и называется лазаретом; затем 2) 2 корпуса для сифилитиков, мужчин и женщин, кухня и надзирательская; 3) 2 корпуса, занятые эпидемическим отделением.

¹ корой (лат.).

² корнями (лат.).

Сноски к стр. [370](#)

* Он же заведующий медицинской частью.

Сноски к стр. [371](#)

* Одежда и белье стоили 1795 руб. 26 коп., пищевое довольствие 12 832 р. 94 к., лекарства, хирургические инструменты и аппараты 2309 р. 60 к., расходы комиссариатские, канцелярские и проч. 2500 р. 16 к., медицинский персонал 8300 р. Ремонт зданий на средства тюрьмы, прислуга бесплатная. Теперь прошу сравнить. [Земская больница в г. Серпухове, Москов. губ.](#), поставленная *роскошно* и удовлетворяющая вполне современным требованиям науки, где среднее ежедневное число коечных больных в 1893 г. было 43 и амбулаторных 36,2 (13 278 в год), где врач почти каждый день делает серьезные операции, наблюдает за эпидемиями, ведет сложную регистрацию и проч. — эта лучшая больница в уезде в 1893 г. стоила земству 12 803 р. 17 к., считая тут страхования и ремонт зданий 1298 р. и жалованье прислуге 1260 р. (см. «Обзор Серпуховской земской санитарно-врачебной организации за 1892—1893 гг.»). Медицина на Сахалине обходится очень дорого, между тем лазарет дезинфицируется «через обкуривание хлором», вентиляций нет, и суп, который при мне в Александровске готовили для больных, был очень соленого вкуса, так как варили его из солонины. До последнего времени, якобы «за недоставлением комплекта посуды и неустройством кухни», продовольствие больных производилось из общего тюремного котла (приказ начальника острова 1890 г., № 66).

ПОВЕСТИ

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

(ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА)

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние 25—30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как [Пирогов](#), [Кавелин](#) и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее, и прочее. Всё это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упоминается с кафедрами с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тис'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; [шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса](#), грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь — всё лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен тис'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их

органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу: когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избежать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений — то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сажусь я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе — и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью — значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. . .

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку. . . Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей — это главным образом и служит темой для нашего разговора.

— Конечно, это нам тяжело, — вздыхает жена, — но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, славу богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки — и всё это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варю, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

— Что ж это я сижу? — говорит она, поднимаясь. — Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь?

Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев — пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилom всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платье... Заложи всё это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, — мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi»¹. Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не отремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор,

как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой, стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распаивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крикает и говорит:

— Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и открывает на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает? Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших *всё*, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то [Грубелю](#), то мне, то Бабухину. Для образованного

общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет 35, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит всё прочитанное — и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем — это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Говорят, [Скобелев](#) умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

— Какой это Скобелев?

В другой раз — это было несколько раньше — я объявил, что умер [профессор Перов](#). Милейший Петр Игнатьевич спросил:

— А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом [Патти](#), напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десятков добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное «в прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтора лица, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту

я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один ползет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и полчаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как 20—30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью, со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Не легко переживать такие минуты.

II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: «вы изволили справедливо заметить», или «как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое всё еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по

неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволлю, а вторых гоняю по целому году.

— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство... — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это — совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

— Ну, да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно, — говорю я, — вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теревит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

267

— В таком случае прощайте... Извините.

— Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого чёрта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуются. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

— Очень рад быть полезным, коллега, — говорю я, — но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

— Что вы все ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.

— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он всё молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит не нужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

18 лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он

назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и жила у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это — необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопчет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Всё, что делается на этом свете, всё прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

— Студенты дерутся в университете? — спрашивает она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите их на колени?

— Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть — и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было 14—15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

— Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

— Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров: можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30—40 лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрощенное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сантиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймает. Не знаю, что будет через 50—100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы — лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, — и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. . . Может быть, всё это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, всё обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей — это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерам, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего

общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль. . . » и так далее, всё в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и всё мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела — мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног — ковры, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей. . . Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я обращаюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто всё уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

— Прощайте, — говорит Катя. — Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

— А вы всё худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

— У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно...

— Мама! — говорит ей укоризненно Лиза. — Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

— Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полтора десятка молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или

инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабранными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблучков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого, к тому же, мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедают существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не

понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки. . .

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и лецца с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлыми радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше умения пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет лецца с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катинной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится. . . Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» и всё в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу не настоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жене и Лизу всё это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня *votre excellence*¹.

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, — начинает она. — Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

— Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

— Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

— Так нельзя относиться к серьезному шагу... — говорит она. — Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить всё личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим всё, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

— Откуда тебе это известно?

— Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

— Зачем?

— Ты разузнаешь там... У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

— Не поеду я в Харьков, — говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

— Ради бога, Николай Степаныч! — умоляет она меня, всхлипывая. — Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Варя, — говорю я ласково. — Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю всё, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погода приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

— А ты всё лежишь, — говорю я, помолчав немного и отдохнув. — Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

— Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

— Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

— Замуж бы выходила, — говорю я полусуто.

— Не за кого. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

— Плохо дело, моя милая! — начинаю я со вздохом. — Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен и каждый день теряю в весе, — то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

— Болезнь тут ни при чем, — перебивает меня Катя. — Просто у вас открылись глаза; вот и всё. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь нелепости.

— Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

— Ничтожества! — повторяет она. — Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

— Катя, — говорю я строго, — прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайте же меня, мой дорогой: бросьте всё и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.

— Что за вздор! А университет?

— И университет тоже. Что он вам? Всё равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножить этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Боже мой, как ты резка! — ужасаюсь я. — Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду... — рассказываю я. — Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки... Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины — одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства:

бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

— Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ, филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить — это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутовскому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

— Ох, господи, — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. — Бывают же на свете такие комики!

— А что? — спрашивает Катя.

— Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня — теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

— Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как эта наша alma mater¹, не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее чёрт взял.

И тотчас же резкий переход:

— Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками — просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа. . . «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! На зло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое. . .

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя любила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век, — говорит Михаил Федорович с расстановкой. — Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинт-эссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

— И мухи не знают науки, — говорю я, — но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами. . . Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше

земледелия, торговли, выше ремесл. Наша секта кормится этим предрассудком и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика, — вздыхает Михаил Федорович. — Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: [«Печально я гляжу на наше поколение»](#).

— Да, ужасно измельчали, — соглашается Катя. — Скажите, в последние пять-десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

— Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

— Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. . . Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Всё серо, бездарно, надуту претензиями. . .

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше как вчера мой товарищ, гигиенист, жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, [Марк Аврелий](#), [Эпиктет](#) или [Паскаль](#), и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная

инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д. . . .

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

— Уморительные попадают субъекты, — говорит Михаил Федорович. — Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студюоза, из ваших же медиков, III курса, кажется. Лицо этакое. . . в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец — забыл его фамилию — добыл из человеческого мозга новый алкалоид — идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намерен прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой, лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену — ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» — «Благородно, — отвечает «из насих». — «Брраво! — орет медик. — Бла-а-родно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями — похоже на то, как будто она играет на гармонике — и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

— Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

— А я еще посижу немножко, — говорит Михаил Федорович. — Позволяете, Екатерина Владимировна?

— Позволяю, — отвечает Катя.

— Вene¹. В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится. . . — угрюмо вставляет Катя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия». . . И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне всё кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко всё это.

Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны. . . Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Всё хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть всё гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница. . .

IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:
— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без *но*; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10—15 лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без *но*. Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или, наконец — талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. . . Один хочет быть в своих произведениях непременно мешанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Всё это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я

почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее — всё это для меня непонятно, страшно и всё это не похоже на скромность и джентльменски спокойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я несколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, *ultima ratio!*¹ Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я несколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10—15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих дерева, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я люблюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «гряди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя к нему в сени.

— Ваше превосходительство! — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. — Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! [Гаудеамус игитур ювенестус!](#)

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

— Всё у нас там благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Как перед истинным. . .

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и всё время он тихим, ровным голосом, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой — немец — уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий — тоже немец — перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто [Пти](#), а непременно Жан Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею. . . Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди». . . Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит. . .

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши немцы. . .

Это похоже на то, как покойный профессор Никита [Крылов](#), купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем

дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлечись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться. . .

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик — что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их — и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

— Хорошо, съезжу. . . — соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

— Кстати еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя. . . Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе. . . К тому же, у нее такая репутация, что. . .

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор. . .

— Оставьте меня! — кричу я. — Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера. . . Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

— Там увидим, — отвечает она,

— Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

— Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

— Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, — говорит она. — Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

— Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

— Да, — отвечаю я.

— Гм. . . Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи, терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

— Не могу.

— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты

не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же всё может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству. . .

— Не лукавьте, Николай Степаныч, — перебивает меня Катя. — Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще. . . я не люблю этих разговоров об искусстве! — продолжает она нервно. — Не люблю! И так уж опошили его, благодарю покорно!

— Кто опошил?

— Те опошили его пьянством, газеты — фамильярным отношением, умные люди — философией.

— Философия тут ни при чем.

— При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся краснеет. — Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это. . . это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и. . . и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.

— Опять этот Михаил Федорыч! — говорит Катя с досадой. — Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся. . . Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью, вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минуту».

Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что

были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе. . .

V

Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. . .

Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что всё смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. . .

Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и всё это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится всё чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду. . . спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку. . .

— Киви-киви! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Киви-киви!

Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще неизведанная боль?

Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется. . . Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять вверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степаныч? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается. . .

— Хорошо. . . с удовольствием. . . — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. — Хорошо. . . Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице, — думаю я. — Сейчас. . .» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой. . . ах, боже мой! — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. — Не могу, не могу. . .

— Лиза, дитя мое, — говорю я. — Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый. . . — рыдает она, — папа мой хороший. . . Крошечка мой, миленький. . . Я не знаю, что со мною. . . Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, дитя мое, бог с тобой, — говорю я. — Не нужно плакать. Мне самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена. — Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

— Ничего, ничего. . . Это пройдет. . . Спи, спи. .

Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается и я спешу объяснить себе этот вой.

«Пустяки. . . — думаю я. — Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и всё. . . Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения. . .»

Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжело, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою. . .

Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли. . . Рассвет еще не скоро.

Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревьев ветку, осторожно стучит ею по окну.

— Николай Степаныч! — слышу я шёпот. — Николай Степаныч!

Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и смотрит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.

— Это я. . . — говорит она. — Я. . . Катя!

При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.

— Что тебе?

— Простите, — говорит она. — Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. . . Я не выдержала и поехала сюда. . . У вас в окне свет и. . . и я решила постучать. . . Извините. . . Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего. . . Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.

Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и всё лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости.

— Николай Степаныч! — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки. — Дорогой мой, прошу вас. . . умоляю. . . Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите от меня мои деньги!

— Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?

— Вы поедете куда-нибудь лечиться. . . Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?

Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:

— Да? Возьмете?

— Нет, мой друг, не возьму. . . — говорю я. — Спасибо.

Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.

— Поезжай домой спать, — говорю я. — Завтра увидимся.

— Значит, вы не считаете меня своим другом? — спрашивает она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

— Извините. . . — говорит она, понизив голос на целую октаву. — Я понимаю вас. . . Одолжаться у такого человека, как я. . . у отставной актрисы. . . Впрочем, прощайте. . .

И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.

Я в Харькове.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я неправ по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно всё равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев.

Приехал я сюда часов в 12 дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тис'а. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.

Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город, как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений — то же самое.

В коридоре часы бьют час, потом два, потом три... Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра...

В коридоре бьет пять часов, шесть, семь... Становится темно.

В щеке тупая боль — это начинается тис. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим, серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве всё это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве», и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою большую щеку... Семейные дразги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях — всё это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается

исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но всё это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве... В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.

Часов в десять я засыпаю и, несмотря на тис, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздаётся стук в дверь.

— Кто там?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра, — сержусь я, получая от коридорного телеграмму. — Теперь уж я не усну в другой раз.

— Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, всё уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых всё условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих

суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы всё то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего.

Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.

Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику... Между прочим в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».

Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, — и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом...

Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь открывается, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя.

— Здравствуйте, — говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. — Не ожидали? Я тоже... тоже сюда приехала.

Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала... сегодня... Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.

— Очень рад видеть тебя, — говорю я, пожимая плечами, — но я удивлен... Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?

— Я? Так... просто взяла и приехала.

Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.

— Николай Степаныч! — говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. — Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я. — Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю вас! — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. — Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

— Помогите мне! Помогите! — умоляет она. — Не могу я дольше!

Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн. . .».

— Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. — Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?

— По совести, Катя: не знаю. . .

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будет плакать!

И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:

— Меня скоро не станет, Катя. . .

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачет она, протягивая ко мне руки. — Что мне делать?

— Чудачка, право. . . — бормочу я. — Не понимаю! Такая умница и вдруг — на тебе! расплакалась. . .

Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку — и всё это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. . . Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я.

— Нет, благодарю, — отвечает она холодно. Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Харьков, — говорю я. — Серо уж очень. Какой-то серый город.

— Да, пожалуй. . . Некрасивый. . . Я ненадолго сюда. . . Мимоездом. Сегодня же уеду.

— Куда?

— В Крым. . . то есть на Кавказ.

— Так. Надолго?

— Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей. . . Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги. . . Прощай, мое сокровище!

Сноски

Сноски к стр. [257](#)

¹ История болезни (*лат.*).

Сноски к стр. [278](#)

¹ ваше превосходительство (*франц.*).

Сноски к стр. [285](#)

¹ мать-кормилица, здесь: университет (*лат.*).

Сноски к стр. [290](#)

¹ Хорошо (*лат.*).

Сноски к стр. [294](#)

¹ последний довод! (*лат.*).

ДУЭЛЬ

I

Было восемь часов утра — время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.

С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.

— Ответь мне, Александр Давидыч, на один вопрос, — начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. — Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

— Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны — и разговор весь.

— Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет. . .

— Что ж? Единоновременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесечно — и никаких. Очень просто.

— Допустим, что у тебя есть и пятьсот, и двадцать пять помесечно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?

Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатила назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.

— Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. — Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Ему вдруг стало стыдно своих слов; он спохватился и сказал:

— А по мне хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему!

Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку; он сначала выливал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

— Удивительно великолепный вид!

После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.

— Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор, — сказал он. — Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи. . . очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу.

— Я прожил с нею два года и разлюбил. . . — продолжал Лаевский, — то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. . . Эти два года были — обман.

У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.

— Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, — сказал он, — но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека всё спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее. . . В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал:

— Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с природы. . .

— Боже мой, — вздохнул Лаевский, — до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже. . . Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы. . . Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену виц-мундир и буду служить, потом же на просторе возьмем себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может,

прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — всё это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике — ни к чёрту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папильотки каждое утро и тот же самообман...

— Без утюга нельзя в хозяйстве, — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. — Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшего ума человек... Конечно, вы не венчаны, — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы, — но ведь это не ваша вина и к тому же... надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да... Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти.

— Без любви?

— Я тебе сейчас объясню, — сказал Самойленко. — Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход всё свое терпение...

— Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет — бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений, но я еще не пал так низко; если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое.

Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

— Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

— Это, как бы тебе объяснить... такая болезнь, когда мозги становятся мягче... как бы разжижаются.

— Излечимо?

— Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

— Так... Так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу: это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне

сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее... Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не придумаешь... Ну, вот, скажи: что делать?

— М-да... — промычал Самойленко, не зная, что ответить. — Она тебя любит?

— Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.

Самойленко сконфузился.

— Ты сегодня, Ваня, не в духе, — сказал он. — Не спал, должно быть.

— Да, плохо спал... Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то... Бежать надо!

— Куда?

— Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям... Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии, или в Тульской, выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохеньким студентом и болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд...

Лаевский засмеялся от удовольствия, на глазах у него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.

— А я уже восемнадцать лет не был в России, — сказал Самойленко. — Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.

— У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.

Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной — и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом

факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной — всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.

— Еще одна подробность, — сказал Лаевский, встряхивая головой. — Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней... Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.

— Царство небесное... — вздохнул Самойленко. — Почему же ты от нее скрываешь?

— Показать ей это письмо значило бы: пожалуйста в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.

— Знаешь что, Ваня? — сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. — Женись, голубчик!

— Зачем?

— Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!

— Но пойми, чужак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя.

— Но ты обязан!

— Почему же я обязан? — спросил с раздражением Лаевский.

— Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.

— Но тебе говорят русским языком: я не люблю!

— Ну, любви нет, так почитай, ублажай... .

— Почитай, ублажай... — передразнил Лаевский. — Точно она игуменья... Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.

— Ваня, Ваня... — сконфузился Самойленко.

— Ты — старый ребенок, теоретик, а я — молодой старик и практик, и мы никогда не пойдем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа, — крикнул Лаевский человеку, — сколько с нас следует?

— Нет, нет... — испугался доктор, хватая Лаевского за руку. — Это я заплачу. Я требовал. Запиши за мной! — крикнул он Мустафе.

Друзья встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощанье пожали друг другу руки.

— Избалованы вы очень, господа! — вздохнул Самойленко. — Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную — и ты отказываешься, а мне бы дал бог хоть кривобокою старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и... .

Самойленко спохватился и сказал:

— И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.

Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы честный и гостеприимный народ. «Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, — думал он, — очень странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.

— Марья Константиновна, доброе утро! — крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. — Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтение Никодиму Александрычу!

И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:

— Есть кто-нибудь в лазарете?

— Никого, ваше превосходительство.

— А?

— Никого, ваше превосходительство.

— Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:

— Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!

II

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он подумал, что питье кофе — не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читает для того, чтобы казаться умной.

— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.

— Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю...

— Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.

— Ну, и спроси у доктора. Я не доктор.

На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли всё об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит всё, что ему нужно.

— Бежать! — пробормотал он, садясь и грызя ногти. — Бежать!

Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится на поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится всё холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва... В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулочек, где он жил когда-то со студентами, вот милое, серое небо, морозящий дождик, мокрые извозчики...

— Иван Андреич! — позвал кто-то из соседней комнаты. — Вы дома?

— Я здесь! — отозвался Лаевский. — Что вам?

— Бумаги!

Лаевский поднялся лениво, с головокружением и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике, казенные бумаги.

— Сейчас, голубчик, — мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу; вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал: — Жарко!

— Да-с. Вы придете сегодня?

— Едва ли... Нездоровится что-то... Скажите, голубчик, Шешковскому, что после обеда я зайду к нему.

364

Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать:

«Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет... Это, конечно, не важно; часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна... Прежде всего, надо выяснить наши отношения... Да».

Немного погодя, он соображал: не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?

«Пойти можно, — думал он, — но какая польза от этого? Опять буду говорить ему нехоти о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут, чёрт подери, могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, — это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! — бормотал он, садясь. — Бежать!»

Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых, лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен; быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Кто знает! Если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человек, например музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека всё честно.

В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:

— Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

— Капусты нет.

— Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи, один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка.

Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор, как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой.

— Этот суп похож вкусом на лакрицу, — сказал он улыбаясь; он делал над собою усилия, чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал: — Никто у нас не смотрит за хозяйством... Если уж ты так больна или занята чтением, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она ответила бы ему: «займись» или: «ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», но теперь только робко взглянула на него и покраснела.

— Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? — спросил он ласково.

— Сегодня ничего. Так, только маленькая слабость.

— Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни, он видел ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадков лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.

— Мерси, голубка, — сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб.

Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал:

— Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать! Он лег на диван и опять вспомнил, что муж Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине.

«Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо, — убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. — Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена — меня?»

Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шешковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво.

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, — думал Лаевский дорогой. — Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!»

III

Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам.

Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах; Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, величайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищутив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волосы, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее в сенях Самойленко, без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготавливая салат, или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно тарачил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой.

— Подай уксус! — приказывал он. — То, бишь, не уксус, а прованское масло! — кричал он, топая ногами. — Куда же ты пошел, скотина?

— За маслом, ваше превосходительство, — говорил оторопевший денщик надтреснутым тенором.

— Скорее! Оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтоб она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налезут!

368

И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось 10 или 15 минут, приходил дьякон, молодой человек, лет 22, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.

— Здравствуйте, — холодно говорил зоолог. — Где вы были?

— На пристани бычков ловил.

— Ну, конечно... По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом.

— Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет, — говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.

— Бить вас некому! — вздыхал зоолог.

Проходило еще 15—20 минут, а обедать не звали и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как Самойленко кричал:

— Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец, дверь отворилась и замученный денщик объявлял: кушать готово! В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке, и только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным... Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:

— За здоровье молодого поколения!

После разговора с Лаевским Самойленко всё время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть; ему было жаль Лаевского и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:

— Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человеку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное — психология одолела. Жаль парня.

— Вот уж кого мне не жаль! — сказал фон Корен. — Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сделал.

— Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же способен на доброе дело, как и ты.

— Разве утопить человека — доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся.

— Лаевского? Да.

— В окрошке, кажется, чего-то недостает... — сказал Самойленко, желая переменить разговор.

— Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, — продолжал фон Корен. — Утопить его — заслуга.

— Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу — глупо, а считать своим ближним, во что бы то ни стало, всякого встречного без различия — это, покорно благодарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыться руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему как к мерзавцу, с

полною моею добросовестностью. Ну, а ты считаешь его своим ближним — и поцелуйся с ним; ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

— Называть человека мерзавцем! — пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

— О людях судят по их поступкам, — продолжал фон Корен. — Теперь судите же, дьякон. . . Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки; во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова № 21. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером: он живет с чужой женой открыто. В-четвертых. . .

Фон Корен быстро съел свою крошку и отдал денщику тарелку.

— Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства, — продолжал он, обращаясь к дьякону. — Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски; к тому же, они болтливы, и им нужны слушатели. Мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает — и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или: «Мы вырождаемся. . .» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом — ловкая штука! — распутен, лжив и гадок не он один, а мы. . . «мы люди восьмидесятых годов», «мы вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация». . . Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые,

стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он — роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

— Замолчи! — вспыхнул Самойленко. — Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

— Не перебивай, Александр Давидыч, — холодно сказал фон Корен. — Я сейчас кончу. Лаевский — довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и la femme¹. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется — все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что 13 лет он уже был влюблен, будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему не мало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою... как ее?... замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами якобы... Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.

— А ты почему знаешь? — проворчал Самойленко, со злобой глядя на зоолога. — Ешь-ка лучше.

Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим на хлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании.

— Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека, — сказал дьякон. — Ничего не поделаешь.

— Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она — всё, и притом только любовница. Она, то есть сожителство с ней — счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован — от женщины; жизнь опостылела — женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы — и тут ищи женщину... Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы

заметьте: когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает; вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, всё пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца, — глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется и человек оживает, одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышенны или безразличны они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например осла. . . — «Скажите, пожалуйста, — спрашивает, — что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой. . .

Дьякон звонко захохотал; Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.

— И всё врет! — сказал он, вытирая слезы. — Ей-богу, врет!

IV

Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

— Это развращенный и извращенный субъект, — продолжал зоолог, а дьякон, в ожидании смешных слов, впился ему в лицо. — Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.

Дьякон опять захохотал.

— Не смейтесь, дьякон, — сказал фон Корен, — это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания на его ничтожество, — продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать, — я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два — и он завоюет все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же, он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени, а это значит, что ему всё можно. Он милый малый, душа-человек, он так сердечно снисходит к

человеческим слабостям; он сговорчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить... Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех божков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! К тому же, он недурной актер и ловкий лицемер, и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!» Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена оны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну, что, брат Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, — сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. — Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек... Так вот он говаривал...

— Полно, полно! — перебил зоолог. — Ты говоришь: он служит. Но как служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает он исправен только двадцатого числа, когда получает жалованье, в остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидыч, не вступайся за него. Ты не искренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

— То есть?

— Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом...

Фон Корен провел пальцем около своей шеи.

— Или утопить, что ли... — добавил он. — В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

— Что ты говоришь?! — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Дьякон, что он говорит? Да ты в своем уме?

— Я не настаиваю на смертной казни, — сказал фон Корен. — Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы...

— Что ты говоришь? — ужаснулся Самойленко. — С перцем, с перцем! — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. — Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! Нашего друга, гордого, интеллигентного человека, отдавать в общественные работы!!

— А если горд, станет противиться — в кандалы!

Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами: дьякон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал.

— Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

— Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к чёрту твою цивилизацию, к чёрту человечество! К чёрту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, всё зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

— Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить.

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатою спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом.

Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху»... но тотчас же замолк от жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от зноя, тишины и сладкой, послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло

на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:

— Молодое поколение... Звезда науки и светильник церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать... Что ж... дай бог...

Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.

— Вы опять на пристань бычков ловить? — спросил зоолог.

— Нет, жарковато.

— Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишите. Кстати потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.

— Ваши слова справедливы и логичны, — сказал дьякон, — но леность моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли.

— Всё вздор, — сказал зоолог. — И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.

V

Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.

«Сегодня воскресенье!» — с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом, праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем как мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно-вежлив и временами даже дерзок и груб; на все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом, теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него

и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бранил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватою перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки; оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Лаевский не торопился приобретать участок; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Он молчал, думала она, значит, сердился на нее за то, что она молчит.

Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг.

— Сегодня же скажу ему об этом... — решила она, но тотчас же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах.

В-третьих, она уже два раза, в отсутствие Лаевского, принимала у себя Кирилина, полицейского пристава: раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты! Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мыслей. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи, и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, — сделали то, что ею мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая, день и ночь думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание; шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота — то же, горы — то же... И когда Кирилин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться, и отдалась ему...

Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу; вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски.

Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала; она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кирилин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним всё уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит.

На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее 15-летнюю дочь Катю, гимназистку; обе они сидели на лавочке и раздевались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смиренного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.

— Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. — Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе — это очаровательно!

Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню.

— Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, — не правда ли? — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. — Вчера я едва не умерла от духоты.

— О, да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза... представьте, милая, три раза! Даже Никодим Александрыч беспокоился.

«Ну можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «Девочка недурно сложена». — Ваш Никодим Александрыч очень, очень мил! — сказала она. — Я в него просто влюблена.

— Ха-ха-ха! — принужденно засмеялась Марья Константиновна. — Это очаровательно!

Освободившись от одёжи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно и, чтобы поднять себя в их мнении, она сказала:

— У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых! Надо бы съездить повидаться.

— Ваш муж, кажется, инженер? — робко спросила Марья Константиновна.

— Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая...

Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду; за нею полезли Марья Константиновна и Катя.

— У нас в свете очень много предрассудков, — продолжала Надежда Федоровна, — и живется не так легко, как кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала:

— О да! Верите ли, милая, у Гаратынских и к завтраку и к обеду требовался непременно туалет, так что я, точно актриса, кроме жалованья, получала еще и на гардероб.

Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходящую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни.

— Мама, это наш Костя! — сказала Катя.

— Ах, ах! — закудаhtала Марья Константиновна в испуге. — Ах! Костя, — закричала она, — вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчик лет 14, чтобы похвастать своею храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы.

— Беда с этими мальчиками, милая! — сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. — Того и гляди, свернет себе шею. Ах, милая, как приятно и в то же время как тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город, и всё это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить... Мимо нее быстро, энергически разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка; мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят...

Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе.

— У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купанья губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. — Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнила.

— Это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

— Ничего, высохнет.

Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять в груди у нее заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...

Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть.

— Зайдите, моя дорогая! — сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой: авось откажется и не зайдет!

— С удовольствием, — согласилась Надежда Федоровна. — Вы знаете, как я люблю бывать у вас!

И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц — барышень Гаратынских, которые уже повыходили замуж, показала также экзаменационные отметки Кати и Кости; отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии... Она ухаживала за гостьей и, в то же время, жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александрыча не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят «таких», то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна всё время помнила, что сегодня вечером будет пикник и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорила, вся вспыхнула и сказала в смущении:

— Надеюсь, и вы будете!

VI

Условились ехать за семь верст от города по дороге к югу, остановиться около духана, при слиянии двух речек — Черной и Желтой, и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех, в шарабане, ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя; при них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кирилин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна триста рублей, и против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрыч, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и дьякон; у дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.

— Пррава! — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле.

— Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию, — рассказывал фон Корен дьякону. — Я пройду берегом от Владивостока до Берингова пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит поехать со мною или нет.

— Это невозможно, — сказал дьякон.

— Почему?

— Я человек зависимый, семейный.

— Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее, для общей пользы, постричься в монахини; это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это.

Дьякон молчал.

— Вы свою богословскую часть хорошо знаете? — спросил зоолог.

— Плоховато.

— Гм. . . Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне список книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников; между, ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту, ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Всё это необходимо.

— Так-то так. . . — пробормотал дьякон и засмеялся. — Я просил себе места в средней России, и мой дядя-протоиерей обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил.

— Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным дьяконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни — почивать от дел, вы и через десять лет останетесь всё таким же, какой вы теперь, и прибавятся у вас разве только усы и борода, тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же десять лет вы будете другим человеком, вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано.

Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море, налево — была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех: пришлось ехать под громадным нависшим камнем.

— Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами, — сказал Лаевский. — Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник.

— А ты посмотри, какая панорама! — сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево и открылась долина Желтой речки, и блеснула сама речка — желтая, мутная, сумасшедшая. . .

— Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего, — ответил Лаевский. — Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дрянь и больше ничего.

Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем; каменная гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней,

давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кричал. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло на ехавших влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.

— Ах, проклятые горы, — вздыхал Лаевский, — как они мне надоели!

В том месте, где Черная речка впадала в Желтую и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалай с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»; около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и темный.

Кербалай, маленький, юркий татарин, в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.

— Здорово, Кербалайка! — крикнул ему Самойленко. — Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья! Живо!

Кербалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать: «есть форели, ваше превосходительство».

— Тащи, тащи! — сказал ему фон Корен.

Отъехав шагов пятьсот от духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сиденья, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьих ножках; от ее двери вниз спускалась лесенка.

Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни помотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая, кривая долина Черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река и без умолку кричали цикады.

— Очаровательно! — сказала Марья Константиновна, делая глубокие выдыхания от восторга. — Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!

— Да, в самом деле хорошо, — согласился Лаевский, которому понравился вид и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходящий из трубы духана, вдруг стало грустно. — Да, хорошо! — повторил он.

— Иван Андреич, опишите этот вид! — сказала слезливо Марья Константиновна.

— Зачем? — спросил Лаевский. — Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде.

— Будто бы? — холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. — Будто бы? — повторил он, глядя в упор на Лаевского. — А Ромео и Джульета? А, например, Украинская ночь Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться.

— Пожалуй... — согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить. — Впрочем, — сказал он немного погодя, — что такое Ромео и Джульета, в сущности? Красивая, поэтическая святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все.

— О чем с вами ни заговоришь, вы всё сводите к...

Фон Корен оглянулся на Катю и не договорил.

— К чему я свожу? — спросил Лаевский.

— Вам говоришь, например: «как красива кисть винограда!», а вы: «да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках». К чему это говорить? Не ново и... вообще странная манера.

Лаевский знал, что его не любит фон Корен, и потому боялся его и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.

— Господа, марш за хворостом для костра! — скомандовал Самойленко.

Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кирилин, Ачмианов и Никодим Александрыч. Кербалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кирилин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своею горделивою осанкою, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом, напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.

— Ты что же это, скотина, принес? — спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово. — Я приказывал тебе подать кварели, а ты что принес, татарская морда? А? Кого?

— У нас много своего вина, Егор Алексеич, — робко и вежливо заметил Никодим Александрыч.

— Что-с? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принеси десять бутылок кварели!

— Для чего так много? — удивился Никодим Александрыч, знавший, что у Кирилина не было денег.

— Двадцать бутылок! Тридцать! — крикнул Кирилин.

— Ничего, пусть, — шепнул Ачмианов Никодиму Александрычу, — я заплачу.

Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем дешевом платье из

ситчика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах духана блеснул огонек, она по тропинке, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра; он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко, с медно-красным лицом, хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо:

— Где же соль, господа? Небось, забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопочи?

На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрыч и задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра, вместе с тенями, ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне; на другой стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение.

Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг.

«Боже мой, как хорошо! — подумал он. — Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево — ничего больше, но как хорошо!»

На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Оттого, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу, а видны были по частям то мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиною к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выразившие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню... Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ним через десять лет, когда он вернется из экспедиции: он — молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым; его посвящают в архимандриты, потом в архиереи; он служит в кафедральном соборе обедню; в золотой митре, с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с

небесе, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святой боже»...

— Дьякон, где же рыба? — послышался голос Самойленка.

Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход; впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки иконы, за ними мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах, потом по порядку он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек; тут же в толпе попадья и дьяконица в платочках. Поют певчие, режут дети, кричат перепела, заливается жаворонок... Вот остановились и покропили святой водой стадо... Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры...

«И это тоже хорошо...» — подумал дьякон.

VII

Кирилин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кирилин подошел к Надежде Федоровне.

— Добрый вечер! — сказал он, делая под козырек.

— Добрый вечер.

— Да-с! — сказал Кирилин, глядя на небо и думая.

— Что — да-с? — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими.

— Итак, значит, — медленно выговорил офицер, — наша любовь увяла, не успев расцвести, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны, в своем роде, или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?

— Это была ошибка! Оставьте меня! — сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный, чудесный вечер глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении: неужели в самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок?

— Так-с! — сказал Кирилин; он молча постоял немного, подумал и сказал: — Что ж? Подождем, когда вы будете в лучшем настроении, а пока смею вас уверить, я человек порядочный и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu!¹

Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя нерешительно подошел Ачмианов.

— Хороший вечер сегодня! — сказал он с легким армянским акцентом.

Он был недурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.

— Вообще пикник удался, — сказал он, помолчав.

— Да, — согласилась она и, как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: — Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреич и заплатит там триста. . . или не помню сколько.

— Я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?

Надежда Федоровна засмеялась; ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико! И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.

— Позвольте дать вам один совет, — робко сказал Ачмианов. — Прошу вас, остерегайтесь Кирилина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи.

— Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак, — сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым, хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.

— Надо вниз идти, — сказала она. — Зовут.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках; и все находили, что уха очень вкусна и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно и костер горел уже не так ярко и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте, и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кирилина.

— Роскошный пикник, очаровательный вечер, — сказал Лаевский, веселя от вина, — но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. [«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»](#).

— У всякого свой вкус, — заметил фон Корен.

Лаевский почувствовал неловкость: в спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо — ненависть фон Корена; эта ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном:

— Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам.

— Ну, а я не жалею и не завидую, — сказала Надежда Федоровна. — Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.

Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди, на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы (он почему-то воображал ее в виде

устрицы), берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей:

— Дело не в козявках, а в выводах!

VIII

Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели и недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали вперегонки и хохотали.

— Господа, поскорей! — крикнул им Самойленко.

— Не следовало бы дамам давать вино, — тихо сказал фон Корен.

Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово:

— Ты ведешь себя, как... кокотка.

Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кирилиным, зоолог с Самойленко, дьякон с дамами, и поезд тронулся.

— Вот они каковы макаки... — начал фон Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза. — Ты слышал, она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием, но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот, там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует... И непременно критикует — рабская черта! Ты прислушайся: людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников — это оттого, что общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работаешь.

— Не знаю, что ты хочешь! — сказал Самойленко, зевая. — Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. А она прекрасная женщина!

— Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидыч, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду? Потому

только, что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника?

— Что же мне с ней делать? — рассердился Самойленко. — Бить ее, что ли?

— Не лстить пороку. Мы проклинаям порок только за глаза, а это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог, или социолог, что одно и то же, ты — врач; общество нам верит; мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование господ вроде этой Надежды Ивановны.

— Федоровны, — поправил Самойленко. — А что должно делать общество?

— Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь — это насилие. *Manu militari*¹ ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

— Уф! — вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: — Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожить надо... Скажи мне, если бы того... положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... решился?

— Рука бы не дрогнула.

IX

Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая мантию и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Он понял, что она ждет от него объяснения; но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно, и на душе было тяжело оттого, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону.

«Пора уж выяснить отношения, — подумал он. — Дам ей; что будет, то будет».

Он вынул письмо и подал ей.

— Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

— Упокой господи... упокой господи...

И заплакала.

— Ваня! — позвала она. — Иван Андреич!

Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила:

— Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. . . Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня. . . Я обезумела. . . Я пропала. . .

Лаевский слышал ее всхлипывания. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.

«Это тюрьма. . . — подумал он. — Надо уйти. . . Я не могу. . .»

Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням, большой пассажирский. . . Загремела якорная цепь. От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек: это плыла таможенная лодка.

«Спят себе пассажиры в каютах». . . — подумал Лаевский и позавидовал чужому покою.

Окна в доме Самойленка были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое: в комнатах было темно и тихо.

— Александр Давидыч, ты спишь? — позвал он. — Александр Давидыч!

Послышался кашель и тревожный окрик:

— Кто там? Какого чёрта?

— Это я, Александр Давидыч. Извини.

Немного погодя отворилась дверь; блеснул мягкий свет от лампадки, и показался громадный Самойленко весь в белом и в белом колпаке.

— Что тебе? — спросил он, тяжело дыша спросонок и почесываясь. — Погоди, я сейчас отопру.

— Не трудись, я в окно. . .

Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.

— Александр Давидыч, — сказал он дрожащим голосом, — спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как. . . как собаку!

— Постой. . . Ты насчет чего, собственно?

— Зажги свечу.

— Ох, ох. . . — вздохнул Самойленко, зажигая свечу. — Боже мой, боже мой. . . А уже второй час, брат.

— Извини, но я не могу дома сидеть, — сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленка. — Ты, Александр Давидыч, мой единственный, мой лучший друг. . . Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, бога ради выручай. Во что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы!

— Ох, боже мой, боже мой!.. — вздохнул Самойленко, почесываясь. — Засыпаю и слышу: свисток, пароход пришел, а потом ты. . . Много тебе нужно?

— По крайней мере рублей триста. Ей нужно оставить сто и мне на дорогу двести... Я тебе должен уже около четырехсот, но я всё вышлю... всё...

Самойленко забрал в одну руку оба бакена, расставил ноги и задумался.

— Так... — пробормотал он в раздумье. — Триста... Да... Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.

— Займи, бога ради! — сказал Лаевский, видя по лицу Самойленка, что он хочет дать ему денег и непременно даст. — Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, — сказал он, оживляясь, — давай выпьем вина!

— Так... Можно и вина.

Оба пошли в столовую.

— А как же Надежда Федоровна? — спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками. — Она останется разве?

— Всё устрою, всё устрою... — сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости. — Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне... Там уж мы и выясним наши отношения. За твоё здоровье, друже.

— погоди! — сказал Самойленко. — Сначала ты этого выпей... Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова... Попробуй все три сорта и скажи откровенно... Мое как будто с кислотцей. А? Не находишь?

— Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо... Я ожил.

— С кислотцей?

— А чёрт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!

Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно, и Лаевский показался ему слабым, незащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.

— А ты, когда поедешь, с матерью помирись, — сказал он. — Нехорошо.

— Да, да, непременно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:

— Помирись бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки.

— Да, он прекраснейший, умнейший человек, — согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать. — Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет! Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная; быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня... с презрением.

Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты:

— Я отлично понимаю фон Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь: кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит

только один он и, как Стэнли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю! Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?

— Он морскую фауну изучает.

— Нет. Нет, брат, нет! — вздохнул Лаевский. — Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря избытку сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Villefranche. Но фон Корен самостоятелен и упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, всё ему нужно и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?

— Да, — засмеялся Самойленко.

Лаевский тоже засмеялся и выпил вина.

— И идеалы у него деспотические, — сказал он, смеясь и закусывая персиком. — Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали, и всё это во имя улучшения человеческой породы. . . А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж. . . Деспоты всегда были иллюзионистами. Я, брат, отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значения; на таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен

только одним нам, то мы, при всей своей доброте и благих намерениях, сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины. Да.

Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением:

— Я пустой, ничтожный, падший человек! Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.

Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал:

— Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской я жажду своего обновления. И, клянусь тебе, я буду человеком! Буду! Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя.

— Пора, братец, спать... — сказал Самойленко.

— Да, да... Извини. Я сейчас.

Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки.

— Спасибо... — бормотал он, вздыхая. — Спасибо... Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня.

Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка.

— Александр Давидыч! — сказал он умоляющим голосом.

— Что?

— Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать!

— Сделай милость... отчего же?

Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.

Х

Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении:

— Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александрычу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая... Скажите, это правда?

— Да, правда, он умер, — ответила Надежда Федоровна.

— Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нет худа без добра. Ваш муж, был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле.

На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне бог и люди благословят ваш союз с

Иваном Андреичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашей свахой... Мы с Никодимом Александрычем так любили вас, вы позвольте нам благословить ваш законный, чистый союз. Когда, когда вы думаете венчаться?

— Я и не думала об этом, — сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.

— Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

— Ей-богу, не думала, — засмеялась Надежда Федоровна. — К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили.

— Что вы говорите! — ужаснулась Марья Константиновна. — Ради бога, что вы говорите!

— Оттого, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу.

— Милая! Милая, что вы говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. — Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угмонитесь!

— То есть, как угмониться? Я еще не жила, а вы— угмонитесь!

Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека, потом сошлась с Лаевским и всё время жила с ним на этом скучном, пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь?

«А повенчаться бы следовало...» — подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачмианова, покраснела и сказала:

— Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидела молча на диване печальная, серьезная и глядела в одну точку, потом встала и проговорила холодно:

— Прощайте, милая! Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами всё кончено и, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, дверь моего дома для вас закрыта.

Она проговорила это с торжественностью, и сама же была подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:

— Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашей матерью или старшей сестрой! Я буду откровенна с вами, как мать.

Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.

— Милая, дитя мое, — начала Марья Константиновна, — я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас.

— Ради бога, ради бога!

— Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась, мучилась... Муж был против знакомства с ним, но я уговорила... убедила... Мы стали принимать Ивана Андреича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын... Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. аще кто соблазнит единого из малых сих... Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне... ну, конечно, сплетни, гипотезы... В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.

— Но почему? Почему? — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. — Что я кому сделала?

— Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь, как все. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого, но женщина всё понимает. От нее всё зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О, милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то бог не вверил бы ей воспитания мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость; другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме божием, бледную, одетую во все черное, плачущую, и каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе...» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. Милая, не говорите, не говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. — Доверьтесь мне, я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая... Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением.

— Да, ужасны! — продолжала Марья Константиновна. — По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка,

сорочка. . . милая, я краснею! Бедному Ивану Андреичу тоже никто не завяжет галстука, как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы. . . К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано везде белье, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда. . . Милая! Муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик! Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрыч не заметил, что я заспанная.

— Это все пустяки, — зарыдала Надежда Федоровна. — Если бы я была счастлива, но я так несчастна!

— Да, да, вы очень несчастны! — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. — И вас ожидает в будущем страшное горе! Одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище. . . Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее венчайтесь!

— Да, надо, надо, — сказала Надежда Федоровна, — но это невозможно!

— Почему же?

— Невозможно! О, если б вы знали!

Надежда Федоровна хотела рассказать про Кирилина и про то, как она вчера вечером встретила на пристани с молодым, красивым Ачмиановым и как ей пришла в голову сумасшедшая, смешная мысль отделаться от долга в триста рублей, ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. И ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд мешали ей говорить.

— Я уеду, — сказала она. — Иван Андреич пусть остается, а я уеду.

— Куда?

— В Россию.

— Но чем вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет.

— Я буду переводами заниматься или. . . или открою библиотечку. . .

— Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставляю, а вы успокойтесь и подумайте, а завтра приходите ко мне веселенькая. Это будет очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую.

Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать.

— Я отдам! — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. — Я отдам. Было бы глупо думать, что я из-за денег... Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала сто... потом сто... и потом — сто...

Поздно ночью пришел Лаевский.

— Сначала сто... — сказала ему Надежда Федоровна, — потом сто...

— Ты бы приняла хины, — сказал он, и подумал: «Завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы».

Надежда Федоровна поднялась в постели на колени.

— Я ничего сейчас не говорила? — спросила она, улыбаясь и шурясь от свечи.

— Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи.

Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины; ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее.

— На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, бога ради.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет, лег и долго не мог уснуть.

Когда на другой день утром Самойленко, одетый, по случаю табельного дня, в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой:

— Ну, что? Что?

Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду.

— Успокойся, ничего опасного, — сказал Самойленко. — Обыкновенная лихорадка.

— Я не о том, — нетерпеливо поморщился Лаевский. — Достал денег?

— Душа моя, извини, — зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. — Бога ради извини! Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по пяти да по десяти рублей — всего-навсего сто десять. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи.

— Но крайний срок суббота! — прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. — Ради всех святых, до субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно... ничего! Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги!

— Да, господи, твоя воля, — быстро и с напряжением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле, — у меня всё разобрали, должны мне семь тысяч, и я кругом должен. Разве я виноват?

— Значит: к субботе достанешь? Да?

— Постараюсь.

— Умоляю, голубчик! Так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были.

Самойленко сел и прописал хину в растворе, kalii bromati, ревенной настойки, tincturae gentianae, aquae foeniculi — все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.

XI

— У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня, — сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологию проведу, — сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок. — Здравствуй, святой отец! — кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал. — Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора... Я вам не помешал?

— Нисколько, — ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки. — Мы перепиской занимаемся.

— Так... Ох, боже мой, боже мой... — вздохнул Самойленко; он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал: — Однако! Представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас!

— Да, полагаю.

— Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов?

— Да, защищаться и самой нападать.

— Так, так, так... И всё в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо, — вздохнул Самойленко. — Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу, увидел птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами; жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизывается, а навстречу ему жук. Он жука лапкой... И всё он портит и разрушает на своем пути... Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток... Встретится крыса — он с ней в драку; увидит змейку или мышонка — задушить надо. И так целый день. Ну, скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?

— Я не знаю, про какого зверька ты говоришь, — сказал фон Корен, — вероятно, про какого-нибудь из насекомыхных. Ну, что ж? Птица попалась ему, потому что неосторожна; он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица не искусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел ее, и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных, одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные,

сильные и развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования.

— Да, да, да... Кстати, брат, — сказал Самойленко развязно, — дай-ка мне займы рублей сто.

— Хорошо. Между насекомоядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму I шубу из кротовых шкурок и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга.

Фон Корен отпер шкатулку и достал оттуда сторублевую бумажку.

— У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши, — продолжал он, запирая шкатулку, — страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всеокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. Возьми же сто рублей, — сказал фон Корен, понизив тон, — но с условием, что ты берешь не для Лаевского.

— А хоть бы и для Лаевского! — вспыхнул Самойленко. — Тебе какое дело?

— Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать займы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.

— Да, я прошу для Лаевского! — сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. — Да! Для Лаевского! И никакой ни чёрт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать? Нет?

Дьякон захохотал.

— Ты не кипятись, а рассуждай, — сказал зоолог. — Благодетельствовать г. Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу.

— А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним! — крикнул Самойленко.

— В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором! Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти сто рублей! Или пожертвуй мне сто рублей на экспедицию!

— Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?

— Ты скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

— Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать.

— Вот как! — сказал протяжно фон Корен. — Ага... Понимаем. А она с ним поедет или как?

— Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет.

— Ловко!.. — сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. — Ловко! Умно придумано.

Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил:

— Ты говори откровенно: он разлюбил? Да? Говори: разлюбил? Да?

— Да, — выговорил Самойленко и вспотел.

— Как это отвратительно! — сказал фон Корен, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. — Что-нибудь из двух, Александр Давидыч: или ты с ним в заговоре или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя, как мальчишку, самым бессовестным образом? Ведь ясно, как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на твоей шее, и ясно, как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей?

— Это одни только предположения, — сказал Самойленко, садясь.

— Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продувная бестия!

Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.

— Но это невозможно! — сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. — Он так страдает!

— Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!

— Положим даже, что ты прав... — сказал в раздумье Самойленко. — Допустим... Но он молодой человек, на чужой стороне... студент, мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку.

— Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!

— Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как... — соображал Самойленко, шевеля пальцами. — Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное, благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу.

— И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!

Самойленко подумал минуту и сказал решительно:

— Но я всё-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.

— И превосходно. Поцелуйся с ним.

— Так дай же мне сто рублей, — робко попросил Самойленко.

— Не дам.

Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел: лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.

— Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади, — сказал дьякон, кладя перо. — Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.

— Он хороший человек? — спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.

— А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посветили бы в архиереи?

— Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди, — сказал фон Корен. — Жаль только, что у многих из них есть слабость — воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.

— Светский человек не может судить архиереев.

— Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.

— Такой да не такой, — обиделся дьякон, принимаясь за перо. — Ежели бы вы были такой, то на вас почил бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой.

— Не мели, дьякон! — сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я придумал, — обратился он к фон Корену. — Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.

— Не дам.

Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.

— Вот извольте жить и дело делать с такими господами! — сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. — Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь!

Фон Корен хлопнул себя по лбу.

— Возьми! — сказал он и швырнул сторублевую бумажку.

— Напрасно ты сердисься, Коля, — кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. — Я тебя отлично понимаю, но... войди в мое положение.

— Баба ты старая, вот что!

Дьякон захохотал.

— Послушай, Александр Давидыч, последняя просьба! — горячо сказал фон Корен. — Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условие: пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее вперед, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы, а с тобою знаться не буду. Так и знай!

— Что ж? Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее, — сказал Самойленко. — Он даже рад будет. Ну, прощай.

Он нежно простился и вышел, но, прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал:

— Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!

XII

На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленка:

— Ты говорил с ним?

— Нет еще.

— Смотри же не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ! Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда.

— Если обращать внимание на каждый предрассудок, — сказал Самойленко, — то придется никуда не ходить.

— Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?

— Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут, а спроси-ка их: кто они сами?

— Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, — разве всё это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года.

Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:

— Извини, Александр Давидыч, мне нужно сказать тебе два слова.

Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича.

— Завтра пятница... — сказал Лаевский, грызя ногти. — Ты достал, что обещал?

— Достал только двести десять. Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен.

— Слава богу!.. — вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. — Ты меня спасаешь, Александр Давидыч, и, клянусь тебе богом, своим счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю.

— Вот что, Ваня... — сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. — Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но... почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?

— Чудак, но разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда.

— Так... Но почему бы тебе не отправить ее вперед?

— Ах, боже мой, разве это возможно? — ужаснулся Лаевский. — Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег.

«Резонно»... — подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Кореном, потупился и сказал угрюмо:

— С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней или же отправь ее вперед, иначе... иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово...

Он попятился назад, навалился спиной на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном смущении.

«Пятница... пятница, — думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. — Пятница...»

Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал:

«Пятница... пятница...»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы; он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрыч, аккуратненький, с зачесанными височками и прорис:

— Кушайте, покорнейше прошу-с...

Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно:

— Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют...

— Мама! — стонала Катя, не зная куда спрятаться от стыда и похвал.

Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. Закон божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах, и всё это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александрыча и с красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели, неужели я не уеду?»

Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел.

«Пятница... пятница... — думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш. — Пятница...»

Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет — этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того, чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи; он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо: ценою маленькой лжи он купит большую правду.

Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц, и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству; затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной; и мать не даст ему больше пятисот рублей, значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург придет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние и, значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру, например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова, но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница... — думал он. — Пятница...»

Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александрыча и, когда скопилось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге.

«Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марьей Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.

«О чем же говорить? — подумала Надежда Федоровна. — Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем».

Перед тем, как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, — всё это почему-то говорило

ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости. . . » Против нее за столом сидел Ачмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз; ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти, не сегодня, так завтра, — и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание.

«Люблю, люблю, люблю», — прочла она. — Это от Ачмианова.

Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому «от неизвестного» деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит.

«У вас длинный нос». — Это, должно быть, от дьякона или от Кости.

Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши, среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание.

«Если вы сегодня не назначите мне свидания, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». — Это от Кирилина.

ХIII

Лаевский получил две записки; он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой».

«Кто бы это мог написать? — подумал он. — Конечно, не Самойленко. . . И не дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?»

Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вероятно, Самойленко проболтался. . . » — подумал Лаевский.

На другой записке тем же самым изломанным почерком с длинными хвостами и закорючками было написано: «А кто-то в субботу не уедет».

«Глупое издевательство, — подумал Лаевский. — Пятница, пятница. . . »

Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех.

— Ха-ха-ха! — захохотал он. — Ха-ха-ха! «Чему это я?» — подумал он. — Ха-ха-ха!

Он попытался удержать себя, закрыл рукою рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Как это, однако, глупо! — думал он, покатываясь со смеху. — Я с ума сошел, что ли?»

Хохот становился всё выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и гадливости, и понял, что с ним истерика.

«Какое безобразие, какой стыд, — думал он, чувствуя на лице теплоту от слез... — Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было...»

Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь; вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал.

— Ничего, ничего... — говорил Самойленко. — Это бывает... Это бывает...

Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала:

— Что с тобой? Что? Ради бога говори...

«Не написал ли ему чего-нибудь Кирилин?» — думала она.

— Ничего... — сказал Лаевский, смеясь и плача. — Уйди отсюда... голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения: значит, он ничего не знает; Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную.

— Не волнуйтесь, милая! — сказала ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. — Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь переживаете кризис... это так понятно! Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим.

— Нет, не будем говорить... — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. — У меня тоска... Позвольте мне уйти.

— Что вы, что вы, милая! — испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с богом.

— У меня тоска... — прошептала Надежда Федоровна и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла.

— У него родимчик! — сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел.

Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал:

«Срам, разревелся, как девчонка! Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом... Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку...»

Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную.

— А вот и я! — сказал он, улыбаясь; ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. — Бывают же такие истории, — сказал он, садясь. — Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку. . . невыносимую, нервы не выдержали и. . . и вышла такая глупая штука. Наш нервный век, ничего не поделаешь!

За ужином он пил вино, разговаривал и изредка, судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это.

В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кирилин, всё время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кирилин или Ачмианов, или оба вместе. Кирилин шел сзади, рядом с Никодимом Александрычем, и напевал вполголоса:

— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!

С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится.

XIV

— Однако, мне пора винтить. . . Меня ждут, — сказал Лаевский. — Прощайте, господа.

— И я с тобой, погоди, — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку.

Они простились с обществом и пошли. Кирилин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.

«Что будет, то будет. . . — думала Надежда Федоровна. — Пусть. . .»

Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Если Кирилин, думала она, сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кирилин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его безвозвратно — кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статен и высок ростом, в два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, — думала она теперь, — он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?

— Тут, голубка, я с тобой прощусь, — сказал Лаевский, останавливаясь. — Тебя проводит Илья Михайлыч.

Он поклонился Кирилину и быстро пошел поперек бульвара, прошел через улицу к дому Шешковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой.

— Позвольте мне объясниться с вами, — начал Кирилин. — Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасов или Лачкасов, Зачкасов. . . Я требую серьезного внимания!

У Надежды Федоровны сильно забилося сердце. Она ничего не ответила.

— Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством, — продолжал Кирилин, — теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой армянином, но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам. . .

— У меня тоска. . . — сказала Надежда Федоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— У меня тоже тоска, но что же из этого следует?

Кирилин помолчал немного и сказал отчетливо, с расстановкой:

— Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал.

— Отпустите меня сегодня, — сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса, до такой степени он был жалобен и тонок.

— Я должен проучить вас. . . Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с, к сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания: сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра.

Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась.

— Отпустите меня! — шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя. — Вы правы, я ужасная женщина. . . я виновата, но отпустите. . . Я вас прошу. . . — она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула, — я вас умоляю. . .

— Увы! — вздохнул Кирилин. — Увы! Не в моих планах отпускать вас, я только хочу проучить вас, дать понять, и к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.

— У меня тоска. . .

Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить всё и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой. . .

— Только не у меня дома. . . — сказала она холодно. — Уведите меня куда-нибудь.

— Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее.

— Где это?

— Около старого вала.

Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она, как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кирилин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся.

«Он пьян. . . — подумала Надежда Федоровна. — Всё равно. . . всё равно. . . Пусть».

Ачмианов тоже скоро простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел к ее дому и посмотрел через палисадник: окна были открыты настежь, огня не было.

— Надежда Федоровна! — позвал он.

Прошла минута. Он опять позвал.

— Кто там? — послышался голос Ольги.

— Надежда Федоровна дома?

— Нету. Еще не приходила.

«Странно... Очень странно, — подумал Ачмианов, начиная чувствовать сильное беспокойство. — Она пошла домой...»

Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шешковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.

— Странно, странно... — пробормотал Ачмианов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. — Если она не дома, то где же?

Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна.

«Это обман, обман...» — думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Битюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.

Окна в том доме, где жил Кирилин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городской и спал. Ачмианову, когда он посмотрел на окна и на городского, стало всё ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды.

В городской церкви били часы только два раза в сутки: в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, послышались торопливые шаги.

— Значит, завтра вечером опять у Мюридова! — услышал Ачмианов и узнал голос Кирилина. — В восемь часов. До свиданья-с!

Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертою, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом.

Лаевский вернулся домой в третьем часу.

XV

Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день, во втором часу, пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было невысказано. Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, думал он, то можно будет

согласиться на них и взять деньги, а завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать; с вечера ее можно будет уговорить, что всё это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корена, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе, или даже на паруснике, в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унижительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.

Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах.

«Как некстати, — подумал Лаевский, увидев его. — Он может помешать». — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил фон Корен, не глядя на него.

— Александр Давидыч дома?

— Да. В кухне.

Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил:

— Как вы себя чувствуете после вчерашнего?

— Превосходно, — ответил Лаевский, краснея. — В сущности, ведь ничего не было особенного...

— До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта.

Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал:

«Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело...» — Да, смешная была история, — сказал он, продолжая улыбаться. — Я сегодня всё утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу...

Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и смотрит на него внимательно, не мигая, точно изучает; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки.

— Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье... отсутствие людей и общих интересов... Положение хуже губернаторского.

— Да, ваше положение безвыходно, — сказал фон Корен.

Эти покойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошеное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и гадливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь:

— А вам откуда известно мое положение?

— Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас.

— Какие друзья? Самойленко, что ли?

— Да, и он.

— Я попросил бы Александра Давидыча и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться.

— Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.

— Я не понимаю вашего тона... — пробормотал Лаевский; его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним и что зоолог самый злейший и непримиримый враг его. — Приберегите этот тон для кого-нибудь другого, — сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.

Вошел Самойленко без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты.

— А, ты здесь? — сказал он. — Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори: обедал?

— Александр Давидыч, — сказал Лаевский, вставая, — если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны.

— Что такое? — удивился Самойленко.

— Если у тебя нет денег, — продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, — то не давай, откажи, но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу! Можешь хвастать своими благодеяниями, сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны!

— Какие тайны? — спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться. — Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь!

Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до ста и успокоишься; и он начал быстро считать.

— Прошу вас обо мне не заботиться! — продолжал Лаевский. — Не обращайтесь на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать! Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошл, не так глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность!

— Ты, братец, извини, — сказал Самойленко, сосчитав до тридцати пяти, — но...

— Уважайте личность! — перебил его Лаевский. — Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания,

подслушивания, эти сочувствия дружеские... к чёрту! Мне дают деньги займы и предлагают условия, как мальчишке! Меня третируют, как чёрт знает что! Ничего я не желаю! — крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. — «Значит, в субботу я не уеду», — мелькнуло у него в мыслях. — Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не мальчишка и не сумасшедший и прошу снять с меня этот надзор!

Вошел дьякон и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своею странною речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери как вкопанный.

— Постоянные заглядывания в мою душу, — продолжал Лаевский, — оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство! Довольно!

— Что ты... что вы сказали? — спросил Самойленко, сосчитав до ста, багровея и подходя к Лаевскому.

— Довольно! — повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.

— Я русский врач, дворянин и статский советник! — сказал с расстановкой Самойленко. — Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! — крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове. — Замолчать!

Дьякон, никогда не выдавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.

— Извольте взять ваши слова назад! — крикнул Самойленко.

Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал:

— Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!

— Теперь понятно, — сказал фон Корен, выходя из-за стола. — Г. Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Г. Лаевский, я принимаю ваш вызов.

— Вызов? — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. — Вызов? Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!

— Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.

— Ненавижу! — говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. — Давно ненавижу! Дуэль! Да!

— Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, — сказал фон Корен. — Он меня укусит.

Покойный тон фон Корена охладил доктора; он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом;

— Друзья мои... хорошие, добрые... Погорячились и будет... и будет... Друзья мои...

Услышав мягкий, дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное, как будто его чуть было не раздавил поезд; он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты.

«Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде, — боже мой, как это тяжело! — думал он, немного погодя сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. — Как это грубо, боже мой!»

Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе спокойное, надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная заворчалась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он вспоминал в мельчайших подробностях всё происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому не известных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте и о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек. Если бы этот городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такою же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корена или оставить его в живых — это всё равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам.

Лаевский пошел к Шешковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты; потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись; Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем.

— Надо этого господина проучить... — говорил он.

После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае: ведь не подашь же на фон Корена мировому! И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем; это был страх перед чем-то

неизвестным, что должно случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающею ночью... Он знал, что ночь будет длинная, бессонная и что придется думать не об одном только фон Корене и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти и обойти которую у него не было сил и умения. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно; он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шешковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корену, чтобы поговорить насчет дуэли.

Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден.

— А я вас ищу, Иван Андреич! — сказал он. — Прошу вас, пойдете скорее...

— Куда?

— Вас желает видеть один не знакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами... Для него это всё равно, как жизнь и смерть...

Волнуясь, Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

— Кто он такой? — спросил Лаевский.

— Он просил не говорить его имени.

— Скажите ему, что я занят. Завтра если угодно...

— Как можно! — испугался Ачмианов. — Он хочет сказать вам такое очень важное для вас... очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

— Странно... — пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие это тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. — Странно, — повторил он в раздумье. — Впрочем, пойдете. Всё равно.

Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком.

— Как это скучно, — сказал Лаевский.

— Сейчас, сейчас... Близко.

Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику...

— Это дом Мюридова, что ли? — спросил Лаевский.

— Да.

— Но зачем мы идем задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Там ближе...

— Ничего, ничего...

Лаевскому показалось также странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать.

— Сюда, сюда... — сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках. — Тише, тише, прошу вас... Могут услышать.

Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шёпотом:

— Отворите вот эту дверь и войдите... Не бойтесь.

Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча.

— Кого нужно? — спросил кто-то в соседней комнате. — Ты, Мюридка?

Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, а рядом с ним Надежду Федоровну.

Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корену и беспокойство — всё исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по гладкому. Дома, в кабинете, он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол...

XVI

— Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний — это, конечно, учение Христа, но посмотрите, как даже оно различно понимается! Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных: первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатый, или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь — отдавайте; если кретины идут войной на физически и умственно здоровых — подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле. Толкований очень много, а если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую, или так называемую христианскую почву; этим вы только отдаляетесь от решения вопроса.

Дьякон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил:

— Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его бог создал вместе с телом?

— Не знаю. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он

не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно.

— Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головолomных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

— Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов.

Правда, это скучно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж? Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их, то есть уничтожить.

— Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

— Несомненно.

— Но ведь сильные распяли господа нашего Иисуса Христа! — сказал горячо дьякон.

— В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мёд, развращать и душить пчел — в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних. То же самое происходит теперь и с человечеством: слабые гнетут сильных. У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идет впереди; он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостает... И это «что-то» мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумениям.

— Но какой у вас есть критерий для различения сильных и слабых?

— Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам.

— Но ведь возможны ошибки!

— Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

— Это философия, — засмеялся дьякон.

— Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки,

которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза чёрту прямо, и если он чёрт, то и говорите, что это чёрт, а не лезьте к Канту или к Гегелю за объяснениями.

Зоолог помолчал и продолжал:

— Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо и нелепо, что дуэль уже отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем по существу не отличается от пьяной драки в кабаке, а всё-таки мы не остановимся, поедem и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война — это разбой, варварство, ужас, братоубийство, мы без обморока не можем видеть крови; но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тотчас же почувствуем подъем духа, самым искренним образом закричим ура и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружие благословение божие и наша доблесть будет вызывать всеобщий и притом искренний восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите: «ах, глупо! ах, устарело! ах, несогласно с писанием!», а глядите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит, и греет его во имя любви и Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой! — засмеялся дьякон. — В Христа же вы не веруете, зачем же вы его так часто упоминаете?

433

— Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ах, дьякон, дьякон! — засмеялся зоолог; он взял дьякона за талию и сказал весело: — Ну, чго ж? Поедем завтра на дуэль?

— Сан не позволяет, а то бы поехал.

— А что значит — сан?

— Я посвященный. На мне благодать.

— Ах, дьякон, дьякон, — повторил фон Корен, смеясь. — Люблю я с вами разговаривать.

— Вы говорите — у вас вера, — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает.

Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу.

— Так-то. . . — продолжал он. — Вот вы всё учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и всё остается на своем месте, а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас всё вверх тарамашкой, и в Европе камня на камне не останется.

— Ну, это, дьякон, на небе вилами писано!

— Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего.

На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и зоолога и подошел к ним.

— Кажется, всё готово, — сказал он, запыхавшись. — Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заедут утром в пять часов. Наворотило-то как! — сказал он, посмотрев на небо. — Ничего не видать. Сейчас дождик будет.

— Ты, надеюсь, поедешь с нами? — спросил фон Корен.

— Нет, боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним.

Далеко над морем блеснула молния, и послышались глухие раскаты грома.

434

— Как душно перед грозой! — сказал фон Корен. — Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди.

— Зачем я к нему пойду? — ответил доктор, смутившись. — Вот еще!

До захода солнца он несколько раз прошелся по бульвару и по улице, в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль — остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения: завтра оба они, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился.

— Зачем я к нему пойду? — повторил Самойленко. — Не я его оскорбил, а он меня. Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную и вдруг, здорово живешь: шпион! Вот те на! Ты скажи: с чего у вас началось? Что ты ему сказал?

— Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения, а тот, кто хочет в одно и то же время быть честным и мошенником, не имеет выхода. Однако, господа, уж 11 часов, а завтра нам рано вставать.

Внезапно налетел ветер; он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря.

— Шквал! — сказал дьякон. — Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку:

— Должно быть, я не буду нынче спать.

— А ты не волнуйся, — засмеялся зоолог. — Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из-за Лаевского, терять время — не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль?

— Арест, а в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет.

— В Петропавловской?

— Нет, в военной, кажется.

— Хотя следовало бы проучить этого молодца! Позади на море сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы. Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему:

— Как бы погода не помешала нам завтра!

— Чего доброго! А дал бы бог!

— Спокойной ночи!

— Что — ночь? Что ты говоришь?

За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать.

— Ничего! — крикнул зоолог и поспешил домой.

XVII

... в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Пушкин.

Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он всё равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина или будет влачить свое жалкое существование, она всё равно погибла...

Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и всё еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло, в комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений; ходил он несмело, тыча в стороны локтями и подергивая плечами, а когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость.

Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком:

«Матушка!»

Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обесчещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила всё, всё, всё и жертвою хотя отчасти искупила страшный грех сына; но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с болонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно ее лицо, — он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово.

Во всех трех окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный, раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны. И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкали молнии.

— Гроза! — прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. — Милая гроза!

Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал...

«Что в моем прошлом не порок?» — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты.

Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу? Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалованье получал даром и служба его — это гнусное казнокрадство, за которое не отдадут под суд.

Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь...

Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной. . . Остальное доделали эти люди.

Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну; он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: «Матушка!»

Кроме матери, у него не было никого родных и близких; но как могла помочь ему мать? И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла.

— Погибла жизнь! — бормотал он, потирая руки. — Зачем же я еще жив, боже мой! . .

Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность — трудом, скуку — радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, он приходил в отчаяние.

Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное мирозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство гадливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или для того, чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его, или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти?

«Ехать в Петербург? — спрашивал себя Лаевский. — Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасения в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё. . . »

Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.

— Погодите, я сейчас! — сказал им Лаевский в окно. — Я не сплю. Разве уже пора?

— Да. Четыре часа. Пока доедем. . .

Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье; ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню.

Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.

Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила:

— Это ты? Гроза прошла?

— Прошла.

Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом.

— Как мне тяжело! — проговорила она. — Если б ты знал, как мне тяжело! Я ждала, — продолжала она, жмурясь, — что ты убьешь меня или прогонишь из дому под дождь и грозу, а ты медлишь. . . медлишь. . .

Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек.

Когда он, выйдя из дому, сел в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.

XVIII

Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно, и дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки; на небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы», — думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук.

Выйдя за город, он стал видеть и дорогу и свою палку; на черном небе кое-где показались мутные пятна и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря; оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали: уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда бог носился над хаосом.

Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но, как бы то ни было, она — зрелище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал: не вернуться ли? Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше.

«Они хотя неверующие, но добрые люди и спасутся», — успокаивал он себя. — Обязательно спасутся! — сказал он вслух, закуривая папиросу.

Какою мерою нужно измерять достоинства людей, чтобы судить о них справедливо? Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему уха. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху! Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли.

«Откуда вы всё знаете?» — спросит зоолог. — «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться, тестя же кашей не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное.

Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — всё показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю; пожил он с нею меньше месяца и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А всё-таки без нее скучновато.

«Надо ей письмишко написать». . . — думал он.

Флаг на духане размок от дождя и повис, и сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалай, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон.

Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе... Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню.

«Славная голова! — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене. — Хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть...»

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «лопаешь, а работать не хочешь», не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга...

Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шешковского и начальника почтово-телеграфной конторы.

— Стоп! — сказал Шешковский.

Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга.

— Их еще нет, — сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. — Что ж? Пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде.

Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы; с деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры.

— Срамота! — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. — Знал бы, не пошел.

Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне; его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы.

«Странно... — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. — Будто старик».

— Как это невежливо с их стороны! — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. — Может быть, по-ученому, и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал:

— Едут!

XIX

— Первый раз в жизни вижу! Как славно! — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. — Посмотрите: зеленые лучи!

На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это, в самом деле, было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте! — продолжал зоолог, кивнув головой секундантам Лаевского. — Я не опоздал?

За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад; по обыкновению, вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне.

Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его; всё это не имело никакой связи с пережитой ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.

Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.

— Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем, — сказал Шешковский. — И здесь ладно.

— Да, конечно, — согласился фон Корен.

Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:

— Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все 30.

Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.

«Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил:

— Хорошо.

Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковский подошел к ним и сказал тихо:

— Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их.

Он покраснел и продолжал:

— Вчера у меня был Кирилин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука.

— Да, нам тоже это известно, — сказал Бойко.

— Ну, вот видите ли... У Лаевского дрожат руки и всякая штука... Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли... Такая чертовщина, что не глядел бы.

— Вы поговорите с фон Кореном.

— Я правил дуэли не знаю, чёрт их подери совсем, и знать не желаю; может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А, впрочем, как ему угодно, я поговорю.

Шешковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корену, и, пока он шел и побрякивал, вся его фигура дышала ленью.

— Вот что я должен вам сказать, сударь мой, — начал он, внимательно рассматривая цветы на рубашке зоолога. — Это конфиденциально... Я правил дуэли не знаю, чёрт их побери совсем, и знать не желаю и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и всё.

— Да. Ну?

— Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят, как на формальность. Самолюбие и всё. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, — Шешковский покраснел и оглянулся, — но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с... одним господином.

— Какая гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул: — Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; он отошел от Шешковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за всё утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко:

— Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?

Шешковский переглянулся с офицерами и пожал плечами.

— Господа! — сказал он громко, ни к кому не обращаясь. — Господа! Мы предлагаем вам помириться!

— Покончим скорее с формальностями, — сказал фон Корен. — О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, а то время не ждет.

— Но мы всё-таки настаиваем на примирении, — сказал Шешковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела; он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал: — Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга и всё. — Шешковский вытер с лица пот и продолжал: — Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедem домой пить мировую. Честное слово, господа!

Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал:

— Я ничего не имею против Николая Васильича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним.

Фон Корен обиделся.

— Очевидно, господа, — сказал он, — вам угодно, чтобы г. Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем, но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за десять верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться!

Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета: один подали фон Корену, другой Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять.

— Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? — спросил фон Корен смеясь. — У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. . .

— К чему тут помнить? — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. — Отмерьте расстояние — вот и всё.

И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер.

Противники, при всеобщем молчании, заняли свои места.

«Кроты», — вспомнил дьякон, сидевший в кустах.

Что-то говорил Шешковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый, холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такою неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корена, он поднимал пистолет всё выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие не деликатно и не великодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корена, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, всё кончится и что вот только нужно надавить покрепче собачку. . .

Сильно отдало в плечо, раздался выстрел и в горах отозвалось эхо: пах-тах!

И фон Корен взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания.

— Доктор, — сказал зоолог, — будьте добры, не ходите, как маятник. У меня от вас мелькает в глазах.

Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского.

«Кончено!» — подумал Лаевский.

Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, — как всё это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундентов; они не шевелились и были бледны.

«Скорее же стреляй!» — думал Лаевский и чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть.

«Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью. . .»

— Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону. . .

Немного погодя фон Корен и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную, мокрую одёжу.

— Мне показалось, что вы хотели его убить... — бормотал он. — Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно!

— Как вы сюда попали, однако? — спросил зоолог.

— Не спрашивайте! — махнул рукой дьякон. — Нечистый попутал: иди да иди... Вот и пошел, и чуть в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, слава богу... Я весьма вами доволен, — бормотал дьякон. — И наш дедка-тарантул будет доволен... Смеху-то, смеху! А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в заговор от начальства. Скажут: дьякон секундантом был.

— Господа! — сказал фон Корен. — Дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности.

— Как это противно природе человеческой! — вздохнул дьякон. — Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете.

— У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, — сказал фон Корен, — но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте...

— Нет, уж разрешите мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я измок и прозяб.

— Ну, как знаете, — сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. — Как знаете...

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы; он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около духана остался один только дьякон.

— Ходил духан, пил чай, — сказал он Кербалаю. — Мой хочет кушать.

Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке.

— Яичницу жарил, сыр давал...

— Иди, иди, поп, — сказал Кербалай, кланяясь. — Всё дам... И сыр есть, и вино есть... Кушай, чего хочешь.

— Как по-татарски — бог? — спрашивал дьякон, входя в духан.

— Твой бог и мой бог всё равно, — сказал Кербалай, не поняв его. — Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски — всяких людей много, а бог один.

— Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан как на вековых врагов своих?

— Зачем сердись? — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот. — Ты поп, я мусульман, ты говоришь — кушать хочу, я даю... Только богатый

разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного всё равно. Кушай, пожалуйста.

Пока в духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна, а теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы, природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шешковского и вперед на две коляски, в которых сидели фон Корен, его секунданты и доктор, и ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить.

«Всё кончено», — думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки; она торопилась рассказать ему всё, что с нею было... Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он всё узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя...

Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали, или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

XXI

Прошло три месяца с лишним.

Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный, холодный дождь, дул норд-остовый ветер и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в десятом часу утра, но фон Корен, выходящий на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт.

К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в

шахматы; но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету.

Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега.

— Скорее, скорее, — торопился фон Корен. — Я боюсь, что он уйдет!

Проходя мимо трехконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиной к окну и писал.

— Я удивляюсь, — тихо сказал зоолог. — Как он скрутил себя!

— Да, удивления достойно, — вздохнул Самойленко. — Так с утра до вечера сидит, всё сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего!

Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и всё смотрели на Лаевского.

— Так и не уехал отсюда, бедняга, — сказал Самойленко. — А помнишь, как он хлопотал?

— Да, сильно он скрутил себя, — повторил фон Корен. — Его свадьба, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка — всё это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это, — зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе: — Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего... и попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом.

— Ты зайди к нему, простись.

— Нет. Это неудобно.

— Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним.

Зоолог подумал и сказал:

— Это правда.

Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильич желает с тобой проститься, — сказал Самойленко. — Он сейчас уезжает.

Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.

— Я на одну минутку, — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь, — подумал он, — а это глупо». — Простите, что я беспокою вас,

— сказал он, входя за Лаевским в его комнату, — но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще.

— Очень рад... Покорнейше прошу, — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корен и сказал твердо: — Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор... Правда, как вижу теперь к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды.

— Да, никто не знает правды... — сказал Лаевский.

— Ну, прощайте... Дай бог вам всего хорошего.

Фон Корен подал Лаевскому руку; тот пожал ее и поклонился.

— Не поминайте же лихом, — сказал фон Корен. — Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней.

— Она дома.

Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату:

— Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься.

Вошла Надежда Федоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.

— Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, — сказал фон Корен, — и пришел проститься.

Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.

«Как они, однако, оба жалки! — подумал фон Корен. — Не дешево достается им эта жизнь». — Я буду в Москве и в Петербурге, — спросил он, — не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?

— Что же? — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. — Кажется, ничего...

— Да, ничего... — сказал Лаевский, потирая руки. — Кланяйтесь.

Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.

— Какие люди! — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!

— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне... мне грустно.

Сзади слышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре гребца.

— Однако, подувает. . . брр! — сказал Самойленко. — В море, должно быть, теперь штормяга — ой, ой! Не в пору ты едешь, Коля.

— Я не боюсь морской болезни.

— Не в том. . . Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать. Где агентская шлюпка? — крикнул он гребцам.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили? — рассердился Самойленко. — Остолопы!

— Всё равно, не волнуйся. . . — сказал фон Корен. — Ну, прощай. Храни вас бог.

Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.

— Не забывай же, Коля. . . Пиши. . . Будущей весной ждать будем.

— Прощайте, дьякон, — сказал фон Корен, пожимая дьякону руку. — Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте.

— Да, господи, хоть на край света! — засмеялся дьякон. — Разве я против?

Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.

— Пиши! — крикнул ему Самойленко. — Здоровье береги!

«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две.

— Пиши! — крикнул Самойленко. — Понесла тебя нелегкая в такую погоду!

«Да, никто не знает настоящей правды. . .» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

«Лодку бросает назад, — думал он, — делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неумоимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет всё вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. . . В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды. . .»

— Проща-а-ай! — крикнул Самойленко.

— Не видать и не слышать, — сказал дьякон. — Счастливой дороги!
Стал накрапывать дождь.

Сноски

Сноски к стр. [370](#)

¹ женщина (франц.).

Сноски к стр. [390](#)

¹ До свиданья! (франц.).

Сноски к стр. [393](#)

¹ Военной силой (лат.).

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечья о крапиву, то пойдете по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь, — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими, блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволено выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой

халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще недопетых песен.

II

Лет 12—15 тому назад, в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60—70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходил и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и

удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он всё сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же, он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, всё и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, всё сидит в клубе, нервно тербит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на всё, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и всё думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна и ничего в ней нет мудреного.

Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — всё кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, — думал он, — то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой, не спеша, прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была

так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и незащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький, худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать не трудно.

— Поздравьте меня, — говорит он часто Ивану Дмитричу, — я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, — улыбается он, в недоумении пожимая плечами. — Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю, — угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. — Я непременно получу шведскую Полярную Звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит всё об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цырюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цырюльника, мы говорить не будем.

Кроме цырюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере, и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался

поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъявшегоса, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще, одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она

перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкапа с инструментами; смотритель же, кастаньянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю»... или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность — для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 000 приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 000 человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои

страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с камильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои

собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время... — отвечает он. — Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор. — Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинается доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете всё незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги займы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка... — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями

из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако, в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденной землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12 000 человек; всё больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6, за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике, делают операции, какие великий [Пирогов](#) считал невозможными даже *in spe*¹. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия [Пастера](#) и [Коха](#), гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? [Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней](#), методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватили в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела несколько не изменилась. Болезненность и смертность всё те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я не честен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.» Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолія с уксусом, будет тебе тень наводить и т.п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками. — Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим и на жалость, и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора, с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал. — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в испуге, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. — Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Всё зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и всё. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснился обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, всё еще

дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда... — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. — Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, всё же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такою верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена, да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну, что там нового? — спросил Иван Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, не культурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, — значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и, стоя, начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел.

Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За всё время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он всё время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Х

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимыч. — Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку, — а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно... — пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, несогласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор. — Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, — это всё равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чужак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы, — сказал он. — Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера, — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... и полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец, или, попросту, мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно всё то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение... — поморщился Иван Дмитрич. — Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито

глядя на доктора, — я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния, — и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, — или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, — продолжал Иван Дмитрич с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как всё существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился, — сказал он. — О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме всё, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти, а [молился в саду Гефсиманском](#), чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он. — Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо, — всё это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, всё равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Ведь есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай баба прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич. — Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально, — сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя

характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся и обратить меня в свою веру вам не удастся, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. — С действительностью вы совершенно не знакомы и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, — проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. — И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. — Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

XII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного, белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемой фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьце по вашей части-с, — обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. — Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад, — продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, — что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь

тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет, — засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится, — согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Военский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а всё время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, всё же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, военский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой, — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, — ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, — откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедem вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, — такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы собственно куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахнешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погон и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал всё хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему служивали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил *ты* и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг

сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, — думал доктор с досадой. — Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь, вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился всё болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, — думал он, сердясь на свою мелочность. — Впрочем, вздор... Приеду домой, и всё пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч всё время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. — Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч. — Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, — обратился он к доктору, — презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, всё еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом: проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире, в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со зрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой, — сказал ему робко почтмейстер, — извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал по крайней мере тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось

очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К чёрту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Всё было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думая, что в самом деле лечит. В

каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится всё выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Всё — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Всё это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да ты молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на

Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. — Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к чёрту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. — К чёрту!

По уходе гостей, Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что всё это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Подай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, — зашептал Михаил Аверьяныч, — вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой

мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. — Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне всё равно, я на всё готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне всё равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь всё, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить? — сказал Андрей Ефимыч с раздражением, — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем, у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или, в самом деле, дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещалась умалишенные. И всё это почему-то молча. Когда вошли во флигель. Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, что-то белье и туфли.

— Пожалуйста одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйста сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч всё понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст, — повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Всё равно... — думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. — Всё равно... Всё равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Всё это как-то стройно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что всё на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть всё время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что всё лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение... — проговорил он, разводя руками в недоумении. — Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. — Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение... — проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он. — И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженьях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что всё со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой, — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. — Пал духом.

— А вы пофилософствуйте, — сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, — сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. — Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобно божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О, боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... протрация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча всё время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он. — Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройти! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это чёрт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. — Мне нужно, я должен выйти! Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живо дер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. — Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Стноят нас здесь! О, господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. — Я разможжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем всё стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было всё равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне всё равно, — думал он, когда ему задавали вопросы. — Отвечать не стану... Мне всё равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как

казалось, проникая во всё тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом всё исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

Сноски

Сноски к стр. [92](#)

¹ в надежде, в будущем (*лат.*).

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехать.

Сначала — это было в апреле — он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный

вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

— Я еще в детстве чихал здесь от дыма, — сказал он, пожимая плечами, — но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

— Дым заменяет облака, когда их нет... — ответила Таня.

— А для чего нужны облака?

— В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

— Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая! — сказал он. — Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

— Да, пять лет! — вздохнула Таня. — Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

— Однако, пора спать, — сказала Таня. — Да и холодно. — Она взяла его под руку. — Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад, — и больше ничего. Штамб, полуштамб, — засмеялась она, — апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, — в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё поггло!

— Вот, брат, история... — начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. — На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

— Право, не знаю, — сказал Коврин и засмеялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?

— Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

— И не прискучает?

— Напротив, этим только я и живу.

— Ну дай бог... — проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. — Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

— Кто это привязал лошадь к яблоне? — слышался его отчаянный, душу раздирающий крик. — Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками. — Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерялась. Каково! Говорю ему, а он — толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

— Ну, дай бог... дай бог... — забормотал он. — Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выразилось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, один из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

— Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, — сказал он. — Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Мидии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня — завтра.

— Станный мираж, — сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнее всего, — засмеялся Коврин, — что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы

вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

«Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. — И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, — зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контур у него были неясны, но и первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшной быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седой головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесся сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

— Ну, вот видите ли... — пробормотал Коврин. — Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, — значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

III

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

— Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. — Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

— Ну, уж и отлично! — говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. — Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолепные статьи, — сказала Таня с глубоким убеждением. — Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузятся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

— В таком случае [прочти сначала статью Гоше](#) и вот эти русские статейки, — забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебе будет не понятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

— Да, братец ты мой... — начал он после некоторого молчания. — Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

— Дело говорит само за себя.

— Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело — понимаешь? — люблю, быть может, больше чем самого себя. Ты посмотри на меня: я всё сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку — сам, посадки — сам, всё — сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек

— А Таня? — спросил Коврин, смеясь. — Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

— Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? — зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. — То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать.

Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к чёрту в первый же год! В нашем деле бабы — бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

— Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, — решил он наконец, засовывая руки в карманы. — К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то — что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

— Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, — сказал он, подумав. — Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» — и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинается ее Егор Семеныч с «*audiat altera pars*»¹ и кончает — «*sapienti sat*»², а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, — подумал Коврин. — Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно».

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикуляцией. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал

ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но не надолго.

«Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», — подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: «ах, боже мой, боже мой!» и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

— Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос:

— Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

— Ай-ай, как стыдно! — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. — Неужели так серьезно? Ай-ай!

— Но, если бы вы знали, как он меня мучит! — сказала она, и слезы, горячие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. — Он замучил меня! — продолжала она, ломая руки. — Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

— Полно, полно, — проговорил Коврин, поправляя ей прическу. — Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более, что он вас бесконечно любит.

— Он мне... мне испортил всю жизнь, — продолжала Таня, всхлипывая. — Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

V

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех — это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно слышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном,

точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга — Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

— Но ведь ты мираж, — проговорил Коврин. — Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

— Это всё равно, — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. — Легенда, мираж и я — всё это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак.

— Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин.

— Думай, как хочешь, — сказал монах и слабо улыбнулся. — Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

— У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, — сказал Коврин. — Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

— Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

— Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

— Вечная жизнь есть, — сказал монах.

— Ты веришь в бессмертие людей?

— Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях.

— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин.

— Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: [в доме Отца Моего обители многи суть](#).

— Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

— Очень рад.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

— Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

— Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*¹.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, — сказал Коврин. — Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

— Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся. — А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То небольшое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, — какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здесь? — сказала она. — А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. — Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволен, Таня, — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. — Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

— Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Наша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

— Ну! — засмеялась Таня. — Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

— Нет, будем говорить серьезно! — сказал он. — Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну! — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

— Я не думала об этом... не думала! — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

— Как она хороша!

VI

Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песочкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, — и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе — и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

— Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что

целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

— Здравствуй, — сказал монах и, помолчав немного, спросил: — О чем ты теперь думаешь?

— О славе, — ответил Коврин. — Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

— Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

— Да, это правда.

— Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно, — согласился Коврин. — Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

— В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья — так оно было велико! — и, чтобы умиловить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

— Но почему? — изумился монах. — Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

— А вдруг прогневаются боги? — пошутил Коврин и засмеялся. — Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели и в смехе было что-то странное.

— Андрюша, с кем ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. — Андрюша! С кем?

— А? С кем? — смутился Коврин. — Вот с ним... Вот он сидит, — сказал он, указывая на черного монаха.

— Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты болен! — зарыдала она, дрожа всем телом. — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

— Это ничего, Таня, ничего... — бормотал он, дрожа. — В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

— Я уже давно замечала... и папа заметил, — говорила она, стараясь сдержать рыдания. — Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! — проговорила она в ужасе. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

— Ты не бойся, Андрюша, — говорила Таня, дрожа как в лихорадке, — не бойся... Папа, это всё пройдет... всё пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутивным тоном:

— Поздравьте, я, кажется, сошел с ума, — но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнило и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всмотриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнеть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

— Тебе, кажется, пора уже молоко пить, — сказала Таня мужу.

— Нет, не пора... — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. — Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

— Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

— Да, очень полезно! — усмехнулся Коврин — Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. — Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: — Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг — всё это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я — посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

— Бог знает, что ты говоришь! — вздохнул Егор Семеныч. — Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придиричив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всеобщей ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

— Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин. — Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем, как лечь спать, Таня говорила ему:

— Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

— Не могу и не хочу.

— Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. — Объясни мне, почему?

— Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, — небрежно сказал Коврин и пожал плечами, — но не будем говорить о нем: он твой отец.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмещаешься в дразги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

— Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку,

— Это пытка, — проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. — С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна — так звали его подругу — собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тани он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, всё уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Всё это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...»

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них — это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, — одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от

грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не поверил мне? — спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

— Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

— Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черных монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

Сноски

Сноски к стр. [237](#)

¹ «пусть выслушают другую сторону» (лат.).

² «умному достаточно» (лат.).

Сноски к стр. [243](#)

¹ здоровый дух в здоровом теле (лат.).

ПЬЕСЫ

<БЕЗОТЦОВЩИНА>

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Анна Петровна Войничева, молодая вдова, генеральша.
Сергей Павлович Войничев, сын генерала Войничева от первого брака.
Софья Егоровна, его жена.

Порфирий Семенович Глагольев 1.
Кирилл Порфирьевич Глагольев 2, его сын.
Герасим Кузьмич Петрин.
Павел Петрович Щербук.
Марья Ефимовна Грекова, девушка 20 лет.
Иван Иванович Трилецкий, полковник в отставке.
Николай Иванович, его сын, молодой лекарь.

} Помещики,
соседи
Войничевых.

Абрам Абрамович Венгерович 1, богатый еврей.
Исак Абрамович, его сын, студент.
Тимофей Гордеевич Бугров, купец.
Михаил Васильевич Платонов, сельский учитель.
Александра Ивановна (Саша), его жена, дочь И. И. Трилецкого.
Осип, малый лет 30, конокрад.
Марко, рассыльный мирового судьи, маленький старичок.

Василий }
Яков } прислуга Войничевых.
Катя }

Гости, прислуга.

Действие происходит в имении Войничевых в одной из южных губерний.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная в доме Войничевых. Стеклянная дверь в сад и две двери во внутренние покои. Мебель старого и нового фасона, смешанная. Рояль, возле нее попитр со скрипкою и нотами.

Фисгармония. Картины (олеография) в золоченых рамках.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Петровна сидит за роялью, склонив голову к клавишам.

Николай Иванович Трилецкий входит.

Трилецкий (*подходит к Анне Петровне*). Что?

Анна Петровна (*поднимает голову*). Ничего... Скучненько...

Трилецкий. Дайте, *mon ange!*, покурить! Плоть ужасно курить хочет. С самого утра почему-то еще не курил.

Анна Петровна (*подает ему папирсы*). Берите больше, чтобы потом не беспокоить.

Закуривают.

Скучно, Николая! Госка, делать нечего, хандра... Что и делать, не знаю...

Трилецкий берет ее за руку.

Анна Петровна. Вы это за пульсом? Я здорова...

Трилецкий. Нет, я не за пульсом... Я чмокнуть...

Целует руку.

В вашу руку целуешь, как в подушечку... Чем это вы моете свои руки, что они у вас такие белые? Чудо руки! Даже еще раз поцелую.

Целует руку.

В шахматы, что ли?

Анна Петровна. Давайте...

Смотрит на часы.

Четверть первого... Небось, наши гости проголодались...

Трилецкий (*приготавливает шахматную доску*). По всей вероятности. Что касается меня, то я страшно голоден.

Анна Петровна. Я о вас и не спрашиваю... Вы всегда голодны, хоть и едите каждую минуту...

Садятся за шахматы.

Ходите вы... Уж и пошел... Надо сперва подумать, а потом уже и идти... Я сюда... Вы всегда голодны...

Трилецкий. Вы так пошли... Тэк-с... Голоден-с... Обедать скоро будем?

Анна Петровна. Не думаю, чтобы скоро... Повар изволил ради нашего приезда нализаться и теперь без ног. Завтракать скоро будем. Серьезно, Николай Иванович, когда вы будете сыты? Ест, ест, ест... без конца ест! Ужас что такое! Какой маленький человек и такой большой желудок!

Трилецкий. О да! Удивительно!

Анна Петровна. Забрался в мою комнату и не спросясь съел полпирога! Вы знаете ведь, что это не мой пирог? Свинство, голубчик! Ходите!

Трилецкий. Ничего я не знаю. Знаю только, что он у вас там прокиснет, если я его не съем. Вы так? Можете-с... А я этак... Если я много ем, то я, значит, здоров, а если здоров, то, с вашего позволения... *Mens sana in corpore sano*¹. Зачем думаете? Ходите, милая дамочка, не думая... (*Поет.*) [Я хочу вам рассказать, рассказать...](#)

Анна Петровна. Молчите... Вы мешаєте мне думать.

Трилецкий. Жаль, что вы, такая умная женщина, ничего не смыслите в гастрономии. Кто не умеет хорошо поесть, тот урод... Нравственный урод!.. Ибо... Позвольте, позвольте! Так не ходят! Ну? Куда же вы? А, ну это другое дело. Ибо вкус занимает в природе таковое же место, как и слух и зрение, то

есть входит в число пяти чувств, которые всецело относятся к области, матушка моя, психологии. Психологии!

Анна Петровна. Вы, кажется, острить собираетесь... Не острите, дорогой мой! И надоело, и не к лицу вам... Вы заметили, что я не смеюсь, когда вы острите? Пора, кажется, заметить...

Трилецкий. Ваш ход, *vous* excellence!...¹ Берегите коня. Не смеетесь, потому что не понимаете... Так-с...

Анна Петровна. Чего глазете? Ваш ход! Как полагаете? Ваша «она» будет сегодня у нас или нет?

Трилецкий. Обещала быть. Дала слово.

Анна Петровна. Пора уж ей быть в таком случае. Первый час... Вы... извините за нескромность вопроса... Вы и с этой «да так» или же серьезно?

Трилецкий. То есть?

Анна Петровна. Откровенно, Николай Иваныч! Не ради сплетен спрашиваю, по-приятельски... Что Грекова для вас и что вы для нее? Откровенно и без острот, пожалуйста... Ну? Ей-ей, по-приятельски спрашиваю...

Трилецкий. Что она для меня и что я для нее? Пока неизвестно-с...

Анна Петровна. По крайней мере...

Трилецкий. Езжу к ней, болтаю, надоедаю, ввожу ее маменьку в расход по кофейной части и... больше ничего. Ваш ход. Езжу, надо вам сказать, через день, а иногда и каждый день, гуляю по темным аллеям... Я толкую ей про свое, она толкует мне про свое, причем держит меня за эту пуговку и снимает с моего воротника пушок... Я ведь вечно в пуху.

Анна Петровна. Ну?

Трилецкий. Ну и ничего... Что собственно тянет меня к ней, определить трудно. Скука ли то, любовь ли, или что-либо другое прочее, не могу знать... Знаю, что после обеда мне бывает страшно скучно за ней... По случайно наведенным справкам оказывается, что и она скучает за мной...

Анна Петровна. Любовь, значит?

Трилецкий (*пожимает плечами*). Очень может быть. Как вы думаете, люблю я ее или нет?

Анна Петровна. Вот это мило! Вам же лучше знать...

Трилецкий. Э-э... да вы не понимаете меня!.. Ваш ход!

Анна Петровна. Хожу. Не понимаю, Николая! Женщине трудно понять вас в этом отношении...

Пауза.

Трилецкий. Она хорошая девочка.

Анна Петровна. Мне нравится. Светленькая головка... Только вот что, приятель... Не наделайте-ка вы ей как-нибудь неприятностей!.. Как-нибудь... За вами этот грех водится... Пошляетесь, пошляетесь, наговорите

кучу вздора, наобещаете, разнесете славу и тем и покончите... Мне ее жалко будет... Что она теперь подделывает?..

Трилецкий. Читает...

Анна Петровна. И химией занимается?

Смеется.

Трилецкий. Кажется.

Анна Петровна. Славная... Потихе! Вы рукавом свезете! Нравится она мне со своим острым носиком! Из нее мог бы выйти недурной ученый...

Трилецкий. Дороги не видит, бедная девочка!

Анна Петровна. Вот что, Николая... Попросите Марию Ефимовну, чтобы она поехала ко мне немного... Я с ней познакомлюсь и... Я, впрочем, маклеровать не стану, а так только... Мы ее вместе раскусим и или отпустим с миром, или же примем ее к сведению... Авось...

Пауза.

Я считаю вас малюточкой, ветерком, а потому и вмешиваюсь в ваши дела. Ваш ход. Мой совет таков. Или не трогать ее вовсе, или же жениться на ней... Только жениться, но... не далее! Паче чаяния жениться захотите, извольте подумать сперва... Извольте рассмотреть ее со всех сторон, не поверхностно, подумать, помыслить, порассуждать, чтоб потом не плакать... Слышите?

Трилецкий. Как же... Уши развесил.

Анна Петровна. Знаю я вас. Всё делаете не думая и женитесь не думая. Вам только палец покажи женщина, так вы уж готовы на всякую всячину. Посоветоваться с близкими людьми должны... Да... На свою глупую голову не надейтесь. *(Стучит о стол.)* Вот она у вас, ваша голова! *(Свистит.)* Свистит, матушка! Мозгу в ней много, да толку что-то не видно.

Трилецкий. Свистит, точно мужик! Удивительная женщина!

Пауза.

Ездить она к вам не станет.

Анна Петровна. Почему?

Трилецкий. Потому что к вам шляется Платонов... Она терпеть не может его после тех его выходок. Вообразил человек, что она дура, вбил себе это в свою нечесаную голову, и теперь черт его не разубедит! Считает почему-то своею обязанностью надоедать дурам, выделывать над ними разные штуки... Ходите!.. А разве она дура? Понимает же он людей!

Анна Петровна. Пустяки. Мы не позволим ему лишнего. Скажите ей, чтоб не боялась. А чего это Платонова так долго нет? Давно уж пора ему быть... *(Смотрит на часы.)* Невежливо с его стороны. Шесть месяцев не видалась.

Трилецкий. Когда я ехал к вам, в школе ставни были наглухо закрыты. Должно быть, спит еще. Каналья человек! Я его сам давно уж не видел.

Анна Петровна. Здоров он?
Трилецкий. Он всегда здоров. Жив курилка!

Входят Глагольев 1 и Войницев.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Глагольев 1 и Войницев.

Глагольев 1 (*входя*). Так-то, милейший Сергей Павлович. В этом отношении мы, заходящие светила, лучше и счастливее вас, восходящих. И мужчина не был, как видите, в проигрыше, и женщина была в выигрыше.

Садятся.

Сядемте, а то я утомился... Мы любили женщин, как самые лучшие рыцари, веровали в нее, поклонялись ей, потому что видели в ней лучшего человека... А женщина лучший человек, Сергей Павлович!

Анна Петровна. Зачем же мошенничать?

Трилецкий. Кто мошенничает?

Анна Петровна. А кто эту шашку сюда поставил?

Трилецкий. Да вы же сами поставили!

Анна Петровна. Ах да... Pardon...

Трилецкий. То-то что pardon.

Глагольев 1. У нас были и друзья... Дружба в наше время не была так наивна и так ненужна. В наше время были кружки, арзамасы... За друзей у нас, между прочим, было принято в огонь лазить.

Войницев (*зевает*). Славное было время!

Трилецкий. А в наше ужасное время пожарные на то есть, чтоб в огонь лазить за друзьями.

Анна Петровна. Глупо, Николая!

Пауза.

Глагольев 1. В прошлую зиму в Москве на опере я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки... Ведь это хорошо?

Войницев. Пожалуй, что и очень даже хорошо.

Глагольев 1. И я так думаю. Но зачем же, скажите вы мне, пожалуйста, глядя на него, улыбались близь сидящие дамочки и кавалеры? Чему они улыбались? И он сам, заметив, что добрые люди видят его слезы, завертелся на кресле, покраснел, соорил на своем лице скверную улыбочку и потом вышел из театра... В наше время не стыдились хороших слез и не смеялись над ними...

Трилецкий (*Анне Петровне*). Умереть этому медоточивому от меланхолии! Страсть не люблю! Уши режет!

Анна Петровна. Тссс...

Глагольев 1. Мы были счастливее вас. В наше время понимающие музыку не выходили из театра, досиживали оперу до конца... Вы зеваете, Сергей Павлович... Я оседлал вас...

Войницев. Нет... Подводите же итог, Порфирий Семеныч! Пора...

Глагольев 1. Ну-с... И так далее, и так далее... Если теперь подвести итог всему мною сказанному, то и получится, что в наше время были любящие и ненавидящие, а следовательно, и негодующие и презирающие...

Войницев. Прекрасно, а в наше время их нет, что ли?

Глагольев 1. Думаю, что нет.

Войницев встает и идет к окну.

Отсутствие этих-то людей и составляет современную чахотку...

Пауза.

Войницев. Голословно, Порфирий Семеныч!

Анна Петровна. Не могу! От него так несет этими несносными пачулями, что мне даже дурно делается. *(Кашляет.)* Отодвиньтесь немного назад!

Трилецкий *(отодвигается)*. Сама проигрывает, а бедные пачули виноваты. Удивительная женщина!

Войницев. Грешно, Порфирий Семенович, бросать в лицо обвинение, основанное на одних только догадках и пристрастии к минувшей молодости!..

Глагольев 1. Может быть, я и ошибаюсь.

Войницев. Может быть... В данном случае не должно иметь места это «может быть»... Обвинение не шуточное!

Глагольев 1 *(смеется)*. Но... вы сердиться, милый мой, начинаете... Гм... Одно уж это доказывает, что вы не рыцарь, что вы не умеете относиться с должным уважением к взглядам противника.

Войницев. Одно уж это доказывает, что я умею возмущаться.

Глагольев 1. Я не всех, разумеется, поголовно... Есть и исключения, Сергей Павлович!

Войницев. Разумеется... *(Кланяется.)* Покорнейше вас благодарю за уступочку! Вся прелесть ваших приемов заключается в этих уступках. Ну а что если бы наскочил на вас человек неопытный, вас не знающий, верующий в ваше знание? Ведь вам удалось бы убедить его, что мы, то есть я, Николай Иваныч, тапан и вообще всё более или менее молодое, не умеем негодовать и презирать...

Глагольев 1. Но... вы уж... Я не говорил...

Анна Петровна. Я хочу Порфирия Семеновича слушать. Давайте бросим! Довольно.

Трилецкий. Нет, нет... Играйте и слушайте!

Анна Петровна. Довольно. *(Встает.)* Надоело. После доиграем.

Трилецкий. Когда проигрываю, она сидит, как приклеенная, а как только начну выигрывать, у нее является желание слушать Порфирия Семеновича! *(Глагольеву.)* И кто вас просит говорить? Мешаете только! *(Анне Петровне.)* Извольте сесть и продолжать, в противном же случае я буду считать вас проигравшей!

Анна Петровна. Считайте! *(Садится против Глагольева.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Венгерович 1.

Венгерович 1 *(входит)*. Жарко! Эта жара напоминает мне, жиду, Палестину. *(Садится у рояли и перебирает клавиши.)* Там, говорят, очень жарко!

Трилецкий *(встает)*. Так и запишем. *(Вынимает из кармана записную книжку.)* Так и запишем-с, добрая женщина! *(Записывает.)* За генеральшей... за генеральшей три рубля... Итого с прежними — десять. Эге! Когда я буду иметь честь получить с вас эту сумму?

Глагольев 1. Эх, господа, господа! Не видали вы прошлого! Другое бы запели... Поняли бы... *(Вздыхает.)* Не понять вам!

Войницев. Литература и история имеет, кажется, более прав на нашу веру... Мы не видели, Порфирий Семеныч, прошлого, но чувствуем его. Оно у нас очень часто вот тут чувствуется... *(Бьет себя по затылку.)* Вот вы так не видите и не чувствуете настоящего.

Трилецкий. Прикажете считать за вами, *vous* excellence, или сейчас заплатите?

Анна Петровна. Перестаньте! Вы не даете слушать!

Трилецкий. Да зачем вы их слушаете? Они до вечера будут говорить!

Анна Петровна. Сержель, дай этому юридическому десять рублей!

Войницев. Десять? *(Вынимает бумажник.)* Давайте-ка, Порфирий Семенович, переменим разговор...

Глагольев 1. Давайте, если он вам не нравится.

Войницев. Люблю вас слушать, но не люблю слушать то, что отзывается клеветой... *(Подает Трилецкому десять рублей.)*

Трилецкий. Мерсі *(Бьет по плечу Венгеровича.)* Вот как нужно жить на этом свете! Посадил беззащитную женщину за шахматы да и обчистил ее без зазрения совести на десять целкачей. Каково? Похвально?

Венгерович 1. Похвально. Вы, доктор, настоящий иерусалимский дворянин!

Анна Петровна. Перестаньте же, Трилецкий! *(Глагольеву.)* Так женщина лучший человек, Порфирий Семенович?

Глагольев 1. Лучший.

Анна Петровна. Гм... По-видимому, вы большой женолюбец, Порфирий Семенович!

Глагольев 1. Да, я люблю женщин. Я им поклоняюсь, Анна Петровна. Я вижу в них отчасти всё то, что я люблю: и сердце, и...

Анна Петровна. Вы им поклоняетесь... Ну а стоят они ваших поклонов?

Глагольев 1. Стоят.

Анна Петровна. Вы убеждены в этом? Сильно убеждены или только заставляете себя так думать?

Трилецкий берет скрипку и водит по ней смычком.

Глагольев 1. Сильно убежден. Достаточно знать мне одну только вас, чтобы быть убежденным в этом...

Анна Петровна. Серьезно? В вас какая-то особенная закваска.

Войницев. Он романтик.

Глагольев 1. Может быть... Что ж? Романтизм вещь не безусловно дурная. Вы изгнали романтизм... Хорошо сделали, но боюсь, что вы изгнали вместе с ним что-то другое...

Анна Петровна. Не сводите, друг мой, на полемику. Не умею спорить. Изгнали или не изгнали, но во всяком случае умней стали, слава богу! Ведь умней, Порфирий Семеныч? А это главное... *(Смеется.)* Были бы умные люди, да умнели бы, а остальное само собой приложится... Ах! Не рипите, Николай Иваныч! Положите скрипку!

Трилецкий *(вешает скрипку)*. Хороший инструмент.

Глагольев 1. Удачно однажды выразился Платонов... Мы, сказал он, поумнели по части женщин, а поумнеть по части женщин значит втоптать самого себя и женщину в грязь...

Трилецкий *(хохочет)*. Должно быть, именинником был... Хватил лишнее...

Анна Петровна. Это он сказал? *(Смеется.)* Да, он любит иногда отпускать такие изречения... Но да ведь он для красного словца... Кстати, к слову пришлось... Кто такой, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов? Герой или не герой?

Глагольев 1. Как вам сказать? Платонов, по-моему, есть лучший выразитель современной неопределенности... Это герой лучшего, еще, к сожалению, ненаписанного, современного романа... *(Смеется.)* Под неопределенностью я разумею современное состояние нашего общества: русский беллетрист чувствует эту неопределенность. Он стал в тупик, теряется, не знает, на чем остановиться, не понимает... Трудно понять ведь этих господ! *(Указывает на Войницева.)* Романы донельзя плохи, натянуты, мелочны... и немудрено! Всё крайне неопределенно, непонятно... Всё смешалось до крайности, перепуталось... Вот этой-то неопределенности, по моему мнению, и является выразителем наш умнейший Платонов. Он здоров?

Анна Петровна. Говорят, что здоров.

Пауза.

Славный человечек...

Глагольев 1. Да... Его грешно не уважать. Я зимой несколько раз заезжал к нему и никогда не забуду тех немногих часов, которые мне посчастливилось провести с ним.

Анна Петровна (*смотрит на часы*). Пора уже ему быть. Сергей, ты посылал за ним?

Войницев. Два раза.

Анна Петровна. Вы всё врете, господа. Трилецкий, бегите, пошлите за ним Якова!

Трилецкий (*потягивается*). Приказать на стол собирать?

Анна Петровна. Я сама прикажу.

Трилецкий (*идет и сталкивается у двери с Бугровым*). Пыхтит, как локомотив, бакалейный человек! (*Хлопает его по животу и уходит*.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Анна Петровна, Глагольев 1, Венгерович 1,
Войницев и Бугров.

Бугров (*входя*). Уф! Страсть как жарит! Перед дождем, знать.

Войницев. Вы из сада?

Бугров. Из сада-с...

Войницев. Софи там?

Бугров. Какая Софи?

Войницев. Моя жена. Софья Егоровна!¹

Венгерович 1. Я сейчас... (*Уходит в сад*.)

ЯВЛЕНИЕ V

Анна Петровна, Глагольев 1, Войницев,
Бугров, Платонов и Саша (*в русском костюме*).

Платонов (*в дверях Саше*). Пожалуйста! Милости просим, молодая женщина! (*Входит за Сашей*.) Вот мы и не дома, наконец! Кланяйся, Саша! Здравствуйте, ваше превосходительство! (*Подходит к Анне Петровне, целует у нее одну руку и потом другую*.)

Анна Петровна. Жестокий, нелюбезный... Можно ли заставлять ждать себя так долго? Ведь вы знаете, как я нетерпелива? Дорогая Александра Ивановна... (*Целуется с Сашей*.)

Платонов. Вот мы и не дома, наконец! Слава тебе, господи! Шесть месяцев не видели мы ни паркета, ни кресел, ни высоких потолков, ниже даже людей... всю зиму проспали в берлоге, как медведи, и только сегодня выползли на свет божий! Сергею Павловичу! (*Целуется с Войницевым*.)

Войницев. И вырос, и пополнил и... черт знает чего только... Александра Ивановна! Батюшки, как пополнила! (*Жмет Саше руку*.) Здоровы? Похорошела и пополнила!

Платонов *(пожимает руку Глагольеву)*. Порфирий Семенович... Очень рад вас видеть...

Анна Петровна. Как поживаете? Как живете-можете, Александра Ивановна? Да садитесь же, господа! Рассказывайте-ка... Сядем!..

Платонов *(хохочет)*. Сергей Павлович! Он ли это? Господи! Где же длинные волосы, блузочка и сладенький тенорок? А ну-ка, скажите-ка что-нибудь!

Войницев. Я дурандас. *(Смеется.)*

Платонов. Бас, совершенный бас! Ну? Сядем... Подвигайтесь-ка, Порфирий Семеныч! Я сажусь. *(Садится.)* Садитесь, господа! Ф-ф-ф... Жара... Что, Саша! Нюхаешь?

Садятся.

Саша. Нюхаю.

Смех.

Платонов. Человечьим мясом пахнет. Прелесть что за запах! Мне кажется, что мы уже сто лет не видались. Черт знает, как долго эта зима тянется! А вон и мое кресло! Узнаешь, Саша? На нем шесть месяцев тому назад просиживал я дни и ночи, отыскивая с генеральшей причину всех причин и проигрывая твои блестящие гривеннички... Жарко...

Анна Петровна. Я заждалась, терпение потеряла... Здоровы?

Платонов. Очень здоровы... Надо вам доложить, ваше превосходительство, что вы и пополнили, и чуточку похорошели... Сегодня и жарко, и душно... Я уж начинаю скучать за холодом.

Анна Петровна. Как они оба варварски пополнили! Экий счастливый народ! Как жилось, Михаил Васильич?

Платонов. Скверно по обыкновению... Всю зиму спал и шесть месяцев не видел неба. Пил, ел, спал, Майн Рида жене вслух читал... Скверно!

Саша. Жилось хорошо, только скучно, разумеется...

Платонов. Не скучно, а очень скучно, душа моя. За вами скучал страшно... Как кстати для меня теперь мои глаза! Видеть вас, Анна Петровна, после долгого, томительнейшего безлюдья и сквернолюдья — да ведь это непростительная роскошь!

Анна Петровна. Нате вам за это папироску! *(Дает ему папиросу.)*

Платонов. Merci.

Закуривают.

Саша. Вы вчера приехали?

Анна Петровна. В десять часов.

Платонов. В одиннадцать видел у вас огни, да побоялся зайти к вам. Небось утомлены были?

Анна Петровна. И что б зайти! Мы до двух часов проболтали.

Саша шепчет Платонову на ухо.

Платонов. Ах черт возьми! *(Бьет себя по лбу.)* Вот память-то! Что же ты раньше молчала? Сергей Павлович!

Войницев. Что?

Платонов. А он и молчит! Женился и молчит! *(Встает.)* Я забыл, а они и молчат!

Саша. И я забыла, пока он тут говорил... Поздравляю вас, Сергей Павлович! Желаю вам... всего, всего!

Платонов. Честь имею... *(Кланяется.)* Совет да любовь, милый человек! Чудо сотворил, Сергей Павлович! Я от вас такого важного и отважного поступка никак не ожидал! Как скоро и как быстро! Кто мог ожидать от вас такой ереси?

Войницев. Каков я? И скоро, и быстро! *(Хохочет.)* Я сам не ожидал от себя такой ереси. Вмиг, батенька, склеилось дело. Влюбился и женился!

Платонов. Без «влюбился» не проходила ни одна зима, а в эту зиму еще и женился, цензурой обзавелся, как говорит наш поп. Жена — это самая ужасная, самая придирчивая цензура! Горе, если она глупа! Местечко нашли?

20

Войницев. Предлагают место в прогимназии, да не знаю, как быть. Не хотелось бы мне в прогимназию! Жалованья мало, да и вообще...

Платонов. Берете?

Войницев. Пока еще решительно ничего не знаю. Вероятно, нет...

Платонов. Гм... Гулять, значит, будем. Три года прошло с тех пор, как вы кончили университет?

Войницев. Да.

Платонов. Так... *(Вздыхает.)* Бить вас некому! Нужно будет жене вашей сказать... Прогулять три хороших года! а?

Анна Петровна. Жарко теперь толковать о высоких материях... Мне зевать хочется. Чего ради вы так долго не являлись, Александра Ивановна?

Саша. Времени не было... Миша клетку починял, а я в церковь ходила... Клетка поломалась, и нельзя было соловья так оставить.

Глагольев 1. А в церкви же что сегодня? Праздник какой?

Саша. Нет... Ходила заказывать отцу Константину обедню. Сегодня именинник Мишин отец покойник, и неловко как-то не помолиться... Панихиду отслужила...

Пауза.

Глагольев 1. Сколько прошло с тех пор, как скончался ваш отец, Михаил Васильич?

Платонов. Года три, четыре...

Саша. Три года и восемь месяцев.

Глагольев 1. Ну-те? Боже мой! Как быстро время летит! Три года и восемь месяцев! Давно ли, кажется, мы виделись с ним в последний

раз? *(Вздыхает.)* В последний раз виделись мы в Ивановке, присяжными заседателями оба были... И тогда же произошел случай, как нельзя лучше характеризующий покойника... Судили, помню, одного беденького и пьяненького казенного землемера за лихоимство и *(смеется)* оправдали... Василий Андреич, покойник, настоял... Часа три настаивал, доводы приводил, горячился... «Не обвиню его, кричит, пока вы не присягнете, что вы сами не берете взятки!» Нелогично, но... ничего с ним нельзя было поделаться! Утомились мы страшно по его милости... С нами тогда был и покойный генерал Войницев, ваш супруг, Анна Петровна... Тоже человек в своем роде.

Анна Петровна. Ну этот не оправдал бы...

Глагольев 1. Да, он настаивал на обвинении... Помню обоих, красных, клокочущих, свирепых... Крестьяне держали сторону генерала, а мы, дворяне, сторону Василия Андреича... Мы пересилили, разумеется... *(Смеется.)* Ваш отец вызвал генерала на дуэль, генерал назвал его... извините, подлецом... Потеха была! Мы напоили после их пьяными и помирили... Нет ничего легче, как мирить русских людей... Добряк был ваш отец, доброе имел сердце...

Платонов. Не доброе, а безалаберное...

Глагольев 1. Великий человек был в своем роде... Я уважал его. Мы были с ним в прекраснейших отношениях!

Платонов. Ну а вот я так не могу похвалиться этим. Я разошелся с ним, когда у меня не было еще ни волоска на подбородке, а в последние три года мы были настоящими врагами. Я его не уважал, он считал меня пустым человеком, и... оба мы были правы. Я не люблю этого человека! Не люблю за то, что он умер спокойно. Умер так, как умирают честные люди. Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого — страшная особенность русского негодяя!

Глагольев 1. De mortuis aut bene, aut nihil¹, Михаил Васильич!

Платонов. Нет... Это латинская ересь. По-моему: de omnibus aut nihil, aut veritas². Но лучше veritas, чем nihil, поучительнее, по крайней мере... Полагаю, что мертвые не нуждаются в уступке...

Входит Иван Иванович.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Иван Иванович.

Иван Иванович *(входит)*. Та-та-та... Зять и дочка! Светила из созвездия полковника Трилецкого! Здравствуйте, голубчики! Салют вам из крупновской пушки! Господи, как жарко! Мишенька, голубчик мой...

Платонов *(встает)*. Здравствуй, полковник! *(Обнимает его.)* Здоров?

Иван Иванович. Я всегда здоров... Терпит господь и не наказывает. Сашенька... *(Целует Сашу в голову)*. Давно я вас не лицезрел... Здорова, Сашенька?

Саша. Здорова... Ты здоров?

Иван Иванович (*садится рядом с Сашей*). Я всегда здоров. Во всю жизнь мою ни разу не был болен... Давно уж я вас не видел! Каждый день все собираюсь к вам, внучка повидать да с зятьком свет белый покритиковать, да никак не соберусь... Занят, ангелы мои! Позавчера хотел к вам поехать, новую двустволочку желал показать тебе, Мишенька, да исправник остановил, в преферанс засадил... Славная двустволочка! Аглицкая, сто семьдесят шагов дробью наповал... Внучек здоров?

Саша. Здоров, тебе кланяется...

Иван Иванович. Разве он умеет кланяться?

Войницева. Сие нужно понимать духовно.

Иван Иванович. Ну да, ну да... Духовно... Скажи ему, Сашурка, чтоб скорей рос. На охоту возьму с собой... Для него я уже и двустволочку маленькую приготовил... Охотника из него сделаю, чтоб было кому после смерти свои охотничьи причиндалы оставить...

Анна Петровна. Душка этот Иван Иваныч! Мы с ним на Петров день перепелов стрелять поедем.

Иван Иванович. Го-го! Мы, Анна Петровна, на бекасов поход устроим. Мы на Бесово болотце полярную экспедицию устроим...

Анна Петровна. Попробуем вашу двустволочку...

Иван Иванович. Попробуем. Диана божественная! (*Целует ее руку.*) Помните, матушка, прошлый год? Ха-ха! Люблю таких особ, побей меня бог! Не люблю малодушия! Вот она где самая-то и есть эмансипация женская! Ее в плечико нюхаешь, а от нее порохов, Ганнибалами да Гамилькарами пахнет! Воевода, совсем воевода! Дай ей эполеты, и погиб мир! Поедем! И Сашку с собой возьмем! Всех возьмем! Покажем им, что значит кровь военная, Диана божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская!

Платонов. А ты уже клюкнул, полковник?

Иван Иванович. Разумеется... Sans doute...¹

Платонов. То-то ты так и раскудахтался.

Иван Иванович. Я приехал сюда, братец ты мой, часов в восемь... Все еще спали... Пришел сюда, да и давай ногами стучать... Смотрю, выходит она... смеется... Бутылочку мадерки распили. Диана три рюмочки выпила, а я остальное...

Анна Петровна. А нужно это рассказывать!

Вбегает Трилецкий.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Трилецкий.

Трилецкий. Господам родственникам!

Платонов. А-а-а... Плохой лейб-медик ее превосходительства! Argentum nitricum... aquae destillatae...² Очень рад видеть, любезный! Здоров, сияет, блещет и пахнет!

Трилецкий (*целует Сашу в голову*). Да и разнесли же черти твоего Михаила! Бык, настоящий бык!

Саша. Фи, как от тебя духами пахнет! Здоров?

Трилецкий. Здоровехонек. Умно сделали, что пришли. (*Садится.*) Как дела, Мишель?

Платонов. Какие?

Трилецкий. Твои, разумеется.

Платонов. Мои? А кто их знает, каковы они! Долго, брат, рассказывать, да и неинтересно. Где это ты так шикарно остригся? Хороша прическа! Стоит целковый?

Трилецкий. Меня не цирюльник чешет... У меня на это дамы есть, а дамам я не за прическу плачу целковые... (*Ест мармелад.*) Я, братец ты мой...

Платонов. Сострить хочешь? Ни, ни, ни... Не беспокойся! Избавь, пожалуйста.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же, Петрин и Венгерович 1.

Петрин входит с газетой и садится. Венгерович 1
садится в угол.

Трилецкий (*Ивану Ивановичу*). Заплачь, отче!

Иван Иванович. Для чего мне плакать?

Трилецкий. Да вот, например, хоть от радости... Взгляни на меня! Это сын твой!.. (*Указывает на Сашу.*) Это дочь твоя! (*Указывает на Платонову.*) Этот юноша зять твой! Дочь-то одна чего стоит! Это перл, папаша! Один только ты мог породить такую восхитительную дочь! А зять?

Иван Иванович. Чего же мне, друг мой, плакать? Плакать не нужно.

Трилецкий. А зять? О... это зять! Другого такого не сыщешь, хоть обрыскай всю вселенную! Честен, благороден, великодушен, справедлив! А внук?! Что это за мальчишка разанафемский! Машет руками, тянется вперед этак и всё пищит: «дедь! дедь! где дедь? Подайте-ка мне сюда его, разбойника, подайте-ка мне сюда его усищи!»

Иван Иванович (*вытаскивает из кармана платок*). Чего же плакать? Ну и слава богу... (*Плачет.*) Плакать не нужно.

Трилецкий. Ты плачешь, полковник?

Иван Иванович. Нет... Зачем? Ну и слава тебе, господи!.. Что ж?..

Платонов. Перестань, Николай!

Трилецкий (*встает и садится рядом с Бугровым*). Жаркий нонче темперамент в воздухе, Тимофей Гордеич!

Бугров. Это действительно. Жарко, как в бане на самой верхней полочке. Темперамент в градусов тридцать, надо полагать.

Трилецкий. Что бы это значило? Отчего это так жарко, Тимофей Гордеич?

Бугров. Вам это лучше знать.

Трилецкий. Я не знаю. Я по докторской части шел.

Бугров. А по-моему-с, оттого так жарко, что мы засмеялись бы с вами, ежели б в июне месяце было холодно.

Смех.

Трилецкий. Так-с... Теперь понимаю... Что лучше для травы, Тимофей Гордеич, климат или атмосфера?

Бугров. Все хорошо, Николай Иваныч, только для хлеба дождик нужней... Что толку с климата, ежели дождя нет? Без дождя он и гроша медного не стоит.

Трилецкий. Так... Это правда... Вашими устами, надо полагать, гласит сама мудрость. А какого вы мнения, господин бакалейный человек, касательно остального прочего?

Бугров *(смеется)*. Никакого.

Трилецкий. Что и требовалось доказать. Умнейший вы человек, Тимофей Гордеич! Ну, а какого вы мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала нам поесть? а?

Анна Петровна. Подождите, Трилецкий! Все ждут, и вы ждите!

Трилецкий. Appetitов она наших не знает! Не знает она, как нам с вами, а в особенности вам со мной выпить хочется! А славно мы выпьем и закусим, Тимофей Гордеич! Во-первых... Во-первых... *(Шепчет Бугрову на ухо.)* Плохо? Это за галстух... Crematum simplex...¹ Там всё есть: и распивочно и навынос... Икра, балык, семга, сардины... Далее — шести- или семиэтажный пирог... Во какой! Начинен всевозможными чудесами флоры и фауны Старого и Нового Света... Скорей бы только... Сильно голоден, Тимофей Гордеич? Откровенно...

Саша *(Трилецкому)*. Не так тебе есть хочется, как бунт поднимать! Не любишь, когда люди покойно сидят!

Трилецкий. Не люблю, когда людей голодом морят, толстуха!

Платонов. Ты сейчас сострил, Николай Иваныч, отчего же это не смеются?

Анна Петровна. Ах, как он надоел! Как он надоел! Нахален до безобразия! Это ужасно! Ну подождите же, скверный человек! Я вам дам поесть! *(Уходит.)*

Трилецкий. Давно бы так.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, кроме Анны Петровны.

Платонов. Впрочем, не мешало бы... Который час? Я тоже голоден...

Войницева. Где же моя жена, господа? Платонов ведь ее не видел еще... Надо познакомить. *(Встает.)* Пойду ее искать. Ей так понравился сад, что она никак не расстанется с ним.

Платонов. Между прочим, Сергей Павлович... Я просил бы вас не представлять меня вашей супруге... Мне хотелось бы знать, узнает она меня или нет? Я когда-то был с ней знаком немножко и...

Войницева. Знакомы? С Соней?

Платонов. Был во время оно... Когда еще был студентом, кажется. Не представляйте, пожалуйста, и молчите, не говорите ей ни слова обо мне...

Войницева. Хорошо. Этот человек со всеми знаком! И когда он успевает знакомиться? *(Уходит в сад.)*

Трилецкий. А какую я важную корреспонденцию поместил в «Русском курьере», господа! Читали? Вы читали, Абрам Абрамыч?

Венгерович 1. Читал.

Трилецкий. Не правда ли, замечательная корреспонденция? Вас-то, вас, Абрам Абрамыч, каким я людоедом выставил! Такое про вас написал, что вся Европа ужаснется!

Петрин *(хохочет)*. Так это вот про кого?! Вот кто этот В.! Ну, а кто же Б.?

Бугров *(смеется)*. Это я-с. *(Вытирает лоб.)* Бог с ними!

Венгерович 1. Что ж! Это очень похвально. Если бы я умел писать, то непременно писал бы в газеты. Во-первых, деньги за это дают, а во-вторых, у нас почему-то принято пишущих считать очень умными людьми. Только не вы, доктор, написали эту корреспонденцию. Ее написал Порфирий Семеныч.

27

Глагольев 1. Вы откуда это знаете?

Венгерович 1. Знаю.

Глагольев 1. Странно... Я писал, это правда, но откуда вам это известно?

Венгерович 1. Всё можно узнать, лишь бы только желание было. Вы заказным посылали, ну а приемщик на нашей почте имеет хорошую память. Вот и всё... И разгадывать нечего. Мое еврейское ехидство тут ни при чем... *(Смеется.)* Не бойтесь, мстить не стану.

Глагольев 1. Я и не боюсь, но... мне странно!

Входит Грекова.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Грекова.

Трилецкий *(вскакивает)*. Марья Ефимовна! Вот это так мило! Вот это так сюрприз!

Грекова *(подает ему руку)*. Здравствуйте, Николай Иваныч! *(Кивает всем головой.)* Здравствуйте, господа!

Трилецкий *(снимает с нее тальму)*. Стащу с вас тальмочку... Живы, здоровы? Здравствуйте еще раз! *(Целует руку.)* Здоровы?

Грекова. Как всегда... *(Конфузится и садится на первое попавшееся стуло.)* Анна Петровна дома?

Трилецкий. Дома. *(Садится рядом.)*

Глагольев 1. Здравствуйте, Марья Ефимовна!

Иван Иванович. Это Марья Ефимовна? Насилу узнал! *(Подходит к Грековой и целует у нее руку.)* Имею счастье видеть... Весьма приятно...

Грекова. Здравствуйте, Иван Иваныч! *(Кашляет.)* Ужасно жарко... Не целуйте мне, пожалуйста, рук... Я себя неловко чувствую... Не люблю...

Платонов *(подходит к Грековой)*. Честь имею кланяться!.. *(Хочет поцеловать руку.)* Как поживаете? Дайте же руку!

Грекова *(отдергивает назад руку)*. Не нужно...

Платонов. Почему? Недостойн?

Грекова. Не знаю, достойны вы или недостойны, но... вы ведь неискренно?

Платонов. Неискренно? Почему же вы знаете, что неискренно?

Грекова. Вы не стали бы целовать моей руки, если бы я не сказала, что я не люблю этого целования... Вы вообще любите делать то, чего я не люблю.

Платонов. Сейчас уж и заключение!

Трилецкий *(Платонову)*. Отойди!

Платонов. Сейчас... Как ваш клоповый эфир, Марья Ефимовна?

Грекова. Какой эфир?

Платонов. Я слышал, что вы добываете из клопов эфир... Хотите обогатить науку... Хорошее дело!

Грекова. Вы всё шутите...

Трилецкий. Да, он всё шутит... Итак, значит, вы приехали, Марья Ефимовна... Как ваша тата поживает?

Платонов. Какая вы розовенькая! Как вам жарко!

Грекова *(встает)*. Для чего вы мне это всё говорите?

Платонов. Поговорить хочу с вами... Давно с вами не беседовал. Зачем же сердиться? Когда же, наконец, вы перестанете на меня сердиться?

Грекова. Я замечаю, что вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда видите меня... Не знаю, чем я вам мешаю, но... Я делаю вам удовольствие и по возможности избегаю вас... Если бы Николай Иваныч не дал мне честного слова, что вы здесь не будете, то я не приехала бы сюда... *(Трилецкому)*. Стыдно вам лгать!

Платонов. Стыдно тебе лгать, Николай! *(Грековой.)* Вы плакать собираетесь... Поплачьте! Слезы приносят иногда облегчение...

Грекова быстро идет к двери, где встречается с Анной Петровной.

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же и Анна Петровна.

Трилецкий *(Платонову)*. Глупо... глупо! Понимаешь ты? Глупо! Еще раз и... мы враги!

Платонов. Ты-то тут при чем?

Трилецкий. Глупо! Ты не знаешь, что ты Анна делаешь!

Глагольев 1. Жестоко, Михаил Васильич!

Анна Петровна. Марья Ефимовна! Как я рада! *(Пожимает Грековой руку.)* Очень рада... Вы такая редкая у меня гостья... Вы приехали, и я вас люблю за это... Сядемте...

Садятся.

Очень рада... Спасибо Николаю Ивановичу... Он потрудился выключить вас из вашей деревеньки...

Трилецкий *(Платонову)*. А если я ее люблю, положим?

Платонов. Люби... Сделай такое одолжение!

Трилецкий. Не знаешь ты, что ты говоришь!

Анна Петровна. Как вы поживаете, моя дорогая?

Грекова. Благодарю.

Анна Петровна. Вы утомлены... *(Смотрит ей в лицо.)* Проехать двадцать верст мудрено без привычки...

Грекова. Нет... *(Подносит к глазам платок в плачет.)* Нет...

Анна Петровна. Что с вами, Марья Ефимовна?

Пауза.

Грекова. Нет...

Трилецкий ходит по сцене.

Глагольев 1 *(Платонову)*. Надо вам извиниться, Михаил Васильич!

Платонов. Для чего?

Глагольев 1. Вы спрашиваете?! Вы были жестоки...

Саша *(подходит к Платонову)*. Объяснись, а то я уйду!.. Извинись!

Анна Петровна. Я сама имею обыкновение плакать после дороги... Нервы расстраиваются!..

Глагольев 1. Наконец... Я хочу этого! Нелюбезно! Не ожидал я от вас!

Саша. Извинись, тебе говорят! Бессовестный!

30

Анна Петровна. Понимаю... *(Смотрит на Платонова.)* Успел уж... Извините меня, Марья Ефимовна. Я забыла поговорить с этим... с этим... Я виновата...

Платонов *(подходит к Грековой)*. Марья Ефимовна!

Грекова *(поднимает голову)*. Что вам угодно?

Платонов. Извиняюсь... Публично прошу прощения... Сгораю от стыда на пятидесяти кострах!.. Давайте же руку... Клянусь честью, что искренно... *(Берет ее руку.)* Помирился... Не будем хныкать... Мир? *(Целует руку.)*

Грекова . Мир. *(Закрывает платком лицо и убегает.)*

За ней уходит Трилецкий .

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же, кроме Грековой и Трилецкого .

Анна Петровна . Не думала, что вы позволите себе . . . Вы!

Глагольев 1. Осторожность, Михаил Васильич, ради бога осторожность!

Платонов . Довольно . . . *(Садится на диван.)* Бог с ней . . . Я сделал глупость, что заговорил с ней, а глупость не стоит того, чтобы о ней много говорили . . .

Анна Петровна . Для чего Трилецкий пошел за ней? Не всем женщинам приятно, если видят их слезы.

Глагольев 1. Уважаю я в женщинах эту чуткость . . . Особенного ничего ведь вы . . . не сказали ей, кажется, но . . . Один намек, словечко . . .

Анна Петровна . Нехорошо, Михаил Васильич, нехорошо.

Платонов . Я извинился, Анна Петровна.

Входят Войницев, Софья Егоровна
и Венгерович 2.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же, Войницев, Софья Егоровна,
Венгерович 2 и потом Трилецкий .

Войницев *(вбегает)*. Идет, идет! *(Поет.)* Идет!

Венгерович 2 становится у дверей, скрестив на груди руки.

Анна Петровна . Наконец-то Софи надоел этот несносный зной!
Милости просим!

Платонов *(в стороне)*. Соня! Творец небесный, как она изменилась!

Софья Егоровна . Я так заболталась с т-г Венгеровичем, что совершенно забыла про зной . . . *(Садится на диван на аршин от Платонова.)* Я в восторге от нашего сада, Сергей.

Глагольев 1 *(садится возле Софьи Егоровны)*. Сергей Павлович!

Войницев . Что прикажете?

Глагольев 1. Софья Егоровна, милейший мой друг, дала мне слово, что в четверг вы все будете у меня.

Платонов *(в сторону)*. На меня посмотрела!

Войницев . Мы и сдержим это слово. Прикатим к вам целой компанией . . .

Трилецкий *(входит)*. О женщины, женщины! сказал Шекспир и сказал неправду. Нужно было сказать: ах вы, женщины, женщины!

Анна Петровна . Где Марья Ефимовна?

Трилецкий. Я ее в сад проводил. Пусть себе пошляется с горя!

Глагольев 1. Вы у меня еще ни разу не были, Софья Егоровна! У меня вам, надеюсь, понравится... Сад получше вашего, река глубокая, лошадки есть хорошие...

Пауза.

Анна Петровна. Молчание... Дурак родился.

Смех.

Софья Егоровна (*тихо Глагольеву, кивая на Платонова*). Кто это такой? Вот этот, что рядом со мной сидит!

Глагольев 1 (*смеется*). Это наш учитель... Фамилии не знаю...

Бугров (*Трилецкому*). Скажите мне на милость, Николай Иваныч, вы всякие болезни лечить можете или не всякие?

Трилецкий. Всякие.

Бугров. И сибирку?

Трилецкий. И сибирку.

Бугров. А ежели собака бешеная укусит, и это можете?

Трилецкий. А вас бешеная собака укусила? (*Отодвигается от него.*)

Бугров (*конфузится*). Боже меня сохрани! Что это вы, Николай Иваныч! Христос с вами!

Смех.

Анна Петровна. Как к вам ехать, Порфирий Семеныч? Через Юсновку?

Глагольев 1. Нет... Круг дадите, если поедете через Юсновку. Езжайте прямо на Платоновку. Я обитаю почти что в самой Платоновке, в двух верстах от нее.

Софья Егоровна. Я знаю эту Платоновку. Она всё еще существует?

Глагольев 1. Как же...

Софья Егоровна. Я когда-то с ее помещиком была знакома, с Платоновым. Сергей, ты не знаешь, где теперь этот Платонов?

Платонов (*в сторону*). Спросила бы она у меня, где он.

Войницев. Кажется, знаю. Не помнишь ли, как его зовут? (*Смеется.*)

Платонов. Я тоже когда-то был с ним знаком. Его зовут, кажется, Михаилом Васильичем.

Смех.

Софья Егоровна. Да, да... Его зовут Михаилом Васильичем. Когда я была с ним знакома, он был еще студентом, почти мальчиком... Вы смеетесь, господа... А я, право, ничего не нахожу остроумного в моих словах...

Анна Петровна (*хохочет и указывает на Платонова*). Да узнайте же его, наконец, а то он лопнет от нетерпения!

Платонов поднимается.

Софья Егоровна (*поднимается и смотрит на Платонова*). Да... он. Что же вы молчите, Михаил Васильич?.. Неужели... это вы?

Платонов. Не узнаете, Софья Егоровна? И немудрено! Прошло четыре с половиной года, почти пять лет, а никакие крысы не в состоянии изгрызть так хорошо человеческую физиономию, как мои последние пять лет.

Софья Егоровна (*подает ему руку*). Я теперь только начинаю узнавать вас. Как вы изменились!

Воинцев (*подводит к Софье Егоровне Сашу*). А это, рекомендую тебе, его жена!.. Александра Ивановна, сестра остроумнейшего из людей — Николая Иваныча!

Софья Егоровна (*подает Саше руку*). Очень приятно. (*Садится*.) Вы уж и женаты!.. Давно ли? Впрочем, пять лет... .

Анна Петровна. Молодец, Платонов! Он нигде не бывает, но всех знает. Это, Софи, рекомендую вам, наш друг!

Платонов. Этой роскошной рекомендации достаточно для того, чтобы иметь право спросить вас, Софья Егоровна, как вы вообще поживаете? Как ваше здоровье?

Софья Егоровна. Поживаю вообще очень сносно, но здоровье плоховато. Вы как поживаете? Что поделяваете теперь?

Платонов. Со мной судьба моя сыграла то, чего я ни в каком случае не мог предполагать в то время, когда вы видели во мне второго Байрона, а я в себе будущего министра каких-то особенных дел и Христофора Колумба. Я школьный учитель, Софья Егоровна, только всего.

Софья Егоровна. Вы?

Платонов. Да, я...

Пауза

Пожалуй, что немножко и странно... .

Софья Егоровна. Невероятно! Почему же... . Почему же не больше?

Платонов. Мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос... .

Пауза.

Софья Егоровна. Университет вы по крайней мере кончили?

Платонов. Нет. Я его бросил.

Софья Егоровна. Гм... Это все-таки не мешает ведь вам быть человеком?

Платонов. Виноват... Я не понимаю вашего вопроса... .

Софья Егоровна. Я неясно выразилась. Это вам не мешает быть человеком... тружеником, хочу сказать, на поприще... ну хоть, например, свободы, эмансипации женщин... Не мешает это вам быть служителем идеи?

Трилецкий (*в сторону*). Завралась!

Платонов (*в сторону*). Вот как! Гм... (*Ей*.) Как вам сказать? Пожалуй, что это и не мешает, но... чему же мешать-то? (*Смеется*.) Мне ничто не может

мешать... Я лежачий камень. Лежачие камни сами созданы для того, чтоб мешать...

Входит Щербук.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Щербук.

Щербук *(в дверях)*. Лошадям овса не давай: плохо везли!

Анна Петровна. Ура! Мой кавалер пришел!

Все. Павел Петрович!

Щербук *(молча целует у Анны Петровны и Саши руку, молча кланяется мужчинам, каждому отдельно и отдает общий поклон)*. Друзья мои! Скажите мне, недостойному субъекту, где та особа, видеть которую душа моя стремится? Подозрение имею и думаю, что эта особа — оне! *(Указывает на Софью Егоровну.)* Анна Петровна, позвольте мне просить вас отрекомендовать меня им, чтобы они знали, что я такой за человек!

Анна Петровна *(берет его под руку и подводит к Софье Егоровне)*. Отставной гвардии корнет Павел Петрович Щербук!

Щербук. А касательно чувств?

Анна Петровна. Ах да... Наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор.

Щербук. Действительно! Друг первейший его превосходительства покойничка генерала! Под предводительством его брал крепости, именуемые женским полонезом. *(Кланяется.)* Позвольте ручку-с!

Софья Егоровна *(протягивает руку и отдергивает ее назад)*. Очень приятно, но... не нужно.

Щербук. Обидно-с... Вашего супруга на руках носил, когда он еще под стол пешком ходил... Я от него знак имею и знак сей в могилу унесу. *(Открывает рот.)* В-во! Зуба нет! Замечаете?

Смех.

Я его на руках держал, а он, Сереженька-то, пистолетом, коим забавляться изволил, мне по зубам реприманду устроил. Хе, хе, хе... Шалун! Вы его, матушка, не имею чести знать имени и отчества, в строгости содержите! Красотой своей вы мне одну картину напоминаете... Носик только не такой... Не дадите ручки?

Петрин подсаживается к Венгеровичу 1 и читает ему вслух газету.

Софья Егоровна *(протягивает руку)*. Если вы уж так...

Щербук *(целует руку)*. Мерси вас! *(Платонову.)* Как здоровье, Мишенька? Молодец-то какой вырос! *(Садится.)* Я знал тебя еще в тот период, когда ты на свет божий с недоумением глядел... И всё растет, и всё растет... Тьфу! чтоб

не сглазить! Молодчина! Красавец-то какой! Ну чего, купидон, по военной не идешь?

Платонов. Грудью слаб, Павел Петрович!

Щербук (*указывает на Трилецкого*). Он сказал? Верь ему, свистуну, так без головы останешься!

Трилецкий. Прошу не ругаться, Павел Петрович!

Щербук. Он мне поясницу лечил... Того не ешь, другого не ешь, на полу не спи... Ну и не вылечил. Я его и спрашиваю: «Зачем же ты деньги взял, а не вылечил?» А он и говорит: «Что-нибудь из двух, говорит, или лечить, или деньги брать». Каков молодец?

Трилецкий. Для чего же врать, Вельзевул Буцефалович? Сколько вы мне дали денег, позвольте вас спросить? Припомните-ка! Съездил я к вам шесть раз и получил только всего рубль, да еще порванный рубль... Хотел его нищему дать, да нищий не взял. «Порван, говорит, очень, номеров нет!»

Щербук. И ездил шесть раз не потому, что я болен был, а потому, что у моего арендатора дочка кельк шоз¹.

Трилецкий. Платонов, ты близко к нему сидишь... Щелкни его раз от моего имени по лысине! Сделай милость!

Щербук. Отстань! Довольно! Не раздражай спящего льва! Молод еще, еле видим! (*Платонову*.) И отец твой был молодец! Мы с ним, с покойничком, большие друзья были. Штукарь он был! Теперь таких и нет проказников, какими мы с ним были... Эхх. Прошло время... (*Петрину*.) Герася! Побойся всевышнего! Мы здесь беседуем, а ты вслух читаешь! Имей деликатность!

Петрин продолжает читать.

Саша (*толкает Ивана Ивановича в плечо*). Папа! Папа, не спи здесь! Стыдно!

Иван Иванович просыпается и чрез минуту опять засыпает.

Щербук. Нет... Не могу я говорить!.. (*Встает*.) Его слушайте... Он читает!..

Петрин (*встает и подходит к Платонову*). Что вы сказали-с?

Платонов. Решительно ничего...

Петрин. Нет, вы что-то сказали-с... Вы сказали что-то про Петрина...

Платонов. Вам приснилось, должно быть...

Петрин. Критикуете-с?

Платонов. Ничего я не говорил! Уверяю вас, что вам это приснилось!

Петрин. Можете говорить, сколько вам угодно... Петрин... Петрин... Что Петрин? (*Кладет газету в карман*.) Петрин, может быть, в университете обучался, кандидат прав, может быть... Вам это известно?.. Ученое звание за мной до гроба останется... Так-то-с. Надворный советник... Вам это известно? И пожил побольше вашего. Шестой десяточек, слава богу, доживаю.

Платонов. Очень приятно, но... что же из этого следует?

Петрин. Поживите с мое, душенька, так узнаете! Жизнь пережить не шутка! Жизнь кусается...

Платонов (*пожимает плечами*). Право, не знаю, что вы хотите этим сказать, Герасим Кузьмич... Я вас не понимаю... Начали вы о себе, а с себя съехали на жизнь... Что может быть общего между вами и жизнью?

Петрин. Вот как ломает вас жизнь, потрясет хорошенечко, тогда сами на молодых с предостережением смотреть станете... Жизнь, сударь мой... Что такое жизнь? А вот что-с! Когда родится человек, то идет на одну из трех дорог жизненных, кроме которых других путей не имеется: пойдешь направо — волки тебя съедят, пойдешь налево — сам волков съешь, пойдешь прямо — сам себя съешь.

Платонов. Скажите... Гм... Вы пришли к этому умозаключению путем науки, опыта?

Петрин. Путем опыта.

Платонов. Путем опыта... (*Смеется*.) Говорите, почтенный Герасим Кузьмич, кому-нибудь другому, а не мне... Вообще бы я вам советовал не говорить со мной о высоких материях... И смеюсь, и, ей-богу, не верю. Не верю я вашей старческой, самоделковой мудрости! Не верю, друзья моего отца, глубоко, слишком искренно не верю вашим простым речам о мудреных вещах, всему тому, до чего вы дошли своим умом!

Петрин. Да-с... Действительно... Из молодого деревца всё сделаешь: и домик, и корабль, и всё... а старое, широкое да высокое, ни к черту не годится...

Платонов. Я не говорю вообще про стариков; я говорю про друзей моего отца.

Глагольев 1. Я тоже был другом вашего отца, Михаил Васильич!

Платонов. Мало ли у него было друзей... Бывало, весь двор был запружен каретами да колясками.

Глагольев 1. Нет... Но, значит, и мне вы не верите? (*Хохочет*.)

Платонов. Гм... Как вам сказать?.. И в вас, Порфирий Семеныч, плохо верю.

Глагольев 1. Да? (*Протягивает ему руку*.) Спасибо, дорогой мой, за откровенность! Ваша откровенность еще более привязывает меня к вам.

Платонов. Вы добряк... Я даже глубоко уважаю вас, но... но...

Глагольев 1. Пожалуйста, говорите!

Платонов. Но... но нужно быть слишком доверчивым, чтобы веровать в тех фонвизинских солидных Стародумов и сахарных Милонов, которые всю свою жизнь ели щи из одной чашки со Скотиниными и Простаковыми, и в тех сатрапов, которые потому только и святые, что не делают ни зла, ни добра. Не рассердитесь, пожалуйста!

Анна Петровна. Не люблю я подобных бесед, а в особенности, если они ведутся Платоновым... Всегда плохо оканчиваются. Михаил Васильич, рекомендую вам нашего нового знакомого! (*Указывает на Венгеровича 2*.) Исак Абрамович Венгерович, студент...

Платонов. А... *(Встает и идет к Венгеровичу 2.)* Очень приятно! Очень рад. *(Протягивает руку.)* Дорого я дал бы теперь, чтобы иметь право опять называться студентом...

Пауза.

Я вам руку подаю... Берите же мою или дайте мне свою...

Венгерович 2. Я не сделаю ни того, ни другого...

Платонов. Что?

Венгерович 2. Я не подам вам своей руки.

Платонов. Загадка... Почему-с?

Анна Петровна *(в сторону)*. Черт знает что!

Венгерович 2. Потому что я имею на это основание... Я презираю таких людей, как вы!

Платонов. Брависсимо... *(Осматривает его.)* Я сказал бы вам, что это мне ужасно нравится, если бы это не пощекотало вашего самолюбия, которое нужно поберечь для будущего...

Пауза.

Вы смотрите на меня, точно великан на пигмея. Может быть, вы и в самом деле великан.

Венгерович 2. Я честный человек и не пошляк.

Платонов. С чем вас и поздравляю... Странно было бы видеть в молодом студенте нечестного человека... О вашей честности вас никто и не спрашивает... Не дадите руки, юноша?

Венгерович 2. Я не подаю милостыни.

Трилецкий шикает.

Платонов. Не подаете? Ваше дело... Я о приличии говорю, а не о милостыне... Сильно презираете?

Венгерович 2. Насколько это возможно для человека, всей душой ненавидящего пошлость, тунеядство, фиглярство...

Платонов *(вздыхает)*. Давно уж я не слыхал таких речей... Что-то слышится родное в звонких песнях ямщика!.. И я когда-то был мастером рассыпаться... Только, к сожалению, всё это фразы... Милые фразы, но только фразы... Чутьку бы искренности... Фальшивые звуки ужасно действуют на непривычное ухо...

Венгерович 2. Не прекратить ли нам этот разговор?

Платонов. Для чего? Нас охотно слушают, да и мы еще не успели надоесть друг другу... Давайте еще побеседуем в том же духе...

Вбегает Василий и за ним Осип.

ЯВЛЕНИЕ XV

О с и п (*входит*). Кгм... Честь имею и удовольствие поздравить ваше превосходительство с приездом...

Пауза.

Желаю вам всего того, что вы от бога желаете.

Смех.

П л а т о н о в . Кого вижу?! Чертов кум! Самый страшный из людей! Ужаснейший из смертных!

А н н а П е т р о в н а . Скажите, пожалуйста! Вас не доставало! Зачем пришел?

О с и п . Поздравить.

А н н а П е т р о в н а . Очень нужно! Проваливай!

П л а т о н о в . Ты ли это, во тьму ночей и в свет дня вселяющий грозный ужас? Давно уж я не видел тебя, человекоубийца, шестьсот шестьдесят шесть! Ну, приятель? Распространись о чем-нибудь! Вонмем великому Осипу!

О с и п (*кланяется*). С приездом, ваше превосходительство! Сергею Павлычу! С браком с законным! Дай бог, чтоб всё... что касательно семейства выходило лучше... всего! Дай бог!

В о й н и ц е в . Спасибо! (*Софье Егоровне*.) Это, Софи, рекомендую тебе, наше войнищевское пугало!

А н н а П е т р о в н а . Не держите его, Платонов! Пусть уходит! Я на него сердита. (*Осипу*.) Скажешь на кухне, чтобы тебе дали пообедать... Экие ведь какие зверские глаза! Много за зиму нашего леса накрал?

О с и п (*смеется*). Деревца три-четыре...

Смех.

А н н а П е т р о в н а (*смеется*). Врешь, больше! У него и цепочка есть! Скажите! Это золотая цепочка? Позвольте узнать, который час?

О с и п (*смотрит на стенные часы*). Двадцать две минуты второго... Позвольте мне вашу ручку поцеловать!

А н н а П е т р о в н а (*подносит к его губам руку*). На, целуй...

О с и п (*целует руку*). Очень вам благодарен, ваше превосходительство, за ваше сочувствие! (*Кланяется*.) Что вы за меня держитесь, Михаил Васильич!

П л а т о н о в . Боюсь, чтобы ты не ушел. Люблю тебя, милый! Какой молодец, черт тебя задери совсем! Каким это образом, мудрый, тебя угораздило попасть сюда?

О с и п . За дураком гнался, за Василием, да и зашел кстати.

П л а т о н о в . Умный гнался за дураком, а не наоборот! Честь имею, господа, представить! Интереснейший субъект! Одно из интереснейших кровожадных животных современного зоологического музея! (*Поворачивает Осипа на все стороны*). Известен всем и каждому как Осип, конокрад, чужед,

человекоубийца и вор. Родился в Войнищевке, грабил и убивал в Войнищевке и пропадет в той же Войнищевке!

Смех.

О с и п *(смеется)*. Чудной вы человек, Михаил Васильич!

Т р и л е ц к и й *(рассматривает Осипа)*. Чем занимаешься, любезный?

О с и п. Воровством.

Т р и л е ц к и й. Гм... Приятное занятие... Какой же ты, однако, циник!

О с и п. Что значит циник?

Т р и л е ц к и й. Циник слово греческое, в переводе на твой язык значущее: свинья, желающая, чтобы весь свет знал, что она свинья.

П л а т о н о в. Он улыбается, боги! Что это за улыбка! А лицо-то, лицо! В этом лице сто пудов железа! Не скоро разобьешь его о камень! *(Подводит его к зеркалу.)* Посмотри-ка, чудовище! Видишь? И ты не удивляешься?

О с и п. Самый обыкновенный человек! Даже хуже...

П л а т о н о в. Будто бы? А не богатырь? Не Илья Муромец? *(Хлопает его по плечу.)* О храбрый, победоносный росс! Что мы теперь значим с тобой? Шляемся из угла в угол мелкими людишками, чужаками, места своего не знаем... Нам бы с тобой пустыню с витязями, нам бы с тобой богатырей с стопудовыми головами, с шипом, с посвистом! Уколотил бы Соловья Разбойника? а?

О с и п. А кто ж его знает!

П л а т о н о в. Уколотил бы! Ведь у тебя силища! Это не мускулы, а канаты! Кстати, отчего ты не на каторге?

А н н а П е т р о в н а. Кончите, Платонов! Право, надоело.

П л а т о н о в. Ты сидел хоть раз в остроге, Осип?

О с и п. Случается... Каждую зиму сижу.

П л а т о н о в. Так и следует... В лесу холодно — иди в острог. Но отчего же ты не на каторге?

О с и п. Не знаю... Пустите, Михаил Васильич!

П л а т о н о в. Ты не от мира сего? Ты вне времени и пространства? Ты вне обычаев и закона?

О с и п. Позвольте-с... В законе написано, что только тогда пойдешь в Сибирь, когда на тебя обстоятельно докажут или на месте преступления поймут... Всякому, положим, известно, что я, положим, вор да разбойник *(смеется)*, да не всякий доказать это может... Гм... Не смел нонче народ стал, глуп, неумный то есть... Боятся всего... Ну и доказать боятся... Выслать бы мог, да законов не понимает... Всё ему страшно... Осел нонче народ стал, одним словом... Всё норовит исподтишка, артелью... Пакостный народ, плевым... Невежество... И обижать такой народ не жалко...

П л а т о н о в. Как он важно рассуждает, подлец! Своим умом дошел, отвратительное животное! И он ведь на основании теорий... *(Вздыхает.)* Какая гадость еще возможна в России!..

Осип. Не один я так рассуждаю, Михаил Васильич! Все нонче так рассуждают. Да вот, например, хоть Абрам Абрамыч...

Платонов. Да, но и этот тоже незаконный... Всяк знает, да не всяк докажет.

Венгерович 1. Меня, полагаю, можно оставить в покое...

Платонов. Про него и толковать нечего... Это подобие твое; разница только в том, что он умней тебя и счастлив, как аркадский пастушок. Ну и... в глаза нельзя назвать, а тебя можно. Одного поля ягоды, но... Шестьдесят кабаков, друг мой, шестьдесят кабаков, а у тебя и шестидесяти копеек нет!

Венгерович 1. Шестьдесят три кабака.

Платонов. Через год будет семьдесят три... Он благодеяния делает, обеды дает, всеми уважаем, все перед ним шапку ломают, ну а ты... ты великий человек, но... жить, брат, не умешь! Не умешь жить, вредный человек!

Венгерович 1. Вы начинаете фантазировать, Михаил Васильич! *(Встает и садится на другой стул.)*

Платонов. На этой голове и громоотводов больше... Проживет преспокойно еще столько же, сколько и жил, если не больше, и умрет... и умрет ведь спокойно!

Анна Петровна. Перестаньте, Платонов!

Войницева. Помирней, Михаил Васильич! Осип, уходи отсюда! Своим присутствием ты только раздражаешь платоновские инстинкты.

Венгерович 1. Ему хочется выгнать меня отсюда, но не удастся!

Платонов. Удастся! Не удастся, сам уйду.

Анна Петровна. Платонов, вы не перестанете? Вы не распространяйтесь, а прямо говорите: перестанете вы или нет?

Саша. Замолчи, ради бога! *(Тихо.)* Неприлично! Ты меня срамишь!

Платонов *(Осипу)*. Проваливай! От души желаю тебе скорейшего исчезновения!

Осип. У Марфы Петровны есть попугайчик, который всех людей да собак называет дураками, а как завидит коршуна или Абрама Абрамыча, то и кричит: «Ах ты, проклятый!» *(Хохочет.)* Прощайте-с! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же без Осипа.

Венгерович 1. Кто бы, да не вы, молодой человек, позволяли себе читать мне мораль и еще в такой форме. Я гражданин и, скажу правду, полезный гражданин... Я отец, а вы кто? Кто вы, молодой человек? Извините, хлыщ, промотавшийся помещик, взявший в свои руки святое дело, на которое вы не имеете ни малейшего права, как испорченный человек...

Платонов. Гражданин... Если вы гражданин, то это очень нехорошее слово! Ругательное слово!

Анна Петровна. Он не перестанет! Платонов, зачем отравлять нам день своим резонерством? Зачем говорить лишнее? И имеете ли вы право?

Трилецкий. Не покойно живется с этими справедливейшими и честнейшими... Всюду вмешиваются, везде у них дело, всё до них касается...

Глагольев 1. Начали, господа, о здравии, а оканчиваете за упокой...

Анна Петровна. Не следует, Платонов, забывать того, что если гости бранятся, то хозяева чувствуют себя очень неловко...

Войницев. Это справедливо, а посему с этой же минуты всеобщее тсс... Мир, согласие и тишина!

Венгерович 1. Не дает и минуты покоя! Что я ему сделал? Это шарлатанство!

Войницев. Тсс...

Трилецкий. Пусть себе бранятся! Нам же веселей.

Пауза.

Платонов. Как поглядишь вокруг себя, да подумаешь серьезно, в обморок падаешь!.. И что хуже всего, так это то, что всё мало-мальски честное, сносное молчит, мертвецки молчит, только смотрит... Всё смотрит на него с боязнью, всё кланяется до земли этому ожиревшему, позолоченному выскочке, всё обязано ему от головы до пяток! Честь в трубу вылетела!

Анна Петровна. Успокойтесь, Платонов! Вы начинаете прошлогоднюю историю, а я не выношу этого!

Платонов *(пьет воду)*. Ладно. *(Садится.)*

Венгерович 1. Ладно.

Пауза.

Щербук. Мученик я, друзья мои, мученик!

Анна Петровна. Что там еще?

Щербук. Горе мне, друзья мои! Лучше в гробу лежать, чем с женою ехидною жить! Опять материя была! Чуть не убила меня неделю тому назад со своим дьяволом, рыжим Дон-Жуаном. Сплю я себе на дворе под яблонькой, sny вкушаю, на прошлые картины во сне с завистью поглядываю... *(Вздыхает.)* Вдруг... Вдруг как шарахнет меня кто-то по голове моей! Господи! Конеч, думаю, пришел! Землетрясение, борьба стихий, потоп, дождь огненный... Открываю глаза, а передо мной рыжий... Схватил меня рыжий за бока, да как даст со всего размаху по этим местам, а потом шлеп меня о землю! Подскочила лютая... Схватила меня за мою невинную бороду *(хватает себя за бороду)*, а тут не пообедает! *(Бьет себя по лысине)*. Чуть не убили... Думал, что богу душу отдам...

Анна Петровна. Вы преувеличиваете, Павел Петрович...

Щербук. Старуха ведь, старей всех на свете, ни кожи, ни рожи у старой кочерги, а туда же... любовь! Ах ты, ведьма! А рыжему это и на руку... Ему денежки нужны мои, а любовь ее ему не нужна...

Яков входит и подает Анне Петровне визитную карточку.

Войницева. От кого это?

Анна Петровна. Перестаньте, Павел Петрович! *(Читает.)* «Comte Glagolief»¹. К чему эти церемонии? Пожалуйста, проси! *(Глагольеву 1.)* Ваш сын, Порфирий Семеныч!

Глагольев 1. Мой сын?! Откуда он мог взяться? Он за границей!

Входит Глагольев 2.

ЯВЛЕНИЕ XVII

Те же и Глагольев 2.

Анна Петровна. Кирилл Порфирьич! Как это любезно!

Глагольев 1 *(встает)*. Ты, Кирилл... приехал? *(Садится.)*

Глагольев 2. Здравствуйте, mesdames! Платонову, Венгеровичу, Трилецкому... И чудак Платонов здесь... Салют, почет и уважение! Ужасно жарко в России... Прямо из Парижа! Прямехонько из французской земли! Ф-ф... Не верите? Честное и благородное слово! Домой только чемодан завез... Ну, да и Париж же, господа! Вот город!

Войницева. Садитесь, французский человек!

Глагольев 2. Нет, нет, нет... Я не в гости приехал, я так только... Мне одного только отца нужно видеть... *(Отцу.)* Ты что же это, послушай?

Глагольев 1. Что такое?

Глагольев 2. Ты ссориться хочешь? Ты зачем не присылал мне денег, когда я просил, а?

Глагольев 1. Дома об этом потолкуем.

Глагольев 2. Почему ты не присылал мне денег? Ты смеешься? Тебе всё шутки? Ты шутишь? Господа, можно за границей жить без денег?

Анна Петровна. Как вам жилось в Париже? Вы сядьте, Кирилл Порфирьич!

Глагольев 2. По его милости я воротился с одной только зубочисткой! Я послал ему из Парижа тридцать пять телеграмм! Почему ты не присылал мне денег, я тебя спрашиваю? Краснеешь? Стыдно?

Трилецкий. Не кричите, пожалуйста, ваше сиятельство! Будете кричать, pošлю судебному следователю вашу визитную карточку и привлеку вас к судебной ответственности за присвоение не принадлежащего вам графского титула! Неприлично!

Глагольев 1. Не делай, Кирилл, скандала! Я полагал, что шести тысяч будет достаточно. Успокойся!

Глагольев 2. Дай мне денег, я опять поеду! Давай сейчас! Сейчас давай! Еду! Давай скорей! Я спешу!

Анна Петровна. Куда вы так спешите? Успеете! Расскажите-ка нам лучше что-нибудь из своего путешествия...

Яков *(входит)*. Готово-с!

Анна Петровна. Да? В таком случае, господа, идемте есть!

Трилецкий. Есть? Ура-а-а! *(Хватает одной рукой за руку Сашу, а другой Глагольева 2 и бежит.)*

Саша. Пусти! Пусти, сорванец! Я сама пойду!

Глагольев 2. Пустите! Что за свинство? Я не люблю шуток! *(Вырывается.)*

Саша и Трилецкий убегают.

Анна Петровна *(берет Глагольева 2 под руку)*. Пойдемте-ка, парижанин! Нечего кипятиться попусту! Абрам Абрамыч, Тимофей Гордеич... Прошу! *(Уходит с Глагольевым 2.)*

Бугров *(встает и потягивается)*. Пока дождешься этого завтрака, так весь слюной изойдешь. *(Уходит.)*

Платонов *(подает Софье Егоровне руку)*. Вы позволите? Какие у вас удивленные глаза! Для вас этот мир — неведомый мир! Это мир *(тише)* глупцов, Софья Егоровна, глупцов набитых, невылазных, безнадежных... *(Уходит с Софьей Егоровной.)*

Венгерович 1 *(сыну)*. Теперь видел?

Венгерович 2. Это оригинальнейший негодяй! *(Уходит с отцом.)*

Войницев *(толкает Ивана Ивановича)*. Иван Иваныч! Иван Иваныч! Завтракать!

Иван Иванович *(вскакивает)*. А? Кто?

Войницев. Никто... Завтракать идемте!

Иван Иванович. Очень хорошо, душенька!

Уходит с Войницевым и Щербуком.

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Петрин и Глагольев 1.

Петрин. Хочешь?

Глагольев 1. Я не прочь... Я уже говорил тебе!

Петрин. Голубчик... Непременно женишься?

Глагольев 1. Не знаю, братец. Захочет ли она еще?

Петрин. Захочет! Побей меня бог, захочет!

Глагольев 1. Кто знает? Предполагать не следует... Чужая душа потемки. Ты-то чего так хлопочешь?

Петрин. О ком же мне хлопотать, душенька? Ты человек хороший, она такая славная... Хочешь, я с ней поговорю?

Глагольев 1. Я и сам поговорю. Ты молчи пока и... если можно, пожалуйста, не хлопочи! Я и сам сумею жениться. *(Уходит.)*

Петрин (*один*). Вот ежели б сумел! Святые угодники, войдите в мое положение!.. Выйди генеральша за него, я богатый человек! По векселям получу, святые угодники! Даже аппетит пропал от этой радостной мысли. Венчаются рабы божии Анна и Порфирий или, то бишь, Порфирий и Анна...

Входит Анна Петровна.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Петрин и Анна Петровна.

Анна Петровна. Вы же чего не идете завтракать?

Петрин. Матушка, Анна Петровна, можно вам намек сделать?

Анна Петровна. Делайте, только поскорей, пожалуйста... Мне некогда...

Петрин. Гм... Не дадите вы мне немножко деньжат, матушка?

Анна Петровна. Какой же это намек? Это далеко не намек. Сколько вам нужно? Рубль, два?

Петрин. Сделайте умаление векселям. Надоело глядеть на векселя эти... Векселя — это одна только обманчивость, мечта туманная. Они говорят: ты владеешь! А на деле-то выходит, что ты вовсе не владеешь.

Анна Петровна. Вы всё про те же шестнадцать тысяч толкуете? Как вам не стыдно? Неужели вас ничто не коробит, когда вы клянчите этот долг? Как вам не грешно? На что вам, старику холостому, сдались эти нехорошие деньги?

Петрин. Они мне сдались, потому что они мои, матушка.

Анна Петровна. Вы эти векселя выманили у моего мужа, когда он был не трезв, болен... Вы это помните?

Петрин. Что ж такое, матушка? А на то они и векселя, чтоб по ним денежки требовались и платились. Деньги счет любят.

Анна Петровна. Хорошо, хорошо... Довольно. Денег у меня нет и не будет для вашего брата! Убирайтесь, протестуйте! Эх вы, кандидат прав! Ведь вы на днях умрете, для чего же мошенничаете? Чудак вы!

Петрин. Можно вам, матушка, намек сделать?

Анна Петровна. Нельзя. (*Идет к двери.*) Ступайте жевать!

Петрин. Позвольте, матушка! Родненькая, на минуточку! Вам Порфиша нравится?

Анна Петровна. Вам какое дело? Какое вам дело до меня, кандидат вы этакий!

Петрин. Какое дело? (*Бьет себя по груди.*) А кто, позвольте вас спросить, первым другом покойного генерал-майора был? Кто ему глаза на смертном одре закрыл?

Анна Петровна. Вы, вы, вы! Молодец вы за это!

Петрин. Пойду выпью за упокой его души... (*Вздыхает.*) И за ваше здравие! Горды и надменны, сударыня! Гордость порок есть... (*Уходит.*)

Входит Платонов.

ЯВЛЕНИЕ XX

Анна Петровна и Платонов.

Платонов. Черт знает что за самолюбие! Его гонишь, а он сидит, как ни в чем не бывало... Вот уж воистину хамское барышническое самолюбие! О чем мыслите, превосходительная?

Анна Петровна. Вы успокоились?

Платонов. Успокоился... Но не будем сердиться... *(Целует ее руку.)* Все они, наша дорогая генеральша, достойны того, чтобы всякий имел право выгнать их из вашего дома...

Анна Петровна. С каким удовольствием я сама бы, невыносимый Михаил Васильич, прогнала этих гостей!.. В том и вся наша беда, что честь, о которой вы сегодня трактовали на мой счет, удобоварима только в теории, но никак не в практике. Ни я и ни ваше красноречие не имеем права прогнать их. Ведь всё это наши благодетели, кредиторы... Погляди я на них косо — и завтра же нас не будет в этом имении... Или имение, или честь, как видите... Выбираю имение... Понимайте это, милый пустослов, как хотите, и если вам угодно, чтобы я не уехала из прекрасных здешних мест, то не напоминайте мне о чести и не трогайте моих гусей... Меня зовут там... Сегодня после обеда едем кататься... Не смей уходить! *(Бьет его по плечу.)* Заживем! Идемте есть! *(Уходит.)*

Платонов *(после паузы)*. А все-таки я его выгоню... Я всех выгоню!.. Глупо, нетактично, но... выгоню... Дал себе слово не трогать этого свинства, но что поделаешь? Характер — стихия, а бесхарактерность и подавно...

Входит Венгерович 2.

ЯВЛЕНИЕ XXI

Платонов и Венгерович 2.

Венгерович 2. Послушайте, господин учитель, я советовал бы вам не трогать моего отца.

Платонов. Merci за совет.

Венгерович 2. Я не шучу. Мой отец знаком с очень многими и поэтому легко может лишит вас места. Я вас предостерегаю.

Платонов. Великодушный юноша! Как вас зовут?

Венгерович 2. Исаак.

Платонов. Авраам, значит, роди Исака. Благодарю вас, великодушный юноша! В свою очередь потрудитесь передать вашему папаше, что я желаю ему и его многим провалиться сквозь землю! Идите кушать, а то там всё поедят без вас, юноша!

Венгерович 2 (*пожимает плечами и идет к двери*). Странно, если не глупо... (*Останавливается.*) Не думаете ли вы, что я сержусь на вас за то, что вы не даете покоя моему отцу? Ничуть. Я поучаюсь, а не сержусь... Я изучаю на вас современных Чацких и... я понимаю вас! Если бы вам было весело, если бы не было так бездельнически скучно, то, поверьте, вы не трогали бы моего отца. Вы, господин Чацкий, не правды ищете, а увеселяетесь, забавляетесь... Дворни у вас теперь нет, надо же кого-нибудь распекать! Ну и распекаете всех и вся...

Платонов (*смеется*). Ей-богу, славно! А у вас, знаете ли, есть этакое маленькое соображение...

Венгерович 2. Замечательно то отвратительное обстоятельство, что вы никогда не ссоритесь с моим отцом с глазу на глаз, tête-à-tête; вы выбираете для своих увеселений гостиную, где бы вы были видны глупцам во всем своем величии! О, театрал!

Платонов. Желал бы я поговорить с вами лет через десять, даже пять... Как-то вы сохранитесь? Останется ли нетронутым этот тон, этот блеск очей? А ведь попортитесь, юноша! По наукам у вас хорошо идут дела?.. По лицу вижу, что плохо... Попортитесь! Впрочем, идите есть! Я не буду больше беседовать с вами. Мне не нравится ваша злая физиономия...

Венгерович 2 (*смеется*). Эстетик. (*Идет к двери.*) Лучше злая физиономия, чем физиономия, напрашивающаяся на пощечину.

Платонов. Да, лучше... Но... ступайте есть!

Венгерович 2. Мы не знакомы... Не забудьте, пожалуйста... (*Уходит.*)

Платонов (*один*). Мало знающий, много думающий и из-за угла много говорящий юноша. (*Смотрит в дверь столовой.*) А вон и Софья. По сторонам смотрит... Меня ищет своими бархатными глазами. Какая она еще хорошенькая! Сколько в ее лице красивого! Волосы всё те же! Тот же цвет, та же прическа... Сколько раз приходилось мне целовать эти волосы! Славные воспоминания навевают на меня эта головка...

Пауза.

Неужели и для меня уже настала пора довольствоваться одними только воспоминаниями?

Пауза.

Воспоминания вещь хорошая, но... неужели мне-то... уж конец? Ох, не дай бог, не дай бог! Лучше смерть... Надо жить... Жить еще... Молод я еще!

Входит Войницев.

ЯВЛЕНИЕ XXII

Платонов и Войницев ипотом Трилецкий.

Войницев (*входит и вытирает губы салфеткой*). Идемте за здоровье Софи пить, нечего прятаться!.. Ну что?

Платонов. Смотрю и люблюсь на вашу супругу... Чудо барыня!

Войницев смеется.

Платонов. Большой вы счастливчик!

Войницев. Да... Я сознаю... Я счастлив. Не то чтобы счастлив, а с точки зрения... нельзя сказать, чтобы совершенно... Но вообще очень счастлив!

Платонов (*смотрит в дверь столовой*). Я давно уже знаю ее, Сергей Павлович! Я ее знаю, как свои пять пальцев. Как она хороша, но как она была хороша! Жаль, что вы ее не знали тогда! Как она хороша!

Войницев. Да.

Платонов. Глаза-то?!

Войницев. А волосы?!

Платонов. Она была чудной девушкой! (*Смеется*.) А моя-то Саша, моя Авдотья, Матрена, Пелагея... Вон она сидит! Чуть видна из-за графина с водкой! Раздражена, взволнована, возмущена моим поведением! Терзается, бедная, мыслью, что все теперь осуждают и ненавидят меня за то, что я поругался с Венгеровичем!

Войницев. Извини за нескромность вопроса... Ты счастлив с ней?

Платонов. Семья, брат... Отними ты у меня ее, и я, кажется, окончательно пропал... Гнездо! Поживешь, узнаешь. Жаль только, что ты мало собачился, цены семье не знаешь. Я свою Сашку и за миллион не продам. Мы с ней сошлись как нельзя лучше... Она глупа, а я никуда не годен...

Трилецкий входит.

(*Трилецкому*.) Натрескался?

Трилецкий. Страсть. (*Бьет себя по животу*.) Твердыня! Пойдемте-ка, гуси лапчатые, выпьем... Надо бы, господа, для приезда господ... Эх, братцы... (*Обнимает их обоих вместе*.) Да и выпьем же! Эх! (*Потягивается*.) Эх! Жизнь наша человеческая! Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых... (*Потягивается*.) Гуси вы лапчатые! Жулики...

Платонов. У своих больных ты сегодня был?

Трилецкий. Об этом после... Или вот что, Мишель... Говорю тебе раз навсегда. Меня не трогай! Надоел ты мне пуще горькой редьки своими поучениями! Будь человеколюбив! Убедись наконец, что я стена, а ты горох! Или уж если тебе так приспичило, если чешется твой язык, то изложи мне письменно всё то, что тебе нужно. Наизусть выучу! Или, наконец, даже читай мне поучения в определенный час. Даю тебе час в сутки... От четырех до пяти пополудни, например... Хочешь? Я даже платить тебе буду по рублю за этот час. (*Потягивается*.) Целый день, целый день...

Платонов (*Войницеvu*). Объясни мне, пожалуйста, что значит объявление в «Ведомостях»? Неужели в самом-таки деле пришла пора?

Войницев. Нет, не беспокойся! (*Смеется*.) Это маленькая коммерческая комбинация... Будут торги, и имение наше купит Глагольев. Порфирий

Семеныч освободит нас от банка, и мы ему, а не банку, будем платить проценты. Это его выдумка.

Платонов. Не понимаю. Какая ему тут выгода? Дарит он, что ли? Не понимаю я этого подарка, да и едва ли он вам... нужен.

Войницева. Нет... Впрочем, я сам не совсем понимаю... Спроси у мамы, она растолкует... Знаю только, что имение после продажи останется за нами и что выплачивать за него мы будем Глагольеву. Маман сейчас же выдает ему своих пять тысяч в уплату. Во всяком случае с банком не так удобно вести дела, как с ним. Ох, да и надоел же мне этот банк! Ты не надоел так Трилецкому, как мне надоел этот банк! Бросим коммерцию! *(Берет Платонова под руку.)* Пойдем, выпьем за наше «ты»! Николай Иванович! Пойдем, брат! *(Берет Трилецкого под руку.)* Выпьемте за наши хорошие отношения, друзья! Пусть судьба лишает меня всего! Пусть пропадут к черту все эти коммерческие комбинации! Были бы живы да здоровы люди, которых я люблю, вы, да моя Соня, да моя мачеха! В вас моя жизнь! Пойдем!

Платонов. Иду. Я выпью за всё и выпью, должно быть, всё! Я давно уже не был пьян, и мне хочется напиться.

Анна Петровна *(в дверь)*. О дружба, это ты! Хороша тройка! *(Поет.)* Запрягу ль я тройку борзых...

Трилецкий. Темно-карих лошадей... С коньяка начинать, ребята!

Анна Петровна *(в дверь)*. Идите, дармоеды, есть! Простыло всё!

Платонов. Ох, о дружба, это ты! Всегда везло мне в любви, но никогда не везло в дружбе. Боюсь, господа, чтоб и вам не пришлось плакать от моей дружбы! Выпьем за благополучный исход всех дружб, в том числе и нашей! Да будет конец ее так же не бурен и постепенен, как и начало! *(Уходят в столовую.)*

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сад. На первом плане цветник с круговой аллейкой. В центре цветника статуя. На голове статуи плошка. Скамьи, стулья, столики. Направо фасад дома. Крыльцо. Окна открыты. Из окон несутся смех, говор, звуки рояля и скрипки (кадриль, вальсы и проч.). В глубине сада китайская беседка, увешанная фонарями. Над входом в беседку вензель с литерами «С. В.». За беседкой игра в кегли; слышны катание шаров и возгласы: «Пять хороших! Четыре нехороших!» и т. п. Сад и дом освещены. По саду снуют гости и прислуга. Василий и Яков *(в черных фраках, пьяные)* развешивают фонари и зажигают плошки.

ЯВЛЕНИЕ I

Бугров и Трилецкий *(в фуражке с кокардой)*.

Трилецкий *(выходит из дома под руку с Бугровым)*. Дай же, Тимофей Гордеич! Ну что тебе стоит дать? Взаимы ведь прошу!

Бугров. Верьте богу, не могу-с! Не обижайте, Николай Иванович!

Трилецкий. Можешь, Тимофей Гордеич! Ты всё можешь! Ты можешь всю вселенную купить и выкупить, только не хочешь! Ведь займы прошу! Пойми ты, чудак! Честное слово, не отдам!

Бугров. Видите-с, видите-с? Проговорились касательно неотдачи!

Трилецкий. Ничего не вижу! Вижу одно только твое бесчувствие. Дай, великий человек! Не дашь? Дай, тебе говорят! Прошу, умоляю наконец! Неужели ты такой бесчувственный? Где же твое сердце?

Бугров *(вздыхает)*. Э-хе-хех, Николай Иваныч! Исцелять-то вы не исцеляете, а деньги тащите...

Трилецкий. Ты хорошо сказал! *(Вздыхает.)* Ты прав.

Бугров *(вынимает бумажник)*. И насмешка тоже по вашей части... Чуть что, сейчас: ха-ха-ха! Нешто можно так? То-то, что не можно... Хоть необразованные, а все же крещеные, как и ваш брат ученый... Ежели я глупо говорю, то вы должны наставить, а не смеяться... Так-то. Мы люди мужики, не пудренные, кожа на нас дубленая, с нас мало и спрашивайте, извиняйте... *(Открывает бумажник.)* В последний раз, Николай Иваныч! *(Считает.)* Один... шесть... двенадцать...

Трилецкий *(смотрит в бумажник)*. Батюшки! А еще говорят, что у русских денег нет! Где ты их набрал столько?

Бугров. Пятьдесят... *(Подает ему деньги.)* В последний раз.

Трилецкий. А это что за бумажка? И ее ты дай. Она на меня так умильно смотрит! *(Берет деньги.)* Дай же и эту бумажку!

Бугров *(даст еще)*. Получите-с! Жадности в вас много, Николай Иваныч!

Трилецкий. И всё рублевики, и всё рублевики... Милостыню ты собирал, что ли? А они у тебя не фальшивые?

Бугров. Пожалуйте назад, ежели фальшивые!

Трилецкий. Отдал бы назад, ежели бы они тебе были нужны... Мерси, Тимофей Гордеич! Желаю тебе еще больше потолстеть и медаль получить. Скажи мне, пожалуйста, Тимофей Гордеич, зачем ты такую ненормальную жизнь ведешь? Пьешь много, говоришь басом, потеешь, не спишь, когда следует... Например, отчего ты сейчас не спишь? Ты человек полнокровный, желчный, вспыльчивый, бакалейный, тебе рано ложиться нужно! У тебя и жил больше, чем у других. Можно ли так убивать себя?

Бугров. Но?

Трилецкий. Вот тебе и но! Впрочем, не пугайся... Шучу... Рано тебе еще умирать... Поживешь! Много у тебя денег, Тимофей Гордеич?

Бугров. Хватит на наш век.

Трилецкий. Хороший, умный ты человек, Тимофей Гордеич, но большой мошенник! Ты меня извини... Я по дружбе... Ведь мы друзья? Большой мошенник! Для чего ты векселя Войницева скупаешь? Для чего ему деньги даешь?

Бугров. Не вашего ума это дело, Николай Иваныч!

Трилецкий. Хочешь с Венгеровичем шахты генеральшины схватить? Генеральша, мол, сжалится над пасынком, не даст ему погибнуть, отдаст тебе свои шахты? Великий ты человек, но мошенник! Плут!

Бугров. Вот что-с, Николай Иваныч... Я пойду усну где-нибудь около беседочки маленько, а вы, когда станут ужин подавать, меня и разбудите.

Трилецкий. Прелестно! Иди спи.

Бугров *(идет)*. А ежели не будут ужина подавать, то разбудите в половину одиннадцатого! *(Уходит к беседке.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Трилецкий и потом Войницев.

Трилецкий *(рассматривает деньги)*. Мужиком пахнут... Надрал, каналья! Куда же мне их девать? *(Василию и Якову.)* Эй, вы, вольнонаемники! Василий, позови сюда Якова, Яков, позови сюда Василия! Ползите сюда! Живо!

Яков и Василий подходят к Трилецкому.

Они во фраках! Ах, черт возьми! Ужасно вы на господ похожи! *(Дает Якову рубль.)* Это тебе рубль! *(Василию.)* Это тебе рубль! Это вам за то, что у вас носы длинные.

Яков и Василий *(кланяются)*. Много довольны, Николай Иваныч!

Трилецкий. Что же вы, славяне, качаетесь? Пьяны? Оба как веревки? Будет же вам от генеральши, коли узнает! По мордасам отлупит! *(Дает еще по рублю.)* Натте еще по рублю! Это за то, что тебя Яковым зовут, а его Василием, а не наоборот. Кланяйтесь!

Яков и Василий кланяются.

Совершенно верно! А это вам еще по рублю за то, что меня Николаем Иванычем, а не Иваном Николаевичем зовут! *(Дает еще.)* Кланяйтесь! Так! Смотрите, не пропить! Горького лекарства пропишу! Ужасно вы на господ похожи! Ступайте фонари зажигать! Марш! Довольно с вас!

Яков и Василий отходят. Войницев проходит через сцену.

(Войницеву.) На тебе три рубля!

Войницев берет деньги, машинально кладет их в карман и уходит в глубину сада.

Поблагодари же!

Выходят из дома Иван Иванович и Саша.

ЯВЛЕНИЕ III

Трилецкий, Иван Иванович и Саша.

С а ш а *(входя)*. Боже мой! Когда же всему этому конец будет? И за что ты так наказал меня? Этот пьян, Николай пьян, Миша тоже... Хоть бы бога вы побоялись, бессовестные, если людей не стыдитесь! Все смотрят на вас! Мне-то, мне-то какво видеть, как все на вас пальцем указывают!

И в а н И в а н о в и ч. Не то, не то! Постой... Ты меня запутала... Постой...

С а ш а. Вас в благородный дом пускать нельзя! Не успели войти, как уже и пьяны! У, безобразный! А еще тоже старый! Ты должен пример им подавать, а не то что вместе с ними пить!

И в а н И в а н о в и ч. Постой, постой... Ты меня запутала... О чем бишь я? Да! И не лгу, брат Саша! Верь! Послужи я еще лет пять, генералом был бы! А что ты думаешь, не был бы генералом? Фи!.. *(Хохочет.)* С моим характером да не быть генералом? С моим образованием? Не понимаешь же ты ничего после этого... Ты, значит, не понимаешь...

С а ш а. Пойдем! Генералы не пьют так.

И в а н И в а н о в и ч. От восторга все пьют! Был бы генералом! Да молчи ты, сделай милость! Вся в мать! Зу-зу-зу... Господи, ей-богу! Та, бывало, день и ночь, день и ночь... То не так, другое не так... Зу-зу-зу... О чем бишь я? Да! И вся ты в покойницу мать, моя крошечка! Вся ты... Вся... И глазки, и волосочки... И ходила та тоже так, как гусочка... *(Целует ее.)* Ангел мой! Вся ты в покойницу... Страсть как любил покойницу! Не уберег, старый Шут Иваныч Балалайкин!

С а ш а. Будет тебе... Идем! Seriously, папа... Пора уже тебе оставить выпивку и скандалы. Предоставь это тем здоровилам... Они молодые, а тебе все-таки, старику, не к лицу, право...

И в а н И в а н о в и ч. Слушаю, друг мой! Понимаю! Не буду... Слушаю... Ну да, ну да... Понимаю... О чем бишь я?

Т р и л е ц к и й *(Ивану Ивановичу)*. На тебе, ваше высокоблагородие, сто копеек! *(Дает ему рубль.)*

И в а н И в а н о в и ч. Так-с... Беру, сын мой! Mercі... От чужого не возьму, но от сына своего всегда возьму... Возьму и возрадуюсь... Не люблю, деточки, чужих финансов. И, боже мой, как не люблю! Честен, дети! Честен ваш отец! В жизнь мою ни разу не грабил ни отечества, ни пенатов! А стоило только чуточку руку кое-куда запустить, и был бы богат и славен!

Т р и л е ц к и й. Похвально, но не нужно, отец, хвастать!

И в а н И в а н о в и ч. Не хвастаю я, Николай! Поучаю, дети мои! Вразумляю... За вас ответ перед творцом дам!

Т р и л е ц к и й. Куда это вы?

И в а н И в а н о в и ч. Домой. Провожаю вот эту жужелицу... Проводи да проводи... Ввязалась... Вот и провожаю. Самой страшно. Я провожу ее, да опять сюда приду.

Т р и л е ц к и й. Разумеется, приходи. *(Саше.)* И тебе дать? На и тебе, и тебе на! Три целковых! Тебе три целковых!

С а ш а . Прибавь к стати и еще два. Мише на летние панталоны куплю, а то у него только одни. А хуже нет, как иметь одни! Во время стирки приходится надевать суконные...

Т р и л е ц к и й . Я ему никаких бы не дал, ни летних, ни суконных, если бы это от меня зависело: ходи, как знаешь! Но что с тобой поделаешь? На, возьми еще два! *(Дает деньги.)*

И в а н И в а н о в и ч . О чем бишь я? Да... Как теперь помню... Ну да... В генеральном штабе служил, дети мои... Я головой против неприятеля действовал, мозгами турецкую кровь проливал... Штыка не знаю, нет, не знаю... Ну да...

С а ш а . Что же мы стоим? Пора уже. Прощай, Коля! Идем, папа!

И в а н И в а н о в и ч . Постой! Замолчи ты Христа ради! Тар-тар-тар... Цысарка! Шкворец! Вот как жить надо, дети мои! Честно, благородно, беспорочно... Ну да, ну да... Владимира третьей степени получил...

С а ш а . Будет тебе, папа! Пойдем!

Т р и л е ц к и й . Мы и без разглагольствований знаем, что ты за человек... Ступай, провожай!

И в а н И в а н о в и ч . Умнейший ты человек, Николай! Быть тебе Пироговым!

Т р и л е ц к и й . Ступай, ступай...

И в а н И в а н о в и ч . О чем бишь я? Да... Видал я Пирогова... Когда еще в Киеве был... Ну да, ну да... Умнейший человек... Ничего себе... Так я иду... Идем, Сашурка! Я, дети, ослабел... На панихиду похож стал... Ох, господи, прости нас, грешных! Согрешихом, согрешихом... Ну да, ну да... Грешен, деточки! Теперь Мамону служу, а в молодости богу не молился. Базаристей меня и человека не было... Материя! Штоф унд крафт! Ах, господи... Ну да... Молитесь, деточки, чтоб я не умер! Ты уж пошла, Сашурочка? Где ты? Вот где ты... Идем...

Анна Петровна смотрит в окно.

Т р и л е ц к и й . А сам ни с места... Зарапортовался малый... Ну, ступайте! Мимо мельницы не ходите, собаки порвут.

С а ш а . На тебе, Коля, его фуражка... Отдай ему, а то простудится...

Т р и л е ц к и й *(снимает фуражку и надевает ее на отца)*. Шествуй, старче! Налево кругом... марш!

И в а н И в а н о в и ч . По-лу-о-брот нааале... вво! Ну да, ну да... Справедлив ты, Николай! Видит бог, что ты справедлив! И Михайло, зять, справедлив! Вольнодумен, но справедлив! Иду, иду... *(Идут.)* Идем, Саша... Ты идешь? Дай я тебя понесу!

С а ш а . Вот еще глупости!

И в а н И в а н о в и ч . Дай я тебя понесу! Всегда я мать носил... Несу, бывало, а сам качаюсь... Раз с пригорка загремел с ней вместе... Засмеялась только, голубка, ничуть не рассердилась... Дай я тебя понесу!

С а ш а . Не выдумывай... Надень картуз как следует. *(Поправляет ему фуражку.)* Какой ты еще молодец у нас!

И в а н И в а н о в и ч . Ну да, ну да...

Уходят. Входят Петрин и Щербук.

ЯВЛЕНИЕ IV

Трилецкий, Петрин и Щербук.

Петрин *(выходит из дому под руку с Щербуком)*.

Положи ты передо мной пятьдесят тысяч, и я украду... Честное слово, украду... Лишь бы только ничего за это не было... Украду... Положи перед тобой, и ты украдешь.

Щербук. Не украду, Герася! Нет!

Петрин. Положи рубль, и рубль украду! Честность! Фи-фи! Кому нужна твоя честность? Честный значит дурак...

Щербук. Я дурак... Пускай я дурак...

Трилецкий. Нате вам, старцы, по рублю! *(Дает им по рублю.)*

Петрин *(берет деньги)*. Давайте...

Щербук *(хохочет и берет деньги)*. Мерсі, господин доктор!

Трилецкий. Напузырились, господа почтенные?

Петрин. Малость...

Трилецкий. А это вам еще по рублю на поминовение душ ваших! Ведь грешны? Берите же! Вам бы по кукишу следовало, да так уж ради праздника... расщедрюсь, черт возьми!

Анна Петровна *(в окно)*. Трилецкий, дайте и мне рубль! *(Скрывается.)*

Трилецкий. Вам не рубль, а пять рублей, генерал-майорская вдова! Сейчас! *(Уходит в дом.)*

Петрин *(смотрит на окно)*. Скрылась фея?

Щербук *(смотрит на окно)*. Скрылась.

Петрин. Не терплю! Нехорошая женщина! Гордыни много... Женщина должна быть смиренная, уважительная... *(Качает головой.)* Видал Глагольева? Вот тоже еще чучело! Сидит, как гриб, на одном месте, молчит да глазами лупает! Разве так ухаживают за дамами?

Щербук. Женится!

Петрин. Когда он женится? Через сто лет? Покорнейше вас благодарю! Через сто лет мне не нужно.

Щербук. Не нужно, Герася, жениться ему, старику... Женился бы, коли уж так жениться понадобилось, на какой-нибудь простушечке... И он для нее не годится... Она молодая, огненная, дама европейская, образованная...

Петрин. Вот ежели б женился! То есть так мне этого хочется, что и выразить словесно не умею! Ведь у них ровно ничего нету от самой смерти покойничка генерала, царство ему небесное! Есть у ней шахты, да на те

Венгерович метит... Где мне с Венгеровичем тягаться? Что я теперь могу получить по вексялям с них? Протестуй я теперь, что я получу?

Щербук. Nihil!

Петрин. А ежели она замуж за Глагольева пойдет, то я буду знать, с чего мне получить... Вексяля сейчас протестую, запрещение наложу... Небось не даст пасынку погибнуть, выплатит! Эх-ех-ох! Исполнишь, мечтание мое! Шестнадцать тысяч, Павочка!

Щербук. А мне три тысячи... Приказывает моя кочерга, чтоб я получил... Как я получу? Не умею я получать... Это не мужики... Это друзья... Пусть сама едет сюда и получает... Пойдем, Герася, во флигель!

Петрин. Зачем?

Щербук. К дамскому полонезу баллады нашептывать...

Петрин. А Дуняша во флигеле?

Щербук. Там. *(Идут.)* У них веселей... *(Поет.)* Ах, как я несчастлив, перестав жить в нем!

Петрин. Тик-ток, тик-ток... *(Кричит.)* Да-с! *(Поет.)* Год новый радостно встречаем в собранье искренних друзей...

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ V

Войницев и Софья Егоровна выходят
из глубины сада.

Войницев. О чем ты думаешь?

Софья Егоровна. Право, не знаю.

Войницев. Ты чуждаешься моей помощи... Неужели я не в состоянии помочь тебе? Что за тайны, Софи? Тайны от мужа... Гм...

Садятся.

Софья Егоровна. Какие тайны? Я сама не знаю, что во мне происходит... Не мучь себя понапрасну, Сергей! Не обращай внимания на мою хандру...

Пауза.

Уедем отсюда, Сергей!

Войницев. Отсюда?

Софья Егоровна. Да.

Войницев. Зачем?

Софья Егоровна. Хочу... Хоть за границу. Уедем?

Войницев. Ты этого хочешь... Но зачем же?

Софья Егоровна. Здесь хорошо, здорово, весело, но не могу... Все идет хорошо, благополучно, только... уехать нужно. Ты дал слово не спрашивать.

Войницев. Завтра же уедем... Завтра же нас здесь не будет! *(Целует руку.)* Тебе здесь скучно! Да это и понятно! Я понимаю тебя! Черт знает, что за среда! Петрины, Щербуки...

Софья Егоровна. Они не виноваты... Оставим их в покое.

Пауза.

Войницев. И откуда у вас, у женщин, берется столько тоски? Ну чего тосковать? *(Целует жену в щеку.)* Полно! Будь весела! Живи, пока живется! Нельзя ли эту тоску, как говорит Платонов, по шапке? Ба! Очень кстати вспомнил Платонова! Отчего ты с ним редко беседуешь? Это человек не из мелко плавающих, малый развитой и слишком нескудный! Поговори-ка с ним по душе, посвободней! Как рукой снимет тоску! С тамап говори почаще, с Трилецким... *(Смеется.)* Поговори-ка, а не смотри на них свысока! Ты еще не раскусила этих людей... Я рекомендую тебе их, потому что эти люди — моего вкуса люди. Я их люблю. Ты их тоже полюбишь, когда покорооче узнаешь.

Анна Петровна *(в окно)*. Сергей! Сергей! Кто там? Позовите Сергея Павловича!

Войницев. Что прикажете?

Анна Петровна. Ты здесь? На минутку!

Войницев. Сейчас! *(Софье Егоровне.)* Завтра же едем, коли не передумаешь. *(Идет в дом.)*

Софья Егоровна *(после паузы)*. Ведь это почти что несчастье! Я уже в состоянии по целым дням не думать о муже, забывать о его присутствии, не обращать внимания на его слова... В тягость становится... Что делать? *(Думает.)* Ужасно! Так недавно была свадьба и уже... А всё это тот... Платонов! Сил не хватает, нет характера, ничего нет такого, что помогало бы мне стоять против этого человека! Он преследует меня от утра до вечера, ищет меня, не дает мне покою своими понятными глазами... Это ужасно... и глупо, наконец! Ручаться за себя даже нет сил! Сделай он шаг, и, пожалуй, всё может произойти!

ЯВЛЕНИЕ VI

Софья Егоровна и Платонов.
Платонов выходит из дома.

Софья Егоровна. Вот он идет! Водит вокруг своими глазами и ищет! Кого он ищет? По походке вижу, кто ему нужен! Как нечестно с его стороны не давать мне покоя!

Платонов. Жарко! Не нужно бы пить... *(Увидев Софью Егоровну.)* Вы здесь, Софья Егоровна? В уединении? *(Смеется.)*

Софья Егоровна. Да.

Платонов. Смертных избегаете?

Софья Егоровна. Нет надобности мне избегать их. Они мне не противны и не мешают.

Платонов. Да? *(Садится рядом.)* Вы позволите?

Пауза.

Но если вы не избегаете людей, зачем вы меня, Софья Егоровна, избегаете? За что? Позвольте, дайте договорить! Очень рад, что могу-таки, наконец, поговорить с вами. Вы избегаете меня, обходите, не смотрите на меня... Что это? Комедия или серьез?

Софья Егоровна. Я и не думала избегать вас! Откуда вы это взяли?

Платонов. Сначала вы как будто благоволили ко мне, достаивали меня своим благовниманием, а теперь и видеть меня не хотите! Я в одну комнату — вы в другую, я в сад — вы из сада, я начинаю говорить с вами, вы отнекиваетесь или говорите сухое, знойное «да» и уходите... Наши отношения превратились в какое-то недоумение... Виноват я? Противен? *(Встает.)* Вины я за собой никакой не чувствую. Потрудитесь сейчас же вывести меня из этого институтски-глупого положения! Выносить его долее я не намерен!

Софья Егоровна. Признаюсь, я вас... избегаю немножко... Знай я, что это вам так неприятно, я иначе повела бы дело...

Платонов. Избегаете? *(Садится.)* Признаетесь? Но... за что, с какой стати?

Софья Егоровна. Не кричите, то есть... не говорите так громко! Вы мне, надеюсь, не выговор делаете. Я не люблю, если кричат на меня. Я избегаю не вас собственно, а бесед с вами... Человек вы, насколько я вас знаю, хороший... Здесь все вас любят, уважают, некоторые даже поклоняются вам, считают за честь поговорить с вами...

Платонов. Ну-те, ну-те...

Софья Егоровна. Когда я приехала сюда, я сама сейчас же, после первой же нашей беседы, присоединилась к вашим слушателям, но мне, Михаил Васильич, не посчастливилось, решительно не повезло... Вы скоро стали для меня почти невыносимы... Не подыщу более мягкого слова, извините... Вы почти каждый день беседовали со мной о том, как вы меня любили когда-то, как я вас любила и так далее... Студент любил девочку, девочка любила студента... история слишком старая и обыкновенная, чтобы о ней столько много рассказывать и придавать ей для нас с вами теперь какое бы то ни было значение... Не в этом, впрочем, дело... Дело в том, что когда вы говорили со мной о прошлом, то... то говорили так, как будто бы чего-то просили, как будто бы вы тогда, в прошлом, чего-то не добрали, что хотели бы взять теперь... Каждый день тон ваш был томительно одинаков, и каждый день мне казалось, что вы намекаете на какие-то как бы обязательства, наложенные на нас с вами нашим общим прошлым... И потом мне казалось, что вы придаете уж слишком большое значение... что, как бы выразиться яснее, преувеличиваете наши отношения добрых знакомых! Вы как-то странно смотрите, выходите из себя, кричите, хватаете за руку и преследуете... Точно шпионите! Для чего это?.. Одним словом, вы не даете мне покоя... Для чего этот надзор? Что я для вас? Право, можно подумать, что вы выжидаете какого-то удобного случая, который вам для чего-то нужен...

Пауза.

Платонов. Всё? *(Встает.)* Мерси за откровенность! *(Идет к двери.)*

Софья Егоровна. Вы сердитесь? *(Встает.)* Постойте, Михаил Васильич! Для чего же в амбицию вламываться? Я не хотела. . .

Платонов *(останавливается)*. Эх вы!

Пауза.

Выходит, значит, что я вам не надоел, а что вы боитесь, трусите. . . Трусите, Софья Егоровна? *(Подходит к ней.)*

Софья Егоровна. Перестаньте, Платонов! Лжете! Я не боялась и не думаю бояться!

Платонов. Где же ваш характер, где сила здравомыслящих мозгов, если каждый встречный, мало-мальски не банальный мужчина может вам казаться опасным для вашего Сергея Павловича! Я и без вас шлялся сюда каждый день, а беседовал с вами, потому что считал вас умной, понимающей женщиной! Какая глубокая испорченность! Впрочем. . . Виноват, я увлекся. . . Я не имел права говорить вам всё это. . . Извините за неприличную выходку. . .

Софья Егоровна. Никто не дал вам права говорить такие вещи! Если вас слушают, то из этого не следует, что вы имеете право говорить всё то, что вам вздумается! Ступайте от меня!

Платонов *(хохочет)*. Вас преследуют?! Вас ищут, хватают вас за руки?! Вас, бедную, хотят отнять у вашего мужа?! В вас влюблен Платонов, оригинал Платонов?! Какое счастье! Блаженство! Да ведь это такие конфеты для нашего маленького самолюбивца, каких не едал ни один конфетный фабрикант! Смешно. . . Не к лицу развитой женщине эти сладости! *(Идет в дом.)*

Софья Егоровна. Вы дерзки и резки, Платонов! Вы с ума сошли! *(Идет за ним и останавливается у двери.)* Ужасно! Для чего он говорил всё это? Он хотел ошеломить меня. . . Нет, я этого не выношу. . . Я пойду, скажу ему. . . *(Уходит в дом.)*

Из-за беседки выходит О с и п .

ЯВЛЕНИЕ VII

О с и п , Я к о в и В а с и л и й .

О с и п *(входит)*. Пять хороших! Шесть нехороших! Черт знает, чем занимаются! Шли бы лучше в преферанс играть. . . По одной десятой. . . Или в стуколку. . . *(Якову.)* Здоров, Яша! Того. . . м-м-м. . . Венгерович здесь?

Я к о в . Здесь.

О с и п . Пойди позови! Потихонечку вызови! Скажи, что дело есть большое. . .

Я к о в . Ладно. *(Идет в дом.)*

О с и п *(срывает фонарь, тушит и кладет его в карман)*. В прошлом году в городе я у Дарьи Ивановны, что вещи краденые покупает да питейное заведение

с девицами держит, в стуюлку играл... Три копейки обязательного были... Ремизы доходили до двух целковых... Выиграл восемь рублей... *(Срывает другой фонарь.)* Весело в городе!

В а с и л и й . Не для вас фонари повешены! Чего рвать?

О с и п . А я тебя и не вижу! Здорово, осел! Как поживаешь? *(Подходит к нему.)* Как дела?

Пауза.

Ах ты, лошадь! Ах ты, свинопас! *(Снимает с него шапку.)* Смешной ты человек! Ей-богу, смешной! У тебя хоть капелька ума есть? *(Бросает шапку на дерево.)* Ударь меня по щеке за то, что я вредный человек!

В а с и л и й . Пушай вас кто другой ударит, а я не стану бить!

О с и п . А убивать станешь? Нет, коли у тебя есть ум, так ты не артелью убивай, а сам убей! Плюнь мне в лицо за то, что я вредный человек!

В а с и л и й . Не плюну. Ну чего пристали?

О с и п . Не плюнешь? Боишься меня, значит? Становись же передо мной на колени!

Пауза.

Ну? Становись! Кому говорю? Стенам или человеку живому?

Пауза.

Кому говорю?

В а с и л и й *(становится на колени)*. Грех вам, Осип Иваныч!

О с и п . Стыдно стоять? Очень мне это приятно... Господин во фраке, а на коленках пред разбойником стоит... Ну, а теперь кричи ура, что есть духу... Ну?

Входит Венгерович 1.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Осип и Венгерович 1.

Венгерович 1 *(выходит из дома)*. Кто здесь меня звал?

Осип *(быстро снимает шапку)*. Я-с, ваше степенство!

Василий поднимается, садится на скамью и плачет.

Венгерович 1. Что тебе нужно?

Осип. Вы изволили искать и спрашивать меня у кабатчика, вот я и пришел!

Венгерович 1. Ах да... Но... не мог разве выбрать другого места?

Осип. Для хороших людей, ваше превосходительство, всякое место хорошо!

Венгерович 1. Ты мне отчасти нужен... Отойдем отсюда... Вон к той скамье!

Идут к скамье, стоящей в глубине сцены.

Стань немного поодаль так, как будто ты со мной не говоришь... Вот так! Тебя кабатчик Лев Соломоныч прислал?

О с и п . Так точно.

Венгерович 1. Напрасно... Я не тебя хотел, но... что поделаешь? Ничего с тобой не поделаешь. С тобой не следовало бы делов иметь... Ты такой нехороший человек...

О с и п . Очень нехороший! Хуже всех на свете.

Венгерович 1. Говори тише! Сколько я передавал тебе денег, так это ужас, а ты этого не чувствуешь, как будто мои деньги камни или другой какой-нибудь ненужный предмет... Ты позволяешь себе дерзости, воруеть... Отворачиваешься? Не нравится правда? Правда глаза колет?

О с и п . Колет, да только не ваша, ваше превосходительство! Вы позвали меня сюда только за тем, чтобы наставления мне читать?

Венгерович 1. Говори тише... Ты знаешь... Платонова?

О с и п . Учителя? Как не знать!

Венгерович 1. Да, учителя. Учителя, который учит только ругаться и больше ничему. За сколько ты возьмешься искалечить этого учителя?

О с и п . То есть как искалечить?

Венгерович 1. Не убить, а искалечить... Убивать людей не следует... Для чего их убивать? Убийство — это вещь такая, что... Искалечить, то есть побить так, чтобы всю жизнь помнил...

О с и п . Это могу-с...

Венгерович 1. Поломай ему что-нибудь, на лице уродство сделай... Что возьмешь? Тссс... Кто-то идет... Отойдем немного далее...

Идут в глубину сцены... Из дома выходят Платонов
и Грекова.

ЯВЛЕНИЕ IX

Венгерович 1 и Осип (в глубине сцены), Платонов
и Грекова.

Платонов (смеется). Что, что? Как? (Хохочет.) Как? Я не расслышал...

Грекова. Не расслышали? Что ж? Я могу повторить... Я даже еще резче выразусь... Вы не обидитесь, разумеется... Вы так привыкли к разного рода резкостям, что мои слова едва ли будут вам в диковинку...

Платонов. Говорите, говорите, красавица!

Грекова. Я не красавица. Кто считает меня красавицей, тот не имеет вкуса... Откровенно — ведь я некрасива? Как на ваш взгляд?

Платонов. После скажу. Говорите вы теперь!

Грекова. Так слушайте же... Вы или необыкновенный человек, или же... негодяй, кто-нибудь из двух.

Платонов хохочет.

Смеетесь... Впрочем, смешно... *(Хохочет.)*

Платонов *(хохочет)*. Она это сказала! Ай да дуручка! Скажите, пожалуйста! *(Берет ее за талию.)*

Грекова *(садится)*. Позвольте однако ж...

Платонов. И она туда же, куда и люди! Философствует, химией занимается и какие изречения откальвает! Поди ты с ней, с презренной! *(Целует ее.)* Хорошенькая, оригинальная бестия...

Грекова. Позвольте же... Что же это? Я... я не говорила... *(Встает и опять садится.)* Зачем вы меня целуете? Я вовсе...

Платонов. Сказала и удивила! Дай, мол, скажу и поражу! Пусть увидит, какая я умная! *(Целует ее.)* Растерялась... растерялась... Глупо смотрит... Ах, ах...

Грекова. Вы... Вы меня любите? Да?.. Да?

Платонов *(пищит)*. А ты меня любишь?

Грекова. Если... если... то... да... *(Плачет.)* Любишь? Иначе бы ты не делал так... Любишь?

Платонов. Ни капельки, моя прелесть! Не люблю дурачков, грешный человек! Люблю одну дуру, да и то от нечего делать... О! Побледнела! Глазами засверкала! Знай, мол, наших!..

Грекова *(поднимается)*. Издеваетесь, что ли?

Пауза.

Платонов. Чего доброго пощечину влепит...

Грекова. Я горда... Не умею пачкать рук... Я вам сказала, милостивый государь, что вы или необыкновенный человек, или же негодяй, теперь же я вам говорю, что вы необыкновенный негодяй! Презираю вас! *(Идет к дому.)* Не заплачу теперь... Я рада, что наконец-таки узнала, что вы за птица...

Входит Трилецкий.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Трилецкий *(в цилиндре)*.

Трилецкий *(входит)*. Журавли кричат! Откуда это они взялись? *(Смотрит вверх.)* Так рано...

Грекова. Николай Иваныч, если вы уважаете меня... себя хоть сколько-нибудь, то не знайтесь с этим человеком! *(Указывает на Платонова.)*

Трилецкий *(смеется)*. Помилуйте! Это мой почтеннейший родственник!

Грекова. И друг?

Трилецкий. И друг.

Грекова. Не завидую вам. И ему тоже, кажется... не завидую. Вы добрый человек, но... этот шуточный тон... Бывает время, когда тошнит от

ваших шуток... Я не хочу вас обидеть этим, но... я оскорблена, а вы... шутите! *(Плачет.)* Я оскорблена... Но, впрочем, я не заплачу... Я горда. Знайтесь с этим человеком, любите его, поклоняйтесь его уму, бойтесь... Вам всем кажется, что он на Гамлета похож... Ну и любуйтесь им! Дела мне нет... Не нужно мне от вас ничего... Шутите с ним, сколько вам угодно, с этим... негодяем! *(Уходит в дом.)*

Трилецкий *(после паузы)*. Съел, брат?

Платонов. Ничего я не ел...

Трилецкий. Пора бы, Михаил Васильич, по чести, по совести оставить ее в покое. Стыдно, право... Такой умный и большой человек, а выделываешь черт знает что... Вот и назвали негодяем...

Пауза.

Не могу же я в самом деле разорваться на две половины, чтобы одной половиной уважать тебя, а другой благоволить к девушке, назвавшей тебя негодяем...

Платонов. Не уважай меня, не понадобится это раздвоение.

Трилецкий. Не могу же я не уважать тебя! Ты сам не знаешь, что ты говоришь.

Платонов. Остается, значит, только одно: не благоволить к ней. Не понимаю я тебя, Николай! Что хорошего, умный человек, ты нашел в этой дурочке?

Трилецкий. Гм... Генеральша часто упрекает меня в недостатке джентльменства и указывает мне на тебя, как на образец джентльменства... А по-моему, этот упрек можно всецело отнести и к тебе, образцу... Все вы, а в особенности ты, кричите на каждом переулке, что я влюблен в нее, смеетесь, дразните, подозреваете, следите...

Платонов. Выражайся ясней...

Трилецкий. Я, кажется, ясно выражаюсь... И в то же время у вас хватает совести величать ее при мне дурочкой, дрянью... Не джентльмен ты! Джентльмены знают, что у влюбленных есть известное самолюбие... Не дура она, братец! Она не дура! Она жертва ненужная, вот что! Бывают минутки, друг мой, когда хочется кого-нибудь ненавидеть, в кого-нибудь вьестся, на ком-нибудь выместить свою какую-нибудь пакость... Отчего же на ней не попробовать? Она годится! Слаба, безответна, смотрит на тебя так до глупости доверчиво... Понимаю я всё это очень хорошо... *(Встает.)* Пойдем выпьем!

Осип *(Венгеровичу)*. Ежели не отдадите тогда остальных, то на сто украду. Об этом не сомневайтесь!

Венгерович 1 *(Осипу)*. Говори тише! Когда будешь его бить, то не забудь сказать: «благодарный кабатчик!» Тсс... Ступай! *(Идет к дому.)*

Осип уходит.

Трилецкий. Черт возьми, Абрам Абрамыч! *(Венгеровичу.)* Ты, Абрам Абрамыч, не болен?

Венгерович 1. Ничего... Слава богу, здоров.

Трилецкий. Какая жалость! А мне так деньги нужны! Веришь ли? До зарезу, что называется...

Венгерович 1. Следовательно, выходит, доктор, из ваших слов, что вам больные нужны до зарезу? *(Смеется.)*

Трилецкий. Удачно сострил! Хотя тяжело, да зато удачно! Ха-ха-ха и паки ха-ха-ха! Смейся, Платонов! Дай, голубчик, если можешь!

Венгерович 1. Вы мне и так уже много должны, доктор!

Трилецкий. Для чего говорить это? Кто этого не знает? А сколько я тебе должен?

Венгерович 1. Около... Ну да... Двести сорок пять рублей, кажется.

Трилецкий. Дай, великий человек! Одолжи, и я одолжу тебя когда-нибудь! Будь столь добр, великодушен и храбр! Самый храбрый из евреев тот, кто дает займы без расписки! Будь самым храбрым евреем!

Венгерович 1. Гм... евреем... Всё евреи да евреи... Уверяю вас, господа, что во всю жизнь мою я не видел ни одного русского, который давал бы деньги без расписки, и уверяю вас, что нигде не практикуется в таких больших размерах давание денег без расписки, как среди нечестного еврейства!.. Пусть отнимет у меня бог мою жизнь, если я лгу! *(Вздыхает.)* Многому, очень многому можно с успехом и с пользой поучиться вам, молодые люди, у нас, евреев, а в особенности у стариков евреев... Очень многому... *(Вынимает из кармана бумажник.)* Вам занимаешь деньги с охотой, с удовольствием, а вы... смеяться, пошутить любите... Нехорошо, господа! Я старик... У меня есть дети... Считаю подлецом, но обходись по-человечески... На то вы и в университете учились...

Трилецкий. Ты хорошо говоришь, Абрам Абрамыч!

Венгерович 1. Нехорошо, господа, дурно... Можно подумать, что между вами, развитыми людьми, и моими приказчиками нет никакой разницы... И тыкать вам никто не позволил... Сколько вам? Очень дурно, молодые люди... Сколько вам?

Трилецкий. Сколько дашь...

Пауза.

Венгерович 1. Я вам дам... Я вам могу дать... пятьдесят рублей... *(Дает деньги.)*

Трилецкий. Роскошно! *(Берет деньги.)* Велик!

Венгерович 1. На вас, доктор, моя шляпа!

Трилецкий. Твоя? Гм... *(Снимает шляпу.)* На, возьми... Отчего ты не отдашь его почистить? Ведь дешево возьмут! Как по-еврейски цилиндр?

Венгерович 1. Как угодно. *(Надевает шляпу.)*

Трилецкий. А тебе идет цилиндр, к лицу. Барон, совсем барон! Отчего ты не купишь себе баронства?

Венгерович 1. Ничего я не знаю! Оставьте меня, пожалуйста!

Трилецкий. Ты велик! Отчего это тебя понять не хотят?

Венгерович 1. Отчего не хотят оставить в покое, Скажите лучше! (*Уходит в дом.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Платонов и Трилецкий.

Платонов. Для чего ты взял у него эти деньги?

Трилецкий. Да так... (*Садится.*)

Платонов. Как это: да так?

Трилецкий. Взял да и шабаш! А тебе его жалко, что ли?

Платонов. Не в том дело, братец!

Трилецкий. В чем же?

Платонов. Не знаешь?

Трилецкий. Не знаю.

Платонов. Врешь, знаешь!

Пауза.

Великою любовью воспылал бы я к тебе, душа моя, если бы ты хоть недельку, хоть денек пожил по каким-нибудь правилам, хоть бы самым мизерным! Для таких субъектов, как ты, правила необходимы, как хлеб насущный...

Пауза.

Трилецкий. Ничего не знаю... Не нам, брат, с тобой переделывать плоть нашу! Не нам сломать ее... Знал я это, когда еще с тобой в гимназии полатыни единицы получал... Не будем же болтать попусту... Да прильпнут гортани к языкам!

Пауза.

Смотрел я третьего дня, братец ты мой, у одной своей дамочки портреты «Современных деятелей» и читал их биографии. И что же ты думаешь, любезный? Ведь нет нас с тобой среди них, нет! Не нашел, как ни бился! Lasciate, Михаил Васильич, ogni speranza!! — говорят итальянцы. Не нашел я ни тебя, ни себя среди современных деятелей и — вообрази! Я спокоен! Вот Софья Егоровна так не того... не спокойна...

Платонов. При чем же тут Софья Егоровна?

Трилецкий. Обижается, что ее между «Современными деятелями» нет... Воображает, что стоит ей только мизинцем шевельнуть — и земной шар рот разинет, человечество от радости шапку потеряет... Воображает... Гм... Ни в одном умном романе ты не найдешь столько белиберды, сколько в ней... А в сущности гроша медного не стоит. Лед! Камень! Статуя! Так и хочется подойти к ней и соскоблить с ее носа капельку гипса... А чуть что... сейчас истерика, глас и вздыхания... Силенок ни на грош... Умная кукла... На меня с презрением смотрит, шалопаем считает... А чем ее Сереженька лучше нас с тобой? Чем?

Тем только и хорош, что водки не пьет, возвышенно мыслит и без зазрения совести величает себя человеком будущего. Впрочем, не судите, не судимы будете... *(Встает.)* Пойдем выпьем!

Платонов. Не пойду. Мне там душно.

Трилецкий. Пойду сам. *(Потягивается.)* Кстати, что означают на вензеле эти Слово и Веди? Софью ли Войницеву или Сергея Войничева? Кого хотел уважить этими литерами наш филолог, себя или свою супругу?

Платонов. Мне сдается, что эти литеры означают: «Слава Венгеровичу!» На его деньги кутим.

Трилецкий. Да... Что это с генеральшей сегодня делается? Хохоchet, стонет, лезет целоваться... Точно влюблена...

Платонов. В кого ей тут влюбиться? В самое себя разве? Ты не верь в ее смех. Нельзя верить в смех той умной женщины, которая никогда не плачет: она хохоchet тогда, когда ей плакать хочется. А нашей генеральше не плакать, а застрелиться хочется... Это и по глазам ее видно...

Трилецкий. Женщины не стреляются, а травятся... Но не будем философствовать... Когда я философствую, я жестоко вру... Славная бабенка наша генеральша! Я вообще ужасно скверно мыслю, когда смотрю на женщину, но это единственная женщина, от которой отскакивают все мои лютые помыслы, как горох от стены. Единственная... Когда я гляжу на ее реальное лицо, я начинаю верить в платоническую любовь. Идешь?

Платонов. Нет.

Трилецкий. Пойду сам... С попом выпью... *(Идет и сталкивается у двери с Глагольевым 2.)* Ах! Ваше сиятельство, самоделковый граф! Нате вам три рубля! *(Сует ему в руку три рубля и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII

Платонов и Глагольев 2.

Глагольев 2. Странная личность! Ни с того ни с сего: нате вам три рубля! *(Кричит.)* Я сам могу вам дать три рубля! Гм... Какой идиот! *(Платонову.)* Он ужасно поражает меня своею глупостью. *(Смеется.)* Глуп до безобразия!

Платонов. Что же вы, танцор, не танцуете?

Глагольев 2. Танцевать? Здесь? С кем, позвольте спросить? *(Садится рядом.)*

Платонов. Уж будто бы и не с кем?

Глагольев 2. Одни только типы! Все типы, на кого ни посмотришь! Какие-то рожи, орлиные носы, жеманство... А дамы? *(Хохоchet.)* Черт знает что! При такой публике я всегда предпочитаю танцам буфет.

Пауза.

Какой в России, однако же, воздух несвежий! Какой-то промозглый, душный... Терпеть не могу России!.. Невежество, вонь... Бррр... То ли дело... Вы были хоть раз в Париже?

Платонов. Не был.

Глагольев 2. Жаль. Впрочем, успеете еще побывать. Когда будете ехать туда, то скажете мне. Я вам открою все тайны Парижа. Я дам вам триста рекомендательных писем, и триста шикажнейших французских кокоток в вашем распоряжении...

Платонов. Благодарю вас, я сыт. Скажите мне, правду ли говорят, что ваш отец хочет купить Платоновку?

Глагольев 2. Право, не знаю. Я далеко держу себя от коммерции... А вы заметили, как *mon père*¹ ухаживает за вашей генеральшей? (*Хохочет.*) Вот еще тоже тип! Этот старый барсук хочет жениться! Глуп, как тетерев! А ваша генеральша *charmante*²! Совсем недурна!

Пауза.

Она такая душка, такая душка... А формы?! Фи, фи! (*Бьет Платонова по плечу.*) Счастливчик! Она затягивается? Сильно затягивается?

Платонов. Не знаю... Я не присутствую при ее туалете...

Глагольев 2. А мне говорили... Разве вы не...

Платонов. Вы, граф, идиот!

Глагольев 2. Но я пошутил... Зачем сердиться? Какой вы, право, чудак! (*Тихо.*) А правду ли говорят, что она... Немножко щекотливый вопрос, но между нами, я полагаю... Правду ли говорят, что она иногда любит деньги до положения риз?

Платонов. Об этом спросите у нее самой. Я не знаю.

Глагольев 2. Спросить у нее самой? (*Хохочет.*) Что за идея?! Платонов! Что вы говорите?!

Платонов (*садится на другую скамью*). Какой же вы мастер надоедать!

Глагольев 2 (*хохочет*). А что если на самом-таки деле спросить? Впрочем, почему же и не спросить?

Платонов. Разумеется... (*В сторону.*) Спроси только... Она отобьет тебе твои глупые щеки! (*Ему.*) Спросите!

Глагольев 2 (*вскакивает*). Клянусь, что это великая идея!.. Миллион чертей! Я спрошу, Платонов, и даю вам честное слово, что она моя! У меня предчувствие есть! Сейчас же спрошу! Держу пари, что она моя! (*Бежит к дому и у двери сталкивается с Анной Петровной и Трилецким.*) *Mille pardons*¹, *madame*! (*Расшаркивается и уходит.*)

Платонов садится на старое место.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Платонов, Анна Петровна и Трилецкий.

Трилецкий *(на крыльце)*. Вон он сидит, наш великий мудрец и философ! Сидит настороже и с нетерпением ожидает добычи: кому бы нотацию прочесть на сон грядущий?

Анна Петровна. Не клюет, Михаил Васильич!

Трилецкий. Плохо! Не клюется что-то сегодня! Бедный моралист! Жалею тебя, Платонов! Однако же я пьян и... однако же меня там дьякон ждет! Прощайте! *(Уходит.)*

Анна Петровна *(идет к Платонову)*. Что вы тут сидите?

Платонов. В комнатах душно, и это хорошее небо лучше вашего побеленного бабами потолка!

Анна Петровна *(садится)*. Прелесть, что за погода! Чистый воздух, прохлада, звездное небо и луна! Жалею, что барыням нельзя спать на дворе под небом. Когда я была девочкой, я всегда летом ночевала в саду.

Пауза.

А у вас галстух новый?

Платонов. Новый.

Пауза.

Анна Петровна. Я сегодня в каком-то особенном настроении... Мне сегодня всё нравится... Гуляю! Ну да говорите же что-нибудь, Платонов! Чего вы молчите? Я для того и явилась сюда, чтобы вы говорили... Экой вы!

Платонов. Что вам говорить?

Анна Петровна. Скажите мне что-нибудь новенькое, хорошенькое, кисленькое... Вы сегодня такой умненький, такой хорошенький... Право, мне кажется, что я сегодня влюблена в вас более, чем когда-либо... Душка вы такой сегодня! И бунтуете мало!

Платонов. И вы сегодня такая красавица... Впрочем, вы всегда красавица!

Анна Петровна. Мы с вами друзья, Платонов?

Платонов. По всей вероятности... Пожалуй, что друзья... Что же другое можно назвать дружбой?

Анна Петровна. Во всяком случае друзья? а?

Платонов. Полагаю, что большие... Я к вам сильно привык и привязан... Много нужно времени, чтобы отучить меня от вас...

Анна Петровна. Большие друзья?

Платонов. Для чего эти вопросы? Бросьте их, матушка! Друзья... друзья... Точно дева старая...

Анна Петровна. Хорошо... Мы друзья, а знаете ли, что от дружбы между мужчиной и женщиной до любви единый только шаг, милостивый государь? *(Смеется.)*

Платонов. Вот как! *(Смеется.)* К чему вы это говорите? Ну да мы с вами не дошагаемся до чертиков, как бы широко ни шагали...

Анна Петровна. Любовь — чертики... Сравнил! Не слышит тебя твоя жена! Pardon, я на вас тыкнула... Ей-богу, Мишель, нечаянно! А почему же нам и не дошагаться? Разве мы не люди, что ли? Любовь вещь хорошая... Чего же краснеть-то?

Платонов *(смотрит на нее пристально)*. Вы, я вижу, или шутите мило, или же хотите... договориться до чего-то... Пойдемте-ка вальс танцевать!

Анна Петровна. Не умеете вы танцевать!

Пауза.

Надо с вами поговорить как следует... Пора... *(Оглядывается.)* Потрудитесь, mon cher!, слушать и не философствовать!

Платонов. Пойдемте плясать, Анна Петровна!

Анна Петровна. Сядемте подальше... Идите сюда! *(Садятся на другую скамью.)* Вот только не знаю, с чего начать... Вы такой неповоротливый и лживый человечина...

Платонов. Не начать ли мне, Анна Петровна?

Анна Петровна. Ведь вы околесную понесете, Платонов, когда начнете! Скажите, пожалуйста! Он сконфузился! Поверю — держи карман! *(Бьет Платонова по плечу.)* Шутник Миша! Ну говорите же, говорите... Покороче только...

Платонов. Я буду короток... Вот что я вам хочу сказать: для чего?

Пауза.

Честное слово, не стоит, Анна Петровна!

Анна Петровна. Почему же? Да вы послушайте... Вы меня не понимаете... Будь вы свободны, я, недолго думая, сделалась бы вашей женой, отдала бы вам в вечное владение мое превосходительство, но теперь... Ну? Молчание знак согласия? Так, что ли?

Пауза.

Послушайте, Платонов, в данном случае неприлично молчать!

Платонов *(вскакивает)*. Забудем этот разговор, Анна Петровна! Давайте, бога ради, сделаем так, как будто бы его вовсе и не было! Не было его!

Анна Петровна *(пожимает плечами)*. Странный человек! Почему же?

Платонов. Потому что я уважаю вас! Я так уважаю в себе это уважение к вам, что расстаться с ним для меня будет тяжелее, чем провалиться сквозь землю! Друг мой, я свободный человек, я не прочь приятно провести время, я не враг связей с женщинами, не враг даже благородных интрижек, но... с вами заводить мелкую интрижку, вас делать предметом своих праздных помыслов, вас, умную, прекрасную, свободную женщину?! Нет! Это уж слишком! Лучше прогоните меня от себя за тридевять земель! Пожить глупо месяц, другой, а там... краснея разойтись?!

Анна Петровна. Речь идет о любви!

Платонов. А разве я не люблю вас? Я люблю вас добрую, умную, милосердную... Я люблю вас отчаянно, бешено! Жизнь свою я отдам за вас, если вы захотите! Люблю как женщину — человека! Неужели же всякая любовь должна подтасовываться под известный род любви? Моя любовь для меня в тысячу раз дороже той, которая взбрела вам на ум!..

Анна Петровна *(встает)*. Ступай, милый, проспись! Проспишься, тогда и поговорим... .

Платонов. Забудем этот разговор... *(Целует руку.)* Будем друзьями, но не будем шалить друг другом: мы стоим по отношению друг к другу лучшей участи!.. И к тому же я все-таки... хоть немножко, да женат! Оставим этот разговор! Да будет всё по-старому!

Анна Петровна. Ступай, милый, ступай! Женат... Ведь меня любишь? Зачем же тут про жену толковать? Марш! После поговорим, часика через два... . Теперь ты находишься в припадке лжи... .

Платонов. Лгать я вам не умею... *(Тихо ей на ухо.)* Если бы я умел тебе лгать, то давно уже я был бы твоим любовником... .

Анна Петровна *(резко)*. Убирайтесь!

Платонов. Врете, не сердитесь... Это вы так только... *(Уходит в дом.)*

Анна Петровна. Чудак человек! *(Садится.)* Сам не понимает, что говорит... . Всякую любовь подтасовывать под известный род любви... . Чепуха какая! Точно любовь писателя к писательнице... .

Пауза.

Невыносимый человек! Этак мы до страшного суда с тобой, друг милый, проболтаем! Не взяла честью, силой возьму... . Сегодня же! Пора уже обоим выйти из этого глупого выжидательного положения... . Надоело... . Возьму силой... . Это кто идет? Глагольев... . меня ищет... .

Входит Глагольев 1.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Анна Петровна и Глагольев 1.

Глагольев 1. Скучно! Говорят эти люди о том, что я годы тому назад слышал; думают то, о чем я в детстве думал... . Всё старо, ничего нового... . Поговорю с ней и уеду.

Анна Петровна. О чем это вы бормочете, Порфирий Семеныч? Можно узнать?

Глагольев 1. Вы здесь? *(Идет к ней.)* Я браню себя за то, что я здесь лишний... .

Анна Петровна. Не потому ли, что на нас не похожи? Полноте! Мирятся люди с тараканами, помиритесь и вы с нашими людьми! Подсаживайтесь-ка, потолкуем!

Глагольев 1 *(садится рядом)*. Я вас искал, Анна Петровна! Мне нужно с вами поговорить кое о чем... .

Анна Петровна. И давайте говорить...

Глагольев 1. Мне хотелось бы с вами поговорить... Мне хочется узнать ответ моему... письму...

Анна Петровна. Гм... На что я вам сдалась, Порфирий Семеныч?

Глагольев 1. Я, знаете ли, отрешаюсь... от прав мужа... Не до прав мне! Мне нужен друг, умная хозяйка... У меня есть рай, но нет в нем... ангелов.

Анна Петровна (*в сторону*). Что ни слово — то сахару кусок! (*Ему*.) Часто я задаю себе вопрос, что я буду в раю делать, я — человек, а не ангел, если попаду в него?

Глагольев 1. Можете ли вы знать, что вы будете делать в раю, если не знаете, что будете делать завтра? Хороший человек везде найдет себе работу, и на земле, и на небе...

Анна Петровна. Всё это прекрасно, но будет ли мое житье у вас стоить того, что я за него буду получать? Немножко странно, Порфирий Семеныч! Извините меня, Порфирий Семеныч, но мне ваше предложение кажется очень странным... Для чего вам жениться? Для чего вам сдался друг в юбке? Не мое дело, извините... но уж на то пошло, договорю. Будь я в ваших летах, имей я столько денег, ума и правды, сколько вы имеете, я ничего не искала бы на этом свете, кроме общего блага... то есть, как бы так выразиться, я ничего не искала бы, кроме удовлетворения любви к ближним...

Глагольев 1. Не умею я биться за благополучие людей... Для этого нужны воля железная и уменье, а их-то и не дал мне бог! Я родился для того только, чтобы любить великие дела и наделать массу грошовых, ничего не стоящих... Только любить! Пойдемте ко мне!

Анна Петровна. Нет. Не говорите больше ни слова об этом... Не придавайте моему отказу жизненного значения... Суета, мой друг! Если бы мы владели всем тем, что мы любим, то у нас не хватило бы места... для наших владений... Значит, не совсем неумно и нелюбезно поступают, когда отказывают... (*Хохочет*.) Вот вам и философия на закуску! Что это за шум? Слышите? Бьюсь об заклад, что это Платонов бунтует... Что за характер!

Входят Грекова и Трилецкий.

ЯВЛЕНИЕ XV

Анна Петровна, Глагольев 1, Грекова
и Трилецкий.

Грекова (*входя*). Это выше всяких оскорблений! (*Плачет*.) Выше! Молчать могут, видя это, одни только испорченные люди!

Трилецкий. Верю, верю, но при чем же я тут? Я-то тут при чем? Не иди же мне на него с дубиной, согласитесь сами!

Грекова. Должны были идти с дубиной, если не имеете других средств! Отойдите от меня! Я, я, женщина, не молчала бы, если бы при мне оскорбляли вас так низко, так бесстыдно и незаслуженно!

Трилецкий. Но ведь я же того... Рассуждайте умно!.. Чем виноват я?..

Грекова. Вы трус, вот кто вы! Ступайте от меня прочь к вашему отвратительному буфету! Прощайте! Не трудитесь ездить ко мне больше! Не нужны мы друг другу... Прощайте!

Трилецкий. Прощайте, сделайте милость, прощайте! Надоело всё это, опротивело без конца! Слезы, слезы... А, боже мой! У меня у самого в голове вертеж... соenurus cerebrealis! Э-э-э... *(Машет рукой и уходит.)*

Грекова. Coenurus cerebrealis... *(Идет.)* Оскорбил... За что? Что я сделала?

Анна Петровна *(подходит к ней)*. Марья Ефимовна... Не держу вас... Я сама бы ушла отсюда на вашем месте... *(Целует ее.)* Не плачьте, моя дорогая... Большая часть женщин создана для того, чтобы сносить всякие гадости от мужчин...

Грекова. Только не я... Я его... уволю! Он не будет здесь учителем! Он не имеет права быть учителем! Завтра же поеду к директору народных училищ...

Анна Петровна. Полноте... На днях я побываю у вас, и мы вместе осудим Платонова, а пока успокойтесь... Перестаньте плакать... Вы будете удовлетворены... На Трилецкого же вы не сердитесь, моя дорогая... Он не заступился за вас потому, что он слишком добр и мягок, а такие люди не в состоянии заступаться... Что он вам сделал?

Грекова. Он при всех поцеловал... назвал дурой и... и... пхнул на стол... Не думайте, что это пройдет ему безнаказанно! Или он сумасшедший, или же... Я покажу ему! *(Уходит.)*

Анна Петровна *(ей вслед)*. Прощайте! Скоро увидимся! *(Якову.)* Яков! Подать экипаж Марье Ефимовне! Ах, Платонов, Платонов... Добуянится он когда-нибудь до беды...

Глагольев 1. Прекрасная девушка! Не влюбил ее наш добрейший Михаил Васильич... Обижает...

Анна Петровна. Ни за что! Сегодня обижает, а завтра извиняется... Барская струнка!

Входит Глагольев 2.

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Глагольев 2.

Глагольев 2 *(в сторону)*. С ней! Опять с ней! Это, наконец, уж черт знает что такое? *(Смотрит в упор на отца.)*

Глагольев 1 *(после паузы)*. Что тебе?

Глагольев 2. Ты здесь сидишь, а тебя там ищут! Иди, тебя там зовут!

Глагольев 1. Кто меня там зовет?

Глагольев 2. Люди!

Глагольев 1. Знаю, что люди... *(Встает.)* Как хотите, а я не отстану от вас, Анна Петровна! Авось другое заговорите, когда поймете меня! Увидимся... *(Уходит в дом.)*

ЯВЛЕНИЕ XVII

Анна Петровна и Глагольев 2.

Глагольев 2 *(садится рядом)*. Старый барсук! Осел! Его никто не зовет! Это я надул его!

Анна Петровна. Когда вы поумнеете, вы сильно ругнете себя за отца!

Глагольев 2. Шутите... Вот зачем я сюда пришел... Два слова... Да или нет?

Анна Петровна. То есть?

Глагольев 2 *(смеется)*. Будто бы не понимаете? Да или нет?

Анна Петровна. Решительно не понимаю!

Глагольев 2. Сейчас поймете... При помощи злата всё понимается... Если «да», то не угодно ли вам будет, генералиссимус души моей, залезть ко мне в карман и вытащить оттуда мой бумажник с папашиними деньгами?.. *(Подставляет боковой карман.)*

Анна Петровна. Откровенно... Да ведь за такие речи умным людям пощечины дают!

Глагольев 2. От приятной дамы приятно и пощечину получить... Сперва пощечину даст, а потом немного погодя и «да» скажет...

Анна Петровна *(встает)*. Берите вашу шапку и убирайтесь отсюда сию же секунду!

Глагольев 2 *(встает)*. Куда?

Анна Петровна. Куда угодно! Убираться и не смей показываться сюда!

Глагольев 2. Фи... Для чего же сердиться? Я не уйду, Анна Петровна!

Анна Петровна. Ну так я прикажу вас вывести! *(Уходит в дом.)*

Глагольев 2. Какая вы сердитая! Я ведь ничего не сказал такого, особенного... Что же я сказал? Сердиться не нужно... *(Уходит за ней.)*

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Платонов и Софья Егоровна выходят из дома.

Платонов. В школе я и доселе пребываю в качестве занимающего не свое место, а место учителя... Вот что было после того, как мы расстались!.. *(Садятся.)* Не говорю про людей, что я сделал лично для себя? Что я в себе посеял, что взлелеял, что возрастил?.. А теперь! Эх! Страшное безобразие... Возмутительно! Зло кишит вокруг меня, пачкает землю, глотает моих братьев во Христе и по родине, я же сижу, сложив руки, как после тяжелой работы; сижу, гляжу, молчу... Мне двадцать семь лет, тридцати лет я буду

таким же — не предвижу перемены! — там дальше жирное халатничество, отупение, полное равнодушие ко всему тому, что не плоть, а там смерть!! Пропала жизнь! Волосы становятся дыбом на моей голове, когда я думаю об этой смерти!

Пауза.

Как подняться, Софья Егоровна?

Пауза.

Вы молчите, не знаете... Да и знать ли вам? Софья Егоровна, не жалко мне себя! Черт с ним, с этим мной! Но что с вами поделалось? Где ваша чистая душа, ваша искренность, правдивость, ваша смелость? Где ваше здоровье? Куда вы дели его? Софья Егоровна! Проводить целые годы в безделье, мозолить чужие руки, любоваться чужими страданиями и в то же время уметь прямо глядеть в глаза — это разврат!

Софья Егоровна встает.

(Сажает ее.) Это последнее слово, стойте! Что сделало вас жеманной, ленивицей, фразеркой? Кто научил вас лгать? А какой вы были прежде! Позвольте! Я сейчас отпущу вас! Дайте договорить! Как вы были хороши, Софья Егоровна, как велики! Голубушка, Софья Егоровна, может быть, вам еще можно подняться, не поздно! Подумайте! Соберите все ваши силы и поднимайтесь ради самого бога! *(Хватает ее за руку.)* Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего общего прошлого, что заставило вас выйти замуж за этого человека? Чем прельстило вас это замужество?

Софья Егоровна. Он прекрасный человек...

Платонов. Не говорите того, во что вы не верите!

Софья Егоровна *(встает)*. Он мой муж, и я просила бы вас...

Платонов. Будь он чем ему угодно, а я скажу правду! Сядьте! *(Сажает ее)*. Отчего вы не выбрали себе труженика, страдальца? Отчего не взяли себе в мужа кого-нибудь другого, а не этого пигмея, погрязшего в долгах и безделье?..

Софья Егоровна. Оставьте! Не кричите! Идут...

Проходят гости.

Платонов. Черт с ними! Пусть все слышат! *(Тихо.)* Извините меня за резкость... Но ведь я любил вас! Я любил вас больше всего на свете, а потому вы и теперь мне дороги... Я так любил эти волосы, эти руки, это лицо... Для чего вы пудритесь, Софья Егоровна? Бросьте! Эх! Попадись вы другому человеку, вы скоро бы поднялись, а здесь вы еще больше погрязнете! Бедная... Будь у меня, несчастного, силы, вырвал бы я с корнем и себя и вас из этого болота...

Пауза.

Жизнь! Отчего мы живем не так, как могли бы?!

Софья Егоровна *(встает и закрывает руками лицо)*. Оставьте меня!

В доме шум.

Отойдите! *(Идет к дому.)*

Платонов *(идет за ней)*. Отнимите от лица руки! Вот так! Вы не уедете? Ведь нет? Будемте друзьями, Софи! Ведь не уедете? Мы будем еще беседовать? Да?

В доме усиленный шум и беганье по лестнице.

Софья Егоровна. Да.

Платонов. Будемте друзьями, моя дорогая... Зачем нам быть врагами? Позвольте... Еще пару слов...

Выбегает из дома Войницев и за ним гости.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же, Войницев с гостями, потом Анна Петровна и Трилецкий.

Войницев *(вбегая)*. Ах... Вот они, самые главные! Идем фейерверки зажигать! *(Кричит.)* Яков, к реке марш! *(Софье Егоровне.)* Не передумала, Софи?

Платонов. Не уедет, здесь останется...

Войницев. Да? В таком случае ура! Руку, Михаил Васильич! *(Пожимает Платонову руку.)* Я всегда верил в твое красноречие! Идем огни зажигать! *(Идет с гостями в глубину сада.)*

Платонов *(после паузы)*. Да, такие-то дела, Софья Егоровна... Гм...

Голос Войницева. Маман, где вы? Платонов!

Пауза.

Платонов. Пойду-ка, черт возьми, и я... *(Кричит.)* Сергей Павлович, подожди, не зажигай без меня! Пошли, братец, Якова ко мне за шаром! *(Убегает в сад.)*

Анна Петровна *(выбегает из дома)*. Подождите! Сергей, подожди, еще не все сошлись! Стреляйте пока из пушки! *(Софье.)* Идите, Софи! Чего приуныли?

Голос Платонова. Сюда, барынька! Затянем старую песню, не начиная новой!

Анна Петровна. Иду, моншер! *(Убегает.)*

Голос Платонова. Кто со мной в лодку? Софья Егоровна, не хотите ли со мной на реку?

Софья Егоровна. Идти или не идти? *(Думает.)*

Трилецкий *(входит)*. Эй! Где вы? *(Поет.)* Иду, иду! *(Смотрит в упор на Софью Егоровну.)*

Софья Егоровна. Что вам нужно?

Трилецкий. Ничего-с...

Софья Егоровна. Ну так и отойдите! Я не расположена сегодня ни беседовать, ни слушать...

Трилецкий. Знаю, знаю...

Пауза.

Мне ужасно почему-то хочется провести пальцем по вашему лбу: из чего он у вас сделан? Ужасно хочется!.. Не для того, чтобы оскорбить вас, а так... для контенансу...

Софья Егоровна. Шут! *(Отворачивается.)* Не комик, а шут, паяц!

Трилецкий. Да... Шут... За шутовство я и харчи получаю от генеральши... Ну да-с... И деньги карманные... А когда надоем, меня с позором выгонят из этих мест. Ведь верно говорю-с? Впрочем, это не я один говорю... Это говорили и вы, когда изволили гостить у Глагольева, этого масона нашего времени...

Софья Егоровна. Хорошо, хорошо... Очень рада, что вам передали... Теперь вы знаете, значит, что я умею отличать шутов от остроумных людей! Будь вы актером, вы были бы фаворитом райка, но партер шикал бы вам... Я вам шикаю.

Трилецкий. Острота удачна до сверхъестественности... Похвально... Честь имею кланяться! *(Кланяется.)* До приятного свидания! Побеседовал бы еще с вами, но... робею, поражен! *(Идет в глубину сада.)*

Софья Егоровна *(стучит ногой)*. Негодный! Не знает он, какого я о нем мнения! Пустой человечиска!

Голос Платонова. Кто на реку со мной?

Софья Егоровна. Ээ... Чему быть, тому не миновать! *(Кричит.)* Иду! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XX

Глагольев 1 и Глагольев 2 выходят из дома.

Глагольев 1. Лжешь! Лжешь, скверный мальчишка!

Глагольев 2. Что за глупости? С какой стати я буду врать? Спроси ее самое, если не веришь! Как только ты ушел, я вот на этой самой скамье шепнул ей два-три слова, обнял, чмокнул... Попросила сначала три тысячи, ну а я поторговался и сошелся на тысяче! Дай же мне тысячу рублей!

Глагольев 1. Кирилл, дело идет о чести женщины! Не пачкай этой чести, она свята! Замолчи!

Глагольев 2. Клянусь честью! Не веришь? Клянусь всем святым! Дай же тысячу рублей! Я сейчас же поднесу ей эту тысячу...

Глагольев 1. Ужасно... Лжешь ты! Она пошутила с тобой, с глупцом!

Глагольев 2. Но... Обнял ее, тебе говорят! Что же тут удивительного? Все женщины теперь таковы! Не верь их невинности! Знаю я их! А ты еще тоже жениться хотел! *(Хохочет.)*

Глагольев 1. Ради бога, Кирилл! Ты знаешь, что такое значит клевета?

Глагольев 2. Дай тысячу рублей! Я при тебе вручу ей эту тысячу! На этой самой скамье я обнял ее, поцеловал и поторговался... Клянусь! Чего же тебе еще нужно? Для того я и прогнал тебя, чтобы с нею поторговаться! Он не верит, что я умею побеждать женщин! Предложи ей две тысячи, и она твоя! Знаю я женщин, брат!

Глагольев 1 *(вынимает из кармана бумажник и бросает его на землю)*. Возьми!

Глагольев 2 поднимает бумажник и считает деньги.

Голос Войницева. Я начинаю! Матап, стреляйте! Трилецкий, полезай на беседку! Кто это на коробку наступил? Вы!

Голос Трилецкого. Лезу, черт меня подери! *(Хохочет.)* Кто это? Бугрова раздавили! Я Бугрову на голову наступил! Где спички?

Глагольев 2 *(в сторону)*. Я отмщен! *(Кричит.)* Ура-а-а! *(Убегает.)*

Трилецкий. Кто это там орет? Дайте ему по шеям!

Голос Войницева. Начинать?

Глагольев 1 *(хватает себя за голову)*. Боже мой! Разврат! Гной! Я молился ей! Прости ее, господи! *(Садится на скамью и закрывает лицо руками.)*

Голос Войницева. Кто веревочку взял? Матап, как вам не стыдно? Где моя веревочка, что тут лежала?

Голос Анны Петровны. Вот она, ротозей!

Глагольев 1 *(валится со скамьи)*.

Голос Анны Петровны. Вы! Кто вы? Не топчитесь здесь! *(Кричит.)* Дай сюда! Дай сюда!

Убегает Софья Егоровна.

ЯВЛЕНИЕ XXI

Софья Егоровна *(одна)*.

Софья Егоровна *(бледная, с помятой прической)*. Не могу! Это уж слишком, выше сил моих! *(Хватает себя за грудь.)* Гибель моя или... Счастье! Душно здесь!.. Он или погубит, или... вестник новой жизни! Приветствую, благословляю... тебя, новая жизнь! Решено!

Голос Войницева *(кричит)*. Берегись!

Фейерверк.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Лес. Просека. У начала просеки, с левой стороны — школа. По просеке, теряющейся вдаль, тянется полотно железной дороги, которое возле школы поворачивает направо. Ряд телеграфных столбов. Ночь.

ЯВЛЕНИЕ I

С а ш а (*сидит у открытого окна*) и О с и п (*с ружьем через стину, стоит перед окном*).

О с и п. Как это случилось? Очень просто... Иду я по узлеску, недалече отсюда, смотрю, а она стоит в балочке: подсучила платье и лопухом из ручья воду черпает. Зачерпнет да и выпьет, зачерпнет да и выпьет, а потом голову помочит... Я спустился вниз, подошел близко да и гляжу на нее... Она и внимания не обращает: дурак, мол, ты, мужик, мол, зачем же мне на тебя внимание обращать в таком случае? «Сударыня, говорю, ваше превосходительство, попить холодной водицы, знать, захотели?» — «А тебе, говорит, какое дело? Ступай отсюда туда, откуда пришел!» Сказала и не смотрит... Я обробел... Меня и стыд взял, и обидно стало, что я из мужицкого звания... «Чего смотришь на меня, дуралей? Не видал, говорит, никогда людей, что ли?» И посмотрела на меня проницательно... «Аль, говорит, понравилась?» — «Страсть, говорю, понравились! Уж такая вы, ваше превосходительство, благородная, чувствительная особа, такая красавица... Красивей вас, говорю, отродясь не видал... Наша деревенская красавица Манька, сотского дочка, говорю, супротив вас лошадь, верблюды... Нежности в вас сколько! Поцеловал бы кажись, говорю, да и помер бы на этом самом месте!» Она засмеялась... «Что ж, говорит. Целуй, коли хочешь!» Меня после этих самых слов в жар бросило. Подошел я к ней, взял ее тихонько за плечико и поцеловал со всего размаху вот тут, в это самое место, в щечку и в шейку зараз...

С а ш а (*хохочет*). Она же что?

О с и п. «Ну теперь, говорит, проваливай! Умывайся, говорит, почаще да ногти себе не запускай!» Я и отошел.

С а ш а. Какая она смелая! (*Подает Осипу тарелку щей*.) На, кушай! Присядь где-нибудь!

О с и п. Не велик барин, и постою... Очень вам благодарен за ваше дружелюбие, Александра Ивановна! Я вам когда-нибудь за ваши ласки одолжение сделаю...

С а ш а. Сними шапку... В шапке грешно есть. Ты с молитвой кушай!

О с и п (*снимает шапку*). Давно уж я этих святостей не соблюдал... (*Ест*.) И с той поры я как будто очумел... Верите ли? Не ем, не сплю... Всё она у меня перед глазами... Закрою, бывало, глаза, а она перед глазами... Такую нежность на себя напустил, что хоть вешайся! Чуть было не утопился от тоски, генерала хотел подстрелить... А когда овдовела, начал я всякие поручения исполнять... Куропаток ей стрелял, перепелов ловил, беседочку ей разноцветными красками выкрасил... Волка ей однажды живого привел... Всякое удовольствие ей доставлял... Бывало, что ни прикажет, всё исполняю... Приказала бы самого себя слопать, себя бы слопал... Нежные чувства... Ничего с ними не поделаешь...

С а ш а . Да . . . Я когда полюбила Михаила Васильича и не знала еще, что он меня любит, тоже ужасно тосковала . . . Несколько раз у бога, грешница, смерти даже просила . . .

О с и п . Вот видите-с . . . Чувства такие . . . *(Выпивает из тарелки.)* Не пожалуете ли еще щец? *(Подает тарелку.)*

С а ш а *(уходит и через полминуты появляется у окна с кастрюлькой)*. Щей нет, а вот не хочешь ли картофеля? Жареная на гусином жиру . . .

О с и п . Мерси . . . *(Берет кастрюльку и ест.)* Страсть, как наелся! И вот этак ходил я, ходил, как очумелый . . . Я все про то же, Александра Ивановна . . . Ходил, ходил . . . Приношу ей в прошлом году после Святой зайчика . . . «Вот извольте, говорю, ваше превосходительство . . . Косого зверинца вам принес!» Она взяла его на руки, погладила да и спрашивает меня: «Правду ли говорят, Осип, что ты разбойник?» — «Истинная, говорю, правда. Не станут люди понапрасну говорить . . .» Взял и рассказал ей всё . . . — «Надо, говорит, тебя исправить. Ступай, говорит, пешком в Киев. Из Киева ступай в Москву, из Москвы в Троицкую Лавру, из Троицкой Лавры в Новый Иерусалим, а оттуда домой. Сходи и через год ты другой человек будешь». Напустил я на себя убожество, надел сумочку и пошел в Киев . . . Не тут-то было! Исправился, да не совсем . . . Славная картошка! Связался под Харьковом с почтенной компанией, пропил денежки, подрался и воротился назад. И пачпорт даже потерял . . .

Пауза.

Теперь ничего от меня не берет . . . Сердится . . .

С а ш а . Почему ты в церковь не ходишь, Осип?

О с и п . Я пошел бы, да того . . . Народ смеяться станет . . . Ишь, скажет, каяться пришел! Да и ходить около церкви днем страшно. Народу много — убьют.

С а ш а . Ну, а за что ты бедных людей обижаешь?

О с и п . А за что их не обижать? Не вашего ума это дело, Александра Ивановна! Не вам рассуждать о грубостях. Не вам понять. А Михаил Васильич никого не обижает?

С а ш а . Никого! Он если и обидит кого-нибудь, то нехотя, нечаянно. Он добрый человек!

О с и п . Я, признаться, его более всех уважаю . . . Генералчонок Сергей Павлыч глупый человек, неумный; братец ваш тоже неумный, хоть и в докторях, ну а в Михаиле Васильиче много умственных способностей! У него есть чин?

С а ш а . А как же? Он коллежский регистратор!

О с и п . Ну?

Пауза.

Молодчина! Так у него и чин есть . . . Гм . . . Молодчина!

Доброты у него только мало... Все у него дураки, все у него холуи... Нешто можно так? Ежели б я был хорошим человеком, то я так бы не делал... Я этих самых холуев, дураков и жуликов ласкал бы... Самый несчастный народ они, заметьте! Их-то и нужно жалеть... Мало в нем доброты, мало... Гордости нет, запанибрата со всяким, а доброты ни-ни... Не вам понять... Покорнейше благодарю! Век бы целый такую картошку ел... *(Подает кастрюльку.)* Благодарю...

С а ш а . Не за что.

О с и п *(вздыхает)*. Славная вы женщина, Александра Ивановна! За что вы меня каждый раз кормите? У вас, Александра Ивановна, есть хоть капелька женской злобы? Благочестивая! *(Смеется.)* В первый раз такую вижу... Святая Александра, моли бога о нас грешных! *(Кланяется.)* Радуйся, святая Александра!

С а ш а . Михаил Васильич идет.

О с и п . Обманываете... Он в настоящий момент с молодой барыней про нежные чувства рассуждает... Красивый он у вас человек! Коли б захотел, так за ним весь женский пол пошел... Краснобай такой... *(Смеется.)* Всё к генеральше ластится... Ну та и нос натрет, не посмотрит, что он красивый... Он хотел бы, может быть, да она...

С а ш а . Ты уж начинаешь лишнее болтать... Я не люблю этого... Иди с богом!

О с и п . Сейчас пойду... Вам давно уже пора спать... Небось мужа поджидаете?

С а ш а . Да...

О с и п . Хорошая жена! Платонов, должно быть, такую жену себе десять годов искал, со свечками да с понятами... Нашел-таки где-то... *(Кланяется.)* Прощайте, Александра Ивановна! Спокойной ночи!

С а ш а *(зевает)*. Ступай с богом!

О с и п . Пойду... *(Идет.)* Пойду к себе домой... Мой дом там, где пол земля, потолок небо, а стены и крыша неизвестно в каком месте... Кого бог проклял, тот и живет в этом доме... Велик он, да негде голову положить... Только и хорош тем, что за него в волость поземельных платить не надо... *(Останавливается.)* Спокойной ночи, Александра Ивановна! В гости пожалуйте! В лес! Спросите Осипа, каждая птица и ящерица. Посмотрите-ка, как пенек светится! Как будто мертвец из гроба встал... А вон другой! Моя мать мне говорила, что под тем пеньком, который светится, грешник зарыт, а светится пень для того, чтоб молились... И надо мной будет пень светиться... Я тоже грешник... А вон и третий! Много же на этом свете грешников! *(Уходит и минуты через две свистит.)*

ЯВЛЕНИЕ II

С а ш а .

С а ш а *(выходит из школы со свечой и книгой)*. Как долго Миши нет... *(Садится.)* Как бы он себе здоровья не испортил... Эти гулянья ничего

не дают, кроме нездоровья... Да и мне уже спать хочется... Где я остановилась? *(Читает.)* «Пора, наконец, снова возвестить о тех великих, вечных идеалах человечества, о тех бессмертных принципах свободы, которые были руководящими звездами наших отцов и которым мы изменили, к несчастью». Что это значит? *(Думает.)* Не понимаю... Отчего это не пишут так, чтоб всем понятно было? Далее... Ммм... Пропущу предисловие... *(Читает.)* «Захер Мазох»... Какая смешная фамилия!.. Мазох... Должно быть, не русский,.. Далее... Миша заставил читать, так надо читать... *(Зевает и читает.)* «Веселым зимним вечером»... Ну, это можно пропустить... Описание... *(Перелистывает и читает.)* «Трудно было решить, кто играл и на каком инструменте... Сильные величавые звуки органа под железной мужской рукой вдруг сменялись нежной флейтой как бы под прелестными женскими устами и наконец замирали...» Тсс... Кто-то идет... *(Пауза.)* Это Мишины шаги... *(Тушит свечу.)* Наконец-то... *(Встает и кричит.)* Ау! Раз, два, раз, два!левой, правой, левой, правой!левой!левой!

Входит Платонов.

ЯВЛЕНИЕ III

Саша и Платонов.

Платонов *(входя)*. Назло тебе: правой! правой! Впрочем, милая моя, ни правой, ни левой! У пьяного нет ни права, ни лева; у него есть вперед, назад, вкось и вниз...

Саша. Пожалуйте сюда, пьяненький, садитесь сюда! Вот я вам покажу, как шагать вкось да вниз! Садитесь! *(Бросается Платонову на шею.)*

Платонов. Сядем... *(Садится.)* Ты чего же это не спишь, инфузория?

Саша. Не хочется... *(Садится рядом.)* Поздно же тебя отпустили!

Платонов. Да, поздно... Пассажирский уж прошел?

Саша. Нет еще. Товарка с час тому назад прошла.

Платонов. Значит, нет еще двух часов. Ты давно оттуда?

Саша. Я в десять часов была уже дома... Пришла, а Колька ревет на чем свет стоит... Я ушла не простившись, пусть извинят... Танцы после меня были?

Платонов. И танцы были, и ужин был, и скандалы были... Между прочим... знаешь? При тебе это случилось? С Глагольевым стариком удар случился!

Саша. Что ты?!

Платонов. Да... Твой братец кровь пускал и вечную память пел...

Саша. Отчего же это? Что с ним? Он кажется здоровый такой на вид...

Платонов. Легенький удар... Легенький к его счастью и к несчастью его осленка, которого он по глупости величает сыном... Домой отвезли... Ни один вечер без скандала не обходится! Такова наша судьба, знать!

С а ш а . Воображаю, как перепугались Анна Петровна и Софья Егоровна! А какая славная Софья Егоровна! Я таких хорошеньких дамочек редко вижу... Что-то в ней такое особенное...

Пауза.

П л а т о н о в . Ох! Глупо, мерзко...

С а ш а . Что?

П л а т о н о в . Что я наделал?! *(Закрывает руками лицо.)* Стыдно!

С а ш а . Что ты наделал?

П л а т о н о в . Что наделал? Ничего хорошего! Когда я делал то, чего впоследствии не стыдился?

С а ш а *(в сторону)*. Пьян, бедненький! *(Ему.)* Пойдем спать!

П л а т о н о в . Гадок был, как никогда! Уважай себя после этого! Нет более несчастья, как быть лишенным собственного уважения! Боже мой! Нет ничего во мне такого, за что можно было бы ухватиться, нет ничего такого, за что можно было бы уважать и любить!

Пауза.

Ты вот любишь... Не понимаю! Нашла, значит, во мне что-то такое, что можно любить? Любишь?

С а ш а . Что за вопрос! Может ли быть, чтоб я тебя не любила?

П л а т о н о в . Знаю, но назови мне то хорошее, за что ты меня так любишь! Укажи мне то хорошее, что ты любишь во мне!

С а ш а . Гм... За что я тебя люблю? Какой же ты сегодня чудак, Миша! Как же мне не любить тебя, если ты мне муж?

П л а т о н о в . Только и любишь за то, что я тебе муж?

С а ш а . Я тебя не понимаю.

П л а т о н о в . Не понимаешь? *(Смеется.)* Ах ты, моя дурочка набитая! Зачем ты не муха? Между мухами с своим умом ты была бы самой умной мухой! *(Целует ее в лоб.)* Что было бы с тобой, если бы ты понимала меня, если бы у тебя не было твоего хорошего неведения? Была бы ты так женски счастлива, если бы умела постигать своей нетронутой головкой, что у меня нет ничего того, что можно любить? Не понимай, мое сокровище, не ведай, если хочешь любить меня! *(Целует ее руку.)* Самочка моя! И я счастлив по милости твоего неведения! У меня, как у людей, семья есть... Есть семья...

С а ш а *(смеется)*. Чудак!

П л а т о н о в . Сокровище ты мое! Маленькая, глупенькая бабеночка! Не женой тебя иметь, а на столе под стеклом тебя держать нужно! И как это мы ухитрились с тобой Николку породить на свет божий? Не Николок рождают, а солдатиков из теста лепить тебе впору, половина ты моя!

С а ш а . Глупости ты говоришь, Миша!

П л а т о н о в . Сохрани тебя бог понимать! Не понимай! Да будет земля на китах, а киты на вилах!

Где мы брали бы себе постоянных жен, если бы вас не было, Саши? *(Хочет ее поцеловать.)*

С а ш а *(не дается)*. Пошел вон! *(Сердито.)* Зачем же ты женился на мне, если я так глупа? Ну и брал бы себе умную! Я не неволила!

П л а т о н о в *(хохочет)*. А вы и сердиться умеете? Ах, черт возьми! Да это целое открытие из области... Из какой области? Целое открытие, душа моя! Так ты умеешь и сердиться? Ты не шутишь?

С а ш а *(встает)*. Иди-ка, брат, спать! Если бы не пил, не делал бы открытий! Пьяница! А еще тоже учитель! Ты не учитель, а свинтус! Ступай спать! *(Бьет его по спине и уходит в школу.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

П л а т о н о в *(один)*.

П л а т о н о в . В самом деле я пьян? Не может быть, я пил мало... В голове, впрочем, не совсем нормально...

Пауза.

А когда с Софьей говорил, был я... пьян? *(Думает.)* Нет, не был! Не был, к несчастью, святые угодники! Не был! Проклятая трезвость моя! *(Вскакивает.)* В чем провинился предо мной ее несчастный муж? За что я опачкал его перед ней такую грязью? Не прощай мне этого, моя совесть! Я разболтался пред ней, как мальчишка, рисовался, театральничал, хвастался... *(Дразнит себя.)* «Зачем вы не вышли за труженика, за страдальца?» А для чего бы она сдалась труженику, страдальцу? Зачем же ты, безумец, говорил то, чему не верил? Ах!.. Она поверила... Она выслушала бредни глупца и опустила глазки! Раскисла, несчастная, разнежилась... Как это всё глупо, как это всё мерзко, нелепо! Опротивело всё... *(Смеется.)* Самодур! Осмеяли купцов самодуров, осмеяли насквозь... Был и смех сквозь слезы и слезы сквозь смех... Кто же меня осмеет? Когда? Смешно! Взятки не берет, не ворует, жены не бьет, мыслит порядочно, а... негодяй! Смешной негодяй! Необыкновенный негодяй!..

Пауза.

Надо ехать... Буду у инспектора просить другого места... Сегодня же напишу в город...

Входит Венгерович 2.

ЯВЛЕНИЕ V

П л а т о н о в и В е н г е р о в и ч 2.

В е н г е р о в и ч 2 *(входя)*. Гм... Школа, в которой вечно спит тот недоделанный мудрец... Спит он теперь по обыкновению или же бранится по обыкновению? *(Увидев Платонова.)* Вот он, пустой и звонкий... Не спит и не бранится... Не в нормальном положении... *(Ему.)* Не спите еще?

Платонов. Как видите! Чего же вы остановились? Позвольте вам пожелать спокойной ночи!

Венгерович 2. Сейчас уйду. Вы предаетесь уединению? *(Оглядывается.)* Чувствуете себя царем природы? В эту такую прелестную ночь...

Платонов. Вы домой идете?

Венгерович 2. Да... Отец уехал, и я принужден идти пешком. Наслаждаетесь? А ведь как приятно — не правда ли? — выпить шампанского и под куражем обозреть самого себя! Можно сесть возле вас?

Платонов. Можете.

Венгерович 2. Благодарю. *(Садится.)* Я люблю за всё благодарить. Как сладко сидеть здесь, вот на этих ступенях, и чувствовать себя полным хозяином! Где ваша подруга, Платонов? Ведь к этому шуму, к этому шепоту природы, пению и трещанию кузнечиков недостает только любовного лепета, чтобы всё это обратилось в рай! К этому кокетливому, робкому ветерку недостает только горячего дыхания милой, чтобы ваши щеки пылали от счастья! К шепоту матери-природы недостает слов любви... Женщину!! Вы смотрите на меня с изумлением... Ха-ха! Я заговорил не своим языком? Да, это не мой язык... Отрезвившись, я не раз покраснею за этот язык... Впрочем, почему же мне и не поболтать поэтически? Гм... Кто мне воспретит?

Платонов. Никто.

Венгерович 2. Или, может быть, этот язык богов не соответствует моему положению, моей фигуре? У меня лицо не поэтическое?

Платонов. Не поэтическое...

Венгерович 2. Не поэтическое... Гм... Очень рад. У всех евреев физиономии не поэтические. Подшутила природа, не дала нам, евреям, поэтических физиономий! У нас судят обыкновенно по физиономии и на основании того, что мы имеем известные физиономии, отрицают в нас всякое поэтическое чувство... Говорят, что у евреев нет поэтов.

Платонов. Кто говорит?

Венгерович 2. Все говорят... А какая ведь это подлая клевета!

Платонов. Полно придирааться! Кто это говорит?

Венгерович 2. Все говорят, а между тем сколько у нас настоящих поэтов, не Пушкиных, не Лермонтовых, а настоящих! Ауэрбах, Гейне, Гете...

Платонов. Гете немец.

Венгерович 2. Еврей!

Платонов. Немец!

Венгерович 2. Еврей! Знаю, что говорю!

Платонов. И я знаю, что говорю, но пусть будет по-вашему! Полуученого еврея трудно переспорить.

Венгерович 2. Очень трудно...

Пауза.

Да хоть бы и не было поэтов! Велика важность! Есть поэты — хорошо, нет их — еще лучше! Поэт, как человек чувства, в большинстве случаев дармоед, эгоист... Гете, как поэт, дал ли хоть одному немецкому пролетарию кусок хлеба?

Платонов. Старо! Полно, юноша! Он не взял куска хлеба у немецкого пролетария! Это важно... Потом, лучше быть поэтом, чем ничем! В миллиард раз лучше! Впрочем, давайте замолчим... Оставьте вы в покое кусок хлеба, о котором вы не имеете ни малейшего понятия, и поэтов, которых не понимает ваша высушенная душа, и меня, которому вы не даете покоя!

Венгерович 2. Не стану, не стану шевелить вашего великого сердца, шипучий человек!. Не стану стягивать с вас теплого одеяла... Спице себе!

Пауза.

Посмотрите-ка на небо! Да... Здесь хорошо, покойно, здесь одни только деревья... Нет этих сытых, довольных физиономий... Да... Деревья шепчут не для меня... И луна не смотрит на меня так приветливо, как на этого Платонова... Она старается смотреть холодно... Ты, мол, не наш... Ступай отсюда, из этого рая, в свою жидовскую лавочку... Впрочем, чепуха... Я заболтался... довольно!..

Платонов. Довольно... Идите, юноша, домой! Чем более будете сидеть, тем больше наболтаете... А за болтовню эту вы краснеть будете, как вы сказали! Идите!

Венгерович 2. Хочу болтать! *(Смеется.)* Я теперь поэт!

Платонов. Не поэт тот, кто стыдится своей молодости! Вы переживаете молодость, будьте же молодым! Смешно, глупо, может быть, но зато человечно!

Венгерович 2. Так... Какие глупости! Вы большой чудак, Платонов! Все вы чудаки здесь... Вам бы жить во времена Ноя... И генеральша чудачка, и Войницев чудак... Между прочим, генеральша недурна в телесном отношении... Какие у нее неглупые глаза! Какие у нее хорошие пальцы!.. Недурна отчасти... Грудь, шея...

Пауза.

Почему? Хуже я вас, что ли? Хоть бы раз в жизни! Если мысли так сильно привлекательно действуют на мой... спинной мозг, то какое блаженство растопило бы меня в пух и прах, если бы она показала сейчас между этими деревьями и поманила бы меня своими прозрачными пальцами!.. Не смотрите на меня так... Я глуп теперь, мальчуган... Впрочем, кто же смеет запретить мне хоть раз в жизни быть глупым? Я с научной целью хотел бы сейчас быть глупым, счастливым по-вашему... Я и счастлив... Кому какое дело? Гм...

Платонов. Но... *(Рассматривает его цепь.)*

Венгерович 2. Впрочем, личное счастье эгоизм!

Платонов. О да! Личное счастье эгоизм, а личное несчастье добродетель! Сколько же, однако, в вас белиберды! Какая цепь! Какие чудные брелочки! Как сияет!

Венгерович 2. Вас занимает эта цепь?! *(Смеется.)* Вас манит к себе эта мишура, этот блеск... *(Качает головой.)* В эти минуты, когда вы поучаете меня чуть ли не стихами, вы можете восхищаться золотом! Возьмите эту цепь! Бросьте! *(Срывает с себя цепь и бросает ее в сторону.)*

Платонов. Важно звякнула! По одному этому звуку уж можно заключить, как она тяжела!

Венгерович 2. Золото тяжело не на один только вес! Счастливы вы, что можете сидеть на этих грязных ступенях! Здесь вы не испытываете всей тяжести этого грязного золота! О, эти мне золотые цепи, золотые оковы!

Платонов. Не всегда прочные оковы! Пропили их наши отцы!

Венгерович 2. Сколько несчастных, сколько голодных, сколько пьяных под луной! Когда же, наконец, миллионы много сеющих и ничего не ядущих перестанут голодать? Когда, я вас спрашиваю? Платонов, отчего же вы не отвечаете?

Платонов. Оставьте меня! Сделайте такое одолжение! Не люблю без умолку и без толку звонящих колоколов! Извините, но оставьте меня! Спать хочу!

Венгерович 2. Я колокол? Гм... Скорей же вы колокол...

Платонов. Я колокол и вы колокол, с тою только разницею, что я в себя сам звоню, а в вас звонят другие... Спокойной ночи! *(Встает.)*

Венгерович 2. Спокойной ночи!

В школе бьет два часа.

Уже два часа... В это время нужно уже спать, а я не сплю... Бессонница, шампанское, волнение... Ненормальная жизнь, благодаря которой разрушается организм... *(Встает.)* У меня, кажется, грудь уже начинает болеть... Спокойной ночи! Руки я вам не подаю и горжусь этим. Вы не имеете права на пожатие моей руки...

Платонов. Какие глупости! Мне всё одно.

Венгерович 2. Надеюсь, что нашу беседу и мою... болтовню никто, кроме нас, не слышал и не услышит... *(Идет в глубину сцены и идет обратно.)*

Платонов. Что вам угодно?

Венгерович 2. Тут где-то была моя цепь...

Платонов. Вот она, ваша цепь! *(Швыряет цепь ногой.)* Не забыл-таки! Послушайте, будьте так любезны, пожертвуйте эту цепь в пользу одного моего знакомого, принадлежащего к разряду много сеющих и ничего не ядущих! Эта цепь будет кормить его и его семью целые годы!.. Позвольте передать ее ему?

Венгерович 2. Нет... С удовольствием отдал бы, но, честное слово, не могу! Это подарок, сувенир...

Платонов. Да, да... Убирайтесь!

Венгерович 2 *(поднимает цепь)*. Отстаньте, пожалуйста! *(Идет и в глубине сцены, утомленный, садится на полотно железной дороги и закрывает руками лицо.)*

Платонов. Пошлость! Быть молодым и в то же время не быть светлой личностью! Какая глубокая испорченность! *(Садится.)* Как противны нам люди,

в которых мы видим хоть намек на свое нечистое прошлое! Я когда-то был немного похож на этого... Ох!

Слышен конский топот.

ЯВЛЕНИЕ VI

Платонов и Анна Петровна (*входит в амазонке, с хлыстом в руке*).

Платонов. Генеральша!

Анна Петровна. Как мне его увидеть? Постучать разве? (*Увидев Платонова*.) Вы здесь? Как это кстати! Я знала, что вы еще не спите... Да и можно ли спать теперь? Для спанья бог зиму дал... Доброй ночи, человечина! (*Протягивает руку*.) Ну? Что же вы? Руку!

Платонов протягивает руку.

Анна Петровна. Вы не пьяны?

Платонов. А черт меня знает! Или трезв, или же пьян, как самый горький пьяница... Вы что же это? Прогуливаться с жиру изволите, почтеннейшая сомнамбула?

Анна Петровна (*садится рядом*). Н-да-с...

Пауза.

Да-с, милейший Михаил Васильич! (*Поет*.) Сколько счастья, сколько муки... (*Хочет*.) Какие большие, удивленные глаза! Полноте, не бойтесь, дружище!

Платонов. Я и не боюсь... за себя по крайней мере...

Пауза.

Вы, я вижу, ерундой вздумали заниматься...

Анна Петровна. На старости лет...

Платонов. Старухам простительно... Те сдуру... А вы какая старуха? Вы молоды, как лето в июне. Ваша жизнь впереди.

Анна Петровна. Мне нужна жизнь теперь, а не впереди... А я молода, Платонов, ужас как молода! Чувствую... Так ветром и ходит по мне эта молодость! Чертовски молода... Холодно!

Пауза.

Платонов (*вскакивает*). Не хочу ни понимать, ни угадывать, ни предполагать... Ничего не хочу! Идите! Назовите меня невеждой и оставьте меня! Прошу вас! Гм... Для чего смотреть так? Да вы... вы подумайте!

Анна Петровна. Я уже думала...

Платонов. Вы подумайте, гордая, умная, прекрасная женщина! Куда и зачем вы пришли?! Ах...

Анна Петровна. Не пришла, а приехала, мой милый!

Платонов. С таким умом, с такой красотой, молодостью... ко мне?! Глазам, ушам не верится... Пришла победить, взять крепость! Не крепость я! Не побеждать вы пришли... Я слабость, страшная слабость! Поймите вы!

Анна Петровна (*встает и подходит к нему*). Самоуничужение паче гордости... Как же быть, Мишель? Надо же чем-нибудь кончить? Согласись сам, что...

Платонов. Не буду я кончать, потому что я ничего не начинал!

Анна Петровна. Э... философия гадкая! И тебе не стыдно лгать? В такую ночь, при таком небе... и лгать? Лги осенью, если хочешь, в грязь, в слякоть, но не теперь, не здесь... Тебя слышат, на тебя смотрят... Взгляни, чудак, вверх!

Пауза.

Вон и звезды мерцают, что ты лжешь... Полно, милый мой! Будь же хорошим, как всё это хорошо! Не нарушай своей маленькой особой этой тишины... Отгони от себя своих бесов! (*Обнимает его одной рукой.*) Нет другого, которого я любила бы так, как я тебя люблю! Нет женщины, которую ты любил бы так, как меня любишь... Возьмем себе одну только любовь, а остальное, что тебя так мучит, пусть решат другие... (*Целует его.*) Возьмем себе одну только любовь...

Платонов. Одиссей стоил того, чтоб ему пели сирены, но не царь Одиссей я, сирена! (*Обнимает ее.*) Если бы я мог дать тебе счастье! Как ты хороша! Но не дам я тебе счастье! Я сделаю из тебя то, что делал я из всех женщин, бросавшихся мне на шею... Я сделаю тебя несчастной!

Анна Петровна. Как много ты о себе думаешь! Неужели ты так ужасен, Дон-Жуан? (*Хохочет.*) Какой же ты хорошенький при лунном свете! Прелесть!

Платонов. Знаю я себя! Те только романы и оканчиваются благополучно, в которых меня нет...

Анна Петровна. Сядем... Сюда вот... (*Садятся на полотно.*) Еще что скажешь, философ?

Платонов. Если бы я был честным человеком, я ушел бы от тебя... Я сегодня предчувствовал это, предвидел... Почему же я, негодяй, не ушел?

Анна Петровна. Отгони от себя бесов, Мишель! Не отравляйся... Ведь к тебе женщина пришла, а не зверь... Лицо постное, на глазах слезы... Фи! Если тебе это не нравится, то я уйду... Хочешь? Я уйду, и всё останется по-старому... Идет? (*Хохочет.*) Дуралей! Бери, хватай, хапай!.. Что тебе еще? Выкури всю, как папиросу, выжми, на кусочки раздоби... Будь человеком! (*Тормошит его.*) Смешной!

Платонов. Но разве ты моя? Разве ты про меня писана? (*Целует ее руки.*) Иди к другому, моя дорогая... Ступай к тому, который стоит тебя...

Анна Петровна. Ах... Полно тебе молоть чепуху! Дело ведь очень просто: к тебе пришла женщина, которая тебя любит и которую ты

любишь... Погода прелестная... Что может быть проще? К чему же тут эта философия, политика? Порисоваться разве хочешь?

Платонов. Гм... *(Встает.)* А если ты пришла пошалить мной, поразвратничать, покуралесить?.. Тогда что? Ведь я не гожусь во временнообязанные... Я не позволю играть собой! Ты не отделаешься от меня грошами, как отделалась от десятка!.. Слишком дорог я для интрижки... *(Хватает себя за голову.)* Уважать, любить тебя и в то же время... мелочь, пошлость, мещанская, плебейская игра!

Анна Петровна *(подходит к нему)*. Ты меня любишь, уважаешь, для чего же ты, беспокойная душа, торгуешься со мной, говоришь мне эти мерзости? Для чего эти «если»? Я люблю... Я сказала тебе, и сам ты знаешь, что я тебя люблю... Что же тебе еще? Покоя мне... *(Кладет голову ему на грудь.)* Покоя... Пойми же наконец, Платонов! Я отдохнуть хочу... Забыться, и больше мне ничего не нужно... Ты не знаешь... Ты не знаешь, как тяжела для меня жизнь, а я... жить хочу!

Платонов. Не сумею я дать тебе покой!

Анна Петровна. Сумей только не философствовать!.. Живи! Всё живет, всё движется... Кругом жизнь... Давай же и мы жить! Завтра решать вопросы, а сегодня, в эту ночь, жить, жить... Жить, Мишель!

Пауза.

Да что я в самом деле распелась пред тобой? *(Хохочет.)* Скажите, пожалуйста! Я ною, а он и ломается!

Платонов *(хватает ее за руку)*. Послушай... В последний раз... Как честный человек говорю... Уйди!.. В последний раз! Уйди!

Анна Петровна. Будто бы? *(Хохочет.)* А ты не шутишь?.. Глупишь, брат! Теперь уж я тебя не оставлю! *(Бросается ему на шею.)* Слышишь? В последний раз говорю: не выпущу! Во что бы то ни стало, что бы там ни было! Хоть меня погуби, хоть сам пропади, а возьму! Жить! Тра-та-та-та... ра-ра-ра... Чего рвешься, чудак? Мой! Мели теперь свою философию!

Платонов. Еще раз... Как честный человек...

Анна Петровна. Честью не взяла, силой возьму... Люби, коли любишь, а не строй из себя дурачка! Тра-та-та-та... Звон победы раздавайся... Ко мне, ко мне! *(Накидывает ему на голову черный платок.)* Ко мне!

Платонов. К тебе? *(Смеется.)* Пустая ты женщина! Добра ты себе не желаешь... Плакать ведь будешь! Мужем твоим я не буду, потому что не про меня ты писана, а играть собой не позволю... Посмотрим, кто кем играть будет... Увидим... Заплачешь... Идем, что ли?

Анна Петровна *(хохочет)*. Allons! *(Берет его под руку.)* Постой... Кто-то идет. Станем пока за дерево... *(Прячутся за дерево.)* В сюртуке кто-то, не мужик... Отчего ты в газеты передовых статей не пишешь? Ты славно бы писал... Не шутя.

Входит Трилецкий.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Трилецкий.

Трилецкий *(идет к школе и стучит в окно)*. Саша! Сестренка! Сашурка!

Саша *(отворяет окно)*. Кто здесь? Это ты, Коля? Чего тебе?

Трилецкий. Ты еще не спишь? Пусти меня, душечка, переночевать!

Саша. Сделай милость...

Трилецкий. Положишь меня в классной... Да пожалуйста, чтоб Мишель не узнал, что я у вас ночую: спать не даст своей философией! У меня голова ужасно кружится... Всё в глазах двоится... Стою перед одним окном, а мне кажется, что их два: в какое лезть? Комиссия! Хорошо, что я не женат! Будь я женат, мне показалось бы, что я двоеженец... Всё двоится! У тебя на двух шеях две головы! Кстати, между прочим... Там около срубленного дуба, что над речкой — знаешь? — я сморкался, козявочка, и выронил из платка сорок рублей... Поднимешь их, душечка, завтра пораньше... Поищи и возьми себе...

Саша. Их чуть свет плотники поднимут... Какой же ты разгильдяй, Коля! Ах, да! Чуть было не позабыла... Приходила жена лавочника и просила тебя убедительно чтобы ты пришел к ним, как можно скорей... Ее муж внезапно заболел... В голову какой-то удар сделался... Иди скорей!

Трилецкий. Бог с ним совсем! Мне не до того... У меня у самого стреляет и в голове, и в брюхе... *(Лезет в окно.)* Посторонись...

Саша. Влезай скорей! Ногой меня зацепил... *(Затирает окно.)*

Платонов. Еще кого-то черти несут!

Анна Петровна. Стой.

Платонов. Не держи... Уйду, если захочу! Кто это?

Анна Петровна. Петрин и Щербук.

Входят Петрин и Щербук, без сюртуков, покачиваясь.
На первом черный цилиндр, на втором — серый.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Венгерович 2 *(в глубине сцены)*, Платонов, Анна Петровна, Петрин и Щербук.

Петрин. Виват, Петрин, кандидат прав! Ура! Где дорога? Куда зашли? Что это? *(Хохочет.)* Тут, Павочка, народное просвещение! Тут дураков учат бога забывать да людей надувать! Вот куда мы зашли... Гм... Так-с... Тут, брат, тот... как его, черт? — Платошка живет, цивилизованный человек... Пава, а где теперь Платошка? Выскажи мнение, не стыдись! С генеральшей дуэт поет? Ох, господи, твоя воля... *(Кричит.)* Глагольев дурак! Она ему нос натерла, а с ним удар сделался!

Щербук. Домой хочу, Герася... Спать хочется, страсть как! Шут с ними со всеми!

Петрин. А где наши сюртуки, Пава? К начальнику станции ночевать идем, а сюртуков нет... *(Хохочет.)* Девки сняли? Ах ты, кавалер, кавалер!.. Девки сюртуки снимали... *(Вздыхает.)* Эх, Пава, Павочка... Ты шампань пил? Небось, вот ты пьян теперь? А чье ты пил? Мое ты пил... И пил ты сейчас мое, и ел ты сейчас мое... На генеральше платье мое, на Сережке чулки мои... всё мое! Я им всё передавал! У самого каблучонки на сапожонках кривые... Всё им отдал, всё на них просадил, а что получил? Ты спроси, что я получил? Кукиш и позор... Да... Лакей за столом обносит да локтем норовит толкнуть, сама же как с свинством обращается..

Платонов. Надоело мне!

Анна Петровна. Постой... Сейчас уйдут! Какой же скот этот Петрин! Как лжет! А та старая тряпка и верит...

Петрин. Жиду почета больше... Жид у изголовья, а мы у подножия ног... А почему? А потому, что жид больше денег дает... [А на лбу роковые слова: продается с публичного торга!](#)

Щербук. Это Некрасова... Говорят, помер Некрасов...

Петрин. Ладно же! Больше ни копейки! Слышишь? Ни копейки! Пусть старичок в могиле сердится... Пусть там себе с... гробокопателями! Шабаш! Протестую вексель! Завтра же! Я ее в грязь головой поставлю, неблагодарную!

Щербук. Она граф, барон! У нее генеральское лицо! А я... калмык и больше ничего... Меня пуцай Дуняша обожает... Какая дорога неровная! Шоссе бы надо со столбами телеграфическими... с колоколами... Дзинь, дзинь, дзинь...

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же без Петрина и Щербука.

Анна Петровна *(выходит из-за деревьев)*. Ушли?

Платонов. Ушли...

Анна Петровна *(берет его за плечи)*. Шествуем?

Платонов. Пойдем! Иду, но если бы ты знала, как мне не хочется идти!.. Пойду не я к тебе, а черт, который бьет меня теперь по затылку: иди, иди! Пойми же! Если моя совесть не принимает твоей любви, то только потому, что она глубоко убеждена в том, что ты делаешь непоправимую ошибку...

Саша *(в окно)*. Миша, Миша! Где ты?

Платонов. Черт возьми!

Саша *(в окно)*. Ах... Я вижу тебя... С кем это ты? *(Хохочет.)* Анна Петровна! Насилу я вас узнала! Вы такая черная! В чем это вы? Здравствуйте!

Анна Петровна. Здравствуйте, Александра Ивановна!

Саша. Вы в амазонке? Катаетесь, значит? Отличное дело! Ночь такая хорошая! Поедем и мы с тобой, Миша!

Анна Петровна. Я уже накаталась, Александра Ивановна... Домой сейчас еду...

Саша. В таком случае, разумеется... Иди, Миша, в комнату!.. Я не знаю, право, что делать! С Колей дурно...

Платонов. С каким Колей?

Саша. С братом Николаем... Выпил, должно быть, много... Войди, пожалуйста! Заходите и вы, Анна Петровна! Я сбегаю в погреб и сливок принесу... По стакану выпьем... Холодные сливки!

Анна Петровна. Благодарю вас... Я сейчас домой еду... *(Платонову.)* Ступай... Я подожду...

Саша. А то бы я сбежала в погреб... Иди, Миша! *(Скрывается.)*

Платонов. Совершенно забыл о ее существовании... Верит-то, верит как?! Ступай... Я уложу ее спать и приду...

Анна Петровна. Скорей же...

Платонов. Чуть-чуть скандала не было! Прощай пока... *(Идет в школу.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Анна Петровна, Венгерович 2 и потом Осип.

Анна Петровна. Сюрприз... И я совершенно забыла о ее существовании...

Пауза.

Жестоко... Впрочем, ему не в первый раз надувать эту бедную девочку!.. Э-э-э... грешить так грешить! Один только бог будет знать! Не впервой... Канальство! Жди теперь, пока он уложит ее спать!.. Час протянется, если не больше...

Венгерович 2 *(идет к ней)*. Анна Петровна... *(Падает перед ней на колени.)* Анна Петровна... *(Хватает ее за руки.)* Анна!

Анна Петровна. Кто это? Кто вы? *(Нагинаяется к нему.)* Кто это? Вы, Исак Абрамыч? Вы ли? Что с вами?

Венгерович 2. Анна! *(Целует руку.)*

Анна Петровна. Уйдите! Нехорошо так! Вы мужчина!

Венгерович 2. Анна!

Анна Петровна. Полно вам цепляться! Уйдите прочь! *(Пхает его в плечо.)*

Венгерович 2 *(растягивается на земле)*, Ох! Глупо... глупо!

Осип *(входит)*. Комедьянты! Это, бывает, не вы, ваше превосходительство? *(Кланяется.)* Как это вы попали в наши святые места?

Анна Петровна. Это ты, Осип? Здравствуй! Подсматриваешь? Шпионишь? *(Берет его за подбородок.)* Всё видел?

Осип. Всё.

Анна Петровна. А чего ты бледен так? а? *(Смеется.)* Ты влюблен в меня, Осип?

Осип. Это как вам угодно...

Анна Петровна. Влюблен?

Осип. Я вас не понимаю... *(Плачет.)* Я вас за святую почитал... Ежели бы приказали в огонь лезть, в огонь бы полез...

Анна Петровна. Отчего ты в Киев не пошел?

Осип. Что мне Киев? Я вас за святую почитал... Для меня святей вас и людей не было...

Анна Петровна. Полно, дуралей... Носи опять ко мне зайчиков... Опять буду брать... Ну, прощай... Приходи завтра ко мне, и я тебе дам денег: по железной дороге в Киев поедешь... Идет? Прощай... Платонова у меня не смей трогать! Слышишь?

Осип. Вы мне с этой поры уж не указ...

Анна Петровна. Скажите, пожалуйста! Не прикажете ли мне в монастырь идти? Его дело!.. Ну, ну... Плачет... Маленький ты, что ли? Довольно... Когда он будет идти ко мне, то выстрелишь!..

Осип. В него?

Анна Петровна. Нет, в воздух... Прощай, Осип! Погромче выстрели! Выстрелишь?

Осип. Выстрелю.

Анна Петровна. Ну и умничек...

Осип. Только он к вам не пойдет... Он с женой теперь.

Анна Петровна. Толкуй... Прощай, душегуб! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Осип и Венгерович 2.

Осип *(бьет шапкой оземь и плачет)*. Кончено! Всё кончено, и чтоб оно провалилось сквозь землю!

Венгерович 2 *(лежа)*. Что он говорит?

Осип. Видел всю эту материю, слышал! Глаза лопались, в ушах кто-то здоровенным молотом колотил! Всё слышал! Ну как его не убить, ежели хочется в клочки его разорвать, слопать... *(Садится на насыпь задом к школе.)* Надо убить...

Венгерович 2. Что он говорит? Кого убить?

ЯВЛЕНИЕ XII

Теже, Платонов и Трилецкий.

Платонов *(выталкивает из школы Трилецкого)*. Вон! Изволь сию же минуту отправляться к лавочнику! Марш!

Трилецкий *(потягивается)*. Лучше бы ты потянул меня завтра большой палкой, чем сегодня будить!

Платонов. Ты негодяй, Николай, негодяй! Понимаешь?

Трилецкий. Что ж делать? Таким, значит, бог создал?

Платонов. А что если лавочник уже умер?

Трилецкий. Если умер, то царство ему небесное, а если же еще продолжает борьбу за существование, то напрасно ты говоришь страшные слова... Не пойду я к лавочнику! Мне спать хочется!

Платонов. Пойдешь, скот! Пойдешь! *(Толкает его)*. Я не дам тебе спать! Да что ты в самом деле? Что ты строишь из себя? Отчего ты ничего не делаешь? Ради чего ты здесь проедаешься, проводишь свои лучшие дни и бездельничаешь?

Трилецкий. Пристал... Какой же ты, братец, право... клещ!

Платонов. Что ты за существо, скажи ты мне, пожалуйста? Это ужасно! Для чего ты живешь? Отчего ты не занимаешься наукой? Отчего не продолжаешь своего научного образования? Наукой отчего не занимаешься, животное?

Трилецкий. Об этом интересном предмете поговорим, когда мне не будет спать хотеться, а теперь пусти меня спать... *(Чешется)*. Черт знает что! Ни с того, ни с сего: вставай, негодяй! Гм... Честные правила... Черт бы их съел, эти честные правила!

Платонов. Какому богу ты служишь, странное существо? Что ты за человек? Нет, не будет из нас толку! Нет, не будет!

Трилецкий. Послушай, Михаил Васильич, кто дал тебе право запускать свои холодные лапищи в чужие сердца? Твоя бесцеремонность выше всяких удивлений, братец!

Платонов. Не выйдет из нас ничего, кроме лишаев земли! Пропавший мы народ! Гроша мы не стоим! *(Плачет)*. Нет человека, на котором могли бы отдохнуть глаза! Как всё пошло, грязно, истаскано... Поди прочь, Николай! Уйди!

Трилецкий *(пожимает плечами)*. Плачешь?

Пауза.

Я пойду к лавочнику! Слышишь? Я пойду!

Платонов. Как хочешь!

Трилецкий. Пойду! Иду вот...

Платонов *(стучит ногами)*. Пошел прочь!

Трилецкий. Хорошо... Ложись-ка спать, Мишель! Не стоит волноваться! Прощай! *(Идет и останавливается)*. На прощанье одно слово... Посоветуй всем проповедникам, в том числе и самому себе, чтобы слово проповедническое клеилось с делами проповедника... Если твои глаза не умеют отдохнуть на тебе самом, то не моги требовать от меня отдыха для твоих глаз, которые, à propos¹, очень хороши у тебя при лунном свете! Они блестят у тебя, как зеленые стеклышки... И еще вот что... С тобой бы говорить не

следовало... Тебя бы избить страшно, изломать на куски, разорвать бы с тобой навсегда за ту девочку... Сказать бы тебе то, чего ты отродясь не слышал! Но... не умею! Я плохой дуэлист! И это твое счастье!..

Пауза.

Прощай! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XIII

Платонов, Венгерович 2 и Осип.

Платонов (*хватает себя за голову*). Не один я таков, все таковы! Все! Где же люди, боже мой? Я-то каков! Не ходи к ней! Она не твоя! Это чужое добро! Испортишь ее жизнь, исковеркаешь навсегда! Уйти отсюда! Нет! Буду у ней, буду здесь жить, буду пьянствовать, язычничать... Развратные, глупые, пьяные... Вечно пьяные! Глупая мать родила от пьяного отца! Отец... мать! Отец... О, чтоб у вас там кости так пере-ворочились, как вы спяна и сдуру переворочили мою бедную жизнь!

Пауза.

Нет... Что я сказал? Бог простит... Царство небесное... (*Наталкивается на лежащего Венгеровича.*) Это кто?

Венгерович 2 (*поднимается на колени*). Дикая, безобразная, позорная ночь!

Платонов. Аааа... Пойди и запиши эту дикую ночь в свой дурацкий дневник чернилами из отцовской совести! Прочь отсюда!

Венгерович 2. Да... Запишу! (*Уходит.*)

Платонов. Что он здесь делал? Подслушивал? (*Осипу.*) Ты кто? Ты зачем здесь, вольный стрелок? Тоже подслушивал? Прочь отсюда! Или постой... Догони Венгеровича и сними с него цепь!

Осип (*встает*). Какую цепь?

Платонов. У него на груди висит большая золотая цепь! Догони его и сними! Живей! (*Стучит ногами.*) Скорей, а то не догонишь! Он бежит теперь к деревне, как сумасшедший!

Осип. А вы к генеральше?

Платонов. Беги скорей, негодяй! Не бей его, а только сними цепь! Пошел! Чего стоишь? Беги!

Осип убегает.

(*После паузы.*) Идти... Идти или не идти? (*Вздыхает.*) Идти... Пойду затаю длинную, в сущности скучную, безобразную песню... Я же думал, что я хожу в прочной броне! А что же оказывается? Женщина сказала слово, и во мне поднялась буря... У людей мировые вопросы, а у меня женщина! Вся жизнь — женщина! У Цезаря — Рубикон, у меня — женщина... Пустой бабник! Не жалко было бы, если бы не боролся, а то ведь борюсь! Слаб, бесконечно слаб!

С а ш а *(в окно)*. Миша, ты здесь?

П л а т о н о в . Здесь, мое бедное золото!

С а ш а . Иди в комнату!

П л а т о н о в . Нет, Саша! Я хочу побыть на воздухе. У меня голова трещит. Спи, мой ангел!

С а ш а . Спокойной ночи! *(Закрывает окно.)*

П л а т о н о в . Тяжело надуть того, кто верит безгранично! Я и вспотел и покраснел... Иду! *(Идет.)*

Навстречу ему идут Катя и Яков.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Платонов, Катя и Яков.

К а т я *(Якову)*. Постой здесь... Я сейчас... Только книгу возьму... Не уйди же, смотри! *(Идет навстречу Платонову.)*

П л а т о н о в *(увидев Катю)*. Ты? Что тебе?

К а т я *(испугавшись)*. Ах... это вы? Мне вас нужно.

П л а т о н о в . Это ты, Катя? Все, начиная с барыни и кончая горничной, все — ночные птицы! Что тебе?

К а т я *(тихо)*. Вам барыня письмо прислала.

П л а т о н о в . Что?

К а т я . Вам барыня письмо прислала!

П л а т о н о в . Что врешь? Какая барыня?

К а т я *(тише)*. Софья Егоровна...

П л а т о н о в . Что? Ты с ума сошла? Окати себя холодной водой! Пошла вон отсюда!

К а т я *(подает письмо)*. Вот оно!

П л а т о н о в *(вырывает письмо)*. Письмо... письмо... Какое письмо? Нельзя было завтра принести? *(Распечатывает.)* Как же я его буду читать?

К а т я . Просили как можно скорей...

П л а т о н о в *(зажигает спичку)*. Черт вас носит! *(Читает.)* «Я делаю первый шаг. Иди, сделаем его вместе. Я воскресаю. Иди и бери. Твоя». Черт знает... Телеграмма какая-то! «Жду до четырех часов в беседке около четырех столбов. Пьяный муж уехал с молодым Глагольевым на охоту. Вся твоя С.». Этого еще не доставало! Боже мой! Этого еще не доставало! *(Катя.)* Что смотришь?

К а т я . Как же мне не смотреть, если у меня глаза есть?

П л а т о н о в . Выколи себе свои глаза! Это ко мне письмо?

К а т я . К вам-с...

П л а т о н о в . Врешь! Прочь отсюда!

К а т я . Слушаю-с.

Уходит с Яковом.

ЯВЛЕНИЕ XV

Платонов (один).

Платонов (после паузы). Вот они, последствия... Доигрался малый! Исковеркал женщину, живое существо, так, без толку, без всякой на то надобности... Проклятый язык! Довел до чего... Что теперь делать? А ну-ка, мудрая ты голова, подумай! Брани себя теперь, рви волосы... (Думает.) Ехать! Сейчас же ехать и не сметь показываться сюда до самого страшного суда! Марш отсюда на все четыре стороны, в ежовые рукавицы нужды, труда! Лучше худшая жизнь, чем эта с этой историей!

Пауза.

Еду... Но... неужели Софья на самом-таки деле любит меня? Да? (Смеется.) За что? Как всё темно и странно на этом свете!

Пауза.

Странно... Неужели эта прекрасная, мраморная женщина с чудными волосами в состоянии полюбить нищего чудака? Неужели любит? Невероятно! (Зажигает спичку и пробегает письмо.) Да... Меня? Софья? (Хохочет.) Любит? (Хватает себя за грудь.) Счастье! Да ведь это счастье! Это мое счастье! Это новая жизнь, с новыми лицами, с новыми декорациями! Иду! Марш в беседку около четырех столбов! Жди, моя Софья! Была ты и будешь моей! (Идет и останавливается.) Не пойду! (Идет обратно.) Разбивать семью? (Кричит.) Саша, идут в комнату! Отворяй! (Хватает себя за голову.) Не пойду, не пойду... не пойду!

Пауза.

Пойду! (Идет.) Иди, разбивай, топчи, оскверняй... (Сталкивается с Войницевым и Глагольевым 2.)

ЯВЛЕНИЕ XVI

Платонов, Войницев и Глагольев 2.

Войницев и Глагольев 2 вбегают с ружьями через спину.

Войницев. Вот он! Вот он! (Обнимает Платонова.) Ну? На охоту едем!

Платонов. Нет... Постой!

Войницев. Что рвешься, друг? (Хохочет.) Пьян, я пьян! Первый раз в жизни пьян! Боже мой, как я счастлив! Друг мой! (Обнимает Платонова.) Едем? Она послала меня... Приказала настрелять для нее дичи...

Глагольев 2. Скорей едемте! Уже светает...

Войницев. Ты слышал, что мы выдумали? Не гениально разве? Мы думаем Гамлета сыграть! Честное слово! Такой театр удерем, что даже чертей затошнит! (Хохочет.) Как ты бледен... И ты пьян?

Платонов. Пусти... Пьян.

Войницев. Постой... Моя идея! Завтра же начинаем декорации писать! Я — Гамлет, Софи — Офелия, ты — Клавдий, Трилецкий — Горацио... Как я счастлив! Доволен! Шекспир, Софи, ты и тата! Больше мне ничего не нужно! Впрочем, еще Глинка. Ничего больше! Я Гамлет...

И этому злодею,
Стыд женщины, супруги, матери забыв,
Могла отдаться ты!..

(Хохочет.) Чем не Гамлет?

Платонов *(вырывается и бежит)*. Подлец! *(У бежит.)*

Войницев. Тюлюлю! Пьян! Важно! *(Хохочет.)* Каков наш друг?

Глагольев 2. Наспиртован... Едем!

Войницев. Едем... И вы были бы моим другом, если бы... Офелия! О нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвах!

Уходят.
Слышен шум идущего поезда.

ЯВЛЕНИЕ XVII

Осип и потом Саша.

Осип *(вбегает с цепью)*. Где он? *(Оглядывается.)* Где он? Ушел? Нет его? *(Свистит.)* Михаил Васильич! Михаил Васильич! Ау!

Пауза.

Нет? *(Подбегает к окну и стучит.)* Михаил Василич! Михаил Васильич! *(Разбивает стекло.)*

Саша *(в окно)*. Кто здесь?

Осип. Позовите Михаила Васильича! Скорей!

Саша. Что случилось? Его нет в комнате!

Осип *(кричит)*. Нет? Пошел к генеральше, значит! Генеральша здесь была и к себе его звала! Всё пропало, Александра Ивановна! К генеральше пошел он, проклятый!

Саша. Лжешь!

Осип. Накажи меня господь, к генеральше! Всё слышал и видел! Они тут обнимались, целовались...

Саша. Лжешь!

Осип. Чтоб ни отцу моему, ни матери не увидать царства небесного, коли вру! К генеральше! От жены ушел! Догоните его, Александра Ивановна! Нет, нет... Всё пропало! И вы несчастная теперь! *(Снимает с плеч ружье.)* Она приказала мне в последний раз, а я исполняю в последний раз! *(Стреляет в воздух.)* Пусть встречает! *(Бросает ружье на землю.)* Зарежу его, Александра Ивановна! *(Перепрыгивает через насыпь и садится на пень.)* Не беспокойтесь,

Александра Ивановна... не беспокойтесь... Я его зарежу... Не сомневайтесь...

Показываются огни.

С а ш а (*выходит в ночной кофточке, с распущенными волосами*). Ушел... Обманул... (*Рыдает.*) Пропала я... Убей меня, господи, после этого...

Свисток.

Под машину лягу... Не хочу я жить... (*Ложится на рельсы.*) Обманул... Убей меня, божья мать!

Пауза.

Прости, господи... Прости, господи... (*Вскрикивает.*) Коля! (*Поднимается на колени.*) Сын! Спасите! Спасите! Вот она, машина, идет!.. Спасите!

Осип подсакивает к Саше

(*Падает на рельсы.*) Ах...

О с и п (*берет ее и несет в школу*). Зарежу... Не беспокойтесь!

Идет поезд.

К о н е ц в т о р о г о д е й с т в и я

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната в школе. Направо и налево двери. Шкаф с посудой, комод, старый фортепиан, стулья, диван, обитый клеенкой, гитара и т. п. Полный беспорядок.

ЯВЛЕНИЕ I

Софья Егоровна и Платонов.
Платонов спит на диване, у окна. Лицо закрыто соломенной шляпой.

Софья Егоровна (*будит Платонова*). Платонов! Михаил Васильич! (*Толкает его.*) Проснись! Мишель! (*Снимает с его лица шляпу.*) Можно ли класть на лицо такую грязную шляпу? Фи, какой неряха, нечистот! Запонки растерял, спит с открытой грудью, неумытый, в грязной сорочке... Мишель! Тебе говорят! Вставай!

Платонов. А?

Софья Егоровна. Проснитесь!

Платонов. После... Хорошо...

Софья Егоровна. Будет тебе! Изволь подняться!

Платонов. Кто это? (*Поднимается.*) Это ты, Софья?

Софья Егоровна (*подносит к его глазам часы.*) Взгляните!

Платонов. Хорошо... (*Ложится.*)

Софья Егоровна. Платонов!

Платонов. Ну, чего тебе? *(Поднимается.)* Ну?

Софья Егоровна. Взгляните на часы!

Платонов. Что такое? Опять ты, Софья, с причудами!

Софья Егоровна. Да, я опять с причудами, Михаил Васильич! Извольте взглянуть на часы! Который теперь час?

Платонов. Половина восьмого.

Софья Егоровна. Половина восьмого... А условие забыли?

Платонов. Какое условие? Выражайся ясней, Софья! Я не расположен сегодня ни шутить, ни решать ерундистые загадки!

Софья Егоровна. Какое условие? А ты забыл? Что с тобой? У тебя глаза красные, ты весь измят... Ты болен?

Пауза.

Условие: быть сегодня обоим в шесть часов в избе... Забыл? Шесть часов прошло...

Платонов. Дальше что?

Софья Егоровна *(садится рядом)*. И тебе не стыдно? Отчего ты не приходил? Ты дал честное слово...

Платонов. Я и сдержал бы это слово, если бы не уснул... Ведь ты видишь, что я спал? Что же пристаешь?

Софья Егоровна *(качает головой)*. Какой же ты недобросовестный человек! Что злобно смотришь? Недобросовестный по отношению ко мне, по крайней мере... Подумай-ка... Являлся ли ты хоть раз вовремя на наши свидания? Сколько раз не сдерживал ты данного мне честного слова!

Платонов. Очень рад это слышать!

Софья Егоровна. Неумно, Платонов, стыдно! Зачем ты перестаешь быть благородным, умным, самим собой, когда я с тобою? Для чего эти плебейские выходки, не достойные человека, которому я обязана спасением своей духовной жизни? При мне держишь ты себя каким-то уродом... Ни ласкового взгляда, ни нежного слова, ни одного слова любви! Прихожу к тебе — от тебя пахнет вином, одет ты безобразно, не причесан, отвечаешь дерзко и невпопад...

Платонов *(вскакивает и шагает по сцене)*. Пришла!

Софья Егоровна. Ты пьян?

Платонов. Вам какое дело?

Софья Егоровна. Как это мило! *(Плачет.)*

Платонов. Женщины!!

Софья Егоровна. Не говори мне про женщин! Тысячу раз на день ты говоришь мне о них! Надоело! *(Встает.)* Что ты делаешь со мной? Ты уморить меня хочешь? Я больна через тебя! У меня день и ночь грудь болит по твоей милости! Ты этого не видишь? Знать ты этого не хочешь? Ты ненавидишь меня! Если бы ты любил меня, то не смел бы так обращаться со мной! Я не какая-

нибудь простая девчонка для тебя, неотесанная, грубая душа! Я не позволю какому-нибудь... *(Садится.)* Ради бога! *(Плачет.)*

Платонов. Довольно!

Софья Егоровна. За что ты убиваешь меня? Не прошло и трех недель после той ночи, а я уже стала походить на щепку! Где же обещанное тобою счастье? Чем кончатся эти твои выходки? Подумай, умный, благородный, честный человек! Подумай, Платонов, пока еще не поздно! Думай вот сейчас... Сядь вот на это стуло, выкинь всё из головы и подумай только об одном: что ты делаешь со мной?

Платонов. Я не умею думать.

Пауза.

А вот ты подумай! *(Подходит к ней.)* Ты подумай! Я лишил тебя семьи, благополучия, будущности... За что? К чему? Я ограбил тебя, как самый злейший враг твой! Что я могу тебе дать? Чем я могу заплатить тебе за твои жертвы? Этот незаконный узел твое несчастье, твое minimum, твоя гибель! *(Садится.)*

Софья Егоровна. Я сошлась с ним, а он смеет называть эту связь незаконным узлом!

Платонов. Э-э... Не время теперь придирается к каждому слову! У тебя свой взгляд на эту связь, у меня свой... Я погубил тебя, вот и всё! Да и не тебя одну... Подожди, что еще запоет твой муж, когда узнает!

Софья Егоровна. Ты боишься, чтобы он не наделал тебе неприятностей?

Платонов. Этого я не боюсь... Я боюсь, чтобы мы его не убили...

Софья Егоровна. Зачем же ты, малодушный трус, шел тогда ко мне, если ты знал, что мы убьем его?

Платонов. Пожалуйста, не так... патетично! Меня не проймешь грудными нотами... А зачем ты... Впрочем... *(машет рукой)* говорить с тобой значит проливать твои слезы...

Софья Егоровна. Да, да... Никогда я не плакала, пока не сошлась с тобой! Бойся, дрожи! Он уже знает!

Платонов. Что?

Софья Егоровна. Он уже знает.

Платонов *(поднимается)*. Он?!

Софья Егоровна. Он... Я сегодня утром объяснилась с ним...

Платонов. Шутки...

Софья Егоровна. Побледнел?! Тебя бы ненавидеть нужно, а не любить! Я с ума сошла... Я не знаю, за что... за что я люблю тебя? Он уж знает! *(Треплет его за рукав.)* Дрожи же, дрожи! Он всё знает! Клянусь тебе честью, что он всё знает! Дрожи!

Платонов. Быть не может! Не может быть этого!

Пауза.

Софья Егоровна. Он всё знает... Нужно же было когда-нибудь сделать это?

Платонов. Отчего же ты дрожишь? Как ты объяснилась с ним? Что ты ему сказала?

Софья Егоровна. Я объявила ему, что я уже... что не могу...

Платонов. Он же что?

Софья Егоровна. Был похож на тебя... Испугался! А как невыносимо твое лицо в настоящую минуту!

Платонов. Что он сказал?

Софья Егоровна. Он сперва думал, что я шучу, но когда убедился в противном, то побледнел, зашатался, заплакал, начал ползать на коленях... У него было такое же противное лицо, как у тебя теперь!

Платонов. Что ты наделала, мерзкая?! *(Хватает себя за голову.)* Ты убила его! И ты можешь, и ты смеешь говорить это так хладнокровно? Ты убила его! Ты... назвала меня?

Софья Егоровна. Да... Как же иначе?

Платонов. Он же что?

Софья Егоровна *(вскакивает)*. Постыдись же, наконец, Платонов! Ты не знаешь, что ты говоришь! По-твоему, значит, не нужно было говорить?

Платонов. Не нужно! *(Ложится на диван лицом вниз.)*

Софья Егоровна. Честный человек, что ты говоришь?

Платонов. Честнее было бы не говорить, чем убивать! Мы убили его! Он заплакал, ползал на коленях... Ах! *(Вскакивает.)* Несчастный человек! Если бы не ты, он до самой смерти не узнал бы о нашей связи!

Софья Егоровна. Я обязана была объясниться с ним! Я честная женщина!

Платонов. Знаешь, что ты наделала этим объяснением? Ты рассталась с мужем навсегда!

Софья Егоровна. Да, навсегда... Как же иначе? Платонов, ты начинаешь говорить как... подлец!

Платонов. Навсегда... Что же будет с тобой, когда мы разойдемся? А мы скоро разойдемся! Ты первая перестанешь заблуждаться! Ты первая откроешь глаза и оставишь меня! *(Машет рукой.)* Впрочем... делай, Софья, что хочешь! Ты честней и умней меня, возьми же всю эту некстати заваренную кашу в свое распоряжение! Делай и говори ты! Воскрешай меня, если можешь, поднимай меня на ноги! Скорее только, ради бога, а то я сойду с ума!

Софья Егоровна. Мы завтра уезжаем отсюда.

Платонов. Да, да, едем... Скорей только!

Софья Егоровна. Надо увезти тебя отсюда... Я написала о тебе матери. Мы к ней поедem...

Платонов. К кому хочешь!.. Делай, что знаешь!

Софья Егоровна. Мишель! Ведь новая же жизнь... Пойми ты это!.. Слушайся, Мишель, меня! Пусть всё будет по-моему! У меня свежей голова,

чем у тебя! Верь мне, мой дорогой! Я подниму тебя на ноги! Я повезу тебя туда, где больше света, где нет этой грязи, этой пыли, лени, этой грязной сорочки... Я сделаю из тебя человека... Счастье я тебе дам! Пойми же...

Пауза.

Я сделаю из тебя работника! Мы будем людьми, Мишель! Мы будем есть свой хлеб, мы будем проливать пот, натирать мозоли... *(Кладет голову ему на грудь.)* Я буду работать...

Платонов. Где ты будешь работать? Не такие есть женщины, как ты, посильнее, да и те валятся, как снопы, от безделья! Не умеешь ты работать, да и что ты будешь работать? Наше положение, Соня, таково теперь, что полезнее было бы рассуждать здраво, а не утешать себя иллюзиями... Впрочем, как знаешь!

Софья Егоровна. Увидишь! Есть женщины не такие, как я, но я сильнее их... Веруй же, Мишель! Я освещу путь твой! Ты воскресил меня, и вся жизнь моя будет благодарностью... Едем завтра? Да? Я сейчас пойду в дорогу собираться... Собирайся и ты... В десять часов приходи в избу и приноси свои вещи... Придешь?

Платонов. Приду.

Софья Егоровна. Дай мне честное слово, что ты придешь!

Платонов. А-а-а... Сказал же!

Софья Егоровна. Дай честное слово!

Платонов. Честное слово... Божусь... Уедем!

Софья Егоровна *(смеется)*. Верю, верю! Даже раньше приходи... Я раньше десяти часов буду готова... А ночью и покатим! Заживем, Мишель! Счастья своего ты не понимаешь, глупый человек! Ведь это наше счастье, наша жизнь!.. Завтра же ты будешь другим человеком, свежим, новым! Задышим новым воздухом, потечет в наших жилах новая кровь... *(Хохочет.)* Прочь, ветхий человек! На тебе руку! Жми ее! *(Подает руку.)*

Платонов целует руку.

Софья Егоровна. Приходи же, мой тюлень! Я буду ждать... Не хандри... Прощай пока! Я живо соберусь!.. *(Целует его.)*

Платонов. Прощай... В одиннадцать или в десять?

Софья Егоровна. В десять... Даже раньше приходи! Прощай! Оденься на дорогу поприличней... *(Смеется.)* Денежки у меня есть... Дорогой и поужинаем... Прощай! Пойду собираться... Будь же весел! В десять часов жду! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Платонов *(один)*.

Платонов *(после паузы)*. Не новая песня... Сто раз слышал...

Пауза.

Напишу ему и Саше по письму... Пусть поплачут, простят и забудут!.. Прощай, Войницева! Прощай всё! И Саша, и генеральша... *(Открывает шкаф.)* Завтра я уже новый человек... Страсть какой новый! Во что белье взять? У меня нет чемодана... *(Наливает вино.)* Прощай, школа! *(Пьет.)* Прощайте, мои ребяташки! Исчезает ваш плохой, но добрый Михаил Васильич! Это я пил сейчас? Для чего? Больше не стану пить... Это в последний раз... Сяду писать Саше... *(Ложится на диван.)* Софья искренно верит... Блаженни верующие!.. Смейся, генеральша! А ведь генеральша смеяться будет! Хохотать будет!.. Да! От нее, кажется, письмо было... Где оно? *(Достает с окна письмо.)* Сотое письмо, если не двухсотое после дикой ночи... *(Читает.)* «Вы, Платонов, не отвечающий на мои письма, неделикатный, жестокий, глупый невежда! Если и это письмо оставите без внимания, не явитесь, то, так и быть уж, сама явлюсь к вам, черт с вами! Жду целый день. Глупо, Платонов! Можно подумать, что вам стыдно той ночи. Забудем ее, если уж на то пошло! Сергей и Софья ведут себя прескверно — конец месяцу, вымазанному диким медом. А всё потому, что нет красноречивого болванчика с ними. Вы болванчик. До свиданья!»

Пауза.

А почерк-то какой! Аккуратный, смелый... Запятые, точки, ять, е — всё на своем месте... Женщина, правильно пишущая, редкое явление...

Входит Марко.

Надо будет ей письмо написать, а то придет, пожалуй... *(Увидев Марко.)* Явление...

ЯВЛЕНИЕ III

Платонов и Марко.

Платонов. Милости просим! Кого надобно? *(Поднимается.)*

Марко. К вашему благородию... *(Вынимает из сумки повестку.)* Повесточку к вашей милости...

Платонов. А... Очень приятно. Какую повесточку? Ты от кого?

Марко. От Ивана Андреича, мирового судьи-с...

Платонов. Гм... От мирового? На что я ему сдался? Дай сюда! *(Берет повестку.)* Не понимаю... На крестины зовет, что ли? Плодовит как саранча, старый грешник! *(Читает.)* «В качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием дочери статского советника Марьи Ефимовны Грековой». *(Хохочет.)* Ах, черт возьми! Bravo! Черт возьми! Bravo, клоповый эфир! Когда будет разбираться это дело? Послезавтра? Приду, приду... Скажи, старче, что приду... Умница, ей-богу, умница! Молодец девка! Вот давно бы так и следовало!

Марко. Извольте расписаться-с!

Платонов. Расписаться? Изволь... Ужасно ты, братец, на подстреленную утку похож!

Марко. Никак нет-с...

Платонов (*садится за стол*). На кого же ты похож?

Марко. На образ и подобие божие-с...

Платонов. Так... Николаевский?

Марко. Точно так... После Севастопольской кампании-с отставку получил... Сверх службы четыре года в госпитале пролежал... Унтер-офицер... Я по артиллерии-с...

Платонов. Так... Хороши были пушки?

Марко. Обнаковенные... Круглого диаметра...

Платонов. Карандашом можно?

Марко. Можно-с... Получил сию повестку такой-то. Имя, отчество и фамилия.

Платонов (*встает*). Получи. Пять раз расписался. Ну что твой мировой? Играет?

Марко. Так точно.

Платонов. От пяти часов вечера до пяти часов вечера?

Марко. Точно так.

Платонов. Цепи своей еще не проиграл?

Марко. Никак нет-с.

Платонов. Скажи ему... Впрочем, ничего не говори ему... Карточных долгов, разумеется, не платит... Играет, глупец, должна, а у самого детей целая куча... Ведь этакая она умница, ей-богу! Не ожидал, совсем не ожидал! Свидетелями же кто? Кому еще есть повестки?

Марко (*перебирает повестки и читает*). «Господину доктору Николаю Иванову Трилецкому-с»...

Платонов. Трилецкому? (*Хохочет*.) Можно будет комедь удрать! А еще кому?

Марко (*читает*). «Господину Кириллу Порфирьичу Глагольеву-с, господину Альфонсу Иванову Шрифтеру, его благородию господину отставному гвардии корнету Максиму Егорычу Алеутову-с, сыну действительного статского советника господину гимназисту Ивану Талье, господину кандидату Санкт-Петербургского неперситета»...

Платонов. Там так и написано «неперситета»?

Марко. Никак нет-с...

Платонов. Зачем же ты так читаешь?

Марко. По невежеству-с... (*Читает*.) «... уни... уни... неперситета Сергею Павлычу... Павловичу Войницеву, жене кандидата Санкт-Петербургского уни... неперситета Софье Егоровне госпоже Войницевой, господину студенту Харьковского неперситета Исаку Абрамычу Венгеровичу». Все-с!

Платонов. Гм... Это послезавтра, а завтра ехать нужно... Жалко. Вот был бы, воображаю, процесс... Гм... Экая досада! Доставил бы ей удовольствие... (*Ходит по сцене*.) Досада...

Марко. На чаек бы с вашего благородия...

Платонов. А?

Марко. На чаек бы... Шесть верст шел-с...

Платонов. На чаек? Не нужно... Впрочем, что я говорю? Хорошо, мой милый! На чаек я тебе не дам, а я тебе лучше чайку дам... И мне выгоднее, да и для тебя трезвее... *(Вынимает из шкафа чайницу.)* Подойди сюда... Чай хороший, крепкий... Хоть не сорокаградусный, но крепкий... Во что же тебе дать?

Марко *(подставляет карман)*. Сыпьте-с...

Платонов. Прямо в карман? А не провоняет?

Марко. Сыпьте-с, сыпьте-с... Не сомневайтесь...

Платонов *(сыплет чай)*. Довольно?

Марко. Благодарим покорно...

Платонов. Какой же ты старый... Люблю я вас, старых солдатиков!.. Душа вы народ!.. Но и между вами встречаются иногда такие ужасные...

Марко. Всякие бывают-с... Один господь без греха... Счастливо оставаться!

Платонов. Постой... Сейчас... *(Садится и пишет на повестке.)* «Тогда целовал, потому что... потому что был раздражен и не знал, чего хотел, теперь же поцеловал бы, как святыню. Гадок был с вами, сознаю. Со всеми я гадок. На суде, к сожалению, не увидимся. Завтра уезжаю навсегда. Будьте счастливы и будьте хоть вы справедливы ко мне! Не прощайте!» *(Марку.)* Знаешь, где Грекова живет?

Марко. Знаю-с. Двенадцать верст отсюда, если пройти реку бродом-с.

Платонов. Ну да... В Жилкове... Отнеси ты ей это письмо, и ты получишь три целковых. Барышне прямо отдашь... Ответа не нужно... Будет давать, не бери... Сегодня же отнесешь... Сейчас... Отнесешь, а потом уж разнесешь повестки. *(Ходит по сцене.)*

Марко. Понимаю.

Платонов. Еще что? Да! Будешь говорить всем, что я у Грековой прощения просил и что она меня не простила.

Марко. Понимаю. Счастливо оставаться!

Платонов. Прощай, друг! Будь здоров!

Марко уходит.

ЯВЛЕНИЕ IV

Платонов *(один)*.

Платонов. С Грековой, значит, квиты... На всю губернию осрамит... Так и следует... Первый раз в жизни меня наказывает женщина... *(Ложится на диван.)* Им пакостишь, а они тебе на шею вешаются... Софья, например... *(Закрывает платком лицо.)* Был свободен, как ветер, а теперь лежи вот здесь, мечтай... Любовь... Ато, атоас,

amat...¹Связался... И ее погубил, и себя уважил... *(Вздыхает.)* Бедные Войницевы! А Саша? Бедная девочка! Как-то она заживет без меня? Зачахнет, умрет... Ушла, почувяла правду, ушла с ребенком, не сказав ни одного слова... Ушла после той же ночи... Проститься бы с ней...

Анна Петровна *(в окно)*. Можно войти? Эй! Есть здесь кто-нибудь?

Платонов. Анна Петровна! *(Вскакивает.)* Генеральша! Что ей сказать! Ну зачем ей приходиться сюда, спрашивается? *(Поправляется.)*

Анна Петровна *(в окно)*. Можно войти? Я вхожу! Слышите?

Платонов. Пришла! Каким образом не впустить ее? *(Причесывается.)* Как бы ее спровадить? Выпью, пока еще не вошла... *(Быстро отворяет шкаф.)* И за каким чертом... Не понимаю! *(Быстро выпивает.)* Хорошо, если она еще ничего не знает, ну а если знает? Покраснею...

ЯВЛЕНИЕ V

Платонов и Анна Петровна.

Анна Петровна входит.

Платонов медленно запирает шкаф.

Анна Петровна. Мое почтение! Наше вам!

Платонов. Не запирается...

Пауза.

Анна Петровна. Вы! Здравствуйте!

Платонов. Ах... Это вы, Анна Петровна? Pardon, я и не заметил... Не запирается да и только... Странно... *(Роняет ключ и поднимает.)*

Анна Петровна. Подходите же ко мне! Оставьте шкаф в покое! Оставьте!

Платонов *(подходит к ней)*. Здравствуйте...

Анна Петровна. Что же это вы на меня не смотрите?

Платонов. Стыдно. *(Целует руку.)*

Анна Петровна. Чего стыдно?

Платонов. Всего...

Анна Петровна. Гм... Соблазнил кого-нибудь?

Платонов. Да, в этом роде...

Анна Петровна. Ай да Платонов! Кого же?

Платонов. Не скажу...

Анна Петровна. Сядем...

Садятся на диван.

Узнаем, молодой человек, узнаем... Чего же меня-то стыдиться? Ведь я вашу грешную душу давно уже знаю...

Платонов. Не спрашивайте, Анна Петровна! Не расположен я сегодня присутствовать на собственном допросе. Говорите, если хотите, но не спрашивайте!

Анна Петровна. Ладно. Письма получал?

Платонов. Да.

Анна Петровна. Отчего же не являлся?

Платонов. Не могу.

Анна Петровна. Отчего же не можете?

Платонов. Не могу.

Анна Петровна. Дуетесь?

Платонов. Нет. За что мне дуться? Не спрашивайте, ради бога!

Анна Петровна. Извольте мне отвечать, Михаил Васильич! Сядьте хорошенько! Отчего вы не являлись к нам в эти последние три недели?

Платонов. Болен был.

Анна Петровна. Лжете!

Платонов. Лгу. Не спрашивайте, Анна Петровна!

Анна Петровна. Как от вас виницей несет! Платонов, что это всё значит? Что с вами? На что вы стали похожи? Глаза красные, лицо скверное... Вы грязны, в комнатах грязь... Посмотрите вокруг себя, что это за безобразие? Что с вами? Вы пьете?

Платонов. Ужасно пью!

Анна Петровна. Гм... Прошлогодня история... В прошлом году соблазнил и до самой осени ходил мокрой курицей, так и теперь... Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле. Не смей пить!

Платонов. Не буду...

Анна Петровна. Честное слово? Впрочем, для чего отягощать вас честным словом? *(Встает.)* Где ваше вино?

Платонов указывает на шкаф.

Стыдно, Миша, быть таким малодушным! Где ваш характер? *(Отпирает шкаф.)* А в шкафу-то какой беспорядок! Задаст же вам Александра Ивановна, когда воротится! Хотите, чтобы жена воротилась?

Платонов. Хочу только одного: не задавайте вопросов и не смотрите мне прямо в лицо!

Анна Петровна. В какой бутылке вино?

Платонов. Во всех.

Анна Петровна. Во всех пяти? Ах вы пьяница, пьяница! Да у вас в шкафу целое питейное заведение! Нужно, чтобы Александра Ивановна воротилась... Вы ей объясните как-нибудь... Я соперница не из ужасных... Подельчива... Не в моих планах разводить вас... *(Отпивает из бутылки.)* А вино вкусное... Идите-ка, выпьем немножко! Хотите? Выпьем да и больше пить не будем!

Платонов идет к шкафу.

Держите стакан! *(Льет вино.)* Дуйте! Больше не налью.

Платонов пьет.

А теперь и я выпью... *(Наливает.)* За здоровье плохих! *(Пьет.)* Плохой вы! Хорошее вино! У вас есть вкус... *(Подает ему бутылки.)* Держите-ка! Несите сюда! *(Идут к окну.)* Прощайтесь с вашим вкусным вином! *(Смотрит в окно.)* Выливать жалко... Еще разве выпить, а? Выпьем?

Платонов. Как хотите...

Анна Петровна *(наливает)*. Пейте... Скорей!

Платонов *(пьет)*. За ваше здоровье! Дай бог вам счастья!

Анна Петровна *(наливает и пьет)*. Скучал за мной? Сядем... Поставьте бутылки пока...

Садятся.

Скучал?

Платонов. Каждую минуту.

Анна Петровна. Отчего же не являлся?

Платонов. Не спрашивайте! Ничего я вам не скажу не потому, что я не откровенен с вами, а потому, что жалею ваши уши! Я пропадаю, совсем пропадаю, моя дорогая! Угрызения совести, тоска, хандра... мука, одним словом! Вы пришли, и мне стало легче.

Анна Петровна. Вы похудели, подурнели... Не терплю я этих романических героев! Что вы строите из себя, Платонов? Разыгрываете героя какого романа? Хандра, тоска, борьба страстей, любовь с предисловиями... Фи! Держите себя по-человечески! Живите, глупый человек, как люди живут! Что вы за архангел такой, что вам не живется, не дышится и не сидится так, как обыкновенным смертным?

Платонов. Это говорить легко... Что же делать?

Анна Петровна. Человек живет, мужчина то есть, живет и не знает, что ему делать! Странно! Что ему делать?! Извольте, я отвечу вам на ваш вопрос, как умею, хотя он и не стоит ответа, как вопрос праздный!

Платонов. Ничего вы не ответите...

Анна Петровна. Во-первых, живите по-человечески, то есть, не пейте, не лежите, умывайтесь почаще и ходите ко мне, а во-вторых, будьте довольны тем, что имеете... Глупите, сэр! Мало вам вашего учительства? *(Встает.)* Пойдемте сейчас ко мне!

Платонов. Как? *(Встает.)* К вам идти? Нет, нет...

Анна Петровна. Идемте! Людей увидите, поговорите, послушаете, побранитесь...

Платонов. Нет, нет... И не приказывайте!

Анна Петровна. Почему же?

Платонов. Не могу, вот и всё!

Анна Петровна. Можете! Надевайте вашу шляпу! Идемте!

Платонов. Не могу, Анна Петровна! Ни за что! Шага из дома не сделаю!

Анна Петровна. Можете! *(Надевает на него шляпу.)* Глупишь, брат Платонов, шутишь! *(Берет его под руку.)* Ну? Раз, два!.. Идите, Платонов! Вперед!

Пауза.

Да ну же, Мишель! Идите!

Платонов. Не могу!

Анна Петровна. Упрямится, точно молодой бык! Начинайте шагать! Ну? раз, два... Мишель, голубчик, родненький, хорошенький...

Платонов *(вырывается)*. Не пойду я, Анна Петровна!

Анна Петровна. Пойдем вокруг школы пройдемся!

Платонов. Зачем приставать? Ведь сказал же, что не пойду! Хочу сидеть дома, а потому и позвольте мне делать так, как я хочу!

Пауза.

Не пойду!

Анна Петровна. Гм... Вот что, Платонов... Я вам займу немного денег, а вы уезжайте отсюда куда-нибудь на месяц, на два...

Платонов. Куда?

Анна Петровна. В Москву, в Петербург... Идет? Поезжайте, Мишель! Вам более чем необходимо проветриться! Прокатайтесь, людей посмотрите, в театры сходите, освежитесь, проветритесь... Я вам <дам> денег, писем... Хочешь и я с тобой поеду? Хочешь? Покатаемся, нагуляемся... Приедем сюда обратно обновленными, сияющими...

Платонов. Прелестная идея, но, к несчастью, неисполнимая... Завтра я еду отсюда, Анна Петровна, но не с вами!

Анна Петровна. Как хотите... Куда едете?

Платонов. Еду...

Пауза.

Навсегда уезжаю отсюда...

Анна Петровна. Пустяки... *(Отпивает из бутылки.)* Вздор!

Платонов. Не пустяки, моя дорогая! Еду! Навсегда!!

Анна Петровна. Для чего же, странный вы человек?

Платонов. Не спрашивайте! Ей-богу, навсегда! Уезжаю и... Прощайте, вот что! Не спрашивайте! Ничего вы не узнаете от меня теперь...

Анна Петровна. Вздор!

Платонов. Сегодня только и видимся... Навсегда скроюсь... *(Берет ее за рукав и потом, за плечо.)* Забудьте дурака, осла, подлеца и мерзавца Платонова! Он провалится сквозь землю, стучуется... Встретимся, быть может, через десятки лет, когда оба будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями, а теперь... черт с ним! *(Целует руку.)*

Анна Петровна. На-ка выпей! *(Наливает ему вина.)* Пьяному не грешно молоть чепуху...

Платонов *(выпивает)*. Не буду я пьян... Буду помнить, моя мать, моя хорошая фея!.. Никогда не забуду! Смейся, развитая, светлоголовая женщина! Завтра я бегу отсюда, бегу от самого себя, сам не знаю куда, бегу к новой жизни! Знаю я, что такое эта новая жизнь!

Анна Петровна. Всё это прекрасно, но что с вами поделалось?

Платонов. Что? Я... После всё узнаете! Друг мой, когда вы ужаснетесь моему поступку, не проклинайте меня! Помните, что я уже почти что наказан... Расстаться с вами навсегда больше чем наказание... Чего улыбаетесь? Верьте! Честное слово, верьте! Так горько на душе, так скверно и подло, что рад был бы задушить себя!

Анна Петровна *(сквозь слезы)*. Не думаю, чтобы вы были способны на ужасное что-нибудь... Вы мне напишете по крайней мере?

Платонов. Не посмею я написать к вам, да и вы сами не захотите читать моих писем! Безусловно навсегда... прощайте!

Анна Петровна. Гм... Пропадете вы без меня, Платонов! *(Трет себе лоб.)* Я чуточку опьянела... Поедем вместе!

Платонов. Нет... Завтра всё узнаете и... *(Отворачивается к окну.)*

Анна Петровна. Вам нужны деньги?

Платонов. Нет...

Анна Петровна. А... помочь не могу?

Платонов. Не знаю. Пришлите сегодня мне вашу карточку... *(Оборачивается.)* Уходите, Анна Петровна, или я черт знает чего наделаю! Я разрыдаюсь, отколочу себя и... Уходите! Нельзя мне оставаться! Вам говорят русским языком! Чего же вы ждете? Я должен ехать, поймите вы это! Зачем же так смотреть? Для чего делать такое лицо?

Анна Петровна. Прощайте... *(Подает руку.)* Мы еще увидимся...

Платонов. Нет... *(Целует руку.)* Не нужно... Уходите, моя родная... *(Целует руку.)* Прощайте... Оставьте... *(Закрывает себе лицо ее рукой.)*

Анна Петровна. Раскис, сердечный, растаял... Ну? Пустите руку... Прощайте! Выпьем на прощании, что ли? *(Наливает.)* Пейте!.. Счастливого пути, а после пути счастья!

Платонов пьет.

Остался бы, Платонов! А? *(Наливает и пьет.)* Важно пожили бы... Что за преступление такое? Возможно ли оно в Войницевке?

Пауза.

Налить еще с горя?

Платонов. Да.

Анна Петровна *(наливает)*. Пей, душа моя... Эх, черт возьми!

Платонов *(пьет)*. Будьте счастливы! Живите тут себе... И без меня можно...

Анна Петровна. Пить так пить... *(Наливает.)* И пить умирать, и не пить умирать, так лучше же пить умирать... *(Пьет.)* Пьяница я, Платонов... А? Налить еще? Не нужно, впрочем... Язык свяжет, а чем тогда говорить будем? *(Садится.)* Нет ничего хуже, как быть развитой женщиной... Развитая женщина и без дела... Ну что я значу, для чего живу?

Пауза.

Поневоле безнравственная... Я безнравственная женщина, Платонов... *(Хохочет.)* А? И тебя люблю, может быть, потому, что безнравственная... *(Трет себе лоб.)* Я и пропаду... Такие всегда пропадают... Меня бы куда-нибудь профессором, директором... Будь я дипломатом, я бы весь свет перебалаламутила... Развитая женщина и... без дела. Не нужна, значит... Лошади, коровы и собаки нужны, а ты не нужна, лишняя... А? Что же ты молчишь?

Платонов. Обоим нам плохо...

Анна Петровна. Хоть бы дети были... Ты любишь детей? *(Встает.)* Останься, голубчик! Останешься? Хорошо пожили бы!.. Весело, дружно... Ты уедешь, а я же как? Ведь мне же отдохнуть хочется... Мишель! Мне отдохнуть надо! Я хочу быть... женой, матерью...

Пауза.

Не молчи! Говори! Останешься? Ведь... ведь любишь, чудак? Любишь?

Платонов *(смотрит в окно)*. Убью себя, если останусь.

Анна Петровна. Ведь любишь?

Платонов. Кто вас не любит?

Анна Петровна. Ты меня любишь, я тебя тоже, что же тебе еще нужно? С ума ты сходишь, должно быть... Что тебе еще нужно? Отчего тогда ночью не приходил?

Пауза.

Остаешься?

Платонов. Уходите ради бога! Вы мучаете меня!

Анна Петровна *(подает руку)*. Ну... в таком случае... Желаю всего лучшего...

Платонов. Уйдите же, или я всё расскажу, а если расскажу, то убью себя!

Анна Петровна. Я руку подаю... Не видите? Я вечером забегу на минуту...

Платонов. Не нужно! Сам приду проститься! Сам к вам приду... Ни за что не приду! Не увидишь ты меня больше, и я тебя не увижу! Сама не захочешь увидеть! Отвернешься навсегда! Новая жизнь... *(Обнимает ее и целует.)* В последний раз... *(Выталкивает ее в дверь.)* Прощай! Ступай и будь счастлива! *(Запирает дверь на задвижку.)*

Анна Петровна *(за дверью)*. Клянусь богом, что увидимся!

Платонов. Нет! Прощай! *(Затыкает пальцами уши.)* Ничего не слышу! Молчи и уходи! Я заткнул уши!

Анна Петровна. Ухожу! Я пришлю к тебе Сергея и даю слово, что ты не уедешь, а если уедешь, то со мной! Прощай!

Пауза.

ЯВЛЕНИЕ VI

Платонов *(один)*.

Платонов. Ушла? *(Идет к двери и слушает.)* Ушла... А может быть и не ушла? *(Отворяет дверь.)* Она ведь бес... *(Смотрит за дверь.)* Ушла... *(Ложится на диван.)* Прощай, милая женщина!.. *(Вздыхает.)* И не увижу больше никогда... Ушла... Могла бы еще побыть минут пять...

Пауза.

Это было бы недурно! Попрошу-ка Софью отложить отъезд недели на две, а сам с генеральшей поеду! Право... Две недели — только! Софья согласится... Может пока у матери пожить... Попрошу-ка... а?.. Пока я буду ездить с генеральшей, Софья поотдохнет... сил наберется то есть... Ну да ведь не навеки же уеду!

Стук в двери.

Еду! Решено! Отлично...

Стук.

Кто стучит? Генеральша? Кто там?

Стук.

Это вы? *(Встает.)* Не впущу! *(Идет к двери.)* Она ли это?

Стук.

Хихикает, кажется... *(Смеется.)* Она... Надо впустить... *(Отворяет дверь.)* Ах!

Входит Осип.

ЯВЛЕНИЕ VII

Платонов и Осип.

Платонов. Что такое? Ты, черт? Зачем пожаловал?

Осип. Здравствуйте, Михаил Васильич!

Платонов. Что скажешь? Чему и кому обязан посещением такой важной персоны? Говори скорей и убирайся к черту!

О с и п . Я сяду... (Садится.)

П л а т о н о в . Сделайте такое одолжение!

Пауза.

Ты ли это, Осип? Что с тобой? На лице у тебя написаны все десять египетских казней! Что с тобой поделалось? Ты бледен, худ, тощ... Ты болен?

О с и п . У вас тоже казни на лице написаны... Что с вами поделалось? Меня черт берет, ну а вы?

П л а т о н о в . Я? Я с чертом не знаком... Я сам себя беру... (Трогает Осипа за плечо.) Одни кости!

О с и п . Жирок ваш где? Больны, Михаил Васильич? От хорошего поведения?

П л а т о н о в (садится рядом). Зачем пришел?

О с и п . Проститься...

П л а т о н о в . Разве уезжаешь?

О с и п . Не я уезжаю, а вы уезжаете.

П л а т о н о в . Вот как! А ты почему знаешь?

О с и п . Как не знать!

П л а т о н о в . Не уезжаю, брат, я. Напрасно ты пришел.

О с и п . Уезжаете-с...

П л а т о н о в . И всё ты знаешь, и до всего тебе дело... Ты, Осип, колдун. Еду, любезный. Ты прав.

О с и п . Вот видите ли, значит, знаю. Знаю даже, куда и поедете!

П л а т о н о в . Да? Экий ты какой... А я не знаю. Мудрец, совсем мудрец! Ну-ка скажи, куда?

О с и п . А вам хочется знать?

П л а т о н о в . Помилуй! Интересно! Куда же?

О с и п . На тот свет.

П л а т о н о в . Далеко!

Пауза.

Загадка. Не ты ли отправителем будешь?

О с и п . Так точно. Подорожную вам принес.

П л а т о н о в . Очень приятно!.. Гм... Убить, значит, пришел?

О с и п . Так точно...

П л а т о н о в (дразнит). Так точно... Какое нахальство, черт побери! Он пришел отправить меня на тот свет... Гм... Убивать меня станешь от себя или же по чьему-нибудь поручению?

140

О с и п (показывает четвертную). Вот... Венгерович дал, чтобы я вашу милость покалечил! (Рвет деньги.)

П л а т о н о в . Ага... Старый Венгерович?

О с и п . Он самый. . .

П л а т о н о в . Для чего же это ты порвал деньги? Великодушие свое показать хочешь, что ли?

О с и п . Не умею я великодушие показывать, а для того деньги эти порвал, чтобы вы не подумали на том свете, что я вас из-за денег убил.

Платонов встает и ходит по сцене.

Боитесь, Михаил Васильич? Страшно? *(Смеется.)* Бежите, кричите! Около дверей не стою, дверей не держу: выход есть. Подите народ сзывайте, скажите, что Осип убить пришел! А убить пришел. . . Не верите?

Пауза.

П л а т о н о в *(подходит к Осипу и смотрит на него)*. Удивительно!

Пауза.

Что улыбаешься? Дурак! *(Бьет его по руке.)* Не улыбаться! С тобой говорят! Молчать! Я тебя повешу! Я из тебя мочалу сделаю, разбойник! *(Быстро отходит от него.)* Впрочем. . . Не серди меня. . . Мне нельзя сердиться. . . Мне больно.

О с и п . Ударьте меня по щеке за то, что я вредный человек!

П л а т о н о в . Сколько угодно! *(Подходит к Осипу и дает ему пощечину.)* Что? Шатаешься? Подожди, не так еще зашатаешься, когда сотни палок будут дробить твою пустую голову! Помнишь, как умер рябой Филька?

О с и п . Собаке собачья и смерть.

П л а т о н о в . В-в-в. . . как ты отвратителен, тварь! Я исковеркать тебя готов, негодяй! За что ты вредишь им, подлая душа, как болезнь, как шальной огонь? Что они сделали тебе? В-в-в. . . Мерзавец!! *(Бьет его по щеке.)* Гадость! Я тебя. . . я тебя. . . *(Быстро отходит от Осипа.)* Ступай!

О с и п . Плюньте мне в глаза за то, что я вредный человек!

П л а т о н о в . Слюны жалко!

О с и п *(поднимается)*. А вы смеете так говорить?

П л а т о н о в . Ступай отсюда, пока я тебя с грязью не смешал!

О с и п . Не смеете! Вы тоже вредный человек!

П л а т о н о в . Ты еще разговаривать со мной станешь? *(Подходит к нему.)* Ты убить, кажется, пришел? На! Убивай! Вот он я! Убивай же!

О с и п . Уважал я вас, господин Платонов, за важного человека почитал! Ну а теперь. . . Жалко убивать, да надо. . . Уж вредны очень. . . Зачем к вам сегодня молодая барыня приходила?

П л а т о н о в *(треплет его за грудь)*. Убивай! Убивай же!

О с и п . А генеральша зачем после нее приходила? Вы генеральшу обманываете, значит? А жена ваша где? Какая из них троих самая настоящая? а? И вы не вредный человек после этого? *(Быстро валит его через ногу и падает вместе с ним на пол.)*

П л а т о н о в . Прочь пошел! Я убью, а не ты убьешь! Я сильнее тебя!

Борются.

Тише!

О с и п . Вы на живот повернитесь! Руки-то не крутите! Рука нисколько не виновата, за что ее крутить? Ну вот еще! На том свете будете, генералу Войницеву от меня поклон нижайший!

П л а т о н о в . Пусти!

О с и п (*вынимает из-за пояса нож*). Тише! Всё одно убью! А у вас сила! Важный человек! Не хочется помирать? Не трогай того, что не для тебя положено!

П л а т о н о в (*кричит*). Руку! Постой, постой... Руку!

О с и п . Не хочется помирать? Сейчас вы в царстве небесном будете...

П л а т о н о в . В спину только не бей, железное животное, в грудь бей! Руку! Пусти, Осип! Жена, сын... Это нож блестит? О злоба проклятая!

Вбегает С а ш а .

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и С а ш а .

С а ш а (*вбегает*). Что такое? (*Вскрикивает.*) Миша! (*Бежит к борющимся и падает на них.*) Что вы делаете?

О с и п . Кто это? Александра Ивановна? (*Вскакивает.*) Живой останется! (*Саше.*) Натё вам ножик! (*Дает нож.*) При вас не зарежу... Живой останется!! После зарежу! Не уйдет! (*Выскакивает в окно.*)

П л а т о н о в (*после паузы*). Экий черт... Здорово, Саша! Это ты, кажется? (*Стонет.*)

С а ш а . Он не повредил тебя? Можешь встать? Скорей!

П л а т о н о в . Не знаю... Эта тварь из чугуна вылита... Дай мне руку! (*Поднимается.*) Не пугайся, моя родная... Я целехонек. Он меня помял только...

С а ш а . Какой же он подлый человек! Говорила ведь я тебе, чтоб ты его не трогал!

П л а т о н о в . Где диван? Ну что смотришь? Жив твой изменник! Не видишь разве? (*Ложится на диван.*) Спасибо, что пришла, а то быть бы тебе вдовушкой, а мне покойником!

С а ш а . Ложись на подушку! (*Кладет ему под голову подушку.*) Вот так! (*Садится ему на ноги.*) Ничего не болит?

Пауза.

Зачем ты закрыл глаза?

П л а т о н о в . Нет, нет... Это я так... Пришла, Саша? Пришло, мое сокровище? (*Целует руку.*)

С а ш а . Коля наш заболел!

П л а т о н о в . Что с ним?

С а ш а . Кашель такой, жар, сыпь... Две ночи уж не спит и кричит... Не пьет, не ест... *(Плачет.)* Сильно он захворал, Миша! Боюсь я за него!.. Так боюсь! И сон снился нехороший...

П л а т о н о в . Что же твой братец смотрит? Ведь он лекарь!

С а ш а . Что он? Разве он может сочувствовать? Он четыре дня тому назад заехал на минутку, покрутился и уехал. Я ему рассказываю про Колину болезнь, а он щипается да зевает... Дурой назвал...

143

П л а т о н о в . Вот еще тоже балбес! Он и себя когда-нибудь прозевает! И от себя уедет, когда заболит!

С а ш а . Что делать?

П л а т о н о в . Уповать... Ты у отца теперь живешь?

С а ш а . Да.

П л а т о н о в . Он же что?

С а ш а . Ничего. Ходит себе по комнате, трубку курит да к тебе съездить собирается. Я приехала к нему встревоженная, ну а он и догадался, что я... что мы с тобой... Что с Колей делать?

П л а т о н о в . Не беспокойся, Саша!

С а ш а . Как же не беспокоиться? Умри он, чего не дай господи, что с нами тогда будет?

П л а т о н о в . Да... Не возьмет бог у тебя нашего мальчишку! За что тебя наказывать? Разве за то, что за шалопая замуж вышла?

Пауза.

Береги, Саша, моего маленького человечка! Сбереги ты мне его, и клянусь я тебе всем святым, что я сделаю из него человека! Каждый его шаг будет твоею радостью! А ведь он, бедняга, тоже Платонов! Фамилию бы ему только переменить... Как человек я мал, ничтожен, но как отец я буду велик! Не бойся за его судьбу! Ох, рука! *(Стонет.)* Рука у меня болит... Сильно помял ее тот разбойник... Что с ней? *(Рассматривает руку.)* Красна... Ну черт с ней! Так-то, Саша... Счастлива будешь ты сыном! Смеешься... Смейся, мое золото! А теперь плачешь? Чего же ты плачешь? Гм... Не плачь, Саша! *(Обнимает ее голову.)* Пришла... А зачем уходила? Не плачь, суслик! Для чего слезы? Ведь люблю тебя, девочка!.. Сильно люблю! Велика моя вина, но что поделаешь? Простить надо... Ну, ну...

С а ш а . Интрига кончилась?

П л а т о н о в . Интрига? Что это за слово, мешаночка?

С а ш а . Не кончилась?

П л а т о н о в . Как тебе сказать? Интриги нет никакой, но есть какая-то чудовищная галиматья... Не смущайся сильно этой галиматией! Если не кончилась она, то скоро... кончится!

144

С а ш а . Когда же?

Платонов. Надо думать, что скоро! Скоро заживем, Саша, по-старому! Пропади оно, всё новое! Измучился весь, истаскался... Не верь ты в прочность этого узла, как я не верю! Не туго он затянут... Сама она первая охладает и первая взглянет со смехом и горечью на этот узел. Не пара мне Софья. В ней бродит то, что во мне давно уже перебродило; она со слезами умиления смотрит на то, что я не могу видеть без смеха... Не пара она мне...

Пауза.

Верь мне! Софья недолго будет твоей соперницей... Саша, что с тобой?

Саша встает и шатается.

(Поднимается.) Саша!

Саша. Ты... ты с Софьей, а не с генеральшей?

Платонов. Первый раз об этом слышишь?

Саша. С Софьей?.. Подло... низко...

Платонов. Что с тобой? Ты бледна, шатаешься... *(Стонет.)* Не мучь хоть ты меня, Саша! Рука болит, а тут ты еще... Неужели это... это для тебя новость? В первый раз слышишь? Отчего же ты тогда ушла? Разве не от Софьи?

Саша. С генеральшей уж так и сяк, ну а с чужой женой?! Низко, грешно... Не ожидала я от тебя такой подлости! Бог тебя накажет, бессовестный человек! *(Идет к двери.)*

Платонов *(после паузы)*. Возмущена? Но куда ты?

Саша *(останавливается у двери)*. Дай бог счастья...

Платонов. Кому?

Саша. Вам и Софье Егоровне.

Платонов. Глупых романов начиталась, Саша! Я для тебя еще «ты»: у нас мальчишка есть, и я... все-таки же твой муж! А во-вторых, не нужно мне счастья!.. Останься, Саша! Ты вот уходишь... И, небось, навсегда?

Саша. Не могу! Ох, боже мой, боже мой...

Платонов. Не можешь?

Саша. Боже мой... И неужели это правда? *(Берется руками за виски и приседает.)* Я... Я не знаю, что делать...

Платонов. Не можешь? *(Подходит к ней.)* Твоя воля... А то осталась бы! Зачем реветь, дурочка?

Пауза.

Эх, Саша, Саша... Велик мой грех, но неужели уж и простить нельзя?

Саша. А сам ты себя простил?

Платонов. Философский вопрос! *(Целует ее в голову.)* Осталась бы... Каюсь ведь! Ведь без тебя водка, грязь, Осипы... Замучился! Сиделкой, а не женой останься! Станный народ вы, женщины! Станна ты, Саша! Если ты кормишь негодяя Осипа, не даешь покоя своим милосердием собакам и кошкам, читаешь до полночи акафисты за каких-то врагов своих, то что стоит

тебе бросить ломоть своему провинившемуся, кающемуся мужу? Зачем и ты являешься палачом? Останься, Саша! *(Обнимает ее.)* Не могу без няньки! Я негодяй, я у друга жену отнял, я любовник Софьи, быть может даже любовник и генеральши, я многоженец, большой мошенник с точки зрения семьи... Возмущайся, негодуй! Но кто тебя так любить будет, как я люблю? Кто оценит тебя так дорого, бабенка, как я оценил? Кому ты обед варить будешь, чей суп пересаливать? Права будешь, коли уйдешь... Справедливость этого требует, но... *(поднимает ее)* кто тебя поднимать так будет? Возможна ли ты, золото, без меня?

Саша. Не могу! Пусти меня! Я пропала! Ты шутишь, а я пропадаю! *(Вырывается.)* Ведь знаешь, что это не шутка? Прощай! Не могу я жить с тобой! Теперь все тебя будут считать подлым человеком! Каково же мне?! *(Рыдает.)*

Платонов. Ступай с богом! *(Целует ее в голову и ложится на диван.)* Я понимаю...

Саша. Разбил нашу семью... Счастливо, покойно жили... Счастливей меня никого и не было на свете... *(Садится.)* Что ты наделал, Миша? *(Встает.)* Что ты наделал? Ведь не воротишь теперь... Пропащая я... *(Рыдает.)*

Платонов. Иди с богом!

Саша. Прощай! Не увидишь меня больше! Не ездь к нам... Колю к тебе отец будет возить... Бог тебя простит, как я прощаю! Погубил ты нашу жизнь!

Платонов. Ты ушла?

Саша. Ушла... Хорошо... *(Смотрит некоторое время на Платонова и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Платонов *(один)* и потом Войницев.

Платонов. Вот для кого начинается новая жизнь! Больно!! Всего лишаясь... С ума схожу! Боже мой! Саша, комашка, клоп — и та осмеливается, и та... в силу какой-то святости имеет право бросать в меня камень! Проклятые обстоятельства! *(Ложится на диван.)*

Войницев входит и останавливается у двери.

(После паузы.) Это эпилог или еще только комедия? *(Увидев Войницева, закрывает глаза и слегка храпит.)*

Войницев *(подходит к Платонову).* Платонов!

Пауза.

Ты не спишь... Я вижу это по твоему лицу... *(Садится возле.)* Не думаю, чтобы... можно было спать...

Платонов поднимается.

(Встает и смотрит в окно.) Ты меня убил... Ты это знаешь?

Пауза.

Благодарю... Мне что? Бог с тобой... Пусть. Значит, так тому и быть... *(Плачет.)*

Платонов встает и медленно идет в другой угол комнаты.

Раз получил от судьбы подарок и... тот отняли! Мало ему его ума, его красоты, его великой души... Ему понадобилось еще мое счастье! Отнял... А я? Что я? Я ничего... Так... Больной, недалекого ума, женоподобный, sentimentalный, обиженный богом... С склонностью к безделью, мистицизму, суеверный... Добил друг!

Платонов. Уйди отсюда!

Войницев. Сейчас... Шел на дуэль вызвать, а пришел и разревелся... Я уйду.

Пауза.

Я окончательно потерял?

Платонов. Да.

Войницев *(свистит.)* Так... Разумеется...

Платонов. Уйди отсюда! Я прошу! Уйди!

Войницев. Сейчас... Что мне здесь делать? *(Идет к двери.)* Нечего мне здесь делать...

Пауза.

Отдай мне ее назад, Платонов! Будь добр! Моя ведь она! Платонов! Ты и так счастлив! Спаси, голубчик! А? Отдай! *(Рыдает.)* Ведь она моя! Моя! Понимаешь?

Платонов *(идет к дивану)*. Уходи... Я застрелюсь... Клянусь честью!

Войницев. Не надо... Бог с вами! *(Машет рукой и уходит.)*

Платонов *(хватает себя за голову)*. О несчастный, жалкий! Боже мой! Проклятие моей богом оставленной голове! *(Рыдает.)* Прочь от людей, гадина! Несчастьем был я для людей, люди были для меня несчастьем! Прочь от людей! Бьют, бьют и никак не убьют! Под каждым стулом, под каждой щепкой сидит убийца, смотрит в глаза и хочет убить! Бейте! *(Бьет себя по груди.)* Бейте, пока еще сам себя не убил! *(Бежит к двери.)* Не бейте меня по груди! Растерзали мою грудь! *(Кричит.)* Саша! Саша, ради бога! *(Отворяет дверь.)*

Входит Глагольев 1.

ЯВЛЕНИЕ X

Платонов, Глагольев 1 и потом Глагольев 2.

Глаголев 1 (*входит окутанный, с костылем*). Вы дома, Михаил Васильич? Очень рад... Я вам помешал... Но я не задержу вас, я сейчас же уйду... Задам вам один вопрос. Вы ответите, и я уйду. Что с вами, Михаил Васильич? Вы бледны, шатаетесь, дрожите... Что с вами?

Платонов. Что со мной? А? Я пьян, должно быть, или... схожу с ума! Я пьян... пьян... Голова кружится...

Глаголев 1 (*в сторону*). Спрошу! Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке. (*Ему.*) Вопрос странен, может быть даже глуп, но, ради бога, ответьте мне, Михаил Васильич! Вопрос мой для меня жизненный вопрос! Ответу вашему я поверю, потому что я знаю вас за честнейшего человека... Пусть мой вопрос покажется вам странным, нелепым, глупым и даже, быть может, оскорбительным, но, ради бога... ответ! Я нахожусь в страшном положении! Наша общая знакомая... Вы ее хорошо знаете... Я считал ее совершенством в человеческом смысле... Анна Петровна Войничева... (*Поддерживает Платонова.*) Не упадите, ради бога!

Платонов. Уйдите! Я всегда считал тебя... вас глупым стариком!

Глаголев 1. Вы друг ее, вы знаете ее, как свои пять пальцев... Ее мне или оклеветали, или... открыли мне глаза... Она честная женщина, Михаил Васильич? Она... она... Имеет ли она право быть женою честного человека?

Пауза.

Не знаю, как формулировать свой вопрос... Поймите меня, ради бога! Мне сказали, что она...

Платонов. Всё подло, низко, грязно на этом свете! Всё... подло... низко... (*Падает без чувств на Глаголева и валится на землю.*)

Глаголев 2 (*входит*). Что же ты застрял здесь? Я не намерен ждать!

Глаголев 1. Всё подло, грязно, низко... Всё, в том числе, значит, и она...

Глаголев 2 (*смотрит на Платонова*). Отец, что это с Платоновым?

Глаголев 1. Отвратительно пьян... Да, подло, грязно... Глубокая, беспощадная, колючая правда!

Пауза.

Едем в Париж!

Глаголев 2. Что?! В Па... В Париж? Зачем тебе в Париж? (*Хохочет.*)

Глаголев 1. Валяться так, как этот валяется! (*Указывает на Платонова.*)

Глаголев 2. Валяться... в Париже?!

Глаголев 1. Едем искать счастья на другом поприще! Довольно! Полно играть комедию для самого себя, морочить себя идеалами! Нет больше ни веры, ни любви! Нет людей! Едем!

Глаголев 2. В Париж?

Глаголев 1. Да... Если грешить, то грешить на чужой, а не на родной земле! Пока еще не сгнили, заживем по-людски! Будь учителем, сын! Едем в Париж!

Глагольев 2. Вот это мило, отец! Ты научил меня читать, а я научу тебя жить! Едем!

Уходят.

< К о н е ц т р е т ь е г о д е й с т в и я >

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Кабинет покойного генерала Войницева. Две двери. Старинная мебель, персидские ковры, цветы. Стены увешаны ружьями, пистолетами, кинжалами (кавказской работы) и т. п. Семейные портреты. Бюсты Крылова, Пушкина и Гоголя. Этажерка с чучелами птиц. Шкаф с книгами. На шкафу мундштуки, коробки, палки, ружейные стволы и т. п. Письменный стол, заваленный бумагами, портретами, статуэтками и оружием. Утро.

ЯВЛЕНИЕ I

Софья Егоровна и Катя входят.

Софья Егоровна. Вы не волнуйтесь! Говорите толком!

Катя. Что-то нехорошее делается, барыня! Двери и окна все настежь, в комнатах переворочено, перебито... Дверь сорвана с крючьев... Что-то нехорошее случилось, барыня! Недаром у нас курица петухом пела!

Софья Егоровна. Что же вы думаете?

Катя. Ничего не думаю, барыня. Что я могу думать? Знаю только, что случилось что-то... Или Михаил Васильич уехали совсем, или же руку на себя наложили... У них, барыня, горячий характер! Я их уж два года знаю...

Софья Егоровна. Нет... На деревне вы были?

Катя. Была-с... Нету нигде... Часа четыре ходила...

Софья Егоровна *(садится)*. Что делать? Что же делать?

Пауза.

Вы уверены в том, что его здесь нигде нет? Уверены?

Катя. Не знаю, барыня... Нехорошее что-то случилось... Недаром у меня сердце ноет! Бросьте, барыня! Грех ведь! *(Плачет.)* Барина Сергея Павловича жалко... Красавец был такой, а на что похож стал? Измаялся за два дня, сердечный, и как шальной ходит. Перевелся хороший господин... Михаила Васильича жалко... Бывало, самый веселый человек был, проходу, бывало, от его веселости не было, а теперь он на смерть похож стал... Бросьте, барыня!

Софья Егоровна. Что бросить?

Катя. Любовь. Что с нее толку? Одна только срамота. И вас жалко. На что вы похожи стали? Похудали, не пьете, не кушаете, не спите, а одно только и делаете, что кашляете...

Софья Егоровна. Ступайте, Катя, опять! Может быть, он уже в школе.

Катя. Сейчас...

Пауза.

Вы бы спать легли.

Софья Егоровна. Ступайте, Катя, опять! Вы ушли?

Катя *(в сторону)*. Не мужицкого ты звания! *(Резко, плаксиво.)* Куда же мне идти, барыня?

Софья Егоровна. Мне спать хочется. Я всю ночь не спала. Не кричи так громко! Уйди отсюда!

Катя. Слушаю... Напрасно вы себя так изводите!.. Шли бы к себе в комнату да легли бы на постель! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Софья Егоровна и потом Войницев.

Софья Егоровна. Ужасно! Дал вчера честное слово явиться в избу к десяти часам и не явился... Ждала его до рассвета... И это честное слово! Это любовь, это наш отъезд!.. Он не любит меня!

Войницев *(входит)*. Спать лягу... Может быть, усну как-нибудь... *(Увидев Софью Егоровну.)* Вы... у меня? В моем кабинете?

Софья Егоровна. Я здесь? *(Смотрит кругом.)* Да... Но я зашла сюда нечаянно, сама того не замечая... *(Идет к двери.)*

Войницев. На минуту!

Софья Егоровна *(останавливается)*. Ну?

Войницев. Дайте мне, пожалуйста, минуты две-три... Можете вы здесь побыть две-три, минуты?

Софья Егоровна. Говорите! Вы сказать что-нибудь хотите?

Войницев. Да...

Пауза.

Прошло то время, когда мы в этой комнате не были чужими друг для друга...

Софья Егоровна. Прошло.

Войницев. Извините впрочем, я заговариваться стал. Вы уезжаете?

Софья Егоровна. Да.

Войницев. Гм... Скоро?

Софья Егоровна. Сегодня.

Войницев. С ним?

Софья Егоровна. Да.

Войницев. Желаю вам счастья!

Пауза.

Хороший материал для счастья! Разыгравшаяся плоть и несчастье другого... Несчастье другого всегда бывает чьим-нибудь счастьем! Впрочем, это старо... Новая ложь охотнее слушается, чем старая истина... Бог с вами! Живите, как знаете!

Софья Егоровна. Вы хотели что-то сказать.

Войницев. А разве я молчу? Ну да... Вот что я хотел сказать... Я хочу, чтобы я пред вами был совершенно чист, не был бы вам должен, а потому прошу вас извинить за мое вчерашнее поведение... Я вчера вечером наговорил вам дерзостей, был груб, зол... Извините, пожалуйста... Извиняете?

Софья Егоровна. Извиняю. *(Хочет уйти.)*

Войницев. Пойдите же, пойдите, еще не всё! Я скажу еще что-нибудь. *(Вздыхает.)* Я сумасшедший, Софи! Не в силах перенести этот страшный удар... Я сумасшедший, но еще пока всё понимаю... В моей голове среди необъятного тумана, в массе чего-то такого серого, свинцового, тяжелого торчит светлый кусочек, которым я всё понимаю... Оставит меня и этот кусочек, ну тогда, значит... совсем пропал. Я всё понимаю...

Пауза.

Это стою я в своем кабинете; в этом кабинете жил когда-то мой отец, свиты его величества генерал-майор Войницев, георгиевский кавалер, человек великий, славный! На нем видели одни только пятна... Видели, как он бил и топтал, а как его били и топтали, никто не хотел видеть... *(Указывает на Софью Егоровну.)* Это моя экс-жена...

Софья Егоровна хочет уйти.

Войницев. Пойдите! Дайте договорить! Глупо говорю, но выслушайте! В последний раз ведь!

Софья Егоровна. Всё вы уже сказали... Что вы еще можете сказать? Расстаться нужно... Что же еще тут говорить? Вам хочется доказать, что я виновата перед вами? Не трудитесь! Я знаю, что мне думать о себе самой...

Войницев. Что я могу сказать? Ох, Софья, Софья! Ничего ты не знаешь! Ничего, иначе ты не смотрела бы так надменно! Что выделывается в душе моей, так это ужас! *(Становится перед ней на колени.)* Что ты делаешь, Софи? Куда ты пхаешь себя и меня? Ради бога, пожалей! Умираю и схожу с ума! Останься со мной! Всё забуду, всё простил уже... Буду твоим рабом, любить тебя буду... буду, как доселе не любил! Я дам тебе счастье! Ты будешь счастлива у меня, как богиня! Не даст он тебе счастья! И себя погубишь, и его погубишь! Погубишь Платонова, Софья!.. Знаю, что насильно мил не будешь, но останься! Опять ты будешь весела, не будешь так мертвецки бледна, так несчастлива! Опять я буду человеком, опять будет ходить к нам... Платонов! Утопия, но... останься! Воротим прошлое, пока еще не поздно! Платонов согласится... Я знаю его... Он не любит тебя, а так... ты отдалась ему, а он и взял... *(Встает.)* Ты плачешь?

Софья Егоровна *(встает)*. Не принимайте этих слез на свой счет! Может быть, Платонов согласится... Пусть соглашается! *(Резко.)* Вы все подлые люди! Где Платонов?

Войницев. Не знаю я, где он.

Софья Егоровна. Не приставайте ко мне! Отстаньте! Я вас ненавижу! Убирайтесь прочь! Где Платонов? Подлые люди... Где он? Ненавижу я вас!

Войницев. За что?

Софья Егоровна. Где он?

Войницев. Я дал ему денег, и он обещал мне уехать. Если он исполнил свое обещание, то, значит, уехал.

Софья Егоровна. Вы его подкупили? Что вы лжете?

Войницев. Я дал ему тысячу рублей, и он отказался от вас. Впрочем, лгу! Всё это я лгу! Не верьте вы мне, ради бога! Жив и здоров этот проклятый Платонов! Подите берите его, целуйтесь с ним!.. Не подкупал я его! И неужели вы... он будет счастлив? И это моя жена, моя Софья... Что же всё это значит? И до сих пор даже не верю! Вы с ним платонически? Не дошло еще до... крупного?

Софья Егоровна. Я его жена, любовница, что хотите! *(Хочет уйти.)* Для чего задерживать? У меня нет времени выслушивать разные...

Войницев. Постой, Софья! Ты его любовница? С какой же это стати? Ты так смело говоришь! *(Хватает ее за руку.)* И ты могла? Ты могла?

Входит Анна Петровна.

Софья Егоровна. Отстаньте! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Войницев и Анна Петровна.

Анна Петровна входит и смотрит в окно.

Войницев *(машет рукой)*. Шабаш!

Пауза.

Что там?

Анна Петровна. Осипа мужики убили.

Войницев. Уже?

Анна Петровна. Да... Около колодезя... Видишь? Вон он!

Войницев *(смотрит в окно)*. Что ж? Так ему и надо.

Пауза.

Анна Петровна. Слышал, сынок, новости? Платонов, говорят, куда-то исчез и... Читал письмо?

Войницев. Читал.

Анна Петровна. Тю-тю именье! Как тебе это нравится? Сплыло... Бог дал, бог и взял... Вот тебе и хваленый коммерческий фокус! А всё потому, что Глагольеву поверили... Обещался купить имение, а на торгах не был... Прислуга говорит, что в Париж уехал... Сострил, каналья, на старости лет! Не будь его, платили бы мы с тобой потихонечку проценты да жили бы... *(Вздыхает.)* Не следует на этом свете доверять врагам, а заодно уж с ними и друзьям!

Войницев. Да, не следует верить друзьям!

Анна Петровна. Ну, феодал? Что теперь делать будешь? Куда пойдешь? Бог предкам дал, а у тебя взял... Ничего у тебя не осталось...

Войницев. Мне всё одно.

Анна Петровна. Нет, не всё одно. Кушать что будешь? Давай сядем... *(Садятся.)* Как ты мрачен... Что ж делать? Жалко расставаться с гнездышком, но что же поделаешь, голубчик мой? Не воротишь... Так тому и быть, значит... Будь умницей, Сержель! Первое дело — хладнокровие.

Войницев. Не обращайтесь на меня внимания, татам! Что уж обо мне-то говорить? Вы сами едва сидите... Утешьте сперва себя самое, а потом придите и меня утешать.

Анна Петровна. Ну... Не о бабах речь... Баб всегда на задний план... Первое дело — хладнокровие! Ты потерял то, что у тебя было, а важно не то, что было, а то, что впереди. У тебя целая жизнь впереди, хорошая, трудовая, мужская жизнь! Чего же тебе горевать? Поступишь в прогимназию или гимназию, начнешь работать... Ты у меня молодец. Филолог, благонамеренный такой, ни в какие дела нехорошие не суешься, убеждения имеешь, тихоня, женат... Коли захочешь, ты далеко пойдешь! Умница ты у меня мальчик! Не надо только с женою ссориться... Не успели пожениться, как уже и ссоритесь... Отчего ты мне не скажешь, Сержель? Болеешь душой, а молчишь... Что происходит между вами?

Войницев. Не происходит, а уже произошло.

Анна Петровна. Что же? Или, может быть, секрет?

Войницев *(вздыхает)*. Страшное несчастье стряслось над нашим домом, мама Анюта! Отчего я вам не сказал до сих пор? Не знаю. Все надеялся, да и стыдно говорить... Сам только вчера утром узнал... А на имение мне наплевать!

Анна Петровна *(смеется)*. Как ты меня пугаешь! Рассердилась, что ли?

Войницев. Смейтесь! Подождите, не так еще засмеетесь!

Пауза.

Она изменила мне... Честь имею рекомендоваться: рогатый муж!

Анна Петровна. Что за глупости, Сергей?! Что за глупые фантазии! Говорить о таких чудовищных вещах и говорить не думая! Удивительный ты человек! Иногда такое сморозишь, что просто уши вянут! Рогатый муж... Не знаешь ты, значит, что это значит...

Войницев. Знаю, татам! Не теоретически, но уже практически знаю!

Анна Петровна. Жены своей не оскорбляй, чудак! Ах...

Войницев. Клянусь вам богом!

Пауза.

Анна Петровна. Странно... О невозможных вещах говоришь ты. Ты клеветешь! Невозможно! Здесь, в Войницевке?

Войницев. Да, здесь, в вашей проклятой Войницевке!

Анна Петровна. Гм... Да кому здесь, в нашей проклятой Войницевке, может залезть в голову невозможная мысль поставить на твою аристократическую голову рога? Совершенно некому! Младшему Глагольеву разве? Наверяд, Глагольев перестал к нам ездить... Твоя Софи никому здесь не под стать. Глупо ревнуешь, милый!

Войницев. Платонов!

Анна Петровна. Что Платонов?

Войницев. Он.

Анна Петровна (*вскакивает*). Можно говорить глупости, но такие глупости, как ты сейчас сказал, послушай... Сморозил!! Меру знать нужно! Непростительно глупо!

Войницев. Спросите ее, подите спросите его самого, если не верите! Сам не хотел и не хочу верить, а она уезжает сегодня, оставляет меня! Нужно верить! И он с ней едет! Да неужели же, наконец, вы не видите, что я хожу и смотрю на свет белый, как дохлая кошка! Я пропадаю!

Анна Петровна. Не может быть этого, Сергей! Это плод твоей мальчишеской фантазии! Верь мне! Ничего этого нет!

Войницев. Верьте мне, что она уезжает сегодня! Верьте, что она не перестает в эти последние два дня твердить мне, что она его любовница! Она сама! Произошло такое, чему невозможно поверить, но приходится помимо желанья и сверх всяких сил верить!

Анна Петровна. Помню, помню... Теперь всё понимаю... Дай стуло, Сергей! Нет, не нужно... Так вот оно что! Гм... Постой, постой, дай припомнить, как следует...

Пауза.

Входит Бугров.

ЯВЛЕНИЕ IV

Анна Петровна, Войницев и Бугров.

Бугров (*входит*). Здравствуйтесь-с! С воскресным днем-с! Живы, здоровы-с!

Анна Петровна. Да-да-да... Это ужасно...

Бугров. Дождик идет, а жарко... (*Утирает лоб.*) Ффф... Сваришься, покедова дойдешь или доедешь... Здоровы-с?

Пауза.

Я собственно по тому случаю заехал к вам-с, что вчерась были торги, как вам известно... А к тому как это, знаете, немножко (*смеется*) для вас, разумеется, чувствительно и обидно, то я... то вы на меня не обижайтесь, сделайте милость! Не я купил именье! Купил его Абрам Абрамыч, а на мое имя только...

158

Войницев (*сильно звонит*). Черт бы их побрал...

Бугров. Так-то-с... Вы не подумайте-с... Не я-с... Следовательно, на мое только имя, стало быть! *(Садится.)*

Яков входит.

Войницев *(Якову)*. Сколько раз я просил вас, подлецов, мерзавцев *(кашляет)*, негодяев, не впускать никого без доклада! Перепороть вас всех, скотов! *(Бросает звонок под стол.)* Вон отсюда! Мерзавцы... *(Ходит по сцене.)*

Яков пожимает плечами и уходит.

Бугров *(кашляет)*. На мое имя, только-с... Абрам Абрамыч приказал передать, что жить можете тут сколько вашей душе угодно, хоть до Рождества... Переделочки тут кое-какие будут, ну да они вам не помешают-с... А ежели что такое, и во флигель можете перебраться... Комнат много, да и тепло-с... Он приказал еще спросить-с, не желаете ли вы продать мне, то есть на мое имя, шахты? Шахты ваши-с, Анна Петровна... Вот не желаете ли в настоящее время продать их? Цену хорошую дадим...

Анна Петровна. Нет... Не продам никакому черту я шахт! Что вы мне за них дадите? Грош? Подавитесь этим грошом!

Бугров. Абрам Абрамыч велел еще передать, что в случае ежели если не угодно будет-с вам, Анна Петровна, продать ему свои шахты с вычетом долга Сергея Павлыча и покойника его превосходительства Павла Иваныча, то он протестует векселя... И я тоже протестую-с... Хи-хи-с... Дружба дружбой, знаете, а денежки врозь... Коммерция! Проклятое дело такое. Я, того... купил ваши векселя у Петрина...

Войницев. Никому я не позволю рассчитывать на имение моей мачехи! Ее имение — не мое!..

Бугров. Они, может быть, сжалятся...

Войницев. Некогда мне с вами разговаривать!.. Э-э... *(Машет рукой.)* Делайте, что хотите!

Анна Петровна. Оставьте нас, Тимофей Гордеич! Извините... Уйдите, пожалуйста!

Бугров. Слушаю-с... *(Встает.)* Так вы не извольте беспокоиться... Жить здесь можете хоть до Рождества. Я завтра или послезавтра заеду-с. Будьте здоровы-с! *(Уходит.)*

Анна Петровна. Завтра же выедем отсюда! Да, теперь помню... Платонов... Так вот оно то, от чего он бежит!..

Войницев. Пусть делают, что хотят! Пусть всё берут! Нет у меня уж больше жены, ничего же мне и не нужно! Нет жены, тапан!

Анна Петровна. Да, нет у тебя больше жены... Но что он нашел в этой размазне Софье? Что он нашел в этой девчонке? Что он мог в ней найти? Как неразборчивы эти глупые мужчины! Они способны увлечься всякою дрянью... Ты же чего смотрел, муж? Где были твои глаза? Плакса! Нюнил до тех пор, пока не утащили из-под его носа жены! И это мужчина! Мальчишка ты! Женят вас,

мальчишек, дураков, только насмех, ослов этаких! Оба вы никуда не годитесь, ни ты, ни твой Платонов! Это из рук вон что такое!

Войницев. Ничто теперь не поможет, не помогут и упреки. Она уже не моя, а он не ваш. Что ж тут много рассказывать? Оставьте меня, тапан! Не выносите моей глупой физиономии!

Анна Петровна. Но что же делать? Что-нибудь да нужно же сделать! Надо спасти!

Войницев. Кого спасти? Спасать нужно одного только меня... Они пока счастливы. *(Вздыхает.)*

Анна Петровна. Поди ты с своей логикой! Их, а не тебя спасать нужно! Платонов не любит ее! Знаешь ты это? Он обольстил ее, как ты когда-то обольстил свою глупую немку! Не любит он ее! Уверю тебя! Что она говорила тебе? Что ты молчишь?

Войницев. Она говорила, что она его любовница.

Анна Петровна. Дура она его, а не любовница! Замолчи! Может быть, еще можно поправить... Платонов из-за одного только поцелуя или пожатия руки в состоянии поднять шум... До крупного у них дело не доходило еще! Я в этом уверена...

Войницев. Доходило!

Анна Петровна. Ты ничего не понимаешь.

Входит Грекова.

ЯВЛЕНИЕ V

Войницев, Анна Петровна и Грекова.

Грекова *(входит)*. Вот где вы! Здравствуйте! *(Подает руку Анне Петровне.)* Здравствуйте, Сергей Павлович! Извините, пожалуйста, я, кажется, вам помешала... Гость не вовремя хуже... хуже... Как это говорится? Хуже татара, ну да... Я к вам на минуточку... Вы и представить себе не можете! *(Смеется.)* Я вам сейчас покажу, Анна Петровна... Извините, Сергей Павлович, мы будем секретничать... *(Отводит Анну Петровну в сторону.)* Прочтите... *(Подает ей записку.)* Это я вчера получила... Прочтите!

Анна Петровна *(пробегает записку)*. А...

Грекова. Я, знаете ли, в суд подала... *(Кладет ей на грудь голову.)* Пошлите за ним, Анна Петровна! Пусть он придет!

Анна Петровна. Для чего это вам?

Грекова. Я хочу посмотреть, какое у него теперь лицо... Что у него теперь на лице написано? Пошлите за ним! Умоляю вас! Я хочу ему два слова сказать... Вы не знаете, что я наделала! Что я наделала! Не слушайте, Сергей Павлович! *(Шепотом.)* Я ездила к директору... Михаила Васильича переведут по моей просьбе в другое место... Что я наделала! *(Плачет.)* Пошлите за ним!.. Кто знал, что он напишет это письмо?! Ах, если б я могла знать! Боже мой... Я страдаю!

Анна Петровна. Идите, моя дорогая, в библиотеку! Я сейчас приду к вам, тогда и потолкуем... Мне нужно с Сергеем Павловичем наедине поговорить...

Грекова. В библиотеку? Хорошо... А вы пошлете за ним? Какое у него лицо теперь после этого письма? Вы читали? Дайте я спрячу! (*Прячет письмо.*) Милая моя, дорогая... Прошу вас! Я пойду... но вы пошлите! Не слушайте, Сергей Павлович! Будемте говорить по-немецки, Анна Петровна! Schicken Sie, meine Liebe!¹

Анна Петровна. Хорошо... Ступайте же!

Грекова. Хорошо... (*Быстро целует ее.*) Не сердитесь на меня, моя дорогая! Я... я страдаю! Вы не можете себе представить! Я уйду, Сергей Павлович! Можете продолжать свою беседу! (*Уходит.*)

Анна Петровна. Я сейчас всё разузнаю... Ты не кипятись! Может быть, можно будет еще починить твою семью... Ужасная история! Кто мог ожидать?! Я сейчас поговорю с Софьей! Я спрошу ее как следует... Ты ошибаешься и глупишь... Впрочем, нет! (*Закрывает руками лицо.*) Нет, нет...

Войницев. Нет! Не ошибаюсь я!

Анна Петровна. А все-таки я поговорю с ней... Я и с ним пойду поговорю...

Войницев. Идите говорите! Напрасно только! (*Садится за стол.*) Уедемте отсюда! Нет надежды! И соломинки нет, за которую можно было бы ухватиться...

Анна Петровна. Я сейчас всё разузнаю... А ты сиди и плачь! Спать ложись, мужчина! Где Софья?

Войницев. Должно быть, у себя...

Анна Петровна уходит.

ЯВЛЕНИЕ VI

Войницев и потом Платонов.

Войницев. Тяжелое горе! Сколько времени оно будет тянуться? И завтра, и послезавтра, и через неделю, через месяц, год... Нет конца муке! Застрелиться нужно.

Платонов (*входит с подвязанной рукой*). Сидит... Плачет, кажется...

Пауза.

Мир душе твоей, мой бедный друг! (*Подходит к Войницеву.*) Ради бога, послушай! Не оправдаться я пришел... Не мне и не тебе судить меня... Я пришел просить не за себя, а за тебя... Братски прошу тебя... Ненавидь, презирай меня, думай обо мне как хочешь, но не... убивай себя! Я не говорю про револьверы, а... вообще... Ты слаб здоровьем... Горе добьет тебя... Не буду я жить!.. Я себя убью, не ты себя убьешь! Хочешь моей смерти? Хочешь, чтоб я перестал жить?

Пауза.

Войницев. Ничего я не хочу.

Входит Анна Петровна.

ЯВЛЕНИЕ VII

Войницев, Платонов и Анна Петровна.

Анна Петровна. Он здесь?! *(Медленно подходит к Платонову.)* Платонов, это правда?

Платонов. Правда.

Анна Петровна. Он еще смеет... смеет говорить так хладнокровно! Правда... Подлый человек, ведь вы знали, что это подло, низко?

Платонов. Подлый человек... Нельзя ли повежливей? Ничего я не знал! Я знал и знаю из всей этой истории одно только то, что я никогда не желал ему и тысячной доли того, что он теперь переносит!

Анна Петровна. И кроме этого вам, друг, не мешало бы еще знать, что жена одного друга не должна и не может быть игрушкой другого! *(Кричит.)* Не любите вы ее! Вам скучно было!

Войницев. Спросите его, татап, зачем он пришел?

Анна Петровна. Подло! Подло играть людьми! Они такие же живые существа, как и вы, чересчур умный человек!

Войницев *(вскакивает)*. Пришел сюда! Дерзость! Зачем вы явились сюда? Знаю, зачем вы явились, но не удивите и не поразите нас своими громкими фразами!

Платонов. Кого это «нас»?

Войницев. Знаю я теперь цену всем этим громким фразам! Оставьте меня в покое! Если вы пришли многоглаголением искупить свою вину, то знайте же, что пышными речами не искупишь вины!

Платонов. Как пышными речами не искупишь вины, так криком и злостью не докажешь ее, но я ведь, кажется, сказал, что я застрелюсь?

Войницев. Не так искупают свою вину! Не словами, которым я теперь не верю! Презираю ваши слова! Вот как искупает вину русский человек! *(Показывает в окно.)*

Платонов. Что там?

Войницев. Вон у колодезя лежит искупивший свои вины!

Платонов. Видел... А вы-то зачем фразерствуете, Сергей Павлович? Вы ведь, кажется, теперь в горе... Вы весь обратились в горе и в то же время театральничаете? Чему это приписать: неискренности или же... глупости?

Войницев *(садится)*, Матап, спросите его, зачем он пришел сюда?

Анна Петровна. Платонов, что вам здесь нужно?

Платонов. Вы сами спросите, зачем беспокоить татап? Всё пропало! Жена ушла — и всё пропало, ничего не осталось! Прекрасная, как майский день,

Софи — идеал, за которым не видно других идеалов! Без женщины мужчина — что без паров машина! Пропала жизнь, улетучились пары! Всё пропало! И честь, и человеческое достоинство, и аристократизм, всё! Конец пришел!

Войницев. Не слушаю я. Можете оставить меня!

Платонов. Разумеется. Не оскорбляй, Войницев! Я пришел сюда не за тем, чтобы меня оскорбляли! Не дает тебе права твое несчастье топтать меня в грязь! Я человек, и обходись же со мной по-человечески. Несчастлив ты, но ничего ты не стоишь со своим несчастьем в сравнении с теми страданиями, которые вынес я после твоего ухода! Была страшная ночь, Войницев, после того, как ты ушел! Клянусь вам, филантропы, что ваше несчастье не стоит и тени моих мук!

Анна Петровна. Очень может быть, но кому какое дело до вашей ночи, до ваших мук?

Платонов. И вам нет дела?

Анна Петровна. Уверяю вас, что и нам нет дела!

Платонов. Да? Не лгите, Анна Петровна! *(Вздыхает.)* А может быть, вы по-своему и правы... Может быть... Но где же людей искать? К кому идти? *(Закрывает лицо руками.)* Где же люди? Не понимают... Не понимают! Кто же поймет? Глупы, жестоки, бессердечны...

Войницев. Нет, понимаю я! Понял я! Не к лицу вам, милостивый государь, мой бывший друг, это казанское сиротство! Я понимаю вас! Вы ловкий подлец! Вот кто вы!

Платонов. Прощаю тебе, глупцу, это слово! Побереги себя, не говори больше! *(Анне Петровне.)* Вы-то чего торчите здесь, любительница сильных ощущений? Любопытно? Нет вам здесь дела! Свидетелей не нужно!

Анна Петровна. И вам здесь нет дела! Можете... убираться! Нахальство! Нагадить, напакостить, наподличать, а потом прийти и на муки свои жаловаться! Дипломат! Впрочем... извините меня! Если не хотите выслушать еще что-нибудь, то уходите! Сделайте милость!

Войницев *(вскакивает)*. Что ему от меня нужно еще, не понимаю! Что ты хочешь, что ты ждешь от меня? Не понимаю!

Платонов. Вижу, что не понимаете... Прав тот, кто с горя идет не к людям, а в кабак... Тысячу раз прав! *(Идет к двери.)* Жалею, что говорил с вами, унижался... Имел глупость считать вас порядочными людьми... А вы те же... дикари, грубое, неотесанное мужичье... *(Хлопает дверью и уходит.)*

Анна Петровна *(ломает руки)*. Мерзости какие... Изволь сию же минуту догнать его и сказать ему... Скажи ему, что...

Войницев. Что я могу ему сказать?

Анна Петровна. Найдешь, что сказать... Что-нибудь. Беги, Сержель! Умоляю тебя! Он приходил сюда с хорошим чувством! Ты должен был понять его, а ты был жесток с ним. Беги, мой родной!

Войницев. Не могу! Оставьте меня!

Анна Петровна. Но да ведь не один же он виноват! Сержель, все виноваты! У всех есть страсти, у всех нет сил... Беги! Скажи ему что-нибудь примиряющее! Покажи ему, что ты человек! Ради бога... Да ну же! Ну! Беги!

Войницев. Я с ума схожу...

Анна Петровна. Сходи с ума, но не смей оскорблять людей! Ах... но беги же, ради бога! *(Плачет.)* Сергей!

Войницев. Оставьте меня, татап!

Анна Петровна. Я сама пойду... Что же я сама не бегу? Я сама...

Платонов *(входит)*. Ох! *(Садится на диван.)*

Войницев встает.

Анна Петровна *(в сторону)*. Что с ним?

Пауза.

Платонов. Рука болит... Я голоден, как самая голодная собака... Холодно... Лихорадка трясет... Больно! Поймите вы, что мне больно! Жизнь моя пропадает! Что вы хотите от меня? Что вам еще нужно? Мало вам той проклятой ночи?

Войницев *(подходит к Платонову)*. Михаил Васильич, простим друг другу... Я... Но вы поймете мое положение... Разойдемся, как следует...

Пауза.

Я прощаю... Честное слово, прощаю! И если б я мог забыть всё это, то был бы счастлив, как никогда! Оставим друг друга в покое!

Платонов. Да.

Пауза.

Нет, развинтился... Испортилась машина. Спать хочу ужасно, глаза слиплись, но нет сил уснуть... Смиряюсь, прошу прощения, виноват, молчу... Делайте, что знаете, и думайте, что знаете...

Войницев отходит от Платонова и садится за стол.

Платонов. Не уйду отсюда, хоть дом зажгите! Кому неприятно мое присутствие, тот может выйти из этой комнаты... *(Хочет лечь.)* Дайте мне чего-нибудь теплого... Не есть, а укрыться... Не пойду я к себе... На дворе дождь... Тут лягу.

Анна Петровна *(подходит к Платонову)*. Ступайте, Михаил Васильич, домой! Я пришлю и принесу то, что вам нужно. *(Трогает его за плечо.)* Идите! Идите домой!

Платонов. Кому неприятно мое присутствие, тот может выйти из этой комнаты... Дайте мне воды напиться! Пить хочу.

Анна Петровна подает ему графин.

(Пьет из графина.) Болен... Совсем болен, милая женщина!

Анна Петровна. Идите к себе!.. *(Прикладывает руку к его лбу.)* Голова горяча... Идите домой. Я за Трилецким пошлю.

Платонов *(тихо)*. Худо, ваше превосходительство! Худо... Худо...

Анна Петровна. Мне-то какво? Идите! Я вас прошу! Вам во что бы то ни стало уехать нужно! Слышите?

Входит Софья Егоровна.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Софья Егоровна.

Софья Егоровна *(входит)*. Потрудитесь взять ваши деньги обратно! Что за великодушие? Я уж сказала вам, кажется... *(Увидев Платонова.)* Вы... здесь?! Зачем вы здесь?

Пауза.

Странно... Что вы здесь делаете?

Платонов. Я-то?

Софья Егоровна. Да, вы!

Анна Петровна. Выйдем, Сергей! *(Выходит и через минуту входит на цыпочках и садится в углу.)*

Платонов. Всё кончено, Софья!

Софья Егоровна. То есть?

Платонов. Да, то есть... После поговорим.

Софья Егоровна. Михаил Васильич! Что значит это... всё?

Платонов. Ничего мне не нужно, ни любви, ни ненависти, дайте мне одного только покоя! Прошу... И говорить даже не хочется... Довольно с меня и того, что было... Пожалуйста...

Софья Егоровна. Что он говорит?

Платонов. То говорю, что довольно. Не надо мне новой жизни. И старой девать некуда... Ничего мне не нужно!

Софья Егоровна *(пожимает плечами)*. Не понимаю...

Платонов. Не понимаете? Узел разорвался, вот что!

Софья Егоровна. Вы не едете, что ли?

Платонов. Не нужно бледнеть, Софья... впрочем, Егоровна!

Софья Егоровна. Вы подличаете?

Платонов. По всей вероятности...

Софья Егоровна. Подлец вы! *(Плачет.)*

Платонов. Знаю... Сто раз слышал... После бы поговорили и... без свидетелей.

Софья Егоровна рыдает.

Шли бы к себе в комнату! Самая лишняя вещь в несчастье — это слезы... Должно было случиться и случилось... В природе есть законы, а в нашей жизни... логика... По логике и случилось...

Пауза.

Софья Егоровна *(рыдает)*. Я же тут причем? Какое дело мне, какое дело моей жизни, которую вы взяли, до того, что вы утомились? Я же тут причем? Вы не любите больше?

Платонов. Утешьтесь чем-нибудь... Хоть тем, например, что этот скандал послужит уроком для вашего будущего?

Софья Егоровна. Не уроком, а гибелью! Вы смеете это говорить? Подло!

Платонов. Для чего плакать? Как всё это мне... опротивело! *(Кричит.)* Болен я!

Софья Егоровна. Он клялся, просил, он первый начал, а теперь вот пришел сюда! Я вам опротивела? Вам нужна была я только на две недели? Ненавижу я вас! Не могу я видеть его! Убирайтесь вон отсюда! *(Рыдает сильнее.)*

Анна Петровна. Платонов!

Платонов. А?

Анна Петровна. Уйдите отсюда!

Платонов встает и медленно идет к двери.

Софья Егоровна. Подождите... Не уходите! Вы... правда? Вы, может быть, не трезвы... Вы сядьте, подумайте! *(Хватает его за плечо.)*

Платонов. Сидел я уже и думал. Избавьтесь от меня, Софья Егоровна! Не ваш я человек! Я так долго гнил, моя душа так давно превратилась в скелет, что нет возможности воскресить меня! Закопать подальше, чтоб не заражал воздуха! Верьте мне в последний раз!

Софья Егоровна *(ломает руки)*. Что же я буду делать? Что делать мне? Научите! Ведь я умру! Я не переживу этой подлости! Я не проживу и пяти минут! Убью себя... *(Садится в кресло, стоящее в углу.)* Что вы делаете со мной? *(Истерика.)*

Войницева *(подходит к Софье Егоровне)*. Софи!

Анна Петровна. Бог знает, что делается! Успокойтесь, Софи! Дай воды, Сергей!

Войницева. Софи! Не убивайте себя... Перестаньте! *(Платонову.)* Чего вы ждете здесь, Михаил Васильич? Уйдите, бога ради!

Анна Петровна. Будет, Софи, будет! Довольно!

Платонов *(подходит к Софье Егоровне)*. Ну чего? Э-э... *(Быстро отходит.)* Идиотство!

Софья Егоровна. Отойдите от меня прочь! Все! Не нуждаюсь я в вашей помощи! *(Анне Петровне.)* Отойдите прочь! Я вас ненавижу! Я знаю, кому я обязана всем этим! Не пройдет это вам даром!

Анна Петровна. Тссс... Не следует браниться.

Софья Егоровна. Не будь над ним вашего развращающего авторитета, не губил бы он меня! *(Рыдает.)* Прочь! *(Войницеву.)* И вы... И вы отойдите!

Войницев отходит, садится за стол и кладет голову на руки.

Анна Петровна *(Платонову)*. Ступайте отсюда, вам говорят! Удивительный вы идиот сегодня! Чего вы еще хотите?

Платонов *(затыкает уши)*. Куда же я пойду? Я окоченел от холода... *(Идет к двери.)* Хоть бы черти прибрали скорей...

Входит Трилецкий.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и Трилецкий.

Трилецкий *(в дверях)*. Я тебе задам такого доклада, что ты и своих не узнаешь!

Голос Якова. Барин приказали...

Трилецкий. Пойди и поцелуйся с своим барином! Он такой же болван, как и ты! *(Входит.)* Неужели и здесь его нет? *(Падает на диван.)* Ужасно! Это... это... это... *(Вскакивает.)* Ох! *(Платонову.)* Трагедия на исходе, трагик! На исходе-с!

Платонов. Что тебе?

Трилецкий. Что ты здесь проедаешься? Где ты шляешься, несчастный? Как тебе не стыдно, не грешно? Философствуешь здесь? Проповеди читаешь?

Платонов. Говори по-человечески, Николай! Что тебе?

Трилецкий. Это скотство! *(Садится и закрывает руками лицо.)* Несчастье, какое несчастье! Кто мог ожидать?

Платонов. Что случилось?

Трилецкий. Что случилось? А ты и не знаешь? Тебе и дела нет до этого? Тебе некогда?

Анна Петровна. Николай Иванович!

Платонов. Саша, что ли? Говори, Николай! Этого еще недоставало! Что с ней?

Трилецкий. Спичками отравилась!

Платонов. Что ты говоришь?

Трилецкий *(кричит)*. Спичками отравилась! *(Вскакивает.)* На, читай! Читай! *(Подносит к его глазам записку.)* Читай, философ!

Платонов *(читает)*. «Самоубийцев грешно поминать, но меня поминайте. Я лишила себя жизни в болезни. Миша, люби Колю и брата, как я тебя люблю. Не оставь отца. Живи по закону. Коля, господь тебя благословит, как я благословляю материнским благословением. Простите грешную. Ключ от Мишиного комода в шерстяном платье»... Золото мое! Грешная! Она грешная! Этого еще недоставало! *(Хватает, себя за голову.)* Отравилась...

Пауза.

Саша отравилась... Где она? Послушай! Я к ней пойду! *(Срывает с руки повязку.)* Я... я воскрешу ее!

Трилецкий *(ложится на диван лицом вниз)*. Прежде чем воскрешать, не нужно было убивать!

Платонов. Убивать... Зачем ты, безумец, говоришь... это слово? Да разве я убивал ее? Разве... разве я хотел ее смерти? *(Плачет.)* Отравилась... Этого еще не доставало, чтоб переехать меня колесом, как собаку! Если это наказание, то... *(машет кулаком)* это жестокое, безнравственное наказание! Нет, это уж выше сил моих! Выше! За что? Ну грешен, положим, подл... но всё-таки ведь жив еще!

Пауза.

Глядите на меня теперь все! Глядите! Нравится?

Трилецкий *(вскакивает)*. Да, да, да... Будем теперь плакать... Кстати, глаза на мокром месте... Выпороть бы тебя хорошенько! Одевай шапку! Едем! Муж! Хорош муж! Погубил женщину ни за что, ни про что! Довел до чего! А эти и держат его здесь! Нравится он им! Оригинальный человек, интересный субъект, с грустью благородной на лице! Со следами когда-то бывшей красоты! Поедем-ка! Посмотришь, что ты наделал, интересный субъект, оригинал!

Платонов. Без слов... без слов... Не нужно слов!

Трилецкий. Счастье твое, живодер, что я сегодня чуть свет домой заехал! Ну что было бы, если бы я не заехал, если б я не захватил? Умерла бы она! Понимаешь ты это или нет? Ты обыкновенно всё понимаешь, кроме самых обыкновенных вещей! О, я бы тебе тогда задал! Я не посмотрел бы на твою жалостную физиономию! Если бы ты поменьше болтал своим окаянным языком да побольше сам слушал, то не было бы этого несчастья! За нее я и десять не возьму таких, умников, как ты! Едем!

Войницева. Не кричите! Ах... Как надоели все...

Трилецкий. Едем!

Платонов. Постой... Так она... не умерла, ты говоришь?

Трилецкий. А тебе хотелось бы, чтоб она умерла?

Платонов *(вскрикивает)*. Не умерла! Я не пойму никак... Не умерла? *(Обнимает Трилецкого.)* Жива! *(Хохочет.)* Жива!

Анна Петровна. Не понимаю!.. Трилецкий, извольте сказать толком! Все они сегодня как-то особенно глупы! Что же значит это письмо?

Трилецкий. Она написала это письмо... Если б не я, она успела бы умереть... А теперь страшно больна! Не знаю, вынесет ли ее организм... О, пусть она только умрет, тогда... Отойди ты от меня, пожалуйста!

Платонов. Напугал ты меня как! Боже мой! Жива она еще! Значит, ты не допустил ее умереть? Милый мой! *(Целует Трилецкого.)* Дорогой! *(Хохочет.)* Не верил в медицину, но теперь даже и в тебя верю! Что с ней теперь? Слаба? Нездорова? Но мы поднимем ее!

Трилецкий. Вынесет ли она еще!

Платонов. Вынесет! Не она вынесет, так я вынесу! Зачем же ты сначала не сказал, что она жива? Анна Петровна! Милая женщина! Воды стакан холодной, и я счастлив! Простите меня, господа, все! Анна Петровна!.. Я с ума схожу!.. *(Целует у Анны Петровны руку.)* Жива Саша... Воды, воды... моя дорогая!

Анна Петровна выходит с пустым графином и через минуту входит с водой.

(Трилецкому.) Едем к ней! На ноги ее, на ноги! Вверх ногами всю медицину от Гиппократов до Трилецкого! Всё переворочаем! Кому же и жить на этом свете, как не ей? Едем! Но нет... подожди! Голова кружится... Я страшно болен... Постой... *(Садится на диван.)* Отдохну и едем... Очень слаба?

Трилецкий. Очень... Обрадовался! Чему он обрадовался, не понимаю!

Анна Петровна. И я испугалась. Говорить нужно потолковей! Пейте! *(Подает Платонову воду.)*

Платонов *(пьет с жадностью)*. Спасибо, добрая женщина! Негодяй я, необыкновенный негодяй! *(Трилецкому.)* Сядь возле меня! *(Трилецкий садится.)* И ты весь измучился... Спасибо тебе, друг. Много онахватила?

Трилецкий. Хватило бы на тот свет отправиться.

Платонов. Экая... Ну, слава богу. Рука болит... Дайте мне еще пить. Я сам ужасно болен, Николай! Еле голову на плечах держу... Того и смотри, что свалится... У меня, должно быть, горячка будет. Солдатики в ситцевых мундирах, с острыми шапочками так и мелькают перед глазами... Желто и зелено кругом... Закати-ка мне *chinini sulphurici*...

Трилецкий. Закатить бы тебе сотню-другую горячих!

Платонов *(хохочет)*. Шути, шути... Я иногда смеюсь твоим остротам. Ты мне деверь или шурин? Боже мой, как я болен! Ты представить себе не можешь, как я болен!

Трилецкий щупает ему пульс.

Анна Петровна *(тихо Трилецкому)*. Везите его, Николай Иванович! Я сама к вам сегодня приеду, поговорю с Александрой Ивановной. Что это ей вздумалось нас так пугать? Не опасно?

Трилецкий. Нельзя еще ничего сказать. Отравиться не удалось, но в общем... беда!

Платонов. Что ты ей дал?

Трилецкий. То, что следует. *(Встает.)* Едем!

Платонов. А генеральше что ты сейчас дал?

Трилецкий. Бредишь... Едем!

Платонов. Едем... *(Встает.)* Сергей Павлович! Брось! *(Садится.)* Брось! Чего пригорюнился? Точно солнце у земли украли! А еще тоже философию когда-то учил! Будь Сократом! А? Сергей Павлович! *(Тихо.)* Впрочем, я сам не знаю, что говорю...

Трилецкий *(кладет ему на голову руку)*. Ты еще заболеешь! Ну да тебе для очистки совести не мешает поболеть!

Анна Петровна. Платонов, езжайте с богом! Пошлите в город за другим доктором... Консилиум не мешало бы... Я сама, впрочем, пошлю, не беспокойтесь... Успокойте же Александру Ивановну!

Платонов. У вас, Анна Петровна, по груди ползет маленький фортепьянчик! Комизм! *(Смеется.)* Комизм! Сядь, Николай, сыграй что-нибудь!.. *(Хохочет.)* Комизм! Я болен, Николай... Серьезно говорю... Не шутя... Едем!

Входит Иван Иванович.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Иван Иванович.

Иван Иванович *(растрепанный, в халате)*. Саша моя! *(Плачет.)*

Трилецкий. Тебя еще доставало здесь с твоими слезами! Ступай отсюда! Чего прибежал?

Иван Иванович. Умирает она! Исповедоваться хочет! Боюсь, боюсь... Ох как боюсь! *(Подходит к Платонову.)* Мишенька! Умоляю тебя господом и всеми святыми! Дорогой, умный, прекрасный, честный человек! Пойди ты, скажи ей, что ты ее любишь! Брось ты все эти романы паскудные! Умоляю тебя коленопреклоненно! Помирает ведь! Одна у меня... одна! Умрет... погибну! Без покаяния погибну! Скажи ты ей, что ты ее любишь, за жену свою считаешь! Успокой ты ее ради Христа! Мишенька! Ложь бывает во спасение... Видит бог, что ты справедлив, но солги для спасения ближнего! Поедем, сделай милость! Подай ты мне эту милостыню Христа ради, старику! Сторицею господь воздаст тебе! Трясусь весь, трясусь от ужаса!

Платонов. Уже успел клюкнуть, полковник? *(Смеется.)* Вылечим Сашку и вместе выпьем! Ах, как пить хочу!

Иван Иванович. Поедем, благороднейший... праведнейший! Скажи ты ей два слова, и она спасена! Не спасут медикаменты, когда психиатрия душевная страдает!

Трилецкий. Выйди отсюда, отец, на минутку! *(Ведет отца за рукав.)* Кто тебе сказал, что она умрет? Откуда ты это выдумал? Вовсе не опасно! Подождешь в той комнате. Сейчас поедем к ней с ним вместе. Постыдился <бы> в таком виде вваливаться в чужой дом!

Иван Иванович *(Анне Петровне)*. Грех вам, Диана! Не простит вас бог! Он молодой человек, неопытный... .

Трилецкий *(вталкивает его в другую комнату)*. Подожди там! *(Платонову.)* Желаете ехать?

Платонов. Страшно болен... Болен я, Николай!

Трилецкий. Желаете ехать, я вас спрашиваю, или нет?

Платонов *(поднимается)*. Поменьше слов... Что делать, чтоб во рту не сохло? Едем... Я сюда, кажется, без шапки пришел... *(Садится.)* Поищи мою шапку!

Софья Егоровна. Он должен был это предвидеть. Я отдавалась ему, не спрашивая... Я знала, что я убиваю мужа, но я... ни перед чем для него не остановилась! *(Поднимается и подходит к Платонову.)* Что вы сделали со мной? *(Рыдает.)*

Трилецкий *(хватает себя за голову)*. Комиссия! *(Ходит по сцене.)*

Анна Петровна. Успокойтесь, Софи! Не время... Он болен.

Софья Егоровна. Можно ли, человечно ли издеваться так над целой человеческой жизнью? *(Садится рядом с Платоновым.)* Ведь вся жизнь теперь моя пропала... Я уж не жива теперь... Спасите меня, Платонов! Не поздно! Платонов, не поздно!

Пауза.

Анна Петровна *(плачет)*. Софи... Что вы хотите? Успеете еще... Что он вам может сказать теперь? Разве вы не слышали... не слышали?

Софья Егоровна. Платонов... Еще раз прошу... *(Рыдает.)* Нет?

Платонов отодвигается от нее.

Не нужно... Хорошо же... *(Падает на колени.)* Платонов!

Анна Петровна. Это уже слишком, Софи! Не смеете вы этого делать! Никто не стоит того, чтоб... на коленях... *(Поднимает ее и сажает.)* Вы... женщина!

Софья Егоровна *(рыдает)*. Скажите ему... Уговорите...

Анна Петровна. Призовите к себе все силы вашего ума... Надо быть... стойкой... Вы женщина! Ну... полноте! Идите к себе в комнату!

Пауза.

Идите, лягте на постель... *(Трилецкому.)* Николай Иванович! Что делать?

Трилецкий. Об этом нужно спросить милого Мишеньку! *(Ходит по сцене.)*

Анна Петровна. Поведите ее на постель! Сергей! Николай Иванович! Да помогите же мне, наконец!

Войницев встает и подходит к Софье Егоровне.

Трилецкий. Поведите. Надо дать успокоительного.

Анна Петровна. Я сама приняла бы теперь хлороформу... *(Войницеву.)* Будь мужчиной, Сергей! Не теряйся хоть ты! Мне не лучше твоего, однако же... стою на ногах... Пойдемте, Софи! Экий денек нынче выдался...

Ведут Софью Егоровну.

Мужайся, Сержель! Будем людьми!

Войнице в . Постараюсь, татап. Креплюсь...

Трилецкий . Не горюй, брат Сергей! Авось вытянем! Не ты первый, не ты и последний!

Войнице в . Постараюсь... Да, я постараюсь...

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ XI

Платонов и потом Грекова .

Платонов (один). Папиросу, Николай, и воды! (Оглядывается.) Нет их? Ехать нужно...

Пауза.

Разгромил, придушил женщин слабых, ни в чем не повинных... Не жалко было бы, если бы я их убил как-нибудь иначе, под напором чудовищных страстей, как-нибудь по-испански, а то убил так... глупо как-то, по-русски... (Машет рукой перед глазами.) Mouches volantes¹... Облачки... Бредить, должно быть, буду... Раздавлен, приплюснен, скомкан... А давно ли перестал хорохориться? (Закрывает руками лицо.) Стыд, жгучий стыд... Больно от стыда! (Встает.) Был голоден, холоден, истаскался, пропадал, исшарлатанился весь, пришел в этот дом... Дали мне теплый угол, одели, приласкали, как никого... Хорошо заплатил! Однако же болен... Плохо... Убить себя нужно... (Подходит к столу.) Выбирай, арсенал целый... (Берет револьвер.) Гамлет боялся сновидений... Я боюсь... жизни! Что будет, если я жить буду? Стыд заест один... (Прикладывает револьвер к виску.) Finita la commedia!² Одним умным скотом меньше! Прости, Христос, мне мои грехи!

Пауза.

Ну? Сейчас смерть, значит... Боли теперь, рука, сколько хочешь...

Пауза.

Нет сил!! (Кладет револьвер на стол.) Жить хочется... (Садится на диван.) Жить хочется... (Входит Грекова.) Воды бы... Где же Трилецкий? (Увидев Грекову.) Это кто? А-а-а... (Смеется.) Враг злейший... Будем завтра судиться?

Пауза.

Грекова . Но, разумеется, после того письма мы уж не враги.

Платонов . Всё одно. Воды нет?

Грекова . Вам воды? Что с вами?

Платонов . Болен... У меня горячка будет... Мне это понравилось. Умно. Но еще умнее было бы, если бы вы со мной вовсе не связывались... Застрелиться хотел... (Смеется.) Не удалось... Инстинкт... Ум свое, природа свое... Остроглазая! Ведь умница? (Целует руку.) Рука холодная... Слушайте... Вы хотите меня слушать?

Грекова. Да, да, да...

Платонов. Возьмите меня к себе! Я болен, пить хочу, страдаю страшно, невыносимо! Спать хочу, а лечь негде... Меня хоть бы в сарай, лишь бы угол, вода и... хинину немножко. Пожалуйста! *(Протягивает руку.)*

Грекова. Едьте! Я с удовольствием!.. Вы можете жить у меня, сколько угодно... Вы еще не знаете, что я наделала! Едьте!

Платонов. Мерсі, умная девочка... Папироса, вода и постель! На дворе дождь?

Грекова. Дождь.

Платонов. По дождю ехать придется... Судиться не станем. Мир! *(Смотрит на нее.)* Я брежу?

Грекова. Нисколько. Едьте! Экипаж у меня крытый.

Платонов. Хорошенькая... Чего же краснеешь? Не трону. Ручку вот холодную поцелую... *(Целует руку и тянет ее к себе.)*

Грекова *(садится к нему на колени)*. Нет... Не следует... *(Встает.)* Едьте... У вас лицо странное... Пустите руку!

Платонов. Болен. *(Встает.)* Едем... В щечку... *(Целует ее в щеку.)* Без всякой задней мысли. Не могу... Впрочем, пустяки. Едьте, Марья Ефимовна! И, пожалуйста, поскорей! Вот... вот этим револьвером застрелиться хотел... В щечку... *(Целует в щеку.)* Брежу, но вижу ваше лицо... Всех людей люблю! Всех! Я и вас люблю... Люди были для меня дороже всего... Никого не хотел обидеть, а всех обидел... Всех... *(Целует руку.)*

Грекова. Я всё поняла... Я понимаю ваше положение... Софи... да?

Платонов. Софи, Зизи, Мими, Маша... Вас много... Всех люблю... Был в университете, и на Театральной площади, бывало... падшим хорошие слова говорил... Люди в театре, а я на площади... Раису выкупил... Собрал со студентами триста целковых и другую выкупил... Показать ее письма?

Грекова. Что с вами?

Платонов. С ума, думаете, сошел? Нет, это так... Бред горячечный... Спросите Трилецкого... *(Берет ее за плечи.)* И меня все любят... Все! Оскорбишь, бывало, и то... любят... Грекову, например, оскорбил, на стол пхнул, и то... любит. Вы, впрочем, сама Грекова... Виноват...

Грекова. Что у вас болит?

Платонов. Платонов болит. Вы ведь меня любите? Любите? Откровенно... Я ничего не хочу... Вы только скажите мне, любите?

Грекова. Да... *(Кладет голову ему на грудь.)* Да...

Платонов *(целует ее в голову)*. Все любят... Когда выздоровею, развращу... Прежде хорошие слова говорил, а теперь развращаю...

Грекова. Мне всё одно... Мне ничего не нужно... Ты только и... человек. Не хочу я знать других! Что хочешь делай со мной... Ты... ты только и человек! *(Плачет.)*

Платонов. Понимаю я царя Эдипа, выколовшего себе глаза! Как я низок и как глубоко познаю свою низость! Отойдите! Не стоит... Я болен. *(Освобождается.)* Я еду сейчас... Извините меня, Марья Ефимовна! Я с ума схожу! Где Трилецкий?

Входит Софья Егоровна.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Софья Егоровна.

Софья Егоровна подходит к столу и роется на нем.

Грекова *(хватает Платонова за руку)*. Тссс...

Пауза.

Софья Егоровна берет револьвер, стреляет в Платонова и дает промах.

(Становится между Платоновым и Софьей Егоровной.) Что вы делаете?! *(Кричит.)* Сюда! Скорей сюда!

Софья Егоровна. Пустите... *(Обегает вокруг Грековой и стреляет Платонову в грудь, в упор.)*

Платонов. Постойте, постойте... Как же это так? *(Падает.)*

Вбегают Анна Петровна, Иван Иванович, Трилецкий и Войницев.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же, Анна Петровна, Иван Иванович, Трилецкий, Войницев, потом прислуга и Марко.

Анна Петровна *(вырывает у Софьи Егоровны револьвер и отбрасывает ее на диван)*. Платонов! *(Наклоняется к Платонову.)*

Войницев закрывает лицо и отворачивается к двери.

Трилецкий *(наклоняется к Платонову и поспешно расстегивает ему сюртук. Пауза)*. Михаил Васильич! Ты слышишь?

Пауза.

Анна Петровна. Бога ради, Платонов! Мишель... Мишель! Скорей, Трилецкий...

Трилецкий *(кричит)*. Воды!

Грекова *(подает ему графин)*. Спасите его! Вы спасете его! *(Ходит по сцене.)*

Трилецкий пьет воду и бросает графин в сторону.

Иван Иванович *(хватает себя за голову)*. Ведь сказал же, что погибну? Ну и погиб! Вот и погиб! *(Опускается на колени.)* Господь всемогущий! Погиб... Вот и погиб...

Вбегают Яков, Василий, Катя и повар.

Марко *(входит)*. От мирового судьи-с...

Пауза.

Анна Петровна. Платонов!

Платонов приподнимается и обводит всех глазами.

Платонов... Это ничего... Воды выпейте!

Платонов *(указывает на Марка)*. Ему три целковых! *(Падает и умирает.)*

Анна Петровна. Мужайся, Сергей! Всё это пройдет, Николай Иванович... Всё это пройдет... Мужайтесь...

Катя *(кланяется в ноги Анне Петровне)*. Я одна виноватая! Я записку носила! На деньги польстилась, барыня! Простите меня, окаянную!

Анна Петровна. Крепитесь... Зачем теряться? Он только так... Излечимо...

Трилецкий *(кричит)*. Умер!

Анна Петровна. Нет, нет...

Грекова садится за стол, рассматривает бумажку и горько плачет.

Иван Иванович. Со святыми упокой... Погиб... Погиб...

Трилецкий. Жизнь — копейка! Прощай, Мишка! Пропала твоя копейка! Чего глазеее? Сам застрелился! Расстроилась компания! *(Плачет.)* С кем я теперь на твоих поминках пить буду! О, дураки! Не могли уберечь Платонова! *(Встает.)* Отец, поди скажи Саше, чтоб она умирала! *(Покачиваясь, подходит к Войницеву.)* Ты-то чего? Эх! *(Обнимает Войницева.)* Умер Платошка! *(Рыдает.)*

Войников. Что делать, Николай?

Трилецкий. Хоронить мертвых и починять живых!

Анна Петровна *(медленно поднимается и идет к Софье Егоровне)* Успокойтесь, Софи! *(Рыдает.)* Что вы наделали?! Но... но... успокойтесь! *(Трилецкому.)* Ничего не говорите Александре Ивановне, Николай Иваныч! Я сама ей скажу! *(Идет к Платонову и опускается перед ним на колени)* Платонов! Жизнь моя! Не верю! Не верю я! Ведь ты не умер? *(Берет его за руку.)* Жизнь моя!

Трилецкий. За дело, Сережа! Поможем твоей жене, а потом...

Войников. Да, да, да... *(Идет к Софье Егоровне.)*

Иван Иванович. Забыл господь... За грехи... За мои грехи... Зачем грешил, старый шут? Убивал тварей божиих, пьянствовал, сквернословил, осуждал... Не вытерпел господь и поразил.

< Конец четвертого действия >

Сноски

Сноски к стр. 7

¹ мой ангел (франц.).

Сноски к стр. [8](#)

¹ Здоровый дух в здоровом теле. (лат.)

Сноски к стр. [9](#)

¹ ваше превосходительство!.. (франц.)

Сноски к стр. [17](#)

¹ Далее утрачен лист рукописи.

Сноски к стр. [21](#)

¹ О мертвых или хорошо, или ничего (лат.).

² обо всех или ничего, или правда (лат.).

Сноски к стр. [23](#)

¹ Без сомнения (франц.).

² Ляпис. . . дистиллированной воды (лат.).

Сноски к стр. [25](#)

¹ Простой продукт (лат.).

Сноски к стр. [36](#)

¹ кое-что (франц. quelque chose).

Сноски к стр. [45](#)

¹ «Граф Глагольев» (франц.).

Сноски к стр. [59](#)

¹ Материя и сила (нем. Stoff und Kraft).

Сноски к стр. [61](#)

¹ Ничего (лат.).

Сноски к стр. [74](#)

¹ Оставьте всякую надежду! (итал.)

Сноски к стр. [76](#)

¹ мой отец (франц.).

² прелестна! (франц.).

Сноски к стр. [77](#)

¹ Тысячу извинений (франц.).

Сноски к стр. [79](#)

¹ дорогой мой (франц.).

Сноски к стр. [113](#)

¹ кстати (франц.).

Сноски к стр. [129](#)

¹ Я люблю, ты любишь, он любит. . . (лат.)

Сноски к стр. [160](#)

¹ Пошлите, моя милая! (нем.)

Сноски к стр. [175](#)

¹ Летающие мушки. . . (франц.)

² Комедия окончена! (итал.)

ИВАНОВ

КОМЕДИЯ В 4 ДЕЙСТВИЯХ И 5 КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иванов Николай Алексеевич, неперенный член по крестьянским делам присутствия.
Анна Петровна, его жена, урожденная Сарра Абрамсон.
Шабельский, граф Матвей Семенович, его дядя по матери.
Лебедев Павел Кириллыч, председатель земской управы.
Зинаида Саввишна, его жена.
Саша, дочь Лебедевых, 20 лет.
Львов Евгений Константинович, молодой земский врач.
Бабакина Марфа Егоровна, молодая вдова-помещица, дочь богатого купца.
Косых Дмитрий Никитыч, акцизный.
Боркин Михаил Михайлович, дальний родственник Иванова и управляющий его имением.
Дудкин, сын богатого фабриканта.
Авдотья Назаровна, старуха с неопределенной профессией.
Егорушка, нахлебник Лебедевых.
1-й гость.
2-й гость.
Петр, лакей Иванова.
Гаврила, лакей Лебедевых.
Гости обоого пола, лакеи.

Действие происходит в одном из уездов средней полосы России.

ДЕЙСТВИЕ 1

Сад в имении Иванова. Слева фасад двухэтажного дома с террасой. Одно окно открыто. Перед террасой широкая полукруглая площадка, от которой в сад, прямо и вправо, идут аллеи. На правой стороне садовые диванчики и столики. На одном из последних горит лампа. Вечереет. При поднятии занавеса слышно, как в доме разучивают дуэт на рояли и виолончели.

ЯВЛЕНИЕ 1

Иванов и Боркин.

Иванов сидит за столом и читает книгу.

Боркин в больших сапогах, с ружьем, показывается в глубине сада; он навеселе; увидев Иванова, на цыпочках идет к нему и, поравнявшись с ним, прицеливается в его лицо.

Иванов (*увидев Боркина, вздрагивает и вскакивает*). Миша, бог знает что... вы меня испугали... Я и так расстроен, а вы еще с глупыми шутками... (*Садится*.) Испугал и радуется.

Боркин (*хохочет*). Ну, ну... виноват, виноват... (*Садится рядом*.) Не буду больше, не буду... (*Снимает фуражку*.) Жарко. Верите ли, душа моя, в какие-нибудь три часа 17 верст отмахал... замучился, как черт... Пощупайте-ка, как у меня сердце бьется...

Иванов (*читая*). Хорошо... после...

Боркин. Нет, вы сейчас пощупайте... *(Берет его руку и прикладывает к груди.)* Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту... Это значит, у меня порок сердца. Каждую минуту могу скоропостижно умереть. Послушайте, вам будет жаль, если я умру?

Иванов. Я читаю... после...

Боркин. Нет, серьезно, вам будет жаль, если я вдруг умру? Николай Алексеевич, вам будет жаль, если я умру?..

Иванов. Не приставайте.

Боркин. Голубчик, скажите: будет жаль?

Иванов. Мне жаль, что от вас водкой пахнет. Это, Миша, противно...

Боркин *(смеется)*. Разве пахнет? Удивительное дело... Впрочем, тут нет ничего удивительного. В Плесниках я встретил следователя, и мы, признаться, с ним рюмок по восьми стукнули. В сущности говоря, пить очень вредно. Послушайте, ведь вредно? А? Вредно?..

Иванов. Это наконец невыносимо... Поймите, Миша, что это издевательство...

Боркин. Ну, ну... виноват, виноват... Бог с вами, сидите себе... *(Встает и идет.)* Удивительный народ, даже и поговорить нельзя. *(Возвращается.)* Ах да, чуть было не забыл... Пожалуйте 82 рубля!..

Иванов. Какие 82 рубля?..

Боркин. Завтра рабочим платить.

Иванов. У меня нет.

Боркин. Покорнейше благодарю. *(Дразнит.)* «У меня нет»... Да ведь нужно платить рабочим? Нужно?..

Иванов. Не знаю. У меня сегодня ничего нет. Подождите до первого числа, когда жалованье получу.

Боркин. Вот извольте разговаривать с такими субъектами... Рабочие придут за деньгами не первого числа, а завтра утром...

Иванов. Так что же мне теперь делать? Ну, режьте меня, пилите... И что у вас за отвратительная манера приставать ко мне именно тогда, когда я читаю, пишу или...

Боркин. Я вас спрашиваю: рабочим нужно платить или нет? Э, да что с вами говорить... *(Машет рукой.)* Помещики тоже, черт подери, землевладельцы... Рациональное хозяйство... Тысяча десятин земли и ни гроша в кармане... Винный погреб есть, а штопора нет... Возьму вот и продам завтра тройку! Да-с... Овес на корню продал, а завтра возьму и рожь продам. *(Шагает по сцене.)* Вы думаете, я стану церемониться? Да? Ну нет-с, не на такого напали...

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же, Шабельский за сценой и Анна Петровна.

Голос Шабельского за окном: «Играть с вами нет никакой возможности... Слуха у вас меньше, чем у фаршированной шуки, а туше возмутительное... Семитическое, перхатое туше, от которого на десять верст пахнет чесноком...»

Анна Петровна (*показывается в открытом окне*). Кто здесь сейчас разговаривал? Это вы, Миша? Что вы так шагаете?

Боркин. С вашим [Nicolas-voilà](#) еще не так зашагаешь...

Анна Петровна. Послушайте, Миша, прикажите принести на крокет сена. Я хочу кувыркаться...

Боркин (*машет рукой*). Оставьте вы меня, пожалуйста...

Анна Петровна (*смеется*). Скажите, какой тон... К такому карапузику, как вы, Миша, этот тон совсем не идет. Если хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда при них не сердитесь и не солидничайте. (*Мужу.*) Николай, давайте все кувыркаться...

Иванов. Тебе, Анюта, вредно стоять у открытого окна. Уйди, пожалуйста... (*Кричит.*) Дядя, закрой окно!..

Окно закрывается.

Боркин. Не забывайте еще, что через два дня нужно проценты платить Лебедеву...

Иванов. Я помню. Сегодня я буду у Лебедева и попрошу его подождать. (*Смотрит на часы.*)

Боркин. Вы когда туда поедете?

Иванов. Сейчас...

Боркин (*живо*). Пойдите, пойдите... ведь сегодня, кажется, день рождения Шурочки... Те-те-те-те... А я забыл... Вот память, а? (*Прыгает.*) Поеду, поеду... (*Поет.*) Поеду... Пойду выкупаюсь, пожую бумаги, приму три капли нашатырного спирта и хоть сначала начинай... Голубчик, Николай Алексеевич, мамуся моя, ангел души моей, вы всё нервничаете, ей-богу, ноете, постоянно в мерлехлюндии, а ведь мы, ей-богу, вместе черт знает каких делов могли бы наделать... Для вас я на все готов... Хотите, я для вас на Марфуше Бабакиной женюсь? Марфутка эта дрянь, черт, жила, но хотите, я женюсь? Половина приданого ваша... То есть не половина, а всё... Берите всё...

Иванов. Будет вам вздор молоть...

Боркин. Нет, серьезно, ей-богу, хотите, я на Марфуше женюсь? Приданое пополам... Впрочем, за чем я это вам говорю? Разве вы поймете? (*Дразнит.*) «Будет вам вздор молоть». Хороший вы человек, умный, но в вас не хватает этой жилки, этого, понимаете ли, взмаха... Этак бы размахнуться, чтобы чертям тошно стало... Вы психопат, нюня, а будь вы нормальный человек, то через год имели бы миллион... Например, будь у меня сейчас 2300 рублей, я бы через две недели имел двадцать тысяч... Не верите? И это, по-вашему, вздор? Нет, не вздор... Вот дайте мне 2300 рублей, и я через неделю доставлю вам двадцать тысяч. На том берегу Овсянов продает полоску земли как раз против нас за 2300 рублей. Если мы купим эту полоску, то оба берега будут наши. А если оба берега будут наши, то, понимаете ли, мы имеем

право запрудить реку... Ведь так? Мы мельницу будем строить, и как только мы объявим, что хотим запруду сделать, так все, которые живут вниз по реке, поднимут гвалт, а мы сейчас: коммен зи гер¹, если хотите, чтобы плотины не было, заплатите... Понимаете? Заревская фабрика даст пять тысяч, Корольков три тысячи. Монастырь даст пять тысяч.

Иванов. Все это, Миша, фокусы... Если не хотите со мной ссориться, то держите их при себе.

Боркин *(садится за стол)*. Конечно... Я так и знал... И сами ничего не делаете, и меня связываете...

ЯВЛЕНИЕ 3

Те же, Шабельский и Львов.

Шабельский *(выходя с Львовым из дома)*. Доктора те же адвокаты с тою только разницею, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят и убивают... Я не говорю о присутствующих. *(Садится на диванчик)*. Шарлатаны, эксплуататоры... Может быть, в какой-нибудь Аркадии попадаются исключения из общего правила, но... я в свою жизнь пролечил тысяч двадцать и не встретил ни одного доктора, который не казался бы мне патентованным мошенником..

Боркин *(Иванову)*. Да, сами ничего не делаете и меня связываете... Оттого-то у нас и денег нет...

Шабельский. Повторяю, я не говорю о присутствующих... Может быть, есть исключения, хотя впрочем... *(Зевает)*.

Иванов *(закрывая книгу)*. Что, доктор, скажете?

Львов *(оглядываясь на окно)*. То же, что и утром говорил: ей немедленно нужно в Крым ехать. *(Ходит по сцене)*.

Шабельский *(прыскает)*. В Крым... Отчего, Миша, мы с тобой не лечим? Это так просто... Стала перхоть или кашлять от скуки какая-нибудь мадам Анго или Офелия, бери сейчас бумагу и прописывай по правилам науки: сначала молодого доктора, потом поездка в Крым, в Крыму татарин, на обратном пути отдельное купе с каким-нибудь проигравшимся, но милым pschutt'ом...

Иванов *(графу)*. Ах, не зуди ты, зуда!.. *(Львову)*. Чтобы ехать в Крым, нужны средства. Допустим, что я найду их, но ведь она решительно отказывается от этой поездки...

Львов. Да, отказывается...

Пауза.

Боркин. Послушайте, доктор, разве Анна Петровна уж так серьезно больна, что необходимо в Крым ехать?..

Львов *(оглядывается на окно)*. Да... чахотка...

Боркин. Псс... нехорошо... Я сам давно уже по лицу замечал, что она не протянет долго...

Львов. Но... говорите потише... В доме слышно...

Пауза.

Боркин *(вздыхает)*. Жизнь наша... Жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел козел, съел его и нет цветка... *(Напевает.)* Поймешь ли ты души моей волненье...

Шабельский. Все вздор, вздор и вздор... *(Зевает.)* Вздор и плутни...

Пауза.

Боркин. А я, господа, тут все учу Николая Алексеевича деньги наживать. Сообщил ему одну чудную идею, но мой порох, по обыкновению, упал на влажную почву... Ему не втолкуешь... Посмотрите: на что он похож? Меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть...

Шабельский *(встает и потягивается)*. Для всех ты, гениальная башка, изобретаешь и учишь всех, как жить, а меня хоть бы раз поучил. Поучи-ка, умная голова, укажи выход...

Боркин *(встает)*. Пойду купаться... Прощайте, господа... *(Графу.)* У вас двадцать выходов есть... На вашем месте я через неделю имел бы тысяч двадцать. *(Идет.)*

Шабельский *(идет за ним)*. Каким это образом? Ну-ка, научи...

Боркин. Тут и учить нечему. Очень просто... *(Возвращается.)* Николай Алексеевич, дайте мне рубль!

Иванов молча дает ему деньги.

Мерси. *(Графу.)* У вас еще много козырей на руках.

Шабельский *(идя за ним)*. Ну какие же? *(Потягивается.)*

Боркин. На вашем месте я через неделю имел бы тысяч тридцать, если не больше...

Уходит с графом.

Иванов *(после паузы)*. Лишние люди, лишние слова, необходимость отвечать на глупые вопросы — все это, доктор, утомило меня до болезни. Я стал раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя. По целым дням у меня голова болит, бессонница, шум в ушах... А деваться положительно некуда... Положительно...

Львов. Мне, Николай Алексеевич, нужно с вами серьезно поговорить...

Иванов. Говорите.

Львов. Я об Анне Петровне. *(Садится.)* Она не соглашается ехать в Крым, но с вами она поехала бы...

Иванов *(подумав)*. Чтобы ехать вдвоем, нужны средства. К тому же, мне не дадут продолжительного отпуска. В этом году я уже брал раз отпуск...

Львов. Допустим, что это правда. Теперь далее. Самое главное лекарство от чахотки — это абсолютный покой, а ваша жена не знает ни минуты покоя. Ее

постоянно волнуют ваши отношения к ней. Простите, я взволнован и буду говорить прямо. Ваше поведение убивает ее.

Пауза.

Николай Алексеевич, позвольте мне думать о вас лучше!..

Иванов. Все это правда, правда... Вероятно, я страшно виноват, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то ленью, и я не в силах понимать себя. Не понимаю ни людей, ни себя... *(Взглядывает на окно.)* Нас могут услышать, пойдемте, пройдемся.

Встают.

Я, милый друг, рассказал бы вам с самого начала, но история длинная и такая сложная, что до утра не расскажешь.

Идут.

Анюта замечательная, необыкновенная женщина... Ради меня она переменяла веру, бросила отца и мать, ушла от богатства, и, если бы я потребовал еще сотню жертв, она принесла бы их не моргнув глазом. Ну-с, а я ничем не замечателен и ничем не жертвовал. Впрочем, это длинная история... Вся суть в том, милый доктор, *(мнется)* что... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но прошло пять лет, она все еще любит меня, а я... *(Разводит руками.)* Вы вот говорите мне, что она скоро умрет, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление... Если со стороны поглядеть на меня, то это, вероятно, ужасно, сам же я не понимаю, что делается с моей душой...

Уходят по аллее.

ЯВЛЕНИЕ 4

Шабельский, потом Анна Петровна.

Шабельский *(входит и хохочет)*. Честное слово, это не мошенник, а мыслитель, виртуоз!.. Памятник ему нужно поставить... В себе одном совмещает современный гной во всех видах: и адвоката, и доктора, и [кукуевца](#), и кассира... *(Садится на нижнюю ступень террасы.)* И ведь нигде, кажется, курса не кончил, вот что удивительно... Стало быть, каким был бы гениальным подлецом, если бы еще усвоил культуру, гуманитарные науки!.. «Вы, говорит, через неделю можете иметь 20 тысяч. У вас, говорит, еще на руках козырный туз — ваш графский титул. *(Хохочет.)* За вас любая девица пойдет с приданым...

Анна Петровна открывает окно и глядит вниз.

Хотите, говорит, посватаю за вас Марфушу?..» Qui est-ce que c'est¹ Марфуша? Ах, это та... Балабалкина... Бабакалкина... эта, что на прачку похожа и сморкается как извозчик...

Анна Петровна. Это вы, граф?..
Шабельский. Что такое?

Анна Петровна смеется.

(Еврейским акцентом.) Зачиво вы шмеетесь?

Анна Петровна. Я вспомнила одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обедом? Вор прощенный, лошадь... Как это?

Шабельский. Жид крещеный, вор прощенный, конь леченый — одна цена.

Анна Петровна *(смеется)*. Вы даже простого каламбура не можете сказать без злости. Злой вы человек... *(Серьезно.)* Не шутя, граф, вы очень злы. С вами жить скучно и жутко. Всегда вы брюзжите, ворчите, все у вас подлецы и негодяи. Скажите мне, граф, откровенно, говорили вы когда-нибудь о ком хорошо?

Шабельский. Это что за экзамен?

Анна Петровна. Живем мы с вами под одной крышей уже пять лет, и я ни разу не слыхала, чтобы вы отзывались о людях спокойно, без желчи и без смеха. Что вам люди сделали худого? *(Кашляет.)* И неужели вы думаете, что вы лучше всех?

Шабельский. Вовсе я этого не думаю. Я такой же мерзавец и свинья в ермолке, как и все. Моветон и старый башмак. Я всегда себя браню. Кто я? Что я? Был богат, свободен, немножко счастлив, а теперь... Нахлебник, приживалка, обезличенный шут... Я негодую, презираю, а мне в ответ смеются; я смеюсь, на меня печально кивают головою и говорят: спятил старик... А чаще всего меня не слышат и не замечают...

Анна Петровна *(покойно)*. Опять кричит...

Шабельский. Кто кричит?

Анна Петровна. Сова. Каждый вечер кричит.

Шабельский. Пусть кричит. Хуже того, что уже есть, не может быть. *(Потягивается.)* Эх, милейшая Сарра, выиграй я сто или двести тысяч, показал бы я вам, где раки зимуют!.. Только бы вы меня и видели... *(Зевает.)* Ушел бы я из этой ямы от даровых хлебов и ни ногой бы сюда до самого страшного суда...

Анна Петровна. А что бы вы сделали, если бы выиграли?

Шабельский *(подумав)*. Я? Прежде всего поехал бы в Москву и цыган послушал. Потом... потом махнул бы в Париж. Нанял бы себе там квартиру, ходил бы в посольскую церковь...

Анна Петровна. А еще что?

Шабельский. По целым дням сидел бы на жениной могиле и думал. Так бы я и сидел на могиле, пока не окошел. Жена в Париже похоронена...

Пауза.

Анна Петровна. Ужасно скучно. Сыграть нам дуэт еще, что ли?

Шабельский. Хорошо, приготовьте ноты. . .

Анна Петровна уходит.

ЯВЛЕНИЕ 5

Щабельский, Иванов и Львов.

Иванов (*показывается на аллее с Львовым*). Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще, всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены. . . Да хранит вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей. . . Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело. . . Это теплее, честнее и здоровее. . . А жизнь, которую я пережил, — как она утомительна!.. ах, как утомительна!.. Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого. . . (*Увидев графа, раздраженно.*) Всегда ты, дядя, перед глазами вертишься, не даешь поговорить наедине!

Шабельский (*плачущим голосом*). А черт меня возьми, нигде приюта нет!.. (*Вскакивает и идет в дом.*)

Иванов (*кричит ему вслед*). Ну, виноват, виноват. . . (*Львову.*) За что я его обидел? Нет, я решительно развинтился. Надо будет с собой что-нибудь сделать. Надо. . .

Львов (*волнуясь*). Николай Алексеевич, я выслушал вас и. . . и, простите, буду говорить прямо, без обиняков. В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уж о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия. . . Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, дни его сочтены, а вы. . . вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться. . . Не могу я вам высказать, нет у меня дара слова, но. . . но вы мне глубоко несимпатичны!..

Иванов. Может быть, может быть. . . Вам со стороны виднее. . . Очень возможно, что вы меня понимаете. . . Вероятно, я очень, очень виноват. . . (*Прислушивается.*) Кажется, лошадей подали. Пойду одеться. . . (*Идет к дому и останавливается.*) Вы, доктор, не любите меня и не скрываете этого. Это делает честь вашему сердцу. . . (*Уходит в дом.*)

Львов (*один*). Проклятый характер. . . Опять упустил случай и не поговорил с ним как следует. . . Не могу говорить с ним хладнокровно!.. Едва раскрою рот и скажу одно слово, как у меня вот тут (*показывает на грудь*) начинает душить, переворачиваться, и язык прилипает к горлу. . . Ненавижу этого тартюфа, возвышенного мошенника всей душой. . . Вот уезжает. . . У несчастной жены все счастье в том, чтобы он был возле нее; она дышит им, умоляет его провести с нею хоть один вечер, а он. . . он не может. . . Ему, видите ли, дома душно и тесно. Если он хоть один вечер проведет дома, то с тоски пулю пустит себе в лоб. Бедный. . . ему нужен

простор, чтобы затеять какую-нибудь новую подлость... О, я знаю, зачем ты каждый вечер едешь к этим Лебедевым!.. Знаю...

ЯВЛЕНИЕ 6

Львов, Иванов в шляпе и пальто, Шабельский и Анна Петровна.

Шабельский (*выходя с Ивановым и с Ан<ной> Петр<овной> из дому*). Наконец, Nicolas, это бесчеловечно... Сам уезжаешь каждый вечер, а мы остаемся одни. От скуки ложимся спать в восемь часов... Это безобразие, а не жизнь!.. И почему это тебе можно ездить, а нам нельзя? Почему?

Анна Петровна. Граф, оставьте его... Пусть едет, пусть...

Иванов (*жене*). Ну куда ты, больная, поедешь? Ты больна и тебе нельзя после захода солнца быть на воздухе. Спроси вот доктора. Ты не дитя, Аня, нужно рассуждать. (*Графу*.) А тебе зачем туда ехать?

Шабельский. Хоть к черту в пекло, хоть к крокодилу в зубы, только чтобы не здесь оставаться... Мне скучно... Я отупел от скуки... Я надоел всем... Ты оставляешь меня дома, чтоб ей не было одной скучно, а я ее загрыз, заел!..

Анна Петровна. Оставьте его, граф, оставьте... Пусть едет, если ему там весело...

Иванов. Аня, к чему этот тон? Ты знаешь, я не за весельем туда еду. Мне нужно поговорить о векселе.

Анна Петровна. Не понимаю, зачем ты оправдываешься? Езжай... кто тебя держит?

Иванов. Господа, не будемте есть друг друга!.. Неужели это так необходимо?

Шабельский (*плачущим голосом*). Nicolas, голубчик, ну я прошу тебя, возьми меня с собой... Я погляжу там мошенников и дураков и, может быть, развлекусь! Ведь я с самой Пасхи нигде не был...

Иванов (*раздраженно*). Хорошо, поедем...

Шабельский. Да? Ну merci, merci... (*Весело берет его под руку и отводит в сторону*.) Твою касторовую шляпу можно надеть?

Иванов. Можно, только поскорей, пожалуйста...

Граф бежит в дом.

Надо, Аня, рассуждать. Выздоровеешь, тогда и будем ездить, а теперь тебе нужен покой... Ну, прощай... (*Подходит к жене и целует ее в голову*.) Я вернусь к часу...

Анна Петровна (*ведет его к рампе*). Коля... (*Смеется*.) А то остался бы? Будем, как прежде, в сене кувыркаться... поужинаем вместе, будем читать... Я и брюзга разучили для тебя много дуэтов...

Пауза.

Останься, будем смеяться... *(Смеется и плачет.)* Или, Коля, как? Цветы повторяются каждую весну, а радости нет?.. Да? Ну, езжай, езжай...

Иванов. Я... я скоро вернусь... *(Идет, останавливается и думает.)* Нет, не могу!.. *(Уходит.)*

Анна Петровна. Езжай... *(Садится у стола.)*

Львов *(ходит по сцене)*. Анна Петровна, возьмите себе за правило: как только бьет шесть часов, вы должны идти в комнаты и не выходить до самого утра. Вечерняя сырость вредна вам...

Анна Петровна. Слушаю-с...

Львов. Что «слушаю-с»? Я говорю серьезно...

Анна Петровна. А вы постарайтесь говорить несерьезно. *(Кашляет.)*

Львов. Вот видите, вы уже кашляете...

ЯВЛЕНИЕ 7

Львов, Анна Петровна и Шабельский.

Шабельский *(в шляпе и в пальто выходит из дому)*. А где он? *(Быстро идет, останавливается перед Ан<ной> Петров<ной> и гримасничает.)* Гевалт... Вей мир... Пэх... Гевалт... Жвините пожалуста!.. *(Прыскает и быстро уходит.)*

Львов. Шут...

Пауза. Слышны далекие звуки гармонийки.

Анна Петровна *(потягивается)*. Какая скука... Вон кучера и кухарки задают себе бал, а я... я как брошенная. Евгений Константинович, где вы там шагаете? Идите сюда, сядьте...

Львов. Не могу я сидеть...

Пауза.

Анна Петровна. Доктор, у вас есть отец и мать?

Львов. Отец умер, а мать есть.

Анна Петровна. Вы скучаете по матери?

Львов. Мне некогда скучать.

Анна Петровна *(смеется)*. Цветы повторяются каждую весну, а радости нет. Кто это мне сказал эту фразу? Дай бог память... Кажется, сам Николай сказал... *(Прислушивается.)* Опять сова кричит...

Львов. Ну и пусть кричит...

Пауза.

Анна Петровна. Я, доктор, начинаю думать, что судьба меня обсчитала. Множество людей, которые, может быть, и не лучше меня, бывают счастливы, ничего не платя за счастье, почему же я одна должна платить так дорого? За что брать с меня такие ужасные проценты? *(Живо.)* Что вы сказали?

Львов. Ничего я не сказал...

Анна Петровна. И начинаю я также удивляться несправедливости и жестокости людей. Почему на любовь не отвечают любовью? Почему за правду платят ложью? *(Пожимает плечами.)* Вы, доктор, не семейный и не можете понять многого. . .

Львов. Вы удивляетесь. . . *(Садится рядом.)* Нет, я. . . я удивляюсь, удивляюсь вам!.. Ну объясните, растолкуйте мне, ради бога, как это вы, умная, честная, почти святая, позволили так нагло обмануть себя и затащить вас в это свиное гнездо? Зачем вы здесь? Что общего у вас с этим холодным, бездушным — но оставим вашего мужа!.. что у вас общего с этой пустой, пошлой средой? О господи боже мой. . . Этот вечно брызжащий, заржавленный, сумасшедший граф, этот пройдоха, мошенник из мошенников Миша со своей гнусной физиономией. . . Объясните же мне, к чему вы здесь? Как вы сюда попали?

Анна Петровна *(смеется)*. Вот точно так же и он когда-то говорил. . . Точь-в-точь. . . Но у него глаза большие, и, бывало, как он начнет говорить о чем-нибудь горячо, так они как угли. . . Говорите, говорите. . .

Львов *(встает и машет рукой)*. Что мне говорить? Идите в комнаты. . .

Анна Петровна. Вы говорите, что Николай то да сё, пятое, десятое. Откуда вы его знаете? Разве за полгода можно узнать человека? Это, доктор, замечательный человек, и я жалею, что вы не знали его года два-три тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде. . . какая прелесть!.. Я полюбила его с первого взгляда. *(Смеется.)* Взглянула, а мышеловка меня — хлоп!.. Он сказал: пойдём. . . Я отрезала от себя всё, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла. . .

Пауза.

А теперь не то. . . Теперь он едет к Лебедевым, чтобы развлечься с другими женщинами, а я. . . я сижу в саду и слушаю, как сова кричит. . .

Стук сторожа.

Доктор, а братьев у вас нет?

Львов. Нет.

Анна Петровна рыдает.

Ну что еще, что вам?

Анна Петровна *(встает)*. Я не могу, доктор, я поеду туда. . .

Львов. Куда это?..

Анна Петровна. Туда, где он. . . Я поеду. . . Прикажите заложить лошадей. . . *(Идет к дому.)*

Львов. Вам нельзя ехать. . .

Анна Петровна. Оставьте меня, не ваше дело. . . Я не могу, поеду. . . Велите дать лошадей. . . *(Бежит в дом.)*

Львов. Нет, я решительно отказываюсь лечить при таких условиях... Мало того, что ни копейки не платят, но еще душу выворачивают вверх дном!.. Нет, я отказываюсь, довольно!.. *(Идет в дом.)*

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ 2

Зал в доме Лебедевых. Прямо — выход в сад, направо и налево двери. Старинная, дорогая мебель. Люстра, канделябры и картины — все это в чехлах. Налево у стены диван, перед ним круглый етол с большой лампой, по сторонам кресла, по сю сторону стола у стены три кресла рядом. Направо пианино, на нем скрипка; по обе стороны его стулья. В глубине около выхода на террасу раскрытый ломберный стол.

ЯВЛЕНИЕ 1

Зинаида Саввишна, Дудкин, 1 гость, 2 гость, Косых, Авдотья Назаровна, Егорушка, Гаврила, горничная, две старухи-гости, гости, барышни и Бабакина.

Зинаида Саввишна сидит на диване; по обе стороны ее на креслах — старухи-гости; против на стульях сидят Дудкин, 1 гость и пять-шесть барышень. За ломберным столом сидят, играют в карты Косых, Егорушка, Авдотья Назаровна и 2 гость. Гаврила стоит у правой двери. Горничная разносит на подносе лакомства. Из сада в правую дверь и обратно циркулируют гости. Бабакина выходит из правой двери и направляется к Зинаиде Саввишне.

Зинаида Саввишна *(радостно)*. Душечка, Марфа Егоровна...

Бабакина. Здравствуйте, Зинаида Саввишна... Честь имею вас поздравить с новорожденной...

Целуются.

Дай бог, чтоб...

Зинаида Саввишна. Благодарю вас, душечка, я так рада... Ну, как ваше здоровье?

Бабакина. Очень вами благодарна. *(Садится рядом на диван.)* Здравствуйте, молодые люди...

Дудкин и 1 гость встают и кланяются.

1 гость *(смеется)*. Молодые люди... а вы разве старая?

Бабакина *(вздыхая)*. Где уж нам в молодые лезть...

1 гость *(почтительно смеясь)*. Помилуйте, что вы...

Дудкин. Одно только звание, что вдова, а вы любой девице можете десять очков вперед дать...

Гаврила подносит Бабакиной чай.

Зинаида Саввишна *(Гавриле)*. Что же ты так подаешь? Принес бы какого-нибудь варенья... кружовенного, что ли...

Бабакина. Не беспокойтесь, очень вами благодарна...

Пауза.

Дудкин. Вы, Марфа Егоровна, через Мушкино ехали?

Бабакина. Нет, на Займище. Тут дорога лучше...
Дудкин. Так-с...

Пауза.

Косых. Два пики...
Егорушка. Пас.
Авдотья Назаровна. Пас.
2 гость. Пас.

Бабакина. Выигрышные билеты, душечка Зинаида Саввишна, опять пошли шибко в гору. Видано ли дело, первый заем стоит уж 270, а второй без малого 250... Никогда этого и не было...

Зинаида Саввишна (*вздыхает*). Хорошо, у кого их много...

Бабакина. Не скажите, душечка, хоть они и в большой цене, а держать в них капитал совсем невыгодно. Одна страховка сживет со света.

Зинаида Саввишна. Так-то так, а все-таки, моя милая, надеешься... (*Вздыхает*). Бог милостив...

Дудкин. По нынешнему времени, если рассуждать с точки зрения, куда ни сунься с капиталом, везде невыгодно. Процентные бумаги — грусть одна, а в оборот пущать — баба надвое сказала: того и гляди в трубу засвистишь. Я так понимаю, ежели который человек нажил капитал, тому самое лучшее дело — купить револьвер, выпалить и аминь... Потому с капиталом нынче одно горе...

Бабакина (*вздыхает*). Это верно...

1 гость (*соседке барышне*). Один человек приходит к другому, видит — собака сидит. (*Смеется*). Он и спрашивает: «Как зовут вашу собаку?» А тот и отвечает: «Каквас» (*Хохочет*). Каквас... Понимаете... Как вас... (*Конфузится*.)

Дудкин. У нас в городе при складе есть собака, так ту зовут Кабысдох...

Бабакина. Как?

Дудкин. Кабысдох.

Легкий смех. Зинаида Саввишна встает и уходит в правую дверь. Продолжительное молчание.

Егорушка. Два бубны.
Авдотья Назаровна. Пас.
2 гость. Пас.
Косых. Пас.

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же, Зинаида Саввишна и Лебедев.

Зинаида Саввишна (*выходя из правой двери с Лебедевым, тихо*). Что уселся там? Примадонна какая... Сиди с гостями... (*Садится на прежнее место*.)

Лебедев (*идя к крайнему креслу налево, зевает*). Ох, грехи наши тяжкие... (*Увидев Бабакину*) Батюшки, мармелад сидит!.. Рахат лукум!.. (*Здоровается*) Как наше драгоценнейшее?..

Бабакина. Очень вами благодарна...

Лебедев. Ну слава богу, слава богу... (*Садится в кресло*) Так, так... Гаврила!..

Гаврила подносит ему рюмку водки и стакан воды; он выпивает водку и запивает водой.

Дудкин. На доброе здоровье...

Лебедев. Какое уж тут доброе здоровье? Околеванца нет, и на том спасибо. (*Жене*) Зюзюшка, а где же наша новорожденная?

Косых (*плаксиво*). Скажите мне, ради бога, ну за что мы остались без взятки? (*Вскакивает*) Ну за что мы проиграли, черт меня подери совсем?..

Авдотья Назаровна (*вскакивает и сердито*). А за то, что если ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись... Какое ты имеешь полное право ходить в чужую масть? Вот и остался у тебя маринованный туз...

Оба бегут из-за стола вперед.

Косых (*плачущим голосом*). Позвольте, господа... У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь, туз пик и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка, а она, черт знает, не могла объявить маленький шлем!.. Я сказал — без козыря...

Авдотья Назаровна (*перебивая*). Это я сказала — без козыря, ты сказал — два без козыря...

Косых. Это возмутительно... Позвольте... у вас... у меня... у вас... (*Лебедеву*) Да вы посудите, Павел Кириллыч... У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь...

Лебедев (*затыкает уши*). Отстань, сделай милость, отстань...

Авдотья Назаровна (*кричит*). Это я сказала — без козыря...

Косых (*свирепо*). Будь я подлец и анафема, если сяду еще когда-нибудь играть с этой севрюгой!.. (*Быстро идет к террасе и останавливается около ломберного стола; Егорушке*) Сколько ты записал? что ты записал? Постой... 38 помножить на 8... это будет... восьмью восемь... А, черт меня возьми!.. (*Уходит в сад*)

2 гость уходит за ним; за столом остается Егорушка.

Авдотья Назаровна. Уф... даже в жар от него бросило... Севрюга... Сам ты севрюга!..

Бабакина. Да и вы, бабушка, сердитая...

Авдотья Назаровна (*увидев Бабакину, всплескивает руками*). Ясочка моя, красавица... Она здесь, а я, куриная слепота, не вижу... Голубочка... (*Целует ее в плечо и садится рядом*) Вот радость!..

Дай же я на тебя погляжу, лебедь белая!.. Тьфу, тьфу, тьфу... чтобы не сглазить!..

Лебедев. Ну, распелась... Жениха бы ей лучше подыскала...

Авдотья Назаровна. И найду!.. В гроб, грешница, не лягу, а ее да Саничку замуж выдам!.. В гроб не лягу... *(Вздых.)* Только ведь где их найдешь нынче женихов-то?.. Вон они наши женихи сидят, нахохлились, словно петухи мокрые!..

Дудкин. Потому что на нас не обращают внимания...

ЯВЛЕНИЕ 3

Те же и Саша.

Саша входит из сада и тихо идет к отцу.

Зинаида Саввишна. Сашенька, разве ты не видишь, что у нас Марфа Егоровна?

Саша. Виновата. *(Идет к Бабакиной и здоровается.)*

Бабакина. Загорделась, Саничка, загорделась... Хоть бы разок приехала.

Целуются.

Поздравляю, душечка...

Саша. Благодарю. *(Сидится рядом с отцом.)*

Лебедев. Да, Авдотья Назаровна, трудно теперь с женихами. Не то что жениха, путевых шаферов достать негде. Нынешняя молодежь, не в обиду будь сказано, какая-то, господь с ней, кислая, переваренная... Ни поплясать, ни поговорить, ни выпить толком...

Авдотья Назаровна. Ну, пить они все мастера, только дай...

Лебедев. Не велика штука пить, нажраться и свинья умеет... Нет, ты с толком выпей!.. В наше время, бывало, день-деньской с лекциями бьешься, а как только настал вечер, идешь прямо куда-нибудь на огонь и до самой зари волчком вертишься... И пляшешь, и барышень забавляешь, и эта штука. *(Щелкает себе по щеке.)* Бывало, и брешешь и философствуешь, пока язык не отнимется. А нынешние... *(машет рукой)* не понимаю... Ни богу свечка, ни черту кочерга. Во всем уезде есть только один путевый малый, да и тот женат *(вздыхает)* и, кажется, уж беситься стал...

Бабакина. Кто это?

Лебедев. Николаша Иванов.

Бабакина. Да, он хороший мужчина *(делает гримасу)*, только несчастный!

Зинаида Саввишна. Еще бы, душечка, быть ему счастливым... *(Вздыхает.)* Как он, бедный, ошибся!.. Женился на своей жидовке и так, бедный, рассчитывал, что отец и мать за ней золотые горы дадут, а вышло совсем напротив... С того времени, как она переменила веру, отец и мать знать ее не хотят, прокляли... Так ни копейки и не получил... Теперь кается, да уж поздно...

Саша. Мама, это неправда...

Бабакина (*горячо*). Шурочка, как же неправда? Ведь это все знают. Ежели не было бы интереса, то зачем бы ему на жидовке жениться?.. Разве русских мало? Ошибся, душечка, ошибся... (*Живо*.) Господи, да и достается же теперь от него ей, мерзавке!.. Просто смех один... Придет откуда-нибудь домой и сейчас к ней: «Твои отец и мать меня надули! пошла вон из моего дома...» А куда ей идти? Отец и мать не примут; пошла бы в горничные, да работать не приучена. Уж он мудрует, мудрует над ней, пока граф не вступится. Не будь графа, давно бы ее со света сжил...

Авдотья Назаровна. А то, бывает, запрет ее в погреб и — «ешь, такая-сякая, чеснок...» Ест, ест, покуда из души переть не начнет.

Смех.

Саша. Папа, ведь это ложь!

Лебедев. Ну так что же? Пусть себе мелют на здоровье... (*Кричит*.) Гаврила!..

Гаврила подает ему водку и воду.

Зинаида Саввишна. Оттого вот и разорился, бедный... Дела, душечка, совсем упали... Если бы не Боркин, который глядит за хозяйством, так ему бы с жидовкой есть нечего было. (*Вздыхает*.) А как мы-то, душечка, из-за него-то пострадали!.. Так пострадали, что один только бог видит... Верите ли, милая, уж три года, как он нам девять тысяч должен...

Бабакина (*с ужасом*). Девять тысяч!..

Зинаида Саввишна. Да... это мой милый Пашенька распорядился дать ему... Не разбирает, кому можно дать, кому нельзя... Про капитал я уже не говорю, бог с ним, но хоть бы проценты исправно платил...

Саша (*горячо*). Мама, об этом вы говорили уж тысячу раз.

Зинаида Саввишна. Тебе-то что? Что ты заступаешься?

Саша (*встает*). Но как у вас хватает духа говорить все это про честного, порядочного человека, который не сделал вам никакого зла? Ну что он вам сделал?

Зинаида Саввишна (*насмешливо*). Порядочный и честный человек...

1 гость (*искренно*). Александра Павловна, заверяю вас, что вы его плохо знаете... Какой же он честный? (*Встает*.) Разве это честность? Два года тому назад во время скотской чумы накупил он скота...

Зинаида Саввишна (*перебивая*). Накупил он скота, застраховал его, заразил чумой и взял страховую премию. Честность...

1 гость. Это все отлично знают...

Саша. Неправда, это ложь. Никто не покупал коров и не заражал, а это только Боркин сочинил такой проект и везде хвастался им. Когда Иванов узнал об этом проекте, так Боркин у него две недели потом прощения просил. Виноват же Иванов только в том, что у него слабый, великодушный характер, что у него не хватает духа прогнать от себя Боркина...

1 гость. Слабый характер... *(Смеется.)* Александра Павловна, ей-богу, глаза отводит...

Зинаида Саввишна. А тебе стыдно за таких заступаться...

Саша. Я жалею, что вмешалась в этот разговор... *(Быстро идет к правой двери.)*

Лебедев. Шура, горячка!.. *(Смеется.)* Порох-девка...

1 гость *(загораживает ей дорогу)*. Александра Павловна, ей-богу, не буду!.. Виноват... честное слово, не буду больше!..

Зинаида Саввишна. Хоть при гостях, Сашенька, не показывай характер.

Саша *(дрогнувшим голосом)*. Вся свою жизнь проработал для других; всё, что у него было, растащили, расхитили; около его великодушных затей наживался всякий, кто хотел... Никогда в жизни он не осквернял себя ложью, хитростью, ни разу я не слышала, чтобы он говорил о ком-нибудь худо... и что же? Куда ни придешь, только и слышишь: Иванов, Иванов, Иванов... как будто не о чем больше говорить...

Лебедев. Горячка... Будет тебе...

Саша. Да, у него есть ошибки, но ведь каждая ошибка таких людей стоит двадцати наших добродетелей... Если бы вы только могли... *(Оглядывается и видит Иванова и Шабельского.)*

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же, Иванов и Шабельский.

Шабельский *(входя с Ивановым из правой двери)*. Кто это здесь декламирует? Вы, Шурочка? *(Хохочет и пожимает ей руку.)* Поздравляю, ангел мой. Дай вам бог попозже умереть и не рождаться во второй раз...

Зинаида Саввишна *(радостно)*. Николай Алексеич... Граф...

Лебедев. Ба... кого вижу... Граф!.. *(Идет навстречу.)*

Шабельский *(увидев Зинаиду Саввишну и Бабакину, протягивает в сторону их руки)*. Два банка на одном диване!.. Глядеть любо... *(Здоровается, Зинаиде Саввишне.)* Здравствуйте, Зюзюшка. *(Бабакиной.)* Здравствуйте, помпончик...

Зинаида Саввишна. Я так рада. Вы, граф, у нас такой редкий гость. *(Стонет.)* Гаврила, чаю... Садитесь, пожалуйста... *(Встает, уходит в правую дверь и тотчас же возвращается; вид крайне озабоченный.)*

Саша садится на прежнее место; Иванов, поздоровавшись молча со всеми, садится рядом с ней. Барышни гуськом проходят на террасу и обратно.

Лебедев *(Шабельскому)*. Откуда ты взялся? Какие это силы тебя принесли? Вот сюрприз, накажи меня бог... *(Целует его.)* Граф, ведь ты разбойник... Так не делают порядочные люди... *(Ведет его за руку к рампе.)* Отчего ты у нас не бываешь? Сердит что ли?

Шабельский. На чем же я могу к тебе ездить? Верхом на палке? Своих лошадей у меня нет, а Николай не берет с собой, велит с жидовкой сидеть, чтоб та не скучала. Присылай за мной лошадей, тогда и буду ездить. . .

Лебедев *(машет рукой)*. Ну да. . . Зюзюшка скорее треснет, чем даст лошадей. Голубчик ты мой, милый, ведь ты для меня дороже и роднее всех!.. Из всего старья уцелели только я да ты. Люблю в тебе я прошлые страдания и молодость погибшую мою. . . Шутки шутками, а я вот почти плачу. . . *(Целует графа.)*

Шабельский. Пусти, пусти, от тебя как из винного погреба. . .

Лебедев. Душа моя, ты не можешь себе представить, как мне скучно без моих друзей!.. Вешаться готов с тоски. . . *(Тихо.)* Зюзюшка со своей ссудной кассой разогнала всех порядочных людей, и остались, как видишь, одни только зулусы. . . эти Дудкины. . . Будкины. . . Ну, кушай чай. . .

Гаврила подносит графу чай.

Зинаида Саввишна *(подходит к графу, озабоченно Гавриле)*. Ну как же ты подаешь? Принес бы какого-нибудь варенья. . . кружовенного что ли. . .

Шабельский *(хохочет; Иванову)*. Что? Не говорил я тебе? *(Лебедеву.)* Я с ним дорогой пари держал, что, как приедем, Зюзюшка сейчас же начнет угощать нас кружовенным вареньем. . .

Зинаида Саввишна. Вы, граф, все такой же насмешник. . . *(Садится на диван.)*

Лебедев *(садясь рядом с Ивановым)*. Двадцать бочек его наварили, так куда же его девать?

Шабельский *(садясь около стола в кресло)*. Всё копите, Зюзюшка. Ну что, уже миллиончик есть, а?

Зинаида Саввишна *(вздых)*. Да, со стороны поглядеть, так богаче нас и людей нет, а откуда быть деньгам? Один разговор только. . .

Шабельский. Ну да, да. . . знаем. . . Знаем, как вы плохо в шашки играете. . . *(Лебедеву.)* Паша, скажи по совести, скопили миллион?..

Лебедев. Ей-богу, не знаю, это у Зюзюшки спроси. . .

Шабельский *(Бабакиной)*. И у жирненького помпончика будет скоро миллиончик!.. Ей-богу, хорошеет и полнеет не по дням, а по часам!.. Что значит деньжищ много. . .

Бабакина. Очень вами благодарна, ваше сиятельство, а только я не люблю насмешек. . .

Шабельский. Милый мой банк, да разве это насмешки? Это просто вопль души, от избытка чувств глаголят уста. . . Вас и Зюзюшку я люблю бесконечно. . . *(Весело.)* Восторг!.. Упоение. . . Вас обоих не могу видеть равнодушно. . .

Зинаида Саввишна. Вы все такой же, как и были. *(Егорушке.)* Егорушка, потуши свечи!.. Зачем им гореть попусту, если не играете?

Егорушка вздрагивает, тушит свечи и садится.

(Иванову.) Николай Алексеевич, как здоровье вашей супруги?

Иванов. Плохо. Сегодня доктор положительно сказал, что у нее чахотка...

Зинаида Саввишна. Неужели? Какая жалость... (Вздых.) А мы все ее так любим...

Шабельский. Вздор, вздор и вздор. Никакой чахотки нет, докторское шарлатанство, фокус... Хочется эскулапу шляться, вот и выдумал чахотку. Благо, муж не ревнив...

Иванов делает нетерпеливое движение.

А что касается самой Сарры, то она семитка. Я не верю ни одному ее слову, ни одному движению... Жвините пижалуста, ой вей мир... Хоть убейте, не поверю... Ты извини, Nicolas, но... ведь... я не говорю ничего особенного дурного... По-моему, заболела Сарра — значит, гешефт задумала, умирать будет — не поверю: тоже гешефт...

Лебедев (Шабельскому). Удивительный ты субъект, Матвей... напустил на себя какую-то мизантропию и носится с ней, как с писаной торбой. Человек как человек, а заговоришь, так точно у тебя типун на языке или сплошной катар... Да, ей-богу!..

Шабельский. Что же мне, целоваться с мошенниками и с подлецами, что ли?..

Лебедев. Где же ты видишь мошенников и подлецов?

Шабельский. Я, конечно, не говорю о присутствующих, но...

Лебедев. Вот тебе и но... все это напускное...

Шабельский. Напускное... Хорошо, что у тебя никакого мировоззрения нет.

Лебедев. Какое мое мировоззрение?.. Сижу и каждую минуту околеванца жду — вот мое мировоззрение. Нам, брат, не время с тобой о мировоззрении думать... Так-то... (Кричит.) Гаврила!..

Шабельский. Ты уж и так нагаврился... Погляди, как нос насандалил!..

Лебедев (пьет). Ничего, душа моя... Не венчаться мне ехать...

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Боркин.

Боркин, одетый франтом, со свертком в руках, подпрыгивая и напевая, входит из правой двери. Гул одобрения.

Вместе Барышни. Михаил Михайлович...

Лебедев. Мишель Мишелич!.. Слыхом слышать...

Шабельский. Душа общества!..

Боркин. А вот и я... *(Подбегает к Саше.)* Благородная синьорина, беру на себя смелость поздравить вселенную с рождением такого чудного цветка, как вы... Как дань своего восторга, осмеливаюсь преподнести *(подает сверток)* фейерверки и бенгальские огни собственного изделия. Да проясняют они ночь так же, как вы просветляете потемки темного царства!.. *(Театрально раскланивается.)*

Саша. Благодарю вас...

Лебедев *(хохочет, Иванову)*. Отчего ты не прогонишь эту иуду?

Боркин *(Лебедеву)*. Павлу Кириллычу... *(Иванову.)* Патрону... *(Поет.)* Nicolas-voilà, го-ги-го... *(Обходит всех.)* Почтеннейшей Зинаиде Саввишне... Божественной Марфе Егоровне... Древнейшей Авдотье Назаровне... Сиятельному графу...

Шабельский *(хохочет)*. Душа общества... Едва вошел, как атмосфера стала жиже... Вы замечаете?

Зинаида Саввишна, Бабакина и граф встают из-за стола и беседуют стоя. Две старухи уходят.

Боркин. Уф... утомился... Кажется, со всеми здоровался. Ну, что новенького, господа? Нет ли чего-нибудь такого особенного, в нос шibaющего? *(Живо Зинаиде Саввишне.)* Ах, послушайте, мамаша. Еду сейчас к вам... *(Гавриле.)* Дай-ка мне, Гаврюша, чаю, только без кружовенного варенья. *(Зинаиде Саввишне.)* Еду сейчас к вам, а на реке у вас мужики с лозняка кору дерут. Отчего вы лозняк на откуп не отдадите?

Лебедев *(хохоча, Иванову)*. Отчего ты не прогонишь эту иуду?

Зинаида Саввишна *(испуганно)*. А ведь это правда... мне и на ум не приходило!..

Боркин *(делает ручную гимнастику)*. Не могу без движений... Мамаша, что бы такое особенное выкинуть? Марфа Егоровна, я в ударе... я экзальтирован... *(Поет.)* Я вновь пред тобою...

Зинаида Саввишна. Устройте что-нибудь, а то все соскучились.

Боркин. Господа, что же это вы в самом деле носы повесили? Сидят, точно присяжные заседатели... Давайте изобразим что-нибудь... Что хотите? фанты, веревочку, горелки, танцы?

Барышни. Танцы, танцы...

Боркин. Я готов... Дудкин, танцевать!.. *(Придвигает кресла к стене.)* Егорушка, где ты? Настраивай скрипку...

Егорушка вздрагивает и идет к пианино. Боркин садится за пианино и дает ла. Егорушка настраивает скрипку.

Иванов *(Лебедеву)*. У меня к тебе просьба, Паша. Послезавтра срок моему векселю, а проценты платить нечем. Нельзя ли будет подождать или приписать проценты к капиталу?

Лебедев *(испуганно)*. Голубушка, не мое дело... Поговори с Зюзюшкой, а я... я ничего не знаю...

Иванов *(трет себе лоб)*. Мучительно!..

Саша. Что вы?

Иванов. Отвратительно сегодня я себя чувствую.

Саша. Это и по лицу видно... Пойдемте в гостиную...

Иванов и Саша уходят в правую дверь.

Боркин *(кричит)*. Музыка готова!..

Дудкин приглашает Бабакину.

Бабакина. Нет, сегодня мне грех танцевать. В этот день у меня муж умер...

Боркин и Егорушка играют польку «A propos Faust»; граф затыкает уши и выходит на террасу. За ним идет Авдотья Назаровна. По движениям Дудкина видно, что он убеждает Бабакину. Барышни просят первого гостя плясать, но он отказывается. Дудкин машет рукой и уходит в сад.

Боркин *(оглядывается)*. Господа, что же это такое? *(Перестает играть.)* Отчего вы не танцуете?

Барышни. Кавалеров нет...

Боркин *(встает)*. Этак, значит, у нас ничего не выйдет... В таком случае пойдемте фейерверки пускать, что ли...

Барышни *(хлопают в ладоши)*. Фейерверки, фейерверки... *(Бегут в сад.)*

Боркин *(берет сверток и подает руку Бабакиной)*. Же ву при!... *(Кричит.)* Господа, в сад... *(Уходит.)*

Уходят все, кроме Лебедева и Зинаиды Саввишны.

Зинаида Саввишна. Вот это, я понимаю, молодой человек. И минуты не побыл, а уж всех развеселил. *(Притушивает большую лампу.)* Пока они все в саду, нечего свечам даром гореть. *(Тушит свечи.)*

Лебедев *(идет за ней)*. Зюзюшка, надо бы дать гостям закусить что-нибудь...

Зинаида Саввишна. Ишь, свечей сколько... Недаром люди судят, что мы богатые. *(Тушит.)*

Лебедев *(идя за ней)*. Зюзюшка, ей-богу, дала бы чего-нибудь поесть людям... Люди молодые, небось проголодались, бедные... Зюзюшка...

Зинаида Саввишна. Граф не допил своего стакана. Даром только сахар пропал. Отнесу, отдам Матрене выпить. *(Берет стакан и идет в левую дверь.)*

Лебедев. Тьфу!.. *(Уходит в сад.)*

ЯВЛЕНИЕ 6

Иванов и Саша.

Саша *(входя с Ивановым из правой двери)*. Все ушли в сад...

Иванов. Такие-то дела, Шурочка. Ничего я не делаю и ни о чем не думаю, а устал телом, душой и мозгом... День и ночь болит моя совесть, чувствую, что глубоко виноват, но в чем, собственно, моя вина, не понимаю... А тут еще болезнь жены, безденежье, вечная грызня, сплетни, шум... Мой дом мне

опротивел, и жить в нем для меня хуже пытки... *(Оглядывается.)* Я не знаю, Шурочка, что со мною делается, но скажу вам откровенно, для меня стало невыносимо даже общество жены, которая меня любит... и такие грязные эгоистические мысли лезут мне в голову, о каких я раньше и понятия не имел...

Пауза.

Скверно... Я нагоняю на вас тоску, Шурочка, простите, но я только и забываюсь на минуту, когда говорю с вами, друг мой... Около вас я точно собака, которая греется на солнышке. Я, Шурочка, знаю вас с той поры, как вы родились, всегда любил вас, нянчил... Дорого я дал бы, чтобы у меня сейчас была такая дочка...

С а ш а *(шутя, сквозь слезы)*. Николай Алексеевич, бежимте в Америку...

И в а н о в . Мне до этого порога лень дойти, а вы в Америку...

Идут к выходу в сад.

А что, Шура, трудно живется? Я вижу, все вижу... Не по вас этот воздух...

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и Зинаида Саввишна .

Зинаида Саввишна выходит из левой двери.

И в а н о в . Виноват, Шурочка, я догоню вас...

С а ш а уходит в сад.

Зинаида Саввишна, я к вам с просьбой...

Зинаида Саввишна . Что вам, Николай Алексеевич?

И в а н о в *(мнется)*. Дело, видите ли, в том, что послезавтра срок моему векселю. Вы премного обязали бы меня, если бы дали отсрочку или позволили приписать проценты к капиталу. У меня теперь совсем нет денег...

Зинаида Саввишна *(испуганно)*. Николай Алексеевич, да как это можно? Что же это за порядок? Нет, и не выдумывайте вы, ради бога, не мучайте вы меня, несчастную...

И в а н о в . Виноват, виноват... *(Уходит в сад.)*

Зинаида Саввишна . Фуй, батюшки, как он меня встревожил... я вся дрожу... вся дрожу... *(Уходит в правую дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ 8

К о с ы х .

К о с ы х *(входит из левой двери и идет через сцену)*. У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь, туз пик и одна... одна маленькая червонка, а она не могла, черт ее возьми совсем, объявить маленького шлема... *(Уходит в правую дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ 9

Дудкин и Авдотья Назаровна.

Авдотья Назаровна (*входя с Дудкиным из сада*). Вот так бы я ее и растерзала, сквалыгу... Так бы и растерзала... Шутка ли, с пяти часов сижу, а она хоть бы ржавой селедкой попотчевала... Ну, дом... ну, хозяйство...

Дудкин. Постой, насчет шнапса мы сейчас Егорушку пощупаем. Выпью, старая, и домой. Ну его, всё к черту!.. Тут со скуки да с голоду волком завоешь... И невест мне твоих не надо... Какая тут к лешему любовь, ежели с самого обеда ни рюмки?..

Авдотья Назаровна. Сашенька-то ведь не виновата... Это все мать...

Дудкин. Да что ты мне Сашеньку сватаешь? Бланмаже, лефоше-гран-мерси и всякие там умственности... Я человек положительный и с характером... Мне давай посущественней...

Авдотья Назаровна. Пойдем, поищем, что ли...

Дудкин. Тсс... Потихоньку... Марфутка бы подошла под масть, да уж больно того... легкокрылая... Приезжаю к ней вчерась, а у нее полнехонький дом всяких артистов...

Уходят в левую дверь.

ЯВЛЕНИЕ 10

Анна Петровна и Львов выходят из правой двери.

Львов. Ну зачем, спрашивается, мы сюда приехали?..

Анна Петровна. Ничего, нам рады будут. Никого нет... Должно быть, в саду... Пойдемте в сад...

Уходят в сад.

ЯВЛЕНИЕ 11

Авдотья Назаровна и Дудкин.

Дудкин (*выводя из левой двери*). В столовой нет, так, стало быть, где-нибудь в кладовой. Надо бы Егорушку пощупать. Пойдем через гостиную.

Авдотья Назаровна. Так бы я ее и растерзала...

Уходят в правую дверь.

ЯВЛЕНИЕ 12

Бабакина, Боркин и Шабельский.

Бабакина и Боркин со смехом вбегают из сада, за ними, смеясь и потирая руки, семенит Шабельский.

Бабакина. Какая скука! *(Хохочет.)* Какая скука!.. Все ходят и сидят как будто бы аршин проглотили. От скуки все косточки застыли. *(Прыгает.)* Надо размяться...

Боркин хватает ее за талию и целует в щеку.

Шабельский *(хохочет и щелкает пальцами)*. Черт возьми... *(Крякает.)* Некоторым образом...

Бабакина. Пустите, пустите руки, бесстыдник, а то граф бог знает что подумает. Отстаньте...

Боркин. Ангел души моей, карбункул моего сердца. *(Целует.)* Дайте займы 2300 рублей...

Бабакина. Не-не-нет... Что хотите, а насчет денег, очень вами благодарна... Нет, нет, нет... Ах, да пустите руки...

Шабельский *(семенит около)*. Помпончик... Имеет свою приятность...

Боркин *(серьезно)*. Но довольно... Давайте говорить о деле... Будем рассуждать прямо, по-коммерчески. Отвечайте мне прямо, без subtilностей и без всяких фокусов: да или нет? Слушайте. *(Оказывает на графа.)* Вот ему нужны деньги, минимум три тысячи годового дохода, вам нужен муж. Хотите быть графиней?

Шабельский *(хохочет)*. Удивительный циник...

Боркин. Хотите быть графиней? Да или нет?

Бабакина *(взволнованно)*. Выдумываете, Миша, право... И эти дела не делаются так с бухтыбарахты... Если графу угодно, он сам может и... и я не знаю, как это вдруг, сразу...

Боркин. Ну, ну... будет тень наводить... Дело коммерческое... Да или нет?

Шабельский *(смеясь и потирая руки)*. В самом деле? а? Черт возьми, разве устроить себе эту гнусность? а? помпончик... *(Целует Бабакину в щеку.)* Прелесть... огурчик...

Бабакина. Постойте, постойте, вы меня совсем встревожили. Уйдите, уйдите... Нет, не уходите...

Боркин. Скорей... да или нет? Нам некогда...

Бабакина. Знаете что, граф? Вы... вы приезжайте ко мне в гости дня на три... У меня весело, не так как здесь... Приезжайте завтра... *(Боркину.)* Нет, вы это не шутите?

Боркин *(сердито)*. Да кто же станет шутить в серьезных делах?

Бабакина. Постойте, постойте... ах, мне дурно... Мне дурно... графиня... мне дурно... я падаю...

Боркин и граф со смехом берут ее под руки и, целуя в щеки, уводят в правую дверь.

ЯВЛЕНИЕ 13

Иванов, Саша, потом Анна Петровна.
Иванов и Саша вбегают из сада.

Иванов *(хватая себя за голову, с ужасом)*. Не может быть!.. Не надо, не надо, Шурочка!.. Ах, не надо!..

Саша *(с увлечением)*. Люблю я вас безумно... без вас нет смысла моей жизни, нет счастья и радости... Для меня вы всё...

Иванов. К чему, к чему, боже мой, я ничего не понимаю... Шурочка, не надо!..

Саша. В детстве моем вы были для меня единственной радостью, я любила вас и вашу душу, как себя, а теперь ваш образ неотступно день и ночь стоит поперек моих мыслей и мешает мне жить. Я вас люблю, Николай Алексеевич... С вами не то что на край света, а куда хотите, хоть в могилу, только ради бога скорее, иначе я задохнусь...

Иванов *(закатывается счастливым смехом)*. Это что же такое? Это значит начинать жизнь сначала? Шурочка, да? Счастье мое... *(Берет ее за талию и привлекает к себе)*. Моя молодость, моя свежесть...

Анна Петровна входит из сада и, увидев мужа и Сашу, останавливается как вкопанная.

Значит, жить? Да? Снова за дело?

Поцелуй. После поцелуя Иванов и Саша оглядываются и видят Анну Петровну.

(В ужасе.) Сарра!..

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ 3

Кабинет Иванова. Направо и налево — двери. Прямо письменный стол, на котором в беспорядке лежат бумаги, книги, казенные пакеты, безделушки, револьверы; около бумаг лампа, графин с водкой, тарелка с селедкой, куски хлеба и огурцы. Шкафы с книгами, столики, кресла, этажерки, весы, плуг. На стенах ланд-карты, картины, ружья, пистолеты, серпы, седла, нагайки и проч. Полдень.

ЯВЛЕНИЕ 1

Шабельский, Лебедев, Боркин и Петр.

Шабельский и Лебедев сидят по сторонам письменного стола,
Боркин среди сцены верхом на стуле; Петр стоит у двери.

Лебедев. У Франции политика ясная и определенная... Французы знают чего хотят. Им нужно лущить колбасников и больше ничего, а у Германии, брат, совсем не та музыка. У Германии, кроме Франции, еще много сучков в глазу...

Шабельский. Вздор... По-моему, и немцы трусы и французы трусы... Показывают только друг другу кукиши в кармане. Поверь, кукишами дело и ограничится. Драться не будут.

Боркин. А по-моему, зачем драться? К чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я что бы сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошей дозе и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц.

Шабельский прыскает.

Лебедев *(смеется)*. Голова, посмотришь, маленькая, а великих идей в ней тьма тьмущая, как рыб в океане.

Шабельский. Виртуоз... каждый день родит по тысяче проектов, хватает с неба звезды, но всё не в пользу... Никогда у него гроша не бывает в кармане...

Лебедев. Искусство для искусства...

Боркин. Я не для себя, а для других хлопочу, из человеколюбия.

Лебедев. Бог с тобой, смешишь ты, Мишель Мишелич... *(Перестав смеяться.)* Что ж, господа, Жомини да Жомини, а о водке ни полслова. Repetatur!..¹

Встают и идут к водке.

(Наливает три рюмки.) Будемте здоровы...

Пьют и закусывают.

Селедочка, матушка, всем закускам закуска...

Шабельский. Ну нет, огурец лучше... Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали... *(Петру.)* Петр, подика еще принеси огурцов да вели на кухне изжарить четыре пирожка с луком. Чтоб горячие были...

Петр уходит.

Лебедев. Водку хорошо тоже икрой закусывать. Только как? С умом надо... Взять икры паюсной четверку, две луковички, зеленого лучку, прованского масла, смешать все это и, знаешь, этак поверх всего лимончиком... смерть!.. От одного аромата угоришь... *(Живо.)* А едал ли когда-нибудь икру из рыжиков?

Шабельский. Нет...

Лебедев. Гм... Соленые рыжики крошатся мелко-мелко, как икра или как, понимаешь ты, каша... Кладется туда лук, прованское масло... поперчить немножко, уксусу... *(Целует пальцы.)* Объедение...

Боркин. После водки хорошо тоже закусывать жареными пескарями. Только их надо уметь жарить. Нужно почистить, потом обвалить в толченых сухарях и жарить досуха, чтобы на зубах хрустели... Хру-хру-хру...

Шабельский. Вчера у Бабакиной была хорошая закуска — белые грибы.

Лебедев. А еще бы...

Шабельский. Только как-то особенно приготовлены. Знаешь, с луком, с лавровым листом, со всякими специями. Как открыли кастрюлю, а из нее пар, запах... просто восторг...

Лебедев. Что ж? Repetaur, господа...

Выпивают.

Будемте здоровы... *(Смотрит на часы.)* Должно быть, не дождусь я Николаши. Пора мне ехать... У Бабакиной, ты говоришь, грибы подавали, а у нас еще не видать грибов. Скажи на милость, за каким это лешим ты зачастил к Марфутке?

Шабельский *(кивает на Боркина)*. Да вот женить меня на ней хочет...

Лебедев. Женить... Тебе сколько лет?

Шабельский. 62 года...

Лебедев. Самая пора жениться, а Марфутка как раз тебе пара.

Боркин. Тут не в Марфутке дело, а в Марфуткиных стерлингах.

Лебедев. Чего захотел — Марфуткиных стерлингов... А гусяного чаю не хочешь?

Боркин. А вот как женится человек да набьет себе ампоше¹, тогда и увидите гусяный чай. Облизнетесь...

Шабельский. Ей-богу, а ведь он серьезно!.. Этот гений уверен, что я его послушаюсь и женюсь...

Боркин. А то как же? А вы разве уже не уверены?

Шабельский. Да ты с ума сошел... Когда я был уверен? Пссс...

Боркин. Благодарю вас... очень вам благодарен... Так это значит, вы меня подвести хотите? То женюсь, то не женюсь... сам черт не разберет, а я уж ей честное слово дал... Так вы не женитесь?

Шабельский *(пожимает плечами)*. Он серьезно... удивительный человек!..

Боркин *(возмущаясь)*. В таком случае, зачем же было баламутить честную женщину? Она помешалась на графстве, не спит, не ест... Разве этим шутят? Разве это честно?

Шабельский *(щелкает пальцем)*. А что, в самом деле, не устроить ли себе эту гнусность. А? Назло... Возьму и устрою. Честное слово... Вот будет потеха!..

Входит Львов.

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и Львов.

Лебедев. Эскулапии наше нижайшее... *(Подает Львову руку и поет.)* Доктор, батюшка, спасите, смерти до смерти боюсь...

Львов. Николай Алексеевич еще не приходил?

Лебедев. Да нет, я сам его жду больше часа...

Львов нетерпеливо шагает по сцене.

Милый, ну как здоровье Анны Петровны?

Львов. Плохо...

Лебедев *(вздых)*. Можно пойти засвидетельствовать почтение?

Львов. Нет, пожалуйста, не ходите. Она, кажется, спит...

Пауза.

Лебедев. Симпатичная, славная... *(Вздыхает.)* В Шурочкин день рождения, когда она у нас в обморок упала, поглядел я на ее лицо и тогда еще понял, что уж ей, бедной, недолго жить. Не понимаю, отчего с ней тогда дурно сделалось? Прибегаю, гляжу: она, бледная, на полу лежит, около нее Николаша на коленях, тоже бледный, Шурочка вся в слезах. Я и Шурочка после этого случая неделю как шальные ходили...

Шабельский *(Львову)*. Скажите мне, почтеннейший жрец науки, какой ученый открыл, что при грудных болезнях дамам бывают полезны частые посещения молодого врача? Это великое открытие, великое!.. Куда оно относится: к аллопатии или к гомеопатии?

Львов *хочет ответить, но делает презрительное движение и уходит.*

Какой уничтожающий взгляд...

Лебедев. А тебя дергает нелегкая за язык... За что ты его обидел?

Шабельский *(раздраженно)*. А зачем он врет? Чахотка, нет надежды, умрет... Врет он... Я этого терпеть не могу...

Лебедев. Почему ты думаешь, что он врет?

Шабельский *(встает и ходит)*. Я не могу допустить мысли, чтобы живой человек вдруг ни с того, ни с сего умер... Оставим этот разговор...

ЯВЛЕНИЕ 3

Лебедев, Шабельский, Боркин и Косых.

Косых *(вбегает запыхавшись)*. Дома Николай Алексеевич? Здравствуйте... *(Быстро пожимает всем руки.)* Дома?

Боркин. Его нет...

Косых *(садится и вскакивает)*. В таком случае прощайте... *(Вытывает рюмку водки и быстро закусывает.)* Поеду дальше... дела... замучился, еле на ногах стою...

Лебедев. Откуда ветер принес?

Косых. От Барабанова. Всю ночь провинтили и только что кончили. Проигрался в пух... Этот Барабанов играет как сапожник... *(Плачушим голосом.)* Вы послушайте... все время несу я черву... *(Обращается к Боркину, который прыгает от него.)* Он ходит бубну, я опять черву, он бубну... Ну и без взятки... *(Лебедеву.)* Играем четыре трефы... У меня туз, дама-шесть на руках, туз, десятка-третьей пик...

Лебедев *(затыкает уши)*. Уволь, уволь, ради Христа, уволь...

Косых *(графу)*. Понимаете, туз, дама-шесть на трефах, туз, десятка-третьей пик...

Шабельский *(отстраняет его от себя руками)*. Уходите, не желаю я слушать...

Косых. И вдруг несчастье: туза пик по первой бьют...

Шабельский *(хватает со стола револьвер)*. Отойдите, стрелять буду!..

Косых *(машет рукой)*. Черт знает что... Неужели даже поговорить не с кем? Живешь как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности... каждый живет врозь... Однако надо ехать... пора... *(хватает фуражку)* время дорого... *(Подает руку Лебедеву.)* Пас!..

Смех.

Лебедев. Ну доигрался, сердешный, до того, что вместо прощай говорит пас...

Косых уходит и в дверях сталкивается с Авдотьей Назаровной.

ЯВЛЕНИЕ 4

Шабельский, Лебедев, Боркин и Авдотья Назаровна.

Авдотья Назаровна *(вскрикивает)*. Чтоб тебе пусто было, с ног сшиб...

Все. А-а-а... вездесущая!..

Авдотья Назаровна. Вот они где, а я по всему дому ищу, ищу... Здравствуйте, ясные соколы, хлеб да соль... *(Здоровается.)* Все комнаты исходила, а тут этот доктор, словно белены объелся, вытарацил глазищи и — «Что надо? Вон отсюда... Ты, говорит, больную перепужала...» Легко ль дело...

Лебедев. Зачем пришла?

Авдотья Назаровна. За делом, батюшка. *(Графу.)* Дело вас касающее, ваше сиятельство. *(Кланяется.)* Велели кланяться и о здоровье спросить... *(Поет.)*

Недолго цветочку в садике расти,
Недолго Матвею в женихах сидеть.

И велела она, куколочка моя, сказать, что ежели вы нынче к вечеру не приедете, то она глазочки свои проплачет. Так, говорит, милая, отзови его в стороночку и шепни на ушко по секрету. А зачем по секрету? Тут всё люди свои. И такое дело, не кур крадем, а по закону да по любви, по междоусобному согласию... Никогда, грешница, не пью, а через такой случай выпью...

Лебедев. И я выпью... *(Наливает.)* А тебе, старая скворешня, и сносу нет... Лет тридцать я тебя старухой знаю...

Авдотья Назаровна. И счет годам потеряла... Двух мужей похоронила, пошла бы еще за третьего, да никто не хочет без приданого брать. Детей душ восемь было... *(Берет рюмку.)* Ну, дай бог, дело хорошее мы начали, дай бог его и кончить... Они будут жить да поживать, а мы глядеть на них да радоваться. Совет им и любовь. *(Пьет.)* Строгая водка...

Шабельский *(хохоча, Лебедеву)*. Но что, понимаешь, курьезнее всего, так это то, что они думают серьезно, что я... Удивительно... *(Встает и ходит около)*

стола.) А то в самом деле, Паша, не устроить ли себе эту гнусность? Назло... Этак, мол, на, старая собака, ешь... Паша, а? Ей-богу...

Лебедев. Пустое ты городишь, граф. Наше, брат, дело с тобой об околеванце думать, а Марфутки да стерлинги давно мимо проехали. Прошла наша пора...

Шабельский. Нет, я устрою. Честное слово, устрою...

Входят Иванов и Львов.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же, Иванов и Львов.

Львов. Я прошу вас уделить мне только пять минут.

Лебедев. Николаша... *(Идет навстречу Иванову и целует его.)* Здравствуй, дружище... Я тебя уж целый час дожидаюсь...

Авдотья Назаровна *(кланяется)*. Здравствуйте, батюшка!..

Иванов *(с горечью)*. Господа, опять в моем кабинете кабак завели... Тысячу раз просил я всех и каждого не делать этого... *(Подходит к столу.)* Ну вот, бумагу водкой облили... крошки... огурцы... Ведь противно!..

260

Лебедев. Виноват, Николаша, виноват... Прости... Мне с тобой, дружище, поговорить надо о весьма важном деле...

Боркин. И мне тоже.

Львов. Николай Алексеевич, можно с вами поговорить?

Иванов *(указывает ему на Лебедева)*. Вот и ему я нужен. Подождите, вы после... *(Лебедеву.)* Что тебе?

Лебедев. Господа, я желаю говорить конфиденциально... прошу...

Граф, смеясь и гримасничая, уходит с Авдотьей Назаровной, за ними Боркин, потом Львов.

Иванов. Паша, сам ты можешь пить, сколько тебе угодно, это твоя болезнь, но прошу не спаивать дядю... Раньше он у меня никогда не пил... Ему вредно...

Лебедев *(испуганно)*. Голубчик, я не знал... я даже внимания не обратил...

Иванов. Не дай бог умрет этот старый ребенок, не вам будет худо, а мне... Что тебе нужно?

Пауза.

Лебедев. Видишь ли, любезный друг... Не знаю, как начать, чтобы это вышло не так бессовестно... Николаша, совестно мне, краснею, язык заплетается, но, голубчик, войди в положение, пойми, что я человек

подневольный, негр, тряпка... Извини ты меня... Повинную голову жена не мылит и меч не сечет...

Иванов. Что такое?

Лебедев. Жена послала... Сделай милость, будь другом, заплати ты ей проценты... Веришь ли, загрызла, заездила, замучила... Отвяжись ты от нее, ради создателя!..

Иванов. Паша, ты знаешь, что у меня теперь нет денег...

Лебедев. Знаю, знаю, но что же мне делать? Ждать она не хочет. Если протестует вексель, то как я и Шурочка будем тебе в глаза глядеть?

Иванов. Мне самому совестно, Паша, рад сквозь землю провалиться, но... но где взять? Научи, где? Остается одно — ждать осени, когда я хлеб продам...

Лебедев (*кричит*). Не хочет она ждать...

Пауза.

Иванов. Твое положение неприятное, щекотливое, а мое еще хуже. (*Ходит и думает.*) И ничего не придумаешь... Продать нечего...

Лебедев. Съездил бы к Мильбаху, попросил бы... Ведь он тебе шестнадцать тысяч должен...

Иванов безнадежно машет рукой.

Вот что, Николаша... Я знаю, ты станешь браниться, но... но уважь старого пьяницу... По-дружески... Гляди на меня как на друга... Студенты мы с тобой... либералы... общность идей и интересов... Вместе в Московском университете учились... Alma mater... (*Вынимает из кармана бумажник.*) У меня вот есть заветные, про них ни одна душа в доме не знает... Возьми займы... (*Вынимает деньги и кладет на стол.*) Брось самолюбие, а взгляни по-дружески... Я бы от тебя взял, честное слово...

Иванов (*ходит*). Все равно... мне теперь не до самолюбия. Кажется, дай мне теперь пощечину, так я тебе ни слова не скажу...

Лебедев. Вот они на столе. Тысячу сто. Ты съезди к ней сегодня и отдай собственноручно. Нате, мол, Зинаида Саввишна, подавитесь... Только смотри, виду не подавай, что у меня занял, храни тебя бог...

Пауза.

Мутит на душе?

Иванов машет рукой.

Да, дела... (*Вздыхает.*) Настало для тебя время скорби и печали. Человек, братец ты мой, все равно что самовар. Не все он стоит в холодке на полке, но, бывает, и угольки в него кладут: пш... пш... Ни к черту это сравнение не годится, но да ведь умнее не придумаешь... (*Вздыхает.*) Несчастья закаляют душу... Мне тебя не жалко, Николаша, ты выскочишь из беды, перемелется — мука будет, но обидно, брат, и досадно мне на людей... Скажи на милость,

откуда эти сплетни берутся? Столько, брат, про тебя по уезду сплетень ходит, что, того и гляди, к тебе товарищ прокурора прискачет. Ты и убийца, и кровопийца, и грабитель, и изменник. . .

Иванов. Это все пустяки, вот у меня голова болит.

Лебедев. Все оттого, что много думаешь.

Иванов. Ничего я не думаю. . .

Лебедев. А ты, Николаша, начихай на все да поезжай к нам. Шурочка тебя любит, понимает и ценит. Она, Николаша, честный, хороший человек. . . Не в мать и не в отца, а, должно быть, в проезжего молодца. Гляжу, брат, на нее иной раз и не верю, что у меня, у толстоносого пьяницы, такое сокровище. Поезжай, потолкуй с ней об умном и развлечешься. Это верный, искренний человек.

Пауза.

Иванов. Паша, голубчик, оставь меня одного. . .

Лебедев. Понимаю, понимаю. . . *(Торопливо смотрит на часы.)* Я понимаю. *(Целует Иванова.)* Прощай. . . Мне еще на освящение школы ехать. . . *(Идет к двери и останавливается.)* Умная. . . Вчера стали мы с Шуркой насчет сплетень говорить *(смеется)*, а она афоризмом выпалила. Папочка, светляки, говорит, светят ночью только для того, чтобы их легче могли увидеть и съесть ночные птицы, а хорошие люди существуют для того, чтобы было чего есть клевете и сплетне. Каково? Гений? Жорж Занд. . . Я думал, что у одного только Боркина бывают в голове великие идеи, а теперь оказывается. . . Ухожу, ухожу. . . *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 6

Иванов и Львов.

Иванов *(один)*. Подпишу бумаги и пойду с ружьем похожу. . . Убрать эту гадость. . . *(Брезгливо пожимаясь, сносит закуску и хлеб на маленький столик).*

Львов *(входит)*. Мне нужно с вами объясниться, Николай Алексеевич. . .

Иванов *(неся графин с водкой)*. Если мы, доктор, будем каждый день объясняться, то на это никаких сил не хватит.

Львов. Вам угодно меня выслушать?

Иванов. Выслушиваю я вас каждый день и до сих пор никак не могу понять: что, собственно, вам от меня угодно?

Львов. Говорю я ясно и определенно, и не может меня понять только тот, у кого нет сердца. . .

Иванов. Что у меня жена при смерти — я знаю; что я непоправимо виноват перед ней — я тоже знаю; что вы честный и прямой человек — тоже знаю. . . Что же вам нужно еще?

Львов. Меня возмущает человеческая жестокость. . . Умирает женщина. У нее есть отец и мать, которых она любит и хотела бы видеть перед смертью; те знают отлично, что она скоро умрет и что все еще любит их, но, проклятая

жестокость, они точно хотят удивить Иегову своим религиозным закалом, всё еще проклинаят ее... Вы, человек, которому она пожертвовала всем: и верой, и родным гнездом, и покоем совести, вы откровеннейшим образом и с самыми откровенными целями каждый день катаетесь к этим Лебедевым...

Иванов. Ах, я там уже две недели не был...

Львов *(не слушая его)*. С такими людьми, как вы, надо говорить прямо, без обиняков, и если вам не угодно слушать меня, то не слушайте. Я привык называть вещи настоящим их именем... Вам нужна эта смерть для новых подвигов, пусть так, но неужели вы не могли подождать? Если бы вы дали ей умереть естественным порядком, не долбили бы ее своим откровенным цинизмом, то неужели бы от вас ушла Лебедева со своим приданым? Не теперь, так через год, через два вы, чудный тартюф, успели бы вскружить голову девочке и завладеть ее приданым так же, как и теперь... К чему же вы торопитесь? Почему вам нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не через месяц, через год?

Иванов. Мучение... Доктор, вы слишком плохой врач... если предполагаете, что человек может сдерживать себя до бесконечности. Мне страшных усилий стоит не отвечать вам на ваши оскорбления.

Львов. Полноте, кого вы хотите одурачить? Сбросьте маску.

Иванов. Умный человек, подумайте, по-вашему, нет ничего легче, как понять меня... Я женился на Анне, чтобы получить большое приданое; приданого мне не дали, я промахнулся и теперь сживаю ее со света, чтобы жениться на другой и взять приданое... Да? Как просто и несложно... Человек такая немудреная, простая машинка... Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг об друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам. Я не понимаю вас, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаем. Можно быть прекрасным врачом и в то же время совсем не знать людей. Не будьте же самоуверенны и согласитесь с этим.

Львов. Да неужели же вы думаете, что вы так непрозрачны и у меня так мало мозга, что я не могу отличить подлости от честности?

Иванов. Очевидно, мы с вами никогда не споемся... В последний раз я спрашиваю, и отвечайте, пожалуйста, без предисловий: что, собственно, вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? *(Раздраженно.)* И с кем я имею честь говорить: с моим прокурором или с врачом моей жены?..

Львов. Я врач и как врач требую, чтобы вы изменили ваше поведение... Оно убивает Анну Петровну...

Иванов. Но что же мне делать? Что? Если вы меня понимаете лучше, чем я сам себя понимаю, то говорите определенно и точно: что мне делать?

Львов. По крайней мере, действовать не так откровенно.

Иванов. А, боже мой! Неужели вы себя понимаете? *(Пьет воду.)* Оставьте меня... Я тысячу раз виноват, отвечу перед богом, а вас никто не уполномочивал ежедневно пытаться меня...

Львов. А кто вас уполномочил оскорблять во мне мою правду? Вы измучили и отравили мою душу... Пока я не попал в этот уезд, я допускал

существование людей глупых, сумасшедших, увлекающихся, но никогда я не верил, что есть люди преступные осмысленно, сознательно направляющие свою волю в сторону зла. . . Я уважал и любил людей, но когда увидел вас. . .

Входит С а ш а в амазонке.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и С а ш а .

Л ь в о в (*увидев Сашу*). Теперь уж, надеюсь, мы отлично понимаем друг друга. . . (*Пожимает плечами и уходит.*)

И в а н о в (*испуганно*). Шура, это ты. . .

С а ш а . Да, я. . . Не ожидал? Отчего ты так долго не приезжал?

И в а н о в (*оглядываясь*). Шура, ради бога, это неосторожно. . . Твой приезд может страшно подействовать на жену. . .

С а ш а . Сейчас уеду. . . Я беспокоюсь: ты здоров? Отчего не приезжал?

И в а н о в . Уезжай ради бога. . . мы не можем видеться, пока не. . . пока. . . ну, ты меня понимаешь. . . (*Слегка толкает ее к двери.*)

С а ш а . Только одно скажи: ты здоров?

И в а н о в . Нет, замучил я себя, люди меня мучают без конца. . . Просто сил моих нет и, если бы не мысли о тебе, то я давно бы пустил себе пулю в лоб. Видишь, я дрожу. . . Шурочка, ради бога, увози меня отсюда поскорее. . . (*Прижимается лицом к ее плечу.*) Дай мне отдохнуть и забыться хоть одну минуту. . .

С а ш а . Скоро, скоро, Николай. . . Не падай духом, стыдно. . .

ЯВЛЕНИЕ 8

И в а н о в , С а ш а и П е т р .

П е т р приносит пирожки на бумажке и кладет их на стол.

И в а н о в (*вздрагивает*). Кто? что? (*Увидев Петра.*) Что тебе?

П е т р . Пирожки, граф приказывали. . .

И в а н о в . Уходи ты. . .

П е т р уходит.

С а ш а . Уверяю тебя, мой дорогой. . . вот тебе моя рука: придут хорошие дни, и ты будешь счастлив. Будь бодр, погляди, какая я храбрая и счастливая. . . (*Плачет.*)

И в а н о в . Мы точно желаем ее смерти. . . Как это нездорово, как ненормально. . . Как я виноват. . .

С а ш а (*с ужасом*). Николай, кто хочет ее смерти? Пусть живет, хоть еще сто лет. . . И в чем ты виноват? Разве твоя вина, что ты разлюбил ее, что судьба посылает ей смерть? Твоя ли вина, что ты меня любишь? Подумай

хорошенько... смотри (*плачет*)... смотри прямо в глаза обстоятельствам, бодро... Не ты виноват и не я, а обстоятельства...

Иванов. Будь бодр... настанет время... полюбил... разлюбил — все это общие места. Избитые фразы, которыми не поможешь.

Саша. Я говорю как все и иначе говорить не умею...

Иванов. И весь этот наш роман — общее, избитое место... «Он пал духом и потерял почву... Явилась она, бодрая духом, сильная и подала ему руку помощи»... Это хорошо и уместно в романах, но в жизни... не то, не то... Ты вот любишь меня, моя, подала руку помощи, а я все еще жалок и беспомощен, каким был прежде...

ЯВЛЕНИИ 9

Те же и Боркин.

Боркин (*выглядывает в дверь*). Николай Алексеевич, можно? (*Увидев Сашу*.) Виноват, я и не вижу... (*Входит*.) Бонжур... (*Раскланивается*.)

Саша (*смущенно*). Здравствуйте...

Боркин. Вы пополнели, похорошели...

Саша (*Иванову*). Так я ухожу, Николай Алексеевич... Я ухожу... (*Уходит*.)

Боркин. Чудное видение... Шел за прозой, а наткнулся на поэзию... (*Поет*.) Явилась ты, как пташка к свету...

Иванов взволнованно ходит по сцене.

(*Садится*). А в ней, Nicolas, есть что-то такое... этакое, чего нет в других... Не правда ли? Что-то особенное... фантазмагорическое... (*Вздыхает*.) В сущности, самая богатая невеста во всем уезде, но маменька такая редька, что никто не захочет связываться. После ее смерти все останется Шурочке, а до смерти даст тысяч десять, плейку и утюг, да еще велит в ножки поклониться... (*Роется в карманах*.) Покурить де-лос-махорос... (*Закуривает сигару*.) Не хотите ли? (*Протягивает портсигар*.) Хорошие... Курить можно...

Иванов (*подходит к Боркину, задыхаясь от гнева*). Сию же минуту, чтоб ноги вашей не было у меня в доме!.. Сию же минуту!..

Боркин приподнимается и роняет сигару.

Вон сию же минуту...

Боркин. Nicolas, что это значит? за что вы сердитесь?

Иванов. За что? А откуда у вас эти сигары? И вы думаете, что я не знаю, куда и зачем вы каждый день возите старика...

Боркин (*пожимает плечами*). Да вам-то что за надобность?

Иванов. Негодяй вы этакий... Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным человеком... У нас нет ничего общего, и я прошу вас сию же минуту оставить мой дом... (*Быстро ходит*.)

Боркин. Я знаю, что все это вы говорите в раздражении, а потому не сержусь на вас. Оскорбляйте сколько хотите... *(Поднимает сигару.)* А меланхолию пора бросить... Вы не гимназист...

Иванов. Я вам что сказал? *(Дрожа.)* Вы играете мной?..

Входит Анна Петровна.

ЯВЛЕНИЕ 10

Те же и Анна Петровна.

Боркин. Ну вот, Анна Петровна пришла... Я уйду... *(Уходит.)*

Иванов останавливается около стола и стоит понурился головой.

Анна Петровна *(после паузы)*. Зачем она сюда сейчас приезжала?

Пауза.

Я тебя спрашиваю: зачем она сюда приезжала?

Иванов. Не спрашивай, Анюта...

Пауза.

Я глубоко виноват... Придумывай какое хочешь наказание, я всё снесу, но не спрашивай. Говорить я не в силах...

Анна Петровна *(сердито стучит пальцем по столу)*. Зачем она здесь была?

Пауза.

А, так вот ты какой? Теперь я тебя понимаю. Наконец-то я вижу, что ты за человек. Бесчестный, низкий... Помнишь, ты пришел и солгал мне, что ты меня любишь... Я поверила и оставила отца, мать, веру и пошла за тобой... Ты лгал мне о правде, о добре, о своих честных планах, я верила каждому слову.

Иванов. Анюта, я никогда не лгал тебе...

Анна Петровна. Жила я с тобой пять лет, томилась и болела от мысли, что изменила своей вере, но любила тебя и не оставляла ни на одну минуту... Ты был моим кумиром... И что же? Все это время ты лгал и обманывал самым наглым образом...

Иванов. Анюта, не говори неправды... Я ошибался, да... но не солгал ни разу в жизни... В этом ты не смеешь попрекнуть меня...

Анна Петровна. Теперь все понятно... Женился ты на мне и думал, что отец и мать простят меня, дадут мне денег... Ты это думал...

Иванов. О, боже мой! Анюта, испытывать так терпение... *(Плачет.)*

Анна Петровна. Молчи... Когда увидел, что денег нет, ты повел новую игру... Теперь я все помню и понимаю... *(Плачет.)* Ты никогда не любил меня и не был мне верен. Никогда...

Иванов. Сарра, это ложь!.. Говори, что хочешь, но не оскорбляй меня ложью. . .

Анна Петровна. Всегда ты лгал мне... Бесчестный, низкий человек... Ты должен Лебедеву и теперь, чтобы увильнуть от долга, хочешь вскружить голову его дочери, обмануть ее так же, как и меня... Разве не правда?

Иванов (*задыхаясь*). Замолчи, ради бога!.. Я за себя не ручаюсь... Меня душит гнев, и я... я могу оскорбить тебя. . .

Анна Петровна. Всегда ты нагло обманывал, и не меня одну. Все бесчестные поступки сваливал ты на Боркина, но теперь я знаю, чьи они. . .

Иванов. Сарра, замолчи, уйди, а то у меня с языка сорвется слово!.. Меня так и подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное, оскорбительное... (*Кричит.*) Замолчи, жидовка!..

Анна Петровна. Не замолчу... Слишком долго ты обманывал меня, чтобы я могла молчать. . .

Иванов. Так ты не замолчишь? (*Борется с собой.*) Ради бога. . .

Анна Петровна. Теперь иди и обманывай Лебедеву. . .

Иванов. Так знай же, что ты... скоро умрешь... Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь. . .

Анна Петровна (*садится, упавшим голосом*). Когда он сказал?

Пауза.

Иванов (*хватает себя за голову*). Как я виноват! Боже, как я виноват!..

ЯВЛЕНИЕ 11

Те же и Львов.

Львов (*входит и, увидев Анну Петровну, быстро направляется к ней*). Что такое? (*Всматривается в ее лицо, Иванову.*) Что у вас тут было сейчас?

Иванов. Боже, как я виноват!.. как виноват!..

Львов. Анна Петровна, Анна Петровна, что с вами? (*Иванову.*) Погодите! Клянусь вам честью, которой у вас нет, вы заплатите за нее!.. Я выведу вас на чистую воду... Я вам покажу!..

Иванов. Как я виноват, как виноват. . .

З а н а в е с

Между 3 и 4 действиями проходит около года.

ДЕЙСТВИЕ 4

КАРТИНА 1

Небольшая комната в доме Лебедевых. Простая, старинная меблировка. Направо и налево двери.

ЯВЛЕНИЕ 1

Дудкин и Косых.

Оба во фраках, перчатках и с цветками на лацканах; стоят около левой двери и спешат выкурить папиросы.

Косых (*радостно*). Вчера объявил маленький шлем на трефах, а взял большой... Только опять этот Барабанов мне музыку испортил... Играем... я говорю — без козыря. Он пас... Трефы... он пас... Я два трефы... три трефы, он пас, и представь... можешь ты себе представить, я объявляю шлем, а он не показывает туза. Покажи он туза, я объявил бы большой шлем на безкозырях...

Дудкин. Постой, коляска подъехала. Должно быть, женихов шафер. (*Глядит в окно.*) Нет... (*Смотрит на часы.*) А уж пора ему быть...

Косых. Да, невеста давно одета...

Дудкин. Эх, брат, будь я женихом (*свистит*), наделал бы я делов... Вот в эту самую пору, сейчас вот, когда невеста уже одета и в церковь надо ехать, приехал бы я сюда и сейчас бы Зюзюшку за бока: давай сто тысяч, а то венчаться не поеду... Давай...

Косых. И не дала бы...

Дудкин. Дала бы... Когда в церкви все готово и народ ждет, дала бы... А теперь Иванов ни шиша не получит. И пяти тысяч она ему не даст...

Косых. Зато, когда помрет, ему все останется.

Дудкин. Ну да, жди, когда она помрет... Да прежде чем околеть, она все деньги в землю зароет. Ведьма из таковских. У меня такой же вот дядька был, так тот перед смертью все процентные бумаги сжевал и проглотил. Накажи меня бог... Приходит к нему доктор, а у него брюхо — во... Иванов думает, что ему сейчас и выложат: бери, милый, всё... Как же... На жидовке нарвался, съел гриб, и здесь то же будет... Не везет человеку... Не везет... Просто хоть ложись да помирай... А ведь умница, пройдоха, жох-мужчина, всю политику насквозь прошел, а вот — не судьба, значит... Счастья нет...

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и Бабакина.

Бабакина (*разодетая, важно проходит через сцену мимо Дудкина и Косых; оба они сзади ее прыскают в кулаки; она оглядывается*). Глупо...

Дудкин касается пальцем ее талии и щелкает языком.

Мужик... (*Уходит.*)

Дудкин и Косых хохочут.

Дудкин. Совсем спятила баба... Пока в сиятельстве не лезла, была в лучшем смысле, а как стала норовить с той точки зрения, чтобы графинею стать, приступу к ней нет. Бывало, возьмешь полон кулек коньяку да ликеру,

закатишься к ней суток на трое и размалиновое житье... кафешантан, а теперича и пальцем тронуть нельзя... *(Дразнит.)* Мужик...

К о с ы х . Гляди, и будет графией...

Дудкин . Ну вот... граф смеется над ней, зубы чешет, а ты веришь. Ему бы только поболтаться да поужинать на шарамыжку. Уж целый год ее за нос водит. Но за что, брат, люблю Марфутку — кремень!.. чистый кремень!.. Мишка Боркин и граф около нее и так и этак, и чертом и бисером, на всякие манеры, чтобы она им денег дала: ни копейки!.. Мишка в прошлом году получил от нее за сватовство двести целковых, да и те ей вскорости Иванов назад прислал... Так Мишке ничего и не досталось, даром только хлопотал...

ЯВЛЕНИЕ 3

Те же, Лебедев и Саша *(одетая в венчальном платье)*.

Лебедев *(входя с Сашей)*. Здесь поговорим. *(Дудкину и Косыху.)* Ступайте, зулусы, в залу к барышням. Нам по секрету поговорить нужно...

Дудкин *(проходя мимо Саши, подмигивает глазом и щелкает пальцем)*. Картина!.. Финь-шампань!..

Лебедев . Проходи, пещерный человек, проходи...

Косых и Дудкин уходят.

Садись, Шурка... Вот так... *(Садится и оглядывается.)* Слушай внимательно и с должным благоговением. Дело вот в чем. Твоя мать приказала передать мне тебе следующее... Понимаешь? Я не от себя буду говорить, а мать приказала... *(Сморкается.)* Пока еще женихов шафер не приехал и пока мы тебя еще не благословили, ты, во избежание недоразумений и могущих быть впоследствии разговоров, должна раз навсегда знать, что мы... то есть не мы, а твоя мать...

С а ш а . Папа, нельзя ли покороче?

Лебедев . Ты должна знать, что тебе в приданое назначено пятнадцать тысяч рублей серебром кредитными бумажками. Вот... смотри, чтобы потом разговоров не было. Постой... молчи. Это только цветки, а будут и ягодки. Приданого тебе назначено пятнадцать тысяч, но, принимая во внимание, что Николай Алексеевич должен твоей матери девять тысяч, из твоего приданого делается вычитание в размере долга, и, таким образом, тебе будет дано только шесть тысяч. *Vous comprenez?*¹ Это ты должна знать, чтобы впоследствии не было разговоров. Постой, я не кончил. На свадьбу назначено пятьсот рублей; но так как свадьба справляется на женихов счет, то из шести тысяч вычитаются и эти пятьсот. Итого, значит, пять тысяч пятьсот, каковые ты и получишь после венчания, причем твоя добродетельная мать не упустит случая, чтобы не наделить тебя купонами 1899 года или [акциями Скопинского банка](#).

С а ш а . Для чего ты мне это говоришь?

Лебедев . Мать приказала.

С а ш а *(встает)*. Папа, если бы ты хотя немного уважал себя и меня, то не позволил бы себе говорить со мной таким образом. *(Сердито.)* Не нужно мне вашего приданого... Я не просила и не прошу... Оставьте меня в покое, не оскорбляйте моего слуха вашими грошовыми расчетами!..

Ле бе де в . Не я тебе говорю о приданом, а мать...

С а ш а . Сто раз я вам говорила, что не возьму ни копейки... А наш долг мы вам отдадим. Я возьму где-нибудь займы и отдам. Оставьте меня в покое.

Ле бе де в . За что же ты на меня набросилась? У Гоголя две крысы сначала понюхали, а потом ушли, а ты, эмансипе, не понюхавши набросилась.

С а ш а . Оставьте меня в покое...

Ле бе де в *(вспылив)*. Тьфу... Все вы то сделаете, что я себя или ножом пырну или человека зарежу!.. Та день-деньской ревма ревет, зудит, пилит, копейки считает, а эта, умная, гуманная, черт подери, эмансипированная, не может понять родного отца... Я оскорбляю слух... Да ведь прежде чем прийти сюда оскорблять твой слух, меня там *(указывает на дверь)* на куски резали, четвертовали... *(Ходит в волнении.)* Не может она понять... *(Дразнит.)* Не возьму я ни копейки... Эка, удивить захотела... Что ж ты с мужем есть будешь?

С а ш а . Свое, он не нищий...

Ле бе де в *(машет рукой)*. Та пилит, эта философствует, с Николаем слова сказать нельзя: тоже очень умный... Голову вскружили и с толку сбили. Выходи ты скорей замуж, и ну вас всех к... *(Идет к двери и останавливается.)* Не нравится мне, всё мне в вас не нравится...

С а ш а . Что тебе не нравится?

Ле бе де в . Всё мне не нравится... всё...

С а ш а . Что всё?

Ле бе де в . Так вот я рассядусь перед тобой и стану рассказывать... Ничего мне не нравится... А на свадьбу твою я и смотреть не хочу... *(Подходит к Саше и ласково.)* Ты меня извини, Шурочка... Может быть, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, с принципами, но что-то в ней не то... не то... не то... Не похожа она на другие свадьбы... Ты молодая, свежая, чистая, как стеклышко, красивая, а он вдовец, 35 лет... истрепался, обносился... Гляди, через пять лет у него морщины и лысина будут... *(Целует дочь в голову.)* Шурочка, прости, но что-то и не совсем чисто... Уж очень много люди говорят... Как-то так у него эта Сарра умерла, потом как-то вдруг почему-то на тебе жениться захотел...

С а ш а . Он твой друг, папа...

Ле бе де в . Друг-то друг, но все-таки что-то, понимаешь ли ты, как будто бы не того... *(Живо.)* Впрочем, я баба, баба... Обабился я, как старый кринолин... Не слушай меня... Никого, себя только слушай...

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и Зинаида Саввишна.

Зинаида Саввишна (*входит, одетая в новое платье, голова повязана мокрым полотенцем*). Там, кажется, приехал шафер жениха. Надо идти благословлять... (*Плачет.*)

Саша (*умоляюще*). Мама!..

Лебедев. Зюзюшка, полно тебе сырость разводить!.. Уж, слава богу, целый год, извини за выражение, проревела.

Пауза.

Уксусом от тебя разит, как из бочки... .

Саша (*умоляюще*). Мама!..

Зинаида Саввишна. Если тебе мать не нужна (*плачет*), если без послушания матери обходишься, то... что же тебе от меня нужно? Я благословлю, сделаю тебе такое удовольствие, благословлю... .

Лебедев. Зюзюшка, радоваться надо... .

Зинаида Саввишна (*отрывая платок от лица и не плача*). Чему радоваться? Он женится на ней из-за приданого да чтобы мне долга не платить, а ты радуешься... (*Плачет.*) Одна дочь, да и та бог знает как... . Если он, по-вашему, честный, путевый человек, то он бы прежде чем предложение делать, заплатил бы долг... .

Лебедев (*Саше*). Молчи, молчи, воздержись... . Допивай, брат, чашу до дна... . Недолго еще осталось... .

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Иванов.

Иванов в фрачной паре, входит заметно взволнованный.

Лебедев (*испуганно*). Что такое? Откуда ты?
Вместе

Саша. Зачем ты?

Иванов. Виноват, господа, позвольте мне поговорить с Сашей наедине... .

Лебедев. Это непорядок, чтобы до венца к невесте приезжать. Тебе давно пора быть в церкви... .

Иванов. Паша, я прошу... .

Лебедев, пожимая плечами, и Зинаида Саввишна уходят.

Саша. Что тебе?

Иванов (*волнуясь*). Шурочка, ангел мой... .

Саша. Ты взволнован... . Что случилось?..

Иванов. Счастье мое, дорогая моя, выслушай меня... . Забудь, что ты меня любишь, собери все свое внимание и выслушай... .

Саша. Николай, не пугай меня... . что такое?

Иванов. Сейчас я одевался к венцу, взглянул на себя в зеркало, а у меня на висках... седины... Шурочка, не надо бы!.. Пока еще не поздно, не

надо... не надо!.. (*Хватает себя за голову.*) Не надо!.. Оставь ты меня... (*Горячо.*) Ты молода, прекрасна, чиста, у тебя впереди жизнь, а я... седина на висках, разбитость, чувство вины, прошлое... Не пара... Не пара я тебе!..

С а ш а (*строго*). Николай... что за нежности?.. Тебя давно в церкви ждут, а ты прибегаешь сюда ныть. Все это не ново, слышала я и мне надоело... Поезжай в церковь, не задерживай людей!..

И в а н о в (*берет ее руки*). Слишком я люблю тебя и слишком ты дорога для меня, чтобы я посмел стать тебе поперек дороги. Счастья я тебе не дам... Клянусь богом, не дам!.. Пока не поздно, откажись от меня. Это будет и честно и умно. Я сейчас уеду домой, а ты объяви своим, что свадьбы не будет... Объясни им как-нибудь... (*Взволнованно ходит.*) Боже мой, боже мой, я чувствую, что ты, Шурочка, меня не понимаешь... Я стар, уже отжил свое, заржавел... энергия жизни утрачена навсегда, будущего нет, воспоминания пасмурны... Чувство вины растет во мне с каждым часом, душит меня... Сомнения, предчувствия... Что-то случится... Шурочка, что-то случится... Скопляются тучи — чувствую...

С а ш а (*удерживая его за руку*). Коля, ты говоришь как ребенок... Успокойся... Твоя душа больна и томится... Она берет верх над твоим здоровым и сильным умом, но ты не давай ей воли, а напряги ум. Ну рассуди: где тучи? В чем твоя вина? И чего ты хочешь? Ты прибежал сказать мне, что ты стар; может быть, но ведь и я не ребенок... И причем тут старость? Если бы твоя милая голова покрылась вдруг вся сединами, то я стала бы любить ее сильнее, чем теперь, потому что знаю, откуда эти седины... (*Плачет.*) Постой, я сейчас... (*Вытирает глаза.*)

И в а н о в. Говори, говори...

С а ш а. Тебя томит чувство вины... Все, кроме отца, говорят мне о тебе только одно дурное. Вчера я получила анонимное письмо, в котором меня предостерегают...

И в а н о в. Это доктор писал, доктор... Этот человек преследует меня...

С а ш а. Все равно, кто бы ни писал... Все говорят о тебе худо, а я не знаю другого человека, который был бы честнее, великодушнее и выше тебя... Одним словом, я люблю тебя, а где любовь, там нельзя ни отступить, ни торговаться... Я буду твоей женой и хочу ею быть... Это решено и разговоров быть не может. Я люблю тебя и пойду за тобой, куда хочешь, под какие угодно тучи... Что бы с тобой ни случилось, куда бы тебя ни занесла судьба, я всегда и везде буду с тобой. Иначе я не понимаю своей жизни...

И в а н о в (*ходит*). Да, да, Шурочка, да... Действительно, я говорю нелепости... Напустил на себя психопатию, себя измучил и на тебя нагоняю тоску... В самом деле, надо скорее прийти в норму... делом заняться и жить, как все живут... Слишком много у меня в голове накопилось лишних мыслей... В том, что я на тебе женюсь, нет ничего необыкновенного, удивительного, а моя мнительность делает из этого целое событие, апофеоз... Все нормально и хорошо... Так я, Шурочка, поеду...

С а ш а. Езжай, и мы сейчас приедем...

Иванов (*целует ее*). Извини, я тебе надоел... Сегодня повенчаемся, а завтра за дело... (*Смеется*.) Прелесть моя, философ. Похвастал я старостью, а ты, оказывается, старше меня умом на десять лет... (*Перестав смеяться*.) Серьезно рассуждая, Шурочка, мы такие же люди, как и все, и будем счастливы, как все... И если виноваты, то тоже как все...

С а ш а . Ступай, ступай, пора...

И в а н о в . Иду, иду... (*Смеется*.) Как я неumen, какой я еще ребенок, в сущности, тряпка... (*Идет к двери и сталкивается с Лебедевым*.)

ЯВЛЕНИЕ 6

И в а н о в , С а ш а и Л е б е д е в .

Л е б е д е в . Поди-ка, поди-ка сюда... (*Берет Иванова за руку и ведет к рампе*.) Гляди-ка мне прямо в глаза, гляди... (*Долго молча смотрит ему в глаза*.) Ну, Христос с тобой... (*Обнимает его*.) Будь счастлив и прости, братец, за дурные мысли... (*Саше*.) Шурочка, а ведь он еще молодец... Погляди, чем не мужчина? Гвардии корнет... Поди сюда, Шурка... (*Строго*.) Поди...

Саша подходит к нему.

(*Берет Иванова и Сашу за руки, оглядываясь*). Слушайте, мать как хочет, бог с ней: не дает денег и не надо. Ты, Шурка, говоришь, что тебе (*дразнит*) «ни копейки не надо». Принципы, альтруизм, Шопенгауер... Все это чепуха, а я вам вот что скажу... (*Вздыхает*.) Есть у меня в банке заветные десять тысяч (*оглядывается*), про них в доме ни одна собака не знает... Это еще бабушкины... (*выпуская руки*) грабьте!..

И в а н о в . Прощай... (*Весело смеется и уходит*.) Саша идет за ним.

Л е б е д е в . Гаврила!.. (*Уходит и кричит за дверью*.) Гаврила!..

ЯВЛЕНИЕ 7

Д у д к и н и К о с ы х .

Оба вбегают и быстро закуривают.

К о с ы х . Успеем еще по папиросе выкурить.

Д у д к и н . Это он приезжал насчет приданого поприжать... (*Восторженно*.) Молодчина... Ей-богу, молодчина... Молодчина...

З а н а в е с

КАРТИНА 2

Гостиная в доме Лебедевых. Бархатная мебель, старинная бронза, фамильные портреты. Пианино, на нем скрипка, возле стоит виолончель. Много света. Налево дверь. Направо широкая дверь в залу, откуда идет яркий свет. Из левой двери в правую и обратно снуют лакеи с блюдами, тарелками, бутылками и проч. При поднятии занавеса слышны из залы крики: «Горько, горько...»

ЯВЛЕНИЕ 1

Авдотья Назаровна, Косых и Дудкин выходят из залы с бокалами.

Голос из залы: «За здоровье шаферов...»

Музыка за сценой играет туш. Крик «ура» и шум передвигаемых стульев.

Авдотья Назаровна. Какую я парочку сосватала... Любо-дорого, хоть в Москву напоказ вези. Он красивый, статный, образованный, деликатный, чверезый, а Сашенька ангельчик, цветочек, ясочка... Другую такую парочку не скоро сосватаешь...

В зале кричат ура.

Косых. Вместе.
Дудкин. Ура-а-а...

Авдотья Назаровна (*поет*).

Да не сиди, Сашенька, не сиди.

Подыми окошечко, погляди:

Высоко ли солнышко на дворе?

Хорош ли мой Колюшка на коне?

Вот как... Загуляла, грешница... Нет мне теперь конца-краю...

Дудкин хочет что-то сказать, но не может.

Косых. Завидно на людское счастье глядеть... Авдотья Назаровна, сделай милость, сосватай мне невесту... Так опротивела холостая, одинокая жизнь, что дома все хожу по комнатам да на отдушники поглядываю... Болтаешься, болтаешься, и так, черт знает как, жизнь проходит.

Авдотья Назаровна. Давно бы сказал, я бы тебя сразу женила...

Косых. То ли дело женатому... Сидишь у себя дома... тепло... лампа горит, какая-нибудь этакая жена ходит... Ей-богу, она около тебя ходит, а ты сидишь за столом с приятелями и винтишь... Говоришь: без козыря... пас... трефы... пас... черви... пас... два черви... пас... И наконец шлем на червах... Все пас, пас, пас...

Дудкин касается талии Авдотьи Назаровны и щелкает языком.

Авдотья Назаровна. Ну, так назюзюкался, что меня за молодую принял... Эка, до какой степени себя забыл в чужом доме. Языка не сдвинешь, словно паралич расшиб...

Голос из залы: «За здоровье Сергея Афанасьевича и Марьи Даниловны...»

Музыка играет туш. Ура.

(Идет в залу и поет.)

Хорош, хорош, маменька,
Лучше всех,
Да повесил головушку
Ниже всех.

Уходит.

Дудкин. Раиса Сергеевна, поедем. . .

Косых. Какая я тебе Раиса Сергеевна. . .

Дудкин. Наплюй. . . поедем. . . дай двугривенный швейцару, у меня мелких нет. . . *(Кричит.)* Григорий, подавай. . .

Косых. Что ты орешь? Какой тут Григорий? *(Закуривает.)*

Дудкин. Наплюй, поедем. . . Гуляй на все. . . *(Кричит.)* Григорий, подавай. . .

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и Боркин *(во фраке с цветком)*.

Боркин *(вбегает из залы запыхавшись)*. Отчего не подают шампанского? *(Лакею.)* Подавай еще шампанского, скорей. . .

Лакей. Шампанского больше нет. . .

Боркин. Черт знает, что за беспорядки. . . Пять бутылок на сто человек. . . Это возмутительно. . .

Косых подходит к виолончелю и водит по струнам смычком.

Какое еще вино есть?

Лакей. Столовое, игристое. . .

Боркин. По сорока копеек бутылка? *(Косых.)* Ах, да не пилите вы, пожалуйста. . . *(Лакею.)* Подавай хоть столового игристого, только поскорее. . . Уф, замучился. . . Одних тостов произнес штук двадцать. . . *(Дудкину и Косых.)* Вот что, сейчас мы провозгласим графа и Бабакину женихом с невестой. Смотрите, господа: кричать ура во все горло. А потом у меня одна идея есть, которую я объявлю. Так нужно будет и за идею выпить. . . Пойдемте. . . *(Берет под руку Косых и уходит с ним в залу.)*

Дудкин *(идет за ними)*. Семен Николаевич. . . Давай сначала у буфета выпьем, а потом уж в общей. . . *(Уходит.)*

Музыка играет [марш из «Бокаччио»](#), крики: «Музыка, стой». Марш обрывается.

Голос из залы: «За здоровье невестинной тетушки Маргариты Саввишны. . .»

Туш.

ЯВЛЕНИЕ 3

Шабельский и Лебедев.

Лебедев *(выходя с графом из залы)*. Не дури ты, пожалуйста, напустил на себя злобу или просто страдаешь катаром желудка, а уж думаешь в самом деле, что ты Мефистофель. Да право. . . Возьми в рот паклю, зажги и дыши огнем на людей. . .

Шабельский. Нет, серьезно, мне хочется устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтоб не только мне, но и всем противно стало. И я

устрою... Честное слово, устрою... Я уже сказал Боркину, чтобы он объявил меня женихом. (*Смеется.*) Это будет гнусно, но под стать и времени и людям. Все подлы, и я буду подл...

Лебедев. Надоел ты мне... Слушай, Матвей, договоришься ты до того, что тебя, извини за выражение, в желтый дом свезут.

Шабельский. А чем желтый дом хуже любого белого или красного дома? Сделай милость, хоть сейчас меня туда вези... Сделай милость...

Лебедев. Знаешь что, брат... Бери свою шапку и езжай домой... Тут свадьба, все веселятся, а ты кра... кра... как ворона. Езжай с богом...

Шабельский. Свадьба... все веселятся... Что-то идиотское, дикое... Эта музыка, шум, пьянство, точно Тит Титыч женится. До сих пор я считал тебя и Николая интеллигентными людьми, а сегодня вижу, что вы оба такие же моветоны, как Зюзюшка и Марфутка. Это не свадьба, а кабак.

Лебедев. Кабак, но ведь не я делаю этот кабак и не Николаша. Обычай такой... есть обычай — горло драть, ну и дерут, а обычаи, брат, те же законы. *Mores leges imitantur*¹ — вот еще с университета помню. Не нам с тобой людей перedelывать.

Шабельский склоняется к пианино и рыдает.

Батюшки... Матвей... граф... Что с тобой? Матюша, родной мой... ангел мой... Я тебя обидел? Ну прости меня, старую собаку. Прости пьяницу... Воды выпей...

Шабельский. Не нужно... (*Поднимает голову.*)

Лебедев. Что ты плачешь?

Шабельский. Ничего, так...

Лебедев. Нет, Матюша, не лги... Отчего? что за причина?

Шабельский. Взглянул я сейчас на эту виолончель и... и жидовочку вспомнил...

Лебедев. Эва, когда нашел вспоминать... Царство ей небесное, вечный покой, а вспоминать не время...

Шабельский. Мы с ней дуэты играли... Чудная, превосходная женщина... (*Склоняется на пианино.*)

Г о л о с и з з а л ы : «За здоровье дам...» Туш и ура.

Все подленькие, маленькие, ничтожные, бездарные... Я брюзга; как кокетка, напустил на себя бог знает что, не верю ни одному своему слову, но согласись, Паша, все мелко, ничтожно, подловато. Готов перед смертью любить людей, но ведь всё не люди, а людишки, микрокефалы, грязь, копать...

Лебедев. Людишки... От глупости всё, Матвей... Глупые они, а ты погоди — дети их будут умные... Дети не будут умные, жди внуков, нельзя сразу... Ум веками дается...

Шабельский. Паша, когда солнце светит, то и на кладбище весело... когда есть надежды, то и в старости хорошо... А у меня ни одной надежды, ни одной...

Лебедев. Да, действительно, тебе плоховато... Ни детей у тебя, ни денег, ни занятий... Ну, да что делать, судьбе кукиша не покажешь...

Музыка полминуты играет вальс, во время которого Лебедев и Шабельский делают вид, что говорят между собою.

Шабельский. На том свете мы поквитаемся. Я съезжу в Париж и погляжу на могилу жены. В своей жизни я много давал, роздал половину своего состояния, а потому имею право просить. К тому же, прошу я у друга.

285

Лебедев (*растерянно*). Голубчик, у меня ни копейки... Честное слово, omnia mea mecum porto¹. Живу на жениных харчах без жалованья. Были спрятаны у меня заветные десять тысяч, да и те сегодня Шурочке определил. (*Живо.*) Постой, не унывай... Эврика... Скажу я Николаше одно слово, и ты будешь в Париже... Валяй в Париж... Из десяти тысяч мы тебе три ассигнуем. Четыре... Целый год будешь кататься, а потом приедешь домой и, чего доброго, внука застанешь... Ау... ау... Честное слово...

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и Иванов.

Иванов (*выходя из залы*). Дядя, ты здесь? Милый мой, я улыбаюсь и смеюсь, как благодушнейший из смертных... (*Смеется.*) Я прошу тебя от чистого сердца, будь весел, улыбайся и ты... Не отравляй нашего веселья твоим унылым видом. Бери Пашу под правую руку, меня под левую и пойдем выпьем за твое здоровье. Я так счастлив и доволен, как давно уже не бывал. Все хорошо, нормально... отлично... Выпил я бокал шампанского (*смеется*), и, мне кажется, вся земля кружится от моего счастья... (*Испуганно.*) Матвей, ты плакал?

Шабельский. Да...

Иванов. О чем?

Шабельский. Я о ней вспомнил... о Сарре...

Пауза.

Иванов. Спасибо тебе, что ты о ней вспомнил... Это прекрасная, редкая женщина... Мало таких женщин, Матвей...

Лебедев. Симпатичная была. Это верно...

Пауза.

Иванов (*графу*). А помнишь, какую штуку я сгоряча пустил ей, когда она пришла ко мне в кабинет? Боже мой, вспоминаем теперь равнодушно, а тогда я едва не умер от ужаса. Пятеро суток я не уснул ни на минуту, не съел ни одной крошки, а ведь простила... Все мне простила, когда умирала. И я чувствую, она теперь смотрит сюда своими светлыми глазами и прощает нас. Спит она теперь в могиле; мы живем, музыка у нас играет, а придет время, и мы умрем, и о нас скажут: спит он теперь в могиле... Нравится мне этот порядок в природе

и сама природа мне нравится. *(Смеется.)* Все мне сегодня необыкновенно симпатично... Ты, Паша, честнейший человек... Мне больше нельзя пить, но вы, господа, пойдите и выпейте...

Лебедев. Граф, коньячку? А? Кого будешь пить?

Шабельский. Все равно.

Иванов. Сам я не пью, но люблю смотреть, когда другие пьют. *(Трет себе лоб.)* Счастье счастьем, а за эти дни я так измучился, что того и гляди упаду... Во всем теле какое-то нытье... *(Смеется.)* Пойдемте...

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Боркин.

Боркин *(выходя из залы)*. Молодой, где вы? Вас ищут. *(Увидев Иванова.)* А... Идите скорее, вас там зовут... Впрочем, постойте, Nicolas, на минутку, я должен сообщить вам одну чудную идею. За эту идею вы, господа, все, сколько вас тут есть, должны дать по крайней мере по тысяче рублей... Слушайте, Nicolas: давайте вы, я, Зинаида Саввишна и Бабакина все на паях откроем конный завод... Хотите?

Лебедев. Ну... у парня из головы винт выскочил...

Иванов *(смеется)*. Миша, вы умный, способный малый... Я искренно желаю вам добра. Забудем прошлое.

Боркин *(растроганный)*. Николай Алексеевич, вы хороший человек... я вас люблю и многим вам обязан. Давайте выпьем на «ты»!..

Иванов. Этого не нужно, Миша, все это вздор... Главное, будьте честным, хорошим человеком... Забудем прошлое... Вы виноваты, я виноват, но не будем помнить этого. Все мы люди — человеки, все грешны, виноваты и под богом ходим. Не грешен и силен только тот, у кого нет горячей крови и сердца.

Лебедев *(Иванову)*. Ты сегодня заговорил как немецкий пастор. Брось эту панихиду... Коли пить, так пойдете пить, а нечего золотое время терять. Пойдем, граф... *(Берет графа и Иванова под руку.)* Вперед... *(Поет.)* На одного втроем ударим разом...

Боркин *(загораживает дорогу)*. Господа, насчет конского завода я не шучу... Это дело серьезное... Во-первых, дело выгодное и, во-вторых, полезное... У нас привьется оно как нельзя лучше... Во-первых, лугов много, во-вторых, водопой отличные, в-третьих, помещение для завода есть.

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и Бабакина.

Бабакина *(выходя из залы)*. А где же мой кавалер? *(Томно.)* Граф, как вы смеее меня оставлять одну? Мне не с кем чокаться... У, противный... *(Бьет графа веером по руке.)*

Шабельский *(брезгливо)*. Оставьте меня, отойдите...

Бабакина (*ошеломленная*). Что же это такое? Какое он имеет полное право? Очень вами благодарна. . .

Боркин. Марфунчик, так я завтра приеду, мы поговорим обстоятельно и условимся. . . (*Запыхавшись*.) Денег на первых порах потребуется очень немного. Если каждый пайщик внесет для начала по две тысячи, то это за глаза. . .

Бабакина. Да как он смеет? Я к нему с лаской, деликатно, как дама, а он — отойдите. . . Что же это такое? Белены он объелся что ли?

Боркин (*нетерпеливо*). Ах, да не в этом дело. . . Не хочет он жениться, черт с ним. . . Есть вещи поважнее графства и женитьбы. Подумай, Марфунчик: у нас на всю губернию один только конский завод, да и тот с аукциона продается. В хороших лошадях чувствуется страшный недостаток. Если мы поставим дело на широкую ногу, выпишем из Англии двух-трех хороших жеребцов. . .

Бабакина (*сердито*). Отстаньте, отвяжись. . .

Боркин. Вот извольте ей втолковать. . . (*Горячо*.) На это понадобится какие-нибудь две-три тысячи, только, а через пять — десять лет мы будем иметь состояние. . . Во-первых, лугов много, во-вторых, водопой отличные, в-третьих. . .

Бабакина (*плачет*). Целый год ездил раза по три в неделю, пил, ел, на моих лошадях разъезжал, а теперь, когда племянник женился на богатой, я стала не нужна. Очень вами благодарна. . . Если я ему денег не давала, то ведь я не миллионщица. . .

Боркин (*всплескивая руками*). Я ей о важном деле говорю, а она ревет. . . Удивительный народ. . . Извольте вот с такими людьми дело делать. . . Те слушать не хотят, эта ревет как белуга. . . Господа, да пора же наконец сбросить с себя лень, апатию, нужно же когда-нибудь заняться делом!.. Неужели вы не сознаете, что индифферентизм губит нас?

Бабакина (*злобно, сквозь слезы*). Отстань!.. глаза выцарапаю!.. Чтоб ничья нога у меня теперь не была. . . Чтоб ни одна шельма не смела и носа показать!.. (*Плачет*.)

Боркин. Значит, идея моя должна лопнуть и дело не состоится. (*С горечью*.) Благодарю вас, господа. . . Очень вам благодарен. . . На наряды да на мадеру у вас есть деньги, а на хорошее, полезное дело вам и копейки жаль. . . Поклоняетесь золотому тельцу, мамоне. . .

Бабакина хочет уходить.

(*Берет ее за руку, которую та вырывает; решительно*). Ну, Марфа Егоровна, в таком случае у меня есть другая идея. . . Марфочка, если вам жалко двух тысяч, то позвольте вам сделать предложение. . . Делаю вам предложение. . .

Бабакина (*злобно и удивленно*). Что?

Боркин. Предлагаю руку и сердце. Я люблю вас страстно, бешено. С тех пор, как я увидел вас, я понял, для чего я живу. . . Любить вас, но в то же время не обладать вами, это пытка. . . инквизиция. . .

Бабакина. Нет, нет, нет, нет...

Боркин. Правда, я пользовался взаимностью в самых широких размерах, но это не удовлетворяло меня. Я хочу законного брака, чтобы век принадлежать тебе... *(Берет за талию.)* Люблю и страдаю... О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек... Что же еще сказать тебе? Выходи, вот и все... У тебя денег много, девать некуда, я человек деловой, основательный... к тому же влюблен...

Бабакина. Но ведь ты... все шутишь... В прошлом году тоже раз сделал предложение, а на другой день приехал и отказался.

Боркин. Честное слово, не шучу... Ну вот я на колени стану. *(Становится на колени.)* Люблю до сумасшествия...

Проходит лакей.

Бабакина *(вскрикивает)*. Ах... лакей увидел...

Боркин. Пусть все увидят... Сейчас я всем объявлю. *(Встает.)*

Бабакина. Миша, только я не буду тебе давать много денег...

Боркин. Там увидим, увидим... *(Целует ее.)* Марфунчик, зюмбумбунчик... Заживем... Такие у нас будут скаковые лошади, что я на одних призах наживу состояние.

Бабакина *(кричит)*. Платья не мни, платья... Оно двести рублей стоит...

ЯВЛЕНИЕ 7

Бабакина, Боркин и Авдотья Назаровна.

Авдотья Назаровна *(выходит из залы и, увидев целующуюся парочку, вскрикивает)*. Ах...

Боркин. Авдотья Назаровна, поздравляй... Жених и невеста... Женюсь... *(Идет с Бабакиной к вольной двери.)* Что ошалела? говорю: женюсь!.. *(Целует Бабакину.)* Вот... теперь не надо мне пайщиков, сам конский завод устрою...

Авдотья Назаровна. Ясочка моя, красавица... Вот радость-то!..

Боркин. Погоди, дай дорогу... *(Уходит с Бабакиной в залу.)*

Авдотья Назаровна *(идя за ними, кричит)*. А поглядите, люди добрые, какую я парочку сосватала!.. Поглядите... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 8

Львов *(один)*.

Львов *(входит из левой двери; смотрит на часы)*. Немножко поздно приехал, ну да ведь все пьяны небось, не заметят... *(Идет к правой двери и в волнении потирает руки.)* Главное, не надо волноваться... *(Смотрит в дверь.)* Сидит рядом, улыбается... Обманул, ограбил и улыбается своей жертве... *(Пожимается от волнения.)* Главное, не нужно волноваться... Сидит счастлив, здоров, весел и

безнаказан. Вот оно, торжество добродетели и правды... Одну жену не удалось ограбить, замучил ее и в гроб уложил... Нашел теперь другую... Будет перед этой лицемерить, пока не ограбит ее, а ограбивши, и ее уложит туда же, где лежит первая... Старая кулаческая история...

Г о л о с и з з а л ы : «За здоровье всех гостей...»
Туш и ура.

Прекрасно проживет до глубокой старости, а умрет с спокойною совестью... Нет, я выведу тебя на чистую воду, сорву с тебя маску... Ты у меня не будешь так улыбаться... Когда все узнают, что ты за птица, едва ли ты улыбнешься... *(Нервно застегивает сюртук.)* Я честный человек, и мое дело открыть глаза кому следует... *(Нервно откашливается.)* Исполню свой долг и завтра же вон из этого проклятого уезда... *(Громко.)* Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец!..

В зале шум.

ЯВЛЕНИЕ 9

Львов, Иванов, Шабельский, Лебедев, Боркин, Косых, потом Саша.

Иванов вбегает из залы, схватив себя за голову; за ним выходят остальные.

Иванов. За что? за что? Скажите мне: за что? *(В изнеможении опускается на диван.)*

Все. За что?

Лебедев *(Львову)*, Объясни, Христа ради, за что оскорбил? *(Хватает себя за голову и ходит в волнении.)*

Шабельский *(Иванову)*. Nicolas, Nicolas, ради бога... Не обращай внимания... Будь выше этого...

Боркин. Милостивый государь... это подло!.. Я вызываю вас на дуэль...

Львов. Господин Боркин, я считаю для себя унижительным не только драться, но даже говорить с вами... А господин Иванов, если хочет, может получить удовлетворение каждую минуту...

Саша *(выходит из залы, пошатываясь)*. За что? за что вы оскорбили моего мужа? Господа, позвольте, пусть он мне скажет... за что?

Львов. Александра Павловна, я оскорблял не голословно. Я пришел сюда как честный человек, чтобы раскрыть вам глаза, и прошу вас выслушать меня. Я все выскажу...

Саша. Что вы выскажете? какие тайны знаете вы? Что он уложил в гроб свою первую жену? Про это говорят все. Что он женился на мне из-за приданого и чтобы не платить моей матери долга? Это тоже известно всему уезду. А, жестокие, мелочные, ничтожные люди... *(Мужу.)* Николай, пойдем отсюда... *(Берет его за руку.)*

Лебедев *(Львову)*. Я, как хозяин дома... как отец своего зятя... то есть дочери, милостивый государь...

Саша громко вскрикивает и падает на мужа. . .
Все подбегают к Иванову.

Батюшки, он умер. . . воды. . . доктора. . .
Ш а б е л ь с к и й (плача). Nicolas! Nicolas!
В с е . Воды, доктора, он умер. . .

З а н а в е с

Сноски

Сноски к стр. [222](#)

¹ идите-ка сюда (нем. kommen Sie her).

Сноски к стр. [227](#)

¹ Кто это (франц.).

Сноски к стр. [247](#)

¹ Прошу вас (франц. je vous prie).

Сноски к стр. [254](#)

¹ Повторим! (лат.)

Сноски к стр. [255](#)

¹ Здесь: карман (от франц. enrocher — класть в карман).

Сноски к стр. [273](#)

¹ Понимаете? (франц.)

Сноски к стр. [283](#)

¹ Обычай заменяют законы (лат.).

Сноски к стр. [285](#)

¹ все мое ношу с собой (лат.).

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Федор Никитыч Гусев, господин почтенных лет.

Зиночка, его молодая жена.

Алексей Алексеич Зайцев, проезжий.

Станционный смотритель.

Действие происходит на почтовой станции в зимнюю ночь.

Почтовая станция. Пасмурная комната с закопченными стенами, большие диваны, обитые клеенкой. Чугунная печка с трубой, которая тянется через всю комнату.

Зайцев (с чемоданом), станционный смотритель (со свечой).

Зайцев. Да и вонь же тут у вас, сеньор! Не продохнешь! Воняет сургучом, кислятиной какой-то, клопами... Пфуй!

Смотритель. Без запаха нельзя.

Зайцев. Завтра разбудите меня в шесть часов... И чтоб тройка была готова... Мне нужно к девяти часам в город поспеть.

Смотритель. Ладно...

Зайцев. Который теперь час?

Смотритель. Половина второго... *(Уходит.)*

Зайцев *(снимая шубу и валенки)*. Холодно! Даже обалдел от холода... Такое у меня теперь чувство, как будто меня облепили всего снегом, облили водой и потом пребольно высекли... Такие сугробы, такая аспидская метель, что, кажется, если б еще пять минут побыть на воздухе, то — совсем крышка. Замучился. А из-за чего? Добро бы на свидание ехал или наследство получать, а то ведь еду на свою же погибель... Подумать страшно... Завтра в городе заседание окружного суда, и еду я туда в качестве обвиняемого. Меня будут судить за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного завещания на сумму не свыше трехсот рублей и за покушение на убийство биллиардного маркера. Присяжные закатают — в этом нет никакого сомнения. Сегодня я здесь, завтра вечером в тюрьме, а через каких-нибудь полгода — в холодных дебрях Сибири... Бррр!

Пауза.

Впрочем, у меня есть выход из ужасного положения. Есть! В случае если присяжные закатают меня, то я обращусь к своему старому другу... Верный, надежный друг! *(Достаёт из чемодана большой пистолет.)* Вот он! Каков мальчик? Выменял его у Чепракова на две собаки. Какая прелесть! Даже и застрелиться из него удовольствие некоторым образом... *(Нежно.)* Мальчик, ты заряжен? *(Тонким голосом, как бы отвечая за пистолет.)* Заряжен... *(Своим голосом.)* Небось громко выпалишь? Во всю ивановскую? *(Тонко.)* Во всю ивановскую... *(Своим*

голосом.) Ах ты дурашка, мамочка моя... Ну, ложись, спи... *(Целует пистолет и прячет в чемодан.)* Как только услышу «да, виновен», тотчас же — трах себе в лоб и шабаш... Однако я озяб чертовски... Бррр! Надо согреться... *(Делает ручную гимнастику и прыгает около печки.)* Бррр!

З и н о ч к а выглядывает в дверь и тотчас же скрывается.

Что такое? Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь... Гм... Да, кто-то поглядел... Значит, у меня соседи? *(Подслушивает у двери.)* Ничего не слышно... Ни звука... Должно быть, тоже проезжие... Хорошо бы разбудить их да, если это порядочные люди, в винт с ними засесть... Большой шлем на без-козырях! Занятная история, черт меня возьми... А еще лучше, если б это была женщина. Ничего я так, признаться, не люблю, как дорожные приключения... Иной раз едешь и на такой роман наскочишь, что ни у какого Тургенева не вычитаешь... Помню, вот точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии. Остановился на почтовой станции... Ночь, понимаете ли, сверчок цвирикает в печке, тишина... Сажу за столом и пью чай... Вдруг слышу таинственный шорох... Дверь открывается и...

З и н о ч к а *(за дверью)*. Это возмутительно! Это ни на что не похоже! Это не станция, а безобразия! *(Выглянув в дверь, кричит.)* Смотритель! Станционный смотритель! Где вы?

З а й ц е в *(в сторону)*. Какая прелесть! *(Ей.)* Сударыня, смотрителя нет. Этот невежа теперь спит. Что вам угодно? Не могу ли я быть полезен?

З и н о ч к а. Это ужасно, ужасно! Клопы, вероятно, хотят съесть меня!

З а й ц е в. Неужели? Клопы? Ах... как же они смеют?

З и н о ч к а *(сквозь слезы)*. Одним словом, это ужасно! Я сейчас уеду! Скажите тому подлецу смотрителю, чтобы запрягал лошадей! У меня клопы всю кровь выпили!

З а й ц е в. Бедняжка! Вы так прекрасны, и вдруг... Нет, это невозможно!

З и н о ч к а *(кричит)*. Смотритель!

З а й ц е в. Сударыня... mademoiselle...

З и н о ч к а. Я не mademoiselle... Я замужем...

З а й ц е в. Тем лучше... *(В сторону.)* Какой душонок! *(Ей.)* То есть я хочу сказать, что, не имея чести знать, сударыня, вашего имени и отчества и будучи сам в свою очередь благородным, порядочным человеком, я осмеливаюсь предложить вам свои услуги... Я могу помочь вашему горю...

З и н о ч к а. Каким образом?

З а й ц е в. У меня есть прекрасная привычка — всегда возить с собой персидский порошок... Позвольте вам предложить его от чистого сердца, от глубины души!

З и н о ч к а. Ах, пожалуйста!

З а й ц е в. В таком случае я сейчас... сию минуту... Достану из чемодана. *(Бежит к чемодану и роется в нем.)* Какие глазенки, носик... Быть роману! Предчувствую! *(Потирая руки.)* Уж моя фортуна такая: как застряну где-

нибудь на станции, так и роман... Так красива, что у меня даже из глаз искры сыплются... Вот он! *(Возвращаясь к двери.)* Вот он, ваш избавитель...

Зиночка протягивает из-за двери руку.

Нет, позвольте, я пойду к вам в комнату сам посыплю...

Зиночка. Нет, нет... Как можно в комнату?

Зайцев. Почему же нельзя? Тут ничего нет такого особенного, тем более... тем более, что я доктор, а доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь...

Зиночка. Вы не обманываете, что вы доктор? Серьезно?

Зайцев. Честное слово!

Зиночка. Ну, если вы доктор... пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! Федя! Да проснись же, тюлень.

Голос Гусева: «А?»

Иди сюда, доктор так любезен, что предлагает нам персидского порошку. *(Скрывается.)*

Зайцев. Федя! Благодарю, не ожидал! Очень мне нужен этот Федя! Черт бы его взял совсем! Только что как следует познакомился, только что удачно соврал, назвался доктором, как вдруг этот Федя... Точно холодной водой она меня окатила... Возьму вот и не дам персидского порошку! И ничего в ней нет красивого... Так, дрянцо какое-то, рожица... ни то ни се... Терпеть не могу таких женщин!

Гусев *(в халате и в ночном колпаке)*. Честь имею кланяться, доктор... Жена мне сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок.

Зайцев *(грубо)*. Да-с!

Гусев. Будьте добры, одолжите нам немножко. Энциклопедия одолела...

Зайцев. Возьмите!

Гусев. Благодарю вас покорнейше... Весьма вам благодарен. И вас в дороге застала пурга?

Зайцев. Да!

Гусев. Так-с... Ужасная погода... Вы куда изволите ехать?

Зайцев. В город.

Гусев. И мы тоже в город. Завтра в городе мне предстоит тяжелая работа, спать бы теперь надо, а тут энциклопедия, мочи нет... У нас ужасно безобразные почтовые станции. И клопы, и тараканы, и всякие скорпионы... Если бы моя власть, то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по сто двенадцатой статье Уложения о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, как за бродячий скот. Весьма вам благодарен, доктор... А вы по каким болезням изволите практиковать?

Зайцев. По грудным и... и по головным.

Гусев. Так-с... Честь имею... *(Уходит.)*

З а й ц е в *(один)*. Чучело гороховое! Если б моя власть, я б его с головы до ног зарыл в персидском порошке. Обыграть бы его, каналью, этак раз бы десять подряд оставить без трех! А то еще лучше играть бы с ним в бильярд и нечаянно смазать его кием, чтоб целую неделю помнил... Вместо носа какая-то шишка, по всему лицу синие жилочки, на лбу бородавка и... и вдруг осмеливается иметь такую жену! Какое он имеет право? Это возмутительно! Нет, это даже подло... А еще тоже спрашивают, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь? Ну, как тут не быть пессимистом?

Г у с е в *(в дверях)*. Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! Не церемонься и спроси... Бояться тут нечего... Шервцов тебе не помог, а он, может быть, и поможет... *(Зайцеву.)* Извините, доктор, я вас беспокою... Скажите, пожалуйста, отчего это у моей жены в груди бывает теснение? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то... Отчего это?

З а й ц е в. Это длинный разговор... Сразу нельзя определить...

Г у с е в. Ну так что же? Время есть... все равно не спим. Посмотрите ее, голубчик!

З а й ц е в *(в сторону)*. Вот влопался-то!

Г у с е в *(кричит)*. Зина! Ах, какая ты, право... *(Ему.)* Стесняется... Застенчивая, вся в меня... Добродетель хорошая вещь, но к чему крайности? Стесняться доктора, когда болен, это уж последнее дело...

З и н о ч к а *(входит)*. Право, мне так совестно...

Г у с е в. Полно, полно... *(Ему.)* Надо вам заметить, что ее лечит Шервцов. Человек-то он хороший, душа, весельчак, знающий свое дело, но... кто его знает? Не верю я ему! Не лежит к нему душа, хоть ты что! Вижу, доктор, вы не расположены, но будьте столь любезны!

З а й ц е в. Я... я не прочь... Я ничего... *(В сторону.)* Каково положение-то!

Г у с е в. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить... *(Уходит.)*

З а й ц е в. Садитесь, прошу вас...

Садятся.

Вам сколько лет?

З и н о ч к а. Двадцать два года...

З а й ц е в. Гм... Опасный возраст. Позвольте ваш пульс! *(Щупает пульс.)* Гм... М-да...

Пауза.

Что вы смеетесь?

З и н о ч к а. Вы не обманываете, что вы доктор?

З а й ц е в. Ну вот еще! За кого вы меня принимаете! Гм... пульс ничего себе... М-да... И ручка маленькая, пухленькая... Черт возьми, люблю я дорожные приключения! Едешь, едешь и вдруг встречаешь этакую... ручку... Вы любите медицину?

З и н о ч к а. Да.

З а й ц е в . Как это приятно! Ужасно приятно! Позвольте ваш пульс!

З и н о ч к а . Но, но, но... держите себя в границах!

З а й ц е в . Какой голосок, глазенки так и бегают... От одной улыбки можно сойти с ума... Ваш муж ревнив? Очень? Ваш пульс... один только пульс, и я умру от счастья!

З и н о ч к а . Позвольте, однако, милостивый государь... Милостивый государь! Я вижу, что вы меня принимаете за какую-то... Ошибаетесь, милостивый государь! Я замужем, мой муж занимает общественное положение.

З а й ц е в . Знаю, знаю, но виноват ли я, что вы так прекрасны?

З и н о ч к а . И я, милостивый государь, вам не позволю... Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры... Милостивый государь! Я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости... Вы слишком ошибаетесь, если думаете, что я... Вот мой муж, кажется, идет... Да, да, идет... Что же вы молчите? Чего вы дожидаетесь... Ну, ну... целуйте, что ли!

З а й ц е в . Милая. *(Целует.)* Пупсик! Мопсик! *(Целует.)*

З и н о ч к а . Но, но, но...

З а й ц е в . Котеночек мой... *(Целует.)* Финтифлюша... *(Увидев входящего Гусева.)* Еще один вопрос: когда вы больше кашляете, по вторникам или по четвергам?

З и н о ч к а . По субботам...

З а й ц е в . Гм... Позвольте ваш пульс!

Г у с е в *(в сторону)*. Словно как будто кто целовался... Точно так вот и у Шервцова... Ничего я в медицине не понимаю... *(Жене.)* Зиночка, ты посерьезнее... Нельзя так... Нельзя манкировать здоровьем! Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. Медицина теперь делает громадные шаги вперед! Громадные шаги!

З а й ц е в . О да! Видите ли, что я должен вам сказать... В здоровье вашей жены пока нет ничего опасного, но если она не будет серьезно лечиться, то ее болезнь может кончиться плохим: разрыв сердца и воспаление мозга...

Г у с е в . Вот видишь, Зиночка! Вот видишь! Такая мне с тобой забота... и не глядел бы, право...

З а й ц е в . Сейчас я пропишу... *(Вырывает из стационарной книги клочок бумаги, садится и пишет.)* Sic transit... две драхмы... Gloria mundi... один унций... Aquae destillatae¹... два грана... Вот будете принимать порошки, по три порошка в день...

Г у с е в . На воде или на вине?

З а й ц е в . На воде...

Г у с е в . На отварной?

З а й ц е в . Да, на отварной.

Г у с е в . Приношу вам искреннюю мою благодарность, доктор...

Сноски

Сноски к стр. 230

¹ Так проходит... Мирская слава... Дистиллированной воды (*лат.*).

ЧАЙКА

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.
 Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.
 Петр Николаевич Сорин, ее брат.
 Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика.
 Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.
 Полина Андреевна, его жена.
 Маша, его дочь.
 Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.
 Евгений Сергеевич Дорн, врач.
 Семен Семенович Медведенко, учитель.
 Яков, работник.
 Повар.
 Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сорина. — Между третьим
и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? *(В раздумье.)* Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура. *(Садятся.)*

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

Маша *(оглядываясь на эстраду)*. Скоро начнется спектакль.

Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая... Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?

Маша. Пустяки. *(Нюхает табак.)* Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. *(Протягивает ему табакерку.)* Одолжайтесь.

Медведенко. Не хочется.

Пауза.

Маша. Душно, должно быть, ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет бóльшего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого...

Входят справа Сорин и Треплев.

Сорин *(опираясь на трость)*. Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и все такое. *(Смеется.)* А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Треплев. Правда, тебе нужно жить в городе. *(Увидев Машу и Медведенку.)* Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

Сорин *(Маше)*. Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воеет. Сестра опять всю ночь не спала.

Маша. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. *(Медведенку.)* Пойдемте!

Медведенко *(Треплеву)*. Так вы перед началом пришлите сказать. *(Оба уходят.)*

Сорин. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть и все, но тут тебя так доймают всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. *(Смеется.)* Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда, в конце концов. Хочешь — не хочешь, живи...

Яков *(Треплеву)*. Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Треплев. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. *(Смотрит на часы.)* Скоро начнется.

Яков. Слушаю. *(Уходит.)*

Треплев (*окидывая взглядом эстраду*). Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

Сорин. Великолепно.

Треплев. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. (*Поправляет дыде галстук.*) Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

Сорин (*расчесывая бороду*). Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил и все. Меня никогда не любили женщины. (*Садясь.*) Отчего сестра не в духе?

Треплев. Отчего? Скучает. (*Садясь рядом.*) Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что ее беллетристу может понравиться Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

Сорин (*смеется*). Выдумашь, право...

Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (*Посмотрев на часы.*) Психологический курьез — моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней [Дузе](#)! Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенною игрой в [«La dame aux camélias»](#) или в [«Чад жизни»](#), но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы — ее враги, все мы виноваты. Затем, она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч — это я знаю наверное. А попроси у нее займы, она станет плакать.

Сорин. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожает.

Треплев (*обрывая у цветка лепестки*). Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. (*Смеется.*) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью.

Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. *(Смотрит на часы.)* Я люблю мать, сильно люблю; но она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах — и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь всё знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я — ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я — киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, — я угадывал их мысли и страдал от унижения...

Сорин. Статьи, скажи, пожалуйста, что за человек ее беллетрист? Не поймешь его. Всё молчит.

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло... Теперь он пьет одно только пиво и может любить только немолодых. Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

Сорин. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть, в конце концов.

Треплев *(прислушивается)*. Я слышу шаги... *(Обнимает дядю.)* Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен... Я счастлив безумно. *(Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.)* Волшебница, мечта моя...

Нина *(взволнованно)*. Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев *(целуя ее руки)*. Нет, нет, нет...

Нина. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. *(Смеется.)* Но я рада. *(Крепко жмет руку Сорина.)*

Сорин *(смеется)*. Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Нина. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

Сорин. Я схожу и всё. Сию минуту. *(Идет вправо и поет.)* «Во Францию два гренадера...» *(Оглядывается.)* Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный»... Потом подумал и прибавил: «Но... противный». *(Смеется и уходит.)*

Н и н а . Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами. *(Оглядывается.)*

Т р е п л е в . Мы одни.

Н и н а . Кажется, кто-то там...

Т р е п л е в . Никого.

Поцелуй.

Н и н а . Это какое дерево?

Т р е п л е в . Вяз.

Н и н а . Отчего оно такое темное?

Т р е п л е в . Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Н и н а . Нельзя.

Т р е п л е в . А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Н и н а . Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Т р е п л е в . Я люблю вас.

Н и н а . Тсс...

Т р е п л е в *(услышав шаги)*. Кто там? Вы, Яков?

Я к о в *(за эстрадой)*. Точно так.

Т р е п л е в . Становитесь по местам. Пора. Луна восходит?

Я к о в . Точно так.

Т р е п л е в . Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. *(Нине.)* Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Н и н а . Да, очень. Ваша мама — ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Т р е п л е в . Да.

Н и н а . Какие у него чудесные рассказы!

Т р е п л е в *(холодно)*. Не знаю, не читал.

Н и н а . В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Т р е п л е в . Живые лица! Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах.

Н и н а . В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по моему, непременно должна быть любовь...

Оба уходят за эстраду.

Входят Полина Андреевна и Дорн.

Полина Андреевна . Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Д о р н . Мне жарко.

Полина Андреевна. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы — доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Дорн *(напевает)*. «Не говори, что молодость сгубила».

Полина Андреевна. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Дорн. Мне 55 лет.

Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Дорн. Так что же вам угодно?

Полина Андреевна. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Дорн *(напевает)*. «Я вновь пред тобою...» Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это — идеализм.

Полина Андреевна. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Дорн *(пожав плечами)*. Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10—15 назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

Полина Андреевна *(хватает его за руку)*. Дорогой мой!

Дорн. Тише. Идут.

Входят Аркадина подрукас Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.

Шамраев. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

Аркадина. Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! *(Садится.)*

Шамраев *(вздыхнув)*. Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil¹.

Треплев выходит из-за эстрады.

Аркадина *(сыну)*. Мой милый сын, когда же начало?

Треплев. Через минуту. Прошу терпения.

Аркадина (*читает из «Гамлета»*). «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!»

Треплев (*из «Гамлета»*). «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?»

За эстрадой играют в рожок.

Господа, начало! Прошу внимания!

Пауза.

Я начинаю. (*Стучит палочкой и говорит громко.*) О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спим.

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Пауза.

Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.

Показываются болотные огни.

Аркадина (*тихо*). Это что-то декадентское.

Треплев (*умоляюще и с упреком*). Мама!

Нина. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бледные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.

Пауза.

Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь, когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Пауза; на фоне озера показываются две красных точки.

Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина *(смеется)*. Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полина Андреевна *(Дорну)*. Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев *(всплыв, громко)*. Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

Аркадина. Что же ты сердишься?

Треплев. Довольно! Занавес! Подавай занавес! *(Топнув ногой.)* Занавес!

Занавес опускается.

Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... я... *(Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.)*

Аркадина. Что с ним?

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

Аркадина. Что же я ему сказала?

Сорин. Ты его обидела.

Аркадина. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как к шутке.

Сорин. Все-таки...

Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите, пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

Сорин. Он хотел доставить тебе удовольствие.

Аркадина. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может.

Аркадина. Пусть он пишет как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.

Дорн. Юпитер, ты сердишься...

Аркадина. Я не Юпитер, а женщина. *(Закуривает.)* Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

Медведенко. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. *(Живо, Тригорину.)* А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат — учитель. Трудно, трудно живется!

Аркадина. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? *(Прислушивается.)* Как хорошо!

Полина Андреевна. Это на том берегу.

Пауза.

Аркадина *(Тригорину)*. Сядьте возле меня. Лет 10—15 назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы... Jeune premier'ом и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую *(кивает на Дорна)*, доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. *(Громко.)* Костя! Сын! Костя!

Маша. Я пойду поищу его.

Аркадина. Пожалуйста, милая.

Маша *(идет влево)*. Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! *(Уходит.)*

Нина *(выходя из-за эстрады)*. Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! *(Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)*

Сорин. Bravo! bravo!

Аркадина. Bravo! bravo! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина. О, это моя мечта! *(Вздыхнув.)* Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает? Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Нина. Ах, я так рада... *(Сконфузившись.)* Я всегда вас читаю...

Аркадина *(усаживая ее возле)*. Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Дорн . Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Шамраев (*громко*). Яков, подними-ка, братец, занавес!

Занавес поднимается.

Нина (*Тригорину*). Не правда ли, странная пьеса?

Тригорин . Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.

Пауза.

Должно быть, в этом озере много рыбы.

Нина . Да.

Тригорин . Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Нина . Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

Аркадина (*смеясь*). Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Шамраев . Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» — целую октавой ниже... Вот этак (*низким баском*): браво, Сильва... Театр так и замер.

Пауза.

Дорн . Тихий ангел пролетел.

Нина . А мне пора. Прощайте.

Аркадина . Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Нина . Меня ждет папа.

Аркадина . Какой он, право... (*Целуются*.) Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Нина . Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

Аркадина . Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Нина (*испуганно*). О, нет, нет!

Сорин (*ей, умоляюще*). Оставайтесь!

Нина . Не могу, Петр Николаевич.

Сорин . Оставайтесь на один час и всё. Ну что, право...

Нина (*подумав, сквозь слезы*). Нельзя! (*Пожимает руку и быстро уходит*.)

Аркадина . Несчастливая девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу всё свое громадное состояние, всё до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал всё своей второй жене. Это возмутительно.

Дорн . Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Сорин *(протирая озябшие руки)*. Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

Аркадина. Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. *(Берет его под руку.)*

Шамраев *(подавая руку жене)*. Мадам?

Сорин. Я слышу, опять воет собака. *(Шамраеву.)* Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Шамраев. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. *(Идущему рядом Медведенку.)* Да, на целую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А ведь не певец, простой синодальный певчий.

Медвенко. А сколько жалованья получает синодальный певчий?

Все уходят, кроме Дорна.

Дорн *(один)*. Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда эта девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Треплев *(входит)*. Уже нет никого.

Дорн. Я здесь.

Треплев. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.

Дорн. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.

Фу, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Треплев. Так вы говорите — продолжать?

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Треплев. Виноват, где Заречная?

Дорн. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Треплев *(нетерпеливо)*. Где Заречная?

Дорн. Она уехала домой.

Треплев *(в отчаянии)*. Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

М а ш а входит.

Дорн *(Треплеву)*. Успокойтесь, мой друг.

Треплев. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

М а ш а. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Треплев. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорн. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Треплев *(сквозь слезы)*. Прощайте, доктор. Благодарю... *(Уходит.)*

Дорн *(вздыхнув)*. Молодость, молодость!

М а ш а. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... *(Нюхает табак.)*

Дорн *(берет у нее табакерку и швыряет в кусты)*. Это гадко!

Пауза.

В доме, кажется, играют. Надо идти.

М а ш а. Погодите.

Дорн. Что?

М а ш а. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... *(Волнуясь.)* Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Дорн. Что? В чем помочь?

М а ш а. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! *(Кладет ему голову на грудь, тихо.)* Я люблю Константина.

Дорн. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! *(Нежно.)* Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга.

Аркадина *(Маше)*. Вот встанемте.

Обе встают.

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас моложе?

Дорн. Вы, конечно.

Аркадина. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суе, а вы сидите всё на одном месте, не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. *(Садится.)* Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Дорн *(напевает тихо)*. «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Аркадина. Затем, я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана *comme il faut*¹. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была феей, не распускала себя, как некоторые... *(Подбоченясь, прохаживается по площадке.)* Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Дорн. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. *(Берет книгу.)* Мы остановились на лабазнике и крысах...

Аркадина. И крысах. Читайте. *(Садится.)* Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. *(Берет книгу и ищет в ней глазами.)* И крысах... Вот оно... *(Читает.)* «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждаёт его посредством комплиментов, любезностей и угождений...» Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

Идет Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина; Медведев катит за ними пустое кресло.

Сорин *(тоном, каким ласкают детей)*. Да? У нас радость? Мы сегодня веселы, в конце концов? *(Сестре.)* У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Нина *(садится рядом с Аркадиной и обнимает ее)*. Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

Сорин *(садится в свое кресло)*. Она сегодня красивенькая.

Аркадина. Нарядная, интересная... За это вы умница. *(Целует Нину.)* Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Нина. Он в купальне рыбу удит.

Аркадина. Как ему не надоест! *(Хочет продолжать читать.)*

Нина. Это вы что?

Аркадина. Мопассан «На воде», милочка. *(Читает несколько строк про себя.)* Ну, дальше неинтересно и неверно. *(Закрывает книгу.)* Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

Маша. У него нехорошо на душе. *(Нине, робко.)* Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Нина *(пожав плечами)*. Вы хотите? Это так неинтересно!

Маша *(сдерживая восторг)*. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры, как у поэта.

Слышно, как храпит Сорин.

Дорн. Спокойной ночи!

Аркадина. Петруша!

Сорин. А?

Аркадина. Ты спишь?

Сорин. Нисколько.

Пауза.

Аркадина. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.

Сорин. Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет.

Дорн. Лечиться в шестьдесят лет!

Сорин. И в шестьдесят лет жить хочется.

Дорн *(досадливо)*. Э! Ну, принимайте валериановые капли.

Аркадина. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.

Дорн. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.

Аркадина. Вот и пойми.

Дорн. И понимать нечего. Все ясно.

Пауза.

Медведевко. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.

Сорин. Пустяки.

Дорн. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу — он.

Сорин *(смеется)*. Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал, в конце концов, и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны и потому имеете склонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары и все. Вот и все.

Дорн. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.

М а ш а *(встает)*. Завтракать пора, должно быть. *(Идет ленивою, вялою походкой.)* Ногу отсидела... *(Уходит.)*

Д о р н . Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

С о р и н . Личного счастья нет у бедняжки.

Д о р н . Пустое, ваше превосходительство.

С о р и н . Вы рассуждаете, как сытый человек.

А р к а д и н а . Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль — куда лучше!

Н и н а *(восторженно)*. Хорошо! Я понимаю вас.

С о р и н . Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон... на улице извозчики и все...

Д о р н *(напевает)*. «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Входит Ш а м р а е в , за ним П о л и н а А н д р е е в н а .

Ш а м р а е в . Вот и наши. Добрый день! *(Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.)* Весьма рад видеть вас в добром здоровье. *(Аркадиной.)* Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

А р к а д и н а . Да, мы собираемся.

Ш а м р а е в . Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?

А р к а д и н а . На каких? Почему я знаю — на каких!

С о р и н . У нас же выездные есть.

Ш а м р а е в *(волнуясь)*. Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

А р к а д и н а . Но если я должна ехать? Странное дело!

Ш а м р а е в . Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

А р к а д и н а *(вспылив)*. Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Ш а м р а е в *(вспылив)*. В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего! *(Уходит.)*

А р к а д и н а . Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет!

Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Т р и г о р и н с удочками и с ведром.

С о р и н *(вспылив)*. Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Н и н а (*Полине Андреевне*). Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

Полина Андреевна (*в отчаянии*). Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

С о р и н (*Нине*). Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? (*Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.*) Невыносимый человек! Деспот!

Н и н а (*мешая ему встать*). Сидите, сидите... Мы вас довезем...

Она и Медведенко катят кресло.

О, как это ужасно!..

С о р и н . Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.

Д о р н . Люди скучны. В сущности следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

Полина Андреевна . Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболеваю; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (*Умоляюще.*) Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Пауза.

Д о р н . Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь.

Полина Андреевна . Я знаю, вы отказываете мне, потому что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

Н и н а показывается около дома; она рвет цветы.

Д о р н . Нет, ничего.

Полина Андреевна . Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Д о р н (*Нине, которая подходит*). Как там?

Н и н а . Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Д о р н (*встает*). Пойти дать обоим валериановых капель...

Н и н а (*подает ему цветы*). Извольте!

Д о р н . Merci bien. (*Идет к дому.*)

Полина Андреевна (*идя с ним*). Какие миленькие цветы! (*Около дома, глухим голосом.*) Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! (*Получив цветы, рвет их и бросает в сторону.*)

Оба идут в дом.

Н и н а *(одна)*. Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Т р е п л е в *(входит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой)*. Вы одни здесь?

Н и н а . Одна.

Треплев кладет у ее ног чайку.

Что это значит?

Т р е п л е в . Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Н и н а . Что с вами? *(Поднимает чайку и смотрит на нее.)*

Т р е п л е в *(после паузы)*. Скоро таким же образом я убью самого себя.

Н и н а . Я вас не узнаю.

Т р е п л е в . Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Н и н а . В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но, простите, я не понимаю... *(Кладет чайку на скамью.)* Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Т р е п л е в . Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... *(Топнул ногой.)* Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... *(Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.)*

Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. *(Дразнит.)* «Слова, слова, слова...» Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. *(Уходит быстро.)*

Т р и г о р и н *(записывая в книжку)*. Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Н и н а . Здравствуйте, Борис Алексеевич!

Т р и г о р и н . Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя

в 18—19 лет, и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще что вы за штука.

Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. Зачем?

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. *(Подумав.)* Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, — вы один из миллиона, — выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Тригорин. Я? *(Пожимая плечами.)* Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? *(Смотрит на часы.)* Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... *(Смеется.)* Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? *(Подумав немного.)* Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан — нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-

то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... *(Смеется.)* А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но „Отцы и дети“ Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».

Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и, в конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей.

Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Тригорин. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?

Оба улыбнулись.

Нина. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... *(Закрывает лицо руками.)* Голова кружится... Уф!..

Голос Аркадиной *(из дому)*: «Борис Алексеевич!»

Тригорин. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. *(Оглядывается на озеро.)* Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Нина. Видите на том берегу дом и сад?

Тригорин. Да.

Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Тригорин. Хорошо у вас тут! *(Увидев чайку.)* А это что?

Нина. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Тригорин. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. *(Записывает в книжку.)*

Нина. Что это вы пишете?

Тригорин. Так, записываю... Сюжет мелькнул... *(Пряча книжку.)* Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

Пауза.

В окне показывается Аркадина.

Аркадина. Борис Алексеевич, где вы?

Тригорин. Сейчас! *(Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.)* Что?

Аркадина. Мы остаемся.

Тригорин уходит в дом.

Нина *(подходит к рампе; после некоторого раздумья)*. Сон!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкап с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки; заметны приготовления к отъезду. Тригорин завтракает, Маша стоит у стола.

Маша. Все это я рассказываю вам, как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни

одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. За Медведенка.

Тригорин. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригорин. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Тригорин. А не много ли будет?

Маша. Ну, вот! *(Наливает по рюмке.)* Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И всё водку или коньяк. *(Чокается.)* Желаю вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться.

Пьют.

Тригорин. Мне самому не хочется уезжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригорин. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым, — зачем толкаться?

Маша. Ну, и ревность. Впрочем, это не мое дело.

Пауза.

Яков проходит слева направо с чемоданом; входит Нина и останавливается у окна.

Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. *(Крепко пожимает руку.)* Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте! *(Уходит.)*

Нина *(протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак)*. Чёт или нечет?

Тригорин. Чёт.

Нина *(вздыхнув)*. Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Тригорин. Тут советовать нельзя.

Пауза.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: «Дни и ночи».

Тригорин. Как грациозно! *(Целует медальон.)* Прелестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мне.

Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какую вы были в тот ясный день — помните? — неделю назад, когда вы были в светлом платье... мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Нина *(задумчиво)*. Да, чайка...

Пауза.

Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... *(Уходит влево.)*

Одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.

Аркадина. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разезжать по гостям? *(Тригорину.)* Это кто сейчас вышел? Нина?

Тригорин. Да.

Аркадина. Pardon, мы помешали... *(Садится.)* Кажется, все уложила. Замучилась.

Тригорин *(читает на медальоне)*. «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Яков *(убирая со стола)*. Удочки тоже прикажете уложить?

Тригорин. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яков. Слушаю.

Тригорин *(про себя)*. Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? *(Аркадиной.)* Тут в доме есть мои книжки?

Аркадина. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Тригорин. Страница 121... *(Уходит.)*

Аркадина. Право, Петруша, остался бы дома...

Сорин. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

Аркадина. А в городе что же?

Сорин. Особенного ничего, но все же. *(Смеется.)* Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

Аркадина *(после паузы)*. Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй.

Пауза.

Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его

чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же, в конце концов, ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

Аркадина. Горе мне с ним! *(В раздумье.)* Поступить бы ему на службу, что ли...

Сорин *(насмывается, потом нерешительно)*. Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески и все. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без пальто... *(Смеется.)* Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

Аркадина. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. *(Решительно.)* Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

Сорин *(насмывается)*. Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

Аркадина *(сквозь слезы)*. Нет у меня денег!

Сорин. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пяточка. *(Смеется.)* Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелыдохнут, коровыдохнут, лошадей мне никогда не дают...

Аркадина. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

Сорин. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... *(Пошатывается.)* Голова кружится. *(Держится за стол.)* Мне дурно и все.

Аркадина *(испуганно)*. Петруша! *(Стараясь поддержать его.)* Петруша, дорогой мой... *(Кричит.)* Помогите мне! Помогите!..

Входят Треплев с повязкой на голове, Медведенко.

Ему дурно!

Сорин. Ничего, ничего... *(Улыбается и пьет воду.)* Уже прошло... и все...

Треплев *(матери)*. Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. *(Дяде.)* Тебе, дядя, надо полежать.

Сорин. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... *(Идет, опираясь на трость.)*

Медведенко *(ведет его под руку)*. Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

Сорин *(смеется)*. Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

Медведенко. Ну вот, церемонии!..

Аркадина. Как он меня напугал!

Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему займы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

Аркадина. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

Пауза.

Треплев. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

Аркадина *(достает из аптечного шкапа иодоформ и ящик с перевязочным материалом)*. А доктор опоздал.

Треплев. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

Аркадина. Садись. *(Снимает у него с головы повязку.)* Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. *(Целует его в голову.)* А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Треплев. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится. *(Целует ей руку.)* У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене, — я тогда был маленьким, — у нас во дворе была драка, сильно побили жилищу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

Аркадина. Нет. *(Накладывает новую повязку.)*

Треплев. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

Аркадина. Это помню.

Треплев. Богомольные они такие были.

Пауза.

В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем между мной и тобой стал этот человек.

Аркадина. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Треплев. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

Аркадина. Какой вздор! Я сама увожу его отсюда. Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но ты умен и интеллигентен, я имею право требовать от тебя, чтобы ты уважал мою свободу.

Треплев. Я уважаю твою свободу, но и ты позволь мне быть свободным и относиться к этому человеку как я хочу. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду

смеется надо мной и над тобой, развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

Аркадина. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.

Треплев. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но, прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

Аркадина. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Треплев (*иронически*). Настоящие таланты! (*Гневно*.) Я талантливее вас всех, коли на то пошло! (*Срывает с головы повязку*.) Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скряга!

Аркадина. Оборвыш!

Треплев садится и тихо плачет.

Ничтожество! (*Пройдясь в волнении*.) Не плачь. Не нужно плакать... (*Плачет*.) Не надо... (*Целует его в лоб, в щеки, в голову*.) Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня несчастную.

Треплев (*обнимает ее*.) Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Я сейчас увезу его, она опять тебя полюбит. (*Утирает ему слезы*.) Будет. Мы уже помирились.

Треплев (*целует ей руки*). Да, мама.

Аркадина (*нежно*). Помиришься и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил... (*Входит Тригорин*.) Вот... Я выйду... (*Быстро убирает, в шкаф лекарства*.) А повязку уже доктор сделает...

Тригорин (*ищет в книжке*). Страница 121... строки 11 и 12... Вот... (*Читает*.) «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Треплев подбирает с полу повязку и уходит.

Аркадина (*поглядев на часы*). Скоро лошадей подадут.

Тригорин (*про себя*). Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин *(нетерпеливо)*. Да, да... *(В раздумье.)* Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. *(Аркадиной.)* Останемся еще на один день!

Аркадина отрицательно качает головой.

Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг... *(Жмет ей руку.)* Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня...

Аркадина *(в сильном волнении)*. Ты так увлечен?

Тригорин. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

Аркадина. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Тригорин. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти...

Аркадина *(дрожа)*. Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Тригорин. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, — на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

Аркадина *(с гневом)*. Ты сошел с ума!

Тригорин. И пускай.

Аркадина. Вы все сговорились сегодня мучить меня! *(Плачет.)*

Тригорин *(берет себя за голову)*. Не понимает! Не хочет понять!

Аркадина. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? *(Обнимает его и целует.)* О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! *(Становится на колени.)* Моя радость, моя гордость, мое блаженство... *(Обнимает его колени.)* Если ты покинешь меня, хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Тригорин. Сюда могут войти. *(Помогает ей встать.)*

Аркадина. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. *(Целует ему руки.)* Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пушу... *(Смеется.)* Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная

надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунию? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?..

Тригорин. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный — неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

Аркадина (*про себя*). Теперь он мой. (*Развязно, как ни в чем не бывало.*) Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Тригорин. Нет, уж поедем вместе.

Аркадина. Как хочешь. Вместе, так вместе...

Пауза.

Тригорин записывает в книжку.

Что ты?

Тригорин. Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор»... Пригодится. (*Потягивается.*) Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Шамраев (*входит*). Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справку: где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... В «Ограбленной почте» играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов, тоже личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов — «Мы попали в запендю»... (*Хохочет.*) Запендю!..

Пока он говорит, Яков хлопчет около чемоданов, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки; все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.

Полина Андреевна (*с корзиночкой*). Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

Аркадина. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. (*Плачет.*)

Аркадина (*обнимает ее*). Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходит!

Аркадина. Что же делать!

Сорин *(в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери; проходя через комнату)*. Сестра, пора, как бы не опоздать, в конце концов. Я иду садиться. *(Уходит.)*

Медведенко. А я пойду пешком на станцию... провожать. Я живо... *(Уходит.)*

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся...

Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.

Не забывайте меня. *(Подает повару рубль.)* Вот вам рубль на троих.

Повар. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Яков. Дай бог час добрый!

Шамраев. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

Аркадина. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. *(Якову.)* Я дала рубль повару. Это на троих.

Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.

Тригорин *(возвращаясь)*. Я забыл свою трость. Она, кажется, там на террасе.

Идет и у левой двери встречается с Ниной, которая входит.

Это вы? Мы уезжаем...

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. *(Возбужденно.)* Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я уйду от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Тригорин *(оглянувшись)*. Остановитесь в «Славянском Базаре»... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь...

Пауза.

Нина. Еще одну минуту...

Тригорин *(вполголоса)*. Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

Она склоняется к нему на грудь.

Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...

Продолжительный поцелуй.

З а н а в е с

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях. — Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. М е д в е д е н к о и М а ш а входят.

М а ш а *(окликает)*. Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! *(Осматриваясь.)* Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

М е д в е д е н к о . Боится одиночества. *(Прислушиваясь.)* Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки.

М а ш а *(припускает огня в лампе)*. На озере волны. Громадные.

М е д в е д е н к о . В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.

М а ш а . Ну, вот...

Пауза.

М е д в е д е н к о . Поедем, Маша, домой!

М а ш а *(качает отрицательно головой)*. Я здесь останусь ночевать.

М е д в е д е н к о *(умоляюще)*. Маша, поедem! Наш ребеночек, небось, голоден.

М а ш а . Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

М е д в е д е н к о . Жалко. Уже третью ночь без матери.

М а ш а . Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой, — и больше от тебя ничего не услышишь.

М е д в е д е н к о . Поедем, Маша!

М а ш а . Поезжай сам.

М е д в е д е н к о . Твой отец не даст мне лошади.

М а ш а . Даст. Ты попроси, он и даст.

М е д в е д е н к о . Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

М а ш а *(нюхает табак)*. Ну, завтра. Пристал...

Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится.

Зачем это, мама?

Полина Андреевна . Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.

М а ш а . Давайте я... *(Постилает постель.)*

Полина Андреевна *(вздыхнув)*. Старый что малый... *(Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись.)*

Пауза.

Медведенко. Так я пойду. Прощай, Маша. *(Целует у жены руку.)* Прощайте, мамаша. *(Хочет поцеловать руку у тещи.)*

Полина Андреевна *(досадливо)*. Ну! Иди с богом.

Медведенко. Прощайте, Константин Гаврилыч.

Треплев молча подает руку; Медведенко уходит.

Полина Андреевна *(глядя в рукопись)*. Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. *(Проводит рукой по его волосам.)* И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Маша *(постилая)*. Оставьте его, мама.

Полина Андреевна *(Треплеву)*. Она славненькая.

Пауза.

Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

Треплев встает из-за стола и молча уходит.

Маша. Вот и рассердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мне тебя, Машенька.

Маша. Очень нужно!

Полина Андреевна. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

Маша. Все глупости. Безданежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда — все забуду... с корнем из сердца вырву.

Через две комнаты играют меланхолический вальс.

Полина Андреевна. Костя играет. Значит, тоскует.

Маша *(делает бесшумно два-три тура вальса)*. Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

Открывается левая дверь, Дорн и Медведенко катят в кресле Сорина.

Медведенко. У меня теперь в доме шестеро. А мука семь гривен пуд.

Дорн. Вот тут и вертись.

Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Дорн. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

Маша (*мужу*). Ты не уехал?

Медведенко (*виновато*). Что ж? Когда не дают лошади!

Маша (*с горькою досадой, вполголоса*). Глаза бы мои тебя не видели!

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведенко, опечаленный, отходит в сторону.

Дорн. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

Маша. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может когда угодно выходить в сад и там думать.

Стучит сторож.

Сорин. Где сестра?

Дорн. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

Сорин. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. (*Помолчав.*) Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Дорн. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

Сорин. Ну, начинается философия. О, что за наказание! (*Кивнув головой на диван.*) Это для меня послано?

Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич.

Сорин. Благодарю вас.

Дорн (*напевает*). «Месяц плывет по ночным небесам...»

Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». «L'homme qui a voulu». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором — и не сделался; хотел красиво говорить — и говорил отвратительно (*дразнит себя*): «и всё и всё такое, того, не того»... и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться — и не женился; хотел всегда жить в городе — и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все.

Дорн. Хотел стать действительным статским советником — и стал.

Сорин (*смеется*). К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорн. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь, — это не великодушно.

Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Дорн. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Дорн. Страх смерти — животный страх... Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает

своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых — какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству — только всего.

Сорин *(смеется)*. Двадцать восемь...

Входит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.

Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать.

Треплев. Нет, ничего.

Пауза.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Треплев. Должно быть, здорова.

Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Треплев. Это, доктор, длинная история.

Дорн. А вы покороче.

Пауза.

Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?

Дорн. Знаю.

Треплев. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Дорн. А сцена?

Треплев. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорн. Значит, все-таки есть талант?

Треплев. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.

Пауза.

Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Дорн. То есть как, здесь?

Треплев. В городе, на постоялом дворе. Уже дней пять как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинишна ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

Медведенко. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Треплев. Не придет она.

Пауза.

Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. *(Отходит с доктором к письменному столу.)* Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

Сорин. Прелестная была девушка.

Дорн. Что-с?

Сорин. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Дорн. Старый ловелас.

Слышен смех Шамраева.

Полина Андреевна. Кажется, наши приехали со станции...

Треплев. Да, я слышу маму.

Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев.

Шамраев *(входя)*. Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... грация...

Аркадина. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Тригорин *(Сорину)*. Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это вы все хвораете? Нехорошо! *(Увидев Машу, радостно.)* Марья Ильинишна!

Маша. Узнали? *(Жмет ему руку.)*

Тригорин. Замужем?

Маша. Давно.

Тригорин. Счастливы? *(Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву.)* Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

Треплев протягивает ему руку.

Аркадина (*сыну*). Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Треплев (*принимая книгу, Тригорину*). Благодарю вас. Вы очень любезны.

Садятся.

Тригорин. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня всё спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печтаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как Железная маска.

Треплев. Надолго к нам?

Тригорин. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом — старая история.

Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его; Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкапа лото.

Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где — помните? — играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

Маша (*отцу*). Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Шамраев (*дразнит*). Лошадь... домой... (*Строго*.) Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

Маша. Но ведь есть другие лошади... (*Видя, что отец молчит, машет рукой*.) С вами связываться...

Медведенко. Я, Маша, пешком пойду. Право...

Полина Андреевна (*вздыхнув*). Пешком, в такую погоду... (*Садится за ломберный стол*.) Пожалуйте, господа.

Медведенко. Ведь всего только шесть верст... Прощай... (*Целует жене руку*.) Прощайте, мамаша.

Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.

Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... (*Кланяется всем*.) Прощайте... (*Уходит; походка виноватая*.)

Шамраев. Небось дойдет. Не генерал.

Полина Андреевна (*стучит по столу*). Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.

Аркадина (*Тригорину*). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами

партию? *(Садится с Тригориным за стол.)* Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. *(Сдаёт всем по три карты.)*

Треплев *(перелистывая журнал)*. Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. *(Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.)*

Аркадина. А ты, Костя?

Треплев. Прости, что-то не хочется... Я пройду. *(Уходит.)*

Аркадина. Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.

Дорн. Слушаю-с.

Маша. Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорн. Так-с.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Шамраев. Не спешите.

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.

Аркадина. Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... *(Снимает с груди брошь и бросает на стол.)*

Шамраев. Да, это вещь...

Маша. Пятьдесят!..

Дорн. Ровно пятьдесят?

Аркадина. На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играет. Тоскует, бедный.

Шамраев. В газетах бранят его очень.

Маша. Семьдесят семь!

Аркадина. Охота обращать внимание.

Тригорин. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина *(оглянувшись на Сорина)*. Петруша, тебе скучно?

Пауза.

Спит.

Дорн. Спит действительный статский советник.

Маша. Семь! Девяносто!

Тригорин. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

Маша. Двадцать восемь!

Тригорин. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!

Дорн. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, яркие, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

Аркадина. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

Маша. Двадцать шесть!

Треплев тихо входит и идет к своему столу.

Шамраев (*Тригорину*). А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Тригорин. Какая?

Шамраев. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело.

Тригорин. Не помню. (*Раздумывая.*) Не помню!

Маша. Шестьдесят шесть! Один!

Треплев (*распахивает окно, прислушивается*). Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

Аркадина. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.

Маша. Восемьдесят восемь!

Тригорин. У меня партия, господа.

Аркадина (*весело*). Bravo! bravo!

Шамраев. Bravo!

Аркадина. Этому человеку всегда и везде везет. (*Встает.*) А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. (*Сыну.*) Костя, оставь свои рукописи, пойдем есть.

Треплев. Не хочу, мама, я сыт.

Аркадина. Как знаешь. (*Будит Сорина.*) Петруша, ужинать! (*Берет Шамраева под руку.*) Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове...

Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходят в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным столом.

Треплев (*собирается писать; пробегает то, что уже написано*). Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. (*Читает.*) «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно. (*Зачеркивает.*) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин

выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.

Пауза.

Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.

Что такое? (*Глядит в окно.*) Ничего не видно... (*Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.*) Кто-то пробежал вниз по ступеням. (*Окликает.*) Кто здесь?

Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.

Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.

(*Расстроганный.*) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. (*Снимает с нее шляпу и тальму.*) О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Нина. Здесь есть кто-то.

Треплев. Никого.

Нина. Заприте двери, а то войдут.

Треплев. Никто не войдет.

Нина. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Треплев (*запирает правую дверь на ключ, подходит к левой*). Тут нет замка. Я заставлю креслом. (*Ставит у двери кресло.*) Не бойтесь, никто не войдет.

Нина (*пристально смотрит ему в лицо*). Дайте я посмотрю на вас. (*Оглядываясь.*) Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Треплев. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Нина. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем.

Сядутся.

Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите — ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я — чайка... Нет, не то. (*Трет себе лоб.*) О

чем я? Да... Тургенев... «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам»... Ничего. *(Рыдает.)*

Треплев. Нина, вы опять... Нина!

Нина. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. *(Берет его за руку.)* Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Треплев. Зачем в Елец?

Нина. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Треплев. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, — я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Нина *(растерянно)*. Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Треплев. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

Нина быстро надевает шляпу и тальму.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... *(Смотрит, как она одевается.)*

Пауза.

Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(Сквозь слезы.)* Дайте воды...

Треплев *(дает ей напиток)*. Вы куда теперь?

Нина. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Треплев. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Нина. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. *(Склоняется к столу.)* Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(Поднимает голову.)* Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну, да! *(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.)* И он здесь... *(Возвращаясь к Треплеву.)* Ну, да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже

перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... *(Трет себе лоб.)* О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев *(печально)*. Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина *(прислушиваясь)*. Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... *(Жмет ему руку.)* Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Треплев. Оставайтесь, я дам вам поужинать...

Нина. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, — чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните? *(Читает.)* «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...» *(Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)*

Треплев *(после паузы)*. Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму...

В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.

Дорн *(стараясь отворить левую дверь)*. Странно. Дверь как будто заперта... *(Входит и ставит на место кресло.)* Скачка с препятствиями.

Входят Аркадина, Полина Андреевна, за ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна (Якову). Сейчас же подавай и чай. (Зажигает свечи, садится за ломберный стол.)

Шамраев (подводит Тригорина к шкапу). Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достает из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.

Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!

Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.

Аркадина (испуганно). Что такое?

Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. (Напевает.) «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Аркадина (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... (Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело...

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (берет Тригорина за талию и отводит к рампе)... так как я очень интересуюсь этим вопросом... (Тоном ниже, вполголоса.) Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

З а н а в е с

Сноски

Сноски к стр. 12

¹ О вкусах — или хорошо или ничего. (лат.)

Сноски к стр. 21

¹ как следует (франц.).

ТРИ СЕСТРЫ

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прозоров Андрей Сергеевич.

Наталья Ивановна, его невеста, потом жена.

О л ь г а	} его сестры.
М а ш а	
И р и н а	

Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши.

Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир.

Тузенбах Николай Львович, барон, поручик.

Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан.

Чебутыкин Иван Романович, военный доктор.

Федотик Алексей Петрович, подпоручик.

Родэ Владимир Карлович, подпоручик.

Ферапонт, сторож из земской управы, старик.

Анфиса, нянька, старуха 80 лет.

Действие происходит в губернском городе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака.

О л ь г а в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; М а ш а в черном платье, со шляпкой на коленях сидит и читает книжку, И р и н а в белом платье стоит задумавшись.

О л ь г а . Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. *(Часы бьют двенадцать.)* И тогда также били часы.

Пауза.

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

И р и н а . Зачем вспоминать!

За колоннами, в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый.

О л ь г а . Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать

лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.

Чебутыкин. Черта с два!

Тузенбах. Конечно, вздор.

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.

Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь!

Пауза.

Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта...

Ирина. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и — в Москву...

Ольга. Да! Скорее в Москву.

Чебутыкин и Тузенбах смеются.

Ирина. Брат, вероятно, будет профессором, он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей.

Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето, каждый год.

Маша тихо насвистывает песню.

Ирина. Бог даст, все устроится. *(Глядя в окно.)* Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! Сегодня утром вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость, и вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня, какие мысли!

Ольга. Сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень, это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет, только... Все хорошо, все от бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше.

Пауза.

Я бы любила мужа.

Тузенбах *(Соленому)*. Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. *(Входя в гостиную.)* Забыл сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. *(Садится у пианино.)*

Ольга. Ну, что ж! Очень рада.

Ирина. Он старый?

Тузенбах. Нет, ничего. Самое большее, лет сорок, сорок пять. *(Тихо наигрывает.)* По-видимому, славный малый. Неглуп, это — несомненно. Только говорит много.

Ирина. Интересный человек?

Тузенбах. Да, ничего себе, только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то полоумная, с длинной девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется.

Соленый *(входя из залы в гостиную с Чебутыкиным)*. Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое, даже больше...

Чебутыкин *(читает на ходу газету)*. При выпадении волос... два золотника нафталина на полбутылки спирта... растворить и употреблять ежедневно... *(Записывает в книжку.)* Запишем-с! *(Соленому.)* Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...

Ирина. Иван Романыч, милый Иван Романыч!

Чебутыкин. Что, девочка моя, радость моя?

Ирина. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего?

Чебутыкин *(целуя ей обе руки, нежно)*. Птица моя белая...

Ирина. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волком, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романыч.

Чебутыкин *(нежно)*. Откажу, откажу...

Ольга. Отец приучил нас вставать в семь часов. Теперь Ирина просыпается в семь и по крайней мере до девяти лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное! *(Смеется.)*

Ирина. Ты привыкла видеть меня девочкой и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне двадцать лет!

Туз е н б а х . Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли! Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25—30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый!

Че б у т ы к и н . Я не буду работать.

Туз е н б а х . Вы не в счет.

Со л е н ы й . Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. *(Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки.)*

Че б у т ы к и н *(смеется)*. А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты... *(Вынимает из кармана другую газету.)* Вот... Знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал — не знаю... Бог его знает...

Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа.

Вот... Зовут меня вниз, кто-то ко мне пришел. Сейчас приду... погодите... *(Торопливо уходит, расчесывая бороду.)*

И р и н а . Это он что-то выдумал.

Туз е н б а х . Да. Ушел с торжественной физиономией, очевидно, принесет вам сейчас подарок.

И р и н а . Как это неприятно!

О л ь г а . Да, это ужасно. Он всегда делает глупости.

Ма ш а . У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Золотая цепь на дубе том... *(Встает и напевает тихо.)*

О л ь г а . Ты сегодня невеселая, Маша.

Маша, напевая, надевает шляпу.

Куда ты?

Ма ш а . Домой.

И р и н а . Странно...

Туз е н б а х . Уходить с именин!

Ма ш а . Все равно... Приду вечером. Прощай, моя хорошая... *(Целует Ирину.)* Желаю тебе еще раз, будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по тридцать-сорок офицеров, было шумно, а сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне... Я уйду... Сегодня я в мерлехлюндии, невесело мне, и ты не слушай

меня. *(Смеется сквозь слезы.)* После поговорим, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь.

Ирина *(недовольная)*. Ну, какая ты...

Ольга *(со слезами)*. Я понимаю тебя, Маша.

Соленый. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет — потяни меня за палец.

Маша. Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?

Соленый. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь надел.

Пауза.

Маша *(Ольге, сердито)*. Не реви!

Входят Анфиса и Ферапонт сторгом.

Анфиса. Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистые. *(Ирине.)* Из земской управы, от Протопопова, Михаила Иваныча... Пирог.

Ирина. Спасибо. Поблагодари. *(Принимает торт.)*

Ферапонт. Чего?

Ирина *(громче)*. Поблагодари!

Ольга. Нянечка, дай ему пирога. Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут.

Ферапонт. Чего?

Анфиса. Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридоныч. Пойдем... *(Уходит с Ферапонтом.)*

Маша. Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча, или Иваныча. Его не следует приглашать.

Ирина. Я не приглашала.

Маша. И прекрасно.

Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром; гул изумления и недовольства.

Ольга *(закрывает лицо руками)*. Самовар! Это ужасно! *(Уходит в залу к столу.)*

Вместе {
Ирина. Голубчик Иван Романыч, что вы делаете!
Тузенбах *(смеется)*. Я говорил вам.
Маша. Иван Романыч, у вас просто стыда нет!

Чебутыкин. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик... Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете... *(Ирине.)* Милая, деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения... носил на руках... я любил покойницу маму...

Ирина. Но зачем такие дорогие подарки!

Чебутыкин *(сквозь слезы, сердито)*. Дорогие подарки... Ну вас совсем! *(Деницику.)* Неси самовар туда... *(Дразнит.)* Дорогие подарки...

Денщик уносит самовар в залу.

Анфиса *(проходя через гостиную)*. Милые, полковник незнакомый! Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая... *(Уходя.)* И завтракать уже давно пора... Господи...

Тузенбах. Вершинин, должно быть.

Входит Вершинин.

Подполковник Вершинин!

Вершинин *(Маше и Ирине)*. Честь имею представиться: Вершинин. Очень, очень рад, что, наконец, я у вас. Какие вы стали! Ай! ай!

Ирина. Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно.

Вершинин *(весело)*. Как я рад, как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню — три девочки. Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленьких девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время! Ой, ой, как идет время!

Тузенбах. Александр Игнатьевич из Москвы.

Ирина. Из Москвы? Вы из Москвы?

Вершинин. Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той же бригаде офицером. *(Маше.)* Вот ваше лицо немножко помню, кажется.

Маша. А я вас — нет!

Ирина. Оля! Оля! *(Кричит в залу.)* Оля, иди же!

Ольга входит из залы в гостиную.

Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы.

Вершинин. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая... А вы Мария... А вы Ирина — младшая...

Ольга. Вы из Москвы?

Вершинин. Да. Учился в Москве и начал службу в Москве, долго служил там, наконец получил здесь батарею — перешел сюда, как видите. Я вас не помню собственно, помню только, что вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти, вот закрою глаза и вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве...

Ольга. Мне казалось, я всех помню, и вдруг...

Вершинин. Меня зовут Александром Игнатьевичем...

Ирина. Александр Игнатьевич, вы из Москвы... Вот неожиданность!

Ольга. Ведь мы туда переезжаем.

Ирина. Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там... На Старой Басманной улице...

Обе смеются от радости.

М а ш а . Неожиданно земляка увидели. *(Живо.)* Теперь вспомнила! Помнишь, Оля, у нас говорили: «влюбленный майор». Вы были тогда поручиком и в кого-то были влюблены, и вас все дразнили почему-то майором...

В е р ш и н и н *(смеется)*. Вот, вот... Влюбленный майор, это так...

М а ш а . У вас были тогда только усы... О, как вы постарели! *(Сквозь слезы.)* Как вы постарели!

В е р ш и н и н . Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то.

О л ь г а . Но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не стары.

В е р ш и н и н . Однако уже сорок третий год. Вы давно из Москвы?

И р и н а . Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка... *(Сквозь слезы.)* И я заплачу...

М а ш а . Я ничего. А на какой вы улице жили?

В е р ш и н и н . На Старой Басманной.

О л ь г а . И мы там тоже...

В е р ш и н и н . Одно время я жил на Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в Красные казармы. Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе.

Пауза.

А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная река!

О л ь г а . Да, но только холодно. Здесь холодно и комары...

В е р ш и н и н . Что вы! Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река... и здесь тоже березы. Милые, скромные березы, я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах... И никто не знает, почему это так.

С о л е н ы й . А я знаю, почему это так.

Все глядят на него.

Потому что если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко.

Неловкое молчание.

Т у з е н б а х . Шутник, Василий Васильич.

О л ь г а . Теперь и я вспомнила вас. Помню.

В е р ш и н и н . Я вашу матушку знал.

Ч е б у т ы к и н . Хорошая была, царство ей небесное.

И р и н а . Мама в Москве погребена.

О л ь г а . В Ново-Девичьем...

М а ш а . Представьте, я уж начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут.

Вершинин. Да. Забудут. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, — придет время, — будет забыто или будет казаться неважным.

Пауза.

И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудачком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной.

Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий!

Соленый *(тонким голосом)*. Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать.

Тузенбах. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое... *(Садится на другое место)*. Это скучно, наконец.

Соленый *(тонким голосом)*. Цып, цып, цып...

Тузенбах *(Вершинину)*. Страдания, которые наблюдаются теперь, — их так много! — говорят все-таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество...

Вершинин. Да, да, конечно.

Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой; но люди всё же низенькие... *(Встает)*. Смотрите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь.

За сценой игра на скрипке.

Маша. Это Андрей играет, наш брат.

Ирина. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру.

Маша. По желанию папы.

Ольга. Мы сегодня его задразнили. Он, кажется, влюблен немножко.

Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас, по всей вероятности.

Маша. Ах, как она одевается! Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые! Андрей не влюблен — я не допускаю, все-таки у него вкус есть, а просто он так, дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно... *(В боковую дверь)*. Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!

Входит Андрей.

Ольга. Это мой брат, Андрей Сергеич.

Вершинин. Вершинин.

Андрей. Прозоров. *(Утирает вспотевшее лицо.)* Вы к нам батарейным командиром?

Ольга. Можешь представить, Александр Игнатьич из Москвы.

Андрей. Да? Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадут вам покою.

Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам.

Ирина. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей! *(Показывает рамочку.)* Это он сам сделал.

Вершинин *(глядя на рамочку и не зная, что сказать)*. Да... вещь...

Ирина. И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал.

Андрей машет рукой и отходит.

Ольга. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки, одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи! У него манера — всегда уходить. Поди сюда!

Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад.

Маша. Иди, иди!

Андрей. Оставьте, пожалуйста.

Маша. Какой смешной! Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором, и он нисколько не сердился.

Вершинин. Нисколько!

Маша. А я хочу тебя назвать: влюбленный скрипач!

Ирина. Или влюбленный профессор!..

Ольга. Он влюблен! Андрюша влюблен!

Ирина *(аплодируя)*. Браво, браво! Бис! Андрюшка влюблен!

Чебутыкин *(подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию)*. Для любви одной природа нас на свет произвела! *(Хохочет; он все время с газетой.)*

Андрей. Ну, довольно, довольно... *(Утирает лицо.)* Я всю ночь не спал я теперь немножко не в себе, как говорится. До четырех часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сем, а тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского.

Вершинин. А вы читаете по-английски?

Андрей. Да. Отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться, после его смерти я стал полнеть и вот располнел в один год, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще по-итальянски. Но чего это стоило!

Маша. В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего.

Вершинин. Вот-те на! *(Смеется.)* Знаете много лишнего! Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собою разумеется, вам не победить окружающей вас темной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока наконец такие, как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. *(Смеется.)* А вы жалуетесь, что знаете много лишнего.

Маша *(снимает шляпу)*. Я остаюсь завтракать.

Ирина *(со вздохом)*. Право, все это следовало бы записать...

Андрея нет, он незаметно ушел.

Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготавливаться к ней, нужно работать...

Вершинин *(встает)*. Да. Сколько, однако, у вас цветов! *(Оглядываясь.)* И квартира чудесная. Завидую! А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном, и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов... *(Потирает руки.)* Эх! Ну, да что!

Тузенбах. Да, нужно работать. Вы, небось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...

Пауза.

Вершинин *(ходит по сцене)*. Я часто думаю: что если бы начать жизнь снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая — начисто! Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере создал бы для себя иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массою света... У меня жена, двое девочек, притом жена дама нездоровая и так далее, и так далее, ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нет, нет!

Входит Кулыгин в форменном фраке.

Кулыгин *(подходит к Ирине)*. Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и пожелать искренно, от души, здоровья и всего того, что

можно пожелать девушке твоих лет. И позволь поднести тебе в подарок вот эту книжку. *(Подает книжку.)* История нашей гимназии за пятьдесят лет, написанная мною. Пустяшная книжка, написана от нечего делать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа! *(Вершинину.)* Кулыгин, учитель здешней гимназии. Надворный советник. *(Ирине.)* В этой книжке ты найдешь список всех кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. [Feci quod potui, faciant meliora potentes.](#)¹ *(Целует Машу.)*

Ирина. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку.

Кулыгин *(смеется)*. Не может быть! В таком случае отдай назад, или вот лучше отдай полковнику. Возьмите, полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки.

Вершинин. Благодарю вас. *(Собирается уйти.)* Я чрезвычайно рад, что познакомился...

Ольга. Вы уходите? Нет, нет!

Ирина. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста.

Ольга. Прошу вас!

Вершинин *(кланяется)*. Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас... *(Уходит с Ольгой в залу.)*

Кулыгин. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы... Персидским порошком или нафталином... Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать, у них была [mens sana in corpore sano](#)². Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: главное во всякой жизни — это ее форма... Что теряет свою форму, то кончается — и в нашей обыденной жизни то же самое. *(Берет Машу за талию, смеясь.)* Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда с коврами... Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, в четыре часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагогов и их семейств.

Маша. Не пойду я.

Кулыгин *(огорченный)*. Милая Маша, почему?

Маша. После об этом... *(Сердито.)* Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... *(Отходит.)*

Кулыгин. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная, светлая личность. Великолепный человек. Вчера после совета он мне говорит: «Устал, Федор Ильич! Устал!» *(Смотрит на стенные часы, потом на свои.)* Ваши часы спешат на семь, минут. Да, говорит, устал!

За сценой игра на скрипке.

Ольга. Господа, милости просим, пожалуйста завтракать! Пирог!

Кулыгин. Ах, милая моя Ольга, милая моя! Я вчера работал с утра до одиннадцати часов вечера, устал и сегодня чувствую себя счастливым. *(Уходит в залу к столу.)* Милая моя...

Чебутыкин *(кладет газету в карман, причесывает бороду)*. Пирог? Великолепно!

Маша *(Чебутыкину строго)*. Только смотрите: ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить.

Чебутыкин. Эва! У меня уж прошло. Два года, как запоя не было. *(Нетерпеливо.)* Э, матушка, да не все ли равно!

Маша. Все-таки не смейте пить. Не смейте. *(Сердито, но так, чтобы не слышал муж.)* Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора!

Тузенбах. Я бы не пошел на вашем месте... Очень просто.

Чебутыкин. Не ходите, дуся моя.

Маша. Да, не ходите... Эта жизнь проклятая, невыносимая... *(Идет в залу.)*

Чебутыкин *(идет к ней)*. Ну-у!

Соленый *(проходя в залу)*. Цып, цып, цып...

Тузенбах. Довольно, Василий Васильич. Будет!

Соленый. Цып, цып, цып...

Кулыгин *(весело)*. Ваше здоровье, полковник! Я педагог, и здесь в доме свой человек, Машин муж... Она добрая, очень добрая...

Вершинин. Я выпью вот этой темной водки... *(Пьет.)* Ваше здоровье! *(Ольге.)* Мне у вас так хорошо!..

В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах.

Ирина. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж восемнадцати лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный.

Ольга *(нетерпеливо)*. Андрей, иди же наконец!

Андрей *(за сценой)*. Сейчас. *(Входит и идет к столу.)*

Тузенбах. О чем вы думаете?

Ирина. Так. Я не люблю и боюсь этого вашего Соленого. Он говорит одни глупости...

Тузенбах. Станный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив... Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретер. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете?

Пауза.

Вам двадцать лет, мне еще нет тридцати. Сколько лет нам осталось впереди, длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам...

Ирина. Николай Львович, не говорите мне о любви.

Тузенбах *(не слушая)*. У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! О чем вы думаете?

Ирина. Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава... Текут у меня слезы. Это не нужно... *(Быстро вытирает лицо, улыбается.)* Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд...

Наталья Ивановна входит; она в розовом платье, с зеленым поясом.

Наташа. Там уже завтракать садятся... Я опоздала... *(Мельком глядится в зеркало, поправляется.)* Кажется, причесана ничего себе... *(Увидев Ирину.)* Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас! *(Целует крепко и продолжительно.)* У вас много гостей, мне, право, совестно... Здравствуйте, барон!

Ольга *(входя в гостиную)*. Ну, вот и Наталья Ивановна. Здравствуйте, моя милая!

Целуются.

Наташа. С именинницей. У вас такое большое общество, я смущена ужасно...

Ольга. Полно, у нас всё свои. *(Вполголоса испуганно.)* На вас зеленый пояс! Милая, это не хорошо!

Наташа. Разве есть примета?

Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно...

Наташа *(плачушим голосом)*. Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый. *(Идет за Ольгой в залу.)*

В зале садятся завтракать; в гостиной ни души.

Кулыгин. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора тебе уж выходить.

Чебутыкин. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю.

Кулыгин. У Натальи Ивановны уже есть женишок.

Маша *(стучит вилкой по тарелке)*. Выпью рюмочку винца! Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!

Кулыгин. Ты ведешь себя на три с минусом.

Вершинин. А наливка вкусная. На чем это настоено?

Соленый. На тараканах.

Ирина *(плачушим голосом)*. Фу! Фу! Какое отвращение!..

Ольга. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Слава богу, сегодня целый день я дома, вечером — дома... Господа, вечером приходите.

Вершинин. Позвольте и мне прийти вечером!

Ирина. Пожалуйста.

Н а т а ш а . У них попросту.

Ч е б у т ы к и н . Для любви одной природа нас на свет произвела. *(Смеется.)*

А н д р е й *(сердито)*. Перестаньте, господа! Не надоело вам.

Ф е д о т и к и Р о д э входят с большой корзиной цветов.

Ф е д о т и к . Однако уже завтракают.

Р о д э *(громко и картавя)*. Завтракают? Да, уже завтракают...

Ф е д о т и к . Погоди минутку! *(Снимает фотографию.)* Раз! Погоди еще немного... *(Снимает другую фотографию.)* Два! Теперь готово!

Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом.

Р о д э *(громко)*. Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолепиие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику...

Ф е д о т и к . Можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете! *(Снимая фотографию.)* Вы сегодня интересны. *(Вынимает из кармана волчок.)* Вот, между прочим, волчок... Удивительный звук...

И р и н а . Какая прелесть!

М а ш а . У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Золотая цепь на дубе том... *(Плаксиво.)* Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...

К у л ы г и н . Тринадцать за столом!

Р о д э *(громко)*. Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам?

Смех.

К у л ы г и н . Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович, чего доброго...

Смех.

Ч е б у т ы к и н . Я старый грешник, а вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу.

Громкий смех; Наташа выбегает из залы в гостиную, за ней Андрей.

А н д р е й . Полно, не обращайтесь внимания! Погодите... постоит, прошу вас...

Н а т а ш а . Мне стыдно... Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу... не могу... *(Закрывает лицо руками.)*

А н д р е й . Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас здесь не видно им... *(Оглядывается.)*

Н а т а ш а . Я так не привыкла бывать в обществе!..

А н д р е й . О молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так!.. Верьте мне, верьте... Мне так хорошо, душа полна любви, восторга... О, нас не видят! Не видят! За что, за что я полюбил вас, когда полюбил — о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я вас люблю, люблю... как никого никогда...

Поцелуй.

Д в а о ф и ц е р а входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого акта.

Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня.

Входит Н а т а л ь я И в а н о в н а в капоте, со свечой; она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея.

Н а т а ш а . Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только... *(Идет, открывает другую дверь и, заглянув в нее, затворяет.)* Огня нет ли...

А н д р е й *(входит с книгой в руке)*. Ты что, Наташа?

Н а т а ш а . Смотрю, огня нет ли... Теперь масленица, прислуга сама не своя, гляди да и гляди, чтоб чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку. *(Ставит свечу.)* Который час?

А н д р е й *(взглянув на часы)*. Девятого четверть.

Н а т а ш а . А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Всё трудятся бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе... *(Вздыхает.)* Сегодня утром говорю твоей сестре: «Побереги, говорю, себя, Ирина, голубчик». И не слушает. Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь... Я так боюсь!

А н д р е й . Ничего, Наташа. Мальчик здоров.

Н а т а ш а . Но все-таки лучше пускай диэта. Я боюсь. И сегодня в десятом часу, говорили, ряженные у нас будут, лучше бы они не приходили, Андрюша.

А н д р е й . Право, я не знаю. Их ведь звали.

Н а т а ш а . Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня, и вдруг улыбнулся; значит, узнал. «Бобик, говорю, здравствуй! Здравствуй, милый!» А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так, значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженных не принимали.

А н д р е й *(нерешительно)*. Да ведь это как сестры. Они тут хозяйки.

Н а т а ш а . И они тоже, я им скажу. Они добрые... *(Идет.)* К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь. *(Останавливается.)* Бобик холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребенка: и сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в одной комнате... Все равно днем дома не бывает, только ночует...

Пауза.

Андрюшанчик, отчего ты молчишь?

А н д р е й . Так, задумался... Да и нечего говорить...

Н а т а ш а . Да... Что-то я хотела тебе сказать... Ах, да. Там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает.

А н д р е й *(зевает)*. Позови его.

Н а т а ш а уходит; Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ф е р а п о н т ; он в старом трепаном пальто, с поднятым воротником, уши повязаны.

Здравствуй, душа моя. Что скажешь?

Ф е р а п о н т . Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот... *(Подает книгу и пакет.)*

А н д р е й . Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже.

Ф е р а п о н т . Чего?

А н д р е й *(громче)*. Я говорю, поздно пришел, уже девятый час.

Ф е р а п о н т . Так точно. Я пришел к вам, еще светло было, да не пускали всё. Барин, говорят, занят. Ну, что ж. Занят так занят, спешить мне некуда. *(Думая, что Андрей спрашивает его о чем-то.)* Чего?

А н д р е й . Ничего. *(Рассматривая книгу.)* Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду... займусь. Дома скучно...

Пауза.

Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь! Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу — старые университетские лекции, и мне стало смешно... Боже мой, я секретарь земской управы, той управы, где председательствует Протопопов, я секретарь, и самое большее, на что я могу надеяться, это — быть членом земской управы! Мне быть членом здешней земской управы, мне, которому снится каждую ночь, что я профессор московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля!

Ф е р а п о н т . Не могу знать... Слышу-то плохо...

А н д р е й . Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает, сестер я боюсь почему-то, боюсь, что они засмеют меня, застыдят... Я не пью,

трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой.

Ф е р а п о н т . А в Москве, в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины; один, который съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомяну.

А н д р е й . Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой... Чужой и одинокий.

Ф е р а п о н т . Чего?

Пауза.

И тот же подрядчик сказывал — может, и врет, — будто поперек всей Москвы канат протянут.

А н д р е й . Для чего?

Ф е р а п о н т . Не могу знать. Подрядчик говорил.

А н д р е й . Чепуха. *(Читает книгу.)* Ты был когда-нибудь в Москве?

Ф е р а п о н т *(после паузы)*. Не был. Не привел бог.

Пауза.

Мне идти?

А н д р е й . Можешь идти. Будь здоров.

Ф е р а п о н т уходит.

Будь здоров. *(Читая.)* Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги... Ступай...

Пауза.

Он ушел.

Звонок.

Да, дела... *(Потягивается и не спеша уходит к себе.)*

За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят М а ш а и В е р ш и н и н . Пока они потом беседуют, г о р н и ч н а я зажигает лампу и свечи.

М а ш а . Не знаю.

Пауза.

Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди — это военные.

В е р ш и н и н . Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.

М а ш а (*взглянув на часы*). Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению.

В е р ш и н и н . Так... да.

М а ш а . Про мужа я не говорю, к нему я привыкла, но между штатскими вообще так много людей грубых, не любезных, не воспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.

В е р ш и н и н . Да-с... Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно! Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился... Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?

М а ш а . Почему?

В е р ш и н и н . Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?

М а ш а . Вы сегодня немножко не в духе.

В е р ш и н и н . Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко, а когда болеют мои девочки, то мною овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали браниться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверью и ушел.

Пауза.

Я никогда не говорю об этом, и странно, жалуясь только вам одной. (*Целует руку.*) Не сердитесь на меня. Кроме вас одной, у меня нет никого, никого...

Пауза.

М а ш а . Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так.

В е р ш и н и н . Вы с предрассудками?

М а ш а . Да.

В е р ш и н и н . Странно это. (*Целует руку.*) Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.

М а ш а (*садится на другой стул*). Здесь светлей...

В е р ш и н и н . Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся... Великолепная, чудная женщина!

М а ш а (*тихо смеясь*). Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас... (*Вполголоса.*) А впрочем, говорите, мне все равно... (*Закрывает лицо руками.*) Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом...

Ирина и Тузенбах входят через залу.

Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер, но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер.

Ирина. Как я устала!

Тузенбах. И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой, буду десять-двадцать лет, пока вы не прогоните... *(Увидев Машу и Вершинина, радостно.)* Это вы? Здравствуйте.

Ирина. Вот я и дома, наконец. *(Маше.)* Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату в Саратов, что у ней сегодня сын умер, и никак не может вспомнить адреса. Так и послала без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубилась ни с того ни с сего. «Мне, говорю, некогда». Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые?

Маша. Да.

Ирина *(садится в кресле)*. Отдохнуть. Устала.

Тузенбах *(с улыбкой)*. Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой...

Пауза.

Ирина. Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю.

Маша. Ты похудела... *(Насвистывает.)* И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом.

Тузенбах. Это от прически.

Ирина. Надо поискать другую должность, а эта не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей...

Стук в пол.

Доктор стучит. *(Тузенбаху.)* Милый, постучите. Я не могу... устала...

Тузенбах стучит в пол.

Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей двести рублей проиграл.

Маша *(равнодушно)*. Что ж теперь делать!

Ирина. Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы всё проиграл, быть может, уехали бы из этого города. Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная. *(Смеется.)* Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще... февраль, март, апрель, май... почти полгода!

Маша. Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше.

Ирина. Ей, я думаю, все равно.

Чебутыкин, только что вставший с постели, — он отдыхал после обеда, — входит в залу и причесывает бороду, потом садится там за стол и вынимает из кармана газету.

Маша. Вот пришел... Он заплатил за квартиру?

Ирина (смеется). Нет. За восемь месяцев ни копейки. Очевидно, забыл.

Маша (смеется). Как он важно сидит!

Все смеются; пауза.

Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьич?

Вершинин. Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю! С утра ничего не ел...

Чебутыкин. Ирина Сергеевна!

Ирина. Что вам?

Чебутыкин. Пожалуйста сюда. Venez ici.

Ирина идет и садится за стол.

Я без вас не могу.

Ирина раскладывает пасьянс.

Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, которая будет после нас, лет через двести-триста.

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «ах, тяжело жить!» — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.

Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье.

Маша тихо смеется.

Тузенбах. Что вы?

Маша. Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра.

Вершинин. Я кончил там же, где и вы, в академии я не был; читаю я много, но выбирать книг не умею и читаю, быть может, совсем не то, что нужно, а между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать

вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков.

Пауза.

Не я, то хоть потомки потомков моих.

Федотик и Родэ показываются в зале; они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре.

Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье! Но если я счастлив!

Вершинин. Нет.

Тузенбах (*всплеснув руками и смеясь*). Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас?

Маша тихо смеется.

(*Показывая ей палец.*) Смейтесь! (*Вершинину.*) Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них; и пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели...

Маша. Все-таки смысл?

Тузенбах. Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?

Пауза.

Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава.

Пауза.

Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла...

Маша. [У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!](#)

Тузенбах. А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем...

Чебутыкин (*читая газету*). Бальзак венчался в Бердичеве.

Ирина напевает тихо.

Даже запишу себе это в книжку. (*Записывает.*) Бальзак венчался в Бердичеве. (*Читает газету.*)

Ирина (*раскладывает пасьянс, задумчиво*). Бальзак венчался в Бердичеве.

Тузенбах. [Жребий брошен](#). Вы знаете, Мария Сергеевна, я подаю в отставку.

Маша. Слышала. И ничего я не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских.

Тузенбах. Все равно... *(Встает.)* Я не красив, какой я военный? Ну, да все равно, впрочем... Буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. *(Уходя в залу.)* Рабочие, должно быть, спят крепко!

Федотик *(Ирине)*. Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек...

Ирина. Вы привыкли обращаться со мной, как с маленькой, но ведь я уже выросла... *(Берет карандаши и ножичек, радостно.)* Какая прелесть!

Федотик. А для себя я купил ножик... вот поглядите... нож, еще другой нож, третий, это в ушах ковырять, это ножнички, это ногти чистить...

Родэ *(громко)*. Доктор, сколько вам лет?

Чебутыкин. Мне? Тридцать два.

Смех.

Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасьянс... *(Раскладывает пасьянс.)*

Подают самовар; Анфиса около самовара; немного погода приходит Наташа и тоже суетится около стола; приходит Соленый и, поздоровавшись, садится за стол.

Вершинин. Однако, какой ветер!

Маша. Да. Надоела зима. Я уже и забыла, какое лето.

Ирина. Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве.

Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. *(Смеется.)* Значит, вы не будете в Москве.

Чебутыкин *(читает газету)*. Цицикар. Здесь свирепствует оспа.

Анфиса *(подходя к Маше)*. Маша, чай кушать, матушка. *(Вершинину.)* Пожалуйста, ваше высокоблагородие... простите, батюшка, забыла имя, отчество...

Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду.

Ирина. Няня!

Анфиса. Иду-у!

Наташа *(Соленому)*. Грудные дети прекрасно понимают. «Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый!» Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет, нет, уверяю вас! Это необыкновенный ребенок.

Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы. *(Идет со стаканом в гостиную и садится в угол.)*

Наташа *(закрыв лицо руками)*. Грубый, невоспитанный человек!

Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде...

Вершинин. На днях я читал [дневник одного французского министра](#), писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен

на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его.

Туз е н б а х *(берет со стола коробку)*. Где же конфеты?

И р и н а . Соленый съел.

Туз е н б а х . Все?

А н ф и с а *(подавая чай)*. Вам письмо, бабушка.

Вершинин . Мне? *(Берет письмо.)* От дочери. *(Читает.)* Да, конечно... Я, извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. *(Встает взволнованный.)* Вечно эти истории...

М а ш а . Что такое? Не секрет?

Вершинин *(тихо)*. Жена опять отравилась. Надо идти. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. *(Целует Маше руку.)* Милая моя, славная, хорошая женщина... Я здесь пройду потихоньку... *(Уходит.)*

А н ф и с а . Куда же он? А я чай подавала... Экой какой.

М а ш а *(рассердившись)*. Отстань! Пристаешь тут, покоя от тебя нет... *(Идет с чашкой к столу.)* Надоела ты мне, старая!

А н ф и с а . Что ж ты обижаешься? Милая!

Г о л о с А н д р е я . Анфиса!

А н ф и с а *(дразнит)*. Анфиса! Сидит там... *(Уходит.)*

М а ш а *(в зале у стола, сердито)*. Дайте же мне сесть! *(Мешает на столе карты.)* Расселись тут с картами. Пейте чай!

И р и н а . Ты, Машка, злая.

М а ш а . Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня!

Че б у т ы к и н *(смеясь)*. Не трогайте ее, не трогайте...

М а ш а . Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что.

Н а т а ш а *(вздыхает)*. Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières.¹

Туз е н б а х *(сдерживая смех)*. Дайте мне... дайте мне... Там, кажется, коньяк...

Н а т а ш а . Il paraît, que mon Бобик déjà ne dort pas², проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите... *(Уходит.)*

И р и н а . А куда ушел Александр Игнатьич?

М а ш а . Домой. У него опять с женой что-то необычайное.

Туз е н б а х *(идет к Соленому, в руках графинчик с коньяком)*. Все вы сидите один, о чем-то думаете — и не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку.

Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь, вероятно, играть всякий вздор... Куда ни шло!

Соленый. Почему мириться? Я с вами не ссорился.

Тузенбах. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться.

Соленый *(декламируя)*. Я странен, не странен кто ж! Не сердись, Алеко!

Тузенбах. И при чем тут Алеко...

Пауза.

Соленый. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и... говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать.

Тузенбах. Я часто сержусь на вас, вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе, но все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьюсь сегодня. Выпьем!

Соленый. Выпьем.

Пьют.

Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. *(Тихо.)* Я даже немножко похож на Лермонтова... как говорят... *(Достает из кармана флакон с духами и льет на руки.)*

Тузенбах. Подаю в отставку. Баста! Пять лет все раздумывал и, наконец, решил. Буду работать.

Соленый *(декламируя)*. Не сердись, Алеко... Забудь, забудь мечтания свои...

Пока они говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи.

Тузенбах. Буду работать.

Чебутыкин *(идя в гостиную с Ириной)*. И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое — чехартма, мясное.

Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.

Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.

Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.

Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма — баранина.

Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.

Чебутыкин. Что же я буду с вами спорить! Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы.

Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока.

Андрей *(умоляюще)*. Довольно, господа! Прошу вас!

Тузенбах. Когда придут ряженные?

Ирина. Обещали к девяти; значит, сейчас.

Тузенбах *(обнимает Андрея)*. Ах вы сени, мои сени, сени новые мои...

А н д р е й *(пляшет и поет)*. Сени новые, кленовые...
Ч е б у т ы к и н *(пляшет)*. Решетчаты-е!

Смех.

Т у з е н б а х *(целует Андрея)*. Черт возьми, давайте выпьем. Андрюша, давайте выпьем на ты. И я с тобой, Андрюша, в Москву, в университет.

С о л е н ы й . В какой? В Москве два университета.

А н д р е й . В Москве один университет.

С о л е н ы й . А я вам говорю — два.

А н д р е й . Пускай хоть три. Тем лучше.

С о л е н ы й . В Москве два университета!

Ропот и шиканье.

В Москве два университета: старый и новый. А если вам неудобно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату... *(Уходит в одну из дверей.)*

Т у з е н б а х . Bravo, bravo! *(Смеется.)* Господа, начинайте, я сажусь играть! Смешной этот Соленый... *(Садится за пианино, играет вальс.)*

М а ш а *(танцует вальс одна)*. Барон пьян, барон пьян, барон пьян!

Входит Н а т а ш а .

Н а т а ш а *(Чебутыкину)*. Иван Романыч! *(Говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит.)*

Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то.

И р и н а . Что такое?

Ч е б у т ы к и н . Нам пора уходить. Будьте здоровы.

Т у з е н б а х . Спокойной ночи. Пора уходить.

И р и н а . Позвольте... А ряженные?..

А н д р е й *(сконфуженный)*. Ряженных не будет. Видишь ли, моя милая, Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому... Одним словом, я не знаю, мне решительно все равно.

И р и н а *(пожимая плечами)*. Бобик нездоров!

М а ш а . Где наша не пропадала! Гонят, стало быть надо уходить. *(Ирине.)* Не Бобик болен, а она сама... Вот! *(Стучит пальцем по лбу.)* Мещанка!

А н д р е й уходит в правую дверь к себе, Ч е б у т ы к и н идет за ним; в зале прощаются.

Ф е д о т и к . Какая жалость! Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно... Я завтра принесу ему игрушечку...

Р о д э *(громко)*. Я сегодня нарочно выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только девять часов!

М а ш а . Выйдем на улицу, там потолкуем. Решим, что и как.

Слышно: «Прощайте! Будьте здоровы!» Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят. Анфиса и горничная убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька. А н д р е й в пальто и шляпе и Ч е б у т ы к и н тихо входят.

Ч е б у т ы к и н . Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния, да и потому, что безумно любил твою матушку, которая была замужем...

А н д р е й . Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно.

Ч е б у т ы к и н . Так-то оно так, да одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество страшная штука, голубчик мой... Хотя в сущности... конечно, решительно все равно!

А н д р е й . Пойдемте скорей.

Ч е б у т ы к и н . Что же спешить? Успеем.

А н д р е й . Я боюсь, жена бы не остановила.

Ч е б у т ы к и н . А!

А н д р е й . Сегодня я играть не стану, только так посижу. Нездоровится... Что мне делать, Иван Романыч, от одышки?

Ч е б у т ы к и н . Что спрашивать! Не помню, голубчик. Не знаю.

А н д р е й . Пройдем кухней.

Уходят.

Звонок, потом опять звонок; слышны голоса, смех.

И р и н а *(входит)*. Что там?

А н ф и с а *(шепотом)*. Ряженые!

Звонок.

И р и н а . Скажи, нянечка, дома нет никого. Пусть извинят.

А н ф и с а уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате; она взволнована. Входит С о л е н ы й .

С о л е н ы й *(в недоумении)*. Никого нет... А где же все?

И р и н а . Ушли домой.

С о л е н ы й . Странно. Вы одни тут?

И р и н а . Одна.

Пауза.

Прощайте.

С о л е н ы й . Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, нетактично. Но вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда... Вы одна, только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

И р и н а . Прощайте! Уходите.

С о л е н ы й . Я не могу жить без вас. *(Идя за ней.)* О, мое блаженство! *(Сквозь слезы.)* О, счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины...

Ирина (холодно). Перестаньте, Василий Васильич!

Соленый. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете. (Трет себе лоб.) Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно быть... Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью... О, чудная!

Наташа проходит со свечой.

Наташа (заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа). Тут Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильич, я не знала, что вы здесь, я по-домашнему.

Соленый. Мне все равно. Прощайте! (Уходит.)

Наташа. А ты устала, милая, бедная моя девочка! (Целует Ирину.) Ложилась бы спать пораньше.

Ирина. Бобик спит?

Наташа. Спит. Но беспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да все то тебя нет, то мне некогда... Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись пока к Оле!

Ирина (не понимая). Куда?

Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками.

Наташа. Ты с Олей будешь в одной комнате, пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка, сегодня я говорю ему: «Бобик, ты мой! Мой!» А он на меня смотрит своими глазеночками.

Звонок.

Должно быть, Ольга. Как она поздно!

Горничная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо.

Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. (Смеется.) Какие странные эти мужчины...

Звонок.

Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться... (Горничной.) Скажи, сейчас.

Звонок.

Звонят... там Ольга, должно быть. (Уходит.)

Горничная убегает; Ирина сидит задумавшись; входят Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин.

Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер.

Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженных...

Ирина. Все ушли.

Кулыгин. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем Протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет?

Ирина. Не задавайте вопросов... Я устала.

Кулыгин. Ну, капризница...

Ольга. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит, голова... *(Садится.)* Андрей проиграл вчера в карты двести рублей... Весь город говорит об этом...

Кулыгин. Да, и я устал на совете. *(Садится.)*

Вершинин. Жена моя сейчас вздумала поугубить меня, едва не отравилась. Все обошлось, и я рад, отдыхаю теперь... Стало быть, надо уходить? Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедemте со мной куда-нибудь! Я дома не могу оставаться, совсем не могу... Поедемте!

Кулыгин. Устал. Не поеду. *(Встает.)* Устал. Жена домой пошла?

Ирина. Должно быть.

Кулыгин *(целует Ирине руку)*. Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего! *(Идет.)* Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе и — o, fallacem hominum spem!..! Винительный падеж при восклицании...

Вершинин. Значит, один поеду. *(Уходит с Кулыгиным, посвистывая.)*

Ольга. Голова болит, голова... Андрей проиграл... весь город говорит... Пойду лягу. *(Идет.)* Завтра я свободна... О, боже мой, как это приятно! Завтра свободна, послезавтра свободна... Голова болит, голова... *(Уходит.)*

Ирина *(одна)*. Все ушли. Никого нет.

На улице гармоника, нянька поет песню.

Наташа *(в шубе и шапке идет через залу; за ней горничная)*. Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко. *(Уходит.)*

Ирина *(оставшись одна, тоскует)*. В Москву! В Москву! В Москву!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит М а ш а , одетая, как обыкновенно, в черное платье.

Входят Ольга и Анфиса.

Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей... А говорю — «пожалуйста наверх, нешто, говорю, можно так», — плачут. «Папаша, говорят, не знаем где. Не дай бог, говорят, сгорел». Выдумали! И на дворе какие-то... тоже раздетые.

Ольга (*вынимает из шкапа платье*). Вот это серенькое возьми... И вот это... Кофточку тоже... И эту юбку бери, нянечка... Что же это такое, боже мой! Кирсановский переулочок сгорел весь, очевидно... Это возьми... Это возьми... (*Кидает ей на руки платье*.) Вершинины бедные напугались... Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют... домой их нельзя пускать... У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось...

Анфиса. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу...

Ольга (*звонит*). Не дозвонишься... (*В дверь*.) Подите сюда, кто там есть!

В открытую дверь видно окно, красное от зарева; слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда.

Какой это ужас. И как надоело!

Входит Ферапонт.

Вот возьми снеси вниз... Там под лестницей стоят барышни Колотилины... отдай им. И это отдай...

Ферапонт. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты боже мой! Французы удивлялись.

Ольга. Иди, ступай...

Ферапонт. Слушаю. (*Уходит*.)

Ольга. Нянечка, милая, всё отдавай. Ничего нам не надо, всё отдавай, нянечка... Я устала, едва на ногах стою... Вершининых нельзя отпускать домой... Девочки лягут в гостиной, Александра Игнатъича вниз к барону... Федотика тоже к барону, или пусть у нас в зале... Доктор, как нарочно, пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной.

Анфиса (*утомленно*). Олюшка милая, не гони ты меня! Не гони!

Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит.

Анфиса (*кладет ей голову на грудь*). Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю... Слаба стану, все скажут: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год...

Ольга. Ты посиди, нянечка... Устала ты, бедная... (*Усаживает ее*.) Отдохни, моя хорошая. Побледнела как!

Наташа входит.

Наташа. Там говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети.

Ольга (*не слушая ее*). В этой комнате не видно пожара, тут покойно...

Наташа. Да... Я, должно быть, растрепанная. (*Перед зеркалом*.) Говорят, я пополнела... и не правда! Ничуть! А Маша спит, утомилась, бедная... (*Анфисе холодно*.) При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

Ольга (*оторопев*). Извини, я тоже не понимаю...

Натasha. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить... Что за баловство! Я люблю в доме порядок! Лишних не должно быть в доме. (*Гладит ее по щеке.*) Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться.

Ольга. Не буду я начальницей.

Натasha. Тебя выберут, Олечка. Это решено.

Ольга. Я откажусь. Не могу... Это мне не по силам... (*Пьет воду.*) Ты сейчас так грубо обошлась с няней... Прости, я не в состоянии переносить... даже в глазах потемнело...

Натasha (*взволнованно*). Прости, Оля, прости... Я не хотела тебя огорчать.

Маша встает, берет подушку и уходит, сердитая.

Ольга. Пойми, милая... мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю... я просто падаю духом!

Натasha. Прости, прости... (*Целует ее.*)

Ольга. Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня...

Натasha. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне.

Ольга. Она уже тридцать лет у нас.

Натasha. Но ведь теперь она не может работать! Или я тебя не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду, она только спит или сидит.

Ольга. И пускай сидит.

Натasha (*удивленно*). Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. (*Сквозь слезы.*) Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка... для чего же нам еще эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

Ольга. В эту ночь я постарела на десять лет.

Натasha. Нам нужно уговориться, Оля. Раз навсегда... Ты в гимназии, я — дома, у тебя ученье, у меня — хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-рю... И чтоб завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрычовки... (*стучит ногами*) этой ведьмы!.. Не смей меня раздражать! Не смей! (*Спохватившись.*) Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.

Входит Кулыгин.

Кулыгин. Где Маша? Нам пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. (*Потягивается.*) Сгорел только один квартал, а ведь был ветер, вначале

казалось, горит весь город. *(Садится.)* Утомился. Олечка моя милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе б женился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился. *(Прислушивается.)*

Ольга. Что?

Кулыгин. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! *(Встает.)* Вот он идет сюда, кажется... Слышите? Да, сюда... *(Смеется.)* Экий какой, право... Я спрячусь. *(Идет в угол к шкапу.)* Этакий разбойник.

Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился... *(Идет с Наташей в глубину комнаты.)*

Чебутыкин входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки.

Чебутыкин *(угрюмо)*. Черт бы всех побрал... подрал... Думают, я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину — умерла, и я виноват, что она умерла. Да... Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего... В голове пусто, на душе холодно. Может быть, я и не человек, а только делаю вид, что у меня руки и ноги... и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. *(Плачет.)* О, если бы не существовать! *(Перестает плакать, угрюмо.)* Черт знает... Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко... пошел, запил...

Ирина, Вершинин и Тузенбах входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдет.

Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! *(Потирает от удовольствия руки.)* Золотой народ! Ах, что за молодцы!

Кулыгин *(подходя к ним)*. Который час, господа?

Тузенбах. Уже четвертый час. Светает.

Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот Соленый сидит... *(Чебутыкину.)* Вы бы, доктор, шли спать.

Чебутыкин. Ничего-с... Благодарю-с. *(Причесывает бороду.)*

Кулыгин *(смеется)*. Назюзюкался, Иван Романыч! *(Хлопает по плечу.)* Молодец! In vino veritas!, говорили древние.

Тузенбах. Меня всё просят устроить концерт в пользу погорельцев.

Ирина. Ну, кто там...

Тузенбах. Можно бы устроить, если захотеть. Марья Сергеевна, например, играет на рояле чудесно.

Кулыгин. Чудесно играет!

Ирина. Она уже забыла. Три года не играла... или четыре.

Тузенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, Марья Сергеевна играет великолепно, почти талантливо.

Кулыгин. Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.

Тузенбах. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимает!

Кулыгин *(вздыхает)*. Да... Но прилично ли ей участвовать в концерте?

Пауза.

Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший, но у него такие взгляды... Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним.

Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их.

Вершинин. На пожаре я загрязнился весь, ни на что не похож.

Пауза.

Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в Царство Польское, другие — будто в Читу.

Тузенбах. Я тоже слышал. Что ж? Город тогда совсем опустеет.

Ирина. И мы уедем!

Чебутыкин *(роняет часы, которые разбиваются)*. Вдребезги!

Пауза; все огорчены и сконфужены.

Кулыгин *(подбирает осколки)*. Разбить такую дорогую вещь — ах, Иван Романыч, Иван Романыч! Ноль с минусом вам за поведение!

Ирина. Это часы покойной мамы.

Чебутыкин. Может быть... Мамы так мамы. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю, никто ничего не знает. *(У двери.)* Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите... Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым... *(Поет.)* Не угодно ль этот финик вам принять... *(Уходит.)*

Вершинин. Да... *(Смеется.)* Как все это в сущности странно!

Пауза.

Когда начался пожар, я побежал скорей домой; подхожу, смотрю — дом наш цел и невредим и вне опасности, но мои две девочки стоят у порога в одном белье, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки, и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба, не знаю что; сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение

долгой жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им придется пережить еще на этом свете!

Набат; пауза.

Прихожу сюда, а мать здесь, кричит, сердится.

М а ш а входит с подушкой и садится на диван.

И когда мои девочки стояли у порога в одном белье, босые, и улица была красной от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее происходило много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал... Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было! А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести-триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой, все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь! *(Смеется.)* Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мне ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроение.

Пауза.

Точно спят все. Так я говорю: какая это будет жизнь! Вы можете себе только представить... Вот таких, как вы, в городе теперь только три, в следующих поколениях — больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете, народятся люди, которые будут лучше вас... *(Смеется.)* Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски... *(Поет.)* Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны... *(Смеется.)*

М а ш а . Трам-там-там...

В е р ш и н и н . Трам-там...

М а ш а . Тра-ра-ра?

В е р ш и н и н . Тра-та-та. *(Смеется.)*

Входит Ф е д о т и к .

Ф е д о т и к *(танцует)*. Погорел, погорел! Весь дочиста!

Смех.

И р и н а . Что ж за шутки. Все сгорело?

Ф е д о т и к *(смеется)*. Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма... И хотел подарить вам записную книжечку — тоже сгорела.

Входит С о л е н ы й .

И р и н а . Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильич. Сюда нельзя.

С о л е н ы й . Почему же это барону можно, а мне нельзя?

Вершинин. Надо уходить, в самом деле. Как пожар?

Соленый. Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя? *(Вынимает флакон с духами и прыскается.)*

Вершинин. Трам-там-там.

Маша. Трам-там.

Вершинин *(смеется, Соленому)*. Пойдемте в залу.

Соленый. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздражить... *(Глядя на Тузенбаха.)* Цып, цып, цып...

Уходит с Вершининым и Федотиком.

Ирина. Как накурил этот Соленый... *(В недоумении.)* Барон спит! Барон! Барон!

Тузенбах *(очнувшись)*. Устал я, однако... Кирпичный завод... Это я не брежу, а в самом деле, скоро поеду на кирпичный завод, начну работать... Уже был разговор. *(Ирине нежно.)* Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная... Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет... Вы печальны, вы недовольны жизнью... О, поедemте со мной, поедemте работать вместе!

Маша. Николай Львович, уходите отсюда.

Тузенбах *(смеясь)*. Вы здесь? Я не вижу. *(Целует Ирине руку.)* Прощайте, я пойду... Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радостях труда... И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? *(Целует руку.)* У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает... начинается утро... Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою!

Маша. Николай Львович, уходите! Ну, что право...

Тузенбах. Ухожу... *(Уходит.)*

Маша *(ложится)*. Ты спишь, Федор?

Кулыгин. А?

Маша. Шел бы домой.

Кулыгин. Милая моя Маша, дорогая моя Маша...

Ирина. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя.

Кулыгин. Сейчас уйду... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, мою единственную...

Маша *(сердито)*. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant.¹

Кулыгин *(смеется)*. Нет, право, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, венчались только вчера. Честное слово. Нет, право, ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен!

Маша. Надоело, надоело, надоело... *(Встает и говорит сидя.)* И вот не выходит у меня из головы... Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея... Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена, а ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым! Он должен это знать, если он порядочный человек.

Кулыгин. Охота тебе, Маша! На что тебе? Андрюша кругом должен, ну, и бог с ним.

Маша. Это во всяком случае возмутительно. *(Ложится.)*

Кулыгин. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю... Я честный человек. Простой... Omnia mea mecum porto², как говорится.

Маша. Мне ничего ненужно, но меня возмущает несправедливость.

Пауза.

Ступай, Федор.

Кулыгин *(целует ее)*. Ты устала, отдохни с полчасика, а я там посижу, подожду. Спи... *(Идет.)* Я доволен, я доволен, я доволен. *(Уходит.)*

Ирина. В самом деле, как измелечал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины! Когда-то готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал, наконец, в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель... Весь город говорит, смеется, и только он один ничего не знает и не видит... И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания. Только на скрипке играет. *(Нервно.)* О, ужасно, ужасно, ужасно! *(Плачет.)* Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не могу!..

Ольга входит, убирает около своего столика.

(Громко рыдает.) Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..

Ольга *(испугавшись)*. Что ты, что ты? Милая!

Ирина *(рыдая)*. Куда? Куда все ушло? Где оно? О, боже мой, боже мой! Я все забыла, забыла... у меня перепуталось в голове... Я не помню, как поитальянски окно или вот потолок... Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву... Я вижу, что не уедем...

Ольга. Милая, милая...

Ирина *(сдерживаясь)*. О, я несчастная... Не могу я работать, не стану работать. Довольно, довольно! Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу, презираю все, что только мне дают делать... Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и мозг высох, похудела, подурнела, постарела, и ничего, ничего, никакого удовлетворения, а время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии, я в отчаянии! И как я жива, как не убила себя до сих пор, не понимаю...

Ольга. Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю.

Ирина. Я не плачу, не плачу... Довольно... Ну, вот я уже не плачу. Довольно... Довольно!

Ольга. Милая, говорю тебе как сестра, как друг, если хочешь моего совета, выходи за барона!

Ирина тихо плачет.

Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь... Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый... Ведь замуж выходят не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю, и я бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла...

Ирина. Я все ждала, переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий, я мечтала о нем, любила... Но оказалось, все вздор, все вздор...

Ольга (*обнимает сестру*). Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю; когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала... Он спрашивает: «что вы плачете?» Как я ему скажу! Но если бы бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое.

Натasha со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча.

Маша (*садится*). Она ходит так, как будто она подожгла.

Ольга. Ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста.

Пауза.

Маша. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и уж больше никому, никогда... Скажу сию минуту. (*Тихо.*) Это моя тайна, но вы всё должны знать... Не могу молчать...

Пауза.

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... Вы его только что видели... Ну, да что там. Одним словом, люблю Вершинина...

Ольга (*идет к себе за ширму*). Оставь это. Я все равно не слышу.

Маша. Что же делать! (*Берется за голову.*) Он казался мне сначала странным, потом я жалела его... потом полюбила... полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками...

Ольга (*за ширмой*). Я не слышу, все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу.

Маша. Э, чудная ты, Оля. Люблю — такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая... И он меня любит... Это все страшно. Да? Не хорошо это? (*Тянет Ирину за руку, привлекает к себе.*) О моя милая... Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет... Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя... Милые мои, сестры мои... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...

Входит Андрей, за ним Ферапонт.

Андрей (*сердито*). Что тебе нужно? Я не понимаю.

Ферапонт (*в дверях, нетерпеливо*). Я, Андрей Сергеич, уж говорил раз десять.

Андрей. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеич, а ваше высокоблагородие!

Ферапонт. Пожарные, ваше высокородие, просят, дозвоьте на реку садом проехать. А то кругом ездют, ездют — чистое наказание.

Андрей. Хорошо. Скажи, хорошо.

Ферапонт уходит.

Надоели. Где Ольга?

Ольга показывается из-за ширмы.

Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкапа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик.

Ольга подает ему молча ключ. Ирина идет к себе за ширму; пауза.

А какой громадный пожар! Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему глупость... Ваше высокоблагородие...

Пауза.

Что же ты молчишь, Оля?

Пауза.

Пора уже оставить эти глупости и не дуться так, здорово-живешь... Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, ну вот прекрасно — объяснимся начистоту, раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что?

Ольга. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. (*Волнуясь.*) Какая мучительная ночь!

Андрей (*он очень смущен*). Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю: что вы имеете против меня? Говорите прямо.

Голос Вершинина: «Трам-там-там!»

Маша (*встает, громко*). Тра-та-та! (*Ольге.*) Прощай, Оля, господь с тобой. (*Идет за ширму, целует Ирину.*) Спи покойно... Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены... завтра объяснишься... (*Уходит.*)

Ольга. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра... (*Идет к себе за ширму.*) Спать пора.

Андрей. Только скажу и уйду. Сейчас... Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены, и это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Если желаете знать, Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный — вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю и требую, чтобы ее уважали также и другие. Повторяю, она честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы...

Пауза.

Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве, я член земской управы и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать...

Пауза.

В-третьих... Я еще имею сказать... Я заложил дом, не испросив у вас позволения... В этом я виноват, да, и прошу меня извинить. Меня побудили к тому долги... тридцать пять тысяч... Я уже не играю в карты, давно бросил, но главное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что вы девушки, вы получаете пенсию, я же не имел... заработка, так сказать...

Пауза.

Кулыгин *(в дверь)*. Маши здесь нет? *(Встревоженно.)* Где же она? Это странно... *(Уходит.)*

А н д р е й . Не слушают. Наташа превосходный, честный человек. *(Ходит по сцене молча, потом останавливается.)* Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы... все счастливы... Но боже мой... *(Плачет.)* Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте... *(Уходит.)*

Кулыгин *(в дверь встревоженно)*. Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело. *(Уходит.)*

Набат, сцена пустая.

И р и н а *(за ширмами)*. Оля! Кто это стучит в пол?

О л ь г а . Это доктор Иван Романыч. Он пьян.

И р и н а . Какая беспокойная ночь!

Пауза.

Оля! *(Выглядывает из-за ширм.)* Слышала? Бригаду берут от нас, переводят куда-то далеко.

О л ь г а . Это слухи только.

И р и н а . Останемся мы тогда одни... Оля!

О л ь г а . Ну?

И р и н а . Милая, дорогая, я уважаю, я ценю барона, он прекрасный человек, я выйду за него, согласна, только поедem в Москву! Умоляю тебя, поедem! Лучше Москвы нет ничего на свете! Поедem, Оля! Поедem!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки — лес. Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили шампанское. Двенадцать часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие; быстро проходят человек пять солдат.

Чебутикин в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта, сидит в кресле, в саду, ждет, когда его позовут; он в фуражке и с палкой. Ирина, Кулыгин с орденом на шее, без усов, и Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотика и Родэ, которые сходят вниз; оба офицера в походной форме.

Тузенбах (*целуется с Федотиком*). Вы хороший, мы жили так дружно. (*Целуется с Родэ*.) Еще раз... Прощайте, дорогой мой!

Ирина. До свиданья!

Федотик. Не до свиданья, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся!

Кулыгин. Кто знает! (*Вытирает глаза, улыбается*.) Вот и я заплакал.

Ирина. Когда-нибудь встретимся.

Федотик. Лет через десять-пятнадцать? Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся... (*Снимает фотографию*.) Стойте... Еще в последний раз.

Родэ (*обнимает Тузенбаха*). Не увидимся больше... (*Целует руку Ирине*.) Спасибо за все, за все!

Федотик (*с досадой*). Да постой!

Тузенбах. Даст бог, увидимся. Пишите же нам. Непременно пишите.

Родэ (*окидывает взглядом сад*). Прощайте, деревья! (*Кричит*.) Гоп-гоп!

Пауза.

Прощай, эхо!

Кулыгин. Чего доброго женитесь там, в Польше... Жена полька обнимет и скажет: «кохане!» (*Смеется*.)

Федотик (*взглянув на часы*). Осталось меньше часа. Из нашей батареи только Соленый пойдет на барже, мы же со строевой частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионно, завтра опять три — и в городе наступит тишина и спокойствие.

Тузенбах. И скучища страшная.

Родэ. А Мария Сергеевна где?

Кулыгин. Маша в саду.

Федотик. С ней проститься.

Родэ. Прощайте, надо уходить, а то я заплачу... (*Обнимает быстро Тузенбаха и Кулыгина, целует руку Ирине*.) Прекрасно мы здесь пожили...

Федотик (*Кулыгину*). Это вам на память... книжка с карандашиком... Мы здесь пойдем к реке...

Отходят, оба оглядываются.

Родэ (*кричит*). Гоп-гоп!

Кулыгин *(кричит)*. Прощайте!

В глубине сцены Федотик и Родэ встречаются с Машей и прощаются с ней; она уходит с ними.

Ирина. Ушли... *(Садится на нижнюю ступень террасы.)*

Чебутыкин. А со мной забыли проститься.

Ирина. Вы же чего?

Чебутыкин. Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, уйду завтра. Да... Еще один денек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии только один годочек остался... *(Кладет в карман газету, вынимает другую.)* Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благо... благоугодным, приличеньким...

Ирина. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь.

Чебутыкин. Да. Чувствую. *(Тихо напевает.)* Тарара... бумбия... сижу на тумбе я...

Кулыгин. Неисправим Иван Романыч! Неисправим!

Чебутыкин. Да вот к вам бы на выучку. Тогда бы исправился.

Ирина. Федор сбрил себе усы. Видеть не могу!

Кулыгин. А что?

Чебутыкин. Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу.

Кулыгин. Что ж! Так принято, это *modus vivendi*. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, а я одинаково доволен... *(Садится.)*

В глубине сцены Андрей провозит в колясочке спящего ребенка.

Ирина. Иван Романыч, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре, скажите, что произошло там?

Чебутыкин. Что произошло? Ничего. Пустяки. *(Читает газету.)* Все равно!

Кулыгин. Так рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра...

Тузенбах. Перестаньте! Ну, что право... *(Машет рукой и уходит в дом.)*

Кулыгин. Около театра... Соленый стал придирается к барону, а тот не стерпел, сказал что-то обидное...

Чебутыкин. Не знаю. Чепуха все.

Кулыгин. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении «чепуха», а ученик прочел «реникса» — думал, по-латыни написано. *(Смеется.)* Смешно удивительно. Говорят, Соленый влюблен в Ирину и будто возненавидел барона... Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер. Я ее люблю, Машу.

В глубине сада за сценой: «Ау! Гоп-гоп!»

Ирина (*вздрагивает*). Меня как-то все пугает сегодня.

Пауза.

У меня уже все готово, я после обеда отправляю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный завод, и послезавтра я уже в школе, начинается новая жизнь. Как-то мне поможет бог! Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благодати...

Пауза.

Сейчас приедет подвода за вещами...

Кулыгин. Так-то оно так, только как-то все это не серьезно. Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, от души тебе желаю.

Чебутыкин (*в умилении*). Славная моя, хорошая... Золотая моя... Далеко вы ушли, не догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с богом!

Пауза.

Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.

Кулыгин. Будет вам! (*Вздыхает*.) Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная... Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять ut consecutivum. Теперь он ужасно бедствует, болен, и я, когда встречаюсь, то говорю ему: «Здравствуй, ut consecutivum» — Да, говорит, именно consecutivum... а сам кашляет. А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив, вот имею даже Станислава второй степени и сам теперь преподаю другим это ut consecutivum. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом...

В доме играют на рояле «Молитву девы».

Ирина. А завтра вечером я уже не буду слышать этой «Молитвы девы», не буду встречаться с Протопоповым...

Пауза.

А Протопопов сидит там в гостиной; и сегодня пришел...

Кулыгин. Начальница еще не приехала?

В глубине сцены тихо проходит Маша, прогуливаясь.

Ирина. Нет. За ней послали. Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной, без Оли... Она живет в гимназии; она начальница, целый день занята делом, а я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу... Я так и решила: если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Ничего не поделаешь... Всё в божьей воле, это

правда. Николай Львович сделал мне предложение... Что ж? Подумала и решила. Он хороший человек, удивительно даже, такой хороший... И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать... Только вот вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной...

Чебутыкин. Реникса. Чепуха.

Наташа *(в окно)*. Начальница!

Кулыгин. Приехала начальница. Пойдем.

Уходит с Ириной в дом.

Чебутыкин *(читает газету и тихо напевает)*. Тара-ра... бумбия... сижу на тумбе я...

Маша подходит; в глубине Андрей провозит колясочку.

Маша. Сидит себе здесь, посиживает...

Чебутыкин. А что?

Маша *(садится)*. Ничего...

Пауза.

Вы любили мою мать?

Чебутыкин. Очень.

Маша. А она вас?

Чебутыкин *(после паузы)*. Этого я уже не помню.

Маша. Мой здесь? Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городского: мой. Мой здесь?

Чебутыкин. Нет еще.

Маша. Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей. *(Указывает себе на грудь.)* Вот тут у меня кипит... *(Глядя на брата Андрея, который провозит колясочку.)* Вот Андрей наш, братец... Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей...

Андрей. И когда, наконец, в доме успокоятся. Такой шум.

Чебутыкин. Скоро. *(Смотрит на часы, потом заводит их; часы бьют.)* У меня часы старинные, с боем... Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час.

Пауза.

А я завтра.

Андрей. Навсегда?

Чебутыкин. Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает... все равно...

Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке.

А н д р е й . Опустеет город. Точно его колпаком накроют.

Пауза.

Что-то произошло вчера около театра; все говорят, а я не знаю.

Че б у т ы к и н . Ничего. Глупости. Соленый стал придираться к барону, а тот вспылит и оскорбил его, и вышло так в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. *(Смотрит на часы.)* Пора бы, кажется, уж... В половине первого, в казенной роще, вот в той, что отсюда видать за рекой... Пиф-паф. *(Смеется.)* Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья дуэль.

М а ш а . У кого?

Че б у т ы к и н . У Соленого.

М а ш а . А у барона?

Че б у т ы к и н . Что у барона?

Пауза.

М а ш а . В голове у меня перепуталось... Все-таки, я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить.

Че б у т ы к и н . Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше — не все ли равно? Пускай! Все равно!

За садом крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Подождешь. Это Скворцов кричит, секундانت. В лодке сидит.

Пауза.

А н д р е й . По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно.

Че б у т ы к и н . Это только кажется... Ничего нет на свете, нас нет, мы не существуем, а только кажется, что существуем... И не все ли равно!

М а ш а . Так вот целый день говорят, говорят... *(Идет.)* Живешь в таком климате, того гляди снег пойдет, а тут еще эти разговоры... *(Останавливаясь.)* Я не пойду в дом, я не могу туда ходить... Когда придет Вершинин, скажете мне... *(Идет по аллее.)* А уже летят перелетные птицы... *(Глядит вверх.)* Лебеди, или гуси... Милые мои, счастливые мои... *(Уходит.)*

А н д р е й . Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет, и останусь в доме я один.

Че б у т ы к и н . А жена?

Ф е р а п о н т входит с бумагами.

А н д р е й . Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакое шаршавого животного. Во всяком случае, она не человек. Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу,

это так, но иногда она мне кажется удивительно пошлой, и тогда я теряюсь, не понимаю, за что, отчего я так люблю ее, или, по крайней мере, любил...

Чебутыкин *(встает)*. Я, брат, завтра уезжаю, может, никогда не увидимся, так вот тебе мой совет. Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше.

Соленый проходит в глубине сцены с двумя офицерами; увидев Чебутыкина, он поворачивает к нему; офицеры идут дальше.

Соленый. Доктор, пора! Уже половина первого. *(Здоровается с Андреем.)*

Чебутыкин. Сейчас. Надоели вы мне все. *(Андрею.)* Если кто спросит меня, Андрюша, то скажешь, я сейчас... *(Вздыхает.)* Охо-хо-хо!

Соленый. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. *(Идет с ним.)* Что вы кричите, старик?

Чебутыкин. Ну!

Соленый. Как здоровье?

Чебутыкин *(сердито)*. Как масло коровье.

Соленый. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа. *(Вынимает духи и брызгает на руки.)* Вот вылил сегодня целый флакон, а они всё пахнут. Они у меня пахнут трупом.

Пауза.

Так-с... Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой...

Чебутыкин. Да. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. *(Уходит с Соленым.)*

Слышны крики: «Гоп! Ау!» Андрей и Ферапонт входят.

Ферапонт. Бумаги подписать...

Андрей *(нервно)*. Отстань от меня! Отстань! Умоляю! *(Уходит с колясочкой.)*

Ферапонт. На то ведь и бумаги, чтоб их подписывать. *(Уходит в глубину сцены.)*

Входят Ирина и Тузенбах в соломенной шляпе, Кулыгин проходит через сцену, крича: «Ау, Маша, ау!»

Тузенбах. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные.

Ирина. Это понятно.

Пауза.

Наш город опустеет теперь.

Тузенбах. Милая, я сейчас приду.

Ирина. Куда ты?

Тузенбах. Мне нужно в город, затем... проводить товарищей.

Ирина. Неправда... Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня?

Пауза.

Что вчера произошло около театра?

Туз е н б а х *(нетерпеливое движение)*. Через час я вернусь и опять буду с тобой. *(Целует ей руки.)* Ненаглядная моя... *(Всматривается ей в лицо.)* Уже пять лет прошло, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза! Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут. Ты будешь счастлива. Только вот одно, только одно: ты меня не любишь!

И р и н а . Это не в моей власти! Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но любви нет, что же делать! *(Плачет.)* Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян.

Пауза.

У тебя беспокойный взгляд.

Туз е н б а х . Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь.

Пауза.

Скажи мне что-нибудь...

И р и н а . Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат... *(Кладет голову ему на грудь.)*

Туз е н б а х . Скажи мне что-нибудь.

И р и н а . Что? Что сказать? Что?

Туз е н б а х . Что-нибудь.

И р и н а . Полно! Полно!

Пауза.

Туз е н б а х . Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!

Крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая... *(Целует руки.)* Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе, под календарем.

И р и н а . И я с тобой пойду.

Тузенбах *(тревожно)*. Нет, нет! *(Быстро идет, наallee останавливается.)* Ирина!

Ирина. Что?

Тузенбах *(не зная, что сказать)*. Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили... *(Быстро уходит.)*

Ирина стоит задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Входит Андрей с колясочкой, показывается Феррапонт.

Феррапонт. Андрей Сергеич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал.

Андрей. О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают... рождаются другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери... *(Феррапонту сердито.)* Что тебе?

Феррапонт. Чего? Бумаги подписать.

Андрей. Надоел ты мне.

Феррапонт *(подавая бумаги)*. Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал... Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов.

Андрей. Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо! Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу свободу, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства...

Феррапонт. Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в Москве — не упомяну.

Андрей *(охваченный нежным чувством)*. Милые мои сестры, чудные мои сестры! *(Сквозь слезы.)* Маша, сестра моя...

Наташа *(в окне)*. Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours.¹ *(Рассердившись.)* Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Феррапонт, возьми у барина колясочку!

Феррапонт. Слушаю. *(Берет колясочку.)*

Андрей *(сконфуженно)*. Я говорю тихо.

Наташа *(за окном, лаская своего мальчика)*. Бобик! Шалун Бобик! Дурной Бобик!

Андрей *(оглядывая бумаги)*. Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу...*(Уходит в дом, читая бумаги; Ферпонт везет колясочку.)*

Наташа *(за окном)*. Бобик, как зовут твою маму? Милый, милый! А это кто? Это тетя Оля. Скажи тете: здравствуй, Оля!

Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе; из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса и с минуту слушают молча; подходит Ирина.

Ольга. Наш сад, как проходной двор, через него и ходят, и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь!..

Анфиса *(подаёт музыкантам)*. Уходите с богом, сердечные. *(Музыканты кланяются и уходят.)* Горький народ. От сытости не заиграешь. *(Ирине.)* Здравствуй, Ариша! *(Целует ее.)* И-и, деточка, вот живу! Вот живу! В гимназии на казенной квартире, золотая, вместе с Олюшкой — определил господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так не жила... Квартира большая, казенная, и мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное. Проснусь ночью и — о господи, мать божия, счастливей меня человека нету!

Вершинин *(взглянув на часы)*. Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора.

Пауза.

Я желаю вам всего, всего... Где Мария Сергеевна?

Ирина. Она где-то в саду. Я пойду поищу ее.

Вершинин. Будьте добры. Я тороплюсь.

Анфиса. Пойду и я поищу. *(Кричит.)* Машенька, ау!

Уходит вместе с Ириной в глубину сада.

А-у, а-у!

Вершинин. Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. *(Смотрит на часы.)* Город давал нам что-то вроде завтрака, пили шампанское, городской голова говорил речь, я ел и слушал, а душой был здесь, у вас... *(Оглядывает сад.)* Привык я к вам.

Ольга. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Вершинин. Должно быть, нет.

Пауза.

Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два; пожалуйста, если что случится или что понадобится...

Ольга. Да, да, конечно. Будьте покойны.

Пауза.

В городе завтра не будет уже ни одного военного, все станет воспоминанием, и, конечно, для нас начнется новая жизнь...

Пауза.

Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не быть...

Вершинин. Ну... Спасибо вам за все. Простите мне, если что не так... Много, очень уж много я говорил — и за это простите, не поминайте лихом.

Ольга *(утирает глаза)*. Что ж это Маша не идет...

Вершинин. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?.. *(Смеется.)* Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, не далеко время, когда она станет совсем ясной. *(Смотрит на часы.)* Пора мне, пора! Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегам, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и конечно найдет. Ах, только бы поскорее!

Пауза.

Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. *(Смотрит на часы.)* Мне, однако, пора...

Ольга. Вот она идет.

Маша входит.

Вершинин. Я пришел проститься...

Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию.

Маша *(смотрит ему в лицо)*. Прощай...

Продолжительный поцелуй.

Ольга. Будет, будет...

Маша сильно рыдает.

Вершинин. Пиши мне... Не забывай! Пусти меня... пора... Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уже... пора... опоздал... *(Растроганный, целует руки Ольге, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит.)*

Ольга. Будет, Маша! Перестань, милая...

Входит Кулыгин.

Кулыгин *(в смущении)*. Ничего, пусть поплачет, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было... Я не жалею, не делаю тебе ни одного упрека... вот и Оля свидетельница... Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова, ни намека...

Маша *(сдерживая рыдания)*. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... золотая цепь на дубе том... Я с ума схожу... У лукоморья... дуб зеленый...

Ольга. Успокойся, Маша... Успокойся... Дай ей воды.

М а ш а . Я больше не плачу...

К у л ы г и н . Она уже не плачет... она добрая...

Слышен глухой далекий выстрел.

М а ш а . У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю... *(Пьет воду.)* Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли.

И р и н а входит.

О л ь г а . Успокойся, Маша. Ну, вот умница... Пойдем в комнату.

М а ш а *(сердито)*. Не пойду я туда. *(Рыдает, но тотчас же останавливается.)* Я в дом уже не хожу, и не пойду...

И р и н а . Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю...

Пауза.

К у л ы г и н . Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду... *(Надевает усы и бороду.)* Похож на учителя немецкого языка... *(Смеется.)* Не правда ли? Смешные эти мальчишки.

М а ш а . В самом деле похож на вашего немца.

О л ь г а *(смеется)*. Да.

Маша плачет.

И р и н а . Будет, Маша!

К у л ы г и н . Очень похож...

Входит Н а т а ш а .

Н а т а ш а *(горничной)*. Что? С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иваныч, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеич. Столько хлопот с детьми... *(Ирине.)* Ты завтра уезжаешь, Ирина, — такая жалость. Останься еще хоть недельку. *(Увидев Кулыгина, вскрикивает; тот смеется и снимает усы и бороду.)* Ну вас совсем, испугали! *(Ирине.)* Я к тебе привыкла и расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой — пусть там пилит! — а в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок! Что за девчурочка! Сегодня она посмотрела на меня своими глазками и — «мама»!

К у л ы г и н . Прекрасный ребенок, это верно.

Н а т а ш а . Значит, завтра я уже одна тут. *(Вздыхает.)* Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен. По вечерам он такой страшный, некрасивый... *(Ирине.)* Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю посадить цветочков, цветочков, и будет запах... *(Строго.)* Зачем здесь на скамье валяется вилка? *(Проходя в дом, горничной.)* Зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? *(Кричит.)* Молчать!

Кулыгин. Разошлась!

За сценой музыка играет марш; все слушают.

Ольга. Уходят.

Входит Чебутыкин.

Маша. Уходят наши. Ну, что ж... Счастливым им путь! *(Мужу.)* Надо домой... Где моя шляпа и тальма...

Кулыгин. Я в дом отнес... Принесу сейчас. *(Уходит в дом.)*

Ольга. Да, теперь можно по домам. Пора.

Чебутыкин. Ольга Сергеевна!

Ольга. Что?

Пауза.

Что?

Чебутыкин. Ничего... Не знаю, как сказать вам... *(Шепчет ей на ухо.)*

Ольга *(в испуге)*. Не может быть!

Чебутыкин. Да... такая история... Утомился я, замучился, больше не хочу говорить... *(С досадой.)* Впрочем, все равно!

Маша. Что случилось?

Ольга *(обнимает Ирину)*. Ужасный сегодня день... Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая...

Ирина. Что? Говорите скорей: что? Бога ради! *(Плачет.)*

Чебутыкин. Сейчас на дуэли убит барон.

Ирина. Я знала, я знала...

Чебутыкин *(в глубине сцены садится на скамью)*, Утомился... *(Вынимает из кармана газету.)* Пусть поплачут... *(Тихо напевает.)* Та-ра-ра-бумбия... сажу на тумбе я... Не все ли равно!

Три сестры стоят, прижавшись друг к другу.

Маша. О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

Ирина *(кладет голову на грудь Ольге)*. Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать! Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать...

Ольга *(обнимает обеих сестер)*. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь

наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!

Музыка играет все тише и тише; К у л ы г и н , веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму, А н д р е й везет другую колясочку, в которой сидит Бобик.

Че б у т ы к и н (*тихо напевает*). Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... (*Читает газету.*) Все равно! Все равно!

О л ь г а . Если бы знать, если бы знать!

З а н а в е с

Сноски

Сноски к стр. [133](#)

¹ Сделал, что мог; пусть, кто может, сделает лучше. (*лат.*)

² здоровый дух в здоровом теле (*лат.*).

Сноски к стр. [150](#)

¹ Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры. (*франц.*)

² Кажется, мой Бобик уже не спит (*франц.*).

Сноски к стр. [156](#)

¹ О, призрачная надежда людская!.. (*лат.*)

Сноски к стр. [161](#)

¹ Истина в вине (*лат.*).

Сноски к стр. [165](#)

¹ Люблю, любишь, любит, любим, любите, любят. (*лат.*)

² Все мое ношу с собой (*лат.*).

Сноски к стр. [182](#)

¹ Не шумите, Софи уже спит. Вы медведь. (*искаж. франц.*)

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Записная книжка А. П. Чехова с рецептами для больных

*Rp*¹ Kalii hydrojodici² g. II

Jodi puri³ g. I

glycerini g. II

S. Намазать на ночь, вата, фланель.

(Отвлекающее)

Rp Ac.<idi> carbol.<ici>⁴

Spir.<itus> vini⁵

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> jodi⁶ aa 4,0

Ol.<ei> terebinth<inae>⁷ 8,0

glycerini 20,0

S. Через 2 часа помазывать.<ать> и закрывать ватой. (*Erysipelas*)⁸

Rp Boracis⁹ 2,0

N.<atrii> bicarbon.<ici>¹⁰ 12,0

S. Нюхательный порошок.

(*E<c>заема*)

¹ *Rp.* – сокращенное *Recipe* (Возьми). Обычно пишется с точкой, после которой следует двоеточие.

² То же, что и *Kalii jodati* (см. с. 00) – гидройодной соли.

³ чистого йода

⁴ карболовой кислоты

⁵ винного спирта

⁶ настойки йода

⁷ скипидара

⁸ Рожистое воспаление кожи.

⁹ буры

¹⁰ соды

Rp N.<atrii> bicarbonici

S. Прикладывать к миндалинам через каждые 5 минут, 5–6 раз подряд.

(*Tonsillitis*)¹¹

Rp Extr.<acti> Aloes¹² 2,0

Extr.<acti> Rhei comp<ositi>¹³ 3,0

Spir.<itus> sapon.<atus> q.<uantum> s.<atis> ut f.<iant> pil<lulae> № 40.¹⁴

S. Вечером 1, 2, 3 пил<юли> смотря по надобности. При крайних степенях к пилюльной массе прибавлять

Extr.<acti> colocynthidis 0,1–0,3.

У анэмиков прибавляется:

ferrum <Точнее: ferri. – С. К.> pulv.<erati>¹⁵ 1,0

(*Запор*)

Rp Inf.<usi> ipesac.<uanhae>¹⁶ gr. VI – g. VI

Liq.<uoris> amm.<onii> anis<ati>¹⁷ g. 3

Syr.<urus> <Точнее: Sirupus. – С. К.> Senegae g. 3

Ds.¹⁸ Через 2 часа по ст.<оловой> ложке.

(*Expectorans*)¹⁹

Rp T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> Capsici anni <Точнее: annui. – С. К.>²⁰ 15,0

¹¹ Воспаление небных миндалин.

¹² экстракта алоэ (сабура)

¹³ сложного экстракта ревеня

¹⁴ Нужное количество мыльного спирта, чтобы получить пилюли № 40.

¹⁵ Железный порошок.

¹⁶ отвара (настоя) рвотного корня

¹⁷ нашатырно-анисовых капель

¹⁸ Точнее: D. S. – D<etur,> s<ignetur> – Выдать, обозначить.

¹⁹ Отхаркивающее.

²⁰ настойки стручкового перца

Ol.<ei> ricini²¹ 10,0

Spir.<itus> lavand.<ulae>²² 10,0

S. Утром и вечером втирать в части головы, лишенные волос.

Rp T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> nucis vom<icae>²³

Ds. По 10 капель на ночь.

(<Ночной?> nom)

Rp Kalii bromati

Natr.<ii> — aa 2,0

Ammonii — 1,0

Aq.<uae> dest.<illatae>²⁴ 180,0

(Epilepsia)²⁵

Rp Opii pulv.<erati>²⁶ 2,0

Axung.<iae>²⁷ 25,0

Ol.<ei> olivar.<um>²⁸ 12,0

Ds. Ung.<uentum>.²⁹

(Зуд in ano)³⁰

[Rp] N.<atrii> bicarbon<ici> 4,0

— salicyl<ici>³¹ 1,0

Morph.<ini> muriat<ici>³² 0,06

²¹ касторового масла

²² лавандного спирта

²³ настойки рвотного ореха (чилибухи)

²⁴ кипяченой воды

²⁵ Падучая болезнь.

²⁶ порошка опиума

²⁷ жира

²⁸ оливкового масла

²⁹ Мазь.

³⁰ В заднепроходном отверстии.

³¹ салициловонатриевой соли

³² хлористоводородного морфия

Aq.<uae> dest.<illatae> 200,0

Ds. Вдыхать 2 р.<аза> в д.<ень> по 5 минут.

(*Inhalatio*)

Rp Aq.<uae> destil.<illatae> 300,0

Arg.<enti> nitr.<ici>³³ 0,06

Ds. Смазывать ежечасно.

(Зуд in ano)

Rp glycerini 60,0

Ds. Нагревать в фарфоровой чашке на спиртовой лампе. *Inhalatio*.

Можно прибавить Ac.<idum> carbol.<icum>.

(Мучительный кашель)

Rp But.<yri> Cacao³⁴ 50,0

Extr.<acti> Ratanhiae³⁵ 4,0

— belladonae 2,0

M.<isce> f.<iant> suppositoria № 30.³⁶

(Гем.<орроидальные> шишки)

Rp Chlor.<ali> hydrati 4,0

Aq.<uae> dest.<illatae> 180,0

Ds. По 3 ложки в день.

(Одышка)

Rp Liq.<uoris> allum.<inii> acetici³⁷ g. III

Spir.<itus> Ammonii aromat<ici>³⁸ g. I

³³ сплавленной азотносеребряной соли (ляписа). Этот рецепт приводится в пьесе Чехова «Безотцовщина» (С 11, 23). Подробнее см. вступ. статью.

³⁴ масла какао

³⁵ экстракта корня ратании

³⁶ Смешай, чтобы получились свечи № 30.

³⁷ жидкого алюминиевого уксуса

³⁸ спирта с ароматической солью

— vini g. III

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> Chinae³⁹ g. II

Thymoli g. I

Ol.<ei> Menthae⁴⁰ pip<eritae?>⁴¹ gutt X

filtra.< tur>⁴²

(Полоскание <при?> зуб<ной?> боли<?>)⁴³

Rp N.<atrii> bicarbon<ici> 4,0

Aq.<uae> dest<illatae>

— foeniculli <Точнее: foeniculi или feniculi. – С. К.>⁴⁴ aa 90,0

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> nucis vom.<icae> gtt VI–X.

S. Через 1–2 часа по стол.<овой> л.<ожке>.

(Диспепсия⁴⁵)

Pulvis Botkini:⁴⁶

Natr.<ii> bicarbon.<ici> g. IV

Mag.<nesii> sulf.<urici>⁴⁷ g. II

Ac.<idi> tartar.<ici>⁴⁸ g. I

Rp Ol.<ei> petri italici⁴⁹ 100,0

Ol.<ei> olivar.<um> 40,0

Bals.<ami> Peruv.<iani>⁵⁰ 10,0

³⁹ хинной настойки

⁴⁰ масла мяты

⁴¹ перечной

⁴² Отфильтровать.

⁴³ Рецепт этот с некоторыми вариациями дважды воспроизведен также в «<Записной книжке II>» (С 17, 119). Чехов рекомендовал его Ал. П. Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 года (отмечено: С 17, 347; см.: П 5, 209).

⁴⁴ или Aquae Feniculi – укропной воды

⁴⁵ Несварение (желудка).

⁴⁶ Порошок Боткина.

⁴⁷ сернокислой соли магния

⁴⁸ виннокаменной кислоты

⁴⁹ масла итальянского камня (природного каменного масла)

(*Pediculi*)⁵¹

Rp Rad.<icis> Rhei concisi⁵² <В современном оформлении: concisae. – С. К.> g. IV

Fol.<iorum> Sennae⁵³ g. V

Lign.<i> quassiae⁵⁴

Cort.<icis> Condurango⁵⁵ aa g. IV

Baccae <Точнее: baccarum. – С. К.> juniperi⁵⁶ g. 2

Sem.<ini> Carvi⁵⁷ g. I

MDS. На ¼ ведра водки настаивать 5–7 дней, пить по 1 рюмке в д.<ень>.

(*Запор*)

Rp T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> conval.<lariae> <mayalis?> <Точнее: majalis. – С. К.>⁵⁸

Aq.<uae> lauroceras<i>⁵⁹ aa g. II

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae – С. К.> valer.<iana> aether.<eae>⁶⁰

g. V

Ds. По 20 капель на прием.

Rp Ergotini Bonjeani⁶¹ gr XV

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> jodi g. I

⁵⁰ перувианского бальзама

⁵¹ Вши.

⁵² измельченного корня ревеня

⁵³ листьев сенны

⁵⁴ древесных стружек квасии

⁵⁵ коры кондуранго

⁵⁶ Плоды можжевельника.

⁵⁷ тминного семени

⁵⁸ настойки ландыша майского

⁵⁹ лавровишневой воды

⁶⁰ настойки эфирной валерианы

⁶¹ экстракта спорыньи

glycerini g. I

MDS. Мазь для горла.

(Pharyngitis)⁶²

Rp T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> Nucis vom.<icae> g. V

— Colombo⁶³

— Condurango g. II

MDS. По 20 капель 2 раза в день до еды. (Dispersia)

Rp Linim.<enti> camphorati⁶⁴

Ol.<ei> camphorat<i>⁶⁵

— oliv<arum> aa 3,0

Ammon.<i> liquid<i>⁶⁶ 2,0

Rp linim<enti> terebinth.<inae,> ol.<ei> camph.<orati> <заменяется?>
ol<ei> terebinth.<inae>

Rp Sondoraci⁶⁷

Aeth.<eris> sulf.<urici>⁶⁸ aa.⁶⁹

(Пломба для зубов)

Rp Ac.<idi> carbolicis cryst<allisati>⁷⁰

A.<cidi> citrici cryst.<allisati>⁷¹

⁶² Воспаление слизистой оболочки глотки.

⁶³ настойки корня коломбо

⁶⁴ камфорной мази

⁶⁵ камфорного масла

⁶⁶ нашатырного спирта

⁶⁷ древесной смолы

⁶⁸ Серный эфир.

⁶⁹ Ср.: С 17, 119: «1 Сондорак

Эфир – aa».

Этот рецепт раствора для пломбирования зубов Чехов советовал применять Ал. П. Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 года (отмечено: С 17, 347).

⁷⁰ кристаллической карболовой кислоты

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – C. K.> jodi aa 3,0–5,0

Vini de Cognac <Точнее: Spiritus vini Cognac. – C. K.> 100,0

S. Помазывать ватной кисточкой каждые 2–3 часа.

(Diphtheritis)

Rp Diuretini Knoll⁷² 4,0–6,0

Aq.<uae> Menth.<ae> pip<eritae> 100,0

Aq.<uae> dest.<illatae> 90,0

Syr.<upi> <Точнее: Sir.<upi>. – C. K.> simpl.<ecis>⁷³ 10,0

Ds. Через каждые 2–3 часа по 2 стол.<овых> ложки.

Rp A.<cidi> <s> <В рукописи: с. – C. K.> alicyl<ici>⁷⁴

lactici⁷⁵ aa 1,0

Collodii 2,0

Ds. Смазывать утром и вечером.

Rp Ol.<ei> terebinth.<inae> gall.<arum?>

Bersini aa g. I

Aether<is> sulf<urici> g. III

(<Пятка?>)

Rp Icht<h>yoli 6,0

Collodii (гибкий (!) коллодий)⁷⁶ 45,0

Смазывать каждые 3 часа пораженную область и прилегающую здоровую кожу.

⁷¹ кристаллической лимонной кислоты

⁷² Немецкий диуретик (мочегонное средство).

⁷³ простого сиропа

⁷⁴ салициловой кислоты

⁷⁵ молочной кислоты

⁷⁶ Гибкий, или эластичный коллодий – Collom flexible.

(Erysipelas)

Rp N.<atrii> salicyl.<ici> gr. XV

Ds. По 3 порошка в день.

(Psoriasis)⁷⁷

Rp Мед

S. Материя смазывается толстым слоем медом <так! – С. К.>, компресс меняется кажд.<ые> 3–4 часа.

(Erysipelas)

Врач, 1895, № 46.⁷⁸

От укушения пчел: небольшое количество порошка рвотного корня замешать в тесто и намазать пораженное место (Врач, <18>96, № 13).⁷⁹

⁷⁷ Чешуйчатый лишай. Многие другие места этой «Записной книжки», которые не содержат отсылок к еженедельной газете «Врач», тем не менее тоже, по-видимому, восходят именно к ней. Так, например, данный рецепт позаимствован Чеховым из следующего пассажа в журнале: «1066. Д-р *H. Radcliff Crocker* (London), один из самых выдающихся британских дерматологов, убедился, что *салициловый натрий* – драгоценное средство при всех видах чешуйчатого лишая (psoriasis)» (Врач. 1895. № 41. С. 1151).

⁷⁸ Ср.: «1180. Д-р *C. E. Hayward*, по совету одной женщины, решил испробовать *народное средство против рожи – мед*. С тех пор он применяет это средство уже во всех встречающихся ему случаях рожи, где бы она ни развилась. Если рожей поранена голова, то сначала сбрасывают волосы, затем покрывают пораженные части материей, смазанной толстым слоем меда. Для глаз оставляются дыры. Медовый компресс меняют каждые 3–4 часа. Боль при этом всегда прекращается; прекращается также рвота и головная боль; самое течение болезни сокращается. Одновременно с рожей автор давал и внутренние средства против лихорадки. Выздоровление наступало в 3–4 дня (New York Medical Record; Indépendance médicale. 13 ноября) [М. Р.]» (Врач. 1895. № 46. С. 1299).

⁷⁹ Ср. «636. Доктор *Georg Kling* указывает на *средство против ужаления пчел*. Однажды он получил 150 ужалений в руки, голову, лицо и шею. Немедленное облегчение последовало от небольшого количества порошка рвотного корня, замешанного в тесто и намазанного на пораженные места; опухоль и боль тотчас же ослабели («The Medical Press», 11 марта)» (Врач. 1896. № 13. С. 385).

Rp Bals.<ami> <tolutan.><i>

S. Намазать однажды пораженное место.

(Scabies)⁸⁰

Rp Extr.<acti> fluidi condurango g. I

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> nucis vom.<icae> g. II

Ds. По 20–25 капель в полрюмке воды после еды, дважды в день.

(Захарьин)⁸¹

1 яичный белок, 1 чайная ложка коньяку и 1 ст.<оловая ложка>
кипяченой воды, давать детям при поносах.

Sol.<utio> 20% Ac.<idi> boricі⁸²

S. Помазывать 3 раза в день.

(Ver<r>uca)⁸³

Rp Magnesia usta⁸⁴

S. Сделать тесто.

(Ожоги)

Rp Ментол 8,0

Спирт

Глицерин аа 46,0

Гвоздичное масло – неск.<олько> капель

(Комары)

Rp Oxydi Zinci gr. III

Butyr.<i> cacaо

⁸⁰ Чесотка.

⁸¹ По всей видимости, этот рецепт был известен Чехову от одного из его университетских учителей, профессора Г. А. Захарьина.

⁸² борной кислоты

⁸³ Бородавка.

⁸⁴ Жженая магнезия.

Ol.<ei> amygd.<alarum> dulc.<iium>⁸⁵ aa g. II

S. Мазь для носа.⁸⁶

Rp [Rp] Phenacetini 3,0

Coffein.<i> natr.<io->salic.<ylici>⁸⁷ 0,15

Chin.<ini> muriat<ici>⁸⁸ 2,0

Morph.<ini> muriat<ici> 0,05

Saccharini 0,01

M.<isce> f.<iant> pastill.<ae>⁸⁹ № 10.

S. По 1 лепешке на прием.

(Sch[olt]luti^{us} предлагает против
мигрени)⁹⁰

Rp Natr.<ii> salicyl<ici> gr VII

Phenacetini gr IV

Coffeini natr.<io>-salicyl.<ici> gr. II

d.<etur> in <oblat. ?><a>⁹¹

(*Мигрень*)⁹²

Rp glycerini 100,0

S. В кофе или в воде в течение 10 часов.

(*Почечные камни*)

Rp Скипидарное масло.

S. Смазывать.

(*Acne rosacea*)⁹³

⁸⁵ Масло из сладкого миндаля.

⁸⁶ Ср.: С 17, 108.

⁸⁷ натриево-салицилового кофеина

⁸⁸ солянокислого хинина

⁸⁹ Смешай, чтобы получились лепешки

⁹⁰ Ср: С 17, 108.

⁹¹ Дается в облатке.

⁹² Ср.: С 17, 117.

Rp Ung.<uenti> cinereum

— camphorat<i>⁹⁴ lenolino <Точнее: lanolino. – *C. K.*> 10,0

S. Мазь (<растирание?>).

Rp Icht<h>yol<um>

S. (Укушение насекомых)

Rp Natri<i> arsenicosi⁹⁵ 0,25

Sol.<utio> acidi carbol.<ici> 1 % – 25,0.

d.<etur> in vitr.<o> bene clauso⁹⁶

S. Для подкожных впрыскиваний.

Rp Natri<i> sulfurici⁹⁷ 0,1

S. D.<etur> t.<ales> d.<oses>⁹⁸ каждый час

Haemophthysis <Точнее: Haemophytosis.⁹⁹ – *C. K.*>

Rp Ext.<acti> bellad.<onae> 0,12

Aq.<uae> lauroceras<i> 8,0

S. по 12 капель 2 раза в день.¹⁰⁰

Rp 10% Sol.<utio> ac.<idi> citrici¹⁰¹

S. Смазывать зев. Можно и просто лимонным соком. 5 % ac.<idi> citrici по чайной ложке 4–5 р.<аз> в день.¹⁰²

⁹³ Розовые угри (дерматологическое заболевание).

⁹⁴ камфорной мази

⁹⁵ мышьяковокислого натрия

⁹⁶ Выдается в хорошо закрытой бутылочке.

⁹⁷ серного натрия

⁹⁸ Дается в таких дозах.

⁹⁹ Кровохарканье.

¹⁰⁰ Ср.: С 17, 46.

¹⁰¹ Раствор лимонной кислоты.

¹⁰² С некоторыми вариациями этот рецепт воспроизведен в «<Записной книжке I>» (С 17, 52).

Rp Ac.<idum> chromicum¹⁰³ 5 %

S. Помазывать через 2–3 дня кисточкой, давая подсохнуть.

(Ножной пот)¹⁰⁴

Лечение седалищной боли соляной кислотой см. Врач, № 44, 1897.¹⁰⁵

Rp Серно-ихтиоловый аммоний 30,0

Свиного сала 90,0

S. Смазывать все тело 2 раза в сутки.

(Оспа и корь)¹⁰⁶

Rp Ac.<idi> salicyl.<ici> 2,0

Amyli¹⁰⁷

Zinci oxyd.<ati>¹⁰⁸ aa 24,0

Vaselini 50,0

S. Pasta Lasserii.¹⁰⁹

¹⁰³ Хромовая кислота.

¹⁰⁴ Ср.: С 17, 52.

¹⁰⁵ Ср.: «Один больной, долго и тщетно лечившийся от седалищной боли обычными средствами, случайно попал на мысль намазать себе больное место соляной кислотой. Через несколько дней после этого боль совершенно прошла. Проф. *Boulier*, узнав об этом случае, неоднократно испробовал такое лечение и всегда с полным успехом. Сын его, доктор *Maurice Boulier*, применял такое же лечение в отделении д-ра *Saliège*'а; в Больнице Мустафы в Алжире. В диссертации д-ра *Gennatas* (в Montpellier) описано *несколько случаев успешного лечения седалищной боли соляной кислотой*. Правда, еще в 1860 г. *Legraux* советовал лечить седалищную боль, прижигая кожу в болящих местах серной кислотой, но последняя много опаснее соляной, ибо может вызвать обширное омертвление кожи. Прижигая же соляной кислотой, производимое надлежащим образом, не вызывает глубоких изменений кожи, а между тем все-таки действует болеутоляющим образом... [В. Девлезерский]» (Врач. 1897. № 44. С. 1277). См. также: С 17, 53.

¹⁰⁶ Ср.: С 17, 53.

¹⁰⁷ крахмала

¹⁰⁸ окиси цинка

Rp Chlor.<ali> hydr<ati> 2,0

Strontii bromat<i>¹¹⁰ 4,0

Aq.<uae> 200,0¹¹¹

S. Через 2 часа по стол.<овой> л.<ожке>.

Rp Hydr.<argyri> praecip.<itati> сноска 112 <flaviir.¹¹² <por.?)>

0,05

Ol.<ei> amygd.<alarum> dulc.<iium>

Butyr.<i> Cacao aa 3,0

S. Глазная мазь.¹¹³

Rp Ol.<ei> eucalypti¹¹⁴ 0,3–0,6

S. Каждые 4 часа днем и ночью, в капсуле

Лучистый грибок в легких

(Врач, <18>98, № 23)¹¹⁵

¹⁰⁹ Pasta salicylata Lassar – салициловая паста Лассара. См. также этот рецепт в «<Записной книжке III>» (С 17, 130).

¹¹⁰ В «<Записной книжке III>» – Stronti bromat (С 17, 125).

¹¹¹ В «<Записной книжке III>» «Aq. 200,0» прочитано как «<1 нрзб.> р. 200,0» (Там же).

¹¹² желтого амидохлорида ртути

¹¹³ Ср.: Там же.

¹¹⁴ эвкалиптового масла

¹¹⁵ Ср.: «744. Из всех мест тела, в которых может развиваться лучистый грибок, легкие дают наихудшее предсказание: лучисто-грибковое страдание легких обыкновенно оканчивается смертью. Д-р G. Butler (из Brooklyn'a) наблюдал случай лучистого грибка в легких, который первоначально не был распознан и был принят за омертвление легких, так как больной отхаркивал крайне зловонную темно-бурую мокроту и в то же время имел послабляющую лихорадку и обширные поты, подобно тому, как это бывает при гнилокровных состояниях. Против зловонности дыхания и мокроты Butler назначил эвкалиптовое масло в капсулах, сперва по 0,3, а потом по 0,6 грамм каждые 4 часа, и днем, и ночью. Кроме того, больной трижды в сутки вдыхал то же масло. Под влиянием такого лечения кашель уменьшился

Ортоформ при зубных болях
Врач, <18>98, № 37. (1231)¹¹⁶

Rp T<inctu>ra jodi

Ds. По 6 капель 3–4 раза в сутки взрослым, и по 2–4 капли на сахарной воде через 8 часов детям.

Typhus abdomin.<alis>¹¹⁷

Rp T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> jodi gtt 15–18

Syrupi 20,0

Aquae dest.<illatae> 150,0

S. Через 1–2 часа по стол.<овой> ложке.

(Catharrus gastro-intest.<inalis> acutus)¹¹⁸

Rp Resorcini g. I

Ol.<ei> ricini g. II

Spir<itus> vini g. IV

Ol.<ei> rosarum¹¹⁹ gtt II

меньше, чем в неделю, мокрота перестала быть зловонной. В это время, исследуя мокроту, в ней нашли в большом числе лучистый грибок. Больной продолжал употреблять эвкалиптовое масло и совершенно выздоровел (La Semaine medicale, 11 мая)» (Врач. 1898. № 23. С. 683).

¹¹⁶ Ср.: «1231. Д-р Jessen (Deutsche zahnärztliche Wochenschrift, № 10) убедился, что ортоформ – превосходное средство для устранения подчас очень сильных болей, остающихся после извлечения зубов, пораженных перидентитом. Между тем как солянокислый кокаин, хлороформ, горячая вода и др. средства в подобных случаях часто оказываются бессильными, ортоформ, помещаемый в ранку в обильном количестве на смоченном комочке ваты, почти мгновенно прекращает самую жестокую боль. Ортоформ оказался также полезным и при обнаженной воспаленной мякоти зуба и при язвах на языке и на слизистой оболочке рта вообще (Münchener medicinische Wochenschrift, 9 августа [D. J.]» (Врач. 1898. № 37. С. 109).

¹¹⁷ Брюшной тиф.

¹¹⁸ Острый катар желудка-кишечного тракта.

(Для волос)

Тарновский¹²⁰

*Rp Sol.<utio> Natrii bicarbon<ici>*¹²¹ 2 %

Согревающие компрессы при нагноениях. Менять раз в сутки

Врач, № 43, 1898 г.¹²²

Rp Amygdalini 0,10

Cadeini 0,01

Emuls.<ionis> amygdal.<arum> dulc.<iium> 100,0

¹¹⁹ розового масла

¹²⁰ По всей вероятности, проф. В. М. Тарновский, который неоднократно упоминается на страницах журнала «Врач» за те годы, на которые ссылается Чехов.

¹²¹ Раствор соды.

¹²² Ср. статью Д. Б. Иоффе «К вопросу о применении 2%-ного раствора соды при нагноениях»: «В № 6 “Врача” за 1897 г. помещена статья *Н. В. Георгиевского* “Согревающие компрессы из соды при нагноениях”. Предлагаемое мною уважаемым товарищем средство, как мне пришлось убедиться, действительно оказывает поразительное влияние при нагноениях. В деревне большинство населения и до сих пор обращается к врачу только тогда, когда тщетно испробованы уже все домашние средства и лечение у разных шептунов, знахарей и знахарок. Приучить крестьян к правильной врачебной помощи нелегко. Понятно, что при таких условиях большею частью имеешь дело с затяжными, осложненными случаями, в которых необходимость в средстве, дающем сразу видимое улучшение, чувствуется особенно сильно: если данное врачом или фельдшером средство с первого же разу не помогло, то можно почти быть уверенным, что больной больше не явится и опять будет лечиться у различных бабок, пока его не “скрутит” совсем. Таким могущественным средством, дающим возможность довести до конца лечение разных нагноений – ногтед, чирьев, флегмон, бубонов и т. д. – служит предложенная д-ром *Георгиевским* сода. Привожу несколько случаев, подтверждающих сказанное. Согревающий компресс из 2%-ного раствора соды в воде делает лишним выводники, турунды и т. д., сберегает перевязочный материал, так как снятый компресс опять идет в дело, а иногда позволяет обходиться и без широких и глубоких разрезов» (Врач. 1898. № 23. С. 1253). Далее в статье приведены 6 случаев подобного исцеления крестьян.

S. Через 2 часа по стол.<овой> ложке.

Rp Extr.<acti> fluid.<i> gossypii <herbacei?>¹²³
(Haemostaticum)¹²⁴

S. 30–60 капель на прием.

Rp Alumen¹²⁵

кипящий раствор

(От клопов; прибавлять alumen к штукатурке стен домов, конюшен –
<то же?> и от мух)

Свинцовые примочки пополам с борной.

Экзема рук:

1) *Rp* Zinci oxydati

Amyli

Lanolini

Vaselini aa 5,0

потом, когда экзема высохнет:

2) *Rp* Resorcini 2,0

Lanolini 20,0

3) *Rp* Ol.<ei> Fagi¹²⁶ 6,0

Fl.<orum> sulfur<icum>¹²⁷ 8,0

Ung.<uenti> diachylon 60,0

4) *Rp* N.<atrii> arsenicos<i> 0,3

¹²³ экстракта хлопчатника

¹²⁴ Кровоостанавливающее средство.

¹²⁵ Квасцы.

¹²⁶ букового дегтя

¹²⁷ осажденной серы

Sol.<utio> 1 % ac.<idi> carbolicі 30,0

S. Подкожные впрыскивания.

Rp Hydr.<argyri> sublimati corrosivi¹²⁸ 0,3

Aq.<uae> destill.<atae> 20,0

S. Полный шприц.

Всего 25 впрыскиваний; потом через 2 месяца 20 впрыскиваний, через 4 месяца еще 20, через 6 мес<яцев>, потом через год и еще через год. При этом полоскать бутолиновой и борной по чайной ложке на стакан, по 6 стаканов <в> день.

Rp T<inctu>ra gallarum¹²⁹

T<inctu>ra <Точнее: Tincturae. – С. К.> Rataniae aa 10,0

Если в руку <капнуло?>, то смазывать лаписом.

Rp Hydr.<argyri> praes.<ipitati> albi¹³⁰ 0,3

Ac.<idi> carbolicі 0,5

Ung.<uenti> cetacei¹³¹ 30,0

(Ung<uentum> induratum) <Точнее: ad induratum. – С. К.>¹³²

Rp Xerophormii 4,0

S. Присыпать и обмывать борной кислотой. (Ulcus molle¹³³)

При urethritis:

Покой, холодный компресс, свинцовые примочки – 2 дня. Когда <зуд?> ослабеет, начать спринцевать осторожно:

1) Rp Zinci sulfu<rici>¹³⁴

¹²⁸ сулемы

¹²⁹ Настойка чернильных орехов.

¹³⁰ белой осадочной ртути

¹³¹ Спермацетовая мазь.

¹³² При уплотнении

¹³³ Слабый нарыв.

plumbi acetici¹³⁵

aa 0,25

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. Спринцевать 3 раза в день, задерживая <по?> 5 минут, в течение 10 дней, потом:

2) Rp Zinci sulfu<rici>

Plumbi acet<ici> aa 0,5

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. 3 раза в день – 10 дней.

3) Rp Zinci hypermang.<anici?>¹³⁶ 0,05

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. В течение 10 дней

4) Rp Zinci hypermang.<anici?> 0,1

Aq.<uae> destil.<latae> 200,0

S. 10 дней

5) Rp Zinci hypermang.<anici?> 0, 15

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. 10 дней

6) Rp Zinci hypermang.<anici?> 0,2

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. 10 дней

По ночам принимать Ol.<eum> santalae <Точнее: santali. – С. К.>;¹³⁷
если в капсулах по 5 капель, то прини<мать> 4–10 капсул, в течение 2 недель. <Следить?> за почками.

При syphilis gummat.<ous>:

¹³⁴ сернокислого цинка

¹³⁵ уксуснокислого свинца или уксусно-свинцовой соли

¹³⁶ углекислого цинка

¹³⁷ Санталовое масло.

Rp Kalii jodati 10,0

Aq.<uae> destill.<atae> 200,0

S. 10 дней по 2 ложки в день, 10 дней – по 3 ложки в день, 10 дней – по 4 ложки, 10 дней – по 5 и <далее?> по 6.

Rp Extr.<actum> Monesiae

Extr.<actum> Colombo aa 15,0

Extr.<actum> gentianae et glycerini q.<antum> s.<atis> ut f.<iant>
pil.<lulae> № 120.¹³⁸

Ds. При поносе по 3–4 пилюли в день. Это лучше, чем ас<idum>
tannicum.¹³⁹

Rp T<inctur>ae <Colo?><mbo?> 10,0

Ds. 3 раза в день по 5–10 кап<ель> (при поносах)

Rp Chrysarobini 0,8

Jodoformii 0,3

Extr.<acti> Belladon<nae> 0,6

Vaselini 15,0

S. Мазь при *геморрое*

Rp Ac.<idi> tannici 0,06

Chrysarobini 0,1

Extr.<acti> Belladon<nae> 0,02

But.<yri> Cacao 2,0

M.<isce> f.<iant> suppos.<itoria> <[Ds]?> № X

S. Вводить 1–2 раза в день по 1 ложке.

¹³⁸ Нужное количество экстракта горечавки и глицерина, чтобы получить таблетки № 120.

¹³⁹ Дубильная кислота.

Rp Natri<i> arsenicici 0,1
Aq.<uae> destill.<atae> 10,0
Ac.<idi> carbolicі gtt I

S. Для инъекций.

Пиллюли:

Cascarine <Точнее: Cascarin. – С. К.> Leprince.¹⁴⁰

Rp Ammon<ii> sulfo-icht<h>yol.<ici>¹⁴¹ 6,0
extr.<acti> et <pul.><veris> liquiritiae q.<quantum> s.<atis> ut f.<iant>
pil.<lulae>№ 60¹⁴²

S. По 2 пиллюли 3 раза в день после еды.

Травл.<я> от крыс

Cynoglossum

officinale

¹⁴⁰ Leprince – известный врач. Ср.: «Cascarin, каскарин. Так называет Leprince выделенное химическое вещество из Cascara Sagrada, которому он приписывает слабительное действие» (Новые и новейшие лекарственные средства в алфавитном порядке, их химические и физические свойства и терапевтическое применение: Справочная книга для фармацевтов, врачей, дрогистов и др. С. 205).

¹⁴¹ сульфоиштиолово-аммониевой соли

¹⁴² Нужное количество лакричного экстракта и лакричного порошка, чтобы получить пиллюли № 60.

¹⁴³ Аптечный собачник.

ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство текстов в настоящем издании печатаются по изд.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: в 30-ти т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1974-1987. «Записная книжка с рецептами для больных» - по первой публикации: *Кибальник С.А.* Записная книжка А.П.Чехова с рецептами для больных // Русская литература. 2018. № 4. С. 194–211. www URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/RusLiteratura/rus_lit_4-2018.pdf

Примечания также приводятся по академическому изданию, однако к ним прибавляются, а постепенно и заменяют их новые оригинальные примечания, подготовленные А.В.Кубасовым и С.А.Кибальником. В настоящее время полностью заново откомментированы раздел «Рассказы», повести «Скучная история» и «Дуэль», водевиль «Ночь перед судом». В случае с другими произведениями пока что сделаны небольшие дополнения к академическому комментарию с отсылками к современной научной литературе.

СЕЛЬСКИЕ ЭСКУЛАПЫ

Впервые — «Свет и тени», 1882, № 178 (22), 18 июня, стр. 319—322. Подпись: Антоша (в оглавлении номера: Антоша Ч.).

Ироническое заглавие рассказа определяет все последующее его содержание. Сельские эскулапы предстают как шарлатаны, верящие однако в свою избранность. Лечение ими страждущих напоминает обрядовое действо, а псевдодоктора — народных целителей или шаманов. См.: Стенина В.Ф. Мифология болезни в ранних рассказах А. П. Чехова (1880- 1883) // Культура и текст. 2004. № 7. С.167-171. По мнению М.Ч.Ларионовой, «в рассказах "Сельские эскулапы" и "Хирургия" для создания комических образов провинциальных лекарей актуализируются мотивы народного театра». (Ларионова М.Ч. Болезнь и врач в национальной картине мира и рассказе А.П.Чехова «Ионыч» // Философия А.П.Чехова: мат-лы Третьей Междунар. конф. г. Иркутск, 28 июня - 2 июля 2015 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. С. 180).

Стр. 198. — *Кзм. . . Затвори дверь! . . . Что болит?*

— *Голова, батюшка.*

— *Так. . . Вся или только половина?*

— *Вся, батюшка. . . как есть вся. . .*

Одна из сцен первичного приема страждущих, пародирующая такой аспект медицинской практики, как анамнез.

С. 198. «*Rp. Liquor ferri 3 gr. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной*». — Псевдорецепт, в котором пародийно смешивается медицинское начало и бытовое. Ср. с рассказом «Филантроп» (1883), где, по наблюдению А.Д. Степанова, «жанр рецепта (императивный) совмещается с жанром любовной записки, назначающей свидание (экспрессивным), и оба жанра оставляют следы в получившемся гибридном образовании. . .» (Степанов А. Д. Речевые жанры раннего Чехова // Ранний Чехов: проблемы поэтики. Коллект. моногр. / под ред. А. Д. Степанова. СПб.: Нестор-История, 2019. С.56).

С.199. — *Дайте ему olei ricini u ammonii caustici! — кричит Кузьма Егоров. — Растирать живот утром и вечером!* — Псевдорецепт создается расхождением между содержанием выписанных «лекарств» и рекомендацией их применения.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Впервые — «Мирской толк», 1882: № 37, 10 октября, стр. 197—199; № 38, 17 октября, стр. 212—214; № 39, 23 октября, стр. 225—228; № 41, 11 ноября, стр. 243—245. Подпись: А. Чехонте.

«Цветы запоздалые» посвящены Николаю Ивановичу Коробову. В 1879 и начале 1880-х годов Н. И. Коробов, однокашник А. П. Чехова по университету, жил в доме Чеховых. «Он быстро сошелся с Антоном, и до самых последних дней оба они были близкими друзьями» (*Вокруг Чехова*, стр. 88). В архиве Чехова сохраняются письма Н. И. Коробова разных лет. Впоследствии Н. И. Коробов стал лейб-медиком императорского двора.

Стр. 392. *...молодой, блестящий доктор, живет барином, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «тику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.* — Доктор Топорков — один из главных героев рассказа, предвещающий образ доктора Старцева. В плане прототипичности может быть соотнесен с Н. И. Коробовым, сделавшим блестящую карьеру врача. В ходе Международной конференции «Русские писатели и медицина: 200 лет вместе (1820 – 2020)» в докладе Л.Е.Бушканец и Н.Ф.Ивановой была высказана гипотеза о том, что одним из прообразов для доктора Топоркова в «Цвелях запоздалых» стала фигура Г.А.Захарьина.

Стр. 396. *Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиных глазок и круглого животика.* — Гиперболизированные детали портрета создают пародийный образ доктора, который окликает героя гоголевского «Ревизора» — доктора Христиана Гибнера. В речевом портрете Ивана Адольфовича акцентировано «немецкое» начало: *Я не знаю, но, по моему мнению, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности. . . Ничего!*

Стр. 398. — *Спасите его, доктор!* — сказала она, поднимая на него свои большие глаза. — *Умоляю вас! На вас вся надежда!*

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

— *Открыть вентиляцию!* — скомандовал он, войдя к больному. — *Почему не открыты вентиляцию? Дышать чем же?* — Первый рецепт для излечения князя Егорушки, который использует доктор Топорков. Резкая манера общения доктора с пациентами похожа на поведение доктора Г.А.Захарьина.

Стр. 398-399. *Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постучал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.*

— *Не мешает надеть горячую рубаху,* — сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово, голосом.

Созданный на основе реального диагноза (алкогольный делирий или белая горячка) окказионализм — неосложненная пьянственная горячка — отражает авторскую иронию, которая контрастирует с серьезным отношением к болезни Егорушки его матери и сестры. Несуществующая болезнь, как следствие, предполагает условное лекарство — горячую рубаху.

Стр. 406. *И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю, начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели.* — Подход доктора Топоркова к реальной болезни Маруси не отличается от его подхода к условной болезни Егорушки. Доктора волнует не больная, а свой образ. Характеристика речи доктора Топоркова дана с точки зрения воспринимающих ее героев. Слово «абсцесс», прямо связанное с медицинским дискурсом, по принципу синекдохи отражает и речь доктора в целом, и его высмеренное отношение к людям.

Стр. 421-422. — *Будете принимать этот порошок. . . перед сном. . . избежать простуды. . .* — Шаблонный рецепт доктора Топоркова Марусе, выписанный на основе нескольких простых вопросов. Авторское отношение к сцене медицинского приема прямо выражено в предшествующей фразе: *«Как всё это похоже на шарлатанство!»* — подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой. В зрелом творчестве Чехова будет установка на творческую активность читателя, который должен сам прийти к подобному выводу.

СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Впервые — «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля (ценз. разр. 29 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

В зеркале пародии отражается теория Чарльза Дарвина о происхождении человека. Чехов характеризует различные этносы, связывая их с различными животными, трагедизируя Дарвина, который выводил происхождение человека от обезьяны.

Стр. 130. *Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так, русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы.*

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

Впервые — «Осколки», 1883, № 25, 18 июня (ценз. разр. 17 июня), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

«Письмецо Ваше с приложением трех рассказцев получил вчера, — писал Н. А. Лейкин Чехову 10 июня, — и приношу сердечную благодарность. Правда, рассказы не совсем вытанцевались (кроме „Дневника помощника бухгалтера“), но что делать... как-нибудь сойдет. И печь печет разные хлебы» (ГБЛ).

Дневник в понимании Чехова — консервативная жанровая форма. В «Рассказе без конца» (1886) герой говорит: «Только вы не вздумайте писать "дневника самоубийцы". Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое» (V, 17). «Из дневника помощника бухгалтера» представляет образец пародийной стилизации жанра дневника. Рассказ строится на повторении нескольких мотивов. Записи героя начинаются с 1863 года, по отношению ко времени публикации рассказа, это ретроспекция, так как передаются события двадцатилетней давности. Заканчивается дневник записью 1886 года, то есть перспективой будущих событий. Композиция рассказа строится на стилизации такого приема, известного по сказочной прозе, как кумулятивный сюжет: «"Из дневника помощника бухгалтера" можно назвать классическим образцом, формулой кумулятивного сюжета» (Сухих И.Н. Жанровая система раннего Чехова // Ранний Чехов: проблемы поэтики. Коллект. моногр. / под ред. А. Д. Степанова. СПб.: Нестор-История, 2019. С.44).

Стр. 157. *Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит...* — Сергей Петрович Боткин (1832-1889), русский врач-терапевт, тайный советник, лейб-медик. Комизм ситуации создается расхождением между статусом одного из лучших врачей России и мнимой болезнью «помощника бухгалтера».

Стр. 157. *В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку.* — Условное лекарство от чумы превращает опасную болезнь в неопасную.

Стр. 157. *Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.* — Желудевый кофий выступает как метонимическое обозначение лекарственного суррогата.

Стр.157. *Инбиря 2 золотника, калгана 1 ½ зол., острой водки 1 зол., семиротной крови 5 зол.; всё смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натоцак по рюмке.ъ*

Приведенный рецепт от катара имел реальный источник. По сообщению Ал. П. Чехова, некоторые из снадобий, упомянутых в этом рецепте, входили в состав «гнезда» — лекарства «от всех и некоторых особенных» болезней, которым торговал в своей таганрогской аптеке П. Е. Чехов: калган (альхемилла, или лапчатка, или камчужник), острая водка (азотная кислота), семиротная кровь (нерастворимый коралл). См. А. С е д о й (Ч е х о в). Из детства Антона Павловича Чехова. СПб., 1912, стр. 40—41; «Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 35.

Стр.157. *Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.* — Сулема — сильно ядовитый порошок хлористой ртути. Последний рецепт, которым заканчивается рассказ.

НОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СТАРОЕ СРЕДСТВО

Впервые — ПСС, т. IV, стр. 78 (по гранке, хранившейся в Музее А. П. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина).

Написано, очевидно, в сентябре 1883 г. «Шуточка Ваша „Новая болезнь и старое средство“, — писал Чехову Н. А. Лейкин 1 октября 1883 г., — не прошла сквозь горнило цензуры, а была бы очень кстати для „Осколков“ <...> Оттиск шуточки посылаю Вам для памяти» (ГБЛ).

Миниатюра строится на принципе аналогии лечения и наказания. Описываются по-врачебному точно симптоматика и лечение *перемежающейся лихорадки (febris intermittens)*. Используются медицинские термины и определения — *больной бледен от спазма периферических сосудов; вазомоторный центр и nervus oculomotorius; гиперестезия кожи* и др. Комический эффект достигается за счет взаимодействия медицинского дискурса с педагогическим. Педагогический аспект раскрывается в последней фразе, меняющей смысл предыдущего текста — *«На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин»*.

ХИРУРГИЯ

Впервые — «Осколки», 1884, № 32, 11 августа (ценз. разр. 10 августа), стр. 3—4, с подзаголовком: Сценка. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ написан, вероятно, в первых числах августа 1884 г. 8 августа 1884 г. Лейкин писал Чехову: «Получил вчера Ваше письмо от 4 августа с приложением двух статей. „Хирургию“ тотчас же послал набирать» (ГБЛ).

М. П. Чехов связывает возникновение сюжета рассказа с пребыванием Чехова летом 1884 г. в Воскресенске и работой его в Чиikinской земской больнице: «В двух верстах от Воскресенска находилась Чиikinская земская больница, которой заведовал тогда известный земский врач П. А. Архангельский <...> Однажды в Воскресенскую больницу пришел на прием больной с зубной болезнью. П. А. Архангельский был занят с другим, более серьезным больным

и поручил прикомандировавшемуся к нему студенту (впоследствии знаменитому доктору С. П. Я.) вырвать у больного зуб. Неопытный студент наложил щипцы и после некоторых истязаний вырвал у пациента вместо больного здоровый зуб. Вырвал — и сам испугался.

— Ничего, ничего, — одобрил его Архангельский, — рви здоровые, авось до больного доберешься!

Студент стал рвать больной зуб и сломал на нем коронку. Пациент выругался и ушел.

Этот инцидент послужил Антону Павловичу сюжетом для его рассказа „Хирургия“» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 29).

В. Г. Богораз (Тан) в воспоминаниях «На родине Чехова» называет «Хирургию» «таганрогским приключением» и указывает другие прототипы героев рассказа («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 486). П. Сергеев, помимо того, связывает сюжет рассказа с шуточными актерскими импровизациями братьев Антона и Александра Чеховых (там же, стр. 338).

Стр. 40. *Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».* — Псалтырь, псалом 101, «Молитва страждущего...». Речь Вонмигласова насыщена не только прямыми цитатами из книг «священного писания», для нее характерно и свободное использование фразеологии церковнославянского языка. См. об этом в статье С. А. Копорского «О стиле рассказа А. П. Чехова „Хирургия“» («Русский язык в школе», 1960, № 1, стр. 29—34).

Стр. 40. *За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин* — Чехов-врач различал доктора и фельдшера, в рассказах демаркационная линия между ними подчас нарушается, что служит источником комических ситуаций.

Стр. 41. *Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...* — Тракция — извлечение зуба из лунки. Скорее всего, фельдшер повторяет слова доктора, поскольку это единственная медицинская фраза в его бытовой в целом по содержанию речи.

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

Впервые — «Осколки», 1886, № 5, 1 февраля (ценз. разр. 31 января), стр. 4—5, с подзаголовком: Случай из моей медицинско-шарлатанской практики. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ написан, видимо, в первой половине ноября 1884 г. 17 декабря 1884 г. Чехов писал П. А. Сергеев: «Месяц тому назад я послал в „Стрекозу“ рассказ, посвященный „недавно судившемуся другу моему Эмилю Пупу“. Заглавия не помню... Память до того подлая, что скоро забуду, где верх, где низ... Кажется, „Ночь перед судом“, но не ручаюсь. Под заглавием курсивная строка: „Случай из моей медицинско-шарлатанской практики“. Подпись „Дяденька“ <...> Рассказ несколько нецензурен: либерален, саркастичен и проч. ... Если будешь писать в Питер, то справишься о судьбе чеховского рассказа. Впрочем, справка эта не имеет особой важности, и я мало потеряю, если ты забудешь... Пишу же тебе о сем с тою целью, чтобы выдать тебе с головою автора, дерзнувшего украсить свой рассказ твоим эмилепупством» (ГБЛ).

При публикации в «Осколках» посвящение было снято, а псевдоним «Дяденька» заменен обычным: А. Чехонте. Кроме того, в рассказе были сделаны цензурные изъятия. 6—7 февраля 1886 г., сообщая Чехову о цензурных купюрах в рассказе «Аннота», Лейкин прибавил: «Должен Вам сказать, что и в предшествовавшем Вашем рассказе какие-то строчки о внебрачно-сужителственных намеках были захерены не мной, а цензором» (ГБЛ).

Сохранился черновой автограф начала пьесы «Ночь перед судом» (ЦГАЛИ). Пьеса основана на сюжете рассказа; датируется по почерку серединой 1890-х годов (см. т. XIII Сочинений).

Подзаголовок рассказа *Случай из моей медицинско-шарлатанской практики* определяет поведение героя, разыгрывающего роль доктора. Позже рассказ будет переработан в незавершенный одноактный водевиль с таким же заглавием. (См.: Кубасов А. В. Гендерлект в драматическом этюде А. П. Чехова «Ночь перед судом» // Уральский филологический вестник. 2018. №4. Сер. Русская классика: динамика художественных систем. С. 77-87).

Стр. 119. *персидский порошок* — измельченные цветы так называемой «персидской ромашки», средство от клопов и блох.

Стр. 122. *Sic transit 0,05/Gloria mundi 1,0...* — В рецепте разбито на две части латинское изречение: Так проходит слава мирская. По поводу этого шуточного рецепта В. В. Билибин писал Чехову 14 марта 1886 г.: «Василевский в одном из своих провинциальных фельетонов в „Новостях“ <...> украл у Вас рецепт: «Sic transit gloria mundi» (ГБЛ). Действительно, редактор «Стрекозы» построил на этом рецепте анекдот в своих «очерках провинциальной жизни» — «Среди обывателей» («Новости и биржевая газета», первое издание, 1886, 3 марта, № 61, подпись: Буква).

АПТЕКАРСКАЯ ТАКСА

Впервые — «Осколки», 1885, № 15, 13 апреля (ценз. разр. 12 апреля), стр. 1 (обложка). Подпись: Рисун. В. И. Порфирьева. — Тема А. Ч.

Хотя Чехов не раз отказывался придумывать подписи для рисунков, Лейкин почти в каждом письме просил его «понатужиться и высидеть что-нибудь по части подписей для рисунков и темок для передовиц». 6 марта 1885 г. Лейкин писал: «Ведь не может быть, чтобы такому юмористу, как Вы, и такому находчивому, в течение почти полугода не пришла ни одна темка в голову...» 15/16 марта Лейкин, получив от Чехова неизвестную нам подпись, снова просил: «Тем и подписей! — восклицаю на прощание, пародируя „Panem et circenses!“ „Хлеба и зрелищ“!». Пожалуйста, выжмите из себя что-нибудь по этой части. Ведь я только в крайних случаях обращаюсь к Вам с просьбой о темах и подписях, а в остальное время Вас не беспокою. Пожалуйста» (ГБЛ). 22 марта, высылая в редакцию «Осколков» несколько тем, Чехов писал Лейкину: «Тема „Аптекарская такса“ модная... Ею, думаю, можно воспользоваться...» Не получив от Лейкина ответ, он спрашивал 1 апреля: «Сгодились ли мои подписи к рисункам?» — на что Лейкин отвечал 26 апреля: «Все погодились, кроме двух, которые при сем и возвращаю» (ГБЛ).

О высокой аптекарской таксе см. также фельетон Чехова «Аптекарская такса, или Спасите, грабят!!!» и рассказ «В аптеке».

Жанр подписи к рисунку определяет объем и содержание текста: подпись состоит из двух реплик героев. Тема рисунка достаточно традиционна — дороговизна аптекарских товаров. На рисунке В.И.Порфирьева изображены стоящие около аптеки двое мужчин, один из которых в исподней рубашке, но при этом в шляпе и при галстуке. Эти предметы в аптеке ему оставили в виде скидки при расчете за лекарства. В подписи и в рисунке реализована идиома «раздеть до нитки».

В АПТЕКЕ

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 182, 6 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Рассказ написан на тему аптекарских порядков. Больному Свайкину выписан простой рецепт, состоящий из каломели и сахарного порошка, однако герою приходится очень долго ждать, когда рецепт будет приготовлен. При расчете ему не хватило шести копеек, что послужило причиной отказа больному в получении лекарства. Место публикации сценки в газете обусловили ее тональность. В отличие от «Осколков», где требовалось смешить читателей, в газете Чехов мог ограничиться только критикой поведения работников аптек.

Стр.45. *Каломель* — хлористая ртуть. В медицине употреблялось как слабительное и против воспалений, тифа, сифилиса; приём каломели в больших количествах действует как яд. См.: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 3-е изд. Ф.Павленкова. N.Y.: Изд-ие книжного магазина М.Майзеля, 1921. С. 218.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 183, 7 июля, стр. 3, отдел: «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Е. К. Сахарова (Маркова), познакомившаяся с Чеховым в 1884 г., писала, что этот рассказ Чехов передавал ей «в несколько другом виде <...> действующее лицо никак не может вспомнить фамилию.

„Такая обыкновенная простая фамилия, так и вертится на языке, ах ты господи, ну птица еще такая, птичья фамилия!“ Его собеседник начинает перечислять всех птиц: „Соколов, Воробьев, Петухов, Синицын, Чижов...“ — „Нет, нет, не то, не то!“ — и наконец вспоминает: „Вербицкий, Вербицкий, насилу вспомнил“. — „Позвольте, но ведь вы говорили — фамилия птичья!“ — „Ну да, конечно, ведь птица же садится на вербу“» («Воспоминания об А. П. Чехове». Рукопись — ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 352, лл. 14—14 об.).

Известен фольклорный мотив, соответствующий пересказу Е. К. Сахаровой: мужик забывает «птичью» фамилию; оказывается, это — Вербицкий (Н. П. А н д р е е в. Указатель сказочных сюжетов, Л., 1929, № 2081).

Возможно, что этот сюжет объединился у Чехова с таганрогским воспоминанием, о котором рассказывал писатель В. Г. Богораз (Н. А. Тан): «„Лошадиная фамилия“ — тоже таганрогский анекдот, хотя и измененный. В таганрогском округе были два обывателя, довольно зажиточных и видных, Жеребцов и Кобылин. Им как-то случилось заехать одновременно в одну и ту же гостиницу, и их записали на доску рядом особенно крупными

буквами. Я помню, над этим смеялись все в Таганроге» (Т а н . На родине Чехова. — «Чеховский юбилейный сборник», М., 1910, стр. 486).

Исходная ситуация в рассказе связана с тем, что страдающий от зубной боли генерал готов «полечиться разговором». Это условное «лекарство» отражает крайнюю степень страдания героя, готового пойти на любые меры. Так как никто из окружающих не мог вспомнить «лашадиную фамилию» знахаря, генерал вынужден прибегнуть к обычному средству: «*Приехал доктор и вырвал больной зуб*» (61).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 268, 30 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ представляет разговор успешного доктора-немца с неуспешным русским коллегой. Первый учит второго, как добиться успеха. Выражение *общее образование* наполнено профанным смыслом: это условие популярности врача, под которым понимается *апломб*, умение *держаться по-ученому*, *выдумать эликсир* с простыми свойствами — *чтоб пахло да щипало*.

Стр. 153.— Сергей Петрович Боткин (1832-1889), русский врач-терапевт, тайный советник, лейб-медик. Как отмечает Б.М.Шубин, «С. П. Боткин рассматривал медицину в ряду естественных наук и ратовал за врача-естествоиспытателя, основывающего свои заключения на возможно большем количестве строго и научно наблюдаемых фактов» (Шубин Б. М. Доктор А. П. Чехов. С. 22).

Стр. 153. *Рви здоровые зубы, до больного доберешься. Зубной порошок изобрети* — пародийные медицинские советы. См. следующий рассказ, который целиком посвящен им.

ВРАЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ

Впервые — «Будильник», 1885, № 39 (ценз. разр. 2 октября), стр. 469. Подпись: Врач без пациентов.

Рассказ строится на противопоставлении реальных симптомов болезни (*насморк, головокружение, отравление, кашель*) и условных средств их излечения. Рекомендуются использовать *настой из трын-травы, нюхать провизию, купленную в Охотном ряду*, или привязывать правое ухо к одной стене, а левое к другой.

ПСИХОПАТЫ

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 275, 7 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Критический пафос рассказа направлен против дилетантов, которые самоуверенно судят о мировой политике или *толкуют про холеру*. Герои все рассуждают о выдающихся политических деятелях, лицах из судебного мира. В качестве медицинского авторитета упомянут доктор Шарко. Вынесенное в заглавие слово выступает как авторский диагноз мешанам. Психопатия, в трактовке Чехова, стала веянием времени, что прямо утверждалось 22 декабря 1884 года в «Осколках московской жизни»: «Психопаты плодятся, как спириты или кефирные грибки» (XVI, 137).

Позвать из Франции Шарко! — Жан Мартен Шарко (1825 — 1893). Французский врач-психиатр, специалист по неврологическим болезням. Упомянут в рассказе «Философские определения жизни» (1883).

ИНДЕЙСКИЙ ПЕТУХ

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 282, 14 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Комедийная ситуация рассказа связана с лечением индейского петуха, то есть индюка. Герой рассказа идет не к ветеринару, а в аптеку, чтобы купить *на десять копеек крепительного*. Сюжет строится вокруг определения лекарства, которое в итоге так и не продают посетителю.

Стр. 172. *Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами* — условный канон, один из приёмов создания комического (См.: Кубасов А. В. Проза А. П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург, 1998. С.33—43).

СРЕДСТВО ОТ ЗАПОЯ

Впервые — «Осколки», 1885, № 43, 26 октября (ценз. разр. 25 октября), стр. 4—5. Заглавие: Битая знаменитость, или Средство от запоя (Из актерской жизни). Подпись: А. Чехонте.

Рассказ был отослан в «Осколки» 12 октября 1885 г. Н. А. Лейкину Чехов писал: «Рассказ немножко длинен, но он трактует об актерах, что в виду открытия сезона весьма кстати, и, как мне кажется, юмористичен».

В цензуре рассказ препятствий не встретил, но в «Осколках» был отложен в запас по причинам, изложенным в ответном письме Лейкина от 17—18 октября: «Рассказ Ваш „Битая знаменитость“ набран и пропущен цензурой, но как ни старался я его втиснуть в № 42 — никак не мог и оставил в запасе. Рассказ вышел 220 строк... а и весь номер-то 1000 строк — ну, ни мелочей, ни стихов и не входит в достаточном количестве» (ГБЛ).

В рассказе отразились впечатления от таганрогских гастролей Иванова-Козельского («А. П. Чехов. Сборник статей и материалов», Ростов-на-Дону, 1959, стр. 366).

Антрепренер Почечуев — фамилия антрепренера образована от *почечуй*, народного названия геморроя.

В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках — средство от запоя, которое составляет не доктор, а парикмахер в роли доктора. Парадокс в том, что средство действительно помогает.

ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА

Впервые — «Осколки», 1885, № 49, 7 декабря (ценз. разр. 6 декабря), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Юмореска была написана между 12 и 20 октября 1885 г. и отправлена в «Осколки» вместе с «филологической заметкой» об октябре. О том, что «филологическая заметка» и «Домашние средства» были посланы в одном конверте (вероятно, около 15 октября 1885 г.), Лейкин узнал из не дошедшего до нас письма Чехова, на которое отвечал 31 октября 1885 г.: «Ни статьи „Об октябре“, ни „Домашние средства“ я не получал, стало быть, письмо пропало на почте или не было опущено Вашим посланным в почтовый ящик (...). Статью „Домашние средства“ прошу восстановить, если возможно, и выслать мне вновь, что же касается до „Октября“, то эту статью не посылайте» (ГБЛ).

Миниатюра построена по модели популярного жанра «полезные советы». За исключением одного «совета», остальные построены по принципу анафоры — *от клопов, от прусаков, от блох, от моли*.

От ячменя на глазу. Покажи больному кукиш — использован народный заговор ячменя на глазу. Ср.: Ячмень, ячмень, вот тебе кукиш, что хочешь, то купишь: купи себе топорок, пересекися поперёк.

ВОЛК

Впервые — «Петербургская газета», 1886, № 74, 17 марта, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Заглавие: Водобоязнь (Быль). Подпись: А. Чехонте.

Главное содержание рассказа заключается в передаче душевного состояния человека, укушенного волком и не знающего, бешеный тот или нет. Герой испытывает сложную гамму чувств от отчаяния до радостной эйфории. По мнению Б. М. Шубина, в рассказе дано «прекрасное описание клиники невроза так называемого навязчивого состояния у сильного, мужественного человека, не дрогнувшего во время схватки с волком, но потерявшего всякое самообладание и выдержку в томительном ожидании у себя признаков бешества» (Шубин Б. М. Доктор А. П. Чехов. Изд. 3-е, доп. М.: Знание, 1982. С. 16).

Стр. 40. *Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь*. — Другие названия болезни — гидрофобия, бешенство. Острое инфекционное заболевание, которое возникает после укуса зараженного дикого или домашнего животного. У заболевшего поражается центральная нервная система. В случае непринятых экстренных мер болезнь заканчивается смертельным исходом. По данным Всемирной организации здравоохранения, на этапе появления клинических симптомов летальность составляет 100%. В 1885 году Луи Пастером была разработана вакцина против бешенства.

В 1886 г. в газетах часто писали о нападениях на людей бешеных волков и собак (см. также примечания к рассказу «В Париж!»). 24 февраля 1886 г. К. П. Победоносцев сообщал Александру III, что в ночь на 17 февраля в городе Белом, Смоленской губ., бешеный волк искусал 18 человек, из которых «наиболее опасные» были посланы в Париж — в лечебницу Пастера («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I. М. — Л., 1927,

стр. 559). В том же номере «Петербургской газеты», где напечатан рассказ «Водобоязнь», было помещено сообщение о смерти человека, укушенного бешеным волком («Изо дня в день»).

По свидетельству Д. П. Маковицкого («Яснополяские записки», вып. II, М., 1923, стр. 5 — запись от 21 января 1905 г.), этот рассказ читал вслух Л. Н. Толстой (ошибка Маковицкого: «о том, как охотник бился с бешеной собакой»). Как раз в январе 1905 г. вышел первый номер журнала «Русская мысль» с рассказом «Волк». Под впечатлением чеховского рассказа Толстой в этот вечер вспоминал аналогичные известные ему эпизоды из жизни.

АПТЕКАРША

Впервые — «Осколки», 1886, № 25, 21 июня (ценз. разр. 20 июня), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 192. ...ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. — Грудной эликсир (лат. Elixir Pectorale Regis Daniae) — отхаркивающее лекарство, применяют при заболевании верхних дыхательных путей.

Стр. 193. Ему, небось, что женщина, что бутылка с карболкой — всё равно! — Карболка — карболовая кислота, средство для дезинфекции, а также для лечения некоторых заболеваний. Комический эффект во фразе создается за счет овеществления человека и противоположным по смыслу приёмом персонификации предмета. См. Кубасов А. В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург, 1998. С. 43-46.

Стр. 195. *Est у вас vinum gallicum rubrum?* — Красное вино переходит в разряд лекарств за счет употребления его названия на латыни, при этом высказанное желание героев приобрести *винца красенького* встречает отказ аптекарши.

Стр. 195. *А вино, надо сознаться, препакуднейшее! Vinum plochissimum!* — Соединение бытового дискурса с аптекарским отражается в двойной номинации условного «лекарства», в травестии латинского названия .

АХ, ЗУБЫ!

Впервые — «Сверчок», 1886, № 39, 9 октября (ценз. разр. 8 октября), стр. 307, 308, 310. Подпись: Человек без селезенки.

Сюжет рассказа строится на том, что страдающий от острой зубной боли герой, приехав к врачу, ошибся этажом и напрасно просидел в очереди не к врачу, а к адвокату.

Стр. 332. *Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька вымазала ему десны йодом...* — Набор условных лекарств, не имеющих к проблеме зубной боли никакого отношения.

ТИФ

Впервые — «Петербургская газета», 1887, № 80, 23 марта, стр. 3, отдел «Легучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ «Тиф» был закончен 21 марта 1887 г. В этот день Чехов сообщил Н. А. Лейкину: «Сегодня, в субботу, вечером я посылаю курьерским рассказ в „Газету“ <...>».

Болезнь и образ болезни не одно и то же. Чехов-врач имел дело с болезнью как таковой, с неким объективным явлением, тогда как Чехов-художник — с создаваемым им самим словесным объективированным образом болезни, креативным по своей природе, а потому обладающим определенной художественной семантикой, символикой и телеологией. Реальный тиф длительное время вызывал у писателя неподдельный страх из-за возможности случайно заразиться им, и эта боязнь отразилась в его переписке. Образ тифа в отличие от реальной болезни носит в произведениях Чехова амбивалентный серьезно-смеховой характер. Впервые он встречается в рассказе «Живой товар», опубликованном в газете «Мирской толк» (1882). Позже он упоминается в рассказах «Справка» (1883), «Наивный леший» (1884). В произведениях более позднего времени («Скрипка Ротшильда», «Палата № 6», «Архиерей» и др.) образ тифа сохраняет иронические обертона, при том что на первом плане находится драматическое начало.

Рассказ «Тиф» строится в соответствии с фазами протекания болезни и ее лечения. Сначала дано описание самочувствия поручика Климова, что соотносится с анамнезом, который собирает врач для установления точного диагноза и выбора лечения. Затем следует острая стадия болезни, потом кризис, когда определяется выздоровеет больной или нет, и, наконец, стадия выздоровления. Чехов, многократно в разных формах обыгрывавший разные лекарства, в «Тифе» избегает упоминания их. Это объясняется тем, что болезнь передана изнутри сознания

героя, который не фиксирует свое внимание на том, чем его лечат. (См.: Кубасов А. В. Страх болезни у А. П. Чехова: тиф и обрз тифа // Уральский филологический вестник. Сер. Русская классика: динамика художественных систем. Вып. 13. Екатеринбург, 2021. С. 107-126).

Замысел рассказа возник, очевидно, под влиянием поездки Чехова в Петербург, куда его вызвал в начале марта брат Александр, опасаясь за жизнь своей жены, больной тифом. Настроение Чехова тех дней передано в письме к М. В. Киселевой от 17 марта: «Петербург произвел на меня впечатление города смерти. Въехал я в него с напуганным воображением, встретил на пути два гроба, а у братца застал тиф. От тифа поехал к Лейкину и узнал, что „только что“ лейкинский швейцар на ходу умер от брюшного тифа. <...> Еду на выставку, там, как назло, попадаются всё дамы в трауре. <...> Каковы впечатления? Право, запить можно. Впрочем, говорят, для беллетристов всё полезно». У московского знакомого Чехова — художника А. С. Янова — умерли от тифа мать и сестра, которых лечил Чехов. «Умирая, в агонии, дочь схватила Антона Павловича за руку, да так и испустила дух, крепко стиснув ее в своей руке», — вспоминал М. П. Чехов (*Вокруг Чехова*, стр. 145). По мнению И. А. Гурвича (Ташкент), Чехов «отталкивался от определенного литературного «факта» — от одноименного произведения А. Н. Маслова (псевдоним — А. Н. Бежецкий) «Тиф», составившего часть его книги «Военные на войне» (СПб., 1885). У Маслова описано состояние больного тифом; капитан Иловлин заражает тифом ухаживавшую за ним любимую им армянскую девушку Мариам; она умирает во время его болезни. Книгу Маслова подарил Чехову А. С. Суворин в конце 1886 г. 21 декабря 1886 г. Чехов писал ему: «Мне Бежецкий положительно нравится».

В. А. Тихонов относил «Тиф» к наиболее глубоким произведениям Чехова тех лет: «Человек, постигнувший красоты „Святом ночи“, может быть еще только поэтом, полным вдохновения, чутким, нежным, но поэтом. Глубокий и тонкий наблюдатель поймет „Врагов“ и „Ведьму“ и многое другое. Созерцатель не бесследно проедет по „Степи“. Психолог и „На пути“ и „Дома“ проследит за каждым извивом души человеческой. Психопатолог перестрадает и „Тиф“ и „Припадок“» (письмо от 8 марта 1890 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 8, 1941, стр. 67). Об отношении Толстого к рассказу «Тиф» см. т. IV Сочинений, стр. 479.

И. А. Бунин считал «Тиф», наряду с «Врагами», лучшим произведением Чехова 1887 г. (*ЛН*, т. 68, стр. 677). Приведя в пример ряд рассказов, в том числе и «Тиф», он отмечал в них глубину психологического анализа: «Конечно, работа врача ему очень много дала в этом отношении» (там же, стр. 642). «Тиф» и «Скучная история» поражали Бунина «житейским опытом» (там же, стр. 652.)

Резче всех отзывался о «Тифе» К. Говоров (псевдоним К. И. Медведского), увидевший в нем «мимолетную сценку, популярное изложение отрывков из медицинской книги». Критик полагал, что задача Чехова состояла в показе «перипетий выздоровления» и что эта попытка писателя оказалась «детской». Чехову Медведский противопоставлял Золя, сумевшего дать «полное, детальное и глубоко потрясающее описание тех чувств, которые волнуют и захватывают человека после долгой и трудной болезни». Он находил «полную неспособность автора к психологии» (К. Г о в о р о в . Рассказы А. Чехова. — «День», 1889, № 485, 13 октября). См. также его статью: К. М — с к и й . Жертва безвременья. (Повести и рассказы Антона Чехова). — «Русский вестник», 1896, № 8, стр. 286.

Другие критики рассматривали «Тиф» в связи со всем творчеством Чехова. В. А. Гольцев заметил, что особый разряд чеховских героев составляют «больные люди со сложными движениями ненормальной души» (к которым может быть отнесен и Климов в период болезни) («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 48).

Стр. 133. Доктор называл Климова юношей, вместо «так» говорил «тэк», вместо «да» — «дэ»... — Травестийный образ доктора в рассказе, роль которого в выздоровлении героя тем самым нивелируется.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Впервые — «Петербургская газета», 1887, № 168, 22 июня, стр. 3, отдел: «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Как вспоминал М. П. Чехов, в рассказе отразились впечатления Чехова от пребывания в Бабкине (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 33).

В письме к Н. А. Лейкину из Воскресенска от 27 июня 1884 г. Чехов рассказывал об одном случае из своей медицинской практики, некоторые подробности которого чрезвычайно близки описанному в рассказе «Скорая помощь».

В рецензии на первый том сочинений А. П. Чехова А. Басаргин упоминал рассказ «Скорая помощь», который, по словам критика, «рисует беспомощность нашего крестьянина в отношении санитарно-медицинском...» («Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля).

В основе рассказа глухой диалог «утоплого человека» с толпой и представителем власти. Структурно произведение похоже на рассказ «Хамелеон». Вытащенного из реки живым мужика подвергают «спасению» до тех пор, пока он не помирает.

Стр.240. *Давайте ему нюхать жженные перья и щекочите... Велите щекотать!* — Пример «дамского» лекарства, которое должно привести спасаемого в чувство.

ДОКТОР

Впервые — «Петербургская газета», 1887, № 224, 17 августа, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 310. *У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают. Бугорчатка* — болезнь, вызываемая бациллами Коха и обнаруживающаяся в образовании так назыв. бугорков, или туберкулов, представляющих медленно развивающееся воспалительное новообразование.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ. НЕОКОНЧЕННОЕ КРАСАВИЦЫ

Впервые — *Слово, сб. 2*, стр. 53—55, в качестве неоконченного отрывка, который был «найден в бумагах» Чехова.

Отрывок представляет один развернутый эпизод и ведется от лица доктора, который пришел по вызову к больному. В произведении не упоминается каких-либо лекарственных препаратов, которые бы прописал доктор. Он дает пациенту только «советы» (VIII, 509), потому что понимает, что больной страдает не от какого-то заболевания, а от общих условий жизни, в которых приходится ему жить и которых доктор не в силах изменить.

ПРИПАДОК

Впервые — сборник «Памяти В. М. Гаршина», СПб., 1889 (ценз. разр. 29 ноября 1888 г.), стр. 295—319. Подпись: Антон Чехов.

Получив «Припадок», Плещеев писал Чехову 16 ноября: «Мне рассказ этот понравился, напротив, понравилась его серьезность, сдержанность, понравился и самый мотив. Но всё же мы очень боимся, чтоб цензура не вырезала его из сборника. Она не любит, чтоб касались „этого предмета“. Насчет целомудрия строга» (*ГБЛ; ЛН*, т. 68, стр. 338). 23 ноября Чехов писал Е. М. Линтваревой: «А рассказ велик и но очень глуп. Прочтется он с пользой и произведет некоторую сенсацию. Я в нем трактую об одном весьма щекотливом старом вопросе и, конечно, не решаю этого вопроса» (П 3, 76).

В образе Васильева Чехов отразил многие черты Гаршина: его чувство ответственности за человека и его страдания, боль от сознания бессилия изменить порядок вещей. Чехов писал Суворину 11 ноября 1888 г.: «В этом рассказе я сказал свое, никому не нужное мнение о таких редких людях, как Гаршин» (П 3, 67).

В психиатрии понятие «припадок» определяется следующим образом: «Внезапно появляющееся кратковременное, обычно многократно повторяющееся болезненное состояние, характеризующееся потерей сознания, судорогами и др. Патогенез сложен, причины разнообразны — наличие эпилептогенных и эпилептических очагов, аноксия, нарушения обмена веществ в ткани головного мозга, психогении (психический П.), явления нарколепсии, каталепсии. Возможно сочетание нескольких патогенных факторов.» (Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. Воронеж: Модэк, 1995. С. 319). В рассказе понятие *припадок* реализуется не столько в медицинском аспекте, сколько в общепринятом, бытовом. Синонимами его являются «аффект», «истерика», «приступ». Васильев не является больным в точном смысле слова, о нем можно сказать как о личности с подвижной нервной системой. Припадок Васильева является результатом не болезни, а его нервного возбуждения и отчасти актерского вдохновения: «Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переуллка, чтобы проповедовать; он садился писать письма, давал себе клятвы...» (VII, 217). Страдания Васильева серьезны для него самого, но автор вносит в них долю

иронии. Васильеву помогли обычный бромистый калий и морфий, что не позволяет говорить о нём как о больном. Сходная ситуация позже будет в рассказе «Случай из практики» (1898), где доктор Королёв скажет о Лизе Ляликовой: «...всё обстоит благополучно, всё в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. *Припадок*, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать» (X, 77).

В беседе с врачом Васильев спрашивает его является ли тот психиатром, на что получает утвердительный ответ. На реплику доктора Васильев реагирует риторическим восклицанием — «Может быть, все вы и правы!» (VII, 221). Уклончивая реакция героя косвенно отражает авторскую позицию. Страдания и гибель людей «гаршинской закваски», имеет под собой не клинические основания, а психологические. Для этого типа людей важна не психика, а страдающая тонкая душа. Поэтому им нужен не психиатр, а психолог, в роли которого в данном случае выступает биографический атор, дипломированный медик и одновременно врач «литературный» (Подробнее см.: Кубасов А. В. Чехов и Гаршин // Кубасов А. В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 165-209). «Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки», — писал 13 ноября 1888 года Чехов А. Н. Плещееву по поводу рассказа (II, 3, 68). По мнению Д.Рейфилда, при изображении героев рассказа Чехов отталкивался от прототипов: «Двое "здоровых" студентов напоминают Шехтеля и Левитана, "смуглян" же явно списан с Коли (брата Чехова — А.К.), <...> который, вполне в духе Гаршина, чист помыслами, горяч душой и находится на грани безумия. "Припадок" — это первый рассказ Антона, в котором ставится вопрос о том, кто же в саом деле здоров, а кто душевно болен» (Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. С.172).

Через семь лет после публикации «Припадка» Чехов признается в письме Е. М. Шавровой-Юст: «Лично для себя я держусь такого правила: изображаю больных лишь постольку, поскольку они являются характерами или постольку они картинны. Болезнями же я боюсь запугивать. "Нашего нервного века" я не признаю, так как во все века человечество было нервно. Кто боится нервности, тот пусть обратится в осетра или в корюшку; если осетр сделает глупость или подлость, то лишь одну: попадет на крючок, а потом в селянку с расстегаем» (II VI, 30). Васильев интересен именно потому, что является «характером» с оголенными нервами.

Стр. 217. *Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем.*

ГУСЕВ

Впервые — «Новое время», 1890, № 5326, 25 декабря, стр. 1—2. Подпись: Антон Чехов. Дата: «Коломбо, 12 ноября».

«Гусев» — первый рассказ, появившийся в печати после возвращения Чехова из поездки на Сахалин. «Буренин поручил мне написать тебе, что он ждет от тебя рассказа в рождественский № „Нов<ого> вр<емени>“ „из далеких чуждых стран“», — писал 13 декабря 1890 г. Ал. П. Чехов брату (*Письма Ал. Чехова*, стр. 237).

Рассказ «Гусев» непосредственно не посвящен какому-либо аспекту, связанному с медициной. Однако, по верному замечанию Б. М. Шубина, точка зрения врача может выражаться у Чехова и имплицитно: «Врач "выглядывает" из многих его рассказов и очерков, даже не имеющих никакого отношения к медицинской тематике. Увидеть врача часто помогает отношение к предметам, к их сущности, нередко выраженной точным сравнением, почерпнутым из врачебного опыта» (Шубин Б. М. Доктор А. П. Чехов. С. 63). Действие рассказа «Гусев» происходит на корабле, в судовом лазарете, однако главное содержание произведения составляет диалог двух героев — правдоискателя Павла Иваныча, внешне похожего на Гоголя и одновременно на Дон Кихота, и Гусева, *бессрочноотпускного рядового*, которому приданы черты Санчо Пансы (Кубасов А.В. Гоголевский рассказ Чехова («Гусев») // Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С.250–269).

Стр. 328. *Павел Иваныч подвержен морской болезни.* — Мед. термин — кинетоз, внесен в Международную классификацию болезней (МКБ-10: Т.75.3.). Выражается ощущением тошноты от монотонно повторяющихся колебаний. Реакция героя на болезнь проявляется в смене настроения — *Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка.*

Стр. 328-329. *Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого, что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные.... <...> От качки, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами.* — От какой болезни страдает Павел Иванович прямо не говорится, указываются только ее симптомы. Свою обличительную речь о докторах герой завершает выражением — *на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе...* — Очевидно, что и чахоточным является и Павел Иванович

Стр. 330. *Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку и... и для чего всё это, спрашивается?* — Павел Иванович признает чахоточным Гусева, не признавая себя в таком же положении. При всех своих очевидных различиях, герои воспринимаются как двойники вследствие сходной болезни и судьбы.

Стр. 331. *... а вот опять бычья голова без глаз, черный дым...* — Полубессознательное состояние Гусева выражено с помощью фантастических образов. Выражение является фактически эвфемизмом слов «бред», «бредит».

Стр. 331. *Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное... Он называет черви бубнами, пугается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.*

— Я сейчас, братцы... — говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отвечает. — Остранненное изображение смерти передается с позиции окружающих, не понимающих, что происходит с их товарищем. Парадокс в том, что многого не понимающий Гусев в данном случае понимает, что солдат-картежник умер. — *В нем дыхания нет, помер! Вот тебе — и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!* . .

Стр. 334. *Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный...* — Страдающий от чахотки Павел Иванович не хочет признать очевидного. Самообман больного, выдающего желаемое за действительное, представлен как общечеловеческое качество.

Стр. 335. *Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили.* — О полубессознательном состоянии Гусева свидетельствует его непонимание, что Павел Иванович, его товарищ по судовому лазарету, умер. — *Что? — спрашивает Гусев. — Кого? — Помер. Сейчас наверх унесли. — Ну, что ж, — бормочет Гусев, зевая. — Царство небесное.* Равнодушие к смерти показано как примета мировосприятия простолюдина. Ср. с траговкой у Толстого в «Три смерти» (1859).

Стр. 336. — *Не ешь ты, не пьешь, исхудал — глядеть страшно. Чахотка, одним словом.* — Диагноз Гусеву ставит солдат с повязкой, то есть санитар.

Стр. 338. *В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевеливать языком. Он дремлет и бредит и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.* — Как и в случае с солдатом-картежником, смерть Гусева передается остранненно и вместе с тем обыденно.

Стр. 338. *Защитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко...* В кульминационный момент автор прибегает к профанному овеществлению человека, вроде бы неуместному в тяжелой сцене похорон в море. Первое и последнее описание «внешности» Гусева оказывается анекдотическим по своему вкусу, созвучным известным «овощным» портретам героев «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», сделанным а la Гоголь. (См.: Кубасов А.В. «Гоголевский» рассказ Чехова («Гусев») // Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 265).

ПОПРЫГУНЯ

Впервые — журнал «Север», 1892, № 1, 5 января (ценз. разр. 4 января) и № 2, 12 января (ценз. разр. 10 января). Подпись: Антон Чехов.

Сохранился беловой автограф рассказа (*ЦГАЛИ*).

Пошло с исправлениями в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Включено в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 53—82, с исправлением:

Стр. 20, строка 28: В девять часов *вместо*: В десять часов (по беловой рукописи (*ЦГАЛИ*), текстам журнала «Север» и первого издания сборника «Повести и рассказы»).

1

Из всех произведений Чехова рассказ «Попрыгунья», быть может, наиболее близок к реальным жизненным фактам, положенным в его основу.

О фактической основе «Попрыгуньи» существует большая литература. Основными мемуарными источниками можно считать следующие: М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 51—55; *Вокруг Чехова*, стр. 161—164; Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Мои встречи с Чеховым и его современниками. — В сб.: А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Л., 1925, стр. 243—247; А. С. Лазарев (Грузинский). Антон Чехов и литературная

Москва 80-х и 90-х годов, 1923. — *ЦГАЛИ*, ф. 549; он же. «Попрыгунья». — *ИРЛИ*, ф. 45, оп. 5, ед. хр. 49; С. Г. Кара-Мурза. «Попрыгунья» Чехова и салон С. П. Кувшинниковой. 1928. — *ГБЛ*, ф. 561 (Кара-Мурза беседовал со многими посетителями салона; некоторые по его просьбе изложили свои воспоминания письменно). Интересные материалы находим в альбоме Кувшинниковой — рисунки, стихи, дневниковые записи владелицы (1882—1899 гг.; *ЦГАЛИ*, ф. 1949, оп. 1, ед. хр. 6); любопытные сведения содержатся в письмах И. И. Левитана и С. П. Кувшинниковой к Чехову и другим лицам, в письмах и воспоминаниях художников М. В. Нестерова, А. Я. Головина, артиста Л. Д. Донского.

Накопилось и много работ исследовательского типа, анализирующих принципы творческой работы Чехова над фактическим материалом и также вводящих в научный оборот новые данные (главные из них: А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 384—385; Ю. Соболев. Чехов. Статьи. Материалы. Библиография. М., 1930, стр. 132—157; Е. Добин. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1956, стр. 213—214; Л. П. Гроссман. Чехов о подвиге русского врача. — «Советское здравоохранение», 1954, № 4, стр. 7—11).

Опираясь на реальные жизненные факты, Чехов, разумеется, использовал их лишь как материал. Герои «Попрыгуньи», несомненно, «шире» этого материала, как сам рассказ шире реальной ситуации, нашедшей отражение в фавуле.

Прототипами героев рассказа, как отмечают мемуаристы, послужили С. П. Кувшинникова и в какой-то мере участники ее известного в Москве и конце 80-х — начале 90-х годов салона. В квартире у Кувшинниковых бывали художники А. С. Степанов, Н. В. Досекин, Ф. И. Рерберг, А. Л. Ржевская, Д. А. Щербиновский, М. О. Микешин; артисты Малого театра М. Н. Ермолова, А. П. Ленский, Л. Н. Ленская, А. И. Южин, Е. Д. Турчанинова, К. С. Лошивский (Шиловский) и др., Большого театра — Л. Д. Донской, Погозова; композитор Ю. С. Сахновский, литераторы — Е. П. Гославский, С. С. Голоушев (Глаголь), Т. Л. Щепкина-Куперник, Мих. П. и А. П. Чеховы. Было много дам — Кувшинникова, не боясь соперничества, «любила окружать себя молодыми лицами» (Щепкина-Куперник). Героине «Попрыгуньи» была придана противоположная черта («Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми»), восходящая, возможно, к хозяйке другого известного литературного салона этого времени — З. Н. Гиппиус-Мережковской (Иер. Ясинский. Роман моей жизни. М. — Л., 1926, стр. 255).

Современники утверждали, что «певец из оперы» — это артист Большого театра Л. Д. Донской; «артист из драматического театра <...>, отличный чтец» — актер Малого театра А. П. Ленский, известный и как чтец-декламатор. В литераторе «молодом, но уже известном» угадывали драматурга и беллетриста Е. П. Гославского. В барине, иллюстраторе и виньетисте Василии Васильиче легко узнавали москвича, дилетанта-рисовальщика и дилетанта-стихотворца графа Ф. Л. Соллогуба. Прототипом доктора Коростелева послужил художник-анималист и пейзажист А. С. Степанов, приятель и постоянный собеседник хозяина дома, не участвовавший в разговорах остальных гостей.

Тон и стиль журфиксов Кувшинниковой был близок к описанному в рассказе; совпадал в основных деталях, как вспоминали М. П. Чехов и Щепкина-Куперник, и сам их распорядок. Широко использованы в «Попрыгунье» реалии быта, обстановки квартиры Кувшинниковых (ср. стихи в альбоме Кувшинниковой: «Смотри, статуэтки, этюды, эскизы <...> Смотри же, как все здесь художницей дышит...»).

Но наиболее близко к своему прототипу Чехов подошел в героине рассказа — Ольге Ивановне.

Кувшинникова (Сафонова) происходила из артистической семьи. Она занималась музыкой, живописью, участвовала в любительских спектаклях; жрицей «душевного, умственного и художественного» наименовала она себя на титуле своего альбома.

Экстравагантность, восторженность, своеобразные жесты, тип поведения в целом — все это было использовано в рассказе. Речь Ольги Ивановны явно восходит к любимым выражениям Кувшинниковой, запомнившимся мемуаристам, и даже — к сохранившимся образцам ее письменной речи: «Начинаю просто думать, что Вы, Чехов, страшно завидовали его успеху <...> Но Вы все-таки милый...» (приписка Кувшинниковой в письме Левитана к Чехову, июль 1891 г. — *ГБЛ*). Сходный стиль — в ее письме к актеру М. И. Писареву (без даты, *ИРЛИ*, ф. 321). Особенно выразительны параллели тексту рассказа — в дневниковых записях Кувшинниковой, находившихся в ее альбоме; их вместе с остальным его содержимым могли читать все посетители ее салона: «Бедный отец!» «А она? она стремится за 2000 верст разделить с человеком его участь... какая я гадкая!» «В 10 час. подали от него телеграмму: огорчен моей болезнью — бедный и добрый. А тут...»

Образ жизни, настроения героини рассказа («Счастью не будет конца!» «Мирная, счастливая жизнь без печалей и тревог») близки к общему мироощущению Кувшинниковой того времени, зафиксированному ею же в автобиографии: «Жизнь шла шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей». «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми <...> Жизнь моя была почти сплошным праздником» (С. Пророкова. Левитан. М., 1960, стр. 67).

При изображении художника Рябовского были использованы некоторые черты И. И. Левитана. По словам А. С. Лазарева (Грузинского), «серьезный и вдумчивый Левитан совершенно не походил на ничтожного Рябовского» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 176), но характерные черточки поведения Левитана нашли отражение в рассказе. Наиболее частый характеристический эпитет, применяемый к Рябовскому, — «томный». Но именно этот эпитет отнесен к Левитану в письме Чехова близкого времени («томный Левитан» — Чеховым, 23 апреля 1890 г.). В другом письме, говоря о Левитане, Чехов прибегает к тем же словам, что и при изображении героя своего рассказа (А. С. Суворину, 8 апреля 1892 г.). В характере героя подчеркивались резкие перепады настроения, приступы хандры и тоски — свойственные Левитану и так хорошо знакомые Чехову и по личному общению, и по письмам Левитана (см. письма Чехова Н. А. Лейкину 9 мая 1885 г., М. В. Киселевой 21 сентября 1886 г.; письмо Левитана к Чехову 1887 г. — в кн.: С. Г л а г о л ь , И. Г р а б а р ь . Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., 1912, стр. 43).

Еще более далек от своего прототипа — Д. П. Кувшинникова — другой герой «Попрыгуньи», Осип Дымов. От Д. П. Кувшинникова взяты только некоторые черты поведения в сложившейся ситуации, одна-две характерных реплики. В остальном ординарный полицейский врач не имеет никакого сходства с талантливым молодым ученым, «будущим профессором» Дымовым. Л. П. Гроссман считал, что при создании образа Дымова Чехов использовал черты характера и биографии известного московского врача и общественного деятеля И. И. Дуброво, который погиб в 1883 г. при той же ситуации, что и герой Чехова, — высасывая дифтеритные пленки из гортани больного. Гроссман указывает, что, кроме самих качеств личности Дуброво и сходства с героем в биографии (незадолго до смерти Дуброво защитил диссертацию и обещал стать большим ученым), совпадают и некоторые другие детали. «Ближайшим товарищем доктора И. И. Дуброво был один из учредителей Московского хирургического общества С. И. Костарев <...> Не случайно Чехов называет в „Попрыгунье“ лучшего друга Осипа Дымова фамилией Коростелев» («Советское здравоохранение», 1954, № 4, стр. 10). Упомянутый в рассказе Шрек, считает Гроссман, — измененная фамилия известного врача, профессора Штерка (там же).

В основу фабулы рассказа легли действительные факты: Левитан, как и Рябовский, давал Кувшинниковой уроки живописи; они вместе ездили на этюды на Волгу; наконец, у Кувшинниковой и Левитана был длительный роман. Характер взаимоотношений участников «треугольника» — поведение Д. П. Кувшинникова, который, как писала Кувшинникова в своем дневнике, «бескорыстно, отрешась, от своего я, умел любить меня» (альбом Кувшинниковой), «догадывался и молча переносил свои страдания» (*Вокруг Чехова*, стр. 163); новые увлечения Левитана и т. п. — все это также нашло отражение в рассказе. (Подробно о фактической основе рассказа «Попрыгунья» и ее художественном претворении см.: А. П. Ч у д а к о в . Поэтика и прототипы. — В сб.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974).

К тому времени, когда началась работа над рассказом, Чехов был знаком с Кувшинниковыми уже несколько лет. Еще в 1888 г. (а скорее всего и раньше⁴) он посещал журфику Софьи Петровны (письмо Чехова Кувшинниковой 25 декабря 1888 г.). Рассказывалось ему и о летних поездках Кувшинниковой и Левитана — во всяком случае, он настолько хорошо представлял внешний вид и расположение их дома в Плесе, что узнал его, проплывая мимо по Волге на пароходе по пути на Сахалин (письма Чехова родным и Кувшинниковой от 23 апреля 1890 г.). Чехов сам увидел места реальных событий; здесь же происходит действие IV и V глав рассказа. В «Попрыгунье» художники также живут недалеко от Кинешмы; путь Ольги Ивановны домой занял двое с половиной суток — примерно столько же, сколько ехал дотуда Чехов. Места эти автор «Попрыгуньи» видел в плохую погоду (письмо Чеховым, 23 апреля 1890 г.). Рассказы Левитана о первой поездке на Волгу, когда его почти все время преследовало ненастье, его письма, собственные впечатления Чехова — все это получило отражение в пятой главе рассказа с ее мрачным пейзажем и «тусклой и холодной» Волгой.

Мемуаристы единодушно уверяют, что Кувшинникова была гораздо глубже героини, прототипом которой она послужила: занятия ее музыкой были серьезны, а живописью еще более того — одно ее полотно было куплено П. М. Третьяковым (в 1888 г.), впоследствии была выставка ее работ и т. п. Но в глазах Чехова все это имело, видимо, меньшую цену. Он иронически относился и к самому этому типу жизненного поведения, и к декоративной обстановке, подобной той, какой окружала себя Кувшинникова. «Поставили в передней японское чучело, ткнули в угол китайский зонтик, повесили на перила лестницы ковер и думают, что это художественно, — описывал он свои впечатления от одного дома. — <...> Если художник в убранстве своей квартиры не идет дальше музейного чучела с алебардой, щитов и вееров на стенах, если все это не случайно, а прочувствовано и подчеркнуто, то это не художник, а священнодействующая обезьяна» (Суворину, 3 ноября 1888 г.).

Через два года после опубликования рассказа Чехов написал Щепкиной-Куперник: «Я прочел Ваше „Одиночество“ <...> Однако Вы не удержались и на странице 180 описали Софью Петровну» (24 декабря 1894 г.). Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях это отрицала. Но в данном случае важнее другое: что Чехов воспринимал как изображение С. П. Кувшинниковой. Вот этот портрет на указанной Чеховым странице: «Инна Павловна была молодая дама с удобным мужем, независимым характером и прелестною квартиркой, где по

четвергам собиралось премилое общество. Гостиную ее называли маленьким отелем Рамбулье; у нее было можно найти последний модный роман, последнее научное сочинение и каждую новую знаменитость. В карты у нее не играли, и она этим очень гордилась <...> Она делала все — и не делала ничего, говорила обо всем — и не знала ничего. <...> Готова была бежать в бальных туфельках по снегу за доктором, если кто-нибудь заболеет, и не способна была пожертвовать ему получасом, чтобы тихо посидеть у постели» («Русская мысль», 1894, № 12, стр. 180—181).

В одном из писем Чехову Кувшинникова писала: «Чаще всего, послушная первому порыву, я и сейчас иду на риск — показаться Вам не по летам экзальтированной и смешной. Пусть так! Посмейтесь, милый Антон Павлович...» (15 февраля 1889 — *ГБЛ*). Ироническое отношение Чехова к художнице отмечается в мемуарах; следы его видны и в письмах (например, к Л. С. Мизиновой). «Я помню, — писал впоследствии М. П. Чехов, — как он вышучивал Софью Петровну, как называл ее „Сафо“, как смеялся и над Левитаном» («Антон Чехов и его сюжеты»). М., 1923, стр. 54).

Внешне отношения между Чеховым и Кувшинниковой все годы знакомства были вполне приятными. Но в конце 1891 г. что-то изменилось. На отдельном издании «Дуэли» Чехов сделал такую надпись: «Софье Петровне Кувшинниковой от опального, но неизменно преданного автора» (18 дек. 1891 г. — *ЛН*, стр. 276; см. илл. на стр. 229 наст. тома). За четыре дня до этого Чехов дал новое заглавие (взамен прежнего — «Великий человек») только что написанному рассказу: «Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно <...> Итак, значит „Попрыгунья“. Не забудьте переменить» (В. А. Тихонову, 14 декабря 1891 г.).

2

Впечатления, факты, легшие в основу рассказа, накапливались задолго до его написания. Но окончательно замысел сложился всего за несколько месяцев до начала непосредственной работы над рассказом.

18 августа 1891 г. Чехов писал поэту и беллетристу Ф. А. Червинскому, что у него есть «подходящий рассказик» для «Нивы», и просил узнать гонорарные условия. Червинский сообщил о рассказе В. А. Тихонову, недавно ставшему редактором журнала «Север». С этого времени судьба будущего рассказа оказалась связанной с этим журналом. Тихонов, высоко ценивший Чехова (см. вступит. статьи к комментариям т. VII Сочинений и наст. тома), просил его в письме от 12 сентября 1891 г.: «Если у Вас сейчас нет ничего готового, то, может быть, есть что-нибудь в проекте и потому сообщите мне хоть заглавие Вашего произведения, чтобы я мог напечатать в объявлении не только одно Ваше имя, но и название вещи, имеющей появиться в „Севере“» (*ГБЛ*). Судя по ответу Чехова, рассказ действительно был еще «в проекте»; «Рассказ и пришлю <...>, но сказать, как он будет называться, я не могу. Назвать его теперь так же трудно, как определить цвет курицы, которая вылупится из яйца, которое еще не снесено» (14 сентября 1891 г.). Тихонов торопил. 10 октября он снова напоминал об обещанном рассказе. Но в конце сентября и начале октября Чехов был занят другими своими вещами (см. комментарий к рассказу «Жена» в т. VII Сочинений). К замыслу нового рассказа он вернулся только в десятых числах октября (письма Тихонову от 11 октября и А. С. Суворину от 16 октября). Но рассказ вряд ли продвинулся далеко; в это время автор готов дать ему самое общее заглавие: «Если уж так нужно, то назовите просто „Рассказ“ или же „Обыватели“. Оба названия подойдут» (Тихонову, 11 октября). «Так как мой рассказ нужен Вам для единого из первых номеров, то пришлю я его не раньше конца ноября, — сообщал Чехов в этом же письме. — Теперь занят по горло». Действительно, всю вторую половину октября и начало ноября Чехов усиленно работал над рассказом «Жена». 20 ноября он был отослан.

Как раз в этот день Тихонов опять пишет Чехову: «Не ленитесь ради всего святого! Пишите „Обывателей“! Всей душой желаю в первом *моем* номере будущего года поместить Ан. Чехова <...> Отвечайте — как „Обыватели“? Пол-„Севера“ за „Обывателей“!» (*ГБЛ*). «Я не ленюсь, сударь, а я болен, — отвечал Чехов 21 ноября. — <...> Тем не менее сегодня засяду писать для „Севера“». Чехов болел почти весь ноябрь; но как раз в это время здоровье его «пошло на поправку» (письма Чехова Суворину 22 ноября; А. С. Лазарева — Н. А. Лейкину 17 ноября; *ГПБ*), ф. 427, оп. 1, ед. хр. 32). Уже 27 ноября Чехов писал Суворину: «Завтра посылаю рассказ в „Север“». Чехов, как обычно, ошибся на несколько дней в сроках подготовки белой рукописи; она была отправлена Тихонову 30 ноября. «Посылаю Вам маленький, човствительный роман для семейного чтения», — сообщал Чехов в сопроводительном письме. Здесь же он подтверждал, что это тот самый рассказ, о котором шла речь в его прежних письмах.

Около 11 декабря Чехов держал корректуру рассказа (письмо Тихонова от этого числа *ГБЛ*). В корректуру, по сравнению с белой рукописью, были внесены некоторые изменения. Большинство дополнений явно имело своей целью изменить внешность героев по сравнению с их прототипами. Были введены указания на возраст Рябовского («лет 25»), выделены иные черты его внешности («краснощекий», «с голубыми глазами» — в противовес брютету Левитану), дана другая квалификация его как живописца: в рукописи он был пейзажистом, теперь стал еще жанристом и анималистом. Точно так же в самом начале рассказа сделана вставка, указывающая,

что у героини «льняные волосы» (Кувшинникова была, по свидетельству Щепкиной-Куперник, женщиной «смуглым лицом мулатки и вьющимися темными волосами»). Подобная же вставка сделана и в пятой главе рассказа. В рукописи рассказ назывался «Великий человек». Письмом от 14 декабря к Тихонову это заглавие было изменено: «„Великий человек“ мне совсем не нравится <...> Назовите так — „Попрыгунья“».

Новые исправления были внесены в текст при включении рассказа в сборник «Повести и рассказы» (1894). Еще в журнальной корректуре было сделано исправление, касающееся доходов Дымова от частной практики (они были уменьшены с семисот до пятисот рублей в год); в этом же направлении было и изменение в сборнике. При включении в издание Маркса исправления были невелики.

3

Отклики на рассказ были не совсем литературного свойства.

Главные герои были наделены другими внешними данными; вся вторая часть рассказа не соответствовала действительным обстоятельствам (Д. П. Кувшинников был жив, а роман С. П. Кувшинниковой и Левитана далеко еще не окончился); по свойствам личности персонажи явно отличались от своих прототипов. Но черты сходства в глазах современников получили решительный перевес. К ним было приковано всеобщее внимание; их обсуждали, их ставили в упрек автору. Герои «узнали» себя. «Вчера я был в Москве, — писал Чехов Л. А. Авилевой 29 апреля 1892 г., — но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“ („Север“, № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». А. П. Ленский написал Чехову «убийств<енное> письмо, которое не нашлось в чеховском архиве» (А. А. Измайлов. Дела и люди. — ЦГАЛИ, ф. 227, оп. 1, ед. хр. 3, л. 56); Левитан хотел вызвать Чехова на дуэль и на несколько лет прервал с ним общение; Ленский не кланялся с Чеховым восемь лет (М. П. Чехова. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954, стр. 136); навсегда были прерваны отношения и с С. П. Кувшинниковой.

Собственно критических отзывов «Попрыгунья» собрала немного; все они были положительными. Даже критик «Гражданина» М. Южный (М. Г. Зельманов), в эти годы почти все произведения Чехова оценивавший резко отрицательно, в статье, посвященной «Дуэли» и «Жене» (где он объявлял, что эти произведения вызывают «только одно недоумение»), отозвался о новом рассказе вполне благосклонно («Гражданин», 1892, № 21, 21 января). «„Попрыгунья“, несомненно, причислится к жемчужинам между нашими новеллами, — писал С. А. Андреевский. —

Вы не найдете другого рассказа, где бы простота и терпимость благородного, поистине великого человека выступала бы так победно, в таком живом ореоле над нервною ничтожностью его хорошенькой, грациозной и обожаемой им жены» (С. Андреевский. Новая книжка рассказов Чехова. — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января). Об «очень сильном впечатлении», произведенном на него «Попрыгуньей», писал Чехову 9 июня 1897 г. Б. А. Лазаревский (ГБЛ).

20 октября 1892 г. к Чехову по поручению редактора «Оренбургского края» обратился В. Л. Кигн: «Я очень прошу Вас позволить перепечатать <...> Вашу чудесную „Попрыгунью“» (ГБЛ). Чехов позволил; рассказ был перепечатан в «Оренбургском крае» (1893, № 27, 28, 30, 33 от 28 февраля, 2, 7, 14 марта) с сопроводительной заметкой Кигна в № 27 о творчестве Чехова (см. т. VII Сочинение, стр. 623). «„Попрыгунья“, — говорилось в заметке, — ознакомит читателей с талантом ее автора лучше всяких критических разъяснений».

Специальные отзывы были посвящены Дымову. (См., например: Г. П. Задера. Медицинские деятели в произведениях А. П. Чехова. — «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“», 1903, № 10, стр. 322). А. Л. Липовский причислил этого персонажа вместе с Лихаревым, Лаевским, Рагиным к галерее чеховских русских «талантливых неудачников», «лишних людей», продолжающих «развитие знакомых нам типов Чацкого, Онегина, Печорина, Бельтова...» (А. Л. Липовский. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 25).

Рассказ представляет собой гипертекст или «конструктивную пародию» на роман Г. Флобера «Мадам Бовари» и «Анну Каренину» Л. Н. Толстого. Очевидно, не случайно чеховский «Шарль», Осип Дымов оказывается в нем, как мужчина и как личность, не только не хуже мужа Эммы (не говоря уже о ее любовниках Родольфе и Леоне) или толстовского Каренина, но значительно лучше их. При этом не жена, а именно муж погибает в рассказе Чехова в результате ее измены. Так что чеховская «Попрыгунья», как нам удалось показать ранее, представляет собой очевидный, хотя и не бросающийся в глаза сокращенный гипертекст романа Г. Флобера «Мадам Бовари» (1856). См.: Кибальник С. А. Рассказ Чехова «Попрыгунья» как криптопародия на «Мадам Бовари» Флобера // Кибальник С. А. Чехов и русская классика: проблемы интертекста. СПб.: ИД «Петрополис», 2015. С. 87-103.

В другой нашей статье подробно сопоставлены герои, занимающие сходное место в сюжетной-образной системе этих двух произведений: Осип Дымов и Шарль Бовари. Оба они врачи, но чеховский герой как будто бы реализует нераскрытый потенциал, который был заложен в герое Флобера. Это уже не доктор-неудачник, а талантливый врач, обладающий всеми качествами для того, чтобы стать замечательным ученым-медиком. Тем самым Чехов не просто как бы заступает за отнюдь не чужую для него корпорацию медиков.

Благодаря этому, рассказ русского писателя приобретает характер полемической интерпретации романа французского классика. В мнимых исканиях смысла жизни флюберовской Эммы, которыми в «Мадам Бовари» объясняются две ее супружеские измены, Чехов, по-видимому, скорее склонен усматривать эгоизм и безответственность, разрушающие ее семью и приводящие к гибели ее саму.

Одновременно чеховский рассказ является, следовательно, и полемической интерпретацией «Анны Карениной» (1873-1877) Толстого, которая была создана как явный гипертекст романа Флобера (см., например: *Шульц С.А.* «Анна Каренина» Л.Н.Толстого и «Мадам Бовари» Г. Флобера // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2016. Т. 75. № 2. С. 21-25. DOI: 10.31249/litzhur/2020.48.03). Критическая реинтерпретация Чеховым этих двух произведений отчетливо опирается в рассказе на «мораль» Муравья в финале хрестоматийной крыловской басни «Стрекоза и Муравей» (1808), явные отсылки к которой содержат заглавие и текст рассказа. См. об этом подробнее: См.: *Кибальник С.А.* Два доктора: Осип Дымов и Шарль Бовари (*Интертекстуальная структура рассказа Чехова «Попрыгунья»*) // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 187-205. УДК 821.161.1.09“18” DOI: 10.15393/j9.art.2021.9922.

В том, что Ольга Ивановна только думает о смерти, а на деле умирает Дымов, проявляется глубокий сарказм Чехова по отношению к его «Эмме». Русский писатель обращается к фабуле классического романа французского классика как раз для того, чтобы творчески воплотить свое собственное (и отчасти чисто русское) видение подобных историй.

Этот его рассказ — один из наиболее ярких случаев скрытого пародирования Чеховым романа Флобера, о котором Назиров писал: «...у зрелого Чехова появилась редкая в искусстве склонность вуалировать объект пародии. <...> Персонажи “Мадам Бовари” по сей день остаются нераспознанными в рассказах и пьесах Чехова» (*Назиров Р. Г.* Пародии Чехова и французская литература // Чеховиана. Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 52–56). Возможно, в числе прочих исследователь имел в виду и рассказ «Попрыгунья».

По поводу другого чеховского рассказа – «В море» (1883) – Назиров заметил, что Чехов «создал *конструктивную пародию*, т. е. пародию, превышающую задачу осмеяния чужого текста. Перерабатывая рассказ в 1901 году, он полностью снял внешнюю пародийность, потому что стремился к более углубленной критике, осмеивал те ошибочные представления и идеи, которые встречались в мальстреме романа Гюго («Труженики моря» — С.К.)...» (*Назиров Р. Г.* Пародии Чехова и французская литература. С. 52–56).

Очевидно, что нечто подобное Чехов проделал и создавая «Попрыгунью». Это тоже не стилизация, а «конструктивная пародия» на Флобера, задача которой заключается в художественном воплощении собственного видения флюберовского сюжета.

См. также: *Кибальник С.А.* Гипертексты Флобера у Чехова // Литературоведческий журнал. 2021. № 3 (53). С. 100-111. DOI: [10.31249/litzhur/2021.53.06](https://doi.org/10.31249/litzhur/2021.53.06)

Стр. 12. *Счастью не будет конца!* — Возможная лексико-синтаксическая переключка: «...царствию не будет конца!» (Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 33). О близости некоторых ритмико-мелодических фигур прозы Чехова к церковным текстам см.: А. Дерманн. Творческий портрет Чехова. М., 1929, стр. 250—252; он же: О мастерстве Чехова. М., 1959, стр. 123.

Стр. 22. *«Укажи мне такую обитель...»* — Отрывок из стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (у Н. А. Некрасова: «Назови»); с шестидесятых годов XIX в. — популярная в среде демократической интеллигенции песня. По воспоминаниям М. П. Чехова, ее часто пели в кружке врачей Чикинской больницы, где А. П. Чехов в 1883 г. проходил врачебную практику (*Вокруг Чехова*, стр. 138).

Стр. 26. *...потом к Барнаю* — Барнай Людвиг (1842—1924), знаменитый немецкий актер. Гастролировал в России в труппе мейнингенцев в 1890 году, вызывая «энтузиазм и восторг публики, в который он приводил ее своей высокохудожественной игрой» («Петербургский листок», 1896, № 299, 29 октября).

С. 27. — *Этот человек гнетет меня своим великодушием!* – Ср. признание Анны Карениной брату Стиве: «... я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие» (Ч.5, гл. XXI).

С.28...гоголевского *Осипа* — герой «Ревизора» Гоголя.

В УСАДЬБЕ

Впервые — «Русские ведомости», 1894, № 237, 28 августа. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Рассказ связан с замыслом Чехова написать «Историю полового авторитета», о чем сообщалось брату Александру в апреле 1883 года: «Я разрабатываю теперь и в будущем разрабатывать буду один маленький вопрос: женский. Но, прежде всего, не смейся. Я ставлю его на естественную почву и сооружаю: "Историю полового авторитета"» (П. I, 63). Кроме того, можно установить подтекстную связь проблематики рассказа с теорией Ч. Дарвина, которого Чехов хорошо знал: «Читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю» (П. I, 213).

А. С. Лазарев (Грузинский) в своих воспоминаниях «К биографии Чехова» утверждает, что прототипом Рашевича послужил А. С. Киселев, и возводит таким образом рассказ к впечатлениям жизни Чеховых в Бабкине летом 1887 г.: «Судьба дала мне, гостю Бабкина, два-три факта высокой культурности Киселева. Приведу один наиболее яркий из них. Однажды поздно вечером, около полуночи, когда мы с Чеховым уже собирались спать, из киселевского дома вернулась сестра Чехова <...> среди горьких слез Мария Павловна рассказала, что, отвлекшись от пасьянсов, Алексей Сергеевич Киселев почему-то вздумал завести речь о стремлении крестьянских и кухаркиных детей к учению, к гимназиям и с возмущением говорил, что власть склонна им мирволить, вместо того чтобы из школ и из гимназий их гнать... Говорил Киселев все это резко и грубо донельзя. Чтобы подчеркнуть всю прелесть этой выходки представителя высококультурной семьи, нужно вспомнить, что дед Чехова был крепостным у Черткова и что если Киселев даже в точности не знал этого обстоятельства, то вообще не мог не знать происхождения Чеховых из крестьянской среды. Выслушав рассказ сестры, Чехов пожал плечами и сказал с досадой:

— И охота тебе было слушать этого дурака!

Впрочем, если Бегичев дал Чехову темы для двух рассказов, то, мне кажется, тему для одного рассказа дал Чехову и Киселев. Откройте X т. сочинений Чехова, прочтите рассказ „В усадьбе“» (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 329).

В критике рассказ «В усадьбе» вызвал мало откликов. С. А. Андреевский в рецензии на сборник «Повести и рассказы» определил его как «забавную карикатуру ненасытного говоруна» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» отметил «В усадьбе» в ряду других рассказов Чехова, мастерски рисующих «цельные звериные, животные фигуры» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 90). «Такова княгиня („Княгиня“), порхающая „птичка“, в которой даже суровые, жаркие слова доктора не могли пробудить ничего человеческого; или этот Рашевич („В усадьбе“) — „жаба“, каждое слово которого „дышит злобой и комедиантством“ <...> Обратите внимание на эти эпитеты — жаба, хорек, ящерица, птичка, овечьи мысли, гадюка, которыми г. Чехов любит характеризовать подобных персонажей <...> Они стоят ниже этой границы, которая, с точки зрения г. Чехова, отделяет человеческое, осмысленное, разумное от животного, бесцельного, бессмысленного» (стр. 91—92).

Стр. 334-335. *Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не женились чѣрт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение вовсей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились всё совершеннее и выше.* — Рашевич в рассказе показан как вульгарный социал-дарвинист, низводящий сложные вопросы к простым схемам. «Женский вопрос» оказывается по-своему «решен» главным героем рассказа. Свою жену, он по словам молвы, своими разговорами «вогнал в гроб». Две дочери его 24 и 22 лет осознают, что им вряд ли удастся устроить свою личную жизнь.

Стр. 334. — *Для меня не подлежит сомнению, — продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, — что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками...* — Теория наследственности, декларируемая Рашевичем, была распространена до Дарвина и его теории эволюционного развития. Наследственность объяснялась слиянием крови предков. Идея Дарвина о естественном отборе ограничивалась сферой биологической жизни, социал-дарвинисты переносили ее в область социальных отношений.

Стр. 335-336. *В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких*

заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. — Скрытая отсылка в сторону модной проблемы вырождения, намеченной в ряде работ начала 90-х годов позапрошлого века. Наиболее яркое воплощение получила в книге Макса Нордау «Вырождение» (1892). Если Нордау пишет о вырождении в среде европейской художественной интеллигенции, то Рашевич переносит ее на свою излюбленную идею превосходства «белой кости». Фраза про осенних мух, помимо прямого значения, в форме инверсии окликает ставшее крылатым выражение из «Ревизора». По словам Земляники, в богоугодном заведении под его началом больные «все как мухи выздоравливают» (3 д., V явл.). Подробнее см.: Кубасов А.В. Идея «вырождения» в поэтике и криптопоэтике А. П.Чехова // Проблемы исторической поэтики. 2021. № 19(3). С. 373-3986.

Стр. 339. *Явление, достойное пера Фламариона...* — Труды французского астронома Камилла Фламариона были известны в России в многочисленных переводах. Популярностью пользовался также его роман: *В небесах.* (Uranie). Астрономический роман К. Фламариона с 50 рисунками в тексте. Перевел с французского Е. А. Предтеченский. Издание Ф. Павлекова. СПб., 1891. В первых главах романа описывается фантастическое путешествие героя с музой звезд — Уранией — по вселенной. Подробнее см.: Шейкина М. А. «Явление, достойное пера Фламариона...» // Чеховиана. Мелиховские труды и дни. М.: Наука, 1995. С. 118-123.

ИОНЫЧ

Впервые — «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1898, № 9, сентябрь (ценз. разр. 31 августа), стлб. 1—24. Подзаголовок: Рассказ Антона Чехова.

Записи к «Ионычу», в их соотношении с окончательным текстом рассказа, проанализированы в книге: З. П а п е р н ы й. Записные книжки Чехова. М., 1976, гл. 4 — «Зерно и растение».

«Ионыч» — последний рассказ Чехова, в котором врач является заглавным героем. Фабульная основа произведения строится как «рассказ карьеры», которая представлена амбивалентно: как история материального восхождения и одновременной духовной деградации. Рассказ носит суммирующий характер, в нем собраны некоторые детали образа доктора, о которых сообщалось в более ранних произведениях. Так, в рассказе «Что чаще всего встречается в романах повестях и т.п.?» (1880) упомянут доктор, который «часто имеет палку с набалдашником и лысину» (1, 17). В «Ионыче»: «тычет во все двери палкой и говорит»; «нетерпеливо стучит палкой о пол». Давно отмечена связь Дмитрия Ионыча с героем рассказа 1882 года: «Образ доктора Старцева представляется мне дальнейшим развитием и углублением образа доктора Топоркова из раннего рассказа "Цветы запоздалые". У них много общего. Оба — выходцы из народа и сами пробили себе дорогу. Они знают свое дело и готовы работать день и ночь. Но больше всего объединяет их дух стяжательства» (Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. Изд. 3-е, доп. М.: Знание, 1982. С. 70). В свою очередь оба доктора, Топорков и Старцев, совпадают отчасти с одним из прототипов — Захарьиным Г. А. Ср. в «Осколках московской жизни» саркастическую характеристику «ученого миллионера» Г. А. Захарьина с его «классическими сторулевками» («Осколки», 1883, № 37, 10 сентября).

Некоторые исследователи находят в «Ионыче» черты, которые сам Чехов отмечал в быте таганрогских врачей: в письме к М. Е. Чехову от 3 января 1885 г. — «Как врач я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку, в Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты»; в воспоминаниях В. Ленского (В. Я. Абрамовича), относящихся к приезду Чехова в Таганрог в июле 1899 г.: «На вокзале А. П. был очень бодр, оживлен, много говорил, смеялся. Кому-то из врачей шутя сказал: — Литература — невыгодное занятие. Вон у всех таганрогских врачей есть свои дома, лошади, коляски, а у меня ничего нет. Брошу-ка я литературу, займусь медициной...» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 349). Действительно, здесь отмечены некоторые «обязательные» черты преуспеяния практикующего врача, нашедшие место в «Ионыче», но вряд ли можно подобные детали возводить исключительно к таганрогским впечатлениям. Обстановка в «Ионыче» — русская провинция, но в среде московских врачей Чехов также мог черпать материал для будущего рассказа — см., например, в «Осколках московской жизни» саркастическую характеристику «ученого миллионера» Г. А. Захарьина с его «классическими сторулевками» («Осколки», 1883, № 37, 10 сентября).

Стр. 24. *И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными.* — Очевидно, что Старцев — не губернский, а уездный земский врач. Губернский город обозначен буквой С. Уездные земские учреждения по Положению 1890 года наряду с другими содержали участковые врачебные пункты и ветеринарную службу. Общее мнение, признающее молодого врача интеллигентным человеком, является точкой отсчета в истории деградации героя.

Стр. 25. *Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что.* — Вознесение — один из двенадцатых переходящих праздников, отмечается на сороковой день после Пасхи. В год публикации рассказа Пасха отмечалась 18 апреля,

следовательно, первый визит доктора к Туркиным, возможно, состоялся 28 мая. То, что Старцев в этот день принимал больных, а не отдыхал, отражает невысокий уровень его религиозности, а также трудоспособность.

Стр. 28. *Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал: Твой годос для меня, и ласковый, и томный* — Замечание о том, что Старцев после ужина у Туркиных в ресторане выпил пива характеризует его старые студенческие привычки. Ср. в «Скучной истории», где профессор не может простить студенту то, что тот «пиво и оперу любит больше, чем науку» (7, 266). Перефразировка в строке романса А. Г. Рубинштейна на стихи Пушкина значима. «Старцев, воображая себя лирическим героем романсов, проникаясь его чувствами, усваивая его язык, и Котика видит героиней романсов» (Кубасов А.В. Рассказы А.П.Чехова: поэтика жанра. Свердловск, 1990. С. 64–65). Проблема заключается в том, что герои выбирают разные литературные источники для построения своего поведения, что рождает ситуацию непонимания ими друг друга.

Стр. 30. *У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке.* — Фраза прямо отражает рост благосостояния Старцева и косвенно — его недюжинную работоспособность: чтобы земский врач мог содержать пару лошадей и своего кучера, он должен был очень много трудиться.

Стр. 31. *На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хороши и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную.* — Экзистенциальные переживания Страцева передают его нереализованные личностные возможности, его способность, хотя бы «на первых порах», ощутить мир, где «чувствуется присутствие тайны».

Стр. 32. *«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»* — Внутренняя речь героя, передающая самоидентификацию Старцева, его прошлое и настоящее. Известная фраза из письма Чехова А. С. Суворину от 7 января 1889 года: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости» (П.3, 133) и следующее далее продолжение о молодом человеке, который выдавливает «из себя по каплям раба», могут служить контекстом для раскрытия авторской позиции. Рассказ отражает обратный случай — как молодой человек «по каплям» превращается в раба.

Стр. 35. *Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью.* — Старцев формально не сменил статус: он и земский врач, и частно практикующий в том же городе С., так как дважды бывал приглашен как врач Верой Иосифовной.

Стр. 36. *И Старцев избегал разговоров, а только закусьвал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.* — Препоследняя стадия, предвещающая превращение героя в языческого идола.

Стр. 40. *В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем.* — «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?» — Именование героя только по отчеству знаменует, что он уже не «другой», а «свой», такой же, как все. Отчество обретает характер символа.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Впервые — «Русская мысль», 1898, № 12, стр. 189—198. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Неизвестно, связан ли рассказ с каким-либо конкретным фактом. Можно лишь предполагать, что впечатления о фабричной жизни связаны с началом мелиховского периода. «Служил я в земстве, заседал в санитарном совете, ездил по фабрикам — и это мне нравилось», — писал Чехов А. С. Суворину 10 октября 1892 г. Конечно, и до этого, в бытность врачом в Звенигородском уезде, Чехову приходилось бывать на фабриках, но на рассказе «Случай из практики» лежит, кроме того, печать сахалинских впечатлений, ими окрашена разработка темы богатства в приведенной выше первой записи к рассказу в записной книжке. Это заставляет думать, что истоки замысла рассказа связаны с послесахалинским периодом.

Стр. 75. *И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.* — Ординатор — врач, лечащий больных под наблюдением заведующего отделением. Профессор не поехал, видимо, понимая, что с достаточно простым случаем справится молодой доктор.

Стр. 75. *Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них.* — Очевидно, Королев не дворянин, иначе бы он знал деревню по имени, но и не «дьячковский сын», как Старцев. Непосредственное знакомство с фабричной действительностью происходит впервые в жизни Королева. Он является главным субъектом сознания: повествование ведется «в тоне» и «в духе» героя (П 4, 54).

Стр. 76. *Доктора говорят — нервы, но, когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.* — Представлены два диагноза: докторский и поставленный малограмотной гувернанткой. Тот и другой имеют условный характер с точки зрения автора.

Стр. 77. — *А мы к вам, — начал Королев, — пришли вас лечить. Здравствуйте.* — Форма местоимения «мы» употребительна в обращении к детям. Тем самым выражено отношение доктора к Лизе. Обращение контрастирует с первым впечатлением доктора — *Совсем уже взрослая, большая...*

Стр. 77. *Королев осмотрел ее и пожал плечами.*

— *Сердце, как следует, — сказал он, — всё обстоит благополучно, всё в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.* — Лиза, как и Васильев из рассказа «Припадок», мнительный человек, постоянно находящий у себя различные недуги.

— *Полноте, стоит ли плакать?* — *сказал он ласково.* — *Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...*

А сам подумал: «Замуж бы ее пора...» — Королев не может прямо предложить «лекарство», которое помогло бы мнимой больной, поэтому его утешительные фразы фактически ничего не значат.

Стр. 78. — *Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати, — сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.* — Еще один пародийный рецепт, скрывающийся под видом реального. Ландышевые капли, которые вспоминает гувернантка, обладают скрытым травестийным характером. Лиза Ляликова в смысловом отношении отчасти связана с Лизой из «Скучной истории». Та и другая являются вариациями карамзинской «бедной Лизы», страдающими от отсутствия любви. Подробнее см.: *Кубасов А.В. Травестия «бедной Лизы» в рассказах А.П.Чехова // Н.М.Карамзин: русская и национальная литература. Ереван, 2016. С.124-132.*

Стр. 83. *...Меня часто лечат, — продолжала она, глядя себе в колени, и улынулась застенчиво, — я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.* — «бедной Лизе» нужен не доктор, а психолог, но доктор Королев проявляет себя не столько психологом, сколько банальным «учителем», почти что студентом, говоря в качестве примера для подражания о внуках, которые бросят всё и уйдут. При этом куда именно нужно уходить Королев не может сказать: *Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.*

Остров Сахалин (Из путевых записок)

«Остров Сахалин (Из путевых записок)» был впервые напечатан в журнале «Русская мысль» (1893—1894); затем, с дополнением четырех глав, выпущен отдельным изданием (1895) и составил X-й том прижизненного собрания сочинений (изд. А. Ф. Маркса, 1902). По этому последнему авторизованному тексту книга печатается и в настоящем издании, с устранением ошибок — по сохранившимся рукописям и другим источникам.

Очерки «Из Сибири», помещенные в газете «Новое время» и затем самим Чеховым никогда не переиздававшиеся, печатаются по газетному тексту.

1

Замысел поездки на Сахалин не поддается точной датировке и однозначному объяснению. Какое-то время Чехов скрывал даже от родных свое намерение отправиться в далекое, небезопасное путешествие. И у них создалось впечатление, что возникло оно внезапно: «Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно» (*Вокруг Чехова*, стр. 222).

На самом деле решение Чехова ехать на Сахалин не было случайным; оно явилось итогом многолетних раздумий и творческих исканий.

Ко времени сахалинской поездки Чехов был уже автором «Степи», «Припадка», «Именин», «Скучной истории», пьесы «Иванов», шедшей в обеих столицах и многих городах России, водевилей, пользовавшихся большой популярностью. В 1888 г. он получил за сборник «В сумерках» Пушкинскую премию. Но писатель переживал острое чувство недовольства собою, желание запастись новыми впечатлениями. Этим объясняется «бродяжий» образ его жизни в 1887—1889 гг.: то едет он в родные места, в Таганрог, в степь и чувствует себя «чем-то вроде Миклухи-Маклая» (Чеховым, 30 апреля 1887 г.), то путешествует по «гоголевским местам» (на Украине), по Кавказу и Крыму. Возникали новые планы путешествий: в Среднюю Азию, в Персию, в кругосветное плавание. Но, как заметил А. Н. Плещеев, Чехова «больше тянуло не за границу, а на какие-нибудь русские окраины или на восток» (*ЛН*, т. 68, стр. 346).

Сахалинская поездка должна была помочь решить многие конкретные вопросы, которые ставил Чехов еще в ранних произведениях. Автор «Осколков московской жизни», репортажей из зала суда («Дело Рыкова и К^о»), рассказов «Суд», «Случай из судебной практики», «Сонная одурь», «Беда» (1881—1887 г.) присматривался к судебному делу в России. Чехов, студент-медик и врач, участвовал в судебных экспертизах, что дало ему материал для рассказа «Мертвое тело» (1885); в рассказах «Вор» (1883) и «Нытье» (1886) он изобразил жизнь осужденного в Сибири, а в рассказе «Мечты» (1886) воспроизвел раздумья арестанта-бродяги, которому угрожает ссылка в Сибирь. Предметами спора героев «Пари» (1888) были смертная казнь и пожизненность заключения.

Из корреспонденций и писем молодого Чехова видно, что он внимательно следил за судебными процессами: бывшего полицейского Мироновича, помещика Бунакова, купца Шагаева, купца Вальяно (дело о хищениях в таганрогской таможне), Рыкова (дело о хищениях в Скопинском банке) и др. Даже готовясь к поездке, он 23 февраля 1890 г. писал А. С. Суворину о процессе Максименко, обвинявшейся в отравлении мужа.

В письмах Чехов упоминает некоторые прочитанные им специальные работы, например, книги «Судебные ораторы во Франции». М., 1888 (письмо к Ал. П. Чехову от 23 ноября 1888 г.), а незадолго до поездки изучает лекции по уголовному праву (*Вокруг Чехова*, стр. 217).

В сумме «непосредственных толчков» к сахалинской поездке не случаен и тот факт, что Чехов предпринял ее с целью конкретного изучения на месте жизни каторжных и ссыльных в ту пору, когда тюрьмоведы готовились к теоретическим спорам по вопросам ссылки, методов наказания, предупреждения преступлений и т. д. на IV международном тюремном конгрессе, который был назначен на июнь 1890 г. и состоялся в Петербурге.

Решение окончательно созрело, надо полагать, летом 1889 г., когда, после смерти брата Николая, отказавшись от предложенной Сувориным заграничной поездки, Чехов из Одессы и Ялты вернулся в Сумы. Одним из толчков к этому решению могли быть беседы в Одессе в июне 1889 г. с артисткой К. А. Каратыгиной, исколесившей в конце 1870-х годов «всю Россию и Сибирь с Кяхтой и Сахалином» (*ЛН*, т. 68, стр. 578). Чехов сказал ей о своем намерении ехать на Сахалин, предупредив, однако, чтобы она хранила это в тайне. Она сообщила Чехову некоторые сведения о местах заключения и ссылки: Нерчинске, Усолье, Каре, Сахалине. Своими вопросами («когда едете?», «Каким путем решите?»), своими советами, предупреждениями и напоминаниями («Имейте в виду, что в начале сентября прекращается <...> паромное по Амуру и Шилке — сильно мелеют. Подгоняйте же путь») Каратыгина поддерживала замысел Чехова и «подгоняла» его поездку (письма от 14 и 17 января 1890 г. — *ГБЛ*).

Замысел сахалинского путешествия перестал быть тайной для окружающих уже в январе 1890 г. 26 января газета «Новости дня» поместила заметку: «Сенсационная новость. Талантливый А. П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников». Далее автор напоминал (не в пользу русских писателей, сидящих «сиднем») о Золя, изучившем определенные стороны жизни для романов «Жерминаль», «Нана», «Человек-зверь», и Мопассане, добывавшем в самой действительности материалы для произведений «На земле», «На воде», «В воздухе». Рядом с ними он ставил Чехова. «Г. Чехов является, следовательно, во всех отношениях исключением. Во всяком случае это первый из русских писателей, который едет в Сибирь и обратно» (1890, № 2359, 26 января).

Предстоящая поездка у одних вызвала недоумение или иронию, у других — сочувствие и поддержку. Сам же Чехов до поры до времени не раскрывал ее подлинных причин и большей частью отшучивался: «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора» (С. Н. Филиппову, 2 февраля 1890 г.). Однако многие его корреспонденты догадывались о серьезных намерениях и высказывали свои надежды на плодотворные результаты путешествия. «Это уже не вычеркнутый год, нет, — возражал Филиппов. — Это год, помноженный на 10. Сколько впечатлений, встреч, нервной жизни, счастливых моментов, скуки и неприятностей! Для творческой природы художника, как Ваша, это чудный водоворот, который освежит, наполнит, даст чудотворный толчок для дивного творческого создания <...> Я верю, что Вы вывезете из поездки пропасть прелестных замыслов, идей, образов. Сразу получить это богатство! Согласитесь, это не Крым и не поездка по Волге. Совсем, совсем новые условия всего, иные люди, новые нравы <...> Вам можно лишь позавидовать!» (4 февраля 1890 г. — *ГБЛ*). В. А. Тихонов писал Чехову 8 марта 1890 г., что он искренно радуется за него, «за всех читателей и почитателей» Чехова и благословляет судьбу, давшую ему «возможность сделать этот далекий и занимательный вояж» (*Записки ГБЛ*, вып. VIII, стр. 66). Через 10 дней П. М. Свободин передавал в письме слова «одного литератора»: «Что за дикая фантазия <...> непременно ехать изучать каторжников, точно нет ничего на белом свете достойного изучения, кроме Сахалина?» Сам же Свободин возражал этому литератору. «Не весь же путь составят каторжники, много и кроме тех несчастных попадет на громадном пути к Сахалину. С богом, с богом, Antoine! Добрый путь! Берите всё, что может взять Ваш цветущий запас таланта и молодости» (18 марта 1890 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 219—220). И. Л. Леонтьев (Щеглов) считал, что поездка на Сахалин — это «очень хорошо и дельно придумано. <...> Раз Вы опишете Ваше путешествие не мудрствуя лукаво, с присущей Вам наблюдательностью и

остротой, то будет уже громадная заслуга перед обществом, и книга должна получиться захватывающего интереса и поучительности. Помимо этого, узнав чуть не $\frac{3}{4}$ России, Вы в Ваших творческих работах будете иметь уже ту живую руководящую нить, без которой все мы выглядим по справедливости какими-то недоучившимися и немогузнайками» (20 марта 1890 г. — *ГБЛ*). Почти через месяц после этого письма Вл. И. Немирович-Данченко предсказывал, что сахалинское путешествие явится поворотом в творческой биографии Чехова: «Ваша поездка возбуждает большие ожидания. Вы приготовили себе отличную почву для нового периода Вашей деятельности» (15 апреля 1890 г. — «Ежегодник МХТ», 1944, т. I. М., 1946, стр. 95).

Как ни скрывал Чехов свои планы и намерения («Еду я за пустяками»; «Нет у меня планов ни гумбольдтовских, ни даже кеннановских» — Суворину, 9 марта 1890 г.), в его письмах прорывались истинные причины поездки: заняться серьезным трудом, запастись новыми впечатлениями, найти ответ на жгучий вопрос современности — что делать? «Если бы, — писал он 22 марта 1890 г. Леонтьеву (Щеглову), — <...> мы знали бы, что нам делать, <...> Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранцевич не хандрил бы, и нам бы не было так скучно и нудно, и Вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин».

Однажды, возражая Суворину («Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и не интересен»), Чехов выдвинул едва ли не самый главный мотив своей поездки: «Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов <...>. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. <...> Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведаы должны глядеть в частности на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски...» (9 марта 1890 г.).

На передний план выдвигалась гражданская цель, личная ответственность писателя, обязанного возбудить к Сахалину внимание в обществе.

2

Чехов предвидел ожидающие его опасности и лишения. «Прощай и не поминай лихом. Увидимся в декабре, а может быть, и никогда уж больше не увидимся» (Р. Р. Голике, 31 марта 1890 г.). «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну <...> В случае утонутья или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что всё, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре» (Суворину, 15 апреля 1890 г.). В очень важном для него письме — В. М. Лаврову — Чехов писал: «Я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уже не вернусь...» (10 апреля 1890 г.).

Очень беспокоило Чехова то, что он не достигнет своей цели — всестороннего изучения каторжного острова, если не запасется официальным разрешением. Реальным основанием для такого беспокойства были доходившие из Сибири и с Сахалина сведения (печатные и устные) о настороженном приеме сибирскими властями Гумбольдта, аресте в Сибири Кеннана и Фроста, о запрещении очерков Кеннана, о надзоре за корреспондентами дальневосточных газет: «До сих пор сахалинская администрация <...> учреждала тайный надзор за <...> „подозрительными корреспондентами“» (М. Иронов. О положении ссыльнопоселенцев на острове Сахалине. — «Владивосток», 1889, № 47, 19 ноября).

Чехов попытался получить разрешение от начальника Главного тюремного управления М. Н. Галкина-Враского и обратился за содействием к баронессе В. И. Иксуль де Гильдебанд. В Саратовском областном архиве сохранилось ее письмо к Галкину-Враскому от 10 января 1890 г. (ф. 1221, оп. 1, ед. хр. 283, лл. 1—2). Через 10 дней после этого письма Чехов посетил Галкина-Враского и сначала устно, а затем письменно изложил просьбу оказать ему «возможное содействие» во время поездки «с научною и литературною целями в Восточную Сибирь» и на Сахалин (20 января 1890 г.). По-видимому, начальник Главного тюремного управления обещал содействие, потому что в письме к брату Михаилу Павловичу от 28 января 1890 г. Чехов сообщал: «С Галкиным-Враским всё уже улажено». Впрочем, уже в феврале и позднее он жалел о «визитах своих к Галкину» (А. Н. Плещееву, 10 февраля 1890 г.), так как никакой реальной помощи от него не увидел. «Пришлось действовать на собственный страх» (Суворину, 11 сентября 1890 г.).

О других рекомендациях сам Чехов не заботился, но друзья и знакомые по своей инициативе стремились снабдить его ими, чтобы облегчить путь на Сахалин и пребывание на острове; круг лиц, узнававших о предстоящем путешествии, ширился. М. Д. Федорова, сотрудница журнала «Северный вестник», 10 января 1890 г. (по просьбе издательницы журнала А. М. Евреиновой) рекомендовала «одного господина», недавно вернувшегося из Сибири: «Это некто Птицын: он может дать Вам много дельных указаний и снабдит Вас письмами, если пожелаете» (*ГБЛ*). К этой записке было приложено письмо В. Птицына, автора известной Чехову статьи «Тюрьмы

Приленского края» («Северный вестник», 1889, № 12; в «Списке» № 13), к Евреиновой: «Многие сибиряки, узнавши о намерении Чехова ехать в Сибирь, предлагают дать ему рекомендательные письма в Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Читу, Кяхту и на Амур; с ними, т. е. с рекомендательными письмами, его везде встретят, по крайней мере в смысле гостеприимства, с объятиями, и всё расскажут ему по части природы, людей и пр. (11 января 1890 г. — *ГБЛ*).

М. В. Киселева просила своего зятя, сенатора Б. Я. Голубева, дать Чехову рекомендательное письмо к представителю Добровольного флота богатому сибирскому предпринимателю М. М. Зензинову (28 января 1890 г.). Каратыгина сообщала Чехову 1 марта 1890 г., что без его ведома взяла на себя смелость добыть рекомендации в некоторые точки сибирского и дальневосточного царства (*ГБЛ*). Визитная карточка «сибирского царька» М. Д. Бутина, золотопромышленника, присланная Каратыгиной позднее, сохранилась в архиве Чехова. На ней обращение к Н. Д. Бутину: «Рекомендую Антона Павловича Чехова, с которым прошу поделиться сведениями о Забайкалье. М. Бутин. 18 июля 1890 г.» (*ГБЛ*). 28 марта 1890 г. Каратыгина писала Чехову: «Если захотите хотя денька два пробыть в Екатеринбурге, поезжайте к Кнелинину (Николай Андреевич). Лицо почетное в городе (бывший почетный мировой судья, любитель театра и старожил), будет полезен» (*ГБЛ*). С просьбой оказать Чехову помощь она обратилась в Иркутск и, получив в ответ телеграмму («Рады быть полезными. Федоровы»), отправила ее Чехову с таким пояснением: «Алексей Васильевич Федоров, военный начальник юнкерского училища...» (*ГБЛ*).

К. Ф. Виноградов, главный военно-морской прокурор, с которым Чехов познакомился в 1888 г., просил написать, не нужна ли его помощь. К этому письму Виноградов прилагал свою визитную карточку для прокурора во Владивостоке И. М. Захаревича, в которой он рекомендовал «друга своего Антона Павловича Чехова», а также письмо А. Воеводской от 24 марта 1890 г., где она просила передать Чехову визитную карточку капитана клипера «Наездник» С. А. Зорина; он «очень хорош» с начальником Корсаковского округа на Сахалине И. И. Белым (11 апреля 1890 г. — *ГБЛ*).

Некоторые рекомендации приходили с запозданием, когда Чехов был на пути в Сибирь. Так, Р. Чагин в письмах от 18 и 22 апреля 1890 г. передавал просьбу В. Г. Короленко «не обойти шалаша его», если будет проезжать Нижний. «Как человек, проживший много лет в Сибири, он, Короленко, мог бы быть полезен Вам как своими указаниями, так и рекомендацией к тамошним своим знакомым, которых у него много». Короленко просил также написать Чехову, что не дурно было бы иметь от Галкина-Враского какое-либо назначение, высказанное в официальной бумаге, например, исследовать (в качестве доктора) быт тюрем «с гигиенической точки зрения» (*ГБЛ*).

И. П. Чехов писал сестре 11 мая 1890 г.: «Каратыгина просит сообщить Антоше адрес ее знакомого в Хабаровске — Леопольда Бацевича, чиновника особых поручений при генерал-губернаторе (Приамурского края); она полагает, что сей Бацевич очень и очень пригодится Антоше» (*ГБЛ*).

У Чехова не было недостатка в доброжелательных советах и рекомендациях частных лиц. Но официальной бумаги к приамурскому и сахалинскому начальству все же получить не удалось. Именно это имел он в виду, когда сообщал Суворину 15 апреля 1890 г., что «вооружен одним только паспортом» и потому «возможны неприятные столкновения с предержавшими властями». В тот же день, впрочем, в его руках оказался другой документ — от редакции газеты «Новое время»: «Предъявитель сего Антон Павлович Чехов отправляется корреспондентом “Нового времени” в разные места России и за границу» (*ГБЛ*). За этот документ Чехов благодарил Суворина в письме от 18 апреля 1890 г., понимая, однако, что он не может заменить официальной рекомендации.

Отправление в путь было намечено на апрель 1890 г. — время начала навигации по Волге, Каме и сибирским рекам.

С января до последнего предотъездного дня Чехов был занят тщательным изучением специальной литературы, разнообразных трудов по истории русской и зарубежной тюрьмы и ссылки, истории колонизации Сахалина. Он знакомился с работами исследователей острова: ботаников, зоологов, геологов, этнографов, юристов, тюрьмоведов, медиков, с книгами путешественников, перечитывал произведения русских писателей о каторге и ссылке, просматривал журнальные, газетные статьи, корреспонденции о Сахалине, официальные отчеты Главного тюремного управления и т. д. Книги и журналы присылали ему из книжных магазинов и складов, из личных библиотек Суворин, А. И. Сумбатов, А. Ф. Зандрок, К. А. Скальковский, К. Ф. Виноградов. Карту Сахалина Чехов купил в магазине Ильина, считал ее хорошей, но для сравнения с нею попросил еще скопировать сахалинскую карту из Атласа Крузенштерна (Суворину, между 19 и 21, 28 февраля 1890 г.).

Готовясь к поездке, Чехов начал создавать перечень прочитанных книг. Сохранилась тетрадь, озаглавленная «Литература» (*ЦГАЛИ*). В ней значится 65 работ (см. «Список...», раздел I). В пору дальнейшей подготовки к

путешествию и после него, в процессе работы над книгой «Остров Сахалин», эта библиография увеличилась более чем в 2 раза.

65 названий в тетради расположены не по хронологическому и не по тематическому принципу, а скорее всего в последовательности знакомства писателя с этими работами, о чем свидетельствуют его письма первой трети 1890 года. Далеко не все работы, обозначенные в «Списке...» и использованные затем в книге (см. примечания), упомянуты в письмах, но порядок их следования в «Списке...» почти полностью совпадает с последовательностью упоминаний в письмах. Первыми названы воспоминания В. А. Римского-Корсакова, опубликованные в «Морском сборнике» (этим журналом Чехов занимался еще в Петербурге в январе 1890 г.); последней обозначена книга О. Пешеля «Народоведение», первые выпуски которой (в русском переводе 1890 г.) Чехов взял с собой на Сахалин (см. письмо Чехова к Суворину от 20 мая 1890 г.).

Видимо, в то время, когда Чехов, по его словам, отходил «от изящной словесности», так как голова была «настроена на сахалинский лад», когда он, отказавшись от общения со знакомыми, сидел «безвыходно дома» и читал книги, из которых «узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей» (Суворину, 9, 15, 24 марта; Леонтьеву-Щеглову, 16 марта; Тихонову, 3 марта; М. И. Чайковскому, 16 марта 1890 г.), уже начал определяться своеобразный жанр будущей книги — научного и художественного исследования. Возникла мысль иллюстрировать книгу, отправившись на Сахалин с художником. И. И. Левитан поехать не смог. А. А. Сахаров заразился было этой чеховской идеей, но и его поездка не состоялась (см. его письмо Чехову от 21 марта 1890 г. — *ГБЛ*).

3

К концу января 1890 г. был разработан маршрут: р. Кама, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, р. Амур, о. Сахалин, Япония, Китай, Коломбо, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, Москва (см. письмо к Ал. П. Чехову от 28 января 1890 г.). Этот маршрут отец Чехова внес в свою записную книжку. Ко времени отъезда из Москвы маршрут уточнялся. Предположено было ехать до Нижнего Новгорода по железной дороге, затем по Каме до Перми; поездом до Тюмени, оттуда на пароходе до Томска, затем на лошадях через Красноярск, Иркутск в Сретенск; на пароходе по Амуру до Николаевска, два месяца на Сахалине; возвращаться через Нагасаки, Шанхай, Ханькоу, Манилу, Сингапур, Мадрас, Коломбо (на Цейлоне), Аден, Порт-Саид, Константинополь в Москву (Леонтьеву-Щеглову, 16 марта 1890 г.).

Однако за день до отъезда, 18 апреля 1890 г., Чехов сообщил Суворину, что едет по железной дороге не до Нижнего Новгорода, а до Ярославля, чтоб больше «захватить Волги», которая, «говорят, очень хороша».

В Москве на Ярославском вокзале 19 апреля Чехова провожали мать, сестра, Левитан, Кувшинниковы; до Троице-Сергиевой лавры — брат Иван Павлович. В Ярославле встретил его знакомый студент-юрист, поэт И. Я. Гуриянд. До Костромы на пароходе «Александр Невский» ехала одновременно с ним О. П. Кундасова.

В конце апреля на Волге шли дожди, и ожидаемого наслаждения на пароходе Чехов не получил, хотя в немногие солнечные часы и волжские просторы («раздолье удивительное!»), и Плес, «в котором жил томный Левитан», и Кострома показались ему привлекательными (Чеховым, 23 апреля 1890 г.).

Проехав Нижний Новгород, Чехов в Казани (23 апреля) пересел на пароход, на котором плыл 5 дней сначала по Волге, затем по Каме до Перми. (Кстати говоря, название этого парохода не «Пермь», как ошибочно указывалось ранее, а «Михаил» — в *ТМЧ* сохранился счет Чехову содержателя буфета парохода «Михаил» 23, 24, 25, 26 и 27 апреля 1890 г.). Во время путешествия по Каме было «адски холодно», спутники оказались людьми неинтересными, Чехов проскучал весь этот отрезок пути (Чеховым, 24, 29 апреля 1890 г.).

В Пермь Чехов прибыл 27 апреля 1890 г. в 2 ч. ночи и до отхода поезда (в 6 ч. вечера) провел в городе. А. И. Чайкин (1866—1950), артист и журналист, сопровождал его по Перми и Мотовиловскому заводу (*ЛН*, т. 68, стр. 288).

От Перми до Екатеринбурга Чехов ехал по железной дороге. С 28 апреля по 2 мая он жил в екатеринбургской «Американской гостинице» П. В. Холкина (даты уточнены по счету, предъявленному Чехову 2 мая 1890 г. содержателем гостиницы, — *ТМЧ*). Здесь он, по просьбе матери, встретился со своим родственником А. М. Симоновым (Чеховым, 29 апреля 1890 г.). Пришлось из-за нездоровья задержаться здесь, несколько дней употребив «на починку своей кашляющей и геморройствующей особы» (Чеховым, 14 мая 1890 г.). Позднее в разговоре с доктором И. Н. Альтшуллером Чехов связывал начало своего заболевания туберкулезом с поездкой на Сахалин, когда у него «еще по дороге туда случилось кровохарканье» (*ЛН*, т. 68, стр. 689).

Другой причиной задержки Чехова в Екатеринбурге было ожидание ответа на телеграмму, посланную им в Тюмень пароходству Курбатова, в которой он просил сообщить о начале навигации на сибирских реках. От этого

ответа зависело, как продолжать путь: плыть ли на пароходе (как предполагалось ранее) от Тюмени до Томска, или же ехать на лошадях. Из Тюмени Чехову телеграфировали, что первый пароход в Томск пойдет 18 мая; решено было «скакать на лошадях» (Суворину, 20 мая 1890 г.).

Из Екатеринбурга Чехов выехал на поезде 2 мая 1890 г. и на другой день был в Тюмени, откуда началось его «конно-лошадиное странствие», на вольных и почтовых, по «убийственным» сибирским дорогам, на которых он вел, по его словам, отчаянную войну со холодом, с разливами рек, с невылазной грязью, с голодом, с желанием спать.

В Западной Сибири весна еще не началась. Дул резкий ветер, моросил «противнейший дождишко». Приходилось из-за разлива рек (Иртыша, Оби, Томи) менять повозку на лодку, делать остановки на берегу, ждать рассвета в одиноких избушках или плыть под дождем и ветром. То и дело на реках и дорогах подстерегали опасности. В ночь на 6 мая тарантас Чехова столкнулся со встречными тройками; 7 мая с риском для жизни ехали по затопленным лугам у разлившегося Иртыша; 14 мая он переправлялся в непогоду в почтовой лодке на другой берег Томи, и лодку чуть не опрокинуло.

Несмотря на тяжкие условия, Чехов ловил моменты, чтобы вести свой дорожный короткий «дневник карандашом» (Суворину, 20 мая 1890 г.) — заготовки к «субботникам», дорожным очеркам, которые он обещал Суворину для «Нового времени».

В Томск Чехов приехал 15 мая вечером. Здесь он встречался с ординатором клиники медицинского факультета Томского университета Н. М. Флоринским, с архитектором С. М. Владиславлевым (сыном московского оперного артиста М. П. Владиславлева), с редактором газеты «Сибирский вестник» В. П. Картамышевым и с некоторыми сотрудниками этой газеты — «любителем литературы», приставом П. П. Аршауловым и Всеволодом Сибирским (Долгоруковым).

«Сибирский вестник» информировал томичей о приезде Чехова не совсем точно: «Утром 16 мая в Томск из Омска приехал известный русский писатель Антон Павлович Чехов, автор драмы „Иванов“. Здесь он пробудет несколько дней» (1890, № 55, 18 мая).

Вс. Сибирский (Долгоруков) вспоминал: «... отправляясь на Сахалин, он <Чехов> остановился по дороге в Томске <...> где и пробыл несколько дней. Кружок пишущей братии в Томске в то время был очень тесен; издавалась одна газета — „Сибирский вестник“<...> В кругу-то его и нескольких сотрудников „Сибирского вестника“, в числе которых был и я, пишущий эти строки, А<нтон> П<авлович> и проводил всё время. Раза два мы вместе обедали, вели дружные беседы, хлопотали о покупке А. П. дорожного экипажа для дальнейшего пути и т. д. Мягкая, симпатичная личность А. П. сразу привлекла к нему, и он скоро завоевал симпатию каждого из нас. Шутя он говорил: „еду делать двугривенные“. Он отправился на Сахалин в качестве корреспондента „Нового времени“ и, говоря, что будет делать двугривенные, объяснял затем, что ему А. С. Суворин (издатель „Нового времени“) будет платить по 20 коп. за печатную строку <...> Антон Павлович тогда выглядел вполне здоровым человеком, полным сил и энергии» («Сибирский наблюдатель», 1904, № 7—8, стр. 216—217).

В Томске Чехов начал оформлять «дорожные впечатления» (Чеховым, 20 мая 1890 г.). «Свои путевые заметки писал я начисто в Томске при сквернейшей номерной обстановке» (Суворину, 20 мая 1890 г.). Отсюда он послал шесть глав и здесь писал главу седьмую очерков (судя по дате, обозначенной в «Новом времени», 18 мая).

21 мая Чехов выехал из Томска. Через 6 дней в «Сибирском вестнике» была помещена заметка: «Известный писатель и врач Антон Павлович Чехов, пробыв в Томске несколько дней, отправился в дальнейший путь — в Восточную Сибирь. А. П. Чехов намерен посетить Иркутск, Владивосток и остров Сахалин. На последнем он рассчитывает пробыть месяца два. В Россию вернется морским путем» (1890, № 59, 27 мая).

Из Томска до Иркутска Чехов добирался две недели через Мариинск (25 мая), Ачинск (27 мая), Красноярск (28 мая), Канск (29 мая). 2000 с лишним верст он ехал по «ужасной запущенной дороге», «полоскался в грязи», задерживался на станциях по 10—15 часов из-за поломок своей коляски, много верст шел пешком.

4 июня вечером Чехов прибыл в Иркутск и остановился в «Амурском подворье», в «приличном номере» (Плещееву, 5 июня 1890 г.). В Иркутске он познакомился с редактором-издателем газеты «Восточное обозрение», политическим ссыльным И. И. Поповым (в архиве Чехова сохранилась визитная карточка Попова, датированная 15 января 1904 г., на которой он, возвращаясь из-за границы через Москву в Сибирь, писал, что хочет попасть на первое представление «Вишневого сада» — ГБЛ) и с писателем-сибиряком В. М. Михеевым.

В дни пребывания Чехова в Иркутске в «Восточном обозрении» была напечатана заметка: «На этой неделе приехал в Иркутск и пробыл здесь несколько дней А. П. Чехов, молодой русский беллетрист, известный городской публике как автор остроумных водевилей и драмы „Иванов“, дававшихся в минувшем сезоне на сцене городского театра⁴. А. П. Чехов отправляется на Сахалин (куда он послан в качестве наблюдателя жизни и нравов редакцией одной большой петербургской газеты)» (1890, № 22, 10 июня).

В Иркутске у Чехова возникла мысль изменить маршрут: из Хабаровска ехать не в Николаевск, а по Уссури до Владивостока (Чеховым, 6 июня 1890 г.). Но он оставил ранее намеченный маршрут. Прожив в Иркутске неделю (в *ТМЧ* сохранился счет гостиницы), Чехов 11 июня выехал к Байкалу, намереваясь из Лиственничной отправиться на пароходе через озеро до станции Боярской и далее продолжать путь на лошадях до Сретенска. Но пришлось задержаться на первой же станции вблизи Иркутска (не дали лошадей). И когда Чехов и его спутники (поручики Шмидт и Меллер, ученик Иркутского технического училища, впоследствии сотрудник местных газет — И. А. Никитин) добрались до Лиственничной, оказалось, что пароход ушел, и нужно ждать его несколько дней (Чеховым, 13 июня 1890 г.), решили рискнуть: на случайном пароходе поплыли до станции Ключево, оттуда шли пешком до станции Мысовой 8 верст и до Боярской добирались на лошадях. Наступил последний этап двухмесячного «конно-лошадиного странствия» (от Тюмени более 4000 верст) — до Сретенска, куда Чехов и его спутники прибыли за час до отхода парохода «Ермак» утром 20 июня 1890 г.

Несмотря на пережитые трудности и волнения (реальной была опасность не попасть на пароход 20-го и ждать следующего рейса до 30 июня), Чехов был очень доволен. Он находился под сильным впечатлением от живописных берегов Ангары, зеркального, «нежно-бирюзового» Байкала, реки Селенги («сплошная красота»), Забайкалья («превосходный край», «смесь Швейцарии, Дона и Финляндии») и жалел, что Левитан не поехал с ним (Чеховым, 13 и 20 июня; Плещееву, 20 июня 1890 г.; Лейкину, 20 июня 1890 г.).

По дороге, в Верхнеудинске, Чехов встретился с местным врачом, исследователем-краеведом — другом П. Ф. Якубовича (Мельшина), Н. В. Кирилловым, которого знал еще в Московском университете (об этой встрече Кириллов упоминал в письме к К. П. Козину от 8 сентября 1890 г. См.: Е. Дмитриев. А. П. Чехов в Забайкалье. — Альманах «Забайкалье», 1954, № 7, стр. 206—207).

17 июня Чехов приехал в Читу (остановился в «Даурском подворье»), но пробыл там всего лишь несколько часов. В Нерчинске он также останавливался только на один день (19 июня). Здесь в гостинице «Даурия» Чехова посетил сибирский журналист И. В. Богашев (1843—1917). В дневнике Богашев записал 20 июня 1890 г.: «Вчера у Мокеева (содержателя „Даурии“) познакомился с беллетристом г. Чеховым, он едет на Сахалин. Ночевать не стал, боится не попасть на пароход. Человек любознательный, не чета чиновникам. Спрашивал о Нерчинске и Каре, о врачах, удивился, что здесь есть музей. Мокеев — старая лиса, всех проезжающих называет „ваше превосходительство“, и никто не возражает, только г. Чехов ему по поводу себя сделал замечание» («Забайкалье», 1954, № 7, стр. 208).

На пароходе «Ермак» Чехов плыл 20—25 июня по Шилке и Амуру до Благовещенска, мимо Усть-Кары, где высадили несколько человек каторжных (Чеховым, 20 июня 1890 г.). Вблизи станции Покровская, где Шилка, сливаясь с Аргунью, переходит в Амур, «Ермак» налетел вечером 20 июня на камень и сел на мель. «Починялись» дня два. На остановках и в пути Чехов любовался «удивительной природой» «чрезвычайно интересного» Амурского края и прислушивался к деловым беседам русских купцов, золотопромышленников и к политическим разговорам пассажиров: подсмеиваются над русскими властями, не умно и не расчетливо забывшими об Амуре, обсуждают инциденты в Усть-Каре и др. (Чеховым, 21, 23—26 июня; Суворину, 27 июня 1890 г.). Едва ли можно сомневаться в том, что один из этих инцидентов — нашумевшее столкновение заключенных с начальством в Карийской тюрьме, происшедшее незадолго до путешествия Чехова. Обсуждение карийского инцидента могло привлечь внимание Чехова и потому, что одна из пострадавших — Надежда Сигида (Малаксианова), покончившая самоубийством, была знакома Чехову по Таганрогу. Она, как и ее брат (также таганрожец) Аким Сигида (умер по дороге на Сахалин в 1890 г.), была осуждена в 1888 г. за устройство «в Таганроге для целей противоправительственной пропаганды тайной типографии». В доме № 64 по Полицейскому переулку, где была конспиративная квартира членов «партии народной воли», хранились снаряды (*ЦГАОР*, ф. 102. Дело департамента полиции. V производство, лл. 1, 4, 30). О другом «политическом», находившемся в ссылке до сентября 1890 г., П. Ф. Якубовиче (Мельшине), Чехов узнал во время сибирской поездки от революционного соратника Якубовича — И. И. Попова (в Иркутске) и от друга Якубовича, Кириллова (в Верхнеудинске).

В Благовещенске Чехов пересел на пароход «Муравьев» (в отчетах правления товарищества Амурского пароходства название его: «Муравьев-Амурский». — *ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 702, оп 2, ед. хр. 534, л. 120; в архиве *ТМЧ* сохранились счета из буфета парохода «Муравьев-Амурский» от 27, 30 июня и 1 июля). Плыл Чехов по Амуру в одной каюте с китайцем Сун Ло-Ли. 30 июня пароход сделал остановку в Хабаровске (здесь в военном собрании Чехов читал «последние газеты»).

5 июля 1890 г. Чехов прибыл в Николаевск. Гостиницы в городе не оказалось, и, осмотрев город, отдохнув в общественном собрании, Чехов отправился на пароход «Байкал», на котором провел почти двое суток в ожидании отхода его через Татарский пролив на Сахалин. 8 июля «Байкал» снялся с якоря и пошел к устью р. Дуйки.

11 июля Чехов ступил на сахалинскую землю в двух верстах от Александровского поста — в Александровской слободке.

В тот же день он послал родным телеграмму: «Приехал. Здоров. Телеграфируйте на Сахалин». Родные, друзья и знакомые с большим вниманием и интересом следили за сибирским путешествием Антона Павловича. В доме Чеховых висела карта Сибири и Дальнего Востока. Друг другу передавали содержание писем Чехова с дороги. Отец писал на Сахалин: «Если ты уже там, то поздравляю тебя с приездом. Дай бог тебе начатое дело совершить с пользой и возвратиться благополучно домой». И тут же с горечью констатировал: «Во всех газетах об тебе ни слова не пишут, а казака Пешкова возвеличивают за его подвиг» (*ГБЛ*). Павел Егорович был не совсем точен: некоторые газеты откликнулись на путешествие Чехова (см. наст. том, стр. 750—751, 762, 764—765). Но репортеры выражали неумеренные восторги «подвигом лихого амурского казака», проехавшего верхом на своей лошади от Благовещенска-на-Амуре до Москвы и Петербурга (7 ноября 1889 г. — 26 мая 1890 г.). Этому путешествию был придан верноподданнически-патриотический смысл, им заинтересовались и военный министр, и великий князь Александр Михайлович, и приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф, который обратился с просьбой к местным властям Омска, Казани и других городов оказать Д. Н. Пешкову содействие. Пешков был награжден орденом; по дороге в его честь давали обеды; в Москве торжественно встречали у Рогожской заставы, в Петербурге — у Средней рогатки («Енисейский справочный листок», 1890, №№ 19, 21, 23 и 27 мая; «Восточное обозрение», 1890, № 1, 1 января; № 16, 22 апреля).

Еще на катере, доставившем Чехова с парохода «Байкал» на «сахалинскую почву», он познакомился с первым местным чиновником, поэтом Э. Дучинским, а в Александровской слободке — с поселенцем Г. Т. Петровским, с лавочником, бывшим офицером К. Х. Ландсбергом, в Александровском посту — с доктором Б. А. Перлиным, в квартире которого поселился вечером того же дня (19 июля переехал к Д. А. Булгаревичу — казначею канцелярии начальника острова, у которого жил до отъезда на Южный Сахалин 10 сентября).

12 июля Чехов был с визитом у начальника острова, генерала В. О. Кононовича, который обещал ему «полное содействие», а через неделю (19—22 июля) присутствовал при торжественной встрече в Александровском посту начальника Приамурского края генерал-губернатора барона А. Н. Корфа, при осмотре им тюрем и поселений, на обеде, данном в его честь, где писатель познакомился «почти со всею сахалинскою администрацией».

22 июля Чехов был представлен Корфу. Беседа (в присутствии Кононовича) продолжалась «около получаса». Получив от Чехова отрицательный ответ на вопрос, имеется ли у него официальное поручение от газеты или научного общества, Корф разрешил ему «бывать где и у кого угодно», осматривать тюрьмы и поселения, но с одним ограничением: не общаться с политическими ссыльными. 23 июля Чехов вновь посетил Корфа, который изложил ему свой взгляд на сахалинскую каторгу и предложил записать с его слов «Описание жизни несчастных». В этот же день в «Аттестате» Чехова и в книге № 88 Александровского окружного управления появилась сахалинская отметка: «явлен июля 23 дня 1890 г.» (*ГБЛ*).

С этого дня началась напряженная работа Чехова на Сахалине: в течение трех месяцев он сделал перепись сахалинского населения, которую предпринял, главным образом, для того, чтобы иметь возможность зайти в каждую избу, в каждую тюремную камеру, поговорить с каждым каторжным и поселенцем, увидеть своими глазами условия жизни, узнать биографии сахалинцев, получить данные об их правовом положении, семейных отношениях, характерах, настроениях, о положении женщин и детей.

В чеховских архивах сохранились карточки-анкеты (вопросы и их последовательность были разработаны самим писателем): 7600 с лишним — в *ГБЛ* и 222 — в *ЦГАЛИ*. Некоторые карточки, по-видимому, утеряны: нет Егора Ефремова, которому Чехов посвятил главу VI, Софьи Блювштейн (Соньки-Золотой ручки), М. Дмитриева (ссыльнокаторжного поэта), С. Каратаева (садовника у смотрителя в Дербинском), Прохорова (Мыльников), при наказании которого присутствовал Чехов, и некоторых других, названных в очерках. На иных карточках сведения не полны.

Во время переписи Чехов редко прибегал к чужой помощи, но всё же в ряде карточек записи сделаны не его рукой. Это большей частью те немногие карточки, которые заполнялись на Южном Сахалине не со слов сахалинцев, а по данным подворных описей и исповедных церковных книг, в селениях, куда Чехов не попал (см. стр. 125, 198). На некоторых карточках в скобках вопросительные знаки, иногда дополнительные замечания: «пришла за мужем», «пришел за женой», «муж уехал в Николаевск», «живет у Наитаки» и др.

На Сахалине Чехов изучал также быт, нравы местных чиновников: от начальника острова до канцелярских служащих, от окружных начальников до надзирателей и солдат, от заведующего медицинской частью до фельдшеров. Он всесторонне исследовал каторжный остров: состояние сельскохозяйственной колонии, виды принудительного труда, наказаний, состояние тюрем, школ, больниц. Ничто не ускользнуло от внимательного

взгляда: пища, одежда, гигиенические условия жилищ, игры детей, любовные истории, свадьбы и похороны, климат, промыслы, официальная отчетность и т. д.

Опасения, которые были у Чехова еще до отъезда (когда он не получил от Галкина-Враского официального разрешения), усилившиеся в пути, особенно у сахалинских берегов, были как будто нейтрализованы «чрезвычайно любезным» приемом сахалинского начальства (Суворину, 11 сентября 1890 г.). 30 июля Кононович выдал Чехову документ, позволявший ему путешествие по всему Сахалину:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие от начальника острова Сахалин лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему, г. Чехову, разрешается собирание разных статистических сведений и материалов, необходимых для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги. Начальникам округов предлагаю оказывать г. Чехову для означенной цели при посещении им тюрем и поселений законное содействие, а в случае надобности предоставлять г. Чехову возможность делать разные извлечения из официальных документов. В чем подписом и приложением казенной печати удостоверяем, июля 30 дня 1890 года, пост Александровский. Начальник острова генерал-майор Кононович

Правитель канцелярии И. Вологдин.

Вр. и. д. делопроизводителя Андреев (ГБЛ).

Этот документ позволил Чехову на другой же день, 31 июля, выехать к Аркаю, начать обследование отдаленных от центра Северного Сахалина тюрем и поселений Александровского и Тымовского округов, присутствовать в Дуэ при телесном наказании (13 августа), а затем, на третьем месяце своего пребывания на острове, отправиться (10 сентября) через Татарский пролив на Южный Сахалин. Здесь, в Корсаковском посту, Чехов поселился в квартире секретаря полицейского управления С. Фельдмана и в течение месяца продолжал свои исследования тюрем и поселений, положения каторжных и поселенцев, быта и нравов инородцев (гиляков, айно, орочей). Здесь Чехов познакомился с японским консулом — Кузе и двумя его секретарями (Сузуки и Сугиами).

Чехов не знал, что в тот день, 30 июля, когда он получил от Кононовича удостоверение, начальник острова послал окружным начальникам следующее секретное предписание:

«Г-ну начальнику Александровского и Тымовского округа

Выдав вместе с сим свидетельство лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему разрешается собирать разные статистические сведения и материалы для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги и поселений с правом посещения им тюрем и поселений, поручаю Вашему Высокоблагородию иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы г. Чехов не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и административно-ссылными, состоящими под надзором полиции. Начальник острова генерал-майор Кононович»

(ЦГА РСФСР ДВ, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 522, л. 1; оба приведенных документа цитировались в *Летописи*, стр. 271—272, и — с некоторыми уточнениями — в кн.: М. В. Т е п л и н с к и й, Б. Н. Б у р я т о в. А. П. Чехов на Сахалине. «Советский Сахалин», 1957, стр. 23, 89).

Чехов настойчиво подчеркивал, что видел на Сахалине *всё*. Но встречался ли он с политическими ссыльными? Запрет начальства был ему известен из личной беседы с Корфом и Кононовичем; об этом он прямо заявил во второй главе «Острова Сахалина», а через несколько лет, 31 марта 1896 г., в письме к Д. Л. Манучарову (брату народовольца И. Л. Манучарова — «Азиата»).

Документальные данные свидетельствуют о том, что, вопреки строжайшему предписанию, Чехов встречался и с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и с административно-ссылными, состоящими под надзором полиции.

Изучение статистических карточек, заполненных Чеховым во время сахалинской переписи, исследование сахалинского фонда в Дальневосточном архиве и чеховских фондов в *ГИЛ* и *ЦГАЛИ* показали, что источники информации о «государственных преступниках» у Чехова были разнообразны. Это, прежде всего, личные наблюдения и впечатления. Затем письма и рассказы сахалинских знакомых Чехова, должностных лиц, служащих канцелярии начальника острова, например, правителя канцелярии И. С. Вологодина и казначея, заведующего

школами Д. А. Булгаревича. Третий источник — документы, которые Чехов просматривал на Сахалине: приказы, рапорты, ведомости и т. д.

Удалось установить, что при Чехове на Сахалине было около сорока человек, осужденных за государственные преступления (русские народовольцы, члены польской социально-революционной партии «Пролетариат», члены «Тайного совета» польско-литовской социально-революционной партии, являвшейся в Петербурге «резервом польской партии Пролетариат»). См.: И. А. Сенченко. Очерки истории Сахалина. «Советский Сахалин», 1957; е г о ж е. Революционеры России на сахалинской каторге. Южно-Сахалинск, 1963; М. В. Теплинский, Б. Н. Бурятов. А. П. Чехов на Сахалине, 1957; М. В. Теплинский. Новые материалы о сахалинском путешествии А. П. Чехова. — В кн.: Антон Павлович Чехов. Сборник статей. Южно-Сахалинск, 1959.

Чехов, делая перепись сахалинского населения, записал и сосланных за «государственные преступления», специально этого не оговаривая. В архивах Чехова (*ГБЛ* и *ЦГАЛИ*) имеются двадцать карточек-анкет, заполненных им на политических ссыльных, их жен и детей (Н. Ф. Крыжановский, П. С. Горкун, С. Е. Кузин, С. А. Волохов, С. Ф. Хреновский, И. И. Хмельцев, А. И. Александрин, В. П. Бражников, В. И. Вольнов, И. С. Шмаус, К. В. Томашевский, А. В. Поплавский, П. К. Домбровский, А. С. Форминский, А. А. Словик, Л. Л. Дегурский, И. Ф. Гельшер, Г. В. Госткевич, С. П. Бугайский, Э. А. Плоский). Эти статистические карточки — живые свидетели общения Чехова с политическими ссыльными.

В книге «Остров Сахалин» он не назвал фамилии ни одного политического ссыльного, но имел в виду некоторых из них, когда говорил о роде занятий, о быте, о судьбах ссыльных и пользовался при этом выражениями: «привилегированный ссыльный», «грамотный ссыльный», «каторжный в вольном платье». Лишь однажды при описании Александровской тюрьмы употреблено слово «политические», в другой раз фамилия политического (Богданова) обозначена буквой Б. Это Богданов Капитон Васильевич, мичман Черноморского флота, член Николаевского военно-революционного кружка, соученик (по техническому училищу морского ведомства) народовольца И. П. Ювачева (Миролобова) и редактора «Недели» М. О. Меньшикова (И. Ю в а ч е в . Из воспоминаний старого моряка. — «Морской сборник», 1927, № 10, стр. 83). Ювачев в книге не назван по имени, но упомянут неофициально как заведующий метеорологической станцией «привилегированный ссыльный, бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый» (см. примечания к «Рассказу неизвестного человека» в т. VIII Сочинений, стр. 467—468).

Хотя Чехов в письме к Д. Л. Манучарову 31 марта 1896 г. и оговаривал, что о политических ссыльных знает немного, так как ему приходилось говорить с ними мало и то лишь при чиновниках, которые играли при нем роль шпионов, но даже то «немногое», что было известно писателю, свидетельствует о внимании его к политическим. Они, писал Чехов, «ходят в вольном платье, живут в тюрьмах, несут обязанности писарей, надзирателей (по кухне и т. п.), смотрителей метеорологических станций; один при мне был церковным старостой, другой был помощником смотрителя тюрьмы (негласно), третий заведовал библиотекой при полицейском управлении и т. п. <...> По слухам, настроение духа у них угнетенное. Были случаи самоубийства». Чехов, вероятно, имел в виду здесь Плоского и Волохова, которые работали в тюремной кухне, Канчера, Хмельцева, Чернова, Хреновского, Перлышкевича, Бражникова, которые «использовались по письменной части» в канцеляриях начальника острова и начальников округов, полицейских управлений, тюрем (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 129, лл. 158, 161; ф. 702, оп. 4, ед. хр. 94, л. 28; ед. хр. 93, лл. 49, 61).

По документам и личным наблюдениям Чехов узнал, что политическому и административно ссыльному разрешалась на Сахалине работа, близкая к его специальности, лишь в том случае, если, по оценке тюремного начальства, он был «безупречного поведения». Ювачева имел в виду Чехов, когда писал о «смотрителе метеорологической станции». Бывшему морскому офицеру, некогда заведовавшему в г. Николаеве метеорологической станцией, позволили на Сахалине заниматься метеорологическими наблюдениями, а затем составлением карт Александровского рейда, лоций Татарского пролива, подготовкой планов местности к предстоящей тюремной выставке (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 247, л. 69; ед. хр. 129, л. 32. См. также: И. П. Миролобов <И. П. Ювачев>. Восемь лет на Сахалине. СПб., 1901, стр. 104—128).

Но далеко не всем удавалось сохранить за собою право на этот привилегированный труд. Мейснер, Домбровский, Кузин использовались на общих тюремных работах, Александрин был сторожем при Рыковской школе. Порой запрещался самый род занятий, и Плоскому, например, пришлось уйти из школы, где он был учителем (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 702, оп. 3, ед. хр. 237).

Чехов знал и об этих случаях. Он упомянул в сахалинских очерках о рапорте начальника Александровского округа от 27 февраля 1890 г. Но тут же Чехов отметил, что ссыльные нередко «продолжают быть учителями с его ведома» (стр. 307). В самом деле, в сахалинских школах работали жены политических ссыльных — Плоского и Александрина. Сведения об учительнице Корсаковской школы — Марии-Софье Плоской имеются в карточке,

заполненной Чеховым. О Татьяне Илларионовне Ульяновой (Александринной), учительнице рыковской школы, окончившей харьковскую Мариинскую гимназию, Чехов мог почерпнуть сведения из сахалинских документов (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 654, л. 26; ед. хр. 413, л. 3) и из бесед с Д. А. Булгаревичем, из его письма от 5 июня 1891 г.

Нередко по чиновничьему требованию, весьма произвольному, труд политического арестанта понижался «рангом»: писарей отправляли в тюремную кухню, на скотный двор и т. д. Чехов писал Манучарову в цитированном выше письме, что при нем политических «телесному наказанию не подвергали». Но от сахалинских чиновников он знал об угрозе таких наказаний, о столкновениях с администрацией и не менее жестоких наказаниях. В документах немало тому свидетельств.

Когда Чехов писал Манучарову: «Были случаи самоубийства», он имел в виду политических ссыльных П. Домбровского, Томашевского, дважды покушавшегося на свою жизнь (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 328, л. 159), и Канчера, покончивших с собой. У Чехова были реальные основания делать заключение: «Настроение духа у них угнетенное» (подробно см.: М. Л. Семанова. Общался ли Чехов на Сахалине с политическими ссыльными. — «Русская литература», 1972, № 1).

Всё это дает право сомневаться в том, что Чехов выполнил предписание сахалинского начальства. Знакомство его с условиями быта, труда, с душевным состоянием политических ссыльных на Сахалине было необходимо писателю не только для познания еще одной сферы сахалинской жизни, но и для осуществления начатой до поездки работы над «Рассказом неизвестного человека», в центре которого был, по замыслу автора, герой-террорист, народовец.

5

13 октября 1890 г. Чехов выехал из поста Корсаковского (Южный Сахалин) на пароходе Добровольного флота «Петербург». По-видимому, по его просьбе, в Москву родным была послана телеграмма: «Добровolec „Петербург“, выгрузив каторжных, 10 вышел Корсаковский, заберет Антона Павловича, отправится Одессу 13» (*ГБЛ*).

Маршрут возвращения на родину морем, вокруг Азии через Индийский океан, Суэцкий пролив, Одессу, Чехов наметил еще в январе 1890 г. (см. письмо к М. П. Чехову от 28 января 1890 г.). Но на Сахалине Чехов узнал, что в ряде намеченных ранее пунктов (Владивостоке, Японии, Шанхае, Суэце) карантин, что холера устроила ему «ловушку». Возник было план возвращения через Америку, но явились и сомнения: «Все говорят, что американский путь дороже и скучнее» (Суворину, 11 сентября 1890 г.). К началу октября «холера во Владивостоке <...> прекратилась» (Е. Я. Чеховой, 6 октября 1890 г.), и Чехов отказался от «американского» варианта.

Владивосток был первым городом на обратном пути. Чехов пробыл здесь около пяти суток, посетил Общество изучения Амурского края, просмотрел в библиотеке (за несколько лет) газету «Владивосток» и сделал из нее выписки для будущей сахалинской книги. Во Владивостоке Чехову выдали (17 октября) заграничный паспорт (*ЦГАЛИ*).

В газете «Владивосток» (1890, № 42, 21 октября) было опубликовано сообщение, что пароход Добровольного флота «Петербург» ушел из Владивостока 19 октября. Этот пароход и взял Чехова. Пришлось миновать Японию, так как холера там еще не прекратилась, и сделать первую заграничную остановку в Гонконге.

В Южно-Китайском море пароходу и пассажирам грозила опасность, их настиг тайфун, была сильная качка. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников (см. примечания к рассказу «Гусев», т. VII наст. изд.). Остров Цейлон, который показался после «ада» — Сахалина — настоящим раем, Чехов объездил по железной дороге. В Коломбо он начал писать рассказ «Гусев».

От Цейлона Чехов 13 дней плыл на «Петербурге» по Индийскому океану, Красному морю и Суэцкому каналу и далее 7 дней через Средиземное и Черное моря в Одессу (хронологическую канву рейса см. в публикации Е. Н. Дунаевой — *ЛН*, т. 87, стр. 294—296).

Во время пятидесятидневного плавания на «Петербурге» Чехов подружился с командой. Капитану К. Шишмареву он послал свой сборник «Хмурые люди», на котором, судя по ответу адресата, подписался: «Мичман от литературы» (см. письмо Шишмарева — *ГБЛ*).

Возвращение Чехова из-за границы на родину, в Одессу, зафиксировано в заграничном паспорте: «Явлен 5 декабря 1890 г. Полицейское управление Одессы» (*ЦГАЛИ*).

В газетах сообщалось: «Известный наш беллетрист А. П. Чехов возвратился из своей поездки на остров Сахалин. Он отправился туда через Сибирь и возвратился морем через Суэц в Одессу.

На днях он будет в Москве, выдержав трехдневный карантин на пароходе „Петербург“. На Северном Сахалине, где находятся поселения каторжных и ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нравы» («Новое время», 1890, № 5304, 3 декабря; «Русская жизнь», 1890, № 26, 4 декабря).

В первом же письме к Суворину, написанном по возвращении, Чехов считал нужным оговорить неточность этих сведений: «Пробыл я на Сахалине не 2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 2 дня».

7 декабря 1890 г. мать и брат Михаил Павлович встречали Чехова в Туле. 8 декабря, после почти восьмимесячного путешествия, Чехов вернулся в Москву. Из заграничного плавания он привез «экзотические фотографии», а главное — «миллион сто тысяч воспоминаний» (Ал. П. Чехову, 27 декабря 1890 г.). И хотя путешествие, особенно через Сибирь, казалось ему теперь похожим на тяжелую, затяжную болезнь, воспоминания о пережитом были «легки и воздушны» (Леонтьеву-Щеглову, 10 декабря 1890 г.) и не теряли своей свежести долгие годы (Л. В. Средину, 14 февраля 1895 г.; М. Горькому, 28 мая 1901 г.).

Сам Чехов и окружающие вели «летоисчисление» его болезни «с года поездки на Сахалин <...> (1890 г.): еще по дороге туда у него случилось кровохарканье» («Воспоминания И. Н. Альтшуллера». — *ЛН*, т. 68, стр. 689). Вернувшись в Москву, Чехов объяснял свое недомогание (кашель, перебои сердца, головную боль, быструю утомляемость) тем, что простудился в Архипелаге, где штормило и дул холодный норд-ост (Леонтьеву-Щеглову, 10 декабря 1890 г.; Суворину, 24, 25 декабря 1890 г.). Но друзья уже догадывались, что дело не только в этом: «Не запускайте этого кашля, — писал ему Плещеев. — Полагаю, что им наградила Вас не столько инфлюэнция, сколько Ваше сибирское путешествие» (2 января 1892 г. — «Слово». Сборник второй. М., 1914, стр. 282). Каратыгина высказывала уверенность, что «путешествие по отчаянным дорогам, в распутицу, на лодках между льдинами или пешком по колено в ледяной воде, под дождем и снегом», — всё это, а также и напряженная литературная работа — явилось причиной «его преждевременной гибели» (*ЛН*, т. 68, стр. 581—582). В некрологе Б. Лазаревского читаем: «Чехов <...> хотел осветить темный и страшный Сахалин, поехал туда и с тех пор начал сгорать в чахотке» («Владивосток», 1904, № 33, 15 августа).

И всё же до конца дней Чехов благодарил судьбу за сибирское и сахалинское путешествие. Оно не только не приглушило его «жажду странствий» (Суворину, 26 мая 1897 г.), но, напротив, усилило ее. В 1890 — начале 1900-х годов Чехов несколько раз был в Европе, но ни Франция, ни Италия не отодвинули живых впечатлений от Восточной Сибири, Забайкалья, Амура и Сахалина. Поездка на Сахалин соответствовала его требованиям к путешествиям вообще: не праздный туризм, а труд, определенная цель, творческие задачи.

В свою очередь, сахалинцы хранили память о пребывании писателя на острове. В письмах к Чехову ссыльнокаторжные и их родные выражали благодарность за материальную и моральную поддержку, хлопоты о них перед начальством (Егор Ефремов, С. Каратаев, М. Хоменко, О. Геймбрук). Сахалинские служащие сообщали ему местные новости, описывали происшествия, характеризовали местные порядки и начальственных лиц, делились своими переживаниями, посылали, по его просьбе, сахалинские материалы, фотографии (Д. Булгаревич, И. Вологдин, Э. Дучинский, А. Бутаков, И. Карауловский, И. Павловский, С. Фельдман).

По инициативе Чехова в 1890 г. начался сбор книг, учебников и учебных пособий для сахалинских школ.

Поездка через Сибирь на Сахалин осмысливалась самим Чеховым как значительное событие его личной биографии; среди немногих фактов (окончание таганрогской гимназии, Московского университета, получение Пушкинской премии, звания почетного академика) Чехов неизменно называл и этот факт в автобиографиях, написанных в разные годы по просьбе русских или зарубежных издателей, ученых, писателей. Путешествие это, по словам Чехова, содействовало его «возмужалости», породило «чертову пропасть планов», заставило переоценить и собственную жизнь (после «сахалинских трудов» она кажется ему «мещанскою и скучною»), и жизнь общественную. После возвращения начинает созревать решение поселиться в деревне, «жить среди народа»: «Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни» (Суворину, 19 октября 1891 г.). Эти настроения некоторые его друзья непосредственно связывали с сахалинской поездкой (см. письмо Леонтьева-Щеглова от 30 декабря 1890 г. — *Записки ГБЛ*, вып. VIII, стр. 77).

Поездка Чехова на Сахалин — событие не только личного, но и общественного значения. Это имел в виду сам писатель, когда перед отъездом говорил о необходимости «возбудить в обществе» интерес к Сахалину и когда после возвращения писал: «Поездке моей на Сахалин придали значение <...> Все ждут моей книги и пророчат ей серьезный успех» (И. П. Чехову, 27 января 1891 г.).

Тексты, варианты подготовила и примечания написала *М. Л. Семанова*.

В подготовке текста принимала участие *А. С. Мелкова*; в составлении раздела «Варианты» и редактировании примечаний — научные сотрудники Чеховской группы ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР.

ДРАМА НА ОХОТЕ

(Истинное происшествие)

Впервые — в газете «Новости дня»: 1884, №№ 212, 213, 219, 226, 233, 241, 247, 254, 261, 275, 282, 289, 296, 303, 310, 317, 331, 338, 345, 353 (ошибочно обозначен № 352) — от 4, 5, 11, 18, 25 августа, 2, 8, 15, 22 сентября, 6, 13, 20, 27 октября, 3, 10, 17 ноября, 1, 8, 15, 23 декабря; 1885, №№ 26, 45, 54, 61, 62, 75, 80, 95, 98, 102, 107, 111 — от 27 января, 16 и 25 февраля, 4, 5, 18, 23 марта, 9, 12, 16, 21, 25 апреля. Подписи в первых трех номерах: Антоша Чехонте; в № 317 от 17 ноября 1884 г.: Чехонте, в № 75 от 18 марта 1885 г. без подписи; во всех остальных номерах подпись: А. Чехонте.

Печатается по тексту газеты со следующими поправками:

321, строка 27: чувств — вместо: чувства
тр.
336 „ 14: вздохнул — вместо: вдохнул
„
358 „ 40: Николаевна — вместо: Ефимовна
„

К началу публикации в «Новостях дня» «Драма на охоте», по-видимому, была написана полностью. В 1915 г. редактор-издатель газеты «Театр» С. Н. Алексеев вспоминал: «Антоша Чехонте (...) Немного застенчивый, но такой обаятельный (...) Уже писатель с именем, подающий большие надежды, хотя и принужденный часто сотрудничать в мелкой прессе, тахитим пятачок строка, А. П. только что запродал „оптом“ в „Новости дня“ свою повесть „Драма на охоте“. Объемистую, исписанную мелким вычурным шрифтом рукопись А. П. сдал почти всю, оговорив, что, в случае цензурных купюр, у него имеется достаточный запас. Я был в это время в редакции названной газеты и здесь впервые увидел А. П.» («Театр», 1915, № 1702 от 1—2 июля, стр. 5—6). Отсюда можно заключить, что «Драма на охоте» писалась не к каждому номеру газеты, а в основном своем виде была закончена к началу публикации.

Печататься в газете Липскерова, которую Чехов называл «Пакости дня», писатель начал в 1883 году. 27 июня он писал Лейкину: «Получил приглашение от „Новостей дня“... Что за штука, не ведаю, но штука новая. Кажется, подцензурная штука. Придется смешить одних только наборщиков да цензора, а от читателей прятаться за красный крест...» Гонорар за

590

роман редакция газеты подолгу не выплачивала. В своих воспоминаниях М. П. Чехов писал: «За свой роман „Драма на охоте“, печатавшийся в „Новостях дня“ в 1884 году, брат Антон должен был получать по три рубля в неделю. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку.

— Чего вы ждете? — спросит наконец издатель.

— Да вот получить три рубля.

— У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки? Тогда сходите к портному Аронтрихеру и возьмите у него брюки за мой счет» («Вокруг Чехова», М. — Л., 1933, стр. 103—104).

В одном из писем 1885 г. (без даты) М. П. Чехов сообщал брату: «Вчера я заходил к Липскерову. Он зашкандылял было. Я сказал, что сейчас еду в Воскресенск, что деньги нужны тебе и что я возвращусь к 26 числу. Он понатужился и дал 3 рубля» (ГБЛ).

Литературная судьба «Драмы на охоте» необычна. Опубликовав ее в газете, Чехов никогда к ней не возвращался. Неизвестны как история создания романа, так и высказывания о нем Чехова. Жанр этого своеобразного произведения остается до сих пор предметом серьезного обсуждения.

В 1870—1880-е годы в России имели широкое хождение авантюрно-приключенческие и уголовные романы — переводные и отечественные. В беллетристическом отделе газеты «Новости дня» одновременно с чеховским произведением печатались: «Отцеубийца», подпись: «Злой дух» (В. А. Прохоров), «Черная банда» — роман Лабурье, «Кровь за кровь (повесть из уголовной хроники)» А. Чумака, «Загадочное самоубийство, или „Дело“ Базарова» В. Риваля (В. А. Прохоров), «Братоубийца», подпись: Маркиз Тужур-Парту (А. Л. Гиллин), «Восковая женщина (из воспоминаний сыщика)», без подписи, «Современная драма», подпись: Синее Домино (А. У. Соколова) и др.

Характеристику этой бульварной литературы Чехов дал 24 ноября 1884 г. в «Осколках московской жизни»: «Наши газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику передовыми статьями, другие — романами. Есть и были на этом свете страшные штуки, начиная с Полифема и кончая либеральным околоточным, но таких страшилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику наши московские бумагопожиратели вроде Злых духов, Домино всех цветов и проч.) еще никогда не было... Читаешь и оторопь берет. Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползть такие страшные „Отцеубийцы“, „Драмы“ и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и... чёрт знает чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли (...). Страшна фабула, страшны лица, страшна логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней...»

Распространена была в те годы и пародия на уголовные романы и мелодрамы. Чехов отдал дань пародиям («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», «Ненужная победа» — см. т. I Сочинений).

591

«В молодости, — писал А. В. Амфитеатров, — Чехов был пародист блестящий, а подражал с таким совершенством, что копия легко могла сойти за оригинал» (А. В. Амфитеатров. Славные мертвецы. М., 1912, стр. 39).

«Драма на охоте» имеет подзаголовок «Из записок судебного следователя» и напоминает уголовный роман, однако жанр ее чрезвычайно своеобразен.

Одна из первых известных нам характеристик «Драмы» принадлежит перу А. Измайлова (Чехов. М., 1916). Он считал «Драму на охоте» единственным романом Чехова, хотя и написанным для невзыскательного читателя «Новостей дня», но «серьезным литературным произведением, некоторые места которого ничуть не звучали бы диссонансом рядом с его позднейшими работами». «Нужно было быть Липскеровым, — писал Измайлов, — чтобы не почуять чего-то необычного в этой куче дешевой бумаги, написанные на которой слова были так мало похожи на слова, обыкновенно печатавшиеся в нижнем этаже этой газеты» (стр. 181).

Измайлов полагал, что художественное достоинство романа резко падает во второй части произведения, с момента убийства героини. Исследователь воспринял буквально сноску Чехова о том, что многое из записок Камышева выпущено, и предполагал, что в угоду цензуре или редактору писатель кромсал свой роман. «Так и хочется думать, что в уши молодого Чехова кто-то напелвал, что бульварной газете нужно больше таинственных убийств, нарастающих одно на другое, больше внешней эффектности. И против своего вкуса, против своего понимания литературы и литературности, Чехов это сделал» (стр. 190). Хотя роман и был дорог писателю, делал вывод Измайлов, Чехову было тяжело впоследствии возвращаться к нему. «Почему никогда впоследствии Чехов не вспомнил о своем романе, не любил о нем говорить (из десятков воспомиравших о нем никто не записал этой подробности), не только не подумал о его переиздании, но буквально ни разу не сделал на него ссылки в своей обширнейшей переписке¹, а один раз намеренно утаил истину?» (стр. 191).

Подобное суждение о «Драме на охоте» долгое время никем не было оспорено.

А. Дерман отнес «Драму на охоте» к мелодраматическим произведениям, считая, что она «лишь местами поднимается над уровнем типичной газетной беллетристики, зато изобилует чрезвычайно безвкусными страницами» (А. Дерман. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк. М., 1939, стр. 59).

В середине 30-х годов в литературоведении утвердилось мнение, что роман Чехова является пародией. См., например, предположение Ю. Соболева о том, что «Драма на охоте» «написана в пародийной форме уголовного романа» (Ю. Соболев. Чехов. М., 1934, стр. 94). В статье «Мои перворедакторы» А. Амфитеатров

592

утверждал, что Чехов «Драмою на охоте» пародировал тогдашнее увлечение детективными романами Габорио и, в частности, русского его подражателя Шкляревского» («Иллюстрированная жизнь», Париж, 1934, № 13, от 7 июня, стр. 3).

Немногие исследования последних лет, посвященные «Драме на охоте», трактуют роман Чехова уже не как чистую пародию, а как сложное, противоречивое, реалистическое произведение и пытаются определить специфику пародийного стиля писателя (см. Б. Александров. О жанрах чеховской прозы 80-х годов. — «Ученые записки Горьковского педагогического института», 1961; З. А. Бориневич-Бабайцева. Роман А. П. Чехова «Драма на охоте». — «Труды Одесского госуд. университета», т. 146, Серия филологических наук, вып. 5, 1956; Г. Охотина. Литературные пародии А. П. Чехова. — «Дон», 1959, № 11; Л. И. Вуколов. Чехов и газетный роман («Драма на охоте»). — В кн.: В творческой лаборатории Чехова. М., изд-во «Наука», 1974, стр. 208—217).

Спенсер мог бы назвать его образцом грации. — Английский философ и биолог Герберт Спенсер (1820—1903) в своем труде «Воспитание умственное, нравственное и физическое» отстаивал необходимость всестороннего развития человека, придавая особое значение физическому воспитанию. «Отличная статья Спенсера», — называет этот труд Чехов в письме к Ал. П. Чехову в апреле 1883 г.

...не для звуков сладких... — Перефразировка последних строк стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1829):

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

...наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства... — Французский писатель Э. Габорио (1835—1873) и А. А. Шкляревский (1837—1883) — авторы уголовных романов, получивших широкое распространение в России 1870—1880-х годов. Из романов Габорио, переведенных на русский язык («Преступление в Орсивале», СПб., 1869, «Дело под № 113», СПб., 1869, «Убийство госпожи Леруж», Одесса, 1872, «Петля на шее», СПб., 1873), особой популярностью пользовался неоднократно переведившийся роман «Лекок, агент сыскальной полиции». Из произведений Шкляревского, которого называли «русским Габорио», особенно известны «Рассказы судебного следователя», СПб., 1872, «Нераскрытое преступление», М., 1878, «Убийство без следов», СПб., 1878, «Две преступницы», М., 1880.

Лепорелло — верный слуга и наперсник Дон-Жуана, героя «Каменного гостя» Пушкина.

«Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она... Первая строка стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (1829 г.), положенного на музыку М. В. Бегичевой в 1875 г. В 1901 г. был написан роман В. Ребикова, и впоследствии стихотворение неоднократно перекладывалось на музыку. — См.: Ф. И. Т ю т ч е в . Лирика, т. 2. Библиография музыкальных произведений на слова Тютчева. М., изд-во «Наука», 1965.

Книжка Борна... — См. т. I Сочинений, стр. 576.

...задачник *Евтушевского* — «Сборник арифметических задач» В. А. Евтушевского (1836—1888).

...«Дело» — ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге в 1866—1888 годах.

«Складчина» — литературный сборник, изданный в Петербурге в 1874 г. в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. В сборнике были опубликованы «Живые мощи» (Из «Записок охотника») Тургенева, «Трудовой хлеб» Островского, «Город» Щедрина, «Маленькие картинки» Достоевского, сцены из драмы «Посадник» А. К. Толстого, «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» Гончарова, стихотворения Некрасова, Вяземского, Курочкина, критические статьи Н. Стрехова и др.

...бутылку с сургушной печатью бенедиктинцев ~ у Депре взял. — В Москве в винном магазине К. Депре продавался ликер «Бенедиктин» (Bénédictine) аббатства Fécamp во Франции (см. «Новости дня», 1885, № 56 от 26 февраля, рекламное объявление).

«Вниз по ма-а-атушке... п-а-а В-о-о-о...» — русская народная песня «Вниз по матушке по Волге» (А. И. С о б о л е в с к и й . Великорусские народные песни. СПб., 1898, т. IV, № 553, стр. 433).

...«Ай, жги, говори... говори...» — «Ой, жги, ой, жги, говори!» — припев из русской народной плясовой песни «Вдоль по улице молодчик идет» (Д. К а ш и н . Русские народные песни, ч. III, М., 1833, стр. 59).

«Ночи безумные, ночи веселые...» — Неточная цитата из стихотворения А. Н. Апухтина (1841—1893) «Ночи безумные, ночи бессонные» (1876); на музыку переложено П. И. Чайковским (1886), Балкашиной, С. И. Донауровым и другими композиторами. В 80-х годах стало популярным цыганским романсом и бытовало в различных музыкальных обработках.

«старух зловещих»? — Слова Чацкого из действия IV комедии Грибоедова «Горе от ума».

...не раз стоял перед картиной Пукирева... — Известная картина В. В. Пукирева (1832—1890) «Неравный брак» (1862).

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде ~ глядел на свою молодую жену... — Имеется в виду роман А. Доде (1840—1897) «Фромон-младший и Рислер-старший» (1874), где пожилой и богатый владелец торговой фирмы женится на молодой девушке.

...крыловский медведь, оказавший услугу пустынноку... — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Пустынник и медведь» (1804).

...«твоя рука в моей руке», — запел граф... — «В моей руке рука твоя» — строка из арии князя Игоря в действии IV оперы «Князь Игорь» (музыка и либретто А. П. Бородина).

594

Не успела она еще износить с тех пор башмаков... — Перефразировка слов Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. I, сцена II):

И башмаков еще не износила,
В которых шла, в слезах, как Ниобея,
За бедным прахом моего отца...

(Пер. А. Кронеберга)

Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства... — Слова Гамлета из действия I, сцена II:

Иль если б ты, Судья земли и неба,
Не запретил грехи самоубийства!

(Пер. А. Кроненберга)

ОСТРОВ САХАЛИН

(Из путевых записок)

Заключительная глава

Впервые — «Русская мысль», 1893, № 10, стр. 1—33; № 11, стр. 149—170; № 12, стр. 77—114; 1894, № 2, стр. 26—60; № 3, стр. 1—28; № 5, стр. 1—30; № 6, стр. 1—27; № 7, стр. 1—30. Главы I—XIX. Подпись: А. Чехов.

С добавлением XX—XXIII глав и с небольшими исправлениями первых девятнадцати глав вошло в отдельное издание (без предварительной цензуры): Антон Чехов. Остров Сахалин (Из путевых записок). М., изд. ред. журнала «Русская мысль», 1895.

Глава XXII в отдельном издании перепечатана (со значительными сокращениями и поправками) из сборника: «Помощь голодающим». М., изд. «Русских ведомостей», 1892, стр. 227—248. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Сохранился черновой автограф книги «Остров Сахалин» (ГБЛ, первые 2 листа — в ЦГАЛИ). Содержит 67 двойных листов (266 страниц) большого формата. Авторская пагинация синим карандашом посередине каждой страницы.

774

Рукопись включает 22 главы: от первой до двадцать первой и двадцать третью. Пропущена глава XXII («Беглые на Сахалине»), отданная Чеховым в 1891 г. в сборник «Помощь голодающим».

Беловой автограф сохранился (ЦГАЛИ) не полностью; рукопись содержит 24 страницы, отрывки из глав XVIII, XIX, XX, XXI. Авторская пагинация посередине каждой страницы синим или красным карандашом.

В ГБЛ сохранился корректурный лист окончания XIX главы; в нем — небольшая авторская правка (см. варианты).

Печатается по тексту: Чехов, т. X, 1902, стр. 5—410, с исправлениями:

Стр. 55, строка 21: обличительного — вместо: облегчительного (по РМ, 1895 и 1902)

Стр. 70, строка 2: Молодежь 15 лет — вместо: Молодежь 15 (по ЧА, РМ и 1895)

Стр. 90, строка 3: Юровского — вместо: Юрковского (по документальным источникам Дальневосточного архива)

Стр. 103, строка 18: соскорили — вместо: соскопили (по РМ)

Стр. 104, строка 43: в 1887 г. — вместо: в 1886 г. (по сообщениям газет — см. примечания)

Стр. 108, строка 25: коров 49 — вместо: коров 4—9 (по РМ, 1895)

Стр. 112, строка 37: тихих безветренных — вместо: таких безветренных

Стр. 113, строка 15: по Грязнову — вместо: по Чернову (по контексту)

Стр. 120, строка 12: Убьенных — вместо: Убиенных (по статистической карточке)

Стр. 124, строка 4: телки — вместо: телка (по ЧА).

Стр. 125, строка 30: но законных — вместо: незаконных (по ЧА)

Стр. 125, строка 41: за 1890 г. — вместо: за 1889 г. (по текстам отчетов)

Стр. 126, строка 4: Хоэ — вместо: Поэ (по ЧА, РМ, 1895 и 1902).

Стр. 135, строка 15: 1868 — вместо: 1863 (по контексту и книге Мишуля — см. примечания)

Стр. 143, строка 46: 1886 — вместо: 1885 (по источнику сведений)

Стр. 151, строка 7: такие живут — вместо: также живут (по РМ, 1895)

Стр. 166, строка 41: тоже остается — вместо: остается (по тексту приказа)

Стр. 174, строка 11: в 1 ½ арш. — *вместо:* в ½ арш. (*по тексту статьи Бошняка и Ча*)
Стр. 187, строка 17: осеннюю ночью — *вместо:* осенью ночью (*по Ча*)
Стр. 211, строки 23—24: в XI главе — *вместо:* в X главе (*по тексту гл. XI*)
Стр. 216, строка 36: извлечено — *вместо:* извлечение (*по названию статьи Добротворского*)
Стр. 216, строка 37: Изв. сиб. отд. — *вместо:* Изд. сиб. отд. (*по Ча и по названию периодического издания*)

775

Стр. 217, строка 6: в 1885 г. — *вместо:* в 1884 г. (*по газете «Владивосток» — см. примечания*)
Стр. 217, строка 27: № 38 — *вместо:* № 28 (*по Ча*)
Стр. 232, строка 3: медлительность — *вместо:* медленность (*по Ча*)
Стр. 243, строка 32: 1886 — *вместо:* 1888 (*по Ча*)
Стр. 246, строка 48: И. Я. Фойницкого — *вместо:* И. Л. Фойницкого
Стр. 264, строка 30: статейные — *вместо:* семейные (*по Ча*)
Стр. 352, строка 29: в июле — *вместо:* в июне (*по документальным источникам — см. примечания*)
Стр. 354, строка 39: №№ 32 и 38 — *вместо:* №№ 33 и 38 (*по газете «Владивосток»*)
Стр. 361, строка 32: 1888 г. — *вместо:* 1889 г. (*по всем источникам*)
Стр. 362, строка 21: теснота жилищ — *вместо:* теплота жилищ (*по Ча*)

1

В начале 1890 г., до путешествия, Чехов не только составлял библиографию, читал, делал выписки, но и писал некоторые куски будущей книги о Сахалине, которые не требовали личных наблюдений «на месте». Они вошли в первую и вторую главы (см. письмо к Суворину от 4 марта 1890 г.).

Вернувшись в Москву, он рвался к работе над сахалинской книгой, но мешали разные обстоятельства, прежде всего, «работа ради куска хлеба» и разговоры о поездке. В первые два-три месяца Чехов рассказывал о ней родным и друзьям, официальным лицам. Ждали его и в Петербурге. «Рассказов о вашем путешествии все мы, знающие вас, жаждем, как манны небесной», — сообщал Плещеев 12 января 1891 г. (*ЛН*, т. 68, стр. 362), а Леонтьев (Щеглов) записал в дневнике 8 и 17 января 1891 г. конспект «воспоминаний Чехова о Сахалине» (см. *ЛН*, т. 68, стр. 482).

Правда, далеко не все выражали доброжелательное отношение к поездке Чехова. «Буренин ругает меня в фельетоне», — писал Чехов сестре 14 января 1891 г. Он имел в виду «Критические очерки» («Новое время», 1891, № 5341, 11 января), в них Буренин причислял Чехова к «средним писателям», которые разучились смотреть на окружающую их жизнь и бегут, «куда глаза глядят: в Сибирь, за Сибирь — во Владивосток, на Сахалин».

Едва ли не знал Чехов (от Щеглова и других лиц) об огорчении Плещеева: Чехов «изменяет» художественной литературе; «Беллетристика с этим путешествием ничего общего не имеет» (П. И. Вейнбергу, 2 сентября 1891 г.), и о мнении Вейнберга, видевшего смысл сахалинской поездки в собирании новых тем, сюжетов, которые иссякли уже у Чехова (*ИРЛИ*, ф. 62, оп. 3, ед. хр. 375, лл. 6, 6 об.).

Чехов отмечал позднее, что в Петербурге он не принадлежал себе, больше всего приходилось рассказывать о Сахалине: «О Сахалине я говорил, между прочим, с А. Ф. Кони» (Кононовичу, 19 февраля 1891 г.; см. также: А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 8. М., 1969, стр. 207; «Отрывочные воспоминания» Кони в сб.: А. П. Чехов. Затерянные произведения <...> новые воспоминания. Л., «Атеней», 1925, стр. 204—206).

С Сахалина Чехов привез «целый сундук всякой каторжной всячины», которая, по его оценке, как сырой материал, стоила «чрезвычайно дорого»: около 10 тысяч статистических карточек и «много всяких бумаг» (Суворину, 9 и 17 декабря 1890 г.), образцы статейных списков ссыльнокаторжных, прошения, жалобы и доносы врача Б. Перлина, стихи и заметки ссыльнокаторжного М. Дмитриева, некоторые приказы начальника острова, «Защитительную речь» Э. Дучинского и др. (В *ЦГАЛИ* хранится кусочек бумаги, наклеенной на газету, где рукой Чехова написано: «Некоторые бумаги, относящиеся к поездке на остров Сахалин». По-видимому, это заглавие папки, в которой были сосредоточены такого рода материалы.)

Едва ли можно сомневаться в том, что в «сундуке» были и собственные записи Чехова, заметки, наброски, которые он делал под свежим впечатлением и которые назвал «сахалинским дневником». Из него сохранилось лишь несколько отрывков (см. т. XVII Сочинений). Но «следы» его заметны в черновой рукописи. Некоторые ее страницы (почти без помарок) явно написаны с помощью предварительных «заготовок» (о Красивом, о смертной казни и др.). Сохранившиеся отрывки из «сахалинского дневника», записные книжки, письма, сибирские очерки

дают возможность представить характер «неотделанных» записей сахалинского дневника: то были, вероятно, эпизоды, портреты, пейзажные зарисовки, чеховские «субъективные мысли и чувства», рассказы сахалинцев, диалоги, выписки из документов сахалинских канцелярий.

Сохранившийся черновой автограф (*ГБЛ*), отрывки белого автографа (*ЦГАЛИ*), подготовленный Чеховым журнальный текст первых 19 глав («Русская мысль», 1893, №№ 10—12; 1894, №№ 2, 3, 5—7) и текст главы XXII (для сб. «Помощь голодающим», 1892), текст отдельного издания книги (1895 г.) и десятого тома собрания сочинений (1902 г.), а также письма Чехова и другие материалы дают возможность изучить процесс работы писателя над этим очерковым произведением, историю его создания и публикации.

На предложения прочитать (в Русском литературном обществе, в Географическом обществе) или напечатать что-нибудь о Сахалине Чехов в первые два года неизменно отвечал отказом (см. письма П. Н. Исакова от 20 января 1891 г., Д. Н. Анучина от 6 февраля 1892 г. — *ГБЛ*; П. М. Свободина от 6 ноября и 2 декабря 1891 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 225, 228). 27 февраля 1891 г. Чехов сообщал Кононовичу, что о Сахалине не напечатал «еще ни одной строки» и печатать не будет, пока не напишет книги.

Привезенные с Сахалина материалы помогли Чехову в сравнительно короткий срок начерно написать книгу почти в 30 листов.

Черновой автограф следует датировать 1891—1894 гг. Основание для этой датировки — письма Чехова времени работы над книгой и некоторые данные, имеющиеся в черновом автографе: а) на стр. 173 (в XV главе) внизу авторская помета красным карандашом: 20 марта 1894 г.; б) на стр. 178 (в конце XV главы) воспроизведено письмо к Чехову матери каторжной Геймбрук от 11 марта 1894 г. (подлинник хранится в *ГБЛ*); в) ссылок на работы, вышедшие после 1894 г., — нет, а до 1894 г., в 1891—1893 годах, — много: на книгу Говарда (Howard) «Life with Trans-Siberian savages». London, 1893; очерки А. Н. Краснова «На острове изгнания» («Книжки Недели», 1893, VIII—IX); «Обзор Серпуховской земской санитарно-врачебной организации...». М., 1893; «Отчет Главного тюремного управления за 1890 г.». СПб., 1892; Н. С. Таганцев. Уголовное право, четыре выпуска. СПб., 1887—1892.

В рукописи имеются ссылки на корреспонденцию А. В. Щербака «С ссыльнокаторжными», опубликованную в «Новом времени» 20 февраля 1891 г., на «Отчет Главного тюремного управления за 1889 г.», вышедший в 1891 г. В черновом автографе обозначен пропуск XXII главы, сданной в сборник «Помощь голодающим» в 1891 г. (предисловие редакции к этому сборнику датировано 14 декабря 1891 г.). Таким образом, можно уточнить крайние даты создания черновой рукописи: не ранее марта 1891 г., но и не позднее июля 1894 г., времени опубликования в журнале «Русская мысль» девятнадцатой главы сахалинских очерков, когда были уже подготовлены последние четыре главы, задержанные цензурой.

Хотя Чехов и жаловался, что разные обстоятельства мешают ему заниматься «Сахалином» (кроме «сахалинских разговоров» и помощи сахалинским школам, у него в первую половину 1891 г. больше месяца — с 18 марта по 28 апреля — отняла поездка за границу, в то же полугодие он готовил второе издание «Пестрых рассказов», четвертое и пятое издания «В сумерках», а главное писал рассказы «Гусев», «Бабы», повесть «Дуэль» (см. примечания к этим произведениям в т. VIII Сочинений), все же работа над книгой в 1891 г. шла интенсивно. 5 марта, когда Суворин звал его за границу, Чехов высказал опасение: если начало писания «Сахалина» отодвинется на июль, он рискует «забыть многое». Вернувшись на родину и поселившись летом сначала в Алексине, затем в Богимове, он радовался, что «работается с охотой», «дело кипит», так как встает в 5 часов утра и никто не мешает. «Сахалинская книга будет осенью печататься, ибо я ее <...> пишу и пишу» (Суворину, 10, 13 и 27 мая 1891 г.).

К концу мая были, очевидно, написаны главы I—VIII. Об этом свидетельствует и просьба Чехова в письмах к Суворину, Долженко от 13 и 14 мая прислать ему книги П. Грязнова, В. Никольского, С. Максимова, «Устав о ссыльных», которые нужны были в ходе работы над этими главами, и жалобы его на то, что скучно и трудно писать цифрами, писать о климате или по отрывкам составлять историко-критический очерк каторги (речь идет о седьмой и восьмой главах книги).

В июне — сентябре письма Чехова пестрят упоминаниями такого рода: «Занимаюсь я своим Сахалином»; «Я занят по горло Сахалином»; «Сахалин подвигается». По-видимому, в это время были созданы в черновом варианте главы IX—XXII.

Написанное не удовлетворяло автора. Позднее, 28 июля 1893 г., напоминая Суворину, что он когда-то знакомился с отдельными частями «Сахалина» (это могло быть именно летом 1891 г., когда Суворин дважды побывал в Богимове), Чехов назвал прежний тон изложения «фальшивым». В 1891 г. ему то хотелось бросить «Сахалин», то сидеть над ним 3—5 лет и работать неистово; то казалось, что он написал «много <...> чепухи», то видел «кое-что и дельное». «У меня вышла интересною и поучительною глава о беглых и бродягах, — писал он Суворину 30 августа 1891 г. — Когда в крайности буду печатать Сахалин по частям, то пришлю ее Вам».

Эту — двадцать вторую — главу Чехов отдал для публикации не Суворину, а в сборник «Помощь голодающим», изданию которого весьма сочувствовал. Он не только нарушил ради него решение не печатать что-либо из «Сахалина» до выхода книги, но и помогал редакции «Русских ведомостей» в организации сборника, вел по просьбе его редактора Д. Н. Анучина переговоры с некоторыми авторами (Фофановым, Величко) и заботился о распространении сборника.

Цензор С. Соколов, рассматривавший чеховскую статью, отмечал в своем донесении 17 января 1891 г.: «Статья А. Чехова „Беглые на Сахалине“ посвящена доказательству несовершенства и якобы в некотором отношении бесчеловечности наших законов и распоряжений правительства относительно содержания на Сахалине каторжников. Каторжники эти, по уверению Чехова, потому бегают из сахалинских тюрем, что в них остается „незасыпающее сознание жизни“ (стр. 228), и что „бороться с любовью к родине и свободе“ им было бы странно, а пытаться так или иначе побороть в них эту любовь значило бы пытаться (будто бы) „окончательно испортить“ их и „не уважать“ в них „того, что мы так любим и уважаем в самих себе“ (стр. 245). При неугасающей в каторжниках любви к родине для них все-таки имеются способы к побегу с Сахалина, — и они бегут. Репрессивные меры, употребляемые в отношении их, хотя и понижают количество побегов, говорит Чехов, — но они будто бы превращают арестанта в зверя, а тюрьмы в зверинец. Свои побеги каторжники будто бы не считают и за преступление, хотя их и наказывают за эти побеги розгами, кандалами и продлением каторги. Совершая побеги, они делают преступление бессознательно из любви к свободе и родине, а потому и наказывать их за эти побеги будто бы не следовало; в этих побегах и действительно сказывается будто бы не преступление, а болезнь (стр. 230). Чтобы каторжники не бегали, их, по мнению Чехова, следовало бы как можно лучше содержать (стр. 244—245). А на них вместо этого будто бы устраивают охоты, когда они бегут (стр. 247). Перед статьей Чехова, как бы в пояснение того, что труд каторжнику не страшен, помещен портрет крючника, этого добровольного каторжника в наших приморских городах» (*ГИИМ*, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2226, лл. 107—108; сообщено Е. Н. Дунаевой).

Сборник «Помощь голодающим» вышел в конце декабря 1891 г., о чем Анучин сообщал Чехову 22 декабря в письме, где шла речь об избрании Чехова (21 декабря 1891 г.) в члены географического отделения Общества любителей естествознания.

В одних рецензиях на сборник не было анализа главы из «Сахалина», но имя его было названо среди авторов «любопытных и поучительных» статей («Литературное обозрение». — «Вестник Европы», 1892, № 2). В других («Новые книги». — «Русское богатство», 1892, № 1) очерк «Беглые на Сахалине» был специально выделен среди вызвавших «особое внимание читателей»: главный вывод этого очерка сводится к тому, что единственное средство борьбы с бегством каторжных с Сахалина — «улучшение жизни на острове».

Сборник был прислан на Сахалин Д. С. Климовым в библиотеку Тымовского полицейского управления. Д. А. Булгаревич, прочитав «Беглые на Сахалине», писал Чехову 23 апреля 1892 г.: «Статька больно уж маленькая, но при всем том крайне интересна и симпатична <...> Симпатична она, на мой взгляд, по своей тенденции <...> живучесть <на каторге> несмотря на все мытарства <...> Интересна же она по собранному материалу и группировке его. Одно только, что мне показалось, это некоторая бледность изображения сравнительно с другими Вашими произведениями. Затем, мне кажется, Вы сильно доверились нашим <...> сведениям. А ведь их как пишут? Со стены, проклятые, берут <...> Вообще же за статью спасибо. Она отрезвила хоть на некоторое время» (сб. «А. П. Чехов». Южно-Сахалинск, стр. 206—207).

Подготовив главу XXII для сборника «Помощь голодающим», Чехов продолжал работать над XXIII главой и начал переделывать всё ранее написанное. «Сахалин еще не готов», — отмечал он в письме П. И. Чайковскому от 18 октября 1891 г.

До середины 1892 г. Чехов трудился над книгой систематически: «Встаю по прошлогоднему очень рано и тотчас же сажусь работать» (Суворину, 6—7 марта 1892 г.). В этом году его отвлекали от сахалинской книги общественные дела: организация помощи голодающим и профилактических мер борьбы с надвигающейся холерой. Было много творческих планов, осуществленных («В ссылке», «Соседи», «Палата № 6», «Страх») и неосуществленных: «Хочется написать и комедию, но мешает сахалинская книга» (Л. А. Авилловой, 29 апреля 1892 г.).

Летом и осенью 1892 г. Чехов писал знакомым, что о литературной работе и подумать некогда, она «ушла на задний план», «давно уже заброшена». Это дало повод думать, что он оставил работу над «Сахалином». Но Чехов, возражая Суворину («Нет, сие мое детище я не могу бросить»), сообщал, что не форсирует окончания, так как нет охоты выпускать книгу, «пока на тюремном престоле сидит Галкин-Враской» (16 августа 1892 г.). Его тревожило, однако, не только возможное запрещение «Сахалина»: не было желания дробить книгу для публикации в журнале и не было уверенности, что она «подходит» для журнала.

По-видимому, к июню 1893 г. переработка «Сахалина» была закончена. Редакция бесцензурного журнала «Русская мысль» готова была публиковать его по главам, а у Чехова все еще были сомнения. В. А. Гольцеву он обещал сдавать свою «каторжную работу» по частям, листа по три-четыре, но говорил, что деньги начнет брать «только тогда, когда окончательно будет решена судьба этой работы». И просил прочитать хотя бы «кусочек <...> сахалинской рукописи», чтобы дать совет: печатать ее в журнале или выпускать книгой. Смущало Чехова, что «сюжет специальный» и объем большой (см. письмо 28 июня 1893 г.). В другие издания (например, в «Северный вестник», в сборник «Русским матерям») Чехов по-прежнему отказывался давать «по кусочкам» свои сахалинские очерки под предлогом, что материал скучноватый и по цензурным соображениям «не подходящий». Один из редакторов «Русской мысли», В. М. Лавров, вспоминал позднее, что летом 1893 г. Чехов был занят приведением в порядок «Сахалина» и приходил в ужас от размеров своей работы, пытался сократить текст. «„Сахалин“ был обещан нам, и мы с большим трудом отстояли его в том виде, в котором он появился в последних книжках 1893 г. и в первых книжках 1894 года» («У безвременной могилы». — «Русские ведомости», 1904, № 202, 22 июля).

К двадцатым числам июля 1893 г. Чехов представил в «Русскую мысль» беловую рукопись первых трех глав «Сахалина». Гольцев, прочитав их «с большим удовольствием и пользой», сообщил Чехову 23 июля 1893 г., что в августе можно будет набирать первые главы (*ГБЛ*). Предполагалось, что «Сахалин» будет публиковаться в «Русской мысли» в конце 1893 г. и весь 1894 г. Во второй половине августа и в первой половине сентября автор читал уже корректуру первых трех глав и 14 сентября 1893 г. отправил в типографию «исправленную корректуру». У него были сомнения, которыми он поделился с Гольцевым 11 октября 1893 г., «посылать ли Галкину-Враскому корректуру», как ранее было обещано. В этом же письме Чехов просил отправить ему корректуру IV и V глав, а через 2 недели писал из Мелихова, что скоро приедет в Москву и хотел бы там прочитать еще раз главы IV и V, поэтому пока не следует отдавать их в печать (24 октября 1893 г.).

К ноябрю определилось, что «Сахалин» можно высылать в Главное тюремное управление «не в корректуре, а уже в листах» (письмо Суворину от 11 ноября 1893 г.). Ноябрьская книжка «Русской мысли» была задержана цензурой, о чем Гольцев сообщал Чехову 12 ноября 1893 г.: «Галкин-Враской пожаловался Феокистову <начальнику Главного управления по делам печати>. Теперь всё прошло благополучно. Пришла телеграмма не задерживать книжки» (*ГБЛ*). В *ЦГИА* сохранились документы: письмо В. Федорова к Е. М. Феокистову от 10 ноября 1893 г.: «Милостивый государь Евгений Михайлович! По приказанию Вашего превосходительства поспеваю препроводить продолжение статьи Чехова „Остров Сахалин“. Статья же вошла в <одинадцатую> книжку журнала. Редакция предполагала выпустить ее в пятницу 12 числа, но теперь будет ждать указаний, как поступить со статьей. Всего их должно быть три, и все они будто бы посланы к г. Галкину-Враскому, так что новое требование их ставит редакцию в недоумение» (ф. 776, оп. 6, ед. хр. 361, л. 329); листы главы IV с небольшими сокращениями и поправками Чехова (там же, л. 330); 3) телеграмма председателю Московского цензурного комитета: «Не задерживайте книжку „Русской мысли“. Феокистов. 11 ноября 1893 г.» (там же, л. 331).

Через две недели Чехов писал Суворину: «Галкин-Враской жаловался Феокистову; ноябрьская книжка „Русской мысли“ была задержана дня на три, но все обошлось благополучно» (25 ноября 1893 г.).

Полного спокойствия, впрочем, быть не могло — журнал в конце ноября получил предупреждение за статьи М. М. Ковалевского, В. И. Семевского и В. Л. Гольцева по социологическим вопросам (*ГИИМ*, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 321). В этих условиях тревога не покидала и Чехова, подготавливавшего очередные главы к публикации в «Русской мысли». В декабре 1893 г. он читал корректуру для февральской книжки журнала, в феврале — для мартовской (см. письма к Гольцеву от 28 декабря 1893 г. и к А. А. Попову-Монастырскому от 14 февраля 1894 г.). Автор послал исправленную корректуру и для апрельского номера, но, как извещал его Гольцев, глава в журнал «не попала, зато попало „Опровержение“ общества „Сахалин“ на данную Чеховым характеристику этого общества в VIII главе» (см. примечания к стр. 135—137, 137—138).

В июле 1894 г. Чехов читал «последнюю корректуру и для журнала и для книги» (письмо к Суворину от 11 июля 1894 г.). Предполагалось, что сразу же после окончания журнальной публикации «Остров Сахалин» выйдет отдельным изданием (см. письма к Суворину от 26 июня и Попову-Монастырскому от 13 июня и 22 июля 1894 г.). Но главы XX—XXI не были разрешены цензурой. Узнав об этом, Чехов просил Гольцева прислать «оттиск двух последних, цензурою не пропущенных глав», с тем, чтобы «жаловаться в Главное управление», и затем, если из управления придет отказ, в Сенат (письмо от 4 сентября 1894 г.). Гольцев тотчас же послал Чехову гранки и выразил сочувствие его желанию «воевать» за «Сахалин» (сентябрь 1894 г.). Однако жалоба, по-видимому, не была послана (в архивах нет документов) — надо полагать, потому, что Чехов надеялся на выпуск «Сахалина» отдельной книгой и боялся помешать этому. «Мои путевые записки, — писал он через несколько лет, — печатались в „Русской мысли“, все, кроме двух глав, задержанных цензурой, которые в журнал не попали, зато попали в книгу» (С. А. Петрову, 23 мая 1897 г.).

Для отдельного издания книги Чехов в продолжение второй половины 1894 г. и начала 1895 г. подготавливал главы I—XIX, напечатанные ранее в «Русской мысли» (вносил небольшие изменения), и главу XXII, опубликованную в сборнике «Помощь голодающим». Лаврову он сообщал 17 марта 1895 г., что «скопировал» эту главу из сборника. Но это неточно: глава подверглась тщательной обработке. В те же месяцы Чехов исправил корректуру глав XX—XXI и XXIII, не вошедших в журнал (см. письма к Гольцеву от 13 ноября 1894 г. и к Лаврову от 17, 19 марта 1894 г. и 9 апреля 1895 г.).

8 мая 1895 г. было дано цензурное разрешение на выпуск «Острова Сахалина» в издании «Русской мысли». Об этом написал Чехову 9 мая 1895 г. Попов-Монастырский (*ГБЛ*). 16 июня 1895 г. Чехов известил Суворина, что «Сахалин» пропущен и книга уже поступила в продажу.

Следующий (и последний) этап работы Чехова над «Островом Сахалином» — подготовка его для собрания сочинений. Еще в начале февраля 1899 г., вскоре после подписания договора с А. Ф. Марксом, Чехов писал П. А. Сергеенко, чтоб он «сдал <...> Марксу» «Сахалин», но тут же предупреждал, что редактировать его будет «не иначе как в корректуре» (2 февраля 1899 г.). В мае этого года среди других названных в письме Марксу своих произведений Чехов упомянул «издание „Русской мысли“ 1895 г. „Остров Сахалин“» (12 мая 1899 г.). В разговоре же с Марксом в Петербурге 11 июня 1899 г. он предложил «пока не включать „Сахалин“ в собрание сочинений», так как «это не беллетристика, и книга уже достаточно устарела». В конце года было определено место «Сахалина» — в восьмом томе, после пьес, или же издать отдельно, «как книгу, представляющую самостоятельный интерес» (Ю. О. Грюнбергу, 22 декабря 1899 г.). В следующие годы Чехову еще раз пришлось напомнить, что «Сахалин» должен быть выделен в специальный том. В ответ на письмо Л. Е. Розинера от 3 октября 1901 г., в котором было сказано, что «Сахалин» находится в списке произведений для 10 тома, рядом с рассказами «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «У знакомых» (*ГБЛ*), Чехов отмечал: «„Остров Сахалин“ выйдет особой книгой вне томов, так как это не беллетристика» (8 октября 1901 г.). Через несколько дней Маркс написал Чехову, что «были запросы, в какой из томов войдет „Остров Сахалин“», советовал включить его в собрание сочинений, напоминал, что сам автор хотел напечатать «эти очерки в виде одного из томов сочинений», и высказал свое мнение: «Я считаю „Остров Сахалин“ произведением более беллетристическим, чем этнографическим» (13 декабря 1901 г.).

Чехов ответил 17 декабря 1901 г., что он ничего не имеет против печатания «Острова Сахалина», но просит выделить его в отдельный том и прислать корректуру. «Название X тома будет такое: „Остров Сахалин“». В январе-феврале 1902 г. Маркс сообщил автору, что все сдано в набор, и предлагал приложить к этой книге карту острова, нанеся места, которые упоминаются Чеховым, и обозначить путь его следования по Сахалину (письма от 4 января и от 4, 7 и 14 февраля 1902 г. — *ГБЛ*). Но, получив письмо (от 8 февраля 1902 г.), в котором Чехов резко отрицательно отозвался о карте 1885 г. («совсем не годится», устарела), Маркс отказался от мысли давать «приложение» к тому десятому (см. его письмо к Чехову от 14 февраля 1902 г. — *ГБЛ*).

В феврале-марте этого года Чехов, читая корректуру «Острова Сахалина», подверг текст небольшому сокращению, внес немногие изменения и поправки. 16 марта 1902 г. Маркс извещал, что высланы последние листы «на корректуру, и, по получении их обратно подписанными к печати, можно будет в скором времени выпустить X том в свет» (*ГБЛ*). Через месяц с небольшим, 25 апреля 1902 г., он писал: «Десятый том Ваших сочинений уже вышел из печати, и высланные Вам экземпляры его, надеюсь, Вами уже получены» (*ГБЛ*).

В конце 1902 г. Маркс задумал издание собрания сочинений Чехова в 16 томах в виде приложения к журналу «Нива». В ответ на сообщение издателя об этом (29 октября 1902 г. — *ГБЛ*) Чехов в письме от 31 октября выразил благодарность, но предложил печатать «одну только беллетристику, без „Острова Сахалина“ и без „Пьес“». Однако Маркс не последовал этому желанию автора, мотивировав тем, что он уже объявил *полное* собрание сочинений, а значит, связал себя обязательством дать читателю всё, что вошло в десяти томное издание (4 ноября 1902 г. — *ГБЛ*).

2

Еще до путешествия Чехов определил, хотя и в самых общих чертах, объем и жанр будущего творения. Это — книга научно-публицистического характера, книга, в которой будет дано место художественным зарисовкам, сделанным по личным наблюдениям. Соотношение разнородных элементов — авторских размышлений, экскурсов научного характера, художественных зарисовок (природы, быта, людей), т. е. своеобразие очеркового жанра, подсказанное самим объектом исследования (каторжным Сахалином), — проявлялось в процессе работы не без влияния таких выдающихся очерковых произведений, идейно-тематически близких к замыслу Чехова, как «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, «Сибирь и каторга» С. В. Максимова. Обе эти книги упомянуты в «Острове Сахалине», на них ссылался автор, создавая общую картину каторги прошлых десятилетий и при

описаниях частных явлений арестантского быта (майदानа, например). На жанр и структуру этого произведения Чехова, надо полагать, оказали воздействие и путевые очерки знаменитых русских путешественников — И. Ф. Крузенштерна, Г. И. Невельского, В. А. Римского-Корсакова, И. А. Гончарова и др.

В черновой рукописи «Острова Сахалина» еще не было подзаголовка, уточняющего жанр: «Из путевых записок» — он появился в журнальной публикации; однако в первой главе слова: «для этой книги» (*ЧА*) были еще заменены словами «для этой работы», и лишь в издании 1895 г. определение жанра в тексте было приведено в соответствие с подзаголовком: «для этих записок».

На первых же стадиях работы определилась структура книги. Хотя оглавление и подзаголовки, раскрывающие содержание главы, появились лишь в издании 1895 г., но границы глав, их последовательность, задачи и материал каждой главы были четко обозначены уже в черновой рукописи. Первые тринадцать глав строятся как очерки путевые (передвижение повествователя по Северному, а затем Южному Сахалину); главы XIV—XXIII — как очерки проблемные; в каждой главе решается свой вопрос на материале, добытом во время всего путешествия по Сахалину и в итоге изучения литературы: состояние сельскохозяйственной колонии, правовое положение каторжных, поселенцев, женщин, детей, труд, пища, одежда, духовная жизнь, нравственность сахалинцев, преступления и наказания, бегство с острова, болезни, смертность. С каждой главой расширялись концентрические круги повествования, усиливалось то основное впечатление, которое вынес сам автор: Сахалин — «ад».

Оставался неизменным в процессе всей работы тот принцип организации материала, который принят был еще в черновой рукописи: чередование в разной последовательности авторских зарисовок, размышлений, чужих рассказов, описаний, научных наблюдений, так же как неизменным оставалось само многообразие форм включения разнородного материала и многоинтонационность повествования — чередование спокойно-описательных, обличительных, лирических, научно-деловых частей.

Не было принципиальных изменений композиции книги, но в последние печатные тексты вносились дополнения (экскурс в историю каторги, этюд о сахалинском надзоре) и устранялись эпизоды, сцены, описания, ассоциации, если они имели уже параллели (освящение часовни во Владимировке, один из трех рассказов о смертной казни, три из многочисленных случаев побегов) или если уводили в сторону от центральных проблем: этюд о военной шхуне «Восток», рассказ И. Белого о пережитом шторме, разросшееся уподобление Стриндберга гиялкам. Сжимались пространные описания: г. Николаевска, зажиточной Корсаковки и др. (см. варианты к стр. [41—42](#), [109](#), [110](#), [178](#), [186](#), [193—194](#), [300—302](#), [339—340](#)).

В редких случаях Чехов менял последовательность эпизодов, повествовательных кусков или переставлял местами авторское рассуждение и конкретный случай (см. варианты к стр. [256](#), [259](#), [262—263](#), [354](#)), или, наконец, перемещал в другое место описание (см. варианты к стр. [350—353](#)).

Стремясь избежать повторений и в то же время помочь читателю следить за логикой изложения, Чехов отсылал его к следующим главам: «Я буду описывать», «Я опишу в своем месте»; но в процессе работы число этих отсылок всё уменьшалось; многие автор снял (см. варианты к стр. [53](#), [63](#), [131](#)).

По черновой рукописи «Сахалина» видно, что Чехову труднее было писать те главы и страницы, где нужно было публицистически четко сформулировать свое отношение к тому или иному явлению, дать свою оценку, к тому же нередко расходившуюся с официальной или общепринятой точкой зрения. Многие страницы такого рода (в главах VII, XIV, XVIII) пестрят поправками, уточнениями.

В художественных зарисовках (сцены венчания, похорон, телесного наказания, изображение ссыльнокаторжных: Егора, Красивого, Соньки-Золотой Ручки, диалоги с детьми и др.) заметна бóльшая свобода автора; в рукописи в этих местах число поправок незначительно. Однако границы научно-публицистической и художественной «сфер» не столь уже определенны и четки. Чехов выступает в «Острове Сахалине» как художник и ученый одновременно.

Во время путешествия и в процессе работы над книгой определились и уточнились ее задачи, которые автор не скрывал, хотя и не афишировал: противопоставить официальному освещению сахалинской действительности всестороннее, объективное ее исследование; воссоздать правдивую, основанную на проверенных, точных фактах, картину русской каторги; показать обреченность человека, оторванного от родины, на физическую и нравственную гибель в условиях сурового климата, произвола и деспотизма властей, подневольного труда; пробудить в обществе внимание к «месту невыносимых страданий». Постепенно определялись и некоторые частные задачи: воевать против пожизненности и неравномерности наказаний, устаревших и противоречивых законов о ссыльных, против насильственной земледельческой колонизации острова (якобы не только с целью карательной, но исправительной).

Чехов передавал читателю то впечатление, которое он вынес сам с Сахалина — «целый ад». Этот образ поддерживается в ходе книги частными замечаниями: «всё в дыму, как в аду», «какой ад бывает здесь зимою» (стр. 54, 131). В черновой рукописи число подобных замечаний было еще больше (см. варианты к стр. [180](#), [247](#)).

Другой обобщающий образ, также постоянно возникающий в книге: «Сахалин — рабовладельческая колония». Сняв в процессе работы слова: «рабовладельческая эпоха», «возводились <...> колизеи» (варианты к стр. [260](#)), Чехов нейтрализовал возможность сравнения Сахалина с римским рабовладельческим обществом и, напротив, усилил ассоциации с русским крепостничеством. Он внес при подготовке текста к печати открытую параллель: чиновник свел каторгу «самым пошлым образом <...> к крепостному праву» (варианты к стр. [209](#)). Особенно отчетливо выступило это уподобление («не каторга, а крепостничество») в описании положения каторжной прислуги и «господской экономии» смотрителя Дербинской тюрьмы — «помещика доброго старого времени» В. В. Овчинникова (варианты к стр. [98—99](#)).

Многочисленны в книге обращения к современной России, обусловленные обличительной тенденцией (показать связь современной и крепостнической эпохи, сахалинской и общерусской жизни с их произволом и несправедливостью). В то же время эти ассоциации с Россией вызваны тоской по родине сахалинцев и самого автора, потому нередко они имеют лирический оттенок. В ходе работы, впрочем, Чехов снял некоторые из этих параллелей или подчеркнул не только сходство, но и различие Сахалина с русской природой, русской деревней, русским бытом (см. варианты к стр. [73](#), [108—109](#), [150—151](#), [163](#), [164](#), [208](#)).

Сам объект научного и художественного исследования, очерковый жанр произведения, общие и частные задачи книги обусловили, в свою очередь, отбор, меру и формы использования материала, добытого автором или другими лицами, его предшественниками, определили позицию повествователя и тон повествования.

На первых этапах работы Чехова не удовлетворяла форма повествования: «Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той дороге, пока, наконец, не уловил фальши...» (Суворину, 28 июля 1893 г.). Он искал такой формы изложения, которая дала бы возможность не только с максимальной полнотой и точностью воспроизвести сахалинскую жизнь, но и выразить, без «учительских» назиданий и предсказаний, отношение к ней автора, сохранив при этом «чувство первого впечатления». «Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим „Сахалином“ научить и, вместе с тем, что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудачком я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне стало легко, и работа моя закипела» (там же). Уже в черновой рукописи заметно это стремление Чехова избежать поучающих и «пророческих» слов и интонаций (см. варианты к стр. [48](#), [153—154](#)), а также открыто эмоционального авторского отношения — такого рода фразы («... им можно позавидовать!») он сокращал при подготовке текста к печати (см. варианты к стр. [44](#), [47](#), [320](#)). Снимал он также (возможно, отчасти и по цензурным соображениям) категорически высказанные резкие суждения: «дело вопиющее», «сплошной срам» и др. (см. варианты к стр. [119](#), [139](#), [231](#), [248](#)).

Повествователь «Острова Сахалина» не пророк, не оратор, не открытый обличитель, но и не любопытствующий турист, а человек, честно, без предвзятого мнения исследующий Сахалин. Поэтому все чаще появляются в печатных текстах оттенки сомнения в непогрешимости частных наблюдений; вместо: «Нельзя сказать ничего хорошего» — «едва ли можно сказать что-нибудь хорошее». Чаще вводятся слова: по-видимому, вероятно.

Чехов не скрывал от читателя, что ему самому еще кое-что неясно, в чем-то он недостаточно осведомлен, каких-то данных у него не хватает, что он не претендует на полноту, а в некоторых случаях и на обобщение или решение вопроса: «Тут много неясного», «Судить не берусь», «Обобщать их не стану». В процессе работы он снимал неточности, исправлял допущенную порою ошибку (см. варианты к стр. [111](#), [276](#)).

От первого до последнего этапа работы Чехов настойчиво устранял всякого рода биографические черточки, конкретные детали, в которых узнавался бы именно он, Чехов, врач, литератор, человек с характерными для него писательскими ассоциациями или позицией медика. Так, снято: «Доктор знает, что я врач, но ему несколько не стыдно решать...»; «Медицинской помощи мы ему не подали. Я успел только расстегнуть ему ворот» (варианты к стр. [142](#), [335](#)); «Если мне придется когда-нибудь изображать в повести или рассказе...»; любовная история Вукола Попова «могла бы послужить сюжетом для большой и нескучной повести» (варианты к стр. [186—187](#), [205](#)).

Дважды Чехов устранил свою фамилию и такую деталь: «хожу по берегу [с палочкой]». Снял он также те места, где душевное состояние вызвано одними личными мотивами (см. варианты к стр. [42](#), [43](#), [56](#), [60](#), [63](#), [65](#), [75](#), [179](#)).

Зримое присутствие я, вмешательство его в те или иные отношения, сцены, ситуации, как и прямое выражение своих чувств, Чехов далеко не всегда, по-видимому, считал уместным или художественно оправданным. Он зачеркнул, например, в *ЧА* слова: «Когда я полюбил, очень ли это больно...»; «Я не желаю читателю видеть <Дуэ> даже во сне»; «Я обязан ему многими впечатлениями»; «Дуйские казармы для семейных я не забуду никогда» (варианты к стр. [132](#), [369](#), [127](#), [259](#)).

В некоторых случаях он ищет замены я другим лицом, например при передаче впечатления о мрачном сахалинском море — кошмаре (см. варианты к стр. 146).

Той же цели — некоторого отгеснения я во имя большей объективности повествования — служит и замена личной конструкции предложения безличной: «Я считаю» — «Можно считать». Личная конструкция нередко заменяется обобщенно-личной формой, передающей многократность наблюдений или слитность впечатлений я и сахалинских ссыльных: «Входишь в избу», «Взглянешь кругом» и т. п.

Повествователь отгеснялся, но отнюдь не устранился; его присутствие заметно не только в отборе и компоновке материала, но и в оценке изображаемого; однако оценка эта, выражение авторского сочувствия сахалинцам, к окончательному тексту становятся всё более скрытыми.

В подтверждение своих наблюдений и выводов Чехов ссылался на рассказы сахалинцев, исследователей: «по описаниям ученых и путешественников», «по рассказам старожилов», «по рассказам арестантов», «по словам врача». В черновой рукописи подобных отсылок было значительно больше. При сокращении текста Чехов исключал порою не только такие слова, как: «мне рассказывали», «удостоверяют сведущие люди» (варианты к стр. 120, 128), но и случаи, записанные с чужих слов. Незыблемой, однако, оставалась сама направленность: рисовать объективную картину сахалинской жизни, воспринятую свежим человеком, и опираться не только на его собственные наблюдения, но и на свидетельства других очевидцев, на выводы авторов специальных работ, критически оцененные.

Так, утверждению известных Чехову криминалистов, тюрьмоведов: «телесные наказания почти совершенно отошли уже в область прошлого» (И. Я. Ф о й н и ц к и й . Ученые о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889, стр. 159), «ныне потеряли значение» (Н. С. Т а г а н ц е в . Лекции по русскому уголовному праву. Вып. IV, стр. 1421) противостоит в книге Чехова сцена телесного наказания. Свидетель наказания, он скрыл свою взволнованность, свое негодование и сочувствие за подробной «регистрацией» внешних фактов и черт поведения исполнителей экзекуции: смотритель «равнодушно посматривает в окно», палач методично подготавливается и т. д. Точно так же, «через внешнее», изображается и психология наказываемого; в печатных текстах «внешнее» усиливается.

В процессе работы над текстом Чехов последовательно освобождал книгу от детективной занимательности. До нескольких строк сжаты такие биографии сахалинцев, как, например, известной авантюристки Соньки-Золотой Ручки. Особенно очевидным становится этот принцип Чехова при сравнении его объективного, лишённого сенсационности рассказа о Соньке с описаниями этой сахалинской знаменитости другими авторами, представлявшими ее как «сирену», почти европейскую знаменитость (ср. V e r i t a s . Два дня среди каторжных. — «Гражданин», 1891, № 83, 24 марта; В. Д о р о ш е в и ч . Сахалин, т. II, СПб., 1903, стр. 3—11).

Чехов даже не назвал в книге фамилии «каторжной модистки» О. В. Геймбрук, попавшей на каторгу за поджог. В черновой рукописи он зачеркнул слова: «бывшей баронессы» и не рассказал ни о своем знакомстве с нею на Сахалине (что известно из его письма), ни о сенсационном ее преступлении, ни о громком процессе и откликах в печати, возмущивших его, ни о письме матери — О. А. Геймбрук, в котором она рассказывала о своих страданиях и благодарила его за помощь, оказанную дочери на Сахалине (эту последнюю часть письма Чехов не оставил даже в рукописи, где письмо было переписано — см. варианты к стр. 150, 243; примечания к стр. 150). По-видимому, то же нежелание занимать читателя «увлекательными» историями и личностями заставило Чехова исключить законченный (в ЧА) портрет Ф. Колосовского (Подгорецкого), в судьбе которого было немало таинственного (см. варианты и примечания к стр. 328), а также обозначить лишь одной первой буквой фамилию «светского убийцы» — офицера К. Х. Ландсберга и не коснуться на шумевшего в свое время его процесса (см. примечания к стр. 58). Не включил Чехов в тексты изданий 1895 и 1902 годов сведений и о некоторых других шумных уголовных делах, о которых он узнал на Сахалине (см. примечания к стр. 328, 331, 348, 352).

Внимание Чехова было направлено не на исключительное, а на обычное, характерное. Рядовому сахалинцу посвятил он целую главу — шестую, назвав ее «Рассказ Егора». В этом рассказе, по словам Чехова, он «слил сотни рассказов», услышанных от сахалинских ссыльно-каторжных. Черновая рукопись и печатные тексты, письма Булгаревича к Чехову дают возможность восстановить процесс создания шестой главы, которой автор придавал большое значение. Чехов был не только знаком на Сахалине с Егором, добровольно прислуживавшим ему и Булгаревичу, но оказывал материальную помощь Егору. Он слышал рассказ от самого Егора и попросил Булгаревича записать его. Из писем Булгаревича от 22 октября 1890 г., 5 июня 1891 г. и 21 января 1892 г. ясно, что это было сделано и что Чехов нашел запись хорошей (сб. «А. П. Чехов». Южно-Сахалинск, стр. 204).

Эти «заготовки» к шестой главе помогли определить ее содержание и колорит, но едва ли можно сомневаться в том, что Чехов перерабатывал еще до включения в черновик запись Булгаревича, в соответствии со своей задачей — создать обобщающий образ сахалинского ссыльно-каторжного. Подготавливая главу к печати, Чехов продолжал работать над нею. Он внес в главу реплики слушателя, вступление от автора, в котором дал

портрет Егора, сообщил краткие сведения о его прошлом. Автор сосредоточил внимание не на преступлении, а на личности и наказании одного из тех рядовых людей, которые попадали на каторгу в результате судебных ошибок. Вместо увлекательного уголовного рассказа читатель слышит путаную, косноязычную речь темного, простодушного человека. В процессе работы над «рассказом Егора» Чехов подчеркивал неумение Егора отобрать факты, последовательно и четко изложить событие. Автор даже устранял некоторые имевшиеся ранее в речи Егора логические переходы. Причина ссылки Егора на Сахалин, особенности характера, лишенный занимательности рассказ его представлены в книге как явления типические, знаки того, что на каторгу отправляют «много хорошего, надежного элемента» (стр. 324), — свидетельство равнодушия общества. До последнего этапа — подготовки текста для собрания сочинений — Чехов работал над этой главой.

Никому из ссыльнокаторжных Чехов не отдал в книге столько места, как Егору. Но лаконичных портретных этюдов в ней много, и они также уточнялись в процессе работы. Подготавливая «Остров Сахалин» к печати, Чехов, например, немного сократил рассказ каторжного Красивого. Возможно, уточнения, поправки в этом этюде связаны с одновременной работой Чехова над образом Толкового в рассказе «В ссылке». В нем использованы некоторые детали биографии Красивого (22 года в ссылке, бродяга, скрывает свое подлинное имя, перевозчик на пароме), его портрета, характера (худощав, любит посмеяться, говорлив) и его житейской философии (смирение со своим положением). (О том, как Чехов использовал документы, создавая сцену телесного наказания, рассказ о смертной казни, говоря об Онорском деле, рисуя портреты сахалинцев, более подробно см. в статьях М. Л. Семановой: «Чехов-очеркист». — «Чеховские чтения в Ялте». М., 1973; «О безмянных лицах в сахалинских очерках Чехова». — «Чеховские чтения». Изд. Ростовского ун-та, 1974; «Работа над очерковой книгой». — Сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., 1974.)

Как черты многих ссыльнокаторжных, сотни их рассказов Чехов «слил», по его выражению, в «рассказе Егора», так в образе Ливина, смотрителя Рыковской тюрьмы, автор обобщил впечатления о сахалинских чиновниках, выделив, вместе с тем, индивидуальные его черты.

В книге не только созданы собирательный образ и многочисленные индивидуальные портреты сахалинских чиновников (Ливина, Овчинникова, Белого, Фельдмана и др.), но и показано поле их деятельности: тюрьмы, поселения, канцелярии. Неоднократно говорится о хаотическом состоянии сахалинских канцелярий, выражается недоверие к документации, фактическим данным, к дутым цифрам — плоду чиновничьей изобретательности и фантазии всесильных писарей (см. варианты к стр. [109—110](#), [171](#), [322](#), [348](#)). В процессе работы Чехов последовательно снимал многие ссылки на недостоверные источники, статистические данные или противопоставлял им свою цифровую картину (см. варианты к стр. [70](#), [78](#), [85](#), [86](#), [108—109](#), [149](#), [328](#)[328](#); примечания к стр. [263](#), [330](#), [347](#), [356](#)).

В сахалинских канцеляриях Чехов увидел отражение общего состояния официальной отчетности, служившей цели создать идеализированное представление о Сахалине. Чехов предположил уже при первом знакомстве с отчетами — еще до поездки, — что сведения о каторжном острове, поступающие по этому официальному каналу, по меньшей мере, неточны. 15 февраля 1890 г. он писал Плещееву, что будет пространно говорить в своей книге об отчетах Галкина-Враского и «увекочивит» его имя. Неизменно Чехов создает впечатление о неточности фактических данных, о тенденциозности и ложности выводов, сделанных инициаторами сахалинской колонизации (в первую очередь — Галкиным-Враским), лицами, ответственными за осуществление идеи насильственного заселения Сахалина, рекламировавшими в печати якобы благополучное состояние исправительной земледельческой колонии на каторжном острове.

На ранней стадии работы Чехов многократно подчеркивал несоответствие сахалинской действительности целям исправительным, несостоятельность сельскохозяйственной колонии на Сахалине и преступную безответственность, нравственную неряшливость больших и малых чиновников. Но уже в черновой рукописи, а затем при подготовке текста к печати он, по-видимому, из цензурных соображений снял некоторые упоминания или смягчил резкие, иронические замечания о теоретических и практических апологетах земледельческой колонии (М. Н. Галкине-Враском, М. С. Мицуле, Ф. М. Августиновиче, Н. Н. Ярцеве и др.), создававших на Сахалине «фирмы», вместо сельскохозяйственных ферм, а в печати — идиллические картины мирной сельской жизни вблизи сахалинских тюрем (см. варианты к стр. [84](#), [120](#), [158](#), [213](#)). В черновой рукописи отшлифовывалась не только негативная мысль (создавались порою до 10 вариантов формулировок): при современных условиях земледельческая колония на Сахалине невозможна, но и мысль позитивная: развитие сельского хозяйства на Сахалине возможно лишь при условии свободного труда, разумного выбора мест поселений (см. варианты к стр. [109](#), [158](#)).

Более всего (не всегда, впрочем, обозначая адресат) Чехов полемизировал с отчетами Главного тюремного управления. Так, восторженному отзыву в отчетах о постройке в скалах мыса Жонкиер «туннеля Александра III», «замечательного сооружения», которое якобы служит «хорошим началом полезных работ в этом отдаленном

крае» («Отчет Главного тюремного управления за 1883 г.». СПб., 1885, стр. 88), Чехов противопоставил (также без указания на адресат) свое описание этого безобразного и бесполезного сооружения («вышло темно, криво и грязно»), стоившего «очень дорого».

Другие печатные официальные документы, использованные Чеховым в полемических целях, — «Устав о ссыльных», «Устав о содержащихся под стражей», «Урочное положение». В книге более двадцати ссылок на эти издания. Число их в черновой рукописи было еще больше. Цель этих отсылок — «воевать против пожизненности наказаний и устаревших законов о ссыльных».

Даже устраняя открытые высказывания и некоторые упоминания официальных источников или сжимая цитаты из «Устава о ссыльных», изложение отдельных его статей, Чехов оставлял неприкосновенной мысль, внутренне также организующую его книгу, — о противозаконности сахалинской практики, нарушении даже существующих законов, произвольном их толковании, факторах, усиливающих действие и без того жестоких современных законов, что само по себе являлось причиной побегов (см. варианты к стр. 95—96, 193, 228, 233, 239, 257, 344).

Особо следует отметить использование в книге приказов начальника острова Кононовича, за которым установилась (не только в официальных кругах) репутация гуманного, интеллигентного человека. Заведую 18 лет Карийской каторгой, он попадал порою в немилость начальству за допускаемые «послабления государственным преступникам» (*ЦГАОР*, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 198).

Отзывы о Кононовиче, доходившие до Чехова, были весьма пестрыми. В письмах Чехову Р. О. Чагина (18 и 20 апреля 1890 г.) и К. Шишмарева (*ГБЛ*) говорилось о тупости, формализме, мании величия и мелочности Кононовича. По мнению же В. Г. Короленко, Кононович человек «в высшей степени честный и справедливый», но грубоватый (*ГБЛ*). Д. Кеннан, как напомнил в книге Чехов, отозвался о Кононовиче восторженно. И личные впечатления автора «Сахалина» были (особенно на первых порах) вполне благоприятны («интеллигентный и порядочный человек»), быть может, не без влияния радушия и гостеприимства, которые оказал ему начальник острова (письма Суворину от 11 сентября 1890 г., Кононовичу от 19 февраля 1891 г.). Однако изучение сахалинской жизни, официальных документов (в частности, приказов начальника острова), видимо, поколебало первоначальное впечатление; в очерках появились иронические интонации по адресу Кононовича. По мере приближения к финалу заметна тенденция обнаружить противоречия между словами и делами Кононовича: его неверие в сельскохозяйственную колонизацию и — настойчивая реализация этой идеи; «отвращение к телесным наказаниям» — и широкое применение их на острове (см. варианты к стр. 153—154, 321, 339).

Работая над очерками, Чехов из писем своих корреспондентов узнал о ревизии на Сахалине, обнаружившей множество серьезных злоупотреблений, растрат, хищений, то есть тех «преступлений по должности», которые в своей «Записке...» (1891 г.) отмечал сам Кононович (*ЦГА РСФСР ДВ*, оп. 1, ф. 702, ед. хр. 155, л. 12). И хотя лично Кононович не был виновен и с помощью А. Н. Корфа, хлопотавшего перед министерством (там же, 1133, оп. 1, ед. хр. 556, лл. 2—3), ему удалось оправдаться, но как начальник острова он нес ответственность за все, и ему в 1893 г. было предложено уйти в отставку.

Передавая в «Острове Сахалине» содержание приказов Кононовича, цитируя или упоминая их, Чехов выразил свое критическое отношение к этим документам, сомнение в гуманности решений и действий начальника острова. Всего отсылок к приказам Кононовича около 30, все они определились уже в черновой рукописи и (за редким исключением — см. варианты к стр. 279) остались при подготовке печатных изданий.

Чехов имел все основания возлагать ответственность за положение на Сахалине не только на начальника Главного тюремного управления Галкина-Враского, начальника острова Кононовича и сахалинских чиновников, но и на генерал-губернатора Приамурского края Корфа, слывшего гуманным человеком, жаждущим добра своему краю, покровительствующему даже тем, кто предаст гласности жизнь на русской окраине. Корф и сам выступал в газетах и на заседаниях Географического общества с сообщениями о Приамурском крае, с призывами содействовать заселению его необжитых мест (см., например, «Новое время», 1888, № 4361, 19 апреля).

Чехов подошел к Корфу с той же мерой, что и к Кононовичу. Сопоставив его благие намерения и реальные их осуществления, обнаружил резкие противоречия, бросавшиеся в глаза и некоторым местным корреспондентам (см. «Владивосток», 1890, №№ 25, 41, 42, 24 июня, 14 и 21 октября). Начальник Приамурского края, гуманный и благородный человек, пять лет не был на острове, а теперь, на основании беглого осмотра приукрашенных к его приезду тюрем и поселений, делает заключение о «значительном прогрессе», превосходящем все ожидания.

Чехов не знал, что в пору его работы над «Островом Сахалином» Корф в докладе министру внутренних дел выразил сомнение, что остров Сахалин можно «обратить в сельскохозяйственную колонию» (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 702, оп. 1, ед. хр. 155, лл. 91, 100), но со слов Корфа он еще на Сахалине записал: «Сельскохозяйственная колония преступников на острове неосуществима», и вместе с тем был свидетелем того, как упорно стремились реализовать идею сельскохозяйственной колонизации под его руководством.

Создавая документально-художественные очерки, в которых факты, цифры безукоризненно точны, Чехов последовательно (от черновой рукописи до подготовки текста к собранию сочинений) сокращал объем справочного материала. Его указания на источник совершенно верны, но порою в процессе работы он отказывался от полной ссылки, иногда называл лишь фамилию известного исследователя, путешественника, сжимал цитатный материал или отправлял в сноску некоторые специальные сведения.

От этого последовательного сокращения справочного аппарата в книге все рельефнее выступали конкретные авторские наблюдения, лица, сцены, эпизоды из сахалинской жизни, то есть все то, что составляло, условно говоря, «художественную часть» книги, которая также не оставалась неподвижной, подвергалась изменениям. Разнообразны формы использования в «Острове Сахалине» материала, добытого самим автором и другими лицами — исследователями, путешественниками, газетными корреспондентами. Чехов то ограничивался библиографической ссылкой на специальные сочинения, не считая себя компетентным в этом вопросе, то, не претендуя на самостоятельное решение какого-нибудь вопроса, как бы проверял свои немногие наблюдения фактическими данными, характеристиками, выводами авторитетных исследователей — этнографов., путешественников (Л. И. Шренка, И. Ф. Крузенштерна, Н. К. Бошняка и др.). При этом Чехов нередко создавал и портреты самих исследователей — Невельского, Бошняка, Н. В. Рудановского, И. С. Полякова, Н. В. Буссе.

То, что являлось самоцелью в ряде изученных Чеховым специальных работ географов, ботаников, геологов и др., стало в книге лишь средством создания впечатляющей картины суровой сахалинской природы, враждебной несвободному человеку («при чтении становится холодно» — Суворину, 18 мая 1891 г.). Почти дословно повторяя описания специалистов, Чехов сопровождал их порою своими размышлениями. Нередко Чехов творчески преобразовывал специальные описания (ср., например, описание «кочевания рыбы» у зоолога И. С. Полякова в известной Чехову его работе «Отчет об исследованиях на острове Сахалине и Южно-Уссурийском крае». СПб., 1884, стр. 3—4, и в сахалинских очерках Чехова — стр. 285—286). Описание Чехова лишено натуралистических деталей, столь естественных в труде зоолога; создана своеобразная художественная картина.

Рукописи и печатные издания «Острова Сахалина» дают возможность судить о характере авторской стилистической правки этого произведения. Устраняются канцеляризмы («вверенную ему...»), иностранные слова («прерогатива») или заменяются тождественными по значению русскими выражениями: полнейший индифферентизм — полнейшее равнодушие; конкурируя — соперничая. Просторечье заменяется общепринятыми литературными оборотами (одежа — одежда, склизких — скользких), а порою заключаются в кавычки слова из чужого лексикона и при этом вводится ссылка на лицо или круг лиц, у которых эти слова заимствованы: «из уваженья», как говорят мужики; по словам надзирателей, «душу воротит». Снимаются пышные метафоры («со своей королевой клюквой»); привычные литературные штампы заменяются простыми словами (плерезом — крепом; хранили глубокое молчание — все время молчали).

3

Очерки Чехова вызвали внимание и интерес читателей и корреспондентов — сибиряков и сахалинцев. В «Енисейском листке» (1893, № 52, 26 декабря), вскоре после появления первых глав в «Русской мысли» (1893, № 10), автор (Nemo) литературного обозрения писал о «весьма интересных путевых записках известного нашего писателя А. П. Чехова» и, предвещая им в сахалинской литературе «первое место», отмечал, что, наряду с описанием условий жизни ссыльнокаторжных, писатель передал и свои личные впечатления при соприкосновении с этим населением», с администрацией каторги — «одного из мрачных» мест России.

В газете «Сибирский вестник» в 1893—1894 гг. авторы «Журнальных обозрений» (П. Ч. Чернч, П. Львов) излагали содержание отдельных глав «замечательных путевых записок», обращали внимание читателей на полярность выводов в описании каторги Корфа и Чехова: «Чехов, постоянно описывающий звон цепей, разубеждает нас в этих прекрасных словах <„цепей нет“> барона Корфа». Они отмечали также, что «Чехов на этот раз мало описывает как художник. От слога его, сжатого и холодного, веет как будто тоской приунывшего туриста, не замечающего красоты окрестных мест. В отсутствии образности во всех описаниях Чехова, впрочем, обвинить нельзя» («Сибирский вестник», 1893, № 138, 26 ноября; см. также: 1894, № 115, 1 октября).

Газета «Владивосток», недавно жаловавшаяся на то, что с «мертвого острова» не поступает известий, так как корреспондентов преследуют (1893, № 10, 7 марта), сразу откликнулась на первые главы «Сахалина». Напомнив о путешествии Чехова летом 1890 г. через Сибирь на Сахалин и об очерках «Из Сибири», «по необходимости часто слишком поверхностных», один из авторов (Ди—ма) писал о начале сахалинских очерков: «Статья эта, по нашему мнению, обещает быть интересной, за что ручаются и первые главы ее <...> и далеко недюжинный талант автора, и глубокая наблюдательность его как беллетриста-художника», и, наконец, «целесообразный и плодотворный»

принятый им метод изучения: перепись, личные наблюдения и общения. Цитируя некоторые места (описание Николаевска, торжественной встречи Корфа), корреспондент приходил к выводу, «что Чехов принадлежит к тем <...> писателям, которые, рисуя нашу отдаленную окраину, розовых красок не пускают» (1894, № 5, 30 января). По выходе отдельного издания «Острова Сахалина» в 1895 и 1902 годах на эту книгу в местной прессе неоднократно ссылались, как на произведение «мастерски написанное», автор которого, глубоко сострадавшая подневольным обитателям острова, обличает сахалинскую действительность («Владивосток», 1898, № 8, 22 февраля, № 21, 24 мая).

В обзорах литературной жизни газеты «Восточное обозрение» неоднократно упоминали имя Чехова, его путешествие и книгу о Сахалине. Здесь рецензировались «Убийство», «Ариадна», «Дом с мезонином» и др. За псевдонимами, криптонимами, инициалами (Аквилон, К. О. Н., И. И.) скрывались политические ссыльные: П. Ф. Якубович (Мельшин), Ф. Я. Кон, И. И. Попов и др. («Восточное обозрение», 1896, № 22, 21 февраля, № 105, 6 сентября). 21 ноября 1896 г. Чехов отправил «Остров Сахалин» Якубовичу в Курган (жившему там на поселении после Карийско-Акатуйской каторги) с надписью, свидетельствующей о том, что он в числе немногих знал подлинную фамилию автора «В мире отверженных» и статей в «Восточном обозрении», подписанных псевдонимами Л. Мельшин, Аквилон и др.: «Петру Филипповичу Якубовичу от его почитателя, искреннего друга его симпатичной книги. Антон Чехов» (*ЛН*, т. 68, стр. 292).

В той же газете печатались статьи друга Якубовича — Н. В. Кириллова, отправившегося на Сахалин в середине 1890-х годов не без воздействия путешествия Чехова и его книги. В «Письмах с Сахалина» Кириллов отмечал, что он с особенным вниманием «проштудировал в пути обстоятельный очерк А. Чехова „Сахалин“ и что на каторжном острове ему чиновники и купцы злорадно говорили: не боимся „никаких критиков, <...> Чехов многим хотел повредить, да не успел, у писателей руки коротки“» (1897, №№ 6, 8, 55, 12 и 17 января, 9 мая).

Некоторые «обиженные» чеховской критикой стремились реабилитировать себя в печати. Так, с опровержением выступили члены частного общества «Сахалин» и смотритель рыковской тюрьмы Ф. Н. Ливин (см. примеч. к стр. 137, 137—138, 160).

Общество же изучения Амурского края послало Чехову 23 февраля 1901 г. просьбу, подписанную библиотекарем Б. Пилсудским (одним из политических ссыльных на Сахалине в бытность там Чехова), прислать «Описание острова Сахалина и путешествия на <...> Дальний Восток». Получив от автора книгу, распорядители Комитета Общества выразили писателю благодарность (24 мая 1901 г. — *ГБЛ*).

Разумеется, книга Чехова произвела впечатление не только на «местных» читателей. С. А. Толстая записала в своем дневнике 15 ноября 1898 г.: «Вечером читали вслух „Сахалин“ Чехова. Ужасные подробности телесного наказания! Маша расплакалась, у меня все сердце надорвалось» («Дневники Софьи Андреевны Толстой», т. 3. М., 1932, стр. 94). Это чтение происходило в ту пору, когда Л. Толстой работал над «Воскресением». В 1895 г. Чехов, слушая чтение глав этого романа (по рукописи) и отметив правдиво изображенную сцену суда, обратил внимание Толстого на допущенную им неточность: Маслову за отравление купца могли приговорить не на два, а на четыре года. Автор впоследствии исправил эту ошибку. В печати через некоторое время сближали изображение Толстым и Чеховым тюремных порядков, «суровых до жестокости нравов и обычаев» русской ссылки и каторги («Владивосток», 1901, № 10, 4 марта).

Многие читатели «Острова Сахалина» сообщали Чехову, что прочли его книгу «с большим интересом», «с большим удовольствием» (М. О. Меньшиков, 15 июня 1895 г. — *ГБЛ*; Н. В. Алтухов, 12 мая 1902 г. — *Из архива Чехова*, стр. 158; А. К. Глазер, декабрь 1903 г. — *ГБЛ*; А. Стопальков, 15 декабря 1903 г. — *ГБЛ*).

Е. А. Ефимов, некогда ведавший каторжными работами в Восточной Сибири, соглашался с критикой Чеховым устаревшего «Устава о ссыльных», с его изображением детей каторжных: «Читая книгу, я удивлялся тому, как можно было в столь короткое время (три месяца) изучить так подробно быт сахалинской каторги и колонии». «Все сообщенные А. П. Чеховым <...> сведения составят <...> весьма ценный материал при рассмотрении и обсуждении вопроса об изменении системы наказания и отмены ссылки» («Из жизни каторжных Илгинского и Александровского <...> заводов». М., 1900, стр. 48—49, 52—53).

Леонид Лейзеров, заключенный московской Бутырской тюрьмы, рассказывал в своих воспоминаниях «Чехов и каторга»: «Душа этого удивительного гения прошла через все чистилища русской жизни. Он всё видел, всё подсмотрел и беспристрастной рукой записал в свою волшебную книгу. Его „Сахалин“ читался при гробовом молчании всей камеры и никаких споров не вызывал: все знали, что этот страшный документ был написан кровью сердца великого поэта» (*ГБЛ*).

А. Ф. Кони писал: «Он предпринял с целью изучения этой колонизации на месте тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся губительно на его здоровье. Результат этого путешествия, его книга о Сахалине, носит на себе печать чрезвычайной подготовки и беспощадной траты времени и сил. В ней за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных

чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя» (А. Ф. К о н и . Избр. произв., т. 2, М., 1959, стр. 342—343, 346—347).

Чехов вызывал своей книгой действительное желание помочь сахалинцам. В 1896 г. сестра милосердия Е. К. Мейер, прочитав «Сахалин», отправилась на каторжный остров, где по ее инициативе были созданы «рабочий дом» (поселенцы получали здесь работу и питание) и общество попечения о семьях ссыльнокаторжных («Владивосток», 1900, № 11, 9 марта; 1901, № 50, 9 декабря; «Тюремный вестник», 1901, № 10; «Амурский край», 1902, № 4, 9 января). Чехов, судя по его ответу О. Л. Книппер (на ее письмо от 3 декабря 1902 г., в котором она сообщала о визите Мейер и ее рукописи), еще ранее слышал о Мейер. Отчет ее был напечатан в извлечениях в «С.-Петербургских ведомостях» (1902, № 321, 23 ноября). Он начинался словами: «Шесть лет тому назад <...> мне попала в руки книга А. П. Чехова „Остров Сахалин“, и мое желание жить и работать среди осужденных благодаря ей приняло определенную форму и направление».

Чехов имел реальное основание предполагать, что его «Сахалин» станет «литературным источником и пособием» для всех, кто будет заниматься теми же проблемами (Суворину, 30 августа 1891 г.). К книге Чехова, еще при его жизни, обращались многие. В 1896 г. съезд русских врачей (пироговский) постановил ходатайствовать перед правительством об отмене телесных наказаний и поручил известным врачам и общественным деятелям Д. Н. Жбанкову и В. И. Яковенко собрать материалы по этому вопросу. В своих печатных выступлениях и в письмах Чехову (*ГБЛ*) эти авторы благодарили его за помощь. Из «прекрасной книги», полученной каждым из них в дар от автора в 1897 г., они сделали много выписок, вошедших в их исследование «Телесные наказания в России в настоящее время» (М., 1899). Вышедшая в бесцензурном издании эта книга, по представлению цензора Соколова и решению Московского цензурного комитета, была «запрещена к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях» (*ГИИМ*, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2230).

Очерки Чехова явились толчком для поездки на Сахалин В. М. Дорошевича, автора книг «Как я попал на Сахалин» (М., 1903), «Сахалин» (М., 1903), в которых имя Чехова упоминается не раз. Судя по письму Чехову Н. В. Тулупова, заведующего издательством народных и детских книг И. Д. Сытина (от 29 сентября 1901 г.), Чехов читал книгу Дорошевича «Как я попал на Сахалин» в гранках (*ГБЛ*). По-видимому, в связи с этой книгой должно было состояться его свидание с автором и издателем: «Вчера я поджидал Вас и Дорошевича весь день», — писал Чехов Сытину 25 ноября 1902 г.

Автор «Острова Сахалина» оказался причастным к длительной полемике вокруг «сахалинских» описаний Дорошевича и А. Фельдмана. 22 июня 1893 г., за 4 месяца до публикации в «Русской мысли» первых глав «Острова Сахалина» Чехова, и «Одесском листке» начали печататься очерки-воспоминания «Остров Сахалин» за подписью А. С. Ф. Автором их был «старик Фельдман», бывший начальник Дуйской тюрьмы, о котором весьма неодобрительно (хотя и не называя фамилии) писал Чехов в своей книге. Фельдман рассказал в своих воспоминаниях об истории ссылки на Сахалин с 1860-х годов, и весьма идеализированно о своей службе в сахалинских тюрьмах. Он всюду видел «перемены к лучшему» («Одесский листок», 1893, №№ 167, 189, 192, 219, 22, 26, 28 июня, 24 августа). 2 декабря 1897 г. в «Новороссийском телеграфе» (№ 7321) Фельдман опубликовал «Письмо в редакцию», в котором он опровергал сказанное в очерках Дорошевича о нем, как о зрителе сахалинских тюрем (в этих очерках, как и в «Сахалине» Чехова, о Фельдмане говорилось как о деспотичном, жестоком тюремном зрителе). Фельдман, по его словам, был вынужден подать «прошение» в Главное тюремное управление и привлечь к суду за клевету Дорошевича и редактора «Одесского листка» В. В. Навроцкого.

Суд, однако, не состоялся, так как Фельдман не явился на него. 29 апреля 1900 г., накануне вновь назначенного судебного заседания, Дорошевич телеграфировал Чехову: «Десятого мая мое дело в Одессе. Все сроки вызова свидетелей пропустил. Должен вызывать сам. Очень прошу, если можно, приехать свидетелем. Телеграфируйте ответ» (*ГБЛ*). Чехов ответил 11 мая 1900 г. также телеграммой: «Приехать не могу. Рассчитывайте на оправдательный приговор. Он будет и должен быть». В ноябре 1900 г. суд вынес Дорошевичу и Навроцкому «оправдательный вердикт» («Одесский листок», 1900, № 307, 28 ноября).

Путешествие и книга Чехова заставили обратить внимание на Сахалин официальных лиц. Министерство юстиции и Главное тюремное управление командировали на каторжный остров своих представителей: в 1893 г. — кн. Н. С. Голицына, в 1894 г. — М. Н. Галкина-Враского (*ЦГА РСФСР ДВ*, ф. 702, оп. 1, ед. хр. 200, лл. 10—14; ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 1149, л. 1; «Тюремный вестник», 1895, № 5). В 1896 г. отправился на Сахалин юриконсульт Д. А. Дриль, в 1898 г. — начальник Главного тюремного управления А. П. Саломон. Последние два характеризовали «положение дел» на Сахалине как «неблагоприятное», «неудовлетворительное во всех отношениях». Хотя в их книгах и отчетах имя Чехова не упоминалось, но по многим вопросам (неудача земледельческой колонизации, скверные тюремные помещения, пища, одежда арестантов, массовое бегство с острова, узаконенность каторжной прислуги у частных лиц, бездорожье, тяжелое положение женщин и детей,

эксплуататорский характер деятельности акционерного общества «Сахалин», развращенность и злоупотребления властью сахалинских чиновников и др.) они приходили к выводам, ранее сделанным Чеховым (Д. А. Д р и л ь . Ссылка и каторга в России. — «Журнал министерства юстиции», 1898, № 4; «Ссылка во Франции и России». СПб., 1899; <А. П. С а л о м о н >. Речь начальника Главного тюремного управления на о. Сахалине. — «Тюремный вестник», 1899, № 1; «Отчет начальника Главного тюремного управления министру юстиции». СПб., 1899; «Остров Сахалин. Из отчета б. начальника Главного тюремного управления». — «Тюремный вестник», 1901, №№ 1, 2, 6).

Посылая Чехову 23 марта 1902 г. свои «отчеты», А. П. Саломон писал: «Позволю себе покорнейше просить Вас принять эти две работы как дань моего глубокого уважения к Вашим трудам по исследованию Сахалина, трудам, которые одинаково принадлежат и русской науке и русской литературе» (*ГБЛ*). Современники Чехова не раз отмечали, что многое на Сахалине и после путешествия писателя не изменилось («Владивосток», 1898, №№ 19, 24, 10 мая, 14 июня; 1899, № 9, 28 февраля; 1900, № 12, 19 марта). Но некоторые склонны были расценивать как уступку общественному мнению, активизированному книгой Чехова, частные реформы, проведенные русским правительством в 1890-е — начало 1900-х гг.: отмена телесных наказаний женщин (1893 г.), изменение закона о браках ссыльных (1893 г.), назначение от казны сумм на содержание детских приютов (1895 г.), отмена вечной ссылки и пожизненной каторги (1899 г.), отмена плетей и бритья головы (1903 г.) («Тюремный вестник», 1893, № 6; 1894, № 6; 1895, № 4; 1899, № 6; «Владивосток», 1899, №№ 7, 28, 14 февраля, 11 июля).

В середине 1890-х годов, также не без воздействия книги Чехова, пробудился интерес к Сахалину и за границей. На V Международном тюремном конгрессе (1895 г.) русским представителям неоднократно задавали вопросы о постановке дела на Сахалине («Протокол заседания». — «Тюремный вестник». 1897, № 9).

К. де-Шарьер сообщал Чехову 19 августа 1897 г. о своей сестре-писательнице, проживающей в Швейцарии, которая, наслышавшись о «талантливых трудах» Чехова, особенно об «Острове Сахалине» и «Мужиках», просит разрешения перевести на французский язык эти произведения (*ГБЛ*).

А. Ф. Маркс извещал Чехова 2 декабря 1902 г.: «Посылаю Вам XI выпуск *Petermanns Mitteilungen*, в котором Вам интересно будет прочесть отзыв об „Острове Сахалине“ (Beilage 690)» (*ГБЛ*). Речь шла о рецензии на работу Фр. Иммануэля «Остров Сахалин» (*Fr. I m m a n u e l. Die Insel Sachalin*), представляющую собою научное, географическо-статистическое и этнографическое описание Сахалина — свод научных данных — в связи с тем интересом, который возбудил остров благодаря некоторым русским путевым очеркам. Передавая содержание работы, рецензент писал о «Сахалине» Чехова и высказывал сожаление, что богатая по материалу книга эта — выдающееся явление в истории русской литературы, — еще не переведена на западноевропейские языки (*Mitteilungen aus justus perthes geographischer Anstalt, 1902, 47. Band, Beilage 690, S. 200—201*).

В 1903 г. во Франции вышла книга о Сахалине (*Paul L'a b b é. Un baigne russe (l'île de Sachalin)*), явившаяся результатом путевых впечатлений автора. Она была переведена на русский язык Н. Васиным, который дополнил ее выписками из книг Чехова, Дорошевича, Миролюбова и др., о чем писал Чехову 15 ноября 1903 г. (*ГБЛ*). Отпечатанная без предварительной цензуры книга (П. Л а б б э . Остров Сахалин. Путевые впечатления. Перевод с французского с дополнением русских исследователей А. П. Чехова, В. М. Дорошевича, И. П. Миролюбова и др. Перевод Н. Васина, изд. Клюкина, 1903) была препровождена Московским цензурным комитетом в Главное тюремное управление с таким заключением цензора Венкстерна: «... Что касается текста французского автора, именем которого озаглавлена книга, то он в отдельности не заслуживал бы внимания цензуры, так как наполовину представляет из себя описание острова Сахалина в географическом и этнографическом отношениях, а в повествованиях о быте каторжников и поселенцев придерживается умеренного, чуждого тенденциозности, тона. Но издателю книги, очевидно, именно это и не понравилось, и он счел нужным переслать текст французского автора выдержками из сочинений русских писателей, трактовавших тот же предмет, Дорошевича, Чехова и др. <...> У Чехова же заимствуется описание обстановки кандалной тюрьмы. Наконец, наиболее возмущающие душу сцены телесного наказания передаются в виде ряда цитат из сочинений всех <...> вышеназванных русских авторов. Такими приемами в труд Лаббэ, по существу своему безвредный, искусственно вносится элемент тенденциозности, которою проникнуты сочинения авторов, из коих заимствованы вышеуказанные выдержки. Ввиду того, что сочинения Чехова, Дорошевича и Миролюбова имеются в печати и допущены к обращению в публике, присутствие в рассматриваемой книге цитат из этих сочинений представляется мне поводом недостаточным для ее задержания, тем не менее я полагаю бы нужным представить о ее выходе на благоусмотрение Главного управления по делам печати, на предмет, не будет ли признано нужным воспретить продажу ее в ларях и киосках и не допустить к обращению в публичных библиотеках.» (*ЦГИА, ф. 776, оп. 21, ч. 1, ед. хр. 678, лл. 1—6*).

Московский цензурный комитет согласился с заключением цензора и воспретил «к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях и к продаже на улицах, площадях и других публичных местах, а равно через ходящих и офеней отпечатанную без предварительной цензуры книгу <...> П. Лаббэ» (там же, л. 7).

Все писавшие о Сахалине после Чехова единодушно отмечали, что писатель и его «капитальный и талантливый труд», «прекрасная книга» были «виновниками интереса», возбужденного «островом изгнания». «С легкой руки Чехова, — отмечал сахалинский врач Н. С. Лобас, — Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные исследователи». Книга Чехова становится, по мнению этого автора, настольной книгой для всех, кто хочет познакомиться с каторгой (Н. С. Л о б а с . Каторга и поселение на острове Сахалине. Екатеринослав, 1903, стр. 7).

«С легкой руки А. П. Чехова Сахалин неоднократно привлекал к себе внимание печати», — писал и А. А. Панов (А. Сеич), более года проведший на Сахалине после Чехова («Сахалин как колония». М., 1903, стр. 3). См. также: В. Д о р о ш е в и ч . Как я попал на Сахалин. М., 1903; е г о ж е . Сахалин. М., 1903. Эти авторы и те, что не называли Чехова (например, Н о в о м б е р г с к и й . Остров Сахалин. СПб., 1903; анонимный автор статьи «К вопросу о будущем и устройстве о. Сахалина». — «Тюремный вестник», 1901, № 6), использовали материалы наблюдений Чехова над жизнью ссыльнокаторжных, природными условиями острова и т. д., его библиографию и некоторые выводы.

В московских и петербургских газетах и журналах напоминали о путешествии Чехова, сообщали о выходе «Острова Сахалина», передавали содержание отдельных глав, ссылаясь на частные наблюдения талантливого автора, и давали общую оценку книги: она интересна, имеет большое общественное значение, создает правдивое представление о забытом участке русской жизни (В. Л. В провинции. — «С.-Петербургские ведомости», 1893, № 310, 18 ноября; М. К - с к и й . Журнальная беллетристика. — «Сын отечества», 1893, № 357, 31 декабря; Б - и н . Журнальные новости. — «Русские ведомости», 1893, № 347, 17 декабря; «Литература в 1893 г.» — Там же, 1894, № 1, 1 января; Д. М. Журнальные новости. — Там же, 1894, №№ 81, 194, 23 марта, 16 июля; «Литература в 1894 г.» — Там же, 1895, № 1, 1 января; «Из русских изданий». — «Книжки Недели», 1894, № 8, стр. 209—210; Д ж у р а <В. А. Гиляровский>. Типы и картинки. — «Новое время», 1895, № 6904, 20 мая; «На Сахалине». — «Мир божий», 1901, № 4, стр. 19—21).

«На всей книге, — писал анонимный рецензент в „Неделе“, — лежит печать таланта автора и его прекрасной души. „Остров Сахалин“ очень серьезный вклад в изучение России, будучи в то же время интересным литературным трудом. Много хватающих за сердце подробностей собрано в этой книге, и нужно желать только, чтобы они обратили на себя внимание тех, от кого зависит судьба „несчастных“» («Новые книги». — «Неделя», 1895, № 38, 17 сентября, стлб. 1218).

М. Меньшиков в обзоре литературы 1895 г. указал на самые крупные явления последнего времени: «Голодный год» В. Г. Короленко и «Остров Сахалин» Чехова; они продолжают традиции русской литературы — правдивого изображения жизни «на месте». Автор обзора вспоминал, какое удивление вызвала пять лет назад разнесшаяся весть о том, что Чехов отправляется добровольно на сахалинскую каторгу: «Куда, зачем?<...> Это было странно, тем более, что именно тогда, в 1890 году, ходили самые розовые слухи о русских тюрьмах» («О лжи и правде». — «Книжки Недели», 1895, № 10, стр. 220).

О связи «Сахалина» Чехова с тематически родственными ему произведениями («Записками из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, «В мире отверженных» Л. Мельшина) писал А. М. Скабичевский в статье «Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне» («Русская мысль», 1898, № 9, стр. 89, № 10, стр. 34—42).

Рецензент журнала «Образование» отметил (в связи с выходом десятого тома собрания сочинений Чехова), что «путевые записки», в которых воссозданы суровые сахалинские порядки и где «в немногих словах сказано многое», «привлекли к себе серьезное внимание читающей публики и, как хорошо известные, в особой рекомендации не нуждаются» (1902, № 10, стр. 74—75).

Со времени публикации «Сахалина» в журнале «Русская мысль» до выхода X тома собрания сочинений Чехова разноречивы были отзывы критиков (и читателей) о жанре этого произведения. Для многих это был научно достоверный, обстоятельный трактат, отличающийся обилием материала, сухостью изложения, работа ниже возможностей «даровитого художника, автора „Степи“» (В. Л. В провинции. — «С.-Петербургские ведомости», 1893, № 331, 4 декабря; Д. М. Журнальные новости. — «Русские ведомости», 1894, № 81, 23 марта; «Из русских изданий». — «Книжки Недели», 1893, № 12, стр. 262—265).

На том основании, что Чехов не смотрел на свой «Сахалин» как на чисто художественное произведение, некоторые современники утверждали, что для самого автора это был лишь научный труд, и склонны были противопоставлять другим его произведениям: «Вы мне не Сахалин пожертвуйте, а лучше милую „Степь“», — писал Чехову Я. А. Корнеев 5 апреля 1894 г. (ГБЛ). Суворин, судя по ответному письму Чехова от 2 января 1894 г., посмеивался над основательностью, сухостью, ученостью «Сахалина». Чехов, как бы в тон ему, заявил,

что книга эта — труд академический, и он надеется получить за нее премию митрополита Макария (письмо Суворину от 10 января 1894 г.). То была шутка; премию митрополита Макария получали за лучшие учебники и учебные пособия по предметам, преподававшимся в духовных учебных заведениях.

Едва ли не шуткой были также слова Чехова, воспринятые некоторыми современниками (В. С. Миролюбовым, И. Н. Альтшуллером, И. Г. Россоломо) как серьезное заявление писателя, что своим «Сахалином» он отдал дань медицине и смотрит на него как на диссертацию.

Однако многие современники еще при первом знакомстве с чеховскими сахалинскими очерками увидели в них живые зарисовки наблюдательного талантливого художника, отметили тонко очерченные характеры и пейзажи (А. О г н е в . Столичная печать. — «Колосья», 1893, № 11, стр. 237—238; М. К р у к о в с к и й . Наши журналы. — «Новое слово», 1894, № 12, стр. 358).

При жизни Чехова наиболее обстоятельно и точно о своеобразии жанра «Сахалина» как очеркового произведения, в котором сочетаются научные, публицистические и художественные элементы, и общественном значении книги сказал А. И. Богданович (А. Б о г д а н о в и ч >. Антон Чехов. «Остров Сахалин. Из путевых заметок <...> Изд. А. Ф. Маркса, 1902 г., т. X. — «Мир божий», 1902, № 9).

Отметив, что по содержанию, мастерству создания сцен (например, сцены телесного наказания каторжника), по гуманистической направленности, эмоциональной сдержанности, сжатости языка «превосходные очерки» Чехова являются бесспорно классическим произведением, Богданович писал: «Наряду с исчерпывающей полнотой научного, этнографического и географического, статистического и бытового материала, мы имеем великолепное художественное описание жизни этого „гиблого“ места <...> Не подчеркивая и отнюдь не стараясь ставить точки над *i*, <автор> превосходной группировкой фактов и личных наблюдений вырисовывает такую потрясающую картину жизни на Сахалине, что, совершенно подавленный и глубоко пристыженный, закрываешь книгу и долго не можешь отделаться от полученного впечатления. Если бы г. Чехов ничего не написал более, кроме этой книги, имя его навсегда было бы вписано в историю русской литературы и никогда не было бы забыто в истории русской ссылки. Сказанным достаточно определяется огромное общественное значение его книги, тем более, что лучшей книги о Сахалине до сих пор не было и нет» («Мир божий», 1902, № 9, стр. 62—63).

Чехов не создал художественных произведений о сахалинской жизни, которых ожидали от него современники. Но книга «Остров Сахалин» явилась далеко не единственным результатом его путешествия. Сибирские и сахалинские впечатления многообразно отозвались и отразились в его творчестве последующих лет.

Стр. 357. *Обращавшихся за медицинской помощью в 1889 г. было 11309 ~ не менее одного раза в год.* — Здесь и в дальнейшем, в главе XXIII, Чехов сопоставлял свои впечатления с данными отчетов заведующего медицинской частью, «месячных ведомостей о числе больных, находящихся в лазаретах» (Д/В, ф. 702, оп. 4, ед. хр. 137), лазаретных «Правдивых книг», церковных метрических книг, отчетов Главного тюремного управления и других документов и нередко улавливал расхождения, неточности.

Стр. 360. *Тех грозных эпидемий оспы ~ теперь уже не бывает здесь...* — Об опустошающих эпидемиях оспы на Дальнем Востоке Чехов читал у П. П. Глена («Отчет о путешествии по о. Сахалину...», стр. 95), у д-ра Добротворского («Южная часть острова Сахалина...», стр. 27), у д-ра Васильева («Поездка на остров Сахалин». — «Архив судебной медицины», 1870, июнь, № 2, стр. 21, 25).

Рябые лица среди гиляков встречаются часто, но виновата в этом ветряная оспа ~ из троих двое умирало. — Чехов широко использовал в XXIII главе статью доктора Н. П. Васильева (1852—1891), исполнявшего должность Николаевского окружного врача и командированного 8 февраля 1869 г. на Сахалин «для подания медицинского пособия инородцам этого острова» («Архив судебной медицины», 1870, июнь, № 2, стр. 21). В данном случае Чехов излагал и цитировал из разных мест статьи Васильева, опубликованной в этом журнале («Поездка на остров Сахалин»), при этом подвергая их сокращению и стилистической обработке (стр. 21—25).

Стр. 361—362. *В рапорте врача окружного лазарета г. Перлина от 24 марта 1888 г. ~ бесчувственными приносятся в лазарет.* — Чехов цитировал рапорт, который сохранился в его архиве (ГБЛ).

Стр. 364. *Лет 20—25 назад ~ от нее погибало много солдат и арестантов.* — О многочисленных случаях заболевания на Дальнем Востоке (и, в частности, на Сахалине) цынгой и о смертельных исходах писали авторы известных Чехову работ: М. С. Мицуль («Очерк острова Сахалина...», стр. 37, 54) и Н. В. Буссе («Остров Сахалин и экспедиция 1853—54 гг.», стр. 141).

Некоторые старые корреспонденты ~ заготовляло на зиму сотни пудов этого средства. — Эти противоречивые данные Чехов взял из работы Мицуля «Очерк острова Сахалина...», стр. 37, 54.

Окружной начальник и тюремный врач в Александровске говорили мне ~ 51 были положены врачом в лазарет и околоток. — По данным «Отчета по Главному тюремному управлению за 1890 г.» в лазарет из первой

партии ссыльнокаторжных, доставленных «Петербургом» на Сахалин, отправлено 53 человека (СПб., 1892, стр. 310). Эта цифра не совсем совпадает с той, что назвали Чехову С. Н. Таскин и Б. А. Перлин.

Д-р Васильев ~ не встречал гияков, больных сифилисом. — В известной Чехову статье «Поездка на остров Сахалин» Н. П. Васильева («Архив судебной медицины», 1870, июнь, № 2, стр. 26).

Стр. 365. *Помнится, в Дуэ один бывший солдат все толковал про воздушный и небесный океаны ~ и про то, что он убил крестовоздвиженского дьячка.* — Возможно, что это Иоркин, моряк, эпилептик, о религиозном помешательстве которого писал В. Дорошевич («Сахалин», ч. I, стр. 21).

... я видел, как целая толпа каторжных просилась у смотрителя тюрьмы в лазарет и он отказывал всем, не желая разбирать ни больных, ни здоровых. — Эту сцену Чехов наблюдал в Дербинском (смотритель тюрьмы — Овчинников); см. стр. 151—152.

Стр. 367. *Из глазных болезней чаще всего наблюдается конъюнктивит ~ созерцания снежной пустыни...* — Близкая к тексту цитата из статьи Васильева «Поездка на остров Сахалин» («Архив судебной медицины», 1870, № 2, стр. 25—26).

Стр. 369. *... в Дуэ при мне во время экзекуции военный врач заменял тюремного* — А. Г. Зихер заменял А. Гузаревича.

... есть даже бюст Боткина, слепленный одним каторжным по фотографии. — Бюст известного врача-терапевта Сергея Петровича Боткина (1832—1889), основателя физиологического направления в медицине, крупного общественного деятеля, был слеплен для сахалинской аптеки каторжным-скульптором Северовым Василием (см. о нем примеч. к стр. 291).

Стр. 370. *Я прошу скальпель. ~ Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц...* — Чеховские описания лазарета и аптеки противостоят официальным «Отчетам»: «Лазареты снабжены всеми необходимыми хирургическими медикаментами, и медицинские пособия заготавливаются Главным тюремным управлением от лучших Петербургских дрогистов и доставляются ежегодно на судах Добровольного флота» («Отчет по Главному тюремному управлению за 1885 г.» СПб., 1887, стр. 192—193). Об отсутствии на Сахалине медикаментов писали еще в 1870—1880-х годах. Н. Ядринцев приводил слова Власова: в пост Корсаковский «присланы из Николаевска испорченные медикаменты, а в травах и корнях были черви» («Положение ссыльных в Сибири». — «Вестник Европы», 1875, т. VI, кн. XI, стр. 309).

Стр. 370—371. *При лазарете ~ повивальная бабка (одна на два округа)...* — Имя ее в книге не названо. Это Мария Федоровна Акорчева (1832—1901); окончила училище при С.-Петербургской Калининской больнице, получила звание повивальной бабки. В 1885 г. была назначена фельдшерницей на Сахалин (в Александровский и Тымовский округа) (ЦГАОР, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 3992; Д/В, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 2699).

Стр. 371. *Земская больница в г. Серпухове, Москов. губ. ~ см. «Обзор Серпуховской земской санитарно-врачебной организации за 1892—1893 гг.».* — О состоянии дела в больнице Чехов знал по личным впечатлениям и по названной книге.

Стр. 372. *Из статей закона ~ (Выс. утв. мнение Гос. сов. 6 янв. 1886 г., ст. 11).* — Чехов точно цитировал ст. 11 («Полное собрание законов Российской империи», т. 6, стр. 10).

... женщины беременные ~ Ст. 297 «Устава о ссыльных», изд. 1890 г. — Чехов точно воспроизвел (хотя и не заключил в кавычки) статью 297 «Устава о ссыльных», стр. 59.

Сноски

Сноски к стр. 751

¹ «Восточное обозрение» неоднократно писало об этих спектаклях.

ПОВЕСТИ

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

Впервые — «Северный вестник», 1889, № 11, ноябрь, стр. 73—130 (ценз. разр. 27 октября). Подпись: Антон Чехов. Помета: «Село Лука, Сумск. уезда. 1889».

Вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. V, стр. 104—175, с исправлениями:

Стр. 271, строка 23: не прошло и полугодя — *вместо:* не прошло и полгода (по «Северному вестнику» и сб. «Хмурые люди», изд. 1—5, 7—10).

Стр. 283, строка 16: Много ли у нас знаменитых ученых? — *вместо:* Много ли у вас знаменитых ученых? (по «Северному вестнику» и сб. «Хмурые люди», изд. 1—5, 7—10).

Стр. 291, строка 41: потом еду — *вместо:* потому еду (по «Северному вестнику»).

Включая повесть в сборник «Хмурые люди», Чехов сделал небольшие сокращения в основном в характеристике главного героя. Добавление сделано одно: в речи Михаила Федоровича введено сравнение (об архимандрите на велосипеде), бывшее еще в рукописи и не попавшее в текст журнала по цензурным причинам (см. ниже об опасениях в связи с этим А. Н. Плещеева). Несколько словесных и синтаксических поправок сделано в третьем (1891) и шестом (1896) изданиях сборника. В частности, лишь в шестом издании устранена явная опечатка («метрологией» — «метеорологией»), однако появились новые опечатки, отчасти перешедшие и в текст издания А. Ф. Маркса. Следующее, седьмое издание (1897) набиралось не с шестого, а с более раннего (3-го, 4-го или 5-го), вследствие чего некоторые поправки 1896 г. оказались неучтенными в 7—10 изданиях (идентичных по тексту). Известно, что для седьмого издания производился новый набор, и Чехов читал корректуру. В 7—10 изданиях видны некоторые авторские мелкие изменения текста, но также и очевидные дефекты типографского характера; в некоторых фразах слог приглажен и выровнен (заменены предлоги, исправлены согласования). Чехов был недоволен тем, как неаккуратно присылались ему корректуры седьмого издания.

Возможно, по этой причине при подготовке издания Маркса за основу было взято шестое, а не последние издания «Хмурых людей». Включая «Скучную историю» в издание Маркса, Чехов внес лишь несколько поправок.

Прототипом героя «Скучной истории» в какой-то степени дослужил профессор Московского университета Александр Иванович Бабухин (1835—1891), лекции которого Чехов слушал в бытность свою студентом медицинского факультета. Связь старого профессора из «Скучной истории» с Бабухиным не отрицал и сам автор (по свидетельству студентов, посетивших в 1897 г. Чехова в Мелихове): «Это — лицо собирательное, хотя многое взято с Бабухина» (А. У А. П. Чехова в Мелихове. Из письма студента. — «Русские ведомости», 1909, № 150, 2 июля). Совпадали некоторые внешние черты: Бабухину в 1889 г., как и Николаю Степановичу, было 62 года, он также встречался в 60-е годы с Пироговым; как и профессор из «Скучной истории», он, несмотря на недостатки своего голоса, обладал теми же блестящими лекторскими способностями — умел, по словам современника, «рисовать живыми образами самые отвлеченные вещи <...> и всё это осветить таким живым, задорным юмором, рассказать с таким неподражаемым талантом» («Московский календарь на 1887 г. А. С. Пругавина». М., 1887, стр. 198).

О том, что уже у современников возникла мысль о существовании прототипа героя «Скучной истории», свидетельствует В. Кузьмин (см.: Читатель <В. В. Кузьмин>. Литературные очерки. «Скучная история» А. Чехова. — «Новости дня», 1889, № 2301, 28 ноября). Но тот же Кузьмин возражал против прямого уподобления героя Чехова какому-либо определенному лицу.

24 или 25 ноября 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину о начатом рассказе. Его сюжет лег впоследствии в основу «Дуэли» (см. [примечания к этой повести](#) в наст. томе). Но некоторые элементы этого замысла («мельком говорю о театре <...>, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни») были использованы в «Скучной истории». 28 ноября 1888 г. Чехов писал Суворину об этом же замысле: «Сюжет рассказа таков: я лечу одну молодую даму, знакоюсь с ее мужем, порядочным человеком, не имеющим убеждений и мировоззрения; благодаря своему положению как горожанина, любовника, мужа, мыслящего человека, он волей-неволей наталкивается на вопросы, которые волей-неволей, во что бы то ни стало должен решать. А как решать их, не имея мировоззрения? Как? Знакомство наше венчается тем, что он дает мне рукопись — свой „автобиографический очерк“, состоящий из множества коротких глав. Я выбираю те главы, которые мне кажутся наиболее интересными, и преподношу их благосклонному читателю. Рассказ мой начинается прямо с VII главы и кончается тем, что давно уже известно, а именно, что осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас». Герой здесь еще «здоров, молод, влюбчив», умеет «и выпить, и природой насладиться, и философствовать», «не книжный и не разочарованный, а очень обыкновенный малый».

10 марта 1889 г. Чехов сообщал А. М. Евреиновой: «У меня есть сюжет для небольшого рассказа. Постараюсь сделать сей рассказ к майской или июньской книжке». Повесть была закончена, однако, лишь осенью.

Чехов работал над «Скучной историей» в Ялте, куда он «в подлейшем настроении» после смерти брата Николая приехал в середине июля 1889 г. (письмо Суворину, 13 октября 1889 г.). По свидетельству И. Я. Гурлянда, рассказ назывался тогда «Мое имя и я» и лишь впоследствии получил заглавие «Скучная

история» (Арс. Г. Из воспоминаний об А. П. Чехове. — «Театр и искусство», 1904, № 28, стр. 521). «Рассказ почти готов, — сообщал Чехов Плещееву 3 августа. — Несмотря на жару и на ялтинские искушения, я пишу. Написал уж на 200 целковых, т. е. целый печатный лист. Рассказ по случаю жары и скверного, меланхолического настроения выходит у меня скучноватый. Но мотив новый. Очень возможно, что прочтут с интересом». Чехов к началу сентября в основном закончил рассказ, но посылать его в журнал всё еще не решался. «Я хочу кое-что пошлифовать и полакировать, — писал он Плещееву 3 сентября, — а главное, подумать над ним. Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность. Вернее, боюсь написать глупость». Вернувшись в Москву, он занялся «обработкой своей вещи, исковеркал ее вдоль и поперек и выбросил кусок середины и весь конец, решив заменить их новыми» (письмо к А. М. Евреиновой, 7 сентября 1889 г.). Оправдываясь в задержке рукописи, Чехов объяснял ее тем, что вещь кажется ему «недоделанной и не нравится», что она «сама по себе, по своей натуре, скучновата»; вновь жаловался он на трудности работы из-за новизны сюжета. Плещееву Чехов также писал о своей работе над повестью: «Вообразите себе г. Чехова, пишущего, потеющего, исправляющего и видящего, что от тех революционных переворотов и ужасов, какие терпит под его пером повесть, она не становится лучше» (14 сентября 1889 г.). Позднее, уже отослав «Скучную историю» в «Северный вестник», Чехов вновь сообщал о напряженной работе над повестью: «Возился с нею дни и ночи, пролил много пота, чуть не поглупел от напряжения» (Суворину, 13 октября 1889 г.). Повесть была завершена к 24 сентября (письма к А. М. Евреиновой и Плещееву от этого числа).

До самого конца своей работы над «Скучной историей» Чехов не переставал сомневаться в успехе повести и беспокоился о том впечатлении, которое она произведет на читателей и критику. Об этом свидетельствует К. А. Каратыгина в «Воспоминаниях об А. П. Чехове» (ЛН, т. 68, стр. 581). «Сюжет рассказа новый, — писал Чехов Евреиновой 7 сентября 1889 г. — <...> Вероятно, он не понравится, но что шуму наделает и что „Русская мысль“ его обругает, я в этом убежден» (см. также его письма к В. А. Тихонову от 13 сентября 1889 г., Плещееву от 14 сентября 1889 г.). «Это не повесть, а диссертация. Придется она по вкусу только любителям скучного, тяжелого чтения, и я дурно делаю, что не посылаю ее в „Артиллерийский журнал“» (Леонтьеву (Щеглову), 18 сентября 1889 г.). П. М. Свободину Чехов писал, что ему новая повесть не понравится из-за своей «отягощенности» «размышлениями» (см. ответное письмо Свободина от 19 августа 1889 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, М., 1954, стр. 197).

24 сентября 1889 г., посылая «Скучную историю» в «Северный вестник», в письме к Евреиновой Чехов дал повести окончательное заглавие: «Посылаю Вам рассказ — „Скучная история (Из записок старого человека)“». История в самом деле скучная, и рассказана она неискусно». В тот же день он просил Плещеева написать свои замечания и, как бы предваряя упрек в растянутости повести из-за «длинных рассуждений» героя, пояснял, что их «к сожалению, нельзя выбросить», так как они «фатальны и необходимы, как тяжелый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение, и его вилянье перед самим собой».

Плещеев, прочтя «Скучную историю» еще в рукописи, откликнулся на нее первый и высоко оценил повесть: «У Вас еще не было ничего *столь сильного и глубокого*, как эта вещь. Удивительно хорошо выдержан тон старика-ученого, и даже те рассуждения, где слышатся нотки субъективные, Ваши собственные — не вредят этому. И лицо это, как живое, стоит перед читателем. Прекрасно вышла и Катя <...> Все второстепенные лица — тоже очень живы <...> Есть множество замечаний верных, местами глубоких даже. Не говорю уже об абсолютной новизне мотива» (письмо 27 сентября 1889 г. — *ГБЛ; Слово*, сб. 2, стр. 270—271). Он опасался, что «большинству повесть несомненно покажется скучной» «по причине отсутствия шаблонной фабулы и обилия рассуждений». Он сделал и некоторые критические замечания смыслового и стилистического характера: например, возражал против заглавия повести, которое, по его мнению, может подать «повод к дешевому остроумию рецензентов», находил странным «совершенное равнодушие» профессора к роману Кати. Плещеев предсказывал, что выражение «архимандрит на велосипеде» цензура «похерит, как это ни горестно». И действительно, это словосочетание отсутствовало в журнальном тексте то ли по вине цензора, то ли было предусмотрительно изъято самим Чеховым в корректуре.

Чехов, хотя и обещал «непрерывно воспользоваться» критическими замечаниями Плещеева, в действительности исправил в корректуре лишь две незначительные погрешности, о чем позже писал Плещееву, возвращая правленную корректуру (6 октября 1889 г.). Против более существенных замечаний Плещеева Чехов возражал: отказался изменить заглавие повести, защищал необходимость упоминания в ее финале письма Михаила Федоровича к Кате и рассказа об ее прошлом; объяснил не понятое Плещеевым равнодушие профессора к роману Кати: «Мой герой — и это одна из его главных черт — слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли» (30 сентября 1889 г.).

Еще в рукописи прочел «Скучную историю» и Суворин. Подробно изложив, видимо, в письме к Чехову свое мнение, Суворин нашел повесть субъективной и публицистичной, считал, что в высказываниях и предложениях

профессора отражены мнения самого Чехова. Чехов решительно возражал. «Если я преподношу Вам профессорские мысли, — писал он 17 октября 1889 г., — то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю. Во всей повести есть только одна мысль, которую я разделяю и которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника Гнеккера, это — „спятил старик!“ Всё же остальное придумано и сделано. . . Где Вы нашли публицистику? Неужели Вы так цените вообще какие бы то ни было мнения, что только в них видите центр тяжести, а не в манере высказывания их, не в их происхождении и проч.?). И в другом письме к Суворину: «Мнения, которые высказываются действующими лицами, нельзя делать status'ом произведения, ибо не в мнениях вся суть, а в их природе» (23 октября 1889 г.). Еще более резкую отповедь Чехова вызвало переданное ему Плещеевым утверждение Сувориных, что «Катя *любит* самого старика, ведущего записки»: «Уж коли отвыкли от веры в дружбу, в уважение, в безграничную любовь, какая существует у людей вне половой сферы, то хоть бы мне не приписывали дурных вкусов», — писал он Плещееву 21 октября 1889 г.

До появления повести в печати Чехову писали о ней и другие корреспонденты. Так, П. Свободин, отвезивший Плещееву правленную Чеховым корректуру «Скучной истории», писал 7 октября 1889 г.: «На пути из Москвы прочитал всю „Скучную историю“ и по прочтении сказал себе, что Вас Л. Толстой недаром назвал „вдумчивым“. Очень-очень хорошо» (*Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 205). Е. М. Линтварева сообщала 14 октября «К нам доходят восторженные отзывы о Вашей „Скучной истории“ < . . . > от слышавших ее у Плещеева. . . »

11-я книжка «Северного вестника» вышла в начале ноября «Со всех сторон слышу восторженные похвалы вашей повести, — писал Чехову 5 ноября 1889 г. Плещеев, — от людей разных мнений, кружков и лагерей. Некоторые говорят даже, что это лучше всего вами до сих пор написанного. Другие, что повесть оставляет глубокое впечатление; третьи, что это совсем ново; и наконец, что это выдающаяся вещь в „Сев<ерном> вест<нике>“ за весь год. К числу хвалителей принадлежит и Боборыкин < . . . > Я, признаюсь Вам, никак не ждал, чтобы „публике“ Ваша последняя вещь понравилась < . . . > Я думал, что ее будут находить скучной. И вообразите — ничуть! Недостатки в ней, конечно, находят; но из этого ничего не следует, какая же вещь без недостатков. Но все возлагают на талант Ваш большие надежды < . . . > В этой повести Вашей видят не только шаг вперед — но еще и поворот к серьезности и глубине содержания» (*Слово, сб. 2*, стр. 275—276. См. также письмо от 10 ноября. — *ЛН*, т. 68, стр. 354). «Только что окончил „Скучную историю“, — писал Чехову его знакомый, владелец Бабкина А. С. Киселев 11 ноября 1889 г. — Не могу утерпеть, чтобы не высказать Вам, дорогой Антон Павлович, моего восхищения. С этим рассказом Вы сделали гигантский шаг, и я от всего сердца аплодирую Вам. Я убежден, что Ваша „Скучная история“ поднимет на ноги всю критику, хотел бы надеяться, что хулителей не найдется» (*ГБЛ*). Н. А. Лейкин писал 17 ноября: «Читал Вашего профессора в „Сев<ерном> вестнике“. Прелестно. Это лучшая Ваша вещь» (*ГБЛ*). О большом впечатлении, какое произвела на нее «Скучная история», сообщала актриса К. А. Каратыгина (*ЛН*, т. 68, стр. 585).

«Не совсем удовлетворила» повесть Леонтьева (Щеглова). Он нашел, что «на всем произведении лежит печать утомления и надуманности» и что наряду с тем, что «есть в рассказе тонкого и острого», для него характерна «общая тусклость тона», он «страдает и переутомлением и отсутствием ловкости в композиции». Леонтьев (Щеглов), правда, отметил, что «очень метко схвачен» образ Кати, но и в нем он увидел незаконченность, «силуэтность» (письма 9 и 18 ноября 1889 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 76). 25 марта 1890 г. Леонтьев (Щеглов) повторил свою оценку «Скучной истории» как «надуманной и сухой» и противопоставил «Скучную историю» таким «перлам» чеховского творчества, как «Агафья», «Ведьма», «Дома», «Свирель», «Поцелуй» и «почти вся „Степь“» (*ГБЛ*).

В последующие годы Чехов продолжал получать от знакомых и незнакомых ему читателей письма с отзывами о «Скучной истории». Так, Тихонов особо выделял «Скучную историю», которая явилась, по его мнению, свидетельством философской зрелости Чехова (письмо Чехову от 8 марта 1890 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 67). Писатель Ф. А. Червинский назвал «Скучную историю» «чертовски умной вещью», которая в связи с беспомощным состоянием современной критики «не вызвала ничего, кроме 2-х — 3-х никому не нужных замечаний» (письмо Чехову 1891 г. — *ГБЛ*).

Восторженные оценки повести находятся и в более поздних отзывах. По свидетельству К. Ф. Головина <Орловского>, «Скучная история» Чехова была «той из его повестей, которая среди публики имела наибольший успех» (К. Ф. Г о л о в и н. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 458). А. Б. Гольденвейзер рассказывал, что, когда он 16 сентября 1901 г. читал Л. Толстому «Скучную историю», «Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова» (А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 98).

Как и другие большие вещи Чехова, «Скучная история» вызвала самые разноречивые суждения литературной критики. По-разному оценивались проблематика, идейное содержание, смысл отдельных образов, но многие критики не поняли широты и многозначности художественных обобщений повести.

Уже в ранних откликах рецензенты стремились определить главную мысль «Скучной истории». Так, Д. Струнин («Русское богатство», 1890, № 4) писал, что, изобразив человека «инерции», «одностороннего развития» в ущерб его духовной личности, человека, в котором умственная жизнь преобладала над нравственной (стр. 112), Чехов пришел к откровению: «всякое уклонение <...> от требований разума и совести, всякая специализация, в том числе и ученая, умаляет человека, порабощает его случайностями, лишает понимания запросов жизни и, наконец, приводит к грустному сознанию, что жизнь им прожита не так» (стр. 124).

С самого начала критика, присоединяясь к словам чеховского героя, говорила о проблеме «общей идеи» как центральной в повести. По мнению Л. Оболенского (Созерцатель. Новый поворот в идеях нашей беллетристики. — «Русское богатство», 1890, № 1), в «Скучной истории» содержатся призывы «критически разобраться в <...> пессимизме» и сознание, что жить «без веры, без руководящей идеи нельзя» (стр. 98). Признавая большое значение для современной русской жизни этой мысли Чехова, критик, однако, толковал ее в узко этическом, чуть ли не в религиозном плане, когда писал: Чеховым «показано ярко, наглядно, психологически неоспоримо, что одна наука и специализация в ней невозможны для истинно разумной жизни, без господства высшей объединяющей идеи, т. е. религии» (стр. 112). О проблеме «общей идеи» в повести говорили В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 96—97), Волжский (А. С. Глинка) в своих «Очерках о Чехове» (СПб., 1903, стр. 53).

Суждения о главной мысли повести в критике тесно связывались с проблемой соотносительности автора и его главного героя, с тем, насколько идентичны их мировоззрения. Чаще всего критики отождествляли Чехова с Николаем Степановичем. Взгляд на современную беллетристику в записках старого профессора, заметил Р. Дистерло, это «мысли самого автора, писателя, принимающего близко к сердцу интересы современной литературы, а не старого медика-профессора <...> Для последнего эта тонкая и меткая оценка <...> не только не характерна, но едва ли и возможна. Здесь автор <...>, не находя для самого себя места в „записках“ профессора, приписал свои мысли ему» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Считая суждения Николая Степановича о современной литературе, критиках и публицистах «чрезвычайно верными», В. Л. Кигн также утверждал, что устами профессора, «разумеется, говорит молодой автор» («Книжки Недели», 1891, № 5, стр. 198, 203).

Отнеся суждения героя повести к ее автору, некоторые рецензенты нашли их легкомысленными и мелкими, нехарактерными для старого, известного ученого. «Суждения его <...> обличают не глубокий ум, не широкое сердце, а набитую на писании „еженедельной беллетристики“ „руку“», — писал Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря).

По аналогичному мнению М. Протопопова, в «Скучной истории» «всё говорит <...> не опытный и проницательный мыслитель», а сам автор — «довольно легкомысленный, хотя и талантливый» («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 104).

На счет Чехова большинство критиков относило и отсутствие во всех помыслах и делах, чувствах и понятиях старого профессора «общей идеи». В этом отношении «Скучная история» стала неким символом «безыдейности» самого Чехова и его творчества, отсутствия в нем объединяющей мысли. П. Перцов заметил, приводя соответствующее признание старого профессора: «На беду себе написал г. Чехов эти слова. Со времени появления „Скучной истории“ не было, кажется, статьи, посвященной ему, в которой эти слова не цитировались бы в применении к их автору. И действительно, трудно придумать более точную характеристику общего впечатления, производимого всей совокупностью произведений г. Чехова, и точнее определить их общий недостаток» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 42). Перцов упрекал Чехова и в общественном безразличии, непонимании общественной значимости изображаемых фактов (стр. 44).

Н. К. Михайловский, резко других говоривший о «безыдейности» Чехова, выделил «Скучную историю» как начало определенного изменения в творческой позиции писателя, заявив в статье 1890 г., что «Скучная история» — «лучшее и значительнейшее из всего, что до сих пор написал г. Чехов». Жизненную трагедию старого профессора — отсутствие «того, что называется общей идеей» — критик отнес к самому Чехову, «во всех случайных зарисовках которого даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи». «Скучная история», писал Михайловский, это прежде всего порождение тоски чеховского таланта «по тому, что называется общей идеей или богом живого человека»; «оттого-то так хорош и жизненен этот рассказ, что в него вложена авторская боль». И если Чехов не приемлет идейного наследия 60-х годов и «не может выработать свою собственную общую идею <...>, то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости» (Михайловский, стр. 601—607).

Аналогичное суждение принадлежало М. Протопову («Русская мысль», 1892, № 6): в словах профессора об общей идее Чехов характеризовал «самого себя, свое творчество, свой талант <...> поколение, и ту полосу жизни, типичным представителем которых он явился в нашей литературе» (стр. 107). По мнению критика,

«Чехов, сам того не замечая <...>, тоскует об идеале». У Чехова нет «объединяющего начала», несмотря на «значительный литературный талант» (стр. 111); «в чем состоит мирозерцание его — этого никто не скажет, потому что у г. Чехова его вовсе нет» (стр. 112).

Головин (Орловский) не только не усмотрел в ней «идеи», но и не увидел между героями, средой и действительностью никакой связи, всю повесть счел «слепленной» «случайно из материалов, не подходящих один к другому» (К. Ф. Г о л о в и н . Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 457—460). То же утверждали Гр. Новополин («В сумерках литературы и жизни». Харьков, 1902, стр. 139—140), В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 102—103) и Евг. Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 148).

Но это мнение не было абсолютно господствующим. Его оспаривал Андреевич (Е. А. Соловьев). Возражая Михайловскому, он полагал, что «тоска и искание» «общей идеи» отражены не только в «Скучной истории», но и во всем творчестве писателя (А н д р е в и ч . Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900, стр. 212). Против определения творчества Чехова как «безыдейного» выступил А. Богданович («Мир божий», 1902, № 10, стр. 12). А. С. Глинка, утверждая, что Чехов не находит путей к осуществлению своего идеала в жизни, вместе с тем писал, имея в виду «Скучную историю»: «Если бы у Чехова не было этого чрезвычайно высокого идеала <...>, он не мог бы видеть всей пошлости, тусклости, всей мизерности» действительности (В о л ж с к и й . Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 32—33).

На самого Чехова распространяла критика и пессимистическую настроенность героев повести, особенно старого профессора. О том, что «дух печали», «задумчиво-меланхолическое настроение», «хандра» и «апатия» преобладают в повести, писали Дистерло («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1481), Дедлов («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 180), М. Протопопов («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 109, 114, 121). Сближая пессимизм героя и автора, Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) и Ю. Николаев (Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря) даже не сочли его «высоким» мировоззрением, «исходящим из трагического философского взгляда на жизнь». Николаев определил настроение чеховских произведений — и «Скучной истории» — как «ходячий», «обиходный» пессимизм, который не задается мировыми, «гамлетовскими» вопросами. Суждение о пессимизме самого Чехова — автора «Скучной истории» — встречается и в позднейших статьях о нем.

Критика рассматривала повесть и с точки зрения отражения в ней проблем современной жизни; дебатировался вопрос о характерности для русской действительности 80-х годов главного героя и других персонажей повести, обсуждалось психологическое мастерство в их обрисовке. Многие критики высоко оценили «Скучную историю» как достоверную картину жизни русского общества 80-х годов. В основе повести, писал Читатель (В. В. Кузьмин), «вы чувствуете целую, взятую из жизни, глубокую по своему психическому значению историю». Старик профессор — «целая энциклопедия, сжатая, но полная энциклопедия длинной человеческой жизни <...>. И до чего верен себе остается этот типичный старик во все продолжение рассказа, вплоть до последней его строчки! Опять-таки живой, цельный человек». Не менее удачными, типичными и жизненными критик находил и остальные лица повести (Ч и т а т е л ь . Литературные очерки. «Скучная история» А. Чехова. — «Новости дня», 1889, № 2301, 28 ноября). По мнению Дистерло, жизненная правда сказалась в повести не только в общем духе времени, но и «в массе живых, чрезвычайно метко схваченных сцен, в легких очерках являющихся на минуту лиц, каковы сторож Николай, прозектор <...>, Гнеккер, Катя» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Я. Абрамов («Книжки Недели», 1898, № 6) писал о чуткости Чехова «ко всем областям» современной русской жизни, сообщившей его произведениям «необыкновенное богатство» содержания, «типов», «общественных положений». Это, на взгляд критика, обнаруживает несостоятельность обвинений писателя в односторонности и отсутствии мировоззрения (стр. 147—148). По утверждению Ф. Е. Пактовского, в «Скучной истории» отражен «новый тип», «едва ли <...> не присущий более всего нашему времени, тип человека, у которого вместо борьбы, дела — является злословие»; это — «жертвы своего бессилия» (Ф. Е. П а к т о в с к и й . Современное общество в произведениях А. П. Чехова. — «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Имп. Казанском ун-те». III. Казань, 1901, стр. 15).

Одновременно высказывалась и другая точка зрения на типичность главного героя и всей изображаемой в повести жизни. Н. Ф. Сумцов («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля) в «Скучной истории» находил на каждом шагу «недостаточное и случайное знакомство автора с университетом, профессорским бытом». В результате «его скучный профессор — деревянная или точнее тряпичная кукла с наклеенным на лбу ярлыком ума, ничем в сущности не доказанного». Недостоверным нашел Сумцов и прозектора; «улыбку вызывает» и рассказ об университетском швейцаре Николае: «остается только непонятным, почему сам Николай Степанович не уступит ему своей кафедры». Г. Качерец также считал, что герои «Скучной истории» жизненно недостоверны, характеры и ситуации — «неоправданны, фальшивы» (Г. К а ч е р е ц . Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 50, 56).

Наиболее резко мысль о нетипичности образа главного героя высказал Михайловский. Он считал «не характерным», чтобы у Пирогова, Кавелина, Некрасова «мог быть современник и друг, который <...> всю жизнь прожил без того, „что называется общей идеей или богом живого человека“ <...> Для людей, воспитавшихся в той умственной и нравственной атмосфере, какую г. Чехов усваивает Николаю Степановичу, нет даже ничего характернее этой погони за общими идеалами <...> Очевидно, перед г. Чеховым рисовался какой-то психологический тип, который он чисто случайно и в этом смысле художественно незаконно обременил 62-мя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым» (Михайловский, стр. 603—604). Аналогичное мнение высказал Е. Ляцкий: профессор не похож на шестидесятников — «отсутствие общей идеи было для них всего менее характерным». На деле он «ничем не отличается от всей серенькой галереи „чеховских“ портретов» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 127—128).

Лишь немногие критические отзывы о «Скучной истории» касались ее поэтики: жанра, формы повествования, стиля, языка. Необычность манеры, жанровое своеобразие озадачивали, вызывали противоречивые суждения.

«„Скучная история“ г. Чехова — не есть ни повесть, ни рассказ, ни что другое беллетристическое, а просто дневник чувств и мыслей „старого человека“, „знаменитого профессора“», — писал А. И. Введенский («Русские ведомости», 1889, № 355, 4 декабря). Жанр «записок», взятый самим Чеховым в «Скучной истории», по мнению Дистерло, не случаен — «это наш современный, русский род литературы — свободный, искренний, чуждающийся всего условного». Дистерло связывал этот жанр с самим характером повествования нового произведения Чехова, которое, «как и другие большие его вещи», «не имеет фабулы и определенного контура», «определенных рамок и наименования» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1477—1478). «Записками» обозначил жанр «Скучной истории» и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря); Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) квалифицировал повесть как «патологическое исследование в беллетристической форме», правда, написанное «очень искусно».

Различно воспринималась специфическая, «интеллектуальная» форма повествования «Скучной истории», ее необычная насыщенность мыслью, мнениями, рассуждениями. Кигн («Книжки Недели», 1891, № 5) полагал, что «элемент ума, никоим образом не доходящий до резонерства, необыкновенно оживляет и как-то бодрит читателя» (стр. 203). Но Перцов увидел в размышлениях профессора «афоризмы публициста, а не вдохновения художника» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 50). Публицистичность, «отвлечения в сторону» усмотрел в «Скучной истории» и Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 141).

О чеховской стилистической манере в повести критика высказала диаметрально противоположные мнения. Так, Дистерло, Кузьмин, Кигн отмечали в повести предельную простоту стиля, лаконизм. Напротив, Сумцов утверждал, что Чехов «постоянно прибегал к «литературной» речи и к «красивой» фразе и потому «снабдил некстати красноречием и своего литературного манекена» («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля).

«Скучная история» не раз объявлялась зависимой от повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». 9 ноября 1889 г. об этом писал Чехову Леонтьев (Щеглов) (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 76). Введенский считал, что своей повестью Чехов «впал в неудачную подражательность» Толстому («Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря). Такого же мнения придерживался и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря): «„Скучная история“ — утрированное подражание внешним приемам Л. Толстого». Д. Струнин сходство двух произведений объяснял не подражанием, а правдивым изображением обоими писателями распространенного в русском обществе типа «человека инерции» («Русское богатство», 1890, № 4, стр. 110). Кигн тоже считал Чехова «сродни Толстому» «по своей способности изображать чужую душу неожиданно — ново и убедительно-правдиво» («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 178—179).

Например, чеховское заглавие «Скучная история» не просто перекликается с заглавием романа Мопассана «Une vie», но противопоставлено ему. Вместо мопассановской установки на обобщение у Чехова ощущение уникальности жизни каждого человека и неповторимости ее восприятия разными людьми. Вот почему, в то время как история Жанны рассказана автором, Николай Степанович не только предмет рассказа, но и повествователь.

На первый взгляд, два этих произведения никак между собой не связаны. Между тем в повести Чехова имеются закамуфлированные интертекстуальные связи с романом Мопассана. Последний кончается тем, что служанка Розали привозит Жанне ее внучку, мать которой скончалась во время родов. При этом она произносит сентенцию, с которой, судя по всему солидаризируется автор (тем более что это почти точная цитата из письма Флобера Мопассану): « — Вот видите, какова она — жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается».

Герой повести Чехова как будто бы заочно оспаривает такое убеждение. Думая о приближающейся смерти, он высказывает сходную, но иную мысль: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». Мысль эта предполагает неизбежность сосуществования «хорошего» с «дурным» и преобладание последнего. Сам Николай Степанович интерпретирует ее еще более пессимистично: «То есть все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропавшими».

Внутреннюю полемику между героями Чехова и Мопассана и, соответственно, мопассановский подтекст повести скрывает ложная атрибуция цитаты – историческому лицу, окончившему свою жизнь не самым счастливым образом, так что она выглядит вполне правдоподобно: «Я думаю о себе самом, о жене, о Лизе, о Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый А.А.Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем...» (PSS 7: 291).

Какой же смысл имеет в повести закомуфлированная полемика ее героя-ученого со служанкой? Фраза Николая Степановича адресована им самому себе и продиктована одиночеством, в которое он замкнулся, потеряв контакт со всеми своими близкими, кроме Кати. Недаром он чувствует, что у него «уже нет семьи и нет желания вернуть ее»: «Ясно, что новые, аракеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом» (PSS 7: 291).

Мысль Розали, не отличаясь глубиной, вовремя высказана ею немало перенесшей Жанне. Так что Чехов не пытается убедить нас, что Николай Степанович ошибается, а мопассановская Розали права. Однако будучи всего лишь служанкой, она все же нашла слова, которые поддержали ее госпожу в трудный для нее момент жизни, а он, профессор, таких слов ни для Лизы, ни для Кати не нашел.

При этом если сравнить Николая Степановича с самой Жанной, то станет ясно, что кое-в-чем они похожи друг на друга. Ведь вначале Жанна, почти совсем не зная Жюльена, выходит за него замуж, а затем передоверяет воспитание сына коллежу, из которого тот выходит гулякой и мотом. Будучи намного образованнее и старше, Николай Степанович, в сущности, понимает людей ненамного лучше, чем она. Так что, подвергая своего героя невыгодному сопоставлению с Розали, Чехов одновременно развивает близкую французскому писателю мысль о пагубе книжного знания жизни, независимо от того, идет ли оно от церкви (где она воспитывалась) или науки.

Беда героя в том, что «в последнее время» он «так оравнодушел ко всему», что ему «положительно все равно, куда ни ехать...». Получив телеграмму о том, что «Гнеккер тайно обвенчался с Лизой», он сам подчеркивает: «Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе». Правда, сам Николай Степанович, а вслед за ним и многочисленные критики Чехова объясняют его отчаяние отсутствием у него «общей идеи» (PSS 7: 304, 306, 307). Однако писатель недаром пояснял в письме к А.Н.Плещееву, что его герой «слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то же время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли» (PSSP 3: 255).

Проблема Николая Степановича все-таки действительно в его равнодушии к близким и эгоизме. В первом он неоднократно признается сам. О втором читатель может заключить, исходя из того, что Николай Степанович не торопится ехать в Харьков и в результате опаздывает навести справки о Гнеккере, а, главное, что он так и не расспросил свою дочь о том, что с ней происходит, даже когда ночью у нее была истерика. Своим эгоизмом Николай Степанович немного напоминает героя романа Мопассана «Bel-Ami» (1885) господина Вальтера, дочь которого Сюзанна бежит из дома с Жоржем Дюруа. Причина в обоих случаях, разумеется, в том, что у занятого финансовыми махинациями господина Вальтера – также, как у погруженного в науку Николая Степановича, – нет взаимопонимания с дочерью.

Так, заявленное в повести предпочтение «французских книжек» русским реализуется и в интертекстуальном плане повести: она оказывается гибридным гипертекстом сразу двух романов Мопассана. При этом, солидаризируясь с ним в освещении отдельных моментов темы, Чехов переносит акцент на проблему, которая у Мопассана представлена в латентном виде. Это проблема очерствления людей, которая разводит их с одними и мешает понять других, – даже тех, которые, казалось бы, все еще им безразличны.

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

Впервые — «Северный вестник», 1889, № 11, ноябрь, стр. 73—130 (ценз. разр. 27 октября). Подпись: Антон Чехов. Помета: «Село Лука, Сумск. уезда. 1889».

Вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

«Скучная история» не раз объявлялась зависимой от повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». 9 ноября 1889 г. об этом писал Чехову Леонтьев (Щеглов) (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 76). Введенский считал, что своей повестью Чехов «впал в неудачную подражательность» Толстому («Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря). Такого же мнения придерживался и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря): «„Скучная история“ — утрированное подражание внешним приемам Л. Толстого». Д. Струнин сходство двух произведений объяснял не подражанием, а правдивым изображением обоими писателями распространенного в русском обществе типа «человека инерции» («Русское богатство», 1890, № 4, стр. 110). Кигн тоже считал Чехова «сродни Толстому» «по своей способности изображать чужую душу неожиданно — ново и убедительно-правдиво» («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 178—179).

Между тем Чехов, по всей видимости, всего лишь хотел перенести на близкий ему материал (врачи, ученые) общий замысел Толстого: рассказать жизнь человека, экзистенциальное сознание которого пробуждается только незадолго до смерти. При этом Чехова, как и Толстого, «интересует смерть для себя, то есть для самого умирающего, а не для других, для тех, которые остаются»: «В “Скучной истории” показана как раз такого рода “смерть для себя”, данная изнутри сознания Николая Степановича. Если в “Смерти Ивана Ильича” вторым планом дана и “смерть для других” (в восприятии сослуживцев и родных героя), то Чехов, избрав форму “записок”, ограничивается одним аспектом изображения. Сравнительно с Толстым, он усложняет свою задачу. Приближающаяся смерть Николая Степановича неведома для окружающих, о ней знает только герой».¹⁴³

В обеих повестях: как в «Смерти Ивана Ильича», так и в «Скучной истории» — пробуждает это сознание в них именно приближающаяся смерть. У Ивана Ильича происходит переоценка всей его прежней жизни: «Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства» (глава IX),¹⁴³ «Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то» (глава XI).¹⁴³

В отличие от Ивана Ильича, Николай Степанович не переоценивает свою прошлую жизнь — он перестает видеть смысл в нынешней: «Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как комары» (С.7, 264). Какое-то время он ищет ответ на вопрос о причинах такой перемены: «Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла об общего упадка физических и

умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...» (С.7, 282).

К финалу повести он приходит к мысли о том, что, так или иначе, ему и раньше не хватало чего-то важного: «В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своими мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья» (С.7, 307). Как и у Толстого, у Чехова смерть лишь открывает герою глаза на неподлинность и несостоятельность его прежней жизни.

Впрочем, у Чехова нет толстовских мотивов противопоставления человека из народа (Герасима) всем остальным героям повести Толстого как носителя наибольшей человечности и единственного во всей повести, кто способен на искреннее сострадание умирающему. Нет у Чехова также и финального мотива отрицания смерти, коль скоро герой испытывает внутреннее преображение.

Сближает оба произведения мотив равнодушия главного героя к своим близким на протяжении большей части его жизни. Поскольку повесть Толстого написана от лица автора, то равнодушие Ивана Ильича не раз отмечено прямыми, хотя и тонкими авторскими оценками: «... в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять...», «... он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей...» (глава II), «... чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое» (глава III).¹⁴³ Чеховская повесть написана от лица героя, и поэтому его равнодушие время от времени замечает и отмечает он сам: «... когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать» (С.7, 273), «Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

– Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...» (С.7, 302), «В последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж, или в Бердичев» (С.7, 304), «Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе» (С.7, 306). «теперь я равнодушен и не замечаю рассвета» (С.7, 307).

Впрочем, Чехов «отнюдь не повторял толстовские выводы, но в том, как изображен его Николай Степанович, отразилось чеховское осмысление драмы не только толстовского героя, но и самого автора повести «Смерть Ивана Ильича» и трактата «В чем моя вера?». Чехов спорит с Толстым, который, как и герой «Скучной истории», в состоянии отчаяния и растерянности готов перечеркнуть всю свою прошлую замечательную деятельность. Чехов полемизирует с Толстым, который отрицает не только несправедливые общественные и экономические отношения, но и современную цивилизацию в целом, прежде всего современную науку. В этом смысле Толстой – один из реальных прототипов героя «Скучной истории»».¹⁴³

Как отмечает А.В.Кубасов, могла немного повлиять на Чехова и «Исповедь» Толстого, которая тогда еще не была опубликована, но могла быть известна ему в корректурных оттисках «Русской мысли»: «Намного ближе запрещенная вещь Толстого к рассказу Чехова и по своему жанру, чем бывшая на устах «Смерть Ивана Ильича». «Исповедь» Толстого автобиографична, это исповедь в привычной форме и в привычном понимании этого слова. «Скучная история» стилизует жанр исповеди. Очевидно, она включает в себя и момент автобиографический, но лишь в определенной мере. Автобиографизм «Скучной истории» преображен стилизацией, подчинен ей и скрыт ею».¹⁴³

Зато во многих других отношениях чеховская повесть – результат совсем других влияний. Так, например, уже её заглавие «Скучная история» не просто перекликается с заглавием романа Ги де Мопассана «Une vie» («Жизнь»), но противопоставлено ему. Вместо мопассановской установки на обобщение у Чехова ощущение уникальности жизни каждого человека и неповторимости ее восприятия разными людьми. Вот почему, в то время как история Жанны рассказана автором, Николай Степанович – не только предмет рассказа, но и повествователь.

На первый взгляд, два этих произведения никак между собой не связаны. Между тем в повести Чехова имеются закамуфлированные интертекстуальные связи с романом Мопассана. Последний кончается тем, что служанка Розали привозит Жанне ее внучку, мать которой скончалась во время родов. При этом она произносит сентенцию, с которой, судя по всему солидаризируется автор (тем более что это почти точная цитата из письма Флобера Мопассану): « – Вот видите, какова она – жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается».

Герой повести Чехова как будто бы заочно оспаривает такое убеждение. Думая о приближающейся смерти, он высказывает сходную, но иную мысль: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». Мысль эта предполагает неизбежность сосуществования «хорошего» с «дурным» и преобладание последнего. Сам Николай Степанович интерпретирует ее еще более пессимистично: «То есть все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими».

Внутреннюю полемику между героями Чехова и Мопассана и, соответственно, мопассановский подтекст повести скрывает ложная атрибуция цитаты – историческому лицу, окончившему свою жизнь не самым счастливым образом, так что она выглядит вполне правдоподобно: «Я думаю о себе самом, о жене, о Лизе, о Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый А.А.Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем...» (С. 7, 291).

Какой же смысл имеет в повести закамуфлированная полемика ее героя-ученого со служанкой? Фраза Николая Степановича адресована им самому себе и продиктована одиночеством, в которое он замкнулся, потеряв контакт со всеми своими близкими, кроме Кати. Недаром он чувствует, что у него «уже нет семьи и нет желания вернуть ее»: «Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом» (С. 7, 291).

Мысль Розали, не отличаясь глубиной, вовремя высказана ею немало перенесшей Жанне. Так что Чехов не пытается убедить нас, что Николай Степанович ошибается, а мопассановская Розали права. Однако будучи всего лишь служанкой, она все же нашла слова, которые поддержали ее госпожу в трудный для нее момент жизни, а он, профессор, таких слов ни для Лизы, ни для Кати не нашел.

При этом если сравнить Николая Степановича с самой Жанной, то станет ясно, что кое-в-чем они похожи друг на друга. Ведь вначале Жанна, почти совсем не зная Жюльена, выходит за него замуж, а затем передоверяет воспитание сына коллежу, из которого тот выходит гулякой и мотом. Будучи намного образованнее и старше, Николай Степанович, в сущности, понимает людей ненамного лучше, чем она. Так что, подвергая своего героя невыгодному сопоставлению с Розали, Чехов одновременно развивает близкую французскому писателю мысль о пагубе книжного знания жизни, независимо от того, идет ли оно от церкви (где она воспитывалась) или науки.

Беда героя в том, что «в последнее время» он «так оравнодушел ко всему», что ему «положительно все равно, куда ни ехать...». Получив телеграмму о том, что «Гнеккер тайно обвенчался с Лизой», он сам подчеркивает: «Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе». Правда, сам Николай Степанович, а вслед за ним и многочисленные критики Чехова объясняют его отчаяние отсутствием у него «общей идеи» (PSS 7: 304, 306, 307). Однако писатель недаром пояснял в письме к А.Н.Плещееву, что его герой «слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то же время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли» (П. 3, 255).

Проблема Николая Степановича все-таки действительно в его равнодушии к близким и эгоизме. В первом он неоднократно признается сам. О втором читатель может заключить, исходя из того, что Николай Степанович не торопится ехать в Харьков и в результате опаздывает навести справки о Гнеккере, а, главное, что он так и не расспросил свою дочь о том, что с ней происходит, даже когда ночью у нее была истерика. Своим эгоизмом Николай Степанович немного напоминает героя романа Мопассана «Bel-Ami» (1885) господина Вальтера, дочь которого Сюзанна бежит из дома с Жоржем Дюруа. Причина в обоих случаях, разумеется, в том, что у занятого финансовыми махинациями господина Вальтера – также, как у погруженного в науку Николая Степановича, – нет взаимопонимания с дочерью.

Так, заявленное в повести предпочтение «французских книжек» русским реализуется и в интертекстуальном плане повести: она оказывается гибридным гипертекстом сразу двух романов Мопассана. При этом, солидаризируясь с ним в освещении отдельных моментов темы, Чехов переносит акцент на проблему, которая у Мопассана представлена в латентном виде. Это проблема очерствления людей, которая разводит их с одними и мешает понять других, – даже тех, которые, казалось бы, все еще им небезразличны.

Среди важных претекстов «Скучной истории» называют также роман П.Бурже «Ученик», опубликованный в «Северном вестнике» в том же 1889 году, незадолго до появления в нем чеховской повести. По мнению А.В.Кубасова, с ним «Скучную историю» сближают, с одной стороны, отдельные детали: «Чехов в четырех главах рисует “сборный” день из жизни профессора, предстающий как метонимическое замещение всей его прожитой жизни. Бурже также скрупулезно описывает по часам день Сикста» – а с другой – общая идея: «В романе Бурже вплотную подошел к идее, которая издавна волновала Чехова: идее взаимосвязи сознаний далеких друг от друга людей, ответственности человека не только за свои поступки, но и взгляды, убеждения».¹⁴³ Представляется, что всё же Бурже скорее следует проблематике «Братьев Карамазовых» (ответственность Ивана за свою реализованную Смердяковым идею), а Чехов сосредоточивается на другом: на равнодушии и бездействии окружающих даже по отношению к своим самым близким людям.

Как отметил В.Б.Катаев, «... многое соотносимо в исходной ситуации повести «Скучная история» с исходной ситуацией «Фауста», изложенной в первых четырех сценах первой части трагедии. Ученый, достигший вершин своей науки, пользующийся всеобщим почетом и признательностью, окруженный учениками и последователями, разочарован в прожитой жизни. <...> Таков чеховский профессор Николай Степанович «такой-то», таков доктор Фауст в первых четырех сценах («Я жизнь отверг и смерти жду с тоской»). Не только эта исходная ситуация напоминает в «Скучной истории» о гётевском «Фаусте». Соотносимы пары: Фауст – его помощник Вагнер и Николай Степанович – прозектор Петр Игнатьевич. И тут и там томление духа героя, его святое недовольство собой и наукой оттеняется самодовольством и уверенностью ученого сухаря, педанта, ограниченного в своей вере во всеислие схоластики («ничтожный червь-сухой науки»). Соотносимы и сцены со студентами: герой «Скучной истории» издевается над нерадивым студентом, Мефистофель в «Фаусте» – над чересчур ретивым и доверчивым».¹⁴³

Предположение исследователя обосновывается им также ссылкой на суждение Чехова в письме от 4 мая 1889 года, то есть высказанное в самый разгар работы над «Скучной историей»: «По моему мнению, “Экклезиаст” поддал мысль Гёте написать “Фауста”» (П. 3, 204).

Чеховские «записки старого человека», как отмечали уже первые рецензенты «Скучной истории», перекликаются также с «Дневником старого врача», предсмертными записками знаменитого хирурга Н. И. Пирогова. Ученый-естествоиспытатель, приходящий в конце пути к раздумьям о коренных «вопросах жизни», Пирогов также послужил одним из предшественников чеховского героя. Но Чехов сознательно наделил своего ученого иным выбором, иным образом мыслей, чем те, к которым приходит его старший современник. Пирогов писал в своем дневнике: «Жизнь-матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сдался, но не вдруг, как многие неопиты, и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидел, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренно верую в Христа Спасителя» (*Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача// Русская старина. 1884. Т. 43. С. 173*).

Для уточнения проблематики повести имеет особое значение вопрос о прототипах ее главного героя. Прототипом героя «Скучной истории» в какой-то степени раньше обыкновенно считался профессор Московского университета Александр Иванович Бабухин (1835—1891), лекции которого Чехов слушал в бытность свою студентом медицинского факультета. Связь старого профессора из «Скучной истории» с Бабухиным не отрицал и сам автор (по свидетельству студентов, посетивших в 1897 г. Чехова в Мелихове):

«Это — лицо собирательное, хотя многое взято с Бабухина» (А. У. А. П. Чехова в Мелихове. Из письма студента. — «Русские ведомости», 1909, № 150, 2 июля). Совпадали некоторые внешние черты: Бабухину в 1889 г., как и Николаю Степановичу, было 62 года, он также встречался в 60-е годы с Пироговым; как и профессор из «Скучной истории», он, несмотря на недостатки своего голоса, обладал теми же блестящими лекторскими способностями — умел, по словам современника, «рисовать живыми образами самые отвлеченные вещи <...> и всё это осветить таким живым, задорным юмором, рассказать с таким неподражаемым талантом» («Московский календарь на 1887 г. А. С. Пругавина». М., 1887, стр. 198).

Между тем совпадение некоторых достаточно внешних черт Николая Степановича с Бабухиным и даже упоминание этого имени на страницах повести, по всей видимости, призвано скрыть реального прототипа этого образа, который относится к числу близких знакомых Чехова. Хотя среди таких прототипов назывались также Г.А.Захарьин, Н.И.Пирогов, Л.Н.Толстой, по убедительному предположению А.В.Кубасова, им является А.И.Суворин. Основанием для этого являются, во-первых, резкие оценки Николая Степановича, напоминающие «жесткие, едко-саркастические характеристики современников», имеющиеся в дневнике Суворина, а во-вторых, и это главное, сходные отношения его с его покончившим самоубийством сыном Владимиром, напоминающие отношения чеховского героя с Катей:

«Чехов не мог не знать о трагической странице жизни Суворина, достаточно подробно отразившейся в его дневнике. Вот запись, сделанная 2 мая 1887 года: “Вчера застрелился Володя (сын Суворина от первого брака — А. К.). Я ничего никогда не умел предупредить, и в этом мое горе, мое проклятие. Я замечал, что в последние дни он был как-то особенно грустен за обедом, мне хотелось его спросить, и я не спросил. <...> Каторжный характер: живых людей любить не умею, начинаю любить мертвых. Не умею интересоваться жизнью моих детей, войти в их интересы, в их образ мысли, а когда они умирают — моя любовь вся обращается к ним, и мне кажется, что настала пустота в моей жизни. В сущности, я был один, и все кругом меня так же мелки, так же близоруки, как я”». Дневниковую запись Суворина, почти не обрабатывая, можно было бы включить в чеховский рассказ, так она близка по своему тону и «манере высказывания» запискам старого профессора, совпадает с его характером.¹⁴³

Этот биографический подтекст повести удостоверяет наличие в ней довольно недвусмысленной оценки автором ее главного героя, которая, однако, проводится в «Скучной истории» настолько тонко, что делались неоднократные попытки оправдания жизненной позиции «старого профессора».¹⁴³ Между тем сам Чехов в письме к А. Н. Плещееву от 30 сентября 1889 года отмечал, что его герой «слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих, и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре и литературе» (П. 3, 255). Как справедливо пишет А.В.Кубасов, «сказанное можно расценить не только как прямую оценку личности Николая Степановича, но и опосредованно его прототипа».¹⁴³

С. 251 (*Из записок старого человека*). — Подзаголовок чеховской повести отчасти воспроизводит заглавие «Дневника старого врача» Н.И.Пирогова (Русская старина. 1884. Т. 43. С.173), отчасти противопоставлен заглавию повести А.И.Герцена «Записки одного молодого человека» (<1840-1841>), а также подзаголовку романа Ф.М.Достоевского «Игрок»: «Из записок молодого человека» (<1866>).

С. 251. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881), русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии; профессор Петербургской медико-хирургической академии.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), юрист, историк и социолог; публицист и общественный деятель либерального направления 60-х годов. По предположению В.Б.Катаева, Кавелин «не случайно упомянут чеховским героем в первом же абзаце его “записок” в ряду его “славных друзей”»: «Человек того же поколения, что и чеховский профессор, один из видных шестидесятников, Кавелин в своих работах 80-х годов (“Задачи этики”, “Злобы дня”) констатировал “полное отсутствие руководящих направлений, идей и мнений”, “хаотическое состояние умов” в наступившую эпоху. “Все разбрелись по разным дорогам... Каждый изловчается по-своему, как умеет и может, утишать свои внутренние муки». Как выход Кавелин предлагал искать «одно общее направление», этические идеалы, которые могли бы стать «камертоном деятельности» (*Кавелин К. Д. Собр. соч. Спб., 1899. Т. 3. С. 901-902, 953-954, 1073*). Многие из этого вошло в духовный облик героя чеховской повести» (*Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. С.93*).

С. 252. *Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса.* — Из повести Тургенева «Дневник лишнего человека» (И. С. Тургенев. Полное собр. соч. и писем. Сочинения, т. V. М. — Л., 1963, стр. 209). Как отметил А.В.Кубасов, «сходство рассказа Чехова с повестью Тургенева заключается в форме дневника-записок, адресованных героями самим себе. Чулкатурина и Николая Степановича различает многое: происхождение, род занятий, характеры, возрасты, семейное положение и проч. Похожи они тем, что, осознав метафизическое одиночество на пороге смерти, берутся за записки, пытаются уяснить смысл уходящей жизни» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С.224).

С. 252. *Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница...* - Пространное описание страданий Николая Степановича от бессонницы отдаленно соответствует краткой констатации повествователя ««Смерти Ивана Ильича»: «Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином» (VII).

С. 254. *Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка».* — Ср.: в «Смерти Ивана Ильича»: «Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал» (У). «О чем пела ласточка» (1872) — роман немецкого писателя Фридриха Шпилльгагена (1829—1911). —По характеристике Л.А.Чернышёвой, этот роман «кажется Николаю Степановичу странным, так как он бесконечно далек от всего, что окружает его самого. Роман этот – с любовно-авантюрным сюжетом, сентиментальный, с незамысловатой и наивной моралью – не способен был бы ни в какой мере помочь старому профессору, в душе которого мучительная и неизбывная пустота» (Чернышёва Л.А. Типологическая связь между образом Шпилльгагена и героем Чехова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. 2020. № 1 (75). С. 111. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskaya-svyaz-mezhdu-obrazom-shpilgagena-i-geroem-chehova>).

С. 255. ... *полюбил ~ как Отелло Дездемону, за „состраданье“ к моей науке.* — Перефразированы строки из трагедии Шекспира «Отелло»: «Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним» (акт I, сц. 3).

С.257. ... *написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком “Historia morbi”* — Как отмечает А.В.Кубасов, «литературная игра», которая «возникает за счет перевода научного жанра в беллетристический», представлена в повести гораздо шире: «Первые четыре главы “Скучной истории” — это свое-образный “анамнез” болезни Николая Степановича, история ее возникновения, особенности протекания, жалобы больного и т. п. Глава пятая, описывающая “воробьиную ночь”, — кризис, переживаемый больным. Последняя, шестая глава, — “эпикриз”, в котором ясно дано понятие о совсем близкой смерти героя. Подсказкой для читателя, помогающей ему спроецировать медицинский жанр на рассказ, является деталь, поначалу представляющаяся только реально-бытовой, но которая таит и символически-профанный смысл» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С.227).

С. 259. ... *двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину.* — Александр Иванович Бабухин (1835—1891) нередко назывался в качестве одного из прототипов Николая Степановича. Введение его имени в текст повести скорее всего сделано было Чеховым сознательно — для затемнения прототипической связи героя с другим реальным лицом из близкого окружения Чехова (см. выше).

Грубер Венцеслав Леопольдович (1814—1890), профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.

С. 260. *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882), русский генерал, получивший широкую известность после русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

... *профессор Перов* — Перов Василий Григорьевич (1833—1882), художник, с 1871 г. был профессором в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Патти Аделина (1843—1919), итальянская певица; несколько раз гастролировала в России.

С.261. *Но стоит мне только оглядеть аудиторию <...> и произнести стереотипное “в прошлой лекции мы остановились на...”, как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния — «Аллюзия на “Мертвые души” (сцена губернского бала) поворачивает описание профанной стороной. Для Николая Степановича педагогическая работа — дело святое, не допускающее ёрничества. Для автора же и здесь, помимо серьезного, скрыт момент профанный» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С.225).*

С. 263. *Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность.* – В.Б.Катаев приводит в параллель к этим строкам декларацию гетевского Фауста:

Но я к загробной жизни равнодушен...
Я сын земли. Отрады и кручины
Испытываю я на ней единой...
И до иного света нет мне дела.
(Перевод Б. Л. Пастернака)

«Таким же «сыном земли», равнодушным к обещаниям загробного воздаяния, предстает чеховский ученый. – подчеркивает исследователь. – Он говорит, сплетая в своем монологе скрытые цитаты из Гёте и Шекспира. Николай Степанович до конца сохраняет веру в науку – Фауст отвергает схоластическую науку во имя живой жизни, но оба они сосредоточены на земном».¹⁴³

С.264. *Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты.* – Мысли, приходящие в голову Николаю Степановичу во время лекции, напоминают ощущения заболевшего толстовского Ивана Ильича после карточной игры: «Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отравы эта не ослабевают, а все больше и больше проникает все существо его» (глава IV). Ср. также: «... он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете, и я знаю, что я умираю...» (глава VII) (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 26. С 110, 116).

С.264. *Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто оцупываем друг друга и боимся обжечься.* – По наблюдению А.В.Кубасова, «описание встречи Николая Степановича с коллегой строится “во вкусе” известного места из «Мертвых душ», изображающего Чичикова в гостях у Манилова» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С.224).

С.268. – *Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.*

– *Дерутся, милая.*

– *А вы их ставите на колени?*

– *Ставлю.* – Ср. в романе Мопассана «Милый друг»:

С. 270. *Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть»...* – Ещё одна, на сей раз прямая отсылка к шекспировскому «Гамлету», причём к теме смерти, которая является основной внутренней темой чеховской повести.

С.270. *... или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек...* – Здесь варьируется известный критический отзыв Пушкина о комедии Грибоедова в письме к А.А.Бестужеву от конца января 1825 г.: «Софья начертана не ясно: не то <...>, не то московская кузина. <...> А знаешь ли ты, что такое Чацкий? Пылкий и благородный и добрый мальчик, проведенный несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам?»

Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подоб.» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Л., 1947. Т. 13. С.111).

С. 270. *Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудитории, выше книг, выше всего на свете.* – По словам самого Чехова, работая над образом Кати, он «воспользовался отчасти чертами милейшего Жана» (П. 3, 238), то есть прозаика и драматурга Ивана Леонтьева-Щеглова, как известно, также пылко увлекавшегося театром.

С. 273. *“Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка”.* – Как отмечает А.В.Кубасов, «последняя деталь окликает Маргариту из “Фауста”. (В незаконченном рассказе «Письмо», по времени создания близком к «Скучной истории», герой признается: “Так, читая “Фауста”, я не замечал, что Маргарита — убийца своего ребенка...” [7, 514]. Слово “убийца”, очевидно, не следует понимать здесь слишком прямо)» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 281).

С. 275. *Я объясняю это просто отсталостью женщин. <...> Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века.* – Чехов, с одной стороны, варьирует тирады тургеневского Базарова против женщин, а с другой – воспроизводит мотивы творчества шведского писателя Августа Стриндберга, в творчестве которого в 1880-е годы доминировали женоненавистнические мотивы.

С. 275. *... у нас обедают ещё две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на её руку...* – Фамилия «Гнеккер» представляет собой полную анаграмму фамилию убийцы Пушкина – Ж.-Ш.Дантеса, носившего после его усыновления бароном Л.Геккерном его фамилию. Как известно, сам Геккерн также играл довольно грязную роль в истории последней дуэли Пушкина, которая привела к его гибели. Выбор такой фамилии, безусловно, связан с намерением Чехова выразить всю силу презрения, которое Николай Степанович испытывает по отношению к своему возможному будущему зятю.

С.276. *Не перебариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины.* – Николай Степанович наделяет свою дочь чертами Анны Карениной второго тома толстовского романа, в котором она переживает то, что Вронский разлюбил ее. См.:

С.278. *У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу не настоящую Лизу.* – Ср. в «Смерти Ивана Ильича»: «Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние – главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, - он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом» (IY).

С. 278. *Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапункте, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы её не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...».* <...> *Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга.* – Ср. аналогичную отчуждённость Ивана Ильича от своей жены и дочери, собиравшихся вместе с её женихом в театр: «Вошла дочь разодетая, с обнажённым молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюблённая и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью. Вошёл и Фёдор Петрович во фраке, завитой а la Courpole, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком» (YIII).

С. 282. *...в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь.* – «В последней фразе Чехов использует “ритмико-интонационный макет” (выражение Ю. Н. Тынянова) пушкинского “Воспоминания”, тех его строк, которые через два года будут взяты в качестве эпиграфа к одной из глав “Дуэли” [7, 435]:

... в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток,

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклиная,

И горько жалуясь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

(Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 225).

С.282. ... *прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга.* – один из сквозных мотивов «Братьев Карамазовых» Достоевского о всеобщей ответственности за проступки отдельных людей.

С. 284. ... *постоянно шутовской тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей.* — Могильщики из «Гамлета» Шекспира (акт V, сц. 1).

С. 287. «*Печально я гляжу на наше поколение*» — первая строка стихотворения Лермонтова «Дума».

С. 287. Все эти разговоры об измелечании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери». – Чехов довольно критически относился к распространившейся в журналистике 1880-х годов практике сетовать на утрату талантов и т.п.

С. 288. *Марк Аврелий* (121—180 н. э.), римский император, философ-стоик; *Эпиктет* (Эпиктет) (ок. 50—138 н. э.), греческий философ-стоик; *Паскаль Блэз* (1623—1662), французский математик и философ.

С.292. ... *переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны.* – В контексте упоминания выше монолога Гамлета «Быть или не быть?» эта фраза, возможно, также представляет собой отсылку к этому монологу: «Скончатся. Сном забыться. / Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ. / Какие сны в том смертном сне приснятся, / Когда покров земного чувства снят?» (Перевод Б.Л.Пастернака). Ср. мнение В.Б.Катаева о «видном месте» в повести «гамлетовских мотивов».¹⁴³

С. 292. ... *в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов.* – Этот отзыв о современной литературе критиками неоднократно рассматривался как относящийся к собственным взглядам Чехова. Так, полагая суждения Николая Степановича о современной литературе, критиках и публицистах «чрезвычайно верными», В. Л. Кигн также утверждал, что устами профессора, «разумеется, говорит молодой автор» («Книжки Недели», 1891, № 5, стр. 198, 203).

С. 294. «*гряди, плешивый!*» — Этими словами израильские дети дразнили лысого пророка Елисея (4-я Книга царств, гл. 2, ст. 23). Ср. Н. С. Л е с к о в . Соборяне, ч. 1, гл. 6.

... *Гаудеамус игитур ювенестус!* — Искаженное начало студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. . . »

С. 295. *Пти Жан-Жак.* — Вероятно, здесь имелся в виду Жан-Мартер Пети (1772—1856), французский генерал и политический деятель, или Жак-Луи Пети (1674—1750), французский хирург. Жан-Жак Пти (или Пети) среди исторических лиц не известен.

С. 296. *Крылов* Никита Иванович (1807—1879), профессор римского права Московского университета.

... «*Орлам случается и ниже кур спускаться.* . . » — цитата из басни И. А. Крылова «Орел и куры».

С. 298. *Мои товарищи, терапевты, когда учат лечить, советуют “индивидуализировать каждый отдельный случай.* – Этот совет принадлежит университетскому педагогу Чехова, профессору Г.А.Захарьину.

С. 302. – *Успокойся, дитя мое, бог с тобой, – говорю я. – Не нужно плакать. Мне самому тяжело.* – Эти слова Николая Степановича Лизе несколько напоминают манеру жены Ивана Ильича Прасковьи Фёдоровны всё время переводить разговор на свои страдания: « - Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас» (IY).

С. 309. *Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.* – Ср. аналогичное поведение госпожи Вальтер из романа Мопассана «Милый друг».

С.307. *В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека* — Еще Ю.Н.Говоруха-Отрок отметил, что рассказ Чехова перекликается с «Дневником» Н.И.Пирогова, в котором «с потрясающей правдивостью изображена борьба с самим собою крепкого духа, обширного ума, столкнувшихся с “гамлетовским вопросом”» (Николаев Ю. Очерки современной беллетристики, г. Чехов. По поводу его нового рассказа (Московские ведомости. 1889. № 345. 14 декабря). Основную мысль этого дневника (Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой // Пирогов Н.И. Сочинения. СПб., 1887. Т. 1) исследователи как раз и формулировали как то, что «без известного мировоззрения жить нельзя» (Гаршин Е.М. Критические опыты. СПб., 1888. С.199). «Вывод, к которому приходит Николай Степанович, близок к высказанному Пироговым. – отмечает А.В.Кубасов. – Автор же «Скучной истории» смотрит куда глубже: для него важен не только предмет веры, но и путь познания ее и ее результаты» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 225).

С.308. *Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блеснуть, как самое солнце...* — «Имя, автономное от своего носителя, напоминает Нос майора Ковалева, также жившего отдельно от своего владельца. Слова об “имени-носе” из конца рассказа соотносятся с его началом, также имеющим вторым планом гоголевское произведение: “Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику... <...> Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо” [7, 251]. Герою не видно собственное сходство с гоголевским персонажем, реминисцентность возникает как бы помимо его воли» (Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. С. 228).

С.309. *Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей. Я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!* – Ср. пророчества старого поэта Норбера де Варена, обращенные к Дюруа, в романе Мопассана «Милый друг»: «... вы ощутите и весь ужас безнадежности. Вы будете отчаянно биться, погружаясь в пучину сомнений. Вы будете кричать во всю мочь: “Помогите!” – и никто не отзовется. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении, о спасении – и никто не придёт к вам» (Мопассан Г. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1992. Т. 3. С. 195).

ДУЭЛЬ

Впервые — «Новое время», 1891, №№ 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5635, 5642, 5643, 5649, 5656, 5657 от 22, 23, 25, 29, 30 октября, 5, 12, 13, 19, 26, 27 ноября. Подпись: Антон Чехов. Дата: С<ело> Богимово, 1891.

689

В 1892 г. выпущено отдельным изданием: Антон Чехов. Дуэль. Повесть. СПб., изд. А. Суворина; в 1892—1899 гг. переиздавалось еще восемь раз.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 5—130, с исправлением по всем другим источникам:

Стр. 405, строка 35: всего-навсего — вместо: всего-на-всё.

1

Первое упоминание о замысле, очень напоминающем сюжет «Дуэли», находится еще в письме Чехова 1888 года. Через несколько месяцев после поездки по Кавказу, в ноябре 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! < . . . > Пишу на тему о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение; живет с ней — мнение; расходится — опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности „несходства убеждений“, о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке». Возможно, разработка этого замысла продвинулась достаточно далеко (предположения об этом см. в т. III Писем, стр. 355—356). Но затем он был оставлен, и Чехов не возвращался к нему более двух лет.

В творческой практике Чехова разрывы между замыслом и воплощением бывали и больше («Архиерей»). Хронологически близкий к «Дуэли» «Рассказ неизвестного человека» тоже был начат в 1887—1888 гг. Возможно, что замыслы и других поздних повестей восходят к этому времени; Суворину 27 октября 1888 г. Чехов писал: «У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов». Но, конечно, речь может идти только о каком-то первоначальном замысле. Сохраниться до 1890 года в прежнем виде он не мог. За это время были написаны «Скучная история», «Княгиня», «Обыватели», «Леший», «Воры», «Гусев». Шла работа над романом. Наконец, была поездка на Сахалин.

Работа над повестью была начата в исходе 1890 г., сразу же по возвращении с Сахалина. 8 декабря 1890 г. Чехов приехал в Москву. В середине декабря он отделал и переписал рассказ «Гусев» (окончен 23 декабря). Отослав рассказ, Чехов продолжает усиленно работать — его письма этих дней полны жалоб на посетителей, отрывающих его от стола. Это и была работа над «Дуэлью». В январе 1891 г. Чехов сообщал Суворину: «Приеду я в Петербург, вероятно, 8 января. Буду у Вас писать, а если не буду, то уеду. Так как в феврале у меня не будет ни гроша, то мне нужно торопиться кончить повесть, которую я начал. В повести есть кое-что такое, о чем мне надлежит поговорить с Вами и попросить совета».

В Петербурге, где Чехов пробыл с 8 по 29 января 1891 г., он продолжал работать над повестью, но с «превеликим трудом». Сахалин стал общественным событием, посетители, «обеда, письма, разговоры», рассказы о поездке занимали почти всё время — об этом Чехов писал из Петербурга всем своим корреспондентам, 30 января Чехов вернулся в Москву и сразу же взялся за продолжение «Дуэли». «Уже пишу» — уведомлял он Суворина 31 января. Усиленно и с большим подъемом Чехов работал над повестью весь февраль.

На этой первой стадии работа шла хорошо, и Чехов всё время был уверен, что напишет повесть скоро. В начале января он надеялся закончить ее к февралю (письмо Суворину от 5 января) и еще в начале февраля продолжал быть уверенным, что работа будет завершена в ближайшее обозримое время. «Когда приедете в Москву, — писал он Суворину 31 января, — повесть будет уже кончена, и я вместе с Вами вернусь в Петербург» (Суворин собирался в Москву в середине февраля). «Я пишу, пишу! — сообщал он ему же через несколько дней. — Признаться, я боялся, что сахалинская поездка отучила меня писать, теперь же вижу, что ничего. Написал я много».

Чехов еще думал, что повесть будет «небольшой» (письмо П. Н. Исакову от 20 января). Но постепенно замысел повести расширялся и углублялся — очевидно, вводились новые персонажи. В письмах после 7 февраля появились первые нотки сомнений в том, что и дальше всё пойдет столь же гладко (И. П. Чехову, после 7

февраля). Сроки отодвигались. «До конца еще далеко, а действующих лиц чертова пропасть. У меня жадность на лица. К Вашему приезду будет готова половина, а может быть, и больше» (Суворину, 8 февраля).

Трудности возрастали; повесть приобретала новые, необычные для Чехова жанровые черты. «Пишу пространно, à la Ясинский» (Суворину, 5 февраля). «Она в самом деле выходит великою, т. е. большою и длиною, так что даже мне надоело писать ее. Пишу громоздко и неуклюже, а главное — без плана» (ему же, 6 февраля). «Всё гладко, ровно, длиннот почти нет, но знаете, что очень скверно? В моей повести нет движения, и это меня пугает. Я боюсь, что ее трудно будет дочитать до середины, не говоря уж о конце» (ему же, 22 февраля).

Тем не менее «повесть <...> подвигается вперед» (письма Суворину от 23 февраля; ему же от 5 марта); работа идет очень интенсивная. «Если бы Вы знали, — писал Чехов Е. М. Шавровой 6 марта, — какую длинную повесть пишу я, как кружится у меня по этому поводу голова, то извинили бы меня за то, что я до сих пор не даю Вам никакого ответа». Это — последнее упоминание о «Дуэли» в мартовских московских письмах.

5 марта 1891 г. окончательно была решена заграничная поездка. 11 марта Чехов выехал в Петербург; 19 марта он был уже за границей. Во время путешествия Чехов обдумывал повесть, делал заметки в записной книжке (было даже заблаговременно приобретено приспособление для писания в вагоне). 20 марта в письме из Вены он просил родных купить лубочное изображение св. Варлаама — «святой Варлаам изображен едущим на санях» — эпизод, бывший в первоначальном варианте «Дуэли».

17 апреля Чехов сообщал родственникам из Ниццы: «Я пишу помаленьку, хотя писать в дороге очень трудно». Систематическая работа над повестью возобновилась только по приезде, в мае, на даче в Алексине, а затем в Богимове. Но весь май, июнь и первую половину июля Чехов был занят работой над книгой «Остров Сахалин», и хотя по расписанию, изложенному в письме к Суворину от 10 мая, повести («роману») уделялось столько же дней в неделю, сколько книге, судя по всем остальным письмам, основной работой Чехова в это время был именно «Остров Сахалин». Над беллетристической работой шла «в промежутках» (Суворину, 27 мая; М. В. Киселевой, 20 июля).

Распорядок работы в это лето, вспоминал М. П. Чехов, был такой: «Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре утра <...> Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу <...> Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы. <...> Занимался он, не отрываясь ни на минуту, до одиннадцати часов утра <...> Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера» (*Вокруг Чехова*, стр. 236—237). В одном из писем Суворину он вспоминал, что этим летом работал «от утра до вечера и во сне» (16 октября 1891 г.; см. также письмо Н. А. Лейкину от 12 октября 1891 г.).

С 20-х чисел июля в письмах Чехова, кроме «Сахалина», снова начинают упоминаться «другие работы» (М. В. Киселевой, 20 июля; Ал. П. Чехову, около 24—25 июля). А еще 12 июня Чехов просит И. И. Левитана прислать ему текст «Воспоминания» Пушкина (письмо Левитана от июля 1891 г., *ГБЛ*; «И. И. Левитан. Письма. Документы. Воспоминания». М., 1956, стр. 37—38), использованный в одной из финальных глав. Повесть подвинулась. 24 июля Чехов обещал Суворину, что вскоре пришлет рассказ, «который готов больше чем наполовину». 29 июля Чехов обещал рассказ кончить и прислать «на днях».

Но, очевидно, в плане заключительной части произошли какие-то изменения. Об этом свидетельствуют письма Чехова, в которых он прямо или косвенно упоминает о размере повести. В письме Суворину от 24 июля он сообщает, что «рассказ <...> будет содержать в себе 4—5 фельетонов». Нововременские фельетоны-подвалы составляли в среднем около 500 строк. Даже если Чехов считал, что ему будет предоставлен разворот (т. е. около 700 строк, как это было с начальной частью «Дуэли», напечатанной 22 октября), то и в этом случае объем рассказа, по представлению автора, должен был составить не более 3500 строк. Такая же цифра называется и в письме от 19 июля: Чехов собирается получить за рассказ около 600 рублей; из расчета по 17 коп. за строку (после «пяточковой прибавки» в июле) получается около 3500 строк. Обе эти цифры очень далеки от окончательной: в газетном варианте повесть заняла около 5700 строк.

Неясности были даже в конце писания; завершающая стадия работы шла медленно и с трудом. «Рассказ свой кончу завтра или послезавтра, но не сегодня, — писал Чехов Суворину 6 августа, — ибо к концу он утомил меня чертовски. Благодаря спешной работе я потратил на него 1 ф. нервов. Композиция его немножко сложна, я путался и часто рвал то, что писал, целыми днями был недоволен своей работой — оттого до сих пор и не кончил. Какой ужас! Мне нужно переписывать его! А не переписывать нельзя, ибо черт знает что напутано».

Окончена «Дуэль» была, однако, только к 18 августа. «Наконец кончил свой длинный утомительный рассказ, — уведомляет Чехов Суворина в письме в этот день. — <...> В рассказе больше 4 печатных листов. Это ужасно. Я утомился, и конец тащил я точно обоз в осеннюю грязную ночь: шагом, с остановками — оттого и опоздал».

Последний вариант не во всем удовлетворил автора. В обоих письмах — и сопроводительном, и посланном вслед, в тот же день, 18 августа, он просит отложить «печатание до осени, когда можно будет прочесть

корректуру». Из письма Суворину от 16 ноября выясняется, что говоря о переделках в корректуре, Чехов прежде всего имел в виду финал повести: «Значит, „Дуэль“ будет печататься три недели. Так как конец будет печататься, когда я буду в Питере, то, быть может, я что-нибудь переделаю в нем».

Печатание было отложено до октября.

2

«Дуэль» — одно из самых «литературных» произведений Чехова. Ее персонажи сопоставляют себя с литературными героями, цитируют, вспоминают Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Лескова, Байрона, Шиллера. Сам автор эпиграфом к одной из глав берет строки Пушкина. Использование в повести традиционных для русской литературы тем и коллизий (Кавказ, дуэль) неоднократно отмечалось исследователями (М. Л. Семанова. Чехов о Пушкине. — В сб.: Проблемы реализма русской литературы XIX века. М. — Л., 1961; В. Я. Линков. Повесть А. П. Чехова «Дуэль» и русский социально-психологический роман первой половины XIX века. — В сб.: Проблемы теории и истории литературы. Изд. МГУ, 1971).

Наряду с литературными именами в «Дуэли» упоминаются Кант, Гегель, Спенсер, Шопенгауэр, Христос. Не раз указывалось на отголоски в повести толстовских идей (А. Дерман. Творческий лортрет Чехова. М., 1929, стр. 206). В «Дуэли» воплотились размышления Чехова конца 80-х годов над философскими, общественными и естественнонаучными вопросами, нашедшими отражение в его переписке и публицистике 1888—1891 гг.

Одна из таких проблем — необходимость «ясно осознанной цели», олицетворенная живыми людьми, — нашла развернутое воплощение в некрологе «Н. М. Пржевальский» (1888). На связь этой статьи с образом фон Корена указал А. Горнфельд (в статье «Чеховские финалы» — «Красная новь», 1939, № 8—9, стр. 295—296; см. также: В. Б. Катаев. Повесть Чехова «Дуэль». К проблеме образа автора. — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1967, т. XXVI, вып. 6, стр. 527). Действительно, в нарисованной Лаевским гипотетической картине поведения фон Корена в будущей экспедиции (гл. IX) явственно угадываются некоторые реальные детали экспедиции Пржевальского в Среднюю Азию в 1871—1873 гг., «единственной в своем роде по мужеству участников» и тяжести перенесенных лишений (М. А. Энгельгардт. Н. Пржевальский, его жизнь и путешествия. СПб., 1891, стр. 34), а в «сильной, деспотической» натуре руководителя, похороненного в пустыне, где крест будет «виден караванам за тридцать — сорок миль», — черты Пржевальского и детали его биографии. Как сообщал вскоре после смерти путешественника его постоянный спутник В. Роборовский, могила Пржевальского на пустынном берегу Иссык-Куля «будет видна отовсюду» («Памяти Н. М. Пржевальского». Изд. имп. Русского географического об-ва. СПб., 1890, стр. 59).

Вопрос о дуэлях широко дебатировался в русской печати 1880-х — начала 1890-х годов. Это привело к изданию приказа 1894 г. по военному ведомству о дуэлях, которые с этого времени стали входить в компетенцию суда общества офицеров и в военной среде потеряли «характер обыкновенного преступления» («Суд чести в офицерской среде». — «Русская жизнь», 1894, № 146, 3 июня). Противники дуэли выдвигали аргументы, очень сходные с теми, к которым прибегают герои в XV и XVI главах повести. «Пистолет или шпага, употребляемые на дуэли, — говорил А. М. Иванцов-Платонов, — в существе дела не выше кулака или палки, употребляемых в обыкновенной драке» («Истинное понятие о чести и фальшивое понятие о ней». — В кн.: А. М. Иванцов-Платонов. За двадцать лет священства. Слова и речи. М., 1884). В. Г. Короленко в статье «Русская дуэль в последние годы» (1897) приводит такую цитату из «Нового времени»: «Быть может, дуэль и является сама по себе уродливым способом восстановления чести, но способ этот признается в современном обществе» (В. Г. Короленко. Полное собр. соч. Т. IV, СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1914, стр. 262). (См. также: «Мысли выдающихся писателей и общественных деятелей о дуэли». — «Север», 1892, № 3, 19 января; Л. А. Киреев. Письма о поединках. СПб., 1899; Драгомиров. Дуэли. Киев, 1900; М. М—ъ (М. Махов). Дуэль, ее происхождение и современный характер. СПб., 1902; Н. И. Фалеев. Дуэли. — «Исторический вестник», 1904, № 2. Эта статья, возможно, была последней, читанной Чеховым перед отъездом в Москву, а затем в Баденвейлер. — См. Чехов и его среда, стр. 347.)

Уже современники говорили о связи «Дуэли» с впечатлениями Чехова от «каторжного острова» — Сахалина. «Когда я читал „Сахалин“, — писал Чехову 17 января 1904 г. В. Л. Кигн, — мне думалось, что тамошние краски сильно пристали к Вашей палитре. Почему-то мне кажется, что и великолепная „Дуэль“ вывезена отчасти оттуда» (ГБЛ).

К сахалинскому путешествию восходят многие реалии повести: имя духанщика Кербалая (ср. «Остров Сахалин», гл. XVI), сведения о миссионерах; какие-то черты дьякона Победова навеяны о. Ираклием — сахалинским знакомым Чехова (С. В. Калачева. К творческой истории «Дуэли» А. П. Чехова. — «Вестник МГУ», 1964, № 3, стр. 44—45); несомненна связь с географией чеховского путешествия маршрута экспедиции

фон Корена («от Владивостока до Берингова пролива») и др. Но вопрос, конечно, проблемой реалий не исчерпывается. «„Дуэль“, — писал А. Роскин, — была скорее воспоминанием Чехова о жизни российских чиновников на Сахалине или же в других столь же глухих и угрюмых дальневосточных и сибирских местах <...>, чем воспоминанием о солнечной и ласковой Абхазии» (А. Р о с к и н . А. П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959, стр. 211). Эта мысль находит поддержку и в новейших исследованиях: «Понятие „Кавказ“ не обладает у Чехова собственным этническим, нравственным, бытовым содержанием» (И. Г у р в и ч . Проза Чехова. М., 1970, стр. 34). Роскин же связал с «Дуэлью» упоминания о ностальгии в книге «Остров Сахалин». Нужно добавить только, что глава о беглых на Сахалине, где говорится об этом, писалась одновременно с «Дуэлью» (см. письмо к Суворину от 30 августа 1891 г.). Слова каторжных о том, что «в России всё прекрасно» и что «жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе есть уже высшее счастье» (гл. XXII), близки к мечтам Лаевского о воздухе России, о Курске и Москве (гл. II). Следует, впрочем, отметить, что в одном из писем Чехова упоминается тоскующий по России писмоводитель, живущий, как и герой «Дуэли», в Абхазии (Суворину, 14 февраля 1889 г.).

В рассуждениях героев «Дуэли» о праве естествоиспытателей решать философские вопросы, о союзе естественных и гуманитарных наук, соотношении веры и знания и таких теорий, как непротivление злу, с данными положительных наук отразились собственные мысли Чехова, уже обсуждавшиеся им в произведениях середины 80-х годов («Хорошие люди») и высказывавшиеся им в письмах, близких по времени к работе над повестью (например, к Суворину от 7 мая и от 15 мая 1889 г.). Подготовка к сахалинскому путешествию и писание книги о нем, чтение множества специальных научных трудов, несомненно, оживили и обострили естественнонаучные интересы Чехова. Поэтому для него оказалась очень плодотворной встреча в Богимове во время писания «Дуэли» с зоологом В. А. Вагнером. Чехов внимательно приглядывался к Вагнеру — в нескольких письмах он рассказывал о философских спорах с зоологом, о том, что наблюдает за его работой. В соавторстве они написали в это же лето фельетон «Фокусники» (см. т. XVI Сочинений). Но особенно увлекали Чехова беседы о дарвинизме.

С сочинениями Дарвина Чехов был знаком со студенческих лет. В последующие годы он внимательно читал Дарвина (книга «Прирученные животные и возделанные растения» была в его библиотеке — см. *Чехов и его среда*, стр. 367; Дарвин упоминается в его письмах и произведениях). Следил Чехов и за полемикой вокруг дарвинизма, обострившейся в русской печати в середине 80-х годов с появлением книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1885) — см. его письмо к Ал. П. Чехову от 7 или 8 сентября 1887 г. по поводу антидарвинистских статей Эльпе (Л. К. Попова) в «Новом времени». Отголоски споров этих лет ощущаются в повести (в возражениях героев фон Корену).

С Вагнером, вспоминал М. П. Чехов, «начинались дебаты <...> на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и т. д., легшие потом в основу философии фон Корена в „Дуэли“» (*Вокруг Чехова*, стр. 237; ср.: М. П. Ч е х о в а . Из далекого прошлого. М., 1960, стр. 102—104). Действительно, в речах фон Корена отразилось многое из взглядов Вагнера.

Вагнер чрезвычайно высоко ставил Г. Спенсера, отводя ему «одно из первых мест среди философов-материалистов» (В л . А . В а г н е р . Биопсихология и смежные науки. Пг., 1923, стр. 4; ср. оценку Спенсера в монологе фон Корена в гл. IV). Отзвуки идей Спенсера видны, например, в рассуждении фон Корена о том, что культура «ослабила борьбу и подбор». Ср. у Спенсера: «Стремление поддержать массу бездельников и тем самым мешать естественному процессу выпалывания (т. е. отбору) приносит огромный и бесспорный вред». Эти слова цитирует Вагнер в своей книге «Биологические теории и вопросы жизни» (СПб., 1910, стр. 42). В этой книге Вагнера находим и другие совпадения с высказываниями фон Корена о роли в человеческом обществе биологических законов борьбы за существование¹. В ней же излагаются полемические доводы противников дарвинизма, считавших, что «решение социальных проблем должно составлять дело одних только гуманистов» и что «вмешательство людей „с односторонним естественноисторическим образованием“ ничего, кроме вреда, принести не может, ибо „законы, писанные для животных, не для людей писаны“» (стр. VI; ср. текстуально близкие мысли Лаевского в конце седьмой главы).

По воспоминаниям В. А. Васильева, все, знавшие В. А. Вагнера, «хорошо помнят любимое положение профессора о том, что гуманитарные науки и философия должны быть основаны целиком на естественных науках <...> Так рассуждал и фон Корен² <...> Чехов воспроизвел точно даже отдельные формулировки ученого» (В. А. В а с и л ь е в . Из истории создания литературных образов А. П. Чехова. Образ фон Корена — героя повести Чехова «Дуэль». — «Известия Северо-Кавказского пед. ин-та им. Гадиева». Т. XIII. Орджоникидзе, 1937, стр. 185). От Вагнера исходили и некоторые чисто биологические сведения и реалии повести. В IX гл. Лаевский упоминает о биологических станциях в Неаполе или Villefranche. На этих станциях работал Вагнер (см. об этом в его «Отчете о заграничной командировке летом 1889», СПб., б/г, стр. 1. Там же — о бедности фауны Черного моря, стр. 9).

Сохранились сведения о «прототипичности» некоторых более мелких деталей повести. По свидетельству П. Свободина, резкие словечки в речи Лаевского взяты Чеховым у Суворина (П. Свободин — Чехову, 6 ноября 1891 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, М., 1954, стр. 225). Отголосок каких-то разговоров с Сувориным — упоминание о франко-русских симпатиях во внутреннем монологе Лаевского в начале второй главы. Фраза Лаевского «Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего», по свидетельству М. П. Чехова, заимствована из лексикона М. Н. Островского, министра государственных имуществ, брата драматурга (*Вокруг Чехова*, стр. 220. Ср. письмо Чехова М. П. Чеховой от 14 июля 1888 г.). В повести нашли отражение впечатления от поездок Чехова в Крым и на Кавказ в 1888 г., а также в Крым в июле-августе 1889 г. — одним из немногих месяцев в жизни Чехова, когда он «отдыхал, ничего не писал», купался в море, участвовал в пикниках, поездках в горы (Е. М. Шамова-Юст. Об Антоне Павловиче Чехове. — «Литературный музей А. П. Чехова. Сб. статей и материалов». Вып. 3, Ростов-на-Дону, 1963, стр. 274). «На Афоне, — писал Чехов 25 июля 1888 г., — познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, ездящим по епархии верхом на лошади». Как заметил Б. К. Зайцев, «в „Дуэли“ мелькнет его привлекательный облик» (Б. Зайцев. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк, 1954, стр. 84).

Ранние варианты повести до нас не дошли — их автор «уничтожал и рвал». Об их содержании и замыслах первой стадии работы имеются лишь некоторые отрывочные сведения. Из окончательного текста исчезли: 1) упоминание о театре; 2) история св. Варлаама, едущего летом на санях, как пример горячей веры (см. письмо Чехова от 20 марта 1891 г. и комментарий к нему); она была заменена эпизодом с дядькой дьякона, попом (гл. XIII варианта «Нового времени» или гл. XVI изд. А. Ф. Маркса); 3) упоминание разговоров Гёте с Эккерманом (см. письмо Суворину от 6 февраля 1891 г.); книга «Разговоры Гёте с его секретарем Эккерманом» вышла в изд. Суворина в январе 1891 г.; Чехов, очевидно, тогда же прочел ее; 4) возможно — уже в корректуре — некоторые «зоологические разговоры»: отослав рукопись Суворину, Чехов колебался, оставить их или выбросить из повести: «не станет ли она оттого живее?» (Суворину, 30 августа 1891 г.). Лаевский в рукописи носил фамилию Ладзиевский, потом Лагиевский (Суворину, 30 августа). С большой долей вероятности можно утверждать, что в части, написанной до отъезда за границу, отсутствовал фон Корен — во всяком случае, в известных по печатному тексту его чертах. Подобного персонажа нет в конспекте замысла, изложенном в 1888 году; беседы с Вагнером велись летом 1891 г. Когда писалось начало (зимой), Чехов с зоологом знаком не был.

3

Печатание большого рассказа в газете, где он неминуемо должен был появляться лишь небольшими порциями, с самого начала не устраивало Чехова. 18 августа он писал об этом Суворину; эту же мысль он повторил, уже отослав рассказ: «Напрасно Вы постеснились вернуть мне его обратно. Я бы послал его в „Сев<ерный> вестник“. Кстати, оттуда я уже получил два письма. Печатать в газете длинное, да еще черт знает что, весьма неприятно» (28 августа). «Не читайте ее в газете. Я пришлю книжку», — писал он П. И. Чайковскому 18 октября. Объяснение, почему Чехов все же согласился на этот неудобный для него способ публикации, находим в письме к брату от 24 октября: «Я <...> был должен „Нов<ому> времени“, и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил».

Начало «Дуэли» появилось в «Новом времени» во вторник 22 октября 1891 г. с примечанием от редакции: «Повесть Чехова займет ряд фельетонов. Мы постараемся печатать ее непременно в назначенные дни, именно во вторник и среду каждой недели». Первые две недели расписание соблюдалось (был даже дан один лишний фельетон — в пятницу, 25 октября). Но предоставление Чехову двух фельетонов в неделю вызвало недовольство сотрудников «Нового времени», которые, по словам самого Суворина, вообще не любили, когда он «пропустит в газету что-нибудь талантливое не из редакции, — например, чеховскую „Дуэль“» (из дневника С. И. Смирновой-Сазоновой, 2 марта 1892 г. — *ИРЛИ*, ф. 285, ед. хр. 20). «Никогда на твою главу не падало столько ругани, сколько теперь — после того, как твоя „Дуэль“ заняла фельетоны вторников и сред, — писал Ал. П. Чехов. — Маслов, Петерсен и все, кто только рассчитывал на помещение своих фельетонов, ругают тебя как узурпатора и даже высчитывают, сколько каждый из них потеряет, пока будет печататься твоя повесть. <...> Я бы посоветовал тебе „попросить доброго господина Суворина“ <...>, чтобы он уладил как-нибудь и освободил в пользу лающих и ворчащих хотя бы одну среду» (23 октября 1891 г.; *Письма Ал. Чехова*, стр. 249). Чехов не был заинтересован в еще большем растягивании печатанья. Тем не менее он просил передать Суворину, «чтобы он отдал среды — разве они мне нужны?» (24 октября). На следующий день он писал о том Суворину сам. Решение Суворина было компромиссным — из пяти последующих сред «Дуэль» не печаталась в двух. Сроки удлинились. К концу четвертой недели Чехов начал торопить Суворина — сначала намекая («„Дуэли“ осталось уже немного. Остаток может поместиться в два фельетона»), а затем, когда уже прошло назначенное время, говоря прямо:

«„Дуэль“, пожалуйста, кончайте в эту неделю». Печатание окончилось только 27 ноября. Вместо трех недель, как было решено вначале, «Дуэль» печаталась больше пяти.

Одновременно с печатанием повести в газете готовилось отдельное издание, в текст которого Чехов вносил изменения в корректуру. Договоренность с Сувориным об отдельном издании существовала до начала печатания в газете: еще 16 октября Чехов просит присылать «корректуру „Дуэли“ для книжки». Были определены сроки — начало декабря (письмо П. И. Чайковскому от 18 октября). По каким-то причинам Чехов очень хотел издать книгу в срок или, по крайней мере, до Рождества — напоминания о времени, опасения, что «Дуэль» не успеет, находим во многих письмах к Суворину за октябрь — декабрь 1891 г. 30 октября была исправлена и отдана корректура первого листа (письмо Суворину от этого числа), в середине ноября (возможно, во время визита Суворина в Москву) — средние листы; с 11 по 13 декабря Чехов работал над концом, 13 декабря конец был отослан (письма Суворину 11 и 13 декабря).

В свет повесть вышла 17 декабря («Библиографические новости». — «Новое время», 1891, № 5677, 17 декабря); 18-м декабря датированы дарственные надписи на двух экземплярах книги (*ЛН*, т. 68, стр. 276, 278). Перед Рождеством она уже, очевидно, поступила в продажу — в письме А. И. Смагину от 4 января 1892 г. Чехов писал, что его книги «перед праздником шли очень хорошо». В конце 1892 г. вышло уже второе издание.

В корректуру отдельного издания к характеристике Лаевского добавлено, что он «часто употреблял в разговоре непристойные выражения». Существенно для выяснения авторского отношения к герою изменение эпиграфа в главе XVII — цитата из пушкинского стихотворения в издании 1892 г. была продолжена, приведены дальнейшие строки: «Я трепещу и проклиная, И горько жалуясь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю». Включена сцена в главе V («Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось...») и т. д.), предвосхищающая настроение героини в главе VI («она казалась себе <...> легкой и воздушной, как бабочка»). В самом начале повести расширен эпизод, характеризующий медицинские познания Самойленко, и приводится образец его рецептуры: «Холодные души, мушка. . . Ну, внутрь что-нибудь».

В последующих изданиях (со 2 по 9) изменения в текст почти не вносились.

Новые исправления были сделаны в 1901 г. при включении «Дуэли» в издание Маркса. Несколько перемен в тексте усложнили психологический облик Надежды Федоровны. Была снята сцена на пикнике («ей стало еще веселей» и т. д.) и уже в главе V введены мотивы рефлексии (добавлено: «И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...»). Для облика фон Корена существенно изменение, внесенное в финале, — сняты его слова об уважении к Лаевскому.

Наибольшие изменения претерпела фигура Кирилина. Из офицера он превратился в пристава. В прежних вариантах в его отношении к Надежде Федоровне был элемент любовной игры, хотя и пошлой; он даже «робеет и конфузится». В новом варианте Кирилин «как порядочный человек», а не «шалопай», требует «серьезного внимания». Мотив «я должен проучить вас» становится основным в его поведении. В издании Маркса было изменено деление глав.

4

Первым критиком «Дуэли» — еще в рукописи — был ее издатель. Повесть Суворину понравилась; об этом он писал Чехову в не дошедшем до нас письме около 29 августа (см. письмо Чехова от 30 августа). О более поздних (1896 г.) его восторженных отзывах вспоминает А. Амфитеатов, рассказывая о споре, в котором Суворин защищал «Дуэль». «Мы <...> буквально переругались из-за „Дуэли“. Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта написать не может» («Русское слово», 1914, № 151, 2 июля).

Именно ответами на замечания и вопросы Суворина были и собственные высказывания Чехова о повести — и общие, касающиеся основных ее проблем, и частные — о поэтике имен, о деталях быта героев. Отвечая на предложение Суворина изменить заглавие повести, Чехов писал: «Для моей повести рекомендуемое Вами название „Ложь“ не годится. Оно уместно только там, где идет речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка. То, что мы имеем деньги и едим мясо, Толстой называет ложью — это слишком» (8 сентября). Согласившись изменить фамилию главного героя, Чехов возражал против предложения дать другое имя фон Корену. «Фон Корен пусть остается фон Кореном. Изобилие Вагнеров, Брандты, Фаусеки и проч. отрицают русское имя в зоологии, хотя все они русские. Впрочем, есть Ковалевский. Кстати сказать, русская жизнь теперь так перепуталась, что всякие фамилии годятся» (30 августа).

В письмах к Чехову и переписке первых читателей отзывы о «Дуэли» появились еще до окончания печатания. Как и самому автору, читателям не нравилось, что повесть печатается в газете. «Несмотря на все, что может извинять Вас, — писал Чехову П. Свободин после третьего фельетона, — все-таки скажу, что печатать в газете

такие вещи, как „Дуэль“ — через неделю по столовой ложке — это варварство!» (26 октября 1891 г.). Это же повторял он в письмах от 6 и 28 ноября (*Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 225, 227). Об этом же писал Н. М. Ежову и В. В. Билибин: «Главный ее недостаток тот, что она печатается в газете. Впечатление разбивается» (17 ноября 1891 г. — *ЦГАЛИ*, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7).

Отзывы, данные до окончания печатания, противоречивы. «До сих пор вещь прелестна. — писал Чехову Свободин, прочитав половину повести, — все фигуры влезают со столбцов „Нов<ого> вр(е)мени“ и начинают ходить по комнатам, которые превращаются то в столовую Самойленки, то в берег Батума, то в купальню» (6 ноября). И. Л. Леонтьев (Щеглов), считая, что повесть «не совсем еще обработана, выпадает часть из тона», тем не менее полагал, что «„Дуэль“ талантливее, художественнее всех этих Потапенков и К^о» («Дневник», 25—26 ноября 1891 г.; *ЛН*, т. 68, стр. 482).

Совсем другое мнение — по выходе в свет той же части, после которой написано письмо Свободина, — передавал в письме к Ежову от 10 ноября 1891 г. Билибин: «Петербургской публике повесть Чехова не нравится. Упрекают, между прочим, в сочиненности». Но уже в следующем письме Билибин писал о разноречивости мнений: «Одни очень хвалят повесть, другие говорят, что не узнают прежнего Чех<ова>. Мне лично повесть вообще очень нравится» (17 ноября 1891 г. — *ЦГАЛИ*, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7).

После окончания печатания отзывы в письмах пошли потоком. Писали знакомые и незнакомые, друзья и родственники, писали автору и друг другу. «Из Петербурга, из Вильны и из разных российских городов я получаю письма насчет „Дуэли“, — сообщает Чехов Суворину через неделю после выхода последнего фельетона повести. — Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени задушевные и доброжелательные».

Первые печатные отклики появились еще в ноябре. Как и другие большие вещи — «Степь». «Скучная история» — повесть собрала много отзывов. То, что «Дуэль» вслед за этими произведениями привлекала особое внимание критики, отмечал позднее С. Венгеров («Вестник и библиотека для самообразования», 1903, № 32, 7 августа); об этом же писал в своей книге «Жизнь Антона Чехова и его произведения» (Одесса, 1902) Н. Георгиевич. Отзывы появлялись и в последующие годы — в связи с отдельным изданием 1892 г., в обзорных статьях и книгах, посвященных творчеству Чехова.

Как большинство чеховских вещей конца 80-х — начала 90-х гг., повесть — и в целом и в частности — вызвала самые разные, иногда взаимоисключающие суждения.

Диапазон колебаний оценок был широк.

В ряде статей, писем повесть получила высокую оценку, рассматривалась как новый этап в развитии таланта Чехова. «Ваша „Дуэль“, — писал 26 декабря 1891 г. Леонтьев (Щеглов), — очень явный и очень знаменательный шаг вперед...» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, М., 1941, стр. 78). «Одной из удачных вещей Чехова» и одной «из наиболее глубоко задуманных его вещей после „Скучной истории“» считал повесть А. Волынский («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 177). П. Перцов, называя «Дуэль» самой лучшей повестью Чехова (заметим, что это сказано после выхода в свет «Жены», «Попрыгуньи», «Палаты № 6»), писал: «В этой повести психологический анализ г. Чехова достигает прямо толстовской высоты и силы» («Изыяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова». — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 60). Критик «Новостей дня» безоговорочно заявил: «Его последнее произведение — лучшее из всего, что им до сих пор написано» (В. Н. «Дуэль» Чехова. — «Новости дня», 1892, № 3106, 16 февраля). Почти дословно повторил эту формулировку в письме к Чехову Вл. И. Немирович-Данченко (февраль 1892 г. — «Ежегодник МХТ», 1944, т. I. М., 1946, стр. 97).

Другая ветвь критики оценила повесть противоположно. А. Амфитеатров — тогда начинающий критик — в рецензии на первое отдельное издание «Дуэли» назвал повесть «самым слабым и неудачным» из произведений Чехова («Каспий», 1892, № 15, 19 января). Отрицательно отзывалась о повести критика «Гражданина» — М. Южный (М. Г. Зельманов) в статье «Новые произведения Чехова» (1892, № 21, 21 января) и Р-ий в статье «Смелый талант» (1892, № 34, 3 февраля). «Я не хочу умалять таланта г. Чехова, — писал автор второй статьи, — но, право же, его последние творения пахнут литературным дон-кихотством. <...> Правда столь же далека от „Дуэли“ г. Чехова, как далеко задуманное им от действительного». Произведением «невысокого качества» считал повесть К. Головин («Русский роман и русское общество». СПб., 1897, стр. 462).

Но и безоговорочное приятие, и полное отрицание были редки. В положительных отзывах отмечались многочисленные недостатки; в отрицательных — существенные достоинства.

В некоторых вопросах самые разные критики сошлись, проявив большое единодушие. Так было с оценкой финала, это же получилось и с вопросом жанра «Дуэли».

После выхода «Пестрых рассказов», «В сумерках» и «Рассказов» (1-е изд. — 1888 г.) за Чеховым установилась репутация мастера короткого рассказа. Но, начиная с первой же большой вещи, повести «Степь»,

столь же прочно — как оборотная сторона той же медали — утвердилось мнение: мастеру малого жанра большая форма не дается. «Дуэль» в глазах многих критиков только подтвердила это мнение.

«Неспособность Чехова сочинять „большие вещи“, — заканчивая разбор „Дуэли“ писал К. Медведский, — сказала в ней так же ясно, как и в „Степи“» («Русский вестник», 1896, кн. 7, стр. 245). «Он давно уже, — замечал М. Южный, — прилагает все усилия к тому, чтобы создать что-нибудь „крупное“, и до сих пор, к сожалению, всё безуспешно» («Гражданин», 1892, № 21, 21 января). «У Чехова есть своя сфера, где он почти вне конкурса и подражания: это — жанровая миниатюра, — писал Амфитеатров. — Г. Чехов превосходный анализатор мелочей жизни — каждой в отдельности, но он становится в тупик перед целым <...> Г. Чехов гораздо лучше сделает, если заключится в сфере своей прежней специальности — беллетриста-миниатюриста» («Каспий», 1892, № 15, 19 января). Критика много писала об удаче описаний природы, блестящих диалогах, мастерском изображении психологии, «живости выводимых лиц», «множестве поэтических деталей, остроумных блёсток» и т. п. Но при всем том во многих рецензиях отмечалось, что все это не складывается в единое большое целое. Так, обозреватель «Русских ведомостей» писал, что несмотря на «необыкновенно живо и правдиво» нарисованные сцены и отдельные черты характера, «интересные частности» («частности и мелочи всегда удавались автору»), — «целое осталось неясненным, лишенным психологической и художественной цельности и правды» (И в . И в а н о в . Заметки читателя. — «Русские ведомости», 1892, № 348, 17 декабря). Завершая разбором «Дуэли» свой анализ творчества Чехова в книге «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897), К. Головин писал: «Может быть, он когда-нибудь еще и напишет настоящее крупное произведение — не по объему только. Но пока он этого не сделал» (стр. 462).

Новый жанр, рожденный в «больших» вещах Чехова конца 80-х — начала 90-х годов, не был признан критикой.

Не были приняты и сложившиеся в это время в чеховской прозе и драматургии новые принципы изображения героя и среды, авторского отношения к самооценкам персонажей и их оценкам друг друга. К произведениям Чехова применяли традиционные мерки. Так было с «Огнями», «Скучной историей», когда высказывания героев (например, о том, что «ничего не разберешь на этом свете» или об отсутствии «общей идеи») были расценены как основные мысли произведений, как точка зрения автора, полностью солидаризирующегося с героем.

В оценке главных героев «Дуэли» ситуация повторилась.

Центральное место в критике занял Лаевский. В первой же главе повести этот герой характеризует себя как «лишнего человека», неудачника. По словам фон Корена, Лаевский постоянно упоминает Онегина и Печорина как своих «отцов по плоти и духу». Эта самооценка в ряде критических отзывы была подхвачена и получила дальнейшее развитие. Полностью присоединился к ней Амфитеатров, усмотревший даже особое подчеркивание ее автором: «Лаевский, по собственным его словам и по заметно настойчивому подчеркиванию автора, прямой потомок старых гамлетиков, заеденных рефлексией низшего разбора: лишнего человека, Нежданова и других героев того же полета» («Каспий», 1892, № 15, 19 января). «Надо правду сказать, Лаевский всем своим поведением на страницах повести вполне оправдывает такое мнение о нем фон Корена», — писал А. Скабичевский («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). Соглашался с этой точкой зрения и М. Меньшиков: «Начиная с Тентенникова, продолжая Ильей Ильичом и целым рядом „лишних людей“, рефлектиков и гамлетиков, литература дает портреты обездушенной, обезволенной интеллигенции <...> Молодые беллетристы продолжают рисовать те же типы» (М. О. М е н ь ш и к о в . Критические очерки. СПб., 1899, стр. 162. Впервые — «Книжки Недели», 1893, № 1). В «Дуэли», как и в других своих вещах этого времени, Чехов, полагал Меньшиков, выводит «новейших Обломовых». А. Липовский также зачислял Лаевского в галерею чеховских «лишних людей» — «как бы в пополнение и развитие знакомых нам типов Чацкого, Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Райского» («Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 25). М. Л. Гольдштейн, тоже причисляя Лаевского к этой генерации, пытался определить новые черты «нового лишнего человека»: «Лаевский — это Рудин наших дней. Что же с ним сделали годы? Он упал, страшно упал, позорно, малодушно, бесчестно <...> Это последний потомок Чайльд-Гарольда. Это полное банкротство целого типа <...> Предшественники говорили хорошее, но не делали ничего. Он уже делает дурное. Печальный прогресс!» (М. Л. Г о л ь д ш т е й н . Впечатления и заметки. Киев, 1896, стр. 286—288; статья 1891 г.).

К. Головин также считал, что «намерение подарить нас новым изданием лишнего человека так и сквозит в целой повести». Но, в отличие от Гольдштейна, Головин в этом видел недостаток повести — такие люди вообще не заслуживают внимания писателя, «потому что от них и ожидать нечего» («Русский роман и русское общество», стр. 461—462).

Частью критики Лаевский был воспринят иначе — не в связи с линией «лишних людей», а как самостоятельная фигура — тип «восьмидесятника» (Всеволод Ч е ш и х и н . Современное общество в произведениях Боборыкина и Чехова. Одесса, 1899), тип, «взятый из окружающей действительности»,

«вырванный из жизни» (А. Во лы н с к и й; «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 178—180). «Лаевский, в сущности, типический представитель нашего времени, страдающий неврастенией» (Билибин — Ежову, 17 ноября 1891 г. — *ЦГАЛИ*, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7). По определению Скабичевского, «Лаевский — это тип нервно-развинченного до истерики в обществе, нравственно распущенного и чувственного ленивца и бабника, какие часто встречаются в нашем современном обществе». (Правда, Скабичевский не совсем освободился от магии автохарактеристики героя — вслед за самим героем он вполне всерьез называет его «печальным наследием крепостного права». — «Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). «Типичнейшим» из «страждущих и ноющих интеллигентов Чехова» назван Лаевский в статье Евг. Ляцкого «А. П. Чехов и его рассказы» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 138).

Но и здесь суждения были противоречивы. Амфитеатров вообще отказывал героям «Дуэли» в какой-либо общественной характерности и даже утверждал — впрочем, без всякой аргументации, — что попытка придать им «значение социальных типов» «производит комическое впечатление» («Каспий», 1892, № 15, 19 января).

С развернутой критикой «общественной стороны типа» Лаевского выступил на страницах «Русского богатства» П. Перцов. Сравнивая чеховского героя с героями Грибоедова и Тургенева, он писал: «Тип Лаевского остается без надлежащего освещения всех его сторон. В самом деле, какое разъяснение общественного смысла этого типа могут дать фигуры Самойленки, дьякона, Кирилина, Марьи Константиновны и т. д.? Да и чем связаны между собой все эти фигуры? Любую из них можно выбросить и заменить другой <...> Не так писали вдумчивые, умевшие охватить предмет со всех сторон художники-публицисты» («Изъяны творчества». — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 62). Примерно с этих же позиций подходил к другим персонажам повести Амфитеатров, недоумевавший, зачем в повесть введена фигура дьякона.

Критики, таким образом, основывали свои рассуждения на том типе взаимоотношений героя и среды, который был традиционен для дочеховской прозы. Главный герой противопоставлен обществу, общество же выдвигает своих «премьеров», которые противопоставляют герою в личном плане. Он вступает с ними в личный конфликт. Общественные взаимоотношения чеховского героя — иные. Его антипод — фон Корен — не принадлежит к той среде, в которой живет Лаевский; с остальными Лаевский в конфликт не вступает. Кроме того, эти остальные персонажи действительно мало дают для освещения «всех сторон» типа Лаевского. Они для этого не предназначены.

Столкновение, борьба отдельных лиц как пружина сюжета рано ушли из прозы Чехова; такой борьбы, как показал в своих работах о драматургии Чехова А. П. Скафтымов, нет и в его пьесах. Это не было понято. Ища традиционного столкновения интересов, М. Южный недоумевал: «Посмотрите отношения этих лиц между собою. Лаевский пьет пиво и играет в винт, сожительница его поминутно „падает“ с каждым встречным и поперечным, а зоолог шипит и злобствует на весь мир». «Ясно, что никакой *драмы* между такими лицами быть не может». Дуэль, по мнению Южного, состоялась «без всякой видимой причины». Перцов в качестве положительного примера приводил «Иванова», где отношение главного героя «к окружающему обществу для нас ясно. Картина этого общества, нарисованная во втором акте пьесы, так же как и отдельные его представители, вроде Лебедева и Шабельского, разъясняют нам это соотношение» (стр. 62).

Была отмечена, на этот раз положительно, — А. Во лы н с к и м — и другая необычность в конфликте повести. «По общепринятой методе, содержание и идея беллетристических произведений вращаются преимущественно вокруг любви. Любовь — это тот свет, в который вступают действующие лица романов и повестей, чтобы обнаружить свои внутренние особенности и склонности <...> В этом смысле „Дуэль“ — произведение, выходящее из обычного шаблона. Между Лаевским и фон Кореном происходит дуэль по причинам, не имеющим ничего общего с соперничеством на почве любви» («Северный вестник», 1892, № 1, стр. 180).

Рассматривая Лаевского как продукт «безвременья», «идейный пустоцвет», критика ставила его в тесную связь с другими героями Чехова этого времени. Перцов проводил аналогию между ним и героем «Скучной истории»; Скабичевский сопоставлял Лаевского с героем «Жены» («Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля); Меньшиков ставил его в ряд с героями «Скучной истории», «Жены», «Соседей», «Страха», «Палаты № 6» («Книжки Недели», 1893, № 1). Позднейшая критика нашла связь Лаевского с центральными персонажами последующих произведений Чехова — «Палаты № 6», «Рассказа неизвестного человека» (М. Ю ж н ы й . Новый рассказ г. Чехова. — «Гражданин», 1895, № 60, 2 марта; И. П. М е р ц а л о в . Главные представители современной русской беллетристики. — «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1898, № 8—9; И. И. З а м о т и н . Предрассветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова. — «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казанском университете», отд. оттиск, 1904); Тригориным и Астровым из «Чайки» и «Дяди Вани» (А л . П о т а п о в . А. П. Чехов и публицистическая критика. — «Образование», 1900, № 1), с Лихаревым («На

пути») и Дымовым из «Попрыгуны» (А. Л и п о в с к и й . Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, кн. V, стр. 25).

Чаще всего Лаевский сопоставлялся с Ивановым, героем одноименной чеховской пьесы. Между этими героями современная критика усматривала несомненное, бесспорное родство (М. Гольдштейн, П. Перцов). Наиболее категорично эта точка зрения была выражена М. Протопоповым, считавшим, что тип главного героя в «Дуэли», как и герои некоторых других вещей Чехова этого времени, представляет собою «только более или менее удачные вариации на ту тему, которая первоначально выражена в драме „Иванов“» («Жертва безвременья...» — «Русская мысль», 1892, кн. 6, стр. 114).

Единодушной оказалась критика (вплоть до наших дней) в оценке финала повести. Отношение к неожиданным изменениям, произошедшим в нем с главными героями, объединило всех. О финале «Дуэли» возникла целая литература.

Очень категорично высказался о «Дуэли» в письме к Чехову от 2 января 1892 г. Плещеев: «Мне совершенно не ясен конец ее; и я был бы вам очень благодарен, если б Вы объяснили мне, чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц <...> По-моему, рассказ окончен слишком произвольно» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 283—284; об этом же Плещеев 30 декабря 1891 г. писал П. И. Вейнбергу. — ИРЛИ, ф. 62, оп. 3, № 376, л. 60). П. А. Воеводский, рукопись рецензии которого хранил в своем архиве Чехов, вообще считал неоправданность финала единственным недостатком повести: «Поступки действующих лиц должны обуславливаться как внешней обстановкой, так и ходом их духовной жизни и вытекать из них как конечный вывод из ряда данных». Что Лаевский и Надежда Федоровна «пришли к порицанию всей предшествующей их возрождению пошлой и пустой жизни, представляется вполне понятным, но этого недостаточно. Такой вывод без положительных нравственных начал, направивших их жизнь по другому пути, мог привести или к самоубийству или к дальнейшему падению. Под влиянием каких нравственных начал он осознал, что она самый близкий ему человек после того, как убедился в ее измене, и под влиянием каких начал совершилось в них нравственное перерождение, — и неясно в рассказе. За исключением этого, на мой взгляд, недостатка, рассказ, я полагаю, можно считать образцовым произведением» (ГБЛ).

Перерождение Лаевского как единственный недостаток повести отметили И. И. Ясинский, Волинский, Липовский, многие другие сочли этот финал главным ее недостатком. Об этом писали Иванов («Русские ведомости», 1892, № 348, 17 декабря), Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля), М. Южный («Гражданин», 1892, № 21, 21 января), Р-ий («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля), Перцов («Русское богатство», 1893, № 1), анонимный рецензент «Книжного вестника» (1892, № 1).

Исходя из понимания Лаевского как «типического представителя» 80-х годов, критика отказывала этому характеру в возможности коренных изменений, называя их «волшебными метаморфозами» (Скабичевский). Невозможность нравственного перерождения кроется, по мнению критики, в самой основе того типа, к которому принадлежит Лаевский. «Для того, чтобы возродиться, — писал обозреватель „Гражданина“, — как Раскольников, например, у Достоевского, нужно, чтобы была натура сильная, глубокая, трагическая <...> Не смешно ли говорить о „возрождении“ Лаевского, который весь одна сплошная пошлость!» (М. Южный). Об этом же писал и Медведский: «Почти до последних страниц повести Лаевский представляется нам человеком ничтожным, без всяких определенных устоев <...> — эгоистом, безвольным, бесхарактерным и даже пошлым. <...> Чехов заставляет <...> его совершать деяния, свидетельствующие о полном перерождении. Вместе с тем он лишает своего героя того нравственного материала, который единственно обуславливает возможность перерождения» («Русский вестник», 1896, № 7, стр. 242—244).

Неубедительными представлялись критике изменения и в характерах других «эволюционирующих» персонажей — Надежды Федоровны и фон Корена. Скабичевский решительно отрицал какую-либо возможность эволюции героини: «Я не верю, чтобы такие люди, как Лаевский и Надежда Федоровна, могли бы внезапно, словно по щучьему велению возродиться и сделаться целомудренными, чистоплотными, бережливыми, трудолюбивыми и пр. и пр.» Возникли противоречивые суждения об изображении некоторых сторон ее облика. Билибин, сомневаясь, можно ли вообще изображать в литературе «неудержимую похотливость», считал, что здесь «врач продолжает сквозить в Чехове-беллетристе» (письмо Ежову от 17 ноября 1891 г.). Волинский, напротив, полагал, что «автор подчеркивает физиологический элемент в нравственной распушенности Надежды Федоровны тонко, умно и искусно» (стр. 181).

Не удовлетворило критику и поведение в финале фон Корена. Последние его монологи и «участие в общем умилении» Скабичевский назвал фальшивыми и «даже пошлыми», у Иванова финал вызвал иронические замечания об «исцелении от смертоубийственных инстинктов» и т. д. Фон Корен рассматривался именно как личность законченная, цельная в своей узости и неспособная к терпимости и широте во взглядах. Это, по мнению критики, сближало его с доктором Львовым из «Иванова». Связь с «Ивановым», таким образом, усматривалась не

только в фигуре главного героя «Дуэли». Мало того, как аналогичная рассматривалась вся картина взаимоотношений пар Иванов — Львов, Лаевский — фон Корен: тип доктора Львова, писал Посторонний в статье «Герои отвлеченной морали», «по-видимому очень интересуется автора пьесы, так как <...> он снова обратился к его изображению и нарисовал в лице зоолога фон Корена настоящий pendant к личности Львова» («Волжский вестник», 1892, № 15, 16 января). Любопытно, что Перцов, тоже считавший, что фон Корен «во многом напоминает лицо доктора Львова из „Иванова“», также именует зоолога «героем отвлеченной морали». Родство фон Корена с Львовым выводилось не без оснований. В известной авторской характеристике Львова называются, например, такие его черты: «Это тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека <...> Всё, что похоже на широту взгляда и непосредственность чувства, чуждо Львову» (Чехов — Суворину, 30 декабря 1888 г.). В целом фон Корен был оценен как одно из живых явлений 80-х годов. «Узкий педантизм без обобщающих понятий, с трусливым, недоверчивым отношением к отвлеченному идеалу, с какою-то обскурантною нетерпимостью к неограниченному философскому исканию» — это одна из «струй современности в широком смысле слова» (А. Волынский. — «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 178).

Только в одном отзыве («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля) Лаевский был понят как «отрицательный элемент повести», а фон Корен как «положительный». В целом же, нужно отметить, современная критика, не в пример позднейшей, не рассматривала одного из этих героев как целиком положительного, а другого как отрицательного; ни один из антиподов не был расценен как преимущественный носитель авторских симпатий или антипатий.

Прочие персонажи «Дуэли» не остановили на себе особого внимания критики. Вскользь отмечалось, что Чехов любит изображать «простых людей», непосредственных простецов с их «ясной, простой душевной жизнью» — таких, как дьякон Победов и доктор Самойленко (Скабичевский, Николаев). Почти дословно от статьи к статье повторялись формулировки о «мастерском», «живом», «прекрасном» изображении второстепенных персонажей повести (А. Воеводский, Ив. Иванов, А. Скабичевский, К. Головин, А. Волынский).

ДУЭЛЬ

I

Исходная сюжетная ситуация повести Чехова «Дуэль» (1891) напоминает второй том «Анны Карениной»: увезший Надежду Федоровну от мужа Лаевский, подобно Вронскому, начинает тяготиться связью с Надеждой Федоровной. Эта ситуация с самого начала изображается Чеховым с отчетливой ориентацией на язык и стиль Толстого: «Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь...» (С. 7; 362; здесь и далее курсив мой — С.К.).

Далее в сознании главного героя повести появляется отсылка к «Анне Карениной» уже с прямой ее атрибуцией: «На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анна Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: “Как это верно! Как верно!”» (С. 7; 362).

Однако затем сюжет неожиданным образом начинает развиваться по сценарию «Мадам Бовари» Флобера — с поправкой на то, что в роли обманутого мужа, которому Надежда Федоровна, как выясняется, изменяет с полицейским приставом Кириллиным, на сей раз оказывается сам Лаевский.

Так, например, героиня с самого начала стилизована под флюберовскую Эмму: «... навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, — сделали то, что ею мало-помалу овладели желания...» (С. 7; 379). Ср. у Флобера: «... мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, вода зонтиком по траве, она твердила:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж?

Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого? <...> В самом деле ведь не все такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен...» (Флобер Г. Госпожа Бовари (Madame Bovary). Роман и обвинительная и защитительная речи и приговор по делу, возбужденному против автора в Парижском исправительном суде. Заседания 31-го января и 7-го февраля 1857 года. СПб., 1881. С. 59).

Правда, в отличие от флюберовской Эммы – и это тоже, очевидно, не случайная, а сознательная и значимая трансформация – Надежда Федоровна делает это не из страстной любви, а от скуки и «желаний».

Кириллин – своего рода криптопародия на мопассановского Дюруа из «Милого друга» – оказался «грубоватым, хотя и красивым» (С. 7, 379), и она пытается с ним порвать. На горизонте, как и в романе Флобера, тут же показывается другой претендент в любовники – более молодой Ачмианов, отдаленно соответствующий флюберовскому Леону.

Чеховскую «Эмму» – Надежду Федоровну, со всем ее отталкиванием от мещанского окружения и стремлением «жить, жить» (С. 7, 381), впрочем, сразу отличает от ее литературного прототипа периодически приходящее к ней ощущение, что «она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина» (С. 7; 381, 382).

Однако, в отличие от «Мадам Бовари», где Шарль в основном сливается с безликим мещанским окружением Эммы, в «Дуэли» Лаевский – двойник Надежды Федоровны, своего рода еще одна «Эмма». Недаром он даже больше, чем она, страдает от мещанского окружения: «Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье... отсутствие людей и общих интересов...» (С. 7; 423).

В романе Флобера об увлечениях Эммы Родольфом и Леоном рассказано по очереди. Чехов в своей повести для ускорения действия совмещает эти две сюжетные линии, делая Ачмианова всего лишь претендентом на то, чтобы стать вторым любовником Надежды Федоровны.

Писатель заставляет Ачмианова ревновать, выслеживать и, наконец, привести на место свидания Надежды Федоровны с полицейским приставом Кириллиным ее мужа Лаевского (С. 7; 429). Это напоминает уже не столько «Мадам Бовари», сколько роман Мопассана «Милый друг» (1885), герой которого Дюруа приводит полицейского комиссара в квартиру тайного свидания своей жены Мадлены Форестье с министром Леруа. Описание дня и ночи Лаевского перед дуэлью также имеет ряд общих мотивов с романом Мопассана, в котором Дюруа дерется на дуэли с оскорбившим его в печати журналистом.

Между тем трактовка Чеховым всей этой сюжетной истории несет на себе явный отпечаток уже не французской литературы, а русской классики. В финале повести «переродившийся» в результате дуэли Лаевский начинает исповедовать нечто вроде идеи позднего Достоевского о взаимной ответственности людей друг за друга: «... изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь – и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался все крепче опутать ее лганьем, как паутиной... Остальное доделали эти люди» (С. 7; 437).

Итак, «Дуэль» – это «Мадам Бовари» или «Анна Каренина» с раздвоившейся Эммой или Анной, герой которой Лаевский, отдаленно соответствующий флюберовскому Шарлю или скорее толстовскому Каренину в сцене родов Анны, неожиданно перерождается, ощутив перед лицом смерти собственную ответственность за судьбу своей гражданской жены.

Гипертекстуальность «Дуэли» по отношению к «Мадам Бовари» имеет гибридный характер: одновременно ее претекстами являются романы Толстого и Мопассана. При этом, в отличие от гипертекстуальности чеховской повести по отношению к «Анне Карениной», ее интертекстуальные связи с романами Флобера и Мопассана имеют не слишком явный и, следовательно, «факультативный», по М.Риффатеру, характер.

Лаевский в повести обрисован как своего рода смесь Левина с Облонским, а сам сюжет ее представляет собой как бы продолжение «Анны Карениной»: герой увозит любовницу от мужа но та начинает изменять ему и уже он сам оказывается в положении обманутого мужа.

В то же время его антагонист фон Корен – своего рода смесь Каренина с Вронским: «Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, – прибавила она...».¹⁴³ Между прочим, сходный тип героя намечен во втором томе «Анны Карениной» в образе художника Михайлова: «...лет двадцать тому назад он нашел бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями, он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое; но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостоивают спором старинные воззрения, а прямо говорят: ничего нет, е/volution, подбор, борьба за существование – и всё» (19; 35-36).

Как не раз отмечалось, Чехов в «Дуэли» был под впечатлением от вышедшей в начале 1891-го года повести Л.Н.Толстого «Крейцера соната». Однако при этом он в основном отталкивался от духа нетерпимости и женоненавистничества, который воплощает ее герой Кознышев: «Подспудно ведется в “Дуэли” полемика с “Крейцеровой сонатой” Толстого. Толстой считает половую любовь животным

чувством, подавляющим в человеке духовное начало, Чехов смотрит иначе. Если герой “Крейцеровой сонаты” в приступе ревности убивает свою жену, то герой “Дуэли”, узнав об измене жены, понимает свою собственную вину перед ней, узнает в ней страдающего обманутого человека, и любовь его становится истинно человеческой» (Дмитриева Н.А. Послание Чехова. М.: Прогресс-традиция, 1902. С.134). Еще И.Ясинский видел в чеховской «Дуэли» «полюемический ответ художника на "Крейцерову сонату" графа Льва Толстого».

Единственное, в чем Чехов мог опираться на Толстого, – это финал его повести: «Я взглянул на детей, на ее с подгёками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, и в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, - вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал. Что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: “Прости!” - но не смел» (27; 77).

При этом доктор Самойленко и дьякон Победов как раз играют в повести роль «носителя «третьей правды», связанной с отказом от суда над другими» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть серебряного века. Проблемы поэтики сюжета и жанра. М.: Intrada, 2007. С.51).

Выступая в своей повести с полемическим ответом на «Крейцерову сонату», Чехов при этом опирался на самого Толстого – только уже на его «Анну Каренину». В романе этом одни герои – такие, как Стива Облонский, - воплощают дух добродушия и уживчивости: «Но Степан Аркадьич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. «Все люди, все человеки, как и мы грешные, из чего злиться и ссориться?» - думал он, входя в гостиницу» (УП 414), «Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьича» (18, 398 УП 417).

Другие – такие, как Каренин – неожиданно обнаруживают в себе в трагические моменты способность к прощению, которую за собой не знали: «Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу» (18, 434 455), «Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтоб он не отнял у меня счастья прощения! – Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского» (18, 436 457).

Причём это не только ощущает сам Каренин. Неожиданно для себя эту высоту Каренина начинает видеть и Вронский: «Все, казавшиеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдруг оказались ложными и неприложимыми. Муж, обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайною и несколько комическою помехой его счастью, вдруг ею же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот муж явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным» (18, 436-437 ХУП).

Наконец, третьи – такие, как Левин, – отступаются от морального ригоризма, помня о собственных недостатках и ошибках: «И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно благодарю вас за удовольствие, мой почтенье», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что... В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил: – А, впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть. Но я не знаю, решительно не знаю» (18, 46 49), « – Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, – отвечал Левин с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? – думал он. – Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться» (18, 273 УИ, 287), «Он часто испытывал, что иногда во время спора поймёшь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестаёт спорить» (18, 417 ХП 437).

При этом одновременно повесть «Дуэль» представляет собой в какой-то степени последнюю редакцию пьесы «Иванов». Решительно не дававшееся Чехову это произведение обрело, наконец, жизнь, когда автор решил осветить своего героя не трагическим, а ироническим светом. Только по сравнению с

песой в повести героини-антагонисты Лаевский и Фон-Корен уже с самого начала почти не говорят друг с другом, как это имеет место в отношениях между Ивановым и Львовым:

«Иванов (после паузы). Лишние люди, лишние слова, необходимость отвечать на глупые вопросы — всё это, доктор, утомило меня до болезни. Я стал раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя. По целым дням у меня голова болит, бессонница, шум в ушах... А деваться положительно некуда... Положительно...»,

«Львов. В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уж о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия... Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, дни его сочтены, а вы... вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться... Не могу я вам высказать, нет у меня дара слова, но... но вы мне глубоко несимпатичны!..» (С. 12, 44).

С. 353. *Иван Андреич Лаевский...* — довольно парадоксальным образом главному герою повести дано имя-отчество прославленного русского баснописца И.А.Крылова. С учетом того, что Фон-Корена зовут Николай Васильевич, можно сделать вывод, что обоим главным героям даны имена-отчества, совершенно несоответствующие их внутреннему облику. Как отмечает А.В.Кубасов, «густой, насыщенный литературный контекст, литературная “окрошка” (если воспользоваться словом, употребленным в повести) невольно наводит читательские ассоциации на Крылова и Гоголя. Ср. это же сочетание писателе в рассказе “Водевиль”: “Не твое дело... В Гоголи лезть да в Крыловы...” (С. 3, 34)» (Кубасов А.В. А.П.Чехов и И.И.Ясинский в ситуации «литературной дуэли» // Чеховиана: Чехов. Взгляд из XXI века. М.: Наука, 2011. С.399).

молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях. —

С. 353. *Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался.* — Доктор Самойленко очевидным образом стилизован под не менее добродушного и хлебосольного Степана Аркадьича Облонского из «Анны Карениной» Толстого. Ср., например: *«Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьича» (УШ 417). ПОВТОР*

С. 353. *... он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.* — Обращаться «Ваше превосходительство» следовало к чиновникам, дослужившимся до тайного советника. Ранее это обыгрывалось в рассказе Чехова «Толстый и тонкий» (1883).

С. 353. — *Ответь мне, Александр Давыдыч, на один вопрос, — начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. — Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?*

— *Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны — и разговор весь. <...> Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. — Но надо, Ваня, рассуждать по человечности.* — Сходным образом Стива Облонский просит совета у Левина в «Анне Карениной»: «— Да, брат, женщины — это винт, на котором всё вертится. Вот и моё дело плохо, очень плохо. И всё от женщин. Ты мне скажи откровенно, — продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, — ты дай мне совет. — Но в чём же? — Вот в чём. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной. — Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь украл калач. Глаза Степана Аркадьича блестя больше обыкновенного. — Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься. <...> Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?» (18, 44-45, X, 45; XI с.48).

С. 355. *...я понял, что никакой любви не было. . . Эти два года были — обман.* — Продолжение варьирования толстовской темы «Стива Облонский — Долли» с подчеркиванием характерного для Толстого в этих случаях словца «обман». Ср. реплику Стивы Облонского в «Анне Карениной»: «— Что же делать, ты

мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что *ты не можешь любить любовью жену*, как бы ты ни уважал ее» (18, 45 49).

С.355. ... я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... – В этих строках нельзя видеть отражение знакомства Чехова с «теорией вырождения» Макса Нордау, поскольку книга его «Вырождение» вышла только в 1892 году.

С.355. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! – Внутреннюю полемичность автора повести по отношению к Толстому то и дело оттеняет демонстративная солидарность с ним его героя. Ср. ниже: «В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори».

С. 356. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы. . . < ... > жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно... - Ср. признания Иванова Львову в пьесе «Иванов»: «Вся суть в том, милый доктор (мнется), что... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но... прошло пять лет, она все еще любит меня, а я... (Разводит руками.)» (С. 12, 11).

С. 354. ...после питья глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

— Удивительно великолепный вид! – Ср. рефрен в устах Стивы Облонского: «удивительная женщина» (о Долли).

С. 355. — Боже мой, — вздохнул Лаевский, — до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже. . . Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы. . . Какая ложь! —

Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка. . .

С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике — ни к чёрту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной.

С. 356. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшего ума человек. . . Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. – Ср. манеру Стивы Облонского все время называть свою жену «удивительной женщиной»: «Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: “Долли удивительная женщина”» (XIX).

С. 358. — Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. – Возможно, реминисценция из «Крейцеровой сонаты»:

С. 358. — Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. . . Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии, или в Тульской, выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохеньким студентом и болтать, болтать. . . А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд. . . – Ср. в «Острове Сахалина» слова каторжных о том, что «в России всё прекрасно» и что «жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе есть уже высшее счастье» (гл. XXII) (Акад., 111).

С. 359. — У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. – По всей видимости, картина В.В.Верещагина «Самаркандский зиндан» из его туркестантской серии картин. «Зиндан – в странах мусульманского Востока земляная (подземная) тюрьма для содержания военнопленных и должников. На картине изображена именно такая тюрьма, в которой томятся узники. Проникающий сверху свет, растворяющийся во мраке подземелья, - единственное, что напоминает несчастным о жизни» (Грякалова Н.Ю. Кавказский пленник (Литературный спор с Л.Н.Толстым в повести А.П.Чехова «Дуэль») // Русская классика: Сб. статей к 85-летию со дня рождения и 60-летию научной деятельности Николая Николаевича Скатова. СПб., 2017. С. 473).

С. 359. — *Твоя мать жива?*

— *Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.* — В этом отношении Лаевский напоминает Вронского.

С. 359. *Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной — и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной — всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.* — Эта характеристика напоминает объяснение Толстым причины дружбы Стивы Облонского с Левиным.

— Но пойми, чудак, что это невозможно. *Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя.* — Ср. аналогичные декларации в устах Облонского.

Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня. — По всей видимости, отзвук аналогичных деклараций героя «Крейцеровой сонаты» Кознышева.

С. 361. — *И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.* — Обращение «старая ведьма» ранее в качестве отсылки к «старой графине» из пушкинской «Пиковой дамы» было использовано в романе Достоевского «Игрок» (1866).

С. 362. *Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу.* — Внешне аналогичным образом, но в действительности совсем иначе пытается покончить с «ложью» в его и Анны жизни Вронский: «И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», — сказал он себе» (205 XXI), «Необходимо кончить, — сказал он, оглядываясь, — ту ложь, в которой мы живем» (XXII 209). Лаевский уже увел жену у мужа (что только еще собирается сделать Вронский), но парадоксальным образом вновь ощущает «ложь» в своем положении гражданского брака с Надеждой Федоровной.

С. 362. *На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!»* — эта отсылка к «Анне Карениной» ранее была без атрибуции использована в первоначальной редакции рассказа «Именины». Ср.: «Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, — говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. — Но что это уши у него так странно выдаются? Или он обстригся?» (XXXIII).

Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. — Аналогичные упреки в свой адрес звучали ранее в устах героя «Скучной истории» (1889) Николая Степановича.

«... поскорее надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе... — По предположению Н.Ю.Грякаловой, эта, а также некоторые другие детали повести («быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы...»), «Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. ~<...> Это тюрьма... — подумал он» — реминисценции из рассказа Л.Толстого «Кавказский пленник»: «Вонь в яме, духота, мокрота» (Т.22. С. 616-617) (Грякалова Н.Ю. Кавказский пленник (Литературный спор с Л.Н.Толстым в повести А.П.Чехова «Дуэль»). С. 473).

и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, — это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! — бормотал он, садясь. — Бежать!»

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. –

С. 365. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. – Ср. аналогичное признание Кознышева в «Крейцеровой сонате»: «Я смотрел иногда, как она налиwała чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок» (27, 44 гл. 17)

С. 366. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу. – Почти прямая отсылка к «Крейцеровой сонате», в которой присяжные как раз и оправдали Кознышева в его убийстве как совершенном в порыве из ревности.

С. 366. «Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо, — убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. — Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена — меня?» – В «Анне Карениной» аналогичной позиции придерживаются Вронский и Стива: «... а я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. — Что ж делать, я так сотворен» (18, 171 180).

Одновременно это своего рода автореминисценция из «Иванова»: «Клялся в вечной любви, пророчил счастье, открывал перед ее глазами будущее, какое ей не снилось даже во сне. Она поверила. Во все пять лет я видел только, как она угасала под тяжестью своих жертв, как изнемогала в борьбе с совестью, но, видит бог, ни косога взгляда на меня, ни слова упрека!.. И что же? Я разлюбил ее...».

С. 366. «Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, — думал Лаевский дорогой. — Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!» – В отличие от аллюзивных отсылок в сторону «Гамлета» в современной ему литературе – например, от романа Иеронима Ясинского «Ординарный профессор», в котором есть герой по фамилии Розенкранц, у Чехова имеют место прямые сопоставления себя Гамлету со стороны Лаевского. Как отметил А.В.Кубасов, «Чехов уловил возможности аллюзивного прочтения Ясинского, автор “Дуэли” использует шекспировский контекст, причем в иронической тональности» (Кубасов А.В. А.П.Чехов и И.И.Ясинский в ситуации «литературной дуэли». С.397).

С. 366. Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде таблоута. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен... – По предположению А.В.Кубасова, фамилия «фон Корен» «построена по одной из продуктивных для автора «Дуэли» моделей: по принципу палиндрома, обратного прочтения известного антропонима. Фамилия «фон Корен» в этом случае оказывается производной от «Нерон», нужно только заменить букву «к» на букву «н». <...> Лаевский дает фон Корену именно “нероновскую” характеристику, утверждая, что тот «прежде всего деспот, а потом уж зоолог» (С.7, 398)» (Кубасов А.В. А.П.Чехов и И.И.Ясинский в ситуации «литературной дуэли» // Чеховиана: Чехов. Взгляд из XXI века. М.: Наука, 2011. С. 400). В действительности, образ этот в значительной степени стилизован под толстовского Алексея Александровича Каренина и, соответственно, фамилия его представляет собой сокращенную анаграмму от фамилии «Каренин». При этом немецкая приставка «фон» призвана скорее всего скрыть эту анаграмматичность.

С. 366. ... дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. – Фамилия этого героя, возможно, знаменует способность человека победить свои пороки и страсти. Ср. в финале повести: «Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!»

С. 367. ... про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, величайшего ума человек!» – аналогичным образом Стива Облонский все время называет свою жену «удивительной женщиной».

С. 367. *Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волосы...* – Ср. портрет Вронского в «Анне Карениной»: «...невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежесвыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно» (1, XIY). Впрочем, «смугл и черноволос» был и лермонтовский Грушницкий (Марченко А., Михальский В. «Никто не знает настоящей правды». Диалог // Согласие. 1992. № 1. С.11).

С. 367. *Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.* – Спокойствием и довольством собой фон Корен напоминает как Каренина, так и Вронского: «Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича» (XXXI).

С. 368. *Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец, дверь отворялась и замученный денщик объявлял: кушать готово! В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке...* - Ср. в «Анне Карениной» аналогичный «гастрономический ужас» Стивы Облонского: «... выйдя в столовую, Степан Аркадьич к ужасу своему увидел, что портвейн и херес взяты от Дебре, а не от Лева, и он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Лева, направился опять в гостиную» (18, 402 422 IX).

С. 369. *Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...* – Возможно, реминисценция знаменитого афоризма Ницше «Падающего толкни».

С. 366. — *Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, — продолжал фон Корен. — Утопить его — заслуга.* —

С. 370. *...и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или: «Мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека.*

С. 371. *Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему не мало душевных страданий.* – деталь биографии второстепенного героя «Анны Карениной» Николая Левина: «А эта женщина, – перебил его Николай Левин, указывая на нее, – моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, – и он дернулся шеей, говоря это» (18, 93 XXV).

С. 372.— *Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она — всё, и притом только любовница.*

С. 372. *А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой...* – Ср. у Гоголя:

С. 373. *Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками.* – Как отметил А.В.Кубасов, «Чехов обращается в «Дуэли» не только к произведениям Ясинского, но и к критическим работам, в которых они разбирались, т.е. вписывает свое произведение в контекст литературно-критических споров современности. В частности, в повести есть иронически интерпретированные отголоски статьи М.А.Протопопова «Пустоцвет», посвященной творчеству Ясинского. Одна из них – проходящий через всю повесть мотив зоологии, животных и насекомых. Критик писал: “Смешались шашки, полезли из щелей мошки да букашки, идеалы, стоявшие до тех пор вне всякого сомнения и почти вне критики, потребовали

новой и серьезной проверки для себя, течения жизни или замутились, или вовсе приостановились...” (Протопопов М.А. Пустоцвет // Северный вестник (СПб). 1888. № 9. Отд. 2. С.71). Далее в статье мотив зоологии будет применен непосредственно к разбираемому автору: «г. Ясинский относится к людям, к жизни, к своим героям и героиням, совершенно, так сказать, зоологически. Эти герои – не нравственные существа, живущие не единым хлебом – это именно “четвероногие”, у которых есть только похоти да инстинкты” (Там же. С.84). Чехов своеобразно “иллюстрирует и материализует в “Дуэли” эти эскапады критика. Мотив похоти и адюльтера становится одним из сюжетобразующих в “Дуэли”, своеобразно обыгрывается в повести и оценка Протоповым героев Ясинского как “четвероногих”» (Кубасов А.В. А.П.Чехов и И.И.Ясинский в ситуации «литературной дуэли» С. 197).

Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

С. 373. — *Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.* – Ср. у Достоевского:

С. 374. *Возьмите-ка его увёртки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!»* - Лаевский развивает здесь очередной банальный мотив, восходящий к Ж.-Ж.Руссо и не раз варьированный в русской литературе от Пушкина («Цыганы») до Толстого («Казачи»).

С. 374. *А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну, что, брат Спенсер? – Ср. в «Драме на охоте»:*

С. 374. *Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.* – Ср. упоминание Спенсера в разговоре Свяжского с Левиным: « – Ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером, которого вы так любите; он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, не умения читать и считать...

– Ну вот, я очень рад или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером; только это я давно знаю. Школы не помогут, а поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче...» (ХХУШ 373). – Ср. в «Анне Карениной» аналогичное враждебное отношение графини Нордстон к Левину: «— Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, — говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, — за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим» (18, 53 1, ХІУ).

С. 375. — *Я не настаиваю на смертной казни, — сказал фон Корен. — Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы. . .*

С. 375. — *Что ты говоришь? — ужаснулся Самойленко. — С перцем, с перцем! — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. —* Эпизоды обедов у Самойленко стилизованы под сцены «Анны Карениной», в которых Левин обедает в ресторане со Стивой Облонским и горячо спорит с ним: « – Постой, соуса возьми, - сказал он, удерживая руку Левина, который

отгалкивал от себя соус. Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьевичу» (18, 42 X с. 45), « – Хорошо, но садись же, вот и суп. Но Левин не мог сидеть» (18, 42).

С. 375-376. *Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.* – Ранее в пьесе «Иванов» аналогичная озабоченность исходила от самого Иванова, от которого родился Лаевский: «Не знает об этом Дарвин, а то бы он задал вам на орехи! Вы портите человеческую породу. По вашей милости на свете скоро будут рождаться одни только нытики и психопаты» (С. 12, 58).

С. 376. — *Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к чёрту твою цивилизацию, к чёрту человечество! К чёрту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!* – Возможно, своего рода автореминисценция из «Иванова»: «*Л е б е д е в (живо)*. Знаешь что? Тебя, брат, среда заела!

И в а н о в. Глупо, Паша, и старо. Иди!

Л е б е д е в. Действительно, глупо. Теперь и сам вижу, что глупо. Иду, иду!.. (*Уходит.*)».

V

С. 377. *В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем как мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.* - Ср. Эмма, «Попрыгунья».

С. 378. *Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг.* – Аналогичным образом героиня романа Флобера Эмма Бовари доводит свою семью до полного разорения.

С. 379. *Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душевные ночи, и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, — сделали то, что ею мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая, день и ночь думала об одном и том же.* – Ср. в «Мадам Бовари»:

С. 379. *В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание; шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота — то же, горы — то же...* – Прием наделения природы собственными мыслями встречается у Чехова в «Огнях» и ряде других его произведений.

С. 379. *Кирилин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним всё уже порвано и больше ничего не будет.* – Ср. мопассановского Дюруа: «

С. 379. *Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в губернانتках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смиренного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.* – Образ Марьи Константиновны отчасти стилизован под графиню Лидию Ивановну из «Анны Карениной».

С. 380. *Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее.* – Ср. аналогичные ощущения Анны Карениной во втором томе одноименного романа Толстого.

С. 380. *Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая...* — У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от

купанья губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. — *Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнела.* — Эта деталь внешности Надежды Федоровны напоминает Анну Каренину: «Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившего ее довольно полное тело» (18, 68 ХУШ).

С. 384. — *Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего, — ответил Лаевский. — Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дрянь и больше ничего.*

В том месте, где Черная речка впадала в Желтую и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»... - Имя «Кербалай» упоминается в «Острове Сахалине»:

С. 386. — *Зачем? — спросил Лаевский. — Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде.* — Парадоксальным образом «эстетик» Лаевский становится здесь на точку зрения русских мыслителей-материалистов, вроде Чернышевского, которые нарисованному яблоку выгодно противопоставляли реально существующее.

С. 386. — Будто бы? — холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. — Будто бы? — повторил он, глядя в упор на Лаевского. — А Ромео и Джульета? А, например, Украинская ночь Пушкина? — Речь идет о начале второй песни из поэмы Пушкина «Полтава»: «Тиха украинская ночь...» - Парадоксальным образом герой, внутренне соотнесенный с тургеневским Базаровым, неожиданно начинает развивать тут мысли, скорее близкие Павлу Петровичу Кирсанову: «Истинным содержанием повести является преодоление героями своего рудинского или базаровского типа, «преодоление к ним угасшего «тургеневского» начала» совершается «с помощью начала «толстовского», через духовное прозрение, «диалектику души» (Сахаров В.И. Русская проза ХУШ-ХІХ веков. Проблемы истории и поэтики. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 211).

С. 387. — У нас много своего вина, Егор Алексеич, — робко и вежливо заметил Никодим Александрыч. - В другом месте повести Кирилин именуется Ильей Михайловичем (стр. 419).

С. 386. — *Впрочем, — сказал он немного погодя, — что такое Ромео и Джульета, в сущности? Красивая, поэтическая святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все.* — Как отметил А.Д.Семкин, «парадоксально, но совершенно очевидно: практический материалист (остроумно прилагающий свои воинственные убеждения даже к учению Христа), фон Корен прямо продолжает патетические тирады идеалиста Павла Петровича; претензии зоолога к Лаевскому по поводу неуважения к Спенсеру — это, в сущности, претензии Павла Петровича, возмущенного Базаровым, для которого «Рафаэль “гроша ломаного не стоит”». И там, и там причина одна: нельзя позволить «крыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь...» (С. VII, 374). Здесь мы ощущаем настойчивую авторскую волю к такой перемене ролей, ведь в действительности слова Лаевского: «Красивая, поэтическая святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все», — соотносится скорее с образом естествознателя, зоолога, то есть Базарова (вспомним базаровскую снижающую реплику об Одинцовой: «Этакое богатое тело! <...> хоть сейчас в анатомический театр...» - С.7, 75). Чехов вкладывает беспощадное сравнение Ромео с животным в уста Лаевского. Теперь это язык последнего из онегинской семьи» (Семкин А.С. «Мы друг друга терпеть не можем. Чего больше?» Дуэль у Тургенева и Чехова // А.П.Чехов и И.С.Тургенев. Сб. статей по материалам Международной научной конференции Шестые Скафтымовские чтения. М.: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2020. С. 209).

С. 389. ... *он служит в кафедральном соборе обедню; в золотой митре, с пангией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с небесе, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святый боже»...*

С. 389. *«И это тоже хорошо...» — подумал дьякон.* — Возможно, пародия на аналогичные высказывания Кириллова из «Бесов» Достоевского.

С. 391. — *Роскошный пикник, очаровательный вечер, — сказал Лаевский, веселя от вина, — но я предпочел бы всему этому хорошую зиму.*

С. 391. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник». Строка из первой главы романа Пушкина «Евгений Онегин».

С. 391. – У всякого свой вкус, - заметил фон Корен. – Возможно, реминисценция из «Бесприданницы» А.Н.Островского: «*Паратов*. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет. *Огудалова*. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня. *Паратов*. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик»

С. 391-392. — *Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.* – Реплика Надежды Федоровны отдаленно напоминает убеждение героини чеховского рассказа «Дом с мезонином» (1896) Лидии Волчаниновой.

С. 392. *Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запылавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово:*

— *Ты ведешь себя, как... кокотка.* – Ср. дословно такой же упрек жене со стороны героя «Крейцеровой сонаты» Кознышева: « – Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, - сказала она.

- Я нисколько не недоволен, сказал я.

- Разве я не вижу?

- Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка...» (27, 58 - 22).

Аналогичным образом Алексей Александрович в «Анне Карениной» говорил Анне: «Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать» (18, 155 - 163 Часть 2 УП), «- Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче, - сказал он ей по-французски» (18, 223 ХХІХ 236).

С. 393. *Я зоолог, или социолог, что одно и то же...* - Фон Корен явно исповедует идеи социального дарвинизма.

С. 394. *Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. <...> Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нацупал в потемках кресло около стола и сел. «Это тюрьма. . . — подумал он. — Надо уйти. . . Я не могу. . . »* - Мотивы неволи и тюрьмы отчасти, по всей видимости, связаны с впечатлениями, вынесенными Чеховым из поездки на Сахалин.

С. 396-397. — *Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо. . . Я ожил.*

— *С кислотцой?*

— *А чёрт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!* – Под влиянием обещания Самойленко выручить Лаевского деньгами последний начинает выражаться его языком.

С. 397. — *А ты, когда поедешь, с матерью помирись, — сказал он. — Нехорошо.* – Ср. аналогичное пожелание героини рассказа «Душечка» (1899) Ольги Семеновны Смирину: «Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!..» (С. 10, 107).

С. 397. *Когда вытили первую бутылку, Самойленко сказал:*

— *Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки.*

— *Да, он прекраснейший, умнейший человек, — согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать.* — В таком состоянии под влиянием настроения то и дело оказывается в «Анне Карениной» Левин: «« – Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, - отвечал Левин с детской, виноватой улыбкой. «О чем бишь я спорил? – думал он. – Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться» (УІ, 287)

С. 397. *Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь: кругом в палатках и под открытым*

небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только один он и, как Стэнли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над пустыней. — Как отмечено в Акад., «необходимость «ясно осознанной цели», олицетворенная живыми людьми, — нашла развернутое воплощение в некрологе «Н. М. Пржевальский» (1888). На связь этой статьи с образом фон Корена указал А. Горнфельд (в статье «Чеховские финалы» — «Красная новь», 1939, № 8—9, стр. 295—296; см. также: В. Б. Катаев. Повесть Чехова «Дуэль». К проблеме образа автора. — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1967, т. XXVI, вып. 6, стр. 527). Действительно, в нарисованной Лаевским гипотетической картине поведения фон Корена в будущей экспедиции (гл. IX) явственно угадываются некоторые реальные детали экспедиции Пржевальского в Среднюю Азию в 1871—1873 гг., «единственной в своем роде по мужеству участников» и тяжести перенесенных лишений (М. А. Энгельгардт. Н. Пржевальский, его жизнь и путешествия. СПб., 1891, стр. 34), а в «сильной, деспотической» натуре руководителя, похороненного в пустыне, где крест будет «виден караванам за тридцать — сорок миль», — черты Пржевальского и детали его биографии. Как сообщал вскоре после смерти путешественника его постоянный спутник В. Роборовский, могила Пржевальского на пустынном берегу Иссык-Куля «будет видна отовсюду» («Памяти Н. М. Пржевальского». Изд. имп. Русского географического об-ва. СПб., 1890, стр. 59)» (Акад. 7, 692-693).

С. 398. *Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?* — Лаевский, по-видимому, перефразирует начальные строки стихотворения Пушкина “N.N (В.В.Энгельгардту)”: «Я ускользнул от эскулалапа / Худой, обритель — но живой; / Его мучительная лапа/ Не тяготеет надо мной».

С. 398-399. *...заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали, и всё это во имя улучшения человеческой породы. . .*

С. 399. — *Я пустой, ничтожный, падиший человек! Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.* — Своего автореминисценция из «Иванова»: «*Иванов (один)*. Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Надо быть тоже жалким, истасканным, испытанным, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, боже мой! Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли».

С. 399. — *Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какой тоской я жажду своего обновления.* - Как отметил А.В.Кубасов, «читая “Ординарного профессора”, Чехов не мог не заметить, что многие фразы из “Скучной истории”, минимально измененные, включены в текст романа (см. приведенные выше примеры). Ответ Чехова в “Дуэли” на этот “литературный прием” Ясинского был вполне адекватен. Некоторые реплики Лаевского как будто прямо “списаны” с текста романа Ясинского (т.е. почти прямо реализуется утверждение из письма Чехова Суворину — “пишу а la Ясинский!”). Розенкранц восклицает: “Я хочу обновления, ищу его! О, как начинаешь понимать и ценить свободу, когда потеряешь ее!” (2, 26). Лаевский: “Голубчик мой, если б ты знал, когда потеряешь ее!” (2, 26). Лаевский: “Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с такой тоской я жажду своего обновления. И, клянусь тебе, я буду человеком! Буду!” (С, 399). Конечно, выделенная часть фразы во многом является трафаретом, псевдоромантическим стереотипом, и все-таки она показательна» (Кубасов А.В. А.П.Чехов и И.И.Ясинский в ситуации «литературной дуэли». С. 397).

— *Спасибо. . . — бормотал он, вздыхая. — Спасибо. . . Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня.* -

С. 400. *Ваш муж, был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле.*

На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— *Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашей свахой. . . Мы с Никодимом Александрычем так любили вас, вы позволите нам благословить ваш законный, чистый союз. Когда, когда вы думаете венчаться?* — Ср. эпизоды второго тома «Анны Карениной», где все ждут от Анны и Вронского развода и не скрывают своего неприятия их отказа от него.

С. 401. *Она проговорила это с торжественностью, и сама же была подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:*

— *Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашей матерью или старшей сестрой! Я буду откровенна с вами, как мать.*

Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.<...> Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне. . . ну, конечно, сплетни, гипотезы. . . В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.—

Ср. аналогичную сцену в «Анне Карениной» между графиней Лидией Ивановной и Карениным: «Друг мой! — повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз, и вдруг брови ее поднялись внутренними сторонами, образуя треугольник на лбу; некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее; но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление: он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее.

- Друг мой! — сказала она прерывающимся от волнения голосом. — Вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение.

- Я разбит, я убит, я не человек более! — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза. — Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу опоры.

- Вы найдете опору, ищите ее не во мне, хотя прошу вас верить в мою дружбу, — сказала она со вздохом. — Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. <...> Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь.

- Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю. <...>

Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце, — сказала графиня Лидия Павловна, восторженно поднимая глаза, — и потому вы не можете стыдиться своего поступка» (XXII).

С. 402 *У меня дочь, сын. . . Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. . . аще кто соблазнит единого из малых сих. . .* — Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 6, а также от Марка — гл. 9, ст. 42 и от Луки — гл. 17, ст. 2.

С. 406. *Самойленко сел и прописал хину в растворе, kalii bromati, ревенной настойки, tincturae gentianaе, aquae foeniculi — все это в одной микстуре, прибавил розового сиропа, чтобы горько не было, и ушел.* - При этом у Надежды Федоровны, по словам самого Самойленко, «обыкновенная лихорадка» (С 7, 405). «...самое главное, — замечает по этому поводу А. В. Кубасов, — не в составе микстуры, прописанной Самойленко, а в том, что для Надежды Федоровны, страдающей меркхлюндией и “неврами”, она совершенно не нужна. В лучшем случае выписанная микстура может сыграть роль плацебо, то есть пустышки, которая помогает не составом, а только психологически».¹⁴³ Комментарий исследователя, возможно, не совсем точен. Хина в тамошнем климате героине точно не помешала бы, это понимает даже Лаевский. «Ты бы приняла хины...» (С 7, 405), — советует он ей. А все остальное — это действительно уже свободное творчество доктора Самойленко, направленное на то, чтобы его предписание приобрело в глазах пациента авторитетный и удобоваримый характер.

С. 406. — *У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня, — сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме.*

С. 409-410. ...он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина.

С. 412. То, что девки душат своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, — разве всё это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господра Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года. —

С. 413. — Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют. . .

— Мама! — стонала Катя, не зная куда спрятаться от стыда и похвал. — Ср. в рассказе Чехова «Душечка» жалобы Ольги Семёновны:

С. 414. ... придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной; и мать не даст ему больше пятисот рублей... Ср. аналогичные отношения Вронского с матерью в «Анне Карениной»: «В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги» (XIX 337).

С. 414. значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние и, значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи.

С. 366. Лаевский получил две записки; он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой». — Популярная и 1870—80-е гг. песня (слова народные; см. нотные изд.: А. И. Евгениев. СПб., Стелловский, ц. р. 1856; И. В. Васильев. М., Гутхейль, ц. р. 1869). Ср. сценку «из купецкого быта» с этой строкой в качестве заглавия в «Альманахе „Будильника“ на 1882 г.» (М., 1882), в котором был напечатан рассказ Чехова «Жены артистов» (С. 12, 707).

С. 366. — Однако, мне пора винтить. . . Меня ждут, — сказал Лаевский. — Прощайте, господа.

— И я с тобой, погоди, — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку.

Они простились с обществом и пошли. Кирилин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.

«Что будет, то будет. . . — думала Надежда Федоровна. — Пусть. . .»

Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Если Кирилин, думала она, сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кирилин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его безвозвратно — кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статен и высок ростом, в два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, — думала она теперь, — он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?

— Тут, голубка, я с тобой прощусь, — сказал Лаевский, останавливаясь. — Тебя проводит Илья Михайлыч.

— Увы! — вздохнул Кирилин. — Увы! Не в моих планах отпускать вас, я только хочу проучить вас, дать понять, и к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.

XV

С. 366. Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и смотрит на него внимательно, не мигая, точно изучает... - Ср. в аналогичную деталь в Анне Карениной: «Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал ее» (228).

С. 366. — *Теперь понятно, — сказал фон Корен, выходя из-за стола. — Г. Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Г. Лаевский, я принимаю ваш вызов.* — Ранее в «Иванове» дуэль с Ивановым отчасти была заранее обдумана Львовым: «Но что сделать? Объясняться с Лебедевыми — напрасный труд. Вызвать на дуэль? Затеять скандал? Боже мой, я волнуюсь, как мальчишка, и совсем потерял способность соображать. Что делать? Дуэль?» (С. 12, 64), «*Львов*. Господин Боркин, я считаю для себя унижительным не только драться, но даже говорить с вами! А господин Иванов может получить удовлетворение, когда ему угодно» (С. 12, 74).

С. 366. — *Надо этого господина проучить. . . — говорил он.*

— *А я вас ищу, Иван Андреич! — сказал он. — Прошу вас, пойдите скорее. . . ~ Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, а рядом с ним Надежду Федоровну.* — Ср. сходный эпизод в романе Мопассана «Милый друг».

XVI

С. 366. — *Но какой у вас есть критерий для различения сильных и слабых?* - Как отмечал Н.Д.Тамарченко, эта реплика дьякона «не просто слишком похожа на вопрос Порфирия Петровича «Но вот скажите: чем бы отличить этих необыкновенных от обыкновенных? При рождении, что ли знаки такие есть?». Сходство это воспринимается в контексте полемики фон Корена с учением Христа, которого он, между прочим, считает потенциальным преступником («эта проповедь любви ради любви <...> в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле» - УП, с. 430) (Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. С. 59).

С. 366. — *Дважды два есть четыре, а камень есть камень.* — Позитивистская философия фон Корена имеет рационалистический характер, против которого, доказывая, что «дважды два пять» «тоже премиленькая вещица» выступал «подпольный парадоксалист» из «Записок из подполья» Достоевского.

С. 366. *У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит, и греет его во имя любви и Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.* — Речь идет о герое рассказа Н. С. Лескова «Легенда о совестном Даниле».

С. 366. *...завтра оба они, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями.*

С. 366. — *А ты не волнуйся, — засмеялся зоолог. — Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду.* — Аналогичным образом Каренин представлял, как в случае, если он вызовет Вронского, то тот выстрелит в воздух: «Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, *выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа*» (XXII 350). Трижды стреляет в воздух Ставрогин на его дуэли с Гагановым в романе Достоевского «Бесы».

С. 366. — *Хотя следовало бы проучить этого молодца!* - Не случайно одинаковое словечко «проучить» у Кириллина и фон Корена: идейный эксперимент зоолога, по-своему бескорыстный, сопоставлен с таким «условием» пристава, которое продиктовано пошлым самолюбием и выглядит элементарным шантажом. Отсюда центральное место в сюжете событий XII – XIII глав: об этом в особенности говорит параллельное получение Лаевским и Надеждой Федоровной записочек аналогичного содержания от фон Корена и Кириллина» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть серебряного века. Проблемы поэтики сюжета и жанра. М.: Intrada, 2007. С. 49).

... в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Пушкин.

С. 366. Этот пушкинский эпиграф явно навеян у Чехова цитированием этого стихотворения Левиным в «Анне Карениной»: « - Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным: это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

- Ну, у тебя грехов немного.

- Ах, все-таки, сказал Левин, - все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь...». Да.

- Что ж делать, так мир устроен, - сказал Степан Аркадьич.

- Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может» (X, 45). Только в отличие от героя Толстого, Чехов приводит пушкинское стихотворение полностью – вместе с финальным признанием опыта заблуждений неотъемлемой части душевной жизни лирического героя.

С. 366. Он взял перо и написал дрожащим почерком:

«Матушка!»

Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обезбещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила всё, всё, всё и жертвою хотя отчасти искупила страшный грех сына; но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с болонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно ее лицо, — он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово. — Ср. отношение Вронского к матери: «Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее» (71).

— Гроза! — прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. — Милая гроза!

Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбежал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой

жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал. . . »

С. 366. «Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь. . .» - Как отмечает Н.Д.Тамарченко, «в этой точке мы видим наиболее решительный отход Чехова от тургеневской традиции. Рефлексия Рудина, обусловившая его бесполезность, неспособность к практическому делу получала в эпилоге тургеневского романа оправдание: «Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства; огонь любви к истине в тебе горит...». Нечто вроде странного эха этой реплики звучит в исповедальном внутреннем монологе Лаевского: «Истина не нужна была ему, он не искал ее <...> он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей...» (VII, 437)» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века, С.58).

Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной. . . Остальное доделали эти люди. - Ср. идею старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Достоевского о том, что каждый за каждого виноват.

Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню.

С. 366. Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.<...> Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек. Когда он, выйдя из дому, сел в коляску, ему хотелось вернуться домой живым. -Этот эпизод отдаленно напоминает возвращение в дом старца Зосимы перед дуэлью, чтобы попросить прощенья у своего денщика. Как отмечал Н.Д.Тамарченко, «у Чехова очистительное значение для рефлектирующего героя получают не ощущение исчерпанности духовного поиска и близкой смерти (как было в эпилоге «Рудина»), а чувства вины и сострадания. Они впервые делают возможным подлинный духовный контакт с другим человеком: «...всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человека». Это уже тема не Тургенева, а Достоевского» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. С. 58).

XVIII

Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда бог носился над хаосом. -

С. 366. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон. - Эта картина и догадка дьякона смутно напоминает лермонтовскую «Тамань».

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем,

алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрывавших за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. *Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете!* –

XIX

С. 366. *Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:*

— *Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все 30.*

Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.

«Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил:

— *Хорошо.*

Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти.

— *Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? — спросил фон Корен смеясь. — У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. . .*

«Кроты», — вспомнил дьякон, сидевший в кустах.

Дуло пистолета, направленное прямо в лицо... - «Положение Лаевского, который стоит под дулом пистолета, «направленным прямо в лицо», напоминает – но на сей раз читателю – положение Печорина («Он целил мне прямо в лоб»: так «описано», по выражению зоолога, у Лермонтова). В результате по своей роли в происходящем событии фон Корен – опять-таки для читателя – неожиданно сближается уже не с Базаровым, а с Грушницким, с которым у него есть и портретное сходство. Перед собственным выстрелом Лаевский «вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам», а Грушницкий «смугл и черноволос». В другом месте лермонтовского романа сказано, что юнкер рукой взбивал «в мелкие кудри завитой хохол» (прим. № 29 (с.226). Ср.: «Это Грушницкий и хорошо сложен, и смугл, и черноволос, да еще и завит – мелким бесом! И самодовольствие фон Корена – в ту же сторону указывает («Самодовольствие... изображалось на его лице»). (Марченко А., Михальский В. «Никто не знает настоящей правды». Диалог // Согласие. 1992. № 1. С.11) (Тамарченко Н.Д. Русская повесть серебряного века.

— *Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.*

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону. . .

XX

— *Зачем сердиться? — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот. — Ты поп, я мусульман, ты говоришь — кушать хочу, я даю. . . Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного всё равно. Кушай, пожалуйста.*

С. 366. *...ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить. — Ср. похороны Беликова в рассказе Чехова «Человек в футляре».*

Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он всё узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил:

— *У меня нет никого, кроме тебя. . . - 451*

С. 366. Проходя мимо трехколонного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиной к окну и писал.

— Я удивляюсь, — тихо сказал зоолог. — Как он скрутил себя!

— Да, удивления достойно, — вздохнул Самойленко. — Так с утра до вечера сидит, всё сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего!

Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и всё смотрели на Лаевского.

— Так и не уехал отсюда, бедняга, — сказал Самойленко. — А помнишь, как он хлопотал?

— Да, сильно он скрутил себя, — повторил фон Корен. — Его свадьба, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка — всё это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это, — зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе: — Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего. . . и попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом. — Ср. ощущения Вронского в сцене родов Анны в «Анне Карениной»: «Все, казавшиеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдруг оказались ложными и неприложимыми. Муж, обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайною и несколько комическою помехой его счастью, вдруг ею же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот муж явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным» (ХУІІІ).

— Ты зайди к нему, простишь.

— Нет. Это неудобно.

— Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним.

Зоолог подумал и сказал:

— Это правда.

Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильич желает с тобой проститься, — сказал Самойленко. — Он сейчас уезжает.

Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.

— Я на одну минутку, — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь, — подумал он, — а это глупо». — Простите, что я беспокою вас, — сказал он, входя за Лаевским в его комнату, — но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще.

— Очень рад. . . Покорнейше прошу, — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корен и сказал твердо: — Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор. . . Правда, как вижу теперь к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды.

С. 366. — Да, никто не знает правды. . . — сказал Лаевский. — Как отмечал В.Б.Катаев, «конечный вывод, к которому приходят оба противника в «Дуэли»: «никто не знает настоящей правды», относится и к толстовским рецептам и генерализирующим решениям. Не споря с Толстым в оценке ненормальности современных семейных отношений, подкрепляя эту оценку конкретным художественным материалов своей повести, Чехов решительно спорит со стремлением видеть в человеческих судьбах подтверждение, иллюстрацию неких общих предопределенных законов» (Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 74).

— *Какие люди!* — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — *Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!*

— *Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне. . . мне грустно.*

— *Да, господи, хоть на край света!* — засмеялся дьякон. — *Разве я против?* — Возможно, аллюзия на одноименный рассказ Н.С.Лескова.

«Да, никто не знает настоящей правды. . .» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

С. 366. *«Лодку бросает назад, — думал он, — делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неумолимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет всё вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. . . В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды. . .»* - Как отмечал Н.Д.Тамарченко, «части» правды обоих героев «взаимодополнительны. А потому не случайно, что Лаевский думает о жизни в целом именно тогда, когда видит лодку с фон Кореном. И тем самым его мысли относятся к ним обоим, хотя и в разной степени: «упрямая воля» - не только о фон Корене, а «страдания, ошибки и скука жизни» - не только о Лаевском (ср. слово «ошибка» в речи фон Корена). Итак, последний внутренний монолог Лаевского содержит образ, синтезирующий позиции обоих персонажей» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. С. 54).

— *Проща-а-ай!* — крикнул Самойленко.

— *Не видать и не слышать,* — сказал дьякон. — *Счастливой дороги!*

С. 366. *Стал накрапывать дождь.* - Аналогичной пейзажной деталью заканчивается рассказ Чехова «Огни»: «Стало восходить солнце...» (С. 7, 140).

ПАЛАТА № 6

Впервые — «Русская мысль», 1892, № 11, стр. 76—123. Подпись: Антон Чехов.

С исправлениями включено в сборник «Палата № 6», СПб., изд. А. С. Суворина, 1893, и с незначительными изменениями повторено во 2—7 изданиях того же сборника (1893—1899). Вышло в серии «Для интеллигентных читателей», изд. «Посредник», М., 1893 (изд. 2 и 3—1894 и 1899).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 131—196, с исправлениями:

Стр. 72, строка 32: их — вместо: их (по всем другим источникам).

Стр. 98, строка 17: схватил вместо: хватил (по всем другим источникам)

Стр. 110, строка 21: ты — вместо: ты (по всем другим источникам).

Повесть вобрала в себя многие размышления и впечатления Чехова конца 80-х — начала 90-х гг. Врач А. П. Архангельский вспоминал, что Чехов очень заинтересовался его «Отчетом по осмотру русских психиатрических заведений» (М., 1887, 325 стр.), корректурные листы которого автор просматривал летом 1887 г. в Бабкине, — «пересмотрел его, тщательно прочел его заключительную часть». (В ней, в частности, говорилось, что в «сумасшедших домах» больных «приводят к порядку силою кулака», что они часто напоминали «каземат», «тюрьму», что «врачи заходили <...> только мимоходом <...> больные находились в полном распоряжении

смотрителя...» — стр. 290—291). Речь об этом отчете заходила еще несколько раз при встречах его автора с Чеховым — вплоть до отъезда Чехова на Сахалин (А. П. А р х а н г е л ь с к и й . Из воспоминаний о Чехове. — В кн.: Юрий С о б о л е в . Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 138—139). В рассуждениях Рагина о сказочных успехах медицины за последние двадцать пять лет — хирургии, открытиях Коха и т. п. — явно слышатся собственные мысли Чехова недавнего времени: «Все это, т. е. кохины, термины и проч., кажется публике каким-то чудом <...> Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет. Научающему теперь медицину время, бывшее 20 лет тому назад, представляется просто жалким» (письмо А. С. Суворину, 24 декабря 1890 г.).

В эти годы Чехов заинтересовался философией мыслителя позднеантичного стоицизма Марка Аврелия Антонина (121—180 гг. н. э.). Имя Аврелия упоминается в «Скучной истории» (писалась с марта по сентябрь 1889 г.) и дважды в письмах Чехова этого времени — А. П. Ленскому 9 апреля 1889 г. и Суворину 11 апреля 1889 г. Посылая Ленскому из своей библиотеки книгу «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя» (пер. кн. Л. Урусова, Тула, 1882), Чехов в сопроводительном письме дал ей высокую оценку: «На полях Вы увидите заметки карандашом — они не имеют никакого значения для читателя; читайте все подряд, ибо все одинаково хорошо».

Книга эта сохранилась (Дом-музей А. П. Чехова в Ялте): в ней действительно много чеховских пометок — подчеркнуты строки, один параграфы (или их части) особо отмечены, другие зачеркнуты. Многие Чеховым озаглавлены: «убеждения», «как жить», «цель и смысл жизни», «обмен материи» (см. С. Б а л у х а т ы й . Библиотека Чехова. — *Чехов и его среда*, стр. 319—322; зарегистрированы не все пометы).

В «Палате № 6» философия Марка Аврелия отразилась в разных планах.

Несомненно сходство многих мыслей Рагина с афоризмами Аврелия. Андрей Ефимыч неоднократно высказывается на тему о ничтожности всего внешнего и противопоставлении ему внутреннего, «успокоения в самом себе», своем разуме. Эта мысль — одна из основных в философской доктрине Аврелия; в своих «Размышлениях» он вновь и вновь возвращается к ней: «В область духа не должно вторгаться внешнее и чувственное; для духа, сознающего свою силу, нет внешней власти, он не боится ни огня, ни железа, ни клеветы и ничего на свете» (стр. 120). Близки к мыслям Аврелия о том, что смерть — «непреложный закон природы» (стр. 128) и поэтому «не есть зло» (стр. 134), рассуждения Рагина о смерти как «нормальном и законном конце»; к афоризмам о пользе бедствий для души человека — размышления доктора о том, что «страдания ведут к совершенству». С мыслями Аврелия о «единении с разумением общечеловеческим» (стр. 76) сходны высказывания Андрея Ефимыча об «обмене гордых, свободных идей» между мыслящими людьми. Центральный пункт спора Громова и Рагина — должен ли человек «реагировать на раздражение». Позиция Рагина и здесь близка к Аврелию, который уподоблял человека, «гневно и ожесточенно» встречающего испытания, животному, тащиму на бойню; отличительным же свойством «разумного существа» считал «свободное подчинение своей судьбе, а не постыдную борьбу с ней» (стр. 149). Программе Аврелия, который советовал, «беспрестанно сталкиваясь с людской ложью и несправедливостью, не уставать самому быть кротким», Рагин следовал и в своем жизненном поведении.

Вместе с тем во взглядах героя повести и древнего мыслителя есть большие расхождения. Самое существенное из них — полное неприятие Рагиным нравственно-этических принципов учения Аврелия, призывающих к «помощи ближнему», к заботе об «общем благе» (см. об этом: А. С к а ф т ы м о в . О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь». — В его кн.: Нравственные искания русских писателей. М., 1972, стр. 381—386). Есть в рассуждениях Рагина и прямая полемика с Марком Аврелием.

Одна из любимых идей Аврелия, многожды варьируемая в его «Размышлениях», та, что смерть — не более чем перемена состояния. «Вот вышла лошадь, затем, когда она сгниет, из нее выйдет дерево, а потом человек» (стр. 95). «Только природа человека изменится, а он останется жив» (стр. 126) и т. д. Аврелий призывал «бодро встретить смерть как момент разложения плоти на те самые части, которые входят в состав каждого животного» (стр. 23). Против этих слов на полях книги рукой Чехова написано: «Обмен вещ<еств>». Именно с этих слов начинается в VII главе страстная филиппика Рагина: «Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! <...> Только трус <...> может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе...» (см. также варианты, стр. 362, строки 7—8). В сравнении обмена веществ с футляром — также явная полемика с Аврелием, использовавшим этот же образ в обратном смысле (стр. 95). В пылу спора Андрей Ефимыч начинает даже сожалеть «зачем человек не бессмертен», вступая тем самым в противоречие с собственными прежними утверждениями насчет «нормальности» и «законности» смерти. В полемике героя в какой-то степени нашли отражение собственные мысли Чехова об этом предмете. Рассказывая про свой разговор с Л. Толстым о бессмертии, Чехов писал: «Мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его» (М. О. Меньшикову, 16 апреля 1897 г.).

Аналогичные высказывания Чехова записал в своем дневнике (23 июля 1897 г.) Суворин: «Несколько мыслей Чехова: ...Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю» (А. С. Суворин. Дневник. М. — Пг., 1923, стр. 167; ср. полемику с Аврелием в письме к Суворину от 11 апреля 1889 г.). Аврелий считал, что все мироздание и человек в нем подчинены высокой цели, все полно глубокого смысла. Рагин полагает «смысл и цель своего существования» неизвестными, а самоё жизнь — «ловушкой».

Высказывалось мнение о близости философии Рагина к Шопенгауэру с его пессимизмом, интеллектуальным гедонизмом и созерцательностью (см. А. Скафтымов, указ. соч., стр. 387—389). Выписку из Шопенгауэра находим в чеховской рукописи «Врачебное дело в России» (см. т. XV Сочинений); шопенгауэровские «Афоризмы и максимы» (пер. Ф. В. Черниговца, т. II, СПб., изд. А. С. Суворина, 1892, цензурное разрешение — 26 июля 1891 г.) вышли как раз накануне начала работы над «Палатой № 6»; книга эта была в библиотеке Чехова (*Чехов и его среда*, стр. 396). Совпадения действительно есть, хотя и не такие, как с Марком Аврелием. Но схождения с Аврелием есть и у самого Шопенгауэра (удовлетворение внутри своего «я», радость познания и т. п.).

Находили близость философии Рагина и с учением Л. Толстого (А. Дерман, Ю. Соболев). Но это могло быть также вследствие некоторой общности высказываний Шопенгауэра и Толстого. Все это не исключает возможности какого-то косвенного использования положений этих учений при создании образа Рагина. Чехов черпал из многих источников.

Важнейшее значение для создания повести имели сахалинские впечатления. А. Роскин считал, что «о „Палате № 6“ можно говорить как о повести, *продиктованной* Сахалином <...> Смотрителей Никит, людей за решеткой и многое другое Чехов видел прежде всего на Сахалине» (А. Роскин. А. П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959, стр. 215—216). Гимназический товарищ Чехова писал: «„Палата № 6“ — это таганрогский сумасшедший дом» (Тан <В. Г. Богораз>. На родине Чехова. — «Современный мир», 1910, № 1, стр. 170). Вполне возможно; вместе с тем изображение палаты умалишенных в повести удивительно близко к описаниям сахалинских тюремных лазаретов («Остров Сахалин», гл. XXIII), которые не удовлетворяют элементарным медицинским и гигиеническим требованиям, где отсутствуют самые необходимые инструменты, где, как и в палате № 6, не переводится рожа. (Интересно такое частное совпадение: в Александровском лазарете оказывается только два тупых скальпеля; в «Палате № 6» также «на всю больницу было два скальпеля»).

Память мемуариста донесла до нас любопытную чеховскую ассоциацию. Когда Чехов познакомился с «Отчетом по осмотру русских психиатрических заведений», его первый вопрос к автору был: «А ведь хорошо бы описать также тюрьмы, как Вы думаете?» (см. А. П. Архангельский. Из воспоминаний о Чехове. — В кн.: Юрий Соболев. Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 134).

Центральная коллизия повести — споры героев, есть ли разница «между теплым, уютным кабинетом и этой палатой» и должен ли человек реагировать на «боль, подлость, мерзость» — разрешается для героя признанием правоты оппонента — того, что естественны «борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение», что именно в этом и заключается чувство самой жизни. В конце герой протестует против причиняемых ему страданий, против своего заключения в палату № 6. В сходном аспекте поставлена Чеховым подобная проблема в главе «Беглые на Сахалине», законченной в конце августа 1891 г.: «Причиною, побуждающею преступника искать спасения в бегах, а не в труде и не в покаянии, служит главным образом не засыпающее в нем сознание жизни. Если он не философ, которому везде и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен» (сб. «Помощь голодающим», М., 1892, стр. 228, дата предисл. — 14 декабря 1891 г.). Эта мысль — центральная в главе. Глава была для Чехова важной. «У меня вышла интересною и поучительною глава о беглых и бродягах», — писал он Суворину 30 августа 1891 г. Подобные самооценки у Чехова редки.

Современный критик считал, что смысл таких произведений Чехова, как «Палата № 6», «можно выразить <...> его собственными словами» именно из книги «Остров Сахалин»: «Вот что он говорит <...> об интеллигенции на каторге: „<...> порядочные <...> люди шли сюда во нужде и потом бросали службу при первой возможности или спивались, сходили с ума, убивали себя, или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь подобно спруту-осьминогу, и они тоже начинали красть, жестоко сечь“» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 94.).

Первое упоминание о «Палате № 6» у Чехова встречается в его письме Суворину от 31 марта 1892 г.: «Пишу повесть. Прежде чем печатать, хотел бы прислать Вам ее для цензуры, ибо Ваше мнение для меня золото, но надо

торопиться, так как нет денег». Но в марте он уже работает; замысел повести, как это всегда бывало у Чехова, сложился, несомненно, гораздо раньше. Возможно, это было в конце 1891 года, когда Чехов, усиленно трудясь над книгой о «каторжном острове», все лето и осень находился в кругу сахалинских впечатлений. Вряд ли он работал над повестью до марта — весь конец 1891 и начало 1892 года были заняты писанием других вещей (см. комментарий к рассказам «Жена» в VII т. Сочинений; «Попрыгунья», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека» — в наст. томе).

В начале апреля в работе был небольшой перерыв. «Рассказ еще не готов, — писал Чехов Суворину 8 апреля 1892 г. — С пятницы Страстной до сегодня у меня гости, гости, гости... и я не написал ни одной строки». Но, очевидно, вчерне повесть к этому времени была закончена — уже через неделю, 16 апреля, Чехов писал Ясинскому, что привез ее «теперь в Москву продавать в „Русское обозрение“». В письме к Л. Я. Гуревич от 22 мая 1893 г. Чехов говорил о том же примерно времени: «„Палата № 6“ была написана мною в марте прошлого года».

Но этот вариант был далеко не окончательным. «Месяц — два» Чехов хотел оставить себе «для поправок» (письмо Суворину от 31 марта). В двадцатых числах апреля повесть была в типографии «Русского обозрения» набрана (см. письмо С. И. Бычкову от 25 апреля); Чехов продолжал работу над нею уже в корректуре (письмо Авиловой от 29 апреля 1892 г.). Так, только в начале мая он послал в редакцию конец (письмо Суворину 15 мая 1892 г.).

Повесть для самого Чехова была не совсем обычной.

В обеих своих, данных по свежим следам, оценках повести он особо подчеркивает, например, что в ней «отсутствует элемент любви» (письма Суворину от 31 марта и Авиловой от 29 апреля 1892 г.). Чехов отказывался здесь, таким образом, от «элемента», роль которого в сюжете, как известно по другим его высказываниям, считал весьма существенной. Но, очевидно, дело было не только в этой особенности. Дважды в письме к Суворину он выражает опасения, что сделает что-то не так и высказывает желание поговорить о будущей вещи: «В повести много рассуждений <...> Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное <...> разрешите мне прислать Вам корректуру. По нынешним временам эта предосторожность необходима <...> Живя замкнуто в своей самолюбивой эгоистической скорлупе и участвуя в умственном движении только косвенно, рискуешь нагородить чёрта в ступе, не желая этого» (31 марта 1892 г.).

«Палата № 6» была не совсем обычна для Чехова начала 90-х годов и по типу повествования. Обращения к читателю, персонафицированный рассказчик («как я уже сказал»), прямые его оценки («нравится мне он сам») — черты, давно ушедшие из его прозы и в таком явном виде никогда больше не повторявшиеся.

Но автора не удовлетворял не только тот вариант, который был написан в марте 1892 г. Уже после чтения корректур и исправления конца повести, буквально перед самым ее выходом в свет, Чехов не оставляет мыслей об ее переделке. «Я говорил Боборыкину, — писал он В. М. Лаврову 25 октября 1892 г., — что беру повесть от него только для того, чтобы поддержать ее у себя год и переделать. Я ему не врал <...> В самом деле, „Палату“ следовало бы перекрасить, а то от нее воняет больницей и покойницей. Не охотник я до таких повестей!..» (ср. письмо Н. М. Боборыкину от 20 сентября 1892 г.). В письмах Чехова этого времени повесть постоянно называется «скверной», «непервостатейных достоинств» и т. п. (письма Гуревич 10 сентября 1892 г., Суворину 10 октября 1892 г., И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 24 октября 1892 г., И. Е. Репину 23 января 1893 г.).

3

Повесть в «Русском обозрении», в которое она первоначально предназначалась, опубликована не была. Сначала трения возникли по вопросу о гонораре — редакция не выполняла данных обязательств. «Порядки в московских редакциях изумительны, — писал Чехов брату И. П. Чехову около 12 мая. — Когда будешь в пятницу в „Обозрении“ и тебе не выдадут корректуры, то скажи, чтобы тебе немедленно возвратили рукопись и что я к подобному отношению к себе не привык <...>. В редакции скажи, что я беру назад рукопись потому, что князь не сдержал обещание, которое дал мне». 12 мая редактор Д. Н. Цертелев написал Чехову извинительное письмо. 20 мая Чехов был в редакции и получил аванс.

Однако это не уладило конфликт окончательно; причины его, видимо, лежали глубже. А. А. Измайлов считал, что консервативной редакции «очевидно, идейно не нравился рассказ», но она «не имела мужества заявить это прямо» (А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 383—384).

Книжки журнала задерживались (так, июньская книжка ожидалась только в августе — см. письмо П. М. Свободина от 19 августа 1892 г. — *ГБЛ*). Выход повести в свет все время откладывался. Это волновало Чехова. Он пишет в начале августа письмо Цертелеву, в котором, очевидно, снова поднимает вопрос о возврате

рукописи. Одновременно он просит Свободина зайти в редакцию «Русского обозрения» и узнать о состоянии дел. И Цертелев, который в это время уже вышел из редакции, и Свободин советовали взять рукопись из «Русского обозрения» (письма Цертелева от 17 августа и Свободина от 19 и 24 августа 1892 г. — *ГБЛ*). Это и было сделано (см. письма Чехова Боборыкину от 20 сентября 1892 г., А. А. Александрову и Лаврову от 22 октября).

В это самое время Чехов сблизился с журналом «Русская мысль». Туда он и отдал свою повесть.

«Русское обозрение» возвратило рукопись не сразу, то обещая, то настаивая на своих правах (письма Свободина Чехову в сентябре 1892 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 230; Лаврова — Чехову, октябрь 1892 г. — *ГБЛ*; Чехова — Лаврову от 22 октября 1892 г.). В конце октября все наконец устроилось. 25 октября Лавров писал: «Ура! Дело с „Русским обозрением“ окончилось самым лучшим образом: рукопись Вашу и расписку в получении Вами 500 рублей отобрали обратно. Все это теперь находится в наших руках» (*ГБЛ*). В этом же письме Лавров просил разрешения по цензурным соображениям печатать «Палату № 6» «раньше „Рассказа моего пациента“, т. е. в ноябре <...>. Если мы получим Ваше согласие, то велим тотчас же набирать „Палату № 6“ и немедленно вышлем Вам корректуру» (*ГБЛ*). Чехов разрешил. «Палата № 6» была напечатана в ноябрьской книжке «Русской мысли».

Вскоре после того Чехов исправил текст «Палаты № 6» для сборника под тем же заглавием (над корректурой сборника Чехов работал во время своего приезда в Петербург в декабре 1892 — январе 1893 г.). При включении повести в сборник было изменено деление ее текста на главы. В журнальном варианте вся история Ивана Дмитрича Громова составляла одну главу. В сборнике каждый существенный период его жизни (детство и юность, начало болезни, жизнь в палате № 6) выделен в самостоятельные главы. То же сделано и с жизнеописанием доктора Рагина. Без изменения оставлены только III и заключительная, VI (они стали соответственно IX и XIX главами) главы, имеющие особое значение в развитии сюжета (III гл. — знакомство доктора Рагина с Громовым, VI гл. — смерть Рагина). В результате вместо шести глав стало девятнадцать; в последующих изданиях сборника и в издании А. Ф. Маркса количество это не менялось. Как видно из письма И. И. Горбунову-Посадову от 23 марта 1893 г., новому разделению на главы Чехов придавал большое значение. «Как жаль, — писал он, — что я не догадался посоветовать Вам набирать с суворинского издания! Там много перемен. Деление на главы совсем иное, и есть прибавки». Прибавки были небольшими. Так, в финале восстановлена фраза, мотивирующая предсмертное видение доктора (стадо антилоп, «о которых он читал вчера»). Эта фраза была пропущена Чеховым при переписке рукописи набело (письмо Горбунову-Посадову, 23 марта 1893 г.). При включении повести в издание Маркса исправления тоже были невелики. Текст повести почти полностью сложился сразу и, кроме изменений в делении на главы, существенной переработке при переизданиях не подвергся.

4

11-я книжка «Русской мысли» вышла в 20-х числах ноября (первая газетная рецензия появилась 24 ноября). В. Г. Чертков, внимательно следивший в это время за новыми вещами Чехова и находившийся с ним в переписке по поводу издания «Именин» и «Жены» в серии «Посредника» «для интеллигентных читателей», сразу же прочел «Палату № 6» и уже 26 ноября 1892 г. обратился к Чехову с просьбой разрешить издать повесть в этой же серии: «Не знаю, как выразить Вам то радостное и благое впечатление, какое чтение этого потрясающего по своей глубине и правде рассказа вызвало во мне и моих товарищах. Благодарю Вас от души за все хорошее, которое мы вынесли и несомненно вынесут все читатели от этой вещи. Радуюсь за Вас за ту высоту, на которой Вы находились, за ширину Вашего кругозора и глубину взгляда, когда писали это истинно художественное произведение <...> Спешу обратиться к Вам с просьбой разрешить мне издать эту повесть в моей серии „для интеллигентных читателей“, на тех же основаниях, как и „Именины“ и „Жену“ <...> 50 руб. с листа за каждые 5 т<ысяч> выпускаемых экземпляров <...> Судя по тону Ваших писем ко мне, я вижу, что Вы не придаете преобладающего значения размеру гонорара» (*ГБЛ*).

Этот отзыв и вся дальнейшая история печатания «Палаты № 6» в «Посреднике» свидетельствуют о крайней заинтересованности Черткова и других сотрудников издательства в этой повести. Письма Черткова и других сотрудников «Посредника» — первые по времени и наиболее развернутые эпистолярные отзывы о новом произведении Чехова. Одновременно с письмом к Чехову Чертков послал повесть Горбунову-Посадову. Тот столь же быстро прочел ее. «Вчера дочитал Чехова „№ 6“, — пишет он Черткову 2 декабря, — и возвращаю; действительно превосходно, — все самобытно, свежо и оригинально» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 879).

Чехов на письмо Черткова не ответил. Обеспокоенный Чертков, до которого, возможно, дошли слухи о предполагавшейся поездке Чехова в Петербург, запрашивает его адрес у В. А. Гольцева и сообщает его петербургскому агенту «Посредника» А. М. Хирьякову, поручив ему переговорить с Чеховым. 3 января 1893 г.

Хирьяков просил Чехова о свидании (письмо Хирьякова от этого числа — *ГБЛ*). Свидание состоялось 5 или 6 января 1893 г.

Чехов был раздосадован задержками в печатании «Посредником» своих рассказов «Припадок», «Бабы», «Жена», «Именины» (рассказ «Бабы» лежал уже полтора года), и договориться об издании «Палаты № 6» не удалось. «Я очень долго выслушивал его укоризны, — писал после свидания Хирьяков Черткову, — и объяснял различные причины замедлений, указывая на то, что с „Палатой № 6“ этого, по всей вероятности, не будет, но хотя Чехов в конце концов и укротился, однако сказал, что относительно „Палаты № 6“ ответа не дает до появления „Жены“ и „Именин“, а там еще поговорим» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740).

Получив это сообщение, Чертков написал (15 января 1893 г.) большое письмо Чехову. Извиняясь за издательские задержки (см. комментарии к рассказам «Жена» и «Бабы» в т. VII Сочинений), он снова возвращается к вопросу о «Палате № 6»: «Ради бога, Антон Павлович, не казните нас отказом <...> Позвольте же нам принять участие в содействии тому широкому распространению этого произведения, на какое оно напрашивается ввиду общечеловечности, важности и современности его идеи <...> Сегодня же я послал телеграмму в нашу типографию для того, чтобы узнать, в какой кратчайший срок она возьмется выпустить в свет повесть такого размера. Вас же умоляю сжалиться над нами, главное — над нашим делом, и обрадовать нас этим разрешением, которое никому другому не нужно и не дорого в такой степени, как нам, горячим и искренним почитателям того, что в Вашем даре наиболее свято и высоко» (*ГБЛ*). В письме от 20 января он еще раз просит дать повесть, снова мотивируя свою просьбу тем, что «Палата № 6» «по содержанию своему как бы прямо напрашивается именно в наши издания, и было бы слишком больно, если бы вы отказали нам в счастье издания того, что нам так дорого по своему духу и так близко к сердцу» (*ГБЛ*). Свой отказ дать «Палату № 6» в «Посредник» Чехов подтвердил и во второй беседе с Хирьяковым 14 или 15 января (Хирьяков — Черткову, 15 января. — *ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740). Отвечая на письмо Черткова от 15 января, Чехов мотивировал отказ тем, что «Палата № 6» входит в сборник, издаваемый Сувориным. «Уступить Вам этот рассказ значило бы остаться без сборника, который дает мне по меньшей мере тысячу рублей. Деньги же мне теперь адски нужны, так как пишу я мало, а живу одной только литературой. Простите мне этот расчет» (20 января).

После этого письма и трех безуспешных разговоров петербургского агента «Посредника» с Чеховым Чертков поручает продолжение переговоров Горбунову-Посадову. Горбунов-Посадов встретился с Чеховым между 21 и 25 января. Результаты переговоров на этот раз оказались благоприятными для «Посредника», хотя, по видимому, во многом неожиданными для самого Чехова — на это отчасти указывает его позднейшее письмо. «Черткову я отдал „Палату № 6“ потому, — писал Чехов Суворину 18 августа, — что веред весной и весной я находился в таком настроении, что мне было всё равно. Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виселицу, то я пошел бы».

Горбунов-Посадов сразу же телеграфировал Черткову об успехе, а 29 января подробно писал о содержании беседы, подчеркивая некоторую неожиданность результата: «Как только я после болезни вышел первый раз из дому, я отправился к нему. Не знаю, больной ли, утомленный мой вид или просто добрые чувства, какие он ощутил ко мне, но у нас не было неприятных разговоров и все быстро уладилось <...> О „Палате № 6“: на него отрицательным образом подействовали 1) очевидно некоторое неудовольствие (мне уже этого он не высказывал), а 2) практическое то, что Суворин выпускает его новую книгу, в ней будет много нового и „Палата № 6“ займет доминирующее место. (Чуть ли <не> даже, по словам А<лександра> М<одестовича> <Хирьякова>, заголовком сей книги будет „Палата № 6“). Но мы в конце концов договорились, что одно издание не будет мешать другому, и он разрешил издавать и „Палату“, так что ее надо теперь представить в цензуру» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

Это письмо Чертков получил 2 февраля. 3 февраля он послал в Петербург Хирьякову отгиск повести для представления в цензуру (*ЦГАЛИ*, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 110). 4 февраля он писал Чехову: «Большое спасибо Вам за разрешение издать „Палату № 6“. Я уже сделал распоряжение о ее представлении в цензуру; а по разрешении ее мы будем елико возможно торопить печатание» (*ГБЛ*). Действительно, в этот же день он пишет И. Д. Сытину, в типографии которого печатались издания «Посредника»: «Вам Иван Иванович расскажет, какая история у нас вышла с Чеховым из-за нашей медлительности: мы чуть с ним не поссорились. Но в конце концов он смягчился и даже разрешил нам издать свою только что прогремевшую на всю Россию повесть „Палата № 6“, несмотря на то, что ее сейчас Суворин печатает. В благодарность Чехову и для того, чтобы совсем устранить прошлое дурное впечатление, нам нужно постараться удивить его быстротою выпуска этой книги» (*ЦГАЛИ*). «Палата № 6» действительно проходила быстро — как ни одна вещь Чехова. 10 февраля отгиск повести был представлен в С.-Петербургский цензурный комитет; 18 февраля цензурное разрешение было дано (с выпуском слов: «Правда, он служил не честно...») и далее, включая фразу: «Почему же он один должен составлять исключение?» — см. стр. 115 наст. тома). 28 февраля отгиск был получен Чертковым от Хирьякова «в разрешенном виде» (*ЦГАЛИ*, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10, л. 151).

После письма Сытину Чертков снова запрашивает своих сотрудников о сроках, в которые может быть напечатана повесть. 1 марта 1893 г. Горбунов-Посадов, отвечая ему, обещал, что «Палата № 6», «если выйдет из цензуры, будет, конечно, набрана и отпечатана в самое минимальное время» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880). И верно: оттиск был отослан Чертковым в Москву 2 марта (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10), а уже 6 марта Горбунов-Посадов сообщал Черткову, что «„Палата № 6“ набирается на курьерских» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880). Одновременно Чертковым предпринимались и другие шаги. Вопреки своему предупреждению о том, что гонорар за «интеллигентную серию» не будет выплачиваться вперед, а «лишь по мере поступления <...> первой чистой выручки» (Чехову, 6 июля 1892 г. — ГБЛ), Чертков 4 марта выслал Чехову деньги за первые 5 тысяч экземпляров еще до того, как была готова корректура издания: «Послано автору 150 руб. за первые 5 т<ысяч> и обещана ему же вся чистая прибыль» («Тетрадь с записью движения книг, намеченных для издания», запись 5 марта. — ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10). Об этом же Чертков писал Чехову в сопроводительном письме от 4 марта (ГБЛ).

Горбунов-Посадов торопится выслать Чехову «по 25 <экземпляров> „Именин“ и „Жены“ и по 1 экз<емпляру> всех интеллигентных изданий, чтобы поскорее показать ему дело» (Горбунов-Посадов — Черткову, 13 марта. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880). Стоило Чехову выразить сожаление, что набор осуществлялся не по изданию Суворина, где «много перемен» (письмо Горбунову-Посадову от 28 марта 1893 г.), Горбунов-Посадов немедленно «выправил корректуру по суворинскому изданию, чтобы он видел наше внимательное отношение» (Черткову, 15 апреля. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

Набор был закончен менее чем в десять дней. 13 марта корректура повести и цензурный оттиск были высланы Чехову. «Посылаю Вам корректуру „Палаты № 6“ (на Серпухов), — писал Горбунов-Посадов. — Там есть маленькая цензурная пометка. Место очень тонкое и хорошее, но что ж делать? И то к „Палате“ они (для предварительной) были деликатнее других оригиналов. Может, Вы пожелаете вставить там точки? Получив Вашу корректуру, мы немедленно отпечатаем <...> Задержек не будет» (ГБЛ). Ответное письмо Чехова до нас не дошло.

28 марта Чехов отослал Горбунову-Посадову цензурный оттиск. 8 апреля Горбунов-Посадов сообщал Черткову: «„Палата“ завтра окончится печатаньем». 15 апреля он пишет Черткову о выходе ее в свет (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

5

«Палата № 6», по свидетельству современников, — «самое счастливое произведение Чехова по тем похвалам, которые оно доставило своему автору» (П. Перцов. Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова. — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 63). За исключением отрицательного отзыва В. П. Буренина, назвавшего повесть «тягуче-скучной» и писавшего, что «не люди хмуры, не современная русская действительность в общем носит это качество — хмур сам Чехов», «не зная из-за чего и на что» («Новое время», 1895, № 6794, 27 января), статьи М. Южного (М. Г. Зельманова), озаглавленной «Скучная история» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября), и рецензии Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока) в «Московских ведомостях» (1892, № 335, 3 декабря) — во всех прочих отзывах отмечались выдающиеся достоинства нового произведения.

Велик был и читательский резонанс. «Сегодня читаю „Палату № 6“, — писал Чехову 1 декабря Вл. И. Немирович-Данченко, — о которой в Москве говорят во всех углах» (ГБЛ; «Ежегодник Московского Художественного театра», 1944, т. I. М., 1946, стр. 98). «„Палата № 6“ имеет успех огромный, какого у Вас еще не было, — утверждал он в другом письме. — Да Вы видите ли газеты? Только о ней и речь» (там же, стр. 99). После выхода сборника (в изд. Суворина) в начале 1893 г., где повесть была заглавной, успех укрепился. «Ваша „Палата № 6“ выставлена всюду, — сообщал Чехову Н. М. Ежов. — Даже у нас на Плющихе и на Арбате в писчебумажных магазинах есть. Вот как Вас расхватывают» (10 марта 1893 г. — ГБЛ). «Насколько мне известно, — писал Чехову 17 января 1893 г. врач И. И. Островский, товарищ Чехова по гимназии, — „Палата № 6“ имела крупный успех в среде читающей публики Тифлиса и известных мне захолустьях Кавказа» (ГБЛ). Всего через год после появления повести современный критик говорил о ней как о «произведении, известном уже всей читающей публике» (В. Г о л о с о в. Незыблемые основы. По поводу последних произведений А. П. Чехова. — «Новое слово», 1894, № 1, стр. 358). Высоко оценил «Палату № 6» Свободин (письмо Чехову 28 июня 1892 г. — ГБЛ). Сразу после выхода 11-й книжки «Русской мысли» А. И. Эртель писал Гольцеву: «Какая мастерская и глубокая вещь „Палата № 6“! Хотя и не без ущерба в смысле пушкинской ясности и трезвости. Это не сама жизнь, но беллетристическое размышление о жизни, — тем не менее талант смахивает на таланты „плеяды“» (14 декабря 1892 г. — ГБЛ, ф. 349, 5.19). Н. С. Лесков вскоре после выхода «Палаты № 6» говорил А. И. Фаресову,

тогда же записавшему разговор, что рассказ этот «за границей <...> стал бы выше мопассановских. Он делает честь любой литературе» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1947, стр. 316).

Восторженный отзыв о повести дал в письме к Чехову И. Е. Репин: «...Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа, вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества. <...> Я поражен, очарован <...> Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!..» (Апрель, 1893 г. — *ГБЛ*; И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929. М., 1950, стр. 102). «Какая хорошая вещь Чехова „Палата № 6“», — отозвался о повести Л. Толстой (письмо Горбунову-Посадову, 24 декабря 1892 г. — Полн. собр. соч., т. 66, стр. 287). «Нам со всех сторон указывают на эту вещь, — писал Чертков Чехову 20 января 1893 г. — Еще недавно мы получили самый сочувственный о ней отзыв от Л. Н. Толстого» (*ГБЛ*). С. Л. Толстой вспоминал, что «Палата № 6» и «Черный монах» произвели на Л. Н. Толстого сильное впечатление (С. Л. Толстой. Воспоминания об А. П. Чехове. — «Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 145).

Повесть единодушно признавалась лучшим из всего прежде написанного Чеховым. «Перед нами одно из лучших произведений г. Чехова. Давно уже не писал он ничего подобного», — так начинал свою очередную статью в «Литературной хронике» не отличавшийся снисходительностью к творчеству Чехова А. М. Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). «„Палата № 6“ — это, может быть, самая удачная вещь Чехова, — писал Меньшиков, — это горькая драма, заслуживающая не только прочтения, но глубокого, внимательного изучения» («Книжки Недели», 1893, № 1, стр. 204). «Лучшим из последних чеховских произведений, — утверждал А. Огнев, — должно считать „Палату № 6“» («Колосья», 1893, № 11, стр. 237).

Подчеркивались высокие художественные достоинства нового произведения — правдивость психологического изображения, естественность; тонкость и изящество манеры, языка. Выделяя повесть «среда бесцветных беллетристических произведений наших дней» и считая ее лучшим произведением Чехова после «Скучной истории», А. Л. Волынский писал: «Г. Чехов ничего не преувеличивает, и, не прибегая к утрировке ради каких-нибудь посторонних, публицистических целей, ведет свой рассказ с искусством и простотою настоящего артиста. <...> Повсюду, в мельчайших подробностях — печать ума простого, ясного, презирующего ходульные эффекты, неестественную, риторическую декламацию <...> Ни у одного из других наших молодых писателей мы не встретим такого великолепного сочетания редких красок и художественной простоты, такого тонкого психологического анализа, таких потрясающих драматических подробностей» («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1893, № 5, стр. 130). В статье «Незыблемые основы», посвященной последним произведениям Чехова, В. Голосов замечал: «Ни в одном из прежних произведений автор не поднимался еще на такую высоту художественной красоты и серьезной, глубокой и ясной мысли, как в рассказе „Палата № 6“. Простота, изящество и сила речи, яркость и живость красок, соблюдение строгой причинности событий, глубокий реализм психологии героев и соразмерность, гармония конструкции частей, выдержанность внутренней перспективы, или, как сказал бы Белинский, внутреннее единство произведения, выдвигают его не только из массы написанного автором, но и из всех лучших произведений русской текущей беллетристики» («Новое слово», 1894, № 1, стр. 358).

Отмечалось «бесспорное общественное» и «общественно-воспитательное» значение повести (Перцов, Меньшиков, Голосов), «широкая общественно-прогрессивная идея», лежащая в ее основе, верность ее типов, встречающихся «во всех сферах русской жизни» (Меньшиков), существенность вопросов современной жизни, затронутых в повести (Скабичевский). Журналистка С. И. Смирнова-Сазонова в письме к Суворину в декабре 1892 г. писала о «Палате № 6» и ее авторе: «Да прежде всего он хочет, чтобы вот такие же несчастные, как я, не спали ночь от его произведений, чтобы яркостью красок, глубиной мысли осветить темные углы вашей жизни. Островский нашел такие углы на Таганке, Достоевский на каторге, Чехов пошел дальше, он спустился еще несколько ступеней, до палаты умалишенных, до самого страшного предела, куда мы неохотно заглядываем <...> Я удивляюсь, как Вы, такой нервный, чуткий человек не оценили чеховского рассказа¹. В нем каждая строка бьет по нервам <...> той внутренней борьбой человеческого духа, когда он то поднимается на страшную высоту, то падает в пропасть» (полностью письмо см. в т. V Писем, стр. 429). Обобщенно-символический характер новости подчеркнут в отзыве Лескова: «В „Палате № 6“ в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это — Россия... Чехов сам не думал того, что написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата его — это Русь!» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1947, стр. 316).

Характерно, что во многих отзывах подчеркивалась именно сила непосредственного эмоционального эффекта, производимого повестью. «Последние шесть страниц рассказа написаны с поражающею силою, — отмечал Волынский. — <...> Все дышит талантом, творческим вдохновением и производит ошеломляющее впечатление» («Северный вестник», 1893, № 5, стр. 136). О силе впечатления писал Н. К. Михайловский («Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря); с сообщения о чувствах, испытанных при чтении, начал свою статью Скабичевский: «Я <...>, прочтя повесть утром, весь день и всю ночь находился под обаянием ее; она не

выходила у меня из головы; ночью я грезил ею». Повесть, по его словам, «производит на читателя потрясающее, неотразимое впечатление» («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). «Ах, Антон Павлович, как хороша Ваша „Палата № 6“, — писал Чехову А. С. Лазарев (Грузинский). — Какое потрясающее впечатление она произвела на меня. Я всю ночь тряся» (8 декабря 1892 г. — *ГБЛ*). «Рассказ Чехова мне очень нравится, — писал В. В. Билибин Лазареву (Грузинскому) 7 декабря 1892 г. — Лейкин говорит, что племянница Худекова, прочтя этот рассказ, упала в обморок» (*ГБЛ*, ф. 82, XXVIIа, 2). В уже упоминавшемся письме Репин также говорит о силе непосредственного воздействия повести.

Однако не все похвалы были безоговорочными. Как писал критик, сделавший краткий обзор мнений о повести, многие положительные отзывы были «несколько двусмысленного свойства, и их точнее всего можно характеризовать выражением „начали за здравие, а свели за упокой“» (П. Перцов. Изъяны творчества... — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 63). В повести увидели множество недостатков. Некоторые приписывались Чехову искони (объективизм, неумение справиться с большой формой); находили и новые. Если оставить в стороне упреки «Гражданина» в очернении Чеховым российской действительности («Откуда автор взял этот мертвый город?..»), то главное обвинение, которое было предъявлено автору, состояло в том, что в его повести нет осмысления им самим же нарисованных картин, нет ясной, четко и однозначно выраженной авторской идеи. Автор, считал Скабичевский, «слишком объективировался <...>, предоставляя читателям самим прийти к заключениям, какие явствуют из повести» («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). Приблизительно эту же точку зрения высказывал и Михайловский. По его словам, Чехов предоставляет читателям комбинировать «полученные при чтении впечатления на свой собственный страх и с риском ошибиться относительно целей и намерений самого автора, относительно того — в чем сам он видит интерес рассказа» («Случайные заметки». — «Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря). Михайловский противопоставлял повести Чехова рассказ В. М. Гаршина «Красный цветок», в котором «все ясно, определено». Совершенно присоединялся к позиции своего идейного руководителя сотрудник «Русского богатства» Перцов: «Смысл произведения страдает неясностью и не поддается определенному истолкованию» (1893, № 1, стр. 64).

Высказывание критика «Нового слова» Голосова, что «у Чехова, несмотря на всю его, в общем, большую объективность и бесстрашие, можно все же указать его авторское отношение к событиям и героям» (стр. 375), осталось одиноким.

Мнение о «Палате № 6» как произведении, не содержащем единой и четкой авторской мысли, распространилось; хулители сошлись здесь с хвалителями, лагеря смешались: «Гражданин» и «Московские ведомости» в этом были заодно с «Русским богатством», «Новостями» и «Русскими ведомостями». В этом плане критиковал «Палату № 6» и Суворин (см. письмо Чехова Суворину от 25 ноября 1892 г.).

В повести старались обнаружить прямые оценки самого автора, центральных героев пытались разделить на тех, кто высказывает его идеи, и других, кого автор безусловно осуждает. Невозможность сделать это ощущалась как очевидный недостаток. Скабичевский замечал, что автор «ни разу не промолвился, какая основная мысль рассказа и какого мнения он о своем герое» («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). Михайловский также отмечал «иронические нотки», мешающие читателю «обнять душой» «настоящих страдальцев». Приведя рассказ Рагина о себе, М. Южный недоумевал: «Самое странное во всем этом бесспорно то, что никак не уловишь, что все это означает: есть ли это со стороны автора тонкая, ядовитая ирония над современным Кифой Мокиевичем <...> или же автор и впрямь принимает своего героя за гордого страдальца <...>, которому мировая скорбь терзает сердце? <...> Автор себе самому не уяснил этого вопроса, и оттого это колеблющееся отношение к своему герою: то он будто возводит его на пьедестал мученика, то будто посмеивается над ним. И чем дальше подвигается рассказ, тем эта двойственность в отношении автора к изображаемому им лицу выступает резче и резче» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября).

Сложность, необычность авторской позиции по отношению к героям («то будто возводит на пьедестал, то будто посмеивается») в сравнении с предшествующей литературной традицией была замечена большинством критиков повести. Но как новое литературное качество это не расценивалось.

М. А. Куплетский утверждал, что в основе повести лежит «ложная мысль»: «умственно здоровых людей и сумасшедших различить почти невозможно и что все люди в некотором роде сумасшедшие» (М. К - с к и й . Журнальная хроника. — «Сын отечества», 1892, № 337, 10 декабря).

Скабичевский значительную часть своих двух фельетонов о «Палате № 6» («Новости и биржевая газета», 1892, №№ 334, 341, 3 и 10 декабря) посвятил раскрытию основной идеи повести, заключающейся, по его мнению, в том, «что десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе потому, что наше невежество не способно отличить их от здоровых <...> Вы положительно теряете сознание, кого в этой среде можно считать здоровыми, кого душевнобольными людьми, где кончается палата № 6 и начинается область якобы здравого смысла?..» (№ 341). Такое изображение было оценено им высоко, но два года спустя Скабичевский эти же самые черты повести

оценивал уже иначе, считая их «обещанием будущего декадентства» («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1895, № 274, 5 октября).

Михайловский, считая, что сказать, который из героев «доктор и который сумасшедший, довольно <...> трудно», в целом в понимании повести оказался близок Скабичевскому: «Может быть, значит, сумасшедший Иван Дмитрич прав, когда изумляется, почему он в больнице, а другие, в том числе и доктор, гуляют на свободе? Может быть, и доктор прав, отвечая, что тут нет логики, а одна только пустая случайность? Может быть, здесь именно лежит центр всего рассказа г. Чехова» («Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря).

Многие видели в повести критику философии равнодушия, непротivления — «крушение философии квиетизма» (Перцов), осуждение пассивности и созерцательности (Ю. Николаев), ведущих «к гибели самого философа» и увеличивающих страдания «окружающих его» (Голосов). Наиболее подробно эта мысль развивалась в большой статье Меньшикова «Без воли и совести» («Книжки Недели», 1893, № 1). По мнению Меньшикова, Андрей Ефимыч, представляющий собой «в нравственном смысле дальнейшую, несравненно более низкую стадию вырождения» обломовского типа, уже не угрызающегося совестью, «просто не хочет помочь несчастным <...> Это болезнь не воли, а <...> болезнь совести» (стр. 212).

Меньшиков впервые высказал мысль, получившую столь широкое распространение в позднейшей (посмертной) чеховской критике, — о направленности повести против принципа «непротivления злу». Но, в отличие от последующих авторов, он считал, что доктор Рагин — носитель лишь «ходячего», упрощенного понимания непротivления, «в котором Лев Толстой <...> неповинен. Знаменитая формула имеет другой, глубокий смысл» — «нравственную борьбу со злом». Андрей Ефимыч и ему подобные «только мнимые непротivленцы злу. На самом деле это пособники злу» (стр. 221).

Вокруг повести сталкивались литературные мнения; толкования были различны. Особенно это выявилось, например, когда повесть была втянута в орбиту полемики, связанной с начинающимся русским декадентством.

Если Скабичевский считал, что в повести есть «сигнал к психиатрической беллетристике», «обещание будущего декадентства», то Волынский (признавая в целом достоинства повести), напротив, провозгласил ее апофеозом умеренности и здравого смысла: Чехов, внушая читателям, что психически здоровый Громов — сумасшедший, поддается «мнению большинства читателей», «ненавидящих <...> свистящие удары безумной критики», держащихся «во всем середины», боящихся всякого стремления «к правде безусловной, окончательной», к «последним, крайним выводам» и считающих это сумасшествием. Эта же мысль усматривалась критиком и в изображении второго центрального персонажа — Андрея Ефимыча. «...он сумасшедший! Кто всю жизнь философствует и разум ставит выше всего на свете, не может быть назван нормальным человеком! <...> Г. Чехов ударил по открытому, совершенно беззащитному нерву русской жизни, и тихий, осторожный смех его над собственным философствующим героем сольется с громким, раскатистым хохотом над философствующими людьми всей разнузданной интеллигентной черни» («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1893, № 5, стр. 137). В связи со всем этим идея «Палаты № 6» представлялась Волынскому «узкою и фальшивою».

«Литературные заметки» (и не только в части, касающейся Чехова) были встречены в штыки. «Г. Волынский находит узкую тенденцию, — писал в «Новом слове» (1894, № 1) Голосов. — Я не усматриваю ровно никакой тенденции, а вижу прекрасную идею» (стр. 360). Меньшиков, найдя у Волынского «все внутренние признаки декаданта», резко критиковал его выводы. «Ненависть к нормальному, здравому смыслу, это приписыванье только расстроенному уму стремления к правде — характерная черта декадентов» («Критический декаданс». — «Книжки Недели», 1893, № 7, стр. 221). Меньшиков оспаривал вывод Волынского, будто Чехов считает выражение протеста, высказывание правды прерогативой душевнобольных.

Позднейшая критика во многом повторяла мнения первых рецензентов «Палаты № 6». Об осуждении в повести пассивности, пессимизма, равнодушия («формализма») писали в своих книгах С. Столяров («Новейшие русские новеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький». Киев, 1901, стр. 53—57), Вс. Чехихин («Современное общество в произведениях Боборыкина и Чехова». Одесса, 1899, стр. 43). О разоблачении несостоятельности квиетизма (хотя и с оговоркой, что это — не основная идея повести) писал Альбов («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк». — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 93). О холодности, отсутствии определенного авторского отношения писал в большой статье, посвященной Чехову, Е. А. Ляцкий («А. П. Чехов и его рассказы. Этюд». — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 133). Отголосками рассуждений Волынского выглядят утверждения Г. Качереца: «Он смотрит на людей, рвущихся к идеалу <...> как на больных душою» (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 71).

Но были и новые толкования, рассматривающие повесть в иных ракурсах. Е. В. Аничков видел в повести изображение потребности, права личности «реагировать» («Литературные образы и мнения». — «Научное обозрение», 1903, № 5, стр. 158). Иначе, чем в предшествующей критике, расценивались центральные персонажи; иной, в связи с этим, виделась основная мысль повести. «Двойной ужас испытываешь при чтении

превосходнейшего психологически-психиатрического этюда „Палата № 6“, — замечал С. А. Венгеров. — Сначала при виде тех чудовищных беспорядков, которые в земской больнице допускает герой рассказа — бесспорно лучший человек во всем городе <...> а затем, когда оказывается, что единственный человек с ясно сознанными общественными идеалами — это содержащийся в палате № 6 сумасшедший Иван Дмитриевич» («Антон Чехов. Литературный портрет». — «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 33, стлб. 1371). Альбов одну из главных мыслей повести видел в том, что общество выделяющихся из него людей или сводит с ума, как Громова, или «зачисляет в число сумасшедших» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 94).

В 1896 г. один читатель в письме Чехову подписался так: «глубоко Вас уважающий за „Сахалин“, „Палату № 6“» (П. Лабунский — *ГБЛ*). Для многих читателей Чехов на долгие годы остался в первую очередь автором «Палаты № 6». С самого момента ее опубликования и до конца жизни Чехова эта повесть непременно входила в список самых известных его произведений во всех обзорных статьях о его творческом пути в журналах, газетах, календарях, листовках, энциклопедиях, курсах по истории новейшей русской литературы (см., например: И. П. Мерцалов. Главные представители современной русской беллетристики. — «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1898, № 8—9, стлб. 183; И. Игнатов. Галерея русских писателей. М., изд. С. Скирмунта, 1901, стр. 489; Несколько слов об Антоне Павловиче Чехове. Листовка. М., изд. Московского об-ва народных развлечений, дозв. ценз. 18 июля 1901; Ф. Батюшков. О Чехове. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1903, № 26, 27 января; Н. Георгиевич. Жизнь Антона Чехова и его произведения. Одесса, книгоиздательство М. С. Козмана, 1903, стр. 6, и др.).

Об оценке повести молодым В. И. Лениным вспоминала его сестра: «Говоря о талантливости этого рассказа, — писала А. И. Ульянова-Елизарова, — о сильном впечатлении, произведенном им, — Володя вообще любил Чехова — он определил всего лучше это впечатление следующими словами: „Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6“» («В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1976, стр. 609).

В архиве Чехова сохранились письма к нему переводчиков «Палаты № 6».

При жизни Чехова «Палата № 6» была переведена на английский, болгарский, венгерский, датский, немецкий, норвежский, сербскохорватский, финский, французский, чешский, шведский и польский языки.

С. 87. ... по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. — На последних страницах еженедельной медицинской газеты «Врач» (издавалась с 1880 г.) помещался раздел «Хроника и мелкие известия», печатались сведения о перемещении врачей по службе, некрологи, сообщения о редких медицинских случаях и т. п.

...вам не пора пиво пить? — По свидетельству А. И. Куприна, эту фразу произносила сожительница Л. И. Пальмина. «Как же, отлично помню, — говорил А. П., весело улыбаясь, — в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: „Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?“ Я тогда же неосторожно сказал: „Ах, так вот откуда это у вас в „Палате № 6“? — „Ну да, оттуда“, — ответил А. П. с неудовольствием» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 559). Тот же источник этой фразы называет и М. П. Чехов (*Вокруг Чехова*, стр. 109).

С. 92. *Пирогов* Н. И. (1810—1881), врач, основатель русской военно-полевой хирургии.

Пастер Луи (1822—1895), французский естествоиспытатель и бактериолог, основоположник учения о заразных болезнях и микробиологии.

Кох Роберт (1843—1910), немецкий бактериолог, открыл возбудителей туберкулеза, холеры, сибирской язвы.

Психиатрия с ее теперешнею ~ горячечных рубях. — Новейшие методы диагностики психических заболеваний и их лечения, устройства лечебниц излагались в книге С. С. Корсакова «Курс психиатрии» (М., 1893), находившейся в библиотеке Чехова (*Чехов и его среда*, стр. 351). Корсаков выступал, в частности, против горячечных рубях (стр. 259).

С. 97. У *Достоевского* или у *Вольтера* кто-то говорит ~ выдумали бы люди. — «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать» (Вольтер, «Послание к автору новой книги о трех самозванцах»). Слова Вольтера процитированы в «Братьях Карамазовых» Достоевского (книга пятая, гл. 3).

— Я же и говорю вам: *восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.* — В аналогичных финансовых обстоятельствах после своего единственного заграничного путешествия будет находиться герой «Чайки» доктор Дорн.

Диоген жил в бочке... — Диоген из Синона — ученик Антифена, принадлежал к школе циников. В учении о личной жизни доводил до крайности аскетические принципы своей школы.

С . 100. *«Боль есть живое ~ и боль исчезнет»*. — Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя. Пер. кн. Л. Урусова, Тула, 1882, стр. 36—37.

С . 102. *...молился в саду Гефсиманском ~ чаша сия*. — Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 39.

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

Впервые — «Артист», 1894, № 1 (ценз. разр. 5 января), стр. 1—16. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. VIII, стр. 83—121, с исправлением: *стр. 242, строка 42*: *Соображения вместо*: Соображение (по журналу «Артист» и первому изданию сб. «Повести и рассказы»).

1

«Черный монах» был написан в Мелихове летом 1893 г. 28 июля 1893 г. Чехов сообщал А. С. Суворину: «Написал я также повестушку в 2 листа „Черный монах“. Вот если бы Вы приехали, то я дал бы Вам прочесть». О том, что он написал «небольшую повестушку», Чехов сообщил также Н. А. Лейкину 4 августа 1893 г. и В. А. Гольцеву 22 августа 1893 г. Можно предполагать, что Чехов работал над рассказом и осенью 1893 г., так как в Записной книжке писателя (№ 2, стр. 12) имя «Поликрат», встречающееся в «Черном монахе», идет после записи адреса петербургской гостиницы «Россия», с указанием стоимости номера в месяц (20 р.). В письме к брату Александру Павловичу 4 сентября 1893 г. Чехов просил присмотреть ему подходящую гостиницу в Петербурге и узнать о цене номеров. Ал. П. Чехов ему ответил 17 сентября 1893 г. (*Письма Ал. Чехова*, стр. 286).

Как видно из письма Чехова Суворину от 18 августа 1893 г., последний предполагал напечатать «Черного монаха» в «Новом времени», но Чехов не согласился, «потому что решил не давать в газеты рассказом с „продолжение следует“». А 18 декабря 1893 г. писал тому же адресату: «В январской книжке „Артиста“ найдете изображение одного молодого человека, страдавшего манией величия; называется эта повесть так: „Черный монах“». «Это рассказ медицинский, *historia morbi*», — сообщал Чехов и М. О. Меньшикову 15 января 1894 г.

«Черный монах» был отдан в «Артист» после настоятельных просьб редактора-издателя этого журнала Ф. А. Куманина. В письме от 22 сентября 1893 г. Куманин умолял Чехова поддержать журнал: «Обращаюсь к Вам с усердной просьбой — *помогите*», «если у Вас есть что-нибудь готовое для другого журнала, дайте нам», «*бога ради*, не откажите» (*ГБЛ*). И. Л. Леонтьев (Щеглов) вспоминал о своем разговоре с Куманиным вскоре после получения последним чеховского рассказа. На вопрос Леонтьева (Щеглова) — дал ли Чехов что-нибудь «Артисту» — Куманин «редакторски спесиво надулся» и ответил следующее: «— Дал, положим, рассказец; но вещь, признаться, не из важных. Очень водянистая и неестественная. — И добавил: — „Но знаете, все-таки Чехов — имя... Неловко не напечатать!..“»

«Когда вышла книжка „Артиста“ с помянутым рассказом Чехова, — пишет Леонтьев (Щеглов), — я прямо ахнул: это был „Черный монах“, т. е. квинт-эссенция тончайшей поэзии и творческой проникновенности! Ф. А. Куманину нельзя было отказать в известной чуткости, ни в здравом смысле, но он был слишком „толстокож“ и не его носу было почувствовать такую тонко-сложную вещь, как „Черный монах“» (И. Щеглов. *Обида непонимания*. — «Биржевые ведомости», 1910, № 11517, 16 января).

16 декабря 1893 г. Чехов заключил с правлением товарищества И. Д. Сытина договор на издание сборника своих рассказов (см. вступит. статью к тому). «Черный монах» предполагалось издать отдельно, однако это издание не было осуществлено.

При подготовке сборника и собрания сочинений Чехов сделал небольшие стилистические изменения в тексте рассказа.

Еще 20 октября 1892 г. к Чехову обратился В. Л. Кигн (Дедлов) с просьбой разрешить его приятелю Н. А. Боратынскому, издателю газеты «Оренбургский край», перепечатку некоторых чеховских вещей.

Боратынский такое разрешение получил, и между ним и Чеховым началась переписка. В одном из писем 1894 г. Боратынский благодарил за присланную книгу рассказов — очевидно, сборник «Повести и рассказы» (1894) — и сообщил, что Кигн советовал ему просить у Чехова для перепечатки «Черного монаха». «В бытность здесь Владимира Людвиговича <Кигна> мы много толковали с ним о Ваших произведениях, восхищались ими и „присудили“ Вам первое место в русской художественной литературе. В последние полтора года я еще более убедился, что мы судили правильно. Я доволен <...> отношением к Вашим художественным работам <...> нашего подрастающего поколения, оно Вас любит и все Ваши рассказы читает с большим восторгом» (ГБЛ).

5 сентября 1894 г. Чехов писал Кигну: «Ваш знакомый Н. А. Боратынский <...> как-то просил у меня разрешения перепечатать моего „Черного монаха“, я дал сие разрешение, но вот уже прошло много месяцев, а „Монах“ не появляется на страницах „Края“. Уж не цензура ли?» 27 октября 1894 г. Кигн ответил Чехову: «Сейчас получил от <...> Боратынского письмо. Он пишет, что Вашего разрешения перепечатать „Черного монаха“ не получил, так что Ваше предположение, что тут не без цензуры, может быть некоторым образом и основательно. Я сообщил Боратынскому, что Вы перепечатку разрешаете...» (ГБЛ). «Черный монах» был опубликован в газете «Оренбургский край» (1894, №№ 271, 274, 277, 278 от 30 октября и 6, 13, 16 ноября).

Однако против перепечатки «Черного монаха» возражал Куманин, ссылаясь на то, что эта публикация «была сделана тотчас после выхода книжки „Артиста“» (письмо к Чехову от 25 ноября 1895 г. — ГБЛ). После смерти Куманина его вдова, О. К. Куманина, продолжавшая издательские дела мужа, просила у Чехова разрешения поместить «Черного монаха» в журнале «Читатель» (письма от 9 и 21 октября 1896 г. — ГБЛ). Чехов ответил отказом (см. письмо Куманиной к Чехову от 22 октября 1896 г.).

2

В «Черном монахе» отразились некоторые впечатления мелиховской жизни. По свидетельству брата, Чехов в Мелихове с увлечением занимался садоводством: «С самого раннего утра <...> он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал» (*Вокруг Чехова*, стр. 244). М. Л. Чехов рассказал и о том, какие конкретные события и впечатления отразились в рассказе «Черный монах». В Мелихово часто приезжали И. Н. Потапенко и Л. С. Мизинова. В такие дни «Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду „Валахскую легенду“ Брага <...>. В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее с неба песнь ангелов, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки <...>

Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что романс имел большое отношение к происхождению его рассказа „Черный монах“» (*Вокруг Чехова*, стр. 257—258).

Чехов писал Л. А. Авилевой 1 марта 1893 г.: «Я живу в деревне. Постарел, одичал. У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и поэтому я постоянно пребываю в элегическом настроении».

М. П. Чехов вспоминал о бывшем в Мелихове разговоре, касающемся происхождения миражей, также имеющем отношение к творческой истории «Черного монаха». «Заговорили <...> о мираже, о преломлении лучей солнца через воздух и так далее, и в результате возник вопрос: может ли и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий мираж, третий — четвертый и так далее, до бесконечности. Следовательно, возможно, что сейчас по вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения?» (*Вокруг Чехова*, стр. 258).

Судя по письмам того периода и по воспоминаниям современников, Чехов во время работы над «Черным монахом» испытывал чувства внутреннего беспокойства, тревоги, неудовлетворенности жизнью. «Я немедленно прикатил бы к Вам в Петербург — такое у меня теперь настроение, но в 20 верстах холера...» — писал он Суворину 28 июля 1893 г. Писатель жаловался на «смертную тоску по одиночеству» и «отвратительное психопатическое настроение». Однако, когда Суворин, ссылаясь на мнение своей жены, высказал предположение, что в Коврине писатель изобразил самого себя, Чехов ответил ему: «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное. Во всяком разе если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. „Черного монаха“ я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне...» (25 января 1894 г.).

По словам М. П. Чехова, «в Мелихове у Антона Павловича, вероятно, от переутомления расхворались нервы — он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его „дергало“. Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось „с корнем“, он вскакивал и уже долго не мог уснуть» (*Вокруг Чехова*, стр. 257). В один из таких дней увидел Чехов «страшный», по его словам, сон про черного монаха. «Впечатление черного монаха, — вспоминает М. П. Чехов, — было настолько сильное, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ» (там же, стр. 260).

И. И. Ясинский, в воспоминаниях которого вообще имеются преувеличения и видна тенденция — подчеркивать свое влияние на Чехова, утверждает, что именно он натолкнул Чехова на замысел «Черного монаха», и ссылается при этом на самого Чехова: «— Вы мне как-то рассказывали о каком-то адвокате, — признавался мне Чехов, — который страдал тем, что мушволант¹ разрастались по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у Вас был не замысел, а факт в запасе, но видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я подложил под этот факт медицинскую теорию» (Иер. Я с и н с к и й. Роман моей жизни. М. — Л., 1926, стр. 268).

Н. А. Худекова, жена редактора «Петербургской газеты» С. Н. Худекова, полагала, что мысль о «Черном монахе» возникла у Чехова после посещения имения ее мужа, который считался известным любителем-садоводом. По словам Худековой, Чехов, приобретя Мелихово, всерьез заинтересовался садоводством и, беседуя с Худековым, «спрашивал и о прививках, и про окулировки», наблюдал «дым, стелющийся по питомнику от костров, которые разводили для предохранения растений от весенних морозов»; «Чехов, как сам говорил потом, тогда же задумал своего „Черного монаха“, полного вдохновения и жуткой красоты» (Н. Х — к о в а. Мои воспоминания о Чехове. — «Петербургская газета», 1914, № 178, 2 июля).

По свидетельству М. П. Чехова, слова кричавшего на нерадивых рабочих и распекавшего их Песоцкого в «Черном монахе» появились под влиянием рассказов друга чеховской семьи флейтиста А. П. Иваненко, который вспоминал, как его отец, владелец хутора на Украине, вечно недовольный, выходил на крыльцо и кричал: «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзли! Пропал сад! Погиб сад!» («Антон Чехов и его сюжеты». М., 1923, стр. 108).

Время работы над «Черным монахом» совпало с периодом острого интереса Чехова к психиатрии. В Мелихове Чехов сблизился с доктором В. И. Яковенко, известным психиатром, основателем и директором лучшей в России в конце XIX в. Психиатрической лечебницы, находившейся в селе Мещерском Подольского уезда. Т. Л. Щепкина-Куперник пишет в книге «Дни моей жизни» (М., 1928) о Чехове: «Одно время он очень увлекался психиатрией (как раз он писал для „Артиста“ рассказ „Черный монах“) и серьезно говорил мне:

— Если хотите сделаться настоящим писателем, кума, — изучайте психиатрию, это необходимо» (стр. 317).

«Чтобы решать вопросы о вырождении, психозах и т. п., надо быть знакомым с ними научно», — писал Чехов Е. М. Шавровой 28 февраля 1895 г. Упрекая Шаврову, в рассказе которой медицинские вопросы затронуты без должного понимания, Чехов замечает: «Предоставьте нам, лекарям, изображать калек и черных монахов».

Возможно, в творческом сознании автора «Черного монаха» как-то преломилось и восприятие в России произведений немецкого писателя Макса Нордау. Весной и летом 1893 г. в прессе широко обсуждалась книга «Вырождение», в которой Нордау утверждал, что интеллигенция всех стран переживает увлечение явно-психопатическими произведениями — как в области художественной литературы, так и в области философии. По мысли Нордау, это вызвано болезнью века — вырождением, ненормальными условиями жизни, переутомлением и т. д. Книга Нордау вызвала многочисленные отклики, о ней писали Н. К. Михайловский («Русская мысль», 1893, № 4, стр. 176—208), И. И. Иванов («Русские ведомости», 1893, № 147, 31 мая), З. А. Венгерова («Новости и биржевая газета», 1893, № 189, 13 июля). Одна из глав книги Нордау называлась «Гений и толпа», где, в частности, говорилось: «В глазах каждого одаренного благородной душой человек толпы есть „презренное существо“»; «Удел избранных людей — мыслить и желать...» (стр. 20, 21. — Ср. слова черного монаха — стр. 242, строки 10—16, 40—42).

Чехов критически относился к Нордау и к теории вырождения (см. его письма Суворину 27 марта 1894 г. и Шавровой 28 февраля 1895 г.).

В библиотеке Чехова находилась книга Н. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890). Минский в этой книге проповедовал философско-религиозную систему «меонизма», т. е. несуществующего, расценивая стремление человека к идеальному как его желание познать бога, растворенного во вселенной. Некоторые положения трактата близки мыслям Нордау. «Болезнь, называемая в науке манией величия, по отношению к нашему времени не есть мания или болезнь, а всем общее естественное следствие высшей культуры, созревший плод самолюбия» (стр. 11) — утверждал Минский.

Об интересе Чехова к философии Марка Аврелия, упоминаемого в рассказе, см. в примечаниях к «Палате № 6» (стр. 447 наст. тома).

Рассказ привлек большое внимание современников Чехова.

Меньшикова более всего поразила чрезвычайно убедительно изображенная в чеховском рассказе психическая болезнь героя. «Монах меня ужаснул, — признавался он Чехову 1 февраля 1894 г., — неужели бывают такие галлюцинации? Вам, как доктору, конечно, лучше это знать, но не мешает знать об этом и изнервленной, изнеможенной нашей учащейся молодежи» (*ГБЛ*). Отец Сергей (С. А. Петров) писал Чехову 8 мая 1897 г.: «Прочитал Вашего Монаха и, право, чуть с ума не сошел» (*ГБЛ*). «„Черного монаха“ получил. Спасибо большое. Прочел я его с большим интересом, но он мне не так понравился (не общим замыслом — он хорош), как „Бабье царство“», — сообщал Чехову 5 февраля 1894 г. И. И. Горбунов-Посадов (*ГБЛ*). М. В. Киселева, поблагодарив Чехова за присланную книгу, писала: «Да наградят Вас боги и да внушат Вам и еще как-нибудь утешить меня присылкой хотя бы „Черного монаха“ — вещи, которую я ужасно люблю» (письмо 1895 г. — *ГБЛ*).

Очень нравился «Черный монах» Л. Н. Толстому. 2 апреля 1894 г. в беседе с Г. А. Русановым он сказал, что «„Черный монах“ — прелесть» (Н. Н. Гусев. *Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910*. М., 1960, стр. 130). Русанов в письме к Чехову 14 февраля 1895 г. привел этот отзыв: «О „Черном монахе“ Лев Николаевич с живостью и с какою-то особенною нежностью сказал: „Это прелесть! Ах, какая это прелесть!“» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 58—59). В том же письме Русанов назвал «Черного монаха» среди произведений, причисляемых им самим к «перлам русской литературы». При делении лучших рассказов Чехова на два сорта Л. Н. Толстой отнес «Черного монаха» к первому (письмо И. Л. Толстого к Чехову 25 мая 1903 г. — *ГБЛ*).

В. Э. Мейерхольд писал Чехову в конце декабря 1901 г.: «Опять перечитываем Вас, Антон Павлович! Опять „Дуэль“, „Палата № 6“, „Черный монах“, „По делам службы“... С этими рассказами связаны воспоминания юности, печальной, но светлой. Опять сдавленные слезы, опять ласки поэзии и трепетное ожидание лучшего будущего...» (*ЛН*, стр. 443).

Известно, что первые критические отзывы о «Черном монахе» не удовлетворили Чехова. С. Т. Семенов, встретившийся с писателем зимой 1894 г. в редакции «Посредника», вспоминал: «А. П. медленно ходил по кабинету и рассказывал, в чем сущность его рассказа «Черный монах» и как его не поняли. Я не читал тогда рассказа и не мог понять, чем тогда огорчили А. П., но хорошо помню, что он был крайне недоволен таким поверхностным отношением критиков к художественным произведениям» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 365).

Леонтьев (Щеглов) писал: «Тогда не поняли, какая чудная вещь его „Черный монах“. В особенности профессора обнаружили поразительную близорукость и неблагодарность» (*ЛН*, стр. 487).

Многие критики расценили рассказ лишь как точное и впечатляющее описание душевной болезни героя, трагически отразившейся на жизни близких людей.

С. А. Андреевский в рецензии на чеховский сборник «Повести и рассказы» (1894) писал: «„Черный монах“ дает нам глубокий и верный этюд психического недуга <...>. Фигуры фанатического помещика-садовода и его слабонервной, симпатичной дочери <...> обрисованы чрезвычайно живо. Роковая размолвка между душевно-здоровыми и душевно-больным приводит к ужасной, по своей бессмысленности, трагедии» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января). А. М. Скабичевский также увидел в «Черном монахе» лишь «весьма интересное изображение процесса помешательства». С точки зрения критика, «никакой идеи, никакого вывода читатель из всего этого не выносит» («Новости и биржевая газета», 1894, № 47, 17 февраля).

Г. Качерец полагал, что Чехов «смотрит на людей, рвущихся в идеалу, переполненных жаждой его и страдающих ради него, как на больных душою», поэтому «увлечения, искренность, чистые страсти ему представляются как симптомы близкого душевного расстройства» («Чехов. Опыт». М., 1902, стр. 71—73). Д. М., автор статьи «Журнальные новости» в «Русских ведомостях» (1894, № 24, 24 января), также относил рассказ целиком к «области психиатрии» и в заключение делал вывод: «Очень может быть, что г. Чехов не думал противопоставлять психиатрического рассказа другим своим произведениям, тем не менее согласно его изображению сильное стремление и истинная благородная страсть возможны только в погоне за призраками...»

Волжский (А. С. Глинка) утверждал, что «Черный монах» — типический случай разрешения конфликта идеала и действительности «путем какой-нибудь прекрасной иллюзии» (В о л ж с к и й . Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 122).

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) в статье «Литературные заметки. Современные Поприщины» относил «Черного монаха» к рассказам фантастическим и считал этот опыт неудачей Чехова. Он полагал, что «маленький человек с ущемленным самолюбием — этот характернейший человек нашего времени — мог выразиться гораздо яснее. Ведь Коврин г. Чехова — это тот же Поприщин, только Поприщин, пропитанный духом современности». Коврину, по мысли Николаева, незачем было сходить с ума, так как «всегда найдутся Тани, готовые признать современного Поприщина за „гения“ и „необыкновенного человека“» («Московские ведомости», 1894, № 34, 3 февраля).

Михайловский в статье «Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове» возражал тем, кто видел в «Черном монахе» только экскурс в область психиатрии («Русское богатство», 1900, № 4, стр. 128). Михайловский расценивал появление рассказа как еще одно свидетельство намечающегося перелома в творчестве Чехова. Однако, авторская позиция, выраженная в этом рассказе, казалась Михайловскому недостаточно ясной. «Но что значит самый рассказ? Каков его смысл? Есть ли это иллюстрация к поговорке: „чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало“, и не следует мешать людям с ума сходить, как говорит доктор Рагин в „Палате № 6“? Пусть, дескать, по крайней мере те больные, которые страдают манией величия, продолжают величаться, — в этом счастье, ведь они собой довольны и не знают скорбей и уколов жизни... Или это указано на фатальную мелкость, серость, скудость действительности, которую надо брать так, как она есть, и приспособиться к ней, ибо всякая попытка подняться над нею грозит сумасшествием? Есть ли „черный монах“ добрый гений, успокаивающий утомленных людей мечтами и грозами о роли „избранников божиих“, благодетелей человечества, или, напротив, злой гений, коварной лестью увлекающий людей в мир болезни, несчастья и горя для окружающих близких и, наконец, смерти? Я не знаю. Но думаю, что как „Палата № 6“, так и „Черный монах“ знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове, как писателе; перелома в его отношениях к действительности...» (стр. 132—133).

В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» также связывал идею рассказа «Черный монах» с поисками писателем «общей идеи». «Только мечта и идеал дает цель и смысл жизни, только она делает жизнь радостною и счастливою. Пусть это будет какая угодно мечта, хотя бы бред сумасшедшего, все-таки она лучше, чем эта гнетущая душу действительность» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 103).

Ф. Батюшков утверждал, что автор «Черного монаха», не принимая на веру представлений, выработанных прошлыми поколениями, стремится проверить привычные нормы общественной и индивидуальной жизни. «Мы понимаем теперь, — пишет Батюшков, — почему Чехов так настаивал на относительности и подвижности всяких человеческих норм; они суть только ступени к чему-то высшему, далекому от нас, едва предугадываемому нашим сознанием» («О Чехове». — «Санкт-Петербургские ведомости», 1903, № 26, 27 января).

Во всех отзывах о «Черном монахе» внимание критиков сосредоточивалось главным образом на фигуре центрального героя, значении его галлюцинаций. Все остальные персонажи представлялись второстепенными или, как их назвал Михайловский, «подсобными».

Большой интерес вызвал рассказ у зарубежных исследователей и переводчиков.

Ж. Легра увидел в «Черном монахе» сюжет не для повести, а для романа. Легра писал Чехову 9 июня 1895 г.: «Это целый роман нервного, образованного русского человека». Вторая часть рассказа показалась Легра скомканной, по сравнению с началом, которое «было довольно широко рассказано». Но для того, чтобы писать роман, Чехов, с точки зрения Легра, должен «изменить значительно свою манієре, и писать уже не только мелкими, чудно выработанными фразами», а «больше участвовать» в описываемом. По словам Легра, Чехов-новеллист является «жестоким наблюдателем», в романе же надо наблюдать жизнь «с любовью» (ГБЛ).

7 июля 1898 г. Р. Лонг писал Чехову из Лондона: «Если бы Вы дали согласие на перевод Ваших произведений, я предлагаю перевести „Палату № 6“, „Мужиков“, „Черного монаха“ и некоторые рассказы...» (Н. А. Алексеев. Письма к Чехову от его переводчиков. — «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 2, стр. 105).

В 1903 г. в Англии вышел сборник «„Черный монах“ и другие рассказы» («The Black Mouk and Other Tales») (см. А. Л. Т о в е . Переводы Чехова в Англии и США. — «Филологические науки», 1963, № 1, стр. 145). Этот сборник впервые серьезно познакомил англичан с творчеством Чехова. Одновременно с Лонгом журнал «Review of Revieng» в 1898 г. запрашивал Чехова о переводе и выпуске в свет желательных для издания повестей и рассказов, в том числе и «Черного монаха» (ГБЛ).

Переводчица Е. Конерт писала Чехову в 1896 г. о том, что она познакомилась с его рассказами. В особенности ее внимание привлек «Черный монах», и она просила разрешения перевести его на немецкий язык (ГБЛ).

А. Г. Константиноиди уведомлял Чехова 29 сентября 1900 г., что редакция одного греческого журнала, «желая представить своим читателям произведения современной русской литературы в греческом переводе»,

обратилась к нему с просьбой «выбрать таковые из самых талантливых и выдающихся писателей современной России». Константииниди у Чехова перевел «Черный монах», «Пассажир 1-го класса», «Произведение искусства» и «Скрипка Ротшильда» — «в полной уверенности, что греческая читающая публика оценит по достоинству» эти рассказы (ГБЛ).

Посылая свой перевод «Черного монаха» на чешский язык, Елизавета Била писала Чехову 6 мая 1896 г.: «Мне особенно хочется ознакомить нашу публику с вашими произведениями. Пока я перевела для разных чешских газет почти все рассказы из вашей книжки („Орден“, „Детвора“ и др.) и „Черного монаха“» (ЛН, стр. 749).

Стр. 230. ...запел тихо:

*Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...*

— Слова из арии Гремина в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878 г., либретто П. И. Чайковского и К. С. Шкловского).

Стр. 232. ...разучивали известную серенаду Брага. — «Серенада (Валахская легенда)» итальянского композитора Гаэтано Брага (1829—1907).

Стр. 235. ...прочти сначала статью Гоше — В конце 80-х — начале 90-х годов были изданы «Руководство к прививке древесных и кустарных растений». Сост. по сочинениям Гоше (М., газета «Сад и огород», 1889) и книга Н. Гоше «Руководство к плодоводству для практиков». Пер. с нем. с изменениями и дополнениями относительно России. Ч. 1—2 (СПб., А. Ф. Девриен, 1890).

Стр. 242. ...в дому Отца Моего обители многи суть. — Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 2.

Стр. 247. Незаметно подошел Успенский пост — с 1 по 14 августа старого стиля.

Стр. 248. И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. — Легенда о Поликрате изложена в «Истории» Геродота — см. Геродот. История в 9-ти книгах. Т. I. М., изд. А. Г. Кузнецова, 1888, стр. 237—241, 280—283.

И апостол говорит: постоянно радуйтесь. — «Всегда радуйтесь» — слова апостола Павла из первого послания к солонянам (тоже фессалоникийцам). — «Новый завет», гл. 5, ст. 16.

Стр. 250. Под Ильин день — 20 июля по старому стилю.

Стр. 253. ...я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. — Евангельское сказание об избииении младенцев царем Иродом в Вифлееме (Евангелие от Матфея, гл. 2, ст. 16—19).

П Ь Е С Ы

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

Впервые — «Слово». Сборник второй. Под ред. М. П. Чеховой. Книгоиздательство писателей в Москве, 1914, стр. 37—46.

В основу одноактного этюда положен рассказ 1886 г. с тем же заглавием. Видимо, пьеса осталась незавершенной. На это указывает также черновой вид рукописи, сокращения слов в тексте, отсутствие в конце обозначения «Занавес», которое всегда проставлялось Чеховым в рукописях законченных пьес. По сравнению с рассказом в этюде расширена сцена игры «в доктора», которая становится фактически кульминацией пьесы. Рассказ заканчивался сценой опознания в прокуроре обманутого мужа. Этюд, в отличие от рассказа, обрывается не завершенной в смысловом отношении репликой мужа, в которой он благодарит мнимого доктора.

Интрига пьесы заключается в том, что один из героев, желая завести мимолетный роман с молодой женщиной, аттестует себя доктором, не являясь таковым. Зиночка кажется жертвой, а мнимый доктор Зайцев — обольстителем. Однако на деле жертвой опытной кокетки окажется тот, кто мнит себя покорителем сердец. Гендерные роли героев в

пьесе оказываются перевернутыми. См.: Кубасов А.В. Гендерлект в драматическом этюде А.П.Чехова «Ночь перед судом» // Уральский филологический вестник. Русская классика: динамика художественных систем. 2018 № 4. С. 77-87.

Стр. 225-226. *Тут ничего нет такого особенного, тем более... тем более, что я доктор, а доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь...* — Объяснение, почему Зайцев называет себя доктором, дает импульс для развертывания интриги.

Стр. 228. *Гусев (в дверях). Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор!* — Отсутствие стеснения перед доктором законное поведение пациентов. Ср. в «Случае из практики»: «Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать» (10, 77).

Стр. 229. *Позвольте ваш пульс! (Шукает пульс.) Гм... М-да... Пауза. Что вы смеетесь? Зиночка. Вы не обманываете, что вы доктор?* — Опытная Зиночка различает, когда за руку ее берет доктор, а когда мужчина. Пауза передает замешательство Зайцева, не знающего, что сказать про пульс. Смеховая реакция Зиночки на действия Зайцева дана отраженно не с помощью ремарки, а в виде вопроса героя.

Стр. 230. *Зайцев. Котеночек мой... (Целует.) Финтифлюша... (Увидев входящего Гусева.) Еще один вопрос: когда вы больше кашляете, по вторникам или по четвергам?* — После фактического согласия Зиночки на интрижку и установленного взаимопонимания Зайцев уже с легкостью меняет ролевое поведение. Его «врачебный вопрос», несмотря на явный алогизм, правильно понимается героиней и на него дается адекватный ответ — *Зиночка. По субботам...* — Фактически это назначение дня свидания.

Стр. 230. *Зайцев. Сейчас я протишу... (Вырывает из станционной книги клочок бумаги, садится и пишет.) Sic transit... две драхмы... Gloria mundi... один унций... Aquea destillatae... два грана... Вот будете принимать порошки, по три порошка в день...* — Условный рецепт мнимого доктора.

Сноски

Сноски к стр. 311

¹ Условные сокращения — см. т. XIII, стр. 337.

Сноски к стр. 315

¹ Неточность: последний рассказ написан позднее. В 1888 г. в «Северном вестнике» была напечатана еще повесть «Огни».

Сноски к стр. 364

¹ Остальные примечания к пьесе см. в т. XI, где помещена ее ранняя редакция.

ЧАЙКА

Впервые — «Русская мысль», 1896, № 12, стр. 117—161. Подпись: Антон Чехов.

Включено с изменениями в сборник «Пьесы» (1897).

Вошло в издание А. Ф. Маркса (1901; повторено во втором издании тома «Пьесы», 1902).

Сохранилась машинописная копия, представленная в цензуру, с вычерками и заменами в тексте (для цензуры). Надпись: «Разрешено 20 августа. И. Литвинов. К представлению дозволено. За цензора драматических сочинений Ив. Шигаев. 20 авг. 1896» (ЛГТБ).

Печатается по тексту: Чехов, т. VII₁, стр. 141—202, с восстановлением мест, исключенных или измененных по цензурным соображениям:

Стр. 7, строки 28—29: потому что ее беллетристу может понравиться Заречная — *вместо*: потому что не она играет, а Заречная.

Стр. 8, строки 31—32: но она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом — *вместо*: но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом

Стр. 9, строки 8—9: что за человек ее беллетрист? — *вместо*: что за человек этот беллетрист?

Стр. 9, строки 12—14: сыт, сыт по горло... Теперь он пьет одно только пиво и может любить только немолодых. — *вместо*: сыт по горло...

Стр. 38, строки 13—14: зачем между мной и тобой стал этот человек — *вместо*: зачем ты поддаешься влиянию этого человека

Стр. 38, строки 21—27: Я сама увожу его отсюда. Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но ты умен и интеллигентен, я имею право требовать от тебя, чтобы ты уважал мою свободу.

Треплев: Я уважаю твою свободу, но и ты позволь мне быть свободным и относиться к этому человеку как я хочу. — *место*: Я сама прошу его уехать отсюда.

Стр. 38, строки 29—30: смеется надо мной и над тобой — *место*: смеется над нами

Стр. 40, строка 25: Я сейчас увезу его. — *место*: Он сейчас уедет.

1

Замысел «Чайки», по всей видимости, уже вполне определился весной 1895 г. 5 мая Чехов извещал А. С. Суворина: «...я напишу пьесу, напишу для Вашего кружка, где Вы ставили „Ганнеле“ <Г. Гауптмана> и где, быть может, поставите и меня, буде моя пьеса не будет очень плоха. Я напишу что-нибудь странное». Ему же 21 октября 1895 г., когда пьеса была начата, Чехов сообщил: «Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу <...> вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

Сведения о дальнейшей работе — в ноябрьских письмах к Суворину: «Пьеса моя растет, но медленно. Мешают писать. Но все же уповаю кончить в ноябре» (2 ноября); «Моя пьеса подвигается вперед, пока все идет плавно, а что будет потом, к концу, не ведаю. В ноябре кончу» (10 ноября). Тогда же в письмах к Е. М. Шавровой и к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) Чехов говорил о намерении передать пьесу в Малый театр.

Актера Д. В. Гарина-Виндинга 14 ноября 1895 г. Чехов извещал: «Я уже почти кончил пьесу. Осталось работы еще дня на два. Комедия в 4 действиях. Называется она так: „Чайка“». В письме к Шавровой 18 ноября — свидетельство о завершении работы: «Пьесу я кончил <...> Вышло не ахти». О том же 21 ноября 1895 г. Чехов известил А. И. Урусова и А. С. Суворина. «Начал ее forte и кончил pianissimo, — говорилось в письме Суворину, — вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен». Там же он замечал, что «это еще только остов пьесы, проект, который до будущего сезона будет еще изменяться миллион раз». Ставить пьесу, таким образом, предполагалось в «будущий сезон», т. е. осенью 1896 г.

По I и II записным книжкам Чехова прослеживаются некоторые моменты творческой истории «Чайки».

Первые заготовки к пьесе относятся к образам второстепенных персонажей. Это характерные словечки, выражения, пословицы, комически перепутанные изречения: «De gustibus aut bene aut nihil», «Попали в запендю» (*Зап. кн. II*, стр. 11). Самая ранняя заметка, вошедшая затем в пьесу — слова о Локидине (впоследствии — Дорне): «Локидин кутил и много ухаживал, но это не мешало ему быть прекрасным акушером» (*Зап. кн. I*, стр. 37). Время записи — 1894 г. Как предположила Э. А. Полоцкая, эта запись связана с работой над повестью «Три года», откуда образ доктора Локидина-Дорна «перекочевал» в пьесу «Чайка» (см. статью «„Три года“. От романа к повести». — Сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., 1974). Вслед за набросками реплик Дорна (*Зап. кн. I*, стр. 42) и Тригорина (*Зап. кн. I*, стр. 52) появился ряд записей к образу Треплева, который, судя по записной книжке, вначале возникал в сознании автора как центральный персонаж: «Он проснулся от шума дождя» (*Зап. кн. I*, стр. 53 — фраза из треплевского рассказа, IV действие); «Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры, захватили в свои руки власть в искусстве...» (*Зап. кн. I*, стр. 54). Вначале центром пьесы был бунт Треплева против «рутинеров» в искусстве, которые дают «наивных и чистых». В дальнейшем образ Треплева утратил центральное положение, вступив в сложную систему действующих лиц.

Рядом с ним, как некий противовес высоким, оторванным от жизни треплевским мечтаньям, возникает образ задавленного заботами учителя Медведенко (*Зап. кн. I*, стр. 55). Далее наметились другие персонажи: Тригорин, Аркадина, а затем и Нина Заречная. Первая запись, относящаяся к ней: «Пьеса: актриса, увидав пруд, зарыдала, вспомнила детство» (*Зап. кн. I*, стр. 63). Так постепенно складывалась композиция пьесы: двухгодичной перерыв, после которого герои заново встречаются друг с другом и со своим прошлым.

Записи к «Чайке» весьма разнообразны: это и характерные словечки, относящиеся к второстепенным персонажам; и «ключевые» мотивы, идеи, которыми одержим герой — гневные суждения Треплева, выступающего против «круговой поруки» («у актеров и литераторов круговая порука» — *Зап. кн. I*, стр. 63). Некоторые записи представляют собой не реплики персонажей, но скорее суждения автора, например: «Треплев не имеет определенных целей и это его погубило... Талант его погубил. Он говорит Нине в финале: — Вы нашли дорогу, вы спасены, а я погиб» (*Зап. кн. II*, стр. 37).

Многое из того, что было намечено в черновых набросках, изменялось в процессе дальнейшей работы. Чехов отбросил некоторые мотивы треплевского «бунта» (*Зап. кн. I*, стр. 63). Сняты были реплики Медведенко и упоминания о нем (*Зап. кн. I*, стр. 64; *Зап. кн. II*, стр. 24).

Для уточнения и датировки отдельных моментов работы Чехова над пьесой много дает изучение реальных событий, личных впечатлений, отразившихся в пьесе. «Чайка» — «странная» пьеса, полная образной символики; и вместе с тем она тесно соприкасается с жизнью писателя, с его биографией.

Один из важных жизненных «толчков» к работе над пьесой связан с художником И. И. Левитаном. «Предтреплевиские» мотивы в его поведении, творческой натуре уже отмечались (из последних работ можно назвать статью Ю. К. Авдеева «Чехов, Лика, Левитан и „Чайка“» в сб. «Чеховские чтения в Ялте». М., 1973). Брат Чехова Михаил Павлович писал в своих воспоминаниях, что в «Чайке» в судьбе Треплева отразилась история неудачного покушения на самоубийство Левитана, жившего в имении А. Н. Турчаниновой («Антон Чехов и его сюжеты». М., 1923, стр. 121—122). С этой склонностью своего друга Левитана, отличавшегося крайней неуравновешенностью натуры, Чехов встречался и раньше (см. об этом письмо из Бабкина Н. А. Лейкину 9 мая 1885 г.). Спустя десять лет, 21 июня 1895 г., запутавшись в отношениях с А. И. Турчаниновой и ее дочерью, влюбившейся в художника, Левитан совершил очередную попытку самоубийства. Слегка раненный, он послал Чехову письмо, просил приехать; о том же писала Чехову и А. Н. Турчанинова. Чехов, уже начавший делать наброски к пьесе в записной книжке, прервал работу и 5 июля 1895 г. приехал к Левитану, проведя в имении Турчаниновой несколько дней. Вернувшись в Мелихово, Чехов сделал новые заметки к «Чайке», к образу Треплева. Поездка к Левитану и отвлекла его от работы над «Чайкой» и обогатила новыми мотивами (попытка самоубийства героя, мотив озера и др.). Работа над пьесой после июля 1895 г. стала более интенсивной.

Дополнительным толчком к работе над образом Треплева могло явиться и письмо Чехову Е. М. Шавровой, которая писала 4 марта 1895 г.: «Теперь нет, кажется, дома, где не было бы своего больного, страдающего какой-нибудь тяжелой формой нервозности, а то так все поголовно нервны» (ГБЛ).

Еще один важный мотив связан с фигурой Левитана — мотив чайки. Он впервые возник в записных книжках в пору, когда Чехов вернулся из поездки к Левитану, т. е. после июля 1895 г. (см. *Зап. кн.* I, стр. 64 — «В своих письмах она подписывалась Чайкой»). Мотив подстреленной птицы появился в письме Чехова Суворину из Мелихова 8 апреля 1892 г., где рассказывается о подстреленном в крыло вальдшнепе во время охоты Чехова и Левитана. Позднее Чехов даже собирался сделать очерк о художнике и сообщал название первой главы — «Тяга на вальдшнепов» (*ИССП*, т. XX, стр. 453—454). См. об этом: Сергей Глаголь (С. С. Голоушев). И. И. Левитан. — «Новое слово», М., 1907, кн. I, стр. 208. Близкая знакомая Левитана С. П. Кувшинникова рассказывала, как он убил чайку и потом раскаивался в жестокости («И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания». М., 1956, стр. 168—169).

Вместе с образом Треплева на страницах записной книжки чуть позже появляется учитель Медведенко: «Пьеса: учитель 32 лет, с седой бородой» (*Зап. кн.* I, стр. 55). Эту запись можно датировать сравнительно точно: 27 ноября 1894 г. Чехов сообщал в письме Суворину: «Учитель получает 23 р. в месяц, имеет жену, четырех детей и уже сед, несмотря на свои 30 лет. До такой степени забит нуждой, что о чем бы Вы ни заговорили с ним, он все сводит к вопросу о жалованьи». Речь идет об учителе школы в Талеже Алексее Антоновиче Михайлове. Его письма к Чехову можно назвать своеобразной летописью житейских бед и лишений. Многие факты, отраженные в этих письмах, по-своему преломились в пьесе. И другие учителя обращались к Чехову со своими просьбами, жалобами на тяжелую жизнь — например, талежская учительница Александра Максимовна Анисимова.

Трудно сказать, в какой момент зародился образ Нины Заречной. Первая запись к ней («актриса, увидав пруд, зарыдала, вспомнила детство») сделана после возвращения Чехова из поездки к Левитану.

Известно, что многое в судьбе Нины Заречной возводилось как к «первоисточнику» к Лидии Стахивне Мизиновой, как ее дружески называли, Лике, к ее печальному роману с И. Н. Потапенко. Сама она писала Чехову после провала александринской премьеры: «Да здесь все говорят, что и „Чайка“ тоже заимствована из моей жизни и еще что Вы хорошо отделили еще кого-то» (намек на Потапенко) (ГБЛ). На то, что в «Чайке» отразился роман Лики и Потапенко, указывала сама Мизинова в беседе с Н. Н. Ходотовым (см. его кн. «Близкое — далекое». М. — Л., 1942, стр. 201). Еще более определенно об этом писала сестра Чехова Мария Павловна («Моя подруга Лика» — «Москва», 1958, № 6, стр. 214).

Мизинова, подруга и коллега М. П. Чеховой по частной гимназии Л. Ржевской, где преподавала, говорит Чехову о своей глубокой сердечной привязанности в письмах 1892—1893 гг. (ГБЛ). Многие письма приведены в работе Леонида Гроссмана «Роман Нины Заречной» («Прометей», т. II, М., 1967). См. также кн.: Г. Бердников. Чехов. М., 1974 (гл. «Лика Мизинова»). В 1893 г. Мизинова призналась в письме Чехову, что влюблена в Потапенко. Вместе с ним она в марте 1894 г. уехала в Париж. Известный писатель, имевший жену, оставил Мизинову; у нее родилась дочка, которая вскоре умерла.

Многое из биографии Мизиновой действительно преломилось в судьбе Нины Заречной. Но не только Заречной: многолетнее мучительное чувство Лики к Чехову вызывает в памяти и другую героиню «Чайки» — Машу Шамраеву, тщетно пытающуюся побороть в себе любовь к Треплеву. На этом примере ясно видно: в

сознании художника часто происходит своеобразное «расщепление» реального лица — отражение тут не однолинейное, но скорее многоплановое.

Так «расщепился» и образ самого автора, по-своему отразившийся в Треплеве и Тригорине. Лев Толстой заметил чеховские «автобиографические черты» в образе беллетриста Тригорина (см. об этом *Дн. Суворина*, стр. 147).

О переключке во взаимоотношениях Потапенко и Лики, с одной стороны, Тригорина и Нины, с другой, заговорили еще до постановки «Чайки» (см. письмо Чехова Суворину 17 декабря 1895 г.).

Писательница Л. А. Авилова в своих посмертно опубликованных мемуарах «А. П. Чехов в моей жизни» указывает на некоторые эпизоды ее знакомства с Чеховым, которые отразились в романе Тригорина и Нины (брелок, который она подарила Чехову, с указанием на строки: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее»), своеобразный ответ Чехова и др. См. *Чехов в воспоминаниях*, стр. 234—250).

Сохранились свидетельства, что в образе Аркадиной некоторые черты напоминают актрису Л. Б. Яворскую, с которой Чехов сблизился в 1894 г. (Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Мои встречи с Чеховым и его современниками. — В кн.: А. П. Чехов. Л., 1925, стр. 228—229). Л. П. Гроссман в упоминавшейся статье «Роман Нины Заречной» показал, как переключаются тщеславие, самоупоенность Яворской и героини пьесы. Сходство тут очевидное — достаточно сопоставить слова Аркадиной о том, как ее принимали в Харькове, и письмо Яворской Чехову в марте 1895 г. с рассказом о ее театральных успехах, овациях, подношениях и т. д.

Именно Л. Б. Яворской обещал Чехов пьесу, в которой намечались черты будущей «Чайки». В письме 2 февраля 1894 г. она ему напоминала: «Надеюсь, Вы помните данное мне обещание написать для меня одноактную пьесу. Сюжет Вы мне рассказали, он до того увлекателен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пьеса будет называться: „Грезы“. Это отвечает заключительному слову графини: „Сон!“» (*ГБЛ*, частично приведено в *Летописи*, стр. 356. Ср. конец II действия «Чайки» с репликой героини «Сон!»).

Можно предположить, что в образе Аркадиной могли отразиться и некоторые черты актрисы Суворинского театра Людмилы Ивановны Озеровой (см. письмо Чехова Суворину 5 мая 1895 г., где он выражает желание посмотреть ее на сцене и познакомиться). Позднее он запишет о ней в дневнике: «Актриса, воображающая себя великой, необразованная и немножко вульгарная» (запись 22 февраля 1897 г.). Л. Озерова не раз подчеркивала свою причастность к чеховской «Чайке». 27 февраля 1897 г. она писала: «Не могу передать Вам того впечатления, которое произвела на меня *наша* Чайка» (*ГБЛ*). Обращения Озеровой к Чехову в письмах («Единственный!») напоминают слова Аркадиной, обращенные к Тригорину («Ты единственная надежда России»).

Приведенные примеры, относящиеся по большей части к 1894—1895 годам, конечно, не исчерпывают всего материала — жизненных фактов и впечатлений, — отразившегося в «Чайке».

2

Закончив в ноябре 1895 г. «Чайку», Чехов послал рукопись из Мелихова в Москву для перепечатки на ремингтоне. 1 декабря 1895 г. Суворина он извещал: «...свою пьесу я давно уже послал в Москву, и о ней ни слуху, ни духу». Приехав в Москву, Чехов 6 декабря решил послать Суворину автограф, вновь говоря о возможности «самых коренных изменений»: «Если бы экземпляр был печатный, то я попросил бы дать прочесть и Потапенке». Но на другой день пьеса была перепечатана, и Суворину был отправлен машинописный текст.

В начале 1896 г. пьеса переделывалась. «Я вожусь с пьесой. Переделываю», — писал Чехов брату Александру Павловичу. 15 марта новая рукопись была передана в цензуру. 8 апреля Чехов просил Потапенку вернуть черновой экземпляр (вероятно, тот, что был послан в декабре Суворину): «Что и как моя пьеса? Если черновой экземпляр освободился, то пришли мне его заказною бандеролью». Потапенко выполнил просьбу: «Посылаю черновую», — сообщал он в одном из недатированных (относящихся к апрелю 1896 г.) писем (*ГБЛ*).

Получив эту рукопись, Чехов, по всей видимости, уничтожил ее, как делал это со всеми своими черновиками.

Цензурная история пьесы длилась несколько месяцев. Хлопоты о ее прохождении через цензуру вел Потапенко. 21 мая 1896 г. он писал Чехову из Карлсбада: «С твоей „Чайкой“ произошла маленькая история. Сверх всякого ожидания она запугалась в сетях цензуры <...> Твой декадент индифферентно относится к любовным делам матери, что по цензурному уставу не допускается» (*ГБЛ*). Потапенко просил Чехова разрешить ему сделать изменения для цензуры: «Если хочешь поручить мне зачеркнуть или вставить два-три слова, то я сделаю это в июле, когда приеду в Петербург» (там же). Чехов не отвечал, и Потапенко 26 мая повторил вкратце содержание предыдущего письма, а 28 июня вновь спрашивал, дается ли ему право изменить два-три слова в «Чайке», чтобы она прошла цензуру (*ГБЛ*).

В. А. Крылов, беседовавший с цензором И. Литвиновым по поводу «Чайки», сообщил Чехову 11 июля о готовности цензора прислать пьесу автору, чтобы он «сам вычеркнул или изменил места», кажушиеся «сомнительными».

Литвинов в письме к Чехову изложил свои требования следующим образом: «Я отметил синим карандашом несколько мест, причем считаю нужным пояснить, что я имел в виду не столько самые выражения, сколько общий смысл отношений, определяемых этими выражениями. Дело не в сожительстве актрисы и литератора, а в спокойном взгляде сына и брата на это явление. В цензурном отношении было бы желательно совершенно не упоминать об этом вопросе, но если с художественной точки зрения Вам необходимо охарактеризовать отношение Тригорина и Треплевой, надеюсь, Вы это сделаете так, что цензурная санкция явится беспрепятственно» (*ГБЛ; Летопись*, стр. 419). Режиссеру Е. П. Карпову «подозрительные места» в «Чайке», которые прочел ему Литвинов, показались «невинной грудного младенца» (*Летопись*, стр. 417).

15 июля Главное управление по делам печати возвратило Чехову экземпляр «Чайки» с цензорскими пометами «для исправления указанных в оной местах». 29 июля в письме к старшему брату Чехов заметил: «Пьеса ни птррру, ни ну, цензуры ради. Хорошего мало». Наметив изменения, Чехов выслал «свою злополучную пьесу» 11 августа в Петербург Потапенко с тем, чтобы тот «снес или сvez ее Литвинову и дал бы ему надлежащие объяснения».

Информируя своего ходатая о возможных изменениях, Чехов наметил допустимые сокращения в случае, если этого потребует Литвинов: «На странице 4-й я выбросил фразу „открыто живет с этим беллетристом“ и на 5-й „может любить только молодых“ <...> На странице 5-й в словах Сорина: „Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек ее беллетрист?“ можно зачеркнуть слово *ее*. Вместо слов (там же) „Не поймешь его. Все молчит“ можно поставить: „Знаешь, не нравится он мне“ или что угодно, хоть текст из талмуда <...> или слова: „В ее годы! Ах, ах, как не стыдно!“ <...> На <...> 37 странице можно вычеркнуть слова Аркадиной: „Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но“. Вот и все. Подчеркнутые места зри в синем экземпляре <...> Наклеить придется по одному листку в каждом экземпляре на 4-й стр. На 5-й же и на 37-й только зачеркивай». В этот же день в письме к М. О. Меньшикову Чехов заметил: «Написал пьесу, в которую одним когтем вцепилась цензура».

Сам Чехов не считал нужным изменять текст, так как, с его точки зрения, «видно прекрасно по <...> тону» Треплева, «что сын против любовной связи» Аркадиной: «На опальной 37 странице он говорит же матери: „Зачем, зачем между мной и тобой стал этот человек?“». Но произведя правку в угоду цензуре и все-таки опасаясь, что пьеса может быть не пропущена, он уведомлял Потапенко при отсылке ему «Чайки»: «С своей стороны я подчеркнул зеленым карандашом то, что можно зачеркнуть и что, если статья на точку зрения цензора, наиболее зловредно».

Совершенно очевидно, что Чехов испытывал внутреннее сопротивление цензурному вмешательству, сам до конца не осуществил нужной правки текста и многие места лишь подчеркнул для сокращения. В том же письме от 11 августа он даже просил Потапенко: «Если изменения, которые я сделал на листках, будут признаны, то приклей их крепко на оных местах <...> Если же изменения сии будут отвергнуты, то наплой на пьесу: больше нянчиться с ней я не желаю и тебе не советую». Однако Чехов предоставлял Потапенко право, в случае необходимости, внести в рукопись некоторые поправки: «Впрочем, поступай, как знаешь».

Предложенная Чеховым правка и «надлежащие объяснения» не удовлетворили цензора Литвинова. Потапенко воспользовался данным ему Чеховым правом и внес свои исправления в текст. По его свидетельству, это было вызвано тем, что «цензор желал не совсем того, как понял» Чехов. Он требовал, чтобы «Треплев совсем не вмешивался в вопрос о связи Тригорина с его матерью и как бы не знал о ней, что и достигнуто этими переменами. Теперь пьеса пропущена». О характере своей правки Потапенко сообщал Чехову в этом же письме от 23 августа 1896 г.: «Пьеса твоя претерпела ничтожные изменения. Я решился сделать их самовольно, так как от этого зависела ее судьба, и притом они ничего не меняют. Упомяну о них на память. В двух местах, где дама говорит сыну про беллетриста: „Я его увезу“, изменено: „он уедет“. Слова: „Она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом“ заменены: „Она ведет бесполовую жизнь, вечно носится с этим беллетристом“; слова: „теперь он пьет одно пиво и может любить только немолодых“ заменены: „теперь он пьет одно пиво и от женщин требует только уважения“ и еще две-три самых незначительных перемены» (*Записки ГБЛ*, вып. VIII, стр. 55).

В цензурной рукописи, сохранившейся в *ЛГТБ*, исправления сделаны не рукою Чехова и не Потапенко. Поправки перенесены, вероятно, писцом с другого экземпляра, находившегося непосредственно у цензора и у писателей. Но они почти полностью соответствуют указаниям в письмах Чехова и Потапенко.

Изменения текста «Чайки» для цензуры не исказили общего идейного замысла, но они не были столь «ничтожны», как их характеризовал Потапенко. С художественной точки зрения в доцензурной редакции: 1) в более непривлекательном свете рисуются Аркадина. Тригорин и их отношения; 2) усугубляется переживаемая Треплевом драма; 3) реплики Аркадиной («Я сама увожу его отсюда» и др.) корреспондируют между собою и с

репликой Тригорина. Правка текста в соответствии с цензурными требованиями привела к некоторому смягчению конфликта Треплева с Аркадиной, к несколько одноплановому выражению причин их столкновения.

Чехов настойчиво подчеркивал, что «сын против любовной связи», причем, хотя это «видно прекрасно по его тону», он считал нужным сохранить открытую форму неприятия сыном отношений его матери с беллетристом. Треплев не приемлет не только искусства Аркадиной и Тригорина, но также их образа жизни, их житейской нравственности. С этой точки зрения он спорит с ними, отстаивая свои эстетические взгляды, и осуждает их. Отсюда, по выражению Аркадиной, «постоянные вылазки» и «шпильки» против нее со стороны сына, для которого — «наслаждение» говорить ей «неприятности». Поэтому в общем контексте I и III действий и пьесы в целом идейно-художественное значение имеют не только высказывания о театре, спор по поводу пьесы Треплева (I д.) и вопросам искусства (III д.), обнажающие идейные позиции героев, их сложные взаимоотношения, но и его реплики об Аркадиной («Скучает, ревнует, она уже и против меня, и против спектакля и против моей пьесы, потому что ее беллетристу может понравиться Заречная»; «Она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом») и о Тригорине («Он уже знаменит и сыт по горло... Теперь он пьет одно только пиво и может любить только немолодых»).

В III акте в сцене Треплева с Аркадиной главным предметом спора остаются опять-таки вопросы искусства и причиной столкновения — расхождения во взглядах на него. Но в основе внутреннего действия — глубочайшие переживания Треплева, потерпевшего крушение своих надежд — провал пьесы, разрыв с Ниной, что приводит героя к душевному надлому: «Я уже не могу писать... пропали все надежды». Драматизм сцены Треплева с Аркадиной усиливается внутренней болью героя, вырывающейся наружу: «Только зачем, зачем между мной и тобой стал этот человек!», и его неожиданно раздражительная реакция на замечание Аркадиной о Тригорине приобретает более сложную внутренне-психологическую мотивировку, когда мать заявляет: «Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но ты умен и интеллигентен, я имею право требовать от тебя, чтобы ты уважал мою свободу», на что Треплев отвечает: «Я уважаю твою свободу, но и ты позволь мне быть свободным и относиться к этому человеку, как я хочу». Все эти реплики (в I и III актах) даются в общем ключе шекспировских цитат из «Гамлета» (которыми обмениваются мать и сын в начале действия), вводящих в нравственно-философскую проблематику пьесы.

После того, как цензурные исправления были внесены и «Чайка» игралась на сцене Александринского театра (17 октября 1896 г.), пьеса появилась в «Русской мысли» (декабрь) в своей доцензурной редакции: все измененные для цензуры места Чехов восстановил. Процесс переработки рукописи для печати убеждает в том, что Чехов не стремился сгладить противоречия между матерью и сыном, «обелить» Аркадину и Тригорина, затушевать их отношения.

В суворинском издании 1897 г. «Чайка» появилась в измененном для цензуры варианте; иначе и не могло быть, т. к. сборник печатался с пометой: «Все означенные здесь пьесы безусловно дозволены цензурою к представлению». То же относится и к VII тому с пьесами, изданному А. Ф. Марксом в 1901, 1902 годах. Даже и в измененном цензурой варианте «Чайка» запрещалась на сцене народных театров.

После столкновений с драматической цензурой Чехов опасался за судьбу «Чайки» и в Театрально-литературном комитете. 11 июля 1896 г. он писал Суворину: «Теперь, значит, очередь за Комитетом. Пожалуй, и этот еще придерется».

Потапенко содействовал прохождению «Чайки» и в Комитете. Он сообщал Чехову: «Если Всеволожский будет в Петербурге, то я добьюсь надписи „прочитать вне очереди“, тогда она будет готова в начале сентября. Если его не будет, то она попадет в очередь, и это несколько замедлит ход. Думаю, что Григоровича в сентябре в Петербурге не будет. Если ты желаешь, чтобы пьеса читалась в Комитете в его присутствии, то напиши мне об этом» (ГБЛ).

Театрально-литературным комитетом (в составе А. А. Потехина, П. И. Вейнберга и И. А. Шляпкина) «Чайка» была пропущена 14 сентября 1896 г. «Протокол» отражает критический отзыв Комитета, где отмечено, что чеховская пьеса, наряду с некоторыми достоинствами (обрисовка с тонким юмором образов Медведенко, Сорина, Шамраева, истинный драматизм нескольких сцен), «страдает и существенными недостатками»: «Уже „символизм“, вернее „ибсенизм“ <...>, проходящий красною нитью через всю пьесу, действует неприятно». Здесь же указано на неудачи в характеристиках Треплева, Аркадиной, Тригорина, Маши, Дорна. Чехова упрекали в «небрежности или спешности работы», которые будто бы привели к важным недостаткам сценического построения пьесы в целом и в отдельных частностях: «...несколько сцен как бы кинуты на бумагу случайно, без строгой связи с целым, без драматической последовательности» («Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского). М. — Л., 1938).

Не позднее 7 октября 1896 г. Чехов передал для напечатания отдельным сборником в издании Суворина свои пьесы, в том числе и «Чайку».

В приобретении для журнала новой пьесы Чехова глубоко был заинтересован В. М. Лавров. В письме (от 20 октября 1896 г.) он настаивал на разрешении напечатать «Чайку» в «Русской мысли» (*ГБЛ: Летопись*, стр. 435). Чехов отвечал 1 ноября: «...печатать пьесу в „Русской мысли“ я не стану <...> пьеса для журнала не годится. Скучно читать <...> В „Русской мысли“ я хочу быть только беллетристом».

Однако по настоянию редакторов журнала Чехов согласился поместить «Чайку» на страницах «Русской мысли». 29 октября 1896 г. В. А. Гольцев послал автору корректуру пьесы и писал ему: «Давно не читал ничего с таким глубоким удовольствием, как „Чайку“» (*Летопись*, стр. 438).

Остро переживая провал премьеры «Чайки» в Александринском театре, Чехов на следующий день просил Суворина: «Печатание пьес приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду».

Публикация сборника в типографии Суворина затянулась. 2 декабря Чехов писал издателю: «Мои пьесы печатаются с изумительной медленностью <...> Мне присылают корректуру по таким маленьким кусочкам <...> Остались еще не набранными две большие пьесы: известная Вам „Чайка“ и не известный никому в мире „Дядя Ваня“». В письме от 7 декабря Чехов просил Суворина не спешить с набором «Чайки», т. к. она будет напечатана сначала в «Русской мысли». В типографию Суворина прочитанная корректура «Чайки» была отослана 18 января 1897 г., и в мае этого года сборник «Пьесы» появился в свет. Затем «Чайка» вошла в VII том собрания сочинений издания А. Ф. Маркса 1901 г. и в повторное издание этого тома (1902).

Поскольку представленная в драматическую цензуру рукопись сохранилась, можно достоверно судить о характере авторской правки при публикации пьесы.

Чехов испытывал трудности из-за отсутствия достаточного количества экземпляров текста. 29 ноября 1896 г. он сообщал Г. М. Чехову: «Моя „Чайка“ нигде еще не была напечатана. Был у меня один рукописный экземпляр, но я отослал его в Киев, где пьеса имела большой успех»⁴.

При подготовке пьесы к печати для «Русской мысли» Чехов подверг текст значительной переработке. Были сделаны прежде всего многочисленные сокращения отрывков диалогов, отдельных реплик и слов. Наиболее существенные сокращения касались сведений бытового характера, чаще всего повторявших какой-либо мотив или детализировавших обстановку. Так, в I действии были изъяты слова Медвенко: «Вчера за мукой посылать, ищем мешок, туда-сюда, а его нищие украли. Надо было за новый 15 копеек давать». Сокращены разговоры между Машей, Треплевым и Сориним о просе в амбаре, о собаках в усадьбе; о нехватке лошадей, отправленных на мельницу. В ответе Шамраева Сорину, почему нет лошадей для поездки Аркадиной в город, сняты слова — объяснение: «Вы сказали: выездная? Так подите же, поглядите: Рыжий хромает, Казачку опоили».

Во II действии не включен в журнальный текст пространный рассказ Полины Андреевны о бесхозяйственности Шамраева. Характеристика Шамраева как управляющего в более сжатой форме теперь дается самим Сориним в III действии.

В монологе Полины Андреевны вместо этого рассказа после слов «Он и выездных лошадей послал в поле» в журнальном тексте появилась эмоционально-напряженная реплика: «И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболела: видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (*Умоляюще*)», после чего естественно и психологически мотивировано ее обращение к Дорну: «...возьмите меня к себе... хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать». В рукописи ее монолог завершался словами: «Двадцать лет я была вашей женой, вашим другом... Возьмите меня к себе». Чехов вычеркнул эти завершающие фразы и вместо них ввел ремарку — «Пауза», создавая тем самым глубокий психологический подтекст.

В монологе Нины о чувствах и поведении знаменитых людей снято указание на то, что портреты Тригорина продаются «по рублю».

В IV действии переработан диалог Медвенко и Дорна; из их беседы о городах за границей вычеркнуты вопрос Медвенко о стоимости там писчей бумаги и ответ доктора: «Не знаю, не покупал».

Некоторые факты биографического порядка, рассказанные самими героями, также не вошли в печатный текст. Например, в начале II действия сообщение Маши: «Моя мама воспитывала меня, как ту сказочную девочку, которая жила в цветке. Ничего я не умею». Или воспоминание Сорина (в его диалоге с Треплевым о литераторах — I действие) о том, что «лет десять назад» и он напечатал статью «про суд присяжных» и что «28 лет прослужил по судебному ведомству», о чем «как-то не того, не думается... (*Зевает*)». Отказавшись от этого воспоминания, Чехов перенес сведения о 28-летней службе по судебному ведомству в беседу Сорина с Дорном (II действие) с несколько иной эмоциональной их окраской: Сорин 28 лет прослужил и «еще не жил».

Сокращены сцены, где чувства выражались слишком открыто. Например, диалог Полины Андреевны и Шамраева в I действии, после рассказа Аркадиной о деревенском времяпровождении «лет 10—15 назад», когда «кумиром всех» был доктор Евгений Сергеевич.

В сцене Полины Андреевны с Дорном во II действии сняты ее упреки доктору, что он «опять все утро провел с Ириной Николаевной» и ее слова: «Но знайте, что это мучительно. Бывайте с женщинами, но по крайней мере так, чтобы я этого не замечала»; соответственно исключены и реплики Дорна: «Надо же мне с кем-нибудь быть», «Постараюсь».

В конце IV действия Чехов совсем отказался от сцены: Полина Андреевна ревнует Дорна к Аркадиной и прямо говорит об этом.

Устранены диалоги, реплики, замедлявшие ход действия. В I акте во время споров о провалившейся пьесе Треплева, когда спектакль был им прекращен, из-за занавеса выглядывала Нина, спрашивая, не будет ли продолжения, на что следовал ответ Аркадиной: «Автор ушел. Должно быть конец. Выходите, милая, к нам». Со словами «Сейчас» Нина скрывалась. В печатном тексте этой сцены нет. Во II действии Нина выполняла просьбу Маши и читала большой отрывок из пьесы Треплева — тот же, что и в I акте (до слов «Холодно, холодно»). В журнальной редакции на просьбу о чтении она отвечает: «Это так неинтересно», и не читает отрывка. Соответственно устраняется и восклицание Маши: «Как поэтично!». Из IV акта исключены диалог Шамраева с Аркадиной об игре высокоталантливой артистки в «Убийстве Коверлей» и его нелепый «анекдот» (от которого, по выражению Дорна, «пахнет старым, поношенным жилетом»), о разговоре барышни с кавалером у открытого окна и о маменьке, боящейся, что «Дашеньке надует».

Уточнялись характеристики персонажей, их психология.

В начале II действия, комментируя прочитанный отрывок из Мопассана и проводя параллель между франуженками, которые «полонят» избранного писателя «посредством комплиментов, любезностей, угождений», и русскими женщинами, влюбляющимися «по уши», без всякой «программы», Аркадина живописно рассказывала о своих искренних чувствах к Тригорину. Чехов изъясил этот рассказ. Но в сцене объяснения Ирины Николаевны с Тригориним (III д.), после каскада комплиментов и фимиамов ему как талантливому писателю, введена ремарка: «про себя» и слова Аркадиной: «Теперь он мой». Излияния Аркадиной — обдуманная «программа» с целью одержать победу над соперницей.

Во II действии изменена сцена ссоры Аркадиной с Шамраевым из-за выездных лошадей, сняты реплики Сорина и Дорна, где Сорин мог показаться заинтересованным в делах имения.

Изменилась обрисовка образа Медведенко, который первоначально представлял в несколько окарикатуренном виде. Частично исключены повторы — сетования учителя на бедность, бесконечные разговоры о деньгах, отдельные «философствования» и проявления «учености», воспринимавшиеся окружающими иронически.

Изъят пространный диалог между Медведенко и Дорном о круге чтения учителя. По определению Дорна, Медведенко читает «только то, чего не понимает» — Бокля да Спенсера, а знаний у него «не больше чем у сторожа»; по его представлениям — «сердце сделано из хряща, земля на китах», на что учитель возражал: «Земля круглая», а Дорн, продолжая подтрунивать, спрашивал: «Отчего же вы говорите это так неуверенно?» Медведенко, «обидевшись», отвечал: «Когда есть нечего, то все равно, круглая земля или четырехугольная». По той же причине вычеркнут отрывок их диалога в I действии о Ломброзо и реплика Медведенко: «И прежде чем Европа достигнет результатов, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий».

Существенно переработана сцена Аркадиной с Сориним в III акте — разговор о причинах, почему стрелялся Треплев. Беседа брата и сестры происходила сначала в присутствии Медведенко, который, ни к кому не обращаясь, рассуждал о том, как «выгодно» купил сено учитель из Телятьева, а затем, осматривая звезду у Сорина, замечал: «Я тоже получил медаль, но лучше бы денег прислали». Все это удалено в печатном тексте.

В том же I действии сокращен диалог Маши и Тригорина, опущены, в частности, ее слова о «доброй улыбке» Тригорина.

Существенно сокращены разговоры Тригорина с Ниной (конец II действия) о сущности искусства, о месте писателя в жизни, о вдохновении, о славе; вычеркнуты ремарки «конфузливо», «смутившись» — так реагировал Тригорин на восторженные слова Нины.

Первоначально Тригорин говорил Нине: «Каким успехом? Я никогда не испытывал удовлетворения и никогда не нравился себе». Чехов убрал слова: «Я никогда не испытывал удовлетворения», заменив их: «Я люблю себя как писателя», а в конце «я никогда не нравился себе» повторил еще раз «никогда». Снят рассказ Нины о «скромности» известного писателя, на просьбу об автографе написавшего нарочно плохие стихи.

Облик Тригорина в итоге усложнялся, совмещая творческую неудовлетворенность и в то же время пресыщенность славой.

При заключительной встрече Нины с Треплевым в IV акте на сцене первоначально находился спящий в кресле Сорин, привлекавший их внимание в отдельные моменты беседы. Во время чтения Ниной отрывка из треплевской пьесы после слова «угасли» Сорин «проснулся» и «становился на ноги», а Нина по окончании чтения, убегая, «обнимала порывисто» Треплева, «потом Сорина», который (вслед за раздумьем Кости — «...Это может огорчить маму») снова «садился в свое кресло». По ремарке, перед началом декламации Нина «садится на скамеечку, накидывает на себя простыню», взятую ею «с постели». Кончив читать, она сбрасывает простыню. В печатном тексте эта сцена происходит без участия Сорина; все реплики и ремарки, связанные с ним, сняты. Исключены и указания на действия Нины с простыней.

18 октября 1896 г., на следующий день после провала «Чайки» в Александринском театре, Суворин записал в дневнике: «Сегодня был у Карпова, говорил о „Чайке“ Чехова, просил его сделать репетицию и изменить mise en scene. Написал Чехову» (*Дн. Суворина*, стр. 126). Вероятно, для дальнейших спектаклей Е. П. Карповым и самим Сувориным были сделаны в мизансценах какие-то исправления. 22 октября Чехов писал Суворину: «С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 раз».

Много изменений для печати по сравнению с рукописью внесено в ремарках. Они касались, например, декораций: при описании обстановки действия в I акте — часть парка в имени Сорина — снято указание: «На деревьях гирлянды из цветных фонарей». Соответственно этому исключены слова Треплева «Зажигайте фонари», когда он отдает распоряжения о приготовлениях к спектаклю: «И становитесь по местам. Пора».

В I акте перед обращением Треплева к теням, когда должно было начаться представление его пьесы, по обе стороны эстрады в кустах показывались «по две тени»; после слов Треплева — «...через двести тысяч лет!» — «тени кланялись и исчезали». В тексте «Русской мысли» это снято.

Изменял Чехов и костюмы персонажей. Так, в IV акте Нина приходила в дом Сорина «в пальто»: по ремарке в рукописи — Треплев «снимает с нее шляпу и пальто»; в журнальном тексте — ремарка: «Снимает с нее шляпу и тальму». В I действии при появлении Шамраева Чехов снял ремарку: «в форме отставного военного»; во II акте, когда Нина остается одна, и после ее монолога «входит» Треплев «с ружьем и убитой чайкой» — в ремарке добавлено — «без шляпы».

Чаще всего вновь введенные ремарки указывали или на состояние действующего лица (Треплев «смеется», гадая на цветке о матери «любит — не любит» — I д.; Нина в заключительной сцене с Треплевым — IV д. — «сдержанно рыдает»; в «Русской мысли» — «судорожно рыдает»); или на движение (Аркадина — «садится», отвечая Шамраеву «...откуда я знаю» — I д.); или уточняли, как произносится реплика (Дорн — «тихо») напеваает «Расскажите вы ей» — I д.; Сорин — «дразнит себя»: «и все и все такое» — IV д.).

Стилистическая правка была довольно большой по всему тексту.

В сборнике «Пьесы» (1897) текст отличается от журнального, кроме цензурных изъятий и замен (см. стр. 356), дополнительной стилистической правкой: менялся порядок слов, сокращались отдельные слова, союзы (см. варианты). Например, в I действии в словах Сорина: «...и маленьким литератором быть приятно» — перестановка — «приятно быть»; у него же: «Ирина, так нельзя, матушка» — «Ирина, нельзя так, матушка»; во II действии в речи Нины: вместо «как я вам завидую» — «как я завидую вам»; в III акте в словах Аркадиной: «Имей власть над собой» — «Имей над собою власть» и др.

Иногда Чехов исключал целые фразы: так, из реплики Сорина Треплеву об Аркадиной (I д.) — «Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери...» — изъято: «Гораций сказал: genus irritabile vatum!»

Продолжена правка ремарок, уточнявшая мизансцену, жест, мимику, интонацию героев. В I действии в журнальном тексте было: «Входят Сорин и Треплев слева» — стало «справа». В монологе Тригорина о себе как писателе (II д.) после слов «Ну-с, с чего начнем» введена ремарка «Подумав немного».

Иногда Чехов восстанавливал рукописные варианты. В конце монолога Тригорина о том, каким в молодости недружелюбным представлялся его воображению читатель (II д.), сокращенная для «Русской мысли» фраза «О, как это ужасно!» — снова была введена. Здесь же во фразе: «И так всегда, и нет мне покоя» слово «всегда» повторяется, как и в первоначальном тексте. В том же действии, в обращении Тригорина к Нине — «Меня зовут...» — включена фраза «А не хочется уезжать», с изъятием из нее по сравнению с рукописью только слова «от вас». В реплике Сорина «Он хотел сделать тебе удовольствие» (I д.) вместо «сделать» восстановлено «доставить». В его же вопросе «Это для меня?» снова введено слово «послано». В обращении Аркадиной к Тригорину вместо «Вот смотрите» — «Вот взгляните», как и в рукописи.

При подготовке издания 1901 г. в тексте были сделаны лишь небольшие изменения, почти исключительно стилистического характера. Во II действии в монологе Нины, начинающемся словами «Как странно видеть, что известная артистка плачет», исключена последняя фраза — «Это даже кажется странным». В этом же монологе вместо «удит рыбу» — «ловит рыбу». В рассказе Тригорина о своей творческой работе из фразы «каждое

мгновение помню, что меня в комнате ждет неоконченная повесть» вычеркнуто «в комнате». Здесь же во фразе «рву самые цветы и топчу корни» вставлено слово «их» («их корни»). В словах Нины Треплеву «...вы стали раздражительны, придиричивы» исключено «придиричивы». В конце II действия после слов Тригорина «...пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку» следовало: «Н и н а (*вздрагивая*). Не надо так». Эта реплика Нины снята, и т. д.

Текст 1902 г. повторил издание 1901 г.

3

Премьера «Чайки» состоялась 17 октября 1896 г. в Александринском театре в бенефис Е. И. Левкеевой. Бенефициантка в спектакле не участвовала, а должна была играть только в идущем в этот же вечер водевиле «Счастливейший день». В «Чайке» роли исполнили: А. М. Дюжикова (Аркадина), Р. Б. Аполлонский (Треплев), В. Н. Давыдов (Сорин), В. Ф. Комиссаржевская (Нина Заречная), К. А. Варламов (Шамраев), А. И. Абарина (Полина Андреевна), М. М. Читау (Маша), Н. Ф. Сазонов (Тригорин), М. И. Писарев (Дорн).

Уже с самого начала действия стало ясно, что пьеса воспринимается публикою совсем не так, как предполагали автор и постановщики. Подробное описание этого спектакля оставил его режиссер Е. П. Карпов. «В первом же явлении, — вспоминал он, — когда Маша предлагает Медведенко понюхать табак <...> в зрительном зале раздался хохот <...> „Весело настроенную“ публику было трудно остановить. Она придиралась ко всякому поводу, чтобы посмеяться <...> Нина — Комиссаржевская нервно, трепетно, как дебютантка, начинает свой монолог: „Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...“ Неудержимый смех публики... Комиссаржевская повышает голос, говорит проникновенно, искренно, сильно, нервно... Зал затихает. Напряженно слушают. Чувствуется, что артистка захватила публику. Но вопрос Аркадиной: „Серой пахнет. Это так нужно?..“ снова вызывает гомерический хохот... <...> Чудный по художественной простоте конец второго акта публика не оценила. Она, очевидно, ждала совсем иного, и разочаровалась. Третий акт доставил публике много веселья. Выход Треплева с повязкой на голове — смешок в зале. Аркадина делает перевязку Треплеву — неудержимый хохот. <...> Последняя, финальная сцена третьего акта пропадает. Шум в зале. Вызовы автора и актеров... Шиканье... Ко мне в кабинет, бледный, с растерянной, застывшей улыбкой, входит Ант. Павлович...»

— Автор провалился... — говорит он не своим голосом...» (Е. Карпов. История первого представления «Чайки» на сцене Александринского театра 17 октября 1896 г. — В сб.: О Чехове. Воспоминания и статьи. М., 1910, стр. 71—73). «В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора», — свидетельствовал сам Чехов (письмо М. П. Чехову от 18 октября 1896 г.). «Театр дышал злобой, — вспоминал он через месяц, — воздух сперся от ненависти...» (письмо В. И. Немировичу-Данченко от 20 ноября 1896 г.).

Присутствовавший на премьере Суворин записал в дневнике: «Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видел такого представления. Чехов был удручен <...> Он пришел в два часа. Я пошел к нему, спрашиваю:

— Где вы были?

— Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще семьсот лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача» (*Дн. Суворина*, стр. 125). На другой день с двенадцатичасовым поездом Чехов уехал из Петербурга. 19 октября он так объяснял в письме к А. И. Сувориной свой поспешный отъезд: «После спектакля мои друзья были очень взволнованы; кто-то во втором часу ночи искал меня в квартире Потапенки; искали на Николаевском вокзале, а на другой день стали ходить ко мне с девяти часов утра, и я каждую минуту ждал, что придет Давыдов с советами и с выражением сочувствия. Это трогательно, но нестерпимо <...> Одним словом, у меня было непреодолимое стремление к бегству»¹. Суворину, упрекавшему Чехова по этому случаю в трусости, Чехов через несколько дней писал: «Зачем такая диффамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь-честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни единого жалобного звука <...> Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему».

На другой день после премьеры все утренние петербургские газеты сообщали о провале спектакля; ночные рецензенты отмечали «грандиозность» и «скандальность» провала. «Юбилейное бенефисное торжество было омрачено почти беспримерным, давно уже небывалым в летописях нашего образцового театра скандалом, — утверждал один обозреватель. — <...> Такого головокружительного провала, такого ошеломляющего фиаско, вероятно, за все время службы бедной бенефициантки не испытывала ни одна пьеса» («Новости и Биржевая газета», 1896, 18 октября, № 288). «Пьеса провалилась... так, как редко проваливались пьесы вообще» («Сын

отечества», 1896, 19 октября, № 283)». «„Чайка“ погибла, — кратко уведомлял „Петербургский листок“. — Ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, ядовито было шиканье» («Петербургский листок», 18 октября, № 288). Подробное — по действиям — описание скандального спектакля давали «Новости и Биржевая газета»: «Уже после первого действия пьесы <...> публика осталась в каком-то недоумении <...> Идет второе действие; волнение публики усиливается; движение и шум в зрительном зале заглушают часто речи, произносимые на сцене. Опустился занавес, и уже угроза выполняется; раздается сильное шиканье <...> Дальше еще хуже: после третьего действия шиканье стало общим, оглушительным, выразившим единодушный приговор тысячи зрителей тем „новым формам“ и той новой бессмыслице, с которыми решился явиться на <...> сцену „наш талантливый беллетрист“». Четвертое действие шло еще менее благополучно: кашель, хохот публики, и вдруг совершенно небывалое требование: „опустите занавес!“ <...> Шиканье по окончании пьесы сделалось опять общим: шикали на галерее, в партере и в ложах. Единодушная публика проявила удивительное, редкое, и, конечно, этому можно только порадоваться: шутить с публикой или поучать ее нелепостями опасно...» (18 октября, № 288). Общее мнение энергично подытожил отзыв «Биржевых ведомостей», хорошо показывающий уровень и самый тон оценок спектакля: «Это не чайка, просто дичь» (Я. <И. И. Ясинский.> Письма из партера. — «Биржевые ведомости», 1896, 18 октября, № 288). Диссонансом звучал отзыв Суворина, в краткой заметке отмечавшего, что пьеса Чехова «по литературным достоинствам гораздо выше множества пьес, имевших успех» (А. С. Театр и музыка. — «Новое время», 1896, 18 октября, № 7415). На следующий день он выступил с большой статьей. «Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов, — писал издатель „Нового времени“. — Не имела успеха комедия самого даровитого русского писателя из той молодежи, которая выступила в восьмидесятых годах, и — вот причина торжества <...> О, сочинители и судьбы! Кто вы? Какие ваши имена и ваши заслуги? По-моему, Ан. Чехов может спать спокойно и работать <...> Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат, пожужжат и исчезнут. <...> За свои 30 лет посещения театров в качестве рецензента я столько видел успехов ничтожностей, что неуспех пьесы даровитой меня несколько не поразил» («Новое время», 1896, 19 октября, № 7416). Это была единственная попытка защиты пьесы (породившая многие ответные нападки на Суворина) среди откликов первых дней.

Последующие отзывы прессы, идя в том же русле, что и отклики первого дня, еще более сгустили атмосферу: «Это просто дикая пьеса и не в идейном отношении только: в сценически-литературном смысле в ней все первобытно, примитивно, уродливо и нелепо» («Новости и Биржевая газета», 1896, 19 октября, № 289). «Это туманно, дико, но на сцене еще более туманно и дико» («Сын отечества», 1896, 19 октября). «И чего только нет в этой дикой „Чайке“ <...> Нельзя же о всяком вздоре подробно говорить с нашими читателями!» («Петербургский листок», № 289, 19 октября). «Общий сумбур речей, отношений, положений и действий» («Русские ведомости», 27 октября, № 297). Этот тон объединил газеты всех направлений. Появились многочисленные пародии, юмористические фельетоны, куплеты:

«Скажу я смело —

Пожалуй, Соколом рядись,

Но Соколом летать ты, Чайка, не берись» (Иероним Д о б р ы й <С. Г. Фруг>. Ворона и Чайка. Побасенка. — «Петербургская газета», 1896, 21 октября, № 291).

В этом хоре тонули голоса, стремившиеся проанализировать и трезво оценить характер пьесы и спектакля. А. Ф. Кони 7 ноября 1896 г. писал Чехову: «„Чайка“ — произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, — жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии, — жизнь, до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен сам принять участие в происходящей пред тобой беседе» (*ГБЛ*; опубликовано в *ПССП*, т. XVI, стр. 542—543). Ал. П. Чехов послал брату записку после первого представления: «Я с твоей „Чайкой“ познакомился только сегодня в театре: это чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии, обдуманная и хватающая за сердце» (*ГБЛ*). 4 марта 1897 г. Ал. П. Чехов, посылая № 56 «Одесского листка» за 1897 г. со статьей Л. Е. Оболенского о судьбе «Чайки», отмечал: «Не твоя вина, что ты ушел дальше века» (*Письма Ал. Чехова*, стр. 334).

Из сочувственных отзывов о пьесе после ее провала можно назвать также письмо Л. И. Веселитской-Микулич от 22 октября 1896 г. («Сердце мое сильно огорчено за Вас...» — *ГБЛ*). Чехов благодарил ее в ответном письме 11 ноября. Однако раньше, 22 октября, он жаловался Суворину: «Получил письмо от незнакомой мне Веселитской (Микулич), которая выражает свое сочувствие таким тоном, как будто у меня в семье кто-нибудь умер, — это уж совсем некстати».

Следующие спектакли в Александринском театре проходили уже в другой обстановке; друзья даже пытались уверить Чехова, что пьеса идет успешно. После второго представления И. Н. Потапенко дал автору телеграмму: «Большой успех. После каждого акта вызовы...» (*Летопись*, стр. 436).

Об этом же после спектакля сообщала автору В. Ф. Комиссаржевская 21 октября 1896 г.: «Сейчас вернулась из театра. Антон Павлович, голубчик, наша ваяла! Успех полный, единодушный, какой должен был быть и не мог не быть» («В. Ф. Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней». М. — Л., 1964, стр. 58). 22 октября К. С. Тычинкин делился в письме к Чехову впечатлениями после второго спектакля «Чайки»: «Не стесняемая враждебно залой, не встречая такой помехи, как прежде, в своих партнерах, — она <Комиссаржевская> дала такую прекрасную „Чайку“, что, будь Вы здесь, Вы места лишнего от нее бы не потребовали, слова бы не поправили» (*ГБЛ*). Журналистка К. В. Назарова (псевдоним — Н. Левин) извещала Чехова 28 октября: «Я была <...> на 2-м представлении „Чайки“ и видела, чувствовала отношение публики. Пьеса понравилась; она будет, она должна нравиться, но она талантливо-смела для нашего лживо-подлого времени!» (*ГБЛ*).

Чехов писал Кони 11 ноября 1896 г., что эти письма он «читал с удовольствием». «Но все же мне было и совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи». После пятого спектакля (5 ноября 1896 г.) пьеса была снята с репертуара.

Соображения о новаторской природе чеховской пьесы содержало письмо В. Н. Аргутинского-Долгорукова от 18/30 апреля 1897 г.: «Я был в восторге от того, что Вы заявили о правах всех действующих лиц на внимание и участие со стороны зрителей — у каждого из Ваших лиц в душе происходит драма, иногда мелкая, но все же драма, о которой Вы первый из драматургов, мне кажется, заговорили громко» (*ГБЛ*).

4

В литературе о Чехове распространено утверждение, что причины провала «Чайки» прежде всего заключались в неудачной постановке Александринского театра: «Провал был неизбежен, так как вся устойчивая система художественных средств этого театра, соответствующая устойчивым же, трафаретным формам драматургии, органически была чужда художественной тенденции и материалу новой пьесы» (С. Б а л у х а т ы й . Чехов-драматург. Л., 1936, стр. 140); «да и не было в театре приемов, с помощью которых можно было бы передать настроение пьесы...» (Ю. С о б о л е в . Чехов. М., 1934, стр. 215). В качестве второй причины обычно называется то обстоятельство, что на премьере присутствовала «бенефисная» публика, явившаяся на бенефис комической актрисы Е. И. Левкеевой и ждавшая от пьесы совсем другого.

Действительно, и актеры и режиссер испытывали большие затруднения при работе с непривычным драматическим материалом. «С робостью я приступил к инсценировке пьесы, — вспоминал Е. П. Карпов. — <...> Я хорошо чувствовал, как трудно большинству актеров Александринского театра, привыкшим за последние годы играть преимущественно репертуар Викт. Крылова». (Е. К а р п о в . Указ. соч., стр. 64—67). «Несовместимость» театра и автора, обнажающая непривычность чеховской драматургии, перед которой зритель оставался один на один, без посредника, сыграла, несомненно, свою роль в разразившемся скандале. Роль свою сыграла и «бенефисная» публика, о чем говорили многие рецензенты. «Большая ошибка автора и дирекции была та, — писал, например, обозреватель одесской театральной газеты, — что эта серьезная пьеса была поставлена в бенефис г-жи Левкеевой, комической артистки. Понятно, на ее бенефис собралась публика поохотать, посмеяться, которая вовсе не была расположена смотреть что-либо серьезное...» (Н. А. Р о в с к и й . Новые веяния в драматической литературе. — «Театр», Одесса, 1897, 17 июня, № 157).

Но дело было не в «бенефисной» публике. Статьи о «Чайке» писала не она. Недостатки постановки влиятельное значение имели тоже недолгое время: меньше чем через два месяца пьеса была напечатана в «Русской мысли», а через полгода вышла в составе сборника, и понимание ее перестало зависеть от случайностей сценической интерпретации. Меж тем отзывы лишь перестали быть грубыми по тону, но мало изменились по существу. Причины коренились глубже.

В чем же видели главные недостатки пьесы ее первые рецензенты?

Многие отзывы начинались с традиционного «разбора» героев. Чеховские персонажи в него явно не укладывались. Отсюда делались выводы о том, что герои неправдоподобны, что это «коллекция пошляков, глупцов или уродов» («Русские ведомости», 1896, 27 октября, № 297), что они остаются «наполовину загадкой» для публики (там же, 1897, 3 октября, № 273). Удивление вызывали чеховские способы обрисовки персонажей при помощи повторяющихся в их речах тем, или лейтмотивов (особенно много нареканий вызвал Медведенко со своими разговорами о жалованье). Этот прием казался нарочитым и «утрированным» («Киевское слово», 1896, 14 ноября, № 3177), квалифицировался как «лубочный» («Московские ведомости», 1897, 2 января, № 2), его истоки

Н. А. Селиванов возводил к «Осколкам» («Новости и Биржевая газета», 1896, 19 октября, № 289), а А. Р. Кугель — одновременно к лейтмотивам Вагнера и немецкой оперетке («Петербургская газета», 1896, 19 октября, № 289).

Вызывали нарекания и некоторые резкие детали в характеристике персонажей — и в этом ряду прежде всего нюхающая табак Маша: «Маша <...> молода, но нюхает табак, как инвалид солдат, и пьет водку, как сапожник» («Петербургский листок», 1896, 19 октября, № 289). «С какой стати молодая девушка нюхает табак и пьет водку?» («Петербургская газета», 1896, 19 октября, № 289).

В качестве недостатка воспринималась та особенность чеховской манеры, которая позже расценивалась как одна из основных и новаторских — расчет на активность, «сотворчество» читателя; эта особенность рассматривалась как «чрезмерное требование работы фантазии не только от читателя, но и от слушателя» («Московские ведомости», 1897, 2 января, № 2).

Как слабость «сценической техники» автора расценивалась такая существенная черта чеховской драматургии, как «снижение» традиционных театральных эффектов и перенесение событий за пределы сценической площадки: «Эффект выстрела — весьма трагический момент — тоже ослаблен неуместной ложью доктора, объявляющего, что это разорвало бутылку с эфиром» (Я. <И. И. Ясинский>. Письма из партера. — «Биржевые ведомости», 1896, 18 октября, № 288). «Вообще же в них <пьесах Чехова> слишком мало действия, а то действие, которое есть, происходит где-то за кулисами» (С к р и б а <Е. А. Соловьев>. Пьесы г. Чехова. — «Новости и Биржевая газета», 1897, 10 июля, № 187).

Недоумение вызывало отсутствие в чеховской пьесе прямо обозначенных мотивировок взаимоотношений персонажей, сюжетно-фабульного движения, которое вело бы к «определенной» развязке, выражало бы «ясную» мысль. «Вся беда в том, — писал известный театральный критик А. Р. Кугель, — что г. Чехов едва ли знает, к чему он все рассказывает». Этот тезис расчленяется затем на целую серию предложенных пьесе вопросов: «Почему беллетрист Тригорин живет при пожилой актрисе? Почему он ее пленяет? Почему чайка в него влюбляется? Почему актриса скупая? Почему сын ее пишет декадентские пьесы? Зачем старик в параличе? Для чего на сцене играют в лото и пьют пиво? <...> Я не знаю, что всем этим хотел сказать г. Чехов, ни того, в какой органической связи все это состоит, ни того, в каком отношении находится вся эта совокупность лиц, говорящих остроты, изрекающих афоризмы, пьющих, едящих, играющих в лото, нюхающих табак, к драматической истории бедной чайки» («Петербургская газета», 1896, 19 октября, № 289).

В последнем отзыве уже слышится главное обвинение, которое предъявлялось Чехову-драматургу начиная с «Иванова», — наличие в его пьесах «лишних», не связанных с основными событиями персонажей, эпизодов, деталей. «На сцене толпится много лиц, почти совершенно не связанных с действием пьесы <...> Все эти лица, составляющие фон пьесы, задуманы недурно, но благодаря тому, что автор не сумел связать их с действием, остаются почти не обрисованными...» (И. А. Новая пьеса Чехова. Письмо из Петербурга. — «Новое обозрение», Тифлис, 1896, 2 ноября, № 4412). Об этом же писал обозреватель «Новостей»: «Его пьесы местами растянуты, местами в них ведутся совершенно ненужные разговоры» («Новости и Биржевая газета», 1897, 10 июля, № 187).

Подробно эти претензии современной критики к построению чеховской пьесы развернул в своей статье, посвященной киевской постановке «Чайки» (Р. З. Чинаровым в театре Н. Н. Соловцова), И. Александровский. Между сценами пьесы, писал он, «есть такие, присутствие которых нельзя ничем ни оправдать, ни мотивировать. К чему, например, понадобилась госпитальная сцена перевязки огнестрельной раны? <...> Также совсем неожиданно герои г. Чехова начинают играть в лото в четвертом акте. Автор завязал несколько интриг перед зрителем, и зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их, а герои Чехова, как ни в чем не бывало, ни с того ни с сего, усаживаются за лото! <...> Зритель жаждет поскорее узнать, что будет дальше, а они все играют в лото. Но, поиграв еще немножко, они так же неожиданно уходят в другую комнату пить чай...» («Киевлянин», 1896, 14 ноября, № 313).

Этот упрек в «ненужности» сцен и деталей повторялся во всех рецензиях в форме обвинения автора в незнании «элементарных требований сцены», «отсутствия драматического таланта» — у писателя-беллетриста. Ситуацию комментировал рецензент одесской театральной газеты: «Чехов стремится к новым формам, избегает стереотипного шаблона, и нам, которым эти формы воссалились в плоть и кровь, нам эти формы кажутся несценичными» (М. К. «Чайка». — «Театр», Одесса, 1897, 20 мая, № 131). Дело было не в «несценичности». В это привычное требование выливалось явственное ощущение чего-то принципиально нового, чему еще не было подходящего наименования. Речь все время шла — скрыто или явно — о самих принципах изображения в драме, как за несколько лет до того шел спор по сути дела об этом же по отношению к чеховской прозе. Называя пьесу Чехова рядом «снимков», Т. Полнер замечал: «Нужна не только верность и точность снимков, нужен *выбор* наиболее типичных и характерных для данного лица моментов. А г. Чехову, по-видимому, некогда заниматься таким выбором: образы теснятся у него перед глазами, одолевают его, толкают под руку, просятся на бумагу...» (Тихон П о л н е р . Драматические произведения А. П. Чехова. — «Русские ведомости», 1897, 3

октября, № 273). Легко угадывается знакомая еще по критике 80-х годов (Р. А. Дистерло, Н. К. Михайловский) мысль о «фотографичности» Чехова, «одинаковости» его отношения к явлениям разного масштаба, о том, что он не различает «мелкие» и «крупные» явления действительности.

Драматический язык Чехова был не только нов — он был труден. Насколько непросто было понять и принять его сразу и целиком, отчетливее всего видно на тех немногих положительных отзывах о «Чайке», которые появились до ее постановки в Художественном театре.

Н. Ладожский, один из первых критиков Чехова-прозаика, заканчивавший свою статью пассажем о том, что «внуки и правнуки <...> изумятся нашей слепоте» в оценке Чехова, из достоинств «Чайки» смог отметить только общее «чарующее, искреннее и трогательное впечатление при чтении», а при дальнейшем разборе повторил обычный упрек в немотивированности взаимоотношений персонажей. «В этой пьесе, — писал он, — конечно, самая большая ошибка состоит в том, что любовь восторженной Нины к дрянненскому Тригोरину, живущему на содержании у дрянной актрисы, совсем ничем не мотивирована» (Н. Л а д о ж с к и й . Пьесы Ан. Чехова. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1897, 6 мая, № 121).

Л. Е. Оболенский, также один из первых доброжелателей Чехова, отмечавший, что его ранние рассказы «обещают большой, выдающийся талант» (см. наст. изд., т. II, стр. 476—477), и упрекавший критику в неспособности «понять глубочайшую правду и значение» «Чайки», в позитивной части своей широковежательно озаглавленной статьи ограничился утверждением о «сценичности» пьесы и замечаниями о том, что «ее основная идея нешаблонна, в высшей степени оригинальна и глубока» (Л. Е. О б о л е н с к и й . Почему столичная публика не поняла «Чайки» Ант. Чехова? — «Одесский листок», 1897, 1 марта, № 56). В высшей степени комплиментарными, но тоже общими суждениями ограничился и другой рецензент — Н. А. Ровский: «„Чайка“ — новое слово в драматической поэзии, смелый, решительный шаг к простоте и правде на сцене» («Новые веяния в драматической литературе». — «Театр» (Одесса), 1897, 17 июня, № 157).

Автор самого обширного из положительных отзывов о первой постановке «Чайки» из конкретных достоинств отметил только простоту изображения («так же просто, как это делается в жизни») и «отдельные частности», которые «так художественны, новы и оригинальны <...> дышат такой простотой и искренностью, что, право, невольно забываешь несценичность „Чайки“ и вместе с автором проникаешься горьким настроением „Хмурых людей“ и „Скучной истории“ нашей жизни» (С. Т. Петербургские письма. «Чайка». — «Театрал», 1896, № 95, ценз. разр. 25 ноября, стр. 82).

На общем фоне выделялась опубликованная в «Самарской газете» (1897, 9 декабря, № 263) статья А. Смирнова «Театр душ», отметившая некоторые существенные черты чеховского драматургического новаторства. «В произведении Чехова, — говорилось в статье, — почти нет движения в обычном смысле его — как быстрого следования внешних сценических событий одного за другим. <...> Для примера пренебрежения г. Чеховым обычными аффектами и приемами можно указать на сцену смерти Треплева. Как воспользовался бы этой канвою другой драматург? Разве не обставил бы он сцену самоубийства Треплева, заметьте, финальную сцену пьесы, самыми красивыми и эффектными словами самоубийцы, прощающего с унылой землей? <...> В чеховской „Чайке“ мы видим отсутствие внешнего действия и внешних эффектов». Чехов «центр тяжести в своей драме стремился перенести с внешности вовнутрь, с поступков и событий внешней жизни во внутренний психический мир выводимых им лиц». В этом, считал А. Смирнов, пьеса Чехова близка «интроспективной» драме Р. Браунинга, его «театру душ». В других отзывах столичной и провинциальной прессы находим оценки в основном самого общего характера — о «наблюдательности» автора, «оригинальности замысла», богатстве «чувства и мысли»; чаще всего эти оценки перемежаются упреками в «несценичности».

Даже Суворин, при всем стремлении изменить уровень критических оценок пьесы и выделить ее автора из современной литературы, сделавший некоторые интересные наблюдения — о способах обрисовки героев (нет «разделения действующих лиц на известные разряды, начиная с *ingénue* и кончая благородными отцами»), о развитии фабулы («просто <...> как и в жизни у нас, без эффектов, без кричащих монологов, без особенной борьбы»), — в неуспехе пьесы, однако, видел и «долю вины» автора, его «сценической неопытности».

«Положительная» критика, таким образом, старалась или сразу отместить замечания о «несценичности», «лишних эпизодах», необычности обрисовки персонажей — или совсем обойти острые углы, ограничившись похвалами на старый лад. Когда же она все-таки касалась этих необычных сторон чеховской драмы, то сразу неудержимо сближалась с «отрицательной» критикой, повторяя те же суждения о немотивированности, нарушении «условий сцены» и т. п. и не сумев иначе оценить те черты поэтики Чехова, которые большинством уже были отмечены со знаком минус. Она тоже не смогла угадать в этом сложном для первых зрителей и читателей художественном языке черты нового литературного качества. И не лишено справедливости нарочито «простоватое» рассуждение обозревателя-псевдонима «Одесского листка» об оценке пьесы у критики и публики: «Пьеса — ошканивая одной публикой и имевшая „серьезный“ успех у другой; обруганная одними критиками — и

обласканная другими <...> Попросту говоря — и те и другие стали в тупик перед этой „новостью“, а почтенное и симпатичное имя автора комедии и боязнь „дать маху“ и опростоволоситься в оценке ее достоинств или недостатков — усугубили этот „тупик“. А черт, мол, ее знает — хорошо это или нехорошо, умно или глупо? Нероверен час — опростоволосишься...» (Н. М о с к в и ч . Театр и мораль. — «Одесский листок», 1897, 20 мая, № 131).

5

С первых же дней создания Художественного театра Вл. И. Немирович-Данченко решил осуществить постановку «Чайки», «реабилитировать» чеховскую пьесу. 25 апреля 1898 г. он сообщил Чехову о создании нового театра и просил разрешения включить в репертуар «Чайку»: «Последняя особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу» (*Ежегодник МХТ*, стр. 104).

Первый раз «Чайка» была представлена в Художественном театре 17 декабря 1898 г. Роли исполнили: Аркадиной — О. Л. Книппер. Треплева — В. Э. Мейерхольд, Сорина — В. В. Лужский, Нины — М. Л. Роксанова, Шамраева — А. Р. Артем, Полины Андреевны — Е. М. Раевская, Маши — М. П. Лилина, Тригорина — К. С. Станиславский, Дорна — А. Л. Вишневский, Медведенко — И. А. Тихомиров. Режиссеры — К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Художник — В. А. Симов.

Пьеса имела чрезвычайный успех; Чехов получил множество писем от участников спектакля, знакомых, зрителей.

«За одиннадцать лет моей службы на сцене, — писал 30 декабря 1898 г. артист А. Л. Вишневский, — таких волнений и радостей я не знаю!!!» (*ГБЛ*). «Весь театр, как один человек, с напряженным вниманием следил за ходом действия», — сообщал на другой день после премьеры, 18 декабря, Е. З. Коновицер (*ГБЛ*). Ночью после премьеры Чехову написала большое письмо Т. Л. Щепкина-Куперник: «Вас можно поздравить с редким, единодушным успехом. После третьего акта, когда всем театром начали вызывать автора, и Немирович <...> объявил, что автора в театре нет — поднялись крики: „Послать телеграмму“. Шум стоял страшный. Он переспросил: „Позвольте послать телеграмму?“ Ответом было стоголосое: „Просим! Просим!“ Это был удивительно патетический момент...» (*ГБЛ*). Подробно описывал первое представление «Чайки» в Художественном театре А. С. Лазарев (Грузинский): «С первого же акта началось какое-то особенное, если так можно выразиться, приподнятое настроение публики, которое все повышалось и повышалось. Большинство ходило по залам и коридорам с странными лицами именинников, а в конце (ей-богу, я не шучу) было бы весьма возможно подойти к совершенно незнакомой даме и сказать: „А? Какова пьеса-то?“» (29 января 1899 г. — *ГБЛ*). В. М. Соболевский, рассказывая об одном из первых представлений «Чайки», замечал в письме 1 января 1899 г.: «Публика ловила каждое слово» (*ГБЛ*).

«„Чайка“ сделалась любимой пьесой, которую все стремятся видеть, и постоянно идет с аншлагом», — писала Чехову Е. М. Шаврова 10 января 1899 г. (*ГБЛ*). И. Г. Витте сообщал Чехову 5 февраля 1899 г.: «О „Чайке“ много говорят. Говорят, например, что „Чайкою“ положено начало эры драмы, где интрига уступает место жизни и вопросам времени» (*ГБЛ*).

Насколько раздражительны, недоуменны и грубы были утренние рецензии 1896 г., настолько два года спустя они были благожелательны и почти восторженны. Почти все рецензенты противопоставляли неудаче на александринской сцене полный успех в Москве. «Пьесе Чехова, которую при ее исполнении в Петербурге постиг <...> полный провал, — писали „Московские ведомости“, — несравненно более посчастливилось в Москве. Успех у нас произведение г. Чехова имело несомненный» (1898, 18 декабря, № 348). «С чрезвычайным удовольствием» отмечали «блестящий, шумный успех» пьесы «Новости дня». «Зрительный зал с напряженным вниманием следил вчера за пьесой, с первого же действия захваченный ее глубокою, беспощадною правдою, серьезностью ее темы, жизненностью и характерностью всех ее действующих лиц, наконец, тем поэтично-скорбным настроением, каким пропитана „Чайка“, и которое так мастерски было передано на сцене Художественно-общедоступного театра. И с каждым актом интерес к пьесе и сила производимого ею впечатления все росли, отражаясь шумными рукоплесканиями в антрактах. После третьего акта стали <...> вызывать автора, а когда со сцены было заявлено, что А. П. в театре нет, публика потребовала, чтобы ему послали приветственную телеграмму, которая и отправлена Чехову в Ялту»¹ (1898, 18 декабря, № 5588). Исключением на этот раз были отрицательные отзывы («Московский листок», 1898, 20 декабря, № 353).

На самом деле спектакль, согласно свидетельствам «с той стороны сцены», шел не так уж безоблачно. Тень александринского скандала лежала на пьесе, актеры нервничали. «Самым рискованным был монолог Нины, — писал позже Немирович-Данченко. — <...> Монолог, который в первом представлении в Петербурге возбуждал

смех². <...> здесь он слушался в глубокой, напряженной тишине, захватывал внимание <...> Закрылся занавес, и случилось то, что в театре бывает, может быть, раз в десятки лет: занавес сдвинулся — тишина, полная тишина в зале...» (*Из прошлого*, стр. 151—152). Эта пауза была воспринята труппой как провал. «Занавес закрылся при гробовом молчании, — вспоминал Станиславский. — Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике <...> Кто-то заплакал. Книппер подавляла истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами» (К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Московском Художественном театре. М., 1947, стр. 23).

Второй акт прошел более спокойно, но третий — снова с большим успехом. Последнее же действие, вспоминал Н. Е. Эфрос, «еще усилило впечатление. <...> Кругом опять шумела бурная овалация. Самая полная победа „Чайки“ и Художественного театра были несомненны» (Н. Эфрос. Московский Художественный театр. 1898—1923. М. — Пг., 1924, стр. 212).

Другой тон был и у стихотворных фельетонов:

Тут нет неискреннего звука,
Потуг фальшивого ума,
Сценичной лжи... Тут жизнь сама...
Правдивый, тонкий взгляд усвоив
На сущность жизни, Чехов дал
Живых людей, а не героев,
Которым нужен пьедестал.

(L o l o <Л. Г. Мунштейн>).

Антракты. — «Новости дня», 1898, 19 декабря, № 5589).

В первый год «Чайку» сыграли 19 раз; ею был закончен первый сезон Художественного театра. После этого при жизни Чехова пьеса ставилась в театре постоянно, включая сезон 1901/1902 г. Последующие отзывы подтвердили успех пьесы. «„Чайка“ имела блестящий успех, почти небывалый», — писала «Русская мысль» (1899, № 1, стр. 164). Так же расценивался успех постановки и в критике последующих лет.

Не следует думать, что этот успех полностью переменял отношение к пьесе. Художественный язык «Чайки» и при новой ее постановке был непривычен и вызывал суждения, чрезвычайно похожие на те, что высказывались за два года перед тем.

По-прежнему очень распространено было мнение, что в пьесе — «недостаток действия и сценичности» (Сергей Г л а г о л ь . «Чайка». — «Курьер», 1898, 19 декабря, № 349), что «нельзя считать за драму ряд этих эскизов и эпизодов. Правда, все типы, отношения и действия очерчены с тем же прекрасным мастерским талантом, который известен нам из других произведений Чехова, но всему этому так же далеко до названия драмы, как фундаменту дома с воздвигнутыми вокруг него лесами до названия дома» (Ч е н к о . Три драмы А. П. Чехова. — «Новое время», 1901, 27 марта, № 9008).

Некоторые защитники Чехова, признавая отсутствие в пьесе «действия», пытались включить Чехова в традицию «с другого боку»: «Чехов хотел написать пьесу „характеров“, а отнюдь не действия, и никто его в этом упрекать не имеет права» (П. Г н е д и ч . «Чайка» г. Ан. Чехова. — «Новое время», 1899, 18 января, № 8223).

С теоретическим обоснованием невозможности такого строения пьесы, как у Чехова, с точки зрения теории драмы, выступил А. Волынский (А. Л. Флексер). «Все это превосходно в смысле литературной живописи, но для сцены всего этого мало, потому что сцена, с ее средствами <...> не должна давать одну только психологию. Она должна показывать волевою жизнь человека и связанные с этой жизнью страсти — не одну только психологию человека, а борьбу на почве этой психологии» (А. Волынский. Старый и новый репертуар. — «Прибалтийский край», 1901, 5 апреля, № 76).

Точно так же говорили о «непрясненности», эскизности изображения отношений действующих лиц: «Никто, я думаю, не станет утверждать, что отношения Треплева к Нине Заречной развиты в драматической форме так, чтобы одно вытекало из другого и чтобы можно было понять, почему отношения эти при данном положении логически должны были закончиться катастрофой. Мы видим лишь набросок этих отношений в двух-трех небольших эпизодах <...> Еще меньше разработаны отношения Нины к Тригорину: из них мы видим только два небольших эпизода, о прочем предоставляется читателю догадываться» (Ч е н к о . Указ. соч.).

Писалось и о «лишних» сценах и эпизодах; хорошо знакомы были читателю и мнения о том, что у Чехова неясно, «в какой логической связи находятся между собою» сцены и эпизоды («Московский листок», 1898, 20 декабря, № 353). А. Р. Кугель, уже в третий сезон «Чайки» и после возобновления ее в Александринском театре,

приведя большую выдержку из своей статьи 1896 г. (в частности, уже цитировавшуюся серию вопросов), подытоживал: «Вот что я писал тогда и что я готов, с небольшими поправками, повторить теперь». Поправки эти заключались, в частности, в утверждении, что в «Чайке» «отсутствие нравственного мировоззрения сказалось с особенною силою. С холодной иронической улыбкою он писал свою пьесу, и с холодным сердцем мы ее слушали...» (Н о т о . Александринский театр. — «Театр и искусство», 1902, № 48, ценз. разр. 23 ноября).

Были и высказывания, признававшие драматургическое новаторство Чехова, но отрицавшие всякое общественное значение пьесы. «Г. Чехов обошел *рутин*у драмы. Но велико ли от того *социологическое* значение „Чайки“? Здесь воспроизведены веяния времени, социальная душа, нравственное состояние умов?» — вопрошал А. Налимов, автор большой посвященной Чехову статьи «Современный драматург» («Литературный вестник», 1903, № 7—8, стр. 215).

Но в целом новая постановка, открыв в пьесе Чехова необычайно много того, что осталось не выявленным в александринском спектакле, провоцировала критику на суждения более широкие, связывающие «Чайку» с остальным творчеством автора, с проблемами драмы вообще.

В 1896 г. черты общности художественного языка прозы и драматургии Чехова почти не отмечались. Теперь об этом заговорили. Сходство находили прежде всего в «настроении», о котором давно писали критики чеховской прозы: «Г. Чехов обладает в большой степени способностью заражать читателя или зрителя своим настроением. Эта способность проявляется и в мелких рассказах <...>, и в описаниях природы, как „Степь“, и в драматических произведениях. Особенно сильно выступает она в „Чайке“. Здесь ранее, чем зритель успевает ознакомиться с действующими лицами, ранее, чем обстоятельства принимают драматический оборот, уже атмосфера тягостного беспокойства и приподнятой нервозности царит на сцене и передается зрителю» (И—т <И. Н. Игнатов>. «Чайка», драма в 4-х действиях Антона Чехова. — «Русские ведомости», 1898, 20 декабря, № 290). О «настроении» начинали говорить еще после александринского спектакля, — но еще робко и неуверенно (см. «Русские ведомости», 1897, 3 октября, № 273; «Новости и Биржевая газета», 1897, 10 июля, № 187). После премьеры у «художественников» об этом заговорили все. «„Чайка“ целиком построена, — писал И. Я. Гурлянд, — на том особом творческом приеме, когда автор ничего не доказывает, даже ничего не изображает, а пользуется всем — и словами и положениями, и всей совокупностью драматической концепции, чтобы навеять на зрителя хотя бы часть той атмосферы, которой дышит сам» (Арсений Г. Московские письма. — «Театр и искусство», 1899, № 2 от 10 января, стр. 31). «Самое существенное в ней, — категорически заявлял М. Н. Ремезов о пьесе, — настроение» («Русская мысль», 1899, № 1, стр. 167). В этой же статье отмечалась и другая черта чеховской драматургической стилистики: «Все они просто настоящие живые люди, и перед нами проходит на сцене их настоящая жизнь „точно на самом деле“». «Все как в жизни» — эта формулировка надолго — вплоть до наших дней — стала общим местом статей и книг о Чехове.

Проблема объективности чеховской манеры с той или иной ее оценкой применительно к прозе дебатировалась, начиная с середины 80-х годов. Теперь она была поставлена и в связи с его драматургией, осознаваясь как новый прием, противостоящий манере старой, в которой «писали много лет». Основную черту новой манеры обозреватель «Московского листка» видел в том, что «самого автора, его взглядов, мнений и убеждений совершенно не видно, не подсказывает он их в заглавии, не высказывает устами действующих лиц, не объясняет и развязкой; дается ряд отдельных сценок <...> а что они значат <...> что хотел сказать автор своим произведением — это предоставляется судить самому читателю или зрителю, причем автор совершенно не приходит к нему на помощь» («Московский листок», 1898, 20 декабря, № 353).

Не все наблюдения такого рода были равноценны; много было мелких, частных. Но несомненно, что интерпретация Художественного театра заставила критику впервые попытаться в целом осмыслить поэтику чеховской драматургии как явления принципиально нового.

Прежде всего был поставлен вопрос о новом типе сценичности. Зачастую вопрос этот ставился в очень «импрессионистской», туманной терминологии: «„Чайка“, собственно, вовсе не пьеса. Мне она представляется чем-то вроде „постурно“, вылившегося из-под рук талантливого композитора...» («Театр и искусство», 1899, № 2 от 10 января, стр. 30). Но вопрос был поставлен — и очень остро. Характерной с этой точки зрения является небольшая сценка, которую зарисовал Н. О. Ракшанин. Автор передает свою беседу с «известным драматургом, написавшим ряд пьес, некоторые из которых имели очень большой успех и удостоивались даже премий». «Драматург был серьезно возмущен. Казалось, чеховская пьеса поднимала в нем желчь, потревожив существенные основы его драматургического символа веры... Весь склад его воззрений разом нарушался и приемами г. Чехова, и темой его, и, наконец, несомненным успехом произведения в публике.

— Что же это такое? — спрашивал он меня, сжимая кулаки и сверкая взглядом. — До чего мы дожили и куда мы идем?.. Я не спорю, пьеса написана, действительно, талантливо и некоторые сцены поражают

захватывающим мастерством. Но смысл, смысл-то этой работы в чем — объясните мне, ради бога!..» (Н. Р о к . Из Москвы. — «Новости и Биржевая газета», 1899, 6 ноября, № 306).

Были замечены — правда, очень немногими критиками — такие существенные черты драматургического языка Чехова, как условность, символичность, элементы импрессионизма — черты, которые до сих пор входят в характеристики чеховской поэтики. Тогда же была отмечена — в отношении героев — та особенность, которая впоследствии на Западе и у нас получила название некоммуникабельности: «Между ними нет ничего общего, связывающего их и объединяющего, хотя они и льнут друг к другу, но сблизиться никак не могут...» (Ан. <М. Н. Ремезов>. Современное искусство. — «Русская мысль», 1899, кн. 1, стр. 167).

Говоря о влиянии сценической интерпретации пьес Чехова Художественным театром на критику, нельзя пройти мимо проблемы, которую современник формулировал так: «Московский художественный общедоступный театр <...> создал для него (Чехова) ту внешнюю сценическую среду, благодаря которой „Чайка“ и „Дядя Ваня“ выступают перед зрителями так, как хотел этого автор. Хотел ли? Или же только желал, мечтал, надеялся?» (С. В а с и л ь е в <С. В. Флеров>. — «Московские ведомости», 1900, 24 января, № 24).

Применительно к пьесам Чехова этот вопрос предстает как вопрос соотношения элементов его художественной системы, некоторым из коих Художественный театр, исходя из *своих* задач, придавал значение большее, чем они в этой системе имели.

Критики и исследователи много писали о моментах натурализма в постановке «Чайки» театром. «Некоторые подробности инсценировки были как будто натуралистичны, — замечал Эфрос, — отдельные жанровые черточки, звуки, стуки, вводные персонажи <...> Такая струйка в спектакле „Чайки“ была. Она была слишком сильна в тогдашнем Художественном театре, — не могла не пробиться и в этот чеховский спектакль» (Н. Э ф р о с . Московский Художественный театр, стр. 225). «От этих вещей, — свидетельствовал сам Немирович-Данченко, — еще очень веяло натурализмом чистой воды <...> спичка и зажженная папироса в темноте, пудра в кармане у Аркадиной, плед у Сорина, гребенка, запонки, умыванье рук, питье воды глотками и пр., и пр. без конца» (*Из прошлого*, стр. 133).

Сохранился достаточно достоверный документ, позволяющий объективно осветить вопрос, — текст пьесы с режиссерскими мизансценами Станиславского («„Чайка“ в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского». Л. — М., 1938).

Каково же было соотношение чеховского текста и той разработки, которую давал Станиславский, санкционировал Немирович-Данченко и воплощал театр?

У Чехова в ремарке первого действия: «Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышится кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева». В режиссерской партитуре эта сцена дополняется многочисленными вещными подробностями, действиями, целой гаммой отсутствующих в авторских указаниях звуков: «Тусклое освещение фонаря, отдаленное пение загулявшего пьяницы, отдаленный вой собаки, кваканье лягушек, крик коростеля, редкие удары отдаленного церковного колокола... <...> Зарницы, вдали едва слышный гром <...> После паузы Яков стучит, вколачивает гвоздь (на подмостках); вколотивши, возится там же, трогает занавес, мурлыча песнь <...> Медведенко курит. Маша грызет орехи» («Режиссерская партитура», стр. 121).

У Чехова:

«Д о р н . Тихий ангел пролетел.

Н и н а . А мне пора. Прощайте.»

У Станиславского: «Пауза 15 секунд. Никто не шевелится, только слышно отдаленное пение мужиков, да кваканье лягушек и крик коростеля» («Режиссерская партитура», стр. 159). «С той же целью, — отмечает в предисловии С. Д. Балухатый, — ввести обильные бытовые детали, дать восприятие подлинной жизненности происходящего на сцене — Станиславский развешивает большие проходные сцены в местах, где у автора дано лишь глухое указание» (там же, стр. 89). Пьеса игралась в очень замедленном темпе, сценическое время приближалось к реальному.

Все эти особенности сценического решения придавали «Чайке» камерность, «домашнюю» интонацию, «сниженный» колорит, эффект максимального приближения к реальности, сцены — к партеру; сценическая условность разрушалась. «Я убаюкан созерцанием, — писал современник, — исчезла рампа <...> нет этого округленного рта, зычной речи и маршировки <...> все развивается непритязательно, как в жизни» (С. А. А н д р е в с к и й . Литературные очерки. Изд. 3-е, СПб., 1902, стр. 479).

Такое сценическое решение, безусловно, смещало акценты внутри структуры чеховской пьесы, придавая чрезмерное значение «бытовым» ее элементам в ущерб остальным — условно-символическим, поэтическим и т. п.

Чехов, достаточно холодно относившийся к постановке, не соглашался как раз с этой ее стороною. Прежде всего его не устраивал темп спектакля. Книппер-Чехова вспоминала: «Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но „пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть...“ Он был со многим не согласен, главное с темпом, очень волновался, уверял, что этот акт не из его пьесы» (О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове. — *Книппер-Чехова*, ч. 1, стр. 49). Еще более определенно высказывался он относительно условности в разговоре на репетиции, дошедшем до нас в записи В. Э. Мейерхольда: «Один из актеров рассказывает о том, что в „Чайке“ за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки.

— Зачем это? — недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.

— Реально, — отвечает актер.

— Реально, — повторяет А. П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: — Сцена — искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что если на одном из лиц вырезать нарисованный нос и вставить живой? Нос реальный, а картина-то испорчена.

Кто-то из актеров с гордостью рассказывает, что в конце 3-го акта „Чайки“ режиссер хочет ввести на сцену всю дворню, какую-то женщину с плачущим ребенком.

Антон Павлович говорит: Не надо. <...> сцена требует известной условности. У вас нет четвертой стены» (В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. I. М., 1968, стр. 120). Как вспоминал Немирович-Данченко, Чехов по поводу слишком «бытовых» жестов у актеров и звуков на сцене МХТ «полушутя, полусерьезно» сказал: «В следующей пьесе я сделаю ремарку: действие происходит в стране, где нет ни комаров, ни сверчков, ни других насекомых, мешающих людям разговаривать» (*Из прошлого*, стр. 133).

Критические отзывы, связанные с постановками пьес Чехова в Петербурге, Москве и провинции — как положительные, так и отрицательные, — были вехами на пути к осознанию художественного новаторства Чехова-драматурга.

С . 9. *Дузе, Элеонора* (1858—1924) — знаменитая итальянская актриса; в 90-х гг. гастролировала в России.

«*La dame aux camélias*» — «Дама с камелиями», драма А. Дюма-сына (1824—1895), написанная по мотивам одноименного романа; одна из самых репертуарных пьес 1870—1880-х гг.

«*Чад жизни*» — пьеса Б. М. Маркевича (1822—1884).

С . 11. «*Во Францию два гренадера...*» — романс Шумана на стихи Г. Гейне «Гренадеры» (перевод М. Л. Михайлова).

С . 13. «*Не говори, что молодость сгубила*». — Романс Я. Ф. Пригожего на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю».

С . 13, 62. «*Я вновь пред тобою стою очарован...*» — в этом варианте в устном исполнении и песенниках 1880-х гг. Впервые — В. И. Красов. Стансы. «Отечественные записки», 1842, № 1, стр. 123 (с несколько иным началом: «Опять пред тобою...»).

С . 14. *В Расплюеве был неподражаем, лучшие Садовского...* — П. М. Садовский (1818—1872) был первым исполнителем роли Расплюева в пьесе А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского»; эта роль считалась одной из лучших работ знаменитого актера; спектакль был поставлен на сцене московского Малого театра в 1855 году.

«*Мой сын! Ты очи ~ бездне преступленья?*» — В. Шекспир, «Гамлет», д. III, явл. 3 (пер. Н. Полевого).

С . 21. «*Расскажите вы ей, цветы мои...*» — начало арии Зибеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» (д. III, явл. 1).

С . 22. «*И, разумеется ~ угождений...*» — Цитата из произведения Мопассана «На воде» в переводе М. Н. Тимофеевой: М о п а с с а н Г. Собр. соч., изд. 2-е. Т. 7. СПб., 1896, стр. 17.

С . 28. «*Слова, слова, слова...*» — В. Шекспир, «Гамлет», II акт, явл. 2.

С . 29. *Поприщин* — персонаж повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

С . 43. «*Ограбленная почта*» — драма Ф. А. Бурдина (1827—1887); перевод с французского; была в репертуаре Таганрогского театра в 1870-х гг. (см. «Сборник театральных пьес, переведенных с французского... Ф. А. Бурдиным». Т. 2. СПб., 1875).

С . 48. «*Месяц плывет по ночным небесам...*» — Первые строки популярной серенады К. С. Шиловского (1849—1893) «Тигренок» (к 1882 г. выдержала десять изданий).

С . 50. *В «Русалке» мельник ~ ворон* — «Русалка» — драма А. С. Пушкина; скорее всего имеется в виду одноименная опера А. С. Даргомыжского (либретто композитора).

С . 57. «*Хорошо тому ~ угол ~ И да поможет господь всем бесприютным скитальцам...*» — Цитата из романа «Рудин», эпилог (у Тургенева — «уголок»).

В пьесе есть многочисленные отзвуки из книги Г. де Мопассана «На воде», а также скрытая художественная полемика Чехова с французским писателем.

Уже в первом действии Треплев, имея в виду очерк Мопассана «Усталость» (1880) (Лакшин В. Чехов и Мопассан перед судом Л. Толстого // Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 69), говорит, что он бежит от обиденной морали современного театра, «как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью». Второе действие начинается с того, что Дорн читает вслух русский перевод книги Мопассана «Sur l'eau». Поскольку речь у Мопассана заходит о «заполнении» светскими женщинами романистов, которое чрезвычайно напоминает отношения Аркадиной с Тригориним, она забирает книгу у Дорна и начинает читать сама, а, впрочем, тут же спохватывается и прекращает чтение. Так и не прочитанный текст Мопассана «содержит в зародыше сцену из третьего акта», в которой Аркадина вновь удерживает при себе Тригорина, увлеченного Заречной» (Бонамур, Жан. «Чайка» и Мопассан // «Чайка». Продолжение полета. М.: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2016. С. 202).

Далее близость чеховских героев к образам путевого «дневника» Мопассана окончательно перетекает в подтекст. При сопоставлении двух произведений становится ясно, что все герои «Чайки» в той или иной степени как бы запрограммированы им. Не только Треплев, но и Тригорин оказывается наделен мопассановской тоской. В его случае это тоска от сознания искусственности писательского существования как нескончаемого копирования жизненных впечатлений.

Треплев также напоминает героев романов Мопассана, сознающих неутолимость своего чувства не только в безответной, но даже и в разделенной любви. В этом отношении парадоксальным двойником Треплева оказывается Заречная: они оба наделены злосчастным даром любить тем сильнее, чем больше их любовь отвергается. В этом отношении сходный тип любви – пародийно и сниженно – воплощают Маша и Полина Андреевна. Будучи также двойниками, Аркадина и Шамраев являют собой тип самовлюбленного обывателя. Зато Сорин, с одной стороны, как и Дорн, ощущает, что вся его жизнь как будто бы «протекает в маленькой темной комнате», с другой, как и Треплев, наделен ужасом перед «однообразием и бедностью земных радостей», говоря словами Мопассана. Все эти типы ярко и детально охарактеризованы в книге «Sur l'eau».

При этом Тригорин, в конце пьесы упорно отрекающийся даже от воспоминаний о любви к Заречной, в этом смысле оказывается двойником уже не только с Дорном и Аркадиной, но и с Заречной, которая в последнем разговоре с Треплевым слышит только свою боль. Все эти герои воплощают в финале пьесы глухоту к другим людям, тем самым символизируя самое страшное, что есть в художественном мире Чехова. И это своего рода «симфоническое равнодушие» героев на сей раз прямо ведет к происходящей у них едва ли не на глазах трагедии самоубийства Треплева. Если Мопассан писал о «свойствах страсти» – а в «Sur l'eau» даже скорее о фантомности любви как средстве преодоления одиночества и удовлетворения «потребности властвовать» – то Чехов в «Чайке», как и в «Трех сестрах» и «Вишневом саде», раскрывает «тяжкую драму» не столько даже «бесстрастия» (Паперный З. Смысл и бессмыслица жизни у Чехова и Мопассана // Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 62), сколько бесчувственности по отношению к близким.

См. подробнее о ней: *Кибальник С.А.* Доктор Дорн против писателя Мопассана (*Об интертекстуальном подтексте чеховской «Чайки»*) // Филологический журнал. 2022. № 1.

ТРИ СЕСТРЫ

Впервые — «Русская мысль», 1901, № 2, стр. 124—178. Подпись: Антон Чехов.

С изменениями и поправками — в отдельном издании: Антон Чехов. Три сестры. Драма в 4-х действиях. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1901 (ценз. разр. 5 апреля 1901 г.). В течение года вышло еще два выпуска этого издания, сделанных с того же стереотипа (с обозначением на титульном листе: «второе издание», «третье издание»).

С небольшими изменениями вошло в т. VII₂ издания А. Ф. Маркса (1902). С того же стереотипа одновременно выпущен оттиск отдельным изданием: Антон Чехов. Три сестры. Драма в 4-х действиях. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902 (ценз. разр. 15 марта 1902). Тот же текст напечатан и в сборнике трех пьес, выпущенном в качестве дополнения к т. VII₁: Свадьба. Юбилей. Три сестры. Пьесы Антона Чехова. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902.

Сохранились: черновые заготовки к пьесе (автограф) — на отдельных листах, а также в Записной книжке I и III (см. т. XVII Сочинений); цензурный театральный экземпляр (машинопись) с текстом первоначальной

редакции, относящейся к ноябрю 1900 г.: Три сестры (без подзаголовка и фамилии автора). На обложке — резолюция цензора: «К представлению дозволено. С.-Петербург. 18 декабря 1900 г. Исполняющий должность цензора драматических сочинений А. Крюковской», с его же подписью через все листы рукописи — текст *Ценз.1* (Музей МХТ); второй цензурный экземпляр пьесы (тоже машинопись, но другой оттиск ремингтона), с небольшими разночтениями в тексте, из архива библиотеки драматической цензуры, с тем же заглавием; на обложке — штемпель с датой представления в цензуру: «17 дек<абря> 1900» и аналогичная первому экземпляру разрешительная резолюция цензора; по корешку — другая резолюция: «К представлению на сценах народных театров признано неудобным. 15 марта 1902 г. Цензор драматических сочинений С. Трубачев» — текст *Ценз.2* (ЛГТБ); режиссерский экземпляр пьесы (машинопись), с небольшими разночтениями в тексте IV акта первоначальной редакции (еще один, отличный от первых двух оттиск ремингтона) — текст *Реж.* (Музей МХТ); беловая рукопись (автограф) переработанной редакции пьесы, относящейся к декабрю 1900 г., — текст *А* (Музей МХТ).

Печатается по тексту: *Чехов*, т. VII₂, стр. 295—368, с исправлениями:

Стр. 126, строка 3: я знаю — *вместо:* я знал (по тексту *Ценз., А*)

Стр. 126, строка 9: в залу — *вместо:* в зал (то же)

Стр. 132, строка 34: И позволь — *вместо:* И потом (то же)

Стр. 143, строка 4: неинтересно — *вместо:* интересно (по тексту *Ценз., А, РМ, ТС*)

Стр. 144, строка 29: маленькой — *вместо:* молоденькой (по тексту *А*)

Стр. 147, строка 5: вам нет дела — *вместо:* нам нет дела (то же)

Стр. 147, строка 37: подаю в отставку — *вместо:* подал в отставку (по тексту *Ценз., А*)

Стр. 153, строка 8: игрушечку — *вместо:* игрушек (по тексту *А*)

Стр. 174, строка 15: а я одинаково — *вместо:* и я одинаково (по тексту *Ценз., А, ТС*)

Стр. 180, строки 34—37. После: Скажи мне что-нибудь. —

И р и н а . Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат... (*Кладет голову ему на грудь.*)

Т у з е н б а х . Скажи мне что-нибудь. (по тексту *Ценз., А*)

1

Пьеса написана в августе — декабре 1900 г.

В ней отразились жизненные впечатления Чехова, копившиеся годами. Отдельные эпизоды, лица, ситуации пьесы связывались современниками с некоторыми действительными событиями и фактами. Указывалось, например, что описание военной среды основано, в известной мере, на наблюдениях, накопленных во время пребывания Чехова в 1884 г. в Воскресенске, где квартировала тогда артиллерийская бригада, на знакомстве с семьей командира батареи полковника Б. И. Маевского, в доме которого часто собиралось местное интеллигентное общество, либерально настроенная молодежь и офицеры батареи (см. М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 28). Об этом писала также М. П. Чехова: «Почти двадцать лет спустя, читая пьесу Антона Павловича „Три сестры“, я вспомнила Воскресенск, батарею, офицеров артиллеристов, всю атмосферу дома Маевских» (М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., 1960, стр. 34). Завсегдаем дома был поручик батареи Е. П. Егоров, близкий приятель братьев Чеховых, который позднее «вышел в отставку с таким же желанием „работать, работать и работать“, как барон Тузенбах в „Трех сестрах“, и оказал немалую услугу населению Нижегородской губернии в 1892 году» (*Вокруг Чехова*, стр. 133).

В ссоре и дуэли барона Тузенбаха с Соленым находили что-то общее с нашумевшей в Таганроге в 1886 или 1887 гг. дуэлью, правда, с благополучным концом, в которой участвовали вышедший в отставку барон Г. Ферзен и горячий, скорый на расправу С. Н. Джапаридзе, офицер размещившейся в городе артиллерийской бригады (см.: В. В. Зелененко. Таганрогская гимназия времен А. П. Чехова (Отрывки воспоминаний) и комментарий к ним П. С. Попова — в кн.: А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Ростов н/Д, 1959, стр. 358 и 376—377; ср. также письмо Чехова к родным от 7 апреля 1887 г.).

Б. А. Лазаревский, вспоминая проведенный у Чехова в Ялте вечер в обществе М. П. Чеховой, записал по возвращении домой в своем дневнике: «Что-то прелестное есть в выражении ее глаз, что-то умное и вместе страдальческое <...> Несомненно, что Мария Павловна это одна из „трех сестер“» (запись от 22 августа 1901 г. — *ГБЛ; ЛН*, т. 87, стр. 333).

Указывалось на реальный источник загадочного «тра-та-та» в репликах Маши и Вершинина. По словам очевидца, точно таким образом, обходясь без слов, однажды объяснялась за столом одна актриса, не названная по имени, которая позднее сама играла в «Трех сестрах» роль Маши (возможно, это была Л. Б. Яворская?). Эта шутливая импровизация, в которой участвовал и Чехов, происходила за столиком ресторана «Славянский базар» в феврале 1896 г. в присутствии А. С. Суворина и еще нескольких лиц:

«Тра-та-та, — сказала она, смеясь.

— Что такое?

— Тра-та-та!..

— Вы влюблены?

Она громко захохотала, подняв плечи и сильно ими вздрагивая, и, повысив тон, проскандировала:

— Тра-та-та...

— Вот как! Чем же он так пленил вас?

Она еще пуще засмеялась, откинувшись на спинку стула, и, как будто задыхаясь от страсти, сузив зрачки и прерывая голос, промолвила почти тихо:

— Тра-та-та...

Чехов смеялся от души <...>

— А знаете, — сказал он актрисе, — я непременно этим воспользуюсь. Тра-та-та — это прелестно... Непременно воспользуюсь» (<А. Р. К у г е л ь ?>. Из воспоминаний. — «Театр и искусство», 1910, № 3 от 17 января, стр. 62. Подпись: Профан; ср. А. Р. К у г е л ь (Homo Novus). Листья с дерева. Воспоминания. Л., 1926, стр. 68).

Рассказ Ирины о даме, посылавшей телеграмму о смерти сына «просто в Саратов», без адреса, основан, возможно, на действительном случае, сообщенном Чехову Л. А. Сулержицким: находясь в психиатрическом отделении военного госпиталя, он познакомился с пареньком из Саратовской губернии, который однажды попросил написать письмо родным, но, как потом оказалось, забыл их адрес (Е. П о л я к о в а. Жизнь и творчество Л. А. Сулержицкого. — В кн.: «Леопольд Антонович Сулержицкий. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка...» М., 1970, стр. 35).

Изображенный в пьесе сторож земской управы Ферাপонт напоминал М. П. Чехову служившего при Бавыкинском волостном правлении сотского (называвшего себя «цоцкай»), который в Мелихове «то и дело приходил с той или другой казенной бумагой», и, «несмотря ни на какую погоду, в будни и в праздники, он вечно, положительно с утра и до вечера и с вечера до утра находился в пути с исполнением какого-нибудь поручения от какого-нибудь учреждения или административного лица» (М. П. Ч е х о в . Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 99; ср. *Вокруг Чехова*, стр. 267).

По свидетельству Вишневого, когда он спросил — «зачем это нужно, чтобы Кулыгин в последнем акте являлся со сбритыми усами», Чехов припомнил случай из жизни таганрогской гимназии: учитель латинского и русского языка В. К. Виноградов, который всегда «носил бородку и усы», однажды, по случаю получения инспекторского места, явился в класс со сбритыми усами, что «вызвало среди учеников большой переполох» (А. Л. В и ш н е в с к и й . Ключки воспоминаний. Л., 1928, стр. 17—18). Сулержицкий угадывал в Кулыгине также отдельные черты самого Вишневого и вскоре после премьеры писал об этом Чехову: «Ну и шутку Вы с ним сыграли, а он не замечает и даже сам с таинственным видом, подмигивая, говорит, что роли под артистов написали, — „замечаете?“ — спрашивает он иногда. Я говорю, что сильно замечаю. Вот-те и дружи с писателем!» (начало февраля 1901 г. — *ГБЛ*; Л. А. С у л е р ж и ц к и й . Повести и рассказы... М., 1970, стр. 397).

2

Замысел «Трех сестер» возник, видимо, в конце 1898 — начале 1899 г.: при работе над пьесой Чехов использовал заметки, находящиеся в Записных книжках среди черновых набросков к повестям «Архиерей», «В овраге», «Калека» (см. т. X Сочинений).

Серия заметок, занесенных в то время в Первую записную книжку, открывалась записью фамилии Соленого: «Действующее лицо: Соленый» (*Зап. кн. I*, стр. 95). Далее шла запись разговора двух лиц, спорящих о том, сколько в Москве университетов, с предваряющей ее заметкой: «В провинции с упорством спорят о том, чего не знают» (*Зап. кн. I*, стр. 98) — использованная затем во II акте пьесы.

Для ролей Вершинина и Тузенбаха из этих заготовок перешел в пьесу ряд записей: «Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но почему же в жизни хватает он так невысоко?»; «русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с именем замучился, с лошадьми

замучился»; «Ах, если бы к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие!»; «Дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра», и т. д. (*Зап. кн. I*, стр. 95, 98, 105, 108, 109; см. также *Зап. кн. III*, стр. 66).

К подготовительному периоду относятся записи на отдельных листах, среди которых выделяется несколько заметок, существенно важных для понимания общей идейной направленности будущей пьесы, например: «Чтобы жить, надо иметь прицепку... В провинции работает только тело, но не дух»; «до тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока наконец не отыщет своего бога...», и т. д. В этих записях были намечены отдельные сюжетные звенья пьесы и краткие характеристики почти всех действующих лиц. Оттуда перешли в пьесу имена трех сестер — Ольги, Маши и Ирины, осиротевших после смерти отца и сохранивших привычки к быту военной среды: «Трудно жить без отца, без матери», «Тяжело без денщиков». Отмечены артистические способности Маши и странности ее характера: «Маша с предрассудками, прекрасная музыкантша».

В заметках об Ирине подчеркнута ее неудовлетворенность работой и одиночество: «Ирина: как гадко работать! и никакого сознания, никаких мыслей», «жалобы на одиночество». Для II акта использована запись рассказа Ирины о даме, которая «телеграфирует своему брату в Саратов, что у нее сын умер, и никак не может вспомнить адреса».

В заметках упомянут брат трех сестер, который в доме «один все забрал», играет в клубе и толстеет: «жена умоляет мужа: не толстей»; «то, что муж проигрывает, от жены скрывают». Среди заготовок для роли Наташи находятся записи ее бестактных замечаний о сестрах и восторженные отзывы о своих детях: «Нат.: я в истерику никогда не падаю. Я не нежная»; «Нат. Фед. всегда сестрам: ах, как ты подурнела! ах, как ты постарела!»; «Мать все рассказывает то про Бобика, то про Сою, какие они замечательные».

В пьесу перешло также несколько заметок, относившихся к Кулыгину: «Кулыгин: я веселый человек, я заражаю всех своим настроением»; «Кул. (жене). Я до такой степени счастлив, что женат на тебе...»; «Кулыг. в IV акте без усов»; «*Ut consecutivum*». Назван доктор Чебутыкин — «доктор с палкой», который «всегда причесывается, приглаживается, любит свою наружность», «присутствует на дуэли с удовольствием».

Использована в переработанном виде запись одной из реплик Вершинина: «отчего я так седею!» Видимо, для роли Вершинина предназначалась несколько измененная в пьесе фраза: «не рассчитывайте, не надейтесь на настоящее; счастье и радость могут получиться только при мысли о счастливом будущем, о той жизни, которая будет когда-то в будущем, благодаря нам» (ср. спор с Тузенбахом во II акте). Для той же сцены использована запись реплики Тузенбаха (первоначально названного Николаем Карловичем, а затем уже Николаем Львовичем): «Зачем ждать того, что будет через 300 лет? И теперешняя жизнь прекрасна!» и т. д.

Среди тех же заметок — записи о покушении Маши на самоубийство: «В III акте: Ирина: ты ничего не делаешь! Маша: я отравилась!»; «Кул., узнав, что Маша отравилась, прежде всего боится, как бы не узнали в гимназии». Этот сюжетный мотив в процессе дальнейшей работы был отброшен. Не вошла в окончательный текст также заметка о намерении Ирины уехать в Таганрог: «Ирина: буду в Таганроге, займусь там серьезной работой, а здесь пока служу в банке». Но, возможно, именно отсюда берет начало введенное затем в пьесу стремление сестер уехать на родину: «В Москву! В Москву!» (*ЦГАЛИ* — см. т. XVII).

В заготовках к IV акту — черновые записи о порядке следования артиллерийской бригады при уходе из города: «бат<арейный> командир идет сухим путем с регулярной артиллерией или со строевой частью, а тяжести [на пароходах] на баржах со вторыми расчетами. Некоторые офицеры остаются для того, чтобы плыть на баржах. Батар<ейный> командир идет строевой частью»; «идут (по 2 батареи, позшелонно), а по-новому — дивизионно 3 батареи»; «[музыка при управлении бригадой]»; «музыка провожает, следует с тяжестью». Здесь же — записи о форменной одежде и ее деталях — видимо, для Вершинина в IV акте: «серебр<яный> шарф и шашка»; «визит в походной форме — в сюртуке с эполетами» (*ГЛМ*).

«Три сестры» — первая пьеса, писавшаяся Чеховым специально для Художественного театра. После успешной премьеры «Дяди Вани» в октябре 1899 г. Вл. И. Немирович-Данченко настоятельно убеждал Чехова написать еще одну пьесу: «Мы пока стоим на трех китах: Толстой, Чехов, Гауптман. Отними одного и нам будет тяжело» (19 ноября 1899 г. — *Ежегодник МХТ*, стр. 125). Чехов сообщил ему 24 ноября: «У меня есть сюжет „Три сестры“, но прежде чем не кончу тех повестей, которые давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду». На новые настояния Немировича-Данченко («Я тебе говорю — театр без одного из китов закачается. Ты должен написать, должен, должен!» — 28 ноября 1899 г. — *Избранные письма*, стр. 185) он пояснял: «Ты хочешь, чтобы к будущему сезону пьеса была непременно. Но если не напишется? Я, конечно, попробую, но не ручаюсь и обещаю ничего не буду» (3 декабря). Отвечая на очередной запрос Немировича-Данченко «будет эта пьеса или нет»

(«Конечно, чем раньше, тем лучше, но хоть к осени, хоть осенью!» — стр. 188), Чехов извещал 10 марта, что «она наклеивается, но писать не начал...»

Вплотную к работе Чехов приступил в августе 1900 г. 5 августа он сообщал из Ялты Вишневному: «Пьесу я пишу, уже написал много, но пока я не в Москве, судить о ней не могу. Быть может, выходит у меня не пьеса, а скучная, крымская чепуха <...> для Вас приготовляю роль инспектора гимназии, мужа одной из сестер. Вы будете в форменном сюртуке и с орденом на шее».

К. С. Станиславскому, который находился в то время в Крыму, Чехов «обещал кончить пьесу не позже сентября» (О. Л. Книппер, 9 августа 1900 г.). В тот же день Станиславский «под большим секретом» сообщил Немировичу-Данченко, что «выжал» обещание Чехова закончить пьесу к началу театрального сезона: «...он завтра уезжает в Гурзуф, писать, и через неделю собирается приехать в Алупку читать написанное. Он надеется к 1 сентября сдать пьесу, хотя оговаривается: если она окажется удачной, если быстро выльется и проч.» (Станиславский, т. 7, стр. 185).

Вначале Чехов отзывался о ходе работы над пьесой с удовлетворением: «Пьеса сидит в голове, уже вылилась, выровнялась и просится на бумагу», «начало вышло ничего себе, гладенькое, кажется» (О. Л. Книппер, 18 августа); «Хотя и скучновато выходит, но, кажется, ничего себе, умственно» (30 августа). В то время он еще надеялся кончить пьесу быстро: «к 1—5 сентября уже окончу пьесу, то есть напишу и перепишу начисто» (Книппер, 17 августа); «кончу ее, вероятно, в сентябре» (В. Ф. Комиссаржевской, 25 августа 1900 г.).

Однако, приступив к «Трем сестрам», Чехов испытал затруднения, с которыми не сталкивался при писании других пьес. В письмах к Книппер он неоднократно жаловался на это: «Пишу не пьесу, а какую-то путаницу. Много действующих лиц — возможно, что собьюсь и брошу писать» (14 августа); «Пьеса начата, кажется, хорошо, но я охладел к этому началу, оно для меня оношлось — и я теперь не знаю, что делать» (20 августа); «Пьесу пишу, но боюсь, что она выйдет скучная» (23 августа); «Пишу медленно — это сверх ожидания. Если пьеса не вытанцуетя как следует, то отложу ее до будущего года» (30 августа). Уже завершив пьесу, Чехов признавался М. Горькому: «Ужасно трудно было писать „Трех сестер“. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочери. Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда военные, артиллерия» (16 октября 1900 г.).

В конце августа 1900 г. Чехов испытывал потребность проверить на слух написанную часть пьесы и обратился за помощью к гостившему у него литератору В. Н. Ладыженскому, который вспоминал впоследствии: «Мне случилось, по его просьбе, читать черновик пьесы „Три сестры“. Читать я должен был ровно, без декламации, наблюдая, чтобы акт в таком чтении тянулся около получаса, так как актеры растянут паузами и декламацией. И часто автор останавливал чтение.

— Постой. Здесь, кажется, мало движения. Надо убрать лишнее в монологе.

И было ясно, что Чехов видит перед собой живых людей, даже слышит, быть может, их голос, и что все это достигается напряжением творческой мысли» (Вл. Л а д ы ж е н с к и й . Из книги «Далекие годы». — «Россия и славянство» (Париж), 1929, № 33 от 13 июля, стр. 5; о приезде Ладыженского в Ялту Чехов сообщал 28 августа М. П. Чеховой: «У меня каждый день Ладыженский, который приехал дней 10 назад»).

Однако к намеченному сроку («к 1—5 сентября») пьеса завершена не была. Работа над ней, ввиду встретившихся новых трудностей, даже замедлилась. В этот тяжелый период Чехов писал Книппер: «Все время я сидел над пьесой, больше думал, чем писал <...> очень много действующих лиц, тесно, боюсь, что выйдет неясно или бледно...» (5 сентября); «в иной день сидишь-сидишь за столом, ходишь-ходишь, думаешь-думаешь, а потом сядешь в кресло и возьмешься за газету или же начнешь думать о том, о сем...» (6 сентября); «Что-то у меня захромала одна из героинь, ничего с ней не поделаю и злось» (8 сентября). Последнее замечание, возможно, было вызвано колебаниями, связанными с первоначально задуманным сюжетным поворотом в III акте — попыткой самоубийства или самоубийством Маши.

Работа над пьесой застопорилась, и Чехову хотелось скорее вынести пьесу на сценическую площадку, уточнить ее контуры непосредственно в ходе репетиций. Это отражено в письмах Чехова того времени: «...все кажется, что писать не для чего, и то, что написал вчера, не нравится сегодня» (М. П. Чеховой, 9 сентября); «Как бы то ни было, печатать я буду ее после ряда исправлений, т. е. после того уже, когда она пойдет на сцене...» (Ю. О. Грюнбергу, 13 сентября); «...во-первых, быть может, пьеса еще не совсем готова, — пусть на столе полежит, и, во-вторых, мне необходимо присутствовать на репетициях, необходимо!» (Книппер, 15 сентября).

Завершить пьесу в это время мешали Чехову также многочисленные ялтинские посетители и ухудшение здоровья, в чем он сам тогда признавался: «А я вот уже 6 или 7-й день сижу дома <...> ибо всё хвораю <...> скверно от сознания, что целую неделю ничего не делал, не писал. Пьеса уныло глядит на меня, лежит на столе; и я думаю о ней уныло» (Книппер, 14 сентября); «Дело в том, что в последнее время недели две я хворал преподлой болезнью, должно быть, инфлуэнцей, которая не давала мне работать, держала меня все время в мерлехлюндии —

и теперь приходится начинать все снова, почти начинать» (В. А. Поссе, 28 сентября); «С пьесой вышла маленькая заминка, не писал ее дней десять или больше, так как хворал, и немножко надоела она мне...» (Книппер, 4 октября).

Непредвиденная задержка в работе заставила Чехова изменить первоначальный план — отложить доработку пьесы и отказаться от постановки в текущем сезоне, о чем он говорил Книппер: «В этом сезоне „Трех сестер“ не дам, пусть полежит немножко, взопреет, или, как говорят купчихи про пирог, когда подают его на стол, — пусть вздохнет» (28 сентября); «Как бы ни было, пьеса будет, но играть ее в этом сезоне не придется» (4 октября); «Насчет пьесы не спрашивай, все равно в этом году играть ее не будут» (14 октября).

А. А. Плещееву, который интересовался предстоящей постановкой пьесы, Чехов перед поездкой в Москву решительно заявил: «Нет, ставить ее в нынешнем году не собираюсь. Я останусь в Москве недолго, поеду за границу, на Ривьеру...» (А. А. П л е щ е е в . Чеховский день. Отрывки из воспоминаний. — *ИРЛИ*). Приехав в Москву, Чехов подтвердил корреспонденту «Новостей дня» свое решение отложить доработку пьесы до неопределенного времени. Об этой беседе с Чеховым газета сообщала: «По наведенным у него справкам, новая его пьеса далека от окончания и в этом сезоне во всяком случае не пойдет» (25 октября 1900 г., № 6261); «...А. П. Чехов рассказывал мне, что пьесу надо еще дописать и отделать, а на это надо время. Управиться с этим делом скоро он не рассчитывает, и, конечно, этот сезон останется без „Сестер“. А там видно будет. Таков ответ самого автора» (26 октября 1900 г., № 6262, отд. Мелочи).

Однако такое положение дел никак не устраивало Художественный театр, и Чехов был вынужден отложить поездку за границу и незамедлительно приняться за доработку пьесы. «Новости дня» писали по этому поводу: «А. П. Чехов, уступая настойчивым просьбам театра, обещал поторопиться окончанием „Трех сестер“, и опять у театра воскресла надежда поставить чеховскую новинку еще в этом сезоне» (29 октября 1900 г., № 6265).

29 октября 1900 г. в Художественном театре в присутствии автора и всей труппы состоялась предварительная читка по существу еще не завершённой пьесы, которая была встречена актерами без всякого энтузиазма. По воспоминаниям Книппер, после окончания чтения «воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось: „Это же не пьеса, это только схема...“» (*Книппер-Чехова*, ч. 1, стр. 56).

Когда к Чехову обратились за разъяснениями, он, как вспоминал Станиславский, «страшно сконфуженный, отнекивался, говоря: — Послушайте же, я же там написал все, что знал» (*Станиславский*, т. 5, стр. 348). Немирович-Данченко потом тоже отмечал, что Чехов «не только не пускался в длинные объяснения, но, с какой-то особенной категоричностью, отвечал краткими, почти односложными замечаниями». А на просьбу разъяснить смысл реплик Вершинина и Маши «Грам-там-там» он «ответил, пожимая плечами: — Да ничего особенного. Так, шутка» (предисловие «От редактора» в кн.: Николай Э ф р о с . «Три сестры». Пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра. П., 1919, стр. 8). На другие вопросы он также «отвечал фразами, очень мало объяснявшими: „Андрей в этой сцене в туфлях“ или: „Здесь он просто посвистывает“» (*Из прошлого*, стр. 169).

Между автором и театром наметилось тогда расхождение в понимании жанровой природы пьесы, в определении границ между драмой и комедией. По словам Станиславского, Чехов «был уверен, что он написал веселую комедию, а на чтении все приняли пьесу как драму и плакали, слушая ее. Это заставило Чехова думать, что пьеса непонятна и провалилась» (*Станиславский*, т. 1, стр. 235). Немирович-Данченко вспоминал, что после чтения пьесы Чехов «боролся со смущением и несколько раз повторял: я же водевиль писал <...> В конце концов мы так и не поняли, почему он называет пьесу водевилем, когда „Три сестры“ и в рукописи называлась драмой» (*Из прошлого*, стр. 169).

По окончании читки Чехов ушел из театра «не только расстроенным и огорченным, но и сердитым, каким он редко бывал» (*Станиславский*, т. 1, стр. 235). Артисты театра тоже остались в недоумении, говоря о своих ролях: «Мы не знаем, как их играть!» (А. Г р у з и н с к и й . Шипы и терния в жизни Чехова (Из моих воспоминаний). — «Южный край», 1904, 18 июля, № 8155).

После этого Чехов в течение нескольких недель работал над завершением пьесы. 10 ноября он сообщил В. А. Гольцеву: «Немножко хворал, а теперь сижу и переписываю пьесу». А 22 ноября «Новости дня» известили о полном окончании авторской работы и о сдаче пьесы театру: «Вчера Чехов отделал последние детали последнего акта „Трех сестер“, вечером вручил его рукопись Художественно-общедоступному театру, и на днях театр приступит к подготовительной работе по постановке пьесы». В той же корреспонденции (автором ее, возможно, был Н. Е. Эфрос, с которым Чехов как раз в эти дни встречался) далее сообщалось: «Автор сам не ждал, что справится с „Сестрами“ так быстро. Несколько раз решал отложить на время эту работу, потом, увлекаемый творческим процессом, брался за нее снова <...> Вчера же я имел возможность познакомиться с „Тремя сестрами“ и получил разрешение познакомить с ними своих читателей».

В конце ноября 1900 г. Чехов несколько раз виделся со Станиславским. Во время этих встреч велись «разные разговоры», посвященные, видимо, прежде всего «Трем сестрам», текст которых только что был получен театром (письмо Станиславского С. В. Флерову без даты, конец ноября 1900 г. — т. 7, стр. 199). «Три сестры» были названы Станиславским в одном из писем того времени «чудной, самой удачной» пьесой Чехова (Л. В. Средину, 9 декабря 1900 г. — там же, стр. 200).

В декабре 1900 г. Чехов приступил к переработке «Трех сестер» и в течение месяца переписал заново весь текст, создав новую, окончательную редакцию пьесы (автограф — экз. А).

Переработка I и II актов была завершена до отъезда Чехова за границу, куда он выехал 11 декабря. Тетрадь с текстом I акта была передана Немировичу-Данченко, видимо, в первых числах декабря (8 декабря он писал Чехову, надеясь получить уже II и III акты — см. *Ежегодник МХТ*, стр. 132), а другая тетрадь, со II актом, — между 8 и 11 декабря (Музей МХТ).

В новой, переработанной редакции «Трех сестер» в тексте первых двух актов сделан ряд добавлений и замен. В самом начале I акта введены иронические реплики Чебутыкина и Тузенбаха, перебивающие мечтания Ольги о Москве и замужестве: «Черта с два!», «Конечно, вздор», «Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать». В роли Соленого добавлены фразы, подчеркивающие его странную манеру «задираться»: в I акте — умозаключение по поводу того, что «два человека сильнее одного не вдвое, а втрое», затем — предсказание Чебутыкину его судьбы («Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб»), рассуждение о вокзале, который «если бы был близко, то не был бы далеко», а также реплика о наливке, настоянной «на тараканах»; во II акте — реплика о ребенке, которого он «изжарил бы на сковородке и съел бы», поддразнивание барона («Цып, цып, цып...»), угроза убить «счастливого соперника», привычка опрыскивать себя духами.

Добавлено несколько новых штрихов в роли Маши: ее озорная выходка за именинным столом в конце I акта («Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!»), беспричинный смех во время спора Вершинина с Тузенбахом (II акт). Изменена также ее фраза, проходящая лейтмотивом по всей роли: вместо прежней цитаты из суворовской депеши («Слава богу, слава нам, Туртукай взят, и мы там») она вспоминает теперь поэтические пушкинские строки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...»

В речи Чебутыкина добавлена фраза о средстве против выпадения волос (при этом Чехов использовал рецепт, сообщенный ему Книппер в письме от 12 сентября 1900 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 188), а в другой его фразе: «Знаю по газетам, что был, положим, Белинский...» и т. д. — фамилия Белинского заменена на Добролюбова (I акт).

Введены отдельные добавления также в речи других лиц: в I акте — упоминания Вершинина о его бездомовье («всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями...» и т. д.), Тузенбаха — о приверженности к русской культуре («по-немецки даже не говорю», «отец у меня православный»); во II акте — обращение Тузенбаха к уставшей Ирине: «Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастенькой...», наставительное поучение Наташи: «Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения?» и т. д.

Переработка III и IV актов была осуществлена Чеховым после переезда в Ниццу. 15 декабря он писал Книппер: «Переписываю свою пьесу и удивляюсь, как я мог написать сию штуку, для чего написать <...> В III акте я кое-что изменил, кое-что прибавил, но очень немного». 16 декабря III акт был послан в Москву на имя Немировича-Данченко. 18 декабря Чехов дополнительно сообщил ему о поправке к III акту: «В III акте последние слова, которые произносит Соленый, суть: (*глядя на Тузенбаха*) „Цып-цып-цып...“ Эти слова были тогда же вписаны Немировичем-Данченко в соответствующее место автографа. Сопоставление первоначальной «ялтинской» редакции с белой рукописью переработанной «московско-ниццкой» редакции см. также в статье А. Р. Владимирской «Две ранние редакции пьесы „Три сестры“» (*ЛН*, т. 68).

17 декабря 1900 г. Чехов сообщил Книппер, что в IV акте «произвел перемены крутые» и в роли Маши «прибавил много слов». На следующий день этот акт был уже готов к отсылке, и 18 декабря Чехов писал Немировичу-Данченко, что только «на один день опоздал». Позднее Чехов сожалел, что поторопился с завершением IV акта: «А если бы сей акт побыл у меня еще дня 2—3, то вышел бы, пожалуй, сочнее» (Книппер, 28 декабря 1900 г.). Ввиду новогодних праздников IV акт пролежал в Ницце еще два дня (почтовый штампель в Ницце — 2 января 1901 г. по новому стилю) и был получен в Москве только 24 декабря ст. ст. (текст III и IV актов на листках почтовой бумаги — Музей МХТ).

В финале пьесы была сделана композиционная перестановка: эпизод прощания Тузенбаха с Ириной, шедший прямо за сценой Андрея с Ферапонтом, передвинут ближе к началу акта: вероятно, надо было увеличить интервал между уходом Тузенбаха со сцены и вестью о его гибели.

В новой редакции Маша присутствует в IV акте уже не только в сцене прощания с Вершининым, как было раньше, но также и в предшествующих сценах. В конце акта добавлены ее фразы, поясняющие разрыв с Наташей, завладевшей домом: «Я не пойду в дом, я не могу туда ходить», «Я в дом уже не хожу, и не пойду». В самом финале пьесы вставлено два небольших монолога — Маши и Ирины.

В роли Соленого в III акте добавлен эпизод, в котором он задирает Тузенбаха («Почему же это барону можно, а мне нельзя?» и т. д.), а в IV акте в его речь добавлены две стихотворные цитаты («Он ахнуть не успел, как на него медведь надел», «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой»).

Ряд добавлений сделано в роли Чебутыкина: упоминание о женщине, которую он лечил на Засыпи и «уморил» (III акт); рассказ о ссоре барона с Соленым и вызове на дуэль; многократные повторения его любимых словечек: «Все равно!» и «Тара-ра...бумбия...» (IV акт).

Много отдельных поправок внесено в текст IV акта. Введено неодобрительное замечание Кулыгина в связи с решением Ирины ехать на завод учительницей: «Одни только идеи, а серьезного мало». В отзыве Андрея о Наташе добавлены слова: «Жена есть жена» (свидетельство Станиславского, будто Чехов заменил этими словами «весь монолог Андрея в последнем акте», ошибочно; ср.: А. В л а д и м и р с к а я . Заметки на полях. — «Театр», 1960, № 1, стр. 159). В последней сцене Ольги с Вершининым ее слова о намерении все же «уехать в Москву» заменены признанием несбыточности этих надежд: «В Москве, значит, не быть...» В той же сцене добавлены реплики Вершинина и ремарки, подчеркивающие томительность ожидания Маши («Смотрит на часы», «Пауза»). Введен эпизод с Кулыгиным, одевающим отнятые у гимназистов накладные усы и бороду. В заключительной ремарке пьесы добавлено, что Андрей везет «другую колясочку» (уже не с Софочкой, а с Бобиком) и т. д.

Художественный театр не дождался получения от Чехова переработанного текста III и IV актов и в середине декабря 1900 г. отправил в Петербург на утверждение драматической цензуры экземпляр пьесы первоначальной редакции (дата получения в цензуре — 17 декабря 1900 г.). Хотя в театре уже имелся переработанный текст двух предыдущих актов, авторские исправления не были перенесены в экземпляр, посланный на утверждение. Репетиции тоже велись тогда по старым тетрадкам с текстом первоначальной редакции.

Несколько исправлений Чехов внес в период репетиций. Закончив к 8 января 1901 г. режиссерскую планировку пьесы, Станиславский обратился к нему с просьбой изменить финал и снять ремарку, где говорилось, что в глубине сцены «видна толпа, несут убитого на дуэли барона». В режиссерском экземпляре рядом с этой ремаркой Станиславский сделал заметку: «Просить А. П. Чехова вычеркнуть все это» (Музей МХТ). На соседнем чистом листе он объяснил подробнее: «Обратить внимание Ант<она> Павл<овича>, что, по его редакции — необходимо вставлять нар<одную> сцену, какой-то говор толпы, проносящей Тузенбаха, без чего выйдет балет. При проносе и узкости сцены все декорации будут качаться — толпа будет грохотать ногами — задевать — произойдет расхолаживающая пауза. А сестры — неужели их оставить безучастными к проносу — Тузенб<аха>. Надо и им придумать игру. Боюсь, что погнавшись за многими зайцами, упустим самое главное <:> заключительную бодрящую мысль автора, кот<орая> искупит многие тяжелые минуты пьесы. Пронос тела выйдет или скучным, расхолаживающим, деланным, или (если удастся победить все затруднения) — то страшно тяжелым, тяжелое впечатление только усилится» (там же; «Театр», 1960, № 1, стр. 146).

Свои предложения Станиславский изложил в письме к Чехову 9 января 1901 г.: «Монологи финальные сестер, после всего предыдущего, очень захватывают и умиротворяют. Если после них сделать вынос тела, получится конец совсем не умиротворяющий <...> Как ни нравится мне тот пронос, но при репетиции начинаю думать, что для пьесы выгоднее закончить акт монологом. Может быть, Вы боитесь, что это слишком напомнит конец „Дяди Вани“? Разрешите этот вопрос: как поступить?» (*Станиславский*, т. 7, стр. 205). По просьбе Станиславского Чехову о том же писала и Книппер (13 и 22 января — см.: *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 278, 293). 15 января Чехов ответил Станиславскому согласием: «Конечно, Вы тысячу раз правы, тело Тузенбаха не следует показывать вовсе; я это сам чувствовал, когда писал, и говорил Вам об этом, если Вы помните». При публикации пьесы ремарка о проносе тела Тузенбаха была исключена.

По приезде в Москву Немировича-Данченко Книппер сообщила Чехову, что теперь «хорошо занялась Машей». В том же письме она спрашивала: «Ничего, если я в последнем моем финальном монологе сделаю купюру? Если мне трудно будет говорить его? Ничего ведь?» (18 января 1901 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 288). Видимо, это предложение исходило от Немировича-Данченко, который в письме к Чехову от 22 января тоже настаивал на купюрах в этом монологе и следующем за ним монологе Ирины: «Необходимы купюры. Сейчас пошлю тебе телеграмму, а подробнее — вот что: три монолога трех сестер — это нехорошо. И не в тоне, и не сценично. Купюра у Маши, большая купюра у Ирины. Одна Ольга пусть утешает и ободряет. Так?» (*Избранные письма*, стр. 208; текст телеграммы см.: *Ежегодник МХТ*, стр. 135). Ответ Чехова неизвестен, однако впоследствии монолог Маши Чехов наполовину сократил, а монолог Ирины все же сохранил полностью.

25 января 1901 г. Чехов сообщил Вишневному о необходимом исправлении в роли Кулыгина: «Милый Александр Леонидович, перед фразой: „Главное во всякой жизни — это ее форма“ — прибавьте слова: „Наш директор говорит“» (I акт).

Немирович-Данченко позднее вспоминал, что при встрече с Чеховым в Ницце («в конце декабря» 1900 г. (их свидание состоялось 27 декабря) он «получил от него еще кое-какие поправки в тексте пьесы, с которыми и вернулся» (*Из прошлого*, стр. 169). Однако эти поправки неизвестны. Правда, в экземпляре сценической редакции пьесы (суфлерский экземпляр — Музей МХТ) среди множества отклонений от позднейшего печатного текста обращают на себя внимание два места, которые из суфлерского экземпляра затем перешли в окончательный печатный текст. Можно предположить, что эти добавления были сделаны театром в период репетиций и потом авторизованы Чеховым и учтены в печатном тексте, или же, что они — как раз из числа тех «поправок», которые Немирович-Данченко получил от Чехова еще ранее — в Ницце.

Одна из них — добавление, сделанное во фразе Соленого в его разговоре с Чебутыкиным из I акта: «Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, *ангел мой*». Слова «ангел мой» из суфлерского экземпляра перешли затем в печатный текст отдельного издания пьесы 1901 г. (*ТС*) — еще до того, как Чехов впервые увидел «Трех сестер» на сцене Художественного театра.

Другое добавление — тоже в сцене Соленого с Чебутыкиным, но уже из IV акта: «(*Опрыскивая духами руки*.) Вылил на руки целый флакон духов и все-таки от них пахнет. Они у меня пахнут трупом. Это хорошо». После этих слов Соленого шла еще и реплика Чебутыкина, тоже отсутствовавшая в авторской рукописи: «Да, очень хорошо». Весь этот отрывок в отредактированном виде и уже без реплики Чебутыкина тоже перешел из суфлерского экземпляра в пьесу: он был напечатан в тексте «Русской мысли» и сохранен в окончательной редакции «Трех сестер».

Узнав из газет, что Чехов написал или пишет новую «комедию», В. М. Лавров 14 октября 1900 г. обратился к нему с просьбой: «...я намереваюсь просить тебя отдать эту комедию „Русской мысли“ <...> Вспомни нашу старую дружбу и связь, соединяющую тебя с нашим журналом» (*ГБЛ*).

Еще раньше пьесу просил у Чехова редактор «Ежегодника императорских театров» С. П. Дягилев, писавший, что «мечтает поместить» ее для придания журналу «большой литературности и свежести» (6 апреля 1900 г. — *ГБЛ*). Редакция журнала «Жизнь» также рассчитывала получить от Чехова новую «повесть или драму» (телеграмма В. А. Поссе и Д. Н. Овсяннико-Куликовского 31 августа 1900 г. — *ГБЛ*). Но Чехов отдал предпочтение «Русской мысли».

Когда Лавров обратился за текстом пьесы в Художественный театр, Немирович-Данченко с недоумением ответил ему: «Происходит какая-то путаница. Экземпляра „Трех сестер“ у меня *нет совсем*. Теперь я заказал для „Рус<ской> мысли“. Дня через два будет готов. А тот, который Чехов хотел отдать тебе, он увез с собой. И я думаю, что он сам вышлет вам» (без даты, не ранее 11 января 1901 г. — *ЛН*, т. 68, стр. 15). Через несколько дней Лавров получил текст пьесы и 19 января известил Чехова: «Наконец-то я изъясил из обладания Немировича твоих „Трех сестер“ и отдал их набирать» (*ГБЛ*).

Но корректура уже не застала Чехова в Ницце; 26 января он выехал оттуда и 7 февраля писал Лаврову из Рима: «...корректура „Трех сестер“ догнала меня в Риме. Так как теперь уже 7 февраля, то пьеса не успеет для февральской книжки. Сегодня я уезжаю в Ялту, откуда и пришлю ее, а ты пока вели выслать мне „действующих лиц“, которых нет в корректуре и которых нет у меня».

В Риме же Чехов начал исправлять корректуру. Один из его спутников вспоминал позднее об этом дне: «Я видел его после ряда часов, проведенных за корректурой „Трех сестер“. Он был не в духе, находил пропасть недостатков в своей пьесе и клялся, что больше для театра писать не будет» (Максим К о в а л е в с к и й . Об А. П. Чехове. — «Биржевые ведомости», 1915, 2 ноября, № 15185; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 452).

Вскоре Чехов прибыл в Одессу и сообщил корреспонденту одной из газет о своем намерении опубликовать пьесу после исправления корректуры в мартовской книжке: «В настоящее время А. П. Чехов лично держит корректуру своей новой пьесы „Три сестры“, которая недавно впервые шла в „Художественном“ театре в Москве. Пьеса будет напечатана в мартовской книжке „Русской мысли“» («Одесский листок», 1901, 13 февраля, № 40).

Однако редакция журнала не захотела откладывать печатание пьесы и поместила ее в февральской книжке — до получения от Чехова исправленного текста. Когда же он обратился за разъяснениями к находившемуся в Ялте Лаврову, тот всю вину возложил на Немировича-Данченко. По этому поводу Чехов писал Книппер 22 февраля: «„Русская мысль“ напечатала „Трех сестер“ без моей корректуры, и Лавров-редактор в свое оправдание говорит, что Немирович „исправил“ пьесу...»

У Чехова были серьезные основания для недовольства: текст «Русской мысли» сильно отличался от оригинала, переданного им в театр. Лавров получил от Немировича-Данченко не подлинную рукопись пьесы и

даже не копию с нее, а копию с одного из театральных рабочих экземпляров. В результате неоднократного копирования пьесы и последовательного наложения в тексте ошибок в журнальную публикацию проникло около двухсот искажений, не считая пунктуационных.

Самый ранний слой искажений перешел в печатную публикацию из первоначальной театральной копии (ныне утраченной), к которой восходят тексты всех сохранившихся рабочих театральных экземпляров. Эта первоначальная копия была составлена на основе автографа переработанной редакции (А), однако готовилась она только для пользования внутри театра, поэтому копиист не стремился к абсолютно точной передаче авторского текста, а ремарками и пунктуацией часто вообще пренебрегал (все вставки и дополнения делались в театральных экземплярах пьесы помощником режиссера и артистом Художественного театра И. А. Тихомировым).

Текст I и II актов копировался им непосредственно с автографа. Поэтому искажения здесь по преимуществу «глазные», идущие от невнимательного чтения текста. Так, вместо слов: «больше хочется знать» копиист написал: «больше хочу жить», вместо «болен ребеночек» — «болен ребенок», вместо ремарки: «Целуется с Роде» — «Целует и Роде». Из-за того, что перенос на новую строку у Чехова не обозначался дефисом, фраза: «Видите, мои волосы седеют» (перенос приходился в автографе на слово: «Ви-дите») была представлена копиистом в искаженном виде: «Все, даже мои волосы седеют», и т. д.

Текст III и IV актов, присланных Чеховым позднее, уже из Ниццы, передан с гораздо более значительными искажениями, так как Тихомиров в спешке ограничился перенесением из автографа далеко не всех, а только наиболее существенных авторских исправлений и вносил их прямо в старый неуправленный машинописный экземпляр первоначальной редакции (экз. *Ценз.*), который с этого момента, так получилось, стал главным источником текста III и IV актов.

Естественно, что во всех случаях недосмотра копииста в этом источнике выступала старая основа текста — первоначальные, отброшенные Чеховым варианты, перешедшие, однако, в текст пьесы всех последующих театральных экземпляров, ее журнальную публикацию и в большой мере сохранившиеся даже в окончательном печатном тексте. Например, приведенную в автографе фразу: «для чего же нам еще эта старуха?» Тихомиров оставил в том виде, как она шла в машинописном экземпляре ранней редакции: «для чего же нам *вот* эта старуха?», то есть игнорировал сделанное Чеховым исправление. Вместо имевшихся в автографе, уже исправленных Чеховым слов: «как говорится» — в тексте все же остались первоначальные, забракованные им: «как говорят». Вместо: «Васильич» — осталось: «Васильевич», вместо: «Романыч» — «Романович». В речи персонажей остались от ранней редакции союзы «что», хотя Чехов, следуя своим художественно-эстетическим установкам, исключал их при переработке пьесы и, давая советы начинающему драматургу, говорил по поводу их употребления: «Есть лишние слова, не идущие к пьесе, например, „ведь ты знаешь, *что* купить здесь нельзя“. В пьесах надо осторожнее с этим *что*» (А. М. Федорову, 3 ноября 1901 г.).

Новые искажения проникли в текст пьесы при изготовлении копии, составленной под наблюдением Немировича-Данченко в театре специально для «Русской мысли». Хотя наборный экземпляр пьесы не сохранился, но сопоставление дубликата изготовленной копии (рабочий театральный экземпляр — Музей МХТ, № 142) с другими, более ранними театральными экземплярами (№№ 141 и 8832), позволяет выявить тот слой искажений, который появился в тексте именно на этом этапе. Так, фраза: «я помню там все», сохранявшаяся в неизменном виде и в экземпляре первоначальной редакции, и в переработанном тексте автографа, была изменена в журнальной копии: «я помню *так* все». Другая фраза: «И тогда также били часы» тоже подверглась искажению здесь: «И тогда *тоже* били часы». Ремарка: «Стук в пол из нижнего этажа» была переделана в журнальной копии на: «Стучат в пол из нижнего этажа». Слова «Пришло время» прочитаны как «Прошло время», и т. д.

Наконец, уже в процессе печатания пьесы в «Русской мысли», при редактировании текста и просмотре корректур (видимо, с участием Немировича-Данченко и Лаврова), добавился еще один слой разночтений. Перечень действующих лиц, то есть «афишка», которую Чехов просил выслать для просмотра, но так и не получил от Лаврова, был напечатан в журнале небрежно — с пропусками и ошибками. Фраза Ольги в первой же реплике: «ты уже в белом», так читавшаяся и в первоначальной редакции пьесы (текст *Ценз.* 1, 2), оставленная Чеховым без изменений и в переработанной редакции (текст А — см. фото на стр. 121), сохраненная в том же виде во всех театральных экземплярах, в «Русской мысли» была напечатана в подправленной редакции: «ты уже в белом *платье*». Фраза Кулыгина из I акта («Наш директор говорит»), сообщенная Чеховым дополнительно в письме к Вишневскому, помещена не на то место и воспроизведена неточно: «Так говорит наш директор». Большая ремарка к началу IV акта дана с искажениями и с выпуском нескольких фраз. В другой ремарке вместо: «Причесывает бороду» — напечатано: «Почесывает бороду». Слова: «убирает около своего столика» совсем опущены. Авторская ремарка: «В зале садятся завтракать; в гостиной ни души» — воспроизведена ошибочно как реплика Наташи. В финале пьесы исключена не только та часть ремарки, где говорилось о проносе тела убитого

барона, на что Чехов дал свое согласие, но и последующий текст, а также заключительные реплики Чебутыкина и Ольги, и т. д.

Таким образом, текст «Русской мысли», содержащий множество отклонений от белового автографа, с которого пьеса, собственно, и должна была набираться, напечатанный без участия Чехова по сомнительной копии с дефектного театрального экземпляра и без авторской корректуры, не может рассматриваться как достоверный источник текста. Поэтому в вариантах разночтения текста «Русской мысли» отдельно не приводятся.

Однако именно этот испорченный текст «Русской мысли» послужил основой для последующих публикаций. Чехов задумал немедленно выпустить пьесу отдельным изданием в исправленном виде, не дожидаясь выхода нового издания VII-го тома сочинений («Пьесы»), куда А. Ф. Маркс еще ранее предлагал ему включить «Трех сестер» (см. письмо Ю. О. Грюнберга от 8 сентября 1900 г. и ответ Чехова от 13 сентября). 6 марта 1901 г. Маркс уведомил Чехова о полученном от него «корректурном оригинале» пьесы (ГБЛ). Без сомнения, это была та самая корректура, которую Чехов начал выправлять для «Русской мысли» и оставил у себя (так как журнал напечатал пьесу раньше, без авторской правки), а теперь, не располагая автографом, использовал в качестве оригинала.

Гранки отдельного издания пьесы были посланы Чехову 20 марта и получены от него обратно 4 апреля 1901 г. На следующий день выдано цензурное разрешение на издание. 17 апреля Маркс благодарил Чехова за «скорую присылку» второй корректуры и сообщал, что «пьеса уже сдана в печать» (ГБЛ). 15 мая он выслал ему несколько экземпляров пьесы, «только что вышедшей из печати» (там же).

В тексте отдельного издания Чехов устранил более пятидесяти искажений, замеченных им в публикации «Русской мысли». В то же время была продолжена авторская работа над пьесой: по всему тексту пьесы внесено несколько десятков небольших изменений.

В роли Чебутыкина в разных местах были добавлены фразы, выражающие его житейскую «мудрость»: «Э, матушка, да не все ли равно!», «Впрочем, все равно!», «Все равно!», «Решительно все равно». В сцене появления Соленого в III акте введена ремарка: «Вынимает флакон с духами и прыскается». К его фразам, что он «немножко похож на Лермонтова» и у него «характер Лермонтова», добавлены слова: «как говорят», подчеркнувшие субъективную пристрастность его высказываний. Небольшой финальный монолог Ирины дополнен фразой: «все узнают, зачем всё это, для чего эти страдания» — мотив, развитый более широко в шедшем следом за этим монологе Ольги, и т. д.

Одновременно в тексте был сделан ряд сокращений и замен. В роли Чебутыкина сняты названия газет, которые он читает: «Свет», «Новое время». В разговоре Тузенбаха с Вершининым исключено несколько фраз, повторявших другие его сходные реплики: «Мы должны работать, работать и даже не мечтать о счастье», «Мы живем своею настоящею жизнью, будущее будет жить своею жизнью» (III акт). Были вычеркнуты некоторые разговорно-бытовые, резкие выражения Маши: «...становишься злошей, как кухарка», «Кого бы я отодрала хорошенько, так это Андриюшку, нашего братца. Чучело гороховое» (IV акт), и т. д.

После выхода отдельного издания Чехов обратил внимание на имевшиеся в тексте искажения: «В издании „Три сестры“ было сделано много опечаток...» (А. Е. Розинеру, 18 октября 1901 г.). Отрицательное отношение Чехова к тексту этого издания пьесы отмечено также одним из знакомых ему литераторов, который после беседы на эту тему записал в своем дневнике: «...заговорили о марксовском издании „Трех сестер“, которое А. П. ругает» (Дневник Б. А. Лазаревского, запись от 21 августа 1901 г. — ЛН, т. 87, стр. 332).

В конце 1901 г. «Три сестры» были включены в состав второго, дополненного издания VII-го тома сочинений, который вышел в свет в марте 1902 г. Из-за поспешности печатания издательство Маркса не выслало Чехову второй корректуры текста, как делалось обычно. Посылая ему единственный оттиск, заведующий редакцией просил ускорить просмотр пьесы и сразу же подписать корректуру к печати: «Будьте добры возвратить ее возможно скорее и притом, если можно, уже подписанною к печати, так как печатание второго издания VII тома уже поставлено на очередь, и высылка 2-ой корректуры в сверстанном виде замедлила бы печатание» (письмо Розинера от 20 декабря 1901 г. — ГБЛ).

При подготовке VII-го тома Чехов внес в пьесу лишь отдельные изменения и уточнения. Была введена ремарка, отмечающая, что Чебутыкин «все время с газетой». В другом месте, при его обращении к Маше, добавлены слова: «дуся моя». Повторяемая им в нескольких местах одинаковая фраза: «Все равно!», введенная в текст ранее, теперь приведена в различных интонационно-смысловых вариантах: «Хотя в сущности... конечно, решительно

все равно!», «И не все ли равно!», «Не все ли равно!» В роли Соленого введена дополнительная ремарка, отмечающая его привычку прыскаться духами: «Достаёт из кармана флакон с духами и льёт на руки». В сцене объяснения Андрея с сестрами исключены резко-иронические, ранящие их самолюбие оценки: «...это ...капризничанья старых дев. Старые девы никогда не любили и не любят своих невесток — это правило», «вы,

так сказать, прекрасного пола». В финале пьесы снято сердитое восклицание Маши, отказывающейся войти в дом: «Отстань!».

В этом последнем прижизненном издании пьесы в ряде случаев происходила обратная замена текста: фразы, добавленные в предыдущем отдельном издании, здесь опять исключались, а вычеркнутые там — были теперь восстановлены. Например, шутливо-фамильярные восклицания Маши за именинным столом («Выпью рюмочку винца! Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!»), выброшенные в отдельном издании и замененные там другой фразой («М а ш а (*стучит вилкой по тарелке*). Господа, я желаю сказать речь...»), опять появились в окончательном тексте. При этом была, однако, сохранена, возможно, ошибочно, ремарка («стучит вилкой по тарелке»), относившаяся к исчезнувшей реплике. Несколько фраз Чебутыкина в его разговоре с Соленым из I акта («Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...»), тоже вычеркнутые в отдельном издании и замененные там другим текстом («Запишем-с! Впрочем, не нужно... (*Зачеркивает.*) Все равно!»), снова появились в последнем издании пьесы. Были исключены добавленные перед этим фразы Чебутыкина в его монологе из III акта: «Все равно! Решительно все равно!», а также из сцены его прощания с Андреем в IV акте: «Или, впрочем, как хочешь!.. Все равно...» И, напротив, восстановлен исключенный ранее отрывок в речи Кулыгина из IV акта, содержащий сравнение Ирины с Машей: «Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер». Снова были водворены на свое место вычеркнутая в отдельном издании реплика Чебутыкина из I акта: «Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь», а также целый отрывок в его речи из IV акта: «Далеко вы ушли... Не догонишь вас... Остался я позади, точно журавль, который состарился, не может лететь. Летите, мои милые, летите с богом! (*Пауза*). Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили».

Не исключено, что эти случаи обратных замен, когда происходил механический возврат к уже исключенному или замененному тексту, явились следствием случайной оплошности, а не творческих намерений автора. Во всяком случае, лишь в одном месте — в последнем, приведенном выше отрывке — можно обнаружить следы авторского участия в доработке: слова «журавль, который состарился» заменены в окончательном тексте новым вариантом: «перелетная птица, которая состарилась».

Следует также отметить, что в последних двух прижизненных изданиях пьесы авторский контроль за текстом в силу различных обстоятельств был затруднен. Подготовленная Чеховым для печати в декабре 1900 г. рукопись переработанной редакции (беловой автограф) оказалась скрытой на многие годы в архиве Немировича-Данченко (см.: Е. К о с т р о в а. К истории текста «Трех сестер». — «Литературная газета», 1954, 6 июля, № 80). Издания же печатались по дефектному тексту «Русской мысли», восходившему к неавторизованной копии, снятой с испорченного театрального списка, а сопоставить этот текст и выправить его по оригиналу-автографу Чехов, естественно, при этих условиях не мог.

При подготовке отдельного издания пьесы Чехов, занятый художественной работой над текстом и вынужденный одновременно устранять замеченные искажения, не обнаружил целого ряда дефектов и пропустил даже очевидную опечатку, перешедшую из текста «Русской мысли» («плаксивно» вместо: «плаксиво»). Не заметил он и нескольких новых опечаток, вкравшихся в текст («Видите» вместо: «Звонят», «плачут» вместо: «поплачут» и др.).

Некоторые из не замеченных тогда искажений Чехов устранил в тексте последнего издания пьесы (т. VII сочинений). Однако это издание также готовилось в спешке, поэтому часть очевидных ошибок Чехов не заметил и здесь, например, отсутствие ряда ремарок с обозначением входа и выхода действующих лиц — дефект первоначальной редакции, замеченный им самим и выправленный в тексте переработанной редакции (автограф), но затем пропущенный по недосмотру копиистом и поэтому перешедший во все последующие публикации пьесы. Таким же образом оказалось неучтенным в окончательном тексте «Трех сестер» важное добавление, сделанное Чеховым при переработке пьесы, — фраза Чебутыкина в монологе из III акта, характеризующая его душевную опустошенность: «В голове пусто, на душе холодно», и т. д. Невозможно предположить, что, проведя однажды тщательную переработку пьесы и внося в текст многочисленные исправления (текст А), Чехов вскоре вдруг действительно отказался от своей правки, вернулся к прежнему, недавно отвергнутому им тексту и в тех же самых местах восстановил забракованные перед этим варианты. Поэтому в местах, где в тексте *PM*, *ТС* и т. VII₂ все же сохранились вычеркнутые Чеховым первоначальные варианты экз. *Ценз.* и при этом налицо ухудшение смысла, в настоящем издании предпочтение отдавалось исправленной редакции автографа (в разделе вариантов эти случаи отмечены звездочкой; две звездочки означают, что авторское исправление воспроизведено в последующих источниках в искаженном виде или учтено там лишь частично).

Премьера пьесы на сцене Московского Художественного театра состоялась 31 января 1901 г. Роли исполнили: Андрея Прозорова — В. В. Лужский, Натальи Ивановны — М. П. Лилина, Ольги — М. Г. Савицкая, Маши — О. Л. Книппер, Ирины — М. Ф. Андреева, Кулыгина — А. Л. Вишневский, Вершинина — К. С. Станиславский, Тузенбаха — В. Э. Мейерхольд, Соленого — М. А. Громов, Чебутыкина — А. Р. Артем, Федотика — И. А. Тихомиров, Родэ — И. М. Москвин, Ферапонта — В. Ф. Грибунин, Анфисы — М. А. Самарова.

По воспоминаниям Станиславского, Чехов в период первых репетиций в конце ноября 1900 г. был озабочен тем, «чтобы не утрировали и не карикатурили провинциальной жизни, чтобы из военных не делали обычных театральных шаркунов» (*Станиславский*, т. 5, стр. 350). Немировичу-Данченко тоже запомнилось, что Чехов тогда «более всего... настаивал на верности бытовой правде» (*Из прошлого*, стр. 169). Уезжая за границу, Чехов просил знакомого полковника В. А. Петрова наблюдать в театре за точностью воспроизведения деталей военного быта, выправки и одежды.

С «особенным пристрастием» Чехов, по словам Станиславского, следил за «правдивым звуком на сцене», подробно объяснял, как во время пожара в III акте должен звучать набат: «Ему хотелось образно представить нам звук дребезжащего провинциального колокола. При каждом удобном случае он подходил к кому-нибудь из нас и руками, ритмом, жестах старался внушить настроение этого надрывающего душу провинциального набата» (указ. соч.).

Основная работа над спектаклем проходила в театре уже в отсутствие Чехова. В письме к нему от 20—21 декабря 1900 г. Станиславский сообщал, что он «влюбляется» в пьесу «с каждой репетицией все больше и больше», что и другие артисты «пьесой увлеклись, так как только теперь, придя на сцену, поняли ее». Далее он добавлял: «Мы часто вспоминаем о Вас и удивляемся Вашей чуткости и знанию сцены (той сцены, о которой мы мечтаем)» (*Станиславский*, т. 7, стр. 201). После черновой генеральной репетиции I и II актов он снова писал Чехову: «Могу с уверенностью сказать, что пьеса на сцене очень выигрывает, и если мы не добьемся для нее большого успеха, тогда нас надо сечь <...> Во всяком случае, пьеса чудесная и очень сценичная» (9 января 1901 г. — там же, стр. 204).

О воодушевлении и творческом подъеме, царивших в труппе в период работы над «Тремя сестрами», сообщали Чехову также другие участники спектакля. Вишневский писал 24 декабря 1900 г.: «Группа и все участвующие в этой чудной пьесе, во главе с К. С. Алексеевым, так схвачены пьесой и так он ее ставит, что положительно приходится только все более и более удивляться неисчерпаемой фантазии; а главное: благородству, мягкости, художественной мере и совершенно новым, еще не повторяемым приемам и новшествам» (*ГБЛ*). Через несколько дней он снова повторял: «Мы репетируем и все больше и больше увлекаемся „Тремя сестрами“» (29 декабря — там же). Тихомиров со своей стороны дополнял его: «А пьеса, уже теперь ясно, будет иметь большой успех. Знаете ли, что среди наших актеров есть несколько человек таких, которые не пропускают ни одной репетиции, хотя сами они в пьесе и не заняты, но каждый день аккуратно они являются в театр и с все возрастающим интересом смотрят каждую репетицию — настолько уже теперь силен захват этой пьесы» (9 января 1901 г. — *ГБЛ*).

В начале репетиций был момент, когда, по словам Станиславского, «пьеса застыла на мертвой точке», «не звучала, не жила, казалась скучной и длинной», ей не хватало «магического *чего-то*». Станиславский вспоминал, как затем он все-таки пришел к ощущению «правды жизни» и открыл, что чеховские герои «совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости; они хотят жить, а не прозябать <...> После этого работа снова закипела» (*Станиславский*, т. 1, стр. 235—236).

Вскоре (с 11 января 1901 г.) в работу над спектаклем включился также Немирович-Данченко, вернувшийся из-за границы и писавший Чехову: «По приезде я сначала посмотрел, по два раза акт, посмотрел и расспросил у Конст. Серг., чего не понимал в его замысле. С тех пор я вошел в пьесу хозяином и все это время, каждый день, работаю. Конст. Серг. проработал над пьесой очень много, дал прекрасную, а местами чудесную *mise-en-scène*, но к моему приезду уже устал и вполне доверился мне» (22 января 1901 г. — *Избранные письма*, стр. 206).

В период репетиций Чехов был оторван от театра, однако с пристальным интересом следил из Ниццы за подготовкой спектакля, интересовался каждой мелочью. В своих письмах за декабрь 1900 г. и январь 1901 г. к Книппер, Вишневскому и М. П. Чеховой он неоднократно высказывал опасения, что пьеса идет «скверно», «надоела», «уже проваливается», «не будет иметь успеха», постоянно требовал от своих корреспондентов подробной информации: «что на репетициях и как, нет ли каких недоразумений, все ли понятно?», «как идет пьеса, как и что, можно ли рассчитывать и проч. и проч.».

Участникам будущего спектакля он давал в своих письмах необходимые советы и разъяснения, высказывал замечания об отдельных моментах пьесы, об исполнении ролей. О роли Маши и ее характере он писал Книппер:

«Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто» (2 января 1901 г.).

Чехов не согласился с предложенной Станиславским мизансценой в эпизоде с Наташей. Станиславский предлагал: «При обходе дома, ночью, Наташа тушит огни и ищет жуликов под мебелью — ничего?» (20—21 декабря 1900 г. — *Станиславский*, т. 7, стр. 202). Чехов со своей стороны выдвинул другой вариант мизансцены: «Но, мне кажется, будет лучше, если она пройдет по сцене, по одной линии, ни на кого и ни на что не глядя, à la леди Макбет, со свечой — этак короче и страшней» (2 января 1901 г.).

На запрос Тихомирова — «знает ли твердо Ирина, что Тузенбах идет на дуэль (4-ый акт), или только смутно догадывается» (9 января 1901 г. — *ГБЛ*), — Чехов ответил: «Ирина не знает, что Тузенбах идет на дуэль, но догадывается, что вчера произошло что-то неладное, могущее иметь важные и притом дурные последствия. А когда женщина догадывается, то она говорит: „Я знала, я знала!“» (14 января 1901 г.). На другой вопрос Тихомирова — о сходстве Соленого с Лермонтовым («Действительное или только кажущееся Соленому?») — Чехов в том же письме разъяснял: «Действительно, Соленый думает, что он похож на Лермонтова; но он, конечно, не похож — смешно даже думать об этом... Гримироваться он должен Лермонтовым. Сходство с Лермонтовым громадное, но по мнению одного лишь Соленого».

Режиссеры спектакля не сразу пришли к единому пониманию драматургии действия в III акте. Книппер сообщала, что «Станиславский» делал на сцене страшную суматоху, все бегали, нервничали, Немирович, наоборот, советует сделать за сценой сильную тревогу, а на сцене пустоту и игру не торопливую, и это будет посильнее» (11 января 1901 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 277). Чехов решительно поддержал Немировича-Данченко в определении тональности III акта: «Конечно, третий акт надо вести тихо на сцене, чтобы чувствовалось, что люди утомлены, что им хочется спать... Какой же тут шум? А за сценой показано, где звонить» (Книппер, 17 января). Чехов придавал большое значение сценической выразительности этого акта и в следующем письме опять напоминал: «Шум только вдали, за сценой, глухой шум, смутный, а здесь на сцене все утомлены, почти спят... Если испортите III акт, то пьеса пропала, и меня на старости лет ошкандолят» (20 января).

Другим спорным пунктом III акта являлась сцена покаяния Маши перед сестрами. По мнению Немировича-Данченко, Книппер слишком драматизировала эту сцену и не передавала в ней «счастья любви». Сама Книппер держалась иного взгляда и писала об этом Чехову: «Мне хочется вести третий акт нервно, порывисто, и, значит, покаяние идет сильно, драматично, т. е. что мрак окружающих обстоятельств взял перевес над счастьем любви» (15 января 1900 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 282). Чехов не согласился с ней и опять-таки советовал не увлекаться внешним драматизмом действия: «Милосюя моя, покаяние Маши в III акте вовсе не есть покаяние, а только откровенный разговор. Веди нервно, но не отчаянно, не кричи, улыбайся хотя изредка и так, главным образом, веди, чтобы чувствовалось утомление ночи. И чтобы чувствовалось, что ты умнее своих сестер, считаешь себя умнее, по крайней мере» (21 января).

На репетициях, по словам Книппер, «много горячо спорили» о загадочных репликах «трам-там-там», которыми обмениваются в III акте Маша и Вершинин (письмо Книппер 15 января 1900 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 283). По этому поводу Чехов дал свое разъяснение: «Вершинин произносит „трам-там-там“ — в виде вопроса, а ты — в виде ответа, и тебе это представляется такой оригинальной шуткой, что ты произносишь это „трам-там“ с усмешкой... Проговорила „трам-там“ — и засмеялась, но не громко, а так, чуть-чуть. Такого лица, как в „Дяде Ване“, при этом не надо делать, а моложе и живей. Помни, что ты смешливая, сердитая» (20 января).

После генеральной репетиции первых двух актов Книппер сообщала: «Пьеса, и говорить нечего, смотрится с сильным интересом, захватывает. Что уж говорить, великий мой мастер», и добавляла через два дня: «Пьеса безумно интересно смотрится» (15 и 18 января 1901 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 282, 286—287). Исполнительница роли Ирины М. Ф. Андреева (Желябужская) после просмотра тоже писала Чехову: «Мы усердно трудимся, репетируем и волнуемся „Тремя сестрами“. Ах, хорошая пьеса, только и трудная же, господь с нею, страх!» (17 января 1901 г. — *ГБЛ*; «Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи...». М., 1961, стр. 52—53).

О генеральной репетиции всего спектакля, состоявшейся 27 января 1901 г., Чехова извещала сестра Мария Павловна: «Я сидела в театре и плакала, особенно в третьем действии. Поставили твою пьесу и играют ее превосходно <...> Если бы ты знал, как интересно и весело идет первый акт! <...> Думаю и чувствую, что пьеса будет иметь огромный успех» (28 января — *Письма М. Чеховой*, стр. 171).

Припоминая впоследствии первые спектакли «Трех сестер», Станиславский отмечал, что успех нарастал исподволь и пьеса захватывала зрителя с каждым спектаклем все более и более: «И только через три года после первой постановки публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом» (*Станиславский*, т. 5, стр. 351).

Сыграв семь спектаклей в Москве, Художественный театр выехал на гастроли в Петербург. После первого спектакля, показанного там 28 февраля 1901 г., Немирович-Данченко телеграфировал Чехову: «Сыграли „Трех сестер“. Успех такой же, как в Москве. Публика интеллигентнее и отзывчивее московской. Играли чудесно <...> Особенно восторженные отзывы Кони и Вейнберга. Даже Михайловский говорит о множестве талантливых перлов» (1 марта 1901 г. — *Ежегодник МХТ*, стр. 136). М. Горький, который тоже смотрел первый спектакль, позднее сообщал Чехову о своем впечатлении: «А „Три сестры“ идут — изумительно! Лучше „Дяди Вани“. Музыка, не игра» (между 21 и 28 марта 1901 г. — М. Горький. Собр. соч., т. 28. М., 1954, стр. 159).

Волна студенческих выступлений в Петербурге и других городах в начале марта 1901 г., их подавление и политические репрессии, совпавшие по времени с гастролями Художественного театра, вызвали у молодой зрительской аудитории обостренный интерес к тому, что говорилось в пьесе о надвигающейся «здоровой и сильной буре», о поэзии труда, о маячащей впереди «невообразимо прекрасной» жизни и т. д., придавали этим высказываниям остро злободневный смысл. В. А. Поссе, вскоре выступивший против мер правительства в связи с подавлением студенческих «беспорядков» и арестованный по этому делу, писал Чехову 8 марта: «Театр отступил на задний план, но все же Ваши „Три сестры“ смотрятся с захватывающим интересом» (*ГБЛ*). Об усилившемся интересе к спектаклю Чехову сообщал также Вишневский: «„Три сестры“ с каждым спектаклем все больше и больше нравятся публике» (18 марта — *ГБЛ*). В день окончания гастролей Немирович-Данченко телеграфировал в Ялту: «Сегодня последний спектакль. Кончаем „Трех сестрами“. Успех театра и артистов рос с каждым спектаклем. Интерес прямо небывалый» (23 марта 1901 г. — *Ежегодник МХТ*, стр. 138).

Сам Чехов впервые увидел пьесу на сцене театра лишь в следующем сезоне — сначала на репетициях, а потом на первом спектакле (21 сентября 1901 г.), о котором через несколько дней писал Л. В. Средину: «...„Три сестры“ идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон» (24 сентября). Об одном из таких «авторских внушений» вспоминал впоследствии В. В. Лужский, исполнитель роли Андрея: «Мной на репетициях остался недоволен, позвал меня к себе и очень подробно, с остановками и разъяснениями, прошел роль Андрея. Таких занятий с Ант. Павл. у меня было не менее трех, каждый раз он занимался со мной не менее часа. Он требовал, чтобы в последнем монологе Андрей был очень возбужден. „Он же чуть не с кулаками должен грозить публике!“» (В. В. Лужский. Из воспоминаний. — «Солнце России», 1914, июнь, № 228/25, стр. 5; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 441).

Станиславский отмечал, что Чехов остался очень доволен репетициями, «но только жалел, что не так звонили и изображали военные сигналы во время пожара. Он поминутно печалился и жаловался нам на это. Мы предложили ему самому перерепетировать закулисные звуки пожара и предоставили ему для этого весь сценический аппарат. Антон Павлович с радостью принял на себя роль режиссера и, с увлечением принявшись за дело, дал целый список вещей, которые следовало приготовить для звуковой пробы». Однако, вспоминал далее Станиславский, на спектакле началась такая «какофония» звуков пожара, что пришлось отказаться от предложенного Чеховым звона (*Станиславский*, т. 1, стр. 237—238; ср. также т. 5, стр. 354).

Во время следующих гастролей театра в Петербурге весной 1902 г. Книппер говорила, что роль Маши играет теперь иначе: «Владимир Иванович смотрел вчера 3-ий акт и сказал, что я по-новому играю, очень смело — вся ушла в любовь. Это ведь как ты хотел» (14 марта 1902 г. — *Переписка с Книппер*, т. 2, стр. 373).

Последний спектакль «Трех сестер» в сезоне 1902/03 г. посетила М. Н. Ермолова. В письме, написанном на следующий день, Книппер рассказывала Чехову об этом посещении: «Была за кулисами, восторгалась игрой, говорит, что только теперь поняла, что такое — наш театр. В 4-м акте, в моей сцене прощания, она ужасно плакала и потом долго стоя аплодировала. У нас всех было приподнятое настроение. Вызывали много; в конце, несмотря на то, что пост играем дома, публика устроила что-то вроде прощания и долго не расходилась» (17 февраля 1903 г. — *Книппер-Чехова*, ч. 1, стр. 221).

Осенью 1903 г., когда после долгого перерыва снова шли на сцене Художественного театра «Три сестры», Станиславский писал Чехову, что то был «радостный день», в который «все ожило»: «Прием восторженный, и по окончании пьесы овации у подъезда» (13 октября 1903 г. — *Станиславский*, т. 7, стр. 264). Об этом же спектакле сообщала Чехову и Книппер: «Все счастливы; играли крепко, бодро, прием был великолепный, после 4-го акта — почти овационный <...> Очень хорошо играли, и слушала публика изумительно. Ведь ты наш автор, ты это должен чувствовать, должен понимать, что мы как дома в твоих пьесах, играем с любовью» (*Книппер-Чехова*, ч. 1, стр. 298).

До постановки пьесы Художественным театром ее просили у Чехова для своих бенефисов артисты других театров: В. Ф. Комиссаржевская (см. письма к ней и М. П. Чеховой от 9 и 13 сентября, 13 ноября 1900 г.), Е. К. Лешковская (ее телеграмма Чехову от 23 октября 1900 г. — *ГБЛ*), С. П. Волгина (письмо из Одессы от 19 января 1901 г. — *ГБЛ*), актер труппы К. Н. Незлобина — И. И. Гедике (письмо из Н. Новгорода от 30 ноября

1900 г. — *ГБЛ*), режиссер труппы Новочеркасского театра И. А. Ростовцев (15 декабря 1900 г. — *ГБЛ*). П. П. Гнедич, вступив в должность управляющего репертуаром Александринского театра, просил Чехова дать пьесу «в будущем сезоне после того, как она пройдет у Немировича» (16 ноября 1900 г. — *ГБЛ*).

Одной из лучших постановок «Трех сестер» на провинциальной сцене был спектакль, поставленный в день московской премьеры Н. Н. Соловцовым в Киеве, в котором принимали участие известные артисты: Е. Н. Рощина-Инсарова (Ольга), А. М. Пасхалова (Маша), М. И. Велизарий (Ирина), Е. Я. Неделин (Кульгин), И. М. Шувалов (Вершинин), Л. М. Леонидов (Соленый). В телеграмме, посланной Соловцовым Чехову, говорилось: «Давно я и мои товарищи артисты моей труппы не испытывали высокохудожественного наслаждения, какое доставила нам постановка Вашей пьесы. Репетированье ее вызвало среди нас тот нравственный подъем, то редкое настроенье, вдохновенье и то сценическое единение, какие способны вызвать только произведения глубокого, яркого таланта...» (7 марта 1901 г. — *ГБЛ*). В начале следующего сезона Соловцов приглашал Чехова приехать на этот спектакль, сообщал, что «„Три сестры“ в Одессе имеют громадный успех» (сентябрь 1901 г. — *ГБЛ*). В мае 1901 г. Чехова приветствовали зрители, видевшие «Трех сестер» в Астрахани, а также артисты труппы Н. Д. Красова, приславшие ему телеграмму, в которой передавали «привет и благодарность автору, чуткому наблюдателю и глубокому, сердечному художнику современной русской жизни» (31 мая 1901 г. — *ГБЛ*).

Весной и летом 1901 г. «Три сестры» шли в постановке ряда гастрольных трупп с участием столичных и провинциальных артистов: В. Ф. Комиссаржевской (в Варшаве, Вильне), Л. Б. Яворской (в Одессе), Г. Г. Ге (в Ярославле) и т. д. 22 ноября 1901 г. «Три сестры» исполнялись в Ялте труппой московского товарищества артистов под управлением И. А. Добровольцева. Пьеса была показана несмотря на запрет Чехова и его отказ руководить постановкой. Назойливость распорядителя и сам спектакль, сыгранный, по словам Чехова, «отвратительно», причинили ему тогда немало огорчений (см. письма к Книппер 19, 22 и 24 ноября 1901 г., а также воспоминания очевидцев: А. Беззвинский. А. П. Чехов в Ялте. — Приложение к газете «Русь», 1907, № 7, стр. 110; Бор. Лазаревский. А. П. Чехов. — «Журнал для всех», 1905, № 7, стр. 428).

В 1902 г. пьеса была поставлена в Херсоне труппой русских драматических артистов под управлением В. Э. Мейерхольда и А. С. Кошерева. Об этом спектакле, показанном 7 июня 1903 г. в Севастополе, писал Чехову Лазаревский и отмечал «глубокое впечатление», оказанное пьесой на публику, которая во время спектакля «замерла и сидела так все четыре акта» (8 июня 1903 г. — *ГБЛ*). О постановке пьесы в сезон 1903/04 г. на сцене театра Киевского общества грамотности сообщал Чехову известный антрепренер М. М. Бородай (9 февраля 1904 г. — *ГБЛ*).

4

Пьеса «Три сестры» вызвала поток писем к Чехову с отзывами о ней, оживленные разговоры в литературных кругах, многочисленные отклики прессы.

Немирович-Данченко, завершая режиссерскую работу над пьесой, писал Чехову о своих впечатлениях: «Сначала пьеса казалась мне загроможденной и автором, и режиссером, загроможденной талантливо задуманными и талантливо выполняемыми, но пестрящими от излишества подробностями <...> Мне казалось почти невозможным привести в стройное, гармоническое целое все те ключья отдельных эпизодов, мыслей, настроений, характеристик и проявлений каждой личности без ущерба для сценичности пьесы или для ясности выражения каждой из мелочей. Но мало-помалу, после исключения весьма немногих деталей, общее целое начало выясняться, и стало ясно, к чему и где надо стремиться <...> Фабула разворачивается как в *эпическом* произведении, без тех толчков, какими должны были пользоваться драматурги старого фасона, — среди простого, верно схваченного течения жизни <...> Разница между сценой и жизнью только в миросозерцании автора, вся *эта* жизнь, жизнь, показанная в спектакле, прошла через миросозерцание, чувствование, темперамент автора. Она получила особую окраску, которая называется поэзией» (*Избранные письма*, стр. 206—207).

После премьеры «Трех сестер» в Художественном театре Лавров отмечал, что пьеса в чтении «представляется превосходным *литературным* произведением, но при сценической интерпретации выступает то, что не было видно, ярко, рельефно и неумолимо безжалостно» (1 февраля 1901 г. — *Записки ГБЛ*, вып. VIII, стр. 41). Книппер подтверждала, что успех «Трех сестер» рос с каждым спектаклем: «По всей Москве только и разговору, что „Три сестры“. Одним словом, успех Чехова и успех нашего театра»; «и пьеса и исполнение произвели сенсацию <...> Тот, кто ее понял, тот не выносит гнета в душе, а кто не понял — жалуется на безумно тяжелое впечатление» (5 и 12 февраля — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 309 и 318).

Академик Н. П. Кондаков, с которым Чехова сблизили в Ялте общие театральные интересы, посмотрев в Петербурге два чеховских спектакля, писал о «Трех сестрах»: «Эта вещь бесконечно выше „Дяди Вани“, вещь

более содержательная, высоко драматичная и жизненная. Не могу Вам даже и описать, в каком живом наслаждении я был все время, с первого акта до конца <...> Только я могу искренно Вас поздравить как самого большого русского драматурга после Пушкина, Островского и Гоголя. Дай Вам бог еще писать для театра!» (1 марта 1901 г. — *ГБЛ*; «Известия ОЛЯ АН СССР», т. XIX, вып. 1, 1960, стр. 34). Смотревший тогда же пьесу И. Л. Леонтьев (Щеглов) отзывался о ней позднее: «...впечатление осталось неизгладимо, душевный охват, именно душевный (а не театральный) был огромный <...> г. г. Буренин и К°, — оценивающие Вас и Горького, похожи на крыловского любопытного, который „не заметил слона“: у Вас они прозевали изумительное по художественным тонкостям настроение...» (7 января 1902 г. — *ГБЛ*).

Тогда же Чехов получил из Ялты письмо от артистки Александринского театра М. В. Ильинской, которая отзывалась о пьесе: «Я только что прочла „Три сестры“, прочла раз, потом еще и еще. — Книгу надо отдать, а пьесу все читать хочется <...> Впечатление большое. Люди живые, близкие стоят перед глазами, понимаешь, а главное сочувствуешь им. Благодарю Вас и за себя и за всех, люди, которые будут после нас, еще больше поблагодарят Вас» (4 марта 1901 г. — *ГБЛ*). Вернувшись в Петербург, она через месяц сообщала: «...я нашла в Петербурге несколько писем от разных знакомых, и все в телячьем восторге от спектаклей Худож. театра, от прелестей „Трех сестер“ и красот „Дяди Вани“. Это очень приятно. Ура! Радуюсь за успех искусства и за людей, служащих ему» (7 апреля 1901 г. — *Там же*).

Драматург С. А. Найденов под впечатлением виденного им в сентябре 1901 г. спектакля отмечал в своем письме органическое сочетание глубокого драматизма пьесы с общей просветленностью тона: «После представления „Трех сестер“ захотелось жить, писать, работать — хотя пьеса была полна печали и тоски <...> Какое-то оптимистическое горе... какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение» (С. Н а й д е н о в . Чехов в моих воспоминаниях. — «Театральная жизнь», 1959, № 19, стр. 25).

А. Б. Тараховский писал Чехову 24 марта 1901 г., что пьеса «вызвала массу споров во всех слоях общества». Он высказал решительное несогласие с мнением оппонентов, будто в пьесе не объяснено, почему сестры так и не уезжают в Москву: «Но в этом-то и вся особенность современного человека. Все, кажется, есть, чтобы сделать то, о чем много лет мечтаешь, а между тем не делаешь» (*ГБЛ*). Громадное впечатление пьеса произвела также на В. А. Тихонова, который говорил о ней Чехову: «Живя много в провинции и вращаясь в разных средах, я хорошо знаю провинциальную жизнь и про Вашу пьесу могу сказать, что это сама жизнь, со всей ее бессмысленностью и подчас жестокостью, как она идет в провинциальных городах <...> Последний акт чудесен и ужасен» (14 марта 1902 г. — *ГБЛ*).

В числе полученных Чеховым читательских и зрительских откликов были также неодобрительные.

Резко отрицательным был отзыв Л. Н. Толстого. Ялтинский врач И. Н. Альтшуллер, лечивший Чехова и навещавший Толстого в Гаспре в ноябре-декабре 1901 г., вспоминал, как в один из его приездов Толстой, выражая восхищение рассказами Чехова, добавил при этом: «А пьесы его никуда не годятся, и „Трех сестер“ я не мог дочитать до конца» (И. А л ь т ш у л л е р . О Чехове (Из воспоминаний). — «Современные записки» (Париж), 1930, кн. XLI, стр. 478; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 595—596). Другой мемуарист свидетельствует, что Толстой не скрывал своего отношения к «Трем сестрам» и от самого Чехова: когда Чехов приехал в Гаспру навестить больного. Толстой при прощании шепнул ему на ухо: «А пьеса ваша все-таки плохая» (П. А. С е р г е е н к о . О Чехове. — «Нива». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения, 1904, № 10, стлб. 255).

Один из зрителей, смотревший пьесу в Художественном театре, в письме 24 октября 1901 г. (подпись: П. А. Н.) заявил, что в ней «есть какая-то внутренняя неправда» — несоответствие «трагического тона» действительному положению действующих лиц, «слишком уже микроскопическая способность страдания и слишком огромна потребность говорить о своих страданиях» (*ГБЛ*). Автор другого письма — воронежская учительница Н. Иноземцева — тоже считала, что в пьесе недостаточно объяснено положение трех сестер, и «непонятно, что их удерживает в провинции, почему они не могут переехать в Москву?» (10 декабря 1901 г. — *ГБЛ*).

Вести о постановке «Трех сестер» на сцене Художественного театра вызвали отклик у В. И. Ленина, который находился в то время за границей (см. стр. 353 наст. тома).

449

Множество отзывов о пьесе было опубликовано в печати. Рецензенты отмечали, что «Три сестры», как и предыдущие пьесы Чехова, составили «целое событие в художественном и литературном мире Москвы» («Три сестры». Драма А. П. Чехова. — «СПб. ведомости», 1901, 5 февраля, № 35, отд. Маленький фельетон. Подпись: А. Е.), что «постановка „Трех сестер“ — событие в жизни нашего театра за последние годы» (П. Я р ц е в . «Три сестры». — «Театр и искусство», 1901, № 8 от 18 февраля, стр. 173). О самой пьесе говорилось, что она «составляет богатый вклад в драматическую литературу» («Три сестры», драма А. Чехова. — «Русское слово», 1901, 1 февраля, № 31, отд. Театр и музыка), «очень интересная, очень талантливая и сильная вещь»

(<С. Б. Л ю б о ш и ц .> Чеховские настроения. — «Новости дня», 1901, 2 февраля, № 6360. Подпись: —бо—), «яркое, талантливое и свежее произведение» (<В. А. А ш к и н а з и .> Кстати. — там же. Подпись: Пэк>).

Вместе с тем, в этих и других отзывах проскальзывало определенное разочарование: буржуазная критика, питавшая в период нарастающего демократического подъема либеральные иллюзии, находила пьесу не по времени мрачной. Рецензенты заявляли: «Пьеса Чехова производит тяжелое, чтобы не сказать — гнетущее впечатление на зрителя <...> Местами искорки юмора, живьем выхваченные сценки, остроумные словечки, но опять все заволакивается тоской и отчаянным пессимизмом» («Русское слово» — см. выше); «Я не знаю произведения, которое было бы более способно „заражать“ тяжелым навязчивым чувством <...> „Три сестры“ камнем ложатся на душу» («Театр и искусство» — см. выше).

Во многих рецензиях отмечалось, что пьесе присущи минорный тон и безысходная грусть, настроения тоски, безнадежности и беспросветного уныния. Критик «Новостей» писал, что «более безнадежного пессимизма, чем тот, который дает новая пьеса г. Чехова, трудно себе представить», что в ней «чеховский пессимизм, по-видимому, достиг своего зенита. Если в „Дяде Ване“ еще чувствовалось, что есть такой уголок человеческого бытия, где возможно счастье, что счастье это может быть найдено в труде, — „Три сестры“ лишают нас и этой последней иллюзии <...> Куда же идти?.. Идти некуда!.. — как бы отвечает автор <...> В „Трех сестрах“, по-видимому, автор сам чувствует уже, как его тянет к пропасти, и сам боится этого. Поэтому здесь Чехов, более чем где-либо, старается „сдобрить“ общую мрачную картину вводными веселыми сценками. Но это ему плохо удается. Все эти эпизоды пришиты белыми нитками и производят для общего тона пьесы впечатление диссонанса» (<Б. И. Б е н т о в и н .> Московские гастролеры. — «Новости и Биржевая газета», 1901, 2 марта, № 60, отд. Театр и музыка. Подпись: Импрессионист).

Характеры, изображенные в пьесе, не вызывали у этой части критики никакого сочувствия: «Кому можем мы сочувствовать в новой пьесе г. Чехова, в которой выведено столько „несчастливых“, неумолкаемо ноющих людей? Да никому. Все они для нас более или менее интересны, но и только. Вместе с ними плакать мы не можем, а потому и нытье их становится для нас нетерпимым, а даже порой отталкивающим» (<В. А. Г р и н г м у т .> Новая драма Чехова. — «Московские ведомости», 1901, 2 февраля, № 33, отд. Театр и музыка. Подпись: В. Г.). По мнению еще одного рецензента, трагедия трех сестер — это «трагедия на пустом месте». Он упрекал автора в том, что предметом изображения выступают в пьесе не «натуры иного склада, деятели, самоотверженные борцы», а всего-навсего «ничтожные, вечно ничем не удовлетворенные люди», «и даже не люди, а просто людишки» (<Н. М. Е ж о в .> «Три сестры» А. П. Чехова. — «Новое время», 1901, 5 февраля, № 8960. Подпись: Н. Е—в).

Критики находили, что Чехов в «Трех сестрах» лишь повторяет себя, что «ожидания нового и свежего не сбылись <...> И вовсе не потому, что „Три сестры“ слабее других пьес Чехова. И тут тот же беспощадный реализм, та же вдумчивая поэзия пошлости, но... все это уже было, и при всем нашем уважении к автору „Трех сестер“, при всем нашем преклонении пред его талантом, мы не можем отрицать, что он многое заимствует у автора „Дяди Вани“...» («Новости дня», 1901, 2 февраля, № 6360). Другой рецензент с неодобрением отмечал, что в «Трех сестрах» звучит «все тот же мотив» и «так же грустно, как в „Чайке“, как в „Дяде Ване“, хотя причины, по которым он слышится, изложены гораздо слабее, чем в названных пьесах» (<И. Н. И г н а т о в .> «Три сестры», драма в 4-х действиях, соч. А. П. Чехова... — «Русские ведомости», 1901, 2 февраля, № 33. Подпись: И.).

Некоторые из критиков считали даже, что новая пьеса — шаг назад сравнительно с прежними, что Чехов напрасно изменил своему излюбленному типу «хмурых людей», «людей средних, меланхоликов, нытиков, не обладающих энергией», но все же честных, и показал Андрея Прозорова, который «вовсе не „хмурый человек“, а большой практик, любящий пожить... Прежние его герои все честные, — глупо честные, как *Дядя Ваня*, например; этот же просто мошенник, и если мы могли сочувствовать прежним хмурым героям г. Чехова, если они в нас могли вызвать известное *настроение*, то этот „братец“ ничего, кроме чувства гадливости, кроме отвращения, вызвать в нас не может» (В. Н. С е м е н к о в и ч . Персонажи драмы А. П. Чехова «Три сестры». — «Московские ведомости», 1901, 23 февраля, № 53). По мнению критика, три сестры — тоже вовсе не «положительные, жизненные и т. д. *типы*», а «злые карикатуры»: Ольга «ломится в открытую дверь» и ищет «где-то в поднебесье какой-то „работы“», Маша — «разбитная бабенка», «провинциальная дама, приятная во всех отношениях», а Ирина — «что-то в роде блаженной памяти прежних институток, которые нуждались лишь в предмете „обожания“» (там же, 3 марта, № 61).

Естественно, что подобным рецензентам и публике, разделявшей их взгляды, первое действие пьесы, наиболее светлое и радостное, нравилось более других, и они находили, что оно «сравнительно еще самое лучшее во всей пьесе» («Московские ведомости», Грингмут), «стоит <...> выше остальных трех, подающих повод к разного рода недоумениям» («Московские ведомости», 1901, 1 февраля, № 32, отд. Театр и музыка), что если «первый акт написан г. Чеховым блестяще», то «второй, третий и четвертый акты значительно жиже и скучнее»

(«Новое время», Ежов), что именно «свежие вейня первого действия» вызывали в театральном зале «приподнятую общность чувства и настроения» («Новости дня», Любошиц).

Другая часть критики, напротив, как раз в ярком изображении «застоя и мрака» провинциальной жизни увидела достоинство пьесы. Критик Лев Жданов (Л. Г. Гельман) утверждал, что в пьесе «писатель нарисовал жизнь»: «Это — истинная трагедия русских будней, где место фатума занимает всеильная захолустно обывательская пошлость, а героями являются те слабые волей, хотя и прекрасные духом, натуры, какие выведены в образе трех сестер». Справедливо высмеивая предвзятые и односторонние суждения о пьесе, критик в своей статье сформулировал типичные придирки «слегка разочарованной» и «словно недовольной» публики и прессы: «После „Дяди Вани“, знаете ли... После „Чайки“... Правда, первый акт хорош... Очень живо... Верно... Но затем — очень мрачно, растянуто даже <...> Ну, а что же дальше? Что-то он придумал нового?.. — шевелился вопрос в уме у всех. Но оказалось, что драматург ничего *не придумал*... А не видят они, что, пройдя через сознание художника-писателя, их собственная жизнь становится им понятнее, и открывается исход из мрачного, заколдованного круга прозы и пошлости...» По словам критика, в Ольге, Маше и Ирине изображены «не отдельные личности», а «три собирательных, типичных образа, в какие выливается, вообще, не только русская, но и всемирная женщина» (Лев Жданов. «Три сестры» на сцене Художественного театра. — «Новости и Биржевая газета», 1901, 10 февраля, № 41).

В своих отзывах на пьесу почти все рецензенты отмечали, что «Три сестры» значительно отличаются от «традиционной» драмы, одни — считая это недостатком пьесы, другие — видя в этом драматургическое новаторство Чехова. Критик «Новостей дня» писал, что «вся сила и интерес „Трех сестер“ — не в их фабуле, которая, как всегда у Чехова-драматурга, незначительна, без сложных внешних перипетий, даже почти неуловима, и не в определениях, которые можно точно сформулировать, моральных положениях, „идее“, как любят говорить. Весь великий интерес и покоряющая прелесть — в общей атмосфере, нравственной и бытовой, в какой живут три сестры <...> в колорите пьесы, еще больше — в ее поразительно напряженном настроении» («Новости дня», 1900, 22 ноября, № 6289).

Рецензенты подчеркивали в пьесе такие ее особенности, как «отсутствие ярко выраженной драматической коллизии» («Новости дня», Ашкинази), «полную простоту и даже будничность сюжета» («Русские ведомости»), «глубокую драматичность повседневной жизни даже и без потрясающих эффектов» («СПб. ведомости»), находили, что «драма построена не на движении внешних событий, а тонких движениях жизни: будничной мысли и будничного страдания» («Театр и искусство»). В пьесе усматривали также отражение модных вейний западноевропейской драматургии — «слабые стороны ибсеновского символизма» («Новости дня», Любошиц), приемы драматургов-«настроенников» во главе с Метерлинком («Московские ведомости», Семенкович).

В ряде отзывов обращалось внимание на недостаточную мотивированность поступков персонажей, неотчетливость в обрисовке их характеров: «Новая драма г. Чехова верна модному золаистическому принципу, в силу которого публике предлагаются не законченные художественные произведения с определенным смыслом, с гармонически связанным началом, серединой и концом, — а лишь так называемые „человеческие документы“ или „куски жизни“, которые можно лишь созерцать, подмечая лишь большую или меньшую верность изображаемому подлиннику, но из которых нельзя сделать никаких общих выводов и умозаключений» («Московские ведомости», Грингмут).

Больше всего недоумений и нареканий вызывала у критиков «немотивированность» страданий сестер и их порывов ехать «в Москву». Критик «Новостей дня» писал, например, по этому поводу: «Стремление трех сестер в Москву, стремление, которое принимает у них характер навязчивой идеи, своим символизмом, своею немотивированностью очень напоминает ибсеновский прием. Ибсен также обыкновенно символизирует стремление простое и обыденное, таково, например, в строителе Сольнесе стремление его непременно подняться на верхушку башни <...> У Чехова та же немотивированность, ибо из пьесы вовсе не видно, чтобы осуществление стремления в Москву было для трех сестер такой действительно несбыточной и неосуществимой мечтой» (Любошиц). «Русские ведомости» тоже отмечали, что «пьеса не дает более или менее ясных мотивов для несчастья трех сестер, — и в этом заключается ее коренной недостаток, отнимающий у драмы большую часть ее жизненного значения». Рецензент считал поэтому, что «Три сестры» — это «не бытовая драма», а «философско-символическая пьеса», и Москва, в которую стремятся сестры, — это «символ далекого и лучезарного идеала, к которому в тоске направляются думы страдающих» (Игнатов).

Критика говорила о необычайной сложности пьесы для сценического воплощения, — пьесы «такой простой, но такой трудной по своей простоте» («Новости», Жданов), рассчитанной на применение новейших принципов театрального искусства. Рецензент «Новостей дня» писал по этому поводу: «Не без ужаса думаю я, однако, о той коллизии, которая неминуемо произойдет между пьесой Чехова и ее исполнителями, когда она доберется до провинции <...> Ее не возьмешь ни талантливой игрой отдельных исполнителей, ни новенькими декорациями. Ее

можно взять только общим тоном исполнения, только общим ансамблем» (Ашкинази). Некоторые рецензенты полагали даже, что успех Художественного театра в «Трех сестрах» основывался не столько на достоинствах самой пьесы, сколько на необычной театральной «обстановке», сценических «курьезах», «штучках и побрякушках, которые прицеплены к пьесе» («Московские ведомости», Грингмут), и что «Чехов как драматург обязан своим существованием именно Художественно-общедоступному театру» («СПб. ведомости»).

Новую волну откликов в печати вызвали гастроли Художественного театра в Петербурге весной 1901 г. и почти совпавшая с ними публикация «Трех сестер» в журнале «Русская мысль». Критики отмечали, что пьеса «разыгрывается с огромным успехом» и «ежедневно цитируется всею печатью» (М. Н. М<а з а е в>. Журнальное обозрение. — «Литературный вестник», 1901, № 3, стр. 348), причем подчеркивалось наметившееся расхождение между восторженным приемом пьесы зрителями и ее оценками со стороны прессы: «Успех московских гостей в С.-Петербурге был выдающийся и даже, как принято выражаться в газетах, — прямо „сенсационный“. Особенно понравились „Три сестры“. Они возбудили такой шум, что критика сочла долгом понизить восторг публики и стала доказывать, что пьеса Чехова — вещь посредственная» (С. А. А н д р е е в с к и й. Литературные очерки. Изд. 3. СПб., 1902, стр. 475). Оценивая выступления прессы по поводу «Трех сестер», Поссе писал, что «большинство ее критических представителей прямо выражали недоумение, сожаление и забрасывали автора упреками, указаниями и советами, как надо писать пьесы, могущие иметь „общественный смысл“» (В. П о с с е. Московский Художественный театр (По поводу его петербургских гастролей). — «Жизнь», 1901, № 4, стр. 340).

О первых откликах петербургской печати на пьесу — в «Петербургской газете», «Биржевых ведомостях», «Новостях» — Чехову сообщил Немирович-Данченко: «Все рецензии мало содержательны, не глубоки, не даровиты» (телеграмма от 2 марта 1901 г. — *Ежегодник МХТ*, стр. 137). Книппер со своей стороны замечала по поводу газетных выступлений: «Нас только газеты ругают, а публика любит, и все эти шипелки пристыжены» (5 марта 1901 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 345—346).

Одной из немногих рецензий на пьесу, прочитанных тогда Чеховым, была статья В. С. Кривенко, помещенная в военной газете «Русский инвалид». Автор отмечал, что в отличие от других пьес, где «современные военные на сцене обыкновенно очень слабо представлены», в пьесе Чехова показано «истинно военное общество, такое, какое оно на самом деле есть»: его «никак нельзя обвинить в местной затхлости и плесени», оно вносит в захолустную жизнь «свежую струю» (<В. С. К р и в е н к о.> Военные на театральной сцене. — «Русский инвалид», 1901. 11 марта, № 5—6. Подпись: В. С. К—о). Чехов благодарил Кривенко за эту и еще одну присланную его статью и называл ее «интересной и доброй» (6 апреля 1901 г.). К числу «военно-бытовых драм» отнес «Трех сестер» рецензент «Наблюдателя», писавший, что военных автор изобразил не в обычном «смешном, почти карикатурном стиле», «не сусальных адъютантов, не архаических полковников с оттопыренными эполетами, не смехотворных Дитятиных, а настоящих русских военных интеллигентов», что он правдиво рисует «военно-захолустную жизнь», в которой они «погибают в неравной борьбе, не достигнув и половины намеченных целей» (И. Б — е в. «Три сестры» г. Чехова как иллюстрация к военной жизни. — «Наблюдатель», 1901, № 6, стр. 88—90).

В статье Поссе тоже подчеркивалось, что «Три сестры» — пьеса прежде всего «военная», а потом уже «провинциальная», однако он находил, что в определенном смысле все действующие лица пьесы, не только офицеры, но и сами героини, — люди «военные», проникнутые «военным духом», так сказать — «заготовленные впрок»: «Их готовят не для настоящей жизни, а для случайностей будущего»; «проявления воли у них крайне стеснены и вся самостоятельность донельзя понижена»; «они живут в каком-то ожидании, что их кто-то прикомандирует к интересному будущему». Ирина, как и ее сестры, «не делает усилий, чтобы добиться желанной Москвы, как будто полагаясь на какое-то начальство, которое переведет ее туда <...> труд хорош для Ирины, как и для ее сестер, лишь в отвлечении или в туманном будущем. В Ольге очень ярко выражены характерные военные черты: покорность в связи со спокойным признанием совершенной невозможности самому направлять свою жизнь <...> Не чужд „военного духа“ и брат трех сестер Андрей <...> Он подготовлен жить „по команде“, у него нет инициативы, нет вкуса к жизни в настоящем <...> Он стонет и, подобно своим сестрам и другим „военным“, живет хорошими, но крайне неопределенными мечтами о будущем» («Жизнь», 1901, № 4, стр. 341—343).

А. Р. Кугель полагал, что «Три сестры» — пьеса «интересная», «сильная», однако «смутная», потому что «сам автор не совсем ясно наметил задачи своего художественного творчества». По мнению критика, Чехов показал жизнь не в качестве «логического круга друг друга обуславливающих действий, связанных единством интриги», а как «что-то сырое, неуклюжее, бесформенное», где «все случайно и самостоятельно», «непредвидимо и непоправимо», подчеркнул «бессмысленную разъединенность людей, якобы живущих в общественном союзе». Определяющим моментом пьесы критик считал «мертвящее настроение», «безнадежность», «холодное отчаяние тупой, бессмысленной, разъединенной жизни». Полагая, что «Москва» в пьесе это «символ чего-то большого, серьезного, светлого, в котором есть смысл и способность соединения», критик заключал: «Я очень хорошо понимаю это символическое порыванье в Москву, но, по-моему, у г. Чехова это не вышло, он недостаточно вплеп

этот мотив в течение пьесы. Это немножко искусственная Москва. Попробуйте ее выкинуть, и пьеса решительно от этого ничего не проиграет». Особенно характерным для пьесы он находил ее «мучительный, до боли тяжелый финал», к которому «совсем некстати» приделан заключительный монолог Ольги — «какой-то туманный призыв к надежде, в который зрители имеют полное право не верить и в который прежде всего не верит, не может верить сам автор» (Номо Новус. «Три сестры» А. Чехова. — «Петербургская газета», 1901, 2 марта, № 59, отд. Театральное эхо).

Критик П. П. Перцов, сопоставляя «Три сестры» с «Дядей Ваней» и находя в последней пьесе «больше внешнего трагизма и меньше фатальности в этом трагизме», утверждал, что в «Трех сестрах» «преобладает пассивность действия, которая, может быть, вредит сценичности, но зато сильнее выдвигает и подчеркивает инертность жизни — этот чеховский фатум». «С поднятия занавеса, — указывал он, — с первых слов трех сестер вы вступаете в мир бессилия, недоумения, безнадежности». Обе пьесы критик называл «трагедиями жизненной инерции» (П. П е р ц о в . «Три сестры». — «Мир искусства», 1901, № 2—3, стр. 96, 97).

Отмечая сгущенный драматизм пьесы, некоторые рецензенты, продолжая традиции демократической критики, оттеняли при этом ее обличительный смысл, подчеркивали, что объективно она несет в себе протест против современной действительности, а ее безвольные герои являются жертвами своего времени. Е. А. Соловьев (Андреевич) писал, что герои пьесы, несмотря на их «нудную» психологию, — все же «люди хорошие и не без хороших порывов, не без серьезных даже запросов», но обреченные жизнью «ныть, всем тяготиться, усыплять себя всяческими гипнозами <...> Я бы так сформулировал идею Чехова: „тусклая, бедная духом жизнь создает лишь тусклых, бедных духом людей. Если же случайно появится среди этой скучной толпы человек, лучше одаренный и носящий в себе божью искру героического порыва, жажды подвига и совершенства, то болото, рано или поздно, все равно, затянет его, — это необозримое болото всякой пошлости, невежества, хамства и рабского духа“...» (А н д р е в и ч . «Три сестры». — «Жизнь», 1901, № 3, стр. 223, 225, 227).

Другая часть критики, выступавшая с позиций защиты современного жизнеустройства, упрекала Чехова в намеренном сгущении красок, в отсутствии у него положительных идеалов. В статье, напечатанной в «Новом времени», утверждалось, что Чехову лишь «кажется», будто Россия «погрузилась в безнадежную тьму и гнилое болото, из которого нет уже ровно никакого выхода», что, изображая «общественную протухлость», он на самом деле передает «свое собственное настроение — пессимизм; пессимизм глубоко затаенный, безнадежный и упорный». Поэтому его пьеса «ни в каком случае не может быть названа драмой: в ней окончательно нет ни драматических положений, ни типов, ни драматической идеи, ни действия <...> „Три сестры“ — есть чистейшая сатира, сатира не только на то военное общество, которое изображено в ней, и не только вообще на все русское общество, но и на всю современную жизнь <...> Тут нет ни настоящих чувств, ни стремлений, ни идеалов, это лишь жалкая гримаса, жалкая пародия на чувства, пародия на мировоззрение, пародия на идеалы и настроения». Рецензент с осуждением говорил о «пессимистическом настроении автора», «глубоко отрицательном отношении к жизни», призывал к изображению «светлых сторон» действительности: «Не думаем, что в России положение совершенно безнадежное и нет из него никакого выхода; с этим никогда не согласится совесть русского человека, который чувствует и знает, что в русской жизни есть светлые стороны, светлые лучи, есть выходы, есть надежда» (О д а р ч е н к о . Три драмы А. П. Чехова. — «Новое время», 1901, 27 марта, № 9008. Подпись: Ченко).

Критик «Прибалтийского края» тоже сетовал на «чрезмерность темного колорита» в пьесе, находил, что она «очень скучна и бесцветна», рисует «традиционное недовольство средой»: «Драма „Три сестры“ проникнута печалью и тоской, лежащими в ее основе. История трех сестер, Вершинина, Кулыгина, Чебутыкина местами глубоко комична, но улыбка ни разу не освещает лица читателя. Сквозь внешний комизм просвечивает такое тяжелое, грустное настроение автора, что самый комизм персонажей только усугубляет безотрадные выводы, которые сами собой вытекают из рисуемых автором картин пошлости и житейской неурядицы». Критик с назидательным сожалением отмечал, что «жизнерадостное, бодрящее чувство как бы совсем покинуло автора», и утверждал, что «жизнь в общем не так уже мрачна и тосклива, как она представляется, если ее изучать в разрозненном виде» (Ник. Я. В—ч. Жизнь и печать (Критические очерки). V. — «Прибалтийский край», 1901, 6 июля, № 149). Другой рецензент сокрушался, что в «Трех сестрах» «чеховский пессимизм, мрачное настроение достигают апогея», упрекал Чехова в том, что «он всю пьесу окутал печалью, покрыл тоской», «нарочито и искусственно» подобрал «почти сплошь одни печальные звуки». В этом он видел «основную фальшь» пьесы и советовал «не злоупотреблять описанием страданий, а направить свое внимание на другие стороны жизни»: «Я бы хотел, чтобы прекрасный — *физиологический* — талант Чехова был употреблен на описание красоты, радости и смешной веселой жизни» (Сергей С у т у г и н . «Три сестры» А. П. Чехова. — «Театр и искусство», 1901, №№ 44—50 от 28 октября — 9 декабря 1901 г., стр. 785, 823, 919).

Эпигоны либерально-народнической критики тоже не приняли «Трех сестер», но их недовольство было вызвано уже совсем иными причинами — тем, что в пьесе вместо деятельных «идейных» героев были изображены слабые, сломленные жизнью обыкновенные люди. Критик «Русского богатства» с язвительной

иронией писал о «животнорастительных коллизиях» пьесы, о напрасной попытке Чехова представить в виде драмы «грандиозную по размерам, но скудную по содержанию эпопею животно-растений», «многовековое царство живущих по зоологическому обычаю и без всякой критики человеческих полипняков, перед прочною стеною которых бессильно разбивается самое могучее идейное течение». Рецензент не пощадил даже трех героинь пьесы, которые, по его словам, «проводят жизнь в пустых грезах и фразах о „труде“ и продолжают не двигаться с места, но все больше и больше втягиваются в отправление своего животно-растительного существования, платя судьбе лишь вздохами и стонами за те противные им самим и машинально выполняемые ими функции учительницы, или телеграфистки, или просто „жены своего мужа“, которые возложил на них рок, тяготеющий над царством зоофитов». Лишь проблеск надежды, тлеющей в их душе, и сознание неудовлетворенности заставляют рецензента быть несколько снисходительным, смягчить суровость своего приговора: «Само собой понятно, что вам нечего обращаться с моральной проповедью идейной деятельности к колониям этих полипов в целом. Вам приходится намечать в этой среде лишь тех еще не приспособившихся особей, которые, подобно трем сестрам и некоторым из окружающих их героев, хоть до некоторой степени, но страдают неудовлетворенностию, чувствуют противоречие между стремлениями и мертвящей обстановкой, тянутся хотя бы сидя на коралловой ножке, думают о движении, хотя бы входя своей скорлупой в вековые громады недвижимой культуры. Их, этих мятущихся и неудовлетворенных, может еще захватить человеческая проповедь» (<Н. С. Русанов.> Наша текущая жизнь. — «Русское богатство», 1901, № 5, 2-я пагинация, стр. 173—177. Подпись: В. Г. Подарский).

Столь же настороженным и недоверчивым было отношение к пьесе и ее героям ранней марксистской критики. М. С. Ольминский утверждал в своей статье, что чеховская пьеса «с реалистической точки зрения» вообще не выдерживает «никакой критики», потому что «такого сплошного и плохо мотивированного плача в жизни не бывает, и в этом основной грех пьесы с точки зрения реальности ее содержания». Критик видел в пьесе лишь субъективно-символическое отражение смутных идеалов автора. При этом он полемизировал с теми рецензентами, которые считали «Москву» и мечтания сестер «символом далекого, лучезарного идеала». По его мнению, «с представлениями о Москве у сестер связан не план или мечта о новых условиях жизни в ней, а только воспоминание о минувшем... Москва должна быть недостижима, как прошлое — невозвратно». Поэтому ключом к пониманию пьесы он считал заключительную ее сцену, где «близкие к отчаянию сестры Прозоровы возвращаются к жизни» и начинают понимать, что «прошлое безвозвратно», что «смысл жизни не в возврате потерянного рая, а в служении неизвестному, но светлому будущему», и «только при таком толковании пьеса получает серьезное значение и заслуживают извинения ее многочисленные несообразности и утрировки, бьющие в глаза в случае приложения к ней реалистической мерки; только при таком взгляде Чехов не будет заслуживать упрека ни в бесплодной игре на нервах, ни в проведении реакционных тенденций» (<М. С. Ольминский.> Литературные противоречия. — «Восточное обозрение», 1901, 29 июля, № 168. Подпись: Степаныч; отредактированный автором текст статьи — в кн.: М. Ольминский. По вопросам литературы (Статьи 1900—1914 гг.). Л., 1926).

А. В. Луначарский в своем отзыве о «Трех сестрах» тоже не избежал тогда односторонности и рассматривал пьесу главным образом с точки зрения практических задач революционного движения. Он ценил у Чехова его «исключительный, очаровательный, милый талант», «глубину понимания человеческой души», но резко осуждал его за «описание самой серой, самой тусклой жизни», за сочувственное изображение «провинциальных страдальцев». Критик выдвигал идеал «бодрого», «энергичного», деятельного героя-борца, умеющего «рисковать», «бороться», и с этих позиций, естественно, мог только отрицательно отнестись к чеховским героям. Он писал: «Мы с нетерпением ждем, когда же Чехов рассеет это недоразумение и покажет человека, который *может* прорвать тину и вынырнуть из омута на свежий воздух, когда же покажет он нам семена новой жизни». Он мог только с насмешкой отозваться о «жалком мечтателе» Тузенбахе и других персонажах пьесы: «Все персонажи „Трех сестер“, на наш взгляд, достойны осмеяния, и пошлая свояченица героинь мало чем пошлее самих пресловутых трех сестер. Иной раз придет в голову: „да не сатира ли это? Может быть, Чехов хотел написать *тонкую сатиру* и вся ошибка его только в чрезмерной ее тонкости?“ <...> от нас хотят, чтобы мы плакали, когда плачут эти глупые три сестры, не умевшие при всех данных устроить своей жизни. И чего только не пущено в ход, и красота физическая, и музыка, и декламация! Эх, право... А чеховцы льют тихие слезы в „Художественном театре“ и говорят про себя: „это мы, это мы такие красивые, утонченные, и мы так гибнем, как цветы от стужи!“» (А. Луначарский. О художнике вообще и некоторых художниках в частности. — «Русская мысль», 1903, № 2, 2-я пагинация, стр. 58—60).

Впоследствии Луначарский признал односторонность своих оценок «Трех сестер», сожалел, что «весьма неодобрительно отзывался о жалких героях и героинях» пьесы. Рассказывая об этом эпизоде своей ранней критической деятельности, он по памяти приводил цитату из одного «красноречивого письма», которое тогда получил от неизвестного учащегося, упрекавшего его в непонимании пьесы Чехова и впечатлений, оказываемых

ею на передовую молодежь: «Когда я смотрел „Трех сестер“, я весь дрожал от злости. Ведь до чего довели людей, как запугали, как замуровали! А люди хорошие, все эти Вершинины, Тузенбахи, все эти милые, красивые сестры, — ведь это же благородные существа, ведь они могли бы быть счастливыми и давать счастье другим. Они могли бы, по крайней мере, броситься в самозабвенную борьбу с душасшим всех злом. Но вместо этого они хнычут и прозябают. Нет, Анатолий Васильевич, эта пьеса поучительная и зовущая к борьбе. Когда я шел из театра домой, то кулаки мои сжимались до боли и в темноте мне мерещилось то чудовище, которому хотя бы ценою своей смерти надо нанести сокрушительный удар» (А. В. Луначарский. Тридцатилетний юбилей Художественного театра. — Собр. соч. в восьми томах, т. 3. М., 1964, стр. 410).

В то время лишь немногие критики улавливали в «мрачной» пьесе Чехова ноты бодрости, проблески веры и предчувствие близившихся социальных потрясений. Хотя именно это оптимистическое звучание пьесы стремился донести до зрителя Художественный театр и прежде всего — исполнитель роли Вершинина Станиславский. Когда вместо него однажды во время петербургских гастролей впервые выступил В. И. Качалов (15 марта 1901 г.), один из рецензентов высказал недовольство тем, что Вершинин оказался в его трактовке сниженным «до уровня эпизодической личности». Он писал: «В изображении г. Станиславского полковник Вершинин является единственным свежим, бодрым, полным нравственной мощи, а потому сильным и обольстительным человеком среди остальных „нудных“ персонажей <...> Только бодрая вера неунывающего полковника заставляет примиряться с чеховским изображением провинциальной жизни. Живая струя его радостных мечтаний имеет значение картинного солнечного пятна на пасмурном фоне. Быть может, в художественных бликах Станиславского-Вершинина и кроется причина того, что со сцены „Три сестры“ не производят такого гнетущего впечатления, как в чтении, когда уже на предпоследней странице является еле преодолимое желание удавиться от тоски» («Три сестры». — «Петербургская газета», 1901, 19 марта, № 76, отд. Театральное эхо. Подпись: Ш.).

Эти бодрые, светлые ноты, прозвучавшие в «Трех сестрах», были отмечены также критиком И. Н. Игнатовым, который писал, что «к обычному унылому тону писателя, характеризовавшего лиц конца восьмидесятых и девяностых годов, прибавляется в этой пьесе нечто новое: пробуждение более или менее ясных стремлений, порывы к далекой, но виднеющейся цели». Некоторую просветленность тона «Трех сестер» он расценивал как новый «фазис, следующий за теми признаками общественного утомления, которое мы констатировали в „Дяде Ване“, „Чайке“ и „Иванове“ <...> В „Трех сестрах“, несмотря на примирительные слова о будущем счастье, настоящей резиньации, настоящего примирения нет. Душевный гнет продолжает чувствоваться всеми, но какая-то тревога охватывает большинство действующих лиц; некоторые из них постоянно говорят о своем желании уйти „в Москву“, чувствуется сильное стремление стряхнуть с себя оковы прежней рутинной жизни и достигнуть более светлой цели; вдали уже мелькает тот освещающий путь „огонек“, об отсутствии которого заявлял доктор Астров и которого не было совсем у Обломова» («Новости литературы...» — «Русские ведомости», 1901, 20 марта, № 78, Подпись: И.).

В яркой, эмоционально заразной статье, принадлежавшей перу Леонида Андреева, автор высказал резкое несогласие с теми критиками, которые «находили крупные недостатки в драме», считали ее «глубоко пессимистической вещью, отрицающей всякую радость, всякую возможность жить и быть счастливым». Захваченный спектаклем Художественного театра, он писал: «Тоска о жизни — вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется! — вот основная трагическая мелодия „Трех сестер“, и только тот, кто в стогах умирающего никогда не сумел подслушать победного крика жизни, не видит этого <...> „Сестры“ подавлены бессмысленностью своего существования, они задыхаются в безвоздушном пространстве, они гибнут в стихийной борьбе света с полуношной мглой — и всеми силами изболевшей души тянутся к свету <...> И разве в умирающих сестрах вы не замечаете зародышей новой жизни. Взгляните на Машу. С ее блуждающим взором, с загадочными силами, бродящими внутри ее, она есть сама непокорная жизнь — и она берет то, что хочет <...> Ирина — это прелестный образ по красоте и исходящему от него могучему «чарованию, не уступающий тургеневским героиням <...> А. П. Чехов вплет новый листок в лавровый венок русской женщины, создав своих „Трех сестер“, именно их наделив страстной тоской о жизни, именно в них вложив этот неумолкающий клич, это немеркнущее стремление к свету: „В Москву! В Москву!“ Как солнечный луч из-за облака, как золотистая нить, пронизывает этот клич серую мглу и непобедимо живет в трех женских сердцах» (Джемс Линч. Москва. Мелочи жизни. — «Курьер», 1901, 21 октября, № 291; отредактированный автором текст см. в кн.: Джемс Линч и Сергей Глаголь (С. Сергеевич). Под впечатлением Художественного театра. М., 1902, стр. 83—86).

Большие споры разгорелись вокруг «Трех сестер» также в связи с оценкой драматургических принципов Чехова. Критик журнала «Жизнь» отмечал, что хотя «Три сестры» — «новый шаг вперед» и они значительней «Дяди Вани», но вместе с тем и труднее для понимания и поэтому «понравились публике, по-видимому, меньше „Дяди Вани“» («Жизнь», Поссе). Один из таких поборников «традиционной» драмы свысока судил о «Трех

сестрах»: «Как пьеса — в узком смысле технического построения — „Три сестры“ слабы, как, впрочем, и большинство чеховских пьес. Первые два акта проходят в разговорах — местами очень умных, очень интересных, но неизменно повторяющих одни и те же пессимистические мысли и идеи. Характеристика действующих лиц здесь пока еще слаба и эскизна. Но с третьего акта — вернее, со второй его половины, чувствуется решительный поворот в сторону драматизма. Интрига начинает быстрее развиваться и нарастать, диалог становится более содержательным, имеющим прямое отношение к пьесе» («Новости и Биржевая газета», 1901, 2 марта, № 60).

460

Ю. Д. Беляев писал о «Трех сестрах», что «пьеса не выношена», что она «безусловно не выдержанная и не совершенная по форме». И все же он признавал, что она «нова и захватывающе интересна по своим задачам», что в ней «все ново, все неожиданно и странно <...> При всей бесформенности, при всей неожиданности построения пьесы новшество заключается главным образом в приемах, в которых Чехов изображает жизнь. Уже в „Чайке“ и „Дяде Ване“ он старался отделаться от сценической условности и ввести новые формы в драматический диалог. В „Трех сестрах“ это стремление выразилось еще сильнее и порою утрировано. Жизнь изображается такую, какова она есть на самом деле с множеством вставных, побочных и даже вовсе ненужных подробностей, в сбивчивой, отрывочной манере выражения, в нервных перебоях или в совершенном безразличии» (Юр. Б е л я е в . Художественный театр. V. «Три сестры». — «Новое время», 1901, 3 марта, № 8984, отд. Театр и музыка).

В статье «Театр молодого века» (октябрь 1901 г.) критик С. А. Андреевский отмечал, что «пьесы Чехова составляют совершенно новое явление в драматической литературе»: «В них нет драмы ни в смысле напряженного действия, ни в смысле назревающей и неизбежной катастрофы»; «единственный драматический элемент в пьесах Чехова, это — царящая в них *тоска жизни*. И в этом отношении его драмы ничем не отличаются от его рассказов. Чеховские пьесы вообще правильнее было бы назвать рассказами в сценах». Проследив путь Чехова-драматурга до «Трех сестер», критик заявлял: «Еще в „Иванове“ Чехов пытался уже нарисовать простой психологический этюд, без общепринятого механизма в „действии“ пьесы <...> Но в «Чайке» писатель уже открыто выразил свою ненависть к существующему театру, а затем в „Дяде Ване“ и еще более в „Трех сестрах“ он, наконец, смело перешел к изображению на сцене повседневной жизни простых людей. И это, конечно, восстание против законов драматургии. Подобное же движение замечается и на Западе. С одной стороны, Ибсен и Метерлинк выдвинули в драме на первый план поэзию душевных настроений, а с другой — большинство современных драматургов уже избегают в своих пьесах крикливых, героических фигур и преимущественно занимаются жизнью „сереньких“ людей» (С. А. А н д р е е в с к и й . Литературные очерки, изд. 3. СПб., 1902, стр. 470, 471, 491, 492).

Постановка пьесы в Художественном театре настолько поражала зрителей своей новизной, что некоторые критики были готовы все новаторские драматургические достоинства пьесы отнести за счет достижений театра. А. И. Богданович, например, писал: «растянутость пьесы, отсутствие действия и бесконечные разговоры все на одну и ту же тему о скуке в провинции и прелестях Москвы делают чтение ее невыносимо скучным <...> И надо видеть, что делает из этого странного материала московская труппа! В своем исполнении она создает удручающую картину жизни, в которой вся неестественность и безжизненность героев Чехова гармонично сливается с общим фоном мертвящей; действительности... Не только удивительно передано мертвящее настроение безысходной тоски, которым проникнута вся пьеса, но в исполнении исчезла вся деланность пьесы <...> Мы должны опять отметить редкую творческую способность г. Станиславского и его товарищей создавать типы из схематических набросков автора» («Московский Художественный театр. Пьесы Чехова „Дядя Ваня“ и „Три сестры“». — «Мир божий», 1901, № 4, 2-я пагинация, стр. 3, 6, 7. Подпись: А. Б.). На принципиальную ошибочность подобных умозаключений указывал в своей второй статье В. С. Кривенко. Он не отрицал того, что труппа Художественного театра «является несравненной истолковательницей замыслов Чехова», но первоосновой театрального успеха считал все же драматургический материал: «„В чтении мне совсем не понравилось!“ — слышатся голоса. Очень может быть. Но говорит ли это в ущерб произведению, которое написано для сцены, для сцены?! Слышите ли, господа зоилы?! Ведь декорации не вешают же на стены вместо картин. Повесть — для чтения, театральная пьеса — для игры» (В. С. К р и в е н к о . «Три сестры». — «Театр и искусство», 1902, № 13 от 24 марта, стр. 269).

Много отзывов в печати вызвала постановка пьесы на провинциальной сцене. Рецензент киевского спектакля, ориентируясь на трафаретные образцы «идейной» драмы, с разочарованием отзывался о пьесе Чехова и упрекал его в том, что «он с болезненным отвращением отвертывается от старых форм жизни и, увы, не знает, где искать новых. Он чувствует надвигающуюся грозу, но куда от нее спастись, не знает, мучительно сознавая свое бессилие разрешить загадку жизни». Полагая, что пьеса должна в себе заключать готовые ответы на все вопросы, и не находя их в «Трех сестрах», он решительно отвергал пьесу и замечал в наставительном тоне: «Задачи театра, как художественно-просветительного учреждения, должны заключаться в стремлении помочь общественному

сознанию уяснить руководящие идеалы <...> Когда же сцена становится лишь отражением личной беспомощности пессимистически настроенного писателя, то она уклоняется от своих прямых задач, и я, смотря „Три сестры“, невольно подумал: „Какая это талантливая и какая в сущности ненужная пьеса!“» (Н. Николеев. Письма из Киева. VII. — «Театр и искусство», 1901, № 12 от 18 марта, стр. 257).

С принципиально иными критериями подошел к оценке пьесы Чехова рецензент харьковской постановки «Трех сестер». В своем отзыве он стремился определить существенные особенности чеховской драматургии, исходя из коренных потребностей развития новой драмы: «Несомненно, вещь эта является смелым новшеством в драматическом искусстве. Автор пренебрег всеми традициями, всеми элементарными приемами схоластической драматургии и, тем не менее, создал произведение сильное, яркое, поразительное. „Три сестры“, вещь вполне оригинальная. Среди образцов драматической литературы она, несомненно, занимает пока особое место и, вероятно, создаст новую школу в области художественного творчества этого рода. Прежде всего, можно отметить в пьесе ту особенность, что в ней нет пресловутого драматического элемента в смысле борьбы страсти с долгом, нет выигранных ролей в смысле приподнятых на ходули героев. Трагизм в этом произведении чисто внутренний, сам собою вытекающий из совокупности условий жизни действующих

462

на сцене персонажей, из взаимных положений и отношений, завязанных просто, бедно, без всякой аффектации, и потому в высшей степени правдиво. Перед зрителем не сцена, а сама жизнь, точно автор пьесы отвалил стену от нашего дома и показал нам нас самих, нашу повседневную жизнь, со всею ее будничной пошлостью и роковой зависимостью от данных бытовых условий. Центр тяжести драмы — это безотчетный, бессознательный протест мыслящих существ против пошлости жизни, искание выхода из душной атмосферы и сознание невозможности найти этот выход, невозможности изменить что-либо в окружающей действительности» («„Три сестры“ А. П. Чехова на харьковской драматической сцене». — «Приднепровский край», 1901, 9 мая, № 1185. Подпись: В. Ф.).

Отклик на пьесу содержался также в повести П. Д. Боборыкина «Исповедники», напечатанной в январской книжке «Вестника Европы» за 1902 г. Один из героев повести, профессор-натуралист Грязев, в разговоре со своим учеником Булашевым, не называя пьесу прямо, пренебрежительно отзывается о ней и резко осуждает увлечение ею со стороны молодежи: «И что вы в ней находите? Это как бы сплошная неврастения. Что за люди! Что за разговоры! Что за жалкая болтовня! Зачем они все топчутся передо мной на сцене? Ни мысли, ни диалога, ни страсти, ни юмора, ничего! <...> А подите полюбуйтесь: зала набита битком, молодежь млеет и услаждается всем этим жалким распадом российской интеллигенции» (стр. 64).

Подхватив начатый Боборыкиным разговор, В. П. Буренин со свойственной ему бесцеремонностью и грубостью назвал успех «Трех сестер» «глупым успехом» и ополчился против критиков-«рекламистов», которые «загипнотизировали публику и особенно молодежь до помрачения всякого здравого смысла» (В. Буренин. Критические очерки. — «Новое время», 1902, 4 января, № 9280; 25 января, № 9301). Годом раньше тот же Буренин опубликовал злую пародию на «Трех сестер», в которой высмеивались некоторые приемы драматургического построения и сценического воплощения пьесы на подмостках Художественного театра (Граф Алексис Жасминов. Девять сестер и ни одного жениха, или Вот так бедлам в Чухломе! Символическая драма в 4-х действиях с настроением. — «Новое время», 1901, 18 марта, № 8999).

Понимание пьесы, ее признание пришло к зрителям и критикам не сразу. Станиславский позднее писал по этому поводу: «Нам тогда казалось, что спектакль не имел успеха и что пьеса и исполнение не приняты. Потребовалось много времени, чтобы творчество Чехова и в этой пьесе дошло до зрителей» (Станиславский, т. 1, стр. 237). Немирович-Данченко подчеркивал своеобразие художественного видения мира в «Трех сестрах» и отмечал, что «ни в одной предыдущей пьесе, даже ни в одной беллетристической вещи Чехов не развертывал с такой свободой, как в „Трех сестрах“, свою новую манеру стройки произведения»: действие в ней «переполнено этими, как бы ничего не значущими диалогами», «одним настроением, какой-то одной мечтой», «подводным течением», которые пришли на смену устаревшему «сценическому действию» (предисловие «От редактора» в кн.: Николай Эфрос. «Три сестры». Пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра. П., 1919, стр. 8 и 10). «Три сестры» окончательно убедили Немировича-Данченко в непревзойденном драматургическом мастерстве Чехова, которому он заявил после первых же спектаклей: «В конце концов я остаюсь при решительном убеждении, что ты должен писать пьесы. Я иду очень далеко: бросить беллетристику ради пьес. Никогда ты так не развертывался, как на сцене» (2 апреля 1901 г. — *Ежегодник МХТ*, стр. 139).

В январе 1902 г. пьесе «Три сестры» была присуждена Грибоедовская премия как лучшему драматическому произведению прошедшего сезона (в архиве Чехова сохранилось официальное уведомление, посланное ему, подписанное председателем Общества русских драматических писателей и оперных композиторов

И. В. Шпажинским. — *ГБЛ*; см. также: «Новости дня», 1902, 25 января, № 6689. На присуждение премии Чехов откликнулся в письме к Книппер от 29 января 1902 г.).

Еще до того, как Чехов закончил пьесу, чешский переводчик Б. Прусик, который до этого уже перевел «Иванова», «Чайку» и «Дядю Ваню», обратился к нему с просьбой: «Позвольте же мне перевести и новую Вашу пьесу „Три сестры“ и будьте столь добры послать мне один экземпляр ее!» (15/28 сентября 1900 г. — *ГБЛ*). Чехов ответил тогда, что пьеса «еще только пишется» (22 сентября 1900 г.). После нового обращения Прусика (6/19 октября 1901 г.) Чехов обещал выслать ему экземпляр «Трех сестер» (11 октября 1901 г.).

В связи с выходом пьесы в свет газеты сообщали, что «новая драма А. П. Чехова „Три сестры“ переводится на немецкий язык г-жой Луизой Флакс-Фокшанеану» («Прибалтийский край», 1901, 27 февраля, № 47, отд. Литература и искусство). Аналогичное сообщение, без указания переводчика, было напечатано также в журнале «Театр и искусство» (1901, № 10 от 4 марта). В октябре 1901 г. сообщалось, что «Три сестры» и «Чайка» уже «появились в немецком переводе» («Ялтинский листок», 1901, 30 октября, № 143). В ноябре 1901 г. «Три сестры» шли на сцене в Берлине в переводе А. Шольца.

Видимо, не зная об уже имевшемся немецком переводе пьесы и готовившейся в Берлине постановке, к Чехову в октябре 1901 г. обратился проживавший под Москвой И. М. Воссидло, который писал ему: «Я видел Вашу драму „Три сестры“ и убежден, что эта пьеса произвела бы сильное впечатление на немецкую публику; покорнейше прошу Вас сообщить мне, разрешили ли Вы уже кому-либо перевести вышеупомянутую драму на немецкий язык. Если же нет, я Вам предлагаю свои услуги. С моей стороны никаких условий, так как эта вещь сама по себе меня очень интересует...» (17 октября 1901 г. — *ГБЛ*). Еще одно предложение о переводе «Трех сестер» на немецкий язык Чехов получил в 1902 г. из Вены от переводчицы Москович-Аглицки, в письме которой говорилось: «Будьте так добры, уступите мне Вашу драму „Три сестры“ для перевода на немецкий язык, с правом постановки на здешней сцене...» (письмо без даты — *ГБЛ*).

12 (30) апреля 1901 г. директор-издатель видного итальянского журнала «Nuova Antologia» М. Феррарис просил редакцию «Русской мысли» переслать ему экземпляр опубликованной в февральской книжке пьесы Чехова и сообщал, что намеревается поместить перевод этой драмы в своем журнале, если Чехов даст на это свое согласие (там же; пьеса напечатана в номерах от 16 июня и 1 июля 1901 г.).

По поводу французского перевода пьесы и своего намерения издать пьесу в Париже сообщал 21 октября (2 ноября) 1901 г. Г. Каэн (Cahen), которому Чехов ответил: «Отвечаю Вам на это полным своим согласием и благодарностью, при этом считаю нужным предупредить, что и „Три сестры“ и „Дядя Ваня“ уже переводятся на французский язык или по крайней мере я получил письма с просьбой разрешить перевод этих пьес» (4 ноября 1901 г.). В июне 1903 г. парижский корреспондент русских газет И. Я. Павловский рассказывал Чехову, что после спектакля «Трех сестер», виденного им в Петербурге во время гастролей Художественного театра, он сам решил перевести пьесу «по возвращении в Париж», но «оказалось, что ее уже перевели, — очень плохо, ремесленно, — и, понятно, испортили дело» (там же).

О переводе на шведский язык Чехову писал 29 апреля 1904 г. Л. Л. Толстой и передавал просьбу своей жены: «...я хотел спросить вас от нее, разрешите ли ей перевести на шведский язык вашу пьесу „Три сестры“. Она думала заняться этим летом» (там же).

С . 124. *У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...* — Из вступления к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

...я в мерлехлюндиш... — Значение этого слова Чехов пояснял в одном из писем к А. С. Суворину: «...у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая полуболезнь, которую семинаристы называют мерлехлюндией» (24 августа 1893 г.). Это слово встречается также в рассказе «Следователь» (1887 г. — первоначальная редакция), в пьесе «Иванов» (д. I, явл. 2) и в письмах Чехова Ф. О. Шехтелю 11 или 12 марта 1887 г., М. В. Киселевой 2 ноября 1888 г., Л. С. Мизиновой 10 октября 1893 г., а в период создания «Трех сестер» — В. А. Поссе 28 сентября 1900 г., О. Л. Книппер 26 декабря 1900 г.

С . 125. *Он ахнуть не успел, как на него медведь насл.* — Из басни И. А. Крылова «Крестьянин и Работник» (в подлиннике: «Крестьянин ахнуть не успел...» и т. д.). В рассказе «У знакомых» (1898) эту фразу постоянно произносит Лосев, о котором говорится: «У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами» (ср. т. X Сочинений, стр. 357). Та же цитата приведена в юмореске «Каникулярные работы институтки Наденьки N» в разделе: «Примеры на „Согласование слов“» (т. I, стр. 24).

С . 131. *Для любви одной природа...* — Начало «русской арии» (куплетов) Таисии в старинной опере-водевиле «Оборотни», явл. 12 («Оборотни, или Спорь до слез, а об заклад не бейся. Комическая опера в одном действии, переделанная с французского Петром Кобяковым. Музыка г-на <Д.-Г.-А.> Париса с приделанными к

ней новыми ариями. Представлена в первый раз на С.-Петербургском большом театре придворными актерами февраля 7 дня 1808 года, в пользу актера г-на Самойлова». СПб., 1808; 2-е изд. — 1820):

Для любви одной природа
Нас на свет произвела;
В утешенье смертна рода
Нежно чувство дала!

Упомянуто также в юмореске Чехова 1881 г. «Темпераменты» (т. I Сочинений, стр. 80).

С . 133. *Feci quod potui, faciant meliora potentes.* — С этими словами, перефразируя выражение Цицерона («Послания», XI, 14), римские консулы передавали власть своим преемникам.

...mens sana in corpore sano. — Из «Сатир» Ювенала (X, 356).

С . 145. *Полжизни за стакан чаю!* — Перефразировка слов короля Ричарда в трагедии Шекспира «Ричард III»: «Коня, коня! Полцарства за коня!» (акт V, сц. 4).

С . 147. *У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!* — Последняя фраза «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Жребий брошен. — Фраза, произнесенная, по преданию, Юлием Цезарем при переходе через Рубикон (Светоний Т р а н к в и л л , «Гай Юлий Цезарь», 32).

С . 149. ...*дневник одного французского министра ~ был осужден за Панаму ~ упоминает он о птицах...* — Министр общественных работ Ш. Баио (Baïhot; 1843—1905) был замешан в «панамском скандале», связанном с разоблачением крупнейших злоупотреблений «Всеобщей компании по строительству межокеанского канала» и коррупции парламентских верхов Франции. В 1893 г. Баио был осужден на пять лет тюрьмы за полученную им в 1886 г. крупную взятку от администрации компании, и, выйдя на свободу, выпустил написанные в форме дневника «Записки заключенного» («Impressions cellulaires». Paris, 1898). Упоминание об увиденной им однажды через решетку птице, «существе, которое свободно поет и летит в небо, куда ей вздумается», содержится в записи от 6 февраля 1893 г. (стр. 18).

С . 150. *Я странен, не странен кто ж!* — Слова Чацкого в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (д. III, явл. 1).

Не сердись, Алеко! ...Забудь, забудь мечтания свои... — Герой поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824); приведенных слов у Пушкина нет.

С . 156. ...*o, fallacet hominum spes!*.. — Выражение Цицерона («Об ораторе», III, 2). Чехов приводит это выражение также в письме к М. М. Ковалевскому 8 (20) января 1898 г.

С . 161. *In vino veritas...* — Плиний Старший в «Естественной истории» (XVI, 22, 28) приводит эту поговорку как давно существующую. Упоминается она и у древнегреческого лирика Алкея (VI в. до н. э.).

С . 162. *Не угодно ль этот финик вам принять...* — На запрос И. А. Тихомирова, предположившего, что эта фраза взята «из какого-нибудь романса или куплетов» (14 января 1900 г. — *ГБЛ*), Чехов ответил: «Это слова из оперетки, которая давалась когда-то в Эрмитаже. Названия не помню, справиться, если угодно, можете у архитектора Шехтеля...» (14 января 1901 г.).

С . 163. *Любви все возрасты покорны...* — Из «Евгения Онегина» Пушкина (глава восьмая, строфа XXIX). В одноименной опере П. И. Чайковского — ария князя Гремина (действие III).

С . 164. *Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздражить...* — Не вполне точная цитата из басни Крылова «Гуси».

С . 165. *Omnia mea mecum porto...* — По преданию, так ответил согражданам один из семи греческих мудрецов Биант, который при нападении персов на Приену (VI в. до н. э.) покинул вместе со всеми город, но отказался захватить что-либо из своего имущества.

С . 169. ...*как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...* — Повествование Поприщина в «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя постоянно прерывается фразой: «ничего, ничего... молчание» (записи октября 4; ноября 8, 11, 12 и 13).

С . 174. *Тарара... бумбия...* — Запев этой песенки («Тарарабумбия, Сижу на тумбе я, И горько плачу я, Что мало значу я») восходит, видимо, к тексту популярного в свое время «гимна» шансонеток, выступавших в парижском кафе-ресторане Максима: «Tha ma ga boum dié!» (А. L a n o u x . Amours 1900. Paris, 1961, p. 198). Приводится также в рассказе 1893 г. «Володя большой и Володя маленький» (см. примечание в т. VIII Сочинений, стр. 488).

С . 175. *...ut consecutivum*. — Правило латинской грамматики, требующее применения сослагательного наклонения (конъюнктива) в придаточных предложениях следствия, начинающихся с союза *ut* (что, так что, чтобы).

«*Молитва девы*» — Популярная пьеса для фортепьяно польского композитора Т. Бадаржевской-Барановской (1838—1862): «*La prière d'une vierge*».

С . 179. *А он, мятежный, ищет бури...* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» (1832); в подлиннике: «просит бури».

С . 275 (варианты). *Слава богу, слава нам, Туртукай взят, и мы там...* — Донесение А. В. Суворова о победе, одержанной над превосходящими силами противника во время русско-турецкой войны 1773 г. Среди документов Суворова сохранилась лишь записка, посланная 10 мая 1773 г. командиру дивизии гр. И. П. Салтыкову: «Ваше сиятельство! мы победили. Слава богу, слава вам. А. Суворов» («А. В. Суворов», т. 1. М., 1949, стр. 614). Ему приписывалось также другое донесение — в виде приведенного выше двустушия, которое он будто бы послал одновременно фельдмаршалу гр. П. А. Румянцеву или даже императрице Екатерине II (приводилось с различными вариантами текста; впервые — в книге И. Ф. Антига, изданной при жизни Суворова: «Жизнь и военные деяния генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, изданные Максимом Парпурую, ч. 1. СПб., 1799, стр. 116). Об этом двустушии часто упоминалось в печати в 1900 г. в связи с отмечавшимся тогда 100-летием со дня смерти Суворова.

467

С . 280 (варианты). *Ты все пела, это дело, ну теперь же попляши.* — Из басни Крылова «Стрекоза и Муравей».

О реально-биографическом подтексте пьесы см.: *Кибальник С. А. Доктор Чебутыкин и издатель Суворин (о криптоэтике чеховских «Трех сестер»)* // Новый филологический вестник. 2021. № 3. С. 142-154. eLIBRARY ID: 47225462.

Записная книжка с рецептами для больных

Чехов любил записные книжки. В 17 томе академического издания его Полного собрания сочинений «Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники» помещены четыре его «Записные книжки», обозначенные римскими цифрами I, II, III, IV, а также «<Адресная книжка>», «<Записи на отдельных листах>», «<Записи на оборотах других рукописей>», «<Дневниковые записи>», в частности, «Из Сахалинского дневника», «<Дневниковые записи в “Календаре для врачей всех ведомств 1898 г.”>» и наконец даже «<Записи Чехова в Дневнике П. Е. Чехова>».

Особое пристрастие Чехова к записным книжкам, переданное многим героям его рассказов и пьес, ярко выразилось в том факте, что он делал записи не только в своих дневниках и записных книжках, но даже и в чужих – в частности, в дневнике своего отца Павла Егоровича.

В то время как все эти дневники и записные книжки полностью опубликованы, «Записная книжка с рецептами для больных», т. е. так называемая «Записная книжка в клеенчатом переплете»,¹⁴³ до настоящего времени не публиковалась даже фрагментарно. В академическом «Полном собрании сочинений» Чехова она только упоминается среди «записных книжек нетворческого характера».¹⁴³

В этой записной книжке 50 листов, из них заполнены – с обеих сторон – только л. 1–13 (л. 14–50 чистые). Это автограф Чехова.¹⁴³ Текст преимущественно на латинском языке, небольшая часть рецептурных и пояснительных записей сделана по-русски.

Данная записная книжка не датирована, но наличие в ней отсылок к «Врачу»¹⁴³ за 1895–1898 годы¹⁴³ позволяет предположительно отнести ее к 1890-м годам. По мере заполнения этой записной книжки Чехов вначале черпает информацию и отсылает читателя к номерам за 1895 и 1896 годы (см. с. 00 и 00), а ближе к концу – в основном уже к номерам за 1898 год.

Как известно, Чехов печатался на страницах «Врача».¹⁴³ Из его переписки видно, что он внимательно и постоянно следил за материалами этой газеты, по крайней мере, с 1887-го (П 2, 117) и по 1901 год (П 5, 178, 264, 451; П 6, 204, 529; П 6, 282, 555; П 7, 162, 555; П 7, 171; П 7, 135, 506; П 7, 704; П 7, 735; П 10, 97, 367).¹⁴³

В «Записной книжке с рецептами для больных» воспроизведены – как правило, с небольшими вариациями – некоторые рецепты, вошедшие также в «<Записную книжку I>» и «<Записную книжку II>» (С 17). По-видимому, Чехов переписал эти рецепты, затерянные в них среди записей иного рода, в отдельную записную книжку (см. прим. 43, 92, 99–101 и др.). Один из этих рецептов он рекомендовал Ал. П. Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 года (см. с. 00 и прим. 43, 66).

Обнаружение некоторых не отмеченных самим Чеховым заимствований из еженедельной газеты «Врач» (см. прим. 71) наводит на мысль о том, что целый ряд других записей также основан на публикациях этой газеты, в которой сообщались врачебные открытия последнего времени, почерпнутые из печати (большинство выписок относятся к традиционной рубрике газеты «Из текущей печати»). По-видимому, Чехов обращал внимание прежде всего на рецепты, касающиеся особенно трудных случаев, с которыми он сталкивался в его собственной медицинской практике и которые могли пригодиться в будущем ему самому или его близким. Поскольку в данной записной книжке упомянуты многие недуги самого Чехова, то в какой-то мере она позволяет уточнить, чем лечился или, по крайней мере, пробовал лечиться он сам.

«Записная книжка с рецептами для больных» представляет собой яркое свидетельство о личности Чехова. Она показывает, что он стремился быть профессионалом во всем. И коль скоро был дипломированным медиком и даже какое-то время служил в качестве земского врача, то старался идти в ногу с развитием медицины. «Ты думаешь, я плохой доктор? – спрашивал он у В. А. Гиляровского и сам отвечал на этот вопрос так. – Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит, я доктор. Во “Всея Москве” напечатано: “Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Пешкова. Практикующий врач”. Так и написано: не писатель, а врач, – значит, верь».¹⁴³

О том, как медицина уживалась у него с литературой, Чехов в эти годы писал А. С. Суворину: «Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоедает одна, я ночью у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дисциплины» (П 2, 326).

«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками, – читаем мы в краткой автобиографии писателя, – имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее внимание, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе» (С 16, 271–272).

С выписанными доктором Чеховым рецептами связаны некоторые волнующие эпизоды его биографии. Так, например, свою частную практику на поприще городского врача он «начал <...> с острых переживаний, когда, вернувшись домой от пациента, вдруг вспомнил, что в рецепте неправильно поставил запятую, увеличив дозу сильнодействующего препарата на целый порядок. Истратив свой первый гонорар на лихача, вместе с младшим братом он помчался через весь город к больному. К великой радости молодого доктора, в аптеку за лекарством еще не послали».¹⁴³

Преданность медицине органически сочеталась у Чехова с неприятием гомеопатии,¹⁴³ приверженностью к которой он наделил героя «Ариадны» (<1895>) помещика Котловича: «Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то кволий, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом» (С 9, 110). Впрочем, «чудеса» лечения гомеопатией были в сатирическом свете изображены Чеховым еще в рассказе «Симулянты» (<1885>). Не менее скептическим было его отношение к так называемой «народной медицине»,¹⁴³ что в комической форме воплотилось в рассказах «Из дневника помощника бухгалтера» (<1883>) и «Средство от запоя» (<1885>).

Многие из рецептов, приведенных в публикуемой «Записной книжке», так или иначе преломились в художественном творчестве Чехова. Например, в первом действии «Трех сестер» читаем: «Ч е б у т ы к и н (читает на ходу газету). При выпадении волос... два золотника нафталина на полбутылки спирта... растворить и употреблять ежедневно... (Записывает в книжку.) Запишем-е! (Соленому.) Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...» (С 13, 122).

Чеховский герой здесь выписывает из газеты «рецепт, сообщенный ему Книппер в письме от 12 сентября 1900 г. – Переписка с Книппер, т. 1, стр. 188» (С 13, 431). «Я тебе дам средство отличное, чтобы не лезли волосы. – писала в нем О. Л. Книппер. – А пока возьми ½ бут. спирту и всыпь 2 золотника нафталину

и смачивай кожу – это очень хорошо помогает. Послушаешься? А то лысым нехорошо в Москву приехать – подумают, что я тебе волосы выдрала».¹⁴³

«Чехов ведет в пьесе столь характерный для него не прямой диалог с Ольгой Леонардовной <...>, – комментирует реплику Чебутыкина А. В. Кубасов. – “Ответ” возникает посредством перекодирования безусловного в условное, прямого, одноинтонационного слова в скрыто преломленное, двуинтонационное. Да и как иначе мог отнестись писатель к рецепту любимой женщины, если он давно был убежден в том, что рекламируемые средства для рращения волос отдают шарлатанством? В его записной книжке сохранился эскиз сюжета: “водевиль: N., чтобы жениться, вымазал плешь на голове мазью, о которой читал публикацию, и у него неожиданно стала расти на голове свиная щетина” <...>. “Целительная” мазь для рращения волос подана здесь как заведомо шарлатанское средство».¹⁴³

Чеховский сарказм по отношению к этому «рецепту» проявляется в пьесе в том, что герой выписывает его «из газеты», а как он сам признается вскоре после этого: «Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты...» (С 13, 124), – а также в том, что этот «военный доктор» впоследствии говорит о себе: «Думают, я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего» (С 13, 160).

Приведем еще раз вторую часть реплики Чебутыкина: «Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...» (С 13, 122). В ней Чебутыкин сообщает Соленому, по всей вероятности, средство от клопов и мух (ср. с. 26). Таким образом, выписав из газеты шарлатанское средство для рращения волос, Чебутыкин тут же дает Соленому другой, на сей раз, поскольку этот рецепт записал Чехов, возможно, и в самом деле действенный, но также относящийся к чисто бытовой, сниженной сфере совет. И та, и другая темы более чем подходят для разговора этих двух героев.

В некоторых других случаях материалы публикуемой записной книжки также позволяют понять подтекст чеховских произведений. Так, например, в пьесе Чехова «Безотцовщина» Платонов говорит «молодому лекарю» Трилецкому: «А-а-а... Плохой лейб-медик ее превосходительства! *Argentum nitricum... aquae destillatae...* Очень рад видеть, любезный! Здоров, сияет, блещет и пахнет!» (С 11, 23). Комический подтекст реплики Платонова, не отмеченный в комментариях к пьесе, заключается в том, что указанный им рецепт использовался для лечения от «зуда in ano» (ср. с. 00 и прим. 33).

Многие составные элементы приведенных в публикуемой записной книжке рецептов упомянуты в повести Чехова «Дуэль» (<1891>): «Самойленко сел и прописал хину в растворе, *kali bromati*, ревенной настойки, *tincturae gentianaе, aquae foeniculi* – все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел» (С 7, 406). При этом у Надежды Федоровны, по словам самого Самойленко, «обыкновенная лихорадка» (С 7, 405). «...самое главное, – замечает по этому поводу А. В. Кубасов, – не в составе микстуры, прописанной Самойленко, а в том, что для Надежды Федоровны, страдающей меркхлюндией и “неврами”, она совершенно не нужна. В лучшем случае выписанная микстура может сыграть роль плацебо, то есть пустышки, которая помогает не составом, а только психологически».¹⁴³ На сей раз комментарий исследователя, возможно, не совсем точен. Хина в тамошнем климате героине точно не помешала бы, это понимает даже Лаевский. «Ты бы приняла хины...» (С 7, 405), – советует он ей. А все остальное – это действительно уже свободное творчество доктора Самойленко, направленное на то, чтобы его предписание приобрело в глазах пациента авторитетный и удобоваримый характер.

Для самого Чехова, как известно, лекарством не только от многих болезней, но и от плохого настроения и избыточного общения была касторка или касторовое масло (*Oleum Ricini*).¹⁴³ Недаром оно несколько раз упоминается и на страницах публикуемой записной книжки (см. с. 00 и 00).

При расшифровке данной записной книжки использовался целый ряд фармацевтических справочников чеховского времени.¹⁴³ Текст приводится в современной орфографии и пунктуации. При этом подчеркнутый Чеховым текст воспроизводится курсивом, подчеркнутый волнистой линией – полужирным курсивом, зачеркнутый – в квадратных скобках. Предположительное чтение дается в угловых скобках со знаком вопроса. Восстановленные части слов, коньектуры, пояснения публикатора также заключены в угловые скобки.

Большинство записей Чехова имеет сокращенный характер, и с этим, очевидно, связано частое несоблюдение им в рецептах формы родительного падежа единственного числа (*Genetivus singularis*) в случае указания дозировки, которое нами также отмечено. По современным фармакологическим правилам оформления рецептов все растения, лекарственные препараты и химические элементы пишутся с большой

буквы, капли обозначаются как gtt. или gtts., начало каждой строки пишется с прописной буквы. Однако здесь мы придерживаемся адекватного воспроизведения рукописного текста.

Обращение к приводимому тексту историков медицины, врачей и филологов в дальнейшем, несомненно, позволит несколько уточнить опущенные Чеховым части слов или иные составные элементы публикуемых рецептов, а также дополнительно прокомментировать их с медицинской и историко-литературной точек зрения.

